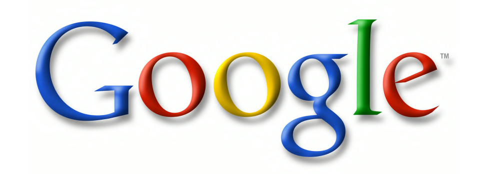


3 Іюня 1894 г.

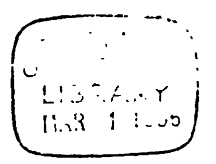
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

В. КРЕСТОВСКАГО

(ПСЕВДОНИМЪ)

ТОМЪ ВТОРОЙ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА
1892



Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13

НѢСКОЛЬКО ЛѢТНИХЪ ДНЕЙ.

ОЧЕРКЪ.

1853 г.

I.

Въ жаркій іюльскій день, по темной, запущенной аллеѣ деревенскаго сада, шли двѣ дѣвушки. Было не время гулянья; поспѣшная походка молодыхъ особъ, оживленный разговоръ, или, вѣрнѣе, разсказъ одной изъ нихъ — все показывало, что онѣ пользовались минутами, чтобъ рѣшить что-то очень важное.

Аллея кончалась крутымъ спускомъ къ пруду, за которымъ была роща. Дѣвушки доходили до пруда, останавливались, смотрѣли, ждали чего-то и возвращались опять въ аллею.

— Нѣтъ сядемъ; я устала, сказала одна изъ нихъ, блондинка съ свѣтлыми глазками и веселымъ лицомъ:—твоя исторія еще только вначалѣ; разсказывай здѣсь!

Она сѣла на траву, подъ тѣнь липы..

— Что-жъ дальше? И вы пріѣхали сюда?

— Ты понимаешь, отвѣчала ея подруга, садясь подлѣ нея:— что мнѣ было необходимо сдѣлать тебѣ нѣсколько предварительныхъ объясненій о моемъ характерѣ, обстоятельствахъ и прочемъ... Ты могла все позабыть: мы цѣлый годъ не видались.

— Прекрасно. Но зачѣмъ ты здѣсь?

— Я ѣхала съ отцомъ изъ Москвы въ деревню; по дорогѣ надо было заѣхать сюда, къ тетушкѣ. Тетушка объявила отцу, чтобъ онъ ѣхалъ къ себѣ хозяйничать одинъ, а меня оставилъ погостить у нея. Отказаться было невозможно.

— Ну, и что же?

— Вотъ я и живу здѣсь двѣ недѣли, ожидая, что отецъ возратится или пришлетъ за мной и избавитъ меня отъ смертельной скуки. Ни души сосѣдей... то есть они есть, но лучше бы ихъ не было. Я сижу цѣлый день, шью съ утра до ночи, смотрю, какъ хлопочетъ тетушка, и слушаю разсказы моего драгоцѣннаго двоюроднаго братца — старшаго, потому что есть еще меньшой, котораго ты увидишь. Какое счастье, что ты сюда залетѣла!

— Да, нечаянно, съ богомолья съ маменькой... Сказать правду, она не любитъ твоей тетки и только я упросила ее заѣхать, узнавъ, что ты здѣсь. Мы пробудемъ недѣлю.

— Все хоть нѣсколько дней... Утѣшь меня, пробудь больше!

— Хорошо. Но разсказывай же; ты начала...

— Что я начала?

— Что, несмотря на скуку, здѣсь есть что-то занимательное.

— Развѣ я ужъ сказала?

— Какъ же! въ предварительныхъ-то объясненіяхъ...

— Послушай, Соня, я вопервыхъ, попрошу тебя не смѣяться.

— А!.. развѣ серьезное?

— Не знаю... не знаю. Я какъ-то взволнована, чѣмъ-то измучепа... Меня все му-

читъ. Скука ли меня такъ настроила, или перемѣна общества...

— Слушай, Варенька, если ты будешь прерываться и объясняться каждую минуту, то я и въ три дня ничего не узнаю. Мнѣ нужно что нибудь положительное — числа, имена собственныя...

— Это забавно!.. Я была расположена разсуждать, и вдругъ... У меньшого кузена есть гувернеръ; его зовутъ Василій Васильичъ Артеминъ.

— А!.. такъ что же?

— Ничего больше, отвѣчала Варенька и немного надула губки.

— Что же въ самомъ дѣлѣ? сказала Соня, смѣясь:— довольно и этого; я, пожалуй, доскажу за тебя остальное. Въ жаркіе дни, когда ты шьешь здѣсь, подъ липами, мсьё Артеминъ тебѣ читаетъ; по утрамъ онъ приноситъ тебѣ букеты полевыхъ цвѣтовъ, еще покрытыхъ росою; вечеромъ, вы вмѣстѣ переплываете прудъ на плоту или на лодкѣ и считаете звѣзды...

— Какой вздоръ! вскричала Варенька:— то-то и есть, что ничего этого нѣтъ!

— Такъ ты хочешь, чтобъ это было?

— Ничего я не хочу. Мнѣ досадно... Онъ человѣкъ порядочный; мой старшій кузенъ дурно воспитанъ и страшно важничаетъ; меньшой избалованъ до того, что даже дерзокъ. Изъ этого едва ли не каждую минуту выходятъ сцены, которыя меня мучатъ... Пойми это: онѣ мучатъ меня за Артемина. Представь, какъ ему весело: при мнѣ ему говорятъ, что онъ не занимается своимъ питомцемъ; онъ хочетъ гулять, а ему напоминаютъ, что уже десять часовъ и Костѣ спать пора...

— И онъ идетъ и спитъ?

— Конечно... Меня мучатъ всѣ неделикатности, которыя при мнѣ дѣлаются человѣку... Онъ ихъ понимаетъ, онъ такъ выше всѣхъ тѣхъ, кто его обижаетъ! Мнѣ несносны кривыя сужденія, высказанныя при этомъ здравомъ умѣ... и замѣть: онъ обязанъ не только наружно имъ покоряться, онъ обязанъ быть убѣжденъ, что эти кривые толки—сама премудрость! Еслибъ ты видѣла, какой тонъ беретъ кузенъ Анатолій Петровичъ, разсказывая свои похожденія въ большомъ свѣтѣ!

— Но развѣ Артеминъ знакомъ съ большимъ свѣтомъ?

— Не знаю, но... Видишь ли, это странный человѣкъ; онъ, кажется, все знаетъ. Онъ ужъ не очень молодъ и, говорятъ, въ первый разъ занимается образованіемъ юношества; это, впрочемъ, и замѣтно. Видно, что онъ бывалъ въ обществѣ и значилъ въ немъ что нибудь.

— Не переодѣтый ли это принцъ?

— Шалунья!.. Нѣтъ, душка, еслибъ принцъ, онъ бы выбралъ себѣ покрасивѣе костюмъ, а то...

— Понимаю: это потомокъ какой нибудь благородной фамиліи, который скушалъ все свое достояніе.

— Пожалуйста, не смѣйся надъ нимъ.

— Почему?

— Ты меня огорчаешь.

Соня поглядѣла на нее съ недоумѣніемъ.

— Я понимаю, продолжала Варенька, покраснѣвъ:—что ты будешь съ нимъ учтива, обходительна; но я буду знать, что ты шутила надъ нимъ... и мнѣ это больно.

— Но отчего же?

— Почемъ я знаю!

— Знаешь ли? меня заинтересовалъ этотъ Артеминъ. Ты, хорошенькая дѣвушка, замѣченная въ лучшемъ кругу, занимаешься учителемъ, котораго нашла чуть ли не подъ землею въ степной деревнѣ! Это любопытная прихоть.

— Это совсѣмъ не прихоть, отвѣчала тихо Варенька.

— Не прихоть? Но что же можетъ быть больше? Если это настоящее чувство и Артеминъ въ самомъ дѣлѣ не переодѣтый принцъ, то оно ни къ чему не послужитъ.

— Правда... Но вѣдь не одно это ни къ чему не служитъ! возразила Варенька, почти ложась на траву и перебирая ее разсѣянно.

— Я не люблю этого тона, сказала Соня: — и ты очень ошибаешься. Надо брать вещи какъ онѣ есть, и тогда онѣ всѣ служатъ къ чему нибудь. Ты живешь здѣсь двѣ недѣли...

— Не живу, а скучаю.

— Артеминъ посланъ судьбой, чтобъ избавить тебя отъ скуки... Впрочемъ, намъ некогда философствовать. Разсказывай, что вы съ нимъ говорите, что дѣлаете?

— Ровно ничего. «Здравствуйте, прощайте»—только.

— Ни слова больше?

— Ни одного.

— Ни угожденія, ни сближенія, ни услуги?

— Ничего.

— Ни взгляда, по которому вы могли бы видѣть, что понимаете другъ друга?

— Ничего, ничего.

— Но, какъ же? ты принимаешь въ немъ такое истинное участіе и даже не говоришь съ нимъ?

— Для чего?

— Но надо же чѣмъ нибудь занять время.

— А потомъ?

— Ты знаешь эту премудрость:

> Non curiamo l'incerto domani,
> Se quest'oggi n'é dato goder...

— Хороша премудрость! сказала Варенька.

— Прими ее съ другой стороны: дай этому бѣдному молодому человѣку нѣсколько счастливыхъ дней, въ которые онъ могъ бы отдохнуть, которые онъ могъ бы потомъ припомнить и, вспоминая, легче переносить то, что его окружаетъ... Ты описала мнѣ это общество; Артеминъ долженъ умирать въ немъ. Вдругъ среди пошлости онъ услышитъ умныя слова, среди людей, которые позволяютъ себѣ важничать съ нимъ, увидитъ истинное участіе...

Варенька приподнялась.

— Какъ ты говоришь это? спросила она.

Соня расхохоталась.

— Я думаю, объяснять нечего, отвѣчала она:—все ясно. Съ твоей стороны, даже непростительный эгоизмъ держать себя неприступно и непривѣтливо; этимъ ты лишаешь молодого человѣка единственной отрады, которой онъ добьется, можетъ быть, въ нѣсколько лѣтъ. Ты добра и умна; ему будетъ легко и весело... Одно только: если онъ въ самомъ дѣлѣ тебя полюбитъ... вотъ что будетъ неловко...

— Что неловко? вскричала весело Варенька:—Non curiamo 'incerto domani...

— А! такъ ты слѣдуешь этой философіи? Для чего же ты потеряла двѣ недѣли?

— Почему я знаю! Было неловко; я и теперь не знаю какъ начать.

— Хочешь я начну? Я пробуду здѣсь три дня, а ты успѣешь войдти въ свою роль.

— Это не роль, Соня.

— А что же?.. Полно!.. Хочешь, я разговорюсь съ нимъ? Это дастъ и тебѣ случай наконецъ заговорить.

— Сдѣлай милость, сказала Варенька, снова задумываясь.

— Предупреждаю тебя, продолжала Соня, вставая:—если съ твоей стороны это не шутка, я ни во что не вмѣшиваюсь.

— Нѣтъ, шутка, шутка, отвѣчала Варенька, вставая тоже:—надо что нибудь дѣлать. Но только, сдѣлай милость, не дай ему замѣтить, что мы шутимъ.

— За кого ты меня принимаешь?.. Но нечего терять времени: говорятъ, онъ въ рощѣ—пойдемъ въ рощу.

— Нельзя, неловко.

Подруги взялись за руки и пошли къ плоту; дорогой онѣ разбирали въ подробности свой маленькій планъ, совершенно имъ довольныя.

II.

Въ гостиной деревенскаго дома былъ отворенъ балконъ; желтые цвѣты ярко глядѣли на него изъ цвѣтника, освѣщеннаго жаркимъ солнцемъ. У дверей балкона, за маленькимъ столикомъ, сидѣли двѣ дамы.

Одна изъ нихъ была гостья, мать Сони; другая—хозяйка, тетка Вареньки.

Разговоръ между ними, однако, не завязывался. Хозяйка была озабочена, казалось, больше по обязанности, потому что ея домъ очень обошелся бы и безъ тѣхъ приказаній, которыя она отдавала, выходя безпрестанно, и даже переставъ извиняться передъ гостьей. Эта заботливость бросала ее въ какую-то абберацію, такъ что когда она не выходила хлопотать, то сильно задумывалась, и на ея лицѣ было написано, что она соображаетъ хлопоты. Поэтому, натурально, говорить она не могла. Ея мысли были постоянно развлечены разными посторонними предметами и переходили отъ одного къ другому почти внезапно. Ей случалось прерывать разсказъ гостьи вопросами, совсѣмъ не идущими къ дѣлу, а иногда замѣчаніями, воспоминаніями или новостями, даже странными по своей неожиданности. Нарядъ этой почтенной дамы былъ нарядъ особы озабоченной, которой некогда подумать о такихъ мелочахъ.

Гостья смотрѣла на нее съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ, какъ особа, которая понимаетъ приличія, для которой странны подобныя уклоненія, и которая прощаетъ ихъ только по грустной необходимости прощать многое, что непріятно поражаетъ насъ въ общественныхъ сношеніяхъ. Взгляды гостьи были даже несовсѣмъ доброжелательны; еслибъ та, которой они посылались, потрудилась обратить на нихъ вниманіе, то, пожалуй, могла обидѣться; но хозяйка ни на что не обращала вниманія, ни даже на изысканный нарядъ своей гостьи.

— Что это у васъ, Анна Григорьевна, ридикюль какой? сказала она, возвращаясь изъ одного своего путешествія и видя, что въ ея отсутствіи гостья достала вышитый дорожный мѣшокъ.

— Это сак-де-вояжъ, отвѣчала гостья послѣ небольшой паузы.—Вы никогда не видали?

— Нѣтъ. Мнѣ ни на что не нужно.

— Въ дорогѣ необходимо; я не могу быть безъ него. Книги, работа—тутъ все подъ рукою...

— Марья! закричала хозяйка, вставъ едва-сѣла и выскочивъ на балконъ: — сгони куръ съ шпанской клубники; чего смотришь!.. Эхъ, жара какая! прибавила она, возвратясь въ комнату и не относясь къ гостьѣ, почему гостья ничего и не отвѣчала.

Хозяйка сѣла и опять посмотрѣла, какъ гостья грацiозно выворачивала крючкомъ свое вязанье.

— Это что же будетъ?

— Анти-гра, отвѣчала гостья покорно, но немного сухо, чтобъ показать, что дальнѣйшiе вопросы объ этомъ предметѣ совершенно безполезны.

Хозяйка потянула къ себѣ кончикъ этого хитраго вязанья.

— Э, все дырявое!

— Позвольте, вы можете вытянуть мнѣ петлю, поспѣшно возразила гостья, освобождая свою работу.—Это очень затруднительно поправлять, прибавила она, по врожденной учтивости стараясь загладить свою маленькую рѣзкость.

Но хозяйка и не замѣтила рѣзкости.

— Такъ вы Богу и помолились съ вашей дочкой? сказала она чрезъ минуту:—а я думаю, тѣсно тамъ теперь.

Гостья тихо подняла на нее глаза.

— Нѣтъ, поклонниковъ немного.

Хозяйка, въ свою очередь, взглянула на нее вопросительно.

— А вы зачѣмъ еще туда ѣздили?

— Какъ зачѣмъ? спросила съ удивленiемъ гостья:—молиться.

— Я думала еще что нибудь. Пора вамъ вашей Софьѣ Николаевнѣ женишка поискать.

— Еще успѣемъ, скромно отвѣчала гостья, не поднимая глазъ отъ крючка.

— Немного осталось успѣвать, матушка; дочка на возрастѣ.

— Восьмнадцать лѣтъ.

Хозяйка взглянула на гостью и вдругъ вскочила и выбѣжала за дверь.

— Кондратiй, накрывай на столъ! да поищите барина молодого; онъ долженъ быть въ рощѣ, и Константина Петровича... Вы Алферовку выкупили? спросила она, возвращаясь къ гостьѣ.

— Какую Алферовку? спросила та съ удивленiемъ.

— Какъ какую? деревню вашу. Одна вѣдь у васъ.

— Нѣтъ, не выкупила, отвѣчала съ достоинствомъ гостья.

— Ну, помяните мое слово: Водонинъ купитъ. Вотъ бы Софьѣ Ивановнѣ женихъ.

— Тюлень этотъ?

— Я говорю своему Анатолiю: нѣтъ тебѣ моего благословенiя, коли женишься, да имѣнiе заложено; это кончено! и ничего не дамъ... Имѣнiе-то вѣдь мое: покойный мужъ мнѣ все перевелъ.

— Поздравляю васъ.

— Чего поздравлять! это ужъ давно было.

Соня и Варенька вошли въ эту минуту съ балкона. Въ комнатѣ вѣяло тишиной и скукой, и вѣроятно потому обѣ онѣ казались смущены и скучны.

— Нагулялись? спросила ихъ хозяйка.

— Надо съума сойти, чтобъ такъ раскраснѣться! строго замѣтила гостья, указывая Сонѣ на ея щеки.

— Et moi, je trouve, que c'est charmant, сказалъ, появляясь внезапно, молодой человѣкъ, одѣтый со всѣмъ деревенскимъ франтовствомъ, начиная отъ соломенной шляпы съ черной бархатной лентой до яркаго фуляра на шеѣ, который оттѣнялъ остальной костюмъ, совершенно бѣлый.—Вы напрасно нападаете на этотъ цвѣтъ лица, Анна Григорьевна; c'est rustique, ça, а между тѣмъ очень мило.

— Рекомендую тебѣ: братецъ Анатолiй Петровичъ, сказала Варенька Сонѣ: — онъ всегда такъ любезенъ.

— Ну, не всегда, ma cousine, вы этимъ не можете похвалиться, вскричалъ кузенъ, расхохотавшись.—Мы съ вами двѣ недѣли вмѣстѣ, и двѣ недѣли не ладимъ. Это, вѣдь вы вообразить не можете, что за упрямство, продолжалъ онъ, обращаясь къ Сонѣ: — не соглашаться никогда ни въ чемъ! Cela a du piquant, cependant, когда les extremités сходятся, тутъ всегда можетъ выйти что нибудь такое...

— Я думаю ничего, кромѣ спора, возразила Варенька.

Въ комнату вошелъ мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, раскланялся церемонно, какъ всѣ дѣти, привыкшiя шалить потихоньку, и сѣлъ еще лицемѣрнѣе въ уголокъ; ему измѣнили только руки, потому что, ища занятiя, онѣ чрезъ минуту принялись барабанить по столу.

— Гдѣ ты былъ, Костя? спросила мать, взглянувъ на его лицо, на которомъ были слѣды недавняго бѣганья.

— Въ палисадникѣ, отвѣчалъ мальчикъ нѣжнымъ голоскомъ.

— Неправда! возразилъ старшiй братъ:— я видѣлъ, что ты въ рощѣ дѣлалъ и какъ бросалъ каменья въ прудъ—все видѣлъ.

— А гдѣ же былъ Василій Васильичъ? спросила мать.

— Онъ тамъ спалъ, отвѣчалъ Костя, вдругъ оживляясь,—тамъ легъ подъ березу и спалъ...

— Каково это, Господи! а ребенокъ былъ одинъ! вскричала хозяйка:—теперь гдѣ онъ?

— Не знаю. Онъ во флигель пошелъ.

— Это faire sa toilette, сказалъ Анатолій Петровичъ, обращаясь къ Сонѣ.—Вы его не видали?

— Нѣтъ, отвѣчала она.

— Ну, такъ поздравляю васъ, il se fait beau pour vous. Такъ и есть, что для васъ. Ma cousine на него не обращаетъ вниманія... вѣдь такъ, ma cousine?

Варенька не отвѣчала и сдѣлала едва замѣтный знакъ своей подругѣ. Вошелъ Артеминъ.

Соня была предупреждена находить въ немъ все необыкновеннымъ, и потому ей показалось замѣчательнымъ это смуглое лицо, густые черные волосы, короткіе и закинутые назадъ; черные глаза, черные усы, взглядъ холодный и спокойный, до того, что его можно было бы назвать лѣнивымъ. Артеминъ былъ одѣтъ изящно, но чрезвычайно просто и безъ малѣйшихъ претензій. Онъ вошелъ и раскланялся свободно, но какъ будто неясно видѣлъ тѣхъ, кто былъ вокругъ него, какъ будто между ними существовала такая нравственная преграда, что кромѣ того, что касалось обязанностей, у нихъ не могло быть ничего общаго.

— Что же это, Василій Васильевичъ? вскричала хозяйка, едва увидѣвъ его: — вамъ поручили ребенка, а вы пускаете его одного!

— Костя былъ постоянно со мной, возразилъ онъ.

— Да вѣдь Анатолій не слѣпъ... Вы тамъ спали въ рощѣ...

Варенька взглянула на Соню.

— Ты престранная, сказала ей тихо Соня: — конечно, сцена непріятная и можетъ быть еще непріятнѣе; но кому ее прервать? Не мнѣ; я едва знаю этихъ людей. Что ты сама молчишь?

— Что я скажу?

— Ахъ, что хочешь! Заговори съ Артеминымъ.

— Черезъ этотъ перекрестный огонь?.. Я никогда не рѣшусь!

— Такъ нечего и жаловаться и жалѣть о немъ. Смѣшное состраданіе, которое не хочетъ протянуть пальца, чтобъ помочь дѣйствительно.

Варенька вспыхнула.

— Вы ходили на охоту сегодня, Василій Васильичъ? сказала она, покраснѣвъ и забывшись до того, что сдѣлала шагъ къ молодому человѣку.

Ея вмѣшательство прервало упреки хозяйки и подсмѣиванье кузена, который взглянулъ на кузину съ удивленіемъ.

— Да, отвѣчалъ Артеминъ, тоже какъ будто удивленный.

— И счастливо?

— Убилъ двухъ галокъ, отвѣчалъ Анатолій Петровичъ.—Comme cette chasse vous interesse, ma cousine!.. А вы мое ружье брали, разрядили вы его?

— Конечно.

— А вѣрно не вычистили; я этого терпѣть не могу. На дняхъ давалъ свою винтовку Покрышеву: отдѣлалъ онъ мнѣ ее славно.

— Вы давали человѣку, который не понимаетъ какъ съ ней обращаться, возразилъ Артеминъ:—онъ, я думаю, никогда и не видалъ, что это такое.

— А вы видѣли?.. (Анатолій Петровичъ расхохотался). C'est du beau, ça! Вы-то гдѣ же видали винтовки?

— Я хотя ничего не понимаю, но люблю видѣть красивое оружіе, прервала Варенька, обращаясь къ Артемину.

Она покраснѣла, взглянула на Соню, которая сдѣлала ей одобрительный знакъ.

— Да, отвѣчалъ Артеминъ: — для насъ оружіе то же, что для женщинъ наряды: мы его показываемъ, хвалимся имъ... у меня была винтовка, подарокъ одного кабардинскаго князя...

— Гдѣ же она теперь? Князь прислалъ просить ее назадъ, сказалъ Анатолій Петровичъ, смѣясь сквозь зубы и вставая съ мѣста.

— Я ее продалъ, отвѣчалъ хладнокровно Артеминъ.

— Пожалуйте кушать, прервала хозяйка, которая въ теченіе этого времени успѣла выбѣжать изъ комнаты разъ двадцать.

Анна Григорьевна акуратно сложила свою работу и поднялась; Анатолій Петровичъ ушелъ, не дожидаясь повторенія; Артеминъ остался послѣдній, пропустивъ дѣвушекъ.

— Я задыхаюсь, сказала Варенька Сонѣ:—ты видишь, есть ли возможность говорить о чемъ нибудь!

— Тѣмъ лучше, возразила Соня. — Чѣмъ они нестерпимѣе, тѣмъ лучше. Какъ бы мнѣ за обѣдомъ сѣсть рядомъ съ нимъ? Познакомь насъ, садясь за столъ.

III.

Деревенскіе неразнообразные дни тянутся очень долго. Чѣмъ наполнить время отъ ранняго обѣда до жаркаго вечера, когда, наконецъ, является возможность бродить по полямъ — возможность, которою часто и не пользуются, потому что бездѣйствіе цѣлаго дня успѣло утомить, а зной сдѣлать скучнымъ все, даже природу. Благоразумные люди предпочитаютъ спать отъ обѣда до вечера, что не мѣшаетъ имъ потомъ спать ночью: ночь сотворена для сна.

Вставая изъ-за стола, тетушка Вареньки, Катерина Сергѣевна, объявила своей гостьѣ, что она пойдетъ отдохнуть, да не угодно ли и ей? Анна Григорьевна отвѣчала, улыбаясь, что не имѣетъ этой привычки, но, впрочемъ, проситъ не женироваться. Хозяйка ушла бы и безъ ея позволенія. Гостья сѣла у окна и достала опять свой анти-гра́. Обѣ дѣвушки сѣли рядомъ, и тоже взяли работу. Костя строилъ домики изъ картъ, которыя лежали на столѣ предъ диваномъ. Артеминъ стоялъ на порогѣ балкона и молчалъ. Анатолій Петровичъ покойно расположился на диванѣ и дымилъ трубкой, находя неизъяснимое наслажденіе толкать ею въ домики своего брата и заставлять его кричать; наконецъ онъ докурилъ, всталъ и нетвердыми шагами отправился къ двери.

— Вѣрно, тоже отдохнуть? спросила съ улыбкой Анна Григорьевна, прерывая молчаніе.

— Нѣтъ-съ, по хозяйству... cela m'embête. Потомъ, можетъ быть, и отдохну.

— Довольно странная привычка!

— Mais, que voulez-vous? клонитъ; вѣдь это тропическій жаръ. M-lle Sophie, помните le prince Djalma? и онъ отдыхалъ послѣ обѣда. Я ему подражаю. У меня тоже сарай, гдѣ я ложусь; только еще больше роскоши: два дворовыхъ казачка машутъ вѣтками; такъ попарно и очередуются.

— Вы настоящій plan... plantateur créole, сказала любезно гостья.

— Да-съ, отвѣчалъ хозяинъ, разсмѣявшись.—Я себѣ дозволяю эти наслажденія... Пойду спать; тамъ, проснусь, выкупаюсь и явлюсь къ вамъ frais comme une rose. Bonjour, mesdames.

Анатолій Петровичъ ушелъ. Молчаніе воцарилось снова; Анна Григорьевна снова прервала его.

— Это ужасъ что за тоска! Поневолѣ заснешь.

Она свернула свой анти-гра́ въ сак-де-вояжъ и удалилась.

Не прошло двухъ минутъ, какъ Соня встала, бросила все свое шитье въ рабочій ящикъ и дунула на огромный домъ, который построилъ Костя.

— Ахъ, что вы! закричалъ мальчикъ.

— Довольно тебѣ; пойдемъ съ нами въ рощу. Пойдемъ, Варя; пойдемте, Василій Васильичъ. Гулять жарко; мы тамъ сядемъ и будемъ работать... Старшихъ нѣтъ; мы свободны быть гдѣ намъ угодно.

— Кто же здѣсь старшіе для васъ, кромѣ вашей маменьки? спросилъ Артеминъ, сходя съ нею съ балкона.

— Всѣ, отвѣчала она весело.—Развѣ вы несогласны, что бываютъ люди, которыхъ поневолѣ признаешь надъ собой старшими? Они внушаютъ нѣчто такое... Какъ, напримѣръ, Анатолій Петровичъ... Что вы дѣлаете здѣсь въ эти длинные дни?

— Что дѣлаю? отвѣчалъ Артеминъ, да что дѣлаетъ Анатолій Петровичъ!

Соня взглянула на него изъ-подъ зонтика.

— Это ужасно! сказала она.

— Ужасно скучно, да.

— Нѣтъ, это добровольная трата жизни. Невозможно, чтобъ человѣкъ съ понятіями, съ чувствомъ, спокойно рѣшился запереть себя здѣсь...

— Что-жъ дѣлать! сказалъ Артеминъ такъ равнодушно, какъ говорятъ эти слова люди, которымъ, при выборѣ положенія, ужъ въ самомъ дѣлѣ не оставалось ничего, кромѣ крайняго средства.

Соня грустно замолчала на минуту, какъ будто думая надъ его отвѣтомъ и надъ своими словами, которыя вызвали этотъ отвѣтъ. Ея слова могли показаться обидными; они были почти вопросъ: «какая крайность заставила васъ поселиться въ этомъ домѣ?» Но есть обидныя вещи, которыми могутъ обижаться только странные и мелочные характеры... Въ самомъ дѣлѣ, можно ли обижаться, когда вопросъ предложенъ такъ кротко, съ такимъ трогательнымъ и добрымъ чувствомъ, и главное, такъ просто, такъ задушевно, что даже необдуманъ? Только женщины умѣютъ такъ увлечься, но не всякая женщина умѣетъ вложить столько нѣжной внимательности въ нескромный и рѣзкій вопросъ...

Вопросъ Сони разомъ сблизилъ ее и Артемина; прійдя на мѣсто, которое они выбрали въ рощѣ, они ужъ разговорились. Всѣ сѣли на травѣ въ кружокъ. Обѣ дѣвушки были оживлены и веселы. Артеминъ разсказывалъ что-то: много смѣялись, сами не

зная чему, но совершенно непринужденно. Маленькое общество провело самые пріятные три часа, забывъ, гдѣ оно, забывъ, что, можетъ быть, никогда опять тамъ не сойдется. Это вспомнила Варенька.

— Кто придетъ сюда, на будущій годъ, на наше мѣсто? сказала она. — Никто изъ насъ, конечно.

— Можетъ быть я, сказалъ Артеминъ.

— О, вамъ я меньше всего этого желаю! возразила Соня: — для того, чтобъ васъ не было здѣсь въ будущемъ году, я согласилась бы лучше сама прожить здѣсь одна цѣлую недѣлю.

— Чѣмъ я могъ заслужить такое доброе расположеніе? спросилъ Артеминъ.

— Скажите больше: самоотверженіе, отвѣчала она.

Артеминъ засмѣялся. Варенька покраснѣла и смутилась.

— Объясни мнѣ, продолжала Соня, обращаясь къ ней: — что я сказала страннаго? Принято знакомиться, разглядывая людей, съ которыми мы знакомимся; положено дѣлать это какъ можно продолжительнѣе... А если некогда? Если сегодня сошлись, а завтра должны разстаться, а между тѣмъ мы видимъ, что можемъ быть... даже друзьями, такъ для чего-жъ терять время въ приготовленіяхъ, которыя, право, ни къ чему не ведутъ? развѣ къ тому, чтобъ выказать насъ натянутыми и скучными и отнять у людей охоту когда нибудь сойтись съ нами?

— Вы совершенно правы, отвѣчалъ Артеминъ.

Варенька взглянула на свою подругу; ея смущеніе прошло именно отъ этихъ рѣзкихъ словъ, которыя могли бы смутить ее еще больше; но ей стало вдругъ скучно. Она сама не умѣла объяснить себѣ, почему съ этой минуты ей показалось, что она одна, что другимъ до нея нѣтъ дѣла, а потому ей говорить нечего, оживлять некого. Это, пожалуй, былъ капризъ, но изъ такихъ капризовъ, которые прогнать трудно и которые мѣшаютъ счастливо жить на свѣтѣ, потому что приходятъ часто; расположеніе духа, въ которомъ все не мило; расположеніе ума, въ которомъ все кажется неловко; смѣсь лѣни и досады—двухъ крайностей, отъ которыхъ человѣкъ становится несносенъ для себя и очень страненъ для другихъ...

Варенька замолчала. Правда, что на это никто не обратилъ вниманія. Соня и Артеминъ продолжали разговаривать.

—Есть странныя условія, говорила Соня:—напримѣръ, мы всѣ ясно видимъ что нибудь не совсѣмъ пріятное и молчимъ о томъ, чтобъ не затронуть самолюбія или другой чувствительной стороны кого нибудь изъ насъ. Не лучше ли, просто, назвать вещь по имени, и если она не пріятна, постараться вмѣстѣ ее поправить?

— Для этого нужна откровенность, сказалъ Артеминъ.

— Поменьше церемоній, и только. Но, положимъ, откровенность— почему не быть и ей?.. Неужели бы вы не обратились прямо ко мнѣ, еслибъ видѣли, что я могу чѣмъ нибудь служить вамъ... теперь, когда вы, кажется, видите, что мы сходимся въ нѣкоторыхъ мнѣніяхъ?

Она мило улыбнулась.

— Неужели бы вы отказали мнѣ въ удовольствіи быть полезной? Признаюсь, если бы я была въ затрудненіи, я бы, не задумываясь, обратилась къ вамъ...

Въ чащѣ лѣса раздался грозный голосъ Анатолія Петровича.

— Что-жъ ты одинъ бѣгаешь? опять свалишься въ канаву, какъ третьяго дня!..

— Боже мой, это онъ съ Костей! сказала Варенька, вставая.

— А развѣ съ Костей случилось что нибудь подобное? спросила Соня, смѣясь.

Артеминъ улыбнулся, но не могъ отвѣчать; что-то странное промелькнуло на его лицѣ; онъ не смутился, не потерялся, но это былъ уже не тотъ молодой человѣкъ, который, за минуту передъ тѣмъ, тоже съ улыбкою слушалъ толки молодой дѣвушки...

— Гдѣ-жъ твой-то? продолжалъ въ нѣсколькихъ шагахъ Анатолій Петровичъ:— деньги ему платятъ, а онъ гдѣ пропадаетъ?

Артеминъ поблѣднѣлъ. Варенька отвернулась.

— Есть ли кто нибудь въ мірѣ глупѣе этого Анатолія Петровича! сказала спокойно Соня. Извини, Варенька, онъ тебѣ братецъ!.. Подите къ нему, Василій Васильичъ, покажитесь, что вы не пропали; только, пожалуйста, сюда его не приводите. Подите скорѣе, а то онъ насъ найдетъ.

Артеминъ всталъ молча. Соня тоже встала.

— Мы будемъ у большой плотины. Кончайте съ этимъ братцемъ и приходите.

Артеминъ ушелъ; онъ догналъ Анатолія Петровича, и голоса ихъ послышались вдали; они спорили.

— Зачѣмъ ты его послала туда? спросила Варенька.

— Ахъ, Боже мой! хуже, еслибъ кузенъ здѣсь его нашелъ и при насъ началъ браниться... Бѣдный молодой человѣкъ! Онъ очень милъ. Будь же мила съ нимъ, Варя.

IV.

Женщины особенно любятъ сострадать; вѣчно чувствуя или воображая себя угнетенными, онѣ рады встрѣтить существо обиженное, такъ же, какъ рады, даже случайно, встрѣтить въ зеркалѣ свое отраженіе. Тогда (можетъ быть, чтобъ оправдаться предъ собою, можетъ быть, потому, что всякая женщина, болѣе или менѣе, выросла въ романическихъ идеяхъ), эгоизмъ ихъ видитъ въ этомъ состраданіи что-то возвышенное, называетъ его сродствомъ душъ и радуется тому, что имѣетъ предлогъ находить въ себѣ неисчерпаемые источники любви и силы. Послѣднее особенно важно. Въ женщинахъ, можетъ быть, нѣтъ страсти выше страсти покровительствовать, защищать и спасать. Это ихъ идея, надежда, стремленіе и цѣль, и онѣ думаютъ, что достигаютъ ея, часто поступая какъ дѣти; часто, чтобъ утѣшить себя, дополняя дѣйствительность мечтами, которыя создаетъ ихъ воображеніе... Такъ бѣдняки всегда видятъ себя во снѣ богатыми...

Жаль одного. Начавъ сострадать, казалось бы, съ очень чувствительной цѣлью, женщины — должно быть, по врожденной хлопотливости—обращаютъ чувство въ дѣло, продолжаютъ и оканчиваютъ его съ одною цѣлью: какъ нибудь занять время, котораго у нихъ всегда слишкомъ много. Эгоизмъ ихъ, прикрытый громкими и нѣжными фразами, проглядываетъ наружу, потому что заботясь о другихъ, утѣшительницы болѣе всего хлопочутъ о томъ, чтобы имъ самимъ было нескучно утѣшать и заботиться...

Къ сожалѣнію, то же можно сказать и о любви. Это чувство нерѣдко является въ видѣ прихоти, въ видѣ необходимости заняться, подъ благовиднымъ предлогомъ, что время потрачено не напрасно, что, тратя его, чувствовали, слѣдовательно, были людьми... Къ тому же, что можетъ быть занимательнѣе всѣхъ этихъ маленькихъ волненій, приключеній, ожиданій, такъ хорошо наполняющихъ часы, которыхъ безъ того было бы некуда дѣвать? Главное чувство этого занятія состоитъ въ желаніи заняться какъ можно сильнѣе, не оставить себѣ ни минуты на размышленіе, въ стараніи прожить свой день не заглядывая дальше и, главнѣйшее, въ совершенной беззаботности о предметѣ любви, хорошо ли ему, что онъ любимъ, лишь бы намъ самимъ не надоѣло любить...

Принято утверждать, что это любимая забава мужчинъ; должно сказать, однако, что это еще болѣе занятіе женщинъ. На безлюдьи, въ скукѣ, мужчина еще, можетъ быть, развлечется чѣмъ нибудь другимъ; женщина непремѣнно будетъ искать поклонника, будетъ стараться «употребить время съ пользою»... Именно эти слова и въ этомъ смыслѣ были нѣкогда записаны какъ девизъ, какъ афоризмъ, рукою одной молодой дѣвушки на нотахъ другой молодой дѣвушки...

И эта забава такъ необходима, такъ вошла въ привычку у женщинъ! Онѣ принимаются за нее такъ свободно и разстаются съ нею такъ легко, что... что онѣ потеряли право жаловаться, если даже ихъ истинное чувство будетъ встрѣчено сомнѣніемъ, а въ дурной часъ, можетъ быть, и насмѣшкой.

Остается только разобрать, должны ли правыя, то есть тѣ, которыя въ самомъ дѣлѣ истинно полюбятъ, отвѣчать за вины неправыхъ и выносить сомнѣнія и насмѣшки только потому, что съ вида, кажется, будто онѣ забавлялись, какъ забавляются виноватыя... Но этихъ исключеній такъ мало и отличить ихъ такъ трудно!..

V.

— Какой удивительный вечеръ! сказала Соня Артемину, садясь на ступеньки, которыя шли по горѣ къ пруду, и оставляя молодому человѣку мѣсто рядомъ съ собою.

Это происходило на третій день ихъ знакомства.

Артеминъ сѣлъ подлѣ Сони. Смеркалось. Липы и березы бросали густую сплошную тѣнь; вода струилась тише. Варенька стояла одна на плоту и смотрѣла, какъ звѣзды отражались въ темной глубинѣ пруда, блестя, покуда еще не взошелъ мѣсяцъ.

— Долго ли еще вы пробудете здѣсь? спросилъ Артеминъ Соню.

— Завтра, можетъ быть, послѣзавтра мы ѣдемъ.

— И только? и вы никогда больше здѣсь не будете?..

Она взглянула на него.

— А вы, поищете ли вы случая какъ можно скорѣе отсюда уѣхать?

— Непремѣнно.

— Поѣзжайте! сказала она, вздохнувъ.— Вамъ не должно оставаться здѣсь; уѣзжайте какъ можно дальше...

Она замолчала.

— Мы встрѣтились, познакомились, сошлись, все въ нѣсколько дней, и разстаемся навсегда, сказала Соня будто про себя.

— Да, сказалъ разсѣянно Артеминъ:— хороши эти короткія встрѣчи!

— Хороши тѣмъ, что не успѣваютъ надоѣсть?

— Тѣмъ, что хоть на минуту освѣщаютъ жизнь, отвѣчалъ онъ немного восторженно:—какъ вотъ эта звѣзда, что скатилась и на минуту освѣтила небо...

Варенька сдѣлала движеніе... Звѣзда, падая, освѣтила прудъ; что-то проснулось и зашевелилось въ рощѣ.

— Ты испугалась, Варенька?

— Нѣтъ, отвѣчала она, опираясь на загородку плота и придавъ ему небольшое, пріятное колыханье.

— Мнѣ пришла охота кататься. Пойдемте на плотъ, сказала Соня Артемину, вставая.

Онъ свелъ ее со ступенекъ.

— Я боюсь падающихъ звѣздъ, продолжала Соня:—онѣ дѣлаютъ на меня странное, тяжелое впечатлѣніе.

— Почему?

— У всякаго есть своя звѣзда. Можетъ быть, это моя звѣзда упала... особенно въ такую минуту...

Молодой человѣкъ поднялъ голову и сталъ считать звѣзды.

— Отчего ты не говоришь съ нимъ? спросила Соня Вареньку, переходя на ея сторону, будто для того, чтобъ отвязать плотъ.

— Не хочется...

— Какая ты странная! Цѣлый день такъ... что за капризъ? для чего-жъ ты заставила меня разговаривать съ нимъ, любезничать? Моя мать мнѣ даже сдѣлала сцену сегодня поутру за то, что я «все съ учителемъ», а твой кузенъ, который тоже хотѣлъ бы ухаживать за мной...

— Не напоминай мнѣ, не называй мнѣ этого человѣка! вскричала Варенька. Какъ, при мнѣ, смѣть приказать Артемину идти отыскивать какую-то собачонку, которая въ лѣсъ ушла! Нѣтъ, это невыносимо! Я не могу смотрѣть на Артемина, а ты хочешь, чтобъ я съ нимъ говорила. Нѣтъ, человѣкъ можетъ быть бѣденъ, несчастенъ, но я не могу видѣть, когда онъ униженъ! я не могу шутить этимъ или вѣчно дѣлать видъ, что этого не замѣчаю!

— Боже мой, сколько фразъ! Да что-жъ я-то? Помилуй, какую-жъ глупую роль ты мнѣ дала? что-жъ за отношенія мои съ нимъ? Я цѣлый день его утѣшаю, дѣлю его горе, смѣюсь съ нимъ вмѣстѣ надъ гоненіями и гонителями...

— Вѣдь тебѣ не скучно? спросила Варенька.

— Это что значитъ? спросила Соня, вглядываясь, сколько могла, въ лицо подруги и прислушиваясь къ ея дрожащему голосу.

— Если ты все съ нимъ, за то и онъ все съ тобой, продолжала тихо Варенька:—я говорю, вѣдь тебѣ нескучно?

—Ты думаешь, что я влюбилась въ твоего учителя? прервала Соня, и голосъ ея тоже дрогнулъ.—Прекрасно! А, такъ не говори даромъ... Василій Васильичъ, сказала она вдругъ, обратясь къ нему: — вы задумались?

— Нѣтъ, отвѣчалъ Артеминъ, которому дремалось.

— Пересядемте въ лодку и перевезите меня.

— То на плоту, то въ лодкѣ—какъ сегодня у васъ разнообразны желанія! сказалъ онъ, исполняя то, что ей хотѣлось.

— Что-жъ вы находите, что я капризна?

— Нѣтъ, вы только чѣмъ нибудь недовольны.

— Вы не ошиблись.

— Можно спросить, чѣмъ?

Соня посмотрѣла на него пристально и улыбнулась.

— Нѣтъ... или, впрочемъ, да, прибавила она серьезно и будто рѣшаясь.—Вы въ правѣ спрашивать: въ эти три дня мы ужъ настолько... подружились. Мнѣ досадно, когда объясняютъ какъ нибудь мелочно то, что я понимаю совсѣмъ иначе...

Она вдругъ замолчала.

— Недосказанная загадка! сказалъ Артеминъ,—и я не смѣю просить досказать ее...

— Да, потому что меня поняли... Посмотрите, Варенька предпочла тянуть плотъ одна, нежели переѣхать съ нами. Какъ вы назовете это упрямство?.. Есть отчего придти въ отчаяніе!

— Отчего-жъ?

— Развѣ вы не видите, что она удаляется отъ насъ цѣлый день? Все, что я ни дѣлаю, все ей не нравится, все не по ней.

— Конечно, вамъ непріятно, если ваша подруга не раздѣляетъ вашихъ мнѣній, не любитъ вашихъ удовольствій; но подумайте о разности характеровъ, привычекъ и условій общества, большого свѣта...

— О, этотъ большой свѣтъ!

Артеминъ улыбнулся. Лодка сильно заколебалась, останавливаясь.

— Пріѣхали, сказалъ онъ.—Не хотите ли еще кататься?

— Но посмотрите: Варенька переѣхала и выходитъ; нельзя-жъ оставить ее одну.

— Мы будемъ гулять еще?

— Опять не знаю, какъ Варенька; можетъ быть, она вздумаетъ идти домой, тогда надо будетъ и намъ возвратиться... Впрочемъ, она нашла себѣ общество; посмотрите — Костя! На что она привела его сюда?

Варенька шла къ нимъ на встрѣчу.

— Наконецъ и вы присоединяетесь къ намъ? сказалъ ей Артеминъ.

— Нѣтъ, отвѣчала она:—у меня есть проводникъ, и я буду смотрѣть за нимъ.

— Что-жъ вы опять ушли, Василій Васильичъ? вскричалъ Костя: — я безъ васъ боюсь.

— А со мной не боишься? спросила Варенька, уводя его.—Пойдемъ вмѣстѣ.

Соня посмотрѣла ей вслѣдъ.

— Пойдемте за нею, сказала она.— Что за странное существо!

— Что вы такъ безпокоитесь? спросилъ Артеминъ.—Вы давно не видѣлись, сошлись ненадолго, увидитесь нескоро; изъ чего вамъ возобновлять дружбу, которой, можетъ быть, никогда не было?

Соню на минуту возмутила совѣсть: онѣ выросли съ Варенькой и только годъ какъ разстались, когда Соня уѣхала изъ Москвы. Сказать, что между ними не было дружбы, значило отречься отъ многаго... Но объ этомъ никогда долго не задумываются.

— Нѣтъ... я ее любила, отвѣчала она.— Но и у женщинъ бываетъ, что привязанность къ мнѣніямъ сильнѣе дружбы. Могу ли я такъ много любить за какія нибудь мелочи, чтобъ не волноваться, когда мнѣ противорѣчатъ въ томъ, что составляетъ для меня правило, убѣжденіе жизни? Что-жъ? я обниму мою подругу за то, что она раздѣляетъ мою привязанность... напримѣръ, къ лиловому цвѣту, а чрезъ минуту поссорюсь съ ней за условія свѣта, которымъ она покоряется какъ ребенокъ!..

— Да; но значитъ, вы хотите дружбы, которая невозможна, сказалъ Артеминъ.

— Знаю, сказала Соня, вздохнувъ: — я знаю, что я странное существо.

— Вы?

— Да; а вы не замѣтили?

Онъ подалъ ей руку; она оперлась на нее. Становилось темно.

— Какъ это тяжело! продолжала Соня почти про себя и въ раздумьи: — какъ это больно, когда не понимаютъ насъ, когда, сами пустыя сердцемъ, воображаютъ, что и наше сердце также пусто; когда думаютъ, что и намъ, какъ имъ, лишь было бы кругомъ общество, да наряды, и мы счастливы, а дайте балъ — забудемъ и истинное горе!.. О, прошу васъ, повѣрьте, я не такова. Если въ эти нѣсколько дней я могла показать вамъ, что въ моей душѣ есть что-то лучшее... Я горда, я не хочу быть какъ другіе. Я не могу молчать, когда чувствую, и притворяться спокойной, когда волнуюсь...

— Я понимаю васъ, сказалъ тихо Артеминъ...

Онъ пожалъ ручку, которая была въ его рукѣ; Соня отвѣчала на пожатіе. Нѣсколько секундъ они шли молча. Ей вздумалось взглянуть въ лицо, взглядъ котораго она на себѣ чувствовала. Она дождалась поворота дорожки, когда полный, ровный лунный свѣтъ озарилъ все лицо Артемина.

Соня испугалась... Вѣроятно, Артеминъ позабылъ объ этомъ поворотѣ дорожки и о томъ, что на небѣ уже взошла луна; иначе онъ спряталъ бы насмѣшливую, злую улыбку и торжествующій дерзкій взглядъ, которые сіяли на лицѣ его...

Соня испугалась, но нашлась тутъ же. Она еще крѣпче пожала руку Артемина.

— Благодарю васъ, сказала она.— Я рада, что мой характеръ и мое простое обращеніе доставили мнѣ хоть нѣсколько дней истинной дружбы. Вы не забудете меня; вы скажете, что знали женщину, которая не умѣла хитрить и не старалась понравиться. Не правда ли?

Маленькія ручки такъ смѣло сжимали его руку, звучный голосъ дѣвушки былъ полонъ такого непритворнаго добраго чувства, что Артемину стало, едва ли не въ первый разъ въ жизни, немного совѣстно, и онъ удивился, чего съ нимъ тоже давно не случалось.

— Вы вспомните когда нибудь, продолжала она: — что встрѣтили существо, которое обращало вниманіе на всю житейскую прозу не для того, чтобъ надъ ней посмѣяться, а чтобъ какъ нибудь ужиться съ нею, украсить ее. Я не ставлю этого въ добродѣтель, потому что это должное; но не всѣ поступаютъ такъ, и потому вспомните меня этимъ... Вспомните странное существо, которое желало для себя странной дружбы...

— Прекрасное существо! прервалъ Артеминъ, увлеченный невольно:—странное потому, что слишкомъ хорошо, слишкомъ непохоже на обыкновенныхъ женщинъ, способныхъ притворяться и кокетничать, но неспособныхъ ни чувствовать, ни утѣшать... Позвольте представить примѣръ и назвать вещи по имени? Можно?

— Говорите.

— Вы замѣтили, что мнѣ здѣсь очень... скучно... Нѣтъ, извините! Я началъ, думая, что буду въ состояніи кончить: но есть вещи, за которыя можно благодарить, которыя можно помнить вѣчно, и о которыхъ говорить тяжело... Еслибъ вы даже приказали мнѣ забыть, я бы не послушался васъ!..

— Перестаньте, сказала она: — говорите просто: отъ вашихъ словъ мнѣ будетъ весело на душѣ. Анатолій Петровичъ и Костя, и вся эта глушь... не такъ несносны вамъ кажутся въ послѣдніе три дня?

— Напротивъ! вскричалъ Артеминъ, совершенно откровенно: — еслибъ всегда такъ...

— Мнѣ только это и было нужно, прервала она тихо. — Если вы лишній разъ вспомните обо мнѣ...

— Какъ о самой восхитительной женщинѣ! отвѣчалъ онъ, увлекаясь и стараясь разсмотрѣть это личико, обращенное къ нему такъ довѣрчиво.

Соня это замѣтила.

— Не говорите мнѣ этого, сказала она серьезно и печально.—Обыкновенно это говорятъ женщинамъ, которымъ ничего нельзя сказать больше; а я, признаюсь, самолюбива. Въ жизнь мою не хотѣла я восхищать, но хочу и стараюсь, чтобъ меня помнили. Мы встрѣтились, разойдемся — что мнѣ въ вашемъ восхищеніи? Я говорю откровенно. У меня нѣтъ и не было поклонниковъ, людей, на которыхъ бы я «сдѣлала сильное впечатлѣніе», какъ хвалятся мои подруги... Начинать ли съ васъ вести имъ счетъ?.. Какъ мнѣ тяжело говорить это! Неужели глубокое и прямое чувство, которое я надѣялась заслужить отъ васъ, должно кончиться этимъ пошлымъ восхищеніемъ? О, нѣтъ, я этого не хочу!

— Я не знаю, чего вы хотите, отвѣчалъ Артеминъ съ волненіемъ:—знаю только, что когда вы уѣдете...

— То оставлю вамъ совѣтъ: уѣзжайте отсюда сами, не тратьте напрасно вашихъ способностей, не давайте скучать вашей душѣ, займитесь, встрѣтите дружбу — будьте довѣрчивы.

— Встрѣчу ли я васъ когда нибудь?

— Кто знаетъ! сказала она грустно и прибавила, взглядывая на него:—все можетъ быть.

Случай или разсчетъ — но лунный свѣтъ упалъ въ эту минуту на ея лицо, и Артеминъ сказалъ, схвативъ обѣ ея руки:

— Можно встрѣтиться нечаянно, но можно и постараться встрѣтиться?

Варенька, которая шла за нѣсколько шаговъ впереди, обратилась къ нимъ.

— Теперь нѣтъ больше сомнѣнія, что погода хороша, сказала она: — Анатолій Петровичъ еще не легъ спать; вотъ онъ на балконѣ.

— Подите же къ вашему воспитаннику, сказала Соня тихо Артемину.

— О, пусть онъ сломитъ себѣ шею!

— Ждала ли я этого, подавая благіе совѣты? отвѣчала она, смѣясь.

VI.

Было ужъ поздно, и весь домъ спалъ. Окно въ комнатѣ молодыхъ дѣвушекъ было открыто; мѣсяцъ уже зашелъ; ночь казалась еще темнѣе отъ блеска свѣчи, освѣщавшей комнату: густая зелень сиреней у окна едва колыхалась отъ легкаго вѣтра; вѣтки, освѣщенныя огнемъ, казались страннаго, металлическаго зеленаго цвѣта; тѣ, которыя уходили въ тѣнь, висѣли тяжелыми черными массами. Стволы березъ бѣлѣли далеко въ рощѣ; дальній конецъ аллеи едва виднѣлся свѣтлой точкой; все сглаживалось, сливалось, исчезало, и цвѣта и звуки.

Въ ожиданіи Сони, которая пошла къ своей матери и еще не возвращалась, Варенька была одна; она сидѣла у окна и плакала.

Въ первую минуту, когда она стала смотрѣть въ темный садъ, любуясь ночью, и слезы набѣжали ей въ глаза, она удивилась, не слезамъ — онѣ давно захватывали ей грудь — но тому, что не понимала имъ причины. Въ самомъ дѣлѣ, отчего ей такъ тяжело, такъ грустно вотъ ужъ цѣлые два дня? отчего все ее какъ-то волнуетъ? отчего ей досадно всякое занятіе? отчего она ни о чемъ говорить не можетъ?.. А Соня говоритъ обо всемъ такъ свободно! При этой мысли слезы Вареньки полились сильнѣе.

— Она такая веселая! ей можно смѣяться надъ Анатоліемъ Петровичемъ: онъ ей не родной... Артемину дѣлаютъ непріятность, она обращаетъ все въ шутку и ему самому шутитъ его досадой. Какъ она смѣла? Впрочемъ, ей легко... Я едва попросила его принести мнѣ въ садъ мой шелкъ, какъ тетушка кричитъ: «Ахъ, матушка! на то есть казачокъ; ему должно съ Костенькой быть!» А Соня все утро удила съ нимъ рыбу на плоту и его никто не позвалъ: она гостья, посторонняя; ее надо занимать... Если онъ печаленъ, она прямо его спрашиваетъ: что

съ нимъ? и ему это пріятно. А я!... цѣлыя двѣ недѣли живу въ одномъ домѣ съ нимъ, насмотрѣлась на все, и не только не умѣла выразить участія, не умѣла ничѣмъ показать, что я не пустая, неприступная барышня, которой нужны только свѣтъ, да балы... Что-жъ! сама я виновата теперь, что онъ любитъ Соню...

Варенька зарыдала.

— А развѣ я меньше ея жалѣю о немъ, меньше понимаю, какъ ему тяжело, какъ ему совѣстно предъ нами, предъ собой? Не я ли просила ее, чтобъ она была добра съ нимъ, потому что я не умѣю, не знаю какъ за это взяться... я боюсь, что ему покажется обидно даже участіе, боюсь, что онъ не повѣритъ этому участію! Есть же счастливыя женщины, свободныя, потому что умѣли вѣрно разобрать законы приличій свѣта и слѣдуютъ имъ, не стѣсняя движеній своей души, находятъ милыя, откровенныя слова и говорятъ ихъ, находятъ простыя движенія и дѣлаютъ ихъ... Онѣ легко нравятся и въ правѣ нравиться... О, какіе счастливые характеры! надо родиться съ умѣньемъ жить такъ!

Соня вошла.

— Маменька слышать не хочетъ оставаться здѣсь еще день, сказала она:—говоритъ, что ей скучно. Мы ѣдемъ завтра.

Варенька не отвѣчала. Соня подошла къ ней, остановилась, посмотрѣла на нее и вдругъ рѣшилась, взяла ее за руки и отвела ихъ отъ лица.

— Ты плачешь, Варя? что съ тобой? Ради Бога, прости меня!.. скажи, не я ли тебя огорчила?

Варенька бросилась ей на шею.

— Нѣтъ, вскричала она:—ты ни въ чемъ не виновата!

— Въ самомъ дѣлѣ? О чемъ же ты плачешь?

— Такъ... скажу послѣ... или напишу.

— Ну, хорошо. А я подумала... Входятъ же въ голову такія глупости. Слушай, я буду болтать; это тебя развеселитъ... Я не хочу плакать съ тобой сегодня: я внутренно хохочу какъ сумасшедшая... Слушай. Я подумала, что тебѣ стало досадно, что я немножко кокетничала съ Артеминымъ. Конечно, серьезно онъ не можетъ тебя занять, но такъ, знаешь, чтобъ провести время... Я думала, что онъ тебѣ нравится, а сама... Прости меня, я ужасно смѣялась въ душѣ! Ты видѣла мое обращеніе съ нимъ въ эти три дня: я для него громовой отводъ противъ грубостей почтеннаго семейства здѣшнихъ хозяевъ; я утѣшаю его въ скорби, я ободряю его на будущее... Еслибъ ты послушала, сколько фразъ я ему наговорила на этотъ текстъ, ты бы умерла со смѣху!

— Неужели ты притворилась? спросила Варенька съ удивленіемъ.

— Неужели ты хоть одну минуту думала, что я не забавляюсь? спросила Соня разсмѣявшись.—Помилуй! на каждую встрѣчу—истинное чувство, много ли его останется? Довольно того, что я не насмѣшничала надъ нимъ съ самаго начала.

— Какъ насмѣшничала?

— Да, и это быть могло. Но сначала я не хотѣла сама забавляться, а только хотѣла показать тебѣ, какъ забавляются. На первый день я была учтива и внимательна. На второй—догадлива и предупредительна. На третій... Но если сегодня, вечеромъ, я подурачила бѣднаго Артемина, то виновата ты, никто больше.

— Я?

— Да, ты. Ты меня немножко раздосадовала... Весь день я только читала ему фразы, да смѣялась надъ твоими кузенами, это было еще ничего... Вечеромъ падающія звѣзды навели на насъ туманное расположеніе духа, а ты уколола мое самолюбіе. Я заговорила съ нимъ о самой себѣ... Но тутъ... Ахъ, какъ я было жестоко ошиблась!

— Что такое? поспѣшно спросила Варенька съ какой-то тайной радостью.

— Я болтала, болтала и... примѣтила, что онъ какъ будто воображаетъ, что я... занята имъ, и какъ будто готовъ этому смѣяться. Я не выношу этихъ вещей; за то и блистательно поправилась: я все вдругъ обратила на строгое чувство дружбы, и... поручусь, что ему не спать нынѣшнюю ночь, конечно!

Варенька почти съ ужасомъ взглянула на свою хорошенькую подругу; Соня смѣялась и смотрѣлась въ зеркало.

— Говорятъ, мы самолюбивы, мы легковѣрны, продолжала она.—Но кто же самолюбивѣе и легковѣрнѣе мужчинъ? Едва обратишь на нихъ вниманіе, такъ, отъ нечего дѣлать, изъ жалости, они воображаютъ, что ужъ побѣдили! Должно быть, имъ льстятъ ихъ зеркала, право... Мы, женщины, убѣдились же, что они лгутъ ровно половину изъ того, что говорятъ намъ; кажется, и между ними было довольно обманутыхъ, чтобъ отучить ихъ думать о себѣ такъ высоко!.. А потомъ, продолжала она обращаясь къ Варенькѣ:—замѣть, какую надо съ ними уловку. Это, впрочемъ, изобрѣтеніе новѣйшаго

времени, когда они начали искать женщинъ, сильныхъ душою. Не говори имъ, что ты боишься чего нибудь, что любишь кого нибудь, что ты думаешь о нарядахъ, о нашихъ работахъ — этого ничего ненужно; это все мелочно. Какъ можно больше о любви къ человѣчеству, о назначеніи въ жизни, о желаніи помочь имъ, человѣкамъ, въ ихъ трудахъ... Ты понятія не имѣешь, что это за труды и нисколько ими не интересуешься, но все равно: ты должна сказать, что желала бы, хоть видѣть, какъ они совершаются. Говори все это смиренно, но чтобъ и въ смиреніи проглядывала твоя сильная душа. Стремись быть не предметомъ любви, а братомъ для того, кого изберешь, чтобъ подурачить...

— Чѣмъ же это кончится? спросила Варенька.

— Чѣмъ?.. Non curiamo l'incerto domani... Впрочемъ, почти навѣрное въ тебя влюбятся, какъ Артеминъ влюбился въ меня нынѣшнимъ вечеромъ. Для чего ты пропустила такія славныя двѣ недѣли? какъ бы ты весело ихъ провела! Прости меня, душка; я пріѣхала, подурачилась и отняла у тебя занятіе.

— Я имъ и безъ того не пользовалась, отвѣчала Варенька.

— Надѣюсь, ты говоришь это безъ насмѣшки, безъ презрѣнія?

— Ты можешь быть увѣрена.

— Я и безъ того увѣрена, сказала Соня, поцѣловавъ ее.—Ты такая милая, я покаюсь тебѣ: мнѣ бы очень хотѣлось остаться здѣсь хоть завтра, чтобъ посмотрѣть, какое впечатлѣніе я по себѣ оставлю... Но, дѣлать нечего... Будь мила; ты остаешься, разспроси, узнай.

— Какъ это?

— Просто, именемъ дружбы... Вѣдь и вы немного сошлись въ эти дни: все же не такіе чужіе, какъ были до моего пріѣзда.

— Правда, отвѣчала, вздохнувъ, Варенька.

— Пора спать. Хоть я и ѣду завтра, хоть мы еще нескоро увидимся, но прощай... у меня еще въ ушахъ чувствительный голосъ Артемина...

VII.

Опять жаркій, безоблачный день. Садъ дремлетъ отъ зноя; воздухъ тихъ; желтые цвѣты повѣсили головки; не видно даже птицъ; только бабочки мелькаютъ надъ запущеннымъ цвѣтникомъ, бѣлыя, пестрыя.

Въ домѣ тихо, какъ всегда въ послѣобѣденное время. Хозяева спятъ. Костя строитъ домики. Артеминъ стоитъ, прислонясь головой къ притолкѣ балкона, и смотритъ въ садъ: Варенька вышиваетъ, спустивъ стору, которая не защищаетъ ея отъ солнца. Въ комнатѣ такое безмолвіе, что всякое изъ этихъ дѣйствующихъ лицъ можетъ думать, что оно одно. Потому и Варенька, забывшись, подняла голову и долго смотрѣла на Артемина, не сводя глазъ. Ея вниманіе не было замѣчено.

Ей было ужасно скучно. Наканунѣ уѣхала Соня, но Вареньку мучила не скука. Подруга, правда, приносила развлеченіе, но она принесла гораздо болѣе печали. Какъ и почему, Варенька старалась разобрать это.

Въ годы благоразумія мы говоримъ себѣ, что наши поступки, чувства, отношенія, обстоятельства, насъ окружающія, бѣды, которыя падаютъ намъ на голову, радости, немного взволновывающія этотъ сплошной туманъ, который мы называемъ нашей вседневной жизнью — что все это мелко и не стоитъ разбора... У насъ есть свой идеалъ чувства чего-то лучшаго, чего-то болѣе полнаго, нежели комедіи, которыя въ глазахъ нашихъ разыгрываютъ наши ближніе, чтобъ занять свое праздное время. Чувствуемъ ли мы сами или нѣтъ — до этого нѣтъ никому дѣла; но мы не можемъ сочувствовать этому развлеченію; глядя на него, мы негодуемъ и скучаемъ.

Но молодость разбираетъ и принимаетъ къ сердцу все, что ни случается съ нею или кругомъ нея; ей все кажется огромно и важно, даже то, что сама же она придумаетъ, запутаетъ и не знаетъ какъ развязать потомъ... То же дѣлала Варенька. Она разсмотрѣла, хотя смутно, что мнѣнія ея подруги опровидывали все, чѣмъ она привыкла увлекаться, и ей стало грустно и страшно. Она понимала, что ее могутъ обмануть, но не хотѣла умѣть обманывать: ей дали урокъ. Она не хотѣла называть себѣ чувство, которое привлекало ее къ молодому человѣку (неучтивому до того, что теперь онъ цѣлые полчаса не оглянется на нее), но надо было найти слово противоположное слову *забава*, которымъ Соня назвала свое обращеніе съ нимъ... Такъ если не забава, что-жъ это?

Варенькѣ было стыдно, но стыдно не за себя, даже не за Соню: она была увѣрена, что вся эта игра сыграна искусно и незамѣтно. Ей было стыдно, что *можно* играть

въ такую игру. Эта, пожалуй, романическая идея волновала ее до слезъ. Ей показалось необходимо оправдаться предъ Артеминымъ; какъ, въ чемъ, она хорошенько не придумала; но такъ какъ у маленькаго чувства всегда бываетъ огромная обстановка, необыкновенное краснорѣчіе и сильнѣйшая восторженность, то Варенька рѣшилась не откладывать и не терять времени.

— Пойдемте въ рощу, сказала она немного тихо для особы рѣшительной, такъ тихо, что еслибъ не общее молчаніе, то ея голоса никто бы не услышалъ.

— Что вамъ угодно? спросилъ Артеминъ, оборачиваясь.

— Пойдемте въ рощу, какъ тогда... повторила она очень несмѣло.

— Пойдемте. Возьми фуражку, Костя, сказалъ развязно Артеминъ, исполняя желаніе Вареньки совершенно равнодушно, безъ удовольствія и безъ принужденія... Ей хотѣлось бы хоть принужденія!

— Какъ здѣсь было весело тотъ разъ, сказала она, проходя по дорожкѣ.

— Да. Вы хотите повторить это удовольствіе.

— Это невозможно: Сони нѣтъ.

— И удовольствія не повторяются; даже будь здѣсь m-lle Sophie, вы бы ужъ не нашли въ другой разъ тѣхъ же впечатлѣній.

— Можетъ быть, сказала Варенька, начиная чувствовать, что мужество ее оставляетъ, и жалѣтъ, что придумала эту прогулку.— Но если не впечатлѣнія, то воспоминанія...

— Воспоминанія!.. какъ это чувствительно!

Артеминъ разсмѣялся.

— Я очень люблю Соню, возразила Варенька.

— Такъ вамъ дорого каждое ея слово, и вы идете внимать, не сохранились ли звуки ея словъ въ глубинѣ лѣсовъ?

Варенька взглянула на него съ удивленіемъ.

— Жаль, что она не узнаетъ этого! сказалъ Артеминъ.—Или узнаетъ? вы ей напишете?

— Напишу непремѣнно. Я хочу, чтобъ она знала, какъ я ее люблю и помню.

— Вы ей доставите большое удовольствіе.

— Не сомнѣваюсь.

— Да... Но именно удовольствіе по ея характеру. Она очень старается, чтобъ ее помнили. Какъ у всякаго человѣка бываютъ свои претензіи, то у m-lle Sophie есть претензія на воспоминаніе, впрочемъ, очень извинительная... я хотѣлъ сказать, очень похвальная.

Варенька взглянула на него съ удивленіемъ, съ досадой, почти съ негодованіемъ. Женщины всегда оскорбляются, когда получаютъ урокъ, прямой или косвенный, хотя бы онъ былъ справедливъ до послѣдняго слова, хотя бы за минуту онѣ сами обвиняли себя и были готовы просить прощенія; онѣ всегда возстаютъ противъ словъ, призывающихъ ихъ къ покаянію, если даже сами вызовутъ эти слова. За себя или за другую женщину онѣ оскорбляются — все равно... Варенькѣ хотѣлось сказать этому человѣку, который смѣлъ смѣяться надъ особой, любимой ею, что онъ неблагодарный, что онъ скучалъ и былъ забытъ, а это игривое существо заставило его пріятно прожить три дня; она хотѣла вступиться какъ за общую обиду, забывъ, что сама не оправдывала Сони, не соглашалась съ ея мнѣніями, но Артеминъ обратился къ ней, смѣясь:

— Она должна весело жить, не правда ли, вашъ другъ? (онъ сдѣлалъ удареніе на этомъ словѣ).—Ее все занимаетъ; она принимается за все съ такимъ откровеннымъ увлеченіемъ, и не замѣчаетъ, если не успѣваетъ... что должно случаться съ ней нерѣдко, потому что у нея занятій много. Она не горюетъ, потому что не замѣчаетъ неудачъ; въ ней есть... тайная сила самосознанія и самодовольства, которая за все вознаграждаетъ. Кто скажетъ, что это ослѣпленіе, тотъ будетъ весьма отваженъ! Я и не говорю этого. Я, напротивъ, утверждаю, что у m-lle Sophie самый милый характеръ, способный довольствоваться немногимъ, всѣмъ, что попадется подъ руку, способный быть вѣчно веселымъ и игривымъ, не затрудняясь, еслибы даже дѣло шло о вещахъ серьезныхъ, еслибъ даже ея шутка могла заставить кого нибудь подумать, что ей ничего не значитъ шутить чувствомъ, потому что для нея самой чувство—только нарядъ, который она надѣваетъ, когда находитъ нужнымъ.

— Для чего? спросила Варенька, и голосъ ея прервался отъ волненія; она вдругъ вспомнила всѣ слова своей подруги и не находила больше опроверженія на слова Артемина.

— Для чего? повторилъ Артеминъ: — для чего женщины выказываютъ чувство? Вѣдь могутъ найтись люди съ такимъ дурнымъ вкусомъ, что вѣчный смѣхъ утомитъ ихъ,

разговоръ безъ мысли наведетъ на нихъ зѣвоту, остроуміе покажется имъ пошло, а игривость надоѣстъ. Чтобъ возстановить себя во мнѣніи этихъ людей, есть маленькія фразы, маленькія ужимки, которыя съ вида кажутся настоящимъ, неподдѣльнымъ чувствомъ; онѣ идутъ тогда въ дѣло. Бывали люди — вѣрили!

— А вы?.. начала Варенька и остановилась.

— Я? я никогда не вѣрилъ, но всегда пользовался случаемъ видѣть эти маленькія комедіи: я ихъ ужасно люблю. Я даже допускалъ себя обманывать, чтобъ доставить себѣ удовольствіе спросить подъ конецъ, кого же здѣсь обманываютъ?.. Вы смотрите на меня, какъ будто мои слова васъ удивляютъ.

— Они въ самомъ дѣлѣ могутъ удивить.

— Васъ? Не думаю.

— Почему?

— Васъ, свѣтскую дѣвушку?.. Послушайте, мы одни; никто не узнаетъ, даю вамъ слово, что свѣтская дѣвушка покаялась въ томъ, что ей очень хорошо извѣстны всѣ уловки кокетства, особенно этого кокетства чувствъ, которое теперь въ модѣ и въ ходу.

— Вы думаете, что я...

— Но какъ же не думать! Я не говорю, что вы пользуетесь этими средствами — я говорю только, что вы ихъ знаете. Признаться въ томъ съ вашей стороны была бы добродѣтель. Вашъ другъ, m-lle Sophie, употребляетъ эти средства прямо и откровенно; вы скрытны или осторожны, или вы болѣе горды; послѣднее вѣрнѣе. Вы разборчивы — и васъ не займетъ то, что ее занимаетъ; къ тому же, вы робки...

— О, сколько достоинствъ! Жаль, что нѣтъ здѣсь Сони, чтобъ послушать это сравнительное описаніе нашихъ характеровъ.

— Я бы не сказалъ вамъ этого при ней, отвѣчалъ хладнокровно Артеминъ.

— Почему?

— Женщины—дурные друзья. Вы показались мнѣ добрѣе вашего друга, и я бы ей не выдалъ васъ.

— Что это значитъ?

— Право, ничего. Вообще, вы должны ужъ привыкнуть къ вашимъ размолвкамъ, соперничествамъ, ко всей этой недостойной путаницѣ, которую вы называете вашей дружбой. Мы, мужчины, не выносимъ ея вообще. Вотъ почему въ частности мнѣ смѣшна и странна дружба ваша съ m-lle Sophie.

Онъ замолчалъ, потомъ вдругъ засмѣялся.

— Чему вы смѣетесь? спросила Варенька.

— Своей мысли!

— Ваша мысль должна быть дурна и зла, сказала она съ чувствомъ и раздраженіемъ.

— Почему вы такъ думаете? спросилъ онъ, взглянувъ на нее.

Варенька немного поблѣднѣла.

— Да, повторила она:—дурна и зла. Вы хотите, чтобъ я не вѣрила, что меня любитъ Соня, какъ сами не вѣрите...

— Чему?

— Что она...

Артеминъ взглянулъ на нее опять и опять разсмѣялся.

— Что я... выговорила Варенька.

— Что вы?

Но взглядъ, который онъ бросилъ на нее при этомъ словѣ, былъ полонъ такой серьезной насмѣшки, спокойной злости и торжества, что бѣдная дѣвушка пошла скорѣе, опередила его и, едва пройдя дорожку, побѣжала въ домъ.

Артеминъ не пошелъ за нею; онъ позвалъ Костю и переправился на плоту въ рощу. Тамъ онъ легъ подъ деревья, пока бѣгалъ его питомецъ. Спалъ ли онъ и какіе сны онъ видѣлъ — не касается до этой исторіи.

Варенька плакала и весь вечеръ не выходила изъ своей комнаты.

На другой день, къ счастью, отецъ прислалъ за нею. Она уѣхала; прощанье было просто, офиціально... какъ всѣ прощанья...

У ЖЕНИХА И У НЕВѢСТЫ.

СЦЕНА.

1853 г.

I.

Вечеръ. Большая и красиво-убранная гостиная, освѣщенная только одною лампою; въ отворенныя двери видно, что другія комнаты пусты и темны. МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА, молодая и хорошенькая дѣвушка, работаетъ, сидя передъ лампою. ВЕСЕНЬЕВЪ, молодой человѣкъ, ходитъ по комнатамъ. Долгое молчаніе. Время отъ времени, Марья Михайловна смотритъ на Весеньева съ какимъ-то страхомъ и печалью. Весеньевъ продолжаетъ ходить, ничего не замѣчая. Она принимается работать съ усиленнымъ прилежаніемъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ [проходя]. Какая ужасная погода! [Смотритъ въ окно].

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [работая]. Да, дождь и вѣтеръ.

ВЕСЕНЬЕВЪ [садится подлѣ нея]. Что вы сказали?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Я говорю, что дождь... Вы устали ходить?

ВЕСЕНЬЕВЪ. У васъ зарябило въ глазахъ отъ моей прогулки?.. Нестерпимое время!..

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Да, оно должно вамъ казаться продолжительно.

ВЕСЕНЬЕВЪ [въ раздумьи]. Знаете ли, что мнѣ пришло сейчасъ въ голову? Я смотрѣлъ въ окно, чтобъ разглядѣть, что дѣлается на улицѣ, и вмѣсто того, въ темныхъ стеклахъ видѣлъ только свое лицо, какъ въ зеркалѣ...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Такъ что-жъ?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Несносно. Видѣть только себя, думать только о себѣ...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [смѣется немного рѣзко]. Вотъ этому я не повѣрю!

ВЕСЕНЬЕВЪ. Чему? Чтобъ я думалъ только о себѣ?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Теперь? Конечно, нѣтъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Напротивъ, теперь именно, потому что теперь для меня рѣшительный часъ. Моя мать поѣхала сватать за меня невѣсту: о комъ же мнѣ думать, какъ не о себѣ?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [не поднимая глазъ отъ работы]. О вашей невѣстѣ.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Я знаю, что мнѣ не откажутъ. Визитъ моей матери дѣлается только для формы; черезъ часъ она возвратится и вы меня поздравите.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Отъ всей души.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Я въ этомъ увѣренъ, потому что привыкъ считать васъ не чужою. Два года, какъ мы видимся всякій день.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Да, два года, какъ я живу у вашей матери и она замѣняетъ мнѣ мать и родныхъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ [подвигается ближе и смотритъ ея работу]. Два года!.. Знаете ли, вѣдь это давно.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Очень...

ВЕСЕНЬЕВЪ. Представьте, что мнѣ вспомнилось: мы никогда въ эти два года не оставались такъ, вдвоемъ...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Сколько разъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Въ самомъ дѣлѣ? а мнѣ показалось... Что же мы дѣлали тогда?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Не знаю. Вы бывали заняты другимъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Можетъ быть. Вѣроятно, и вы тоже.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Не помню.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Да, каждый изъ насъ велъ свою жизнь по-своему... Довольны ли вы жизнью, Marie?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [взглядываетъ на него]. А вы?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Я?.. Не очень, если сказать вамъ откровенно... Каково это, живя вмѣстѣ, мы никогда не говорили съ вами откровенно! Но что-жъ? лучше никогда, чѣмъ поздно.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Вы перемѣшали немного.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Что я сказалъ? Ахъ, да! лучше поздно, чѣмъ никогда. Но вы меня довольно знаете, я хорошо знаю васъ [она взглядываетъ на него опять], и мы можемъ говорить безъ объясненій... Мнѣ что-то тяжело.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Отъ ожиданія?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Можетъ быть и отъ ожиданія... но, нѣтъ, не думаю. Во мнѣ какое-то безпокойство.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Оно очень понятно.

ВЕСЕНЬЕВЪ [смотритъ на нее пристально]. А какъ вы его понимаете?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [тихо и такъ спокойно, что спокойствіе кажется принужденнымъ]. Очень просто. Вы любите такъ сильно и искренно, вы ждете столько счастья отъ вашей любви, что теперь, въ рѣшительный часъ, вы безпокоитесь за нее.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Marie, я люблю не въ первый разъ.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [смущенно]. Тѣмъ сильнѣе вы должны любить. Вы ужъ испытали чувство и знаете, что можетъ сдѣлать васъ счастливымъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Въ томъ-то и бѣда, что я не знаю этого.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Какъ это?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Не знаю, увѣряю васъ. Это чувство такъ разнообразно! Кто-то сказалъ, что оно прихоть; но по крайней мѣрѣ оно является въ самыхъ прихотливыхъ видахъ. Богъ знаетъ, что намъ нравится. Сегодня, когда грустно, мы ищемъ сочувствія; завтра, когда весело на душѣ, ищемъ веселой души, не изведавшей горя, не вникающей въ жизнь, души нѣжной и впечатлительной, потому что горе и пониманіе жизни дѣлаютъ насъ какъ-то грубѣе...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Грубѣе?..

ВЕСЕНЬЕВЪ. Да. Согласитесь, что, испытавъ горе, лишенія, утраты, вглядѣвшись въ нихъ пристально, мы становимся уже не въ состояніи дѣтски смѣяться и дѣтски радоваться бездѣлицамъ, которыми веселитъ насъ жизнь; мы становимся строже къ тѣмъ, кого онѣ еще радуютъ; мы почти не понимаемъ этихъ людей... а если и понимаемъ, по старой памяти того, что когда-то бывало съ нами, то раздѣляемъ ихъ веселость, какъ будто снисходя и прощая... Согласитесь, это не льститъ тѣмъ, кому мы снисходимъ и прощаемъ. Никто не захочетъ видѣть себя въ положеніи ребенка, съ которымъ играютъ по добротѣ сердца. Послѣ этого пріятна ли, можетъ ли удовлетворить насъ и сдѣлать счастливыми печальная любовь?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Что-жъ дѣлать?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Конечно, женщина не виновата, если, пославъ ей несчастія, судьба заставила ее поневолѣ сдѣлаться серьезнѣе и строже; но вмѣстѣ съ тѣмъ она сдѣлалась и взыскательнѣе къ нашимъ недостаткамъ, рѣшительнѣе... она потеряла свою грацію, она стала грубѣе, какъ я уже сказалъ. Къ тому-жъ, у такихъ женщинъ есть воспоминанія; а еслибъ вы знали, какъ мы не любимъ воспоминаній!

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Вѣроятно, столько же, сколько и мы ихъ не любимъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ [смѣется]. Въ самомъ дѣлѣ?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Вы сейчасъ сознались въ движеніи самолюбія, надо же признаваться и женщинамъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ. О! мы знаемъ, что у женщинъ самолюбія много, и потому щадимъ его.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Мы это знаемъ тоже. Напримѣръ, вы сейчасъ сказали мнѣ, что любите не въ первый разъ; но вы не сказали этого вашей невѣстѣ?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Нѣтъ... А почему вы знаете?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [очень серьезно]. Вы бы не захотѣли огорчить ее.

ВЕСЕНЬЕВЪ [подумавъ]. Ваша правда. Но, знаете ли, мнѣ это не приходило въ голову.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Какъ, вы не разбирали никогда, что можетъ огорчить ее?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Нѣтъ... Но она всегда такъ весела и беззаботна, что разбирать и размышлять некогда.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Тѣмъ лучше: васъ не будетъ огорчать серьезность вашей невѣсты.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Можетъ быть... Но знаете, Marie, вы такъ часто повторяете, что m-lle Cathérine моя невѣста...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [взглядываетъ на него и тотчасъ, опустивъ глаза, отвѣчаетъ, несовсѣмъ спокойно]. Что-жъ, въ эту минуту она, быть можетъ, ужъ ваша невѣста.

[Молчаніе. Весеньевъ облокачивается на столъ и смотритъ на нее пристально].

ВЕСЕНЬЕВЪ. Будьте откровенны, Marie. Всегда ли вамъ бываетъ весело?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [оглядывается съ волненіемъ]. Мнѣ? всегда.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Это странно... Еслибъ вы знали, какъ мнѣ тяжело и скучно.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Это тоже странно.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Зачѣмъ вы такъ насмѣшливо улыбнулись?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Еслибъ m-lle Cathérine это слышала... Вы не тревожитесь, что вамъ откажутъ, вы увѣрены въ вашемъ будущемъ счастьи, а вамъ тяжело и скучно!

ВЕСЕНЬЕВЪ. Что-жъ изъ этого? [Она смотритъ на него съ удивленіемъ]. Какъ женщины самолюбивы! Неужели онѣ предполагаютъ, что вся наша жизнь, всѣ чувства, всѣ желанія поглощаются въ любви къ нимъ; что добиваться ихъ руки уже такое блаженство, за которое ничего не жаль отдать?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. А! вамъ жаль вашей свободы.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Ни мало. Мнѣ жаль моего чувства... Ради Бога, не смотрите такъ странно-насмѣшливо. Мнѣ тяжело и я готовъ высказаться всякому, кто захочетъ меня выслушать. Васъ я мало знаю... вовсе не знаю, но дайте мнѣ ошибиться и не считать васъ за женщину кокетливо-равнодушную, которыхъ такъ много. Мнѣ нужно участіе. Будете ли вы добры и терпѣливы? Въ состояніи ли вы не обвинять, выслушивая признанія?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Говорите.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Я прожилъ молодость, какъ всѣ молодые люди. Сейчасъ, я вамъ признался, что много разъ любилъ и—вы повѣрите, потому что шутить и притворяться не время—я не разъ бывалъ любимъ. Я хорошо узналъ эту опасную игру. Сначала я отдавался ей всей душою; не стыжусь признаться, что я увлекался, страдалъ, сходилъ съ ума. Это было прекрасное время! За наслажденіе, которое испытывалъ, я охотно прощалъ, если даже меня обманывали, если даже смѣялись надо мною... Но скоро ко мнѣ явилось размышленіе. Странно, оно пришло среди полнаго счастья. Я разглядѣлъ, что всѣ впечатлѣнія, приносившія мнѣ столько блаженства, были только повтореніемъ одно другого... Не улыбайтесь; я знаю, что это не ново, но тѣмъ не менѣе это несчастье... Конечно, эти повторенія являлись разнообразны, но разнообразны столько, сколько былъ я самъ настроенъ, чтобы принять ихъ. Натурально, что чувство были сильно. только до тѣхъ поръ, пока душа была для него настроена; настроеніе проходило, съ нимъ проходило и чувство...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Неужели любовь зависитъ отъ расположенія духа?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Отъ погоды! Отвѣчать за себя невозможно... Кажется, эти слова вамъ не нравятся...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Нѣтъ, говорите, прошу васъ... Но когда вы переставали любить, вы отыскивали какой нибудь недостатокъ въ любимой женщинѣ?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Къ чему?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Чтобъ оправдать себя, я думаю.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Будьте безпристрастны: найти легко.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Да! вы уже сказали: не любите слезъ.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Я не люблю и смѣха. Вѣчно веселая рѣзвушка заставитъ меня потерять терпѣніе... Вы хотите сказать, что m-lle Cathérine весела? Изъ этого ничего не слѣдуетъ?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [смущена]. Конечно.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Или, вѣрнѣе, слѣдуетъ окончаніе моего признанія. Я женюсь, потому что замѣтилъ на балѣ хорошенькое личико и что, говорятъ, мнѣ пора жениться. Родные рѣшили это между собою... Что съ вами?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [закрываетъ руками лицо]. Боже мой! и только...

ВЕСЕНЬЕВЪ. Да, не правда ли, тяжело?.. Я не могу сказать, что не люблю ее! но кто скажетъ мнѣ, найду ли я съ нею хоть одну минуту отраднаго, обдуманнаго чувства?—вотъ чего мнѣ жаль! [Молчаніе]. Не говорите, что я эгоистъ. Есть что-то высокое въ желаніи мыслить. Это желаніе украшаетъ любовь, и мнѣ его жаль. Женщинѣ, можетъ быть, довольно того, что восхищаются ея красотой; этого мало для меня: я знаю, что можно столько-жъ восхищаться другими; помню, что я уже восхищался прежде, и что это прошло; чувствую, что моя душа занята еще не вполнѣ. Я не думаю сколько, много ли чувства внушу я; я самъ хочу его испытывать... Таланты—они хороши для постороннихъ, когда еще только начинается сближеніе; они привязываютъ недолго и забываются въ ощущеніи болѣе развитомъ... Кокетливая игривость ума... Богъ знаетъ, какую изнанку найду я у свѣтской обычной болтовни, которая сблизила меня съ этой дѣвушкой; можетъ быть, въ этомъ умѣ исчезло чувство... Говорятъ, она кротка и добра; говорятъ, я буду счастливъ... Буду ли я доволенъ? Капризное сердце!.. [Долгое молчаніе]. Знаете ли, кого бы мнѣ хотѣлось встрѣтить? Женщину безъ претензій на красоту, забывающую о

томъ, что она молода, любящую такъ сильно, чтобъ у нея достало мужества скрывать свою любовь... Не правда ли, это мужество?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Я думаю. [Берется за работу].

ВЕСЕНЬЕВЪ. Еслибъ я нашелъ такую женщину...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Вы бы ее не замѣтили.

ВЕСЕНЬЕВЪ. При ней, я увѣренъ, я бы не оглянулся на мое прошедшее, не сталъ бы искать въ немъ образа, похожаго на нее... Тамъ нѣтъ такого образа! Надо мною не тяготѣло бы принужденіе объяснять, какъ ребенку, оправдывать, какъ судьѣ, всѣ мои поступки, всѣ движенія моей души; ей все и такъ было бы понятно. Привязанность къ ней не прошла бы отъ расположенія духа...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Вы ошибаетесь въ себѣ.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Почему?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Потому что теперь вы разсуждаете такъ тоже отъ расположенія духа.

ВЕСЕНЬЕВЪ [съ увлеченіемъ]. Можно ли говорить это въ такую минуту, когда я переслѣдилъ все мое прошедшее, когда я готовлюсь перемѣнить всю мою жизнь!.. [она взглядываетъ на него съ испугомъ]. И у меня нѣтъ силъ...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Не стыдно ли? Это ли счастье вы ей готовите?

ВЕСЕНЬЕВЪ. О, довольно ей и этого счастья! Свѣтская избалованная женщина — такихъ женщинъ тысячи — она не разглядитъ и не пойметъ...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Кто вамъ сказалъ это? Не трудясь заглянуть ей въ душу, вы ее ужъ осудили!.. Вамъ нужно занятіе, говорите вы: займите, развейте ея душу. Безъ горечи и осужденія замѣтьте, чего недостаетъ въ ней и постарайтесь пробудить эти чувства... Иногда, чтобъ пробудить ихъ, стоитъ только ихъ назвать!.. [Весеньевъ смотритъ на нее съ удивленіемъ]. Вы жалуетесь, что мы несносны вѣчной веселостью и мучимъ, когда разсуждаемъ. Кто виноватъ? Кто научитъ насъ не впадать въ крайность, когда мы часто нарочно, насильно впадаемъ въ крайность, стараясь нравиться вамъ? Какъ хотите вы, чтобъ сердце, усталое отъ горя, когда нибудь не высказалось въ жалобѣ, не бросилось искать утѣшенія въ воспоминаніяхъ. Знаете ли вы, хотите ли вы догадаться, что нашъ смѣхъ часто скрываетъ горькія слезы, слезы, можетъ быть, вызванныя вами? Знаете ли вы, что часто мы смѣемся и шутимъ для того, чтобъ не дать вамъ замѣтить вашей собственной вины?.. Цѣните ли вы это?.. Можете ли вы знать сколько и какъ мы способны любить, когда не хотите разсмотрѣть сколько и что мы способны понять?.. Не оправдывайтесь теперь: вы это дѣлаете вѣчно. Думая о себѣ, только о себѣ, вѣчно объ одномъ себѣ, вы не замѣчаете ничего вокругъ себя. [Увлекаясь]. Чего вы пожелали сейчасъ? — любви самоотверженной до того, чтобъ она умѣла скрываться предъ вами... [останавливается, замѣчая взглядъ Весеньева].

ВЕСЕНЬЕВЪ [послѣ минутнаго молчанія, тихо, но съ волненіемъ]. Марie, скажите мнѣ, отчего въ два года вы никогда не говорили такъ со мною?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [смущена и въ волненіи]. Не знаю... Не случалось.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Но могло бы случиться...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Судьба!

ВЕСЕНЬЕВЪ. Не самъ ли я виноватъ, что не зналъ васъ? Еслибъ я постарался сблизиться съ вами, еслибъ вызвалъ васъ на откровенный разговоръ... Скажите, вы не отказали бы мнѣ...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Въ чемъ?

ВЕСЕНЬЕВЪ. Въ счастьи говорить въ вами.

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Это счастье?..

ВЕСЕНЬЕВЪ. Не смѣйтесь, не мучьте меня! Да, счастье, необходимое мнѣ счастье... и оно было такъ близко!

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [стараясь казаться покойною]. Что-жъ, стало быть, оно не было необходимо, когда вы его не искали. Въ человѣкѣ всегда есть какой-то инстинктъ, который заставляетъ его обращать вниманіе только на то, что ему нужно... а вы... [съ горечью] вы меня не замѣчали... стало быть...

ВЕСЕНЬЕВЪ. Марie, но еслибъ...

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Что?

ВЕСЕНЬЕВЪ [хочетъ взять ея руку]. Захотѣли ли бы вы показаться такою, каковы вы на самомъ дѣлѣ?

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Не знаю.

ВЕСЕНЬЕВЪ. Почему? Почему вы говорите такъ только теперь, въ этотъ часъ, въ этотъ страшный часъ?..

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА. Еслибъ не этотъ часъ, я бы не говорила съ вами. Еслибъ ваша участь не была уже рѣшена, я бы не позволила себѣ высказаться. Вы не хотѣли замѣчать меня; какимъ именемъ назвали бы вы поступки бѣдной дѣвушки, которая бы старалась обратить на себя ваше вниманіе? [Увлекаясь]. Какъ бы вы осмѣяли ея чувство?.. И даже еслибъ вы не осмѣяли его, трудиться, чтобъ вызвать вниманіе, овладѣть чувствомъ насильно — нѣтъ!.. Еслибъ вы сами сдѣлали одинъ шагъ...

ВЕСЕНЬЕВЪ [схватывая ея руку]. Тогда?..

МАРЬЯ МИХАЙЛОВНА [опомнясь]. Мы разговорились не во время. Лучше никогда, чѣмъ поздно... Слышите ли? ваша матушка возвратилась... Поздравляю васъ.

II.

Вечеръ. Гостиная. M-lle CATHERINE, молодая дѣвушка, одна, читаетъ у лампы. ОДОЕВЪ, молодой человѣкъ, входитъ.

CATHERINE [оставляя книгу]. Здравствуйте, милости просимъ.

ОДОЕВЪ. Ваша маменька?..

CATHERINE. Ея нѣтъ дома, я одна. Я жду двухъ-трехъ моихъ знакомыхъ; мнѣ сказали, что вы пришли, и я велѣла принять васъ... Въ самомъ дѣлѣ, почему мнѣ не принять васъ одной?

ОДОЕВЪ. Не знаю.

CATHERINE. Я невѣста, то есть почти свободна, почти госпожа своихъ поступковъ; надо же мнѣ, по крайней мѣрѣ, поучиться,какъ живутъ свободные люди... хотя бы, напримѣръ, одной принять стараго знакомаго... Вамъ это какъ будто не нравится?

ОДОЕВЪ. Что?

CATHERINE. Моя затѣя — принять васъ. Право, вы такъ строго, церемонно, тотчасъ спросили о маменькѣ... вамъ бы ужъ кстати спросить о моемъ женихѣ.

ОДОЕВЪ. Да, въ самомъ дѣлѣ? Какъ его здоровье?

CATHERINE. Почему-жъ я знаю? Я вижу его, правда, всякій день, но онъ человѣкъ порядочный и не говоритъ о томъ, о чемъ я не спрашиваю. Кажется, кто-то говорилъ, что ему вредны весна и осень, но у насъ теперь только зима... Какъ вы странно смотрите! Что-жъ я сказала особеннаго? Кажется, вы всегда желали видѣть хладнокровіе въ женщинахъ, даже и мнѣ совѣтовали... Помните наши долгіе разговоры? какъ давно это было!.. Какъ видите, мой главный недостатокъ остался при мнѣ; я дѣлаю, что хочу, я своевольна попрежнему.

ОДОЕВЪ. Что-жъ, въ добрый часъ, если вамъ такъ хорошо.

CATHERINE. Вы снисходительны!

ОДОЕВЪ. Что-жъ мнѣ не быть снисходительнымъ.

CATHERINE. Да, въ самомъ дѣлѣ... [Продолжаетъ, помолчавъ и будто съ усиліемъ] Вѣрите вы чему нибудь?

ОДОЕВЪ. Очень многому.

CATHERINE. Даже когда говорю я?

ОДОЕВЪ. А развѣ вы чувствуете, что вамъ не всегда можно вѣрить?

CATHERINE. Не смѣйтесь, я говорю серьезно.

ОДОЕВЪ. Потрудитесь припомнить, кто былъ первый врагъ вѣчнаго смѣха.

CATHERINE. Да... Но это было давно, а потомъ вы принялись всему смѣяться?

ОДОЕВЪ. Что-жъ мнѣ оставалось больше дѣлать, какъ не смѣяться?

CATHERINE. Чему?

ОДОЕВЪ. Это мое дѣло.

CATHERINE. Надъ собой? надо мною?..

ОДОЕВЪ. Вы хотите что-то сказать.

CATHERINE. Я спрашивала, чему вы смѣетесь?

ОДОЕВЪ. Нѣтъ, вы прежде для чего-то спросили, вѣрю ли я.

CATHERINE. О, вы не хотите отвѣчать!.. Все равно. Я докажу вамъ, что не всегда же вы судите безошибочно, что вы могли не понимать меня, что я могу быть откровенна... хотя, быть можетъ, и не должна, хотя и поздно... Вѣрите ли, что я хотѣла видѣть васъ, говорить съ вами?

ОДОЕВЪ [спокойно]. Для чего?

CATHERINE [сконфузясь]. Такъ.

ОДОЕВЪ. Странно!

CATHERINE [ободрившись, смѣло]. Позволяю вамъ отгадывать.

ОДОЕВЪ. Мои отгадки могутъ быть такъ же странны, какъ ваши загадки; вы можете быть ими недовольны...

CATHERINE. Договаривайте: «какъ бывала недовольна не одинъ разъ».

ОДОЕВЪ. Да, случалось.

CATHERINE. Отгадывайте же!

ОДОЕВЪ. Кажется, вы и сами не знаете, зачѣмъ хотѣли меня видѣть, и будете рады, если я какъ нибудь самъ это объясню, выведу васъ изъ затрудненія.

CATHERINE. Какъ это понять?

ОДОЕВЪ. Просто. У женщинъ бываютъ затѣи, капризы; онѣ сами не знаютъ, какъ ихъ растолковать себѣ, и очень рады, если кто нибудь имъ растолкуетъ, особенно когда истолкователь догадается сдѣлать это любезно, польстить самолюбію...

CATHERINE. Вы неисправимы.

ОДОЕВЪ. И потому, что неисправимъ, не берусь объяснять вашего каприза.

CATHERINE. Вы все тотъ же, все тотъ же!

ОДОЕВЪ. Перемѣняться поздно.

CATHERINE [взволнована]. Боже мой!.. Куда ушло время?..

ОДОЕВЪ. Позвольте! Не вздумалось ли вамъ сдѣлать нѣчто въ родѣ revue retrospective,

обозрѣнія событій и чувствъ за прошлое время?

CATHERINE. Еслибъ и такъ?

ОДОЕВЪ. Полноте! Для особы съ вашимъ сильнымъ, рѣшительнымъ характеромъ, что такое прошедшее? Я не узнаю васъ! Прошло — прошло! стало быть, ничто въ этомъ прошедшемъ не стоило васъ, когда вы ничего изъ него не сохранили—это такъ натурально. Вы бы всматривались, еслибъ было зачѣмъ. Вы бы любили, еслибъ было кого любить...

CATHERINE. Вы безжалостны!

ОДОЕВЪ. Къ кому?.. Я помогаю вамъ дѣлать обзоръ событій и, кажется, успокоиваю васъ. Для меня только нѣсколько удивительно, что вы принялись за этотъ обзоръ и что васъ нужно успокоивать. Повторяю: это не въ вашемъ характерѣ.

CATHERINE. А вы знаете мой характеръ?

ОДОЕВЪ. Кажется... Около пяти лѣтъ я его изучаю.

CATHERINE. И увѣрены, что узнали его?

ОДОЕВЪ. Да, увѣренъ.

CATHERINE. Напримѣръ, что вы узнали?

ОДОЕВЪ. Сказать это было бы также безполезно...

CATHERINE. Какъ что?

ОДОЕВЪ. Какъ вамъ разбирать прошедшее?

CATHERINE. Вы хотите сказать, что и я неисправима.

ОДОЕВЪ. Это до меня не касается.

CATHERINE. Давно ли?

ОДОЕВЪ [серьезно]. Давно.

CATHERINE. Или вы молчите о прошедшемъ, потому что ужъ поздно, потому что я невѣста?.. Чему вы улыбаетесь?

ОДОЕВЪ. Извините, но позвольте не вѣрить въ вашу страсть къ вашему жениху.

CATHERINE. Почему не вѣрить? скажите.

ОДОЕВЪ. Нѣтъ, это будетъ опять та же исторія неудовольствій, недомолвокъ, размолвокъ, непонятыхъ или превратно истолкованныхъ словъ...

CATHERINE. Все равно, вы начали, говорите.

ОДОЕВЪ. Вы и вашъ женихъ встрѣтились пять разъ и протанцовали двѣ мазурки. Онъ не влюбился въ васъ, онъ уже бывалъ влюбленъ, пожилъ, усталъ; ему сказали, что пора жениться. Вы... Вамъ двадцать три года?

CATHERINE. Вы знаете.

ОДОЕВЪ. Жениху вы сказали меньше, но все равно. Вы шесть лѣтъ выѣзжаете... Пора. Кого-жъ вы увѣрите, что любите вашего бѣднаго жениха?

CATHERINE. Не васъ. Вы ничему не вѣрите.

ОДОЕВЪ. Не трудитесь никого увѣрять. Знаете, такъ ужъ лучше безъ увѣреній. Въ этомъ есть какое-то холодное, злое достоинство, но все-таки достоинство. Не увѣряйте и вашего жениха: онъ человѣкъ раздражительный, болѣзненный; кто знаетъ, ему могутъ придти въ голову фантазіи о счастьѣ имѣть въ подругѣ жизни утѣшительницу, которая хранитъ, лелѣетъ, потому что любитъ, и прочее тому подобное. Въ такихъ фантазіяхъ слишкомъ тяжело разочаровываться. Но вы, вѣроятно, имѣли мужество и догадливость сказать ему прямо, чтобъ онъ не фантазировалъ, чтобъ онъ ничего не ждалъ? Вы растолковали ему, что соединяетесь съ нимъ брачными узами, потому что вамъ обоимъ пора—и только? Если вы сказали это, вы прекрасно сдѣлали, я удивляюсь вамъ! Я уважаю откровенность, даже откровенность эгоизма...

CATHERINE. Mr. Одоевъ!

ОДОЕВЪ. Напримѣръ, теперь, когда, не любя вашего жениха, вы доказываете это тѣмъ, что сами напрашиваетесь на воспоминанія.

CATHERINE. Я напрашиваюсь?

ОДОЕВЪ. Зачѣмъ же вы меня приняли?

CATHERINE. Вы... болѣе нежели странны!

ОДОЕВЪ. Я дерзокъ? Нисколько. Я вамъ удивляюсь.

CATHERINE. Вы не понимаете, что мнѣ тяжело?

ОДОЕВЪ. Позвольте не вѣрить: никто не принуждалъ васъ идти замужъ, вы сами поставили себя въ это положеніе.

CATHERINE. Еслибъ и такъ, еслибъ я поступила опрометчиво, дала слово не подумавъ...

ОДОЕВЪ. О, еще разъ, позвольте не вѣрить! Что за страсть выказываться то жертвой, то легкомысленной дѣвочкой! Вы ничего не дѣлаете не подумавъ. Въ обществѣ вы кажетесь спокойною, счастливою...

CATHERINE. Кажусь! Каково казаться!

ОДОЕВЪ [смѣется]. Извините, я считалъ васъ находчивѣе и не думалъ, что вы прибѣгнете къ такой старой фразѣ. Этимъ фразамъ уже давно никто не вѣритъ. Если, въ самомъ дѣлѣ, въ душѣ—смерть, кружева на умъ не пойдутъ...

CATHERINE. Вы не повѣрите, но за минуту до вашего прихода, когда только доложили о васъ...

ОДОЕВЪ. Вамъ вошло въ голову посмотрѣть на человѣка, которому когда-то по вашей милости бывало очень тяжело?

CATHERINE. Вамъ? вамъ бывало тяжело?

ОДОЕВЪ. Для чего притворяться удивлен-

ной? Вы очень хорошо знаете, что я любилъ васъ и что вы меня мучили безъ всякой церемоніи. Давно это было... Теперь вы подумали: какъ бы взглянуть, что этотъ человѣкъ, приходитъ ли въ отчаяніе или равнодушенъ, или можно еще его помучить разными revues retrospectives... да, кстати, ужъ и себя помучить, расшевелить въ себѣ что-то такое, необъяснимое, воображаемое чувство. Можно придумать вотъ что: «Ахъ, что мы дѣлаемъ? Свиданіе, воспоминаніе прошлаго, когда я—невѣста другого...» Вы покушались это придумать. А въ самомъ дѣлѣ—вамъ все равно, ничего не значитъ...

CATHERINE. Все?

ОДОЕВЪ. Конечно. Что-жъ? Я не повторю, что люблю васъ. Прошло ли это, нѣтъ ли, я не объясняю... не потому, чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, вы испугали меня тѣмъ, что вы невѣста, а... такъ. Это ни къ чему не ведетъ. Если вы невѣста другого, значитъ, въ прошедшемъ не было ничего лестнаго для моего самолюбія, что-жъ и говорить?.. Впрочемъ, я знаю, въ чемъ я былъ виноватъ...

CATHERINE. Потрудитесь сказать, въ чемъ?

ОДОЕВЪ. Къ чему? я уже успѣлъ сказать вамъ довольно непріятнаго, могу наговорить и еще... Удержаться мудрено: все-таки во мнѣ невольно поднимается истинное, оскорбленное чувство... Вы меня мучили.

CATHERINE. Опять! Вы повторяете это въ третій разъ! Чѣмъ же васъ я мучила?

ОДОЕВЪ. Вы спрашиваете?.. Вы были своенравны, кокетливы, капризны, тщеславны, мелочны, настойчивы; вы воображали, что можно взять власть маленькими муками, которыя вы изобрѣтали, не замѣчая, что всякую минуту терзали, оскорбляли ими того, кто васъ любилъ до сумасшествія... того, кто вамъ все прощалъ за себя и, какъ милости, просилъ, чтобъ вы, для васъ самихъ, перестали играть въ эту злую игру... какъ милости просилъ, чтобъ вы не смѣялись надъ совѣтомъ, который давалъ съ такой любовью... И это продолжалось три года! Три года терпѣнія, совѣтовъ, просьбъ! И терпѣніе не оборвалось, но время убѣдило, что все напрасно, и совѣты, и просьбы; что въ женщинѣ самолюбіе выше всего; что женщина не хочетъ понять, съ какой цѣлью ей совѣтуютъ, не замѣчаетъ даже любви, когда любовь не щадитъ ея мелочнаго упрямства, не благоговѣетъ предъ ея капризами, не оправдываетъ ея недостатковъ... когда любовь не слѣпа и осмѣливается доказывать, что любимая женщина неправа...

CATHERINE. И беретъ на себя трудъ исправлять эту любимую женщину?.. Необыкновенно безкорыстный, благородный, трогательный, почти родительскій трудъ, необыкновенное довѣріе къ здравому смыслу женщины, братское желаніе возвысить ее до себя... но это несносно!.. Я тоже высказываюсь. Вы раздражены противъ меня, а мнѣ вы наскучили. Понимаете ли вы это? Женщина несносна съ мелочами и капризами, а какъ вы несносны съ вашимъ умомъ! Совѣты! уроки! Право, мы не дѣти, а вы смѣшны, нестерпимы съ вашимъ педантствомъ!.. Мы васъ поняли. Сначала, мы запуганы, слушаемъ васъ, вѣримъ вамъ, потомъ видимъ, что это все одно и то же, что мы не такъ виноваты, какъ вы насъ представляете, наконецъ... наконецъ, вы намъ наскучили вашими поученіями и мы часто виноваты вамъ на зло!.. Вы были измучены! А я не была измучена? я не боялась васъ? не благоговѣла предъ вами? другіе, посторонніе, не смѣялись надо мною, надъ моей покорностью предъ вами? Я все это вынесла! я была смѣшна, пока... пока вы мнѣ не наскучили!.. Я была зла, говорите вы? а вы не въ тысячу ли разъ злѣе? Сейчасъ, когда я хотѣла васъ видѣть, сама не зная зачѣмъ, потому что на душѣ у меня стало какъ-то тревожно и грустно, какъ вы объяснили мое желаніе? — опять шуткой, опять насмѣшкой...

ОДОЕВЪ. Какъ же объяснить его иначе?

CATHERINE. О, право, женщины не такъ дурны, какъ вы о нихъ говорите, чтобъ чѣмъ-нибудь оправдать вашу собственную жестокость!

ОДОЕВЪ. Можетъ быть.

CATHERINE. Только «можетъ быть»?

ОДОЕВЪ. Что-жъ сказать больше?

CATHERINE. Да, теперь я съ вами согласна: сказать больше нечего, потому что слишкомъ тяжело...

ОДОЕВЪ. Не знаю.

CATHERINE. Вы не сознаетесь, что вамъ тяжело?

ОДОЕВЪ. Я какъ-то не умѣю настраивать себя на извѣстный ладъ, въ извѣстную минуту; знаю, что процессъ настраиванья начинается съ revue retrospective...

[Входятъ двѣ пріятельницы m-lle Cathérine; она здоровается съ ними. Одоевъ встаетъ].

CATHERINE [Одоеву]. Какъ, ужъ вы уходите?

ОДОЕВЪ. Да.

CATHERINE. До свиданія; нашъ споръ еще не конченъ. [Одоевъ уходитъ].

ПРІЯТЕЛЬНИЦА. Cathérine, вѣдь это старая страсть?

CATHERINE. Э, душка, старая глупость!

Впрочемъ, мнѣ случалось дѣлать и глупѣе этого — ты сама знаешь. Вѣдь у насъ съ вами, mesdames, секретовъ не было.

ПРІЯТЕЛЬНИЦА. Ахъ, шалунья! Однако, смотри, ты теперь невѣста: какъ еще это покажется...

CATHERINE. Кому?.. Вотъ вздоръ! Я еще заставлю Одоева ухаживать за собою; вѣдь я буду свободна. Это славная идея! а какъ мы посмѣемся, mesdames... Здѣсь, въ гостиной, слишкомъ чинно; пойдемте ко мнѣ въ комнуту, поболтаемъ... это мои послѣдніе дни...

ИСПЫТАНІЕ.

РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

1854 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Вы приказали мнѣ уѣхать. Вы представили столько доказательствъ необходимости этой разлуки, вы такъ защищали вашу идею, что я не могъ не покориться, хотя не признавалъ и не признаю справедливости этой идеи. Слышу отсюда, какъ вы повторяете ваши прощальныя слова: «Стало быть, это необходимо, когда, несмотря на противорѣчія, вы все-таки уѣзжаете». Да, я уѣхалъ, потому что вы приказали; будетъ ли изъ этого прокъ—не знаю, не думаю....

«Вы запретили мнѣ и писать къ вамъ, но я пишу. Успокойтесь: это письмо будетъ первое и послѣднее; я сдержу слово и сдѣлаю все, что вы хотите. Я даже не описываю вамъ ни моего путешествія, ни мѣстности, которая теперь предо мною, ни людей, которыхъ успѣлъ увидѣть. Я даже не отмѣчаю, откуда пишу; почтовый штемпель навѣрное сотрется: можете воображать меня хоть въ Америкѣ. Того ли вамъ хотѣлось? Мы исчезнемъ другъ для друга. На долго ли?..

«Это необходимо», говорили вы: «мы мѣшали другъ другу. Слишкомъ сходные въ понятіяхъ, въ чувствахъ, мы только повторяли сами себя другъ для друга; слишкомъ привязанные другъ къ другу, мы находили хорошее только въ самихъ себѣ, что мѣшало намъ привязываться къ другимъ; занятые только провѣркою нашихъ убѣжденій, мы не могли вполнѣ жить дѣйствительностью...» Не парадоксы ли это?.. Не понимаю, какъ я могъ уступить вамъ въ послѣднемъ спорѣ, который окончательно рѣшилъ мой отъѣздъ. Теперь, издали, когда я одинъ, всѣ ваши доводы кажутся мнѣ нисколько не логичными; кромѣ того, они были жестоки, потому что бросили меня въ то одиночество, въ которомъ я теперь. Мнѣ не съ кѣмъ подумать...

«Вы этого и хотѣли. «Посмотримъ», говорили вы, «надолго ли станутъ и къ чему поведутъ насъ наши убѣжденія, предоставленныя на волю, неподдержанныя отголоскомъ другихъ, родныхъ убѣжденій...» Что это за испытаніе? Знаете ли, это немного романически? Я одинъ, и скучаю; очень радъ, если и вамъ скучно.

«У васъ была странная прихоть. Неужели мы не были счастливы? Чего еще намъ было желать? Читать, размышлять вмѣстѣ, находить другъ у друга совѣтъ и утѣшеніе, среди чужихъ быть нечужими, отдыхать довѣрчиво и разумно отъ всѣхъ мелочей нашего свѣта—неужели этого недовольно? И, прибавьте, это не ссорило насъ съ свѣтомъ, не выставляло насъ странными напоказъ:

это дѣлалось тихо и никому не мѣшало, не мѣшало и намъ жить какъ другіе, имѣть знакомства, бывать въ обществѣ... Но, нѣтъ, вы разобрали тонко, хитро, что мы слишкомъ исключительно любимъ другъ друга, что ваше воззрѣніе можетъ связывать мое, и наоборотъ, что мы тогда только будемъ въ правѣ сказать, что мы сильны, когда испытаемъ наши силы порознь. Наконецъ, вы сказали, что такъ вѣчно прожить невозможно...

«Это ужасныя слова. Я и не думалъ, что наши отношенія когда нибудь могутъ перемѣниться. Да, въ этомъ понятіи я жилъ какъ дитя, безъ будущаго, а вы заставили меня оглянуться. Но въ вашемъ ли характерѣ этотъ взглядъ? Что нужды, долго или нѣтъ продолжалось бы это наслажденіе души, которое я находилъ при васъ? Я сказалъ, что мы любимъ другъ друга; вы и сами не называли иначе этого чувства; но развѣ эта любовь то же, что любовь другихъ? Вы сами не хотѣли, чтобъ она была тѣмъ же, но и я не могъ бы любить васъ, какъ любятъ другіе. Вы мнѣ необходимы какъ свѣтъ и вмѣстѣ какъ товарищъ, который извинитъ мнѣ многое, потому что понимаетъ жизнь... Но я высказывалъ вамъ это столько разъ!

«Итакъ, вы хотите посмотрѣть, что будетъ съ нами, устоятъ ли наши правила, выживутъ ли наши убѣжденія среди впечатлѣній другого рода и одинокіе? Посмотримъ. Предупреждаю васъ только, что брошу здѣсь все, если меня одолѣетъ тоска, и въ какое нибудь прекрасное утро явлюсь опять передъ вами.

«Прощайте, милый другъ, строгая сестра, добрый товарищъ. Я сердитъ на васъ, кончая письмо еще больше, нежели при началѣ; оно первое и послѣднее: кончивъ его, мнѣ останется только... Но я не долженъ говорить о моей дѣйствительности. Конечно, о моихъ чувствахъ я могъ бы наговорить вамъ и больше, но всего никогда не скажешь...»

Шатровскій сложилъ письмо, запечаталъ, надписалъ его и принялся смотрѣть въ окно. Комната, гдѣ сидѣлъ онъ, была гостиная маленькаго деревенскаго дома, съ старинной мебелью, съ блѣдными гравированными портретами, высоко привѣшенными на бѣлыхъ штукатуренныхъ стѣнахъ. Въ растворенныя двери были видны слѣва такая же бѣлая зала, справа комната съ балкономъ, маленькія и низкія, какъ гостиная; но все вмѣстѣ это жилье глядѣло весело, уютно; въ немъ какъ будто еще жило чье-то прошлое счастье. Этотъ домъ былъ точно добрый родной, готовый принять съ лаской, угостить чѣмъ Богъ послалъ и утѣшить, если можетъ и чѣмъ можетъ. Простота и тишина его внушали тихое и пріятное чувство.

Молодой жилецъ испытывалъ это чувство. Опираясь локтями на столикъ съ наклеенной деревянной рѣзьбой, на которомъ лежало его запечатанное письмо, онъ весело задумался. Свѣжее лѣтнее утро, свѣтившее въ окно, какъ нельзя лучше отвѣчало улыбкѣ на оживленномъ лицѣ молодого человѣка. Онъ думалъ о той, къ которой сейчасъ написалъ письмо...

Это была дувушка, почти ровесница ему, дочь одного почтеннаго господина, жителя города N*. Шатровскій зналъ ихъ, когда еще учился въ гимназіи этого города и впослѣдствіи, пріѣхавъ туда служить, сошелся съ ними опять, какъ съ родными. Лизавета Андреевна Ельнова была не красавица, но очень мила; отецъ ея, рано овдовѣвъ, сдѣлалъ себѣ товарища изъ своей единственной дочери; заставлялъ ее читать и заниматься, и вмѣстѣ съ тѣмъ требовалъ, чтобъ она не забывала ни женскихъ работъ, ни женскихъ нарядовъ—всего, что дѣлаетъ женщину привлекательною послѣ того, какъ серьезное и прямое направленіе образованія и ума дѣлаетъ ее достойною уваженія и нескучною съ первыхъ дней близкаго знакомства. Лизавета Андреевна была свѣтская и ученая женщина, хозяйка и отличная швея, и умѣла согласить это съ ровнымъ, милымъ характеромъ, полнымъ самой искренней веселости и довѣрчивости.

Шатровскій былъ радъ опять съ ней встрѣтиться. Дѣтьми, они очень любили другъ друга, вмѣстѣ учили уроки и толковали о нихъ, вмѣстѣ прочли первый романъ и потолковали о немъ; еслибъ это чтеніе случилось не за мѣсяцъ до отъѣзда Шатровскаго въ университетъ, можетъ быть, семнадцатилѣтній молодой человѣкъ и пятнадцатилѣтняя дѣвушка полюбили бы другъ друга; но онъ уѣхалъ, возвратился черезъ шесть лѣтъ, и они встрѣтились только какъ друзья. Между ними, какъ въ первые годы, явилось довѣріе, желаніе быть вмѣстѣ, желаніе думать вмѣстѣ; по природѣ и по воспитанію оба были охотники мечтать и разбирать. Невозможно пересказать всѣхъ ихъ споровъ, толковъ, гдѣ они высказывали свои чувства, мысли, убѣжденія, гдѣ они разби-

рали все отъ самыхъ возвышенныхъ предметовъ до мелочей ихъ свѣтской жизни. Они всегда находили время для этихъ разборовъ. Такъ прошло два года. Ни Шатровскій, ни Лизавета Андреевна не полюбили никого, потому что, почти не разставаясь, знали только другъ друга; но почему они не полюбили другъ друга? Можно безошибочно отвѣчать, что этому помѣшали общечеловѣческіе вопросы, которыми они занимались на досугѣ и въ которыхъ терялась мысль о самихъ себѣ...

Это было странное положѐніе, въ которомъ оба лица обманывались не одинъ въ другомъ, а каждый въ самомъ себѣ: Лизавета Андреевна, по совершенному отсутствію самолюбія, не замѣчала, что она управляетъ умомъ и поступками Шатровскаго; Шатровскій, напротивъ, не замѣчалъ, что нравственно зависитъ отъ нея, и считалъ себя главнымъ лицомъ въ этой дружбѣ; онъ даже высказывалъ это, и Лизавета Андреевна, кроткая какъ настоящая женщина, была этимъ довольна.

Шатровскій много учился, много читалъ: его разговоры отзывались начитанностью. Онъ любилъ учить и высказывать блестящія, хотя не всегда вѣрныя, идеи, которыя являлись у него всегда внезапно среди разговора; онъ никогда заранѣе не обдумывалъ ихъ, не старался ихъ прочувствовать, но, говоря ихъ Лизаветѣ Андреевнѣ, зналъ, что она ихъ обсудитъ, разовьетъ, сдѣлаетъ яснѣе. Не замѣчая, что эти идеи еще далеко не достигли до степени убѣжденій и что душа въ нихъ не участвовала, Шатровскій называлъ это: «высказать душу» и, говоря такъ, убѣждался, что ему было необходимо высказаться. Когда Лизавета Андреевна приводила въ порядокъ эти идеи, Шатровскій находилъ, что она способна понимать его...

Какъ могла она довольствоваться такимъ второстепеннымъ положеніемъ — могутъ объяснить только женщины съ душой возвышенной и преданной, женщины, благоговѣющія предъ знаніемъ, вѣчно покорныя ученицы. Слушая Шатровскаго, исправляя здравымъ смысломъ выходки его фантазіи, она жалѣла только о нетерпѣливости, о лѣни этого человѣка, который торопился и набрасывалъ то, что могъ бы отдѣлывать отчетливо. Противъ этого она жарко спорила. Заставляя или научая Шатровскаго трудиться, она невольно говорила столько лестнаго его самолюбію, что значеніе молодого человѣка увеличивалось въ его собственныхъ глазахъ: желая исправить одно, она, сама того не замѣчая, портила другое. Шатровскій оставался совершенно доволенъ ея одобреніемъ и ея выговорами.

Онъ любилъ ея доброту, непринужденность, отсутствіе всякаго педантства; съ нею было весело, потому что, послѣ серьезнаго разговора, ону умѣла также остроумно смѣяться пустякамъ и отъ души принимала участіе во всемъ, что касалось ея друга. Обществу не было дѣла до этой дружбы, хотя всякій зналъ, что Шатровскій проводитъ все свое свободное время у Ельновыхъ. Онъ привыкъ являться всякій день съ отчетомъ о вчерашнемъ днѣ, но этотъ отчетъ былъ несложенъ, потому что чаще всего состоялъ изъ одной службы и занятій: привыкнувъ находить у Ельновыхъ дружбу, семью, общество, Шатровскій и не искалъ у другихъ ничего больше. Была ли это слишкомъ исключительная привязанность къ Лизаветѣ Андреевнѣ, или, вѣрнѣе, была ли это лѣнь, часто такъ сильно охватывающая нѣкоторыхъ молодыхъ людей при началѣ ихъ вступленія въ свѣтъ, но въ два года жизни въ N* Шатровскій не сблизился ни съ кѣмъ, также какъ ни съ кѣмъ не разсорился. Его отношенія были какъ-то машинальны и трудно дать имъ другое опредѣленіе; къ этому привыкли всѣ, привыкъ и онъ самъ. Когда что нибудь случайно вызывало его на столкновенія, онъ говорилъ Лизаветѣ Андреевнѣ, и если не спрашивалъ совѣта, за то слѣдовалъ ея мнѣнію, самъ того не сознавая. Можно было бы сказать, что большая часть поступковъ Шатровскаго принадлежала Лизаветѣ Андреевнѣ такъ же, какъ ей принадлежалъ весь кругъ его знакомства...

Къ концу этихъ двухъ лѣтъ Лизаветѣ Андреевнѣ пришла идея. Въ одинъ вечеръ, въ апрѣлѣ, когда рѣдкій воздухъ и ранняя весна такъ свѣжо дышатъ въ отворенныя окна, Лизавета Андреевна положила работу у сказала Шатровскому, сидѣвшему, по обыкновенію, напротивъ нея съ книгой:

— Вы сейчасъ пошутили надъ тѣмъ, что авторъ напомнилъ старинную басню о связкѣ прутьевъ, которыхъ никто не могъ даже согнуть, когда они были связаны, и всякій изломалъ поодиночкѣ. Дайте мнѣ вступиться за нравоученіе этой басни. Испытаемъ его на себѣ.

— Какимъ образомъ?

— Вотъ какъ. Наговорившись съ вами съ вечера объ обязанностяхъ женщины, уснувъ съ этой мыслью, я поутру просыпаюсь раньше, не смѣю лѣниться, принимаюсь за каждое дѣло, какъ за что-то священное; ѣду

въ гости и осторожна въ каждомъ поступкѣ; при мнѣ злословятъ — я защищаю; условія свѣта принуждаютъ ли меня къ чему нибудь такому, что мы осудили съ вами вдвоемъ — я умѣю стать твердо и отказываюсь дѣйствовать. Ко всѣмъ мелочамъ я прилагаю тѣ высокія правила, которыя мы разбираемъ. Вы сами сколько разъ мнѣ говорили: вы живете съ вѣчнымъ воспоминаніемъ объ этихъ разборахъ. Но, знаете ли, это оттого, что эти разборы слишкомъ часты... Еслибъ мы забыли ихъ немножко?

— Вы хотите, чтобъ мы отдалились, сказалъ Шатровскій, на котораго послѣднія слова сдѣлали непріятное впечатлѣніе.

— Совсѣмъ нѣтъ. Какъ вы забѣгаете впередъ! Отдалиться мы не можемъ; но еслибъ мы попробовали разстаться на время? Это необходимо для того, чтобъ мы могли убѣдиться въ себѣ: мы, можетъ быть, заблуждаемся; можетъ быть мы хороши потому только, что всегда отдаемся одинъ на судъ другого и изъ какого-то кокетства стараемся быть лучше.

Шатровскій разсмѣялся.

— Это почти такъ, сказалъ онъ.—Третьяго дня я проигрался и мнѣ было такъ совѣстно вамъ признаться, что я до сихъ поръ молчалъ.

— Вы играли? опять! съ кѣмъ? Вотъ, видите ли, я и права... Однако, было ли у васъ чѣмъ расплатиться? скажите моему отцу...

— Благодарю васъ, дорогой товарищъ... Я вижу только, что если мы и судьи одинъ для другого, то вы судья пристрастный, и если не всегда оправдываете, за то всегда прощаете.

— А вы еще больше пристрастный судья!

— О, нѣтъ!

— Я знаю, что я не совершенство.

— Такъ мнѣ это кажется, потому что я васъ безъ мѣры люблю.

— Или потому, что я на васъ похожа...

— Какъ же это такъ? спросилъ Шатровскій, смѣясь

— Очень просто. Нѣтъ мысли у васъ или у меня, которую бы мы не съумѣли заставить другъ друга принять и раздѣлить. Вотъ въ чемъ и бѣда. Это лишаетъ насъ, каждаго порознь, нашей нравственной свободы. Еслибъ не я, вы, можетъ быть, нашли бы другія занятія, другихъ людей по-сердцу...

— Я надоѣлъ вамъ, сказалъ Шатровскій съ досадой.

— Боже мой, какъ вы сегодня раздражительны! Подумайте только, есть ли тѣнь основательности въ томъ, что вы сказали?.. Но мы живемъ однообразно; все, что мы ни видимъ, мы видимъ съ одной и одинакой точки зрѣнія; все, что мы ни дѣлаемъ, рѣшено между нами двумя и обсуждено заранѣе. Повторяю: это связываетъ насъ. Это жизнь вполовину. Мы живемъ въ свѣтѣ, но по душѣ мы какіе-то отшельники. Вы представляете мнѣ своего знакомаго—и мы вмѣстѣ рѣшаемъ, какъ о немъ думать; вы называете мнѣ женщину—я говорю вамъ, какъ я ее понимаю... Да что объяснять такъ долго! Ни у васъ, ни у меня нѣтъ друзей, кромѣ насъ самихъ.

— Развѣ вамъ это не нравится?

— Опять!.. Я говорю только, что эта повѣрка, это дополненіе вашихъ движеній моими и моихъ вашими мѣшаетъ намъ имѣть отдѣльныя мнѣнія, мѣшаетъ намъ дѣйствовать, наконецъ, мѣшаетъ намъ вполнѣ жить дѣйствительностью...

— Вы придумали что нибудь, чтобъ помочь этому?

— Придумала. Возьмите отпускъ и уѣзжайте куда нибудь.

Этотъ разговоръ и споры, которые вызывалъ онъ, повторялись каждый день въ теченіе цѣлаго мѣсяца. Наконецъ, какъ мы видѣли, Шатровскій уступилъ и уѣхалъ. Знакомыхъ онъ увѣрилъ, что ѣдетъ въ Москву; Лизаветѣ Андреевнѣ, которая не хотѣла знать куда онъ ѣдетъ, сказалъ, чтобъ она этому не вѣрила, и уѣхалъ въ самомъ дѣлѣ въ другую, дальнюю губернію, въ свою деревню, гдѣ не былъ съ тѣхъ поръ, какъ умеръ отецъ его, то есть лѣтъ десять.

На третій день его пріѣзда ему вспомнилась Лизавета Андреевна и онъ написалъ ей письмо, которымъ начинается этотъ разсказъ. Дорогой, думая о ней такъ часто, какъ позволяло разнообразіе впечатлѣній и хлопотъ, всегда мѣшающее путешественнику думать (что бы ни говорили въ защиту дорожныхъ мечтаній), Шатровскій соображалъ, съ чего ей пришла мысль разстаться съ нимъ? Онъ назвалъ это романической выходкой, разсмѣялся и надъ собою и надъ мечтательностью Лизаветы Андреевны, которая «вообразила, что имѣетъ надъ нимъ такое сильное нравственное вліяніе, что связываетъ его поступки...» Какъ видно, въ минуту этой мысли Шатровскій, незнаемо для самого себя, ужъ немного освобождался отъ этого вліянія, потому что прежде подобныхъ мыслей у него не было. Чтобъ чѣмъ нибудь кончить, онъ сказалъ себѣ, что давно не жилъ въ деревнѣ, что надо же какъ нибудь разнообразить свое существованіе и

что почему-жъ не задавать себѣ иногда какихъ нибудь нравственныхъ задачъ, испытаній, когда для этого есть время и возможность?

Чтобъ придать истинный мѣстный колоритъ его поступку, который только, какъ задача и испытаніе, былъ бы совсѣмъ не въ духѣ нашихъ нравовъ и обычаевъ, должно прибавить, что Шатровскому надо было наконецъ съѣздить въ свою деревню и посмотрѣть, что тамъ дѣлается. Къ тому же, сестра его, бывшая замужемъ за однимъ помѣщикомъ, его сосѣдомъ, едва ли не каждый мѣсяцъ писала брату, напоминая, что онъ забылъ ее и что пора навѣстить «родное пепелище».

Это «родное пепелище» былъ маленькій старый домъ, гдѣ Шатровскій провелъ ужъ два дня въ самой восхитительной лѣни; изъ оконъ этого дома онъ любовался видомъ, какими небогаты наши среднія губерніи. Цвѣтникъ, нѣсколько запущенный, спускался отъ балкона, довольно шаткаго, до обрыва крутой и очень высокой горы. Внизу бѣжала рѣка, черезъ сотню верстъ дѣлающаяся ужъ знаменитою и отмѣченная на картахъ; за ней поднимались крутые каменистые холмы, виднѣлись три селенія съ церквями; развалины старинной часовни бѣлѣли на сумракѣ сосноваго лѣса и въ необозримое пространство, все поднимаясь, тянулись луга, лѣса, бѣловато-зеленыя или ужъ золотящіяся нивы. Можно было провести цѣлый день, отъ ранней зари до той минуты, когда заря сходится съ зарею, только любуясь на измѣненія свѣта и тѣней этого ландшафта. Утро окрашивало въ такой удивительно-розовый цвѣтъ его волны, обрывы и строенія, полдень одѣвалъ его такимъ сизымъ туманомъ, вечеръ засыпалъ такою золотою пылью, ночь лежала надъ нимъ такая голубая и спокойная, что оставалось только смотрѣть и слушать, не пропуская звуковъ, такъ же, какъ цвѣтовъ — прекрасный видъ былъ живой. Шатровскій забылъ все, усѣвшись на своемъ балконѣ, и, во-первыхъ, сестру, съ которой еще не видался... На третій день онъ вспомнилъ Лизавету Андреевну и, призвавъ приказчика, чтобъ отослать въ уѣздный городъ письмо, кстати вспомнилъ о томъ, что онъ хозяинъ и еще не видѣлъ своей деревни.

Тогда онъ взялъ фуражку и отправился черезъ широкій дворъ, важенъ какъ владѣлецъ.

Осмотръ всего и разныя встрѣчи доставили ему большое удовольствіе. Избы были довольно дымны и не совсѣмъ прямы, за ними, на гумнахъ, поднимались высокія крыши скирдовъ, у рѣки паслось прекрасное стадо, дѣти играли на завалинахъ, здоровыя, хотя и запачканныя, — можно было не замѣтить неживописности улицы, особенно, когда на ней свѣтило лѣтнее утро и встрѣчались веселыя лица. Шатровскій посѣтилъ свою кормилицу, посѣтилъ старосту, зашелъ къ старику, который считалъ себѣ подъ девяносто лѣтъ и все-таки не оставлялъ своей охоты разводить пчелъ, наѣлся съ утра меду на его пчельникѣ и, осчастлививъ всѣхъ, довольный всѣмъ, возвратился въ свой домикъ, гдѣ окна и двери были отворены настежь. Это доставило ему ласки маленькой желтой дворняшки, которая воспользовалась свободой доступа и наконецъ свернулась и заснула въ темномъ углу прихожей.

Въ домѣ тихо и пусто; полдень; люди разошлись обѣдать; Шатровскій остался совершенно одинъ. Солнце вышло изъ оконъ гостиной; въ ней стало прохладно; прохлада и полусвѣтъ, вмѣстѣ съ колыханьемъ липъ у балкона, наводили лѣнь и сонъ. Въ такой тишинѣ, предъ такой веселой природой, не было возможности читать серьезную книгу, въ которой говорилось объ убѣжденіяхъ и заблужденіяхъ вѣка и которою вздумалъ было заняться молодой человѣкъ. Книга легла вмѣстѣ съ нимъ на пестрый ситцевый диванъ, страницы ея закрылись, а за ними, или еще и прежде нихъ, закрылись и глаза Шатровскаго.

Его пріятный сонъ безъ сновидѣній не былъ продолжителенъ; его прервали шумъ и разговоръ въ сосѣднихъ комнатахъ. Незнакомый голосъ спрашивалъ о немъ у людей.

— Гдѣ-жъ онъ? раздалось, наконецъ, въ дверяхъ гостиной.

Шатровскій вскочилъ.

Передъ нимъ стоялъ господинъ, пожилой, невысокій, полный, съ просѣдью въ бѣлокурыхъ волосахъ, съ толстой цѣпочкой на жилетѣ, одѣтый несовсѣмъ по модѣ, но очень тщательно, какъ люди, потерявшіе привычку одѣваться и занимающіеся этимъ только въ важныхъ случаяхъ,— помѣщикъ съ перваго взгляда. Громкій голосъ и лицо, загорѣлое до лба, потому что его всегда защищала фуражка, довершали впечатлѣніе. Это былъ зять Шатровскаго, Николай Петровичъ Полѣновъ.

— Алексѣй Дмитричъ, заговорилъ онъ:— вѣрно забыли? хоть вновь знакомиться:— сколько лѣтъ не видались!

— Николай Петровичъ!.. вскричалъ Шатровскій, узнавая его, наконецъ.

Они обнялись.

— Какъ же, батюшка, вы здѣсь и не дадите знать? Мы только сегодня узнали: человѣкъ вашъ ѣхалъ мимо на почту, поймали его; говоритъ: «три дня какъ Алексѣй Дмитричъ пріѣхали». — «Здоровъ?» — «Слава Богу», говоритъ... Жена меня посылаетъ: «поѣзжай, узнай, что съ нимъ; ужъ нѣтъ ли неудовольствія какого, право?»

— Виноватъ, виноватъ! повторялъ Шатровскій: — пріѣхалъ, захлопотался, съ дороги усталъ, лежалъ цѣлый день... Что сестра? Что дѣти?

— Здоровы всѣ... да вѣдь вы ихъ знаете! Моя Анна Дмитріевна поручила мнѣ привезти васъ съ собой; милости просимъ, если что особенное не удерживаетъ.

— Помилуйте, что-жъ? я самъ хотѣлъ сегодня ѣхать къ вамъ.

— Такъ очень радъ... Какъ нашли хозяйство? Запущено, все запущено! Да вѣдь, и въ самомъ дѣлѣ, сколько лѣтъ... Я иногда заглядываю сюда, къ вамъ.

— Очень вамъ благодаренъ.

Гость усѣлся, занимая хозяина разсказами о хозяйствѣ и разспрашивая о немъ самомъ. Время шло долго, какъ всегда идетъ оно для людей, которые только начинаютъ знакомиться другъ съ другомъ и между которыми мало общаго.

— Пора вамъ было заглянуть сюда, говорилъ гость: — вѣдь вы только по слухамъ знаете какъ живутъ, какъ хозяйничаютъ. У меня мальчики, сыновья, тоже учатся, знаете, ну, учители разные, а все не то. Я имъ говорю: «тщета все это; вотъ она, наука настоящая...»

— Только мнѣ ей никогда не научиться, возразилъ Шатровскій.

— Отчего же-съ? хорошо! — Безъ этого не проживешь. Какъ я вижу, вотъ, что у сосѣда прошлой зимой два обоза въ Москву сходили, а у меня одинъ, такъ я и знаю... А тутъ вы еще не жили домомъ, этихъ тонкостей не понимаете: гувернеры, учители, чепчики, тамъ, бурнусы, то да другое...

Николай Петровичъ вдругъ замолчалъ, не оттого, чтобъ замѣтилъ большую разсѣянность, съ которой, слушалъ его собесѣдникъ, но потому, что самъ какъ будто испугался того, что выговорилъ. Онъ даже оглянулся...

Это движеніе напомнило что-то Шатровскому и онъ разсмѣялся.

— Женскія прихоти! сказалъ онъ.

— Вы не подумайте, чтобъ мнѣ въ тягость было, или я жалѣлъ—Боже сохрани!.. но вѣдь вы сами знаете... Вы, сдѣлайте милость, не подайте вида... Я васъ считаю за истинно родного...

Нѣсколько торопливое увлеченіе, съ которымъ Николай Петровичъ протянулъ руку своему «родному», напоминало еще живѣе Шатровскому характеръ сестры и нѣкоторыя обстоятельства, о которыхъ онъ слышалъ прежде. Воспоминаніе стало приводить его понемногу къ болѣе ясному сознанію дѣйствительности; сестра, зять, ихъ дѣти, еще ему незнакомыя, стали казаться Шатровскому уже не чѣмъ-то въ родѣ сновъ, а существами, съ которыми онъ въ самомъ дѣлѣ долженъ былъ провести мѣсяца три, «чтобъ испытать свой характеръ».

Послѣдняя мысль заставила его еще разъ улыбнуться.

«Если передо мной теперь образчикъ того, что должно имѣть вліяніе на мои убѣжденія», подумалъ онъ: «то я могу смѣло похвалиться, что мои убѣжденія не измѣняемы. Мой зять, кажется, недоволенъ. Пока мы не знаемъ навѣрное, что человѣкъ неправъ, мы не должны отказывать ему въ участіи».

И потому Шатровскій пожалъ руку зятя, смѣясь очень добродушно.

— О, мой любезный Николай Петровичъ!.. сказалъ онъ, потому что нечего было сказать больше.

Николай Петровичъ принялъ эти слова за необыкновенное сердечное участіе.

— Такъ ли, отвѣчалъ онъ: — вы это понимаете. Вы, конечно, не знаете нашего житья-бытья, но посудите безпристрастно...

— Вѣрю, очень вѣрю, отвѣчалъ Шатровскій, самъ не зная, чему вѣрилъ; но гость показался ему забавнымъ, а его маленькія жалобы очень оригинальными.

Николай Петровичъ взглянулъ на свои часы.

— Однако, если вамъ угодно къ намъ, то пора, сказалъ онъ: — хоть и недалеко: пять верстъ.

— Я сейчасъ буду готовъ, отвѣчалъ Шатровскій, уходя одѣваться.

Чрезъ нѣсколько минутъ зять везъ его въ своихъ крытыхъ дрожкахъ по узкой дорогѣ между полями; и поля, и дорога, и дрожки исчезали въ облакахъ пыли. Солнце свѣтило такъ ярко, что даль сливалась въ темносинія и золотыя полосы, а небо было безцвѣтно отъ лучей: оно разстилалось блѣд-

ное, блестящее и совершенно безоблачное. Рѣка струилась тихо, залитая свѣтомъ; было тяжело смотрѣть на ея бѣлый кремнистый берегъ и глаза закрывались невольно. На всей природѣ лежала какая-то нѣга и лѣнь...

— Никакъ это тучка, въ той сторонѣ? спросилъ Николай Петровичъ кучера, въ первый разъ прерывая молчаніе.

— Нѣтъ-съ; это такъ, зной стоитъ.

— Ахъ, какъ бы Господь далъ дождя! продолжалъ Николай Петровичъ, поглядывая на рожь, которая легла отъ жара и которую еще больше топтали лошади.

Шатровскій ничего не сказалъ. Онъ думалъ, что Лизавета Андреевна пришла бы въ восторгъ отъ этого простора, зноя, сіянья,—въ восторгъ, понятный тому, кто, глядя на нивы, подернутыя золотою пылью, не разсчитываетъ, столько принесутъ онѣ копенъ, четвертей, и такъ далѣе. Онъ подумалъ, что нигдѣ не обязанъ этотъ восторгъ такъ скрываться, какъ въ деревнѣ, гдѣ его мало понимаютъ отъ привычки и еще больше надъ нимъ смѣются... Общая участь всѣхъ восторговъ!..

Потомъ онъ вспомнилъ, что деревня и лѣто — мѣсто и время любви, что онъ самъ еще никогда не любилъ до увлеченія, и вдругъ, опомнясь, улыбнулся надъ своими мечтами...

Впрочемъ, ихъ прервало самое прозаическое обстоятельство: дрожки остановились и Николай Петровичъ произнесъ надъ ухомъ Шатровскаго:

— Пріѣхали! А вы, никакъ изволили вздремнуть?

II.

Домъ былъ каменный, въ два этажа, не считая мезонина, котораго широкія окна выглядывали изъ-подъ навѣса крыши. Онъ стоялъ на горѣ, окруженный садомъ и, какъ большая часть помѣщичьихъ домовъ, въ почтительномъ разстояніи отъ деревни. Въ темныхъ сѣняхъ можно было пріятно вздохнуть послѣ жаркой дороги. Шатровскій слѣдовалъ за своимъ зятемъ черезъ залу и гостиную, гдѣ ихъ никто не встрѣтилъ. Канарейки кричали въ клѣткахъ на окнахъ, заставленныхъ цвѣтами; имъ вторили два попугая и звуки рояля изъ дальней комнаты. но звуки унылые, протяжные, звуки музыкальнаго урока, прерываемаго счетомъ, ошибками и выговорами, самые печальные изъ всѣхъ звуковъ, существующихъ въ природѣ.

— Анна Дмитріевна вѣрно на террасѣ, замѣтилъ хозяинъ, провожая Шатровскаго на балконъ:—она всегда тамъ занимается.

Шатровскій замѣтилъ, что зять его сдѣлался тише и несвободнѣе въ движеніяхъ: онъ какъ будто боялся разбудить кого нибудь. Они вышли на террасу, заплетенную хмѣлемъ, съ спущеннымъ маркизомъ, отчего на ней было темно, какъ въ сумерки.

— Наконецъ, вотъ и онъ, ce cher Alexis! сказала, вставая на встрѣчу имъ, высокая, полная дама въ свѣтломъ кисейномъ платьѣ, весьма пышномъ, и въ чепчикѣ, съ котораго вѣяли длинные концы радужныхъ лентъ.

Она отставила столикъ, на которомъ былъ ея рабочій ящикъ, шитье, букетъ цвѣтовъ и тоненькій французскій романъ, слегка оттолкнула маленькую собачку, спавшую у ногъ ея на вышитой подушкѣ, и приблизилась къ брату.

— Alexis, узнаешь ли ты меня?

Шатровскій хотѣлъ обнять ее, но она такъ значительно протягивала ему обѣ руки, что прежде онъ долженъ былъ поцѣловать ихъ, потомъ онѣ сами обвились вокругъ его шеи.

— Неблагодарный! сказала она.—Николай Петровичъ, мой милый, взгляните, который часъ... Неблагодарный! совсѣмъ забылъ меня! сколько лѣтъ! что за отвѣты на мои письма — по двѣ строки! Однако, надѣюсь, ты здѣсь надолго?

— На лѣто, если что нибудь не случится...

— Ничего не случится; ты обязанъ принести мнѣ эту жертву! что-бъ ни случилось, ты останешься здѣсь для меня: ты мнѣ необходимъ. Я была ужъ женщиной, матерью, когда ты былъ еще дитя, но теперь мы равны лѣтами...

— Но гдѣ-жъ твои дѣти? прервалъ Шатровскій: — покажи мнѣ ихъ, познакомь съ съ дядюшкой...

— А вотъ, я пойду, пришлю ихъ, сказалъ Николай Петровичъ, ободренный нѣжной сценой.

— Мой милый, не мѣшай ихъ занятіямъ: они въ классѣ; ты знаешь, какъ вреденъ безпорядокъ. Я просила тебя узнать, который часъ.

— Да, пора обѣдать. Гдѣ-жъ, по крайней мѣрѣ, Варенька!

— Ты самъ замѣтилъ, что пора обѣдать; я полагаю, что Варенькѣ надо было одѣться къ обѣду, отвѣчала Анна Дмитріевна тихо, но значительно. — Распорядись, прошу тебя... кстати, тебя дожидался управляющій.

Садись, Alexis, прибавила она, проводивъ взоромъ мужа, который вышелъ.

— У тебя славный садъ, сказалъ Шатровскій, стоя наверху каменной лѣстницы, которая спускалась съ террасы внизъ: — сколько цвѣтовъ! Это твоя охота?

— Помилуй, есть ли мнѣ время, возразила она: — а еслибъ и было... Это все распоряженіе Николая Петровича и его садовника; въ созданіи этого цвѣтника нѣтъ ничего моего. Еслибъ я могла вступиться во что нибудь, конечно, это было бы совсѣмъ иначе. Оставимъ это... Поди сюда, сядь здѣсь, дай мнѣ тебя видѣть!

— Милая моя Аннета!

— Да, мой другъ, мы, женщины, всегда дѣти, всегда моложе братьевъ; намъ всегда нужны покровители. Я прежде думала, что это однѣ романическія фразы, но теперь испытываю на себѣ. Богъ знаетъ, какъ я счастлива, что теперь мнѣ есть кому довѣриться, пожаловаться...

— На кого? вскричалъ Шатровскій, разсмѣявшись, потому что она улыбнулась.—На судьбу? на людей?

— На то и на другое... хоть немножко и поздно!

— Такъ для того, чтобъ отвести душу?

— Не смѣйся, сказала она вдругъ серьезно: — да, отвести душу предъ существомъ, которое, я увѣрена, въ этомъ пойметъ меня... Меня слишкомъ рано отдали замужъ, Alexis.

Шатровскій удержался отъ улыбки только потому, что его просили не смѣяться.

— Что-жъ? сказалъ онъ.

— Alexis, я сестра тебѣ: въ нашемъ образѣ мыслей, въ характерахъ должно быть много общаго. Если я скажу, что моя молодость, моя жизнь прошла и что жаль ее — ты меня поймешь... Въ семнадцать лѣтъ я болѣе ждала отъ жизни. Я не могла скоро разстаться съ этими ожиданіями, съ моими мечтами; я никогда не могла привыкнуть къ своей дѣйствительности... Что-жъ? въ глазахъ всѣхъ я была, пожалуй, смѣшна: чего мнѣ больше? порядочное состояніе, мужъ, который, кажется, слѣды мои цѣловалъ... Но внутренно, но въ глубинѣ души... Ахъ, Alexis!.. Согласись, продолжала она, послѣ небольшой паузы:—вѣдь мнѣ нѣтъ необходимости представляться предъ тобою une femme incomprise? Все это бредни! (Она толкнула тоненькую книжку, которая полетѣла со столика; Шатровскій наклонился было поднять, Анна Дмитріевна его удержала). Laissez cela... Но, согласись, вѣдь есть же въ насъ, женщинахъ, внутреннее чувство чего-то лучшаго? согласись, что образованность дѣлаетъ насъ прихотливѣе... а если наше сердце и умъ нѣжны отъ природы, то мы въ правѣ быть прихотливы? Такъ ли, другъ мой? Вѣдь невозможно такъ убить въ себѣ всякое пониманіе, чтобъ съ утра хлопотать на кухнѣ и въ ткацкой, и къ ночи не утомиться нравственно, не пожелать отдохнуть надъ чѣмъ нибудь изящнымъ...

— Твоя правда.

— Правда? вскричала она съ радостью:— ну, представь же, что судьба помѣститъ подлѣ тебя человѣка грубаго, вялаго, скучнаго, не только безъ образованія,но безъ желанія образоваться, еще менѣе: неспособнаго образоваться, хотя бы объ этомъ хлопотали всѣ мудрецы, всѣ поэты, всѣ изящные люди въ мірѣ!... Я не преувеличиваю. Я имѣла мужество предложить ему читать, имѣла терпѣніе читать... онъ дремлетъ или прерываетъ такимъ вздоромъ, что смѣшно и совѣстно! Послушай его когда нибудь!.. Ты видишь, я не романическая женщина, Alexis, напротивъ, я очень положительна. Я не залетаю за облака; я хочу, чтобъ въ моемъ домѣ все было порядочно, présentable, чтобъ мои люди были не мужики, чтобъ мои дѣти были прилично одѣты, чтобъ они учились чему нибудь... Вѣришь ли, чего мнѣ это стоило?

— Трудовъ и битвъ? прервалъ Шатровскій:—но, надѣюсь, ты вышла изъ нихъ не съ пораженіемъ?

— О, надѣюсь!... отвѣчала Анна Дмитріевна: но ты видишь, что я стала? а мнѣ только тридцать шесть лѣтъ, Alexis!

Немного отчаянно она откинула назадъ обѣ радужныя ленты своего чепчика.

— Кто бываетъ у васъ? спросилъ Шатровскій:—кто твои сосѣди?

— О Боже мой! что такое эти сосѣди, это общество? Мы, здѣшніе—аристократы, mon cher... помѣщики, чиновники изъ уѣзднаго города, становой, лекарь—вотъ и все... Жены ихъ... Я ихъ принимаю, конечно, но, рада когда могу быть одна. Ты ихъ увидишь.

— Впрочемъ, и одной тебѣ не весело; дѣти наскучатъ. Но, послушай, твоя старшая дочь должна быть ужъ большая дѣвушка.

— Варенькѣ семнадцать лѣтъ.

— Помилуй, такъ, значитъ, я не только старый дядя, но рискую скоро быть дѣдушкой. Познакомь насъ скорѣе. Хороша она собой?

— Увидишь, отвѣчала Анна Дмитріевна.

— О материнская гордость! ты хочешь меня пріятнѣе удивить.

— Я безпристрастна, возразила Анна Дмитріевна:—Варенька не дурна, но я ждала, что она будетъ лучше.

— Не она ли это? спросилъ Шатровскій, вставая и показывая на женщину въ бѣломъ платьѣ, которая проходила по саду.

— О, нѣтъ, избави Боже!.. Но какъ же я тебѣ до сихъ поръ не сказала? Вотъ годъ, какъ у меня живетъ сестра моего мужа, старая дѣва, очень чувствительная, очень несносная, вѣчно унылая и задумчивая и вѣчно въ бѣломъ платьѣ, какъ оно и слѣдуетъ.

— Такъ это я ее имѣю счастье видѣть? Какъ ее зовутъ?

— Настасья Петровна.

— Сколько ей лѣтъ? Она недурна.

— Помилуй, ты вѣрно близорукъ; она мнѣ ровесница.

— И очень забавна?

— Видишь, въ полдень, въ саду, съ книжкой.

— Такъ что же ты говоришь, что ты одна, что тебѣ скучно?

— Не хочешь ли самъ позабавиться?.. И въ самомъ дѣлѣ, Alexis, сдѣлай милость: — тебѣ нечего дѣлать: — faites lui la cour.

— Если у васъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ занимательныхъ сосѣдокъ, то, конечно, придется заняться ею.

— Стоитъ того, увѣряю тебя.

— Откуда она къ тебѣ явилась?

— Она съ дѣтства, то есть, очень давно, жила у своей крестной матери, тоже какой-то старой дѣвы; вмѣстѣ читали Жоржъ-Занда и Байрона, плакали вмѣстѣ, покуда покровительница умерла, а она прибѣгла подъ покровительство моего мужа. Онъ захотѣлъ, чтобъ она жила здѣсь, а я... Что-жъ я могу сказать? Моя обязанность была принять ее и заботиться, чтобъ ей было покойно. Тутъ ужъ не спрашивается, пріятно ли мнѣ, а не забыла ли я чего нибудь, что было бы пріятно ей. Ты знаешь, если свѣтъ замѣтитъ, что она сколько нибудь недовольна, то осудитъ первую меня, не разбирая, кто изъ насъ можетъ быть виноватъ. Это ужъ такъ принято...

— Что сестра и жена брата должны быть врагами?.. А, право, она недурна.

— Что ты, Alexis, ты съ ума сошелъ.

— Вѣдь ты сама хочешь, чтобъ я сошелъ съ ума отъ нея;—я начинаю.

— Шалунъ! сказала Анна Дмитріевна.— Вотъ Варенька.

На террасу вошла дѣвушка высокая, тоненькая, немного худая, бѣлокурая и розовая; она покраснѣла еще больше, увидя незнакомаго гостя. Всѣ ея движенія были немного робки, нарядъ выказывалъ ее сколько возможно моложе: густые волосы были зачесаны гладко и оставляли открытыми виски; въ ушахъ были едва примѣтныя золотыя колечки; платье изъ бѣлой кисеи съ мелкимъ розовымъ узоромъ, съ открытымъ лифомъ и короткими рукавами; наконецъ, память едва минувшаго дѣтства, память недавнихъ классовъ: фартучекъ, правда, голубой съ оборками и бантами, довершалъ впечатлѣніе: Варенька была ребенокъ.

— Вы меня спрашивали, маменька, начала она...

— Alexis, вотъ твоя племянница, сказала Анна Дмитріевна, взявъ ее за руку и подводя къ Шатровскому съ небольшой торжественностью, которую онъ ужъ замѣтилъ при началѣ свиданія.

— Какая хорошенькая! какая большая! вскричалъ онъ, обнимая дѣвушку: — надѣюсь, мнѣ позволятъ ее баловать? я, кажется, имѣю право на довѣренность, уваженіе... что еще? Мы будемъ друзьями, Варенька, такъ ли?

— Непремѣнно, отвѣчала она весело.

— Мы отлично проведемъ время, обѣгаемъ вмѣстѣ всѣ рощи...

— Ну, вотъ вамъ и остальныя, сказалъ Николай Петровичъ, вводя трехъ мальчиковъ и маленькую дѣвочку, которые, окруживъ Шатровскаго, начали присѣдать, шаркать, какъ это, очевидно, имъ было приказано. Шатровскій обнималъ, цѣловалъ; его тоже обнимали и цѣловали. Суматоха была самая умилительная, въ ней приняли участіе и родители, увлеченные примѣромъ дѣтей; Анна Дмитріевна прослезилась, цѣлуя брата въ лобъ.

— Наконецъ, я чувствую, что ты со мною! прошептала она.

Гувернеръ, нѣмецъ, безмолвно любовался этой сценой въ приличномъ отдаленіи; нянька выглядывала изъ дверей, слѣдя за всѣми поступками маленькой дѣвочки. Картина семейнаго счастья была совершенна. Ее дополнилъ человѣкъ, пришедшій объявить, что обѣдъ готовъ.

Шатровскій былъ очень радъ; онъ взялъ подъ-руку Вареньку.

— Спросите, будетъ ли обѣдать Настасья Петровна, сказала Анна Дмитріевна.

— Развѣ случается, что она не обѣдаетъ? спросилъ Шатровскій Вареньку, проходя въ залу.

— Нѣтъ, отвѣчала она, удивленная его вопросомъ.

— Или, быть можетъ, она не выходитъ къ гостямъ, а я здѣсь...

— Что вы, дядя? она будетъ рада васъ видѣть.

— Въ самомъ дѣлѣ? сказалъ онъ, смѣясь.—А большая кокетка твоя тетушка?

— Вы шутите?..

— Она сантиментальна, мечтательна?

— Она очень добра.

— Хорошо, хорошо, увидимъ. Я сажусь подлѣ тебя за столомъ.

— Сядь подлѣ меня, Alexis,—сказала Анна Дмитріевна, занимая свое мѣсто и придавая нѣкоторую торжественность этому приглашенію.— Такъ давно мы не сидѣли вмѣстѣ! Не напоминаетъ ли это тебѣ такіе счастливые дни...

Въ эту минуту вошла дама въ бѣломъ платьѣ, которую Шатровскій видѣлъ въ саду; она поклонилась молча и сѣла подлѣ Николая Петровича.

Анна Дмитріевна смотрѣла на мужа съ какимъ-то ожиданіемъ; разливая супъ и отдавая тарелки, она сопровождала каждую вопросительнымъ взглядомъ; взгляды эти становились все безпокойнѣе, наконецъ, безпокойство вдругъ и рѣзко смѣнилось выраженіемъ покорности и оскорбленнаго достоинства.

— Настасья Петровна, братъ мой! сказала она, слегка возвышая голосъ.

Шатровскій оставилъ свой супъ и еще разъ поклонился на новый безмолвный поклонъ Настасьи Петровны. Анна Дмитріевна вдругъ почему-то не могла кушать; она наклонилась къ брату и прошептала:

— Какъ мнѣ еще много надо сказать тебѣ!..

Казалось, всѣ растратили всю свою живость и все краснорѣчіе на нѣжную предобѣденную сцену, и начало обѣда проходило въ молчаніи; только гувернеръ укрощалъ порывы меньшого изъ мальчиковъ, чѣмъ-то недовольнаго; наконецъ это недовольство обнаружилось опредѣленнѣе.

— Я не хочу пирожка, вскричалъ онъ:— вчера папа говорилъ, что будутъ ватрушки.

— Мамаша приказала пирожки, такъ и должно кушать, возразилъ отецъ ласкательнымъ тономъ, гладя дитя по головкѣ.

— Странно, что мать виновата во всѣхъ ихъ капризахъ! сказала Анна Дмитріевна.

— Матушка, это я виноватъ, я обѣщалъ.

— Право, мнѣ очень мудрено угодить на всѣ вкусы.

— Тутъ нѣтъ никакого угожденія, а я просилъ...

— Сдѣлайте одолженіе, приказывайте сами обѣдъ.

— Я вовсе не къ тому началъ... возразилъ тихо Николай Петровичъ.

— Ты, кажется, ѣздилъ прошлой зимой въ Петербургъ, Alexis? спросила Анна Дмитріевна.— Ради Бога, говори о чемъ нибудь, прибавила она тихо.

— Нѣтъ, я былъ въ Петербургѣ назадъ два года, зимой, послѣ моего выпуска, отвѣчалъ онъ.

— Значитъ, въ одно время съ Настасьей Петровной. Она до сихъ поръ не можетъ забыть своей поѣздки.

— Вы пріятно провели время? спросилъ Шатровскій, обращаясь къ старой дѣвѣ.

— Чрезвычайно, отвѣчала она, покраснѣвъ, какъ будто это слово было признаніе, которое трудно выговорить.

Шатровскій взглянулъ на нее пристальнѣе. Настасья Петровна была моложе его сестры, но Анна Дмитріевна была полна и румяна, и времени надо было еще долго потрудиться, чтобъ заставить ее завянуть; развязность и важность пріемовъ придавали ей какую-то жизненность и свободу. Напротивъ, на всей особѣ Настасьи Петровны были замѣтны слѣды разрушительныхъ годовъ: худоба рукъ и шеи выказывалась изъ подъ бѣлой кисейной мантильи, охватывавшей талію, которая оставалась еще стройна и непринужденна. Лицо тоже можетъ быть, было недурно, но теперь углы рта обрѣзались непріятными чертами; темносѣрые глаза немного впали; темные волосы были, правда, нѣжны и блестящи, но когда на нихъ упадалъ лучъ солнца, то было замѣтно, что этотъ блескъ удвоивался отъ сѣдины, безпощадно выходившей крупными бѣлыми нитками. Блѣдность—послѣднее спасеніе увядающихъ лицъ: это лицо не было блѣдно. Наконецъ, когда женщина немолода и некрасива, о ней говорятъ, что она интересна; о Настасьи Петровнѣ нельзя было сказать и этого. Правда, ея лицо не выражало ни хитрости, ни злости, ни жеманства, ни униженной покорности, но оно не выражало также ни одного изъ другихъ чувствъ, въ которыхъ принято брать участіе; оно было только серьезно.

— Очень можетъ быть, сказалъ ей Шатровскій,—что мы въ одно время видѣли одно и то же въ Петербургѣ.

— Конечно, вмѣшалась Анна Дмитріевна, не дожидаясь отвѣта.— Поговорите о впечатлѣніяхъ. Настасья Петровна такъ любитъ все изящное, музыку, поэзію, живопись.

— И, вѣроятно, занимаетесь сами? спросилъ Шатровскій.

— Къ сожалѣнію, ничѣмъ, отвѣчала она.

— О, это излишняя скромность! вскричала Анна Дмитріевна.—Настасья Петровна безпрестанно читаетъ, безпрестанно играетъ на фортепьяно, и если ты заслужишь, Alexis, чтобъ она показала тебѣ свой альбомъ.

Старая дѣва краснѣла, какъ пансіонерка. Анна Дмитріевна тихонько толкнула брата, но онъ не замѣтилъ и обратился къ Николаю Петровичу съ какимъ-то хозяйственнымъ вопросомъ, потомъ онъ завелъ рѣчь съ маленькими племянниками и оживилъ немного это общество, сидѣвшее очень чинно съ тѣхъ поръ, какъ неудовольствіе Анны Дмитріевны съ меньшого члена этого общества перешло на отца. Варенька смѣялась съ отцомъ и дѣтьми; Настасья Петровна молчала. Анна Дмитріевна окинула всѣхъ взглядомъ и вдругъ впала въ грустное раздумье. Меланхолически досидѣла она до конца обѣда; вставая, нѣсколько порывисто обняла Вареньку и, проходя, остановила Настасью Петровну.

— Извините, прошу васъ, невѣжливость моего брата.

— Что̀ вамъ угодно? спросила старая дѣва, оправляя свою мантилью.

— Я замѣтила, что вамъ было непріятно... Онъ говорилъ съ вами и вдругъ перемѣнилъ разговоръ; обратился къ моему мужу... Сдѣлайте милость, извините его. Впрочемъ, я сама виновата: я должна была бы предупредить его.

— Я не понимаю, возразила Настасья Петровна:—я не думала...

— Я замѣтила это по вашему лицу... словомъ, мы оба виноваты. Я вижу теперь, что вы предубѣждены противъ него: и еслибъ я могла предвидѣть, что его присутствіе будетъ для васъ такъ непріятно, я даже умѣла бы отказать себѣ въ счастьи его видѣть.

— Ради Бога... прервала Настасья Петровна.

— Увѣряю васъ, что мнѣ такъ горько просить у васъ прощенія.

Замѣтя, что Шатровскій подходитъ, старая дѣва поспѣшно вышла.

— Мы идемъ въ садъ съ Варенькой, сказалъ Шатровскій, догоняя сестру на террасѣ, куда она удалилась нѣсколько стремительно. — Что съ тобой? ты разстроена, Аннета?

— Ничего, отвѣчала она съ грустной улыбкой: — это моя обыкновенная жизнь... У женщинъ жизнь тратится на мелочи, Alexis! Никто не сочтетъ намъ въ заслугу, въ подвигъ маленькихъ битвъ, которыя мы ежедневно выносимъ: — а мы выносимъ ихъ и обязаны, болѣе нежели улыбаться, не забывать своего долга... Мое сердце возмущено, а я иду заказывать мороженое, потому что Николай Петровичъ изъ себя выйдетъ, если проснется и ему не подадутъ мороженаго!..

— Что-жъ такое случилось? спросилъ Шатровскій съ безпокойствомъ, не выпуская, однако, изъ рукъ своей фуражки.

— О мужчины! лучшій изъ нихъ, и тотъ не въ состояніи подсмотрѣть нашихъ горестей!.. Настасья Петровна сдѣлала мнѣ сцену за тебя.

— За меня?

— Да̀. Сначала тебя недовольно скоро ей представила, потомъ ты не обратилъ на нее столько вниманія, сколько бы она желала; она оскорбилась этимъ до слезъ... Чѣмъ же я тутъ виновата?.. И всякій день, всякій Божій день что нибудь!

— Развѣ у нея такой непріятный характеръ?

— Ты видишь, сказала Анна Дмитріевна, слегка пожавъ плечами.

— Полно, моя милая, я виноватъ, я же и заглажу свою вину; увидишь, какъ я буду любезенъ. Пока, до свиданія.

Онъ поцѣловалъ руку сестры и сбѣжалъ съ террасы въ садъ; внизу его дожидалась Варенька.

III.

Шатровскій не отдавалъ себѣ отчета, почему ему показалось пріятно почувствовать себя на свободѣ, въ тѣни длинныхъ аллей, и не слышать вокругъ себя ничьего голоса. Варенька, которую онъ держалъ подъ руку, шла молча. Ему показалось, что онъ отдыхаетъ отъ какого-то принужденія; но еслибъ спросить его, онъ не умѣлъ бы опредѣлить, отчего онъ былъ, и даже былъ ли, въ принужденіи за минуту. Онъ разговаривалъ, шутилъ, смѣялся, даже принималъ участіе въ тѣхъ, кто говорилъ съ нимъ; но все это были впечатлѣнія до того легкія, что они казались впечатлѣніями сна, принятыми вполовину, и душа уставала отъ того, что не развертывала всѣхъ силъ своихъ. Даже, когда ему пришло въ голову это послѣднее опредѣленіе, онъ улыбнулся ему, какъ громкой фразѣ, которую нельзя серьезно приложить къ пустякамъ, окружавшимъ его съ утра. Потомъ у него мелькнула мысль о страсти разбирать всякую мелочь, и эта мысль развеселила его окончательно.

«Смѣшная манія», подумалъ онъ. «Разбирать... хорошо, когда есть что. Микроскопическія животныя могутъ быть занимательны, но микроскопическія чувства только забавны».

Произнеся это въ глубинѣ души своей, онъ разсмѣялся громко новой фразѣ, сложившейся—онъ самъ не зналъ какъ.

— Чему вы смѣетесь, дядя? спросила Варенька.

— Твоей тетушкѣ, моя милая, отвѣчалъ онъ, не видя надобности признаваться, что смѣялся надъ собою.

— Что-жъ вы нашли забавнаго? спросила Варенька.

— Очень мудрено объяснить тебѣ это, другъ мой. Женщины не должны бы старѣться совсѣмъ, или, когда ужъ такова общая участь, должны бы старѣться поскорѣе, разомъ. Переходное состояніе... какъ это сказать? участія оно не возбуждаетъ, хотя должно быть очень непріятно; есть еще желанія, движенія сердца, которыя трудно вдругъ побѣдить; есть маленькія претензіи, которыя такъ живущи, что не хотятъ умереть во-время... все это вмѣстѣ составляетъ горе для самой женщины, и, къ ея же несчастью, снаружи все это выказывается только забавно. Къ молодости все идетъ. Если ты примешься бѣгать и прыгать, какъ маленькая Оленька, ты будешь только мила и граціозна; но когда твоя тетушка закутывается въ свою бѣлую кисею, какъ луна въ облако...

— О, дядя! еслибъ вы знали исторію этой бѣлой кисеи, вы бы не смѣялись.

Это было сказано съ такимъ невольнымъ упрекомъ, что Шатровскій остановился въ своихъ разсужденіяхъ.

— Разскажи мнѣ эту исторію, сказалъ онъ.

Варенька была смущена; она прервала Шатровскаго съ жаромъ, котораго ужъ не достало для того, чтобъ продолжать рѣчь такъ же сильно, какъ она была начата.

— Тетушка небогата, отвѣчала она: — когда умерла ея крестная мать, она цѣлый годъ носила трауръ, и теперь... у нея нѣтъ другихъ платьевъ, кромѣ черныхъ и бѣлыхъ. Еслибъ сегодня она одѣлась въ черное, какъ всегда...

— Такъ, что-жъ?

— Вы не знаете... у маменьки есть небольшой предразсудокъ: она огорчилась бы, еслибъ увидѣла кого нибудь въ черномъ платьѣ въ день вашего пріѣзда.

— Такъ это самая милая внимательность, за которую я вполнѣ благодаренъ твоей тетушкѣ, и не смѣюсь больше, отвѣчалъ Шатровскій.—Но какое ты еще дитя, Варенька!

— Я—дитя?

— Да. Отчего ты такъ трепетала, говоря мнѣ все это?

— Увѣряю васъ...

— Не отговаривайся. Это очень мило. Это обыкновенное чувство твоихъ лѣтъ. Вы думаете, что, сказавъ одно слово противъ мнѣнія другихъ, вы совершаете подвигъ, защищаете истину. Какъ все кажется огромно! Знаешь, какъ дѣтямъ кажутся огромными всѣ дома и комнаты, такъ вотъ такимъ дѣтямъ, какъ ты, всякій простой поступокъ является въ невѣроятныхъ размѣрахъ — то дѣтство зрѣнія, а это дѣтство сердца.

— Дядя, вы не обидитесь? спросила Варенька.

— Ничѣмъ, моя милая.

— Вы ужасный резонеръ.

— Какъ слѣдуетъ дядѣ; въ старинныхъ комедіяхъ все такіе дяди. Какъ же мнѣ не взять своихъ правъ надъ такой хорошенькой племянницей, когда я, къ счастью, восемь лѣтъ старше ея? Помилуй!... И, вопервыхъ, я сейчасъ же требую, чтобъ ты мнѣ призналась, отчего ты краснѣла, говоря о своей тетушкѣ, если ты не конфузилась предо мною?

Варенька задумалась, опустила голову и молчала; чрезъ минуту она опять взглянула на Шатровскаго и сказала серьезно:

— Вы знаете, дядя, что мнѣ было бы очень легко васъ обмануть, сказать, что я оробѣла — и только. Но я никогда и никого не обманывала. Мнѣ очень тяжело говорить о тетушкѣ, но почему — я ни за что не скажу вамъ... Не спрашивайте больше. Если я скажу еще что нибудь, я буду виновата.

— Передъ кѣмъ?

— Передъ своей совѣстью.

— О, какъ это серьезно! вскричалъ Шатровскій. — Такъ вы рѣшительно не хотите имѣть ко мнѣ довѣрія? Не стыдно ли, Варенька? А я было думалъ, что мы будемъ жить душа въ душу. Еслибъ ты знала, какая ты миленькая, и какъ я тебя люблю!

— Кто-жъ намъ мѣшаетъ жить душа въ душу?

— Въ самомъ дѣлѣ?... Такъ я не спрашиваю секретовъ тетушки, они незанимательны; но скажи мнѣ какой нибудь свой большой, важный секретъ. Вѣрно есть? Есть?

Варенька покраснѣла и отвернулась.

— Ты говорила сейчасъ, что никогда не обманываешь.

— Есть, отвѣчала она, продолжая смотрѣть въ сторону и улыбаясь.

Ея свѣжее личико освѣтилось какой-то радостью, но странно, что радость согнала съ него дѣтское выраженіе. Это выраженіе замѣнилось другимъ, вмѣстѣ строгимъ и нѣжнымъ, полнымъ ожиданія, твердости и сознательнаго счастья. Передъ Шатровскимъ была ужъ не прежняя дѣвочка, а женщина, съ которой ему вдругъ почему-то показалось неловко шутить, какъ прежде.

— Послушай, Варенька, сказалъ онъ, увлекаясь: — я спрашиваю тебя не изъ одного пустого любопытства. Мы не чужіе...

— Я вамъ вѣрю, отвѣчала она тихо.—Я увѣрена, что вы меня любите, но теперь я ничего не могу сказать вамъ; я въ очень странномъ положеніи; пусть оно немного объяснится. Притомъ, мнѣ хотѣлось бы, чтобъ вы видѣли и обсудили сами...

— Что?

— Подождите моего секрета... хоть до завтра... Ахъ, еслибъ далъ Богъ, чтобъ завтра... Какой я ребенокъ, въ самомъ дѣлѣ! все жду со дня на день, а, кажется, все такъ легко, такъ возможно!

Она стала печальна и нѣсколько минутъ шла молча.

— Есть у тебя какое нибудь любимое мѣсто въ саду? спросилъ Шатровскій.

— Какъ не быть; я такъ часто хожу здѣсь.

— Одна?

— Нѣтъ... Послушайте, дядя. Меня не отпускаютъ гулять иначе, какъ съ дѣтьми или тетей Настей; но она такъ добра! Она одинъ разъ спросила меня, не приходитъ ли ко мнѣ иногда желаніе какой-то свободы, желаніе наслаждаться одной всѣмъ, что есть кругомъ меня, потому что, въ самомъ дѣлѣ, всѣ впечатлѣнія прекраснаго, всѣ звуки природы какъ-то яснѣе для души, когда мы одни...

— Это говорила твоя тетушка?

— Да, отвѣчала Варенька, не замѣчая, что онъ улыбался.—Я призналась ей, что во мнѣ есть это чувство. Я очень люблю ее, но какъ часто мнѣ хотѣлось бы, чтобъ и ея не было со мною... И потому я очень часто гуляю совсѣмъ одна. Не проговоритесь, дядя.

— Будь покойна, душа моя. Тутъ нехорошаго только одно: что ты рискуешь сдѣлаться мечтательницей, какъ тетушка... Чѣмъ же ты занимаешься цѣлый день?

— Играю на фортепьяно; тетушка продолжаетъ учить меня; она отлично играетъ; работаю что нибудь, читаю...

— Много? Что ты читаешь?

— Journal des jeunes personnes, путешествія...

— Шалунья, ты читаешь и что нибудь другое... Другой секретъ сегодня, а третій обѣщанъ къ завтрему. Ну, а книги такъ же, какъ уединенныя прогулки, баловство тетушки?

— До завтра! отвѣчала она, покраснѣвъ и убѣгая, и закричала изъ-за кустовъ:—идите скорѣе, вотъ мое любимое мѣсто.

Аллея кончалась около пруда; мелкіе кусты шиповника и сиреней росли по краю дорожки, заросшей травою; старая скамейка была вдвинута подъ тѣнь. Дорожка возвышалась всего на одинъ шагъ надъ водою и утки плескались около кустовъ ивы, посаженной для того, чтобъ укрѣпить берегъ. Мѣсто не было особенно живописно; садъ кончался здѣсь, и на другомъ берегу пруда, черезъ плотину, виднѣлись крестьянскія избы и дорога.

— Что тебѣ здѣсь понравилось? спросилъ Шатровскій, садясь на скамейку, которая пошатнулась подъ нимъ. — Ай, здѣсь небезопасно!

— Помогите мнѣ, дядя, сказала Варенька, бросая зонтикъ и поправляя скамейку:— сдѣлаемъ это сами. Если я позову кого нибудь и скажу, что люблю этотъ уголокъ, то маменька велитъ разбить тутъ цвѣтникъ, а мнѣ мило здѣсь все, какъ есть; я ко всему привыкла и никого не привожу сюда. Вы мой первый гость.

— Благодарю за гостепріимство. Какъ бы опять не подломилась твоя скамейка.

— Не безпокойтесь. Смотрите, какъ солнце хорошо заходитъ. Сейчасъ прогонятъ стадо по дорогѣ... видите пыль вдали?

— Вижу, только эта пыль не отъ стада.

— Нѣтъ, это стадо.

— Удивляюсь, какъ ты говоришь, что привыкла ко всѣмъ физическимъ явленіямъ своей пустыни и не умѣешь различить пыли изъ-подъ колесъ отъ пыли стада, дребезжанья дрожекъ отъ мычанья коровъ. Это ѣдетъ кто-то, смотри. Не къ вамъ ли?

— Можетъ быть; тутъ къ намъ дорога.

— Кто-жъ это? разглядишь ли ты отсюда?

— Это старичокъ, нашъ сосѣдъ, Петръ Иванычъ Домниковъ... Вообразите, ему такъ надоѣла деревня, что онъ хочетъ продать все, что у него есть, и переѣхать жить въ городъ.

— У всякаго своя фантазія... Но съ нимъ еще кто-то.

— Михаилъ Семенычъ Карзановъ.

— Тоже помѣщикъ?

— Да, молодой человѣкъ. Онъ служитъ; пріѣхалъ сюда ненадолго и уѣдетъ къ осени.

— Часто ли бываетъ у васъ этотъ молодой человѣкъ?

— Довольно часто... Я его вижу всякій день, отвѣчала Варенька разсѣянно, продолжая смотрѣть на дорогу.

— Какъ это такъ?

— Отсюда. Онъ всякій день проходитъ на охоту по той сторонѣ.

— И онъ знаетъ, что ты его видишь, Варенька?

— Почему же ему знать?

— Потому, другъ мой, что если ты можешь разсмотрѣть его фигуру, то твое свѣтлое платье еще виднѣе въ этой зелени и противъ солнца. Тогда онъ приходитъ гулять съ тобой... и тетушкой, приноситъ книги тебѣ... и тетушкѣ.

Варенька оглянулась на Шатровскаго; онъ говорилъ совершенно спокойно; нѣсколько секундъ они наблюдали другъ за другомъ. Характеръ менѣе опытный не выдержалъ первый.

— Послушайте, дядя, сказала Варенька: — я не могу скрываться, а теперь просто не хочу, потому что вы можете понять что нибудь не такъ; вы можете счесть за шутку то, что очень серьезно. Мнѣ даже было бы обидно, еслибъ вы такъ подумали...

Шатровскій засмѣялся.

— Въ моемъ чувствѣ нѣтъ ничего забавнаго, продолжала она:—я люблю Карзанова.

— Я это знаю, душа моя, съ той минуты, какъ ты назвала его.

— Что-жъ вы мнѣ скажете на это? спросила Варенька, присмирѣвъ опять предъ этимъ спокойствіемъ, въ которомъ выказывалось столько старшинства и власти.

— Я скажу, что такая хорошенькая дѣвушка, какъ ты, поступила бы непростительно, еслибъ не любила.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Я скажу тебѣ истину, противъ которой возстаютъ однѣ строгія наставницы, боясь, чтобъ дѣвушка не ускользнула изъ подъ ихъ надзора, да старыя дѣвы, которыя не увлекались, потому что ихъ никто не хотѣлъ увлекать. Лучшее достоинство, лучшій талантъ женщины — способность любить. Чѣмъ больше этой способности, тѣмъ привлекательнѣе, милѣе женщина, тѣмъ она лучше внутренно, потому что въ ней является снисходительность, доброта, мягкость сердца, покорность. Въ истинно-любящей женщинѣ не можетъ быть ни кокетства, ни легкомыслія, потому что прекрасное чувство, лежащее въ основаніи ея характера, не допуститъ мелочности. Но эта способность можетъ быть подавлена или развита, и всякая женщина должна стараться развить ее до безкорыстія. Любите, хотя бы васъ не любили... Не отъ всякой женщины услышишь ты эти слова, Варенька; въ нихъ совершенство не всѣмъ доступное... Любите не изъ самолюбія, не изъ вознагражденія привязанностью за вашу привязанность; любите не для радости, а для того, чтобъ доставить счастье, отдать должное достойному, хотя бы человѣкъ, любимый вами, и не зналъ этого, хотя бы онъ отвергалъ вашу любовь... Понимаешь ли ты меня?

— Понимаю, отвѣчала она, глядя ему въ глаза съ тѣмъ удивленнымъ выраженіемъ, которымъ онъ ужъ любовался. — Такъ вы не осуждаете меня?

— Напротивъ, продолжалъ Шатровскій, увлекаясь: — я радуюсь, что ты живешь въ пору, что въ лучшіе года жизни все, и люди, и природа, имѣютъ для тебя настоящее значеніе. Чувство, которое теперь освѣщаетъ твою душу, дѣлаетъ тебѣ понятнѣе и доступнѣе все остальное прекрасное. Въ ожиданіи его, ты была бы только хорошенькая нарядная кукла, и Богъ знаетъ, какъ бы долго еще ждать тебѣ одушевленія и какъ бы явилось оно, и явилось ли бы еще, когда свѣтъ и его глупости отняли бы у тебя твою милую дѣтскую впечатлительность. Теперь чувство пришло въ пору, и ты живешь вполнѣ, молодостью, красотой и сердцемъ... Увѣряю тебя, если ты и страдаешь теперь, я радъ твоему страданію: оно лучше беззаботности.

— Порадуйтесь моему счастью, сказала она тихо:—я любима.

Шатровскій обнялъ ее. Варенька подняла раскраснѣвшееся личико и сказала весело:

— О, дядя! мало того, что вы сами мечтатель, вы еще баловникъ!.. Пойдемте скорѣе: развѣ вы не слышите, какъ меня зовутъ въ рощѣ? Милый дядя, добрый, душка, еслибъ вы знали, какъ я васъ люблю!

Она убѣжала. Шатровскій былъ принужденъ тоже бѣжать за нею, потому что, потерявъ ее изъ вида, не нашелъ бы дороги въ незнакомомъ огромномъ саду...

На террасѣ былъ накрытъ чайный столъ, около котораго хлопотала Настасья Петровна. На другой сторонѣ террасы Анна Дмитріевна сидѣла передъ своимъ маленькимъ столикомъ, и утомленіе, столько же нравственное, сколько физическое, выражалось на лицѣ ея.

Передъ нею сидѣлъ молодой человѣкъ, одѣтый просто, безъ претензій на оригинальность, простой и свободный въ движеніяхъ, которыя, казалось, были граціозны и ровны отъ природы, потому что никакой наблюдатель не нашелъ бы въ нихъ ничего изученнаго. Его лицо было пріятно, хотя неособенно красиво, спокойно и нѣсколько холодно, но такъ, что съ перваго взгляда можно было рѣшить, что это спокойствіе и холодность происходятъ отъ твердости характера, а не отъ лѣни.

— Возьмите и прочтите этотъ ouvrage, мсьё Карзановъ, говорила ему Анна Дмитріевна, указывая на блѣдно-голубой томикъ романа:—здѣсь такъ тонко разобрано чувство.

— Если только не преувеличено, сказалъ онъ, взглянувъ на заглавіе.

— О, нѣтъ! можно ли преувеличить чувство, особенно чувство женщины, обманутой въ своихъ привязанностяхъ, скованной долгомъ... Чтобы понять это, надо стать на такую высоту!..

Варенька вошла.

— Подойди ко мнѣ, дитя мое, обними меня. Я оставалась здѣсь одна все время; тебя не могли найти, и я была принуждена попросить Настасью Петровну позаботиться... ты знаешь, я не могу... Alexis! продолжала она, увидя входящаго Шатровскаго: — мсьё Карзановъ, позвольте представить вамъ моего брата; онъ такъ обрадовалъ, оживилъ меня своимъ пріѣздомъ. Сядь здѣсь, Alexis... Мсьё Карзановъ...

Карзановъ, который, раскланявшись съ Шатровскимъ, хотѣлъ уйти вслѣдъ за Варенькой къ чайному столу, былъ принужденъ сѣсть опять на прежнее мѣсто. Шатровскій не могъ удержаться, чтобъ не оглянуть его съ любопытствомъ, и случилось, что Карзановъ замѣтилъ этотъ нецеремонный осмотръ. Впечатлѣнія бываютъ мгновенныя. Карзанову не понравилось это любопытство и, вслѣдствіе того, не понравился любопытный; онъ позволилъ себѣ также смѣрять его взглядомъ, но спокойно и долго, потомъ взялъ опять книгу и обратился къ Аннѣ Дмитріевнѣ, будто желая показать, что прерванный разговоръ чрезвычайно его занимаетъ.

Шатровскій замѣтилъ это, но не потрудился подумать, что его неосторожный взглядъ вызвалъ холодную невнимательность гостя; ему только стало какъ-то досадно, и тѣмъ досаднѣе, что сердиться серьезно было не за что, а вознаградить себя, внутренно посмѣявшись надъ гостемъ, не находилось причины. Молодые люди наблюдали другъ за другомъ — положеніе странное, очень легко переходящее въ непріязненное.

— Чему вы улыбнулись, мсьё Карзановъ? спросила Анна Дмитріевна.

— Тому, отвѣчалъ онъ,—что сейчасъ же, раскрывъ эту книгу наудачу, я нашелъ въ ней страшное преувеличеніе. Говорится объ impression du moment, о настроенности и расположеніи духа...

— О, это превосходно! прервала Анна Дмитріевна.

— Развѣ это не бываетъ? сказалъ Шатровскій.

— Согласитесь, отвѣчалъ Карзановъ, — что люди, которые дѣлаются на минуту добрѣе отъ какого нибудь луча солнца, отъ какого нибудь романа—тѣ же дѣти. Послѣ этого можно предполагать, что они позволяютъ себѣ приходить въ неистовство, если имъ не понравится обѣдъ.

— Вы сами преувеличиваете! воскликнула Анна Дмитріевна.

— Кажется, нисколько: если допускать возможность одного, то почему же не допустить и другого.

— Одно неразумное, возразилъ Шатровскій,—тогда какъ другое...

— Неразумно столько же, потому что точно также приходитъ и проходитъ отъ пустыхъ причинъ.

— Вы не отрицаете однако... началъ Шатровскій.

— О, возможно ли осуждать это чувство! прервала Анна Дмитріевна: — мы должны быть благодарны за эти минуты; мы обязаны ловить ихъ!

— Ты совершенно права, Аннета, сказалъ Шатровскій, съ восхищеніемъ схвативъ ея фразу. — Благотворное вліяніе неуловимаго пробуждаетъ въ насъ чувство благодѣтельное и непроизвольное. Кто можетъ измѣрить, сколько благоуханіе цвѣтка, полусвѣтъ, звукъ далекой пѣсни вызовутъ благородства, доброты, сочувствія ко всему въ душѣ нашей? Въ эти чудныя мгновенія, когда мы забываемся и хотѣли бы любить весь міръ, готовы на добро, готовы высказаться...

— Но чувствуется ли то, что говорится? сказалъ Карзановъ.

Замѣчаніе показалось Шатровскому рѣзкимъ, и въ первую минуту онъ не могъ отвѣчать.

— Вы не вѣрите, что въ эти минуты чувство искренно? вскричала Анна Дмитріевна.

— Въ эти минуты это не чувство, а нервное раздраженіе.

— Оно благодѣтельно, возразилъ Шатровскій.

— Для кого же? для міра? (Карзановъ улыбнулся при этомъ словѣ). Для міра нельзя успѣть ничего сдѣлать въ нѣсколько минутъ; для другихъ добро, сдѣланное отъ нервнаго раздраженія, не имѣетъ и половины своего достоинства и, кромѣ того, можетъ быть сдѣлано невпопадъ; а для себя... восторгъ пройдетъ, и мечтатель не припомнитъ ничего, даже своихъ мечтаній.

— А! вы поклонникъ холоднаго разсудка? сказалъ Шатровскій.

— Если уже выбирать крайности — да.

— Слѣдовательно, вы не позволите себѣ увлекаться?

— Увлеченіе — слово очень обширное... Конечно, не дозволю, когда буду заранѣе знать, что мое увлеченіе вызвано пустяками и вмѣстѣ съ ними пройдетъ.

— Стало быть, вы можете во всемъ отвѣчать за себя?

— Это было бы слишкомъ самонадѣянно. Я говорю только о расположеніи духа, объ impression du moment, съ котораго началъ я разговоръ.

— Одно заставляетъ предполагать другое, какъ вы сами же сказали, возразилъ Шатровскій. — Если вы такой самовластный господинъ вашихъ увлеченій, стало быть, точно такъ же можете управлять всей вашей жизнью, всѣми поступками, распоряжаться вашими привязанностями, убѣжденіями...

— Мнѣ кажется, это нисколько не одно и то же, отвѣчалъ Карзановъ;—тутъ столько же разницы, сколько между капризомъ и разумной волей, между словомъ отъ души и фразой.

— Слово «фраза» тоже очень обширно, сказалъ Шатровскій: — оно иногда странно принимается. Когда вы увлечены своимъ предметомъ, вы невольно выражаете его въ словахъ, неупотребляемыхъ въ ежедневномъ разговорѣ, вы отъискиваете сравненія, чтобъ лучше объясниться; часто эти сравненія являются невольно, эпизоды приходятъ сами собою, рѣчь дѣлается цвѣтиста и льется быстро; вы одушевляетесь и невольно говорите гладкими, блестящими фразами... Вотъ когда сильно впечатлѣніе минуты! все шевелитъ и возбуждаетъ вдохновеніе, что-то, какъ вѣтеръ, пробѣгаетъ по струнамъ души и онѣ звучатъ! Душа любитъ то, чего не любила за минуту; готова вторить всякому чувству, которое выражается предъ нею, хотя бы даже и не подозрѣвала въ себѣ этого чувства. Самая мысль приходитъ невольно: по мѣрѣ того, какъ вы говорите, вы начинаете понимать то, чего не понимали. Убѣжденіе совершенно чуждое вамъ, убѣжденіе, которое вы за словомъ взялись доказать и развить, теперь вамъ близко; оно ваше... оно принадлежитъ вамъ и вы принадлежите ему — вы нераздѣльны!..

— Это называется: заговориться до самозабвенія, сказалъ Карзановъ, улыбаясь.

— Мнѣ хотѣлось бы знать, въ какомъ смыслѣ вы принимаете это слово? спросилъ Шатровскій, прерванный неожиданно и обидясь.

— Пожалуй, хоть въ смыслѣ импровизаціи, отвѣчалъ Карзановъ.

— Что это значитъ?

— Импровизаторъ не знаетъ заранѣе, сколько и на какой предметъ онъ долженъ призвать вдохновеніе; фразеръ при началѣ разговора не знаетъ, куда онъ бросится съ своей фразой, или куда она его броситъ. Какъ тотъ, такъ и другой позабудутъ все, что сказали; но импровизаторъ сойдетъ съ своихъ подмостокъ спокойно, а фразеръ не всегда можетъ поручиться, что его вдохновенныя рѣчи не поставили его неловко и странно въ отношеніи къ слушателямъ.

— О, вы касаетесь уже положительныхъ сторонъ жизни! сказала Анна Дмитріевна.

— Безъ этого нельзя, возразилъ Карзановъ:—а эти-то стороны жизни всегда очень затруднительны для фразера... Впрочемъ, что же? прибавилъ онъ, смѣясь и вставая:— у него и тутъ останется отговорка: сказалъ, что было «вдохновеніе минуты», происшедшее отъ «впечатлѣнія минуты» — и дѣло кончено.

Онъ взялъ свой чай и пошелъ къ чайному столу.

— Вы не въ духѣ сегодня, сказала ему Настасья Петровна.

— Вы хотите продолжать тотъ разговоръ? отвѣчалъ онъ.—Не довольно ли?.. Сегодня я и озабоченъ, и огорченъ.

— Что съ вами?

— Я получилъ письмо и долженъ ѣхать. Вы знаете, что я не разстаюсь съ моею матерью. Нынѣшнимъ лѣтомъ я пріѣхалъ сюда раньше ея и ждалъ ее наднях. Она пи-

шетъ, что больна и проситъ меня возвратиться.

— Такъ вы уѣдете? спросила Варенька.

— Я и самъ не знаю, отвѣчалъ онъ.

Анна Дмитріевна, между тѣмъ, говорила брату:

— Ты не можешь вообразить, какъ меня оживляетъ подобный разговоръ. Я вспоминаю, что могу мыслить, слѣдовательно, существовать, и притомъ, наслажденіе слышать тебя, видѣть твое превосходство...

— Полно, что за превосходство? надъ кѣмъ? сказалъ Шатровскій, раздосадованный и довольно неосторожно оглядываясь на Карзанова.

Взгляды ихъ встрѣтились опять и Шатровскій невольно отвернулся. Карзановъ не сказалъ ни слова.

Вошелъ Николай Петровичъ и съ нимъ маленькій старичокъ, сѣдой, кругленькій и очень живой; его смѣхъ былъ слышенъ еще прежде, нежели онъ вошелъ, а войдя, онъ поклонился Аннѣ Дмитріевнѣ, едва не танцуя. Она не шевельнула головой и только слегка покачнулась въ креслахъ.

— Поздравь Петра Иваныча, другъ мой, сказалъ Николай Петровичъ женѣ: — онъ, наконецъ, устроилъ свое дѣло.

— Очень рада... отвѣчала Анна Дмитріевна, вдругъ и съ утомленіемъ отворачиваясь отъ старичка къ брату: — Alexis, ты здѣсь?

— Вы вообразите, какимъ необыкновеннымъ манеромъ, началъ старичокъ: — ѣду я сегодня...

Ему помѣшалъ продолжать чай, который ему подали.

— На чистомъ воздухѣ — вотъ наслажденіе!..

— Да вы скажите, какъ запродали деревню?

— А вотъ, извольте. Ѣду я сегодня... Матушка, барышня! вскричалъ онъ, вскакивая передъ Варенькой, которая подавала ему сухари: — что вы безпокоитесь! Позвольте-жъ вашу ручку. Merci, mademoiselle! заключилъ онъ, поцѣловавъ руку Вареньки. — Мы, городскіе жители, иначе не объясняемся, какъ на иностранномъ языкѣ...

— Il me donnera le vertige, ce vieux, сказала Анна Дмитріевна съ отчаяніемъ Шатровскому.

— Кто это? спросилъ онъ тихо.

— Видишь, помѣщикъ, отвѣчала она, не стараясь понизить голосъ. — Фамилія... что-то въ родѣ Доменикино... почему я знаю?

— Доминиковъ-съ, Петръ Иванычъ, сказалъ старикъ Шатровскому. — А это, сударыня, конечно, братецъ вашъ?

— Мой братъ, отвѣчала Анна Дмитріевна.

— Позвольте познакомиться, продолжалъ старикъ: — прошу полюбить. Васъ здѣсь ждали—не дождались...

Или Шатровскому было особенно покойно сидѣть, или неучтивость сестры была заразительна, онъ едва приподнялся на поклонъ старика; но, поднявъ глаза, онъ увидѣлъ, что Карзановъ смотритъ на него съ холодной, невыносимо учтивой насмѣшкой. Шатровскій смутился и разсердился. Карзановъ сказалъ:

— Не слишкомъ ли вы поспѣшили съ вашей продажей, Петръ Иванычъ?

— Нѣтъ-съ, это дѣло вѣрное. Вы послушайте, какая исторія, продолжалъ Доминиковъ, обращаясь къ Аннѣ Дмитріевнѣ: ѣду я сегодня, вотъ къ нимъ (онъ указалъ на Карзанова), думаю себѣ... надоѣла мнѣ деревня! ѣду мимо поля съ гречихой—не глядѣлъ бы, право... Вижу, подлѣ лѣска, за овражкомъ стоятъ дрожки-долгуши... линейка... аэріеннь, заключилъ старикъ, улыбнувшись Шатровскому: — нарядно что-то; при нихъ два человѣка, по-охотничьему. Спрашиваю, чьи? — «Леонида Васильича Юрина».—Батюшки! да я его еще вотъ этакимъ зналъ. Какимъ случаемъ здѣсь? — Говорятъ, пріѣхалъ на лѣто, а теперь охотиться изволитъ съ ружьемъ. И слышу я, въ самомъ дѣлѣ, въ лѣсу—пифъ-пафъ то и дѣло. Я тутъ постоялъ, поговорилъ съ людьми немного и мысль мнѣ пришла. Думаю: «Леонида Васильича село Избищи, а у меня въ сельцѣ Малыя Избищи земля съ нимъ межа съ межой. Кому лучше пріобрѣсти, какъ не ему? Крестьянъ переселитъ къ себѣ, земля соединится, а мой домъ ему, въ концѣ выгона, такъ будетъ... пье-д'атеръ небольшой, послѣ охоты, напримѣръ. Прекрасно! Думаю: и я его батюшку покойнаго зналъ...» Сажусь на свои дрожки. «Ступай въ лѣсъ! по бугоркамъ, по кочкамъ...»

— Но вы видѣли, наконецъ, Юрина? спросила Анна Дмитріевна, которая не только не потеряла терпѣнія, но начинала принимать участіе въ разсказѣ.

— Видѣлъ-съ, какъ же! Вы позвольте... Онъ вышелъ къ намъ; я его тотчасъ узналъ: такое сходство съ батюшкой. Отлично это на немъ все, знаете, охотничье, и сумка; собака тутъ. Я называю себя—не узналъ. Ну, потомъ обошлись, приглашаетъ къ себѣ отобѣдать. Я ему говорю: «Леонидъ Васильичъ, я люблю безъ околичностей. Вотъ такъ и такъ. Вамъ покупка не въ затрудненіе (помилуйте, тысяча душъ у человѣка!), купи-

те...» Онъ расхохотался.—«Проказникъ вы, Петръ Иванычъ!..»

— Онъ хорошо живетъ? спросила Анна Дмитріевна.

— Помилуйте, матушка, какъ не жить? Домъ чаша полная; еще все это отъ ихъ батюшки; вѣдь одинъ сынъ былъ...

— Зачѣмъ же онъ сюда пріѣхалъ? спросила Анна Дмитріевна.

— Неужели такъ, дорогой, и рѣшили? спросилъ Николай Петровичъ.

— За обѣдомъ рѣшили. «По рукамъ, я говорю, Леонидъ Васильичъ; вы мнѣ дайте за мой клочокъ двѣ тысячи цѣлковыхъ — и Богъ съ вами, владѣйте». Онъ хохочетъ. «Очень радъ», говоритъ, «не глядя». — «Нѣтъ», я говорю: «я люблю дѣло чисто дѣлать. Вы осмотрите, вамъ недалеко, съ ружьемъ, да съ Риголеткой вашей дойдете до моей усадьбы»... Такой любезный, право. Завтра мы съ нимъ въ городъ, и купчую совершимъ—такъ-то-съ! И я съ завтрашняго дня ужъ вольный человѣкъ; полно десятины мѣрить!

— И деньги тотчасъ? спросилъ Николай Петровичъ.

— Да, я думаю ужъ тотчасъ, чистенькими, отвѣчалъ, смѣясь, старичокъ.—Капиталецъ свой небольшой помѣщу какъ нибудь—и съ Богомъ... много ли мнѣ нужно-то?

— И вы уѣдете отсюда? спросила Варенька!—и вамъ не жаль здѣсь все оставить?

— Красавица моя! вскричалъ онъ:—васъ жаль!.. вотъ, добрыхъ людей. И, признаться, какъ ужъ совсѣмъ мы поладили, поскребло у меня на сердцѣ...Домишкамой...Подумаешь, право, глупость какая, воробьевъ своихъ жалко станетъ!

Анна Дмитріевна разсмѣялась.

— Можно еще и передумать: время не ушло, сказалъ Карзановъ.

— Нѣтъ-съ, я ужъ давно рѣшился. Ну, что вы хотите, плетни это, солома надоѣли,а какъ еще зимой начнетъ завывать въ ставни...

Шатровскій разсмѣялся тоже.

— Ваши совѣты не дѣйствуютъ, сказалъ онъ Карзанову.

— Вы не узнали, зачѣмъ здѣсь Юринъ и долго ли пробудетъ? спросила Анна Дмитріевна.

— Какъ же-съ, узналъ. Межеваніе здѣсь идетъ, изволите знать, и по его дачѣ. Управляющимъ своимъ онъ былъ недоволенъ: неисправно высылалъ онъ ему оброкъ, такъ Леонидъ Васильичъ его смѣнилъ, приказалъ всѣмъ завѣдывать бурмистру; ну, а тутъ дѣла, положиться на бурмистра онъ не можетъ.

— Самъ-то онъ понимаетъ ли что нибудь въ дѣлахъ? сказалъ Николай Петровичъ съ сомнѣніемъ, которое, казалось, было не въ его характерѣ

— Ну и самъ немного! отвѣчалъ, смѣясь, старичокъ.—Гдѣ молодому человѣку, столичному... Скучаетъ здѣсь. Къ Москвѣ, говоритъ, привыкъ. Извѣстно, столица...

— Да, столица! продолжалъ Николай Петровичъ нѣсколько задумчиво.— Видите, управляющій неисправно высылалъ ему оброкъ! Старикъ служилъ отцу лѣтъ двадцать, да и сыну... Спросили-бъ меня! неисправенъ! Знаете ли, батюшка, Петръ Иванычъ, что ему, этому Юрину, онъ переслалъ въ послѣдніе полтора года? Куда все дѣвалось?

— Никакой снисходительности къ молодымъ чувствамъ! прошептала Анна Дмитріевна, выразительно показавъ брату на мужа.

— Еще будетъ время, остепенится, сказалъ Домниковъ.

— Прижмется, прервалъ Николай Петровичъ:—какъ его покойный батюшка. Тотъ былъ скряга, и какъ нажился — Богъ его знаетъ, какими способами... всякими!

— Да... сказалъ, вздохнувъ, Домниковъ.

— Вотъ не лежала у меня душа къ этому человѣку, продолжалъ Николай Петровичъ:—кажется, и близкіе сосѣди были, а не были знакомы; какъ будто что отталкивало съ нимъ сойтись.

— Да, вѣдь вы къ нему не ѣздили.

— И онъ ко мнѣ не ѣздилъ. Кажется, странно, какъ въ деревнѣ, въ какихъ нибудь десяти верстахъ прожить лѣтъ двадцать и другъ къ другу ни ногой!

— Очень немудрено, возразила Анна Дмитріевна:—покойный Юринъ нѣсколько разъ искалъ сблизиться, но ты не только не хотѣлъ, ты даже дѣлалъ ему непріятности.

— Слышите? я тогда предводителемъ былъ, моя обязанность была вступиться за его крѣпостныхъ.

— Я слышу, прервала Анна Дмитріевна покорно, но съ достоинствомъ, потому что мужъ немного возвысилъ голосъ при своемъ возраженіи.

Николай Петровичъ слегка покраснѣлъ и проглотилъ глотокъ чаю.

— Ты не усталъ, Alexis? спросила Анна Дмитріевна:—пройдемся немного, я только теперь въ состояніи выходить.

Она оперлась на руку брата и начала тихо спускаться съ лѣстницы.

— Пойдемте вмѣстѣ, станемъ ходить въ цвѣтникѣ около дома, сказалъ Карзановъ Варенькѣ, когда ушла Анна Дмитріевна.

На террасѣ остались Николай Петровичъ и Домниковъ, у маленькаго столика Анны Дмитріевны, гдѣ они расположились покойнѣе въ ея отсутствіе. Настасья Петровна, кончивъ свои заботы съ чаемъ, усѣлась у рѣшетки и отдыхала. Дѣти, въ сопровожденіи гувернера, сошли въ садъ, догнали въ аллеѣ мать и, пожелавъ ей bonne nuit и шаркнувъ передъ Шатровскимъ, воротились въ домъ. Становилось темно; вдали лежала тучка, обѣщая грозу къ утру...

IV.

Нѣсколько минутъ молодые люди шли молча.

— Вы уѣдете? спросила Варенька.

— Должно ѣхать, отвѣчалъ Карзановъ.

— Надолго? совсѣмъ?...

— Неужели вамъ не говорятъ ни слова, ничего рѣшительнаго?

— Ничего.

— Я не могу уѣхать безъ рѣшительнаго отвѣта. Перескажите мнѣ еще разъ, что вамъ сказала Анна Дмитріевна, когда вы открылись ей.

— Она выслушала смѣясь, отвѣчала Варенька.—Я спросила, что прикажетъ она отвѣчать вамъ. «Ничего», сказала она: «вы любите другъ друга—этимъ все сказано». Отецъ повторялъ: «Слава Богу! это прекраснѣйшій молодой человѣкъ». Я бросилась ему на шею и просила позволить вамъ съ нимъ объясниться. «Къ чему спѣшить», сказала маменька: «еще успѣетъ...»

— И съ тѣхъ поръ цѣлый мѣсяцъ ни одного слова! вскричалъ Карзановъ.—Сказали вамъ, по крайней мѣрѣ, причину, почему мнѣ велятъ молчать?

— Никакой. Я нѣсколько разъ начинала, но меня не слушали, меня прерывали посторонними вещами, такъ что продолжать было невозможно.

— Нестерпимое положеніе! сказалъ молодой человѣкъ.

— Подождемъ, сказала тихо Варенька.

— Это мы повторяемъ цѣлый мѣсяцъ, отвѣчалъ онъ съ нетерпѣніемъ... Простите меня, но мнѣ тяжелѣе, нежели вамъ: мнѣ обидно... Ваши родные для меня посторонніе. Зная, чего я хочу, заставляя меня ждать, они ставятъ меня въ очень неловкое положеніе. Какъ, наконецъ, долженъ я держать себя съ ними и съ вами!.. Самъ я не смѣю заговорить, чтобъ не было хуже...

— Мнѣ пришла мысль, сказала Варенька:—вы видѣли моего дядю?

Карзановъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Вы хотите выбрать его своимъ повѣреннымъ? прервалъ онъ:—нѣтъ, прошу васъ.

— Онъ такъ добръ.

— Вы его знаете только съ нынѣшняго утра.

— Вы сами узнаете его короче и сойдетесь съ нимъ.

— Не думаю, возразилъ Карзановъ: — мы не сойдемся; я не чувствую къ этому никакой охоты.

— Антипатія? спросила Варенька ласково и шутя, какъ это дѣлаютъ для того, чтобъ заставить уступить просьбѣ.

— Вы знаете, что я не признаю антипатіи, отвѣчалъ серьезно Карзановъ:—то есть, отвращенія безотчетнаго. бездоказательнаго. Но когда у меня при первомъ свиданіи душа не лежитъ къ человѣку, я увѣренъ, что впослѣдствіи найду, что меня отталкивало отъ него, какой нибудь недостатокъ, какое нибудь несходство въ понятіяхъ, словомъ, что нибудь, чего теперь я еще не вижу ясно, а только предчувствую...Это со мной не разъ бывало.

— И это самое вы испытываете теперь?

— Да, отвѣчалъ Карзановъ, не замѣчая небольшого упрека въ ея вопросѣ. —Вашъ дядя мнѣ не нравится. Онъ такъ много, такъ легко говоритъ... Мнѣ и безъ того тяжело на сердцѣ, а онъ еще навелъ на меня скуку.

Нѣсколько минутъ оба молчали. Только люди, истинно любящіе другъ друга, умѣютъ, не сходясь во мнѣніяхъ, не оскорблять своимъ молчаніемъ и не оскорбляться молчаніемъ другого.

— Оставимъ его въ покоѣ, милый другъ мой, сказалъ Карзановъ.—Къ чему намъ посторонніе? развѣ мы не довольно сильны нашей любовью? И не лучше ли, когда мы одни живемъ и дѣйствуемъ другъ для друга.

— Правда, сказала она.

— Завтра я приду... Но, Боже мой! завтра надо ѣхать.

Варенька подумала одну минуту.

— Я не смѣю просить васъ остаться, сказала она: — но можно ли подождать до завтра?.. Я потребую, чтобы маменька сказала мнѣ что нибудь рѣшительное.

— Добрая, милая Варенька! благодарю васъ...

— Не за что, отвѣчала она, оставляя свою руку въ его рукѣ.—У меня достанетъ твердости... нѣтъ, я напрасно называю это твердостью; я буду просить о своемъ счастьи, я такъ въ немъ увѣрена! Вы знаете.... еслибъ я любила васъ только за то, что вы

меня любите... но вы такъ добры, такъ благородны, я такъ горда тѣмъ, что вы меня выбрали! Скажите, будетъ ли меня любить ваша мать? стою ли я того?

Карзановъ не могъ отвѣчать. Варенька улыбалась его взгляду...

— Нѣтъ, сказала она: — я не должна васъ удерживать: вамъ дорогъ каждый часъ. Я буду говорить съ маменькой сегодня, поздно... дождитесь меня у моей скамейки — знаете?

— Тамъ, гдѣ я васъ вижу всякій день издали?

— Да... я прибѣгу сказать вамъ, можетъ быть, позвать васъ...

— О Варенька!..

— А въ ночь вы уѣдете къ вашей матери... Ступайте теперь, пора, сказала она, вставая.

Они возвратились на террасу. Николай Петровичъ и Домниковъ сидѣли молча, какъ люди, утомленные днемъ, тоскующіе о покоѣ.

— Гдѣ мать? спросилъ Николай Петровичъ Вареньку.

— Мы не встрѣчали ее, отвѣчала она.

— Спать бы пора, прибавилъ онъ зѣвнувъ:—двѣнадцатый часъ; ужъ вовсе не подеревенски.

— А воздухъ теперь какой, природа! сказалъ Домниковъ.

— Какая тамъ природа? темно, глазъ выколи.

— И намъ съ вами ко двору пора, Михаилъ Семенычъ, сказалъ старикъ Карзанову.—Вы меня ужъ у себя пріютите: поздно.

— Поѣдемте, отвѣчалъ молодой человѣкъ.

Они простились и ушли оба; вскорѣ вдали прогремѣли ихъ дрожки.

Анна Дмитріевна появилась на лѣстницѣ, все опираясь на руку Шатровскаго.

— О-охъ! ужинать бы да спать, сказалъ Николай Петровичъ.

— Кто-жъ тебѣ мѣшаетъ? возразила Анна Дмитріевна. — Войдемъ въ комнаты, Alexis, сыро.

—А до сихъ поръ прогуливалась! замѣтилъ мужъ:—еще занеможешь, Боже сохрани! Что на тебѣ надѣто?

— Какая заботливость!сказала она.—Варенька, вели дать ужинать отцу.

Она прошла въ гостиную, освѣщенную какъ для пріема гостей, и усѣлась на мягкомъ диванчикѣ, приглашая брата сдѣлать то же.

— Нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ отдохнуть, вотъ такъ, сказала она: — свѣжо и тепло. Въ человѣкѣ пробуждается какое-то желаніе самаго положительнаго довольства. Ты не находишь?

— Я нахожу, что у тебя прекрасный домъ и что вообще вы очень хорошо живете.

— Надо же чѣмъ нибудь вознаградить себя, возразила Анна Дмитріевна.—Теперь ты довольно знаешь мою жизнь: я въ правѣ требовать отъ нея хоть матеріальныхъ наградъ...

— Покойной ночи, сказала, проходя, Настасья Петровна.

— Скажи мнѣ... Faisons un peu de philosophie, Alexis, продолжала Анна Дмитріевна.—Вотъ, особа: я всегда удивляюсь, для чего онѣ существуютъ? — «Здравствуйте» поутру, «прощайте» вечеромъ, и ничего между этими двумя словами! ничего для другихъ, для себя, незанятые дни, ненужная жизнь...

— Да, непріятное положеніе, сказалъ разсѣянно Шатровскій.

— Чье? спросила Анна Дмитріевна, сильно занятая своей философіей.

— Положеніе существа ненужнаго.

— Я думаю, скорѣе можно пожалѣть о тѣхъ, кто живетъ съ этимъ ненужнымъ существомъ. Повѣрь мнѣ: ненужные люди все равно, что сорныя растенія: имъ нѣтъ дѣла, что они безобразятъ то, къ чему прививаются; они спокойно разстилаются и процвѣтаютъ... Но каково зданію, къ которому привились они?..

Анна Дмитріевна прислонилась головой къ диванчику и закрыла глаза; казалось, передъ ними олицетворялась ея метафора и выростали громадные кусты полыни, репейника и прочаго... Помолчавъ съ минуту, она засмѣялась.

— Замѣтилъ ты, какъ она отыскивала шапку этому старичку? Какъ я умѣю отгадывать эти движенія! Любезничать хоть съ кѣмъ нибудь, понравиться хоть кому нибудь!

— Истинно женское чувство, проговорилъ Шатровскій, которому дремалось.

— Благодарю васъ за это чувство! что можетъ быть смѣшнѣе? Конечно,судьба меня избавила отъ наказанія быть старой дѣвой, но я увѣрена, еслибъ это и случилось со мною, у меня достало бы ума, чтобъ не быть смѣшной...

— Ты—другое дѣло.

— Да, потому что у меня характеръ, воспитаніе... я жила мыслью и душой...

— Алексѣй Дмитричъ, батюшка, закричалъ Николай Петровичъ, являясь въ дверяхъ залы съ тарелкой въ рукахъ:—что вы не ужинаете? Какой творогъ, какія сливки!

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Шатровскій, порываясь встать.

— Mais, reste donc, сказала Анна Дмитріевна, удерживая его. — Этому человѣку только бы ѣсть! Нѣтъ возможности пробыть двухъ минутъ на свободѣ, поговорить о чемъ нибудь дѣльномъ... Вѣришь ли, продолжала она, погружаясь въ диванчикъ: — это меня возмущаетъ такъ, что я теряю всякое соображеніе, я становлюсь деревомъ... О, судьба! Размышлялъ ли ты когда нибудь, Alexis, какъ насъ бросаетъ судьба? чѣмъ бы мы могли быть и чѣмъ мы стали?..

Варенька вошла.

— Маменька, мнѣ надо сказать вамъ что-то.

Анна Дмитріевна слегка нахмурила брови.

— Что такое? скажи.

— Не теперь; когда мы будемъ однѣ.

Шатровскій всталъ.

— Ты прогоняешь дядю. Что за тайны?

— Желаю всѣмъ пріятнаго сна, сказалъ, входя, Николай Петровичъ. — Хорошо сдѣлали, что остались ночевать, Алексѣй Дмитричъ: гроза собирается. Завтра я васъ подниму рано, покажу вамъ хозяйство...

— Bonsoir, Alexis, сказала Анна Дмитріевна, поднимаясь съ диванчика. — Можешь идти къ себѣ, я не расположена тебя слушать, сказала она Варенькѣ.

— Я не уйду, пока вы меня не выслушаете, отвѣчала Варенька, выходя за нею.

Въ уборной Анны Дмитріевны ярко горѣли свѣчи въ двухъ высокихъ канделябрахъ и блестѣло множество туалетныхъ принадлежностей, самыхъ модныхъ и изысканныхъ. Сама она, закутавшись въ вышитый пеньюаръ, сидѣла передъ зеркаломъ и сильно дремлющая горничная расчесывала ей волосы. Это совершалось весьма медленно и молчаніе нарушалось только маленькими возгласами Анны Дмитріевны, когда неосторожный взмахъ гребенки непріятно прерывалъ ея раздумье.

Варенька сидѣла на открытомъ окнѣ и глядѣла въ садъ. Были послѣдніе часы темной лѣтней ночи. Прудъ бѣлѣлъ вдали; черныя массы деревьевъ подъ окномъ шелестили вѣтками, когда, по нимъ пробѣгалъ вѣтеръ, налетая изъ-подъ тучи. Туча поднималась медленно. На сердцѣ у молодой дѣвушки было тяжело и страшно...

Это была первая рѣшительная минута въ ея жизни, первое обстоятельство, возмутившее рядъ спокойныхъ дней, гдѣ первыя впечатлѣнія молодости еще перемѣшивались съ впечатлѣніями дѣтства, гдѣ воспоминаніе перваго смущенія любви стояло рядомъ съ воспоминаніемъ о дурно выученномъ урокѣ. Молодая душа, пораженная несходствомъ своихъ новыхъ ощущеній со всѣмъ тѣмъ, что испытывала прежде, придавала имъ особенную важность, благоговѣла передъ тѣмъ, что совершалось съ нею. Для нея еще не настала та грустная пора, когда, уставъ отъ волненій, привыкаемъ къ чувствамъ и къ ихъ перемѣнамъ, предугадывая заранѣе эти перемѣны, видя конецъ всего, потому что видишь конецъ молодости, когда-то казавшейся намъ безконечною. Мы спокойны передъ всякимъ рѣшеніемъ, передъ всякой бѣдой, передъ всякой утратой; мы не плачемъ, потому что слезы смѣшны, не волнуемся, потому что волненіе только лишнее безпокойство; покоряемся, потому что давно поняли безполезность борьбы... Но молодость, чувствуя, что у нея въ запасѣ много силъ, тратитъ ихъ съ жаромъ и охотно, какъ мотъ преувеличиваетъ необходимость, лишь бы больше тратить; удивляется, если обстоятельства являются такъ несложны, люди поступаютъ такъ просто, что и ей не для чего геройствовать и волноваться... Прелестное заблужденіе, часто вызывающее улыбку, еще чаще сожалѣніе о томъ, что оно невозвратимо!...

Въ полчаса, пока продолжался вечерній туалетъ Анны Дмитріевны, Варенька повторила себѣ нѣсколько разъ все, что сбиралась сказать: приготовила всѣ отвѣты, всѣ возраженія, на случай, еслибъ они были нужны. Она разсчитывала, что Карзановъ долженъ ужъ возвратиться, потому что до его деревни не было и версты; что онъ дожидается... «Его могутъ увидѣть; я назначила ему свиданіе», думала Варенька со страхомъ, съ смущеніемъ, которое почти лишало ее силъ. Но что будетъ завтра, если у нея не достанетъ силъ переговорить съ матерью? опять тѣ же ожиданія, та же неизвѣстность... лучше все кончить разомъ!

Придя въ свою уборную, нѣсколько раздраженная и взволнованная, Анна Дмитріевна, закутавшись въ пеньюаръ, ощутила какое-то удовольствіе покоя; теплота, свѣтъ и тишина этой надушенной комнаты благотворно подѣйствовали на ея нервы и расположеніе духа. Анна Дмитріевна погрузилась въ раздумье и, немного повернувъ голову, спросила, будто сквозь сонъ:

— Tu es là mon enfant?

Эти слова заставили Вареньку встрепенуться; она встала съ окна и удержалась

за него: ей показалось, что полъ пошатнулся.

— Поди ко мнѣ, продолжала Анна Дмитріевна:—сядь здѣсь.

Она указала на подушку, лежавшую у нея подъ ногами. Варенька стала на колѣни и обняла мать, чтобъ скрыть заплаканные глаза; впрочемъ, хотя Анна Дмитріевна и принялась поправлять ея волосы съ самымъ граціознымъ движеніемъ, полнымъ утомленія, но не замѣтила слезъ дочери.

— Ты мечтала тамъ, у окна. Тебѣ семнадцать лѣтъ—счастливица! «Мечтай»!... Я мечтала тоже и, къ счастью, не забыла этого. Твоя мать не строгая, черствая старуха, а женщина, вполнѣ готовая сочувствовать... Тебѣ должны быть дороги эти минуты. Это единственный часъ, который мы можемъ проводить наединѣ.

— Да, мама, потому-то я и хотѣла теперь сказать вамъ...

— Тебя что-то тревожитъ? Понимаю это, дитя мое! бываютъ эти движенія; душа стремится куда-то, чего-то проситъ... безконечность!..

— Мама, послушайте сегодня вечеромъ...

— Неправда ли, хорошенькое имя: Леонидъ? Есть имена, которыя необыкновенно сладко звучатъ, и хочется повторять ихъ, повторять безпрестанно... Ты не находишь?

— Нѣтъ...

— Какъ будто какое нибудь далекое воспоминаніе, воспоминаніе чего-то существовавшаго прежде насъ, приносится къ намъ съ этими именами... Это одно изъ такихъ именъ. Что-то геройское, прекрасное, какъ тѣ древніе мраморы, которымъ мы вѣчно удивляемся...

— Маменька, прервала Варенька, вставая:—я хотѣла говорить вамъ о себѣ, о томъ, что для меня очень важно, вы знаете...

— Что такое?

— Ради Бога, скажите Карзанову что нибудь рѣшительное!

Она залилась слезами; Анна Дмитріевна улыбнулась и протянула ей руки.

— Маменька, я въ ужасномъ положеніи отъ этой неизвѣстности. Вы не запретили ему бывать у насъ, слѣдовательно, не отказали ему; но вы не хотите, чтобъ онъ говорилъ прямо съ вами, вы велѣли ему ждать... и этому прошелъ цѣлый мѣсяцъ...

— И твой поклонникъ выходитъ изъ терпѣнія?

— Скажите, что я для него: посторонняя дѣвушка, или невѣста? Какъ я должна обходиться съ нимъ?

— Ты такъ хорошо воспитана, что найдешься во всякомъ случаѣ.

— Нѣтъ, я очень несчастна, потому что...

— Потому что ты дитя. О, какъ я вижу себя въ тебѣ! я счастлива, какъ мать; теперь я понимаю все значеніе матери, когда дѣти становятся нашимъ отраженіемъ, повтореніемъ нашимъ на землѣ!..

Она обняла Вареньку съ восторженнымъ чувствомъ.

— Маменька, что вамъ не нравится въ немъ? Вы находили, что онъ хорошо образованъ, что его характеръ и состояніе...

— Дитя мое, для чего ты такъ торопишься меня оставить?

— Не упрекайте меня, вскричала Варенька со слезами:—вы знаете, что я васъ люблю!

— Но готова промѣнять меня... на кого?

— Боже мой, я этого не заслужила!

— Да, конечно, сказала Анна Дмитріевна съ восторженной покорностью: — долгъ матери — вѣчное самоотверженіе!

Въ ея глазахъ, поднятыхъ къ небу, показались слезы.

— Я прошу васъ объ одномъ, продолжала Варенька, призвавъ все свое мужество:— скажите мнѣ да или нѣтъ; прикажите мнѣ разстаться съ нимъ навсегда или сдѣлайте мое счастье...

— Точно ли твое счастье, Варенька?

— Точно мое счастье, потому что я люблю его.

— Увѣрена ли ты, что его любишь?

Варенька взглянула на нее съ недоумѣніемъ. На лицѣ Анны Дмитріевны бродила улыбка, веселая, лукавая и снисходительная, улыбка, съ какою смотрятъ на шалости дѣтей, выговаривая за нихъ, или извиняя ихъ.

— Не спѣши говорить, что ты не можешь жить безъ него, продолжала Анна Дмитріевна. — Когда нибудь я открою тебѣ всѣ тайны этого сердца... ты увидишь, что все проходитъ.

— Но онъ любитъ меня...

— Онъ!.. А что онъ для меня, онъ, чужой, пришлецъ, который хочетъ отнять у матери ея сокровище, ея гордость? О, это сокровище стоитъ того, чтобъ его дожидались и заслуживали!.. Карзановъ можетъ подождать.

— До которыхъ поръ? спросила Варенька, блѣднѣя.

— До тѣхъ поръ, пока я, мать, увѣрюсь, что сердце моей дочери точно любитъ его, что эта любовь не первый порывъ молодости, не первая мечта...

— Маменька, вы хотите заставить меня сказать, что я люблю его больше, нежели...

— Довольно, не спѣши говорить опрометчивыя слова.

— Но ему необходимо знать ваше рѣшеніе, непремѣнно сегодня, теперь...

— Теперь, болѣе нежели когда нибудь, я ничего не скажу ему. Помни мои слова: «теперь, болѣе нежели когда нибудь».

— Почему?

— Почему? повторила Анна Дмитріевна съ невыразимой улыбкой:—потому... что моя Варенька мечтаетъ, глядя въ окно въ темную ночь, потому что душа ея ищетъ лучшаго... А если онъ не хочетъ ждать, скажи ему: нѣтъ. Я беру на себя твое первое горе, я тебя утѣшу.

Варенька рыдала. Не замѣчая, или не желая замѣтить этого, Анна Дмитріевна поднялась съ кресла; ея волосы были уже причесаны и подобраны подъ вышитый чепецъ. Горничная дожидалась, прислонясь къ драпированной двери.

— Прощай, дитя мое, пусть тебѣ снятся счастье, мечты, золотые сны...

— Что-жъ мнѣ сказать ему, маменька?

— Чтобъ онъ не зналъ моего дома, если намѣренъ докучать мнѣ своей настойчивостью, вскричала съ нетерпѣніемъ Анна Дмитріевна, смотрясь въ зеркало и оправляя свой чепецъ.

Варенька остановилась и безсознательно оглянулась кругомъ; нѣсколько секундъ обѣ молчали.

— Покойной ночи, маменька, сказала она голосомъ, который былъ такъ рѣзокъ и твердъ, что въ немъ было легко отгадать отчаяніе.

— Я ужъ простилась съ тобою, отвѣчала, не оборачиваясь, Анна Дмитріевна.

Варенька вышла.

Дойдя до гостиной, въ потьмахъ, она была готова броситься на первое кресло и плакать, но вспомнила, что надо сберечь свои силы еще на нѣсколько минутъ. Она была такъ огорчена, что уже не думала о томъ, что идетъ на свиданіе... Варенька растворила балконъ, сошла съ террасы и побѣжала къ пруду; она оглянулась только на окна матери: въ нихъ уже не было свѣта.

Было темно, а до условнаго мѣста далеко, но Варенька бѣжала, сколько возможно сокращая дорогу; наконецъ она увидѣла прудъ, сирени... съ скамейки всталъ Карзановъ.

— Боже мой! сказалъ онъ: — можно ли бѣжать такъ? вы едва дышете!

— Все равно!.. отвѣчала она.—Уѣзжайте къ вашей матери, забудьте меня... Она велѣла еще ждать, а если вы не хотите...

— То отказать мнѣ?

— Да... Будете ли вы еще ждать?

— Можно ли спрашивать это послѣ того, что вы сдѣлали для меня теперь, моя милая, моя несравненная Варенька!

— Прощайте, сказала она.

— Въ саду нѣтъ никого: позвольте я провожу васъ по крайней мѣрѣ.

— Нѣтъ, уѣзжайте, прощайте...

Она ушла. Карзановъ смотрѣлъ ей вслѣдъ, потомъ перешелъ по плотинѣ на другую сторону пруда и тихо пошелъ домой.

V.

Шатровскій спалъ очень спокойно. Ложась, онъ такъ усталъ, что не думалъ ни о чемъ и не переслѣдилъ въ памяти своего дня. Ночью его не потревожила гроза, поутру ему сказали, что Николай Петровичъ хотѣлъ разбудить его до разсвѣта, чтобъ везти съ собой въ поле, но Анна Дмитріевна съ вечера отдала приказаніе не входить въ комнату ея брата, пока онъ самъ не позоветъ.

— Она встала? спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще-съ; онѣ встаютъ въ одиннадцать часовъ.

Шатровскій вышелъ въ садъ. Онъ былъ въ томъ восхитительномъ расположеніи духа, которое приходитъ чаще всего въ лѣтнее утро; какое-то дѣтское веселье, баззаботность и лѣнь, какая-то разсѣянность, которая переноситъ чувство съ одного предмета на другой и доставляетъ впечатлѣніе общаго удовольствія, между тѣмъ какъ не даетъ насладиться ничѣмъ въ частности. Особенно трудно въ эти минуты остановить мысль, сосредоточить ее на чемъ нибудь и разбирать этотъ предметъ; подробности ускользаютъ и какъ-то нѣтъ охоты занимать голову такой заботой, какъ размышленія, когда вокругъ насъ все такъ безпечно и свѣтло. Разборъ— трудъ, которому мѣсто подъ кровлей, въ комнатѣ небольшой и темной, гдѣ бы глаза и слухъ привыкли ко всему, что имъ встрѣчается, не развлекались и не искали ничего больше.

Шатровскій давно не былъ въ деревнѣ и въ нѣсколько дней, которые онъ успѣлъ провести въ ней, успѣлъ довольно облѣниться. Замѣтивъ свою неохоту думать, онъ тотчасъ приписалъ ее вліянію природы и извинилъ тѣмъ, что отъ всего надо отдохнуть, даже и отъ размышленія, потому что, когда размы-

шленіе входитъ въ привычку, то не оставляетъ человѣку минуты для искренней веселости. Неизвѣстно, какъ эта мысль забрела въ голову Шатровскаго; извѣстно только, что прежде она рѣшительно никогда къ нему не приходила и что именно потому онъ обрадовался ей, какъ новому открытію и неожиданному пріобрѣтенію. Почувствовавъ, что у него есть въ запасѣ такое ощущеніе лѣности физической и нравственной, онъ сталъ еще веселѣе и спокойнѣе духомъ. Когда, вслѣдъ за мыслью, прилетѣло воспоминаніе о Лизаветѣ Андреевнѣ, воспоминаніе, неразлучное со всякимъ порывомъ къ анализу, Шатровскій утѣшалъ себя тѣмъ, что «добрый товарищъ» первый посовѣтовалъ бы ему забыть всю эту премудрость и смѣяться, если легко на душѣ, не думая, логично ли онъ смѣется. Онъ подумалъ потомъ, что вмѣстѣ съ Лизаветой Андревной они смѣялись бы еще больше.

«Сестра моя очень забавна», сказалъ онъ самъ себѣ, улыбаясь: «она заносится въ такую философію, что,послушавъ ее, въ самомъ дѣлѣ надо отдохнуть отъ мысли, какъ отъ работы... Должно быть, это у насъ родственная наклонность, тѣмъ болѣе надо беречься, чтобъ не попасть въ ту же крайность...

«Рѣшительно», продолжалъ размышлять Шатровскій, идя по аллеѣ, «нельзя было выбрать двѣ болѣе противоположныя натуры, какъ она и ея мужъ. Обоимъ не весело, конечно, и оба правы»...

Тутъ ему пришло въ голову сдѣлать сравненіе между зятемъ и сестрою. Конечно, Анна Дмитріевна требовала слишкомъ много, не по состоянію, потому что не хотѣла даже знать, изъ какихъ средствъ мужъ былъ обязанъ удовлетворять ея прихотямъ. Бѣдный помѣщикъ долженъ былъ находиться подчасъ въ страшномъ затрудненіи, когда приходилось тратить на драпировки и паркеты то, что назначалось для перестроекъ и посѣвовъ. Изъ разсказовъ сестры Шатровскій зналъ, что онъ энергически отстаивалъ свои «идеи», то есть защищалъ устарѣвшую теорію предпочтенія полезнаго пріятному, и не всегда бывалъ побѣжденъ. Правда, ему приходилось потомъ заглаживать свои побѣды, какъ заглаживаютъ вины, уступками въ другихъ случаяхъ; но съ другой стороны, безъ сильнаго вмѣшательства Анны Дмитріевны, ихъ домъ былъ бы домомъ людей отставшихъ отъ вѣка, неудобный до скуки; ихъ дѣти полуобразованы до неизящества; Варенька — провинціальная барышня съ претензіями и смѣшными ужимками...

«Богъ съ ними! подумалъ онъ», какое мнѣ до нихъ дѣло? Почти въ двадцать лѣтъ они успѣли привыкнуть другъ къ другу; вмѣшиваться между ними, совѣтовать одному, утѣшать другого было бы безполезно и только глупо. Между корой и деревомъ...»

Не кончивъ поговорки, онъ разсмѣялся и обратился къ Варенькѣ:

«Вчера она была сильно разстроена; не поссорились ли влюбленные? Она говорила, что у нея есть какое-то горе; вѣрно препятствіе со стороны родителей. Но тогда Карзановъ не бывалъ бы у нихъ въ домѣ».

При первомъ воспоминаніи о Карзановѣ, въ душѣ Шатровскаго шевельнулось какое-то досадное чувство. Любовь Вареньки показалась ему забавна, такъ что будь теперь Варенька передъ нимъ, онъ не воздержался бы отъ колкостей и насмѣшекъ, онъ, который наканунѣ прочелъ племянницѣ такое великолѣпное похвальное слово любви... Правда, онъ уже забылъ о немъ.

Шатровскому стало досадно. Еслибъ кто нибудь заставилъ его разобрать и понять, какъ мелочна и зла его досада, тотъ, можетъ быть, заставилъ бы его сознаться и прямо назвать завистью непріятное волненіе, которое поднималось въ душѣ его. Но нужна сильная посторонняя воля, чтобъ довести до подобнаго сознанія.

«Этотъ господинъ слишкомъ много о себѣ думаетъ. Жаль, что первый выборъ Вареньки такъ неудаченъ!» подумалъ онъ. «Что-бъ, однако, могло натолкнуть ее на эту любовь? — потребность любить, и ничего не нашлось лучшаго? Не можетъ быть, потому что она умна. Въ умныхъ женщинахъ есть какой-то инстинктъ, который иногда вѣрнѣе опыта и анализа. Безъ посторонняго вмѣшательства... Ахъ, да, тетушка!.. О, старыя дѣвы, сердца вѣчно любящія и никогда нелюбимыя; вѣчный вопросъ, вѣчно остающійся безъ отвѣта, потому что вопросъ мудренѣе загадки сфинкса. Вотъ тайна, вотъ причина, вотъ источникъ всѣхъ мечтаній, всѣхъ глупостей, всѣхъ романическихъ бредней, которыя сокрушаютъ насъ въ молодыхъ дѣвушкахъ. Первое существо, состарѣвшееся дѣвой, внесло въ міръ все это зло. и это зло будетъ существовать, пока будутъ старыя дѣвы; а онѣ не исчезнутъ, благодаря заботамъ, которыя онѣ сами о томъ прилагаютъ, ежедневно, ежеминутно развивая въ молодыхъ сердцахъ недовѣрчивость и холодность, въ молодыхъ головахъ стремленіе къ идеалу, который они сочинили по своей мѣркѣ. Удивительно хитро придумано!

Искать совершенства и, въ ожиданіи, пока оно найдется, презирать всѣхъ живущихъ! или, еще лучше, встрѣтить перваго чернокудраго помѣщика, перваго голубоокаго офицерика—и ахать: это Равенсвудъ, это Фебъ Шатоперъ... О, романы! когда бы тотъ, кто васъ пишетъ, подумалъ, какое зло они дѣлаютъ, какое оружіе они даютъ въ руки... Хотѣлось бы мнѣ знать, что читаетъ Варенька?»

Размышляя такимъ образомъ и не замѣчая, что какое-то странное расположеніе духа не давало ему взглянуть снисходительно ни на одинъ предметъ, Шатровскій дошелъ до пруда и сѣлъ на Варенькиной скамейкѣ.

«Вѣроятно влюбленные видятся здѣсь», подумалъ онъ съ насмѣшкой, которая не оставляла его съ той минуты, какъ онъ началъ думать объ этой любви.

Его догадка подтвердилась тѣмъ, что, наклонясь, онъ увидѣлъ на дорожкѣ перчатку, которая по размѣру никакъ не могла принадлежать Варенькѣ, а Николай Петровичъ и Домниковъ, какъ настоящіе деревенскіе жители, не знали этой роскоши... Анна Дмитріевна, говоря объ огорченіяхъ души, принужденной прозябать въ чуждой ей сферѣ, кстати упомянула и объ этомъ.

«Какая неосторожность!» сказалъ самъ себѣ Шатровскій, какая глупость! она бываетъ здѣсь съ нимъ одна... Стало быть, вчера, поздно вечеромъ»...

И ему пришла охота дать серьезный урокъ Варенькѣ, потому что, если простительно любить, то непростительно...

«Что?» спросилъ его неожиданно какой-то внутренній голосъ: «непростительно признаться въ этомъ тому, кого мы любимъ, сдѣлать его счастливымъ, позволивъ ему остаться съ нами нѣсколько минутъ наединѣ? Что бы вы сказали, еслибъ Варенька была вамъ посторонняя и любила васъ, г. Шатровскій»...

Шатровскій улыбнулся снисходительнѣе.

«Все же я ее немного помучу», сказалъ онъ, поднимая перчатку.

Спрятавъ ее, онъ оглянулся и увидѣлъ Карзанова, который шелъ по той сторонѣ пруда, приближаясь къ плотинѣ.

«Забавно, если здѣсь назначено свиданіе и явился я вмѣсто Вареньки», подумалъ Шатровскій. «Такихъ случаевъ пропускать ненужно...

— Здравствуйте, закричалъ онъ, когда Карзановъ оглянулся.

Карзановъ приподнялъ фуражку.

«Какъ онъ рисуется!» подумалъ Шатровскій, идя къ нему на встрѣчу.

Послѣднее обвиненіе было совершенно несправедливо: Карзановъ остановился такъ же просто, какъ шелъ, и ожидалъ Шатровскаго, увидѣвъ, что этотъ идетъ къ нему. Напротивъ, еслибъ Шатровскій не былъ такъ странно настроенъ, онъ замѣтилъ бы, что граціозная и высокая фигура молодого человѣка какъ нельзя лучше идетъ къ красивому ландшафту, который разстилался кругомъ; а взглянувъ въ это лицо, озабоченное и немного утомленное, онъ не повторилъ бы себѣ, что Карзановъ интересничаетъ, а, напротивъ, съ участіемъ спросилъ бы, что его тревожитъ. Но Шатровскому все казалось смѣшно, начиная отъ этой ранней прогулки, и онъ обѣщалъ себѣ позабавиться.

— Здравствуйте, повторилъ онъ, подходя:—о здоровьи спрашивать нечего. Каково сегодня ваше расположеніе духа?

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Карзановъ:—обыкновенное.

— Но я не знаю, какое ваше обыкновенное. Вчера мнѣ показалось, что оно не могло быть нормально: вы какъ-то строго смотрѣли на вещи... Не лучше ли сегодня?

— Почему?

— Да такъ. Утро такъ хорошо!.. Вы всякій годъ бываете въ деревнѣ?

— Нѣтъ, я служу.

— Я знаю. Но я думалъ, что вы часто доставляете себѣ это удовольствіе.

— Нѣтъ; моя мать пріѣзжаетъ сюда постоянно всякое лѣто, а я не былъ очень давно.

— И вѣрно уѣдете съ большимъ сожалѣніемъ.

— Почему?

— Какъ, почему? лѣса, поля — все это заставляетъ такъ пріятно забываться, такъ нѣжно настроиваетъ душу...

— Не знаю; ничего подобнаго со мной не случается, возразилъ Карзановъ холодно.

— Невозможно! вскричалъ Шатровскій:— это не въ порядкѣ вещей. Чтобъ подвинуть васъ на откровенность, я самъ начну съ признанія. У меня сегодня страшное расположеніе духа влюбиться... Вы смѣетесь?

— Извините, это забавно.

— Нисколько. Это вліяніе лѣтняго утра. Я сидѣлъ тамъ, на скамейкѣ, видите? и размышлялъ. Не правда ли, самое удобное мѣсто для размышленія? воды струятся, листья шепчутъ... Невозможно, чтобъ вы были ужъ

такъ холодны, чтобъ не сочувствовали красотѣ природы и этой скамейкѣ... Я положительно рѣшился влюбиться. Такъ и быть, принимаю на себя всѣ смѣшныя стороны этого положенія, буду неловокъ, задумчивъ, неразговорчивъ, глупъ, но влюблюсь и испытаю чувство.

— Вы рискуете быть смѣшнымъ и все-таки не испытать чувства; оно на заказъ не приходитъ, возразилъ Карзановъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? ну, такъ дождусь мгновеннаго впечатлѣнія.

— А если предметъ, который долженъ сдѣлать на васъ впечатлѣніе, явится тогда, когда вы будете ужъ не такъ настроены, вы опять имъ не воспользуетесь?

— Постараюсь поддержать въ себѣ эту настроенность духа... Но знаете ли что? Вы говорите, какъ человѣкъ опытный и искусившійся... Вы влюблены?

— На что вамъ это? спросилъ Карзановъ.

— Какъ, на что? Предположите, что я принимаю въ васъ большое участіе, больше, можетъ быть, нежели вы думаете.

«Неужели Варенька ужъ успѣла проговориться?» подумалъ Карзановъ съ досадой, скрыть которую ему стоило большого труда. У Карзанова были свои недостатки: онъ былъ гордъ, не любилъ полумѣръ и окольныхъ дорогъ, а потому не могъ сходиться съ людьми, въ которыхъ замѣчалъ эту наклонность. Довѣрчивый только съ тѣми, кого избиралъ, Карзановъ строго и почти ревниво отклонялъ все, что можно было бы назвать откровенностью съ посторонними; онъ не любилъ третьихъ лицъ, свидѣтелей его чувства или его поступковъ. Потому его положеніе передъ родными Вареньки, неловкое для всякаго другого, для него было невыносимо, и онъ только тогда понялъ, какъ много онъ любитъ Вареньку, когда почувствовалъ, что у него достанетъ мужества быть терпѣливымъ. Въ это утро Карзановъ принесъ ей жертву: онъ написалъ своей матери, что не можетъ пріѣхать; онъ хотѣлъ доказать Варенькѣ, что его любовь не остановится ни предъ чѣмъ, такъ же, какъ не уменьшилась она отъ принужденія, тяжелаго для его характера. Тѣмъ непріятнѣе поразили его слова Шатровскаго. Если Варенька ему довѣрилась, нельзя отказаться отъ его словъ; если это собственная догадка Шатровскаго... Антипатія Карзанова объяснилась; онъ сказалъ себѣ, что будь онъ на мѣстѣ Шатровскаго повѣреннымъ молодой дѣвушки, или случайно замѣть ея привязанность, онъ бы не позволилъ себѣ наскучать другому молодому человѣку фразами и вычурной путаницей, которая такъ смѣшна, что, послушавъ ее, почти совѣстно признаться, что «сердце у насъ нѣжно и впечатлительно» и тому подобное... Предположивъ для себя въ любви своей прямое, дѣйствительное счастье, Карзановъ не могъ думать о ней шутя; шутка другого его оскорбляла. Ему было довольно этого, чтобъ оцѣнить Шатровскаго. Человѣкъ, который шутитъ чувствомъ, въ глазахъ его былъ человѣкъ мелочной и пустой.

— Вы что-то очень задумчивы сегодня, продолжалъ Шатровскій. — Ужъ это одно хорошій знакъ: значитъ, сердце занято такъ, что и высказаться не можетъ. Я только этимъ объясняю ваше молчаніе. Вы, надѣюсь, хорошо понимаете, что странно и смѣшно прикидываться безчувственнымъ: мода прошла. Мы теперь громко признаемся въ невольной мягкости сердца, въ способности привязываться...

— Да, дѣйствительно, на лонѣ природы человѣкъ дѣлается привязчивѣе, сказалъ Карзановъ.

— Всякое чувство должно быть откровенно.

— Даже чувство досады?

— О, вы шутите! сказалъ Шатровскій, смѣясь и совершенно довольный тѣмъ, что ему удалось вызвать досаду Карзанова. — Пожалуй, если судьба васъ гонитъ, досадуйте на нее, выражайте свой гнѣвъ: тѣмъ болѣе будетъ удовольствія слушателямъ и зрителямъ.

— Значитъ, по вашему, чувства бываютъ у насъ только для удивленія зрителей?

— О, какъ вы жарко вступаетесь? вскричалъ Шатровскій, расхохотавшись.—Нѣтъ, теперь ясно: вы влюблены! Берегитесь, я буду наблюдать за вами, и увѣренъ, что нибудь подмѣчу...

— Знаю, отвѣчалъ Карзановъ холодно:— никому нельзя запретить смотрѣть и слушать; но вы, надѣюсь, понимаете, повторилъ онъ, подражая тону Шатровскаго: — что людямъ, которымъ предоставлено только смотрѣть и слушать, совершенно отказано въ откровенности, потому что они не заслуживаютъ ея, и что, слѣдовательно, они по необходимости должны довольствоваться ролью наблюдателей... Не знаю, какъ кому нравится эта роль, а я бы не поблагодарилъ за нее... Желаю вамъ добраго утра.

Онъ поклонился и пошелъ домой.

Возвращаясь домой, Шатровскій былъ въ самомъ дурномъ расположеніи духа; отъ людей оно перешло даже на природу и на предметы неодушевленные: онъ нашелъ, что день слишкомъ жарокъ; что чай не вкусенъ, когда его пьютъ поздно; что маленькая Оленька, которая, какъ вчера, разыгрывала гаммы въ дальней комнатѣ, могла бы разыгрывать ихъ гдѣ нибудь подальше. Варенька, которую онъ засталъ въ залѣ одну за какой-то работой, показалась ему скучна, или не въ духѣ; ему захотѣлось самому хандрить, скучать, дѣлать непріятности другимъ, чтобъ никому не было весело. Бѣда, если человѣкъ въ состояніи исполнить такія ужасныя намѣренія! Шатровскій началъ исполнять ихъ. Его маленькіе племянники играли — онъ съумѣлъ ихъ перессорить, къ совершенному отчаянію гувернера, который едва увелъ ихъ наверхъ. Горесть нѣмца вызвала только улыбку Шатровскаго, и эта улыбка облегчила его сердце, которому почему-то нужно было облегченіе.

— Скоро ли встанетъ мать? спросилъ онъ, подсѣвъ къ Варенькѣ.

— Она проснулась, но нездорова.

— Что съ ней?

— Немного разстроена, отвѣчала Варенька въ смущеніи.

— Ты была у нея?

— Да.

— О чемъ ты съ ней хотѣла говорить вчера?

— Такъ.

— Можно сказать?

— Право ничего; разныя распоряженія.

— Отчего у тебя глаза красны?

— Не знаю.

Она замолчала и продолжала работать. Шатровскій перебиралъ ея рабочій ящикъ.

— Нѣтъ ли тутъ секретовъ? Постой, я поищу.

— Никакихъ. У меня ихъ нѣтъ.

— Какъ, нѣтъ? ты мнѣ обѣщала секретъ сегодня.

— Онъ прошелъ за ночь, отвѣчала она, печально улыбнувшись.

— Посмотри на меня. Да ты сама перемѣнилась за ночь.

— Можетъ быть, сказала Варенька, отворачиваясь, чтобъ скрыть слезы, которыя навернулись у нея на глазахъ.

— Варенька, Варенька! что это? о чемъ ты плачешь?

— Ничего, дядя, не мучьте меня.

— Кто тебя огорчилъ? Мать?

— Нѣтъ, отвѣчала она поспѣшно.

— Твоя милая тетушка?

— Нѣтъ, увѣряю васъ.

— Такъ я знаю. Это — «досада влюбленныхъ», комедія... во сколькихъ она будетъ дѣйствіяхъ?

— Увѣряю васъ, это не досада; увѣряю васъ, я не влюблена, отвѣчала Варенька и заплакала.

— Пожалуй, пожалуй, я вѣрю, всему вѣрю, сказалъ хладнокровно Шатровскій. — Сегодня мнѣ скажутъ одно, завтра другое, я всегда буду совершенно покоенъ. Изъ чего мнѣ безпокоиться?.. Это что такое? спросилъ онъ, вдругъ, показывая перчатку Карзанова и дѣлая видъ, что нашелъ ее въ ящикѣ.

Варенька взглянула и поблѣднѣла.

— Гдѣ вы нашли? спросила она.

— Хорошо по крайней мѣрѣ, что ты не совсѣмъ умѣешь хитрить, отвѣчалъ строго Шатровскій.—Ты не отговариваешься тѣмъ, что не знаешь чье это. Скажи ему, чтобъ онъ былъ осторожнѣе, когда приходитъ на свиданіе.

— Дядя!.. сказала Варенька вспыхнувъ.

— Не обижайся. Какъ же иначе называть вещи, какъ не по имени? Ты позволяешь Карзанову приходить къ твоей скамейкѣ. Не одинъ же онъ тамъ любуется природой.

— Еслибъ вы знали, прервала Варенька, оскорбленная его насмѣшкой,—для чего онъ приходилъ, всего одинъ разъ...

— Я ничего не спрашиваю, возразилъ Шатровскій, котораго подстрекало противорѣчіе. — Одинъ разъ, сто разъ, это до меня не касается съ той минуты, какъ ты объявила, что тебѣ нечего мнѣ сказать. Стало быть, ты раскаяваешься, что была откровенна со мною вчера. Какъ хочешь, мнѣ все равно. Совѣтую только быть осторожнѣе, потому что не всякій смотритъ на эти вещи такъ снисходительно, какъ я.

— Я не думаю, чтобъ мнѣ была необходима снисходительность, сказала Варенька.

— Позвольте послушать, какъ вы объясните это, сказалъ Шатровскій.

— Я думаю, вы объясните это еще лучше, возразила она: — вы защитникъ собственнаго сознанія и увлеченій.

Она была такъ хороша, говоря это, ея неожиданная смѣлость была полна такого милаго кокетства и вмѣстѣ такого искренняго чувства, что Шатровскій вскричалъ невольно:

— Варенька, ты восхитительная женщина!

— Не знаю, отвѣчала она.

— Скажи мнѣ, какъ это могло случиться, что ты влюбилась въ Карзанова?

— Онъ вамъ не нравится?

— Не то чтобъ совсѣмъ, но послушай...

— Не будемъ говорить объ этомъ, прервала она серьезно и печально.—Ужъ все кончено.

— Какъ? совсѣмъ? Вы поссорились? Оттого-то онъ такъ неразговорчивъ сегодня.

— Развѣ вы его видѣли?

— Сейчасъ имѣлъ удовольствіе встрѣтить его у плотины.

«Такъ онъ не уѣхалъ!» сказала про себя Варенька.

— Уѣхалъ? куда?.. Какое ты дитя, другъ мой! Только въ романахъ уѣзжаютъ послѣ ссоръ, а на дѣлѣ это такія хлопоты съ подорожными и извозчиками, что еще никто, сколько мнѣ извѣстно, не принималъ этой отчаянной мѣры. Будь покойна, твой вздыхатель живъ, здоровъ и, я думаю, явится обѣдать.

— Онъ не придетъ, сказала Варенька.

— Ты понимаешь, что я изъ этого ничего не потеряю, возразилъ Шатровскій, которому стало скучно.

Онъ началъ ходить по залѣ, поглядывая въ окна. Варенька смотрѣла въ свое окно; молчаніе продолжалось нѣсколько минутъ. Шатровскій былъ совершенно равнодушенъ и почти утомленъ; внутренно онъ говорилъ себѣ, что перспектива подобнаго провожденія времени не представляетъ ничего пріятнаго, и что ему необходимо ѣхать къ себѣ, въ Сосновку, чтобъ не соскучиться совсѣмъ. Варенька была разстроена; она не понимала причины, почему Карзановъ не уѣхалъ, и спросила бы дядю, еслибъ его равнодушно-насмѣшливый тонъ, неудовольствіе, съ которымъ онъ отзывался о Карзановѣ, и, главное, вчерашнія слова самого Карзанова, не удерживали ея откровенности. Ей было очень тяжело при мысли, что она сама своимъ молчаніемъ ставитъ себя въ странное отношеніе съ Шатровскимъ, который, казалось, былъ расположенъ любить ее и, можетъ быть, помогъ бы ей въ чемъ нибудь: мать имѣла къ нему столько довѣрія!.. И еслибъ даже онъ не помогъ ей—въ семнадцать лѣтъ такъ весело, такъ отрадно довѣряться, имѣть друзей... Варенькѣ хотѣлось бы имѣть друга въ Шатровскомъ:

— Дядя, сказала она нерѣшительно: — что вамъ говорилъ Карзановъ?

— Ничего... Ты ребенокъ, Варенька, продолжалъ онъ, остановясь передъ нею:—что особеннаго можетъ сказать мнѣ этотъ господинъ? Дружиться мы съ нимъ не намѣрены и я нахожу, что онъ довольно невѣжливъ даже для простого знакомства. Признаюсь, вчера, послѣ твоихъ словъ, я ждалъ чего нибудь лучше... Если тебя забавляетъ страсть его, пожалуй, забавляйся, но мой совѣтъ: брось эту глупость.

— Вамъ должно быть очень легко жить на свѣтѣ, если вы такъ легко мѣняете ваши мнѣнія, сказала Варенька.

— Какія? Я ничего не измѣняю, а только составляю мое мнѣніе о Карзановѣ, я ничего не говорилъ тебѣ о немъ.

— И я говорю не о немъ, возразила Варенька.

— О чемъ же?

— Не знаю... но, кажется, вчера вы не посовѣтовали бы мнѣ забавляться чьей нибудь привязанностью.

— Полно, душа моя, это нелогично! «чьей нибудь»...нельзя же отвѣчать на всякую привязанность; женщина должна цѣнить себя.

— Такъ я унижаю себя, если люблю Карзанова?

— Оставимъ это. Ты раздражена, не знаю чѣмъ; а такой молодой головѣ, какъ твоя, не слѣдуетъ экзальтироваться. Знаешь ли, были примѣры, что люди доходили до глупостей потому только, что слишкомъ сильно разбирали даже умныя вещи. Ты слыхала это?

— Не знаю, возразила Варенька, принимаясь за работу.

— Лучше всего, если мать твоя встала. Узнай, могу ли я ее видѣть... И будь весела: къ блондинкѣ не идутъ заплаканные глаза.

Варенька вышла. Шатровскій увидѣлъ, что, проходя гостиную, она остановилась передъ зеркаломъ и старалась оправиться.

— Вотъ такъ-то лучше, сказалъ онъ ей громко.—О, женщины! вѣчныя кокетки.

На встрѣчу Вареньки въ гостиную вошла Настасья Петровна. Шатровскій видѣлъ, что Варенька поцѣловала ее мимоходомъ, но очень нѣжно, и сказала что-то. Тетка вышла къ нему въ залу.

«Я забылъ еще это удовольствіе», подумалъ Шатровскій. «Нѣтъ, скорѣе въ Сосновку!»

— Я думала, вы въ поляхъ съ братомъ, сказала Настасья Петровна.

— Нѣтъ, я дожидаюсь его, чтобъ проститься; мнѣ надо ѣхать къ себѣ.

— Сегодня? спросила она, какъ будто съ испугомъ, и прибавила, какъ могла любезнѣе:—о, нѣтъ, сегодня васъ не отпустятъ.

— Почему?

— Анна Дмитріевна нездорова... мы васъ еще такъ мало видѣли.

Шатровскій подумалъ, что могъ бы безъ этого обойтись и не видать ее вовѣкъ, и отвѣчалъ разсѣянно, глядя въ окно:

— Жаль, но мнѣ все-таки надо ѣхать.

— Васъ будутъ убѣдительно просить, сказала Настасья Петровна: — предупреждаю васъ заранѣе... На что огорчать родныхъ? Вы не говорили этого Варенькѣ?

— Нѣтъ еще.

— Такъ я скажу ей...

Старая дѣва такъ переконфузилась, что Шатровскому стало и смѣшно, и жалко.

— Если вамъ угодно, чтобъ я остался, сказалъ онъ очень любезно: — то просьбы Вареньки будутъ совершенно лишнія; вамъ стоитъ приказать.

Настасья Петровна была еще смущена, но, казалось, чрезвычайно обрадовалась.

— Въ такомъ случаѣ, сказала она: — я безъ церемоній беру ваше слово и прошу васъ остаться.

Шатровскій поклонился.

— Ваша воля—законъ, сказалъ онъ.

Настасья Петровна вспыхнула; къ счастью, на ней въ этотъ день было черное платье, что нѣсколько смягчало непріятный цвѣтъ лица ея. Шатровскій безжалостно продолжалъ смотрѣть на нее. Она подошла къ пяльцамъ, стоявшимъ въ углу залы, и открыла ихъ.

«Хорошо», подумалъ Шатровскій, слѣдя за всѣми ея движеніями, «если я остаюсь здѣсь по ея милости, то справедливость требуетъ, чтобъ она же и доставила мнѣ средства позабавиться».

— Позвольте помочь вамъ, сказалъ онъ, бросаясь къ пяльцамъ и приподнимая ихъ:— куда прикажете поставить?

— Здѣсь, сказала Настасья Петровна, подвигая стулъ къ окну:—благодарю васъ.

Шатровскій успѣлъ взять у нея стулъ, подвинулъ его самъ, поправилъ стору и, пока Настасья Петровна разбиралась въ своихъ шелкахъ и иголкахъ, онъ уже поставилъ другой стулъ для себя, напротивъ нея, и усѣлся.

— Это ваше постоянное занятіе? спросилъ онъ.

— Да, отвѣчала Настасья Петровна, которая, вооружась иголкой, стала нѣсколько смѣлѣе.

«Она нашла точку опоры», подумалъ Шатровскій, замѣтивъ это.

— Неужели не скучно, продолжалъ онъ вслухъ:—работать цѣлый день, и еще такой длинный день?

— Надо-жъ дѣлать что нибудь, отвѣчала она.

— Такъ вы совершенно машинально исполняете такую трудную работу?

— Совершенно машинально.

— Знаете ли, сказалъ Шатровскій, помолчавъ для того, чтобъ показать, что онъ размышлялъ: — вашъ отвѣтъ меня успокоилъ. Я всегда страдалъ за тѣхъ, кого видѣлъ за какой нибудь медленной и сложной работой; мнѣ казалось, что имъ невыносимо скучно, что трудъ долженъ раздражать ихъ. Выходитъ совсѣмъ иначе: дѣло дѣлается равнодушно, спокойно, безъ мысли... Впрочемъ, едва ли это утѣшительнѣе...

— Почему?

— Я не умѣю хорошо объяснить своей мысли, отвѣчалъ онъ:—такъ мнѣ кажется...

Шатровскій помолчалъ опять нѣсколько минутъ; на этотъ разъ онъ въ самомъ дѣлѣ посвятилъ ихъ размышленіямъ. Размышленія состояли въ слѣдующемъ:

«Старыя дѣвы вообще любятъ разговоры о чувствахъ; это доказывается живымъ, предстоящимъ примѣромъ: Настасья Петровна тотчасъ отозвалась на первое слово, гдѣ промелькнулъ разборъ; стало быть, источникъ забавы найденъ и стоитъ пользоваться».

— Я докончу мою мысль, если позволите, сказалъ онъ: скука — признакъ борьбы, жизни, а покорность—апатія...

— Точно такъ.

Шатровскій взглянулъ на нее и могъ смотрѣть долго, потому что, опустивъ глаза на шитье, она не замѣчала его взгляда. Онъ замѣтилъ, что у нея были прелестныя руки, нѣжныя прозрачныя руки, приводящія въ восторгъ художника чистотой и необыкновенной правильностью своего очерка. Шатровскій не безъ опасенія поднялъ глаза на ея лицо, до сихъ поръ казавшееся ему некрасивымъ, но съ удивленіемъ замѣтилъ, что вблизи оно явилось ему свѣжѣе и моложе, что спокойствіе сглаживало его непріятныя складки, а тихая мысль придавала ему необыкновенно привлекательное, кроткое выраженіе. Тутъ же кстати Шатровскій замѣтилъ граціозный склонъ головы съ густой темной косою, въ которой онъ уже не подумалъ искать сѣдыхъ волосъ, и стройность худощавыхъ плечъ, съ которыхъ спустилась мантилья.

«Она, право, недурна», подумалъ онъ, обращая вниманіе опять на ея античныя руки.

Настасья Петровна взглянула на него въ эту минуту. Шатровскій ждалъ, что она са-

модовольно улыбнется, или пріятно сконфузится, замѣтя его наблюденія, но ничего подобнаго не было; она подняла глаза, отыскивая свои ножницы.

— Неужели, продолжалъ онъ:—вы думали о себѣ, когда намекнули на апатію, на это ужасное отсутствіе чувства?..

— Не знаю, что въ немъ ужаснаго, отвѣчала она:—но вы совершенно меня поняли: я говорила о себѣ.

«Тутъ нечего долго добиваться», подумалъ Шатровскій: «откровенность съ двухъ первыхъ словъ; кажется, нечего опасаться большой строгости. Съ нею можно провести время».

— Я очень страненъ съ моей откровенностью, сказалъ онъ громко:—но меня вотъ цѣлые полчаса мучитъ мысль... Скажите, для чего вы хотѣли, чтобъ я остался здѣсь?..

— Я полагала, что вашимъ роднымъ будетъ пріятно, отвѣчала она, смущаясь.

— Моимъ роднымъ?.. повторилъ Шатровскій, будто недовольный отвѣтомъ, и отвернулся отъ пялецъ, какъ будто съ досадой, которой не могъ вполнѣ скрыть.

— Дядя, маменька встала и проситъ васъ къ себѣ, сказала, входя, Варенька.

Шатровскій всталъ, какъ человѣкъ озабоченный, и вышелъ.

— Что, милочка?.. спросила Настасья Петровна, глядя въ лицо Вареньки, на которомъ были замѣтны слѣды слезъ.

Варенька обняла ее.

— Полно, душа моя! ненадо, чтобъ это замѣтили. Вообрази, что Алаксѣй Дмитричъ хотѣлъ уѣхать.

— Что ты говоришь? тогда бы просто бѣда... Одно спасеніе, что есть кто нибудь посторонній...

— Полно, Варенька... онъ не уѣдетъ.

— Тетя Настя, пойдемъ къ тебѣ въ комнату; теперь онъ съ маменькой, можно.

Пойдемъ, сказала Настасья Петровна, закрывая свои пяльцы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

На другой день, къ вечеру, Шатровскій возвратился въ свою Сосновку.

Его сильно утомили послѣдніе два дня; поэтому, хотя вечеръ былъ прекрасный и видъ съ балкона не измѣнился, Шатровскій не обратилъ вниманія ни на то, ни на другое, а приказалъ выгнать мухъ изъ своей спальни, закрыть окна и давать ужинать, намѣреваясь насладиться полнымъ спокойствіемъ.

Неизвѣстно почему, но ему казался необходимымъ отдыхъ, хотя онъ провелъ послѣдніе два дня такъ же, какъ и предшествовавшіе, въ совершенномъ бездѣйствіи. Его ничто не потревожило, но онъ былъ безпокоенъ, ни что не огорчило его, но ему было скучно. Усталость, безпокойство и скука... отъ нихъ самое скорое, если не самое вѣрное лекарство — сонъ. Шатровскій сталъ акуратно лечиться; онъ проспалъ на другой день до полдня и проснулся если не здоровѣе, зато съ самымъ здоровымъ аппетитомъ, что заставило его поторопить обѣдъ. Ранній обѣдъ и, вслѣдъ за нимъ, прогулка по хозяйству сдѣлали необходимымъ полдникъ. Этотъ полдникъ былъ импровизированъ на порогѣ погреба, гдѣ прельстили Шатровскаго ягоды и сливки; а когда онъ насладился тѣмъ и другимъ, ему было какъ-то лѣнь идти дальше; онъ усѣлся тутъ же, подъ навѣсомъ погреба, хотя видъ былъ нисколько не живописенъ и весь состоялъ изъ широкаго двора, обнесеннаго службами и поросшаго травой, съ протоптанными по немъ узенькими дорожками. Собравъ вокругъ себя множество самыхъ разнообразныхъ дворняшекъ, Шатровскій приказалъ женщинѣ, угощавшей его сливками, принести имъ хлѣба, и кормилъ ихъ, разговаривая съ нею вообще о животныхъ и о ихъ наклонностяхъ; онъ сообщилъ ей нѣкоторыя свѣдѣнія о животныхъ Новаго Свѣта, гдѣ природа богаче нашей, и снисходительно улыбался немного недовѣрчивому, но непритворному ужасу слушательницы. Примѣтивъ, что нѣсколько мальчишекъ и дѣвчонокъ собралось было играть «въ коршуна», но стѣснялось его присутствіемъ, онъ разрѣшилъ имъ это весьма благосклонно и даже ободрялъ ловкихъ громкими похвалами. Такъ проходило время. Шатровскій разговаривалъ съ людьми, возвращавшимися съ разныхъ работъ, и рас-

порядился поправкою забора и колеса у колодезя. Начинало темнѣть, и онъ съ сожалѣніемъ долженъ былъ отпустить своихъ собесѣдниковъ, для которыхъ пришла пора ужинать. Дворъ пустѣлъ понемногу. Дворняшки отправились лаять, каждая къ своему посту, на гумно, въ садъ, къ сараямъ. Сторожъ застучалъ въ доску; въ промежуткахъ стука послышалось, какъ соловей засвисталъ въ рощѣ. Шатровскій далъ это замѣтить повару, который пришелъ за приказаніями; бесѣда ихъ продолжалась довольно долго, пока стемнѣло, засвѣтились звѣзды, и приказчикъ, ожидавшій своей очереди для переговоровъ, появился, какъ призракъ, въ сумракѣ ночи. Онъ удивился мѣсту, на которомъ нашелъ своего господина, и замѣтилъ, что на дворѣ холодновато и поздненько. Шатровскій самъ начиналъ находить это, всего болѣе потому, что бесѣда приказчика была не довольно занимательна, а въ домѣ засвѣтился огонь. Онъ такъ привѣтливо сіялъ среди темноты, такъ живо напоминалъ объ удовольствіи ужина, когда въ открытыя окна шелеститъ вѣтерокъ, раздувая свѣчи, и бабочки вьются надъ кругами свѣта, что было невозможно не уступить его призыву, отказать себѣ въ этомъ наслажденіи. Шатровскій отпустилъ приказчика и поспѣшилъ въ домъ, не оглядываясь на природу: его ожидалъ накрытый столъ—«пріятнѣйшее изъ всѣхъ пріятныхъ зрѣлищъ...»

Но, оставшись одинъ, Шатровскій оглянулся на свой день и ему стало что-то скучно. Это была скука безпредметная, безсмысленная, скука, смѣшанная съ лѣнью, скука, которая радуется ночи, потому что есть надежда забыться во снѣ. Шатровскій заснулъ...

Онъ всталъ весело; и хотя мелькнула мысль чѣмъ заняться въ цѣлый длинный день, но эта мысль недолго его тревожила. Онъ погулялъ, посмотрѣлъ, какъ ловили рыбу, потомъ, возвратясь домой, спросилъ ключъ отъ стариннаго шкапа съ книгами, замѣченнаго имъ въ одной изъ комнатъ. Отворивъ этотъ шкапъ, изъ котораго понеслась пыль и сырость, Шатровскій не безъ нѣкотораго страха вытащилъ маленькую книжку, въ рыженькомъ кожаномъ переплетѣ съ краснымъ обрѣзомъ, прочную, толстенькую книжку, какія ужъ не переплетаются въ нашъ вѣкъ, хоть вѣкъ и хлопочетъ, чтобъ труды его сохранились для потомства. Книжка была чувствительный романъ. Вѣроятно, на нее лились не разъ искреннія и горючія слезы, но желтоватыя страницы не сохранили ихъ слѣдовъ: крѣпкая бумага улеглась, какъ подъ пресомъ. Напрасно Шатровскій искалъ какого нибудь «изсохшаго, безуханнаго» цвѣтка, обрѣзка ленты — далекаго воспоминанія тѣхъ, чьи руки прикасались къ этимъ страницамъ; правда, онъ находилъ закладки, но то были акуратно отрѣзанные лоскутки синеватой пожелтѣлой бумаги, исписанные стариннымъ почеркомъ, на которыхъ чаще попадались цифры, нежели буквы, хозяйственныя замѣтки, или обрѣзки расходной тетради... О, разочарованіе!

Убѣдившись, что почти вся библіотека состоитъ изъ такихъ же сокровищъ, съ прибавкой нѣсколькихъ связокъ старинныхъ журналовъ — тощихъ, сѣренькихъ и полинялo-розовыхъ тетрадокъ, мирно покоившихся во тьмѣ нижней полки, гдѣ крѣпко втиснутые фоліанты «О поваренномъ искусствѣ» обтирали имъ углы и превращали ихъ въ клочья сѣрой пыли — Шатровскій хотѣлъ было запереть шкапъ, но остановился, потому что еще не придумалъ, что дѣлать. Казалось, было бы очень легко перейти отъ этой старины къ тѣмъ книгамъ, которыя онъ привезъ съ собою, но именно этотъ переходъ и показался труденъ Шатровскому. Онъ такъ мало чувствовалъ, такъ мало думалъ, что возбудить въ себѣ размышленіе и сочувствіе стоило бы ему усилія, на которое онъ не могъ рѣшиться. Занятія, въ которыхъ требовалось участіе души, пугало его, какъ пугаетъ понедѣльникъ школьника, который лѣнится въ воскресенье. Шатровскаго одолѣвала нравственная лѣнь. Онъ даже не разбиралъ своего чувства; онъ сказалъ себѣ просто, что ему некогда заниматься: надо же хоть немного похозяйничать, надо же сколько нибудь отдохнуть; читать — на это довольно времени и въ городѣ, а лѣто бываетъ одинъ разъ въ году...

Онъ и не оглянулся, что его хозяйственныя распоряженія состояли только въ кормленіи собакъ, а наслажденія природой — въ истребленіи ягодъ, купаньи и снѣ. Онъ и не вспомнилъ, что въ недѣлю, проведенную имъ въ деревнѣ, только одинъ разъ по душѣ его пробѣжало что-то похожее на чувство прекраснаго, какой-то трепетъ радости и восторга, какое-то сознательное блаженство, которое заставляетъ жить полнѣе, потому что, благотворно дѣйствуя на физическія силы, пробуждаетъ и силы нравственныя... Это было въ первый день его пріѣзда,

когда онъ въ первый разъ вышелъ на свой балконъ. Еслибъ кто нибудь напомнилъ ему это, Шатровскій не засмѣялся бы своему прошлому ощущенію; онъ сказалъ бы, что оно было прекрасно, но не всякую же минуту человѣкъ можетъ быть способенъ на такія ощущенія: для нихъ нужно особенное настроеніе души, а настроивать себя насильно, значитъ экзальтироваться...

Онъ не сознавался, но бездѣлье ему нравилось. Возможность комфорта и лѣни доставляла ему необыкновенное наслажденіе. Онъ шутилъ надъ собою, придумывая для себя лакомый обѣдъ, но не хотѣлъ замѣтить, что съ нѣкоторой тревогой думалъ: что, если этотъ обѣдъ не удастся? Отсутствіе мысли, отъ котораго все кругомъ него явилось будто во снѣ, приносило столько покоя, что Шатровскій отдавался этому покою, не разбирая, на сколько покой унижалъ его достоинство.

Правда, минутами ему еще бывало скучно, какъ будто отъ пустоты, но онъ вспоминалъ тогда, сколько разъ, взволнованный размышленіемъ и анализомъ, онъ чувствовалъ на сердцѣ тяжесть гораздо бо̀льшую, печаль, которая дѣлала ненавистнымъ даже то, что могло бы радовать... Онъ вспомнилъ также, что когда-то уважалъ въ себѣ эту печаль, что назвалъ ее «тоской по міру» и за нея прощалъ себѣ многое другое...

«Было бы чѣмъ впечатляться!» сказалъ Шатровскій, бросаясь на диванъ въ своей гостиной и закрывая глаза, чтобъ заснуть.

Неотвязное воспоминаніе подсказало ему, что когда-то, прежде, онъ говорилъ, что «во всякомъ предметѣ, во всякомъ человѣкѣ можно найти что нибудь стоющее сочувствія»...

Шатровскій разсмѣялся, подумавъ объ Аннѣ Дмитріеннѣ и о прочемъ.

Воспоминаніе стало настойчивѣе; оно доказывало, что въ жизни ничто не мелко, если ужъ такъ сложилась жизнь...

Шатровскій разомъ прервалъ всѣ эти доводы, грозившіе превратиться въ длинное размышленіе и надоѣсть ему:

«Наконецъ, я не хочу думать — такая полоса, такое расположеніе духа. Пересиливать свое расположеніе духа безполезно и даже опасно; пройдетъ само, когда придетъ время»...

И, отъ нечего дѣлать, онъ протянулъ руку за толстенькой книжкой, нечаянно принесенной имъ изъ библіотеки. Старинный романъ былъ переведенъ такимъ языкомъ, что, прочтя нѣсколько строкъ, Шатровскій расхохотался громко. Послѣ первой находки, онъ ужъ не могъ оторваться отъ такого наслажденія и читалъ въ срединѣ до тѣхъ поръ, пока заинтересовался содержаніемъ. Оно было нелѣпо, какъ и слогъ, но Шатровскій храбро откинувъ заглавный листокъ, перегнулъ вѣковой переплетъ, съ которымъ, вѣроятно, въ первый разъ его существованія, обходились такъ нецеремонно, легъ покойнѣе и принялся читать съ первой страницы. Сначала, съ нѣкоторымъ трудомъ, Шатровскій заставилъ себя понять завязку романа, потомъ, вникнувъ, слѣдилъ за нею, пока внимательность не вошла въ привычку и не сдѣлалась чѣмъ-то машинальнымъ; руки не бросали книги потому только, что одинъ разъ взялись за нее, а глаза смотрѣли на страницы потому, что надо-жъ смотрѣть на что нибудь. Голова его стала тяжелѣть, какъ послѣ лишняго сна, и лѣнь достигла крайнихъ предѣловъ. Отуманенный чтеніемъ, въ которомъ ни разумъ, ни чувство не принимали участія, усталый отъ жаркаго дня и отъ лежанья на диванѣ, Шатровскій нашелъ развлеченіе только въ обѣдѣ; потомъ у него достало воображенія только на то, чтобъ подумать, что «надо бы отдохнуть», а физическихъ силъ только, чтобъ дойти до постели...

Дня черезъ три, проведенные точно такъ же, съ весьма небольшими измѣненіями, Шатровскій съ удовольствіемъ замѣтилъ что потолстѣлъ и что въ деревнѣ можетъ быть не очень скучно.

Изъ этого можно заключить, что въ эти три дня Шатровскій еще усовершенствовался.

О книгахъ, привезенныхъ съ собою, онъ уже совсѣмъ забылъ. Въ одно прекрасное утро ему нечаянно попался подъ руку длинный листъ какого-то журнала и заставилъ его вспомнить, что въ городѣ ему казались необходимыми уединеніе и тишина, чтобъ зрѣло думать и совершить какой нибудь полезный трудъ... Что это были за труды и какую пользу должны были принести они — Шатровскій уже не могъ опредѣлить ясно, и очень насмѣшливо улыбнулся, вспомнивъ объ этихъ замыслахъ.

«Все суета на свѣтѣ» сказалъ онъ съ глубокомысленнымъ вздохомъ (Надо признаться, что этотъ вздохъ былъ больше вызванъ желаніемъ облегчить дыханіе, нежели мыслью о человѣчествѣ). «Все вздоръ!» прибавилъ Шатровскій посмотрѣвъ фельетонъ и бросая его подальше. «Разсуждай или не разсуждай, свѣтъ все-таки пойдетъ какъ ему

вздумается, а горевать о томъ, что онъ идетъ не такъ, какъ бы намъ хотѣлось... стоитъ ли на это тратить время?... И притомъ, какъ бы онъ ни шелъ, мнѣ что за дѣло? развѣ это до меня касается?»

Шатровскій позволилъ себѣ потерять нѣсколько минутъ на размышленіе, которое уже нѣсколько дней считалъ потерею времени.

«Мы не знаемъ жизни», продолжалъ онъ, «а смотримъ въ даль; не справясь съ собой—устроиваемъ, не доучась—учимъ. Логика!... Забота всякаго должна быть—одинъ свой уголъ, и никакъ не дальше; а что можетъ быть особеннаго въ этомъ углу?... Какъ человѣкъ способенъ преувеличивать все—дѣла, обстоятельства, чувства! Какое вѣчное дѣтство, вѣчная игра въ мыльные пузыри! Толкуемъ о суетѣ міра, осуждаемъ великихъ честолюбцевъ (которымъ, положимъ, было еще изъ чего хлопотать), кричимъ, что все прахъ, смиряемся... а что мы дѣлаемъ всякій день? Изъ всякой малости тревожимъ сердце, всякій вздоръ разбираемъ всей тонкостью нашей философіи, въ маленькой, чинной и незамѣчательной жизни поднимаемъ Богъ-знаетъ какую бурю! Что нибудь огорчитъ насъ: мало того, что мы наплачемся—нѣтъ, мы еще станемъ разсматривать, что именно заставило насъ плакать; при разсмотрѣ явятся подробности, часто также неутѣшительныя, а часто и такія, которыя намъ самимъ не дѣлаютъ чести, а только больше злятъ насъ... Это—въ отношеніи насъ самихъ; а въ отношеніи къ другимъ—Боже, какъ мы забавны!.. Какую необыкновенную чувствительность мы въ нихъ предполагаемъ! какое великое значеніе придаемъ себѣ и своему вліянію! Какъ часто являемся мы готовыми утѣшителями въ томъ или другомъ обстоятельствѣ, и съ удивленіемъ видимъ, что наше утѣшеніе вовсе ненужно... Мы такъ удивлены, что почти обижены... обижены тѣмъ, что нашъ ближній недовольно несчастливъ! Досадно, что потратили участіе, иногда досадно, что физически побезпокоились. Какъ все это забавно и какъ легко избавить себя отъ лишнихъ тревогъ, другихъ отъ докучной заботливости! стоитъ только не преувеличивать, то есть не думать».

«Не думать—блаженное состояніе, покой, въ которомъ возможны всѣ наслажденія, неподвижность, нисколько неунизительная для разума, потому что обязанность разума—найти счастье; а онъ исполнилъ ее, нашелъ счастье. Какая надобность разбирать, какъ и въ чемъ? Говорятъ, что счастье эгоистично; но сочувствіе такъ скучно навязчиво, а эгоизмъ не мѣшаетъ никому, потому что неподвиженъ...»

«Эгоизмъ—слово также дурно понятое. Можно ли называть такъ спокойное и полное приниманіе благъ, которыя намъ встрѣчаются и не отняты у другихъ? Если другимъ также дается что нибудь, пусть они берутъ и пользуются въ свою очередь! всякій имѣетъ свое право...»

«Вотъ и еще преувеличеніе!» продолжалъ размышлять Шатровскій: «всякій имѣетъ свое право; но на сколько всякому оно кажется больше того, нежели оно есть въ самомъ дѣлѣ? Сколько громкихъ словъ придумано по этому случаю, и какъ дѣтски мы вѣримъ этимъ громкимъ словамъ! Всякій старается выказать, что ему Богъ-знаетъ какъ дорого его благо, то самое благо, которое самъ же онъ броситъ, забудетъ, когда оно ему довольно наскучитъ; всякій знаетъ это заранѣе, а кричитъ, если его затронутъ... Послушать только: иногда однимъ маленькимъ противорѣчіемъ можно разрушить цѣлую жизнь, разбить сердце... И ничего не бывало. Эта жизнь пойдетъ себѣ по прежнему, это сердце останется цѣло, и нѣтъ такого горя, которое бы не успокоилось современемъ—не говорю тотчасъ, изъ уваженія къ упрямству нѣкоторыхъ такъ называемыхъ несчастныхъ. Все такъ мелко вокругъ насъ, и наша натура такъ, даже незнаемо для насъ самихъ, возвышенна, что, по своему свойству, не въ состояніи долго заниматься и тревожиться мелочами... Вотъ источникъ забвенія!»

«Изъ чего же, изъ какой прихоти наряжаемся мы въ чувствительность и щеголяемъ ею? въ насъ не достаетъ мужества выказать нашъ прямой взглядъ на вещи: мы называемъ его холодностью, отвращаемся отъ человѣка, который осмѣливается громко признаваться, что не плачетъ отъ пустяковъ; мы не хотимъ замѣтить, что этимъ онъ дѣлаетъ честь своему и нашему человѣческому достоинству...»

Шатровскій разсмѣялся.

«Человѣческое достоинство! Куда оно залетѣло? Оно тутъ такъ жа кстати, какъ брильянты къ ситцевому платью, какъ старинныя пушки, которыя, говорятъ, Петръ Иванычъ Домниковъ разставилъ у себя въ огородѣ. А кстати, Петръ Иванычъ Домниковъ уморительный старичишка! избавился ли онъ, наконецъ, отъ своего огорода? Ну, вотъ еще одна изъ людскихъ фантазій: какой логикой объяснить ихъ? Въ гробъ глядитъ, а скучаетъ деревенскимъ однообра-

зіемъ; пожалуй, заплачетъ, выѣзжая изъ своей усадьбы. Что-жъ, не умилиться ли надъ нимъ, не разсуждать ли о привязанностяхъ, которыя вростаютъ въ душу, какъ корни дерева въ землю, и прочее? А капризы, блажь, которые приходятъ неизвѣстно откуда возмущать этотъ внутренній миръ, они также достойны состраданія, сочувствія?.. Все вздоръ!» заключилъ премудро Шатровскій, ложась на диванъ, по привычкѣ, которую уже успѣлъ усвоить.

Старинная книжка, сдѣлавшаяся тоже постоянной жительницей дивана, попалась подъ бокъ Шатровскому. Онъ взялся за нее какъ за дѣло, которымъ былъ непремѣнно обязанъ заниматься. Правда, онъ уже на столько свыкся съ нимъ, что не восхищался безпрестанно, но бывали минуты, когда эти страницы доставляли ему неописанное наслажденіе. Такъ, теперь онъ прочелъ въ нихъ пламенное объясненіе въ любви, со многими: «по елику», «коликократно» съ упреками въ «злосердіи и каменночувствіи», которыя привели его въ совершенный восторгъ. Но ничто не могло сравниться съ его радостью, когда на полѣ, противъ этихъ строкъ онъ замѣтилъ черту карандашомъ и ясно сохранившіяся слова:

«Vous souvenes-vous?

«Вотъ бы показать Настасьѣ Петровнѣ!» вскричалъ Шатровскій, любуясь старинной ороографіей и хохоча до слезъ.

Почему воспоминаніе о Настасьѣ Петровнѣ влетѣло ему въ голову, почему ни съ кѣмъ, кромѣ нея, не показалось Шатровскому занимательнѣе подѣлиться находкой — это очень трудно объяснить, тѣмъ болѣе, что онъ и самъ не объяснялъ себѣ этого нисколько. Онъ всталъ, смѣясь и вспомнивъ кстати, что цѣлую недѣлю не видѣлся съ сестрой, велѣлъ осѣдлать себѣ лошадь и дать одѣться. Тутъ же вспомнилъ онъ, что во всю недѣлю не имѣлъ никакого извѣстія о сестрѣ, и ему показалось странно, что никто не вздумалъ о немъ навѣдаться; а потому, когда сборы для путешествія были кончены, хотя лѣнь и звала опять на диванъ, представляя въ отговорку жаркій день и «нездоровье», но Шатровскій мужественно побѣдилъ ее, вскочилъ въ сѣдло и уѣхалъ, отдавъ самыя подробныя и опредѣленныя приказанія касательно ужина.

II.

Подъѣзжая къ дому Николая Петровича, Шатровскій увидѣлъ нѣсколько дрожекъ простыхъ, крытыхъ и бѣговыхъ, тарантасъ, запряженный тройкой, которая страшно звенѣла бубенчиками, и коляску, хотя древнюю, но внушавшую уваженіе, что доказывалось заботливостью, съ которой она была поставлена въ тѣнь, гдѣ ее отпрягали. Во дворѣ было замѣтно движеніе: старая ключница бѣжала изъ погреба съ поспѣшностью, непостижимою въ ея лѣта; поваренки суетились какъ воробьи; въ окна кухни свѣтилось пламя и раздавался глухой, частый стукъ — признакъ ускоренной и усиленной работы. Съ удивленіемъ увидѣлъ Шатровскій Настасью Петровну, которая явилась на дѣвичьемъ крыльцѣ и такъ же поспѣшно направлялась въ кухню.

— Кажется, я попалъ на праздникъ? спросилъ ее Шатровскій.

— Да, гости, отвѣчала она, поклонясь и убѣгая.

То же самое сказали ему въ прихожей; въ томъ же убѣдился онъ, входя въ гостиную, гдѣ увидѣлъ такое множество шумныхъ господъ, что съ перваго взгляда не успѣлъ разсмотрѣть никого и едва нашелъ Николая Петровича. Самъ Николай Петровичъ былъ чѣмъ-то сильно сконфуженъ и, проговоривъ: «Ахъ, это вы, Алексѣй Дмитричъ»! могъ прибавить только: «А вотъ Варенька». Потомъ онъ обратился опять не къ разговору, въ которомъ не участвовалъ, не къ разсказу высокаго, худого и черноволосаго господина во фракѣ съ свѣтлыми пуговицами, а къ безмолвному, нѣсколько тупому созерцанію, которое дѣлало всю его особу очень жалкою. Все общество было слишкомъ занято толками и спорами, и потому не обратило вниманія на приходъ Шатровскаго. Только изъ какого-то кружка на встрѣчу ему выкатился Петръ Иванычъ Домниковъ.

— Шумятъ, кричатъ, заговорилъ онъ, пожимая руку Шатровскому.—И охота имъ, право!... А я-то избавился, избавился...

Анны Дмитріевны не было. Варенька занимала двухъ дамъ помѣщицъ, сидѣвшихъ рядомъ на диванѣ, но составлявшихъ между собою совершенную противоположность. Одна была худенькая особа, съ загорѣлымъ лицомъ, съ волосами сѣдоватыми отъ пыли, въ ситцевомъ узенькомъ платьѣ, въ платкѣ, сколотомъ булавкой у самаго горла, въ чепчикѣ изъ смятаго лоскута кисеи; другая въ двуличневомъ шерстяномъ платьѣ, въ бархатной мантильѣ, вся сіяла аграмантами, стеклярусомъ, брошками и пестрыми лентами. Одна едва прикасалась къ дивану; другая помѣщалась на немъ съ необыкновен-

ной свободой; одна была молчалива, другая говорила неумолкая и оченъ громко.

— Здравствуй, Варенька, сказалъ, подходя, Шатровскій.—Что у васъ за праздникъ?

— Это по дѣламъ, по нашей деревнѣ...

— Видно, мой ангелъ, что вы еще опытности не имѣете, прервала нарядная дама.— По нашей дачѣ совѣщаніе о земляхъ, продолжала она съ улыбкой, обращаясь къ Шатровскому: — по этому случаю Николай Петровичъ и пригласили къ себѣ кушать.

— Такъ еще будутъ совѣщаться? спросилъ Шатровскій Вареньку, оглянувъ даму и обращая взглядъ на планы, которыми господинъ во фракѣ страшно шумѣлъ въ углу.

— Нѣтъ-съ, совѣщаніе ужъ кончилось; совѣщаніе было у Василья Алексѣича — изволите знать? А вы тоже владѣете?

Сильный, нетерпѣливый звонокъ заставилъ встрепенуться Вареньку; онъ былъ слышенъ, несмотря на говоръ, раздававшійся въ гостиной. Варенька встала.

— Куда ты? гдѣ мать? спросилъ Шатровскій.

— Она нездорова, отвѣчала Варенька, уходя.

— Вы никакъ ихъ дяденька? продолжала дама. — Очень пріятно познакомиться. А я ужъ такъ люблю вашу Варвару Николаевну, потому что онѣ хоть и воспитанныя, да не гордыя... Вѣрно долго здѣсь пробудете?

— Дядя, маменька зоветъ васъ къ себѣ, сказала Варенька, возвращаясь.

— Давно она больна? спросилъ Шатровскій, идя за нею.

— Дня два, или три. Она постоянно то больна, то здорова.

— Ты незамѣчаешь, отчего эта болѣзнь? какая нибудь причина моральная?

Онъ, улыбаясь, взглянулъ ей въ лицо. Варенька была серьезна.

— О, какой холодъ!.. Давно ли былъ Карзановъ?

— Онъ не бываетъ у насъ, отвѣчала Варенька спокойно.

— И ты горюешь?

— Нисколько.

— Какъ, ужъ утѣшилась?

— У меня не было горя.

— Я этого не понимаю.

— Что такое горе? сказала Варенька:— горе тогда, когда насъ не понимаютъ, не любятъ; а со мной этого не было.

— Это изъ какого романа?

— Изъ моего собственнаго.

— О, тетушка! посѣянное вами приноситъ плоды!

— Что вамъ сдѣлала тетушка?

— Ничего. Какъ она мило хозяйничаетъ, такъ проворно...

Варенька отворила дверь въ комнату матери. Шатровскому было необходимо сначала оглядѣться въ полумракѣ: окна были заперты, сторы и драпировки спущены. Комната была лишена свѣта и воздуха и пропитана запахомъ туалетныхъ уксусовъ и спиртовъ, неизвѣстныхъ даже по имени человѣку, нестрадающему нервами. Въ длинномъ креслѣ полулежала Анна Дмитріевна. Шатровскій разглядѣлъ ее тогда только, когда раздался ея слабый призывъ:

— Alexis!

— Что съ тобой, душа моя?

— Варенька, подними стору и оставь насъ, сказала больная нѣсколько раздражительно. Не эту, не эту, ты хочешь ослѣпить меня!.. Ахъ, Alexis,que je souffre!

— Что ты чувствуешь!

— Не знаю, отвѣчала Анна Дмитріевна, когда Варенька затворила за собою дверь.— Я кончу тѣмъ, что умру. Моя болѣзнь моральная, Alexis. Къ несчастью, я много читала и знаю, какъ вредны моральныя потрясенія; мой счетъ сведенъ. Да мнѣ и не жаль жизни.

— Но что случилось? спросилъ Шатровскій, которому было неловко примѣниться къ этому траурному расположенію духа.

— Странно... какъ тебѣ разсказать? Ты оставилъ меня больную... Меня разстроила Варенька, которая забрала себѣ въ голову, что Карзановъ въ нее влюбился. Я давно знаю эти глупости, я ихъ терпѣла. Карзановъ человѣкъ пустой, но все-таки партія для этой пустой дѣвочки... Какъ ты думаешь?

Шатровскій сдѣлалъ утвердительный знакъ.

— Я рада, что ты меня не обвиняешь. Но я передумала. А эта Варенька осмѣлилась настаивать, чтобъ я дала ему рѣшительное согласіе, опираясь на томъ, что если я принимала Карзанова, то, значитъ, я была рѣшительно согласна отдать ее за него... Одно изъ другого не слѣдуетъ, я думаю?

— Конечно; ты могла передумать.

— Я изучила, я изслѣдовала этого человѣка, Alexis! продолжала Анна Дмитріевна, оживляясь:— съ начала знакомства онъ замѣтно старался понравиться мнѣ, но не разсчелъ — понимаешь, что для этого не надо пускаться въ отвлеченные разговоры, гдѣ выказывалась вся его пустота. Je l'ai ter-

rassé! Шагъ за шагомъ, я опровидывала каждое его мнѣніе, и ужъ, натурально, гдѣ задѣто самолюбіе, гдѣ оно задѣто женщиной, тамъ исчезаетъ всякое другое чувство къ этой женщинѣ. Онъ не можетъ меня ненавидѣть; но онъ меня боится—я это знаю... Какъ всякая мягкая натура, онъ бросился въ крайность: обратился къ Варенькѣ. Ей лучше не нужно; но я не хочу этого, по крайней мѣрѣ, надъ нею я имѣю власть! я докажу ей, что она напрасно надѣется... Дай мнѣ флаконъ...

— Тебѣ вредно волненіе, Аннета.

— А сегодня... Что за пустѣйшій человѣкъ! вскричала Анна Дмитріевна. — Но ты еще не знаешь, что было...

— Я ничего не знаю.

— Какъ ты уѣхалъ, всю эту недѣлю меня выводили изъ себя. Онъ... Николай Петровичъ, не знаю, что съ нимъ сдѣлалось! Наконецъ, пріѣзжаетъ Домниковъ, зоветъ съ собой въ городъ. Ты знаешь, онъ продалъ свое имѣніе Леониду Юрину, тому молодому человѣку...

— Знаю.

— Не правду ли я говорила, что надо было ѣхать? Домниковъ совершалъ купчую, Юринъ тамъ былъ: прекрасный случай познакомиться — такъ ли?

— Что-жъ, Николай Петровичъ не поѣхалъ?

— Не поѣхалъ! Я стала представлять резоны — тѣмъ хуже! Впрочемъ, и я смѣшна: какъ будто этихъ людей образумишь какой нибудь логикой!.. Но представь, что еще — съ этимъ ужъ ничто не сравнится! — онъ вздумалъ позвать на судъ — кого-жъ? свою Настасью Петровну! спрашиваетъ ее, должно ли ему ѣхать, или нѣтъ. Та вертится— ты понимаешь, при мнѣ ей нечего сказать. Я сижу, вотъ такъ, спокойно, а ее призываютъ на совѣтъ! Она уничтожилась передо мной, натурально. «Какъ вамъ угодно...» И, вообрази, всѣ эти дни, она принялась утѣшать Вареньку; эта глупая дѣвчонка ей довѣрилась... Карзановская исторія гремитъ по всему дому...

— Неужели?

— Я полагаю... впрочемъ, я не увѣрена; я узнаю. Но сегодня...

— Да! что такое у васъ сегодня?

— Ты засталъ полный домъ Богъ знаетъ кого! Это любезность моего супруга. Я рада, по крайней мѣрѣ, что они останутся безъ обѣда.

— Какъ такъ? спросилъ Шатровскій, разсмѣявшись такой пріятной неожиданности.— Стало быть, и я наказанъ вмѣстѣ съ ними?

— Можетъ быть. Только, если ты будешь голоденъ, Alexis, не моя вина; ты видишь, я не въ состояніи заботиться о чемъ нибудь.

— Но, наконецъ, что-жъ такое? спросилъ Шатровскій.

— У насъ размежеваніе — ты это слышалъ. День для совѣщанія былъ назначенъ сегодня. Я прошу Николая Петровича, чтобъ онъ пригласилъ всѣхъ владѣльцевъ и посредника къ себѣ въ домъ, гдѣ бы и я, наконецъ, могла сдѣлать что нибудь своимъ вліяніемъ... Ты не знаешь вполнѣ моей жизни, Alexis; что были бы безъ меня дѣла этого человѣка! Но... оставимъ это... Я просила, умоляла, представляла доводы. Юринъ владѣетъ въ нашей дачѣ; это былъ бы для него случай быть у насъ, а потомъ, конечно, и познакомиться, потому что онъ остался бы обѣдать, видѣлъ бы семейство... Не понимаю (я даже разсмѣялась!), откуда взялась прозорливость у Николая Петровича: онъ догадался, что это должно было случиться. Тутъ, ужъ конечно, началось упрямство, которое можетъ вынести одно мое терпѣніе!.. были сегодня поутру всѣ эти сцены. Назначили совѣщаніе въ деревнѣ—вообрази, вѣдь это отъ насъ черезъ выгонъ, всего два шага! у какого-то мелкопомѣстнаго. Какъ они не разломали стѣнъ его избы, когда всѣ къ нему наѣхали! Воображаю, каково было тамъ задыхаться Юрину, un homme comme il faut, который, я думаю, отъ роду не видалъ ни такихъ домовъ, ни такихъ лицъ!.. Я была въ отчаяніи. Меня оттираютъ тутъ, а Николай Петровичъ, совсѣмъ, въ шинели, въ картузѣ, отворяетъ ко мнѣ дверь и кричитъ: — «Обѣдать мы все-таки пріѣдемъ; я позову къ себѣ: позаботься»... Мнѣ заботиться объ обѣдѣ! развѣ я въ силахъ, въ состояніи? И не забудь, это мнѣ отданъ приказъ, а Настасья Петровна съ m-lle Barbe гуляютъ въ паркѣ и имъ дѣла нѣтъ... да я и не думала ихъ извѣщать... Теперь весь этотъ народъ наѣхалъ и онѣ въ своей сферѣ: m-lle Barbe занимаетъ свое образованное общество: она всегда находитъ, что я не довольно съ ними обходительна, а Настасья Петровна бѣгаетъ по кладовымъ и очень рада, что хоть одинъ часъ да можетъ распоряжаться...

— Такъ ты не выйдешь? спросилъ Шатровскій.

— Mais, tu ne crois donc pas, я совсѣмъ больна, меня душитъ здѣсь! вскричала Ан-

на Дмитріевна очень громко, что, должно предполагать, происходило отъ чрезмѣрнаго усилія.—Я разбита, я оскорблена, я играю глупую роль, какъ хозяйка! Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, въ моемъ домѣ было невозможно говорить о дѣлахъ? мой домъ гостинница, куда пріѣзжаютъ только обѣдать? Я такъ глупа, что ко мнѣ нельзя пригласить образованнаго человѣка — я гожусь только принимать всякую дрянь? Довести меня до такого состоянія—и приказывать мнѣ, какъ ключницѣ, позаботиться чѣмъ ихъ кормить!.. это тяжело, Alexis, это убиваетъ!.. И тутъ, эта Варенька въ слезы, предлагаетъ послать за докторомъ... Я не могла этого вынести. Я выпила чашку бульону, а она отправилась плакать къ своей Настасьѣ Петровнѣ... Такъ ужъ за одно, хотѣлось бы мнѣ знать, что говорятъ онѣ, потому что я люблю дѣйствовать прямо; я молчу, молчу, но иногда, когда нужно, умѣю ввернуть слово. Надо-жъ мстить за себя какъ нибудь; хоть булавкой, но уколоть. Я женщина, а мщеніе — наслажденіе женщинъ...

— И боговъ, сказалъ Шатровскій. — Видно, что ты не забываешь классиковъ, милая Аннета.

— Ахъ, другъ мой! я получила воспитаніе, я умѣла сберечь среди всей окружавшей меня грубости эту изящность пониманія, которая дается намъ природой; въ моей глуши, я слѣжу за всѣмъ, что происходитъ въ мірѣ. Ты меня понялъ: читая все новое, я не забываю моихъ дорогихъ классиковъ.

Она показала на книгу, лежавшую на столикѣ, заставленномъ флаконами: то была «Родогуна».

— Намъ нужно выбрать время, Alexis, заняться вмѣстѣ, перечитать все это.

— Нѣтъ, другъ мой, избавь: я не въ состояніи.

— О, молодость! Что-жъ лучшее находите вы въ новомъ?

— Извини меня, сказалъ Шатровскій: — я не въ силахъ вести литературный споръ.

— Да, ты думаешь о другомъ... Тебѣ жаль меня, мой добрый Alexis?

По совѣсти, Шатровскій ни о чемъ не думалъ. Положеніе сестры казалось ему такъ сложно, что онъ не зналъ, съ какой стороны начать брать въ немъ участіе. Многое находилъ онъ забавнымъ, размыслилъ даже, что женщины умѣютъ волноваться изъ ничего, но подумалъ также, что и Аннѣ Дмитріевнѣ не совсѣмъ пріятно, если эти сцены повторяются часто.

«Впрочемъ», подумалъ онъ, «она не падетъ подъ бременемъ обстоятельствъ».

— Уволь меня отъ «Родогуны», душа моя, сказалъ онъ громко:—и если ты погружаешься въ классиковъ, то почерпни въ нихъ необходимую для тебя силу духа. Fatum! Что-жъ дѣлать... А пока, я пойду, узнаю, суждена ли мнѣ голодная смерть, какъ Уголино, или еще остается какая нибудь надежда.

— Поди, сказала слабымъ голосомъ Анна Дмитріевна, погружаясь въ свое кресло, съ видомъ снисходительности къ легкомыслію молодыхъ людей вообще, а братьевъ въ особенности.

Возвратясь въ гостиную, Шатровскій нашелъ общество почти въ томъ же положеніи, въ которомъ оставилъ; оно было только нѣсколько тише, вѣроятно, устало толковать, или ожиданіе обѣда и голодъ заставили каждаго примолкнуть и задуматься. Дамы были на террасѣ. Настасья Петровна внимательно слушала доказательства одного господина о неоспоримости правъ его крѣпостныхъ документовъ.

— Мнѣ предлагаютъ помириться, восклицалъ онъ: — вотъ вы, сударыня, и женщина, а понимаете, что это невозможно. Я, просто, утверждаю, что это пристрастіе къ Юрину—больше ничего, какъ пристрастіе...

Увидя Шатровскаго, господинъ оглянулъ его недовѣрчиво, тотчасъ замолчалъ и отдалился.

— Кажется, Юринъ здѣсь въ общей немилости? спросилъ Шатровскій Настасью Петровну.— Вотъ и этотъ господинъ, котораго вамъ бы слѣдовало поблагодарить за его высокое мнѣніе о женщинахъ, также имъ недоволенъ.

— Вы были у Анны Дмитріевны? спросила Настасья Петровна.

— Вотъ прекрасный отвѣтъ на мой вопросъ! сказалъ, смѣясь, Шатровскій:—стало быть, одно очень близко къ другому?

Настасья Петровна смутилась.

— Будьте откровенны, сказалъ Шатровскій, вспомнивъ, что, какъ ему показалось, успѣлъ пріобрѣсти расположеніе Настасьи Петровны въ свой первый визитъ.—Вы и я здѣсь совершенно посторонніе. Скажите мнѣ, за что столько шума изъ-за Юрина? кто правъ: сестра или Николай Петровичъ.

— Вы видите, мы не совсѣмъ посторонніе, отвѣчала она.

— Все равно! весело возразилъ Шатровскій.—Все это такія мелочи, что меня, пра-

во, нисколько не тронетъ, если вы скажете, что сестра капризничаетъ. А съ вашей стороны — я такъ понимаю васъ — я увѣренъ, что вы не откажете въ участіи бѣдной женщинѣ, если ее огорчили напрасно.

— Все это очень тяжело, отвѣчала Настасья Петровна, тронутая его послѣдними словами.

— Мелочи, а отъ нихъ непріятности.

— Николай Петровичъ нашумѣлъ, накричалъ?

— Вамъ говорила Анна Дмитріевна?

— Развѣ нужно вѣрить только вполовину?

— Она раздражена... нездорова...

— Добрая Настасья Петровна, вскричалъ Шетровскій, весело подавая ей руку: — тутъ, видно, разспрашивать нечего! оставимте ихъ въ покоѣ. Позвольте только просить васъ не отдаляться отъ меня какъ отъ чужого. Если кругомъ насъ нелогичности, какая намъ нужда? Будемъ сами умны тѣмъ, что не станемъ тратить напрасно время, которое можемъ провести вмѣстѣ и пріятно.

Она взглянула на него съ удивленіемъ.

— Васъ удивляетъ моя безпечность? Не примите ее за равнодушіе. Но я вижу, что ничего не могу сдѣлать, а могу только доставить себѣ нѣсколько дней истиннаго удовольствія, вамъ, можетъ быть, нѣсколько дней пріятнаго забвенія. Воспользуемся хоть этимъ.

— Вы счастливы, если можете такъ легко устраиваться, отвѣчала она.

— Это слѣдствіе не характера, а размышленія. Я смотрю на жизнь легко, не изъ холоднаго эгоизма, а потому, что хорошо оцѣнилъ ее.

— Когда же вы успѣли это сдѣлать?

— Когда?.. Я не буду васъ увѣрять, какъ какой нибудь разочарованный юноша, что я много пережилъ и отжилъ; этого не случилось со мною, напротивъ, я былъ счастливъ постоянно. Но неужели вы не захотите повѣрить, что ни одно чужое горе не прошло, не затронувъ моего сердца; что не было мысли, которая бы не пробудила отголоска въ моей душѣ... Меня все волновало, мнѣ все было близко!.. Я говорю вамъ не фразы, прибавилъ Шатровскій, робѣя отъ ея внимательнаго взгляда.

— Я вамъ вѣрю, тихо отвѣчала она.— Но если вы такъ сильно чувствовали, то какъ могли вы остаться безпечными и какъ вы можете предполагать, что можно забываться въ какомъ нибудь минутномъ удовольствіи.

— Я вѣрю въ силы души, отвѣчалъ Шатровскій:—я прочувствовалъ много и потому знаю цѣну печалей... Вотъ сейчасъ вы улыбнулись моимъ словамъ; можетъ быть, вы не вѣрите мнѣ, можетъ быть, вы смѣетесь надо мною, но, повѣрьте, я счастливъ, что вы улыбнулись, это «un accroc à la douleur», какъ говоритъ Беранже, мой любимый поэтъ, тотъ, чье воззрѣніе на жизнь такъ свѣтло и вмѣстѣ истинно... Забывчивость возможна; почему же не отдаться ей? Если горе забывается само собою хоть на минуту, то незачѣмъ напоминать его: оно уже лишилось своего величія и будетъ только упрямствомъ... Удовольствіе «тревожить язвы старыхъ ранъ»—только капризъ, ничего больше, капризъ, которымъ когда мы не въ состояніи мучить другихъ, то мучимъ хоть самихъ себя...

— Вы доказываете убѣдительно, сказала Настасья Петровна:—и, для большаго убѣжденія, съ текстами.

— Что-жъ дѣлать, они невольно приходятъ на память... Вы повѣрите, еслибъ вамъ вздумалось разсказать мнѣ свои печали, я бы отъ всей души принялъ вашу откровенность, но самъ я никогда не попрошу у васъ откровенности, щадя васъ самихъ: я охотнѣе останусь для васъ простымъ, веселымъ знакомымъ, нежели существомъ, хотя и близкимъ, но мучительнымъ, потому что, требуя довѣренности, заставилъ бы васъ вспомнить и снова пережить прошлое... а это бываетъ тяжело!

Настасья Петровна не отвѣчала.

— Тѣмъ болѣе, продолжалъ Шатровскій:—я не стану васъ вызывать на толки о маленькихъ житейскихъ непріятностяхъ.

— Да, сказала Настасья Петровна: — житейскія мелочи вообще предоставляются женщинамъ.

— Напротивъ, было бы очень хорошо, еслибъ и женщины ими не занимались. Если время и обстоятельства выгоняютъ изъ нашей памяти даже истинное горе, то на заботу о непріятныхъ бездѣлицахъ довольно тѣхъ минутъ, когда онѣ случаются: толковать о нихъ, значитъ дѣлать имъ слишкомъ много чести.

— Но такимъ образомъ вы рискуете, не замѣчая, прожить половину жизни?

— Если большая часть моей жизни должна состоять отъ непріятныхъ мелочей, то лучше я проживу ее не замѣчая, нежели стану вдаваться въ такое скучное занятіе.

— А если эти мелочи будутъ касаться другихъ, близкихъ или не близкихъ вамъ людей, и для нихъ будутъ уже не мелочами, неужели и тогда вы не обратите на нихъ вниманія?

— О! тогда, дѣло другое; я съумѣю различить...

— Не ошибитесь: привычка не безпокоиться—гибельная привычка. Въ вашихъ глазахъ будутъ, можетъ быть, страдать...

— И вы думаете, что мое сердце не угадаетъ страданія? вскричалъ Шатровскій.

— Оно избѣгаетъ воспоминаній, оно обманется и въ истинномъ чувствѣ.

— Никогда! сказалъ съ жаромъ Шатровскій.

Настасья Петровна разсмѣялась.

-- Однако, вы человѣкъ безпечный отъ слишкомъ глубокаго анализа; вы увлекаетесь скоро и легко. Еслибъ замѣчать, сколько и въ чемъ вы себѣ противорѣчите.

— Не замѣчайте этого, не смѣйтесь надо мной, сказалъ онъ тихо и весело. Простите, если я нелогиченъ, и не сомнѣвайтесь, что мнѣ очень хорошо съ вами.

— Я очень рада, если вамъ нескучно, отвѣчала она хладнокровно: — однако житейскія мелочи прерываютъ нашъ разговоръ въ самую патетическую минуту: кажется, зовутъ обѣдать.

— Да, вы хозяйничаете сегодня; отъ души желаю, чтобъ вамъ удалось.

— Это не трудно.

— Но вы безпокоитесь.

— Да, но только не объ обѣдѣ.

— Даю вамъ слово, что къ вечеру я устрою и поправлю всѣ эти маленькія несчастія.

— Вы это сдѣлаете? сказала Настасья Петровна.—Какъ я буду вамъ благодарна!

Ее позвали. Пока гости шумно сбирались и тѣснились къ дверямъ залы, Шатровскій посвятилъ нѣсколько минутъ размышленіямъ.

«Всякій человѣкъ», подумалъ онъ, «отличный актеръ и даже импровизаторъ: стоитъ начать—слова бѣгутъ сами собою, конечно, при небольшомъ умѣніи и навыкѣ... Карзановъ, кажется, говорилъ, что-то подобное... все равно! надо признаться, что въ человѣкѣ есть эта способность: иногда увлекаешься такъ, что почти не знаешь, чѣмъ кончишь. Вотъ Настасья Петровна, особа ужъ нисколько не привлекательная, а говоря даже съ нею, можно совершенно невольно договориться до признанія въ любви, которому она повѣритъ непремѣнно, потому что признаніе въ любви — мечта старыхъ дѣвъ. И при первомъ удобномъ случаѣ я не откажу ни ей, ни себѣ въ этомъ удовольствіи. Надо же чѣмъ нибудь заниматься... Послѣ этого бываетъ ли у человѣка хоть одно истинное чувство? Не все ли возбуждено, взбито? Не всякое ли чувство — выдумка?.. Послѣ этого, принимать что нибудь къ сердцу, брать въ комъ нибудь участіе?..»

Шатровскій спокойно отправился обѣдать.

Николай Петровичъ сидѣлъ на своемъ мѣстѣ какъ подсудимый; его лицо выражало страхъ и ожиданіе: чувства, его волновавшія, были очень разнообразны, но все кончилось страхомъ и ожиданіемъ. Онъ обращался иногда къ господину во фракѣ, сидѣвшему подлѣ него, посреднику, отъ котораго зависѣла участь дачи его; но смятеніе не допускало предложить вопросъ сколько нибудь касающійся дѣла: все ограничивалось приглашеніемъ выпить еще рюмку вина и замѣчаніемъ, что жарко. При перемѣнѣ тарелокъ, безпокойный взоръ Николая Петровича переносился на Настасью Петровну, отъ нея надверь буфета, и отдыхалъ только то̀гда, когда новое блюдо начинало совершать путешествіе кругомъ стола; но и это отдохновеніе было минутное. Новая тревога поднималась въ душѣ Николая Петровича: онъ украдкой, осторожно взглядывалъ на дверь гостинной, казалось ожидая увидѣть привидѣніе... Что-то въ родѣ угрызенія совѣсти заставляло его потуплять глаза и отпиваться водою... Съ тоскою обходя лица всѣхъ присутствующихъ, взоръ Николая Петровича остановился на Шатровскомъ, который наблюдалъ за нимъ, внутренно умирая отъ смѣха.

— Что, спросилъ Николай Петровичъ:— вы были у нея?

— Да, отвѣчалъ серьезно Шатровскій:— Аннета очень больна.

— Что это съ ними сдѣлалось? вскричала нарядная дама, его сосѣдка.

— Вѣроятно, чѣмъ нибудь обезпокоилась, отвѣчалъ хладнокровно Шатровскій.

— Чѣмъ же это? какъ это?

Настасья Петровна взглянула на него съ удивленіемъ. Шатровскому вдругъ вздумалось взволновать барынь и заставить ихъ толковать, и онъ исполнилъ свою мысль, не замѣчая, что его шутка была непріятна другимъ. Громкій споръ на другомъ концѣ стола далъ ему возможность не отвѣчать на разспросы. Разговоры гостей не умолкали съ начала обѣда; по временамъ слышались вздохи и робкія возраженія, убѣдительные

возгласы доказывавшихъ, хладнокровныя замѣчанія торжествовавшихъ, и, наконецъ, все сливалось въ одинъ общій шумъ.

Одинъ только, помѣщикъ, съ претензіями на хорошій тонъ, считалъ обязанностью часто обращаться къ дамамъ, чтобъ не оставлять ихъ скучать, находя неприличнымъ утомлять ихъ толками о дѣлахъ, и съ нѣкоторымъ негодованіемъ оглядывался на тѣхъ, кто позволялъ себѣ возвышать голосъ.

— Я нахожу, что за обѣдомъ всякая личность должна быть забыта, говорилъ онъ Варенькѣ, подлѣ которой сѣлъ, не уступивъ приглашеніямъ Николая Петровича сѣсть ближе къ нему. — Я нахожу, что преніямъ здѣсь нѣтъ мѣста. Одно присутствіе прекраснаго пола должно бы, такъ сказать, стѣснять...

— Помилуйте, раздался голосъ среди спора:—да это вовсе проѣзда не будетъ!

— А! это они свое! сказалъ, оглянувшись, любезный помѣщикъ:—я рѣшительно не понимаю этой страсти кричать...

— Проѣзда не будетъ въ участокъ; къ выгону проѣзда не будетъ, говорятъ вамъ, продолжалъ господинъ, который объяснялъ свои дѣла Настасьѣ Петровнѣ.

— Помилуйте, да вотъ вамъ проѣздъ, доказывалъ другой, чертя по скатерти вилкой.

— Влѣво? да влѣво моя усадьба: какъ же вы ее снесете подъ дорогу?

— А вправо лощина.

— Да какъ же? позвольте...

— Нѣтъ, позвольте, одно слово, господа, одно слово! сказалъ маленькій, толстенькій господинъ весьма почтеннаго вида: — если вы возьмете къ зюйд-весту на...

— Куда тамъ къ зюйд-весту? Вамъ говорятъ, тутъ моя усадьба—это и женщина пойметъ!

— Вы меня извините, но я понимаю, потому что занимался самъ: если вы только на одинъ румбъ къ зюйд-весту...

— Вамъ, просто, самимъ жаль разстаться съ вашимъ огородомъ...

— Во-первыхъ, это вовсе не огородъ.

— Возьмите: выгонъ полверсты за околицу, это мнѣ надо загонять скотъ чрезъ все селеніе, чрезъ овражекъ, мимо коноплянниковъ...

— Во-вторыхъ, это фруктовой садъ, и еще отъ предковъ моихъ...

— Да хоть сейчасъ планъ!

— Господа, господа!... произнесъ, улыбаясь, миролюбивый сосѣдъ Вареньки.

— Я такъ далъ и свѣдѣніе, что «считаю за священную обязанность сохранить доставшееся мнѣ отъ предковъ моихъ...»

— Вы считайте не считайте за обязанность, а если все такъ пойдетъ...

— Не знаю, кто причиной? воскликнулъ со вздохомъ маленькій господинъ.

— Тотъ, кто не хочетъ уступить!

— Никому уступить не хочется-съ!

— Помилосердуйте, это не уступка, а разореніе!

— Сколько лѣтъ я владѣлъ единственно безспорно и долженъ лишиться! Вѣдь не шутка тридцать семь десятинъ...

— Господа—дамы, напомнилъ съ упрекомъ учтивый владѣлецъ.

— Что дамы? будто ужъ и говорить нельзя!

— И въ сказкѣ сказано: «поговоривъ между собою...»

— Что мнѣ сказка! я ее не подписываю, я подаю просьбу, рѣшительно. Мнѣ надо знать свое владѣніе... Дай мнѣ казеннаго землемѣра, я требую повѣрки!

Восклицанія поднялись какъ буря...

— Помилуйте, на сколько же это еще лѣтъ? Не все равно планъ? Три раза ужъ его повѣряли...

— Слыхали ли вы когда нибудь такой шумъ? спросилъ Шатровскаго сосѣдъ его съ другой стороны, Домниковъ, на котораго онъ во весь обѣдъ не обращалъ вниманія.

— Это весело, отвѣчалъ Шатровскій.

— Да, со стороны забавно, кому, какъ намъ съ вами, дѣла нѣтъ... Я-то совсѣмъ кончилъ со своей деревней: продалъ-съ. Хочу на дняхъ ѣхать въ городъ, найму квартирку. Тогда ко мнѣ милости просимъ.

— Юринъ ужъ расплатился съ вами?

— Онъ видите, вотъ что... Извѣстно, человѣкъ молодой. Онъ мнѣ говоритъ: «Петръ Иванычъ, вотъ деньги на столѣ; хотите—берите; но мнѣ онѣ нужны, и мнѣ все равно, занимать; я вамъ дамъ за полгода впередъ проценты». Чего-жъ мнѣ лучше? Тотчасъ и помѣстилъ свой капиталъ, и вѣрно, и безъ хлопотъ.

— Гдѣ-жъ вы теперь живете?

— У Михайла Семеныча... у Карзанова, досказалъ старикъ, потому что Шатровскій взглянулъ, какъ будто не помня этого имени.—Покоитъ меня, какъ родного. А досталось же мнѣ отъ него, зачѣмъ продалъ деревню! Въ черномъ цвѣтѣ все видитъ, право.

— Конечно, въ черномъ цвѣтѣ, сказалъ Шатровскій.—Если онъ говоритъ что нибудь противъ того, что вы отдали вашъ ка-

питалъ Юрину... Я не знаю Юрина, но вѣрно онъ такой же благородный человѣкъ, какъ самъ Карзановъ...

— Безъ сомнѣнія, благородный человѣкъ. Такой любезный! Я говорилъ ему, что желалъ бы имѣть изъ дома... мебель кое-какую, канарейки, столъ ломберный.— «Извольте, возьмите, не безпокойтесь...» Я все это помѣстилъ у Михайла Семеныча. А тяжело мнѣ было выѣзжать! даже Михайло Семенычъ соскучился на меня глядя, утѣшалъ меня; въ шахматы съ нимъ бились—да онъ плохой игрокъ: соображенія мало. Вѣдь я, какъ еще за границей были, въ тринадцатомъ году, считался игрокомъ порядочнымъ, заключилъ старикъ съ гордостью.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Какія партіи выигрывалъ! Ну, теперь не то. Здѣсь, въ деревнѣ, развѣ въ карточки иногда...

— А вы любите?

— Люблю-съ. Что нибудь, знаете, вистикъ, преферансикъ. Я люблю, чтобъ игра шла акуратно, день, другой... Вы играете?

— Да, отвѣчалъ Шатровскій.

— Во что?

— Во что вамъ угодно.

— Въ самомъ дѣлѣ?

Старичокъ оживился и завертѣлся на своемъ стулѣ; онъ хотѣлъ предложить еще вопросъ, но въ эту минуту встали изъ-за стола, чего нетерпѣливо дожидался Николай Петровичъ. Пользуясь суматохой, Николай Петровичъ подошелъ къ Шатровскому, въ смущеніи:

— Какъ вы думаете, мой любезный Алексѣй Дмитріевичъ.

— Надѣлали вы дѣла! сказалъ, смѣясь, Шатровскій.—Скажите, что съ вами сдѣлалось? какъ съ вашимъ характеромъ...

— Я и самъ не знаю, отвѣчалъ Николай Петровичъ, еще болѣе упавъ духомъ.

Онъ ужъ не спрашивалъ, въ какихъ дѣлахъ его упрекаютъ, не удивлялся, что дѣйствія его обнаружены, не оскорблялся ни выговоромъ, ни тономъ выговора. Смиренный ручей, разлившійся на минуту, опять вошелъ въ берега и сталъ еще смирнѣе, испугавшись пути, въ который было пустился. Николай Петровичъ вышелъ изъ себя, не уступилъ въ первый разъ въ жизни, и горько каялся, что осмѣлился сдѣлать все это. Поступающіе всегда по своей волѣ привыкли къ смѣлости, къ противорѣчіямъ, къ послѣдствіямъ борьбы; люди робкіе всегда падаютъ, когда прыгнутъ, и, упавъ, еще плотнѣе прижимаются къ землѣ: очень натурально, что они возбуждаютъ смѣхъ, а не состраданіе.

— Какъ вамъ вздумалось? продолжалъ Шатровскій полушутя, полусерьезно.

— Такое затрудненіе... гости тутъ, а она...

— Но развѣ вы не могли сдѣлать ей удовольствіе: позвать Юрина и все тутъ?

— Нѣтъ, извините, этого я ужъ никакъ не могу! отвѣчалъ Николай Петровичъ покраснѣвъ, но довольно твердо.—Я не позову его къ себѣ. Если она вамъ жаловалась, то вѣрно и сказала, почему я не хочу, чтобъ онъ былъ у меня въ домѣ.

— Я ничего не знаю. Пожалуйста, объясните.

— Объяснить недолго. Назадъ лѣтъ десять, какъ я былъ предводителемъ, на отца Юрина подали мнѣ просьбу, и справедливую. Я вамъ разскажу...

— Нѣтъ, я вамъ вѣрю, что просьба была справедлива. Дальше что?

— А дальше то, что я поступилъ такъ, какъ должно чиновнику: изслѣдовалъ дѣло, и Юрина отстранили отъ выборовъ. Я, конечно, остался и слѣдующіе выборы на своемъ мѣстѣ, но Юринъ распускалъ обо мнѣ такіе слухи... Да и по самому моему достоинству мнѣ не приходилось быть знакомымъ съ человѣкомъ... когда я же доказалъ, что это за человѣкъ!

— Положимъ, это была причина, но отецъ Юрина ужъ умеръ, а сынъ...

— Сынъ! вскричалъ Николай Петровичъ съ необыкновеной энергіей:—а у меня дочь! Я не хочу, чтобъ говорили... И такъ мы неловко поступаемъ съ Михайломъ Семенычемъ... Да вы этого не знаете.

— Знаю.

— Такъ что же вы скажете? Отличный молодой человѣкъ сватается, мы ему ни да, ни нѣтъ, онъ даже начинаетъ отдаляться— а вдругъ станемъ заискивать Богъ знаетъ въ комъ? За что это приметъ Михайло Семенычъ?

— Милый мой Николай Петровичъ, не волнуйтесь. Тѣмъ болѣе вамъ нужно сохранить согласіе съ вашей женой; уступите въ прихоти, настойте въ дѣлѣ. Развѣ пріятно проводить день, вотъ какъ вы теперь?

— Что за пріятность!

— Всѣ это замѣчаютъ. Подите къ ней, она больна, разстроена.

— Подите вы прежде, сказалъ робко Николай Петровичъ.

— Вы хотите, чтобъ я уговорилъ ее принять васъ?

— Сдѣлайте милость.

— Но вы скажите, что постараетесь видѣться съ Юринымъ.

— Ни за что!

— Такъ, какъ вамъ угодно. Я поѣду домой. Прощайте.

— Нѣтъ, батюшка, Алексѣй Дмитричъ, подите, скажите, что хотите, только бы она...

— Я скажу, что вы просите у нея прощенія, сказалъ Шатровскій. — Ступайте, займите гостей чѣмъ нибудь, а я заставлю ее одѣться и выйти сюда.

— Благодѣтель мой!

Шатровскій отправился къ сестрѣ.

Анна Дмитріевна сидѣла у открытаго окна, румянецъ игралъ на щекахъ ея; взоръ былъ томенъ, напоминая недавнее страданіе. Она смотрѣла въ книгу, улыбаясь лучамъ солнца, которые скользили по вѣткамъ плюща, оплетавшаго окно.

— Право, пріятно быть хорошенькой, сказалъ Шатровскій, появляясь передъ нею:—умираетъ, а рисуется!

— Шалунъ! сказала Анна Дмитріевна, оставляя книгу.

— Какъ ты себя чувствуешь? Я пришелъ тебя успокоить. Гости должны быть довольны: обѣдъ былъ прекрасный.

— Покорно благодарю! возразила Анна Дмитріевна. — Ко мнѣ являлись сюда съ приборомъ и суповой чашей, я прогнала. Должно быть, все было отлично, если судить по этому образчику.

— Такъ ты ничего не ѣла?

— Велѣла себѣ приготовить... Оставимъ это, сдѣлай милость.

Шатровскій помолчалъ нѣсколько минутъ.

— Николай Петровичъ очень разстроенъ, сказалъ онъ, наконецъ.

— Капризные эгоисты всегда сами накричатъ и потомъ охаютъ, отвѣчала Анна Дмитріевна.

— Великая истина! Но все-таки онъ жалокъ.

На лицѣ Анны Дмитріевны выразилось глубочайшее презрѣніе.

— Ты жалѣешь о немъ? спросила она холоднымъ тономъ оскорбленнаго величія.

— Послушай, въ самомъ дѣлѣ...

— Странные люди! прервала Анна Дмитріевна, какъ будто погружаясь въ созерцаніе чего-то стоящаго передъ нею.—Истинная горесть, какъ бы ни была основательна, велика — достойна уваженія; но если она молчитъ и ничѣмъ не выражается, то не существуетъ для нихъ. Ихъ пугаютъ, тревожатъ, сочувствіе ихъ вызываютъ глупые крики, мелочное оханье, пискливыя жалобы... весь вздоръ, который не выдержитъ здраваго анализа, который своимъ ничтожествомъ способенъ возмутить...

— Послушай, душа моя, прервалъ, въ свою очередь, Шатровскій: — я не спорю, что ты права (ему отвѣчали вздохомъ и пожатіемъ плечъ); но кто правъ, тотъ обязанъ прощать, ради своего собственнаго совершенства.

— Не хотятъ вѣрить, что терпѣнію есть границы! вскричала Анна Дмитріевна.

— Все такъ, поспѣшилъ сказать Шатровскій, чтобъ не дать ей увлечься: — но тебя поддерживаетъ сознаніе, что ты права, а онъ— онъ только мучится... Онъ проситъ у тебя прощенія, Аннета.

— Не вамъ ли онъ поручилъ принести ему прощеніе.

— Конечно; вѣдь ты запретила ему входъ сюда, отвѣчалъ Шатровскій. — Полно, моя милая, будь добра, какова ты есть. Прости его. Все это вздоръ. Позабавимся вмѣстѣ.

— Забава!..

— Право, не печаль. Выдумали отыскивать невидимыя слезы сквозь видимый смѣхъ; по-моему въ большей части видимыхъ слезъ можно найти очень много невидимаго смѣха. Подумай, такъ вѣрнѣе. Ты добра; прощеніе для тебя ничего не стоитъ; приласкать, утѣшить— обыкновенное дѣло твоей благородной души, слѣдовательно, почему не смѣяться остальному?.. А тамъ столько оригиналовъ!

— Я ужъ имѣю счастіе ихъ знать.

— Но я не знаю и мнѣ не съ кѣмъ улыбнуться.

— Ты хочешь, чтобъ я шла туда?

— Конечно: изреки милостивое слово и явись. Кончай ужъ все разомъ.

— Понимаешь ли ты, что такое нравственное утомленіе.

— Вполнѣ.

— И зовешь меня туда?!..

— А ты понимаешь ли наслажденіе сознавать себя выше другихъ? понимаешь ли ты, что твоя бесѣда съ этимъ обществомъ есть та же борьба высокаго съ пошлымъ, которая вѣчно совершается въ мірѣ?

Шатровскій самъ испугался фразы, вылетѣвшей такъ гладко и бойко, и ждалъ отъ нея дѣйствія совершенно противнаго тому, которое она произвела.

— Пошлость... вѣчная борьба... повторила задумчиво Анна Дмитріевна. — Твоя правда!..

— А если правда, то оправься и пойдемъ.

— Николай Петровичъ ничего не говорилъ о Юринѣ? спросила она, вставая.

— Послушай... онъ довольно основательно не хочетъ звать его къ себѣ.

— Основательно? спросила съ негодованіемъ Анна Дмитріевна.

— Да... Съ отцомъ была ссора...

— Ты смѣшонъ! Въ какомъ вѣкѣ мы живемъ? въ какой странѣ? Что это: корсиканская vendetta, или исторія Капулетти и Монтекки?

Это было сказано съ такимъ серьезнымъ гнѣвомъ, что Шатровскій расхохотался.

— Очень забавно! продолжала Анна Дмитріевна.— Отецъ завелъ дѣло съ какими-то мелкопомѣстными, уѣздный предводитель вступился—развѣ это бросаетъ тѣнь на имя сына? Что-жъ? молодой человѣкъ послѣ этого потерялъ въ общемъ мнѣніи?

— Я ничего не говорю, возразилъ Шатровскій, укрощая свою веселость:—но, видишь ли, вамъ неловко приглашать молодого человѣка, которому слѣдовало бы представиться самому... Это, въ самомъ дѣлѣ, исторія Монтекки: тамъ Ромео, у васъ Джульетта...

Анна Дмитріевна вспыхнула.

— Точно будто вы заискиваете, договорилъ Шатровскій.

— О, провинціальное, отсталое понятіе!

— Однако, похоже на то.

Анна Дмитріевна, въ волненіи, прохаживалась по комнатѣ; казалось, въ головѣ ея соразработывалась какая-то сильная мысль, а въ душѣ боролась скрытность съ необходимостью признанія. Всѣ эти чувства выражались на лицѣ ея, когда она нѣсколько торжественно подошла къ брату.

— Я должна быть съ тобой откровенна, Alexis. Мы созданы для того, чтобъ понимать другъ друга. Слушай меня внимательно.

Шатровскій запасся терпѣніемъ.

— Я мать, продолжала Анна Дмитріевна,—я женщина изящная. Я много страдала всю мою жизнь отъ безпрестанныхъ столкновеній съ грубостью этой помѣщичьей натуры, съ которой связала меня судьба. Понятно, что я хочу ожить, обновиться въ моей дочери, въ моемъ созданіи. Я боюсь за нее, за участь, которая грозитъ и ей, если ее схоронятъ въ этой глуши, гдѣ схоронили мать ея!.. Но я не допущу этого, сказала еще торжественнѣе Анна Дмитріевна, остановивъ жестомъ брата, который сбирался что-то сказать. — Я устрою судьбу Вареньки такъ, какъ задумала. Я избавлю ее отъ мелочныхъ хозяйственныхъ заботъ; я дамъ мѣсто въ свѣтѣ, гдѣ замѣтятъ ея красоту и таланты. Если свѣтъ вызоветъ ее на борьбу, борьба будетъ достойна ея характера. Я не позволю ей измельчиться; я дамъ ей мужа, который будетъ стоить ея удивленія!..

— Но развѣ Юринъ... прервалъ Шатровскій.

— Юринъ будетъ ея мужемъ, произнесла Анна Дмитріевна такъ торжественно, какъ будто ужъ благословляла Вареньку въ алтарю.

— Я не то хотѣлъ сказать, проговорилъ Шатровскій немного растерявшись: — но Юринъ еще незнакомъ съ вами.

— Для того-то я и хочу, чтобъ онъ былъ здѣсь.

— Но если Варенька...

— Не понравится ему? сказала Анна Дмитріевна съ гордостью, которая показывала, до какой степени она изучила классиковъ.

— Нѣтъ... Но вѣдь Варенька любитъ Карзанова.

— Любитъ! повторила она, громко засмѣявшись, что составило неожиданный и чрезвычайно эфектный переходъ отъ ея прежней величавости:—любитъ! И ты тоже защитникъ первой водевильной любви? Дитя можетъ ли чувствовать сознателено? Неискушенное чувство можетъ ли быть прочно? Вѣчны ли цвѣты? Развѣ я не любила?

Шатровскій потерялся совершенно.

— И наконецъ, я не хочу этого, сказала Анна Дмитріевна съ твердостью, которая составляла основаніе ея характера. — Это вздоръ! Немудрено сдѣлать сравненіе: человѣкъ независимый и — чиновникъ, тысяча душъ и — сто; мужъ безъ семьи и — старая мать на рукахъ; молодой человѣкъ образованный, прекрасный собою и...

— Карзановъ недуренъ и образованъ, замѣтилъ Шатровскій противорѣча безсознательно.

Анна Дмитріевна взглянула на него съ пренебреженіемъ.

— Юринъ будетъ у насъ, сказала она.— Я иду туда и потребую отъ Николая Петровича.

— Нѣтъ, къ чему-жъ? прервалъ Шатровскій, пугаясь исторіи:—при гостяхъ...

— Alexis!

— Что?

— Ты правъ. Ты далъ мнѣ мысль. Заискивая въ Юринѣ, не должно показывать ему, что мы заискиваемъ... Любишь ли ты меня?

— Ты сама знаешь, душа моя...

— Нѣтъ, безъ отговорокъ. Ты долженъ привезти ко мнѣ Юрина.

— Какъ же я это сдѣлаю?

Анна Дмитріевна поправила чепчикъ, закуталась въ шаль и пошла къ двери съ такимъ рѣшительнымъ видомъ, что Шатровскій бросился за нею.

— Подожди, Аннета, постой... къ чему сцены? Я познакомлюсь съ Юринымъ.

Анна Дмитріевна остановилась.

— Ta parole d'honneur, Alexis? сказало она съ неподражаемо кокетливой граціей, протягивая ему ручку изъ-подъ шали.

— Хорошо.

— Союзъ оборонительный и наступательный? продолжала она.

— Хорошо... Но, во-первыхъ, миръ съ Николаемъ Петровичемъ.

— Стоитъ ли говорить! Ты сейчасъ увидишь... Въ моей натурѣ, Alexis, владѣть собою удивительно; ты еще не знаешь, на что я способна.

— Прежде всего—ты милая, добрая, снисходительная женщина, сказалъ онъ, отворяя ей дверь.

— Я мать!.. отвѣчала Анна Дмитріевна съ восторгомъ самоотверженія.

III.

Появленіе Анны Дмитріевны въ гостиной совершилось неожиданно, какъ для гостей, такъ и для членовъ семейства; она была принята съ торжествомъ, хотя и съ замѣшательствомъ, и Шатровскій, остановясь за нею, умиралъ отъ смѣха. Николай Петровичъ былъ пораженъ и нерѣшительно приблизился къ ней навстрѣчу; гости, гремя стульями, поднялись изъ-за картъ; дамы оставили диванъ и столъ съ дессертомъ; посредникъ подошелъ къ ручкѣ. АннаДмитріевна остановила порывъ нарядной помѣщицы, протянувъ ей руку на такомъ разстояніи, что въ объятія броситься было невозможно, и, кланяясь другой гостьѣ, окинула ее взглядомъ, выражавшимъ недоумѣніе, кому она кланяется, и человѣкъ ли стоитъ передъ нею... Обходя прочихъ гостей, она разсыпала привѣтствія, дарила улыбками, счастливила всѣхъ. Забытъ былъ только Николай Петровичъ, но одно появленіе жены сдѣлало его ужъ счастливымъ. Анна Дмитріевна это замѣтила: понимая жизнь вполнѣ, она понимала, что не надо давать человѣку забываться среди счастья.

— Какъ это ловко придумано! сказала она мужу: — и безъ того всѣ не ладятъ между собой, а вы посадили ихъ за карты, чтобъ они больше перессорились.

Потомъ она позвала Вареньку и долго и серьезно говорила съ нею по-французски; сильно заинтересованныя дамы смутились и потерялись, такъ что, когда Варенька вышла, довольно замѣтно покраснѣвъ, обѣ гостьи сдѣлались равно молчаливы. Анна Дмитріевна откинулась на спинку дивана, прижала свою шаль и подняла глаза къ небу, будто придумывая, съ чего начать разговоръ. Варенька возвратилась въ другомъ платьѣ.

— Къ чему вы наряжались? и такъ хороши были; для насъ, что ли? сказала ей гостья.

— Платье надѣвается для себя, отвѣчала выразительно Анна Дмитріевна.

Гостьи опять поникли головами и задумались. Варенька сѣла. Анна Дмитріевна опять закрыла глаза.

Шатровскаго все это очень забавляло.

— Довольны ли мною? спросилъ онъ тихо Настасью Петровну, которая напрасно старалась оживить общество и завязать разговоръ.

— Чѣмъ? спросила она.

— Неблагодарная память!.. Я сдѣлалъ все, что могъ: привелъ ее сюда, а дальше не въ моей власти... Пойдемте въ садъ.

— Но Варенька одна...

— Надо-жъ и вамъ отдохнуть. Будьте хоть немного эгоисткой, это спасаетъ отъ многого.

— Отъ чего-жъ, напримѣръ?

— Пойдемте, я скажу дорогой.

Онъ распахнулъ балконъ, не слушая восклицаній Анны Дмитріевны, которую безпокоилъ вѣтеръ, и сошелъ съ террасы.

— Я еще ни разу пріятно не гулялъ здѣсь. Пойдемте... Если моя беззаботность развеселитъ васъ, заставитъ смѣяться, если... Во всякомъ случаѣ, я увѣренъ, эта прогулка будетъ мнѣ памятна.

— Почему?

— Потому что я въ первый разъ совершенно наединѣ съ вами, и потому, что я разгадалъ васъ съ перваго взгляда.

— Это очень не трудно сдѣлать.

— Очень трудно. Женщинъ, какъ вы, не много. При васъ можно выражаться рѣзко, даже говоря о васъ самихъ, и вы простите это, потому что вы прямы и благородны и презираете полуслова и получувства... Если вы живете полумѣрами, то потому, что слишкомъ добры, слишкомъ любите тѣхъ, кто васъ окружаетъ. Ваша молчаливость, уступчивость... Будемъ откровенны. Сестра моя — капризница; Николай Петро-

вичъ... очень жалокъ; ваше положеніе между ними...

— Послушайте, прервала Настасья Петровна: — если вы хотите, чтобъ я продолжала говорить съ вами о чемъ нибудь, то никогда не говорите объ этомъ. Сегодня поутру мнѣ было тяжело, я, не обдумавъ, можетъ быть, сказала что нибудь; но теперь я спокойна и больше себѣ этого не позволю. Это будетъ похоже на злословіе; а кто охотно начинаетъ злословіе съ своей собственной семьи, тотъ уже не прямъ и не благороденъ, какъ вы говорите.

«Нравоученіе!» подумалъ про себя Шатровскій.

И онъ поцѣловалъ ея руку, будто извиняясь; она не смутилась, какъ будто не придавала этому никакого значенія. Шатровскій растолковалъ себѣ ея спокойствіе, какъ совершеннѣйшее кокетство.

«Она говорила о добродѣтели», подумалъ онъ: «теперь заговоритъ о правахъ своихъ лѣтъ».

Но онъ ошибся.

— Я вамъ признаюсь только, сказала Настасья Петровна: — что я очень рада вашему участію. Сначала я было думала... что вы примете все это не такъ, и почти боялась васъ.

«Она молодится!» мысленно воскликнулъ Шатровскій.

— А теперь вижу, что могу даже просить васъ... Вы знаете, что Варенька и Карзановъ...

— Оставимъ ихъ въ покоѣ! отвѣчалъ Шатровскій съ нетерпѣніемъ.

Онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что дружба Настасьи Петровны, особы съ характеромъ, дружба, затруднительная своей настойчивостью и серьезной стороной, готовила ему хлопоты. Давъ сестрѣ слово познакомиться съ Юринымъ, Шатровскій считалъ, что окончательно выполнилъ свою обязанность передъ всѣми, устроивъ общее спокойствіе, а о дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ нисколько не заботился. Онъ рѣшительно отказывался мѣшаться во что нибудь, не только въ чемъ нибудь настаивать или противорѣчить...

— Богъ съ ними! продолжалъ онъ:—какое мнѣ до нихъ дѣло? Его я не знаю; она ребенокъ. Первая любовь и дурачество — синонимы.

— Какъ вы строги! возразила съ упрекомъ Настасья Петровна. — Я думала, что вы примете къ сердцу горе этой милой дѣвочки и положеніе этого молодого человѣка, который вполнѣ стоитъ участія. Я надѣялась на васъ. Они такъ хорошо любятъ другъ друга.

У Шатровскаго явилась великолѣпная мысль: онъ нашелъ выходъ изъ этой затруднительной дружбы. Слушая Настасью Петровну, онъ потупилъ голову, сначала отъ скуки, а потомъ, по мѣрѣ того, какъ обдумывалъ, отъ того, что поза была кстати.

— Вы слишкомъ добры, сказалъ онъ вдругъ печально. — Что мнѣ въ любви другихъ?.. Это говоритъ вамъ не безпечность, не холодный разсудокъ...

— А что же?

— Истинная печаль души, которой не удавалось любить, отвѣчалъ очень тихо Шатровскій, опять опуская голову.

И нѣсколько минутъ онъ шелъ молча.

— Какая-то злая зависть... договорилъ онъ, разсчитавъ, что пауза была достаточно долга, чтобы произвести эфектъ.

— Завидовать не должно, тихо отвѣчала Настасья Петровна.

— Я не ожидалъ отъ васъ этой фразы! вскричалъ онъ.

— Почему?

— Почему?.. Потому что всѣ назидательныя поученія придуманы счастливыми эгоистами... Точно такъ же, какъ сытые богачи бросаютъ кусокъ хлѣба и думаютъ, что все сдѣлали...

— Это не эгоизмъ, а покорность судьбѣ, отвѣчала она.

— Покорность! вскричалъ Шатровскій.— Для васъ особенно она не должна существовать... Вы имѣете столько правъ на любовь... болѣе всякой другой женщины...

Она засмѣялась, но въ ея смѣхѣ слышалось печальное раздраженіе.

— Любили ли вы? спросилъ Шатровскій.

— Конечно, я не дитя.

— И ваша любовь была понята, раздѣлена со всѣмъ восторгомъ...

— Меня никто не любилъ, отвѣчала она.

Шатровскаго остановило ея хладнокровіе.

— Вамъ любопытно или забавно смотрѣть на меня? продолжала она. — Вы находите, что я имѣю много правъ на любовь, а я не была любима; или вы ошибаетесь, судя обо мнѣ, или это ничѣмъ необъяснимо.

— Я удивляюсь вамъ!

— Чему?

— Этому необыкновенному равнодушію, этому спокойствію...

— Это только здравый смыслъ. Я не могу обмануть и увѣрить себя, что чувства мои

бывали раздѣлены: не стоитъ труда обманывать другихъ. Я могла бы молчать объ этомъ, но если уже зашла рѣчь, почему не разсуждать о себѣ, какъ я разсуждала бы о другой?

— И такъ же хладнокровно? И вы можете, не возмущаясь душой противъ людей, говорить, что они васъ не оцѣнили?

— О вкусахъ не спорятъ, возразила она:— особенно когда вкусъ общій.

— Но вы сами, съ вашимъ свѣтлымъ понятіемъ, вы отдавали же себѣ справедливость...

— Мое мнѣніе о себѣ составлено по мнѣнію другихъ.

— Это ужасно!.. сказалъ Шатровскій будто про себя.—Но, прошу васъ, будьте откровенны! Вы хладнокровны только съ вида, только изъ благоразумія... внутренно, въ минуты, когда вы остаетесь однѣ, вамъ бываетъ жаль себя?

— Согласитесь, что сожалѣніе о себѣ— ребячество, которое мнѣ не по лѣтамъ и отъ котораго я обязана исправиться, еслибъ оно и было.

— Но оно невольно, невольно! вскричалъ Шатровскій, совершенно довольный тѣмъ, что ея голосъ задрожалъ, несмотря на всѣ усилія казаться спокойною.—Невольно говоришь себѣ, что время, если еще не ушло, то уходитъ; невольно жалѣешь, что напрасно гибнутъ тѣ силы, которыя сознаешь въ себѣ; невольно завидуешь, когда видишь, что какая нибудь дѣвочка счастлива, любима Богъ знаетъ за что...

Настасья Петровна покачала головой.

— Нѣтъ? неужели нѣтъ? повторилъ Шатровскій. Васъ ничто не мучитъ? Стало быть вы не будете несчастливы, если вамъ скажутъ, что васъ любятъ?

— Мнѣ этого не скажутъ, отвѣчала она спокойно, улыбаясь.

Шатровскій принялъ эту улыбку за вызовъ самаго опытнаго кокетства и сдѣлалъ ему честь—нашелъ, что онъ довольно ловко исполненъ и не лишенъ граціи. Спокойная грусть Настасьи Петровны дала Шатровскому смѣлость продолжать, и потому онъ сказалъ послѣ минутнаго молчанія, потупивъ глаза въ песокъ дорожки:

— Знаете ли вы, что бываютъ привязанности съ перваго взгляда; что онѣ прочнѣе, лучше другихъ, потому что въ нихъ, въ одну минуту, сказывается намъ вся душа наша?.. Вѣрите ли вы въ нихъ?..

Голосъ его вдругъ ослабѣлъ на послѣднихъ словахъ, онъ договорилъ ихъ почти шопотомъ и взглянулъ въ лицо Настасьѣ Петровнѣ. Она была смущена и опустила глаза. Пользуясь этой минутой, Шатровскій снялъ фуражку и, будто поправляя волосы, растрепалъ ихъ живописнѣе: потомъ еще разъ посмотрѣлъ на свою спутницу, сжалъ ей руку, хотѣлъ поцѣловать, удержался и прошепталъ, отворачиваясь:

«Сумасшествіе!..»

Настасья Петровна, въ свою очередь, посмотрѣла на него холодно и долго; въ ея взглядѣ выразились удивленіе, недовѣрчивость, потомъ мелькнула страшная печаль...

Пока молодой человѣкъ безъ характера и чувства игралъ съ ней эту недостойную комедію, въ душѣ дѣвушки прошло воспоминаніе всей ея напрасно прожитой жизни, всѣхъ слезъ, незамѣченныхъ людьми, всѣхъ страданій отъ оскорбленнаго самолюбія до оскорбленнаго достоинства. Пролетѣло и еще одно воспоминаніе, самое лучшее и самое мучительное... Она обманула Шатровскаго; но еслибъ она и довѣрилась ему, онъ не былъ способенъ понять ее, а еслибъ и понялъ, то осудилъ бы... Она вспомнила, какъ говорятся слова любви, хотя тому прошло и много лѣтъ... Что-жъ такое были слова Шатровскаго? любитъ ли онъ, или смѣется?

Отчаяніе схватило ее за сердце: она была или неожиданно, страшно счастлива, или страшно оскорблена. Женское чувство сказало ей, что разгадка въ первомъ словѣ, которое скажетъ Шатровскій. Въ первыя минуты послѣ порыва, когда душа еще не успѣла вполнѣ овладѣть собою, она невольно высказываетъ даже самую сокровенную мысль: Настасья Петровна ждала, что Шатровскій выскажется...

Она не разочла одного: если онъ шутитъ надъ нею, то уже и обдумалъ заранѣе, какъ вести себя, какъ проговариваться въ трудныя минуты. Шатровскій считалъ ее опытнѣе, нежели сколько она была въ самомъ дѣлѣ, и обманывалъ по всѣмъ правиламъ.

Онъ шелъ молча, посматривая по сторонамъ и передъ собою и остановился на крутомъ берегу пруда.

— Какой хорошій видъ! сказалъ онъ.

Его голосъ былъ какъ будто разбитъ, движенія принужденны и печальны.

— Сестра говорила, что вы рисуете; увижу ли я вашъ альбомъ?

Онъ взглянулъ на Настасью Петровну несмѣло и почтительно; казалось, своей просьбой онъ просилъ прощенія.

Она, между тѣмъ, успѣла обдумать. Уже не дожидаясь, что скажетъ ей Шатровскій,

ей показалось неблагородно подозрѣвать, будто онъ смѣется надъ нею; но врожденная недовѣрчивость къ самой себѣ заставила ее подумать, что это увлеченіе, хотя бы даже и искреннее, ни на чемъ ни основано, и что Шатровскій самъ посмѣется ему, когда оглянется.

«Слѣдовательно», сказала она сама себѣ, «я должна держаться съ нимъ такъ, какъ будто ничего не замѣчаю, чтобъ ему самому потомъ не было неловко передо мною и совѣстно».

Шатровскій никакъ не предполагалъ, чтобъ труды его такъ напрасно пропали: онъ мечталъ завлечь, восхитить, а выходило, что его выслушали, какъ мальчика, и щадили изъ состраданія. Ни мало не замѣчая своего незавиднаго положенія, онъ сознавался только въ одномъ, что Настасья Петровна не изъ числа обыкновенныхъ старыхъ дѣвъ и что игра въ чувства съ нею можетъ имѣть нѣкоторую занимательность. Она не выказывала ни пуританизма, ни холодности; не притворялась отжившею, или ребенкомъ; не была свободна, какъ особа, извлекающая изъ старости послѣднюю выгоду—право говорить все. Въ ней было что-то непритворно-молодое, что почти нравилось Шатровскому. Съ своей стороны, онъ былъ убѣжденъ, что сильно взволновалъ ея сердце...

Съ этимъ убѣжденіемъ смотрѣлъ онъ на нее въ ту минуту, когда она, въ смущеніи, придумывала, какъ бы осторожнѣе съ нимъ держаться.

— Я вамъ покажу мои рисунки, сказала она:—но я давно не рисую ничего, кромѣ узоровъ.

— Почему же? спросилъ Шатровскій, будто думая о другомъ.

— Некогда и лѣнь.

— Снимите этотъ видъ.

— Да, онъ недуренъ.

— Завтра придемъ сюда, возьмите съ собой карандаши, краски. Это будетъ рисунокъ для меня.

— Вы думаете, я буду меньше лѣниться, если меня станутъ сажать за работу? возразила она, смѣясь.

— Вы мнѣ не откажете, отвѣчалъ онъ тихо.—Я не просилъ, поблагодарю заранѣе.

Еще нѣсколько минутъ онъ смотрѣлъ молча въ даль, повторяя въ глубинѣ души своей извѣстный стихъ:

Que stupidités de m'épargne ce silence!

и, наконецъ, началъ призывать какое нибудь обстоятельство для развязки этой длинной сцены. Обстоятельство явилось въ видѣ группы гуляющихъ гостей.

— О, прощайте, я бѣгу, сказалъ Шатровскій: — теперь, это общество невыносимѣе, нежели когда нибудь.

И онъ ушелъ въ аллею.

Въ это время Анна Дмитріевна, сидя на диванѣ въ гостиной, была необыкновенно занята разговоромъ съ Домниковымъ. Дамы ушли гулять съ Варенькой, другіе гости попрежнему занимались картами.

— Такъ, исключая этой мебели, у него есть и другая? спрашивала Анна Дмитріевна.

— Безподобная-съ. Старинная золоченая съ гвоздиками и «трокадеро» штофъ съ золотыми цвѣточками. Еще ихъ батюшка съ аукціона купилъ. Эту онъ въ гостиной разставилъ, а о драпировкахъ писалъ въ Москву. Я говорю: «къ чему вамъ, Леонидъ Васильевичъ? Сами вы здѣсь не живете»...

— Нѣтъ, прервала Анна Дмитріевна: — человѣку порядочному и одинъ день непріятно прожить въ какомъ нибудь пустырѣ: глаза не могутъ привыкнуть.

— Конечно, привычка. Но, чего стоитъ!

— Чего бы не стоило. Это домъ его предковъ, онъ ему дорогъ по воспоминанію.

— Да вѣдь предки-то кто были... началъ Домниковъ, улыбаясь нѣсколько саркастически.

Анна Дмитріевна будто не слышала.

— По всему, что вы говорите, сказала она:—и по его поступку съ вами, я вижу, что это превосходный молодой человѣкъ, и совѣтую вамъ, Петръ Иванычъ, постарайтесь съ нимъ сблизиться, не теряйте этого случая. Теперь вѣсъ молодыхъ людей—воспитаніе, такъ подвинулось, молодые люди занимаютъ такія важныя должности...

— Ну, этотъ не очень важенъ; какъ изъ юнкеровъ произвели въ ваши благородія...

— Здоровье не всегда позволяетъ служить, Петръ Иванычъ.

— Нѣтъ, онъ слава Богу.

— И притомъ, у кого большое состояніе, тотъ можетъ быть полезенъ отечеству, какъ помѣщикъ; устроить жизнь двухъ тысячъ душъ.

— У него тысяча-съ.

— Все равно, съ женщинами и дѣтьми.

— Понимаетъ онъ немного. Вотъ, сегодня, на совѣщаніи...

— Ахъ, Петръ Иванычъ, кто-жъ ихъ пойметъ?... Я этотъ крикъ изъ моей комнаты

слышала. Какъ вы счастливы, что избавились отъ хлопотъ.

— Да-съ, конечно.

— Я за васъ искренно порадовалась, когда узнала о продажѣ вашей деревни. Вы знаете, я довольно сосредоточеннаго характера, но въ васъ я принимаю столько участія.

— Отъ души вамъ благодаренъ.

Анна Дмитріевна подала ему руку.

— Не забывайте насъ, Петръ Иванычъ.

— Какъ это возможно, матушка! вскричалъ восхищенный старичокъ:—да вы, Николай Петровичъ, Варенька... охъ, матушка, извините...

— Вы имѣете право назвать ее такъ: вы ее на рукахъ носили.

— Какъ же-съ, вотъ этакую...

— Вы любите мою дочь? спросила Анна Дмитріевна съ глубокимъ чувствомъ: — она доброе дитя.

— Ангелъ, красавица!.. Только, вѣдь вотъ теперь, какъ подросла, что-то этого не дѣлаетъ, а то, бывало, пріѣдешь—выбѣжитъ, кинется на шею...

— Я всегда ей внушала простое обращеніе.

— Знаю, матушка, что вы внушали, отвѣчалъ онъ, забывая прошедшее, въ которомъ образъ Анны Дмитріевны могъ явиться къ нему совсѣмъ въ другомъ видѣ.— Вѣрите ли... я, вотъ, тоже говорю Леониду Васильевичу: если и жаль мнѣ здѣсь кого, такъ это ваше семейство, Варвару Николаевну... И разсказываю ему.

— Да, это облегчаетъ сердце, сказала задумчиво Анна Дмитріевна: — говорите ему чаще о насъ...

Шатровскій явился очень не кстати.

— Ахъ, Alexis!.. Ты гулялъ? до сихъ поръ?

— Да, отвѣчалъ онъ, принимаясь за варенье.

— И все въ томъ же обществѣ?

— Все въ томъ же, сказалъ онъ съ легкой и значительной улыбкой.

— Оно, вѣроятно, вамъ понравилось?

— Мнѣ всегда нравится общество, когда я самъ ему нравлюсь.

— Ah, tu es impayable, Alexis... Жаль, что твоя шутка для меня кончится вовсе не шуткой.

— Почему?

— Помилуй! Вздохи, унынія, уединеніе, разныя фантазіи, а ихъ и безъ того довольно. У особъ этого рода чувство иначе не выражается.

Шатровскій промолчалъ, завидя новый отвлеченный разговоръ: онъ уже усталъ отъ отвлеченностей.

— Скоро ли чай, Аннета? Мнѣ бы хотѣлось воротиться домой прежде ночи.

— Ты, кажется, тоже заразился положительностью?.. Чай сейчасъ дадутъ.

— Вы для чего же спѣшите домой, Алексѣй Дмитричъ? вмѣшался Домниковъ:—есть дѣло?

— Никакого.

— Что-жъ бы вамъ здѣсь дѣломъ заняться? Вы давеча говорили, что охотники поиграть... вотъ бы партійку...

— Съ кѣмъ? съ вами?

— А что-жъ? спросилъ умильно старичокъ, не замѣчая тона, съ которымъ былъ сдѣланъ вопросъ: — со мной, вдвоемъ, въ преферансикъ, по маленькой...

— Я не играю по маленькой, возразилъ Шатровскій, разлегаясь въ креслѣ.—Какъ я усталъ отъ этого гулянья!

— Можно съ «котелочкомъ», чтобъ усилить, съ открытымъ вистикомъ...

— Mais, faites lui plaisir, сказала снисходительно Анна Дмитріевна.

— Пожалуй, если хотите.

— Вамъ самимъ понравится! вскричалъ старичокъ въ восхищеніи, бросаясь распоряжаться.—Я сейчасъ... Человѣкъ! столъ поставь, къ окошку; тутъ, знаете, прохладнѣе...

— Ce pauvre vieux! сказала Анна Дмитріевна.

— Карточки, я думаю, можно старенькія... Дай намъ стареньких, любезный, да Алексѣю Дмитричу кресло подвинь, мягкое... Ну-съ, пожалуйте, батарея готова.

Шатровскій лѣниво поднялся и взялъ карту.

— Мнѣ только карточки позвольте красненькія; признаюсь, имѣю замѣчаніе: цвѣтъ любви—какъ же иначе въ наши годы!... А вотъ мы и возьмемъ-съ... да и спишемъ!

— Вы торжествуете, Петръ Иванычъ? спросила издали Анна Дмитріевна.

— Какъ же-съ, благоволите взглянуть: что сѣлъ. Въ древности былъ одинъ герой, тоже въ преферансъ игралъ, «безсмертные, говоритъ, сажусь не съ тѣмъ, чтобъ выиграть, но и не съ тѣмъ чтобы проиграть...» и побѣдилъ-съ! Изволили читать это?... А мы и еще спишемъ!

— Mais, il est charmant сказала Анна Дмитріевна.—Я и не знала, Петръ Иванычъ, какъ вы остроумны за картами.

— Какъ же-съ... Куплю... Смотрите, сударыня, онъ вистовать сбирается? Извольте-съ, батюшка, извольте выступать съ ввѣренною вамъ дивизіею... А вотъ вы и безъ двухъ, съ чѣмъ и имѣю честь поздравить!

— Вы мастерски играете, Петръ Иванычъ! воскликнула Анна Дмитріевна.

— Это предосадно, сказалъ съ нетерпѣніемъ Шатровскій.—Позвольте посмотрѣть взятки.

— Нечего смотрѣть-съ, извольте въ котелокъ; есть надежда, какъ вы будете почаще этакъ.

— Юринъ играетъ? спросила Анна Дмитріевна.

— Должно быть. Управляющій говорилъ, что его въ Москвѣ одинъ... вотъ забылъ имя!... такъ отдѣлалъ...

— Вы ренонсъ дѣлаете, прервала Анна Дмитріевна.

— Тысячъ до пятидесяти, договорилъ Домниковъ.

— Стало быть, есть страстишка? замѣтилъ Шатровскій.

— Точно такая-жъ можетъ быть у тебя и у меня, возразила Анна Дмитріевна:—неопытность; встрѣтился съ дурнымъ человѣкомъ... Enfin, vous voila, mesdames!

Варенька, Настасья Петровна и гостьи воротились съ прогулки.

Шатровскій подумалъ, что влюбленному, какимъ онъ представлялся, несовсѣмъ прилично заниматься преферансомъ и слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, принять самый отчаянно скучающій видъ; но Настасья Петровна прошла мимо, не обративъ ни малѣйшаго вниманія, что дало Шатровскому возможность не безпокоиться и чѣмъ онъ былъ очень доволенъ. Въ самомъ дѣлѣ, игра съ веселымъ и снисходительнымъ партнеромъ, пріятный блескъ свѣчей при отворенномъ окнѣ, пріятный запахъ чая, пріятный вкусъ сливокъ и сдобнаго печенья, покой мягкаго кресла—все вмѣстѣ доставляло наслажденіе, отъ котораго трудно оторваться. Все повторялось машинально: сдача картъ, движенія, самыя соображенія, начинавшія обращаться въ привычку, остроты партнера, который, высыпавъ ихъ въ началѣ партіи, сталъ повторяться, шутки, входившія въ поговорку и встрѣченныя всегда одинаково веселымъ смѣхомъ—все становилось однообразно, приходило въ такой неизмѣнный порядокъ, что мысль и чувства могли успокоиться, и въ этомъ спокойствіи было совершенное самозабвеніе. Шатровскій забылся такъ, что не замѣчалъ ничего кругомъ себя и только какъ-то, разслышавъ бой часовъ, вздумалъ взглянуть на свои часы.

— Пора домой, Петръ Иванычъ.

— Какъ же не кончивъ? вы посмотрите, что у меня котловъ...

— Кончите завтра, сказала Анна Дмитріевна.—Послушай, Alexis...

Она отвела брата, между тѣмъ какъ Домниковъ обводилъ мѣломъ ремизы, сбиралъ карты и наказывалъ лакею не чистить стола.

— Ты завтра будешь у Юрина? спросила Анна Дмитріевна Шатровскаго.

— Я страшно хочу спать, Аннета.

— Ты хочешь привести меня въ отчаяніе?

Шатровскій былъ такъ спокоенъ за минуту, что почти испугался.

— Съѣзжу завтра... Прощайте, Николай Петровичъ.

Николай Петровичъ почти привыкъ слышать отъ своихъ гостей только встрѣчныя и прощальныя привѣтствія. Другіе гости стали прощаться вслѣдъ за Шатровскимъ.

IV.

Шумное общество и разнообразно проведенный день произвели свое дѣйствіе на Шатровскаго: онъ проснулся, скучая только пустотою Сосновки, и понялъ, что не можетъ оставаться одинъ. Мысли не было; занятія пугали; ему стали необходимы разговоры, о чемъ бы то ни было, съ кѣмъ бы то ни было, лишь бы можно было убить въ нихъ время. Шатровскій ужъ не только не повторялъ себѣ, что какое нибудь серьезное воззрѣніе неумѣстно въ ежедневной жизни, не обращалъ ни на что никакого серьезнаго воззрѣнія.

Какъ случилось подобное перерожденіе съ человѣкомъ, который признавалъ себя глубоко понимающимъ и чувствительнымъ, и еще такъ скоро—въ двѣ недѣли?

Понятно, что Шатровскій не задавалъ себѣ этого вопроса, но отвѣчать на него было бы нетрудно, припомнивъ и обдумавъ.

Когда наше убѣжденіе истинно, намъ нѣтъ необходимости провѣрять его безпрестанно разговоромъ съ другими мыслящими людьми, подкрѣплять анализомъ и размышленіемъ: оно живетъ въ насъ такъ же, какъ сами мы живемъ физическою жизнью, просто и ровно. Но это свойство рѣдкихъ натуръ. Въ нихъ противорѣчія усиливаютъ эту внутреннюю жизненность; такъ корни сильныхъ деревьевъ прорастаютъ сквозь крѣпкія стѣны.

Для характеровъ болѣе слабыхъ нужны уроки, наставленія, примѣры; тогда чувства ихъ укрѣпляются чрезъ пониманіе, силы растутъ отъ соревнованія; даже самолюбіе играетъ въ этомъ благодѣтельную роль, потому что не позволяетъ отступить, изъ при-

личія, которое само для себя придумало. Такіе люди остаются вѣрны своимъ убѣжденіямъ, потому что слѣдуютъ имъ вѣчно на глазахъ другихъ; но и это своего рода заслуга.

Но есть люди, у которыхъ вся жизнь проходитъ въ работѣ воображенія. Воображеніе ихъ очень пылко, и въ этомъ ихъ нравственное несчастіе, потому что, соединенное съ сильнымъ эгоизмомъ, оно украшаетъ для нихъ только ихъ самихъ. Не принимая душою ни въ чемъ истинно глубокаго участія (что доказывается тѣмъ, что они всегда очень слабые исполнители всякаго дѣла), они воображаютъ, что проникнуты сочувствіемъ ко всему; читая, примѣняютъ къ себѣ всякое благородное выраженіе, вылившееся изъ души, дѣйствительно полной чувства; воображаютъ, что полны убѣжденій, потому что успѣли заучить и усвоить себѣ всѣ фразы объ убѣжденіяхъ, а заучить эти фразы было легко для ихъ натуры, готовой бросаться на все блестящее. Все хорошее въ этихъ людяхъ держится на ихъ вѣрованіи въ эти фразы. Пока чей нибудь другой голосъ, особенно голосъ души возвышенной, еще неуспѣвшей понять настоящаго ничтожества этихъ людей, вторитъ имъ, пока столкновенія съ жизнью другого рода не заставили ихъ оглянуться, эти люди съ вида кажутся прекрасными, хотя пылкими и неопытными людьми. Но стоитъ имъ забыться на минуту, стоитъ оглянуться на противорѣчія того, что быть должно съ тѣмъ, что есть—и они не разбирая, что ихъ заученныя фразы была все-таки истина, хотя невполнѣ понятая ими—смѣются надъ ихъ смысломъ и входятъ въ разрядъ людей, по своему внутреннему значенію низшихъ, нежели обыкновенные люди.

Сначала они какъ будто тревожны и стараются чѣмъ нибудь извинить свое отступничество, потому что понимаютъ, что назвать этого иначе нельзя. Но здравый смыслъ спокойнаго эгоизма дѣлаетъ быстрые успѣхи и побѣждаетъ эту тревогу ея же собственнымъ оружіемъ — необходимостью вѣрнаго пониманія жизни. Положительность, въ самомъ дѣлѣ, захватываетъ въ жизни такъ много мѣста, что требуетъ всего вниманія человѣка; жизнь такъ разнообразна, что нить размышленія запутывается и теряется; жизнь иногда такъ полна заботъ, что некогда обдумывать, иногда такъ досадна, что дума нейдетъ въ голову, подчасъ забавна до того, что и мудрецъ отказался бы отъ разбора... Какъ же не отказаться обыкновенному человѣку?

И этотъ «обыкновенный» человѣкъ, сознавъ въ себѣ новыя силы, потому что сталъ даже физически здоровѣе, идетъ своей дорогой, подсмѣиваясь гдѣ случится, не задумываясь нигдѣ и употребляя свою прежнюю опору — фразу, какъ мелкую монету, для мелкой забавы... Покойно и легко.

Каково другимъ—объ этомъ не думаютъ, потому что, «кто мѣшаетъ другимъ такъ же оглянуться и такъ же поумнѣть?..»

Съ перваго взгляда покажется страннымъ одно: эти люди, почти всегда гордые своимъ внутреннимъ достоинствомъ, перерождаясь, дѣлаются необыкновенно покорны всѣмъ обстоятельствамъ, которыя являются сбивать ихъ съ толку, и всѣмъ людямъ, которые захотятъ взять ихъ въ руки. Сами они находятъ тысячи парадоксовъ, чтобъ объяснить это и извинить, если нужно. «Здравый смыслъ и необходимость» — основанія ихъ извиненій. Но они или обманываютъ другихъ, или обманываются сами; причиной ихъ покорности не здравый смыслъ, который часто вопіетъ противъ нея, не необходимость, выше которой обязанъ становиться всякій, кто вѣрно понимаетъ жизнь, а страшная лѣнь дѣйствовать, которая всегда приходитъ вслѣдъ за лѣнью думать, и неумѣнье дѣйствовать по-житейски, потому что до сихъ поръ эти люди жили воображеніемъ. Натурально, что въ такомъ положеніи необходимы наставники, или, по крайней мѣрѣ, опытные товарищи. Для образумленнаго мечтателя тотчасъ находятся тѣ и другіе; и если онъ не привязывается къ нимъ душою, по привычкѣ ни во что глубоко не вдаваться, за то охотно слѣдуетъ ихъ внушеніямъ, находя въ этихъ внушеніяхъ что-то новое и занимательное...

Просыпаясь у себя, въ Сосновкѣ, Шатровскій сообразилъ, что одному можно погибнуть отъ скуки и хорошо, что Юринъ пріѣхалъ въ сосѣдство: есть съ кѣмъ познакомиться.

Анна Дмитріевна хочетъ женить его на Варенькѣ, стало быть, у этого знакомства есть цѣль.

«Мнѣ какое дѣло?» подумалъ Шатровскій. «Если Варенька ему понравится—хорошо: у него тысяча душъ».

Но Варенька влюблена...

Это напоминало Шатровскому, что можно бы точно также познакомиться и съ Карзановымъ; но, при одной мысли о Карзановѣ, Шатровскій вспылилъ до того, что покраснѣлъ.

«Онъ и безъ того слишкомъ много о себѣ думаетъ!» заключилъ Шатровскій и прика-

залъ дать себѣ одѣться, обращая на свой туалетъ особенное вниманіе; съ такимъ же вниманіемъ осмотрѣлъ онъ и фаэтонъ, въ которомъ хотѣлъ ѣхать, не сознаваясь, конечно, и самому себѣ, что причина всѣхъ приготовленій была — богатство того, къ кому онъ сбирался съ визитомъ.

«Надо, чтобъ все было прилично», сказалъ онъ.

И потому, онъ разсчиталъ время, и хотя часъ церемонныхъ визитовъ — самый жаркій часъ іюньскаго дня, но Шатровскій рѣшился лучше вынести десять верстъ пыли и зноя, нежели показать сколько нибудь неумѣнья жить въ свѣтѣ.

Деревня Юрина была не особенно живописна: избы сѣры и косы; замѣчательнаго въ ней было только трое качелей на бугоркѣ у пруда. Однѣ изъ нихъ, когда проѣзжалъ Шатровскій, страшно скрипѣли подъ тяжестью десятка забавлявшихся ребятъ; остальное народонаселеніе, вѣроятно, отдыхало, судя по времени. Черезъ прудъ лежалъ мостъ; за нимъ, на другомъ берегу, бѣлѣлся каменный барскій домъ, обнесенный садомъ, какъ всѣ деревенскіе дома. Окна были обращены на прудъ, слѣдовательно, качели стояли для увеселенія владѣльца, который могъ видѣть ихъ каждую минуту такъ же, какъ и всякаго, кто подъѣзжалъ къ дому. Но бревна на мосту поднялись и весь мостъ принялъ нѣсколько наклоненное положеніе, чрезвычайно живописное, среди окружавшей его зелени, блестящей воды, бѣлыхъ гусей, которые дремали у свай, но нисколько не удобное для тѣхъ, кто отважился бы пуститься по мосту въ фаэтонѣ, четверкой въ рядъ. Къ счастью, ребятишки сказали, что есть бродъ. Проѣхавъ почти невѣроятнымъ образомъ по узенькому косогору, цѣпляясь колесами за плетни коноплянниковъ и вдругъ повернувъ въ-круть, фаэтонъ спустился на изсохшее ложе пруда и Шатровскій достигъ жилища своего будущаго знакомаго.

Никто не встрѣтилъ Шатровскаго, хотя, проходя лѣстницу, онъ слышалъ пѣніе и звуки гитары изъ нижняго этажа. Передняя была пуста, зала тоже. Въ гостиной онъ нашелъ такую же пустоту, что заставило его остановиться и оглядѣться. Золоченая мебель стояла въ симметрическомъ порядкѣ; съ потолка спускалась золоченая люстра; на карнизѣ пріютился и спалъ молодой воронъ. Балконъ былъ отворенъ и на немъ, на полу, лежали штофныя подушки, снятыя съ нѣсколькихъ креселъ. На другихъ креслахъ помѣщались деревянные ящики, куски холстины и клеенки, пучки веревокъ, клочки бумаги, молотки и клещи, которыми открывали посылки; нѣсколько гвоздей разнаго размѣра попались подъ ноги Шатровскому. По столамъ раскатывались свертки обоевъ; на диванахъ драпировались штучки кисеи и шелковой матеріи. Изъ-подъ этого шелка и кисеи поднялись двѣ огромныя собаки и бросились на Шатровскаго съ лаемъ, похожимъ на вопль. Шатровскій отвѣтилъ имъ тоже довольно громкимъ воплемъ, и изъ дверей слѣдующей комнаты выглянулъ молодой человѣкъ, худой и длинный; онъ, однако, не поспѣшилъ на помощь къ гостю, а скрылся опять, закричавъ:

— Леонидъ! къ тебѣ пріѣхали.

Хозяинъ вскорѣ явился; вѣроятно, кто нибудь доложилъ ему подробнѣе о гостѣ, потому что онъ встрѣтилъ его чрезвычайно привѣтливо, хотя почти безъ словъ, исключая: «очень радъ, милости просимъ», которыя онъ повторялъ, слегка конфузясь и потрясая руки Шатровскаго.

— Неугодно ли вамъ... Извините, пріѣдешь въ деревню, ничего не найдешь въ порядкѣ. Пройдемте въ другія комнаты.

Здороваясь, Шатровскій посмотрѣлъ на хозяина. Юринъ былъ недуренъ собою, невысокъ, довольно румянъ, остриженъ коротко до послѣдней возможности; его крошечные черные усики были завиты въ колечко, а нарядъ представлялъ самое фантастическое соединеніе желтаго фуляра и бѣлой парусины. Пестрый галстухъ и пуговицы жакетки достигали изумительныхъ размѣровъ, между тѣмъ какъ сама жакетка, казалось, едва могла бы служить курточкой десятилѣтнему ребенку; зато рукава ея были ширины необъятной: Шатровскому показалось, что изъ-подъ нихъ виднѣлось шитье. Онъ успѣлъ разглядѣть этотъ щегольской и удобный нарядъ, слѣдуя за Юринымъ въ другую комнату.

Въ дверяхъ съ ними столкнулся молодой человѣкъ, котораго ужъ видѣлъ Шатровскій и который, желая скрыться отъ него, не разсчелъ, что, напротивъ, встрѣтится, если пойдетъ въ ту же дверь. Онъ отскочилъ не совсѣмъ спокойно.

— Мой двоюродный братъ, Василій Иванычъ, сказалъ Юринъ, представляя его Шатровскому.

Отвѣчая на поклонъ, Шатровскій замѣтилъ, что если природа не сдѣлала ничего для сходства двухъ братьевъ, за то Василій Ивановичъ сильно старался достигнуть

этого сходства. Онъ былъ остриженъ такъ же коротко и концы его галстуха такъ же крѣпко стояли въ воздухѣ, но они сбивались нѣсколько на бокъ; жакетка носила слѣды домашней передѣлки, и во всемъ костюмѣ смѣшеніе клѣтчатаго и пыльно-сѣраго не представляло той изящной гармоніи, которая такъ поражала при первомъ взглядѣ на Юрина. Оба брата знали это очень хорошо. Они часто взглядывались въ зеркало, и Шатровскій, слѣдуя за ними глазами, замѣтилъ, что зеркало было разбито.

— Это вчера, сказалъ Юринъ, будто отвѣчая ему на вопросъ:—Василій пистолеты пробовалъ.

— И совсѣмъ я не пробовалъ, вскричалъ Василій Ивановичъ:—а ты мнѣ сказалъ принести ихъ въ оружейную...

— Стоитъ ли толковать? Вздоръ зеркало, возразилъ Юринъ, садясь и приглашая Шатровскаго.—Куда-жъ ты? спросилъ онъ брата, который опять направился къ дверямъ.

Василій Ивановичъ сѣлъ у окна, нахмурившись. Его скрещенныя руки и ноги и мрачный взглядъ, который по временамъ онъ бросалъ на Шатровскаго, придавали фигурѣ его что-то грозное.

— Надолго вы въ деревнѣ? спросилъ Юринъ.

— На лѣто.

— Хозяйничать?

— Какъ случится. Вы тоже?

Разговоръ продолжался въ этомъ родѣ. Шатровскій былъ серьезенъ, чтобъ поддержать свое достоинство, и именно это чрезвычайно стѣсняло Юрина.

Юринъ былъ еще очень молодъ и ничто не тяготило его столько, какъ молодость. Какъ ни старался онъ установиться въ какое нибудь положеніе, которое бы, по его мнѣнію, придало ему вѣсъ и значеніе въ глазахъ посторонних, несносная молодость заставляла его робѣть и конфузиться передъ всякимъ, кто серьезно молчалъ въ его присутствіи. Но, робѣя и конфузясь внутренно, онъ уже умѣлъ скрыть это снаружи. Случалось, что, ободряя себя, онъ доходилъ, самъ не зная какъ, до дерзости, и было недалеко время, когда эта дерзость войдетъ у него въ привычку. Онъ еще недавно сдѣлался независимъ, но уже умѣлъ пользоваться независимостью, найдя для этого заранѣе отличныхъ руководителей. Онъ уже бывалъ обманутъ; и если еще самъ не обманывалъ, то потому, что не случалось надобности, хотя, впрочемъ, онъ уже зналъ, какъ это дѣлается, удивлялся этой способности въ другихъ «изъ любви къ искусству» и былъ уже въ состояніи соображать и разсчитывать. Наслажденія жизни нравились ему въ широкихъ размѣрахъ. Большой свѣтъ, или гордо величающій самъ себя «порядочный кругъ» выказалъ къ Юрину необыкновенныя претензіи: требовалось столько ума, ловкости, воспитанія и прочаго... Юринъ, поскучавъ сначала, заплатилъ презрѣніемъ за эту требовательность и утѣшился въ другомъ кругу, гораздо пониже, но гдѣ ему были рады, гдѣ онъ былъ не только дома, но хозяиномъ дома. Женщины еще не потеряли для него своего обаянія, несмотря на неприступность великосвѣтскихъ дамъ, несмотря на однообразіе дѣвицъ другого круга, которыя восхищались, когда онъ пѣвалъ имъ романсы; Юринъ былъ еще способенъ увлекаться; онъ тратилъ много, не жалѣя и не считая, изъ безпрестаннаго страха заслужить репутацію скупца, или человѣка, неумѣющаго жить. Этотъ страхъ равнялся только страху, чтобъ его не сочли за человѣка молодого, то есть не вздумали не отдавать ему должной справедливости, должнаго уваженія, или — чего Боже сохрани! — не рѣшились дать ему совѣта: онъ счелъ бы это за величайшее оскорбленіе. И потому, встрѣчаясь съ людьми, которые почему нибудь казались ему выше его образованіемъ, или положеніемъ въ свѣтѣ, онъ чувствовалъ себя какъ-то неловко, до тѣхъ поръ, пока ему удавалось самому убѣдить себя въ своемъ превосходствѣ. Но онъ не дошелъ еще до своихъ друзей-совѣтниковъ, людей, «установившихся окончательно», которые презирали «всякимъ встрѣчнымъ»; Юринъ вспоминалъ о нихъ съ восторгомъ и вздыхалъ, разсчитывая, когда еще сравнится съ ними. Этому такъ сильно желаемому совершенству мѣшала еще одна, впрочемъ, небольшая замашка: когда Юринъ заглянулъ, хотя ненадолго, въ порядочное общество, ему понравилось его спокойствіе и нѣкоторая мягкость его обращенія; и, не смотря на всю прелесть общества, болѣе откровеннаго, Юринъ не могъ отказаться отъ претензій на хорошій тонъ, по крайней мѣрѣ съ людьми, передъ которыми конфузился; онъ довольно справедливо разсчитывалъ, что этотъ тонъ придаетъ ему нѣкоторое значеніе, почти необходимое при его богатствѣ.

— Не хотите ли, сказалъ онъ Шатровскому, послѣ еще нѣсколькихъ минутъ разговора объ агрономіи и хозяйственныхъ

улучшеніяхъ:—не хотите ли взглянуть, какъ я отдѣлываю домъ? Меня это заняло покуда; я даже думаю, что привяжусь и не выѣду до поздней осени.

— Соскучитесь, замѣтилъ Шатровскій.

— А вотъ заведешь охоту, вступился Василій Ивановичъ: — съ собаками можно славно...

— Вы соскучитесь безъ общества, сказалъ Шатровскій, позволивъ себѣ прервать братца, котораго, какъ онъ успѣлъ замѣтить, никогда не слушали.

— Да, можетъ быть, отвѣчалъ Юринъ.— Привычка—страшное дѣло. Я и то, какъ вижу кругомъ себя только физіономіи моихъ людей, да вотъ его...

— Да, можно отупѣть въ деревнѣ, сказалъ Шатровскій, снисходительно улыбнувшись.

Его улыбка произвела необыкновенно благотворное дѣйствіе. Юринъ оживился.

— Я съ вами совершенно согласенъ! вскричалъ онъ.— Всѣ эти идиллическія удовольствія!.. Но пойдемте, вы хотѣли посмотрѣть домъ? Василій, прикажи, между тѣмъ, намъ дать позавтракать.

Василій Ивановичъ, казалось, очень охотно бросился исполнить это приказаніе. Юринъ повелъ Шатровскаго по комнатамъ, изъ которыхъ не было ни одной устроенной: одну бѣлили, другую красили, въ третьей передѣлывали окна, соединяя изъ нѣсколькихъ въ одно. Юринъ былъ намѣренъ сдѣлать изъ этого окна дверь и спустить въ садъ наружную лѣстницу. Столяръ приколачивалъ шкапы въ библіотекѣ, гдѣ, на двухъ стульяхъ, помѣщались связки французскихъ романовъ и иллюстрированныхъ изданій.

— Такой безпорядокъ еще! замѣтилъ Юринъ.— Я велѣлъ снести, по крайней мѣрѣ, сюда всѣ книги, чтобъ ужъ были подъ рукою... Вотъ, взгляните, оружейная.

Казалось, это была комната, которую хозяинъ старался украсить съ особенной любовью. На стѣнахъ висѣли три охотничьи рога, пара пистолетовъ, двѣ армейскія полусабли и черкесская шашка на ремняхъ, съ серебряными пуговками; въ углахъ стояло нѣсколько ружей и была сложена конская сбруя, только, очевидно, не воинская.

— Мнѣ стоило большого труда собрать это, сказалъ хозяинъ. — Взгляните, какая отличная сталь... Эй! гдѣ тамъ, я отдалъ выточить ятаганъ... Посмотрите, дамасскій.

Шатровскій ничего не понималъ въ достоинствѣ и красотѣ оружія, но не счелъ за нужное въ этомъ признаться.

— Этотъ клинокъ лучше, сказалъ онъ, съ видомъ знатока, разсматривая что-то въ родѣ поварского ножа безъ рукоятки.

— Вы думаете?.. можетъ быть; я заплатилъ дорого одному знакомому; тотъ едва могъ съ нимъ разстаться—но бѣдный человѣкъ... Мнѣ обѣщали многое для моей коллекціи; конечно, будетъ что нибудь стоить... Что это? А! принесли наконецъ.

Двое мастеровыхъ и, за ними люди, вынесли что-то похожее на связки сухихъ сучьевъ. Юринъ встрѣтилъ ихъ съ восхищеніемъ.

— Давай сюда, покажи, развѣшивай!.. Взгляните, Алексѣй Дмитричъ: это будутъ оленьи рога; я приказалъ выточить изъ дерева, для оружейной залы. Что-жъ больше идетъ? Мнѣ хочется еще здѣсь, въ простѣнкахъ, трофеи изъ дерева и вызолоченные... Василій вчера дѣлалъ рисунокъ. Эй! спросите у Василья Иваныча рисунки. Возьметесь это сдѣлать? спросилъ онъ, показывая рисунокъ мастеровымъ.

— Взяться, какъ не взяться, взяться можно, заговорили мастеровые, оба вдругъ.

Въ пустой комнатѣ сдѣлалось шумно отъ объясненій Юрина и толковъ рабочихъ; Шатровскій помогалъ совѣтами, доставлявшими большое удовольствіе хозяину. Василій Ивановичъ явился и принялся развѣшивать украшенія по стѣнамъ. Надъ шумомъ разговора раздавался стукъ молотковъ. Василій Ивановичъ вздумалъ испугать ружьемъ мальчишку, который вертѣлся, подавая гвозди; тотъ поднялъ крикъ и бросился въ корридоръ навстрѣчу смиренному и степенному управляющему, который вошелъ съ низкимъ поклономъ.

Юринъ, между тѣмъ, торговался, сидя на окнѣ. Управляющій вступился, замѣтивъ, что мастеровые просятъ дорого.

— Вздоръ какой! вскричалъ Юринъ: — я думаю, я самъ знаю, чего стоитъ работа; я заказывалъ. Что ты умничаешь, Епифановъ?

— Помилуйте, Леонидъ Васильевичъ; но вѣдь это народъ такой; вы извольте разсмотрѣть — кривой сучокъ, и все тутъ...

— Расплатись съ ними и не безпокой меня: я не терплю возраженій... Пойдемте завтракать, Алексѣй Дмитричъ, сюда, черезъ бильярдную.

Онъ отворилъ дверь, запертую довольно крѣпко, когда за ней раздался страшный трескъ и глазамъ всѣхъ представился тяжелый штукатурный потолокъ, обвалившійся до половины.

— Я вамъ докладывалъ, заговорилъ управляющій изъ-за облаковъ пыли...

Онъ было отважился осмотрѣть несчастіе на мѣстѣ.

— Нечего было мнѣ докладывать! вскричалъ Юринъ: — развѣ у меня одни потолки на умѣ! Запереть и заложить эту дверь, сказалъ онъ нѣсколько хладнокровнѣе.

— Но не будетъ выхода отсюда въ залу, замѣтилъ управляющій.

— Проломать дверь изъ залы.

— Но тамъ печь...

— Пойдемте завтракать, Алексѣй Дмитричъ. Сюда, черезъ мой кабинетъ.

Въ кабинетѣ былъ диванъ, очевидно служившій ложемъ, и ни признака кабинетныхъ занятій. На столѣ лежали огромные листы цвѣтной бумаги и стояла кастрюлька съ клеемъ. Шатровскій запутался въ обрѣзкахъ бумаги, которыми былъ усѣянъ полъ.

— Это мы съ Васильемъ шаръ клеимъ, сказалъ, проходя, Юринъ:—надо же что нибудь дѣлать... Но вотъ, взгляните, нѣсколько рѣдкостей... Отецъ понималъ одинъ матерьяльный комфортъ. Это я сбираю.

Онъ показалъ Шатровскому нѣсколько раковинъ разнаго размѣра, предлагая послушать, какъ онѣ страшно шумятъ, нѣсколько кусковъ коралла, нѣсколько серебряныхъ старинныхъ монетъ и, въ особенности, кубокъ въ видѣ какой-то необыкновенной птицы, которымъ весьма дорожилъ. Шатровскій позволилъ убѣдить себя, что онъ старинный, и выслушалъ исторію, что его взяла на призъ лошадь одного изъ предковъ Юрина, еще до самозванцевъ.

Пока Юринъ разсказывалъ о предкахъ, управляющій выглянулъ въ дверь.

— Живописецъ, доложилъ онъ.

— А! прекрасно, очень кстати. Принесъ онъ?

Живописецъ — нѣсколько сумрачная фигура въ долгополомъ сюртукѣ — вошелъ съ поклономъ, неся двѣ рамы, завязанныя въ скатерть.

— Это портретъ дѣдушки, объяснилъ Юринъ Шатровскому: — но онъ потемнѣлъ, растрескался отъ времени; я отдавалъ покрыть лакомъ.

— Знаки отличія еще приказывали, отвѣчалъ сурово художникъ, перевертывая и ставя на полъ изображеніе дѣдушки.

Шатровскій вскрикнулъ бы, еслибъ былъ маленькій, но и теперь не могъ удержаться отъ небольшого движенія ужаса.

— Не правда ли, энергическія черты? сказалъ Юринъ.

— Желѣзные люди были въ томъ вѣкѣ! сказалъ Василій Ивановичъ, присаживаясь на колѣни передъ портретомъ.

— Позвольте-съ, замѣтилъ художникъ:— смажете, тутъ еще не высохло.

И онъ въ другой разъ указалъ на двѣ звѣзды и нѣсколько другихъ знаковъ отличія, очевидно, принадлежавшіе новѣйшей кисти... Это не понравилось Юрину.

— Чему тутъ не высохнуть? возразилъ онъ: — слегка подправлено.

— Нѣтъ-съ, не слегка, а вновь, все какъ есть, потому что ничего не было...

— А другой портретъ — бабушки, прервалъ Юринъ, обращаясь къ Шатровскому.— Дѣда я нашелъ, но этотъ сдѣланъ по воспоминанію. Мнѣ хотѣлось имѣть ихъ два. Они были не разлучны при жизни... Что-жъ это, мой любезный?

— Какъ приказывали, такъ и сдѣлано, отвѣчалъ художникъ хладнокровно.

— Вы недовольны сходствомъ? спросилъ Шатровскій, удерживаясь отъ хохота.

— Я, вѣдь, ея не зналъ, возразилъ Юринъ:—но костюмъ... Вѣдь тебѣ толковали, мой любезный: парча, бархатъ, волосы напудрены, должны быть и мушки...

— Мушки, какъ приказывали, вотъ, есть, отвѣчалъ художникъ, указывая на свое произведеніе: — вотъ подъ обоими глазами, на бородѣ. Носъ, я вамъ тогда докладывалъ, что лучше бы римскій.

Юринъ вопросительно взглянулъ на Шатровскаго.

— Какъ вы думаете?

— Знаете, отвѣчалъ Шатровскій съ видомъ знатока:—если это въ pendant къ тому портрету (онъ осмѣлился взглянуть на дѣда), то не мѣшало бы черты лица нѣсколько жестче.

— Je suis contraste, отвѣчалъ Юринъ, улыбаясь. — Мнѣ нужно, чтобъ была une jolie femme, я нахожу это недурно...

— Очень.

— Бѣленькая шейка, полненькая... Сколько же тебѣ надо?

— Какъ тогда условились, отвѣчалъ мрачно художникъ:—меньше нельзя.

— Но вѣдь, милый мой, берутъ за сходство, а тутъ гдѣ-жъ оно? Съ кѣмъ я сравню, похоже ли?

— На то была ваша воля заказывать; а намъ все одно работа.

— Ступай, вотъ, съ нимъ, съ управляющимъ. Расплатиться! прибавилъ повелительно Юринъ.

— Понялъ ли онъ вашъ идеалъ? спросилъ

Шатровскій. — Ужъ вѣрно этотъ портретъ воспоминаніе, только не бабушки?

Юринъ самодовольно улыбнулся.

— Нѣтъ, сказалъ онъ: — я такъ не балую моихъ идеаловъ. Но взгляните, вотъ что. Покажи, Василій.

Василій Ивановичъ вытащилъ изъ угла нѣсколько мѣдныхъ ошейниковъ съ цѣпочками и гербами.

— Не правда ли, красиво?

— Очень. Это для вашей охоты?

— Охоты пока еще нѣтъ, но будетъ. Василій ужъ занимается, составилъ списокъ именъ всѣмъ собакамъ. Покажи, Василій. Есть вещи остроумныя.

Василій Ивановичъ вынулъ изъ кармана длинный исписанный листъ, и Шатровскій выслушалъ до сотни именъ будущихъ собакъ Юрина.

Наконецъ они достигли опять той комнаты, гдѣ Юринъ принималъ Шатровскаго. Завтракъ былъ тотчасъ поданъ на старинномъ серебрѣ и на дорогомъ фарфорѣ. Садясь, Юринъ оглянулъ столъ бѣгло и внимательно, какъ хозяинъ, небрежно, какъ человѣкъ свѣтскій, но такъ, что заставилъ гостя обратить вниманіе на убранство стола.

— Безъ перчатокъ!.. замѣтилъ онъ нетерпѣливо вполголоса лакею, который имъ прислуживалъ. — Подай бокалы и шампанскаго... Вы не скажете, что жарко? прибавилъ онъ, любезно обращаясь къ Шатровскому.

— Вовсе не жарко, сказалъ Василій Ивановичъ, котораго не спрашивали и который кушалъ не развлекаясь.

— Я не понимаю завтрака безъ шампанскаго. Такъ пріятно начинаешь день. Въ Москвѣ сберешься съ утра, большой компаніей, отъ завтрака не увидишь времени до обѣда...

— Да, время идетъ разнообразно, сказалъ Шатровскій, оживляясь.

— Тамъ на минуту въ театръ, къ дивертисменту, и кончишь день въ маскарадѣ.

Василій Ивановичъ взглянулъ на брата, который въ эту минуту показался ему великимъ человѣкомъ.

— Этакой счастливецъ! сказалъ онъ: — а тутъ, сидишь, сидишь...

— Это невозможно въ губернскомъ городѣ, возразилъ съ достоинствомъ Юринъ: — требованія не тѣ и кругъ не тотъ. Какъ хотите, губернская жизнь — блѣдная копія съ столичной... Тамъ вы не найдете женщинъ, чтобъ была эта грація, эта турнюра ума, это совершенство обращенія...

— Вы его спросите, сказалъ съ нѣкоторымъ восторгомъ Василій Ивановичъ: — это счастливецъ!

— Я не говорю, возразилъ Юринъ скромно, не обращая вниманія на этотъ перерывъ: — но согласитесь, что невольно увлекаешься.., Есть такіе милые дома, семейства цѣлыя... Я зналъ двухъ сестеръ...

Шатровскій засмѣялся.

— Вы послушайте его, вскричалъ Василій Ивановичъ въ неописанномъ восхищеніи: — это цѣлая исторія...

— Я такъ благодаренъ вамъ за участіе, сказалъ Юринъ, пожимая руку Шатровскому.

— Будьте увѣрены, отвѣчалъ тотъ со всей искренностью.

— Нѣтъ, знаете, я такъ люблю наивные, простодушные характеры... Конечно, женщины болѣе опытныя...

— Да, свѣтскій умъ, познанія...

— Когда, ты самъ говорилъ, что умницы скучны? прервалъ Василій Ивановичъ.

— Пожалуйста, не вмѣшивайтесь не въ свои дѣла, отвѣчалъ Юринъ. — Позвони, чтобъ дали огня и сигаръ... Можешь взять папироску.

— Кажется, на балконѣ будетъ лучше, сказалъ Шатровскій, вставая.

— Нѣтъ, знаете, пойдемте лучше смотрѣть лошадей. Мнѣ привели орловскихъ, я купилъ... Тутъ есть одинъ баринъ, и цѣны имъ не знаетъ!..

Распространяясь въ похвалахъ своимъ рысакамъ, Юринъ увелъ гостя. Домъ и службы представляли необыкновенное соединеніе дѣятельности и бездѣйствія. Перебудивъ кучеровъ, Юринъ показалъ Шатровскому въ подробности всѣхъ своихъ лошадей и экипажи. Старинныя кареты, которыя предполагалось промѣнять, и новые купленные дормезы и фаэтоны выкатывали изъ-подъ навѣса, и немногіе остались безъ того, чтобъ Василій Ивановичъ не влѣзъ въ нихъ, для пробы рессоръ и подушекъ. Налюбовавшись, всѣ отправились на другую сторону пруда, въ деревню, къ качелямъ, около которыхъ собралось довольно народа. Юринъ строжайше запретилъ идти на работы.

Шатровскій провелъ время очень пріятно; Юринъ не отпустилъ его до вечера. Прощаясь, молодые люди выразили желаніе видѣться какъ можно чаще, и Шатровскій звалъ Юрина къ себѣ на дняхъ, обѣдать.

Его проводили съ фонарями на другой берегъ пруда, а дорогой кучеръ его не могъ не выразить похвалы гостепріимному барину, который «отличный баринъ — и все тутъ; а

если у иныхъ крестьянъ нѣтъ ни кола, ни двора, такъ сами виноваты: зачѣмъ лѣнятся, да и Господь Богъ хлѣба не даетъ»...

Анна Дмитріевна и Петръ Ивановичъ Домниковъ у исписаннаго мѣломъ стола напрасно дожидались Шатровскаго весь день. Неизвѣстно, чьи ожиданія были нетерпѣливѣе.

V.

Шатровскій былъ нѣсколько дней озабоченъ и не въ духѣ. Послѣ дня, такъ пріятно проведеннаго у Юрина, у него поселилась мысль оказать ему такое же гостепріимство, такъ же блеснуть богатствомъ и умѣньемъ жить. Разобравъ хладнокровнѣе, онъ нашелъ, съ величайшей досадой, конечно, что блеснуть ему никакъ не удастся по очень простой причинѣ: Юринъ былъ впятеро богаче его. Шатровскій ломалъ голову.

Являясь къ сестрѣ, онъ разсказывалъ ей о знакомствѣ. Анна Дмитріевна была чрезвычайно довольна, разспрашивала всѣ подробности съ тактомъ женщины, которой нѣтъ дѣла ни до чего неизящнаго, отклоняя все что могло бросить тѣнь на Юрина. Наконецъ, она внимательно выслушала разсказъ о заботахъ брата, какъ принять такого гостя.

— Удивляюсь тебѣ, слазала она, съ величавымъ спокойствіемъ, которымъ всегда были полны всѣ ея движенія среди обстоятельствъ, сколько нибудь запутанныхъ.— Я совершенно тебя понимаю, что не хочется показаться ниже его; но ты забылъ, что есть эта простая изящность хорошаго тона, есть что-то неуловимое, но недоступное...

— Знаю, сказалъ нетерпѣливо Шатровскій:—но чѣмъ же я выражу это неуловимое?

— Ты затрудняешься? спросила съ улыбкой Анна Дмитріевна:—позови меня.

Шатровскій былъ непріятно удивленъ; но, увлеченная своей идеей, Анна Дмитріевна этого не замѣтила.

— Позови меня, повторила она.—Женщина олицетворяетъ семейство. Что-жъ можетъ болѣе поразить молодого человѣка, привыкшаго къ удовольствіямъ свѣта, какъ не серьезное и спокойное впечатлѣніе семейства? Въ немъ идеалъ изящнаго и залогъ счастья... Все кажется прекраснымъ тамъ, гдѣ есть женщина.

Шатровскій сомнѣвался въ силѣ этого впечатлѣнія на Юрина, и безъ всякаго удовольствія видѣлъ, что нецеремонная пирушка превращалась въ патріархальный обѣдъ; но на доводы Анны Дмитріевны возражать было невозможно. Она развивала свою идею такъ краснорѣчиво, наконецъ прямо объявила, что хочетъ встрѣтиться съ Юринымъ, и Шатровскій былъ принужденъ уступить.

— Вспомни, что этимъ ты можешь составить счастье своей племянницы, заключила Анна Дмитріевна.

Шатровскій былъ одаренъ способностью убѣждаться, когда ему говорили много, потому что у него недоставало ни терпѣнья, ни охоты долго возражать. Къ тому же, онъ усвоилъ уже себѣ всѣ истинно женственныя понятія Анны Дмитріевны, и разсуждалъ, какъ опытный глава семейства, что всякая молодая дѣвушка будетъ очень глупа, если не постарается найти себѣ выгоднаго жениха. Сообразивъ это, онъ обрадовался, что можетъ все кончить скорѣе (съ недавняго времени онъ принялъ за правило, что все то хорошо, что скоро кончено), и пригласилъ Николая Петровича къ себѣ обѣдать со всѣмъ семействомъ.

— Не забудь ради Бога интересную особу, сказала Анна Дмитріевна, напоминая брату о Настасьѣ Петровнѣ.—Ей, можетъ быть, вздумается на этотъ разъ не причислять себя къ семейству: пригласи ее особенно, если не хочешь, чтобъ пострадала я.

— Отъ кого?

— Во-первыхъ, отъ ея собственныхъ ужимокъ, во-вторыхъ, отъ Николая Петровича: онъ ея вѣчный защитникъ.

— Не безпокойся, не забуду.

— А въ самомъ дѣлѣ, Alexis, какъ далеко зашла ваша романическая исторія? Она вздыхаетъ—я это вижу, а ты?

— Э! полно, душа моя. Я удивляюсь самъ, какъ могъ сдѣлать такое впечатлѣніе.

— Разскажи подробно, возьми меня въ секретъ.

— Долго разсказывать. Лучше пойду кончить свой преферансъ съ Домниковымъ.

Старичекъ почти жилъ у Николая Петровича. Онъ являлся съ утра и дожидался Шатровскаго; дождавшись, начиналъ бродить кругомъ него, ловя минуты, чтобъ напомнить о преферансѣ; а когда Шатровскій соглашался играть, восторгамъ маленькаго старичка не было предѣловъ. Домниковъ расточалъ передъ Шатровскимъ всю свою любезность, всю внимательность, доходившую до попеченій почти родительскихъ: неудобное кресло, сквозной вѣтеръ, солнечный лучъ изъ подъ сторы могли лишить Шатровскаго охоты играть. Ничто не ускользало отъ за-

боты Петра Ивановича; онъ самъ придвигалъ и убиралъ, даже чистилъ столъ «послѣ битвы», какъ онъ не переставалъ называть его, переименовывая попеременно то въ Аустерлицъ, то въ Ватерлоо; онъ самъ точилъ мѣлки, которые безпрестанно притуплялись отъ тысячей, записываемыхъ Шатровскимъ. Старикъ не унывалъ; правда, онъ расплатился со вздохомъ, потому что, сверхъ ожиданія, пришлось платить много, но это только придало ему энергію въ слѣдующую партію, на которую онъ умолилъ Шатровскаго прибавить игру. Его тревожили только ясные вечера, вызывающіе въ садъ, и полуденный жаръ, въ который карты не держатся въ рукахъ, но и тутъ онъ увѣрялъ, что жаръ менѣе нестерпимъ, когда сидишь на одномъ мѣстѣ, что движеніе послѣ обѣда вредитъ пищеваренію, а сонъ подвергаетъ апоплексическимъ ударамъ. Истинное наслажденіе доставилъ ему однажды проливной дождь, который перепортилъ всѣ дорожки.

— Милліоны льются! повторялъ онъ, между тѣмъ какъ дождь стучалъ въ окна, а у Николая Петровича замирало сердце о сѣнокосѣ.

Игра продолжалась постоянно уже нѣсколько дней, потому что Шатровскій не могъ жить дома отъ бездѣлья. Онъ усаживался за свой преферансъ, сначала находя удовольствіе въ покоѣ, потомъ, привыкнувъ къ нему, какъ къ дѣльному занятію и, наконецъ, потому, что маленькая игра начала волновать его такъ же сильно, какъ волновала бы большая, если еще не сильнѣе. Шатровскій никогда не имѣлъ мужества, ни благоразумія сознаться, что онъ игрокъ; онъ оправдывался передъ собою тѣмъ, что игралъ рѣдко, какъ будто страсть заключается въ дѣйствіи а не въ ощущеніи. Игра съ Домниковымъ доставляла ему счастье, увлеченіе, котораго онъ почти не могъ ожидать среди своей апатіи; незанятый ничѣмъ, его умъ находилъ работу въ соображеніяхъ преферанса; сердце, которое ничѣмъ не тревожилось, живо переходило отъ трепета къ радости при перемѣнахъ счастья; воображеніе оживлялось и дѣлалось игривѣе; глазамъ и слуху былъ какъ-то пріятенъ видъ и звонъ новенькой мелкой монеты—словомъ, въ игрѣ была жизнь, которой Шатровскій уже не находилъ ни въ себѣ, ни вокругъ себя... Онъ, конечно, не разбиралъ и этихъ новыхъ ощущеній, какъ не разбиралъ ни одной изъ своихъ мыслей, ни одного своего поступка; онъ жилъ какъ жилось, машинально, видя, что это, кажется не безпокоитъ другихъ, и чувствуя, что ему самому недурно.

Въ полусонномъ состояніи обыкновенно являются фантазіи и, какъ слѣдуетъ, большею частью лишенныя здраваго смысла.

— Пріѣзжайте ко мнѣ обѣдать завтра, сказалъ онъ Домникову, тасуя карты.—У меня будутъ свои, Леонидъ Васильичъ... Да привезите съ собой Карзанова. Что онъ ко мнѣ глазъ не кажетъ; вѣдь мы знакомы?

Возвратясь вечеромъ къ Карзанову, у котораго жилъ съ тѣхъ поръ, какъ продалъ свою усадьбу, Домниковъ былъ веселъ и какъ будто нѣсколько гордъ тѣмъ, что привезъ приглашеніе. Но это пріятное расположеніе духа, хотя и омраченное довольно значительнымъ проигрышемъ, вдругъ притихло, когда онъ вошелъ въ маленькую гостиную.

Домъ Карзанова былъ невеликъ, старъ и удобенъ только потому, что о немъ заботилась мать молодого человѣка, которая жила здѣсь постоянно всякое лѣто. Одна догадливость женщины могла такъ уютно сдвинуть эту старую мебель, спрятать хозяйство такъ, чтобъ оно было подъ рукою и не наскучало, ежеминутно бросаясь въ глаза. Роскоши быть не могло, но не было досадно-замѣтныхъ стараній замѣнить ея чѣмъ нибудь похожимъ на роскошь. Но этотъ домъ былъ скученъ, можетъ быть, потому, что было скучно его хозяину.

Гостиная, куда вошелъ Домниковъ, была единственной пріемной съ тѣхъ поръ, какъ Карзановъ далъ ему убѣжище у себя и какъ его сундуки, клѣтки и ломберные столы заняли все, что оставалось свободнаго мѣста. Огня еще не подавали; двѣ вѣковыя липы заслоняли окна, и между ихъ вѣтками свѣтилась красная полоса зари.

Карзановъ сидѣлъ въ углу комнаты, не глядя въ окно, хотя сумерки, начинавшіе застилать садъ и проблески свѣта вдали придавали всему необыкновенно нѣжный и пріятный оттѣнокъ; постепенный переходъ цвѣтовъ въ безцвѣтность, въ которой сглаживались дальніе предметы и какъ-то странно начинали выдаваться очерки близкихъ, постепенное затиханіе всякаго движенія — все это могло бы доставить занятіе наблюдателю, даже немечтательному; но Карзановъ слишкомъ сильно задумался о себѣ самомъ. Онъ упрекнулъ себя, что тратитъ время; хозяйственныя заботы были невелики; онъ не могъ оправдать ими свое житье въ деревнѣ; онъ хорошо помнилъ каждую минуту, что мать его одна и скучаетъ безъ него. Онъ былъ принужденъ почти обмануть ее, оставшись въ деревнѣ, когда она просила его возвратиться, и этого онъ не могъ

простить себѣ. Что-жъ его удерживало? Повторивъ себѣ тысячу разъ, что виноватъ, Карзановъ не могъ не пожаловаться, что несчастенъ.

Онъ любилъ Вареньку такъ много, что, оставаясь одинъ въ темной и непривѣтливой комнатѣ, невольно думалъ, что любимое существо сдѣлало бы все свѣтлымъ и прекраснымъ вокругъ него. Въ этой мысли не было эгоизма: желая счастья для себя, молодой человѣкъ былъ увѣренъ, что доставитъ счастье и той, которую любилъ, и тѣмъ тяжелѣе было его странное положеніе. Участь его зависѣла отъ каприза, котораго ему не объясняли и запрещали требовать объясненія.

«Не испытаніе же это моему терпѣнію», повторялъ самъ себѣ Карзановъ, хотя впрочемъ, оно и въ духѣ этой дамы...« Надѣюсь, если только она согласится, мы не часто будемъ съ ней видѣться!»

Онъ невольно подумалъ, что всякій другой, на его мѣстѣ, имѣлъ бы болѣе самолюбія; что онъ выноситъ неучтивость, что это въ свѣтѣ считается важнѣе, нежели выносить жестокость, и досаднѣе всего: не могъ доискаться, для чего это сдѣлалось.

«Еслибъ я не стоилъ, или оскорбилъ моимъ предложеніемъ, мнѣ бы отказали сейчасъ... Ужъ не берегутъ ли меня въ ожиданіи лучшаго?»

Эта мысль поразила его— такъ она была внезапна и вѣрна. Она возмутила всѣ его чувства отъ самаго возвышеннаго до самаго мелкаго. Карзановъ не жилъ между женщинами, а потому и не видалъ вблизи ихъ хладнокровнаго и убійственнаго разсчета, ихъ холодной логики, прикрытой притворной чувствительностью, ихъ отвратительнаго корыстолюбія, которое почти всегда величаетъ себя самоотверженіемъ, и только въ крайнихъ случаяхъ, гдѣ уже невозможно оправданіе, соглашается сознаться, что оно — слабость нѣжнаго, избалованнаго созданія, или жажда жизни, необходимой для существа сильно развитаго. Карзановъ зналъ свою мать—исключеніе изъ женщинъ, кроткую и мужественную душу, которая дѣлилась со всѣми своими радостями и заставляла каждаго дѣлиться съ собою горемъ; эта женщина не давала понятія о другихъ. Вліяніе ихъ огромно, но надо испытать его, чтобъ понимать сразу эти мелочные капризы, эти тонкія уловки, эти вѣчно окольныя дороги, которыя вѣчно доведутъ до цѣли; надо проникнуться ихъ духомъ, усвоить себѣ вполнѣ ихъ образъ мыслей, чтобъ постичь важность значенія пустяковъ, чтобъ у самаго источника чувства разувѣриться въ искренности чувства, чтобъ дойти до убѣжденія, что не только можно, но должно благоразумно и похвально держать терпѣливую любовь въ запасѣ, на случай неудачи въ погонѣ за богатствомъ...

Внезапная догадка взволновала Карзанова до негодованія. Онъ сталъ отыскивать, на комъ могли бы остановиться разсчеты Анны Дмитріевны? чьи свѣтскія достоинства станутъ въ параллель съ его достоинствомъ, а сотни душъ съ его скромнымъ состояніемъ...

Вошелъ Домниковъ.

— Гдѣ вы, батюшка Михайло Семенычъ? и не видно васъ въ потемкахъ Что подѣлываете?

— Ничего, отвѣчалъ Карзановъ, котораго будто разбудили.—А вы?

— Да что, не везетъ что-то. Я прикажу, чтобъ насъ просвѣтили... Не везетъ-съ, проигрался опять.

— Неужели вы все играете?

— Что-жъ больше дѣлать? робко возразилъ старичокъ, испугавшись этого вопроса, какъ выговора.

— И все съ Шатровскимъ?

— Съ нимъ. Очень пріятно играетъ, снисходительно и мало горячится. Но этакое счастье!.. Мнѣ эта четверть мѣсяца несчастлива.

— Должно быть, и та четверть была несчастлива, сказалъ Карзановъ, засмѣявшись невольно.

— Должно быть, отвѣчалъ старичокъ, ободренный его смѣхомъ.—Вотъ другая недѣля, какъ мы играемъ. Вы спросите, изъ любопытства, сколько я... даже жаль стало.

— Въ самомъ дѣлѣ, сколько ужъ вы проиграли?

— Да больше ста рублей, сказалъ нерѣшительно Домниковъ.

— Ну и довольно; не играйте больше, если несчастье.

— Удержаться мудрено-съ; въ карманѣ наличныя; думаешь, какъ себя не потѣшить...

Онъ тяжело вздохнулъ и продолжалъ, помолчавъ:

— Я думаю рѣшительно поступить. Поблагодарить васъ за хлѣбъ за соль и уѣхать въ городъ. Найму тамъ квартиру...

— А я именно хотѣлъ просить васъ не уѣзжать, сказалъ Карзановъ, тронутый печалью старика. — Если вамъ не скучно со мной, не оставляйте меня: вы меня очень

много обяжете. Вообразите, каково мнѣ будетъ одному? Въ городъ мы поѣдемъ вмѣстѣ; матушка похлопочетъ вмѣстѣ съ нами о вашей квартирѣ.

— Вѣдь вотъ добрѣйшая душа! вскричалъ Домниковъ, бросаясь обнимать его. — До слезъ, можно сказать... Вы думаете, я не понимаю... На что я вамъ нуженъ? А вотъ, деликатность, что старикъ, одинъ... Я же у васъ тутъ весь домъ загромоздилъ, а вы...

— Какъ можно придумывать такія вещи, Петръ Иванычъ! прервалъ Карзановъ. — Я просто прошу васъ для себя, доставьте мнѣ удовольствіе, поживемте вмѣстѣ еще хоть немножко.

— Батюшка! вскричалъ старикъ: — да мнѣ совѣстно сказать, развѣ вы меня видите? Какую я жизнь веду? избаловался, бьюсь въ карты... Заря вгонитъ, заря выгонитъ.

Карзановъ расхохотался.

— Ну, вы остепенитесь, мой милый Петръ Иванычъ; то-то вамъ и нужно исправиться передъ городской жизнью. Мы съ вами посидимъ дома, да почитаемъ «полководцевъ».

— Нѣтъ, постойте, прервалъ развеселившійся старикъ: — мы еще завтра съ вами вмѣстѣ пируемъ.

— Гдѣ?

— У Алексѣя Дмитрича. Онъ звалъ обѣдать.

— Шатровскій? Я не знакомъ съ нимъ.

— Онъ поручилъ васъ звать.

— Онъ могъ бы пріѣхать самъ, возразилъ Карзановъ, вспыхнувъ.

— Безъ церемоній, знаете, по-деревенски:—у него будетъ только сестрица съ семействомъ, Леонидъ Васильевичъ Юринъ...

— Юринъ? повторилъ Карзановъ.

— Да. Они очень сошлись. Алексѣй Дмитричъ ѣздилъ къ нему и цѣлый день не могъ вырваться. Угощалъ его Леонидъ Васильичъ такъ, какъ, говорятъ, рѣдко можно и въ столицѣ. Домъ безподобный — это я самъ знаю. И много очень у нихъ было забавнаго...

Домниковъ могъ бы разсказывать цѣлый часъ, но Карзановъ не слушалъ его. Онъ ходилъ по комнатѣ, сколько позволяла тѣснота, и останавливался только, заглядывая въ окна. Наконецъ, вслушавшись въ разсказъ о деревянныхъ трофеяхъ, онъ спросилъ:

— Это въ комнатѣ Анны Дмитріевны?

— Нѣтъ-съ, это у Леонида Васильича; онъ хочетъ...

— Леонидъ Васильичъ часто бываетъ у Анны Дмитріевны?

— О, нѣтъ-съ. Вѣдь вы знаете, когда Николай Петровичъ заупрямится...

— Теперь будетъ, если въ дѣло замѣшался братецъ... Поѣзжайте непремѣнно къ Шатровскому, Петръ Иванычъ: вы мнѣ скажете, весело ли будетъ у него.

— А вы сами?

— Нѣтъ. Ужъ поздно, не пора ли намъ на покой?

— Мнѣ-то особенно, отвѣчалъ старикъ, поднимаясь съ кресла:—вы — другое дѣло, молодой человѣкъ... Да еще, поклонъ вамъ надо передать.

— Отъ кого?

— Отъ Варвары Николаевны. Плутовка, выбѣжала въ залу провожать и, будто по секрету, тихонько: «Петръ Иванычъ, говоритъ, скажите ему отъ меня: «добрый вечеръ!» Я будто не понялъ. «Кому, говорю, прикажете?» «Вашему хозяину...» Да тутъ маменька вошла, а она, знаете, не любитъ, чтобъ фамильярно, такъ и не успѣлъ я больше спросить.

— Довольно и этого, сказалъ Карзановъ.—Покойной ночи.

— Удивляюсь я иногда, Михайло Семенычъ, нынѣшней молодежи, и вотъ и вамъ, въ томъ числѣ: какъ вы до сихъ поръ не влюбились въ такую красавицу?

— А вотъ мы объ этомъ подумаемъ, отвѣчалъ Карзановъ, уходя.

— Какъ уснемъ покрѣпче, сказалъ ему вслѣдъ Домниковъ.

Карзанову вовсе не спалось.

VI.

Въ это же утро Настасья Петровна сидѣла у окна своей комнаты и читала.

Если говорятъ, что комната выражаетъ характеръ того, кто живетъ въ ней, то было бы трудно опредѣлить характеръ Настасьи Петровны. Во всемъ былъ самый строгій порядокъ; неизвѣстно, происходилъ ли онъ отъ вкуса хозяйки, или тѣсноты помѣщенія. На виду не было ни лишней книги, ни рисунка, ни цвѣтовъ на окнѣ; правда, цвѣты закрыли-бъ это единственное окно, изъ котораго съ третьяго этажа видны были только поля. Мебель была самая необходимая. Не было и слѣда картинъ, или красивыхъ бездѣлицъ, всегда украшающихъ комнату женщинъ. Эта комната была удобна, какъ келья, или нумеръ гостинницы.

Но Настасья Петровна любила эту темную и уединенную комнату. Большая часть женщинъ ея лѣтъ уединяется для того, чтобъ

размышлять и плакать на свободѣ; Настасья Петровна не дѣлала этого: она знала, что эти размышленія часто вызываютъ ропотъ, обвиненія другихъ, нравственное безсиліе, покорность, похожую на ожесточеніе. Она не хотѣла дѣлаться хуже, платить своимъ внутреннимъ достоинствомъ за пріятныя минуты свободы; она не хотѣла терять этихъ минутъ въ печали о несбывшемся, о невозможномъ; она вспоминала только то, что было лучшаго въ прошедшемъ, вспоминала такъ полно и живо, что переживала его опять, забывалась въ немъ. Переходъ къ дѣйствительности былъ рѣзокъ, за то и скоръ; успѣвъ успокоить и обновить свою душу, Настасья Петровна принимала свою дѣйствительность благоразумно и кротко. Уединеніе для другихъ — часъ жалобъ и злости, для нея было часомъ самозабвенія, молодости... Оставаясь одна, она позволяла себѣ быть молодою, и въ самомъ дѣлѣ становилась молода; она оставляла работу, смотрѣла въ поле, занималась бездѣлицами, разбирала письма, тетради, которыя доставала изъ дальнихъ ящиковъ своего комода, заглядывала въ давно перечитанныя книги, теряла время какъ будто его было еще много передъ нею... Въ эти минуты на лицѣ ея выражалось дѣтское счастье.

Предъ другими она такъ хорошо помнила свой возрастъ, держалась такъ серьезно и ровно, съ такой добротой и достоинствомъ, что только одна непріязнь могла найти осудить въ ней что нибудь. Не всякій, кто зналъ и любилъ ее, былъ въ состояніи понять, сколько было нужно кротости, мужества и ума, чтобъ такъ держаться. Всего лучше было то, что она сама нисколько не цѣнила своего обращенія, находя его только совершенно натуральнымъ; она такъ мало цѣнила сама себя, что ужъ не считала себя въ правѣ имѣть таланты для постороннихъ: она не только прощала Аннѣ Дмитріевнѣ, которая колко смѣялась надъ нею, но находила, что Анна Дмитріевна права, и что въ самомъ дѣлѣ ей, съ сѣдыми волосами, забавно, запершись въ своей комнатѣ, напѣвать серенады изъ «Barbière»... Настасья Петровна позволяла себѣ пѣть, оставаясь одна...

Въ это утро книга заставила ее забыть дѣло: простенькое черное платье, очевидно, принесенное для поправки, лежало на креслѣ вмѣстѣ съ шелкомъ, иголками и другими принадлежностями работы.

— Можно войти, тетя Настя? спросила за дверью Варенька.

— Милости просимъ, отвѣчала она, весело бросая книгу и вставая на встрѣчу Варе励кѣ.—Ахъ, какъ вы хороши, какъ нарядны!

Варенька вошла, поправляя прелестное барежевое платье съ пестрымъ узоромъ, сшитое ловко и по модѣ; въ дорогомъ и изысканномъ нарядѣ ничто не было забыто, ни изящныя вышивки, ни тонкія кружева, такъ что, взглядывая на себя, хорошенькая дѣвушка краснѣла отъ удовольствія.

— Ты пришла показаться? сказала Настасья Петровна. — Чудо какъ мило! Ты и причесана иначе, такъ ты кажешься старше, но тѣмъ лучше. Весело быть хорошенькой?

— Ахъ, тетя, когда я подумаю, что я въ первый разъ такъ нарядна... Мнѣ почти стыдно, что я такъ рада!

— Полно, душа моя, какъ можно стыдиться такого натуральнаго чувства? Позволь же и мнѣ подарить что нибудь къ твоему наряду.

Настасья Петровна открыла маленькій ящикъ, стоявшій на комодѣ.

— Вотъ, серьги; очень старинныя и ничего, кромѣ золота. Посмотри, какъ къ тебѣ пойдетъ.

— Что ты дѣлаешь, тетя? вскричала Варенька:—твои прекрасныя серьги послѣднее, что у тебя есть... ты берегла ихъ на память...

— А развѣ ты не хочешь носить ихъ на память отъ меня? возразила Настасья Петровна, улыбаясь и держа открытую коробочку.—Возьми, если меня любишь.

— Мнѣ тяжело это, тетя Настя!

— Кто-жъ мнѣ милѣе тебя, дитя мое?.. Давай свои ушки. Сядь здѣсь и поговоримъ, пока вы еще не ѣдете.

— Отчего ты не ѣдешь? Дядя звалъ тебя?

— Вотъ и сегодня еще прислалъ записку, въ которой опять зоветъ, но мнѣ лѣнь. Что мнѣ тамъ дѣлать?

— Еслибъ ты знала, какъ мнѣ не хочется ѣхать, сказала Варенька.—Сказать ли тебѣ правду? я не люблю моего дядю Шатровскаго.

— За что? спросила, смѣясь, Настасья Петровна.

— Въ немъ что-то холодное, натянутое. Я привыкла, чтобъ со мной были искренны; а если человѣкъ говоритъ мнѣ сегодня одно, завтра другое: одно изъ двухъ должно быть неискренно, или онъ не чувствуетъ ничего изъ того, что говоритъ... Не понимаю, какъ могутъ быть такіе люди?

— Какое негодованіе!

— Вотъ и ты шутишь теперь, но это совсѣмъ другая шутка. Его шутки оскорбляютъ... И какое краснорѣчіе! когда я сравню его съ простымъ, живымъ разгово-

ромъ, въ которомъ столько образованности, ума и такъ мало претензій, съ снисходительнымъ разговоромъ, въ которомъ намъ охотно объясняютъ то, что намъ непонятно, гдѣ не щеголяютъ ничѣмъ, потому что хорошаго такъ много, что оно выказывается само собой...

— Знаю, знаю, куда вы клоните рѣчь, прервала, смѣясь, Настасья Петровна.—Кто это васъ выучилъ разбирать такъ тонко?

— Кто меня выучилъ? вскричала Варенька, бросаясь обнимать ее: — о, милая тетя Настя!.. Скажи правду: и тебѣ не нравится Шатровскій?

— Теперь скажу, потому что ты призналась первая, а то бы я могла думать, что я тебя настроила. Да, онъ мнѣ не нравится.

— А знаешь ли, что мнѣ показалось? Что онъ въ тебя влюбился, что даже и ты... Прости меня, я съ ума сошла!

— Ты во всемъ ошиблась, мой другъ. Шатровскій не можетъ меня любить, потому что я не могу внушить любви, и я не чувствую ее къ нему, потому что ни къ кому не могу ее чувствовать... Грустно говорить это, потому что онъ позволилъ себѣ шутить...

— Надъ тобой? Какъ онъ смѣетъ? вскричала, вспыхнувъ, Варенька.

— Оставимъ его въ покоѣ, душа моя. Ты сегодня такъ хороша, постарайся, чтобъ тебѣ было весело.

— Я думаю... Ахъ, еслибъ было можно остаться, вотъ такъ нарядной, дома, съ тобой; пришелъ бы еще одинъ человѣкъ, мы ушли бы въ садъ...

— Безъ меня, конечно?

Варенька залилась слезами.

— Варенька, Варенька, если тебя позовутъ... дитя мое!

— Все равно! говорила бѣдная дѣвушка.— Богъ знаетъ, что я его люблю, я не хочу скрывать этого. Если меня думаютъ утѣшить, позабавить нарядньмъ платьемъ — это не утѣшеніе, эти забавы оскорбляютъ...

— Для чего такъ понимать это, моя милая? это нехорошо! Въ твоемъ чувствѣ могутъ ошибаться; а если и огорчаютъ тебя, то безъ намѣренія.

— Ты такъ думаешь? спросила Варенька, взглянувъ ей въ лицо. — Да, ты не притворяешься, ты точно такъ думаешь! но ты ангелъ доброты, а я, къ несчастью, на тебя не похожа. Въ моей любви не могутъ сомнѣваться, потому что я сама призналась въ ней безъ страха и безъ стыда: онъ стоитъ, чтобъ его любили, и я готова умереть, любя его. Мы двѣ недѣли не видимся, мнѣ не напоминаютъ о немъ, не вызываютъ на разговоръ, какъ будто ничего не было. Но я знаю, что было; моя участь рѣшена: мое сердце не перемѣнится—я сказала это. Я молчу, но чѣмъ я спокойнѣе, тѣмъ тверже — увѣряю тебя.

— На что-жъ ты рѣшилась?

— На все.

— Это не рѣшеніе. Ты еще не знаешь, что можетъ случиться. Тебѣ еще не сказали рѣшительно, чтобъ ты не думала о Карзановѣ.

— Запретить думать нельзя, возразила Варенька спокойно и смѣло.

— Да; но вы ужъ не видитесь, а скоро онъ и совсѣмъ уѣдетъ.

— Неужели ты думаешь, что онъ меня забудетъ? вскричала дѣвушка, оживляясь и съ радостной гордостью.—Забыть, какъ я его люблю, развѣ это возможно? Нѣтъ, я никогда не смѣла оскорбить его такимъ сомнѣніемъ! Ты насъ не знаешь!

— Вѣрю, моя милая, отвѣчала Настасья Петровна: — но... какъ мнѣ жаль тебя мучить! Ты не отъ себя зависишь; если представится другой женихъ...

— Слушай, тетя Настя. Мнѣ тоже жаль тебя мучить... Въ одинъ вечеръ, когда тебѣ было очень тяжело, когда тебя огорчили до слезъ и некому было тебя утѣшить, кромѣ меня, безпонятной дѣвочки, потому что тогда я еще не любила, ты разсказала мнѣ...

— Довольно, Варенька... прервала Настасія Петровна, поблѣднѣвъ.

— Нѣтъ, выслушай. Ты была такъ несчастна, что не помнила, что и кому говорила; ты была не въ состояніи рзбирать, какъ много значили твои слова. Я никогда не напоминала ихъ тебѣ, но я ихъ всѣ помню. Вспомни сама: ты была любима человѣкомъ, которому принадлежать не могла; ты любила его и не вышла замужъ за другого, потому что считала себя обязанной... Прости меня, ради Бога! вскричала Варенька, бросаясь цѣловать руки тетки, которая не успѣла отнять ихъ.

— Полно, мое милое дитя, сказала Настасья Петровна, обнимая ее.—То, что было со мной, прошло уже такъ давно... Прощай, мы заговорились, а тебѣ пора ѣхать. Будь весела, а тамъ, что Богъ дастъ!..

Проводивъ Вареньку, Настасья Петровна задумалась такъ сильно, что все ея благоразуміе и доброта сердца не могли прогнать этого раздумья.

По странному свойству своей натуры, большая часть людей не можетъ не поблагода-

рить судьбу за счастье, которое она посылаетъ другимъ, не упрекнувъ ее въ скупости къ нимъ самимъ. Необыкновенно проворно и съ необыкновенной точностью они умѣютъ сосчитать все, чего имъ недостаетъ; съ изумительнымъ знаніемъ сердца человѣческаго соображаютъ, сколько лишняго и неумѣстнаго счастья послано ихъ ближнему; съ трогательной скромностью говорятъ, какъ бы они сами оцѣнили это благо, какъ восторженно они были бы благодарны! Особенно странно, то что эти люди почти всегда славятся своей любовью къ ближнему...

Настатья Петровна была не изъ числа этихъ людей. За другихъ, за себя, за счастье, въ огромномъ размѣрѣ посланное мимо нея — чужимъ, и за удовольствіе, которое доставлялъ глазамъ ея лучъ солнца, граціозно мелькнувшій въ окно, она была вѣчно и равно благодарна. Молодость, красота, веселость Вареньки не возбудили въ ней зависти, но слова ея заставили ее оглянуться на все дорогое прошедшее, прошедшее, вѣчно казавшееся ей живымъ... Чѣмъ кончилась жизнь? Ей попалась на глаза пригласительная записка Шатровскаго. «Неужели этой обидной шуткой?..» Настасья Петровна наконецъ поняла ее.

Она поняла Шатровскаго: если и Варенькѣ показалось, что тетка раздѣляетъ его чувство, онъ думаетъ то же самое. Серьезно остановить его нельзя; онъ найдетъ новую шутку для оправданія и смѣшною останется опять она. Ее оскорбляютъ, и противъ оскорбленія нѣтъ защиты...

Она пощадила Шатровскаго въ первую минуту; она благородно ошиблась, предполагая его благороднѣе, — и чѣмъ ей отплачивали?.. Она ужаснулась того, что ей въ голову входили подозрѣнія: злость другихъ возбуждала злость и въ ней самой; съ отвращеніемъ оттолкнула она мысль, что, можетъ быть, эта комедія придумана Анной Дмитріевной и служитъ для ея забавы... Ей представилось все: возрастъ, въ которомъ чувство называется ребячествомъ, а достоинство женщины — претензіями; беззащитность, забавная для свѣта; холодность окружающихъ, ихъ непріязнь, ихъ радость при возможности насмѣшки; семейныя отношенія, обязанности—все, что съ вида кажется такъ мелко, что не стоитъ вниманія, а на дѣлѣ стоитъ жизни; пересуды и толки постороннихъ, противъ которыхъ, говорятъ, нужно только самосознаніе и презрѣніе...

Въ эту минуту она созналась, что у нея недостаетъ мужества...

VII.

Въ числѣ совѣтовъ, данныхъ брату о приготовленіяхъ его праздника, Анна Дмитріевна нѣсколько разъ повторила совѣтъ, перешедшій уже въ приказаніе: не предупреждать Николая Петровича, что у Шатровскаго будетъ Юринъ; въ противномъ случаѣ, еслибъ супругъ узналъ, какая встрѣча ему готовится, Анна Дмитріевна считала его способнымъ выйти изъ экипажа на половинѣ дороги. Потому Николай Петровичъ былъ удивленъ, увидя щегольскіе наряды жены и дочери, но промолчалъ по привычкѣ. Изъ опасенія, чтобъ онъ, или Варенька, также ничего не знавшая, не догадались, Анна Дмитріевна не сдѣлала никакого замѣчанія о простомъ пальто, въ которое облекся Николай Петровичъ ради чрезмѣрнаго жара. Онъ удивился еще и тому, что изъ всѣхъ дѣтей Анна Дмитріевна брала только одного старшаго мальчика, тоже тщательно завитого, и замѣтилъ, что кажется, Алексѣй Дмитричъ звалъ всѣхъ.

— Они наскучатъ въ каретѣ; тебѣ будетъ безпокойно, mon ami, отвѣчала Анна Дмитріевна чрезвычайно ласково.

— Можно бы еще заложить крытыя дрожки.

У Анны Дмитріевны была готова самая краснорѣчивая рѣчь объ этихъ звонкихъ дрожкахъ съ крыльями, и о томъ, что поѣздъ будетъ совершенно похожъ на свадебный купеческій, но она оставила эту рѣчь до другого времени и отвѣчала:

— Люди и лошади будутъ нужны, другъ мой: ты вчера приказывалъ возить сѣно; оно испортится, если еще будетъ дождь.

Противъ такой покорной предупредительности было нечего сказать и Николай Петровичъ, еще болѣе удивленный, влѣзъ въ карету. Удивленіе его еще возрасло, когда, влѣзая, онъ оборвалъ шитую оборку Анны Дмитріевны, а она, расхохотавшись самымъ милымъ образомъ, не выходя изъ кареты, приказала подать себѣ иголку и сама зашила платье, въ наказаніе только заставивъ мужа держать полотнище, пока она шила. Путешествіе, начатое такъ пріятно, продолжалось еще пріятнѣе. Анна Дмитріевна была такъ тонко предусмотрительна въ своихъ угожденіяхъ, что сдѣлала выговоръ маленькому сыну, когда онъ ошибся, называя разные сорты хлѣба, мимо которыхъ проѣзжали.

— Стыдно не знать того, что полезно, сказала она. —Попроси папу, чтобъ онъ бралъ тебя иногда съ собою въ поле—и научишься.

Во всю дорогу Анна Дмитріевна выразила только одно нетерпѣніе: скорѣе доѣхать. Ей хотѣлось пріѣхать прежде Юрина, такъ, чтобъ уже успѣли отложить карету и Николаю Петровичу было бы невозможно уѣхать тотчасъ, еслибъ ему и вздумалось.

Шатровскій былъ встревоженъ, какъ хозяинъ, встрѣчая зятя и сестру: что-то не удавалось въ его обѣдѣ; и хотя еще наканунѣ, тайно отъ Николая Петровича, былъ отправленъ къ Шатровскому его поваръ, но этотъ поваръ не могъ вполнѣ постичь идей, которыя старался внушить ему Шатровскій. Анна Дмитріевна взялась объяснить ихъ и даже сама отправилась въ кухню, несмотря на то, что Николай Петровичъ успокоивалъ зятя, что «ничего; изъ чего такъ безпокоиться?...»

Въ самомъ дѣлѣ, тревога Шатровскаго казалась непонятною для человѣка, который думалъ провести день въ семьѣ, съ той разницей, что провелъ бы его на другомъ мѣстѣ. Но Николай Петровичъ убѣдился, что зять думаетъ иначе потому, что его оставили одного въ гостиной, гдѣ, конечно, онъ могъ бы заняться разсматриваніемъ блѣдныхъ гравюръ въ деревянныхъ рамкахъ, но съ удивленіемъ замѣтилъ, что онѣ всѣ сняты, и что на диванѣ лежатъ вышитыя подушки изъ его собственнаго кабинета. Какъ и зачѣмъ явились онѣ здѣсь—Николаю Петровичу было рѣшительно непостижимо. Варенька ушла на балконъ, Митя давно убѣжалъ подъ гору въ садъ. Николай Петровичъ бродилъ по комнатамъ до тѣхъ поръ, пока возвратилась его супруга. Она сѣла на диванъ съ ловкой развязностью хозяйки, окинувъ пустыя кресла такимъ взглядомъ, какъ будто на нихъ помѣщалось самое любезное и избранное общество. Мысленная бесѣда, которую Анна Дмитріевна вела съ этимъ обществомъ, мѣшала ей заниматься Николаемъ Петровичемъ. Пришелъ Шатровскій. Время шло долго, натянуто и церемонно. Конечно, членамъ семейства, давно и коротко знающимъ другъ друга, нечего трудиться взаимно занимать другъ друга; но именно эта короткость и вызываетъ непринужденную шутку, живой разговоръ. Шатровскій не заботился никого узнавать коротко, и понемногу такъ пріучилъ себя къ поверхностнымъ взглядамъ, что всѣ окружающіе его люди имѣли для него значеніе тѣней: онъ видѣлъ ихъ, обращался съ ними, но не вникалъ, что имъ нужно, что можетъ ихъ тронуть или занять, потому онъ затруднялся вести разговоръ съ людьми, которые, какъ Николай Петровичъ, не любили разсуждать, отъ которыхъ нельзя было отдѣлываться, наговоривъ фразъ, съ которыми было необходимо непремѣнно что нибудь положительное. Они расхаживали по залѣ и гостиной; наконецъ, Шатровскій повелъ гостя на балконъ, надѣясь какъ нибудь оживиться на чистомъ воздухѣ.

Николай Петровичъ разсказалъ Шатровскому исторію селенія, которое виднѣлось вдали съ своей бѣлой церковью, исторію владѣльца этого селенія, слишкомъ долго ненавѣщавшаго своихъ владѣній, исторію лѣса, который исчезъ въ отсутствіи владѣльца, и заключилъ нравоученіемъ:

— Такъ-то вотъ сосѣдъ нашъ Юринъ; теперь заѣхалъ сюда, говорятъ,все украшаетъ, приводитъ въ порядокъ... Знаемъ мы эти порядки!... а тамъ укатитъ опять и только высылай ему оброки—глядишь, вмѣсто лѣсовъ и останутся одни пеньки. Не люблю я этихъ неосновательностей, батюшка Алексѣй Дмитричъ. Что нибудь одно: если ужъ захотѣлось купить—обрати все разомъ въ капиталъ, да и сори его, а не то, что понемногу разорять, вотъ такъ!

Онъ указалъ на дальнее селеніе.

— Курицы во дворахъ не осталось, не только чего другого. Развалины вѣдь только на картинахъ хороши. У Юрина, видите ли, домъ трехъэтажный, да что мнѣ въ немъ, когда я, покуда до него доѣду...

— Дяденька, къ вамъ гости! закричалъ Митя, выбѣгая изъ-за кустовъ.

— Кто это? спросилъ Николай Петровичъ, прикладывая руку къ глазамъ и стараясь разсмотрѣть щегольской фаэтонъ, который мчался въ гору.

Шатровскій исчезъ съ балкона; онъ поспѣшилъ сказать Аннѣ Дмитріевнѣ. Она позвала Вареньку.

— Поди въ комнату; ты загоришь, моя милая. Дай себя оправить. Voici du monde qui arrive. Наконецъ, ты увидишь что нибудь порядочное.

— Кто это, маменька?

— Леонидъ Юринъ.

— Такъ вы знали, что онъ будетъ!

Анна Дмитріевна сжала ее въ объятіяхъ, съ улыбкой, полной кокетства женщины, счастья преданнаго друга и умиленія матери... Только она умѣла соединить въ одно столько различныхъ выраженій.

Николай Петровичъ, между тѣмъ, успѣлъ разсмотрѣть двухъ сѣдоковъ фаэтона. Съ одного изъ нихъ развѣвались въ воздухѣ складки бѣлаго бурнуса на ослѣпительно

алой подкладкѣ, и ослѣпительно алый капишонъ съ толстыми кистями, играя съ зефирами, несовсѣмъ удобно задѣвалъ соломенную шляпу и плечи своего обладателя. Николай Петровичъ узналъ Юрина, когда фаэтонъ остановился у крыльца и молодой человѣкъ величаво сошелъ съ подножки. Его товарищъ доставилъ себѣ удовольствіе спрыгнуть, поддерживая локтями что-то въ родѣ мантильи изъ чернаго бархата, отчего, когда онъ сталъ и выпрямился, его длинная фигура была нѣсколько похожа на лампу подъ колпакомъ.

— Что-жъ онъ не сказалъ, что назвалъ ихъ къ себѣ? произнесъ Николай Петровичъ въ чрезвычайномъ неудовольствіи, сходя съ балкона.

— Кто это, другъ мой?

— Юринъ, матушка! Еслибъ я зналъ...

— Сдѣлайте милость, хоть не шумите въ постороннемъ домѣ. Ну, что-жъ, если и Юринъ... Да не кричите: вотъ они.

Шатровскій ввелъ обоихъ молодыхъ людей. При видѣ ихъ, Митя выразилъ изумленіе и даже Варенька едва удержалась отъ смѣха. Очевидно, гости употребили не мало времени на соображеніе своего туалета и, очевидно, были довольны имъ и собою. Костюмеръ, который шилъ на нихъ, превзошелъ себя: было рѣшительно невозможно придумать что нибудь короче, прорѣзать болѣе кармановъ, прицѣнить болѣе застежекъ, увеличить клѣтки матеріи и усилить яркость цвѣтовъ. Отъ гостей стало пестро въ комнатѣ. Какъ всегда, Василій Ивановичъ былъ копіею братца: у обоихъ на шеѣ висѣли лорнеты, у обоихъ въ петлицѣ было по розѣ, на обоихъ были оранжевыя перчатки... Но Василій Ивановичъ, вступая въ гостиную, съ ужасомъ замѣтилъ, что большой палецъ его правой руки, послѣ многихъ усилій, разорвалъ свои оковы и ладонь поразительно смотрѣла изъ-подъ лайки. Это неожиданное несчастье уничтожило его въ минуту представленія.

— Мнѣ очень пріятно, сказала съ очаровательной улыбкой Анна Дмитріевна, отвѣчая на поклонъ Юрина:—мнѣ очень пріятно видѣть васъ здѣсь прежде, нежели я увижу васъ у себя: мы встрѣтимся уже старыми знакомыми.

— Я желалъ... я надѣялся... говорилъ Юринъ расшаркиваясь:—dernière fois à cette совѣщаніе...

— Да! но я страдала, я не выходила изъ комнаты; я такъ сожалѣла, что это лишило моего мужа возможности пригласить васъ... Но теперь...

Она подала ему руку.

— Дочь моя.

— Mon cousin.

Пожавъ руку матери и пріятно теряясь, Юринъ счелъ приличнымъ протянуть руку и дочери. Василій Ивановичъ, потерявшись совсѣмъ и вмѣняя себѣ въ обязанность во всемъ слѣдовать братцу, поступилъ точно такъ же.

Если трудно изображать безсильную горесть, то едва ли не труднѣе описать безсильный гнѣвъ. Николай Петровичъ былъ разгнѣванъ такъ, какъ ему еще не случалось гнѣваться, но чувствовалъ себя побѣжденнымъ, стѣсненнымъ безвыходно. Онъ хотѣлъ уйти и оставилъ это намѣреніе, потому что надо-жъ было бы возвратиться; хотѣлъ уѣхать—но что это была бы за сцена? хотѣлъ сѣсть, чтобъ хотя этимъ выразить свое полное пренебреженіе, но въ ту минуту, какъ онъ рѣшался на этотъ поступокъ, Юринъ обратился къ нему съ самымъ развязнымъ поклономъ. Ободренный внимательностью аристократической дамы, восхищенный въ одну минуту красотой молодой дѣвушки, увѣренный въ безукоризненности своей жакетки, Юринъ сіялъ тѣмъ счастьемъ, которое мудрецы учатъ насъ искать въ насъ самихъ.

— Какъ ваше здоровье, почтеннѣйшій Николай Петровичъ? Давно я не имѣлъ удовольствія васъ видѣть...

Какъ назвать несчастное свойство ума человѣческаго, свойство не находить словъ, когда они нужны, способность говорить именно. то, чего не хочешь и чего не слѣдуетъ? Николай Петровичъ доказалъ, что обладаетъ этой способностью; онъ пошелъ дальше: позволилъ Юрину подать себѣ руку, и если не сказалъ привѣтствія, то не сказалъ и грубостей, которые вертѣлись у него на языкѣ... Правда, надъ нимъ носился взоръ Анны Дмитріевны.

— Извините моего мужа, сказала она громко, со всей дерзостью торжества:—старикъ, домосѣдъ, который, при всемъ желаніи, не можетъ превозмочь своей лѣни и подняться сдѣлать визитъ.

— Помилуйте! отвѣчалъ снисходительно Юринъ.—Я знаю въ Москвѣ многихъ аристократовъ, которые также позволяютъ себѣ не платить визитовъ; конечно, я этого не одобряю...

— Да... но занятія, обширность знакомства, прервала Анна Дмитріевна любезно, указывая ему на кресло, ближайшее къ дивану.

Напротивъ сидѣла Варенька.

— Mais toujours... возразилъ Юринъ, принимая позу, исполненную достоинства: — я вынесъ разъ, другой, и пересталъ ѣздить. Протекціи я не ищу, потому что не имѣю въ ней надобности...

— О, конечно! вскричала Анна Дмитріевна:—новое поколѣніе молодыхъ людей...

— Притомъ, я тутъ ничего не теряю, продолжалъ скромно Юринъ. — Два-три какіе нибудь дома замѣнить всегда легко, даже и не при моихъ связяхъ; а для развлеченій у меня и безъ того едва доставало времени.

— Я думаю, сказала Анна Дмитріевна:— и теперь вамъ должна казаться такъ бѣдна, пуста наша провинціальная жизнь.

— Признаюсь, отвѣчалъ Юринъ: — меня испугали здѣсь! Мнѣ случилось быть кое у кого (по дѣламъ, конечно; изъ удовольствія я бы не поѣхалъ), помилуйте, я вошелъ — полы скрипятъ, окна безъ драпировокъ; хозяева сначала куда-то попрятались, наконецъ являются: въ допотопныхъ фракахъ, дамы... ah, mille pardons!..

Изобразивъ жестомъ объемъ полноты дамы, которую описывалъ, Юринъ засмѣялся немного громко для человѣка высшаго круга, но такъ увлекательно, что Анна Дмитріевна невольно стала ему вторить.

— Ахъ, когда васъ узнаешь короче, monsieur Юринъ, сказала она, продолжая смѣяться:—то невольно замѣчаешь, что вы caustique... Я знаю, о комъ вы говорите. Варенька, mon enfant, ты знаешь... и какъ живутъ! Мы ужъ поневолѣ покорились, привыкли ихъ видѣть, но для пріѣзжаго, вотъ, напримѣръ, вы, братъ Alexis!

Шатровскій, который во все это время безмолвно стоялъ близь безмолвнаго Николая Петровича, подошелъ и бросился въ кресло подлѣ Юрина съ лѣнью и непринужденностью, нѣсколько изысканными. Шатровскому показалось необходимымъ порисоваться при Юринѣ.

— Alexis скучаетъ тоже.

— Да, мы съ нимъ новички, сказалъ Юринъ, весело смѣясь: — вмѣстѣ и привыкать.

— Я нисколько не намѣренъ, возразилъ небрежно Шатровскій:—если эти оригиналы тебѣ любопытны, предупреждаю, ты ихъ у меня не встрѣтишь.

Шатровскій самъ не могъ бы объяснить, почему ему вздумалось сказать ты своему гостю. Хотѣлъ ли онъ уничтожить досадную разницу состоянія, или взять нравственный перевѣсъ надъ своимъ гостемъ, потому что первое ты, когда не вызвано пріязнью, отзывается покровительствомъ — неизвѣстно, но выходка Шатровскаго доставила всѣмъ удовольствіе: Юрину, благоговѣвшему передъ тѣмъ, что онъ называлъ «порядочными манерами», показалось, что съ этой минуты признали его своимъ равнымъ. Анна Дмитріевна бросила взглядъ благодарности брату за эту короткость, которая, такъ сказать, водворяла Юрина въ дружбѣ брата въ его домѣ—и, почему знать, можетъ быть, въ его семействѣ...

Аннѣ Дмитріевнѣ оставалось пока заботиться только о томъ, чтобъ разговоръ не прекращался, что не могло не удаться при настоящемъ расположеніи духа собесѣдниковъ.

— Продолжайте, сказала она Юрину, смѣясь:—вы такъ вѣрно, однимъ словомъ очерчиваете эти лица. Замѣть, Варенька, это необыкновенное умѣнье схватить самую главную черту...

— Черты-то крупны, есть что схватить, прервалъ Юринъ, снова заливаясь смѣхомъ и повторяя жестъ, которымъ представлялъ свою знакомую полную даму.

— Ахъ, вы неистощимы! Есть люди, у которыхъ слабѣетъ интересъ шутки, но вы... вы должны быть самаго веселаго характера.

— Славный малый, сказалъ Шатровскій.

Юринъ взглянулъ на Вареньку и ему припомнились милыя, «непосредственныя, несложившіяся» созданія, какъ величали ихъ друзья, поэты его кружка, обращаясь къ нимъ не иначе, какъ съ словами «дитя», или «малютка», созданія, которыхъ, чтобъ очаровать, надо немного запугать. Онъ видалъ подобныя побѣды, вспомнилъ, что пріемы нетрудны; а такъ какъ Варенька каждую минуту нравилась ему больше и больше, какъ хорошенькая дѣвушка и, главное, аристократка, то онъ рѣшился принять свои мѣры, чтобъ побѣдить. Этимъ онъ какъ нельзя лучше осуществлялъ надежды Анны Дмитріевны.

— Ну... мой характеръ... сказалъ онъ съ разстановкой, вдругъ перемѣнивъ тонъ на серьезный.—Знаете ли, смѣешься больше для того, чтобъ забыться!..

Больше этого онъ не могъ выговорить для перваго монолога; но и эти немногія слова были поняты со всѣмъ участіемъ догадливости. Улыбка мгновенно исчезла съ устъ Анны Дмитріевны и любезная женщина произнесла торопливо:

— Забыться? вы стараетесь забыться?

— Почему-жъ нѣтъ? отвѣчалъ Юринъ, рѣшительно не зная, что еще сказать.

Анна Дмитріевна устремила на него взоръ, полный состраданія. Юринъ поправилъ розу въ своей петличкѣ.

— Вѣрно, кольцо вашей матери? спросила Анна Дмитріевна, давъ пройти краснорѣчивой паузѣ, голосомъ, измѣнившимся отъ грустнаго чувства.

— Нѣтъ, отцу досталось по случаю, отвѣчалъ онъ: — проворно снимая перстень и подавая ей.—Jolie pierre — не правда ли?

— Ахъ, да! это превосходный камень, сказала Анна Дмитріевна, ужъ безъ малѣйшаго оттѣнка задумчивости — превосходный! Могутъ быть больше, но такой чистой воды... Mais, voyez donc, Варенька! неужели это тебя не занимаетъ?.. Вы ничѣмъ не могли доставить ей больше удовольствія, какъ показавъ этотъ камень, monsieur Юринъ: мы еще дитя, любимъ блестящія игрушки...

— О, у меня столько этихъ игрушекъ!

— Вѣроятно, отецъ вашъ сбиралъ коллекцію? спросила Анна Дмитріевна, нетерпѣливо и непримѣтно дернувъ Вареньку за рукавъ и заставляя ее встать.—Кстати, Alexis, покажи, пожалуйста, свой камей: это, конечно, не такъ цѣнно, но очень любопытно.

Шатровскій былъ очень доволенъ, что и ему есть что показать, и отправился за своимъ камеемъ. Анна Дмитріевна искусно заставила Вареньку взять въ руки перстень Юрина, еще искуснѣе отдалилась отъ нея въ эту минуту и обратилась къ Василію Ивановичу.

— Чѣмъ же вы убиваете ваше время въ деревнѣ? спросила она, какъ возможно привѣтливѣе.

Василій Ивановичъ былъ сначала погруженъ въ созерцаніе своей перчатки, потомъ это печальное зрѣлище и невниманіе остального общества навело его на такія мрачныя мысли, на такое сознаніе, что все суета, что онъ смотрѣлъ на всѣхъ и въ особенности на своего братца съ грустнымъ пренебреженіемъ, выражавшимся въ горькой улыбкѣ и взглядѣ изподлобья. То и другое исчезли на одно мгновеніе при вопросѣ Анны Дмитріевны: Василій Ивановичъ ожилъ, вскочилъ... Но въ эту минуту Шатровскій возвратился и Анна Дмитріевна обратилась опять къ блестящему братцу. Опытная дама съ перваго взгляда поняла безполезность потери времени съ Василіемъ Ивановичемъ... Тогда, нахмурясь, Василій Ивановичъ круто повернулъ назадъ и, завидя также всѣми оставленнаго Николая Петровича, быстро направился къ нему.

— Вы чѣмъ же занимаетесь въ деревнѣ? спросилъ Василій Ивановичъ, опираясь локтемъ въ стѣну, скрещивая ноги, покачиваясь и кусая листочки своей розы — словомъ, исполняя все, что дѣлывалъ иногда его братецъ.

Николай Петровичъ оглянулъ его съ головы до ногъ. Собесѣдникъ былъ такъ забавенъ, что, при всей своей досадѣ, Николай Петровичъ не могъ не улыбнуться; потомъ досада овладѣла имъ еще сильнѣе. Гости съ каждой минутой становились ему непріятнѣе, а возраставшая любезность жены выводила его изъ себя; невниманіе, въ которомъ его оставляли, было обидно, и онъ удерживался только изъ приличія. Николаю Петровичу стали понятны всѣ приготовленія, начиная съ наряда Вареньки, и это особенно его возмущало. Какъ многіе неопытные и до странности честные люди, онъ не понималъ, что можетъ быть привлекательнаго въ стараніяхъ нравиться; онъ ненавидѣлъ эти старанія; онъ былъ убѣжденъ, что они и въ голову не входятъ его дочери, и вдругъ, передъ нимъ, жена его начинала комедію, ясную для всякаго съ первой минуты! Одна Варенька не понимала этой комедіи, что доказывалось ея скукой, ея неловкостью и насмѣшливымъ любопытствомъ, съ которымъ она смотрѣла на Юрина. Отецъ вздохнулъ свободнѣе: «Хоть она, по крайней мѣрѣ!..» сказалъ онъ самъ себѣ, но черезъ минуту его доброе и простое лицо сдѣлалось печально: у смѣшной и досадной глупости онъ увидѣлъ серьезную сторону... Съ этой минуты онъ счелъ Шатровскаго за врага, который, шутя, или съ умысломъ, но дѣлалъ зло; кто-жъ, если не онъ устроилъ все это? На него сильнѣе всѣхъ обратился гнѣвъ Николая Петровича... можетъ быть, даже и мысленно Николай Петровичъ не смѣлъ обратить гнѣва на жену свою...

— Что вы подѣлываете? повторилъ Василій Ивановичъ.

— Хозяйничаю-съ, отвѣчалъ Николай Петровичъ съ такимъ видомъ покорности, отъ котораго бѣжалъ бы всякій.

— Ну, какъ идетъ ваше хозяйство?

— Помаленьку-съ.

— Выписываете вы какіе нибудь журналы?

— Анна Дмитріевна получаетъ француз-

— Что новаго въ политикѣ? въ деревнѣ такъ отстаешь, что ужасъ.

— Я не читаю, смиренно отвѣчалъ Николай Петровичъ.

— Это ничего не значитъ, снисходительно возразилъ Василій Ивановичъ, садясь подлѣ него. — Въ человѣкѣ вашихъ лѣтъ нужны только основательность и здравый смыслъ. Я цѣню это выше всего. Я бы желалъ, чтобъ вы позволили мнѣ сблизиться съ вами, хотя это можетъ показаться страннымъ, по несходству нашихъ лѣтъ и всего...

Василій Ивановичъ доставлялъ себѣ удовольствіе нѣкотораго торжества, нѣкотораго мщенія надъ остальнымъ обществомъ: онъ доказывалъ, что можетъ обойтись и безъ этого общества, занимаясь съ солиднымъ человѣкомъ, главою семейства, который не считалъ его недостойнымъ своей бесѣды.

Николай Петровичъ не зналъ, какъ отъ него отдѣлаться...

Вошелъ Домниковъ, которому пришлось долго кланяться, прежде нежели его замѣтили. Одинъ Николай Петровичъ подалъ ему руку.

— Странный человѣкъ, замѣтилъ Василій Ивановичъ вслѣдъ Домникову: —я люблю иногда заставить его разговориться.

— А! Петръ Иванычъ, сказалъ Юринъ:— какъ поживаете?

Анна Дмитріевна воспользовалась этой минутой и сказала Варенькѣ:

— Какъ онъ доволенъ, что видитъ этого старика! Что за чудесное сердце!

— Что-жъ Карзановъ не пріѣхалъ съ вами? спросилъ Шатровскій, оглянувшись на Вареньку.

Варенька покраснѣла, но это замѣтили только Шатровскій и отецъ.

— Развѣ вы были у Карзанова? спросилъ Николай Петровичъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Шатровскій: — но я его звалъ.

— Не удивляюсь, если онъ не поѣхалъ къ вамъ.

Шатровскій вспыхнулъ.

— А если онъ дожидается моего визита, то можетъ подождать, возразилъ онъ рѣзко.

— Qui est ça, Карзановъ? спросилъ Юринъ Анну Дмитріевну.

— Ah, pas grand chose, мелкопомѣстный оригиналъ... словомъ, совершенно во вкусѣ моего мужа.

— А! такъ жаль, что его нѣтъ. Эти мелкопомѣстные бываютъ, знаете, какъ забавны въ своей компаніи! Вы не можете вообразить, что съ ними можно дѣлать...

— Да, маленькія школьничества, прервала Анна Дмитріевна, обрадовавшись на этотъ разъ, что Варенька отошла отъ нихъ:—но, согласитесь, жестоко...

— Вы думаете, эти люди что нибудь понимаютъ? возразилъ Юринъ.

— Нѣтъ, но Карзановъ молодой человѣкъ съ воспитаніемъ... продолжала Анна Дмитріевна, пугаясь, что ужъ слишкомъ ободрила своего гостя.

На Юрина слово «воспитаніе» производило всегда сильно охлаждающее дѣйствіе: оно заставляло его робѣть и теряться. Это не скрылось отъ Анны Дмитріевны, и она поспѣшила прибавить:

— Знаете ли, это книжное воспитаніе, безъ примѣненія къ жизни, безъ свѣтскаго лоска. Онъ, пожалуй, много знаетъ, но... ему надо еще многому поучиться.

Эти слова, сказанныя вполголоса, съ многозначительнымъ взглядомъ, съ очаровательной улыбкой, возвратили Юрину спокойствіе и развязность.

— А!.. сказалъ онъ протяжно, раскидываясь въ креслѣ и поглядывая на чудовищно широкіе концы своихъ сапоговъ: — je vois que vous n'avez pas ici beaucoup de grand monde.

Какъ внимательная хозяйка, Анна Дмитріевна старалась облегчить для гостя всѣ затрудненія, и потому отвѣчала по-русски:

— Намъ собственно на что нужно общество? Вы видите мою дочь, я сама занималась ея образованіемъ и она еще такъ молода, что ей рано видѣть свѣтъ. Зимой я повезу ее въ Москву, гдѣ имѣю родныхъ и знакомства, и она войдетъ прямо въ кругъ, для котораго создана и гдѣ ей ничто не будетъ ново, потому что всѣ его обычаи она усвоила себѣ дома. А для меня самой общество, развлеченія — на что они? Я мать, m-r, Юринъ, и оживу только тогда, когда для моей дочери настанетъ пора жить.

Невозможно описать глубины чувства, съ которымъ Анна Дмитріевна произнесла эти слова, и Юринъ былъ бы непремѣнно тронутъ ими, еслибъ въ эту минуту не доложили, что готовъ обѣдъ.

Анна Дмитріевна посадила Вареньку между собою и Юринымъ для того, чтобъ она не могла не участвовать въ разговорѣ; Николай Петровичъ былъ снова предоставленъ Василію Ивановичу для того, чтобъ отвлечь его вниманіе отъ Юрина. Но Василій Ивановичъ за обѣдомъ видѣлъ только одинъ обѣдъ и отводилъ взоръ отъ тарелки только въ случаяхъ необходимости.

Николай Петровичъ молчалъ; чтобъ смотрѣть куда нибудь, онъ смотрѣлъ на своего маленькаго сына.

Шатровскому было неловко; и когда онъ взглянулъ на Николая Петровича, у него не нашлось духа заговорить съ нимъ. Такъ какъ Шатровскому было все равно, удастся или не удастся Аннѣ Дмитріевнѣ поймать Юрина, то смущеніе Николая Петровича ни радовало, ни забавляло его. Шатровскій замѣтилъ, что онъ столько разсерженъ, сколько огорченъ; но, чтобъ не разбирать чѣмъ и почему, предпочелъ просто остановиться на мысли, что очень непріятно имѣть у себя раздосадованнаго гостя.

«Чѣмъ же я виноватъ?» подумалъ онъ. «Не пригласи я Юрина, посмотрѣлъ бы Николай Петровичъ, что бы съ нимъ было. А онъ еще вступается за своего Карзанова! Родительское сердце и не подозрѣваетъ, что еще одно барежевое платьице—и мы будемъ совершенно утѣшены...»

Николай Петровичъ понималъ Вареньку иначе. Она встрѣтила его взглядъ и весело улыбнулась ему. Не подозрѣвая замысловъ матери, она была спокойна и смѣшное забавляло ее, какъ ребенка. Со всей шаловливостью своего возраста, она, не затрудняясь, воспользовалась первымъ средствомъ, которое ей представилось, чтобъ избавиться отъ разговора, казалось, неизбѣжнаго: Анна Дмитріевна пришла въ отчаяніе, увидя, что дочь ея принялась кушать съ апетитомъ, котораго предполагать было невозможно. Опытная кокетка не придумала бы лучше, чтобъ остановить краснорѣчіе самаго говорливаго поклонника, чтобъ разочаровать его; Юрину было некогда говорить. Самое упрямое сопротивленіе не нанесло-бъ такого удара замысламъ Анны Дмитріевны; не имѣя возможности остановить Вареньку, она рѣшилась занять Юрина такъ, чтобъ онъ забылъ о ней. Гнѣвъ сдѣлалъ Анну Дмитріевну еще любезнѣе. Она разсказывала Юрину, одинъ за другимъ, разные свѣтскіе случаи, заботясь о томъ, чтобъ разсказъ пестрѣлъ титулами, къ которымъ имена собственныя, женскія и мужскія, прилагались всегда не иначе, какъ уменьшительныя. Такимъ образомъ, Юринъ нечувствительно узнавалъ короткость отношеній этихъ лицъ къ Аннѣ Дмитріевнѣ, когда она «ѣзжала въ свѣтъ», и память, которую они сохранили о ней до сихъ поръ. Онъ узналъ, напримѣръ, что княжна Nathalie, на которой женился путешественникъ, виконтъ de***, была лучшимъ другомъ Анны Дмитріевны; что романъ, который написанъ и изданъ этимъ виконтомъ въ Парижѣ, тотъ романъ, гдѣ московское общество изображено такъ вѣрно, à s'y méprendre взятъ изъ истиннаго происшествія; что героиню она назвать не можетъ, но что подруга ея, la folâtre Annouschka, сама Анна Дмитріевна, которая и посвящала виконта во всѣ подробности этого происшествія. Юринъ былъ наверху гордости и счастья: аристократка, героиня романа, занималась имъ съ такой предупредительной любезностью! Онъ, вѣчно отвергнутый этими неснисходительными дамами, чувствовалъ, какъ выростало его собственное значеніе—и сердце его расширялось отъ радости. Могъ ли онъ устоять и не найти Анны Дмитріевны самою очаровательною женщиной?..

Вставъ изъ-за стола, она увела его на балконъ, и не только позволила, но предложила ему курить. Пользуясь минутой, когда съ нимъ былъ Шатровскій, она воротилась въ гостиную, гдѣ Варенька осталась съ отцомъ и Домниковымъ.

— Поди сюда, сказала она строго дочери. — Что за манера отдаляться? Ты, кажется, забываешь, что здѣсь посторонніе и ведешь себя, какъ настоящая уѣздная барышня.

Съ этими словами она скрылась опять на балконъ. Николай Петровичъ остановилъ Вареньку.

— Петръ Иванычъ, сказалъ онъ Домникову:—вы сбираетесь ѣхать?

— Сейчасъ-съ. Михайло Семенычъ дожидается.

— Скажите вы отъ насъ Михайлу Семенычу, продолжалъ Николай Петровичъ, все держа за руку дочь: — что онъ насъ забылъ, что это нехорошо, и что я прошу его пожаловать ко мнѣ завтра — такъ ли, Варенька?

— Такъ, папа, отвѣчала она съ радостью и вмѣстѣ пугаясь чего-то.

— Скажите ему, что мы безъ него очень соскучились—такъ ли, Варенька?

— Такъ, повторила она.

— Теперь ступай-себѣ туда; мы свое дѣло сдѣлали.

Варенька вошла на балконъ въ сильномъ смущеніи: она какъ будто поняла что-то, или, вѣрнѣе, стала что-то подозрѣвать. Для чего отецъ приглашалъ Карзанова именно завтра, когда, вѣроятно, пріѣдутъ и новые знакомые? Если просто изъ пріязни, онъ выбралъ бы другое время, а не теперь, когда это приглашеніе будетъ навѣрно не-

пріятно Аннѣ Дмитріевнѣ... Варенькѣ стало страшно.

Юринъ замѣтилъ, что она distrai... Онъ особенно ловко проглатывалъ окончанія нѣкоторыхъ словъ.

— Мы немножко мечтательны, отвѣчала Анна Дмитріевна, обнявъ дочь и прислоняя ея голову къ своему плечу. — Видите ли, намъ семнадцать лѣтъ, а этотъ пейзажъ, это заходящее солнце все куда-то зоветъ нашу душу. Если вы хотите вызвать ее изъ міра очарованій, попросите показать вамъ этотъ садъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ, сказалъ Юринъ, проворно вставая и предлагая свой локоть Варенькѣ.

— Но я сама не знаю этого сада, возразила она.

— Тѣмъ лучше, сказала Анна Дмитріевна:—вы пойдете вмѣстѣ по незнакомой дорогѣ, впечатлѣнія будутъ неожиданны для обоихъ...

Варенька пошла очень неохотно. Но въ характерѣ каждаго толковать смущеніе другихъ выгодно для себя. Юринъ былъ уже столько разъ предупрежденъ, что Варенька еще очень молода, и столько молодыхъ особъ бывало отъ него безъ ума, что теперь ея молчаливость нисколько не затрудняла его. Онъ началъ разговоръ любезностями и потомъ перешелъ въ задумчивость, которую считалъ неотразимою.

Онъ сообщилъ, что холоденъ къ красотамъ природы, потому что отечественныя очень однообразны, а иноземныя столько разъ описаны, что надоѣли. Онъ не прибавилъ къ этому, что въ жизнь свою не прочелъ ни одной строки путешествій.

Послѣ природы онъ пожаловался на людей: они надоѣли ему тоже. Вездѣ одно. Ученые—педанты; неучи выводятъ изъ терпѣнія. Онъ умолчалъ, что ученые никогда съ нимъ не говорили, а неученыхъ, за недостаткомъ собственныхъ средствъ, онъ самъ не брался образовывать.

Общество было тоже для него нестерпимо: однообразіе удовольствій утомляло; въ пестротѣ и шумѣ толпы терялся умъ и притуплялось чувство... Юринъ остался особенно доволенъ этимъ выраженіемъ, которое припомнилъ цѣликомъ изъ монологовъ одного своего пріятеля, разъ десять мѣнявшаго свое положеніе въ свѣтѣ и родъ занятій.

Женщины... Онъ въ нихъ не вѣрилъ. Средины нѣтъ: женщина или кокетка, которая не щадитъ самыхъ священныхъ чувствъ того, кто ей безпредѣльно отдается, или слабое созданіе, которое... Чувствуя, что не въ силахъ докончить, Юринъ прервалъ самъ себя восклицаніемъ:

— О, еслибъ я могъ разсказать все, все!..

Словомъ, Варенька увидѣла передъ собою самаго интереснаго разочарованнаго героя, одного изъ тѣхъ героевъ, которые такъ опасны для неопытнаго ума и впечатлительнаго сердца, потому что внушаютъ боязнь и состраданіе — два самыя сильныя начала любви. Но въ душѣ Вареньки было истинное чувство, которое дѣлало ее строже и понятливѣе. Первая любовь — пробный камень и первый наставникъ женщины: она опредѣляетъ собственное достоинство женщины и ея воззрѣніе на жизнь. Краснорѣчіе Юрина не вызвало даже улыбки: Варенькѣ было скучно. Юринъ надоѣлъ ей. Она едва отвѣчала ему, не слушая, слѣдовательно, всегда невпопадъ.

Юринъ объяснилъ это тѣмъ, что она сильно заинтересовалась, и хотѣлъ пожать ей руку, но вспомнилъ, что съ дѣвицами большого свѣта это такъ скоро не дѣлается...

Кружась по саду, они проходили мимо балкона.

— Cette chère enfant! сказала Анна Дмитріевна Шатровскому, который, сидя подлѣ нея, дремалъ съ сигарой въ зубахъ.—Какъ скоро и легко увлекаются въ ея возрастъ!.. Теперь, я смѣю надѣяться... Alexis, они должны видѣться всякій день.

— Какъ же я это сдѣлаю?

— Какая тяжелая натура! ты становишься настоящій Николай Петровичъ.

Николай Петровичъ между тѣмъ сидѣлъ у окна залы и читалъ старинную книжку — занятіе, котораго онъ не оставлялъ съ самаго обѣда. Впрочемъ, больше ему нечего было дѣлать, развѣ только опять отдаться на жертву Василія Ивановича, потому что Домниковъ уѣхалъ.

Одинокій Василій Ивановичъ тоже недолго затруднялся въ выборѣ занятія. Увидя Митю у балкона, онъ сошелъ къ нему и помогъ ему сдѣлать изъ ветловой палочки нѣчто въ родѣ свирѣли. Когда Анна Дмитріевна, не видя игравшихъ, закричала, что эти звуки дерутъ уши, Василій Ивановичъ предложилъ Митѣ оставить это упражненіе; потомъ оба вмѣстѣ они отправились утѣшаться у куртинъ съ смородиной, гдѣ союзъ дружбы былъ заключенъ неразрывно. Василій Ивановичъ, узнавъ подробности о характерахъ нѣмца-гувернера Мити, учителя, который пріѣзжалъ изъ города, и старой няни маленькой Оленьки, — словомъ, давъ

высказаться своему другу, счелъ нелишнимъ посвятить его въ тайны своего сердца. Онъ разсказалъ Митѣ, что любилъ гордую и холодную кокетку, которая, опутавъ его въ свои сѣти, смѣялась надъ нимъ и убивала его душевныя способности; что добрые друзья, наконецъ, открыли ему глаза, и что онъ намѣренъ, воротясь изъ деревни отъ брата, непремѣнно отмстить этой ужасной женщинѣ...

Митя вполнѣ сочувствовалъ этому разсказу, пока Анна Дмитріевна, вызвавъ его изъ-за кустовъ, объявила, что она отъ роду не видала такой жадности, и строго запретила отходить дальше одной дорожки. Василій Ивановичъ легъ на нижнюю ступеньку балкона, принявъ позу сфинкса, и папироса его засвѣтилась въ полусвѣтѣ набѣгавшихъ сумерекъ.

Сумерки, помѣшавъ читать Николаю Петровичу, дали ему если не смѣлость, которой и безъ того было достаточно, то предлогъ напомнить женѣ, что пора домой.

— Ахъ, Боже мой! вскричала Анна Дмитріевна—не могу же я выгонять гостей! Вы видите, еще гуляютъ.

— Да вѣдь эти гости, матушка не съ вами поѣдутъ, возразилъ онъ и, не дожидаясь позволенія, закричалъ:—Варенька, карета готова.!

Варенька явилась въ ту же минуту.

Юринъ спѣшилъ за нею.

— Вы ужъ ѣдете?.. сказалъ онъ Аннѣ Дмитріевнѣ.

— Что-жъ вы хотите... отвѣчала она, надѣвая шляпку:—повиновеніе!.. Но до завтра—не правда ли?

— Если вы позволите; мое искреннее желаніе...

— Я не сомнѣваюсь, что оно искренно, сказала Анна Дмитріевна:—только, смотрите, чтобы оно какъ нибудь не измѣнилось.

— Никогда!

— Проводите насъ.

Подсадивъ въ карету обѣихъ дамъ и опять благоразумно удержавшись отъ пожатія прекрасной ручки Вареньки, Юринъ прыгнулъ въ свой фаэтонъ, распустилъ полы и кисти своего бурнуса и велѣлъ кучеру промчаться во весь опоръ мимо кареты...

— Ахъ!.. вскричала Анна Дмитріевна.

Николай Петровичъ и не оглянулся.

— Какъ онъ хорошъ! Посмотри, Варенька...

Поровнявшись съ каретой, Юринъ велѣлъ ѣхать рядомъ. Говорить было невозможно, за стукомъ колесъ, и потому Юринъ и Анна Дмитріевна только мѣнялись взглядами. Это заставило Николая Петровича молчать всю дорогу до послѣдняго перекрестка, на которомъ они разстались; но перекрестокъ былъ уже только въ полуверстѣ отъ дома: начинать разговоръ въ каретѣ не стоило, а по пріѣздѣ домой было бы ужъ слишкомъ поздно.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Въ какой нибудь лишній, или нелишній часъ, когда сердце сжато печалью, или расширено радостью, когда умъ работаетъ съ лихорадочнымъ увлеченіемъ, или когда, отъ нечего дѣлать въ дѣйствительности, онъ бросается въ отвлеченныя разсужденія, въ такой часъ (а эти часы, вѣроятно, бывали у каждаго), вникая въ значеніе слова «*жизнь*», всякій изъ насъ невольно останавливался, пораженный огромностью этого значенія. Слово становилось образомъ. Мысль и чувство, душа и сердце этого образа являлись во всѣхъ примѣненіяхъ знанія, пользы, опытности, любви, счастія и страданія, они приводили за собой примѣры, напоминали дѣйствительность, вызывали соревнованіе, вызывали слезы сочувствія. Казалось, само пространство раздвигалось вокругъ насъ, чтобъ вмѣстить этотъ привлекательный и страшный образъ; благоговѣніе охватывало насъ, какъ воздухъ, и въ груди нашей зажигались новыя силы... Были счастливцы, которые, умирая, еще ощущали жаръ этихъ силъ...

Но мы, живущіе въ нашей ежедневной прозѣ, что чувствовали мы въ ту минуту, когда голосъ ежедневной суеты заставлялъ померкнуть, заволноваться и исчезнуть великолѣпный образъ, носившійся предъ нами? Что бывало съ нами, когда пустота, мракъ и безпредѣльность вдругъ захватывали его мѣсто? Провожали ли мы его кри-

комъ безсильнаго отчаянія, или благоговѣли безмолвно и покорно? Обратясь ли на себя, мы сказали съ благороднымъ сознаніемъ, что въ насъ есть всѣ начала этой жизни, что искра и пламя, по существу своему, одно, и разница только въ размѣрѣ? Или, уничтоженные размѣромъ этой разницы, не находя матеріальнаго сходства между собой и тѣми людьми, которыхъ видѣли въ нашемъ видѣніи, мы отреклись и отъ сходства нравственнаго и обратились къ другимъ съ презрительной насмѣшкой, къ себѣ—съ лѣнивой скукой?..

Эта насмѣшка называется прямымъ взглядомъ на жизнь, отсутствіе чувства и, слѣдовательно, увлеченій благоразуміемъ; отсутствіе мысли никакъ не называется, потому что и не замѣчается тамъ, гдѣ рѣшено, что думать не о чемъ. А если скучно—виновата судьба: зачѣмъ не дала занятій поразнообразнѣе, попросторнѣе мѣста на свѣтѣ, побольше денегъ...

Это ли весь выводъ долгой, мучительной и отрадной думы? Неужели жизнь всѣхъ, у кого она полна внѣшняго и внутренняго значенія — для насъ только спектакль, который, пожалуй, и занимаетъ насъ, но непродолжительно, слабо; спектакль, въ которомъ мы не беремся участвовать сами, потому что намъ лѣнь? На чемъ основана эта мысль: на эгоизмѣ, на безчувственности? Не хотимъ ли мы не тревожить нашего покоя, или наши натуры неспособны имъ жертвовать?.. Въ этомъ никто не сознается, никто не объяснитъ этой лѣни.

У насъ есть всегда оправданіе: «примѣры жизни, занятой и полной тревоги и событій, рѣдки; жизнь массы людей несложна и незначительна; разбирать, цѣнить ее, отъискивать смыслъ малѣйшаго обстоятельства, придавать важность ежедневнымъ ощущеніямъ—мечтательность и преувеличеніе. Мечтательность смѣшна; преувеличеніе гибельно. То и другое не допускаютъ видѣть жизнь въ настоящемъ свѣтѣ и жить разумно. Кромѣ того, они начало гордости: преувеличивая значеніе обстоятельствъ, мы преувеличиваемъ и свое собственно значеніе: дойдемъ до того, что вообразимъ и себя одними изъ великихъ лицъ, памятныхъ въ исторіи человѣчества»...

Смиренное и всегда глубоко поучительное оправданіе! Жаль, что, разглядывая строже, оно оказывается ложно.

Великіе примѣры рѣдки—нѣтъ спора; но развѣ эта масса, живущая день за день трудомъ своихъ рукъ, своими мелкими средствами, ограниченными соображеніями, волнуемая интересами и страстями, пригнанными по ея размѣру, развѣ эта масса не люди? развѣ для того, чтобъ заслуживать разборъ и участіе, жизнь должна быть величавой классической трагедіей или драмой съ сильными эфектами? Но ежедневныя происшествія, столкновенія между людьми средняго воспитанія, средняго ума, средней доброты сердца—какова большая часть людей, происшествія, положимъ, несложныя, основаны же на чемъ нибудь, какое нибудь чувство ихъ вызвало, какое нибудь чувство ихъ развило, какое нибудь чувство разрѣшитъ ихъ. Отвергать это — значитъ отвергать внутреннюю жизнь человѣка, ни больше, ни меньше, и неужели привычка къ лицамъ и къ обстановкѣ можетъ извинить подобное опроверженіе? Мы не позволимъ себѣ разобрать безпристрастно, что участь той или другой нашей знакомой, даже неотносительно, а въ самомъ дѣлѣ печальнѣе участи той или другой исторической героини; мы не посмѣемъ сдѣлать этого сравненія, потому что боимся впасть въ преувеличенное, въ смѣшное; но истина можетъ ли быть смѣшна? преувеличеніе можетъ ли быть тамъ, гдѣ безпрестанно предъ глазами живые примѣры, люди съ слабостями и мелочностями? воображеніе не представитъ ихъ въ невѣрныхъ размѣрахъ: только сердце приметъ въ нихъ должное участіе, а умъ не откажетъ имъ въ значеніи, которое они должны имѣть, какъ люди. Строгая оцѣнка не допуститъ развитія мечтательности, напротивъ, мечтательность погибнетъ отъ безпрестанной повѣрки ощущеній. Вѣчный разборъ, вѣчная повѣрка покажетъ все въ настоящемъ свѣтѣ: людей, обстоятельства, насъ самихъ; изъ чего-жъ можетъ зародиться въ насъ гордость, основанная на преувеличеніи?

Наконецъ, оправданіе холодныхъ мудрецовъ болѣе нежели ложно; оно гибельно тѣмъ, что, ограничивая пищей и сномъ дѣйствія большей части людей, отрицая въ нихъ способность мыслить и, слѣдовательно, лишая ихъ нравственнаго значенія, оно возбуждаетъ сомнѣнія: для чего-жъ эти люди существуютъ на свѣтѣ?..

А свѣтъ почти весь состоитъ изъ такихъ людей. Ихъ положеніе не блестящее, способности не велики, убѣжденія не сильны. характеры неопредѣленны, образованіе не глубоко, страсти не способны выходить изъ границъ. Ихъ отношенія и столкновенія между собою такъ незначительны, что для нихъ не придумано другого названія, какъ

обыкновенныя. Но вся общественная жизнь слагается изъ отношенiй и столкновенiй этихъ людей, слѣдовательно, настоящую драму современной общественной жизни надо искать между ними, не выше и не ниже, потому что, хотя выше, или ниже положенiе рисуется отчетливѣе, но эти положенiя исключительныя. Отъ своей неопредѣленности и тишины общественная жизнь смотритъ холодно, однообразно, незанимательно; но это жизнь большей части людей, и именно потому должно разбирать ее; стараться ближе и вѣрнѣе разсмотрѣть эти лица и характеры, не скучать мелочами. Смиренный и терпѣливый разборъ скоро укажетъ, что мелкое для глазъ огромно по своему значенiю...

Въ самомъ дѣлѣ, любопытно видѣть, какъ полупороки, полудобродѣтели, получувства и полуслова двигаютъ всю массу живущихъ. Любопытно дойти чрезъ догадки и наблюденiя,какъ какое нибудь легкое,неопредѣленное ощущенiе дѣлается положительнымъ, какъ далеко начало катастрофы, явившейся будто внезапно. Любопытны признанiя людей, объясняющихъ свои иногда рѣзкiе поступки минутнымъ увлеченiемъ, тогда какъ это увлеченiе подготовлено давно; любопытно удивленiе при появленiи опредѣленнаго чувства, необъяснимаго, потому что за его развитiемъ никто не трудился наблюдать... Драмы общественной жизни похожи на траву въ первые весеннiе дни: луга зазеленѣли, между тѣмъ какъ никто не замѣчалъ ея роста.

Время, тихо идущее между сномъ и обѣдомъ; занятiя, вошедшiя въ привычку до машинальности; удовольствiя однообразныя и часто не изящныя; встрѣчи, въ которыхъ повторяются новости, успѣвшiя надоѣсть, и слова, успѣвшiя приговориться; разговоры, гдѣ мысль выражается въ половину, то за недосугомъ, то стѣсненная условiями общества — кто можетъ сказать, какъ много нужно всего этого, чтобъ оставить свой осадокъ въ душѣ человѣка, подвинуть человѣка на что нибудь, заставить выказаться — словомъ, произвести развязку драмы? а между тѣмъ, вотъ изъ чего складывается жизнь человѣка и общества, и такъ какъ невозможно сомнѣваться, что всякое изъ мелочныхъ чувствъ и обстоятельствъ трогаетъ и волнуетъ человѣка, то невозможно отказать ему въ сочувствiи, а его драмѣ въ занимательности.

Конечно, кто этого не знаетъ? Не вникая ни во что, мы живемъ покойнѣе, особенно если судьба позаботилась доставить намъ разныя житейскiя удобства, если помощь людей намъ не нужна, а ихъ мнѣнiе не страшно. Мы не беремъ роли ни примирителя, ни утѣшителя, ни защитника; идемъ своей дорогой, не оглядываясь на тѣхъ, кого сталкиваемъ — иногда невольно, потому что не замѣчали ихъ при встрѣчѣ... Конечно, лѣнясь думать и чувствовать, очень удобно предполагать, что и другiе не думаютъ и не чувствуютъ: это избавляетъ насъ отъ хлопотъ и возни состраданiя и часто отъ непрiятныхъ напоминанiй совѣсти, которой случается просыпаться очень некстати... Впрочемъ, и ее можно заставить замолчать: одинъ разъ вступивъ въ колею жизни безъ размышленiя и сочувствiя, мы становимся необыкновенно находчивы для собственнаго оправданiя, необыкновенно смѣлы и рѣшительны, и величаво безпощадны для другихъ.

Образчикомъ такихъ людей могъ вполнѣ служить Шатровскiй. Посредственный мечтатель, восторженный охотникъ до фразъ, онъ всегда развивалъ въ себѣ свои убѣжденiя не размышленiемъ, а словами; вдохновлялся по мѣрѣ того, какъ говорилъ, не усвоивая себѣ глубоко того, что слушалъ. Таковъ былъ онъ до того времени, какъ разстался съ Лизаветой Андреевной; если тогда его поступки не противорѣчили словамъ, то потому только, что онъ, не замѣчая самъ, покорялся нравственному влiянiю своей молодой наставницы: ея разсужденiя, совѣты и примѣръ невольно заставляли его быть лучше. Разставшись съ нею, онъ очутился на свободѣ. Конечно, люди, которыхъ онъ встрѣтилъ, были по образованiю, характеру и положенiю такiе же, какихъ онъ знавалъ; казалось бы, и ему самому было не отчего нравственно измѣниться. Но у всякаго общества, какъ у всякаго человѣка, есть особенности,черты,составляющiя различiе обществъ и людей одного отъ другого—черты и особенности большею частью внѣшнiя. Шатровскiй, человѣкъ поверхностный, бросился тотчасъ на нихъ, и онѣ, своею мелочностью и смѣшною стороною доставили ему первое оправданiе въ нежеланiи размышлять... Послѣ перваго шага, какъ извѣстно, остальные ничего не значатъ. Нравственное испытанiе совершалось, и Шатровскiй не сознавалъ этого и, не замѣчая, не выдерживалъ испытанiя. Оно было полно и опасно именно потому, что совершалось въ кругу почти знакомомъ, между личностями, изъ которыхъ ни одна не выдавалась рѣзкостью,

между умами, понятіями и правилами Шатровскаго, между обычаями, которые были его обычаями. Испытаніе не представляло борьбы, вѣчно напоминающей о необходимости присутствія разума, заставляющей держать силы безпрестанно наготовѣ. Еслибъ предстояла борьба—фразеръ выдержалъ бы ее изъ самолюбія, поддержанный грубостью столкновеній... Но теперь все шло чинно и гладко, все казалось прилично и обыкновенно. Анна Дмитріевна была женщина, пожалуй, нѣсколько капризная, но образованная и небогатая, слѣдовательно, она справедливо могла желать для себя лучшаго общества, скучать разсчетами и однообразными толками мужа, и искать для дочери выгодной партіи. Это могло не нравиться Николаю Петровичу; но развѣ онъ недостаточно вознагражденъ судьбою тѣмъ, что поставленъ главою семейства и хозяиномъ дома? Юринъ, добрый малый, молодой человѣкъ, какъ всѣ, и, право, даже смѣшно требовать, чтобъ всѣ молодые люди стремились что нибудь знать и что нибудь значить; надо кому нибудь ничего не дѣлать на свѣтѣ. Серьезные, какъ напримѣръ, Карзановъ, ужасно тяжелы, и нисколько не видно, чтобъ отъ нихъ была прибыль для свѣта. Варенька, Настасья Петровна—обыкновенная молодая дѣвушка и старая дѣва, и разбирать ихъ чувства, значитъ поднимать бурю въ стаканѣ воды. Лучше всего похлопотать, какъ выдаать замужъ молодую дѣвушку прежде, нежели она отцвѣтетъ и сдѣлается смѣшною...

Впрочемъ, находя, что и эти хлопоты излишнее затрудненіе для человѣка, который не отецъ и не братъ этой дѣвушки, Шатровскій сказалъ себѣ, что не будетъ мѣшаться ни во что, если не потребуютъ его содѣйствія, обѣщаясь, конечно, и тогда дѣйствовать такъ, чтобъ какъ можно меньше безпокоиться.

Возвратясь отъ Шатровскаго, Варенька разсказала Настасьѣ Петровнѣ всѣ подробности дня. Настасья Петровна была опытнѣе, если не жизнью, то умомъ; выслушавъ разсказъ о предупредительности и любезности Анны Дмитріевны съ Юринымъ, она тотчасъ догадалась, къ чему клонилось то и другое, и вмѣсто отвѣта спросила Вареньку, попрежнему ли она любитъ Карзанова.

— Неужели ты думаешь, что такое пустое существо, какъ Юринъ, можетъ занять меня? возразила Варенька, съ гордостью любимой женщины и съ выраженіемъ, которое изъ хорошенькой сдѣлало ее красавицей.— Ты увидишь, они сегодня будутъ оба.

Анна Дмитріевна была совершенно довольна непринужденностью, съ которой Варенька встрѣтила Юрина, незамедлившаго явиться: на лицѣ дѣвушки не оставалось и слѣда вчерашней скуки и холодности, она улыбалась, она была оживлена... Нѣжная мать и не догадывалась,кого она ожидала... Николай Петровичъ платилъ женѣ тѣмъ же; онъ не сказалъ ей, что звалъ Карзанова. Давно зная, что Юринъ пріѣхалъ и сидитъ на террасѣ, Николай Петровичъ не выходилъ къ нему цѣлый часъ. Когда Юринъ спросилъ о немъ, Анна Дмитріевна объяснила, что онъ занятъ съ управителемъ, и прибавила, будто въ скобкахъ, что часто удивляется распорядительности своего мужа; что большое состояніе, конечно, пріятно, но между тѣмъ и требуетъ столькихъ хлопотъ...

— Мы, женщины, знать ихъ не хотимъ, заключила она весело: — развѣ тогда, когда у насъ есть дѣти... Вотъ Варенька, взгляните на нее: дитя, и не думаетъ, есть ли, будетъ ли у нея что нибудь; это забота моя и отца.

Юринъ взглянулъ на Вареньку, которая работала, нѣсколько отдалясь отъ нихъ. Она съ намѣреніемъ выбрала это мѣсто и, казалось, слушала разсказы Василія Ивановича. Но въ ту минуту, когда мать обратила на нее вниманіе Юрина, Варенька слушала совсѣмъ другое: ей показалось, что прогремѣли дрожки. Сердце у нея упало, она невольно подняла голову, покраснѣла и встала.

— Qu'as tu donc, mon enfant? спросила Анна Дмитріевна, которая все замѣтила.

— Мнѣ нужны шелки, отвѣчала Варенька и вышла.

Ей не хотѣлось, чтобъ въ первый разъ послѣ двухъ недѣль разлуки другъ ея засталъ ее въ этомъ обществѣ; ей хотѣлось первой его встрѣтить, увидать его минутой раньше...

Она встрѣтила Карзанова въ залѣ и не могла сказать ни слова; молодой человѣкъ такъ же молча схватилъ и расцѣловалъ ея руки и только спустя минуту могъ проговорить:

— Вашъ отецъ звалъ меня, зачѣмъ?

— Вы такъ давно не были!

— И только?

Варенька думала только о счастіи его увидѣть; онъ не переставалъ думать о счастіи назвать ее своей невѣстой. Это было сказано въ двухъ словахъ.

— Богъ милостивъ, сказала она, глядя въ его лицо, за минуту оживленное и радостное.

— У васъ гости? спросилъ Карзановъ.

— Да; дядя и Юрины.

— Ужъ здѣсь? сказалъ онъ съ выраженіемъ, котораго она не поняла.

— Да; они пріѣхали вмѣстѣ.

— Я такъ и ждалъ. Зачѣмъ же меня звали, Варенька?..

— И вамъ было не тяжело не видѣть меня? спросила она съ печалью, не понимая всего горькаго смысла его словъ, потому что не понимала разсчетовъ своей матери.

— Но этотъ новый знакомый, пріятель вашего дяди...

— Онъ ужасно смѣшонъ, и дядя съ нимъ вмѣстѣ.

— Вашъ дядя хуже нежели смѣшонъ. Скажите правду: вы говорили ему, что я люблю васъ?

— Простите меня...

— Вашъ дядя дурной человѣкъ...

— Варенька! сказалъ Шатровскій, являясь въ дверяхъ.

Онъ вскользь поклонился Карзанову, какъ незнакомому, и обратился къ Варенькѣ:

— Мать послала за тобою. Покажи Юрину шитье, что ты кончила... Это глупо, однакожъ, Варенька, продолжалъ онъ, провожая ее и не обращая вниманія, что Карзановъ остался одинъ въ залѣ: — ты думаешь, не замѣтили, что ты полетѣла встрѣчать этого господина...

— Я замѣчаю, что вы иначе не можете назвать Михайла Семеныча, какъ «этотъ господинъ». Мнѣ это не нравится.

— Мнѣ не нравится тоже, что ты кокетничаешь съ двумя молодыми людьми въ одно время. Не дѣлай глупостей.

— Кокетничаю?.. вскричала Варенька.

— Ахъ! у нея вѣчно споры съ дядей, сказала Анна Дмитріевна, услыша это восклицаніе, которое раздалось въ дверяхъ, и объясняя его Юрину.

— Позвольте мнѣ всегда поддерживать вашу сторону, сказалъ Юринъ, любезно обращаясь къ Варенькѣ.

— Благодарю васъ, отвѣчала она холодно. — Маменька, тамъ Михайло Семенычъ Карзановъ.

— Какъ, вскричала Анна Дмитріевна: — вы намѣрены защищать Вареньку во всѣхъ спорахъ, не зная, права ли она или нѣтъ? О, вы слишкомъ добры! Ты должна быть такъ благодарна, Варенька...

— Я уже благодарила, отвѣчала Варенька. — Но я вамъ сказала, что Карзановъ...

— Ну, что-жъ? я слышала. Развѣ Карзановъ не знаетъ дороги на террасу?.. Она ракъ добра... это дитя, прибавила Анна Дмитріевна, обратясь къ Юрину: — все боится кому нибудь манкировать... Садись здѣсь и продолжай свой споръ съ дядей... Eh bien, Alexis?..

Карзановъ вошелъ. Его положеніе было таково, что никто не пожелалъ бы быть на его мѣстѣ; всѣ, кого онъ нашелъ на террасѣ, знакомые и незнакомые, смотрѣли на него непріязненно; она, для которой онъ выносилъ это неловкое и смѣшное положеніе, была не только смущена, но страдала. Шатровскій, не кланяясь—потому что считалъ достаточнымъ, что кивнулъ головой при встрѣчѣ въ залѣ—взглянулъ на Карзанова съ выраженіемъ вызывающаго торжества, и, протащивъ стулъ мимо гостя въ ту минуту, какъ онъ кланялся, поставилъ этотъ стулъ и сѣлъ на него напротивъ Вареньки, не оставляя ей возможности ни выйти, ни встать. Юринъ покачнулся на своемъ креслѣ, придерживая лорнетъ въ глазу. Василій Ивановичъ, погруженный въ задумчивость, вскочилъ, но его движеніе нельзя было принять за поклонъ, а скорѣе за внезапное пробужденіе, причемъ неимовѣрно расшатались его руки. Анна Дмитріевна осторожно привстала, осторожно придержала руками свой маленькій столикъ и прошептала: « monsieur Карзановъ», съ той замѣтной разстановкой и учтивостью, съ какою встрѣчаютъ гостя уважаемаго, но нежданнаго и нежеланнаго. Гость долженъ быть увѣренъ, что съ его приходомъ разговоръ упадетъ или раздѣлится на кружки: онъ долженъ видѣть, что помѣшалъ... Карзановъ все это видѣлъ.

— Я почти не думала васъ больше видѣть, сказала Анна Дмитріевна тихо и учтиво.

— Въ самомъ дѣлѣ? почему? спросилъ Карзановъ, взглянувъ на нее такъ же учтиво, но такъ проницательно, что она опустила глаза.

— Я думала, вы уже уѣхали къ вашей матери... Alexis, будетъ ли сегодня твой партнеръ?.. А вашъ споръ, messieurs? продолжала Анна Дмитріевна, обращаясь къ Юрину. — Варенька!.. Она хотѣла, чтобъ вы видѣли ея работу. Montrez, Варенька. M-r Юринъ такой знатокъ.

Заставивъ Вареньку заняться съ Юринымъ, Анна Дмитріевна обратила всю свою внимательность къ Карзанову, посадила его

подлѣ себя и засыпала вопросами: здоровъ ли онъ, что дѣлаетъ... Юринъ, заложивъ руки въ карманы, смотрѣлъ на него въ свое стеклышко.

— Вы здѣшній житель, m-r Карзановъ?.. А не знавали ли вы одного Табуровскаго, тоже былъ въ вашей школѣ, вышелъ и потомъ поступилъ въ нашъ полкъ?

— Не знаю, хладнокровно отвѣчалъ Карзановъ.

Эта холодность произвела свое обыкновенное дѣйствіе. Юринъ раскаялся, что заговорилъ съ «важнымъ франтомъ» — такъ они вдвоемъ съ Шатровскимъ уже успѣли прозвать Карзанова. Шатровскій былъ до того внимателенъ къ своему новому пріятелю, что не разставался съ нимъ; среди общаго разговора они находили время сообщать другъ другу вполголоса свои замѣчанія, дѣлать намеки, послѣ которыхъ оба заливались самымъ откровеннымъ смѣхомъ, такъ что можно было предположить, что между ними ужъ нѣтъ тайнъ. Эта короткость восхищала Анну Дмитріевну, которая снисходительно улыбалась веселости молодыхъ людей, завидовала вслухъ ихъ возрасту, ихъ свободѣ и съ наивностью маленькой дѣвочки просила принять и ее въ секретъ.

Карзанову невозможно было говорить съ Варенькой. Она стояла скучная; тѣмъ веселѣе была Анна Дмитріевна. Николай Петровичъ появился наконецъ.

Юринъ прервалъ разговоръ и необыкновенно живо бросился ему на встрѣчу.

— Я надѣюсь, заговорилъ онъ,— что вы простите... что вы поймете, любезнѣйшій Николай Петровичъ, нетерпѣніе, съ которымъ я поспѣшилъ воспользоваться вашимъ пріятнымъ приглашеніемъ.

Николай Петровичъ не могъ прогнать его, не сдѣлавъ исторіи; онъ только не сказалъ ни слова и флегматически откланялся. Юринъ посмотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ; Анна Дмитріевна слегка потерялась: она не ожидале такого сопротивленія. Но что было съ нею, когда Николай Петровичъ вдругъ обратился къ Карзанову.

— Ради Бога, извините, дорогой мой Михайло Семенычъ:—я зналъ, что вы пріѣхали, и захлопотался тамъ. Не грѣшно ли глазъ не казать?

И Николай Петровичъ обнялся съ Карзановымъ.

— Пожалуйте ко мнѣ, прибавилъ онъ, уводя молодого человѣка.

Еслибъ эта сцена не произошла среди всеобщаго неловкаго молчанія, она была бы еще не такъ замѣтна; но тутъ она всѣхъ поразила... Шатровскій устремилъ все вниманіе на хмѣль, которымъ была оплетена терраса; Варенька поблѣднѣла, потому что видѣла, какъ яркій пурпуръ разлился по лицу матери. Даже Василій Ивановичъ, заглядѣвшись, такъ неосторожно приласкалъ собачку, что она хватила его за пальцы. Юринъ машинально взялъ свою фуражку.

Это движеніе оживило Анну Дмитріевну.

— Позволяю вамъ смѣяться, сказала она рѣшительно и громко. — Надо привыкнуть къ закоренѣлой неловкости моего мужа; съ перваго раза она поражаетъ... Я увѣрена, что онъ продумалъ все утро, что сказать, встрѣчая васъ — и видите, чѣмъ кончилось!

Она подала примѣръ смѣха, которому, однакожъ, не послѣдовалъ никто, кромѣ Шатровскаго.

— Вы узнаете насъ короче, m-r Юринъ, продолжала Анна Дмитріевна:—вы увидите вблизи эти маленькія misères... онѣ и забавны, и несносны!

У Вареньки навернулись слезы на глазахъ: еще никогда не было такъ сильно оскорблено ея чувство. Она встала и хотѣла выйти. Анна Дмитріевна остановила ее довольно строго.

— Что съ тобой сдѣлалось сегодня, Варенька, сказала она. — Нельзя ли остаться на мѣстѣ? Мнѣ наскучили эти выходы и входы.

Она взглянула на брата.

— Я знаю еще лучше примѣръ ненаходчивости, сказалъ Шатровскій, понявъ приказаніе ея взгляда. — Къ намъ въ N* пріѣхалъ одинъ господинъ, знатный баринъ, богачъ; сдѣлалъ визиты: зоветъ къ себѣ обѣдать. Я самъ тамъ былъ. Съѣхались гости— хозяина нѣтъ часъ цѣлый. Наконецъ выходитъ... я не помню, не видалъ, по крайней мѣрѣ, чтобъ онъ поклонился... прямо къ окну: — «какая прекрасная погода», а снѣгъ хлопьями!

— Ахъ, какой оригиналъ! вскричала весело Анна Дмитріевна. — Но ты помнишь, Alexis, еще лучше, что сдѣлалъ Николай Петровичъ?

Alexis ничего не помнилъ, потому что ничего не зналъ, но счелъ нужнымъ засмѣяться.

— Нѣтъ, я не могу выдержать и разскажу m-r Юрину! Ecoutez, vous êtes si bon, que vraiment...

Она подала руку и съ такимъ чувствомъ пожала руку Юрина, взоры ея такъ просили

прощенія за мужа, движенія были такъ довѣрчивы, что Юринъ простилъ отъ чистаго сердца. Когда Анна Дмитріевна объяснила потомъ, сколько подобныя выходки Николая Петровича смущаютъ Вареньку, когда она нѣсколько разъ повторяла, что она сама должна была привыкнуть къ нимъ поневолѣ— Юринъ уже окончательно помирился; а выслушавъ нѣсколько повѣствованій, въ которыхъ смѣшное шло crescendo (хотя за достовѣрность ихъ никто не могъ бы поручиться), онъ расхохотался неудержимо и воскликнулъ:

— Ахъ, mille pardons! какой оригиналъ!

Анна Дмитріевна не только не прогнѣвалась, она порадовалась бы, еслибъ Юринъ сказалъ что нибудь еще сильнѣе. Она была заранѣе успокоена насчетъ всѣхъ неучтивостей, какія могъ сдѣлать Николай Петровичъ, развѣ ужъ онъ отважился бы на что нибудь необыкновенное; но Анна Дмитріевна могла основательно предполагать, что онъ не отважится.

Время шло чрезвычайно пріятно; увлекаясь, Юринъ разсказалъ самъ нѣсколько анекдотовъ, героями которыхъ были его безчисленные знакомые, и часто его братецъ, Василій Ивановичъ. Понемногу была разсказана вся исторія Василія Ивановича, вмѣстѣ плачевная и комическая, что Юринъ умѣлъ высказать превосходно, по выраженію Анны Дмитріевны.

— Я понимаю васъ, вскричала она: — она трогаетъ ваше сердце и забавляетъ вашъ умъ. Замѣтьте, какъ въ самой жизни объясняется эта теорія ужаснаго и смѣшного, прекраснаго и безобразнаго; поэты правы!

— О, всегда! отвѣчалъ Юринъ, который былъ не силенъ по этой части, но догадался, что при этихъ словахъ было кстати взглянуть на Вареньку.

Анна Дмитріевна видѣла этотъ взглядъ, но была такъ ловка, что не дала этого замѣтить; притомъ, она увлекалась своими нѣсколько литературными сужденіями, столько же желала поразить ими Юрина, сколько желала дать ему высказаться самому еще съ одной занимательной стороны. Юринъ понялъ, что надо поддержать себя и вступилъ въ разсужденія. Что онъ говорилъ, что онъ путалъ — неизобразимо. Слушательница была довольна всѣмъ, восхищалась каждымъ словомъ, такъ что Юринъ, неожидавшій успѣха, ободрился не шутя и увлекся, какъ человѣкъ, у котораго закружилась голова. Послѣ блестящей выходки, гдѣ онъ высыпалъ десятка два именъ собственныхъ, оставя въ сторонѣ постороннія мелочи въ родѣ хронологіи и здраваго смысла и выражаясь, какъ будто читалъ по одному слову на каждой страницѣ книги, которую перелистывалъ, Юринъ обратился къ Варенькѣ, неожиданно спрашивая, согласна ли она съ нимъ?

— У кого-жъ достанетъ силы вамъ возражать? отвѣчала она, невольно смѣясь, не смотря на то, что было тяжело на сердцѣ.

Анна Дмитріевна взглянула на нее строго.

— Ты особенно не въ силахъ возражать, сказала она:—это предметъ слишкомъ глубокій для твоего возраста, твоего знанія свѣта и литературы... Не спрашивайте ее, m-r Юринъ: она читаетъ только то, что ей даютъ, живетъ только сердцемъ, а оно еще такъ свѣжо и молодо!..

— Я тебѣ не совѣтую пускаться въ сарказмы, шепнула она Варенькѣ, воспользовавшись минутою, когда Юринъ заговорилъ съ Шатровскимъ.

Въ свою очередь, пользуясь временемъ, когда Анна Дмитріевна произносила свою рѣчь, Юринъ шепнулъ пріятелю:

— Покажи мнѣ тетушку.

— Подожди.

— Но, смотри, покажи во всей красотѣ: заставь ее любезничать.

— Будь покоенъ: это придетъ само собою.

— Какъ ее зовутъ?

Услыша имя Настасьи Петровны, Анна Дмитріевна обратила вниманіе на разговаривавшихъ. Юринъ извинился, что не слушалъ, потому что спрашивалъ о здоровьѣ родственницы, съ которой горитъ желаніемъ познакомиться.

— О, Alexis! сказала Анна Дмитріевна, грозя пальцемъ.—Нѣтъ, m-r Юринъ, вы становитесь страшны.

— Помилуйте!

— Прежде увѣрьте меня, такъ ли вы добры и снисходительны, чтобъ прощать недостатки, чтобъ эти недостатки, это смѣшное не затемнили въ вашихъ глазахъ...

— Но когда я столько вознагражденъ... сказалъ Юринъ съ неподражаемой любезностью и опять оглянувшись на Вареньку.

— Вы меня восхищаете! вскричала Анна Дмитріевна.—Нѣтъ, знаете, Alexis шалунъ; я не одобряю его шутки. Особа, которая живетъ у меня...

— Но что-жъ вамъ изъ этого? сказалъ дружески Юринъ.

Въ этихъ немногихъ словахъ Юринъ былъ совершенно посвященъ во всѣ отношенія

семейства, среди котораго находился: характеры были опредѣлены; всякій изъ членовъ этого семейства занялъ во мнѣніи Юрина то положеніе, какое было угодно Аннѣ Дмитріевнѣ, и Юринъ нашелъ, что теперь очень пріятно держаться какъ угодно, не обращать ни на что вниманія и смѣяться откровенно; это придало ему необыкновенную развязность.

Настасья Петровна вышла къ столу, вслѣдъ за дѣтьми. Только ея совершенное равнодушіе могло не замѣтить, какой взглядъ обратилъ на нее Юринъ, переглянувшись съ Шатровскимъ. Шатровскій тотчасъ сѣлъ подлѣ нея.

— За что-жъ вчера вы не хотѣли быть у меня? спросилъ онъ тихо и съ упрекомъ.

— Я поручила Варенькѣ извиниться за меня, отвѣчала Настасья Петровна, покраснѣвъ, потому что говорила неправду.

Юринъ смотрѣлъ внимательно; все это его забавляло. Анна Дмитріевна позвала его, и когда онъ оглянулся, слегка покачала головой, какъ будто выговаривая за шалость.

— Варенька мнѣ ничего не сказала, продолжалъ Шатровскій, — и къ тому-жъ, я знаю отговорку: лѣнь, вѣчная лѣнь... Вы меня огорчили. Сознайтесь; вы нехорошо сдѣлали.

— Сознаюсь, если только вамъ было непріятно.

— Вы въ этомъ сомнѣваетесь?

— Мнѣ кажется, для васъ все равно...

Настасья Петровна отвѣчала неловко: ея отвѣтъ сочли за вызовъ на любезность; но, чтò-бъ она ни отвѣчала, все было бы принято такъ же непріязненно. Шатровскій, не задумавшись, продолжалъ свои упреки, съ жаромъ, вполголоса, такъ что зрители могли думать, что они говорили болѣе того, что было сказано въ самомъ дѣлѣ. Взгляды Юрина вызывали его дерзость; фразы не прерывались; никогда еще онъ не чувствовалъ себя въ такомъ припадкѣ краснорѣчія. Возраставшее смущеніе Настасьи Петровны только одушевляло Шатровскаго. Бѣдная дѣвушка вполнѣ чувствовала неловкость своего положенія: другіе недовольно были заняты своимъ разговоромъ, чтобъ не замѣтить дѣйствій Шатровскаго, не вслушаться въ восклицанія, которыя у него вырывались время отъ времени въ отвѣтъ на тихія возраженія Настасьи Петровны. Она взглянула вокругъ себя, но Анна Дмитріевна поняла ея взглядъ и заговорила съ Карзановымъ (обратиться больше было не къ кому). Ей оставалось молчать и она перестала отвѣчать Шатровскому. Тогда Шатровскій самъ такъ рѣзко замолчалъ и отвернулся, что всякій, кто взглянулъ бы на эти два лица, одно измученное, другое раздосадованное, предположилъ бы между ними тайну. Видя, что Настасья Петровна совершенно разстроена, Анна Дмитріевна обратилась къ ней съ вопросомъ, лишь бы заставить ее говорить и полюбоваться ея смущеніемъ. Юринъ насмѣшливо взглянулъ на своего пріятеля, а пріятель скрылъ улыбку, опуская глаза съ самымъ лицемѣрнымъ смущеніемъ. Комедія была бы незанимательна, еслибъ въ ней не было столько же печали, сколько пошлости.

Карзановъ понялъ все какъ нельзя лучше. Наклонясь черезъ столъ, онъ заговорилъ съ Настасьей Петровной совершенно равнодушно, даже безъ особой внимательности, чтобъ и ей самой не дать подумать, что онъ ее утѣшаетъ.

Шатровскій посмотрѣлъ на Юрина.

— O, jeunesse, jeunesse! воскликнула Анна Дмитріевна.

— Что вамъ угодно? спросилъ Карзановъ, обращаясь къ ней, будто не разслышалъ восклицанія.

— Pardon, я говорила не вамъ; вы такъ степенны, разсудительны... Я говорила вотъ этимъ молодымъ людямъ.

Вставъ изъ-за стола, Анна Дмитріевна позвала брата.

— Alexis, послушай. Я не знаю, по какому случаю явился здѣсь опять Карзановъ; но ты меня очень обяжешь, если не дашь ему много разговаривать съ твоей воздыхательницей. Она опять собьетъ съ толку Вареньку.

— Помилуй, что ей въ томъ, кто бы ни занималъ Вареньку?

— О! ты не знаешь старыхъ дѣвъ. Пожалуй, она влюблена и въ тебя, но, видишь ли, явился Юринъ, и я очень хорошо вижу, что ей хочется, чтобъ и онъ ухаживалъ за нею; для этого, значитъ, надо опять толкнуть Карзанова къ Варенькѣ и, я увѣрена, Настасья Петровна уже объ этомъ хлопочетъ.

— Какія глубокія соображенія! вскричалъ Шатровскій, расхохотавшись.—Признаюсь, мнѣ бы и въ голову не пришло.

— Оттого, что вы, мужчины, всѣ самолюбивы и эгоисты. Ужъ если ты самъ доволенъ, то тебѣ нѣтъ дѣла до счастья твоей семьи.

— Чѣмъ я заслужилъ такой упрекъ, милая Аннета? Не я ли старался...

— Хорошо, хорошо. Можете быть увѣрены, что ваши заслуги оцѣнены. Ступайте туда, гдѣ вамъ должно быть.

Анна Дмитріевна не подходила къ Николаю Петровичу и не говорила съ нимъ; съ своей стороны, онъ тоже упрямился; но такъ какъ это упрямство оставляло Аннѣ Дмитріевнѣ совершенную свободу дѣйствовать, то она не приступала къ объясненіямъ, сберегая ихъ до удобной и рѣшительной минуты. Николай Петровичъ еще не рѣшился ни на что; тихій и кроткій, онъ боялся сценъ; увѣренный въ томъ, что правъ, онъ, по добротѣ своей, еще сомнѣвался, такъ ли онъ оскорбленъ, что имѣетъ право дѣлать непріятное другимъ; робкій, онъ надѣялся, что «авось и такъ все обойдется, Юринъ побываетъ, уѣдетъ — и только».

Карзанову было скучно и досадно; дѣло его не подвинулось ни на шагъ. Анна Дмитріевна стала для него отвратительна. Карзановъ не могъ извинить ее желаніемъ выгоднѣе устроить дочь; онъ видѣлъ только, что ея безчувственный разсчетъ разрушаетъ всѣ его надежды; даже, судя какъ посторонній, онъ не понималъ матери, которая, зная, что дѣлаетъ несчастье дочери, продолжаетъ его дѣлать. Онъ спрашивалъ себя: какъ и чѣмъ оправдается предъ собою Анна Дмитріевна, потому что не понималъ людей, которые, поступая дурно, не чувствуютъ необходимости въ самооправданіи... Онъ рѣшился спросить ее, спросить прямо, объясниться...

— Вы сильно задумались, сказала подлѣ него Настасья Петровна.

— Признаюсь, да, отвѣчалъ Карзановъ, которому появленіе ея напомнило и другія обстоятельства этой комедіи.

— Скажите мнѣ, спросилъ онъ: — давно ли такъ любезенъ съ вами Шатровскій?

Настасья Петровна не отвѣчала. Рѣзкость вопроса ее огорчила.

— Простите меня, сказалъ Карзановъ. отгадавъ ея смущеніе. — Кажется, васъ нечего увѣрять, что я преданъ вамъ, всей душой—вы это давно знаете.

Бѣдная дѣвушка едва могла владѣть собой. Первыя добрыя слова, которыя она услышала въ теченіе нѣсколькихъ дней, произвели на нее дѣйствіе, какого не производили даже оскорбленія; у нея навернулись слезы.

— Какъ вы позволяете ему? какъ вы его не остановите? сказалъ Карзановъ безъ объясненій, потому что и такъ все было ясно.

— Что-жъ я могу сдѣлать? возразила Настасья Петровна: — развѣ я могу сказать что нибудь прямо? я завишу отъ всѣхъ!

Эти слова были произнесены съ такимъ отчаяніемъ, какого Карзановъ еще никогда не видѣлъ у этого терпѣливаго созданія.

— Ради Бога, успокойтесь, сказалъ онъ, взволнованный не менѣе ея: — еслибъ я имѣлъ какое нибудь право сказать этому Шатровскому... Но я сейчасъ иду къ Аннѣ Дмитріевнѣ, я потребую, чтобъ она рѣшила мою участь. Вы любите Вареньку, вы не разстанетесь съ нею — не правда ли? вы не откажетесь жить съ моею матерью?

Изъ всего, что говорилъ Карзановъ, Настасья Петровна, казалось, поняла только одно.

— Вы хотите идти къ Аннѣ Дмитріевнѣ, вскричала она съ испугомъ. — Такъ вы хотите, чтобъ вамъ отказали? Развѣ вы не видите, что она добивается, чтобъ Юрину понравилась Варенька?

— Потому-то я и хочу объясниться съ нею.

— Напротивъ, дождитесь, чтобъ Юринъ совсѣмъ уѣхалъ отсюда: онъ никогда не полюбитъ Вареньку, онъ не съумѣетъ понять ее. Подождите хоть нѣсколько дней.

— Я не вынесу этихъ нѣсколькихъ дней, возразилъ Карзановъ: — и они ни къ чему не поведутъ.

— Во всякомъ случаѣ не будетъ хуже.

— Но это общество для меня нестерпимо...

Она не успѣла отвѣчать, какъ Шатровскій, присланный сестрою, подошелъ къ нимъ. Онъ пришелъ звать Настасью Петровну: всѣ сбирались гулять; для всѣхъ, кромѣ Карзанова, велѣли сѣдлать лошадей. Шатровскій, который распоряжался прогулкой, старался дать Карзанову замѣтить, что его исключили съ намѣреніемъ, но Карзановъ не обратилъ на это вниманія. Онъ попросилъ Николая Петровича приказать осѣдлать для него лошадь, и вскорѣ все общество собралось на крыльцѣ.

— Тебѣ, видно, измѣнили? спросилъ Юринъ Шатровскаго, не видя Настасьи Петровны.

— Э, мой милый! стоило сказать одно слово—и она побѣжала одѣваться.

Варенька пришла въ амазонкѣ и фуражкѣ.

— M-r Юринъ будетъ такъ добръ, что позаботится о тебѣ, сказала ей Анна Дмитріевна.

— Позвольте начать это сейчасъ же, сказалъ Юринъ, подходя, чтобъ помочь сѣсть на сѣдло.

Но Карзановъ предупредилъ его, ставъ между нимъ и Варенькой.

— Не бойтесь, сказалъ онъ:—я поѣду съ вами рядомъ всю дорогу.

Анна Дмитріевна была поражена.

— И вы ѣдете? почти вскричала она, забывъ улыбку, подъ которой скрывала всегда свой гнѣвъ и свое изумленіе.

— Да, отвѣчалъ Карзановъ: — прогулка такъ пріятна, что я не могу отказать себѣ въ этомъ удовольствіи... Дадимте имъ мѣсто, прибавилъ онъ, вскочивъ на свою лошадь и отводя за поводъ лошадь Вареньки, и прибавилъ тихо: «мы будемъ одни цѣлый часъ!»

— Я не знала, что это такъ хорошо устроится, сказала Варенька такъ же тихо.

Юринъ замѣтилъ бы этотъ разговоръ и обидѣлся бы не на шутку, еслибъ Анна Дмитріевна дала ему время замѣтить и обидѣться; она сдѣлала знакъ Шатровскому и тотъ предложилъ Василію Ивановичу садиться. Какъ красавецъ и бывшій кавалеристъ, Юринъ не могъ не подшутить надъ неловкостью своего братца и расхохотался сколько было силъ, взглянувъ на Василія Ивановича.

— Ну, мой милый, твоя очередь, сказалъ онъ Шатровскому. — Веди свою принцессу. Желаю удовольствія.

Настасья Петровна, въ простой соломенной шляпкѣ и черномъ суконномъ плащѣ, сошла и молча сѣла въ кабріолетъ. Шатровскій сѣлъ тоже молча и подобралъ возжи.

— Вамъ не будетъ жарко? спросила Анна Дмитріевна, бросивъ неизобразимый взглядъ на этотъ старенькій плащъ.

Она не получила отвѣта. Кабріолетъ поѣхалъ.

— Au revoir donc, сказалъ Юринъ, ловко вспрыгивая на сѣдло; онъ еще ловче перегнулся, поцѣловалъ руку Анны Дмитріевны и поскакалъ къ воротамъ, гдѣ его дожидали.

— М-r Юринъ, поручаю вамъ Вареньку! закричала ему вслѣдъ нѣжная мать.

Варенька и Карзановъ были уже за воротами.

— Куда-жъ мы ѣдемъ? спросилъ Шатровскій, увидя Юрина.

— Я ѣду впередъ, отвѣчала громко Варенька.— Къ вашему дому, сказала она тихо Карзанову:—я еще не была тамъ никогда.

— Кто можетъ милѣе придумать? сказалъ онъ.

— Вамъ нравится? для чего-жъ вы никогда меня не звали въ эту сторону? Такъ близко!

— И такъ далеко, Варенька!

— Не говорите этого, возразила она: — не говорите ничего печальнаго, не отнимайте у меня мужества. Я хочу быть весела, потому что мы одни... одинъ часъ, но онъ мой. Покажите мнѣ хоть издали вашъ домъ. Боже мой! еслибъ только...

— Что, моя милая?

— Если когда нибудь я проѣду опять по этой дорогѣ...

— Къ нашему дому, Варенька?.. Онъ тѣсенъ и бѣденъ.

Она обратила къ нему свое личико, ярко освѣщенное вечернимъ солнцемъ, которое заставляло ее немного зажмурить глаза.

— Кто вамъ позволилъ это говорить? сказала она съ притворнымъ капризомъ, какіе придумываются иногда для того, чтобъ разнообразить выраженіе любви.

Они спустились съ горы къ плотинѣ.

— Леонидъ! закричалъ Шатровскій: — видишь ли ты тамъ, въ саду, скамеечку подъ сиренями? Не правда ли, настоящій пріютъ для любви и мечтаній?

— Кто-жъ тамъ мечтаетъ?

— Моя племянница; спроси ее.

— Въ самомъ дѣлѣ? сказалъ Юринъ, подъѣхавъ ближе къ Варенькѣ.

— Заповѣданный пріютъ, мой любезный. Не знаю, какихъ счастливцевъ туда допускаютъ, меня допустили всего одинъ разъ.

— Эти счастливцы, вѣроятно, одни зефиры?

— Ну, можетъ быть, и люди.

— Сумасшедшій этотъ Шатровскій! сказалъ Юринъ Варенькѣ, смѣясь. — Вы прекрасно дѣлаете, что не пускаете его въ вашу бесѣдку.

— И тебя не примутъ, не безпокойся.

— Неужели я не могу надѣяться? спросилъ Юринъ, любезничая.

— Не можете, отвѣчала она спокойно.

— Какой вздоръ! вскричалъ съ досадой Шатровскій, услыша ея отвѣтъ и громкій смѣхъ Карзанова.—Это даже неучтиво, Варенька, и за то ты должна пригласить Леонида и меня пить чай въ твоей бесѣдкѣ, какъ только мы воротимся.

— За что вы хотите сдѣлать ей неудовольствіе? вступилась тихо Настасья Петровна.

— За то, что она дурачится, возразилъ Шатровскій.

Юринъ между тѣмъ любезничалъ, умоляя Вареньку.

— Вы напрасно трудитесь, сказалъ ему Карзановъ: — слышите, какъ вступается вашъ другъ?

— Вы вступаетесь тоже? вскричалъ Шатровскій.

— Только не за васъ.

— Конечно, ей дорога эта скамейка по какимъ нибудь сувенирамъ, которые она прячетъ въ своемъ рабочемъ ящикѣ...

— Если вамъ понравилась моя скамейка, сказала Варенька насмѣшливо: — пожалуй, приходите, когда хотите.

— Вы зовете ихъ? вскричалъ Карзановъ.

— Зоветъ! сказалъ, торжествуя, Шатровскій.—Леонидъ, идемъ.

— Непремѣнно, сказалъ Юринъ.

— Непремѣнно, повторилъ Василій Ивановичъ, какъ будто звали и его.

За споромъ ѣхали тихо, и еще не миновали плотины. Въ прудѣ ловили рыбу. Варенька увидѣла приказчика и подозвала его.

— Что тебѣ нужно? спросилъ Шатровскій.

— Это до васъ не касается. Прикажите, продолжала она приказчику такъ тихо, что слышали только онъ и Карзановъ—прикажите вытащить неводъ на ту сторону, видите, прямо къ скамейкѣ и сломать эту скамейку, сейчасъ же, только что мы проѣдемъ. Я послѣ сама скажу папенькѣ.

— Что тебѣ надо, Варенька? повторилъ Шатровскій.

Но Варенька скакала впередъ съ Карзановымъ.

— Какъ благодарить васъ? сказалъ онъ.

— За что? за то, что я не хочу, чтобъ эти люди приходили туда, гдѣ я была такъ счастлива?

Ни у кого не бываетъ минутъ такого полнаго самозабвенія, какъ у людей, сознавшихъ, что они вполнѣ несчастны; опредѣливъ свое положеніе, они отдаются впечатлѣніямъ другого рода, впечатлѣніямъ утѣшающимъ, со всѣмъ жаромъ души, которой необходимо забвеніе со всей чувствительностью болѣзни, со всѣмъ увлеченіемъ раздраженія... Варенька поняла, наконецъ, чего хотѣлось ея матери; она испугалась, но только на одну минуту. Женщина, любимая и любящая, она поняла также, что некого звать ей на помощь, что вся ея защита и сила въ ней самой, и рѣшилась въ ту же минуту. Она вполнѣ отдалась счастью; она говорила, шутила, смѣялась только съ Карзановымъ, и по увлеченію сердца, и по женскому разсчету, который сказалъ ей, что явное предпочтеніе одному отдаляетъ другого. Какъ забывчивый ребенокъ, она не заботилась даже объ учтивости, даже не оглянулась на Юрина; когда завидѣла усадьбу Карзанова, круто повернула по дорогѣ и помчалась такъ скоро, какъ нельзя было ожидать отъ ея робости...

— Берегитесь! повторилъ Карзановъ, слѣдуя за нею.

— Чего бояться? отвѣчала она, останавливаясь подъ липами, которыми былъ обнесенъ садъ его:—развѣ мы не вмѣстѣ?

Золотое облако пыли закрывало дорогу и остальныхъ спутниковъ; маленькія окна дома сверкали изъ-за деревьевъ; надъ кровлей вились бѣлые голуби. Варенька съ любопытствомъ заглядывала подъ вѣтки на этотъ скромный уголокъ, который будто старался показаться ей привѣтливѣе и красивѣе, между тѣмъ какъ Карзановъ схватилъ ея руку и видѣлъ только ее одну.

— Мнѣ бы хотѣлось этотъ цвѣтокъ, сказала Варенька, показывая на желтыя капуцинки, перевитыя по высокимъ палочкамъ.

Карзановъ сошелъ съ лошади, привязалъ ее, перебѣжалъ чрезъ валъ, окружавшій садъ, и возвратился съ цвѣтами и съ вѣткой вишень.

— Какая прелесть! вскричала Варенька:—когда-жъ онѣ могли поспѣть?

— Выставлены изъ оранжереи; я сломалъ мимоходомъ отвѣчалъ молодой человѣкъ, совершенно счастливый ея дѣтскимъ восхищеніемъ...

Шатровскій и другіе подъѣхали въ эту минуту.

— Куда вы заѣхали, Варенька? спросилъ онъ съ досадой, останавливая кабріолетъ, между тѣмъ какъ Юринъ рисовался на своемъ конѣ гордый и безмолвный.

— Чью вы это оранжерею разорили? сказалъ Василій Ивановичъ, который одинъ изъ своей компаніи казался въ хорошемъ расположеніи духа.

— Мою собственную, отвѣчалъ Карзановъ, садясь на лошадь.—Куда мы ѣдемъ теперь? спросилъ онъ Вареньку.

— Я думаю, домой, возразилъ Шатровскій:—или пустить ее опять скакать сломя голову... Какъ ты разскажешь это матери, Варенька?

— Очень просто, отвѣчала она, отправляясь впередъ.

Возвратясь домой, между тѣмъ какъ Юринъ и его братецъ нашли необходимымъ поправить свой туалетъ, разстроенный верховой ѣздой, Шатровскій остановилъ Вареньку, которая шла въ свою комнату.

— Послушай, сказалъ онъ:—я тебя предупреждаю, что изъ этого не выйдетъ ничего хорошаго; ты ведешь себя неприлично. Ни одна порядочно воспитанная дѣвушка не позволитъ себѣ дѣлать это при постороннихъ. Что за короткость съ Карзановымъ?

Варенька была раздражена и громко засмѣялась.

— Для васъ будетъ ново узнать, что я его люблю?

— Ты съ ума сошла, Варенька!

— Что-жъ, развѣ лучше скрытничать и притворяться? Какъ это похоже на вашу прежнюю мораль!

— Но въ глазахъ другихъ онъ тебѣ посторонній.

— Мои отецъ и мать знаютъ, что онъ для меня, до другихъ мнѣ нѣтъ дѣла.

— Но хоть бы изъ вѣжливости, одно слово Юрину.

— Вы знаете, я не люблю пустыхъ словъ, а еще болѣе пустыхъ людей.

— Этотъ пустой человѣкъ можетъ быть твоимъ мужемъ.

— Что такое? сказала Варенька, громко смѣясь, но блѣднѣя, потому что въ первый разъ услышала эти слова.—За кого-жъ считаете меня, дядя? Вы дѣлали мнѣ честь: находили, что я неглупа.

— Ты дерзка! вскричалъ Шатровскій, выходя изъ себя отъ смѣлаго противорѣчія какъ человѣкъ, сбившійся съ толку, для котораго здравый смыслъ другихъ кажется оскорбленіемъ. — Ты должна была бы подумать, что у тебя три брата и сестра и что съ твоимъ Карзановымъ вамъ останется питаться салатомъ изъ капуцинокъ...

— А вы должны вспомнить, возразила Варенька:—что выходить замужъ за человѣка потому только, что онъ богатъ—нечестно.

— Будь покойна: Юринъ и не поглядитъ на дѣвушку съ такимъ страннымъ обращеніемъ.

— Вы понимаете, что это меня нисколько не огорчитъ.

— Что ты скажешь, когда узнаетъ мать?

— То есть, когда вы ей перескажете?.. то же, что говорю вамъ теперь.

— Въ самомъ дѣлѣ? сказалъ, смѣясь, Шатровскій.—О много вы начитались романовъ съ вашей тетушкой!

— Послушайте, вскричала Варенька:—со мной вы можете дѣлать, что хотите, но ни слова о тетушкѣ! Вы обращаетесь съ нею безчеловѣчно. Ради Бога, есть ли у васъ сострраданіе? Вспомните, что ей всякую минуту доказываютъ, что она живетъ здѣсь изъ милости, а вы рѣшаетесь шутить надъ нею, надъ этимъ ангельскимъ сердцемъ! Дядя, милый, хорошо ли это? Что она вамъ сдѣлала?

— Да вѣдь я не виноватъ, если она въ меня влюбилась, возразилъ Шатровскій.

— Боже мой! вскричала Варенька, не находя слова для упрека.

— Я ухаживаю за нею для ея же удовольствія, продолжалъ Шатровскій, готовый образумиться, но снова увлекаясь фразой.

— Оставьте меня, сказала Варенька: вы смѣшны и жалки.

Она ушла, услыша шаги матери. Шатровскій былъ раздосадованъ и, не опомнясь, разсказалъ сестрѣ всѣ подробности гулянья.

— Какъ знаешь, заключилъ онъ.—Юринъ навѣрное, взбѣшенъ и все дѣло пропало съ перваго шага отъ глупостей Вареньки; я не берусь поправить.

Анна Дмитріевна выслушала въ глубокомъ молчаніи; она обдумывала.

— Гдѣ Карзановъ? спросила она.

— Гдѣ нибудь съ Николаемъ Петровичемъ... Или нѣтъ, слышишь, для него разыгрываетъ сонату Настасья Петровна.

— Прикажи позвать Вареньку и приведи Юрина.

Варенька явилась минутой раньше. При входѣ Юрина, Анна Дмитріевна, молчавшая до тѣхъ поръ, сдѣлала видъ, что продолжаетъ разговоръ.

— М-r Юринъ, видали вы когда нибудь такую шалунью? Подите сюда, я при васъ прочту ей урокъ. Вы замѣтили этого молодого человѣка, что гулялъ съ вами? Ей вздумалось посмотрѣть, до какой степени онъ умѣетъ быть любезнымъ... Взгляните: букетъ... Ah, mon Deiu, le pauvre homme! нарвалъ желтыхъ цвѣтовъ для блондинки, обломалъ свои вишни—все, чѣмъ онъ обладаетъ! Нѣтъ, Варенька, въ другой разъ не шути такъ жестоко, ты разоришь этого бѣдняка... Что за живой характеръ!

— Замѣтилъ ты, какъ онъ подпрыгиваетъ, когда скачетъ? сказалъ Шатровскій.

— Ахъ, Варенька! продолжала Анна Дмитріевна:—но докончи-жъ, разскажи твое восхищеніе ѣздой m-r Юрина... Вы попали въ самый разгаръ похвалъ, m-r Юринъ. Она такое дитя...

— Вамъ нравится моя ѣзда? спросилъ Юринъ, дорожившій своими физическими совершенствами и убѣжденный, что противъ нихъ устоять невозможно.

Варенька понимала, что если она промолчитъ еще одну минуту, то все кончено, и Карзанову запретятъ бывать въ ихъ домѣ.

— Вы прекрасно ѣздите, отвѣчала она.

— Брось же эти глупыя капуцинки, сказала мать:—я не могу ихъ видѣть.

И, взявъ букетъ изъ рукъ Вареньки, она смяла его и бросила за окно.

— Пойдемте въ маленькую залу, monsieur Юринъ, Варенька сыграетъ и споетъ

вамъ что нибудь; она небольшая охотница, но это ей за то, что она такъ много шалила сегодня.

Анна Дмитріевна взяла дочь подъ руку и увела вслѣдъ за собою.

II.

Въ двѣ недѣли жизнь въ домѣ Николая Петровича приняла особенный оттѣнокъ и пошла въ такомъ порядкѣ, какъ будто ужъ давно такъ сложилась.

Юринъ пріѣзжалъ всякій день то съ Шатровскимъ, то одинъ, то въ сопровожденіи братца, или Домникова. Его ожидали. Его мѣсто подлѣ столика Анны Дмитріевны было не занято; завтракъ былъ приготовленъ по его вкусу; хозяйка сама наливала ему кофе; онъ любилъ все горячее и, вслѣдствіе этого, дѣти ничего не могли проглотить за обѣдомъ. Юринъ курилъ цѣлый день и Анна Дмитріевна нашла, что это излечиваетъ ее отъ головокруженій, на которыя она прежде жаловалась. Всѣ привычки Юрина были отгаданы и затвержены; всѣ остроты его помнились, всѣ его сужденія считались непреложными. Всякое его движеніе замѣчалось по своей граціи, всякій поступокъ, разсказанный о немъ, удивлялъ своимъ благородствомъ... Юрину было очень хорошо.

Онъ проводилъ утро между Анной Дмитріевной и Варенькой. Одинъ разъ, какъ-то Анна Дмитріевна предложила ему читать вслухъ; Юринъ не отказался, потому что занятіе показалось ему въ высшей степени «аристократическимъ», но Анна Дмитріевна замѣтила, что оно затруднительно и умѣла прекратить его, будто вспомнивъ, что, кромѣ этого сухого занятія, у нихъ есть еще многое, что сказать другъ другу. Юринъ былъ неистощимъ въ разсказахъ, когда не церемонился: Анна Дмитріевна сказала, что онъ заставилъ ее открыть въ себѣ новую сторону характера—веселость, которой до сихъ поръ не испытывала никогда въ такой сильной степени. Варенька большею частью молчала; но матери нужно было только, чтобъ она была тутъ. Юринъ посылался ей на номощь разматывать шелки, кормить голубей, срѣзывать букеты для гостиной. Онъ былъ доволенъ также, потому что это доставляло случай сказать любезность, отъ которой Варенька краснѣла; если она возражала, или останавливала его рѣзко, мать была всегда тутъ и говорила, улыбаясь и обнимая ее:

— Извините мою дикарку, m-r Юринъ.

Впрочемъ, у Анны Дмитріевны были всегда готовы средства заставить m-r Юрина положить гнѣвъ на милость; она посылала Вареньку играть съ нимъ въ воланъ, кататься вдвоемъ въ лодкѣ. Если Варенька отказывалась отъ этихъ забавъ, Анна Дмитріевна дѣлала ей тихо, но выразительно замѣчаніе, что на нее дѣйствуетъ примѣръ ея тетки, и, вслѣдъ затѣмъ, тотчасъ находила случай сказать или сдѣлать что нибудь непріятное Настасьѣ Петровнѣ. Варенька покорялась, чтобъ не заставлять терпѣть другихъ. Анна Дмитріевна понимала, что въ глазахъ Юрина немного значатъ душевныя совершенства и семейныя добродѣтели, и потому не заботилась много выказывать Вареньку съ этой прекрасной, но нѣсколько скучной и прозаической стороны. Юринъ замѣтно восхищался красотою Вареньки и ничто не пропускалось, чтобъ дать ему случай еще восхищаться, и это дѣлалось очень просто и натурально; такъ, напримѣръ, гуляя въ саду съ Юринымъ, Анна Дмитріевна затруднялась отличить на дорожкахъ слѣды Вареньки отъ слѣдовъ ея маленькихъ братьевъ. Еслибъ Юринъ въ самомъ дѣлѣ зналъ женщинъ, какъ онъ этимъ хвалился, онъ удивился бы изобрѣтательности Анны Дмитріевны; но онъ просто и безъ малѣйшаго подозрѣнія отдавался ей въ руки. Черезъ нѣсколько дней она могла уже поздравить себя съ успѣхомъ, но, всегда и во всемъ основательная, не торопила рѣшительной минуты. Она только продолжала начатое съ одинаковымъ увлеченіемъ, но и съ спокойствіемъ, оградясь со стороны Николая Петровича такимъ безмолвіемъ, такою осторожностью и мѣрой во всѣхъ своихъ видимыхъ дѣйствіяхъ, что еслибъ мужъ вздумалъ спросить ее, что она дѣлаетъ, она могла бы отвѣчать съ удивленіемъ:

— А что я дѣлаю, другъ мой?

Шатровскій благоговѣлъ передъ нею. Анна Дмитріевна употребляла его вездѣ, какъ двигателя, исправителя неловкостей и исполнителя ея воли. Должность показалась Шатровскому слишкомъ хлопотлива, но, отдавшись въ волю сестрѣ одинъ разъ, онъ уже не могъ избавиться. Сверхъ того, онъ былъ обязанъ, какъ возможно чаще, добиваться откровенности Юрина въ отношеніи его чувствъ, сколько можно развивать эти чувства, и обо всемъ доносить подробно. Анна Дмитріевна выслушивала, дѣлая чрезвычайно тонкіе и блестящіе комментаріи и, въ заключеніе, новыя наставленія брату. Все это было полно фразъ. Шатровскій погибалъ въ фразахъ; онъ дошелъ до того, что

соглашался только съ фразами, машинально, не вѣря, потому что ему была лѣнь вникнуть и вѣрить. Простыя слова казались ему только рѣзкими, и онъ не находилъ въ нихъ смысла... Впрочемъ, онъ и не слышалъ ихъ.

Въ отношеніи къ Шатровскому, всѣ приняли странное и холодное положеніе. Николай Петровичъ убѣгалъ его; Настасья Петровна молчала, будто покоряясь; Варенька обращалась съ самымъ равнодушнымъ презрѣніемъ. Она все портила, потому что, затрогивая самолюбіе, она вызывала его на бой. Затронутое самолюбіе не можетъ быть покойно, даже у самаго апатичнаго человѣка. Шатровскій считалъ себя въ правѣ отплачивать Варенькѣ, не размышляя ни минуты, что она не нападала, а только защищалась. Николай Петровичъ былъ отодвинутъ на второй планъ; но и безъ того Шатровскій былъ увѣренъ, что Варенька не обратится къ нему съ своей жалобой: онъ былъ покоенъ, разсчитывая на благородство молодой дѣвушки, и не замѣчалъ, сколько этотъ разсчетъ унижалъ его самого: напротивъ, ему было весело, ему прибавилось занятіе; онъ былъ увѣренъ, что всякій день встрѣтится маленькая исторія и будетъ имѣть всю пріятность спектакля, въ которомъ, пожалуй, онъ и самъ возьметъ роль, но, сыгравъ ее, уснетъ такъ же спокойно, потому что до сердца его ничто не коснется. И тѣмъ лучше; если встрѣчаются подобныя исторіи; чѣмъ больше ихъ, тѣмъ лучше: день идетъ разнообразнѣе.

Какъ мудрецъ, довольный собой и ограниченный въ своихъ желаніяхъ, Шатровскій и не замѣчалъ, что дни шли очень однообразно, что человѣкъ съ умомъ и сердцемъ могъ бы помѣшаться отъ скуки и измучиться отъ печали, видя какъ нарочно портятъ жизнь, которая могла бы идти умно и счастливо. Игра въ колкости съ Варенькой, игра въ чувство съ Настасьей Петровной наполняли для него часы, которые оставались отъ игры въ преферансъ съ Домниковымъ. Въ одно утро Юринъ привезъ старичка и разсказалъ, смѣясь, что онъ выпросилъ у него проценты за слѣдующіе полгода. Анна Дмитріевна, какъ должно было ожидать, удивилась благородной снисходительности молодого человѣка и выговаривала ему за расточительность хоть бы даже для добраго дѣла; Анна Дмитріевна позволяла себѣ дѣлать Юрину выговоры, когда они такъ легко сбивались на комплименты. Но «эта благородная снисходительность», доставивъ старику средства, пробудила въ немъ снова желаніе покутить. Не спрашивая согласія, Домниковъ раскинулъ карточный столъ и позвалъ Шатровскаго. Шатровскій въ эту минуту былъ утомленъ длинной прогулкой, которую совершилъ, преслѣдуя Настасью Петровну; онъ былъ радъ сѣсть на мѣсто. Гуляя, онъ такъ много толковалъ о сильныхъ, непреодолимыхъ увлеченіяхъ, что не могъ играть по маленькой.

— Пожалуй, извольте, съ удовольствіемъ, отвѣчалъ Домниковъ, когда Шатровскій назначилъ большую игру.

Домниковъ боялся только, чтобъ онъ не отказался. Въ три дня Шатровскій выигралъ у него всѣ его деньги.

— Позвольте отыграться: — говорилъ старичокъ, со страхомъ и надеждой.

— Согласитесь, сказалъ Шатровскій: — что игра неровна, я могу только проиграть.

Домниковъ не подумалъ, что отвѣтъ былъ неучтивъ, онъ нашелъ его только основательнымъ и побѣжалъ на террасу, гдѣ былъ Юринъ.

— Леонидъ Васильевичъ, шепнулъ онъ, отозвавъ его:—не можете ли вы мнѣ одолжить?

— Какъ, еще! вскричалъ Юринъ расхохотавшись:—да вы ненасытимы! Посмотрите, mesdames, это въ лицахъ «Жизнь игрока»! Помилуйте, едва мѣсяцъ, какъ вы мнѣ продали вашу усадьбу, взяли за цѣлый годъ впередъ страшные проценты — чего же вы еще отъ меня хотите?

— Я прошу васъ объ одолженіи... заговорилъ Домниковъ, пугаясь гласности, которую принимало дѣло.

— Какое же одолженіе, помилуйте! Такъ вы, пожалуй, переберете весь вашъ капиталъ въ видѣ процентовъ, прежде нежели я сколько нибудь имъ воспользуюсь, а я все еще буду оставаться вамъ долженъ. Это недурно придумано!

— Чѣмъ вы считаете меня? прервалъ старикъ, вспыхнувъ.

— Да ровно ничѣмъ, сказалъ Юринъ. — Если вы намѣрены сыграть со мной эту штуку: забрать проценты, да представить росписку...

— Леонидъ Васильевичъ... сказала Варенька.

Она не могла видѣть, какъ оскорбляли человѣка, который любилъ ее искренно. Но Юринъ ничего не видѣлъ и не слышалъ, когда бывалъ занятъ деньгами. Анна Дмитріевна строго взглянула на дочь.

— Что ты вмѣшиваешься? сказала она:— развѣ это твое дѣло? Поди въ свою комнату.

— Милостивый государь, говорилъ Домниковъ: — ваша росписка со мною и я сію минуту исключу изъ капитала все, что получилъ отъ васъ... Будьте покойны: я человѣкъ бѣдный, но благородный, милостивый государь, я лучше соглашусь потерять...

— Дѣло другое, если вы роспишитесь, что получили въ счетъ капитала, отвѣчалъ развязно Юринъ;—я на это согласенъ.

— Я готовъ сію минуту, милостивый государь, повторилъ Домниковъ:—сію минуту, потому что мнѣ легче лишиться своей собственности...

— Пройдите въ мой кабинетъ, m-r Юринъ, сказала любезно Анна Дмитріевна, видя, что онъ направлялся къ двери: — вы найдете тамъ перья и чернила.

— И вы еще будете играть? спросила Варенька, подходя къ окну гостиной, изъ котораго Шатровскій, сидя предъ карточнымъ столомъ, смотрѣлъ на всю эту сцену.

— Буду-съ, отвѣчалъ онъ, насмѣшливо кланяясь.

— Чѣмъ же этотъ несчастный старикъ проживетъ цѣлый годъ?

— Чѣмъ ему угодно, отвѣчалъ Шатровскій съ любезностью, которая была способна вывести изъ терпѣнія.

— Знаете ли, что вы дѣлаете?

— Оставь меня въ покоѣ, Варенька! Развѣ я обязанъ знать чужія дѣла? Ну, хочетъ онъ играть — играетъ; развѣ я его принуждаю!

— Зачѣмъ же вы дожидаетесь его за карточнымъ столомъ? Вы его искушаете, подстрекаете его самолюбіе.

— Боже мой, какія тонкости! Ну, такъ надо его проучить, чтобъ не дурачился.

Домниковъ возвратился разстроенный и съ раскраснѣвшимся лицомъ.

— Что, матушка-барышня, сказалъ онъ, удерживая волненіе: — поглядѣть на насъ пожаловали? Видите, какъ бьемся, «то сей, то оный на бокъ». Кому изъ насъ сдавать, Алексѣй Дмитричъ?

— Вамъ, кажется, отвѣчалъ хладнокровно Шатровскій. — Варенька, спроси мой porte-cigare у Юрина.

— Я, знаете, люблю разомъ кончать дѣла, продолжалъ Домниковъ, когда отошла Варенька.—Сейчасъ вспылилъ-было немножко, да одумался и совсѣмъ иначе поладилъ съ Леонидомъ Васильевичемъ: переписалъ вновь свою росписку.

— Какъ же вы сдѣлали? спросилъ Шатровскій, записывая выигрышъ: — вы безъ одной.

— Въ самомъ дѣлѣ? Да вотъ, немножко разсѣялся... Я переписалъ росписку. Вы знаете, когда я совершилъ купчую Леониду Васильичу, то вмѣсто денегъ взялъ росписку, что онъ состоитъ мнѣ долженъ двѣ тысячи рублей серебромъ. Теперь, думаю, что брать все понемногу, да процентами, лучше взять разомъ половину. Такъ и сдѣлалъ: онъ сейчасъ далъ мнѣ росписку въ тысячѣ рубляхъ, срокомъ на годъ, да немного наличными, къ той суммѣ, что я уже забралъ, а въ остальныхъ сочтемся завтра.

— Прекрасно! сказалъ Шатровскій:—вы опять ремизъ.

— Батюшки! что это я снесъ, я съума сошелъ!

— Какое наивное сознаніе! сказала Анна Дмитріевна Юрину, услышавъ это восклицаніе.

— Да. Уморительный старичишка, и какой придирчивый!

— Онъ тяжелъ.

— Мнѣ никогда не тяжело съ нимъ развязаться, отвѣчалъ съ достоинствомъ Юринъ:—еслибъ онъ самъ не напрашивался, чтобъ я былъ его должникомъ, потому что въ моихъ рукахъ его деньги вѣрны...

Анна Дмитріевна взглянула на Вареньку, будто желая сказать:

«Вотъ какого человѣка ты не понимаешь!»

Будто въ оправданіе Шатровскому, Домниковъ не выпустилъ его изъ-за картъ, когда пришли звать гулять.

—Милая барышня, сказалъ онъ Варенькѣ,—вамъ все кусточки да лужочки, а тутъ участь человѣка рѣшается.

Онъ въ эту минуту оставилъ Шатровскаго безъ двухъ. Но къ вечеру, когда общество возвратилось, оно нашло игравшихъ погруженными въ могильное безмолвіе. Столъ, карты, свѣчи, лица игроковъ — все было мрачно. Шатровскій выигрывалъ.

— Какое странное впечатлѣніе производитъ игра! сказала Анна Дмитріевна Юрину: — она увлекаетъ и другихъ. Давайте играть въ лото на конфекты.

Анна Дмитріевна приказала подать лото. Въ немъ участвовали и дѣти, и Василій Ивановичъ, счастливый болѣе нежели дѣти; корзина съ конфектами довершала удовольствіе. Юринъ доставилъ себѣ еще другое: онъ высыпалъ на столъ свой porte-monnaie и ставилъ нумера червонцами. Онъ проигралъ Варенькѣ и, явившись чрезъ день, привезъ ей великолѣпную бонбоньерку. Шатровскій разсказалъ во всеуслышаніе, что за этой бонбоньеркой былъ отправленъ на-

рочный, который сдѣлалъ болѣе двухсотъ верстъ менѣе чѣмъ въ сутки, что лучшія верховыя лошади Юрина были высланы ему для подставы и что двѣ изъ нихъ едва ли останутся живы...

— Что дѣлается иногда для того только, чтобъ добиться улыбки женщины! заключилъ Шатровскій, обращаясь къ Настасьѣ Петровнѣ, между тѣмъ какъ Анна Дмитріевна ахала и выговаривала Юрину за баловство ея дочери.

Юринъ былъ въ восхищеніи, что удалось блеснуть, что есть пріятель, умѣющій ловко разсказывать, и что Варенька сконфужена, такъ что въ любви ея сомнѣваться невозможно.

— Поблагодари же, дитя мое, сказала нѣжно Анна Дмитріевна, видя, что Варенька стоитъ неподвижно съ бонбоньеркой въ рукахъ.

— Ты, кажется, не знаешь, что съ ней сдѣлать? сказалъ Шатровскій, смѣясь и торжествуя.

— Знаю, отвѣчала Варенька... то же, что вы сдѣлали съ букетомъ Карзанова, договорила она на-ухо матери, и убѣжала изъ комнаты, потому что не могла болѣе вынести.

— Ахъ, милое созданіе! сказала Анна Дмитріевна, не теряясь и взявъ оставленную бонбоньерку:—вашъ подарокъ мнѣ дорого стоитъ, m-r Юринъ.

Настасья Петровна испугалась выраженія лица счастливой матери; она поспѣшила за Варенькой, но въ дверяхъ услышала еще слова Анны Дмитріевны:

— Въ мелочахъ бываетъ что-то роковое... я скажу тебѣ, Alexis...

Юринъ былъ увѣренъ, что Шатровскій все ему перескажетъ, но Анна Дмитріевна предвидѣла, что братъ будетъ не въ состояніи скрыть свои чувства, когда она скажетъ ему настоящія слова Вареньки, и потому отвела его въ сторону.

— Что-жъ тутъ дѣлать? спросилъ Шатровскій, разсмѣявшись, когда услышалъ печальную истину. — Вотъ и всѣ твои хлопоты, Аннета.

— Я не вижу здѣсь ничего забавнаго, возразила она съ негодованіемъ;—а затрудняться такими бездѣлицами могутъ только ненаходчивые, безхарактерные люди.

— Какъ же мнѣ прикажете поступить? сказалъ Шатровскій, оскорбляясь, въ свою очередь:—онъ спроситъ, что такое сказала Варенька матери? и я отвѣчу...

— Что она сказала:—«какой онъ душка, какъ онъ милъ, какъ я его люблю».— Что нибудь въ этомъ родѣ.

— Ты великая женщина, Аннета! Да онъ послѣ этого сейчасъ посватается.

— Видишь ли? Я знаю человѣческое сердце.

— Когда прикажешь сказать?

— Когда знаешь. Но объясненіе не раньше завтрашняго дня; мнѣ надо еще приготовить ее.

Анна Дмитріевна взяла бонбоньерку и отправилась къ Варенькѣ.

Въ послѣднее время, съ тѣхъ поръ какъ Юринъ почти поселился въ ея домѣ, Анна Дмитріевна приняла особую манеру держаться съ дочерью. Ея нѣжности не было конца; ея заботливость не знала усталости; то и другое не оставляло Варенькѣ свободной минуты. Варенька почти не видѣла Настасьи Петровны: утромъ мать занималась ея туалетомъ почти до пріѣзда гостей; при гостяхъ мать оставляла ее съ Юринымъ, или посылала Шатровскаго къ Настасьѣ Петровнѣ. Оставался поздній часъ вечера, когда всѣ расходились; но, услыша одинъ разъ, что Варенька сказала теткѣ: «я приду къ тебѣ послѣ ужина», Анна Дмитріевна едва вошла въ свою спальню, какъ послала за дочерью.

— На меня нашла скука, дитя мое, развесели меня.

И, толкуя о своей молодости, объ отвлеченныхъ предметахъ, Анна Дмитріевна продержала Вареньку у своей постели до свѣта. На другой вечеръ она вызвала ее еще подъ болѣе трогательнымъ предлогомъ.

— Ты вчера была счастлива съ твоей матерью!

Варенька хотѣла, по крайней мѣрѣ, извлечь какую нибудь пользу изъ этихъ бесѣдъ, но едва она начинала говорить о себѣ, Анна Дмитріевна ловко оборачивала разговоръ, такъ что негдѣ было вставить одного слова. Выговорившись, Анна Дмитріевна просила Вареньку читать и давала ей романъ.

— Плутовка, рада, что мать раздѣляетъ съ нею шалости и читаетъ романы по ночамъ!

Нравственное утомленіе соединилось съ физическимъ, и Варенька засыпала, почти не помня, что съ ней дѣлалось.

Но въ эту минуту, когда, бросивъ подарокъ Юрина, она прибѣжала къ себѣ, и заливаясь слезами, обняла тетку, Варенька ясно увидѣла все свое несчастье.

— Что ты сдѣлала! что ты сказала! говорила испуганная Настасья Петровна.

— О, тетя Настя! надо-жъ когда нибудь это кончить!.. Господи, что со мною будетъ? вскричала бѣдная дѣвушка, переходя вдругъ отъ мужества къ страху: въ ней чувство спорило съ возрастомъ.

Едва она выговорила свои отчаянныя слова, какъ отворилась дверь и представилась Анна Дмитріевна, спокойная и улыбавшаяся.

— Поди туда, тетя Настя, сказала Варенька торопливо, но рѣшительно: — поди, если меня любишь.

Настасья Петровна повиновалась машинально. Анна Дмитріевна смѣрила ее взглядомъ и посторонилась, чтобъ дать ей пройти.

— Душа моя! сказала она: — я принесла тебѣ твое маленькое сокровище. Ты все шалишь и почти сконфузила меня своей шалостью... Конечно, ты хороша и можешь играть молодыми людьми, но и Юринъ можетъ обидѣться этимъ сравненіемъ съ Карзановымъ...

Варенька не могла отвѣчать: она рыдала.

— Что съ тобой? спросила Анна Дмитріевна, видя, что сцена неизбѣжна.—Тебя огорчила чѣмъ нибудь эта...

Она показала вслѣдъ Настасьѣ Петровнѣ.

— Неужели вы не хотите понять меня? вскричала Варенька. — Кто можетъ меня огорчить...

— Кромѣ меня? прервала съ упрекомъ Анна Дмитріевна.

— Да, отвѣчала смѣло Варенька: — я не въ силахъ играть эту комедію, я не могу разлюбить этого человѣка, котораго люблю— вы это знаете.

— Кого ты любишь? спросила Анна Дмитріевна насмѣшливо.

— Ради Бога, не притворяйтесь, сказала дѣвушка со слезами: —я не дитя, эти фразы ни къ чему, я ихъ слышала... Я очень знаю, кого я люблю... Умоляю васъ, сжальтесь надо мной, маменька, мой ангелъ, вамъ стоитъ сказать одно слово — я буду такъ счастлива!

Она бросилась ей на шею:

— Душа моя, жизнь моя, вообразите, вѣдь это нехорошо, неблагородно заискивать въ человѣкѣ, котораго не любишь, не уважаешь! Милая мама, Юринъ такъ пустъ! Ты понимаешь людей — взгляни, что онъ такое. Ты ошибаешься въ немъ, во мнѣ... Я люблю Карзанова, милая мама!.. прогони этого пустого человѣка! Я надѣялась, я все дѣлала, чтобъ Юринъ меня возненавидѣлъ... видно, не такъ суждено! Еслибъ ты знала, ради Бога...

— Образумься, чего ты отъ меня хочешь? прервала Анна Дмитріевна, насильно сажая ее въ кресла.—Я долго слушала. Что это за фарсы? Кто за тебя сватается, что ты кричишь...

— О, свататься, надѣюсь, онъ не осмѣлится вскричала Варенька, оскорбленная этой жестокой холодностью.—Его богатство мнѣ такъ же не нужно, какъ онъ самъ, и я скажу ему...

— Потрудись сказать своей тетушкѣ, прервала Анна Дмитріевна:—чтобъ она избавила меня отъ своего присутствія въ моемъ домѣ, если намѣрена набивать тебѣ голову бреднями и глупостями... Довольно однѣхъ ея исторій съ Алексѣемъ, которыя заставляютъ меня краснѣть. Я вижу, чьи это затѣи. Довольно. Прошу не выходить отсюда весь вечеръ.

Варенька осталась одна. Ея положеніе вообразить нетрудно.

Анна Дмитріевна спокойно возвратилась въ гостиную. Она попросила брата остаться ночевать; братъ, чтобъ занять Юрина, которому сказали, что Варенька нездорова, принялся мучить Настасью Петровну: мимоходомъ, Анна Дмитріевна приказала ему удвоить любезности.

Настасья Петровна покорялась, потому что предчувствовала бѣду надъ другими и ужъ не думала о себѣ; напротивъ, она старалась казаться веселѣе, чтобъ оживить общество и умилостивить Анну Дмитріевну... У нея доставало кротости самой начинать говорить съ Шатровскимъ, играть для него и смѣяться.

Въ ту минуту, когда уѣзжалъ Юринъ, а Шатровскій отправился спать, Анна Дмитріевна остановила Настасью Петровну.

— Извините меня, сказала она,—но вмѣстѣ позвольте вамъ замѣтить, что вы поставили меня въ очень непріятное положеніе.

— Я? спросила Настасья Петровна.

— Позвольте мнѣ не объясняться...: я и безъ того слишкомъ много страдаю! но въ глазахъ всякаго посторонняго ваше обращеніе можетъ казаться страннымъ, если не предосудительнымъ... Я вынуждена сказать это. Но если вамъ будетъ угодно вспомнить, что у меня есть дочь, вы поймете, что я желала бы оградить ее отъ всего, что можетъ бросать тѣнь на то мнѣніе, которое всякій долженъ имѣть о ней.

Анна Дмитріевна сдѣлала поклонъ и удалилась.

Настасья Петровна подумала одну минуту, далеко ли можетъ она уйти въ эту ночь... Потомъ она оглянула пустыя освѣщенныя комнаты, теряя всякое сознаніе, и сѣла, потому что ноги ея подгибались... Лакей пришелъ гасить лампы и не замѣтилъ ее; она сама ничего не замѣчала до той минуты, когда яркій лучъ солнца вдругъ заигралъ на зеркалахъ и штофной мебели и напомнилъ бѣдной дѣвушкѣ, что страданія жизни не кончаются одной ночью...

III.

Николай Петровичъ всталъ рано по своему обыкновенію; на этотъ разъ, однако, его подняли не хозяйственныя заботы.

Люди кроткіе и неподвижные зависятъ отъ своихъ привычекъ. Они покоряются по привычкѣ, потому что ужъ одинъ разъ начали покоряться, и хотя бы тяготились своимъ положеніемъ, но не скоро рѣшаются изъ него выйти, потому что для этого надо не только побѣдить обстоятельства, но еще переломить свое сердце, то есть свою привычку. Внезапныя нападенія выводятъ ихъ изъ терпѣнія, возмущаютъ ихъ, но не на долго: утомленные въ одну минуту, они рады возвратиться къ своему обычному покою. Чтобъ подвигнуть ихъ на что нибудь, нападенія должны быть не столько сильны, сколько продолжительны: тогда раздраженіе войдетъ въ привычку и понемногу образуетъ переломъ характера... До такого состоянія довела Анна Дмитріевна своего терпѣливаго супруга.

Знакомство Юрина было первый ударъ; онъ взволновалъ Николая Петровича; но волненіе могло бы пройти, еслибъ не было поддержано постоянно. Сначала самъ гость, его тонъ, манеры, его фамильярность, потомъ общая невнимательность развивали и усиливали первое впечатлѣніе. Николай Петровичъ замѣтилъ, что разговоръ прекращался съ его приходомъ; сначала онъ покорно уходилъ, чтобъ не мѣшать; но одинъ разъ, въ минуту досады, вздумалъ остаться. Шатровскій, не замѣчая ничего по своей натурѣ, не замѣтилъ и досады Николая Петровича и завелъ разговоръ, въ которомъ тотъ не могъ участвовать. Юринъ былъ если не умнѣе, то догадливѣе: онъ догадался, что къ хозяину, котораго можно исключить изъ бесѣды, можно оборачиваться спиною. Шатровскій не любилъ ни отъ кого отставать въ развязности: онъ позволилъ себѣ вполголоса нѣсколько намековъ и шутокъ, на которые Юринъ расхохотался во все горло. Еслибъ Анна Дмитріевна захотѣла вступиться, то слѣдовало бы выгнать изъ дома своего гостя: чтобъ не навлечь на себя такого затрудненія, она не поняла шутокъ...

Николай Петровичъ все понялъ, но онъ былъ добръ и простилъ бы все, еслибъ добрая душа его не догадалась, что оскорбленія, которыя дѣлались ему, были самой малѣйшей виной жены его и зятя. Даже тотъ, кто самъ женится по разсчету, осуждаетъ денежные разсчеты женщинъ. Конечно, Николай Петровичъ желалъ бы устроить дочь свою какъ можно блистательнѣе, но прежде всего онъ желалъ ей счастья. Одну минуту онъ подумалъ о Юринѣ, какъ о женихѣ, но и отказался тотчасъ отъ этой мысли. Онъ такъ горячо любилъ и понималъ Вареньку, что рѣшилъ, безъ долгаго размышленія, что этотъ франтъ средней руки, полуобразованный мотъ, самолюбивый хвастунъ, не можетъ составить ея счастье. Юринъ молодъ, правда, но онъ богатъ и при богатствѣ эти недостатки только выростаютъ съ лѣтами. Къ тому же, Николай Петровичъ, хлопотливо и постоянно занятый, привыкшій къ труду съ дѣтства, не терпѣлъ людей незанятыхъ; онъ считалъ дѣло такой обязанностью, что впадалъ даже въ крайность, признавалъ пользу отвлеченнаго только тогда, когда оно соединялось съ матерьяльнымъ. Этимъ и заслужилъ онъ отъ Анны Дмитріевны названіе «грубой натуры»; за это онъ и полюбилъ Карзанова.

Николай Петровичъ не могъ похвалиться своей семейной жизнью; онъ зналъ въ ней одни заботы и противорѣчія. Не зная, что собственно, но многое желалъ бы онъ перемѣнить въ воспитаніи, которое получали его дѣти; онъ былъ отдаленъ отъ нихъ: они приближались къ нему только офиціально и церемонно, какъ позволялъ этикетъ, введенный Анной Дмитріевной съ цѣлью, чтобъ «пріучить ихъ держаться порядочно». Варенька, старшая, сама себѣ позволила выйти изъ этого стѣсненія, но еще очень недавно и невполнѣ: она видѣла, что, сближаясь съ отцомъ, она отдалится отъ матери, и не могла этого сдѣлать по чувству своего сердца: она понимала, что часто ласка была бы молчаливой жалобой, или молчаливымъ утѣшеніемъ; она надѣялась и ждала—бѣдное дитя!—что настанетъ когда нибудь время и эти два существа, которыхъ, любя равно, она не смѣла судить, сойдутся

сами собою, оцѣнятъ другъ друга... Варенькѣ было семнадцать лѣтъ; она не разсчитывала, что имъ давно была пора понять и оцѣнить другъ друга...

Къ счастью, отецъ добрый и простой, отгадалъ даже деликатную холодность дочери. Онъ видѣлъ всю печаль, которая скрывалась за блестящей обстановкой въ разсчитанномъ и спокойномъ провожденіи времени въ его домѣ, и ждалъ, чѣмъ все кончитъ судьба. Потому онъ былъ истинно-счастливъ, узнавъ о любви Вареньки и Карзанова. Ему хотѣлось скорѣе ожить въ этой новой семьѣ. Его непылкое воображеніе представило ему много картинъ домашняго счастья, а сердце привязалось къ нимъ... Каково-жъ ему было замѣтить, что Анна Дмитріевна хлопотала только о томъ, какъ бы все скорѣе и полнѣе разрушить?

Вотъ въ чемъ обвинялъ онъ ее и Шатровскаго... особенно Шатровскаго, къ которому, какъ къ мужчинѣ, добровольно взявшему на себя всѣ мелкія низости женской интриги, Николай Петровичъ почувствовалъ глубочайшее презрѣніе. Не рѣшась еще что дѣлать, Николай Петровичъ избѣгалъ оставаться съ нимъ вдвоемъ, чтобъ не сказать что нибудь необдуманно, затрудняясь говорить съ человѣкомъ, котораго не хотѣлъ бы видѣть.

Наканунѣ, случайно, онъ видѣлъ всю сцену съ подаркомъ Юрина. Проходя мимо комнаты Вареньки, онъ услышалъ голосъ жены и остановился... Нѣсколькихъ словъ ему было довольно.

Онъ ушелъ къ себѣ, заперся и обдумывалъ.

«Если они хотятъ завести дѣло далеко, то надо предупредить ихъ, рѣшилъ онъ, но предупредить такъ, чтобъ имъ ужъ больше ничего не оставалось дѣлать».

Какъ человѣкъ положительный, Николай Петровичъ уснулъ крѣпко. Поутру, сильная мѣра, на которую онъ рѣшился, какъ будто испугала его: онъ яснѣе вообразилъ весь переворотъ, который долженъ былъ совершиться въ его домѣ, и склонилъ голову... Есть несчастья, которыхъ не замѣчаютъ, или замѣчая, осмѣиваютъ. Каковы они, надо спросить тѣхъ, кто ихъ выноситъ. Вся, жизнь Николая Петровича была такимъ несчетьемъ, но именно оно дало ему мужество, именно оно внушило ему простыя, самоотверженныя слова:

— «Пусть по крайней мѣрѣ она, мое милое дитя, проживетъ свой вѣкъ покойно...»

Его любовь возвысилась до самой нѣжной предупредительности: узнавъ, что Варенька спитъ, онъ написалъ Карзанову, прося его пріѣхать сейчасъ же, для очень важнаго дѣла.

— «Проснется, моя душка, и обрадуется», сказалъ онъ самъ себѣ со слезами на глазахъ.

Случилось, что Карзанова не застали дома: онъ ушелъ въ поле, и записка дожидалась его почти до одиннадцати часовъ, такъ что Анна Дмитріевна уже вставала, когда онъ пріѣхалъ.

Шатровскій поспѣшилъ къ ней съ этимъ извѣстіемъ и былъ допущенъ въ уборную.

— Твой мужъ посылалъ къ нему, прибавилъ онъ, довершая непріятное изумленіе сестры.—Карзановъ прошелъ въ кабинетъ.

— Ты не знаешь, зачѣмъ? спросила Анна Дмитріевна, теряясь.

— Еслибъ я зналъ! отвѣчалъ Шатровскій, смѣясь, потому что его забавляло затрудненіе друга, или врага, затрудненіе всякаго, кромѣ своего собственнаго.—Конечно, милая моя Аннета, тебѣ остается положить оружіе: вчера дочь, сегодня мужъ—возстаніе со всѣхъ сторонъ ..

— Оставь свои шутки, возразила она.—Неужели ты ни о чемъ не хочешь подумать серьезно?

— Если ты мнѣ укажешь на что нибудь серьезное—съ удовольствіемъ. Я готовъ думать, анализировать, сочувствовать... что еще прикажешь?

— Я вѣчно была и буду одинока! вскричала Анна Дмитріевна, бросаясь на диванъ.

У нея навернулись слезы. Шатровскій видѣлъ, что это была досада, а не горе; но то и другое ему было все равно; онъ не любилъ слезъ, потому что слезы—сцена.

— Полно, Аннета, сказалъ онъ, лѣниво пересаживаясь рядомъ съ нею.—Какія славныя ручки! дай поцѣловать. Не сердись; все это вздоръ и развяжется само собою.

— Никакой рѣшительности, никакой энергіи! вскричала она.

— Да въ чемъ же я буду геройствовать, сдѣлай милость? я дѣлаю, что могу. Вчера сказалъ Юрину, что Варенька отъ него безъ ума, что ты побранила ее, затѣмъ она держится, какъ ребенокъ и не умѣетъ скрывать своихъ чувствъ...

— Ты сказалъ это? А онъ?

Шатровскій разсмѣялся опять.

— Ты не обидишься, Аннета?

— Говори, ради Бога, я внѣ себя и не знаю что дѣлать.

— Онъ ничего не отвѣчалъ, а немного погодя спросилъ: сколько вы можете дать приданаго за Варенькой?

— Это отвратительно! вскричала Анна Дмитріевна.

— Вотъ, сказалъ хладнокровно Шатровскій:—а хвалишься благоразуміемъ! Надо-жъ жить чѣмъ нибудь.

— Юрину!?

— Ну, да, Юрину. Право, Аннета, ты какъ будто не хочешь понять, что лучше, если Юринъ будетъ свататься и справляться о приданомъ, нежели если онъ восве не будетъ свататься.

— Что-жъ ты ему отвѣчалъ?

— Что ничего не знаю. Я и въ самомъ дѣлѣ не знаю.

— Мы можемъ дать немного...

— Ну, это послѣ, сказалъ Шатровскій.— А вотъ что еще теперь говоритъ твой мужъ Карзанову...

— Не знаю, что дѣлать! вскричала Анна Дмитріевна, стремительно вставая.

— Сейчасъ тебя позовутъ моя, милая Аннета, и ты услышишь офиціально: «другъ мой, господинъ Карзановъ дѣлаетъ честь нашей дочери: проситъ ея руки»...

— Alexis, ты съ ума сошелъ!

— А дочь бросится къ твоимъ ногамъ:— «Maman, je l'aime et je suis aimée»...

— Alexis!

— Можетъ быть, и самъ господинъ Карзановъ преклонитъ колѣни...

— Поди вонъ и оставь меня въ покоѣ!

— Повинуюсь, отвѣчалъ Шатровскій, хохоча.—Прощай, я уѣду къ себѣ.

— Зачѣмъ?

— Жнутъ у меня, сестрица, нуженъ господскій глазъ.

— Ты меня выводишь изъ терпѣнія!.. Alexis, ради Бога, поди и узнай... постарайся узнать, что тамъ дѣлается... Хоть бы Юринъ пріѣхалъ скорѣе.

— Зачѣмъ? чтобъ было два жениха на лицо?

— Чтобъ удержать какъ нибудь это глупое объясненіе... Ступай туда, удержи при себѣ Вареньку, не давай имъ сходиться.

— Одѣвайся и приходи сама, сказалъ, выходя, Шатровскій.

Въ залѣ онъ встрѣтилъ Домникова. Старикъ только что пріѣхалъ и казался сильно встревоженъ.

— Очень радъ, что вижу васъ, Алексѣй Дмитричъ, заговорилъ онъ:—надѣюсь, вы, какъ благородный человѣкъ, не откажетесь принять участіе... Я ѣздилъ къ вамъ, мнѣ сказали, вы здѣсь... совсѣмъ измучился, нравственно и физически можно сказать... Никогда не ожидалъ...

— Чего? спросилъ Шатровскій, усаживаясь у открытаго окна и доставая сигару, потому что въ эту минуту подавали кофе.

— Я не хочу, братецъ, мнѣ не до того, сказалъ Домниковъ, отталкивая подносъ:— какая тутъ ѣда! Просто, неблагородное дѣло!... Я радъ, что мы одни, Алексѣй Дмитричъ. Вы вообразите, что сдѣлалъ со мною Юринъ. Помните, я вамъ говорилъ, что онъ переписалъ свою росписку въ тысячѣ рубляхъ, а долженъ былъ мнѣ двѣ—помните?

— Ну, хорошо, помню.

— Хорошо. Я долженъ былъ, значитъ, съ него получить тысячу наличными; я и получилъ—триста. Вчера пріѣзжаю къ нему утромъ за остальными. «Какія, говоритъ, остальныя? я вамъ отдалъ». Слышите? отдалъ! Я сначала думалъ, шутка, потому что какому благородному человѣку придетъ на мысль... Я говорю: «Вы шутите, Леонидъ Васильичъ, а мнѣ необходимо, и потому прошу васъ, какъ было между насъ условлено...» Что-жъ онъ? «Съ чего-жъ вы взяли, какія условія? Вы забыли, сколько вы перебрали; изъ ума выжили!!» словомъ сказать, Алексѣй Дмитричъ, шестьдесятъ-четыре года мнѣ, въ жизнь мою не слыхалъ, чтобъ кому нибудь бывало такое оскорбленіе!.. «Что же, я говорю, неужели-жъ я вамъ долженъ отдать мой домъ, усадьбу, три двора, крестьянъ за тысячу рублей? Помилуйте, я остаюсь ни съ чѣмъ!» А я проѣзжалъ еще мимо своего-то дома... камня на камнѣ не оставилъ, злодѣй, все разломалъ; кирпичный сарай, тамъ, гдѣ были комнаты; въ саду на лучшей опортовой яблонѣ качели повѣшены... березы — ни прутика! «Злодѣй, я говорю, злодѣй... Леонидъ Васильичъ! я говорю, побойтесь Бога, вѣдь я безъ куска остаюсь...» Я вамъ скажу, Алексѣй Дмитричъ, что я, признаться, выдержать не могъ, я ему тутъ напомнилъ, что ему самому, можетъ быть, придется въ крайности быть, что, вѣдь, на все Божья воля!..

— Ну, много надо. чтобъ Юрину дойти до крайности, сказалъ Шатровскій.

— Батюшка, Алексѣй Дмитричъ, потому-то я и говорю! Если ужъ бѣдному человѣку страшно подумать сдѣлать такое дѣло, такъ богатому оно и подавно: кажется, ужъ ограждены! такъ вотъ, нѣтъ: имъ-то и входитъ въ голову...

— Вы такъ и сказали Юрину?

— Алексѣй Дмитричъ, продолжалъ старикъ, выпрямляясь передъ нимъ, сколько могъ, и дрожа отъ волненія:—я не знаю,

какъ вы такой поступокъ назовете. Отказаться отъ долга, выгнать человѣка изъ дома, это... это нехорошо-съ! Конечно, дѣлай онъ въ тысячу разъ хуже, этотъ мальчишка, обманывай, прижимай, тащи проценты, какъ отецъ его, скупай по аукціонамъ клочки, слезами омытые—мнѣ ровно ничего, что на него станутъ пальцами показывать! я самъ покажу! развѣ мнѣ его жалко? Пусть добрые люди узнаютъ, каковъ онъ... А вотъ, какъ останешься, что ни кола, ни двора, а въ карманѣ одна росписка этого обманщика, такъ и тяжело-съ! Вотъ что тяжело, Алексѣй Дмитричъ, вотъ отчего...

Онъ остановился, удерживая слезы.

— Вѣдь дѣваться некуда, договорилъ онъ шопотомъ.

— Вы живете у Карзанова? сказалъ Шатровскій.

— Такъ-съ. Дай Богъ ему здоровье, все равно, что свой родной. Но все же вѣдь это пристанище, а не свой уголъ—вѣдь стыдно...

— Вы хотѣли переѣхать въ городъ?

— Не съ чѣмъ, батюшка! Одно осталось: продать кому нибудь росписку этого... за что дадутъ.

— Не совѣтую вамъ это дѣлать.

— Что-жъ мнѣ дѣлать-то? Развѣ потому не совѣтуете, что никто ничего за нея не дастъ? Вся совѣсть этого Юрина гроша не стоитъ...

— Вы знаете, Петръ Иванычъ, что онъ мой знакомый, и здѣсь онъ такъ принятъ... сказалъ Шатровскій, боясь, чтобъ кто нибудь не услышалъ возгласовъ старика.

— Я затѣмъ къ вамъ и спѣшилъ, Алексѣй Дмитричъ. Вѣрите ли, вчера весь день въ полѣ пропадалъ! тяжело, скучно, стыдно... Вы всякій день видите Юрина, поговорите ему, отецъ-благодѣтель, на васъ одна надежда, авось усовѣстите!

Старикъ смотрѣлъ ему въ глаза, ожидая отвѣта. Шатровскій крошилъ хлѣбъ и бросалъ его за окно птицамъ.

— Я въ такихъ отношеніяхъ съ Юринымъ, отвѣчалъ онъ,—что мнѣ невозможно взяться за такое щекотливое дѣло. Вы, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ забыли, сколько взяли у него... Да чего лучше, попросите вступиться за васъ Карзанова.

Домниковъ отвернулся и сталъ ходить по залѣ. Шатровскій наслаждался чистымъ утреннимъ воздухомъ и потому не обратилъ вниманія на неровную походку, рѣзкія движенія и жесты старичка, что въ другое время, конечно бы, его позабавило, но теперь онъ былъ занятъ поединкомъ двухъ воробьевъ, которые отнимали одинъ у другого брошенный имъ кусокъ хлѣба.

— Алексѣй Дмитричъ, давайте играть, сказалъ старикъ рѣшительно, подойдя къ нему.

— Давайте, отвѣчалъ Шатровскій.

— Сейчасъ, да, знаете, отчаянную, чтобъ ужъ мнѣ что нибудь воротить... Наличныхъ нѣтъ-съ; будете вы играть на росписку вашего друга?

— Пожалуй, сказалъ Шатровскій:—для меня это вѣрныя деньги.

Шатровскій такъ занялся, что и не видѣлъ сестры, которая вошла.

— Ужъ за картами! вскричала она, не отвѣчая на поклонъ Домникова.—Что-жъ это такое, Alexis, когда я просила...

— Это странно, Аннета, что-жъ мнѣ дѣлать? и какое мнѣ дѣло? Не могу-жъ я идти туда и наблюдать.

— Ты могъ бы помѣшать, еслибъ вошелъ.

— Благодарю. Очень пріятно быть лишнимъ.

Анна Дмитріевна отошла. Каждая минута, каждое слово только усиливали ея гнѣвъ и смущеніе. Она прохаживалась по пустымъ комнатамъ, отдавала приказанія, зашла въ дѣтскую и въ классъ, оставляя вездѣ за собою разстройство. Но она не отворила дверей Вареньки и не спросила о ней, проходя мимо.

Впрочемъ, выражая такое совершенное равнодушіе къ дочери, Анна Дмитріевна думала только о ней. Анна Дмитріевна привыкла предпринимать однѣ крайнія мѣры и терялась теперь, видя, что онѣ невозможны. Она раскаявалась, что промедлила и раньше не отказала Карзанову отъ дома, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ. Еслибъ теперь она рѣшилась войти въ кабинетъ, она попала бы на объясненія, а вчерашняя твердость Вареньки доказывала, что побѣда осталась бы не на сторонѣ Анны Дмитріевны. Еслибъ даже и удалось Аннѣ Дмитріевнѣ разрушить все, отказать Карзанову, то Юринъ, котораго она ожидала, могъ заѣхать на эту сцену и хорошо понялъ бы, что Варенька любитъ Карзанова, что ему самому ужъ ничего не остается ожидать... Съ другой стороны, медлить, молчать, а Николай Петровичъ самъ можетъ позвать ее и дочь, и всетаки доведетъ объясненіе до пріѣзда Юрина. Надо помѣшать какъ нибудь; молчать и не объясняться? Но до которыхъ поръ?

— Alexis, спросила Анна Дмитріевна брата, совершая путешествіе по комнатамъ:—какъ рано хотѣлъ пріѣхать Юринъ?

— Не знаю.

— По крайней мѣрѣ, ты не замѣтилъ, какъ онъ расположенъ объясниться? есть ли надежда, что это будетъ скоро?

— Ничего не знаю, отвѣчалъ нетерпѣливо Шатровскій.

Разговоръ шелъ по-французски, чтобъ Домниковъ не могъ его понять; но тотъ былъ въ такомъ положеніи, что и безъ этой предосторожности ничего бы не понялъ.

Волненіе Анны Дмитріевны достигло крайней степени; ея нравственныя страданія сдѣлались почти физическими. Чтобъ успокоиться чѣмъ нибудь, она положилась на судьбу, рѣшилась усѣсться на мѣсто, заняться, чтобъ развлечься.

Она сѣла въ свое кресло на террасѣ, открыла рабочій ящикъ и позвонила.

— Попросите ко мнѣ Варвару Николавну.

Черезъ минуту ей доложили, что Варвара Николаевна хотѣла идти къ ней, но ее приказалъ просить Николай Петровичъ.

Работа выпала изъ рукъ Анны Дмитріевны.

Вчерашній вечеръ казался Варенькѣ тяжелымъ сномъ, но, припомнивъ все, Варенька нашла, что ей не въ чемъ упрекнуть себя, и это сознаніе придало ей твердость; оно уже и оправдывало эту твердость, потому что доброе сердце дѣвушки готово было назвать ее нечувствительностью.

«Впрочемъ», сказала она сама себѣ: «чему-жъ я не повинуюсь? мнѣ ничто не запрещено... Боже мой! нѣсколько словъ много значитъ! Маменька огорчила меня, но она могла одуматься...» Мысль, что ее разлучатъ съ Карзановымъ, ужасала сильнѣе нежели когда нибудь. Варенька рѣшилась защищать свою любовь, защищать ее до послѣдней возможности, слезами, словами, просьбами; вспоминая, оцѣнивая то, чего она могла лишиться, она сильнѣе чувствовала, что это счастье ей необходимо. Варенька уже довольно видѣла и испытала; она знала, что нужно для этой жизни, которая идетъ день за день подъ одною кровлей для двухъ существъ, связанныхъ другъ съ другомъ до гроба; она знала, что можетъ радовать въ этой жизни, что отравляетъ ее; ранняя опытность придавала чувству дѣвушки какой-то восторженный разсчетъ, который, объясняя чувство, дѣлалъ его прочнѣе и достойнѣе уваженія. Это было не увлеченіе молодой головы, а благоразуміе горячо-любящаго сердца; оспаривать его было бы невозможно.

Но твердость и благоразуміе еще не спокойствіе, когда мы молоды и зависимъ отъ другихъ. Варенька была взволнована; она не могла ничѣмъ заняться, не могла рѣшиться и сойти изъ своей комнаты. Въ эту минуту ее позвали къ отцу.

Испугавшись не зная чего, она спросила, гдѣ Николай Петровичъ. Ей отвѣчали, что онъ у себя въ кабинетѣ съ Карзановымъ. Тогда вдругъ ей стало и страшно, и весело, и она побѣжала, не зайдя здороваться съ матерью.

Объясненіе Николая Петровича и Карзанова было очень несложно. Николай Петровичъ самъ не думалъ кончить такъ скоро, хотя и твердо рѣшился. Въ первую минуту, увидя молодого человѣка, онъ оробѣлъ, попросилъ его притворить дверь, сѣсть, и задумался: ему показалось неловко вызывать на объясненія, которыя, по принятому порядку, долженъ былъ бы начать Карзановъ. Николай Петровичъ былъ готовъ долго молчать, еслибъ его не прервалъ Карзановъ.

— Вы прислали за мной, сказалъ онъ.— Что вамъ угодно? Вы встревожены, не случилось ли чего нибудь?

— Еще ничего, слава Богу, отвѣчалъ Николай Петровичъ: — но... вы знаете, какъ я васъ люблю и уважаю, мой любезный Михаилъ Семенычъ, я вамъ скажу откровенно... я въ большомъ затрудненіи...

— Все, что я могу сдѣлать; прикажите— я готовъ.

— То-то и есть, что приказать я не могу. Мнѣ очень тяжело, Михаилъ Семенычъ. Вамъ, я думаю, разсказывать нечего мою жизнь: сами видѣли, да я и говорить не умѣю... Все это тяжело! огорченіе за огорченіемъ... двадцать лѣтъ.

Карзановъ не возражалъ.

— Совѣстно, право. Цѣлый свѣтъ скажетъ: «безхарактерность». Конечно, будь кто другой на моемъ мѣстѣ... Но не могу я. Богъ видитъ, не могу платить тѣмъ же, что мнѣ дѣлаютъ! Вмѣшиваться во что нибудь... во что я вмѣшиваюсь?.. Я воспитанія не получилъ, не знаю, что и какъ нужно... Мое дѣло приготовить, чтобъ былъ кусокъ хлѣба у моихъ дѣтей—только... Я знаю, что я пустой человѣкъ...

— Вы себя не знаете, прервалъ Карзановъ.—Не обвиняйте себя, не мучьтесь напрасно. Вы такъ любите вашу семью...

— А ничего для нея не дѣлаю, возразилъ Николай Петровичъ. — Я вотъ, со вчерашняго дня оглянулся... Много, много я вино-

вать! Но хоть что нибудь, а поправлю. Самъ по себѣ я ничего, но слово мое много значитъ.

Казалось, послѣдними словами Николай Петровичъ пробудилъ въ себѣ всю свою энергію.

— Вчера меня возмутили. Сначала я думалъ, пріемъ этого Юрина — шутка одна... ну, капризъ; теперь вижу, дѣло далеко заходитъ, а богатство—великій соблазнъ...

Голосъ его задрожалъ; съ минуту еще Николай Петровичъ не рѣшался, потомъ сказалъ:

— Михаилъ Семенычъ, любите ли вы Вареньку?..

И долго удерживаемыя слезы брызнули изъ глазъ его. Карзановъ, совершенно счастливый, бросился ему на шею.

— Николай Петровичъ, вы знаете, давно! Вамъ было не угодно, чтобъ я говорилъ...

— Для меня моя Варенька дороже всякихъ богатствъ; а васъ я люблю, какъ родного сына... Богъ васъ благословитъ, говорилъ Николай Петровичъ, между тѣмъ какъ молодой человѣкъ обнималъ его, какъ отца.

— Берегите ее, сдѣлайте, чтобъ она была счастлива, продолжалъ онъ, со слезами, вмѣстѣ радостными и горькими.—Я, отецъ, только и могъ сдѣлать для ея счастья, что отдать ее другому; на васъ надѣюсь: не обманете!

— О, будьте увѣрены, прервалъ Карзановъ:—я знаю, что вы мнѣ отдаете!

— Она васъ такъ любитъ, продолжалъ Николай Петровичъ.—Вчера ее разогорчили Юринымъ. Я слышу: она рыдаетъ, клянется матери, что любитъ только васъ... Много надо любить, Михаилъ Семенычъ, чтобъ столько вынести—умѣйте это оцѣнить...

— Я люблю не меньше, просто отвѣчалъ молодой человѣкъ: — для меня такъ же все бы кончилось въ жизни, еслибъ Варенька...

— Ну, довольно, довольно, вѣдь она ваша невѣста, прервалъ Николай Петровичъ, испугавшись печали, съ которой Карзановъ сказалъ свои послѣднія слова.— Позовемъ ее, обрадуемъ...

Онъ приказалъ позвать Вареньку.

— А тамъ ужъ вмѣстѣ скажемъ матери.

— Такъ Анна Дмитріевна не знаетъ? спросилъ Карзановъ.

— Да, вѣдь, она ей мать! возразилъ Николай Петровичъ, забывая все отъ волненія и радости: — что же она такое, если и теперь не согласится? Я ей прямо скажу: «гнѣвайся на меня, матушка, что я затѣялъ не спросясь тебя, а только скажи, достанетъ ли у тебя духу разстроить ея счастье? Мы въ нихъ оживемъ!..» Господи, если есть на то Твоя воля!.. Варенька, вотъ твой женихъ, договорилъ онъ, обращаясь къ входящей дочери.

Радость была такъ велика и неожиданна, что Варенька только вскрикнула и обняла отца: она не могла сказать ни слова... Еслибъ Анна Дмитріевна видѣла эти объятія, поцѣлуи, слезы, можно было бы подумать, что ея твердость не устояла бы...

— Зови мать, зови скорѣе мать! повторялъ Николай Петровичъ.

Въ счастьи все кажется возможнымъ. Варенька растворила дверь въ залу; торопясь, она не остановилась на порогѣ, хотя увидѣла, что мать была не одна.

Съ Анной Дмитріевной былъ Юринъ.

— Милая мама, поди къ намъ, сказала Варенька, поклонясь ему поспѣшно.

— Здравствуй, дитя мое, мы еще не видались, отвѣчала Анна Дмитріевна, заключая ее въ объятія. — Тебѣ готовится удовольствіе. Поди, возьми шляпку. M-r Юринъ пріѣхалъ въ новомъ восхитительномъ char-à-bancs и зоветъ насъ кататься.

— Я не поѣду, прервала Варенька:—благодарю васъ; но теперь...

— Знаю, я все знаю, тихо возразила мать, еще сильнѣе прижимая ее къ груди.—Дѣла сердца потомъ, прежде исполнимъ то, чего требуютъ приличія. Отдѣлаемся поскорѣе. Карзановъ счастливъ, онъ подождетъ; ты счастлива — подожди.

— Это невозможно! возразила Варенька.

— Patience, petite folle amoureuse, минуту терпѣнія!

Никогда еще Анна Дмитріевна не обнимала дочери съ такимъ волненіемъ и нѣжностью.

Все въ домѣ привыкло повиноваться ея малѣйшему знаку. Въ эту минуту Варенькѣ подали шляпу и мантилью.

— Это выше моихъ силъ! вскричала Варенька:—позвольте, по крайней мѣрѣ, я пойду, скажу...

Анна Дмитріевна надѣла на нее шляпку, накинула мантилью и увлекла за собою. Варенька не опомнилась, какъ была уже на крыльцѣ.

— Ѣдемте дѣлать набѣгъ на Сосновку, покуда Alexis здѣсь козыряетъ, сказала она, заставляя Вареньку первую сѣсть въ блестящій шарабанъ, вокругъ котораго давно

суетился Юринъ; онъ уже исчезалъ изъ залы во время переговоровъ матери и дочери, безпокоясь только о томъ, чтобъ онѣ не отказались.

— Vous me permettez de reconduire? спросилъ онъ любезно.

Хотя было нѣсколько непостижимо, чего хотѣлъ Юринъ, но Анна Дмитріевна изъявила согласіе. Юринъ вспрыгнулъ на козлы, размахивая бичомъ и своимъ бѣлымъ бурнусомъ — и шарабанъ помчался.

Анна Дмитріевна декламировала изъ Лермонтова о счастьи мчаться по степи на черногривомъ конѣ... Она была довольна: ей удалось еще выиграть время.

Можно вообразить удивленіе Николая Петровича и Карзанова, когда, черезъ минуту, отворивъ дверь кабинета и спросивъ объ Аннѣ Дмитріевнѣ и Варенькѣ, онъ получилъ въ отвѣтъ:

«Уѣхали-съ».

Николай Петровичъ былъ пораженъ. Карзановъ взялъ фуражку.

— Кажется, мнѣ больше не должно здѣсь оставаться, сказалъ онъ, почти задыхаясь отъ гнѣва и горя.— Прощайте, Николай Петровичъ.

Онъ оглянулся, какъ оглядываются, прощаясь съ мѣстомъ, которое оставляютъ навсегда.

— Ради Бога, для меня останьтесь! сказалъ Николай Петровичъ, удерживая его.

Молодой человѣкъ взглянулъ на него съ состраданіемъ.

— Не спѣшите, продолжалъ Николай Петровичъ:—вѣдь мы еще не кончили.

— Ужъ все кончено, отвѣчалъ Карзановъ.

— Нѣтъ, она возвратится... Видите ли, она спѣшила, ей было некогда, посторонніе могли помѣшать... Не уѣзжайте, Михаилъ Семенычъ.

— Не знаю, чего вы ждете, возразилъ Карзановъ, волнуясь еще болѣе отъ кроткихъ словъ, которыми его хотѣли успокоить. — Не понимаю, какъ вы можете еще ошибаться, когда я, посторонній, вижу такъ ясно: Анна Дмитріевна выгоняетъ меня и не хочетъ знать, что вы придумали...

— По крайней мѣрѣ не я виноватъ, не я у васъ отнялъ ваше счастье, отвѣчалъ Николай Петровичъ сквозь слезы.

— Не вы, конечно... сказалъ молодой человѣкъ, вставая съ отчаяніемъ.

Онъ прохаживался по комнатѣ, садился, вставалъ. Это было истинное горе, горе, отъ котораго старѣютъ душою въ нѣсколько часовъ, потому что въ нихъ припоминаются и проживаются всѣ надежды, всѣ планы, все будущее, придуманное, любимое заранѣе, принятое къ сердцу такъ сильно, что уже не разъ казалось настоящимъ. Но когда еще ему вообразился Юринъ, которому отдадутъ Вареньку — горе перешло въ бѣшенство, кровь бросилась въ лицо и, задыхаясь, онъ едва могъ проговорить:

— Я не уѣду, Николай Петровичъ, я дождусь.

И онъ вышелъ въ садъ, чтобъ только быть одному и вздохнуть на свободѣ.

«Надо дождаться, надо узнать рѣшительное слово», повторялъ онъ самъ себѣ, стараясь успокоиться, между тѣмъ какъ скорая ходьба усиливала его волненіе.

Садъ напомнилъ ему прошлое, и воспоминаніе еще больше его измучило. Усталый и раздражительный, они вошелъ на террасу; въ отворенныя окна гостиной мелькнули ему лица Шатровскаго и Доминикова. Оба поклонились ему очень небрежно: Шатровскій, по своей обыкновенной неучтивости, старикъ потому, что для него шло дѣло о жизни и смерти. Карзановъ вошелъ въ гостиную, усѣлся въ углу и взялъ книгу. Читать онъ, конечно, не могъ. Смотря на строки, которыхъ не понималъ, Карзановъ слушалъ свою собственную мысль и машинально прислушивался къ тому, что дѣлалось кругомъ.

Вдругъ его поразили восклицанія игроковъ, непохожія на обыкновенныя междометія преферанса. Какой-то испугъ заставилъ Карзанова встать съ мѣста.

— Что это? спросилъ онъ, подходя къ столу.

— Да такъ лучше, рѣшительная, отвѣчалъ Доминиковъ, загибая уголъ у карты, между тѣмъ какъ Шатровскій приписывалъ къ длинному столбцу своего выигрыша.

— Помилуйте, Петръ Иванычъ, что вы дѣлаете?

— Одинъ конецъ, возразилъ старикъ, блѣднѣя и улыбаясь, какъ помѣшанный.

— Но у васъ ничего не остается...

— Знаю-съ, отвѣчалъ онъ, впившись глазами въ свою карту:—это послѣдняя...

Шатровскій молча тасовалъ карты; Карзанова такъ поразило разстройство и странныя движенія старика, что онъ не обратилъ вниманія на лѣнивое хладнокровіе Шатровскаго и сказалъ ему на ухо:

— Оставьте его; посмотрите, на что онъ похожъ.

Шатровскій поднялъ глаза и разсмѣялся.

— Оставьте его, повторялъ Карзановъ:— шутка доходитъ далеко.

— Какая шутка? спросилъ Шатровскій, вспыхнувъ.

— Шутка, потому что вы, конечно, не имѣете намѣренія...

— Что? извольте договорить.

— Обыграть его, договорилъ Карзановъ, вспыхнувъ тоже и тутъ только вспомнивъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло.

— Что-жъ, вы думаете, я даю ему урокъ? прервалъ Шатровскій: — я никому не даю уроковъ и никому не позволяю давать ихъ себѣ.

— Такъ вы полагаете, что хорошо дѣлаете?

— А вамъ угодно дѣлать мнѣ замѣчанія!

— Мнѣ угодно знать, съ какою цѣлью вы играете.

— Кто вамъ далъ право вмѣшиваться? вскричалъ Шатровскій, продолжая метать карты.

— Когда въ моихъ глазахъ происходятъ подобныя вещи...

— Что вы находите предосудительнаго въ этихъ вещахъ?

— Я не имѣю намѣренія оскорблять васъ, возразилъ Карзановъ, вдругъ удержавшись:— но считаю себѣ въ правѣ удержать васъ отъ поступка, въ которомъ вы сами раскаетесь, если только...

— Что, если только?..

— Если только вы думаете когда нибудь о вашихъ поступкахъ, отвѣчалъ Карзановъ.

— Обдумывайте ваши собственные, милостивый государь!

— Я очень хорошо ихъ знаю.

— Вы не знаете, кому сдѣлать дерзость, и обращаетесь съ нею ко мнѣ...

— Когда я вижу, что пользуются слабостью человѣка...

Отчаянное восклицаніе Домникова прервало обоихъ: его послѣдняя карта была убита. Старикъ не слышалъ спора, не слышалъ ничего, но въ эту минуту, когда оборвалось его послѣдняя надежда, онъ не выдержалъ, вскрикнулъ и, схватившись за голову, упалъ въ кресло.

Можетъ быть, въ душѣ Шатровскаго пробудилось бы какое нибудь чувство, при видѣ этого лица, за минуту блѣднаго, теперь почти посинѣлаго, и дрожащихъ рукъ, которыя протянулись къ нему, подавая росписку, но предъ Шатровскимъ былъ свидѣтель, и отвратительное чувство ложнаго стыда заставило его переломить первое доброе движеніе, а послѣ перваго движенія у Шатровскаго ужъ не бывало другихъ; напротивъ, увидя презрѣніе, негодованіе въ глазахъ Карзанова, Шатровскій счелъ обязанностью держаться «прилично».

— Кажется, здѣсь еще недостаетъ... проговорилъ Домниковъ, еще держась двумя пальцами за свою росписку.

Шатровскій взялъ росписку, великодушно провелъ щеткой по остальному своему выигрышу и даже поклонился.

Старикъ всталъ и побрелъ къ дверямъ.

— Куда-жъ вы? останьтесь обѣдать. Сестра пріѣдетъ сейчасъ, сказалъ ему вслѣдъ Шатровскій.

Домниковъ сѣлъ у двери и зарыдалъ.

— Нищій!.. проговорилъ онъ и, вдругъ вскочивъ, выбѣжалъ изъ комнаты.

— Нужна привычка, чтобъ выдерживать подобныя сцены, сказалъ Карзановъ.

— Я, кажется, уже имѣлъ честь предупредить васъ, что не позволяю дѣлать себѣ замѣчаній, сказалъ Шатровскій.

— Я и не дѣлаю ихъ: я вижу, что они будутъ совершенно безполезны. У васъ рѣдкая, ничѣмъ невозмутимая патура.

— Господинъ Карзановъ, вы въ домѣ моей сестры.

— Мое мнѣніе о васъ не касается вашей сестры.

— Одно близко другого — совѣтую вамъ не забывать этого!

— Не вижу надобности помнить.

— Можете быть увѣрены, что сестра пойметъ это иначе... отвѣчалъ Шатровскій, схватившись вдругъ за мысль, что эта ссора служила намѣреніямъ Анны Дмитріевны.

— Вы, точно ребенокъ, хвалитесь, что вамъ есть кому жаловаться, сказалъ Карзановъ.

— Моя сестра, конечно, приметъ сторону...

— Брата, который до копѣйки обыгралъ бѣдняка, почти сумасшедшаго...

— Милостивый государь!...

— Я не беру назадъ моихъ словъ.

— Понимаете ли вы цѣну этихъ словъ.

— Какъ нельзя лучше.

— Понимаете ли, что они могутъ вамъ дорого стоить.

— А сколько? спросилъ Карзановъ, ожидая вызова.

— Зная ваши отношенія къ моему семейству, къ Варенькѣ...

— Не мѣшайтесь не въ ваше дѣло!

— Вы понимаете, однако, что мое вліяніе...

— Я васъ презираю!

— Messieurs... сказала Анна Дмитріевна, появляясь предъ ними, потому что, ссорясь, молодые люди дошли до дверей.

— Annette, ты очень кстати!

— Я полагаю, напротивъ, возразила она съ достоинствомъ, между тѣмъ какъ въ глазахъ ея сверкнула радость.—Я могу только выразить мое удивленіе, что застаю васъ еще здѣсь, m-r Карзановъ.

— Мнѣ необходимо объясниться съ вами, отвѣчалъ онъ.

— Теперь, я думаю, это совершенно безполезно;—дожидаясь меня, вы приготовили развязку сцены, которой я не была намѣрена начинать. Все, что вы хотѣли сказать, уже сказано...

— Я еще ничего не говорилъ вамъ.

— О, ни слова! довольно того, что я слышала сказаннаго моему брату. Я понимаю значеніе слова «семья», m-r Карзановъ; еслибъ даже я не имѣла другихъ причинъ не желать, чтобы вы принадлежали къ моей семьѣ, то одна вражда Alexis и ваша...

— То есть, еслибъ г. Шатровскій не доставилъ вамъ предлога отказать мнѣ, вы были бы въ большомъ затрудненіи, а теперь вы ему благодарны? прервалъ Карзановъ:—вы и не разбираете, каковъ этотъ предлогъ? Это дѣлаетъ честь вашей родственной любви!.. Какъ разсчитаетесь вы съ вашей совѣстью за счастье вашей дочери—это ваше дѣло... А вамъ, г. Шатровскій, не совѣтую встрѣчаться со мною.

Онъ вышелъ.

Анна Дмитріевна была невольно поражена. Она ожидала болѣе кротости отъ своей жертвы.

— Victoire! вскричалъ Шатровскій, когда въ залѣ затихли шаги Карзанова.—Ну, гдѣ Варенька? гдѣ Юринъ?

— Дай мнѣ оправиться, отвѣчала Анна Дмитріевна: — все это сдѣлалось такъ скоро... Варенька была глупа до крайности, молчала, едва не плакала. Поѣздка вышла нестерпимая, и еслибъ не это неожиданное обстоятельство... Я не знаю, какъ благодарить тебя, Alexis. Ты мнѣ разскажешь подробнѣе.

— Такъ ты довольна?.. Но гдѣ же всѣ?

— Варенька убѣжала къ себѣ—плакать, конечно, искать утѣшенія у тетушки.

— О, тетушка теперь неопасна!

— Напротивъ, кто знаетъ, на что она способна?.. Поди, Юринъ вѣрно тебя ищетъ... Какъ бы не встрѣтилъ онъ Карзанова.

— Нѣтъ. Но подумай, что тебѣ будетъ трудно сладить такъ, чтобъ Юринъ ничего не замѣтилъ. Семейныя сцены всегда глупы, а тутъ могутъ выйти и такія, что отнимутъ у Юрина всякую охоту свататься; онъ, наконецъ, пойметъ въ чемъ дѣло.

— Твоя правда, сказала Анна Дмитріевна, совершенно теряясь.

— Такъ, пожалуй, все погибнетъ, продолжалъ Шатровскій, находя удовольствіе волновать ее.—Придется, можетъ быть, пожалѣть и о Карзановѣ.

— Я не знаю, что мнѣ дѣлать, Alexis.

— Успокойся. Поди въ свою комнату, скажись больной, я увезу къ себѣ Юрина.

— Ты спасаешь меня другой разъ сегодня! вскричала она, заключивъ его въ объятія.

Чрезъ минуту, Юринъ, придя въ гостиную, засталъ одного Шатровскаго, который объяснилъ ему, что съ сестрой вдругъ сдѣлалось дурно.

— Должно быть, отъ жара, отъ ажитаціи, договорилъ онъ.—Мужъ теперь ухаживаетъ кругомъ нея, Вареньки тоже не увидимъ цѣлый день. Тоска — всѣ эти женскія нѣжности...

— Тоска, подтвердилъ Юринъ: — а что, Варенька тоже нервозна?

— Сохрани Богъ! Да при нервозной матери некогда нѣжничать. Что намъ тутъ дѣлать? поѣдемъ ко мнѣ.

Испугавшись скуки, Юринъ не заставилъ себя просить, и вскорѣ въ домѣ Николая Петровича затихли послѣдніе звуки человѣческихъ голосовъ, потому что все семейство находилось порознь, по своимъ комнатамъ.

IV.

Прошло три дня. Какъ извѣстно, тишина—принадлежность всякаго порядочнаго дома, а наружное спокойствіе свойство всякаго порядочнаго человѣка. Въ домѣ Анны Дмитріевны было тихо и всѣ казались спокойными. Одни дѣти удивлялись, когда снимали со стола приборъ Вареньки, но гувернеръ, человѣкъ понимающій, укрощалъ ихъ любопытство выразительнымъ «Still!» и все приходило въ порядокъ. Анна Дмитріевна съ покорностью, хотя и съ сознаніемъ своего достоинства, смотрѣла на Николая Петровича, котораго «грубая натура не забывала голода». Настасья Петровна не смѣла отказаться отъ обѣда.

Варенька сдерживала слово: она защищала свою любовь.

Николай Петровичъ объяснился съ женою.... Это объясненіе было очень сложно и продолжительно. Была одна минута, въ кото-

рую Анна Дмитріевна воскликнула, что сейчасъ пошлетъ за Карзановымъ; что если она только, она одна виновница общаго несчастья... Но этой минутой не воспользовались и не могли воспользоваться, потому что, послѣ своего восклицанія, Анна Дмитріевна упала безъ чувствъ, а тутъ было ужъ не до Карзанова.

Всякое утро несчастная мать спрашивала дочь: когда она перестанетъ мучить ее своими слезами? Всякое утро дочь отвѣчала матери, что, кажется, слезы ея основательны. Анна Дмитріевна просила по крайней мѣрѣ не плакать при ней. Варенька сказала, что не будетъ выходить изъ своей комнаты.

Всего болѣе оскорблялась Анна Дмитріевна тѣмъ, что мужъ далъ слово Карзанову, не спросивъ ее. Николай Петровичъ возражалъ, что ее давно спрашивали. Она говорила что еще не успѣла рѣшиться, что теперь она одурачена. Мужъ просилъ ее разобрать, кто одураченъ больше: онъ или она и, наконецъ, рѣшиться сдѣлать счастье Вареньки. Анна Дмитріевна была такъ сильно взволнована, что не могла ни о чемъ думать въ такомъ положеніи. Ее умоляли простить — она падала въ обморокъ.

Приходя въ себя, она говорила: что чувствуетъ себя не въ состояніи запрещать что нибудь, что понимаетъ, какъ незначителенъ ея голосъ, какъ мала и ненужна ея власть, и что, слѣдовательно, могутъ обойтись и безъ ея согласія. Ничто подобное не приходило на мысль ни Варенькѣ, ни Николаю Петровичу. Эти слова вызывали новыя сцены. Одинъ разъ Николай Петровичъ сказалъ дочери:

— Выходи замужъ, Варенька; я тебя благословляю, а мать проститъ.

— Я сама никогда не прощу себѣ, возразила Варенька.

Анна Дмитріевна вскричала, что не хочетъ этой борьбы великодушія.

Эти сцены могли быть разсказаны подробнѣе; но къ чему подробности?

Онѣ были однообразны. Онѣ не измѣняли уже одинъ разъ установившихся отношеній дѣйствующихъ лицъ; онѣ не подвигали самаго дѣйствія ни впередъ, ни назадъ; въ нихъ уже не было, или не казалось ничего рѣзкаго—такъ велика и страшна сила привычки ко всему, даже къ тому, что терзаетъ сердце: сердце уже не страдаетъ, оно только становится хуже, потому что его хладнокровіе не есть терпѣніе. Горе уже не волнуетъ, не возмущаетъ; оно понемногу примѣшиваетъ ко всему свой ѣдкій осадокъ, понемногу закрываетъ тѣнью всю жизнь...

Это продолжалось болѣе недѣли.

— Чѣмъ все это кончится? говорила Настасья Петровна, когда Варенька приходила къ ней поздно ночью.

— Это кончилось, отвѣчала Варенька, глядя въ открытое окно:—твое предсказаніе сбылось. Я могу быть женой Карзанова, если хочу и если не боюсь прогнѣвить мою мать на всю жизнь... Что-жъ останемся вотъ такъ, вмѣстѣ... еслибъ только жизнь не была такъ долга!

Случалось, что, измучась и наплакавшись, она засыпала на постели тетки, которая сидѣла надъ ней до утра.

— Ради Бога, говорила Варенькѣ утромъ Анна Дмитріевна, страдая нервами и лежа въ креслахъ:—вы ни во что не считаете мои слова, не нарушайте по крайней мѣрѣ порядка, который я желаю имѣть въ этомъ домѣ, пока еще я существую въ этомъ домѣ: спите въ вашей комнатѣ, не давайте дѣтямъ понять, что можно безнаказанно своевольничать, постыдитесь людей...

Если Настасья Петровна, безмолвно сидя за своими пяльцами, поднимала глаза, когда Анна Дмитріевна проходила по комнатѣ, къ ней обращались съ вопросомъ:

— Что вамъ угодно?

И на обычное: «ничего» Анна Дмитріевна отвѣчала всегда, удаляясь:

— Я думаю!!.. Кажется, больше нечего, все сдѣлано!

Анна Дмитріевна видимо желала, чтобъ ее считали за умирающую. Ея прощанія вечеромъ съ меньшими дѣтьми могли уложить въ постель и не нервнаго человѣка.

Иногда, замѣтя въ зеркалѣ, что ея губы достаточно обтянулись, а взглядъ сдѣлался достаточно неподвиженъ, Анна Дмитріевна останавливалась предъ Варенькой и стояла до тѣхъ поръ, пока бѣдная дѣвушка съ горькими слезами, не выговоривъ слова, бросалась ей на шею; тогда Анна Дмитріевна поспѣшно удалялась и, запираясь на ключъ въ своей комнатѣ, предоставляла Варенькѣ полную свободу плакать и умолять у дверей позволенія войти. Это позволеніе послѣдовало только одинъ разъ: горничная отворила Варенькѣ, которая въ одну минуту была уже на колѣняхъ предъ изнеможенной Анной Дмитріевной.

— Чего ты отъ меня хочешь? спросила она слабымъ голосомъ.

— Мама, ты знаешь!

— Подожди, ты скоро будешь свободна!..

. . . .

— Скажи мнѣ, все ли я сдѣлала, что дол-

жно было сдѣлать? спрашивала Варенька тетку, прибѣгая къ ней.—Права ли я передъ нимъ?

Но тетка успокоивала ее напрасно: Варенька схватывалась за всѣ средства—ея просьбы и мольбы были отвергнуты; съ отцомъ Анна Дмитріевна даже не говорила; онъ былъ печаленъ и разстроенъ не менѣе самой Вареньки. Она рѣшилась на послѣднее.

«Онъ бы не захотѣлъ этого», сказала она сама себѣ, «но все равно».

Варенька вздумала написать Шатровскому.—Она не имѣла понятія о его ссорѣ съ Карзановымъ, а Шатровскій не пріѣзжалъ всю эту недѣлю.

Въ тотъ день, когда Шатровскій получилъ эту записку, всю смоченную слезами, исполнилось два мѣсяца его пріѣзда въ деревню.

Тотъ же посланный вручилъ ему пакетъ отъ Анны Дмитріевны. Это было не письмо, а скорѣе дневникъ, который она писала, находя необходимымъ высказываться. Онъ не относился собственно ни къ кому и начинался словами: «Душа моя слишкомъ полна...»

Шатровскій расхохотался. Онъ повертѣлъ со всѣхъ сторонъ эти три листа почтовой бумаги, отыскивая конецъ, или что нибудь похожее на дѣло. Ему мелькали восклицательные знаки, строки точекъ, цитаты на разныхъ языкахъ, наконецъ, на листкѣ, очевидно, послѣднемъ, было написано поперекъ:—«Пріѣзжай сію минуту».

— Кланяйся, скажи, что я самъ пріѣду, закричалъ онъ посланному, не поднимаясь съ дивана.

Едва Шатровскій оставался дома сряду нѣсколько дней, какъ диванъ дѣлался его постояннымъ жилищемъ и оставить его стоило ему большого труда. Шатровскій повертѣлъ еще письмо сестры, прочелъ отрывкомъ нѣсколько фразъ, посмѣялся и, бросивъ все, заключилъ размышленіемъ:

«Охота поднимать столько шума изъ пустяковъ! Эти женщины во всемъ видятъ драму. Чѣмъ я могу разрѣшить ея опасенія, сомнѣнія, ожиданія, страданія и прочее? Не схватить же мнѣ Юрина за горло и сказать ему: сватайся!... Юринъ не кажетъ глазъ ко мнѣ: до него, можетъ быть, уже дошло, что дѣлается у нея въ домѣ».

Шатровскій еще не кончилъ думать, какъ вошелъ Юринъ. Онъ былъ одинъ безъ братца, весь въ черномъ и нѣсколько разстроенъ.

— Только что о тебѣ думалъ! вскричалъ Шатровскій ему на встрѣчу.

Юринъ довольно холодно пожалъ ему руку.

— Скажи, что съ тобой сдѣлалось?

— Кажется, я больше въ правѣ это спросить, отвѣчалъ Юринъ.—Вы не бываете у меня, а ваши меня не принимаютъ.

— Какъ это такъ? возможно ли?

— Вы понимаете... Я столько друженъ съ вами, Шатровскій...

— Помилуй, мы говорили другъ другу ты... Мнѣ больно...

— Не знаю, больно ли тебѣ, или нѣтъ, а еслибъ я не любилъ тебя, еслибъ еще не другая причина... то, конечно, не сталъ бы и спрашивать. Что мнѣ за дѣло, что твой зять не говоритъ со мной; но если онъ будетъ выбѣгать самъ на крыльцо и кричать, чтобъ меня не принимали—это ужъ изъ рукъ вонъ!

Дѣйствительно, Николай Петровичъ осмѣлился сдѣлать это два раза въ теченіе послѣднихъ бурныхъ десяти дней. Какъ ни наскоро прочелъ Шатровскій письмо сестры, но могъ понять, что она объ этомъ не знала. У него вдругъ мелькнула мысль. Разобравъ давно, что дума—лишняя забота, Шатровскій не сталъ обдумывать, а рѣшился дѣйствовать, по вдохновенію, радуясь, что на этотъ разъ оно освѣтило его такимъ блестящимъ лучомъ и явилось въ такихъ забавныхъ образахъ.

«Разыграемъ маленькій водевиль», подумалъ онъ: «удастся—хорошо, неудастся...»

— Ты ко мнѣ на весь день? спросилъ онъ Юрина.

— Да, если отношенія наши не перемѣнились.

— Съ чего имъ перемѣниться, помилуй?

— А съ того, что ты долженъ знать, какая муха укусила твоего зятя, сестру... почему я знаю!

— Полно, что о нихъ хлопотать?

— Для меня это важнѣе, нежели ты думаешь.

Шатровскій притворился, что не слышалъ.

— Что?

— Досадно, въ самомъ дѣлѣ! ты точно не хочешь меня понять, вскричалъ Юринъ.

— Я понимаю, что ты голоденъ и мы сейчасъ будемъ завтракать.

— Я думаю, что когда человѣкъ знакомъ, человѣкъ порядочнаго круга, образованный, ѣздитъ въ домъ, намѣренъ искать въ семействѣ—это тоже честь, а ему безъ всякихъ объясненій запрутъ дверь подъ-носомъ...

— Ты былъ намѣренъ искать въ семействѣ?

— Ты самъ сказалъ, что Варенька въ меня влюблена.

— Это дѣлаетъ честь твоимъ правиламъ, душа моя, сказалъ Шатровскій съ достоинствомъ «благороднаго отца».

— Правиламъ моимъ, mon cher, это не дѣлаетъ большой чести, возразилъ Юринъ:— потому что твоя племянница не первая дѣвочка, которая отъ меня безъ ума. Это вовсе не хвастовство, это совершенно въ порядкѣ вещей, какъ ты, надѣюсь, понимаешь.

— Понимаю, конечно. Въ твои лѣта и съ твоей наружностью... отвѣчалъ Шатровскій, очень серьезно.

— Ну, да. Изъ этого также не слѣдуетъ, чтобъ я самъ былъ въ нее влюбленъ: въ мои лѣта это ужъ было бы смѣшно. Я знаю жизнь не со вчерашняго дня...

— Охъ, ты, шалунъ! сказалъ Шатровскій, смѣясь.

— Шалунъ! отъ этихъ шалостей такъ старѣешься сердцемъ, что... Ну, все равно. Я, просто, хотѣлъ жениться порядочно, благоразумно, какъ это дѣлается въ свѣтѣ. Все, кажется, прилично; воспитаніе наше равно, mesalliance быть не можетъ. Я разсчиталъ по пальцамъ все свое будущее...

— И ты хочешь меня увѣрить, прервалъ Шатровскій:—чтобъ все это дѣлалось по разсчету? чтобъ тутъ на сердцѣ все было холодно, какъ ледъ?

— Еслибъ было и горячо, возразилъ Юринъ: — такъ въ мои лѣта въ этомъ не признаются.

— Но мнѣ, другу?

— Тебѣ, другу, я скажу... Глупо, досадно... На другихъ бы я не посмотрѣлъ, что меня не стали принимать, а тутъ Варенька...

— Ты бы подождалъ еще дня два, покуда Вареньку совсѣмъ сосватаютъ.

— Сосватаютъ? за кого? вскричалъ Юринъ съ увлеченіемъ, котораго нельзя было предполагать въ отжившемъ человѣкѣ.

— Ты видѣлъ у нихъ Карзанова?

— Что ты говоришь? быть не можетъ!

— Что-жъ дѣлать? Родители!

— Но она, она сама?..

— Она... сказалъ Шатровскій, доставая изъ кармана записочку Вареньки, въ которой, какъ онъ хорошо помнилъ, не было именъ собственныхъ. Она вотъ что.

— Дай сюда, покажи, ради Бога!

Должно признаться, что Юринъ, «испытавшій все и разочарованный», еще въ жизнь свою не получалъ записки отъ женщины и не имѣлъ понятія, какъ выражается любовь женщины порядочнаго круга. Смятая, но изящная бумага, небрежный и красивый почеркъ Вареньки, два три отчаянныя слова, которыя Юринъ не могъ удержаться, чтобъ не продекламировать, произвели на него обаяніе, какое производитъ на пансіонерку чтеніе перваго романа.

«Дядя (писала Варенька), не знаю, за что, но вы сдѣлали много вреда; поправьте его, спасите меня, уговорите маменьку. Пріѣзжайте сегодня, разскажу вамъ все Вы меня мучили шутя, но вы не знаете моего несчастья».

— Милое, возвышенное созданіе! вскричалъ Юринъ, перечитавъ эти три строки, и не зная, какъ восторженнѣе выразить свой восторгъ.—Въ чемъ же она упрекаетъ тебя, безчеловѣчный? что ты сдѣлалъ противъ нея?

— Право, не знаю, отвѣчалъ Шатровскій, совершенно довольный успѣхомъ своей выдумки.—Она вздыхала по тебѣ; отецъ прочилъ ей Карзанова, я... Что-жъ мнѣ дѣлать? я смѣялся.

— Ты рѣшительно человѣкъ безъ всякаго чувства! Но, наконецъ, мать, кажется, женщина благоразумная.

— Милый мой прервалъ Шатровскій:— именно потому, что сестра женщина благоразумная, она не позволитъ дочери увлечься ни на чемъ неосновіаннымъ чувствомъ.

— Но ты знаешь, что я...

— Видишь ли, продолжалъ Шатровскій, прервавъ его опять, чтобъ убѣдить сильнѣе:—эти аристократки не терпятъ увлеченій. Ты, я думаю, самъ знаешь, что въ вашемъ кругу все должно идти чинно и прилично. Что за странную фигуру представляетъ въ обществѣ дѣвушка, у которой сердце уязвлено, воображеніе взволновано, ну, и прочее? у нея на лицѣ написана безнадежная страсть; она неловка, неигрива, она проигрываетъ на каждомъ шагу. Что прикажешь дѣлать съ такимъ несчастьемъ?.. Mon cher, c'est le ridicule, и всякая благоразумная мать обязана заботиться и спасти дочь.

— Что-жъ за спасеніе отдать ее Богъ знаетъ за кого?

— Не шути Карзановымъ, онъ не Богъ знаетъ кто, возразилъ Шатровскій, почерпая въ своей ненависти силы хвалить врага:—онъ отлично образованъ, изъ ихъ школы неучи не выходятъ; занимаетъ видное мѣсто, конечно, въ провинціи, но вѣдь мѣста въ провинціи болѣе значатъ, чѣмъ въ столицахъ...

— И Вареньку запрутъ въ какомъ нибудь губернскомъ городѣ, вскричалъ Юринъ.

— Что-жъ дѣлать, mon cher, запрешь поневолѣ. Она найдется, она умна, заведетъ свой кругъ знакомства, посмотри, сдѣлаетъ свою гостиную... свой salon.

Шатровскій поправился, разсчитавъ на эфектъ слова.

— Сдѣлаетъ свой salon прибѣжищемъ всего, что найдется лучшаго; о ней будутъ говорить и въ столицахъ, а тамъ мужъ перейдетъ служить въ Петербургъ...

— Ты ужъ распоряжаешься, какъ будто она замужемъ, прервалъ Юринъ.

— Надо-жъ тебѣ растолковать.

— Развѣ ужъ совсѣмъ рѣшено?

— Почти, отвѣчалъ Шатровскій тономъ, способнымъ вывести изъ терпѣнія, что и удалось ему совершенно.

— Почти, но еще не совсѣмъ?

— Еще не совсѣмъ.

— И дѣло стало... за чѣмъ же?

— Сколько разъ повторять тебѣ? за отказомъ Вареньки. Ты читалъ записку?

Юринъ прочелъ ее опять и хотѣлъ спрятать.

— Дай ее сюда, сказалъ Шатровскій: — это надо еще показать матери.

— Зачѣмъ? что за вздоръ? вскричалъ Юринъ, удерживая записку.

— Затѣмъ, что оставить ее тебѣ, значитъ компрометировать свою племянницу, возразилъ Шатровскій очень серьезно.—Я и безъ того имѣлъ глупость открывать тебѣ ея чувства, чего бы не долженъ дѣлать. Ты знаешь, что еслибъ я поступалъ какъ должно, то мнѣ слѣдовало бы вовсе не такъ держаться съ тобою. Вѣдь ты не отречешься, что ухаживалъ за Варенькой?

— Конечно, отвѣчалъ Юринъ, сконфуженный сначала и ободренный тотчасъ шуточнымъ тономъ своего друга.

— И много говорилъ ей, когда оставались одни? Вѣдь ты профессоръ этого дѣла!

— Ну, да, подтвердилъ Юринъ, прохаживаясь въ волненіи.

— Слѣдовательно, я не говорю, чтобъ ты былъ виноватъ, чтобъ ты завлекалъ ее, но вѣдь не совсѣмъ правъ и ты, въ самомъ дѣлѣ! Сестра моя, женщина, пропитанная аристократическими идеями — оно и понятно: связи, родство, привычки цѣлой жизни—во вѣкъ не простила бы мнѣ, еслибъ знала то, что я говорю тебѣ теперь; она бы назвала это ловлей жениха, навязываньемъ—почему я знаю? она способна упасть въ обморокъ отъ одной мысли... Вотъ тебѣ и причина, почему тебя не принимаютъ.

— А какъ жениха, примутъ меня? спросилъ Юринъ, покраснѣвъ, потому что колебался между желаніемъ вступить въ аристократическое семейство и неопредѣленной нерѣшительностью.

— Развѣ ты намѣренъ свататься? спросилъ Шатровскій съ отлично сыграннымъ изумленіемъ.

— А что-жъ?

— Ничего.

— Нѣтъ, развѣ я не могу свататься?

— Я тебѣ не мѣшаю.

— Но, наконецъ, не стою я твоей племянницы? развѣ что нибудь такое... мое воспитаніе, надѣюсь, мое положеніе въ свѣтѣ, развѣ все это не выдержитъ сравненія съ ихъ Карзановымъ?

— Конечно, перевѣсъ состоянія...

— Ты какъ будто находишь, что это невозможно, точно будто скрываешь что нибудь.

— Ничего, увѣряю тебя.

— Нѣтъ, право? ты не находишь, чтобъ мое сватовство было неловко, неприлично?

— Я ничего не нахожу.

— Честное слово?

— Честное слово. По мнѣ, я очень радъ принять тебя въ родство.

— Въ такомъ случаѣ, я тебя прошу, ѣдемъ сейчасъ и объяснись за меня съ Анной Дмитріевной.

— Отъ души радъ, изволь, отвѣчалъ Шатровскій, будто колеблясь, замѣтивъ, что отъ его нерѣшительности Юринъ дѣлается рѣшительнѣе.

Шатровскій отправился поправить свой туалетъ. Возвратясь въ гостиную, онъ нашелъ Юрина у окна и въ размышленіи.

— Что, раздумалъ? спросилъ Шатровскій.

— Ты съ ума сошелъ?

— Такъ ты только задумался, какъ слѣдуетъ влюбленному. Хорошо. Ну, le coup d'étrier, и поѣдемъ.

Шатровскій налилъ бокалы, оставшіеся на столѣ, гдѣ они завтракали.

— Желаю успѣха, сказалъ онъ, смѣясь и выпивая свой.— На какую галеру лѣзешь ты, дорогой мой пріятель? охота, въ самомъ дѣлѣ...

—Шатровскій, отвѣчалъ важно Юринъ:— я не ребенокъ и прошу васъ это помнить. Если я на что рѣшился...

— А рѣшился, такъ рѣшился. Пей свой бокалъ, если рѣшился, и ѣдемъ.

Дорогой Шатровскій подумалъ, что пріѣздъ и предложеніе Юрина произведутъ на все семейство эфектъ бомбы, тѣмъ болѣе со-

вершенный, что положеніе дома и состояніе умовъ жителей было вполнѣ похоже на положеніе осажденнаго города. Эта мысль чрезвычайно его позабавила и, чтобъ скрыть улыбку, онъ принялся напѣвать разныя аріи, между тѣмъ какъ Юринъ былъ погруженъ въ созерцаніе природы и мечтанія, какъ слѣдуетъ влюбленному.

Воображеніе нарисовало Шатровскому суматоху, которая неизбѣжно поднимется, когда они пріѣдутъ и, главное, когда начнутся объясненія. Что-то будетъ? Какъ выйдетъ Анна Дмитріевна изъ всѣхъ предстоявшихъ затрудненій?

«Ахъ, какъ знаетъ», заключилъ Шатровскій.

Раздумывать было уже въ самомъ дѣлѣ поздно: экипажъ остановился у крыльца.

— Дома Николай Петровичъ?

— Уѣхали въ городъ.

— А сестра?

— У себя.

Въ комнатахъ была совершенная тишина. На террасѣ, въ гостиной, въ залѣ никого, ни даже Настасьи Петровны за пяльцами; самыя пяльцы исчезли.

— Подожди, я отыщу кого нибудь, сказалъ Шатровскій, отправляясь во внутреннія комнаты.

Юринъ сѣлъ смотрѣть кипсéки, какъ слѣдуетъ человѣку порядочному. Никогда еще эта гостиная не казалась ему такой порядочной и не поражала его столько своею величавой чинностью. На всемъ видѣлъ онъ такой аристократическій лоскъ, котораго ему такъ сильно и напрасно хотѣлось добиться у себя. Юринъ былъ одинъ; оставаясь одинъ, онъ позволялъ себѣ сознаваться: въ настоящую минуту сознаніе дошло до горечи и заставило его почти трепетать отказа, который показался ему возможнымъ.

«Эти важныя барыни!..» проговорилъ онъ.

Ему захотѣлось опять повернуть душу на презрѣніе, по крайней мѣрѣ, на пренебреженіе этого досаднаго блеска, этого обиднаго хорошаго тона. Ему не разъ случалось такъ утѣшаться, но тогда это бывало на людяхъ, въ кругу пріятелей, раздосадованныхъ и обиженныхъ, какъ онъ самъ, утѣшителей пристрастныхъ, слѣдовательно, жаркихъ и легко успѣвающихъ. Но Юринъ былъ одинъ... Оглянувшись, вспомнивъ свой полуразоренный, неубранный домъ, онъ выразилъ свое негодованіе энергическимъ восклицаніемъ, въ которомъ досталось и людямъ, и судьбѣ:

«Вѣкъ свой проживешь не по-человѣчески!»

Изъ чего, однако, не слѣдуетъ, чтобъ онъ хотѣлъ не шутя перемѣнить свои привычки въ чемъ нибудь, кромѣ убранства дома и чтобъ аристократическое супружество могло имѣть какое нибудь вліяніе на его образъ жизни. Юринъ давно рѣшилъ, что не терпитъ женъ-нѣженокъ, и что жена можетъ быть утѣхой мужа, но помощницей, совѣтницей—пусть и не думаетъ; это не ея дѣло.

Потомъ, онъ подумалъ немного о своей будущей женѣ и выразилъ эту мысль словами:

«Jolie personne!»

Причемъ онъ посмотрѣлся въ зеркало, вообразивъ ее подлѣ себя въ шляпкѣ съ перьями и дорогой шали, нарядную, какъ для свадебнаго визита, и пріятно улыбнулся, подумавъ, какое впечатлѣніе произведетъ извѣстіе: «Юринъ женатъ» на нѣкоторыхъ его знакомыхъ...

Воспоминаніе объ этихъ «нѣкоторыхъ знакомыхъ» заняло у него еще нѣсколько минутъ: стало чего-то жаль, какъ-то скучно; но идея показать свѣту, что и онъ можетъ жениться — какъ будто свѣтъ сомнѣвался въ этомъ когда нибудь—эта идея скоро совсѣмъ овладѣла головой Юрина и онъ сталъ нетерпѣливо и почти съ безпокойствомъ ожидать своего друга.

Шатровскій отправился въ уборную сестры, гдѣ ее можно было всегда найти, когда стояли домашнія грозы; въ это утро Шатровскій былъ поэтически настроенъ и потому сравнилъ комнату Анны Дмитріевны съ пещерой Эола. Нечего и прибавлять, что онъ оставилъ для себя это сравненіе и вошелъ, скрывая даже улыбку.

Улыбка была бы некстати: Анна Дмитріевна полулежала въ креслѣ; въ другомъ креслѣ сидѣла Варенька и горько плакала.

— Что съ вами дѣлается? спросилъ Шатровскій,которому стало досадно и непріятно.

— Alexis!.. произнесла съ воплемъ Анна Дмитріевна.

— Что такое? вы меня пугаете.

— Дядя! вскричала Варенька, бросаясь ему на шею:—дядя, другъ мой, все зависитъ отъ васъ! Правда ли, что вы поссорились съ Карзановымъ?

— Убѣди ее: мнѣ она не вѣритъ, сказала съ отчаяніемъ Анна Дмитріевна.

— Вѣрю, продолжала Варенька:—но вѣдь это не смертельная ссора, не какая нибудь

ужасная обида — нѣтъ? не правда ли? Маменька говоритъ, что отказываетъ ему только за это. Посмотрите, онъ пишетъ къ маменькѣ; вотъ его письмо; онъ проситъ дать ему объясниться... Дядя, я знаю, вы добры. Если и виноватъ онъ, вы ему простите; я за него буду у васъ просить прощенія, на колѣняхъ, если хотите! Маменька говоритъ, что онъ сказалъ ей...

— Тысячу дерзостей, сударыня, тысячу дерзостей, послѣ которыхъ не бываютъ въ домѣ. А онъ смѣетъ еще писать мнѣ!..

— Дядя, ради самого Бога!

— Alexis, ты не долженъ ее слушать!

— Я, въ самомъ дѣлѣ, не знаю кого слушать, сказалъ Шатровскій, сбитый съ толку. — Полно, Варенька, пощади мои нервы, другъ мой. Знаешь, очень неловко вдругъ попасть на такую сцену.

Варенька остановилась, какъ пораженная. Шатровскій тихонько посадилъ ее въ кресло.

— Дай мнѣ свою ручку, бѣдное дитя. Ты жестока съ нею, Аннета... Мы еще потолкуемъ. Но успокойтесь обѣ: я пріѣхалъ не одинъ, со мною Юринъ.

— Опять Юринъ! опять здѣсь! вскричала Варенька.

— Опять здѣсь, отвѣчалъ, улыбаясь, Шатровскій. — Вообрази, Аннета, Николай Петровичъ два раза не принялъ его этими днями.

— Знали вы это или не знали? спросила Анна Дмитріевна, величественно вставъ и приближаясь къ дочери.

— Знала, отвѣчала Варенька, взглянувъ ей въ глаза: — я сама просила отказать ему.

— Извольте идти въ вашу комнату.

Варенька вышла молча.

— Такъ вотъ какъ идутъ у васъ дѣла! сказалъ Шатровскій, дождавшись, чтобъ она затворила дверь: — нехорошо, очень дурно, потому что Юринъ пріѣхалъ дѣлать предложеніе.

— Что ты говоришь!

— Окончательно; влюбленъ какъ нельзя лучше, увѣренъ, что и въ него влюблены.

— Alexis! вскричала Анна Дмитріевна, заключая его въ объятія.

— Сдѣлай милость, не падай въ обморокъ; впрочемъ, отъ радости не умираютъ.

— Ахъ, Alexis, возможно ли? правда ли? Какъ онъ сказалъ тебѣ? Какъ это сдѣлалось? говори, ради Бога! вѣдь это лучшая мечта всей моей жизни! Разскажи мнѣ.

— Онъ лучше тебѣ самъ разскажетъ. Не забудь, онъ ждетъ.

— Боже! что дѣлать? Ты видѣлъ самъ, возможно ли это теперь?

— Я не ждалъ, что ты даромъ потеряешь двѣ недѣли, Аннета.

— Что же мнѣ было дѣлать? я одна. Ты видишь сумасбродство. Ты не можешь вообразить моихъ терзаній. Николай Петровичъ невыносимъ!.. Тетушка... я не могу видѣть эту женщину! Сейчасъ принесли письмо Карзанова...

— Что же мнѣ прикажешь дѣлать съ Юринымъ? Его надо отослать домой; не оставаться же ему здѣсь при такомъ порядкѣ вещей.

— Конечно... Скажи, что я больна.

— Онъ захочетъ видѣть Вареньку. Не показаться ему теперь, когда онъ хочетъ свататься, значитъ отказать.

— Твоя правда... Приведи его сюда.

— О, великая женщина!

Пока Шатровскій отправлялся за своимъ другомъ, Анна Дмитріевна поправила свою кружевную fanchon, опустила сторы, проглотила нѣсколько капель какого-то лекарства, котораго ѣдкій запахъ разнесся по комнатѣ, смѣшавшись съ запахомъ цвѣтовъ, и опять легла въ кресло въ живописномъ утомленіи.

Юринъ шелъ къ ней, пораженный новизной своего приключенія: онъ никогда не бывалъ въ дамскихъ уборныхъ. Видъ самой уборной и ея обитательницы поразилъ его еще болѣе. Никогда величіе Анны Дмитріевны не казалось ему такъ недосягаемо, ея женственная грація такъ неотразима. Юринъ почувствовалъ себя какъ-то пріятно, какъ-то больше того, чѣмъ онъ считалъ себя до сихъ поръ... Еслибъ онъ и не имѣлъ намѣренія жениться на Варенькѣ, эта минута его бы побудила.

— Извините бѣдную больную, m-r Юринъ, заговорила Анна Дмитріевна, протянувъ ему руку, которой спущенныя сторы придавали прозрачную блѣдность. — Я рѣшилась позвать васъ сюда, чтобъ еще разъ не лишиться удовольствія васъ видѣть хоть одну минуту... Я такъ больна. Мои всѣ потеряли голову. Сегодня необходимость, и Николай Петровичъ уѣхалъ, а дѣтей я отослала гулять.

— А m-lle Barbe?

— Ее прежде всѣхъ! cette pauvre enfant не спала всѣ ночи, и всѣ дни сидѣла безъ воздуха. Я придумала имъ partie de plaisir въ сосѣднюю деревню, визитъ къ кормилицамъ.

Анна Дмитріевна мило разсмѣялась и потомъ закрыла глаза отъ утомленія.

— Вы не увезете у меня Alexis? спросила она, помолчавъ.

Шатровскій сдѣлалъ другу знакъ, что пора уходить. Юринъ находилъ, что еще рано, но счелъ благоразумнымъ послушаться совѣта человѣка, знающаго приличія, и всталъ откланяться.

— Я даже попрошу его остаться, сказалъ онъ:—и попрошу его передать вамъ за меня то, чего я теперь не могу высказать; онъ лучше выберетъ время и также передастъ мнѣ вашъ отвѣтъ... отъ него будетъ зависѣть моя участь...

— Какъ, отъ брата?

— Отъ вашего отвѣта, сказалъ Юринъ, цѣлуя ручку интересной дамы, и съ неподражаемой ловкостью скрываясь за портьерой.

Какъ театралъ, онъ зналъ тайну ловкихъ и эфектныхъ выходовъ. Шатровскій, впрочемъ, проводилъ его.

— Какъ знаешь, mon cher, какъ знаешь, говорилъ ему Юринъ:—сватайся и обдѣлывай дѣло. Прелесть, что такое твоя сестра. Пріятно, знаешь, все равно, что свое родное, это порядочное общество. Немножко бы помоложе ей быть, такъ и, конечно, можно сердце оставить...

— Вѣтренникъ! да вѣдь ты ужъ влюбленъ.

— Сколько лѣтъ Варенькѣ? не скрывать, не скрывать! Впрочемъ, отъ меня мудрено и скрыть. Женская красота до двадцати—и только.

— Варенькѣ семнадцать.

— Недурно.

Юринъ уѣхалъ. Шатровскій отправился къ сестрѣ.

— Говори, сказала торжественно Анна Дмитріевна, которую онъ нашелъ у дверей въ ожиданіи.

Шатровскій разсказывалъ два часа безъ умолку. Анна Дмитріевна рѣшила дождаться мужа и тогда объявить обо всемъ Варенькѣ.

— Тебѣ поручено, сказала она брату: — слѣдовательно твои слова могутъ считаться официальными, даже должны такъ считаться... Какъ намъ быть съ приданымъ?

— Юринъ не говорилъ о немъ ни слова.

— Такъ, возразила Анна Дмитріевна: — но я хочу, чтобъ все было прилично. Развѣ... Но она не согласится.

— Кто она?

Анна Дмитріевна была сильно занята своей мыслью; она, казалось, что-то разсчитывала и отвѣчала брату только тогда, когда онъ повторилъ вопросъ:

— Ты не знаешь этого, Alexis? У Настасьи Петровны было маленькое имѣніе, она давно продала его Николаю Петровичу подъ предлогомъ, что сама не можетъ имъ управлять... У старыхъ дѣвъ манія казаться неопытными и беззащитными; къ тому-жъ она съ своей крестною матерью странствовала по свѣту: имъ было не до мнѣнія. Но вотъ годъ, какъ она пришла жить къ намъ. Между разговоровъ, однажды, я спросила—осторожно, конечно, я для этого довольно деликатна—какія у нея средства къ жизни, чтобъ дать ей понять, что надо-жъ чѣмъ нибудь обезпечить и тѣхъ, у кого мы живемъ; я была почти увѣрена, что у нея ничего нѣтъ, потому что онѣ жили въ свое удовольствіе. Она точно будто не поняла меня, засмѣялась очень глупо и отвѣчала, ласкагя дѣтей, что, конечно, я ей позволю вообразить себя богатой тетушкой, на которую могутъ разсчитывать наслѣдники. Ты знаешь, какъ она запутанно выражается, особенно если конфузится, не знаю чего. Боялась ли она, что я у нея потребую чего нибудь, хотѣла ли понѣжничать— не знаю. Потомъ я узнала, что у нея цѣлъ ея капиталъ и, вѣроятно, она не издерживаетъ всего, что съ него получаетъ.

— Такъ что-жъ ты думаешь сдѣлать? спросилъ Шатровскій.

Неизвѣстно почему, но Анну Дмитріевну нѣсколько смутилъ этотъ простой вопросъ. Шатровскій продолжалъ вовсе не потому, чтобъ хотѣлъ вывести ее изъ затрудненія, а потому, что такъ пришло въ голову.

— Она могла бы отдать эти деньги на приданое Вареньки?

— Ты понимаешь, что я не скажу ей ни слова! вскричала Анна Дмитріевна, находя приличнымъ одушевиться.— О! я слишкомъ горда, чтобъ унизиться до просьбы передъ женщиной, которая...

— Она, кажется, любитъ Вареньку, сказалъ спокойно Шатровскій.—Живя у васъ, ей немного нужно: два черныя платья въ годъ..

— Я не попрошу у нея ничего, прервала Анна Дмитріевна. — Я страстно люблю мою дочь, но не могу дойти до такого совершенства самоотверженія... Притомъ, мнѣ она откажетъ: она ненавидитъ меня. Еслибъ ты зналъ и могъ понять, Alexis, что я вынесла и какъ я бывала оскорблена!.. Одно ужъ то: вспомни вашу прогулку въ кабріолетѣ, во что она нарядилась, чтобъ унизить меня при Юринѣ, чтобъ показать, какъ она жалка и бѣдна! Хорошо, что Юринъ благороденъ...

— Онъ и не замѣтилъ, сказалъ Шатровскій:—я самъ не помню.

— Растолкуй мнѣ, для чего это дѣлается? кому она бережетъ?.. А, признаюсь тебѣ, чтобъ прилично устроить Вареньку, я буду въ большомъ затрудненіи... Одно средство обратиться къ ней. Alexis, поговори съ ней: она не можетъ отказать тебѣ. Шалунъ!.. по по крайней мѣрѣ твоя шалость устроитъ счастіе Вареньки.

— Ты приписываешь слишкомъ много важности этой шалости, Аннета.

— Напротивъ, не слишкомъ. Развѣ ты не знаешь, что говорятъ?

И Анна Дмитріевна, очень пріятно смѣясь, разсказала брату, какъ всѣ сосѣди толкуютъ о страсти Настасьи Петровны къ нему, привела нѣсколько подробностей, неизвѣстныхъ и самому Шатровскому, нѣсколько слуховъ, которыхъ онъ не опровергалъ, потому что они льстили его самолюбію. Онъ хохоталъ отъ чистаго сердца. Анна Дмитріевна настаивала только на томъ, что если онъ и не подалъ повода къ этой страсти, то все-жъ не можетъ отрицать существованіе этой страсти, чрезвычайно забавной, но въ настоящее время чрезвычайно полезной. По мнѣнію Анны Дмитріевны, Настасья Петровна не могла отказать «другу, который одинъ во всемъ мірѣ бралъ въ ней участіе», находилъ, что она можетъ быть любима. Со стороны Шатровскаго, любовь была заслуга, за которую можно было требовать вознагражденія. Анна Дмитріевна такъ краснорѣчиво описывала безнадежное положеніе сердецъ старыхъ дѣвъ, ихъ радость, когда онѣ встрѣчаютъ чувство, что Шатровскій убѣдился, что въ самомъ дѣлѣ доставилъ старой дѣвѣ минуты блаженства, на которое она не могла разсчитывать и за которыя должна быть благодарна.

— Положимъ, она страдала иногда, говорила Анна Дмитріевна:—страдала и отъ сомнѣній, и отъ невозможности полнаго счастья; но въ тѣ минуты, когда ты увѣрялъ, что она любима, развѣ она не блаженствовала?.. О, блаженствовала такимъ блаженствомъ, которому можно завидовать!

Настасья Петровна, которая въ эту минуту сидѣла у себя наверху, перешивая старую мантилью на ватѣ, конечно не воображала, чтобъ ея положеніе было завидно.

Впрочемъ, она и совсѣмъ не думала о себѣ. Какъ существо одинокое и немелочное, она не привыкла заботиться ни о чемъ житейскомъ, никогда не хлопотала о себѣ, находя, что заботы объ одной собственной особѣ излишни, скучны и непростительны.

— Что напрасно безпокоиться? говорила она иногда, когда посторонніе намекали ей на эту дѣтскую безпечность.—Есть у меня— хорошо, нѣтъ — такъ и быть, я обойдусь и безъ прихотей. Жизнь такъ коротка: на что напрасно тратить время?

Это было странное и совершенно натуральное противорѣчіе чувства, развитаго вполнѣ, и жизни, испытанной вполовину. Кто понималъ его, тотъ ему удивлялся; кто не понималъ, тотъ смѣялся и осуждалъ. Непонимающихъ всегда больше на свѣтѣ.

Настасья Петровна ничего не знала о пріѣздѣ Юрина и Шатровскаго и была очень удивлена, когда, услыша стукъ въ дверь и сказавъ: «войдите», увидѣла передъ собой Шатровскаго. Онъ былъ въ первый разъ въ ея комнатѣ; онъ разсчитывалъ на этотъ эфектъ, потому что пришелъ вполнѣ убѣжденный сестрою въ любви старой дѣвы.

— Какъ мы давно не видались! сказалъ онъ, подавая ей руку.

— Давно, отвѣчала Настасья Петровна.

Шатровскій поцѣловалъ ея руку и сѣлъ безъ приглашенія. Она молчала; ему стало неловко или, вѣрнѣе, скучно начинать задуманную сцену, но эта сцена была неизбѣжно рѣшена Анной Дмитріевной. Шатровскій оглядѣлся кругомъ и, замѣтя, что хозяйка работаетъ, не обращая на него вниманія, какъ будто вмѣсто него былъ одинъ изъ ея маленькихъ племянниковъ, рѣшился вызвать это вниманіе.

— Я не зналъ, какъ вы здѣсь помѣщаетесь, сказалъ онъ.

— Какъ видите, отвѣчала она.

— Уютно, тѣсно, скромно... это похоже на васъ.

Настасья Петровна не отвѣчала.

— Вы сердитесь на меня? спросилъ онъ, ловя ея руку.

— За что? спросила она, отклонивъ руку невнимательно и безъ замѣшательства.

— За то, что я пришелъ сюда?

Настасья Петровна взглянула на него съ улыбкой, которой онъ за ней еще не зналъ и которую ему стоило нѣкотораго труда объяснить и принять за любезную.

— Но вы сердитесь же за что нибудь? продолжалъ онъ. — Право, я не виноватъ, я не могъ пріѣхать раньше. Вы знаете, первую свободную минуту я отдаю вамъ.

— Что-жъ васъ удерживало? спросила она, продолжая улыбаться.

— Что? признаться ли?.. Я разсчитывалъ

что мы будемъ несвободны, не вмѣстѣ; я зналъ, что тутъ Богъ знаетъ что происходитъ.

— Основательныя причины!

— О, не упрекайте меня въ эгоизмѣ! Вы не хотите повѣрить, что у меня слишкомъ впечатлительная натура, нѣсколько нѣжная натура! меня все можетъ измучить — виноватъ ли я, что благоразумно избѣгаю безполезной борьбы?

— Правы, конечно, отвѣчала она холодно.

— Вы были огорчены, разстроены. Ваше горе лишило бы меня послѣднихъ силъ.

— У меня дурная память, сказала Настасья Петровна послѣ минутнаго молчанія, нѣсколько затруднительнаго для Шатровскаго: — но теперь вы напомнили мнѣ, кажется, первый вашъ разговоръ со мною...

— Я все помню!.. прервалъ Шатровскій со вздохомъ.

— Тѣмъ лучше, продолжала она спокойно. — Вы сказали мнѣ тогда, что никакое истинное чувство не пройдетъ для васъ незамѣтно...

— Я доказываю это... прошепталъ Шатровскій.

— Что горе другихъ близко вамъ, какъ собственное, продолжала Настасья Петровна, не обращая вниманія на этотъ перерывъ:—вы и сейчасъ это повторили; но тогда вы говорили еще, что это чувство найдетъ въ васъ покровителя, а это горе — защитника. Что-жъ вы сдѣлали теперь?

— Спрятался отъ обмороковъ сестры моей, отвѣчалъ онъ, смѣясь.—Я былъ, конечно, слабъ—простите, но согласитесь, что испытаніе выше силъ...

— Я попрошу васъ говорить серьезно, возразила Настасья Петровна очень холодно. — Мнѣ давно хотѣлось объясниться, но также не доставало ни силъ, ни рѣшимости. Въ послѣдній разъ я васъ видѣла послѣ очень непріятной исторіи.

— Какой исторіи? я ничего не знаю.

— Притворяться, право, не время, это наконецъ становится скучно... Мнѣ было очень тяжело и горько въ этотъ вечеръ.

— Бѣдный другъ! снова прервалъ Шатровскій.

— Знаете-ли, сколько нужно терпѣнія, чтобъ говорить съ вами? спросила она.

— Будьте терпѣливы до конца! вскричалъ онъ, схвативъ насильно ея руку и цѣлуя ее нѣсколько разъ.—Что, въ самомъ дѣлѣ! цѣлый свѣтъ, сестра называетъ меня повѣсой; хоть вы поймите, что въ моемъ сердце есть что нибудь хорошее.

— Я не вступаюсь за себя, не останавливаю вашей дерзости, сказала она, между тѣмъ какъ на глазахъ ея навернулись слезы.—Теперь все это ужъ ничего не значитъ. Вы съумѣли прибавить къ горю моей жизни, а сдѣлать это было трудно!... Все равно! Но вы даете мнѣ право высказаться, выразить, какъ я понимала васъ, объяснить вамъ, что могли вы сдѣлать хорошаго и сколько вы сдѣлали дурного...

— Я ничего не сдѣлалъ, возразилъ Шатровскій.

— Ваша правда, вскричала она:—не дѣлая съ вида ничего, вы допустили несчастье бѣдной Вареньки. Вы одни могли смѣло вступиться за нее, растолковать вашей сестрѣ...

— Моей сестрѣ! повторилъ Шатровскій:— стало быть, вы не понимаете моихъ отношеній къ сестрѣ, стало быть, вы не хотите видѣть, что я избѣгаю столкновеній и стараюсь только, чтобъ она держала себя въ границахъ...

— Я вижу только, что вы угождаете ей во всемъ, сказала Настасья Петровна. —Моя зависимость очень велика, мои обязанности передъ женой моего брата тоже велики, мое положеніе очень грустно, и тѣмъ грустнѣе, что въ немъ всякая жалоба, хотя бы основательная, кажется мелочной и неблагородной. Даже теперь, повторяю, вступаясь не за себя, я боюсь, что меня поймутъ не такъ, что мои справедливыя обвиненія вашей сестрѣ за Вареньку будутъ приняты за желаніе какъ нибудь выразить мою собственную досаду...

— Вѣдь вы говорите со мною, сказалъ Шатровскій нѣжно.

— Съ вами?... А если я откровенно скажу вамъ, что васъ-то я и боюсь больше всего?

— Вы сомнѣваетесь въ моемъ чувствѣ?

— Въ какомъ?.. спросила она, взглянувъ на него съ холодной твердостью, которой онъ не ожидалъ.

— Въ какомъ?.. Это странно, однако... Въ моемъ чувствѣ къ вамъ.

— Назовите его, сказала она, продолжая смотрѣть попрежнему.

— Къ чему послужитъ называть это чувство? оно невозможно! отвѣчалъ Шатровскій наклоняя голову.

— Я назову его, возразила Настасья Петровна,—потому что вамъ самимъ, конечно, совѣстно въ немъ признаться, а мнѣ съ этой минуты, когда вы, наединѣ со мной, осмѣлились смѣяться мнѣ въ глаза, мнѣ ужъ нечего щадить васъ. Ваше чувство ко мнѣ было—самонадѣянное притворство фата; вамъ

хотѣлось забавляться... Ни слова больше! продолжала она, остановивъ Шатровскаго, который хотѣлъ возразить.—Все, что вы можете сказать мнѣ, только прибавить къ оскорбленіямъ, которыя я стараюсь забыть... Теперь, поговоримъ о Варенькѣ, — сказала она, пройдясь по комнатѣ и возвращаясь на свое мѣсто.

— Вы меня не поняли, сказалъ Шатровскій, въ смущеніи и досадѣ, внутренно бѣсясь на Анну Дмитріевну, которая доставила ему эту сцену.

— Я просила васъ не объясняться, сказала Настасья Петровна.

— Не могу же я молчать на оскорбленіе, вскричалъ Шатровскій, обижаясь болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ чувствовалъ себя виноватымъ.—Вы несправедливы ко мнѣ; вы не хотѣли разобрать, что чувство преданной дружбы очень похоже... Вы приняли одно за другое...

— Старая дѣва была рада найти обожателя, прервала Настасья Петровна.—Ради Бога, молчите! я готова простить васъ, прощаю... не напоминайте мнѣ ничего. Еслибъ я въ самомъ дѣлѣ такъ глупо ошибалась—простите мнѣ за то, что я вынесла, за то, что нѣтъ ребенка, который бы не смѣялся надо мною. Если вы, въ самомъ дѣлѣ, имѣли ко мнѣ сколько нибудь дружбы и жалости, скажите, за что мучатъ Вареньку?

Шатровскій пожалъ плечами.

— Капризъ моей сестры, сказалъ онъ.

— Я знаю, что вы раздѣляете всѣ эти капризы, строго возразила Настасья Петровна.—Повторяю вамъ: не притворяйтесь, пора перестать. Карзанову отказываю тъ, потому что имѣютъ въ виду Юрина—такъ ли?

Шатровскій разсмѣялся.

— Можетъ быть, сказалъ онъ:—я не посвященъ въ эти тайны.

— А онъ, влюбленъ?

— И не думаетъ, сколько мнѣ достовѣрно извѣстно.

— Сказали ли вы это Аннѣ Дмитріевнѣ?

— Изъ чего заводить напрасный разговоръ? она меня не спрашивала. Что-жъ касается Карзанова, я нахожу, что причина отказа довольно основательна.

— Причина, что Юринъ можетъ влюбиться, или что Карзановъ ненравится вамъ?

— Сколько предубѣжденій у такого возвышеннаго существа! сказалъ съ грустью Шатровскій.—Богъ вамъ судья, вы много огорчили меня сегодня. Подумайте лучше хотя о моей сестрѣ. Карзановъ бѣденъ...

— А!...

— Мать хотѣла бы по крайней мѣрѣ сдѣлать дочери хорошенькое приданое... положимъ, прихоть, но прихоть матери. У нея еще четверо дѣтей, кромѣ Вареньки; имѣетъ ли она право отнимать у нихъ...

— И потому лучше рѣшается сдѣлать вѣчное горе Варенькѣ?

— У сестры все крайности; вы ее знаете, она нелогична, отвѣчалъ Шатровскій.—Что она задумала...

— И это одно препятствіе?

— Увѣряю васъ единственное.

Настасья Петровна встала, открыла одну изъ своихъ крошечныхъ шкатулокъ и достала изъ нея ломбардный билетъ.

— Вы не знали, что я богата? сказала она.—Потрудитесь отдать это Варенькѣ, но только отъ вашего имени. Сохрани Боже, если она, братъ, или Анна Дмитріевна узнаетъ, что это мое—она не возьметъ.

Шатровскій былъ пораженъ. Что-то похожее на страшное раскаяніе схватило его за горло.

— У меня нѣтъ больше, отвѣчала она просто и хлопотливо, какъ говорила всегда, когда заботилась о других ъ.—Вы—дядюшка, прибавьте!

Ея голосъ звучалъ такой милой и добродушной просьбой, въ самой просьбѣ, въ желаніи найти товарища для своего поступка выказывалось, что она такъ мало цѣнила этотъ поступокъ, что Шатровскій не могъ выдержать и, схвативъ ея руки, въ первый разъ поцѣловалъ ихъ со всѣмъ чувствомъ, котораго стоила эта дѣвушка. Она тоже ласково и весело поцѣловала его голову.

— Богъ съ вами, сказала она:—подите скорѣе, устройте мнѣ это дѣло, подите, не мѣшкайте ни минуты.

Она почти вывела его за дверь и, затворивъ ее, заперла на ключъ. Шатровскій остался одинъ на лѣстницѣ, съ билетомъ въ рукахъ.

Нѣсколько минутъ онъ не могъ опомниться. До сихъ поръ всѣ его дурные поступки происходили отъ забывчивости, отъ нежеланія думать, отъ самолюбія, или были вызваны противорѣчіемъ другихъ — что нибудь, но оставалось неясно и вводило его въ сомнѣніе, или наталкивало его дѣлать дурно; словомъ, до сихъ поръ Шатровскій могъ еще признавать что-то въ родѣ судьбы въ своихъ дѣйствіяхъ; теперь, онъ видѣлъ, что ему оставленъ рѣшительный, свободный произволъ; теперь, онъ з н а л ъ, что дѣлалъ и м о г ъ выбирать. Теперь все постороннее наводило его только на хорошую дорогу, и

покориться обстоятельствамъ, значило поступить хорошо. Ему стало неловко, стыдно, досадно, жаль Настасьи Петровны, жаль Вареньки. Еслибъ всѣ обстоятельства могли рѣшиться однимъ порывомъ, у Шатровскаго достало бы силы для этого порыва, но, къ несчастью, надо было обдумывать, но, къ несчастію, обстоятельства были сложны, и чтобъ поправить ихъ, нужно было мужество...

«Сейчасъ уѣду въ Сосновку», вдругъ подумалъ Шатровскій, «возьму еще другой билетъ, заѣду къ Карзанову, извинюсь передъ нимъ, привезу его сюда... Николай Петровичъ до тѣхъ поръ возвратится—и все будетъ слажено»...

Эти размышленія Шатровскаго были похожи на размышленія маленькихъ дѣтей, запертыхъ за наказаніе въ темную комнату, гдѣ они придумываютъ, что вотъ отворится дверь, войдетъ няня, принесетъ игрушки... и прочее...

Дверь въ самомъ дѣлѣ отворилась внизу темной лѣстницы: горничная Анны Дмитріевны пришла сказать, что барыня зоветъ братца къ себѣ.

Шатровскій вошелъ къ сестрѣ сильно взволнованный; онъ сѣлъ молча и бросилъ билетъ на столъ.

— Что это? спросила Анна Дмитріевна, взявъ его.—Какъ, она отдала?.. Ну, Alexis, поздравляю, ты дѣлаешь чудеса!

— Она велѣла, чтобъ я отдалъ его Варенькѣ будто отъ себя, сказалъ Шатровскій.

— Все равно, ты могъ отдать и мнѣ... Все эфекты, скрытое благодѣяніе! Или ты устроилъ такъ нарочно, чтобъ избавить меня отъ удовольствія благодарить ее?.. Какъ, однако, ты добръ, Alexis, безконечно, безмѣрно добръ!

Анна Дмитріевна обняла его.

— Я никогда не забуду, проговорила она, едва дыша отъ сильнаго чувства.

Шатровскій нѣсколько нетерпѣливо уклонился отъ ея объятій: они были ему непріятны; сама Анна Дмитріевна показалась ему непріятна.

— Заслуга вовсе невелика, Аннета.

— Конечно, счастливецъ! тебѣ она стоила нѣсколькихъ словъ.

— Повторяю, невелика, но стоила дороже.

— Чего-жъ?

— Ты ни за что не считаешь тяжелое принужденіе, цѣлую сцену притворства.

— Oh, Alexis, brison là: ты говоришь фразы.

— Я говорю искренно, мнѣ было совѣстно... стыдно.

— Quelle idée!

— Она съ такою радостью отдала все, что имѣла.

— Значитъ, ты доставилъ ей случай высказать ея великодушіе. Еслибъ это стоило ей сожалѣній, усилій—дѣло другое; еслибъ ты выпрашивалъ...

— Я обманулъ ее.

— Ты нестерпимый фразеръ, Alexis, и, кажется, рѣшился сегодня говорить одними полусловами, сказала Анна Дмитріевна, приходя въ волненіе.—Мы не комедію играемъ вдвоемъ; прошу тебя выражаться вразумительнѣе.

— Съ удовольствіемъ, отвѣчалъ Шатровскій, вставъ съ дивана.—Настасья Петровна дала мнѣ эти деньги съ тѣмъ, чтобъ онѣ пошли на приданое Вареньки, если Варенька выйдетъ за Карзанова, и потому...

Онъ остановился.

— И потому?.. повторила Анна Дмитріевна.

— И потому я далъ слово и долженъ сдержать его: настоять, чтобъ ты позволила Варенькѣ выйти за Карзанова.

— Alexis, тебя ли я слышу? вскричала Анна Дмитріевна, будто громомъ пораженная.

— Меня.

— Нѣтъ, повтори, повтори, чтобъ я убѣдилась, что и ты, мой братъ, моя единственная опора въ мірѣ, мой лучшій другъ, единственное симпатичное мнѣ существо...

Шатровскій невольно разсмѣялся.

— Ты смѣешься? чудовище!.. Боже! за что я всѣми оставлена? За что это вѣчное одиночество? за что я непонята? Притворщица, кокетка—словомъ, одной лицемѣрной выходкой успѣваетъ болѣе, нежели я всѣмъ: довѣренностью, логикой, дѣтской покорностью, самопожертвованіемъ!.. Она совершенная женщина, а я... я убита!

— Кончила ли ты? спросилъ Шатровскій, слыша, что у нея прервалось дыханіе.

— Скажи мнѣ, чего ты хочешь?

— Я, собственно?—ничего; мнѣ все равно.

— Чего-жъ ты требуешь?

— Чтобъ ты отдала Вареньку за Карзанова; иначе мнѣ невозможно взглянуть въ глаза Настасьѣ Петровнѣ.

— Такъ ты простилъ Карзанову?

— Мнѣ все равно, пожалуй, если хочешь, прощаю! сказалъ торжественно Шатровскій.

— Но Юринъ, другъ твой?

— Тысячу разъ говорю тебѣ: мнѣ все ра-

вно. Одного не хочу я, чтобъ меня могла назвать обманщикомъ Настасья Петровна.

— Подите, отнесите ей назадъ эти деньги! вскричала Анна Дмитріевна, бросивъ билетъ на полъ.

— Не угодно ли вамъ самимъ это сдѣлать, возразилъ Шатровскій.

— Она не возьметъ ихъ отъ меня.

— Мнѣ все равно.

— Такъ вы жертвуете мною этой женщинѣ? мною, вашей сестрой?

— Избавь отъ фразъ, Аннета!

— Вы смѣетесь, вы презираете меня! О, вы жестоко ошиблись!... Чѣмъ вы помогли имъ, что перешли на ихъ сторону? Что вы сдѣлаете противъ меня? Смѣяться можно, дѣйствовать трудно!

— О, какъ легко! сказалъ спокойно Шатровскій:—скажу Николаю Петровичу, скажу Карзанову, возьмемъ Вареньку и повѣнчаемъ ихъ у меня въ Сосновкѣ...

Шатровскій не разсчиталъ страшныхъ послѣдствій своей угрозы, которую произнесъ не думая, а потому, что такъ вздумалось. Анна Дмитріевна упала на полъ—головой на мягкій диванчикъ.

— Ты убилъ меня! прошептала она, лишаясь чувствъ.

Шатровскій сломалъ голову китайца колокольчика—призывая на помощь людей, потому что его помощь была безполезна. Когда комната наполнилась горничными, дѣтьми, когда вбѣжала Варенька, когда въ корридорѣ послышались шаги Настасьи Петровны, онъ убѣжалъ, предоставляя на произволъ судьбы сестру, Вареньку и все окружающее.

V.

Прошло еще нѣсколько дней, въ теченіе которыхъ Шатровскій не заглядывалъ въ домъ сестры. Онъ заключился въ своей неприступной Сосновкѣ, забывая весь міръ, который надоѣлъ ему своими женихами, слезами, обмороками, старыми дѣвами и прочимъ; изъ чего можно основательно и положительно заключить, что совѣсть Шатровскаго, взволнованная на минуту, опять спокойно улеглась съ нимъ вмѣстѣ на диванѣ и задремала надъ чувствительными страницами старинныхъ книжекъ. Было начало августа,самая пора темно-алыхъ сливъ, золотыхъ дынь, блѣдно-зеленыхъ, скороспѣлыхъ яблокъ, которыхъ необыкновенная наружная и внутренняя красота расшевелила въ сердцѣ Шатровскаго что-то похожее на поэзію: онъ сравнилъ ихъ съ воспоминаніемъ первой любви, не находя ничего нѣжнѣе и граціознѣе...

Конечно, о любви Вареньки не было никакого воспоминанія; а если случайно и приходило оно, то уже нисколько не въ граціозныхъ образахъ.

«Богъ съ ними, со всѣми!» рѣшилъ Шатровскій: «капризная женщина, такая же упрямая плаксивая дочка, батюшка—мѣшокъ, влюбленный—дерзкій дуракъ, женихъ—такой же дуракъ, только богатый. Связаться съ ними—сойдешь съ ума; пусть сами раздѣлываются, какъ знаютъ».

Замѣчательно только, что одной Настасьѣ Петровнѣ не дѣлалось никакого опредѣленія и не давалось никакого эпитета. Мысль о ней приходила невольно и неотвязно; Шатровскій, конечно, не позволялъ себѣ долго задумываться, но успокоивалъ эту мысль только словами:

«Она довольно умна и пойметъ, что тутъ дѣлать нечего».

Міръ, однако, не оставлялъ его въ покоѣ: онъ напоминалъ о себѣ письменно. На второй день его добровольнаго заключенія, принесли пакетъ отъ Анны Дмитріевны: два листа почтовой бумаги большого формата, кругомъ.

«Нечего говорить о томъ, что я чувствую. Сердце разбито, жизнь истощена. Еще разъ обманъ, и жестокій!.. Ты, къ которому я почти не смѣю обратиться, существо близкое и далекое, ты, оставившій меня на произволъ существъ, непонимающихъ и грубыхъ, на борьбу съ мелочностью и настойчивостью»...

Шатровскій заснулъ. Когда онъ проснулся, къ обѣду, ему доложили, что посланный ждетъ отвѣта.

— Я самъ пришлю отвѣтъ, сказалъ онъ, и не послалъ, конечно.

Вечеромъ пріѣхалъ Юринъ.

— Ну, что?

— Милый мой, тамъ больны. Не совѣтую тебѣ ѣхать туда, попадешь на докторовъ—и только. Дай подумать; это такъ скоро не дѣлается.

Чрезъ три дня явились разомъ два посланные. Юринъ писалъ и спрашивалъ, что новаго. Письмо Анны Дмитріевны было нѣсколько короче прежнихъ и закапано слезами. Оно начиналось такъ... (Должно замѣтить, что точки поставлены вездѣ самимъ авторомъ).

«Свершилось!.. Все кончено!!.. я рѣшилась на жертву и этой жертвой буду я — я

сама! Если нужно для нихъ, чтобъ я не существовала, я съумѣю отдалиться, изгладиться, исчезнуть! я уѣду далеко... Куда?.. Я отдамъ имъ свободу, я оставлю ихъ, оставлю навсегда...»

«Mon cher, написалъ Шатровскій Юрину: сестра моя въ такомъ отчаянномъ положеніи, что нечего теперь и справляться о дѣлѣ. Подожди, я извѣщу тебя самъ, или ты навѣдайся, но только не къ нимъ, а ко мнѣ».

Шатровскій былъ предусмотрителенъ и остороженъ, но, къ удивленію его, Юринъ не показалъ ему глазъ еще цѣлые три дня.

Въ полночь послѣдняго изъ этихъ трехъ дней, когда Шатровскій докуривалъ сигару, собираясь заснуть, раздался топотъ лошади на дворѣ, собаки взвыли и залаяли, дверь комнаты отворилась и запыхавшійся посланный подалъ Шатровскому записку:

«Alexis, спаси меня!..»

— Скажи, что я нездоровъ и сплю, отвѣчалъ Шатровскій: — дамъ отвѣтъ завтра, если будетъ легче.

Догадываетесь ли, читатель, какіе перевороты происходили этимъ временемъ въ домѣ, семействѣ и душѣ Анны Дмитріевны? Странно и почти непостижимо, какъ столько тревогъ можетъ произойти отъ немногихъ словъ; и еслибъ не удостовѣряли насъ въ томъ вѣковые примѣры... Но частная жизнь — не есть ли всегда повтореніе тѣхъ же вѣковыхъ примѣровъ, только въ меньшемъ размѣрѣ?

Пусть воображеніе тѣхъ, кто близко и не шутя знаетъ эту жизнь, кто цѣнитъ ея волненія и утраты и замѣчаетъ ихъ вліяніе, пусть это воображеніе представитъ себѣ сцены трогательныя, тяжелыя, отчаянныя, смѣшныя, всегда поразительныя, потому что значеніе ихъ велико... По многимъ причинамъ мы отказываемся ихъ пересказывать.

Узнавъ о предложеніи Юрина, Анна Дмитріевна въ тотъ же день объявила о томъ Николаю Петровичу и Варенькѣ, прибавивъ, что отказать такому жениху будетъ, по ея мнѣнію, безумно и что она этого не допуститъ.

Николай Петровичъ отвѣчалъ, что никогда не позволитъ Варенькѣ выйти за Юрина.

Варенька сказала, что не пойдетъ за него.

Настасьѣ Петровнѣ осталось только плакать.

На другой день Анна Дмитріевна призвала къ себѣ Вареньку, заперла двери и, съ необыкновенной кротостью объяснивъ ей, что Николай Петровичъ ничего не понимаетъ въ дѣлахъ и не заботится о будущности своего семейства, убѣждала Вареньку въ томъ, что у нея есть еще сестра и три брата.

— Но что-жъ имъ до того, за кѣмъ я буду замужемъ? возразила Варенька.

— Я не знала, что ты такая безчувственная эгоистка! вскричала Анна Дмитріевна.

Эта идея была развита очень краснорѣчиво. Когда Николай Петровичъ, привлеченный отголосками этого краснорѣчія, сталъ стучаться въ двери, его впустили затѣмъ, чтобъ онъ лучше и сначала могъ все выслушать. Онъ прибавлялъ въ защиту Вареньки, что никогда не потерпитъ, чтобъ дѣти его пользовались чѣмъ нибудь отъ... Юрина. Онъ постоянно прибавлялъ къ этому имени по нѣсколько прилагательныхъ; Николай Петровичъ разсказывалъ о Юринѣ случаи и подробности, неподлежащія никакому сомнѣнію. Анна Дмитріевна восклицала, что это клеветы. Въ преніи являлись эпизоды, разсказы заходили далеко. Анна Дмитріевна приказывала Варенькѣ уйти. Николай Петровичъ останавливалъ дочь, говоря:

— Зачѣмъ ей уходить? пусть узнаетъ, какого мужа ей прочатъ.

— Что были вы сами въ молодости? восклицала Анна Дмитріевна.—Такъ вы не вѣрите въ исправленіе, вы сомнѣваетесь во всемъ человѣчествѣ, въ развитіи...

— Матушка, избавь отъ учености. Во всѣхъ вѣрю, всѣхъ уважаю, а отъ этого нечего ждать: совсѣмъ развился; и что дальше, то будетъ хуже.

— Даже когда его женой будетъ Варенька? Вы сомнѣваетесь въ нравственномъ вліяніи вашей дочери? Не вы ли ее расписываете совершенствомъ?

— Варенькѣ вразумлять Юрина? да гдѣ-жъ видано?..

— О! вы правы, невидано, неслыханно, чтобъ жена значила что нибудь для своего мужа: вы это говорите по опыту...

Анна Дмитріевна превосходно развивала и эту идею, такъ что вскорѣ она оказалась главною во всѣхъ спорахъ, точкой исхода и точкой опоры; эта идея была скала, о которую разбивались всѣ доводы Николая Петровича,—скрытое оружіе, которое поражало его неожиданно и жестоко... Вечеромъ третьяго дня съ Анной Дмитріевной былъ нервный припадокъ, повергшій въ отчаяніе весь домъ, кромѣ одного Николая Петровича, который рѣзко отвѣчалъ Настасьѣ Петровнѣ, когда она прибѣжала сказать ему, чтобъ послать за докторомъ:

— Вздоръ какой! Еще въ городѣ не знаютъ объ этихъ глупостяхъ, такъ надо разблаговѣстить.

И потому на другой день утромъ Шатровскій получилъ отъ сестры письмо № 2-й, котораго не прочелъ, конечно, а потому и не зналъ, какъ Анна Дмитріевна приняла намѣреніе «принести жертву» и въ чемъ именно должна была состоять эта жертва. Но еще чрезъ три дня, получивъ записку, состоявшую только изъ трехъ словъ, Шатровскій хотя и заснулъ спокойно, а проснувшись по утру, подумалъ, что надо-жъ, въ самомъ дѣлѣ, взглянуть, что тамъ дѣлается.

Эти три дня были неизобразимы.

Шатровскій поѣхалъ рано, желая не столько угодить Аннѣ Дмитріевнѣ, сколько избѣжать жара, который, однако, ему пришлось вынести вполнѣ, потому что, не доѣзжая усадьбы сестры, сломалось колесо его дрожекъ и Шатровскій былъ принужденъ идти пѣшкомъ. Чтобъ сократить дорогу, онъ отправился чрезъ плотину.

Свѣтлое платье мелькнуло въ зелени у развалинъ любимой скамейки Вареньки. Вглядываясь еще пристальнѣе, сколько позволяли яркіе полдневные лучи, Шатровскій разглядѣлъ, что она была не одна: съ ней былъ Карзановъ.

«О, женщины!» воскликнулъ онъ мысленно...

Измучась въ эти ужасные дни, Варенька рѣшилась: чѣмъ-свѣтъ, она послала къ Карзанову и написала, чтобъ онъ пришелъ. Она могла-бъ сдѣлать это спрося отца, сказавъ теткѣ, и никто-бъ не запретилъ ей; но она боялась, что станутъ возражать на ея рѣшеніе. Въ эти дни она убѣдилась, что никто не можетъ помочь ей, поддержать ее; что она сама, напротивъ, одна можетъ успокоить всѣхъ... Варенька ждала Карзанова, сидя на обрушенной скамейкѣ, глядя на свѣтлыя волны пруда, которыя тихо плескали въ низкій берегъ; кусты кругомъ были обломаны, дорожка заросла травою; не смотря на жаръ и тишину, въ воздухѣ вѣяло осенью: земля была влажна и листья на деревьяхъ шелестили, какъ-то сухо и звонко; изъ нихъ два-три, совсѣмъ блѣдно-желтые, закружились и упали къ ногамъ Вареньки. Варенька принялась плакать. Это были не слезы раздумья влюбленной грусти — несносныя, приторныя слезы, которыя, разливаясь слишкомъ часто, сдѣлали то, что возбуждаютъ въ другихъ уже не сочувствіе, а скуку. Варенька плакала горько и искренно, не рисуясь, не вызывая ихъ нарочно, когда онѣ истощались. Ей многое напомнило это мѣсто, эта скамейка; но Варенькѣ не были нужны воспоминанія: и безъ нихъ она очень хорошо сознавала свое положеніе, цѣну всего, что любила и съ чѣмъ готовилась проститься...

Увидя Карзанова, который шелъ къ ней чрезъ плотину, Варенька вдругъ успокоилась, не принуждая себя, а невольно, отъ радости, что увидѣла его. Она побѣжала къ нему на встрѣчу, схватила его за руку, привела его за собою—она была счастлива.

— Ты плакала? сказалъ Карзановъ, говоря ей ты, какъ въ то утро, когда Николай Петровичъ благословилъ ихъ.

— Мнѣ очень тяжело! отвѣчала Варенька.

— Какъ ты перемѣнилась! какъ похудѣла!

— Полно, сказала она, отнимая у него руку; — мнѣ еще хуже, еще больнѣе, когда ты цѣлуешь мои руки, точно прощаешься... Мы еще будемъ прощаться. Сядь здѣсь.

Она указала ему на конецъ скамейки.

— Видишь ли, она еще уцѣлѣла, дождалась насъ... никто чужой здѣсь не былъ.

— Варенька, неужели нѣтъ никакой возможности убѣдить твою мать?

— Она писала къ тебѣ?

— Да, отвѣчала, наконецъ, на два мои письма...

— Стало быть, ты самъ видишь, можно ли убѣдить ее. Ради Бога, прибавила Варенька, увидя, что онъ достаетъ письмо, и останавливая его:—не показывай мнѣ этого письма...

Она поблѣднѣла.

— Тебѣ совсѣмъ отказано, все кончено.

— Да.

— И ты знаешь о Юринѣ... все знаешь?

— Все знаю.

— Вѣришь ли ты, что я тебя люблю? спросила Варенька съ отчаяніемъ.

— Не сомнѣвался никогда, ни одну минуту.

— Вѣришь ли, что я все сдѣлала, все сказала, все вынесла... до униженія?

— Вѣрю, вѣрю, повторилъ онъ.

— Доволенъ ли ты мною? прощаешь ли ты мнѣ!.. Полно, полно, сказала она черезъ минуту:—такъ у меня недостанетъ мужества.

— Варенька, разстаться съ тобой! что со мною будетъ?.. Это ужасно, ужасно!.. Ты не имѣешь понятія, какъ я тебя люблю, ты не знаешь...

— Нѣтъ, я не знала, что это будетъ такъ тяжело, проговорила Варенька. — Послушай, продолжала она, прерывая его черезъ минуту:—пожалѣй меня! вообрази только, что я должна быть рѣшительна и тверда, за тебя и за себя; что я должна тебя успокоивать... Взгляни на меня, это выше моихъ силъ...

— Прости меня, сказалъ онъ въ отчаяніи.

— Вообрази, что мои мученія еще не кончены, что я должна... Я спрашиваю тебя, все ли ты знаешь? Ради Бога, не заставляй меня пересказывать. Ты знаешь, мелочи меня не пугають, въ страшныхъ обстоятельствахъ: я спокойна... ты знаешь нашу жизнь, стало быть, уже больше ничего не остается, когда я рѣшилась...

— На что?

— Выйти за Юрина.

— Варенька!

— Вспомни все... Скажи, должна ли я это сдѣлать? поддержи меня... Скажи, что это моя обязанность...

— Передъ кѣмъ?

— Предъ моей семьей.

— Другъ мой, возразилъ Карзановъ тихо, испуганный ея волненіемъ и страшной блѣдностью: — ты никогда ничего не преувеличивала, ты доброе, благородное дитя, а не экзальтированная мечтательница. Какъ могло это придти тебѣ въ голову? Ты слишкомъ огорчена и одинока, некому дать тебѣ совѣта; но ты всегда вѣрила мнѣ...

— О, какъ вѣрила, всегда, всегда!.. но теперь, ты понимаешь...

— Очень понимаю: ты хочешь скорѣе всѣхъ успокоить и для того жертвуешь собою. Успокоятся и безъ этого.

— Не мучь меня, не говори такъ холодно.

— Разбери лучше: ты огорчишь отца, тетку, которые не хотятъ этой свадьбы.

— Не хотятъ?.. О, другъ мой!.. Въ эти дни они вынесли столько, что теперь отецъ уже самъ не можетъ сказать, чего онъ хочетъ, а тетка... ты знаешь ея жизнь.

— Ея жизнь лучше той, которую ты себѣ готовишь.

— А знаешь ли, что готовится имъ? вскричала Варенька:—я не хотѣла говорить: это слишкомъ ужасно... Поди, взгляни самъ: вотъ два дня, какъ всѣ вещи маменьки уложены, она сегодня пошлетъ за дядей Шатровскимъ, уѣдетъ съ нимъ въ Петербургъ, а оттуда заграницу... И все оттого, что я...

— Бѣдное дитя! она этого не сдѣлаетъ.

— Не сдѣлаетъ? повторила Варенька.

Карзановъ не могъ возражать; онъ зналъ, что для Анны Дмитріенны нѣтъ ничего невозможнаго.

— А если и не сдѣлаетъ, продолжала Варенька:—недовольно ли уже того, на что она рѣшилась? Вся вина на мнѣ. Не я ли приношу собой несчастье и несогласіе? Не я ли довела мою мать...

— Не она ли разлучила насъ? прервалъ Карзановъ.

— Развѣ я имѣю право? развѣ я хочу мстить? возразила Варенька.

— Это—мщеніе? вскричалъ Карзановъ:— остаться въ домѣ и выносить...

— Еслибъ я одна выносила! вскричала Варенька, залившись слезами:—но отецъ, но моя бѣдная тетя Настя!..

— Варенька, а я? теперь еще для меня есть надежда... Для чего придумывать себѣ обязанность, лишнюю и безполезную?..

— Скажи мнѣ прямо, однимъ словомъ, что негрѣшно забыть эту обязанность—и я тебѣ повѣрю, прервала Варенька, глядя ему въ глаза.

Карзановъ опустилъ голову.

— Что-жъ? продолжала она.

— Варенька, я могу только умолять тебя!

— Мнѣ не легче, отвѣчала она.

— Но развѣ ты не видишь, не чувствуешь, что теперь я люблю тебя еще больше, еще безумнѣе...

— Стало быть, я хорошо дѣлаю. Благослови же меня, сказала она, вставая и становясь предъ нимъ.

Ея руки, которыя въ эту минуту она отняла у Карзанова, были холодны, лицо помертвѣло.

— Если я хорошо дѣлаю, милый, продолжала она тихо и твердо, хотя съ усиліемъ: — то благодарю тебя. Помни, ты выучилъ меня и любить, и думать; все, что есть лучшаго въ моей душѣ, въ моемъ сердцѣ— все вызвано или создано тобою. Люби меня вѣчно, какъ свое созданіе, какъ свое дитя... Мы больше никогда не увидимся.

Она упала бы, еслибъ Карзановъ не удержалъ ее. Онъ цѣловалъ ея руки, какъ сумасшедшій.

— Прощай, сказала чуть слышно Варенька.

Она обняла его наклоненную голову, тихо перекрестила ее, поцѣловала долго и крѣпко и вдругъ, зарыдавъ, убѣжала, не оглядываясь.

Далеко въ рощѣ она остановилась, стараясь опомниться, и стала молиться; потомъ

спокойно и медленно пошла къ дому не оглядываясь, иначе бы она увидѣла Шатровскаго, который слѣдовалъ за нею съ самаго мѣста свиданія. Слишкомъ занятая, она и не слыхала шаговъ его. Она опередила его, вошла на террасу и отправилась прямо въ комнату матери.

Казалось, Анна Дмитріевна была намѣрена столько же времени не принимать покорности дочери, сколько времени употребляла на требованіе этой покорности; но, вѣроятно, разсчитавъ, что въ сложности это будетъ слишкомъ долго и можетъ утомить терпѣніе влюбленнаго Юрина, вышла изъ своей комнаты блѣдная, томная, опираясь на руку спокойной и холодной Вареньки.

— Мы теперь заодно, сказала она очень любезно своему мужу:—ты разогорчишь Вареньку, если... и прочее.

«Варенька одумалась» — таковъ былъ текстъ пояснительной рѣчи, потому что иначе, конечно, Николай Петровичъ ничего бы не понялъ. Онъ и теперь понималъ немного...

Приготовленія къ отъѣзду заграницу были прекращены въ тотъ же мигъ. Дѣтямъ позволили побѣгать.

За обѣдомъ Шатровскій крикнулъ «шампанскаго!» и напоилъ дѣтей, потому что надо же было кому нибудь кричать.

Было рѣшено, что послѣ обѣда онъ поѣдетъ съ отвѣтомъ къ Юрину. Шатровскій такъ и сдѣлалъ.

Николай Петровичъ позвалъ къ себѣ Вареньку. Она сказала ему, что одумалась, что дастъ Богъ, она надѣется была счастлива; что если, въ самомъ дѣлѣ, на это воля матери...

Николай Петровичъ былъ выше силъ утомленъ всей выдержанной и невыдержанной борьбой: онъ остался доволенъ.

— Что тебѣ вздумалось? спросила Настасья Петровна.

— Послѣ, тетя Настя, когда нибудь...

Восхищенный женихъ прискакалъ въ тотъ же вечеръ опять съ неменѣе восхищеннымъ дядюшкой; оба были необыкновенно веселы. Юную чету благословили. Варенька вынесла этотъ обрядъ очень спокойно, зато съ Анной Дмитріевной сдѣлался нервическій припадокъ, впрочемъ, непродолжительный.

Утомленный всѣми тревогами дня, Шатровскій былъ очень радъ добраться до постели, а потому не принялъ гостепріимства сестры и уѣхалъ къ себѣ. Прощаясь, онъ былъ удивленъ и почти оскорбленъ холодностью Настасьи Петровны и Вареньки, но не далъ этого замѣтить, обѣщаясь только отомстить. Вообще, онъ былъ необыкновенно оживленъ, почти взволнованъ и способенъ на разныя эксцентричности...

Утромъ онъ проснулся поздно и совсѣмъ въ другомъ расположеніи духа; голова его была тяжела, сердце неспокойно; всю ночь снились дурные сны. Физическое утомленіе сильно подѣйствовало на нравственную природу, и вмѣсто наслажденій, которыя ему всегда обѣщало бездѣйствіе, Шатровскій увидѣлъ въ этомъ бездѣйствіи одну скуку. Ему стало скучно до тоски. Невольно вспомнилъ онъ, сколько слезъ довелось ему видѣть въ послѣднее время, сколько жалобъ, и самыхъ разнообразныхъ, онъ выслушалъ. Невольно вспомнилъ онъ вчерашнюю холодность Настасьи Петровны и подумалъ:

«Она сердится на меня».

Но не прибавилъ, однако, по обыкновенію «что же мнѣ было дѣлать?» или: «не моя вина», а сказалъ громко:

«Что за тоска жить на свѣтѣ!»

Какъ ни старался онъ, закрывая глаза, пуститься въ мечтанія или припомнить хотя что нибудь забавное, но все: обстоятельства чувства, люди, вся жизнь упрямо повертывалась къ нему своей печальной стороною. Шатровскій попробовалъ улыбнуться, воображая въ это утро пробужденіе Карзанова, «порядочнаго человѣка, который унизился до того, что плакалъ какъ школьникъ, поставленный въ уголъ», но шутка не клеилась; Шатровскій въ это утро не находилъ себя остроумнымъ. Припомнивъ вчерашніе восторги Юрина, Шатровскій вспомнилъ и постоянный взглядъ Вареньки, который невольно сравнилъ со взглядомъ испуганной голубки... Николай Петровичъ—молчаливая фигура съ заплаканными глазами, дополнялъ картину воспоминаній... Когда Шатровскому начала мерещиться Анна Дмитріевна, онъ почувствовалъ необходимость скорѣе отвязаться отъ этого кошмара и нетерпѣливо позвонилъ.

Ему принесли письмо. Испугавшись новаго посланія сестры, Шатровскій хотѣлъ бросить его не читая, когда замѣтилъ штемпель. Письмо было отъ Лизаветы Андреевны; Шатровскій тотчасъ узналъ ея почеркъ. Недѣлю назадъ, это письмо долго пролежало бы не распечатаннымъ, но въ это утро Ша-

тровскій схватился за него, какъ за спасеніе отъ скуки, какъ за утѣшеніе въ чемъ-то неопредѣленномъ, но измучившемъ сердце его. Образъ Лизаветы Андреевны вдругъ представился ему явственно и подробно. «Добрый товарищъ», избавительница во многихъ затрудненіяхъ, веселая и любящая женщина, существо съ сильной волей и покорное, явилось съ своимъ кроткимъ, но неизбѣжнымъ вліяніемъ, и Шатровскій былъ радъ отдаться этому знакомому вліянію.

«Два мѣсяца я слушаю одни вздоры, по крайней мѣрѣ прочту что нибудь дѣльное», сказалъ онъ самъ себѣ. «Она всегда была мила и умница».

И, усѣвшись, какъ можно покойнѣе у открытаго окна, предъ стариннымъ столикомъ съ наклейной рѣзьбой, Шатровскій принялся за письмо.

«Вы должны были догадаться, что съ самаго дня вашего отъѣзда я знала, куда вы скрылись: узнать это было нисколько не мудрено. Зная, гдѣ вы, я знала и съ кѣмъ вы, стало быть, вы не имѣете права упрекать меня въ жестокости, если я не сожалѣла о вашемъ одиночествѣ. Сосновка, которую вы мнѣ не разъ описывали, прелестный уголокъ, а ваша сестра должна быть очень милая женщина, судя по тому, съ какимъ нетерпѣніемъ она васъ ожидала. У нея добрый мужъ, отличный хозяинъ — вотъ вамъ случай узнать короче деревню и пополнить ваши свѣдѣнія о хозяйствѣ — увы! весьма несовершенныя. У вашей сестры большая семья. Мнѣ любопытно знать, какъ вы держитесь въ роли дядюшки: ваша старшая племянница взрослая дѣвушка, какъ-то вы подружились съ нею, потому что для нея вы уже не старшій, а другъ. Кругомъ вѣрно есть и сосѣди, и вы, конечно, не въ пустынѣ.

« Вы много сердились, а еще больше смѣялись, когда я придумала для васъ путешествіе. Въ вашемъ письмѣ вы пощадили меня отъ маленькихъ насмѣшекъ, которыя, если помните, вы говорили, прощаясь. Вы только называете мою выдумку романической, а мои доводы парадоксами... Справедливо ли то и другое? Теперь вашему испытанію прошло два мѣсяца, и вы вѣрнѣе можете сказать, точно ли это было испытаніе. Признаюсь, эта романическая выдумка продолжаетъ мнѣ нравиться; жить съ цѣлью дѣлаться лучше и выдерживать характеръ кажется мнѣ занимательнѣе, нежели жить просто, не оглядываясь... Я все та же, что была и прежде.

«Что сдѣлали вы, или что сдѣлалось съ вами? Вы взяли съ собой страшный запасъ книгъ (я это узнала): много ли и что вы прочли? какое впечатлѣніе сдѣлало на васъ это чтеніе въ тишинѣ и (если вы въ самомъ дѣлѣ одни) безъ постороннихъ сужденій и толковъ? Кончены ли замѣтки, которыя вы хотѣли составить? Мы много спорили объ этихъ замѣткахъ и потому мнѣ особенно хочется скорѣе прочесть ихъ.

«Не подумайте, чтобъ я готовила вамъ выговоръ на случай, если вы лѣнились, напротивъ, я готова извинить васъ. Но вы сами много разъ желали свободнаго времени и тихаго угла, чтобъ заняться, и мнѣ будетъ жаль, если и теперь что нибудь помѣшало вамъ. Что нибудь, вѣрнѣе кто нибудь... По крайней мѣрѣ, по прежнему ли васъ мучила жажда занятій, желаніе найти въ книгѣ оправданіе своей мысли, повтореніе своего чувства? по прежнему ли вы забывались, увлекаясь чтеніемъ, или мыслью? Вы были одни, природа хороша вездѣ... Бывало ли вамъ тепло и отрадно на душѣ?

«Что эти люди, которыхъ вы встрѣтили, свои или чужіе—все равно, какъ вы сошлись съ ними? любятъ ли васъ? любите ли вы ихъ? Были ли они скрытны, или довѣрчивы съ вами? старались ли вы отгадать ихъ добрыя, или дурныя движенія? добрыя для того, чтобъ отвѣчать на нихъ, дурныя, чтобъ показать имъ, какъ они оскорбляютъ васъ собственно, какъ много вы можете простить во имя всего добра, которому вѣрите и которое считаете обязанностью прежде всего развить въ самомъ себѣ. А если довѣрялись вамъ, много ли у васъ друзей? съ какой радостью я стала бы считать ихъ! Много ли горя заставили вы забыть? много ли радости вы раздѣлили? Удалось ли вамъ оказать кому нибудь услугу, помочь кому нибудь?.. Простите мнѣ эти вопросы; вы знаете, мнѣ близко все, что вамъ близко, а вы давно дали мнѣ право васъ разспрашивать.

«Не правда ли, все показалось вамъ сначала ново и какъ будто странно, потомъ, взглянувъ ближе, вы сказали себѣ, что «все одно и то же вездѣ», и что «не отъ чего измѣниться человѣку»? но не правда ли тоже, что вы были больше на-сторожѣ, ожидая найти въ этой новизнѣ что нибудь еще вамъ несовсѣмъ знакомое? Вы присматривались внимательнѣе, вы примѣнялись... Остались ли вы вѣрны всему, что нѣкоторые му-

дрецы называютъ «дѣтскими уроками», забывая, что дѣтство такъ же хорошо, какъ слово истина?.. Были ли вы добры и снисходительны? брали ли вы на себя тяжелый трудъ, на который способны немногіе — трудъ разобрать мелочи жизни и въ забавномъ найти серьезную сторону, трудъ не всегда вознагражденный, но достойный васъ? Вспомните наши отвлеченныя толкованія, споры, въ которыхъ мы заходили иногда такъ далеко, и останавливали другъ друга такъ благоразумно. Они всѣ памятны мнѣ, если не подробностями, то своими выводами. Помните ли, какъ одинъ разъ, разбирая какой-то пустой свѣтскій случай, мы оба были поражены его причинами и послѣдствіями, когда сообразили ихъ, а главное, когда отъискали ихъ, потому что и причины и послѣдствія исчезали въ путаницѣ мелочей. Тогда, будто сговорившись, мы дали обѣщаніе не пренебрегать мелочами. Потомъ я замѣчала въ васъ иногда желаніе забыть это обѣщаніе, но тщательно напоминала о немъ, и (дайте мнѣ немножко похвалиться) не разъ наводила ваше сужденіе опять на истинный путь... Жизнь, которую вы теперь видите предъ собою, должна быть полна мелочей: она тиха и уединенна; въ ней все должно казаться событіями. Что если вы влетѣли въ нее, какъ великанъ въ толпу мелкаго народа, толкая одного, сбивая съ ногъ другого... О, какая картина!... А въ самомъ дѣлѣ, положа руку на сердце, имѣете ли вы право быть довольнымъ собою? Вы не великанъ среди общества, гдѣ вы теперь—я въ этомъ увѣрена, но ужасно боюсь, что гибельная привычка не замѣчать многаго воротилась къ вамъ (Это такъ, предчувствіе). Вы могли толкнуть чье нибудь самолюбіе, испугать чью нибудь робость,осудить кого нибудь безъ разбора, оскорбить какое нибудь истинное чувство, не досмотрѣвъ, что оно истинно?.. Это было бы горько и тяжело для васъ — я увѣрена. Не огорчили ли вы кого нибудь? — вотъ вопросъ, который мнѣ тяжело было написать.

«Съ другой стороны, снисходительность не доходила ли у васъ до уступчивости? Вы хорошо знаете, какъ мелочи приличій и условій, мелочи короткихъ отношеній, даже часто нисколько немелочныя пріязнь и желаніе добра заставляютъ насъ поступить противъ нашихъ убѣжденій. Для этого даже придумано оправданіе въ видѣ сентенціи: «цѣль извиняетъ средства». Давно мы осудили эту сентенцію, а все еще можемъ упрекнуть себя во многихъ и многихъ уступкахъ совѣсти. Что ваша совѣсть, не дѣлала уступокъ этимъ временемъ? Вы не хвалили того, что вамъ казалося дурно, не дружились по необходимости, не брали на себя порученій не по сердцу? Все это огромныя уступки совѣсти для людей, которые рѣшили, что судить ихъ должно не по дѣламъ ихъ, а по средствамъ дѣйствовать и положенію, въ которомъ они поставлены судьбою...

«Какъ же могли вы спорить, что вамъ не предстояло испытанія? Не имѣя терпѣнія перечитать, я только оглянулась на свое письмо: какая огромная программа того, что вы могли и не могли сдѣлать! А я увѣрена, тутъ еще забыта половина; знаю, что ничего не сказано, напримѣръ, о врожденной веселости вашего характера, готовой иногда шутить безъ разбора, не заботясь о самолюбіи ближнихъ— дарованіе пріятное только для зрителей—о вашемъ собственномъ самолюбіи... Одну минуту у меня была дурная мысль вычеркнуть послѣднія слова; признаюсь въ ней и оставляю ихъ, какъ доказательство, что готова, въ свою очередь, выслушивать то, что говорю такъ откровенно. Когда вы были здѣсь, этотъ размѣнъ откровенности исправлялъ насъ обоихъ; онъ напоминалъ каждому изъ насъ, что есть безпристрастный судья его поступковъ, безпристрастный цѣнитель, который видитъ, на сколько поступки согласны съ мнѣніями, взвѣшиваетъ, сколько въ самомъ высказанномъ мнѣніи истины и сколько фразы... Говорите-жъ послѣ этого, что разлука для насъ не испытаніе!

«Въ заключеніе этого письма (есть ли у него начало?) я спрошу васъ: нашлись ли у васъ сосѣди молодые люди, съ которыми вамъ было бы не скучно, и не проигрались ли вы, или уединеніе вылечило васъ отъ этой привычки.

«Мы, вѣроятно, скоро увидимся; если еще нѣтъ, вы мнѣ напишите. Извиняю заранѣе, если письмо будетъ—отрывокъ въ родѣ моего, хотя, конечно, желала бы подробностей, описаній, всего побольше. Тяжело ли вамъ, или весело, скажите мнѣ все; вы знаете, что ваше горе и ваша радость всегда приняты и раздѣлены отъ всего сердца».

Шатровскій тихо свернулъ письмо и положилъ его передъ собою. Каждое слово этого мелко исписаннаго листка поражало его, какъ обвиненіе, на которое не было оправданій. Шутка, романическая затѣя испытанія сложилась нешуткой. Все, что до этой минуты казалось такъ мелочно и обыкновенно, назвалось своимъ настоящимъ

именемъ... Въ два мѣсяца, забываясь, не думая, Шатровскій успѣлъ сдѣлать несчастіе всѣхъ, съ кѣмъ сблизился... Конечно, онъ успѣлъ угодить Аннѣ Дмитріевнѣ и сосватать пріятелю, Юрину, хорошенькую семнадцатилѣтнюю невѣсту.

Шатровскій не рѣшился перечитать письма, хотя цѣлый день не могъ ничѣмъ заняться. Онъ не поѣхалъ къ сестрѣ, чтобъ не видать Вареньки, отъ сожалѣнія, отъ стыда, отъ страха, что ему отвѣтятъ презрѣніемъ на его позднее раскаяніе. Онъ старался разсердить себя этой мыслью, чтобъ имѣть право опять забыться — забывчивость не приходила. Онъ старался какъ нибудь убѣдить себя, что зло, которое онъ сдѣлалъ, не такъ велико, что все обойдется, сладится—ему не удавалось и это. Онъ придумывалъ, нельзя ли все поправить, но все, что онъ сдѣлалъ, было неисправимо...

Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобъ раскаяніе Шатровскаго, продолжавшееся нѣсколько дней, было вѣчно. Въ мірѣ нѣтъ ничего вѣчнаго. Сглаживаются мраморы, какъ же не сглаживаться чувствамъ, вещамъ такимъ неуловимымъ?.. Впрочемъ, Шатровскій вышелъ съ честью изъ этого затрудненія: онъ создалъ новую фразу, которою время отъ времени укрощаетъ порывы упрямой совѣсти:

— Горе тѣхъ, кто страдаетъ, не можетъ сравниться съ горемъ того, кто заставилъ страдать: онъ наказанъ такъ, что заслуживаетъ прощенія!

Шатровскій проживетъ счастливо.

ВЪ ДОРОГѢ.

ОЧЕРКЪ.

1854 г.

Мнѣ случилось выѣзжать изъ деревни въ то время, когда другіе только пріѣзжаютъ въ нее: въ началѣ мая. Правда я и пробылъ въ ней всего три мѣсяца, послѣ отсутствія многихъ лѣтъ; дѣла звали опять далеко и надолго, если не навсегда. Дальняя дорога представляла свои неизбѣжныя неудобства, но время стояло такое удивительное, что можно было даже быть довольнымъ задержками, которыя составляли лишній часъ, иногда даже лишній день полюбоваться весной. Я ѣхалъ черезъ проселки, черезъ луга, гдѣ еще не улеглась вода, оставшаяся отъ половодья; далеко блестѣли эти чистыя озера на свѣтлояркой зелени, еще сохранившей тотъ нѣжный желтый оттѣнокъ, котораго не замѣнятъ самыя роскошныя краски лѣта. Есть какая-то странная, ни съ чѣмъ несравнимая прелесть въ первыхъ весеннихъ дняхъ, въ робости, съ которой природа начинаетъ свой трудъ, какъ будто еще не вполнѣ сознавая свои силы. Весна граціозна, какъ дѣтство, но у дѣтства нѣтъ прошедшаго, а этотъ воздухъ, еще полный холода, полонъ воспоминанія: что-то жило прежде, что-то оживаетъ опять... Не знаю, что дѣлается съ душою, но когда изъ-подъ темнокрасныхъ листьевъ молодой крапивы и сѣрыхъ листьевъ, нападавшихъ прошлой осенью у стараго почернѣлаго пня, выглянетъ на меня цвѣтокъ блѣдной буковицы, или синей медуницы, мнѣ становится такъ же весело, какъ будто мнѣ встрѣтился другъ, давно невиданный, но неизмѣнившій...

Я ѣхалъ весело, хотя ѣхалъ не на радость: въ мои лѣта, когда жизнь уже сложилась и вошла въ свою колею, нѣтъ ожиданій, по крайней мѣрѣ, ожиданій тепло волнующихъ сердце: знаешь, что ждетъ тебя, знаешь, что сдѣлаешь, и не торопишься; когда необходимость заставляетъ спѣшить, то спѣшишь неохотно, какъ съ заказной работой, послѣ которой предстоитъ опять работа. Потому я и не жаловался на проселки, чрезъ которые должно было достигнуть дорогъ болѣе удобныхъ. Проселки съ маленькими овражками, полными воды, съ гремучими мостами, съ плотинами, изъ хвороста и соломы, съ широкими кустами ивъ по сторонамъ; деревушки на невысокихъ пригоркахъ, гдѣ чернѣютъ плетни и свѣтятся на солнцѣ новые сосновые срубы; мельницы съ разорванными крыльями; спутанныя лошади и худыя коровы на лужайкахъ, которыя онѣ ужъ успѣли вытоптать, озими, въ которыхъ бѣгаютъ птицы; пашни, гдѣ звонко раздается стукъ кремня, о который пахарь точитъ свою соху; деревни, гдѣ, послѣ многихъ поворотовъ вокругъ гуменъ и клѣтей, наконецъ, подъѣзжаешь къ своему ночлегу; скрипъ воротъ по вечерней зарѣ; влажныя звѣзды на влажномъ небѣ; плескъ воды у колодезя, гдѣ поятъ лошадей; звонъ бубенчиковъ, глухой и неровный, не тотъ, который наскучалъ дорогой; голоса дѣтей, пробужденныхъ пріѣзжими, стукъ дверей, постепенно затихающій и, наконецъ, совершенная тишина, среди которой сверчокъ за-

тягиваетъ свою пѣсню и наводитъ крѣпкій и здоровый сонъ... Такъ сряду нѣсколько дней можно соскучиться или привыкнуть. Къ счастью, моя натура не изъ числа скоро привыкающихъ, за то она легко мирится съ однообразіемъ, когда въ этомъ однообразіи ей понравилось хоть что нибудь...

Мой пріятель и сосѣдъ по деревнѣ далъ мнѣ порученіе заѣхать по дорогѣ въ уѣздный городъ В—ъ, гдѣ у него лѣтъ десять продолжалось дѣло, успѣвшее ему наскучить. Онъ просилъ меня повидаться съ однимъ чиновникомъ, передать ему нужныя бумаги, переговорить и написать подробно. Я охотно взялъ на себя это порученіе, потому что мнѣ давно хотѣлось увидѣть этотъ заброшенный далекій городокъ: онъ памятенъ мнѣ съ дѣтства; я выросъ тамъ. Его узкія улицы, его старыя церкви, несовсѣмъ прямые дома и совсѣмъ кривые заборы часто представлялись моимъ глазамъ, даже когда передъ ними были великолѣпные дома, улицы, освѣщенныя газомъ, чудеса современныхъ построекъ. Какъ теперь вижу этотъ городокъ: наверху его крутой песчаной горы, съ тремя-четырьмя колокольнями, хитроросписанными ярью и краснокирпичнымъ цвѣтомъ, съ сѣрыми крышами домовъ, среди которыхъ блестятъ желѣзныя крыши казенныхъ строеній: городокъ почти безъ зелени, кромѣ рощицы, сбѣгавшей подъ гору отъ каменныхъ стѣнъ монастыря; городокъ совсѣмъ безъ воды: колодези только были внизу, и то, сколько помню, всѣ находили, что вода ихъ никуда не годится, а потому всякій вечеръ и всякое раннее утро отправлялись поѣзды бочекъ за водою, версты за двѣ, къ клюку, носившему дикое названіе, сохранившееся, какъ говорили, еще со времени татарскаго владычества. Городокъ хвалился тѣмъ, что былъ древенъ, что его песчаная гора служила укрѣпленіемъ, хотя не оставалось больше никакихъ слѣдовъ укрѣпленій; хвалился онъ своимъ вѣчевымъ колоколомъ — желѣзной доской съ пробоинами, еще висѣвшей у ограды монастыря; впрочемъ, другихъ памятниковъ древности больше не отыскивалось, такъ же какъ и охотниковъ ихъ отыскивать. Когда-то рыли фундаментъ подъ закладку соляныхъ магазиновъ и нашли нѣсколько череповъ и костей, но ни склеповъ, ни гробницъ; кости схоронили на кладбищѣ: помню, что и я, ребенокъ, стоялъ съ зажженой свѣчкой, когда пѣли панихиду надъ этой новой и поздней могилой, но никому не пришло въ голову разыскивать, были ли это просто кости мирныхъ гражданъ, или кости храбрыхъ защитниковъ города, павшихъ подъ его стѣнами во время осадъ и приступовъ довольно сомнительныхъ. Городъ не имѣлъ лѣтописца; въ позднѣйшія времена онъ не имѣлъ историка... И у городовъ бываетъ своя судьба!

Я любилъ его за мое дѣтство: оно шло тамъ весело и привольно. Отецъ былъ занятъ службой, мать меня баловала. Можетъ быть, никто не пользовался такой неограниченной свободой, какъ я; знаю, что никто не былъ столько любимъ. Мы жили въ небольшомъ каменномъ домѣ на площади передъ соборомъ; его веселые колокола будили меня рано поутру и составляли мое наслажденіе на святой недѣлѣ, когда, бывало, они звонятъ съ утра до вечера. Усѣвшись на окнѣ, я смотрѣлъ, какъ въ церкви зажигались и мелькали огоньки, какъ отворялись стеклянныя рѣшетчатыя двери; до меня долетало громкое пѣніе пѣвчихъ, купцовъ и мастеровыхъ, которые сбирались пѣть въ праздники. Помню ихъ хлопоты и нѣкоторую торжественность, когда, бывало, они готовили что нибудь новое, «нотное»; помню восторгъ, въ который приводилъ меня густой басъ мѣдника, зависть, которую я чувствовалъ къ маленькимъ мальчикамъ, скрывавшимся за листами старыхъ нотныхъ тетрадей... Не знаю, чего бы я не отдалъ тогда за счастье пѣть вмѣстѣ съ ними. Когда, выходя изъ церкви, наши дамы подсмѣивались надъ артистами, я страдалъ истинно и утѣшался только, взглядывая на умиленное лицо стараго учителя математики, хотя во все время пѣнія онъ ужасно мучилъ меня, подпѣвая своимъ дребезжащимъ голосомъ и вѣчно фальшиво.

Этотъ учитель не былъ, однако, моимъ учителемъ; я не ходилъ въ школу и довольно неметодически занимался дома. Я читалъ много, только не свои классныя книги, которыя раскрывалъ лишь по утрамъ; въ моемъ распоряженіи былъ шкапчикъ, подлѣ котораго я усаживался на полу, доставая и читая безъ разбора все, что мнѣ попадалось; иногда я уносилъ книги подъ деревянный навѣсъ среди двора. У насъ не было сада и почти во всемъ городѣ не было садовъ; говорили, что на такомъ песчаномъ и открытомъ мѣстѣ невозможно было развести ихъ. Улица и большая дорога съ пыльными ветлами—вотъ все, что предоставлялось для гулянья тѣмъ изъ жителей, кто захотѣлъ бы подышать чистымъ воздухомъ; потому-то по вечерамъ и оживлялась маленькая площадь предъ нашими окнами. Про-

стота нравовъ была самая патріархальная; сосѣдки дѣлали другъ другу подъ окна визиты, продолжавшіеся иногда цѣлый вечеръ, и громко разсказывали свои дѣла; дѣвушки выходили съ подушками коклюшекъ доплетать свой дневной урокъ, котораго уже невозможно было кончить въ темныхъ комнатахъ; служащіе господа прогуливались, иногда принимая въ свою компанію какого нибудь сѣдого купца, и никто не удивлялся, что я игралъ на нашемъ троттуарѣ, сажая въ пыль его сорванные цвѣты и изобильно поливая ихъ, чтобы скорѣе принимались. Всякій вечеръ на площади непремѣнно повторялась одна и та же сцена: журавль, принадлежавшій моему отцу, птица, уважаемая въ нашемъ семействѣ нѣсколько и за то, что ея изображеніе находилось въ нашемъ гербѣ,— этотъ журавль, обойдя всѣ окна и поужинавъ на троттуарѣ, становился на одной ногѣ среди площади и засыпалъ. Въ это время, кончивъ свое дѣло, выходилъ изъ собора восьмидесятилѣтній пономарь, и хотя путь его лежалъ не мимо журавля, но старикъ никогда не могъ устоять противъ искушенія подкрасться къ птицѣ и подразнить ее палочкой. Какое чувство влекло его, какая лукавая мысль его возмущала, что воображалось ему въ видѣ журавля—трудно узнать, но взоръ, который онъ бросалъ на птицу, былъ полонъ насмѣшки и негодованія, упрека и торжества... Одну минуту эта сцена имѣла какой-то фантастическій характеръ; онъ измѣнялся съ пробужденіемъ журавля, который, крича и прыгая, съ распущенными крыльями гнался за своимъ врагомъ, пока врагъ скрывался въ переулкѣ, сопровождаемый смѣхомъ зрителей...

Проѣзжая площадь въ послѣдній разъ, я ждалъ, что еще услышу этотъ смѣхъ, увижу и бѣгущую птицу, и старика въ его синемъ долгополомъ сюртукѣ, его сѣдую косичку, заплетенную бѣлой тесемкой; я ждалъ, что увижу самого себя, веселаго, беззаботнаго ребенка... Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ...

Когда я помѣстился, наконецъ, въ жаркой комнатѣ двухъ-этажной гостиницы, успѣвшей выстроиться въ эти годы, когда изъ ея окна сталъ я смотрѣть на дома, уцѣлѣвшіе отъ прошлаго, на нашъ бывшій домъ съ итальянскимъ окномъ, гдѣ еще когда-то отецъ мой самъ привѣшивалъ шкалики на щитѣ, для иллюминаціи, составлявшей эпоху для города, когда весь этотъ городъ, съ его огоньками, и знакомыя лампады собора замелькали предо мною, между тѣмъ, какъ блѣдное небо, холодѣя, зажигалось звѣздами, воспоминанія начали набѣгать сильнѣе и сильнѣе. Всѣ лица проходили предо мной какъ живыя, всѣ мелочи припоминались такъ ясно, какъ будто были вчера и волновали душу какой-то странной тоской. Было жаль первой прелести ощущеній, чего-то безконечнаго и свѣжаго, жизни, еще не полной, но именно потому полной надеждъ; жаль невѣдѣнія, жаль чего-то, что было, прошло и никогда не повторится... Неопредѣленныя сожалѣнія, надъ которыми въ разсудительныя минуту мы смѣемся, но безъ которыхъ не прожилъ никто...

Я обѣщалъ себѣ, что осмотрю все, что осталось здѣсь отъ прошедшаго; я надѣялся даже, что все уцѣлѣло; думалъ, что отыщу всѣхъ своихъ старыхъ знакомыхъ, наговорюсь о старомъ времени; я надѣялся, что всѣ еще живы, что всѣ тутъ, что меня не забыли... Мнѣ вспомнился нашъ городничій, замѣнившій въ этой должности своего отца, который (такъ случилось) принялъ ее отъ дѣда; цѣлое поколѣніе добрыхъ и честныхъ людей. Въ мое время семейство городничаго составляло маленькую колонію, поселенную подъ горой, гдѣ зятья и женатые сыновья строили и пріобрѣтали дома нарочно ближе къ дому главы семейства. Зимой способъ сообщенія съ этимъ домомъ былъ довольно оригиналенъ,—не знаю, кто его придумалъ: гости, чтобъ не затрудняться сходить по обледенѣлой дорогѣ, часто скатывались по ней просто въ салазкахъ, и стукъ этихъ салазокъ въ крыльцо, раздаваясь въ гостиной, гдѣ общество играло въ бостонъ или мушку, возвѣщалъ о прибытіи гостя. Общество было всегда весело, маленькія комнаты всегда полны, дѣтей всегда много; было нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ, хорошенькихъ и ласковыхъ; иногда составлялись танцы, и мы, дѣти, хотя не участвовали въ нихъ, но были въ восторгѣ. Помню всю эту семью, и бабушку, бодрую старушку, въ такомъ же древнемъ и бодромъ креслѣ, занятую вышиваньемъ по соломѣ картинокъ библейскаго содержанія. Теперь этимъ картинкамъ стали бы удивляться ради ихъ рѣдкости, тогда удивлялись зрѣнію старушки. Ее окружало какое-то благоговѣйное уваженіе. Прощаясь со мной, она всегда крестила меня... Прекрасныя липы, которыя я видѣлъ, проѣзжая на загородномъ кладбищѣ, вѣрно выросли надъ нею... Самъ городничій внушалъ мнѣ нѣкоторый страхъ, несмотря на то, что со всѣми этотъ старикъ былъ ласковъ и добръ, но въ моихъ

глазахъ его санъ и обязанности были такъ огромны, что я воображалъ этого человѣка чѣмъ-то выше другихъ смертныхъ; даже когда онъ говорилъ о погодѣ, я ожидалъ услышать какую нибудь великую истину... Это почтеніе, вообще, хотя и не въ такой сильной степени, простиралось у меня на всѣхъ серьезныхъ господъ нашего города, можетъ быть, потому, что разговоры ихъ почти всегда шли о должностяхъ и дѣлахъ, предметахъ для меня недосягаемыхъ. То, чему иногда они находили посмѣяться, было для меня еще менѣе понятно...

Здѣсь, я помню, стоялъ полкъ и разводы бывали на самой этой площади. Я усаживался на окнѣ и восхищался. Наши дамы бывали въ неменьшемъ восхищеніи. Я еще вижу ихъ прекрасныя бѣлыя платья съ розовыми поясами; у одной изъ пріятельницъ моей матери былъ поясъ, вышитый бисеромъ. Мнѣ и въ голову не приходило, что моды того времени были безобразны. Помню только, что я бывалъ всегда не радъ, когда эта хорошенькая пріятельница приходила къ намъ во время развода: она отнимала у меня мѣсто на окнѣ...

У городничаго былъ садъ, прислоненный къ горѣ и изобильный крыжовникомъ и малиной, что очень хорошо знали его маленькіе внучки и я. Насъ оставляли тамъ на цѣлый день въ праздники, когда у городничаго сбиралась гости. Наши молодыя матери, нарядныя и веселыя, помѣщались на дерновыхъ диванчикахъ, подъ стриженными акаціями, которыя мнѣ очень нравились. Но было гулянье, которое нравилось мнѣ еще болѣе: это оврагъ за нашимъ домомъ, оврагъ, весь заросшій травой, гдѣ я бѣгалъ, между тѣмъ какъ моя няня, занятая веретеномъ и куделью, прикрѣпленной къ ея поясу, теряла изъ вида и меня, и стадо цыплятъ, порученное ея надзору. Я зналъ всѣ бугорки, всѣ каменья, всѣ кусты, цвѣты и травы моего оврага; у меня было тамъ свое хозяйство, свои плантаціи дикихъ растеній. Можетъ быть потому я такъ люблю ихъ съ тѣхъ поръ. Оврагъ былъ для меня отдѣльный міръ, просторный и свободный, гдѣ я могъ давать полную волю моей дѣтской фантазіи... Лучшее въ моемъ дѣтствѣ было—мои мечтанія...

Мнѣ пришлось бы никогда не кончить, еслибъ я вздумалъ пересказывать все, что мнѣ вспомнилось, но среди воспоминаній ярче всѣхъ явилось одно, и вокругъ него собрались всѣ остальныя.

Мнѣ представилась подруга моего дѣтства, шестилѣтняя черноглазая дѣвочка, съ смуглорозовыми щечками, съ бѣлыми плечиками, по которымъ разсыпались ея длинные вьющіеся волосы, съ маленькими ручками, которыя ласково обнимали меня и довѣрчиво протягивались ко мнѣ за помощью или защитой: я былъ старшій. Наденька была дочь стараго учителя математики; матери у нея не было, и такъ же какъ у меня, ни сестеръ, ни братьевъ. Родственница, которая жила въ домѣ ея отца, заботилась только, чтобъ Наденька была красиво одѣта и причесана, потому что иначе ее осудили бы за невнимательность къ дѣвочкѣ, но дальше ей не было никакого дѣла, чѣмъ занималась эта дѣвочка. Въ одинъ свѣтлый весенній день она прилетѣла къ намъ, какъ птичка. Мать моя была въ восхищеніи отъ этого хорошенькаго созданія. Наденька говорила такъ мило, смѣялась такъ весело, придумывала такія занимательныя игры, что я горько заплакалъ, когда вечеромъ пришли за нею. Ее удивили мои слезы.—«А если тебѣ не велятъ больше приходить къ намъ?» спросилъ я.—Мы разстались въ отчаяніи. Это свиданіе мнѣ памятно, какъ первое свиданіе любви.

На другой же день я бродилъ около учительскаго дома и заглядывалъ во всѣ окна; учитель (я это зналъ) ушелъ въ классъ. Наденька сидѣла печальная, за страшнымъ толстымъ чулкомъ; глядя, какъ она работала, я боялся, что она исколетъ свои маленькія ручки этими тяжелыми спицами. Я подошелъ ближе; она разсказала мнѣ, что ее, въ наказаніе, посадили за эту работу, которой она никогда не выучится, что она обѣщалась никогда не умѣть вязать чулокъ. Мы вспоминали вчерашній день и были увѣрены, что несчастнѣе насъ нѣтъ никого на свѣтѣ; наконецъ, рѣшившись, я предложилъ Наденькѣ пересадить ее изъ окна на тротуаръ; она протянула мнѣ ручки, и чрезъ минуту мы бѣжали вмѣстѣ къ намъ, а мать моя взялась за насъ поправить дѣло и пошла сама благодарить сестру учителя за то, что она «отпустила» къ намъ Наденьку.

Съ этого дня мы не разставались. Она перенесла къ намъ свою маленькую корзинку съ куклами и, по приказанію тетки, свои страшныя спицы съ вязаньемъ; но вязанье было скоро все распущено: намъ понадобились нитки, чтобъ оснастить корабль, который мы сдѣлали изъ этой корзинки, сбираясь отправиться въ далекое путешествіе. Мысль этого путешествія пришла Наденькѣ, когда, сидя вмѣстѣ на полу у шкапчика, мы читали описаніе Сициліи; съ тѣхъ поръ долго у насъ

не было другихъ разговоровъ, другихъ мечтаній. Игры были забыты, мы усаживались въ уголокъ, разсказывали, придумывали; въ комнатѣ темнѣло. Наденька говорила, какъ мы будемъ прощаться съ своими, какъ мы будемъ стоять обнявшись на палубѣ нашего корабля; она была спокойна, хотя мнѣ становилось грустно; но когда она сказала, что берегъ будетъ понемногу исчезать, исчезать изъ глазъ и, наконецъ, совсѣмъ исчезнетъ и вокругъ насъ будутъ только небо и волны, то вдругъ остановилась, закрыла руками свое личико и я услышалъ, что она заплакала... Никогда потомъ я не читалъ и не слышалъ разсказовъ о прощаньяхъ передъ долгимъ плаваньемъ, не вспомнивъ моей маленькой подруги.

Теперь годы сдѣлали свое, и я думаю о ней, отдѣливъ себя отъ нея, забывая свои собственныя впечатлѣнія; я уже разбираю характеръ моей Наденьки, ея чувства и движенія; я самъ выросъ и возмужалъ, но она для меня еще прежній ребенокъ; моя жизнь и понятія ушли впередъ, но ея существованіе остановилось для меня на тѣхъ годахъ, когда я узналъ ее... можетъ быть, потому, что ей почти было не въ чемъ измѣняться. У нея была во всемъ своя внутренняя мысль, свое убѣжденіе, которому она считала себя обязанной слѣдовать, и теперь я понимаю, почему она бывала такъ равнодушна къ маленькимъ дѣтскимъ несчастьямъ, такъ рѣшительна и тверда, хотя ея твердость называли упрямствомъ. Часто, послѣ выговора или даже наказанія, она пересказывала мнѣ, за что пострадала, и доказывала, что была права... Она бывала въ восхищеніи отъ всякой бездѣлицы, которую ей дарили, и безъ малѣйшаго сожалѣнія въ ту же минуту отдавала ее другимъ, если этого хотѣли. Ее имѣли жестокость испытывать въ этомъ чувствѣ, что меня всегда мучило. Отчего происходило ея равнодушіе: успѣвала ли ей въ одну минуту присмотрѣться вещь, которая ее такъ обрадовала, больше ли цѣнила она удовольствіе другихъ, нежели свое собственное? Ея тетка говорила, что она дѣлаетъ это изъ гордости. Это обвиненіе было для меня понятно. Наденьку оно огорчало, но она никогда не хотѣла объяснить мнѣ его...

У нея была огромная, невѣроятная память, какой мнѣ не случалось встрѣчать потомъ ни у дѣтей, ни у взрослыхъ. Она знала всѣ мои уроки, только слушая, какъ я говорилъ ихъ моей матери; чтобъ затвердить наизусть десятки страницъ стихотвореній, ей стоило прочесть ихъ раза два; но это не было обыкновенное дѣтское затверживанье: заучивая, она выбирала лучшее съ удивительнымъ понятіемъ и вкусомъ; чувство прекраснаго было такъ сильно въ ней, что вдохновенныя строки, которыя она читала, заставляли ее блѣднѣть... Это чувство и память всего прочитаннаго придавали особый оттѣнокъ ея внутренней жизни; оттого всѣ ея выдумки, даже игры, имѣли значеніе иногда трогательное, иногда серьезное, всегда художественное, потому что у Наденьки всякая мысль была граціозна, такъ же, какъ всякое движеніе...

Какъ дѣти, растущія на волѣ, мы были суевѣрны; мы наслушались сказокъ отъ моей старой няни, начитались всего, что было въ этомъ родѣ въ книжномъ шкапчикѣ; тамъ попалось намъ нѣсколько старыхъ мистическихъ книгъ, бывшихъ когда-то въ большомъ ходу. Мы прочли въ нихъ отрывками нѣсколько разсказовъ и они сдѣлали на насъ сильное впечатлѣніе. Его довершили приложенныя картинки. Это были фантастическія олицетворенія пороковъ и добродѣтелей, откровенія другого міра, таинственные образы другой жизни... Мы нашли «Житія Святыхъ», читали ихъ и очень много молились, прочли «Апокалипсисъ», ничего не понимая, и стали бояться невидимаго. Среди свѣтлаго дня, среди нашихъ игръ, насъ охватывалъ страхъ; въ полусвѣтѣ намъ мерещились страшныя тѣни; глубина ночного неба пугала насъ больше, нежели темнота комнаты...

— Не ждешь ли ты, что онѣ сейчасъ всѣ скатятся? спрашивала меня Наденьки, глядя на звѣзды. — Мы такъ грѣшны... О, не дай Богъ намъ дожить до этого!..

Мы, дѣти, стали жить съ постоянной мыслью ужаса...

Случилось, что я занемогъ и, въ бреду, разсказывалъ легенды Кёльнскаго собора и видѣній въ Колизеѣ — способныя взволновать воображеніе и у взрослаго. Оправясь, я нашелъ, что шкапъ съ книгами запертъ на ключъ, и Наденька сказала мнѣ, что моя мать выговаривала ей за наше чтеніе. Мнѣ самому ничего не выговаривали, вѣроятно, боясь напомнить страшные сны, но они ужъ больше не тревожили меня, хотя я и помнилъ ихъ. Запрещеніе читать не огорчило меня, хотя Наденька была имъ очень огорчена. Болѣзнь сдѣлала во мнѣ нравственный переломъ: она возвратила мнѣ беззаботность и веселость; мечтательность прошла; желаніе учиться и знать, прежде заставлявшее меня забывать игры, прошло тоже; я сталъ

лѣниться и даже заслуживать наказанія, чего прежде никогда не бывало; я сталъ обыкновеннымъ ребенкомъ моихъ лѣтъ. Наденька осталась чѣмъ была; она сдѣлалась только тише и немного печальнѣе, или мнѣ это такъ казалось. Такая перемѣна мнѣ не нравилась и я позволилъ себѣ смѣяться надъ Наденькой, сталъ требовать отъ нея больше веселости. Теперь понимаю ея снисходительность, слѣдствіе характера совершенно установившагося, снисходительность, съ которой, не давая мнѣ замѣтить, что ей наскучала безпрестанная игра и рѣзвость, она покорялась всѣмъ моимъ желаніямъ, даже капризамъ. Она не жаловалась, не выговаривала мнѣ, не осуждала меня, хотя — я это вполнѣ понимаю теперь—была бы въ правѣ сдѣлать это. Она была вѣчно кротка и добра; у нея доставало терпѣнія скрывать даже усталость; ея выдумки, чтобъ доставить мнѣ удовольствіе, были неистощимы... Когда, наконецъ, мнѣ становилось совѣстно пользоваться ея добротой и уступчивостью, и я благодарилъ ее, раскаяваясь, а между тѣмъ готовый опять приняться за то же, она говорила, что иначе быть не можетъ, что ей не стоитъ труда уступать, слѣдовательно, нѣтъ и заслуги; а еслибъ и стоило труда, то она любитъ меня такъ много, что всегда будетъ стараться дѣлать все, что мнѣ угодно.

У нея не было ни одной исключительной привязанности, она любила все и одинаково; ея душа, полная любви, придавала всему въ природѣ душу и любовь. Она любовалась всѣмъ, но не столько наружной формой, сколько внутренней жизнью, которую предполагала во всемъ. По ея понятіямъ, все, что прекрасно, живетъ и чувствуетъ сильнѣе; плоды на деревьяхъ улыбались ей, смотрѣли на нее; каждый изъ нихъ имѣлъ особенное выраженіе; цвѣтокъ, раскрываясь, говорилъ ей свое слово; она вѣрила въ боль его, когда его срывали; вѣчно добрая и нѣжная, она ласкала некрасивыхъ животныхъ, ухаживала за травой и самыми простыми полевыми цвѣтами, увѣряя, что они почувствуютъ, если она будетъ любить ихъ меньше, что они огорчатся... Я любилъ слушать, когда она говорила о всѣхъ чудесахъ, которыя ей воображались; еще больше любилъ смотрѣть на нее, когда она сидѣла тихо, задумавшись и глядя въ облака, когда вечернее солнце золотило концы ея вьющихся волосъ, а радуга отражалась въ ея глазахъ. Тогда моя маленькая подруга казалась мнѣ чѣмъ-то нездѣшнимъ, и мое сердце сжималось, хотя въ то же время я чувствовалъ, что былъ совершенно счастливъ...

Это время ушло. Это невозвратное дѣтство съ его странными мечтами, съ вѣрой въ сверхъестественное, съ прелестью, которая представлялась въ каждой пылинкѣ, съ нѣжной впечатлительностью, которая заставляла всему радоваться и за все бояться — все прошло и замѣнилось... можетъ быть, лучшимъ. Глядя на заснувшій городъ, живо вообразивъ все прошлое, я замѣтилъ только, что вспоминаю, жалѣю, но не переживаю его опять. Въ душѣ не оставалось силы возродиться и хотя на минуту почувствовать, встрепенуться, какъ прежде; она плакала на порогѣ храма прошедшаго, но не могла войти въ него...

Понемногу, опытъ и разборъ, двѣ великія разрушающія силы, два печальныя блага настоящаго, взяли опять свою власть надъ душой, взволнованной призраками колыбели. Свои собственныя чувства провѣрились и объяснились; чувства и дѣла другихъ припомнились яснѣе и подверглись суду. То, что прошло между той жизнью и настоящимъ, все видѣнное, все узнанное въ этотъ промежутокъ, помогло дополнить повѣрку, сообразить характеры, вывести заключенія. Выводомъ было сомнѣніе въ прошломъ: то ли было оно въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ прежде казалось?

Уже не ребенокъ, всему вѣрующій на слово, припоминалъ отношенія тѣхъ, кто мелькалъ передъ его глазами, тѣхъ, кто ласкалъ его, кто снисходительно радовался или дивился его затѣямъ... Въ самомъ ли дѣлѣ эти добрые люди стоили названія хорошихъ людей? Помню, они ссорились за пустяки и за важныя вещи: они обманывали очень ловко, клеветали довольно смѣло, выпутывались изъ бѣдъ очень хитро; они вредили другъ другу по силѣ и возможности, когда бывало нужно; не выдавали своихъ, но, въ случаѣ нужды, выдавали друзей... это служило предметомъ для толковъ, гдѣ щадили немногихъ; бывали и примиренія, слаженныя неизвѣстно какъ, на которыхъ, въ свою очередь, ссорились другіе... Мнѣ припомнилось нѣсколько случаевъ, нѣсколько темныхъ исторій, слышанныхъ потомъ... Все это, видимое издали чрезъ пространство многихъ лѣтъ, лишало сердце бодрости. Съ той минуты какъ взрослому эти люди показались въ другомъ свѣтѣ, какое-то чувство, можетъ быть, дурное, заставило непріязненно оттолкнуть воспоминаніе, что эти люди были ласковы къ ребенку. Забытый уголокъ

земли будто дожидался дня и часа, когда я увижу его вблизи, чтобы потерять всю прелесть, которую придавало ему разстояніе. Мнѣ хотѣлось бы увѣрить себя, что онъ перемѣнился, какъ я самъ перемѣнился съ годами; но воспоминаніе, составлявшее для меня его жизнь, дѣлалось его разрушителемъ. Нѣтъ, онъ дѣйствительно и тогда былъ тѣмъ, чѣмъ явился мнѣ теперь: такъ же мелочны были его обитатели, такъ же пусты ихъ удовольствія, такъ же незанята ихъ жизнь, такъ же зла ихъ злоба, какъ бываетъ вездѣ; не хуже другихъ, но и не лучше, а сердцу такъ хотѣлось бы сохранить для себя что нибудь лучшее, хотя бы далекое!..

Къ сожалѣніямъ прибавилось еще другое тяжелое чувство. Становясь разсудительнѣе и горюя отъ этого, мы волнуемся еще какимъ-то ложнымъ стыдомъ, зачѣмъ не стали разсудительнѣе раньше, какъ будто принося молодости свою дань впечатлительности, добрыхъ движеній, невнимательности къ недостаткамъ, мы поступали неосторожно, неосмотрительно, несогласно съ нашимъ достоинствомъ... Странныя противорѣчія, странное чувство, возбуждающее новую досаду на самого себя, зачѣмъ оно отыскивается въ нашемъ сердцѣ!..

Наденька!.. Ей теперь должно быть двадцать-четыре года. Разставшись дѣтьми, мы не встрѣчались и ничего не знали потомъ другъ о другѣ. Неужели и она, какъ всѣ барышни, поздно вечеромъ, при свѣтѣ нагорѣвшей свѣчки, отъ нечего дѣлать, безъ мысли, безъ чувства, смотрѣлась въ свое зеркальцо, не замѣчая, что въ окно смотрѣло весеннее небо, полное звѣздъ, тѣхъ самыхъ звѣздъ, въ которыхъ ея младенческая душа видѣла одушевленные міры, горящіе любовью?... И утромъ она ставила къ этому окну свои пяльцы, въ которыхъ цѣлый годъ вышивалась какая нибудь необыкновенная птица, въ вѣнкѣ изъ невозможныхъ цвѣтовъ... О! я помню прелестнаго бѣлаго голубя съ чернымъ кольцомъ вокругъ шейки, котораго когда-то она пріучила прилетать къ себѣ на плечи... Сидя у окна, Наденька-барышня ждетъ, что зазвенятъ шпоры по тротуару, что отчаянный щеголь пройдетъ, напѣвая сквозь зубы, чтобъ показать совершеннѣйшее невниманіе къ глазкамъ, которые слѣдятъ за нимъ. Но это невниманіе не оскорбитъ барышни: она пошлетъ вслѣдъ франту восклицаніе, одно изъ тѣхъ восклицаній, какія умѣетъ выдумать только праздный женскій умъ, пустое женское сердце. Она останется въ восторгѣ отъ минутнаго свиданія и станетъ разсчитывать, той ли дорогой возвратится блестящій красавецъ; съ помощью разныхъ повѣренныхъ, она уже знаетъ его мѣсто жительства, его знакомства, его привычки; не подойдетъ ли онъ къ окну какой нибудь подруги? Подруга—врагъ съ этой минуты. У этой подруги шляпка изъ губернскаго города; ей дадутъ въ приданое салопъ, крытый атласомъ... О Наденька!..

Можетъ быть, она уже замужемъ. Она гордится чиномъ своего мужа и наряжается, не считая доходовъ, не потому, что молода и хороша, а потому, что поняла и усвоила себѣ правило объ обязанности мужа наряжать жену, «если онъ уже взялъ ее». Это правило родилось въ воздухѣ уѣзднаго города, въ воздухѣ, тяжеломъ для приходящихъ, но привольномъ для жильцовъ. Тамъ эгоизмъ женщины можетъ не скрываться и не пугаетъ никого своей откровенностью... У нея есть друзья, но въ ея кругу дружба основана не на оцѣнкѣ достоинствъ человѣка, а на разсчетѣ того, чѣмъ и сколько можетъ быть полезенъ этотъ человѣкъ. Друзья Наденьки — много говорящія дамы. Онѣ громко пересказываютъ ей тайны и довѣряютъ ей свои, которымъ она также измѣняетъ въ свою очередь.

Ты ли это, моя маленькая Наденька, милое созданіе, которое не оправдывалось отъ обвиненій, чтобъ, оправдываясь, не доказать другимъ, сколько они неправы; гордый ребенокъ, который прежде всего боялся быть виноватымъ предъ самимъ собою; вѣрный другъ, который, сдѣлавъ все, чтобъ удержать товарища отъ проступка и, не успѣвъ въ этомъ, всегда принималъ участіе въ проступкѣ, чтобъ раздѣлить и наказаніе?.. Если внѣшняя сторона мелочной жизни, которую прожила ты въ эти годы, отвратила меня, то внутренняя сторона меня испугала...

Любила ли ты, Наденька? чье чувство дополнило твое чувство? чей умъ довершилъ развитіе твоего младенческаго ума? Твоя душа стоила любви; она была создана для нея... Но кого могла забросить сюда судьба? кто сталъ бы отыскивать эту совершенную женщину среди ея обстановки? И въ пору любви была ли уже совершенствомъ эта женщина?..

Напрасно хвалятъ уединеніе, однообразіе, тишину, говоря, что они даютъ свободнѣе развиться способностямъ и сохраняютъ чувства. Уединеніе, однообразіе, тишина такого рода стоютъ дорого и встрѣчаются рѣдко. Отшельничество совершенно одинокое

возвышаетъ душу; тюрьма развиваетъ размышленіе; деревня, гдѣ бы ничто не требовало матерьяльныхъ заботъ, смягчаетъ сердце и сохраняетъ его свѣжесть, но гдѣ все это? Жизнь среди хозяйства и всѣхъ; его мелочей; рѣдкое и неизбранное чтеніе общество, съ которымъ надо мириться поневолѣ, потому что оно неизбѣжно; отголоски жизни болѣе полной, которые долетаютъ время отъ времени и съ каждымъ разомъ становятся все непонятнѣе, потому что та жизнь уходитъ дальше, а мы черствѣемъ въ своей — ничто не приноситъ своего вклада уму и въ то же время ничто не даетъ уму вполнѣ погрузиться въ самого себя. Это уединеніе только пріучаетъ чуждаться всего, что дальше нашего круга; это однообразіе низводитъ наши дѣла, желанія, даже мысли до степени привычекъ; эта тишина отупляетъ. Занимаясь только собою, только тѣмъ, что касается насъ самихъ, мы развиваемъ только одно свое мелочное самолюбіе... Кто опредѣлитъ, какъ далеко можетъ дойти его развитіе? Чрезъ нѣсколько лѣтъ, сдѣлавшись ничѣмъ, мы воображаемъ себя чѣмъ-то очень высокимъ, мы довольны... Конечно, и это благо; но кто ему порадуется?

Дѣла и хлопоты, которыя ожидали меня на другой день, произвели свое обыкновенное дѣйствіе: усталость и скуку, и окончательно преобразили въ уѣздный мой идеальный городокъ. Господинъ, къ которому надо было обратиться по дѣлу моего пріятеля, жилъ въ бывшемъ домѣ городничаго и я отправился къ нему... Дорога подъ гору была расширена обвалами, которыхъ не могли удержать никакія укрѣпленія, потому что весною ихъ размывали и уносили ручьи растаявшаго снѣга. Эти обвалы, а можетъ быть, и время, уничтожили нѣсколько знакомыхъ мнѣ строеній, но я шелъ уже не отыскивая воспоминаній. Меня почти не удивила перемѣна слишкомъ знакомаго мнѣ низенькаго и длиннаго дома, на которомъ выросъ неуклюжій мезонинъ, къ которому приросъ подъѣздъ съ навѣсомъ изъ дощечекъ, вырѣзанныхъ въ видѣ бахромы; все было сильно выкрашено охрой, подновлено, хотя отъ этого нисколько не смотрѣло красивѣе. У дверей подъѣзда былъ колокольчикъ. Въ комнатахъ я нашелъ всю прежнюю тѣсноту, которой не замѣчалъ прежде, со всѣми новѣйшими претензіями, которыхъ нельзя было не замѣтить. Въ ожиданіи хозяина, меня приняла хозяйка. Очевидно, она не ожидала гостей, потому что нѣсколько разъ извинялась въ безпорядкѣ дома и своего туалета. Узнавъ, что я здѣсь проѣздомъ на нѣсколько часовъ, она сильно сожалѣла о короткости этого срока и очень любезно увѣряла, что я останусь долѣе. Когда я назвалъ себя, она вскричала, что хорошо меня помнитъ.—«Неужели вы меня забыли?» повторяла она, громко смѣясь; какъ мнѣ показалось, веселость была въ ея характерѣ. «Припомните, припомните хорошенько!» Память отказывалась служить мнѣ; я боялся только, чтобъ это не была Наденька. Это была одна изъ внучекъ городничаго. Въ нѣсколько минутъ, на основаніи стараго знакомства, а, можетъ быть, и потому, что моей знакомой рѣдко представлялся случай разсказывать, я узналъ всю исторію ея замужества, ея семьи; многое было довѣрено «по секрету», потому что разскачица боялась, что ей «достанется», если узнаютъ, что они говорила. Прежняго она не помнила или вспоминала неохотно, конфузясь, какъ будто совѣстясь чего или пренебрегая чѣмъ-то. Изъ ея сужденій о настоящемъ можно было заключить, что она недовольна многими, близкими и далекими, но это не омрачало ея воззрѣнія на жизнь, которую она принимала легко и очень рѣшительно... Меня занимала только одна мысль, но мнѣ было почти трудно ее высказать: спросить, знаетъ ли она Наденьку и что сталось съ нею. Я почти боялся, ожидая отвѣта.

— Наденька? повторила хозяйка. Что это она вамъ вспомнилась! Замужемъ была, умерла недавно. Ея отецъ былъ человѣкъ старый, больной. Хорошо, что удалось ее еще при жизни своей пристроить, а то она росла избалованная, воспитанія никакого и характеръ престранный. Общества всегда дичилась; бывало, мы всѣ, наши дамы, знакомые офицеры, ѣдемъ куда на пикникъ, ее ничѣмъ не вызовешь: бродитъ по оврагамъ, читаетъ... Мы всѣ, просто, удивились, какъ она замужъ вышла за одного помѣщика здѣшняго, съ состояніемъ—веселый такой и охота у него отличная... Чѣмъ она могла такъ ему понравиться...

— Она была очень хороша собою, замѣтилъ я.

— И, полноте! что за хороша! И ничего не выровнялась, какъ выросла. А замужемъ, она здѣсь въ городѣ жила, ни она кого приняла у себя какъ слѣдуетъ, ни съ кѣмъ подружилась. Говорили, что это отъ гордости; Я, просто, говорю, что она была помѣшана, право, потерянная какая-то; впрочемъ, ти-

ха. А весь разговоръ... говорили, она начитана!.. «да, нѣтъ...» Она и мужу скоро надоѣла; а ужъ въ семьѣ у него и подавно. Посудите сами, ни хозяйства, ничего не знала. У мужа четыре сестры и мать въ домѣ живутъ; она, видите, говорила, что не хочетъ имъ противорѣчить. Конечно, нечего ей было и вступаться, потому что у нея самой своего ничего не было, но что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, за безотвѣтность такая? что-жъ безъ голоса быть?... Ребенокъ у нея родился, мальчикъ. Она его безъ памяти любила; стала его учить по-своему. Вообразите, трехлѣтняго за азбуку сажала! Сестры мужа говорили, что она этому ребенку такія необыкновенныя вещи разсказывала... просто, съ ума его сводила. Хорошо, что вступилась свекровь и отняла у нея мальчика, а то бы она его въ самомъ дѣлѣ свела съ ума...

Я слушалъ. Странная боль поднималась въ моемъ сердцѣ. Мнѣ представлялась Наденька, но уже не ребенокъ, не въ этой пестрой гостиной, гдѣ скучно, шумно, непривѣтливо, не среди общества, которое не даетъ ей мѣста между собою. Мнѣ представилась Наденька-мать. На ея рукахъ маленькое существо, которому она дала жизнь и старается передать свою душу... Наденька, ты не смѣялась съ нимъ? Это была не забава твоя, не кукла; ты его не наряжала, ты имъ не хвасталась; ты видѣла въ немъ душу, которую поручилъ тебѣ Богъ; ты учила его любить и вѣрить... Ты ждала, что оно одно во всемъ мірѣ будетъ любить тебя такъ, какъ ты этого хотѣла...

Какъ хорошо, что ты умерла!

Вѣроятно, я былъ не довольно любезенъ съ моей знакомой, потому что она перестала пророчить мнѣ задержки на станціи и не приглашала больше остаться у нихъ на цѣлый день, когда кончились мои толки о дѣлѣ съ ея мужемъ. Я возвратился въ гостиницу и сбирался ѣхать, когда мнѣ сказали, что меня желаетъ видѣть какая-то дама. Это была сѣдая старуха съ осторожными манерами, съ печальнымъ взглядомъ, съ голосомъ, который она старалась сдѣлать какъ можно слаще и печальнѣе. Я не могу выносить такого голоса. Дама была въ чепцѣ и шали и ввела за собою мальчика лѣтъ пяти, страшно загорѣлаго, въ двуличневой рубашкѣ съ позументами, съ огромнымъ кисейнымъ воротничкомъ, съ пряжкой на широкомъ лакированномъ поясѣ. Дитя пряталось за кресло бабушки, откуда она тщетно вызывала его, чтобы и онъ просилъ вмѣстѣ съ нею. Просьба состояла въ томъ, чтобъ научить ее, какъ подать бумаги для помѣщенія этого мальчика въ какое нибудь заведеніе. Я не могъ добиться, почему ей казалось, что это должно быть мнѣ извѣстно лучше, нежели кому другому. Старуха твердила одно, что я ѣду въ столицу, и просила покровительства. Мальчикъ глядѣлъ исподлобья и царапалъ мебель какимъ-то гвоздикомъ, поднятымъ съ пола. Я замѣтилъ, что, кажется, еще рано хлопотать. Старуха прослезилась и, ударяя себя въ грудь, воскликнула, что, «конечно, дитя еще малое, но кто-жъ, кромѣ ея, о немъ позаботится? Вотъ два года, какъ мальчикъ у нея на рукахъ; отецъ ей поручилъ; мать была, но...»

Это были свекровь и сынъ Наденьки. Изображая, какъ былъ измученъ и запуганъ ребенокъ, покуда, наконецъ, она «вступилась и отняла его», бабушка гладила его по короткимъ, выгорѣвшимъ волосамъ. Я взглянулъ ему въ глаза, ожидая встрѣтить взглядъ Наденьки — ребенокъ отвернулся недовѣрчиво, будто испугавшись. Мнѣ стало такъ тяжело, что я не могъ подозвать и приласкать его...

Къ вечеру я уѣхалъ.

РАЗГОВОРЪ.

ОЧЕРКЪ.

1854 г.

Было холодно и темно, и только девять часовъ вечера. Никто не сталъ бы, конечно, заботиться о погодѣ, еслибъ можно было придумать, чѣмъ и какъ наполнить этотъ вечеръ, но городъ былъ какъ-то особенно пустъ, общество какъ-то особенно лѣнилось сбираться и веселиться. Театра не было; многіе находили даже, что безъ него лучше, потому что онъ доставлялъ очень немного удовольствія. Чтеніе и занятія утомили, что было очень понятно: чтеніе и занятія были единственнымъ дѣломъ цѣлаго дня... Мы однако не скучали. Маленькая гостиная, гдѣ собрались мы, была уютна и свѣтла; хозяйка, Лизавета Михайловна, привѣтлива и мила какъ всегда; Иванъ Ильичъ, ея мужъ, въ этотъ вечеръ свободенъ отъ дѣлъ и веселъ по обыкновенію. Мы давно рѣшили, говоря о немъ, что постоянно хорошее расположеніе духа есть добродѣтель. Онъ не былъ изъ числа людей, для собственнаго спокойствія невѣрящихъ въ чужое горе; ему самому не все удавалось въ жизни, но онъ утѣшался или покорностью судьбѣ, или какою-то отвагой, которая заставляла удивляться ему, когда онъ разсказывалъ какое нибудь изъ безчисленныхъ приключеній своей жизни... Въ этотъ вечеръ разсказовъ не было. Мы толковали и спорили объ очень разнообразномъ предметѣ: о скукѣ. Иванъ Ильичъ, какъ и слѣдовало ожидать, болѣе всѣхъ нападалъ на это зло.

— Признайся, по крайней мѣрѣ, что оно существуетъ, возразилъ ему его пріятель, пожилой господинъ, пріѣзжій, съ которымъ мы познакомились въ этотъ вечеръ.—Отъ нечего дѣлать, или отъ чего нибудь, но все стало какъ-то неживо, все дѣлается какъ-то нехотя. Иные говорятъ, будто это происходитъ отъ общаго недостатка средствъ...

— Вздоръ! перебилъ хозяинъ:— много ли средствъ было у насъ съ тобой, Алексѣй Петровичъ? а какъ весело жили мы въ прежнее время!

— Скука въ обществѣ происходитъ отъ молодыхъ людей, замѣтила пожилая и очень важная дама, также пріѣзжая и родственница хозяйки, серьезно занятая длинной полосой вышиванья.

Я въ первый разъ видѣлъ эту даму. Шабаевъ, который убѣдительно уговаривалъ меня ѣхать съ нимъ вмѣстѣ этимъ вечеромъ къ Лизаветѣ Михайловнѣ и явился часомъ раньше меня, ничего не говорилъ мнѣ объ этой родственницѣ. Мнѣ стали понятны его просьбы, когда я увидѣлъ дочь ея, очень молоденькую дѣвушку. Она также не поднимала глазъ отъ своего вышиванья, держалась чрезвычайно прямо и была необыкновенно гладко причесана. Ее называли Lydie. Шабаеву не удалось занять мѣсто подлѣ нея, когда началось вечернее засѣданіе за англійскимъ шитьемъ, а потому онъ тотчасъ сдѣлался задумчивъ, сѣлъ поодаль и замолчалъ очень замѣтно. Обвиненіе гостьи коснулось его и меня такъ прямо, что возражать было бы смѣшно; я промолчалъ; онъ грустно взгля-

нулъ на Lydie, которая тоже бѣглымъ взглядомъ подала чуть примѣтный признакъ вниманія.

За насъ вступилась хозяйка.

— Мы сами столько же виноваты, возразила она, смѣясь, чтобъ загладить поученіе своей родственницы:—молодые люди слишкомъ заняты, а мы слишкомъ однообразны: мы требуемъ отъ нихъ какой-то ребяческой игривости... это почти обидно.

— Благодарите, господа, вскричалъ Алексѣй Петровичъ, обращаясь къ Шабаеву и ко мнѣ:—вотъ, что называется защищать самоотверженно!

— Странно требовать, чтобъ молодыя дамы и дѣвицы были учены и серьезны, возразила гостья, принявъ споръ не въ шутку:—и такъ ужъ надоѣли синіе чулки. Изъ кого же вы составите балъ послѣ этого? Тогда ужъ будетъ въ самомъ дѣлѣ скука...

— Позвольте, для чего же крайности?... началъ Алексѣй Петровичъ.

— Pardon, прервала гостья:—но если нынѣшніе молодые люди хотятъ, чтобъ женщины занимались разными высшими взглядами, такъ это свѣтъ навыворотъ! И такъ, вмѣсто живости, любезности, мы видимъ однѣ зѣвающія физіономіи. Вообразите положеніе молодой дѣвушки, которая еще не видѣла свѣта, которая мечтаетъ, ждетъ удовольствія... вдругъ она пріѣзжаетъ на балъ—и что предъ ея глазами? черныя, погребальныя фигуры! Она робѣетъ, она теряется, она разочарована.

Эта патетическая тирада произвела очень разнообразное впечатлѣніе; она была прервана восклицаніями:

— Это еще возможно, это понятно, сказалъ хозяинъ.

— Позвольте, какъ же такъ скоро разочароваться, въ чемъ? спросилъ Алексѣй Петровичъ:—мечты о бальномъ платьѣ, ожиданія десяти кадрилей; какая особенная радость!...

— Радость надежды, свѣтлыхъ надеждъ дитяти, объяснила дама, увлекшись сама своимъ краснорѣчіемъ.

— Я о томъ и говорю: много ли нужно дитяти? чего она ждала, то и нашла: хотѣла нарядиться — нарядилась, попрыгать — попрыгала...

— Вы не разочаровались? спросилъ Шабаевъ Lydie, черезъ столъ и вполголоса.

— Я еще не была на большомъ балѣ, отвѣчала она тихо, съ полуулыбкой, и такъ ловко взглянула кругомъ, что Шабаевъ въ мигъ сообразилъ, какъ можно воспользоваться споромъ, обойти за кресломъ матери и поставить себѣ стулъ подлѣ Lydie. Онъ такъ и исполнилъ.

— Разочарованіе — предметъ великій, продолжалъ Алексѣй Петровичъ:—дѣтскія огорченія не разочаровываютъ, они скоро забываются. Конечно, если на балѣ ждутъ успѣховъ, побѣдъ—это найти труднѣе, но и ожиданіе уже не дѣтское...

— Дѣвушки не имѣютъ объ этомъ понятія, возразила гостья съ большимъ достоинствомъ.

— Извините, но позвольте сказать, что вы ошибаетесь: имѣютъ понятіе, и вотъ въ чемъ онѣ разочаровываются и разочоровываются жестоко! Жаль, а нечего дѣлать, такъ есть! Еслибъ онѣ ждали и искали любви...

Почтенная дама непріятно встрепенулась.

— Такъ это дѣло другое, конечно, тоже не дѣтское, за то хорошее. Любовь можно найти гдѣ угодно, даже на балѣ; онѣ бы нашли ее, но онѣ ея не ищутъ. А вотъ тщеславіе, кокетство—вотъ что ихъ сгубило, вотъ въ чемъ ихъ разочарованіе! Оттого онѣ и скучаютъ, оттого и кажутся имъ серьезны, несносны молодые люди, которымъ это кокетство присмотрѣлось, на которыхъ оно не дѣйствуетъ... А знаете ли, какъ подчасъ имъ самимъ, молодымъ людямъ, бываетъ отъ него скучно?

— Я не понимаю васъ, отвѣчала гостья нѣсколько сухо.

— Это, однако, очень просто, продолжалъ Алексѣй Петровичъ, любившій, какъ мнѣ показалось, доказывать до конца— большая часть молодыхъ людей неспособна шутить своими чувствами; они что нибудь одно: любятъ или не любятъ, а любезничать для развлеченія дамъ нехотятъ—некогда... скучно, потому что это всегда одно и то же... Такъ ли, господа? прибавилъ онъ, обращаясь къ намъ:—поддержите, я за васъ же спорю.

Шабаевъ не слышалъ или дѣлалъ видъ, что не слышитъ; онъ, молча, вертѣлъ ножницы Lydie, между тѣмъ какъ она изрѣдка взглядывала на него. Это молчаніе не понравилось нашему защитнику.

— Что-жъ? сказалъ онъ мнѣ:—правду ли я говорю? Признайтесь теперь, когда пошло на откровенность.

— Нельзя совершенно согласиться съ вами, отвѣчалъ я.

— Почему? развѣ я говорю не дѣло?

— Нѣтъ и да—вопросъ сложный...

— А, вотъ какъ! вскричалъ онъ, недовольный:—вы не хотите сказать то, что чувствуете, прямо, безъ лицезрѣнія, какъ гово-

рится. Васъ слушаютъ дамы—что-жъ за бѣда? Онѣ обвинили васъ, что вы нагоняете на нихъ скуку. Оправдайтесь, какъ можете, объясните, почему вы не можете вѣчно ихъ забавлять...

— Вы, конечно, дѣлаете большую честь прямотѣ нашихъ чувствъ... à notre droiture... началъ-было я, затрудняясь, потому что ясно видѣлъ неудовольствіе почтенной гостьи. Она не возражала давно и даже этимъ временемъ вскользь спросила хозяина что-то, совсѣмъ постороннее. Но Иванъ Ильичъ былъ совершенно доволенъ своимъ пріятелемъ и вмѣстѣ съ нимъ принялся смѣяться моему смущенію.

— Хорошо ли вы дѣлаете? прервала ихъ хозяйка:—вы всѣми силами стараетесь заставить молодого человѣка въ глаза сказать намъ нелюбезность. По всему видно, что вы оба старики. Вы привязались къ моимъ словамъ, что женщины однообразны, и рады обвинять ихъ, что онѣ тщеславны, что онѣ кокетки... Вамъ скучно? Еслибъ не было женщинъ, вамъ было бы еще скучнѣе, а вы того стоите!

— Кажется, мы потеряли союзницу, сказалъ мнѣ Алексѣй Петровичъ:—она была за насъ сначала...

— Вы не такъ взялись защищать насъ, возразилъ я.

— Не такъ?

— Начнемъ сначала! вскричалъ хозяинъ.—Спросимъ самихъ молодыхъ людей: мы въ наше время скуки не знали; вы, господа, отчего скучаете?

— Такъ-то лучше, прибавилъ Алексѣй Петровичъ: — прежде узнаемъ, отчего вамъ скучно, а потомъ, для удовольствія дамъ, можетъ быть, и доберемся, чѣмъ вы имъ наскучаете.

— Позвольте, прервалъ я: — въ такомъ случаѣ, это до меня лично не касается: я не оживляю общества, но и самъ не скучаю.

— Опять отговорка! вскричалъ Алексѣй Петровичъ:—хорошо, что есть еще къ кому обратиться. Господинъ Шабаевъ, извините...

Шабаевъ въ эту минуту отвѣчалъ на вопросъ Lydie.

— Вы скучаете?

— Вѣчно и ужасно!..

— Господинъ Шабаевъ, повторилъ Алексѣй Петровичъ:—отчего скучаютъ нынѣшніе молодые люди?

— Скоро живемъ, отвѣчалъ онъ, приподнимая голову, наклоненную надъ работой Lydie.

Гостья взглянула на него съ неизобразимой улыбкой.

— Какъ же это? спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— Очень понятно, отвѣчалъ Шабаевъ, будто нехотя: — дѣтьми мы хорошо видѣли жизнь старшихъ, хорошо вникнули въ нее, разобрали ее... оцѣнили, наконецъ. Пришла пора жить самимъ; право, недостаетъ силъ повторять то же, по крайней мѣрѣ, повторять съ увлеченіемъ. Человѣкъ разумный не можетъ быть веселъ.

Шабаевъ выговорилъ все это тихо, задумчиво, немного отрывисто, какъ будто говорилъ по принужденію.—Для меня его слова были давно не новость, я зналъ его коротко и онъ вообще любилъ высказывать свои «убѣжденія». Чувствовалъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ то, что говорилъ—не знаю, но онъ очень искренно скучалъ и необыкновенно упрямо отказывался отъ всякаго утѣшенія; въ чемъ бы оно ни состояло, въ удовольствіи, въ шуткѣ, въ серьезномъ занятіи и въ серьезномъ чувствѣ. Онъ на все заранѣе говорилъ: «скучно». Если онъ и брался за что нибудь, то, бывало, жаль видѣть, какъ онъ все портилъ: занятіе — какимъ-то нервическимъ утомленіемъ, чувство — обидной насмѣшкой, удовольствіе — вялостью и неохотой, шутку—педантствомъ претензіи на хорошій тонъ. Онъ какъ будто старался доказать на дѣлѣ, что все скучно. Въ этотъ вечеръ, предъ новыми слушателями, говоря лѣниво, онъ выражалъ этимъ, что и высказываться скучно.

Его слушатели были люди терпѣливые въ спорахъ и непривязчивые къ словамъ. Что же касается меня, то, однажды поспоривъ съ Шабаевымъ, я сказалъ ему разъ навсегда, что не раздѣляю его «убѣжденій» и больше спорить не стану. Онъ былъ увѣренъ, что я не возражу и, какъ мнѣ показалось, немножко рисовался предъ слушательницами.

— Было бы странно, продолжалъ онъ:— искать и желать ощущеній, когда они уже всѣ извѣданы, запасъ истощенъ. Новаго не выдумаетъ никакая изобрѣтательность, еслибъ и взяла на себя трудъ выдумывать.

— Но вѣдь этотъ запасъ истощенъ не вами? прервалъ Алексѣй Петровичъ.

— Не мною?

— То есть не вами собственно...

— Вы хотите сказать: современными молодыми людьми?

— Позвольте, продолжалъ Алексѣй Петровичъ:—разбирая этотъ предметъ, вы при-

даете ему необыкновенно широкіе размѣры. Человѣкъ, современные молодые люди—все это такъ громко, будто дѣло идетъ о скукѣ Фауста, или страданіяхъ Рене. Мы, просто, начали говорить — отчего скучаетъ молодежь въ провинціи.

— Молодежь въ провинціи развѣ не люди? спросилъ Шабаевъ, будто обидясь.

— Кто отнимаетъ у нихъ это значеніе, помилуйте! Но, мнѣ кажется, чтобъ разбирать что нибудь мелкое, надо и наклоняться пониже. Кругъ невеликъ, средства невелики, дѣла невелики, слѣдовательно, и слова не должны быть громки.

— Мы разбираемъ отвлеченную сторону предмета, а она во всякомъ кругу равно заслуживаетъ вниманія... возразилъ Шабаевъ.

— По-моему, прервалъ хозяинъ:—отвлеченное должно хорошенько связываться съ положительнымъ, иначе то и другое пойдетъ въ разладъ и ничего не выйдетъ.

— Такъ вы хотите подчинить душу человѣка... началъ Шабаевъ.

— Постойте, вскричалъ Алексѣй Петровичъ: — мы собьемся съ вопроса! Кончимъ прежде одно. Если вамъ угодно, такъ и быть, мы будемъ смотрѣть и судить свысока; но позвольте иногда намъ, положительнымъ людямъ, дѣлать обращенія къ дѣйствительности и подразумѣвать провинціала тамъ, гдѣ вы будете называть человѣка... Вы сказали, что молодые люди уже не могутъ веселиться, забавляться; они насмотрѣлись на старшихъ, имъ надоѣло или не нравится — такъ ли?

— Такъ.

— Я стану выражаться высокимъ слогомъ. Но вы знаете также, что есть ощущенія вѣчно новыя, вѣчно юныя, о которыхъ мы не можемъ судить по примѣрамъ другихъ, не испытавъ сами: — любовь, напримѣръ, ею лечился даже Фаустъ.

— Вамъ угодно шутить? сказалъ Шабаевъ...

Мнѣ стало жаль его: онъ былъ сконфуженъ. Lydie, которая шила прилежно, какъ благовоспитанная дѣвица, не обращая вниманія на споръ мужчинъ, подняла на секунду глазки на огонь лампы. Ея маменька улыбнулась опять невыразимо небрежной улыбкой и посмотрѣла на Шабаева съ какимъ-то вызывающимъ ожиданіемъ... Какъ мнѣ показалось, Шабаевъ былъ поставленъ въ необходимость отречься отъ своихъ убѣжденій... Онъ нашелся иначе.

— Лечились любовью, да не вылечились, сказалъ онъ съ горькой улыбкой: — почему:—надо спросить не насъ: намъ мало вѣрятъ.

— Берегитесь, сказала Лизавета Михайловна: — «намъ мало вѣрятъ» можетъ показаться за признаніе: «мы потеряли довѣріе».

— Да, повторилъ онъ, обращаясь къ ней: — намъ мало вѣрятъ, почему — Богъ знаетъ. Вотъ, они хотятъ примѣненій къ дѣйствительности (онъ показалъ на Алексѣя Петровича и хозяина), пусть рѣшатъ, это совершенно въ духѣ провинціи и положительнаго вѣка: почему, если молодой человѣкъ любитъ богатую дѣвушку, то говорятъ, что онъ ищетъ ея состоянія?

По живости, съ которой онъ говорилъ, я понялъ, что онъ привязался къ случаю сказать что-то рѣшительное...

— Это другой вопросъ! другое дѣло! заговорили хозяинъ и Алексѣй Петровичъ, которые, какъ настоящіе старики, занимались только своимъ споромъ.

— Почему, скажите? повторялъ настоятельно Шабаевъ, обращаясь къ хозяйкѣ.

Какъ мнѣ показалось, она жалѣла о немъ и лучше мужа и гостя понимала, въ чемъ дѣло.

— Не всегда-жъ это говорятъ! возразила она.

— Но говорятъ, однако. Что это доказываетъ?

— Ровно ничего; маленькое заблужденіе, отвѣчала Лизавета Михайловна осторожно и, видимо, желая его успокоить. — Бывали примѣры разсчета, а потомъ случается, что правые терпятъ за вины виноватыхъ...Ошибка, недоразумѣніе...

— Не доказываетъ ли это, напротивъ, прервалъ Шабаевъ:—въ сердцѣ самихъ женщинъ такой глубокій разсчетъ, такое холодное...

— Обвинять не значитъ объяснять, прервалъ его Алексѣй Петровичъ.

— Къ тому же, замѣтилъ я:—дѣло идетъ не о холодности женщинъ, а о нашемъ умѣньи или неумѣньи любить.

— Какая удивительная наука! вскричалъ Шабаевъ:—неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что это трудно? что невозможно набить себѣ голову разными мечтами и восторгами, разстроить себѣ нервы, вообразить потомъ, что мы влюблены? Но когда-жъ это дѣлалось иначе? что-жъ всегда была, есть и будетъ любовь, какъ не убаюкиваніе самого себя сказкой, которую мы же себѣ выдумали? Спрашивается, есть ли въ этомъ здравый смыслъ?

— Но развѣ это любовь? развѣ это чувство? спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— Изъ такого вздора, конечно, и хлопотать не стоитъ, сказалъ хозяинъ.

— За что такъ строго, Шабаевъ? сказалъ я:—не нападайте на своихъ: право, не всѣ мы такъ думаемъ и часто очень хорошо любимъ...

Онъ былъ раздраженъ.

— Да, отвѣчалъ онъ: — бываютъ безумцы, любятъ, для чего? для лишней скуки и потомъ для лишняго раскаянія, что тратили время на совершенно безполезное мученіе... Я говорилъ не о нихъ, заключилъ онъ вдругъ, будто овладѣвъ собою:—но даже и эти примѣры, эта поэтическая любовь — къ чему они служатъ?—чтобъ яснѣе доказать, что не стоитъ за нее браться. Право, взглянувъ на одного, на другого, кому пришлось такъ помучиться, пройдетъ всякая охота искать этого развлеченія, и искренняго, и придуманнаго...

Lydie была встревожена; она нѣсколько разъ оборвала нитку, которою шила.

— Женщины не надѣнутъ траура, услыша такія сужденія, сказала ея мать съ большимъ достоинствомъ.

— Онѣ легко во всемъ утѣшаются, сказалъ Шабаевъ. — Впрочемъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ Алексѣю Петровичу: — не думайте, чтобъ и мы долго страдали. Мы спокойно сознали пустоту всего этого. Намъ скучно, но такъ и быть, дѣлать больше нечего.

— Жаль, сказалъ Алексѣй Петровичъ.

— О! не жалѣйте, отвѣчалъ Шабаевъ: — мы сами не жалѣемъ.

— Знаете ли, сказалъ хозяинъ, послѣ минутнаго молчанія:—я вотъ что думаю — извините, господа: — вы скучаете потому, что мало заняты, хотя и говорите, что занимаетесь. Еслибъ вамъ свободный часъ доставался рѣдко, вы бы заранѣе, задолго придумывали, какъ бы не потерять его даромъ,— правило работниковъ, если хотите.

— Вы, въ наше время, были свободнѣе насъ, возразилъ Шабаевъ.

— Такъ занятіе васъ утомляетъ? спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— Оно не удовлетворяетъ насъ, отвѣчалъ Шабаевъ очень серьезно.

Я невольно улыбнулся: Шабаевъ былъ страшно лѣнивъ и зналъ, что я это знаю.

— Я, напримѣръ, что вы хотите, чтобъ я дѣлалъ? продолжалъ онъ, обращаясь къ Алексѣю Петровичу: — расширить, усилить мои занятія я, конечно, могу, но къ чему это послужитъ?

— Какъ къ чему послужитъ? Вы будете заняты, слѣдовательно...

— Вопросъ тутъ касается ужъ не одного меня. Что за утѣшеніе трудиться безъ цѣли?

— Какъ же это?

— Да. Къ чему послужитъ трудъ? Все будетъ одно и то же; онъ не принесетъ плода, не достигнетъ цѣли...

— А ваша цѣль? спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— Цѣль? повторилъ Шабаевъ, немного сбитый положительнымъ вопросомъ, на который было необходимо отвѣчать опредѣленно: — цѣль... Ее понимаетъ всякій, вы, они, я — всѣ... Эта цѣль — польза. Другой и быть не можетъ у порядочнаго человѣка.

— Вы служите?

— Нѣтъ.

— Чѣмъ же собственно вы занимаетесь? продолжалъ спрашивать Алексѣй Петровичъ.

— Какъ живутъ вообще всѣ, такъ живу и я. Общество указало бы на меня пальцемъ, еслибъ я сталъ дѣлать не то, что всѣ дѣлаютъ. Мой образъ мыслей... было бы по крайней мѣрѣ странно имѣть его различный отъ другихъ...

— Но если общество раздѣляетъ вашъ образъ мыслей, понимаетъ вашу цѣль, сказалъ Алексѣй Петровичъ: — то оно не можетъ мѣшать вамъ достигнуть этой цѣли...

— Наше общество? вскричалъ Шабаевъ:— наше общество не можетъ мѣшать достигнуть цѣли?

— Да какой же цѣли? прервалъ Иванъ Ильичъ:—вѣдь это надо назвать! Цѣль, цѣль, и выходитъ одно неопредѣленное слово. Когда хотятъ чего нибудь, то говорятъ: чего именно хотятъ.

— Пользы, сказалъ Шабаевъ.

— Въ какомъ видѣ?

— Въ какомъ можно ее сдѣлать.

— Но этихъ видовъ десятки, сотни...

— Позвольте, вступился Алексѣй Петровичъ:—Я понимаю: вамъ, одному человѣку, трудно разглядѣть, гдѣ именно была бы всего полезнѣе ваша польза...

— Конечно, точно такъ, отвѣчалъ обрадованный Шабаевъ.

— Вотъ затрудненіе! Помилуйте, польза нужна вездѣ, нечего разглядывать, вскричалъ Иванъ Ильичъ:—первый случай, который встрѣтится...

— Пользу нужно дѣлать разумно, возразилъ Шабаевъ.

— Трата времени это разглядыванье! вскричалъ хозяинъ.

— Позволь, прервалъ опять его пріятель и продолжалъ, обращаясь къ Шабаеву: — такъ, въ обществѣ тѣ люди, которые одного мнѣнія съ вами, могли бы помочь вамъ. Можно много сдѣлать добраго, рука съ рукой съ хорошими людьми...

— Конечно... Но гдѣ эти люди? Надѣяться на этихъ помощниковъ! Не всѣ ли больны нравственнымъ охлажденіемъ?

— Но вы говорили...

— И къ чему это поведетъ? И если вызовутся люди, готовые жертвовать собою для общественной пользы, кто оцѣнитъ ихъ?.. Какого могутъ они ожидать вознагражденія?

— Помилуйте, вскричалъ хозяинъ; — но, кажется, можно хотя когда нибудь не думать о вознагражденіи.

— Да, безкорыстно... конечно; но къ чему это поведетъ?

— Какъ, но вы говорите сами...

— Конечно, я говорилъ, но можно ли что нибудь сдѣлать? Гдѣ средства? пониманіе вещей? Ничего нельзя сдѣлать, никто ничего не сдѣлаетъ, ничего не выйдетъ!..

— Какъ, изъ тысячи случаевъ, въ которыхъ можно принесть пользу и сдѣлать добро...

— Ни одинъ не удастся — можно поручиться заранѣе.

— Почему-жъ не удастся?

— Потому что нельзя...

— Остается скучать отъ нечего дѣлать, сказалъ я.

— Да, скучать, смертельно скучать! вскричалъ Шабаевъ.

— О томъ, что не можете ничего дѣлать для другихъ?

— Тоска по міру? Weltsehnsucht! Извините, это немного старо. Другіе тоскуютъ ли, что ничего не дѣлаютъ для меня?

— Хорошо. Но вѣдь день великъ и жизнь долга, сказалъ Алексѣй Петровичъ: — чѣмъ нибудь надо ихъ наполнить; скука не занятіе. Въ сторону всѣ эти идеи объ общественной пользѣ; есть наука...

— Наука требуетъ холоднаго разсудка, а молодость живетъ горячо, возразилъ Шабаевъ.

— Такъ искусства, изящное...

— Было бы странно, еслибъ я въ мои лѣта вздумалъ заняться разработкою талантовъ, которыхъ не позаботились развить во мнѣ съ дѣтства, сказалъ Шабаевъ съ нѣкоторымъ достоинствомъ: — безполезно и смѣшно! Учиться поздно.

— Если есть страсть къ искусству — не поздно.

— Помилуйте, смѣшно!

— Какое вамъ дѣло до мнѣнія другихъ, если вы сами будете удовлетворены?

— Я, самъ? Это еще смѣшнѣе! Что за восторженность!

— Вы сказали сейчасъ, что молодость живетъ слишкомъ горячо для холодной науки; искусство — это мечтанія, это идеалы, вѣчная любовь, вѣчная молодость...

— Сколько хлопотъ!

— Ахъ, какая апатія! сказала хозяйка: — это даже скучно!

— Намъ не легче, отвѣчалъ Шабаевъ.

— Извините, продолжала она: — но такая холодность досадна и почти забавна.

— Увѣряю васъ, сказалъ Шабаевъ: — что скучающій, свѣтскій молодой человѣкъ гораздо менѣе страненъ и смѣшонъ, нежели дилеттантъ-художникъ, разочарованный въ своихъ идеалахъ. Мы обошли кругомъ эту бездну—разочарованы, и покойны; онъ считалъ звѣзды и упалъ, а всякое паденіе забавно... Я еще очень недавно видѣлъ этому примѣръ.

— Видѣли примѣръ? гдѣ-жъ?

— Нынѣшнимъ лѣтомъ... Развѣ я не говорилъ вамъ? Поучительный, хотя нисколько не удивительный примѣръ, потому что отъ человѣка, который половину жизни живетъ фантазіями, нельзя ожидать лучшаго... Онъ разочаровался окончательно и теперь заперся, закопался въ своей деревнѣ, и, вѣроятно, больше никогда изъ нея не выглянетъ.

— Разскажите подробно, сдѣлайте одолженіе, это любопытно, сказалъ Алексѣй Петровичъ.

— Извольте, сказалъ Шабаевъ.

Я уже два раза слышалъ этотъ разсказъ; сколько я замѣтилъ, Шабаевъ любилъ его повторять. Онъ, казалось, находилъ въ немъ что-то утѣшительное для самого себя, но что—я не могъ понять, потому что на меня эта исторія производила совершенно противоположное впечатлѣніе.

— Оно, если хотите, даже нѣсколько печально, сказалъ Шабаевъ, садясь подлѣ Алексѣя Петровича (онъ уже давно оставилъ Lydie), печально, если мы возьмемъ на себя трудъ жалѣть о воображаемыхъ несчастіяхъ. Я ѣздилъ къ себѣ въ деревню...

— Одну минуту... прервалъ хозяинъ: — вы говорили о желаніи сдѣлать пользу ко-

му нибудь чѣмъ нибудь. Но чего-жъ вамъ лучше, у васъ деревня...

— А, Боже мой! Имъ всѣмъ тамъ такъ хорошо, что нечего и безпокоиться.

— Какъ нечего безпокоиться? Это такое дѣло, что можно всякій день придумывать, какъ бы устроить лучше...

— Большая деревня? спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— Триста душъ, отвѣчалъ вскользь Шабаевъ (онъ прибавилъ только впятеро),— но глушь, но скука! Степь. Я не могу жить безъ общества... Тамъ, въ деревнѣ, у меня есть сосѣдъ, молодой человѣкъ, очень небогатый. Когда людямъ не дано средствъ, нечего и фантазировать; съ нимъ случилось иначе, хотя вина почти не его, а воспитанія. Его дѣдъ, отецъ его матери, былъ богачъ, но прожилъ все, хотя самымъ изящнымъ образомъ, такъ прожилъ все, что его дочери, дѣвушкѣ съ замѣчательнымъ, огромнымъ образованіемъ, осталось одно средство: выйти замужъ за мелкаго помѣщика, чтобъ дать отцу уголъ въ домѣ на его послѣдніе дни. Правда, что она была уже не молода и тоже замѣчательно дурна собою.

— А ея мужъ? спросила Лизавета Михайловна.

— Помѣщикъ, отвѣчалъ Шабаевъ многозначительно.

— Но однимъ этимъ словомъ вы еще ничего не сказали, возразила она.

— Правда, подтвердилъ ея мужъ. — Позвольте кстати замѣтить, что и мнѣ тоже всегда казалось нѣсколько странною эта манера опредѣлять людей: «помѣщикъ, чиновникъ»—и все тутъ. Это только ихъ званіе, а они тоже люди, каждый съ своими особенностями.

— А эти особенности въ жизни значатъ гораздо больше, нежели званіе, замѣтилъ я.

— По крайней мѣрѣ, возразилъ мнѣ Шабаевъ: — эти опредѣленія приняты, чтобъ означить разомъ все, что представляетъ этотъ типъ.

— Къ дѣлу, господа! прервалъ Алексѣй Петровичъ. — Извините, господинъ Шабаевъ, но вашъ разсказъ уже успѣлъ заинтересовать.

— Онъ очень интересенъ, сказала гостья, прерывая свое долгое молчаніе.

Она сложила работу и подкатила ближе свое кресло.

— Помѣщикъ былъ человѣкъ добрый, тихій, продолжалъ Шабаевъ, обращаясь къ Лизаветѣ Михайловнѣ, какъ будто уступая ей въ чемъ нибудь: — онъ не требовалъ, чтобъ жена его много хозяйничала, чувствуя, вѣроятно, что она не умѣла это дѣлать; онъ немного, а, можетъ быть, даже и ничего не понималъ въ ея образованности, но очень уважалъ аристократовъ, которымъ далъ пріютъ. Жизнь ихъ шла патріархально, идиллически счастливо. Родился сынъ—это герой моего разсказа. Отецъ, что очень натурально, не безпокоился о его ученьи: ученость сама обитала въ его домѣ, вмѣстѣ съ огромной библіотекой, единственнымъ приданымъ, которое она принесла съ собою. Дѣдъ и мать принялись учить мальчика. Можете вообразить, какими фантазіями они набили ему голову: воспоминанія ихъ путешествій, воспоминанія о замѣчательныхъ людяхъ, которыхъ они знали, разсказы о красотахъ природы, о чудесахъ искусства — словомъ, все, что заставляетъ ребенка создавать себѣ какой-то идеальный міръ и стремиться все туда, туда!.. Это было бы еще сносно, еслибъ у него былъ какой нибудь талантъ, а при талантѣ средства развить его: но мой герой получилъ отъ природы только званіе и положеніе помѣщика тридцати съ небольшимъ душъ. Наслѣдовавъ, наконецъ, это богатство, онъ поневолѣ сталъ заниматься, какъ его поддержать и устроить, а отъ нечего дѣлать, продолжалъ мечтать... Тутъ мы познакомились съ нимъ. Это было лѣтъ пять назадъ, когда я ѣздилъ къ себѣ въ деревню. Я тоже тогда получилъ наслѣдство и необходимыя хлопоты меня одолѣвали. Сосѣдъ развлекалъ меня. Онъ читалъ неимовѣрно много и тратилъ все, что могъ, на книги и журналы; онъ составилъ себѣ обо всемъ такое усиленное понятіе, что всякая мелочь, всякое незначительное происшествіе принимали для него огромные размѣры. Въ это время толковали въ журналахъ о какой-то фрескѣ, гдѣ-то открытой; я, конечно, объ этомъ не безпокоился и, признаться, даже вовсе не зналъ объ этихъ толкахъ; но мой сосѣдъ, на первое же знакомство, принялся меня допрашивать, не слышалъ ли я, не прочелъ ли я, рѣшенъ ли споръ и точно ли фреска рафаэлевская. Мнѣ было жаль разочаровать его во мнѣ, признавшись, что я профанъ, и потому я сказалъ только, что еще ничего неизвѣстно. «Но какое дѣло вамъ здѣсь, въ вашихъ Полянахъ, Рафаэль ли это, или кто другой?» Онъ былъ очень удивленъ вопросомъ: ему, казалось, это никогда и въ голову не входило. — «Вы никогда не увидите этой фрески, такъ что же вамъ?» Онъ немного скон-

фузился, сталъ какъ будто печаленъ, но потомъ возразилъ, хотя скромно, но съ большимъ одушевленіемъ, что для него все равно видѣть или не видѣть чудо, лишь бы знать, что оно есть. Это было ужъ такъ ребячески искренно, что мнѣ стало жаль смѣяться надъ нимъ и я старался поддѣлаться подъ его тонъ, чтобъ ему не было неловко. Мы стали видѣться часто. Сосѣдъ былъ способенъ скоро привязываться, какъ всѣ артистическія натуры. Знакомство со мной еще болѣе нравилось ему, какъ знакомство съ человѣкомъ, который могъ говорить объ искусствахъ, какъ съ жителемъ того міра, куда онъ, бѣдный мечтатель, залеталъ только воображеніемъ. Онъ сдѣлался довѣрчивъ, почти ребячески просилъ меня разсказывать ему о выставкахъ, о спектакляхъ, о концертахъ. Я понялъ, что можно испытывать удовольствіе разсказывая, когда насъ слушаютъ такъ наивно внимательно; его восторгъ заставлялъ меня преувеличивать мое собственное увлеченіе: мнѣ не хотѣлось лечить сосѣда отъ этого, какъ мнѣ казалось, безвреднаго помѣшательства. «Человѣкъ счастливъ», думалъ я: «для чего разрушать его идеальное счастье прикосновеніемъ дѣйствительности?» Несмотря на мое холодное воззрѣніе на вещи, я допускаю заблужденія въ другихъ; пусть, если хотятъ, охлаждаются сами.

— Вы были снисходительны къ нему, замѣтила гостья, слѣдившая за разсказомъ съ внимательностью, которой я не могъ объяснить послѣ нѣкоторой небрежности, выказанной ею съ начала вечера:—вы утѣшали его...

— Да, если хотите, это было для него утѣшеніе среди совершеннаго безлюдья, въ которомъ онъ жилъ и къ которому онъ привыкъ, отвѣчалъ Шабаевъ, спѣша возвратиться къ разсказу, но дама прервала его опять:

— Я думаю, ему въ первый разъ въ жизни случилось говорить объ этихъ вещахъ съ человѣкомъ, который ихъ знаетъ.

— О, я далеко отсталъ отъ него въ знаніи этихъ вещей! возразилъ Шабаевъ. — Онъ зналъ годъ, мѣсяцъ и день рожденія и смерти всѣхъ художниковъ, число ихъ произведеній, галереи, гдѣ можно ихъ видѣть; онъ зналъ нѣсколько иностранныхъ языковъ, хотя не говорилъ ни на одномъ; онъ зналъ творенія всѣхъ поэтовъ и толки объ этихъ твореніяхъ, біографіи всѣхъ музыкантовъ, пѣвцовъ и артистовъ, ихъ домашнія привычки, мелкіе анекдоты о нихъ — все, что сколько нибудь относилось къ искусствамъ или художникамъ. Онъ принималъ все къ сердцу; успѣхи и неудачи современныхъ знаменитостей были его собственные успѣхи и неудачи. Разъ, при мнѣ, онъ прочелъ извѣстіе о смерти какого-то композитора и, вѣрно, лучшіе друзья покойника не приходили въ такое отчаяніе, въ какомъ я увидѣлъ моего сосѣда. «Еще одного нѣтъ на свѣтѣ!» повторялъ онъ: «еще одной славой, одной радостью меньше!» Что за дѣло было ему до этой славы, и какую радость приносила ему жизнь этого человѣка, ему, провинціалу, который не слышалъ никогда ни одной ноты его сочиненій?—«Это все равно», говорилъ онъ: «я ли восхищался или другіе, но кто нибудь восхищался этими звуками, кто нибудь плакалъ отъ нихъ, кому нибудь они напоминали безконечное, кого нибудь они сдѣлали лучше»... — «Надѣньте трауръ», сказалъ я, потому что это наконецъ начало смѣшить меня. Онъ не обидѣлся. «Знаете ли», отвѣчалъ онъ, «что вы почти отгадали: въ душѣ моей я ношу эти трауры. У меня нѣтъ никого родныхъ и близкихъ; я живу мирно со всѣми, но друзей у меня нѣтъ; я не любилъ еще, потому что не встрѣчалъ женщины по сердцу...»—«Мудрено и встрѣтить», возразилъ я: «вамъ нужно, чтобъ она была хороша, какъ Джоконда, нѣжна, какъ Джульетта, талантлива, какъ madame Віардо.»—«Не знаю», сказалъ онъ очень серьезно: «но моя душа любитъ совершенство прекраснаго, и это совершенство живетъ въ ней, въ образахъ, въ звукахъ, въ словѣ; моя душа любитъ и благословляетъ всѣхъ, кто въ чемъ нибудь проявляетъ на землѣ это совершенство...» Извините, если вы не поняли, прибавилъ Шабаевъ, обращаясь къ намъ въ видѣ примѣчанія: — я повторяю, какъ слышалъ.

Гостья ободрила его улыбкой.

Слушая эту исторію въ третій разъ, я замѣтилъ, что Шабаевъ совершенствуется, какъ разсказчикъ. Онъ продолжалъ:

— Повторяю его собственныя слова: они лучше его обрисовываютъ.—«Съ дѣтства я привыкъ вносить изящныя мечты въ мою бѣдную жизнь; онѣ скрашивали ее и оживляли. Мнѣ было такъ хорошо съ ними и съ моими книгами, памятью моей матери, что я не сталъ искать другихъ развлеченій; и какое развлеченіе сравнится съ этимъ? Немного нужно хлопотать, чтобъ держать въ порядкѣ мой домъ и десять дворовъ крестьянъ; они покойны, я покоенъ... (Его тридцать душъ въ самомъ дѣлѣ блаженствова-

ли, замѣтилъ Шабаевъ въ видѣ отступленія); неурожаевъ нѣтъ, тяжебъ со мной никто не заводитъ. Моя внѣшняя жизнь тиха, однообразна, но не мучитъ меня. Жизнь остального міра идетъ отъ меня далеко: почему мнѣ не восхищаться тѣмъ, что она представляетъ лучшаго? Это право всякаго, и я могу взять его себѣ...»—«Это очень скромное право», говорилъ я: «и если вамъ довольно восхищаться издали; и вы этимъ счастливы, пожалуй, ничто не мѣшаетъ...»

— Вы смѣялись надъ нимъ! прервала Лизавета Михайловна.

— Какой оригиналъ! замѣтила гостья.

— Иногда мнѣ бывало почти жаль его, отвѣчалъ Шабаевъ: — эти натуры вообще тихи и необидчивы, но мой взглядъ на вещи и мои убѣжденія такъ несходны съ его фантазіями, что я не всегда могъ удерживать себя въ границахъ снисходительности. Впрочемъ, онъ легко переносилъ мои сарказмы; онъ принималъ ихъ за шутку или умышленное противорѣчіе и очень наивно просилъ меня перестать шутить и быть «вѣрнымъ самому себѣ». Въ глазахъ его и я дѣлался идеаломъ. Я приводилъ его въ неописанный экстазъ, напѣвая разные отрывки, свѣжія воспоминанія опернаго сезона. Въ первый разъ это случилось нечаянно, когда мы вмѣстѣ обходили мой лѣсъ. Лѣсъ въ тѣхъ мѣстахъ рѣдкость и цѣнится дорого. Я мечталъ, что выгоднѣе: сохранить его или продавать участками на срубъ? Сосѣдъ, не знаю, что думалъ; онъ спросилъ меня, что я пою. «Вы не знаете «Нормы»? спросилъ я: а «вотъ славная лужайка, какъ разъ декорація для перваго акта». Въ эту минуту мой сосѣдъ былъ и забавенъ, и жалокъ; сконфузясь, онъ сталъ просить меня разсказать ему подробно всю оперу, костюмы, декораціи. Почему было не доставить ему этого наслажденія? Для меня самого было, если не пріятно, то любопытно приводить сосѣда въ восторженное состояніе; этотъ «опытъ» мнѣ всегда удавался и ничего не стоилъ. Сосѣдъ зналъ все и подсказывалъ мнѣ содержаніе пьесъ; ему нужно было говорить только объ исполненіи: это было легко для того, кто видѣлъ каждую оперу разъ по десяти. Я немножко настроивался и дѣлался краснорѣчивъ, какъ фельетонъ. Тогда я имѣлъ случай замѣтить, какъ заразительна и, слѣдовательно, какъ опасна эта манія восторженности; мнѣ иногда казалось, что я въ самомъ дѣлѣ испытывалъ когда-то восхищеніе, о которомъ разсказывалъ; что я въ самомъ дѣлѣ бывалъ заинтересованъ, увлеченъ, пораженъ богатствомъ обстановки, блескомъ освѣщенія, игрой артистовъ, руладами пѣвицъ... Не знаю, какимъ земнымъ благомъ могъ завидовать мой сосѣдъ, но знаю, что онъ завидовалъ моему абонированному креслу!

— Voilà un talent de conteur, quelle verve! шепнула довольно громко гостья своей дочери.

Lydie улыбнулась; казалось, она получила позволеніе обратить больше вниманія на разсказчика, и посмотрѣла на него съ минуту, граціозно остановивъ въ воздухѣ ручку, вооруженную иголкой.

Какъ мнѣ показалось, Лизавета Михайловна была печальна, мужъ ея скучалъ. Алексѣй Петровичъ слушалъ терпѣливо; никто изъ нихъ не прервалъ Шабаева.

— Для мечтателя, который ничего не видѣлъ въ своей глуши, продолжалъ онъ:— оперный абонементъ въ самомъ дѣлѣ завидное благополучіе. Театръ—это соединеніе всѣхъ искусствъ; онъ говоритъ уму, сердцу, чувствамъ, воображенію—опасная приманка для тѣхъ, у кого все это еще не установилось... Одинъ разъ, когда сосѣдъ сидѣлъ повѣся голову послѣ моихъ разсказовъ, я спросилъ его: неужели у него нѣтъ желанія хотя на нѣсколько мѣсяцевъ выглянуть изъ своего угла, и почему онъ не исполняетъ этого желанія? Признаюсь, мнѣ ужъ наскучило однообразіе его экстазовъ и хотѣлось посмотрѣть, что будетъ съ нимъ, когда въ головѣ его поселится какой нибудь планъ. Сначала онъ отвѣтилъ, что это невозможно, послѣ разныхъ странныхъ недомолвокъ; я добился слова, которое такъ трудно выговорить нѣкоторымъ людямъ: «денегъ нѣтъ».— «Сведите экономію, не на нынѣшній годъ, такъ на будущій...» Какъ я предвидѣлъ, эта мысль его оживила; онъ схватился за нее. Съ тѣхъ поръ только и было разговора, что о его поѣздкѣ...

— Такъ что вы, наконецъ, были сами не рады, что ее придумали? спросила гостья, любезно смѣясь.

— Да, почти, отвѣчалъ Шабаевъ.—Бывало, я занятъ дѣломъ съ управляющимъ, съ подрядчиками, тороплюсь—я не имѣлъ ни малѣйшаго желанія болѣе одного лѣтняго мѣсяца прожить въ деревнѣ—сосѣдъ является ко мнѣ: то онъ вспомнилъ, что еще ему надо посмотрѣть, когда поѣдетъ, какое нибудь произведеніе искусства въ частной галереѣ, то онъ во снѣ что нибудь видѣлъ...

— Ахъ, вы шутите! вскричала гостья, смѣясь еще любезнѣе.

— Нисколько не шучу, увѣряю васъ, отвѣчалъ Шабаевъ серьезно.—Онъ цѣлые дни думалъ и думалъ одно, въ лѣсу, въ полѣ, у себя на огородѣ подъ яблонями, въ своемъ домикѣ, гдѣ было тѣсно отъ старыхъ книгъ и свертковъ старыхъ рисунковъ; онъ думалъ до того, что ему во снѣ видѣлись рисунки, цвѣта, разныя разности — все въ этомъ родѣ, и онъ былъ необыкновенно счастливъ послѣ подобныхъ сновъ. Я совѣтовалъ ему думать еще сильнѣе и довести себя до того, чтобъ все являлось на-яву...

— Какъ будто это можетъ быть! сказала ему гостья.

— Бывали странные и очень разнообразные примѣры галлюцинацій, отвѣчалъ Шабаевъ.

— Да; но люди, подверженные имъ, были больные, замѣтилъ Алексѣй Петровичъ.

— Я не спорю, возразилъ Шабаевъ:—но если больные видѣли иногда то, о чемъ не имѣли понятія, почему было здоровому не видѣть того, о чемъ онъ постоянно думалъ?

— Положимъ такъ, отвѣчалъ Алексѣй Петровичъ:—вашъ пріятель любилъ искусство почти до помѣшательства; какъ же онъ разочаровался въ этой любви?

— Мой сосѣдъ ,продолжалъ Шабаевъ, нѣсколько останавливаясь на этомъ словѣ, чтобъ опредѣлить свои отношенія къ человѣку, котораго назвали его пріятелемъ;—мой сосѣдъ не оставлялъ меня въ покоѣ до самаго моего отъѣзда. Онъ просилъ, если я поѣду въ Петербургъ, прислать ему мой адресъ для того, чтобъ онъ могъ найдти меня, когда поѣдетъ самъ. Какъ видите, предусмотрительность...

— Въ которой, я думаю, не послѣднее мѣсто занимало ваше абонированное кресло въ оперѣ? сказала гостья.

Шабаевъ разсмѣялся.

— Ah, l'opéra' que c'est beau! продолжала дама, какъ будто желая своимъ восклицаніемъ подать знакъ къ перемѣнѣ разговора.

Алексѣй Петровичъ этого не понялъ.

— Что-жъ, онъ поѣхалъ въ Петербургъ и нашелъ васъ?

— О, нѣтъ! отвѣчалъ Шабаевъ:—мы съ нимъ не встрѣчались до нынѣшняго лѣта. Я опять ѣздилъ въ степь... единственно по просьбѣ моей тетки: у нея рядомъ съ моей деревней имѣніе, которое я почти привыкъ считать своимъ, потому что старушка, женщина съ необыкновенно свѣтлымъ умомъ, смотритъ весьма равнодушно на жизнь и на все въ жизни, кромѣ своего племянника. Ей хотѣлось, чтобъ я самъ еще разъ осмотрѣлъ и сказалъ ей, въ какомъ видѣ она оставитъ мнѣ это наслѣдство. Прихоть, конечно, но я ее исполнилъ. Между дѣломъ... что дѣлать одному?—я вспомнилъ о сосѣдѣ и отправился къ нему. Тотъ же маленькій домикъ, цвѣтничокъ, сирени. Вхожу, мнѣ говорятъ, что хозяинъ сажаетъ что-то или прививаетъ—не знаю; мнѣ было жарко и я велѣлъ просить его въ комнаты. Покуда осматриваюсь—ничего новаго кругомъ, только на столѣ развернута карта желѣзной дороги. Что это, souvenir du voyage, или только одна изъ подробностей сборовъ въ дорогу? Наконецъ, мой сосѣдъ является. Никакой особенной перемѣны; надо отдать ему справедливость, онъ всегда былъ изященъ въ своихъ привычкахъ (и еще бы нѣтъ,—поклонникъ изящнаго!), стало быть, нельзя замѣтить вліянія Петербурга. Онъ самъ завелъ рѣчь довольно живо о томъ, что радъ меня видѣть, что хороша погода, что о холерѣ у нихъ не слышно и прочее, все очень положительно и даже немножко холодно. Прежде въ такой ясный день не обошлось бы безъ восторговъ, хотя къ красотамъ природы. Въ заключеніе онъ позвалъ свою няню и попросилъ завтракать. Эта няня была тоже преоригинальная личность. Она все еще съ нимъ нянчилась, хотя ужъ едва передвигала ноги отъ старости, и только что не сказывала ему сказокъ, а, можетъ быть, и это случалось; но онъ непремѣнно дѣлился съ нею всѣми своими восторгами, читалъ ей жизнеописанія знаменитостей,разсказывалъ объ изящныхъ чудесахъ, имъ самимъ невиданныхъ. Я иногда заставалъ ихъ за этими разсказами. И въ этотъ разъ я замѣтилъ, что ея очки лежатъ на картѣ—значитъ были толки. Я привязался къ случаю и спросилъ: зачѣмъ у него карта? «Привезъ съ собою, когда ѣздилъ», отвѣчалъ онъ.—«А вы таки-ѣздили?»—«Да, нынѣшней зимой».—«Ну, что-жъ, весело было?»—«Очень», отвѣчалъ онъ. «Вы что-то неохотно говорите», сказалъ я, «вѣдь я все то же; въ эти пять лѣтъ не измѣнились ни мои убѣжденія, ни моя готовность вамъ сочувствовать...» и прочее. Признаюсь, я наговорилъ много, но знаю, что это вѣрнѣйшій способъ расположить этихъ господъ къ откровенности. Сосѣдъ мой сначала молчалъ; еслибъ онъ и съумѣлъ понять мою хитрость, то не съумѣлъ бы отшутиться: для мечтателей все это очень важно,—и фантазія ихъ, и откровенности. Онъ дѣлался все задумчивѣе и наконецъ сталъ не шутя печаленъ. «Вы принимаете во мнѣ такое искреннее участіе», сказалъ

онъ такимъ тономъ, что мнѣ стало почти совѣстно моей шалости:—«что съ моей стороны было бы непростительно—не сказать вамъ правды. Мнѣ даже, можетъ быть, будетъ легче, если я кому нибудь скажу свое горе; это горе истинно, какъ оно ни странно... Лучше бы я не выѣзжалъ отсюда и не видѣлъ ничего!»—«Что-жъ, вы остались недовольны?» спросилъ я, должно быть, ужъ слишкомъ недовѣрчиво, потому что и онъ это понялъ. «Не смѣйтесь», отвѣчалъ онъ почти рѣзко:—«да, я недоволенъ, не знаю только чѣмъ, можетъ быть, собою.. Я знаю, что смѣшонъ провинціалъ, человѣкъ полуобразованный, когда онъ осмѣливается быть недовольнымъ, глядя на то, что называютъ образцами совершенства въ искусствѣ, проходя мимо чудесъ современнаго зодчества, слушая лучшіе въ мірѣ голоса... Но что-жъ дѣлать? То, чего я ждалъ, то, что я видѣлъ моей душою, что я любилъ такъ благоговѣйно, было выше словъ, выше понятій; я думалъ, что умру отъ счастья, когда оно явится предо мною... оно явилось, но то, что я воображалъ, было лучше. Мысль безконечна; моя соединилась съ безконечнымъ искусствомъ, какъ пламя стремится къ пламени... Вы знаете, какъ я былъ счастливъ, мечтая; всѣхъ моихъ мечтаній, образовъ, звуковъ, которые пролетали предо мною, я никогда пересказать не могъ... Я смѣшонъ—я даже увѣренъ въ этомъ, — но я истинно несчастливъ, потому что лучшія желанія, вѣчныя желанія души моей не только не удовлетворены, но измяты... Неужели только этого достигаетъ человѣческое искусство?... А тамъ, въ театрѣ, гдѣ я ждалъ такихъ восторговъ, такого самозабвенія, опять краски, только грубѣе, условные жесты, всякій разъ повторенные одинаково... Я знаю, что это сцена, знаю, что лучше невозможно, но не могу заставить себя жить одною жизнью съ людьми, которыхъ вижу на сценѣ, а мнѣ хотѣлось этого! Помните третій актъ «Гугенотовъ»? Вчера, въ знаменитую сцену уличной ссоры, хористка, въ голубомъ платьѣ, первая бросилась въ толпу, поднявъ правую руку; завтра она сдѣлаетъ то же и вѣчно то же, и никогда, даже въ первый разъ, не показалась она мнѣ испуганной женщиной: она вѣчно была только хористка... Вы скажете: «Нельзя иначе»; я знаю, что нельзя; но легче ли мнѣ отъ этого? Неужели это конечное выраженіе искусства?...»—А музыка?»—«Музыка — наслажденіе необъяснимое; она говоритъ чувствамъ, а не сознанію, стало быть въ ней нельзя разочаровываться; но одной музыки мало»... Я не могъ не пожалѣть о немъ: невесело быть недовольнымъ, хотя со стороны и забавно, и къ тому же ему и матеріально чего нибудь стоило это разочарованіе. «Неужели ничто не принесло вамъ удовольствія?» спросилъ я. «Какъ отвѣчать вамъ?» сказалъ онъ. «Были предметы, которые доставляли мнѣ минуты восторга, въ которыя я не помнилъ, живу ли я, но этихъ предметовъ было очень немного, эти минуты были рѣдки. Онѣ-то и мучили меня потомъ, зачѣмъ онѣ такъ рѣдки, онѣ-то и заставляли меня желать еще болѣе... Теперь, когда и онѣ прошли невозвратно, онѣ сильнѣе напоминаютъ мнѣ все, и наслажденіе, которое онѣ мнѣ дали, и мои прошедшія мечты, и все, что было несбыточнаго въ этихъ мечтахъ... какъ видите, онѣ напоминаютъ короткую радость и горькую потерю—потерю моихъ мечтаній, того блеска, которымъ былъ полонъ мой внутренній міръ... Мое заблужденіе прошло, но радость короткихъ минутъ наслажденія дѣйствительностью была не довольно велика, чтобъ вознаградить за потерю заблужденія...»—«Кто же мѣшаетъ вамъ мечтать попрежнему?» спросилъ я: «вы даже можете еще лучше прежняго украшать воображеніемъ то, что видѣли». Онъ былъ упрямъ; его манія становилась настоящимъ помѣшательствомъ; которое могло спокойно развиваться на досугѣ. «Я не могу вообразить иначе то, что видѣлъ», возражалъ онъ, впрочемъ, кротко, какъ всегда, не привязываясь къ насмѣшкѣ; «а мои собственныя фантазіи исчезли: мнѣ слишкомъ понятна дѣйствительность».—«Знаете ли», сказалъ я, чтобъ навести его сколько нибудь на здравый смыслъ: «ваше разочарованіе—самое странное изъ разочарованій: на васъ не угодили люди, которымъ удивляется цѣлый свѣтъ».—«Я самъ знаю, что я страненъ, и говорилъ вамъ это», отвѣчалъ онъ: «я знаю, что цѣлый свѣтъ станетъ смѣяться надо мною, но я покоряюсь, не обижаюсь и не ропщу. Міровые геніи — слава и удивленіе вѣковъ, и изъ ихъ произведеній только немногіе тронули и осчастливили мою душу! Это доказываетъ только, что душа человѣка забытаго, бѣднаго, незначущаго, можетъ, чрезъ созерцаніе и постоянное стремленіе къ прекрасному, дойти до созданія совершеннѣйшихъ образовъ, такихъ, какихъ не воспроизводили и геніи... Этимъ геніямъ, можетъ быть, снилось то же, и они такъ же страдали, не находя выраженія и образа...» — «Богъ вѣсть», сказалъ я: «еслибъ это слу-

чилось съ геніями, они бы не работали постоянно, а съ горя бросили бы все; вѣрнѣе думать, что они бывали чаще довольны собою»... Я не ожидалъ эфекта, который произвелъ моими словами: сосѣдъ поблѣднѣлъ, не отвѣчалъ мнѣ нѣсколько минутъ и потомъ сказалъ, весь взволнованный:—«На что вы это мнѣ сказали? у меня оставалась еще одна мечта...» Онъ долго не рѣшался говорить, вставалъ, ходилъ, садился, наконецъ обратился ко мнѣ совершенно разстроенный. «Лучше признаюсь вамъ», сказалъ онъ: «вы одни на свѣтѣ знаете меня коротко, вы не осудите того, что всѣ назовутъ странностью... Послѣ моего горя, моего разочарованія, какъ вы сказали, у меня оставалось одно утѣшеніе (опять мечта!), я надѣялся, что такъ же бывало тяжело этимъ людямъ, этимъ геніямъ, что въ душѣ ихъ хранилось богатство вдохновенія, которое не могло вполнѣ выразиться, потому что бѣдны человѣческія средства, что сны, мечты, стремленія, заставляя страдать этихъ людей, вмѣстѣ и счастливили ихъ, дополняя внутреннимъ значеніемъ то, чего они не успѣвали совершить... А вы сейчасъ сказали что они, вѣроятно, были довольны собою!.. Знаете ли, какое это зло, это довольство собою? Это лѣнь, это гордость, это недостатокъ внутренней жизни! Я разочаровался и въ произведеніяхъ, не разочаровывайте меня въ людяхъ...»—«Что же вы дѣлаете? какъ вы живете теперь?» спросилъ я.—«Такъ же, какъ жилъ», отвѣчалъ онъ: «какъ видите, ничто не перемѣнилось. И прежде моя положительная жизнь нисколько не зависѣла отъ моихъ мечтаній; почему же ей зависѣть отъ нихъ теперь? Внутренно, мнѣ скучно и пусто—не скрою отъ васъ—скучно такъ, что книги, въ которыхъ я вычиталъ мои разсужденія, стали мнѣ противны: я берусь за старыя съ упрекомъ, за новыя съ сомнѣніемъ. Я хотѣлъ бы забываться въ мысли и не могу; хотѣлъ бы вспоминать... Иногда я вспоминаю; прошедшее всегда кажется лучше, отдаленіе какъ-то все сглаживаетъ. Я начинаю увлекаться... вдругъ является мысль, что я не испытывалъ восторга, когда то, что я вспоминаю, было еще передо мною; мысль, что мое настоящее увлеченіе есть чувство вымученное, вынужденное, можетъ быть, слѣдствіе тайнаго неопредѣленнаго сожалѣнія, что я никогда больше ничего не увижу»... «Но вы сказали, что больше ничего не хотите видѣть»?—«Вы начинаете замѣчать, что я противорѣчу самъ себѣ», сказалъ онъ: «можетъ быть; мнѣ слишкомъ тяжело. Повторяю, я ничего не хочу больше видѣть—довольно; я пять лѣтъ сбирался на это поклоненіе, съ дѣтства думалъ о немъ.... Найти пустоту тамъ, гдѣ я ждалъ видѣть свѣтъ!.. Извините, прервалъ самъ себя Шабаевъ, замѣтя, въ жару своего разсказа, что пожилая дама осторожно поднесла платокъ къ губамъ, скрывая зѣвоту: — я утомилъ васъ, но... вы сами этого хотѣли.

— Напротивъ, я вамъ очень благодарна, сказала Лизавета Михайловна.

Она казалась тронута.

— За что? за знакомство съ моимъ сосѣдомъ?

— Нѣтъ за вашъ разсказъ, отвѣчала гостья.—А вашъ сосѣдъ такой смѣшной оригиналъ, что я не понимаю, какъ вы выносили его знакомство.

— Я не видѣлся съ нимъ больше, отвѣчалъ Шабаевъ: — я поспѣшилъ къ тетушкѣ...

— Она умерла, ваша тетушка? спросила гостья.

— Нѣтъ еще, отвѣчалъ Шабаевъ.

— Позвольте, прервалъ хозяинъ: —вашъ разсказъ, помнится, былъ начатъ съ цѣлью. Я человѣкъ практическій, люблю все полное. Пожалуйте мнѣ мораль вашего разсказа.

— Я хотѣлъ доказать Лизаветѣ Михайловнѣ, что разочарованные мечтатели забавны...

— И не доказали, возразила она. — Вы разсказали только исторію еще одного несчастія...

— Которое стоитъ полнаго сочувствія, прибавилъ Алексѣй Петровичъ.

— Если вы отказываете въ сочувствіи молодымъ людямъ нашего времени, началъ Шабаевъ: — людямъ, тоскующимъ отъ пустоты жизни...

— Которую они не хотятъ наполнить? Извините, мудрено сочувствовать произвольному горю.

— Но развѣ горе мечтателя не произвольно?

— Горе вашего знакомаго было истинно, возразила хозяйка.—Виноватъ ли онъ, если обстоятельства, воспитаніе, характеръ—все заставило его привязаться къ идеаламъ, и такъ горячо привязаться?

— Романическая голова — ничего больше, сказалъ Шабаевъ.

— Прекрасное сердце! сказала Лизавета Михайловна.

— Не споримъ, прекрасное, возразилъ ея мужъ:—къ чему оно послужило? къ его же горю — только.

— Что-жъ было ему дѣлать съ этимъ сердцемъ?

— Быть благоразумнѣе.

— Какимъ образомъ?

— Какимъ нибудь.

— Какъ же, наконецъ? заспорила Лизавета Михайловна, что заставило Шабаева разсмѣяться.

— Я бросилъ яблоко раздора, шепнулъ онъ мнѣ.

— Какого же ты требуешь благоразумія? вступился Алексѣй Петровичъ: — практическаго? Онъ хозяйничалъ, сѣялъ, строился... Строился ли онъ, господинъ Шабаевъ?

— Строился, отвѣчалъ тотъ, продолжая смѣяться.

— Бесѣдки съ колоннадами или châlets suisses?

— Нѣтъ, крестьянскіе амбары и клѣти.

— Ну, вотъ, видишь ли, продолжалъ Алексѣй Петровичъ, обращаясь къ хозяину: — онъ дѣлалъ дѣло. Ему надо же чѣмъ нибудь развлечь себя, какъ нибудь отдохнуть. Лучше ли было бы разъѣзжать по ярмаркамъ и скакать по полямъ съ собаками?

— Ты убѣдишь кого захочешь, отвѣчалъ Иванъ Ильичъ: — но онъ не былъ умнѣе оттого, что не дѣлалъ глупостей. Помнилъ бы, гдѣ и на какой ступенькѣ свѣта онъ рожденъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, сказала гостья Шабаеву: — un homme de rien и позволятъ себѣ судить о первоклассныхъ артистахъ! Какъ эти люди скоро забываются!

— Его горе возможно на всѣхъ ступенькахъ свѣта, возразилъ Алексѣй Петровичъ: — отъ такого горя не убережешься. Слишкомъ впечатлительная натура, слишкомъ сильное развитіе понятій...

— Охъ, это «слишкомъ!» прервалъ Иванъ Ильичъ: — бѣда наша эти «слишкомъ», эти прыжки за черту...

— Что-жъ, лучше ли тотъ, кто вовсе не допрыгнулъ до черты? Попробуй, заставь, чтобъ все дѣлалось и развивалось въ мѣру. А изъ крайностей, ужъ лучше изнывающій идеалистъ, чѣмъ благоразумный «молодой человѣкъ нашего времени». Мнѣ какъ-то по душѣ ближе та крайность...

Шабаевъ не слыхалъ: онъ говорилъ что-то Lydie. Мать, казалось, устала наблюдать за ними, какъ дѣлала съ начала вечера, и внимательно слушала споръ.

— Воля твоя, сказалъ Иванъ Ильичъ своему пріятелю: — странны какъ-то эти неудавшіеся геніи, прямо изъ «драматическихъ фантазій». Откуда они набираются идей, какъ они развиваются? Мелкопомѣстный неслужащій дворянинъ... Какъ ты хочешь, не клеится это съ идеалами! Это, можетъ быть, и предразсудокъ...

— Но этотъ мелкопомѣстный тоже человѣкъ, прервала Лизавета Михайловна.

— Одна вѣчная фраза: человѣкъ да человѣкъ! Мы это слышали...

— Послушай, прервалъ Алексѣй Петровичъ: — признаешь ли ты, что всѣмъ дана способность чувствовать и понимать?

— Всѣмъ. Что дальше?

— Ну, и все тутъ. Слѣдовательно, сосѣдъ господина Шабаева могъ чувствовать и понимать, какъ всякій другой...

— Какъ геній?

— Почему же нѣтъ? У него только не было таланта, то есть способности въ чемъ нибудь проявить свою мысль.

— Хорошо! но сколько же можетъ быть такихъ людей?

— Очень много, сотни, тысячи, и тѣмъ лучше.

— Позвольте, слѣдовательно, раздѣлить ихъ на два класса, сказалъ Шабаевъ, слегка возвышая голосъ: — первый, геніи работающіе, и второй, геніи сложа руки.

Lydie разсмѣялась; ея мать тоже.

— Если вамъ угодно, отвѣчалъ Алексѣй Петровичъ: — называйте ихъ хотя «геніями сложа руки», это будетъ все-таки лучше, нежели не признавать ихъ достоинства, какъ людей мыслящихъ, и ограничивать число тружениковъ искусства или знанія только нѣсколькими именами людей, сдѣлавшихъ что нибудь. Этими именами не кончено нравственное богатство міра: избранныхъ больше, нежели сколько мы видимъ... И притомъ, жаркій поклонникъ лучше хладнокровнаго дѣятеля въ нашемъ хладнокровномъ вѣкѣ.

— Избранные! повторилъ Шабаевъ. — Мой сосѣдъ былъ бы очень счастливъ, еслибъ ему сказали, что онъ избранный.

— Не думаю, возразилъ Алексѣй Петровичъ. — Сколько я понялъ изъ вашего разсказа, онъ человѣкъ скромный и тихій. Считать себя выше другихъ, такъ, изъ ничего — мелочно; но тоже не утѣшеніе и сознательно найти себя выше другихъ...

— Почему-жъ? быть первымъ пріятно, даже во всякомъ обществѣ, замѣтилъ Шабаевъ, будто вскользь, тономъ свѣтскаго человѣка.

— Но это первенство не свѣтское, а нравственное, продолжалъ Алексѣй Петровичъ. — Истинно прекрасныя души не могутъ

радоваться, что онѣ однѣ прекрасны; онѣ не добиваются ничего, ни даже удовольствія быть первыми между замѣчательными людьми; онѣ прежде всего хорошіе люди и просто служатъ добру или искусству изъ любви къ добру...

— Или къ искусству, договорилъ Шабаевъ, смѣясь.

— Изъ любви къ искусству, повторилъ Алексѣй Петровичъ.—Вы не пошутили надъ ними, сказавъ это. Вашъ сосѣдъ, напримѣръ, хорошій, немелочной человѣкъ...

Шабаевъ и Иванъ Ильичъ разсмѣялись вмѣстѣ.

— Да чего-жъ онъ могъ добиться? спросилъ Иванъ Ильичъ.—Помилуй, его положеніе въ свѣтѣ, глушь, гдѣ онъ живетъ...

— Во всякой глуши можно найти кружокъ слушателей ..

— Непонимающихъ ничего, возразилъ Шабаевъ.

— Онъ былъ бы первымъ въ этомъ кружкѣ; вы сказали, что это пріятно.

— Его осмѣяли бы — и только.

— На него стали бы показывать пальцами, какъ на съумасшедшаго, сказалъ хозяинъ: — и, вмѣсто одного горя, у него было бы два — вотъ и все.

— Конечно, сказалъ Шабаевъ:—довольно и безъ того, что онъ не спалъ ночей и скучалъ цѣлые дни. Онъ сдѣлался бы еще забавнѣе.

— Довольно быть смѣшнымъ предъ самимъ собою, прибавила гостья.

— Такъ вы находите его смѣшнымъ, а не несчастнымъ? спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— Такихъ несчастныхъ очень много, отвѣчала она. — Вообразятъ себѣ что нибудь несбыточное...

— Мы оставимъ въ сторонѣ вопросъ, что онъ воображалъ, прервалъ Алексѣй Петровичъ: — сбыточное или несбыточное, былъ ли онъ человѣкъ съ сильнымъ пониманіемъ или помѣшанный, но онъ страдалъ: спрашивается: чего онъ стоитъ: насмѣшки или участія?

— Полноте, какое участіе къ человѣку, который de gaité de coeur набилъ себѣ голову пустяками! отвѣчала гостья, обидясь.

— Въ нашъ положительный, мудрый вѣкъ такіе страдальцы заслуживаютъ полнѣйшаго порицанія, сказалъ строго Шабаевъ.—Когда нужно дѣйствовать, они фантазируютъ; это дезертиры общаго дѣла.

— Позвольте замѣтить, что онъ дѣлалъ хорошо свое дѣло, возразилъ Алексѣй Петровичъ: — вы сами сказали, что его тридцать душъ блаженствовали. Ты что скажешь? обратился онъ къ хозяину.

— Эхъ! отвѣчалъ тотъ:—лучше бы этотъ бѣдный малый не задумывался, жилъ бы какъ всѣ.

— А вы? спросилъ меня Алексѣй Петровичъ:—вы еще ничего не сказали съ самаго начала нашего спора.

— Я не желалъ бы быть на его мѣстѣ, отвѣчалъ я.

— Но вы не осуждаете его, не смѣетесь надъ нимъ?

— Напротивъ, я ему удивляюсь.

— Но все-таки, для собственнаго спокойствія, рады, что можете не слѣдовать его примѣру?.. Хорошо, хоть такъ. Васъ я не спрашиваю, моя милая Лизавета Михайловна. Про женщинъ идетъ дурная слава, что онѣ слишкомъ восторженны, такъ обо мнѣ, пожалуй, скажутъ, что я набираю пристрастныхъ свидѣтелей!..

— Извините, сказалъ Шабаевъ, смѣясь:— но вы сами кажетесь нѣсколько пристрастнымъ судьею. Вы желаете оправдать человѣка, который, если и жалокъ, то подаетъ еще одинъ новый примѣръ воображаемаго несчастья. Такіе люди заслуживаютъ порицанія—повторяю это. И безъ этого скучно; это новый видъ скуки.

— Не вступайтесь за скуку! вскричалъ Алексѣй Петровичъ. — Если уже говорить правду, то вы выдумали ее столько и въ такихъ разныхъ видахъ, что вамъ нечего жаловаться на другихъ. Съ тоски вашего сосѣда, какъ видите, нѣтъ охотниковъ брать примѣра; не эти «несчастные» наводятъ скуку на общество...

— Но это новый примѣръ нелогичности, возразилъ Шабаевъ.

— Вотъ это совершенно, совершенно справедливо! сказала гостья:—вотъ моя мысль! Я только не находила слова. Я не понимаю этого желанія навести на себя странную тоску.

— Тутъ не было желанія, возразилъ я: — у этого молодого человѣка такъ сложился характеръ, его тоска была непроизвольна...

— Положимъ даже произвольная, прервалъ меня Алексѣй Петровичъ: — чѣмъ же онъ виновнѣе другихъ, которые въ глазахъ нашихъ всякій день произвольно выдумываютъ себѣ, другимъ новыя печали, нелогичныя, и—что, по вашему, еще хуже—положительныя?

— Кто же это? вскричала гостья.

— Развѣ нѣтъ людей, очень обстоятельныхъ, которые бросаются на непріятности, вслѣдствіе... не знаю чего, разсчетовъ или соображеній, или отъ нечего дѣлать, или потому, что оно такъ нужно, какъ имъ кажется?

— Этого не бываетъ, возразила гостья рѣзко.

— Бываетъ, вскричалъ Алексѣй Петровичъ: — и, чтобъ ужъ все сказать, лучшія художницы на эти выдумки — женщины!

— Ахъ, какое обвиненіе! вскричала, смѣясь, Лизавета Михайловна.

— На чемъ же вы основываете это обвиненіе? спросила гостья, очень забавно обиженная.

— По крайней мѣрѣ, не однимъ намъ, молодымъ людямъ, приходится нехорошо, сказалъ Шабаевъ: — теперь очередь женщинъ.

— Всякому своя очередь, если кто въ самомъ дѣлѣ виноватъ, возразилъ Алексѣй Петровичъ. — Молодые люди говорятъ, что имъ скучно; женщины говорятъ о нихъ, что они сами скучны, почему—никто не рѣшилъ. Вы, скучая отъ положительности, кажется, хотѣли доказать, что мечтательность еще больше наводитъ скуку, и, приводя примѣръ душевнаго страданія, обвинили его, какъ капризъ отъ нечего дѣлать...

— Вамъ угодно сказать, что я противорѣчу себѣ?

— Нѣтъ, вы говорили по убѣжденію...

— Я никогда не отступаю отъ моихъ убѣжденій, сказалъ Шабаевъ очень серьезно.

— Но вы были нѣсколько строги, и потому я осмѣливаюсь замѣтить, что если ужъ нападать на печали изъ каприза, то лучше взять не такой исключительный примѣръ, какъ примѣръ вашего сосѣда, а другіе, поближе къ намъ...

— И вы обвинили женщинъ!.. сказалъ Шабаевъ.

— И еще прежде вы назвали ихъ тщеславными и кокетками, прибавила гостья.

— Да, да, подтвердила Лизавета Михайловна, которую очень забавлялъ гнѣвъ почтенной дамы.

— Попробуй оправдаться, сказалъ Иванъ Ильичъ.

— Извините, возразилъ Алексѣй Петровичъ:—но я не хочу оправдываться и даже не раскаяваюсь. Что-жъ дѣлать, поживешь, посмотришь на людей и подумаешь, а потомъ и скажешь правду. Никто лучше женщины не придумаетъ, какъ себя измучить изъ ничего, а часто, какъ испортить всю свою жизнь какой нибудь затѣей...

— Напримѣръ? спросила Лизавета Михайловна.

— Разныя выдумки... самоотверженіе, когда его не спрашиваютъ, самоотверженіе, гдѣ его ненужно—прекрасныя вещи сами по себѣ, но какое мученіе, когда онѣ употреблены безъ мѣры, безъ разбора!

— Для кого-жъ мученье? спросила Лизавета Михайловна.

— Для всѣхъ. Для женщины, которая приноситъ жертву, потому что это всегда невесело и еще невеселѣе, когда ее не стоятъ тѣ, кому она принесена; не говорю уже о маленькихъ, но предурныхъ движеніяхъ сожалѣнія и упрека, которыя бываютъ въ эти минуты въ сердцѣ женщины и которыя портятъ это сердце...

— Кто-жъ вамъ сказалъ, что они бываютъ?

— О, моя милая Лизавета Михайловна! женщины не ангелы, тѣ же люди.

— Если только въ такихъ з а т ѣ я х ъ вы обвиняете женщинъ, то онѣ оправданы, сказала Лизавета Михайловна.

— Позвольте: а свѣтскія условія? вотъ гдѣ теряется разумъ человѣческій, если станешь разбирать: почему, для чего и что дѣлаютъ женщины; вотъ гдѣ просторъ фантазіи! Только и слышишь: «такъ нужно, такъ должно». Что нужно — Богъ знаетъ; только у рѣдкой женщины съ дѣтства не изломаны чувства и понятія какой-то странной осторожностью, какимъ-то страхомъ...

— Хороши и смѣлыя, сказала гостья вполголоса, въ видѣ примѣчанія.

— Очень дурны, отвѣчалъ ей Алексѣй Петровичъ:—но именно потому, что привыкли не довѣрять, бояться, придумывать несообразности; и если рѣшаются ободриться, то дѣлаютъ все невпопадъ...

— Позвольте вамъ замѣтить, прервала почтенная дама, волнуясь, какъ будто это была ея обязанность: — что говорить о нѣкоторыхъ, не значитъ говорить обо всѣхъ. Если есть сумасшедшія женщины, то гораздо болѣе такихъ, которыя умѣютъ благоразумно устроить свою жизнь...

— Не спорю, отвѣчалъ Алексѣй Петровичъ: — но позвольте спросить, что вы называете благоразуміемъ?

— Ахъ, Боже мой! вскричала гостья:— то, что всѣ такъ называютъ!

— Извините... то, что иногда кажется благоразуміемъ, въ отношеніи къ матеріаль-

ному устройству жизни, въ отношеніи къ чувству бываетъ просто одинъ холодный разсчетъ; слѣдовательно, съ одной стороны, выгода, съ другой потеря... А я смѣю думать, что потеря со стороны чувства не вознаграждается никакой матеріальной выгодой, и женщины, поступая такимъ благоразумнымъ образомъ, не устраиваютъ, а портятъ свою жизнь.

— Это ужъ такъ странно! прервала гостья.

— Женщина портитъ свое сердце и сама напрашивается на нравственное страданіе, договорилъ онъ.

— Какая романическая идея! вскричала гостья.

— Это такъ, это истинно такъ, подтвердилъ хозяинъ.

Шабаевъ засмѣялся и заговорилъ тихо съ Lydie.

— Это столько же относится къ мужчинамъ, сколько и къ женщинамъ, сказала Лизавета Михайловна.

— Къ намъ меньше, отвѣчалъ я ей: — мы свободны въ нашихъ поступкахъ, и намъ рѣже случается выбирать между чувствомъ и разсчетомъ.

— Такъ вы правы только потому, что рѣдки случаи быть виноватыми? Заслуга не велика, возразила она.

— Женщинамъ предоставлена честь подвига въ большемъ размѣрѣ; тѣмъ лучше для нихъ.

— Благодаримъ за эту честь, отвѣчала она тихо, среди спора другихъ.

— Вы забываете, говорила въ это время почтенная дама:—что женщины поставлены часто въ необходимость жертвовать своими чувствами...

— Противъ необходимости, какъ противъ судьбы, — я ни слова, возразилъ Алексѣй Петровичъ: — но бѣда въ томъ, что онѣ сами выдумываютъ эту необходимость, прикрашиваютъ свой нелогическій поступокъ разными чувствительными словами, а потомъ хотятъ, чтобъ о нихъ жалѣли, чтобъ къ нимъ сострадали... Какое состраданіе, помилуйте, когда видишь, что онѣ сами, зная, что будетъ худо... Да чего лучше? (онъ обратился къ Ивану Ильичу) ты помнишь Наталью Николавну?

— Сестру Ельцова? какъ же, очень помню.

— Вотъ вамъ примѣръ, продолжалъ Алексѣй Петровичъ: — я разскажу вамъ исторію, въ pendant къ исторіи господина Шабаева. Между ними, хотя это двѣ крайности, есть нравственная связь. Иванъ Ильичъ, Ельцовъ и я были друзья неразлучные. Мы были ужъ молодыми людьми, а Наташа еще маленькой дѣвочкой, росла у насъ на глазахъ, и мы ее баловали; прехорошенькая, преживая... ну, помнишь? Ельцовъ умеръ, мы состарѣлись, какъ видите, а Наташа—(ей теперь двадцать-три года)—вышла красавица, прекрасно воспитанная дѣвушка съ большимъ состояніемъ и немножко своевольная, какъ всѣ богатыя сироты. У нея родныхъ одна бабушка—славная старуха, у которой она жила. Два года назадъ я видѣлъ ее почти каждый день; она, по старой памяти, продолжала меня любить и была откровенна со мною во всемъ. Бывало, толкуемъ, вотъ какъ теперь, о разныхъ отвлеченныхъ предметахъ. «Скажи, Наташа, когда ты выйдешь замужъ?» — «Когда полюблю». — «А когда полюбишь?»—«Когда найду человѣка по-сердцу».—«Смотри, не будь разборчивой невѣстой!»—«Не бойтесь; мнѣ нуженъ только благородный, образованный человѣкъ: моя любовь начнется непремѣнно съ уваженія». — «Не слишкомъ ли это старо, Наташа? Тебѣ двадцатый годъ—самая пора увлеченій: хорошенькое лицо, ловкій разговоръ, удовольствіе любить... словомъ сказать: я вступался за васъ, господа «молодые люди нашего времени», не разсчитывая на ваше вѣчное «скучно». Она возражала, что ей прежде всего необходимо оцѣнить достоинство человѣка, его характеръ, его умъ, что наружность ее не увлечетъ, что она не пансіонерка, чтобъ ахать отъ бальныхъ любезностей... словомъ, прекрасно! Она повторяла, что ей нужна любовь, а любить она можетъ только хорошее; что ей хотѣлось бы имѣть мужа, которому она могла бы повиноваться, закрывъ глаза, увѣренная, что всякая его воля справедлива... непремѣнно повиноваться. — «Мнѣ скучно вѣчно зависѣть только отъ себя», говорила она. «Я богата; для меня будетъ наслажденіе отдать любимому человѣку и мою волю, вмѣстѣ со всѣми моими малѣйшими мыслями...»

— Это идеалъ покорный жены, сказалъ Шабаевъ.

— Скорѣе, милая, любящая мечтательница, которая создавала себѣ идеалъ мужа, замѣтилъ я.

— Это вѣрнѣе, отвѣчалъ мнѣ Алексѣй Петровичъ.—Вотъ увидите, чѣмъ она кончила, и правъ ли я въ томъ, что говорилъ сейчасъ о женщинахъ. Бабушка Наташи не могла много выѣзжать, а потому отпускала ее на балы съ знакомыми. Была тамъ одна молодая дама, m-me Вересина; Наташа вы-

ѣзжала съ нею, подружилась и часто бывала у нея по цѣлымъ днямъ. Разъ пріѣзжаетъ отъ нея вечеромъ, въ слезахъ. Бабушка этого не замѣтила, но я дождался, покуда она ушла, и спрашиваю Наташу, «что случилось».—«Вотъ, говоритъ, вы мнѣ толкуете о замужествѣ; вотъ замужество! Конечно, съ вида, въ обществѣ, все скрыто, но взглянуть вблизи! Что за человѣкъ этотъ Вересинъ! Что выноситъ его бѣдная жена! Онъ упрямъ, онъ ревнивъ, онъ золъ; дѣлаетъ ей сцены всякій день, а между тѣмъ самъ посылаетъ ее въ общество, гдѣ всѣ воображаютъ, что онъ любитъ ее, что онъ на нее не наглядится; онъ скупъ и требуетъ отчета во всякой мелочи, которую она издерживаетъ, упрекаетъ ее въ издержкахъ, а самъ ихъ придумываетъ, чтобъ никто не догадался, что онъ скупъ; онъ игрокъ изъ жадности къ деньгамъ; выигрываетъ — на его радость противно смотрѣть... я ее видала; проиграетъ — его надо класть въ постель и ухаживать за нимъ, какъ за больнымъ, потому что онъ внѣ себя... Это даже всѣ знаютъ. А какія униженія выноситъ онъ отъ этой игры—это тоже всѣ знаютъ. Каково краснѣть за человѣка, которому мы ввѣряемъ нашу судьбу! Какъ идти подъ-руку съ такимъ человѣкомъ?.. Я сегодня насмотрѣлась и наплакалась. Еслибъ было возможно, я бы не уѣхала отъ этой несчастной женщины: онъ хотя и привыкъ къ моему присутствію, но всетаки удержался бы немного при посторонней...»

— Это ужасное лицо не идеалъ? прервалъ Шабаевъ, улыбаясь.

— То есть какъ идеалъ? спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— Я хотѣлъ сказать миѳъ, созданный воображеніемъ чувствительной молодой дѣвушки, которую испугала семейная сцена, отвѣчалъ Шабаевъ, нѣсколько сконфузясь.

— На свѣтѣ бываютъ всякіе люди, сказалъ Иванъ Ильичъ. — Я зналъ Вересина, онъ былъ еще хуже.

— Но ты его мало зналъ, продолжалъ Алексѣй Петровичъ: ты не видѣлъ развязки этой комедіи. Жена его была давно и опасно больна; лечиться было некогда, какъ она говорила Наташѣ; кажется, она просто не хотѣла лечиться. Мужъ долженъ былъ замѣтить болѣзнь, когда ее замѣчали посторонніе, но... не замѣчалъ. Бѣдная Вересина протанцовала зиму, къ веснѣ слегла, а въ день разлива рѣки умерла. Мнѣ этотъ день памятенъ. Бабушка поручила мнѣ Наташу, и я не зналъ, какъ увезти ее изъ дома Вересиныхъ. Когда она немного успокоилсь послѣ потери пріятельницы, мы стали толковать съ ней по обыкновенію. — «Знаете что», сказала она: «меня тронуло поведеніе Вересина въ это послѣднее время». Онъ былъ точно потерянный; ухаживалъ за женою; я знаю, что онъ нѣсколько разъ просилъ у нея прощенія». Я сказалъ, что не люблю этихъ нервическихъ раскаяній, которыя доказываютъ не доброту сердца, а мелкую трусость и какое-то желаніе человѣка успокоить самого себя мыслью, что будто бы онъ исполнилъ свой долгъ до конца, хотя при концѣ. Мои возраженія ей не понравились.— «Будьте сами добрѣе, признайте въ другихъ доброе чувство», повторяла она. Она была огорчена; мнѣ не хотѣлось съ ней спорить. Вересинъ сталъ ѣздить чаще къ бабушкѣ, держался очень прилично-печально и благодарилъ Наташу за ея участіе къ нему и дружбу къ своему «бѣдному, незабвенному другу». Я терпѣть не могу этого выраженія, прямо изъ эпитафій, но уже не замѣчалъ этого Наташѣ. Кто не умѣлъ чувствовать, съ того нечего спрашивать, чтобъ онъ умѣлъ говорить. Не знаю какъ, должно быть, говоря о покойницѣ, онъ успѣвалъ растрогивать Наташу до слезъ. Она сказала мнѣ однажды: «Вы напрасно говорили, что позднее раскаяніе не надежно: Вересинъ очень исправился».— «Милая моя», отвѣчалъ я: —«съ кѣмъ же ему быть дурнымъ? больше мучить некого; а что дѣлается въ его домѣ — теперь тебѣ неизвѣстно».—«Онъ не играетъ».—«Да, это успѣхъ». Въ самомъ дѣлѣ, подъ предлогомъ печали и траура, онъ пересталъ ѣздить въ клубъ, а на лѣто уѣхалъ къ себѣ въ деревню. Лѣтомъ мы всѣ разъѣхались, а я воротился въ городъ только въ половинѣ зимы. Наташа отпраздновала свое совершеннолѣтіе и была хороша попрежнему, но я скоро замѣтилъ, что ее занимаетъ что-то особенное. Я не сталъ спрашивать и не сталъ наблюдать за нею: я былъ увѣренъ, что она сама мнѣ все скажетъ. Это такъ и случилось. Въ одинъ день она прислала за мною, и послѣ первыхъ ласковыхъ словъ, какъ всегда, сказала мнѣ: «Я иду замужъ». — «Съ Богомъ; стало быть, любишь?» — «Нѣтъ, не люблю; слишкомъ много сказать, что я люблю». — «Какъ же это? за кого же ты идешь?»—«За Вересина». Вы понимаете, что я обомлѣлъ. «Наташа, опомнись! ты сама знаешь, что это за человѣкъ; ты лучше всѣхъ его знаешь; ты видѣла жизнь его жены!» — «Знаю. Но какъ же я откажу ему? онъ сватается. Онъ говоритъ, что полюбилъ меня давно...» —

«Еще при жизни жены? но она была не хуже тебя, Наташа». — «Можетъ быть» (это ей какъ будто не понравилось) — «можетъ быть; но вкусы бываютъ странны...» — «Все равно; вѣдь онъ тебѣ не милъ?»—«Столько же, сколько и другіе».—«Но другіе всѣ лучше его».—«Кто его знаетъ? Посмотрѣть — и онъ недуренъ». Я немного вспылилъ: мнѣ было досадно, горько, обидно за нее; я такъ любилъ эту дѣвочку, такъ на нее любовался!.. «Наташа», сказалъ я ей: «ты молода, жизнь вся впереди, не порти ее безразсудно: ты мало знаешь людей, но хуже этого человѣка ты не знаешь. За что же именно его ты выбираешь господиномъ себѣ на всю жизнь? Ты будешь краснѣть за этого мужа...» — «Онъ не заставитъ меня краснѣть».—«А прошедшее его?»—«Прошедшее прошло».—«Ты хороша, а онъ ревнивъ».—«Онъ знаетъ, что я не мечтательна и не кокетка».—«Онъ золъ».— «Перемѣнится изъ любви ко мнѣ». — «Но онъ скупъ, Наташа, онъ измучитъ тебя мелочами. Вспомни, что ты выросла на своей волѣ».—«У меня есть свое состояніе...» — «Но ты говорила, что отдашь любимому человѣку».—Да, любимому; а я не люблю Вересина».—«Для чего-жъ ты идешь за него?» — «Онъ ѣздитъ всякій день; въ городѣ начали говорить, что онъ влюбленъ, а онъ посватался...» Она меня измучила. Двѣ недѣли всякій день мы повторяли этотъ разговоръ; кончилось тѣмъ, что она вышла за Вересина.

— Неужели вышла? вскричалъ Иванъ Ильичъ.

— Ты не зналъ еще? Вышла и заставила его переѣхать въ Петербургъ и поступить на службу для того, чтобъ онъ былъ занятъ цѣлый день.

— Какъ живутъ они?

— Наташа рѣшительная женщина кажется, онъ ее слушается.

— Во всемъ?

— Ты много захотѣлъ. Въ чемъ нибудь— и того довольно.

— Видите ли, живутъ; стало быть, можно жить, сказала гостья. — А поступокъ этой молодой дамы нисколько не безразсуденъ, какъ вы хотѣли его представить.

— Безразсуденъ, безуменъ! вскричалъ Алексѣй Петровичъ:—она измучила своихъ друзей, измучила себя; она заставляетъ себя притворяться; она обманываетъ, чтобъ поставить на своемъ; она уступаетъ въ томъ, что выводитъ ее изъ себя; она ежеминутно наготовѣ къ печали, къ непріятности, къ ссорѣ, къ подозрѣніямъ; она презираетъ, она негодуетъ, она хитритъ, она несчастна... она убила все лучшее въ своемъ сердцѣ, а стоитъ ли она сожалѣнія? Я любилъ ее, какъ дочь, а всетаки говорю: нѣтъ, не стоитъ!..

— Вотъ вамъ положительное несчастье! вы разсказывали о мечтательномъ, прибавилъ онъ чрезъ минуту, обращаясь къ Шабаеву.

Никто изъ насъ не отвѣчалъ ему.

— Всякая женщина, выходя замужъ, должна готовиться на непріятности, сказала гостья важно и внятно, въ видѣ заключенія.

Ее оставили при этомъ заключеніи; разговоръ вдругъ прекратился. Алексѣй Петровичъ зажегъ сигару и ушелъ, Иванъ Ильичъ вслѣдъ за нимъ. Я всталъ проститься, между тѣмъ какъ Lydie говорила Шабаеву:

— C'est affreux d'avoir un méchant mari? oh, que j'ai peur!

Я вышелъ и дожидался на крыльцѣ моихъ саней; это продолжалось довольно долго, такъ что мать и дочь успѣли тоже проститься и сходили съ лѣстницы. Онѣ говорили громко.

— Я не знала, что у него есть что нибудь, сказала мать.—Четыреста?

— Нѣтъ, триста, отвѣчала Lydie.

— Мнѣ послышалось четыреста душъ... Ты сказала ему, чтобъ онъ пріѣхалъ завтра?

Въ эту минуту подали мои сани, и я уѣхалъ.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРІЯ.

ПОВѢСТЬ.

1855 г.

I.

День склонялся къ вечеру, чему очень радовались деревенскіе жители, потому что этотъ іюньскій день былъ невыносимо жарокъ.

Въ небольшой залѣ небольшаго господскаго дома села Кружкова собралось общество, занятое очень пріятно. Двѣ молодыя дѣвушки перебирали съ большаго лотка клубнику и методически разсыпали ее на тарелки; имъ помогали, или, вѣрнѣе, мѣшали трое маленькихъ дѣтей, рѣзвыхъ, шумливыхъ, которыя то вспрыгивали на стулья, то усаживались на полу и вообще вертѣлись столько, что, казалось, ихъ въ комнатѣ больше, нежели сколько было въ самомъ дѣлѣ. Пожилая дама, хозяйка дома и мать этой семьи, сидѣла у открытаго окна и наблюдала, какъ въ цвѣтникѣ, подъ тѣнью акацій, старая ключница варила варенье на жаровнѣ, въ которой искрились и трещали уголья. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, маленькая дѣвочка, присѣвъ на дорожкѣ, толкла сахаръ. Обстановку сцены составляли тарелки, стаканы, графины съ водою, миски со льдомъ и съ вареньемъ. Хозяйственное дѣло было въ самомъ разгарѣ. Оно дѣлалось очень весело.

— Маменька, возьмите отъ насъ Петрушу! сказала одна изъ дѣвушекъ, хорошенькая брюнетка съ яркими глазками и полными ручками:—онъ непремѣнно убьется; посмотрите, какъ онъ шалитъ.

Мальчикъ, о которомъ говорили, исполнялъ въ эту минуту удивительную эквилибристическую штуку, упираясь кончиками ногъ на стулъ, а локтями на столъ. Мать оглянулась и ахнула.

— Сойди скорѣе! сойди сейчасъ! вскричала она, испугавшись и вставъ съ мѣста:—ну, можно ли это?...

— Матушка, Катерина Петровна, отозвалась изъ цвѣтника ключница (она же и няня), услыша грозу, поднимавшуюся на ея любимца:—отпустите его сюда, ко мнѣ. Дитя рѣзвится, извѣстно, оттого, что въ комнатѣ ему жарко.

Эти слова, хотя нисколько не забавныя, возбудили общій смѣхъ. Когда людямъ весело и нѣтъ заботы, они всему смѣются.

— Кажется, наконецъ и васъ разбудили? сказала дѣвушка, обращаясь къ молодому человѣку, который сидѣлъ въ углу залы, въ тѣни, и закрывался книгою.

— Какъ разбудили? спросилъ онъ, вставая и подходя къ ней.

— Конечно, хотя оно и не совсѣмъ учтиво, а признайтесь, что жаръ и наша работа навели на васъ сонъ.

— Вы все нападаете на меня, Ольга Григорьевна. Я, право, читалъ.

— Полноте! возразила она, разсмѣявшись:—была ли возможность читать? Мы знаемъ, что вы человѣкъ серьезный и, право, не потеряемъ къ вамъ уваженія, если вы признаетесь, что не могли... отрѣшиться... Такъ это называется, Настенька?

— Такъ, отвѣчала ея подруга.

— Что вы не могли отрѣшиться отъ варенья, отъ нашего смѣха, отъ желанія заснуть—для вашего ученаго чтенія...

— Это не ученое чтеніе, возразилъ онъ, показывая ей книгу.

— Стихи... Такъ тѣмъ простительнѣе. Я думаю, самъ ихъ авторъ понималъ, что не всегда можно ими заниматься. Что, у великихъ людей, бывали ли прозаическія минуты жизни, напримѣръ, какъ у насъ теперь?

— Какъ не бывать!

— Передайте, пожалуйста, это блюдо нянѣ, въ окошко; не разсыпьте ягодъ... А почему это называется прозой, Василій Дмитричъ?

— Почему... Потому что это не поэзія, отвѣчалъ онъ.

— Но вѣдь поэзія—счастье; а если мы счастливы прозой...

— Что вамъ вздумалось философствовать сегодня? прервалъ онъ:—вотъ фантазія!

— Чтобъ доставить вамъ удовольствіе, отвѣчала она, смѣясь:—чтобъ вы не сказали, что мы погрязли въ прозѣ, чтобъ вамъ не было слишкомъ трудно перейти къ житейскому отъ всѣхъ вашихъ восторговъ. (Она указала на книгу.) Довольны ли вы?

— Доволенъ... То есть, я хотѣлъ сказать: довольно.

— Я сама то же думала, отвѣчала Ольга, продолжая смѣяться.—Садитесь здѣсь и помогите намъ скорѣе кончить, мы устали.

Молодой человѣкъ сѣлъ и принялъ дѣятельное участіе въ работѣ.

По всему было замѣтно, что онъ и дѣвушки были давно знакомы: они не трудились занимать другъ друга. Въ деревнѣ, между близкими сосѣдями, недолго завязаться короткому знакомству, если люди рѣшатся забыть претензіи и свое маленькое самолюбіе, этотъ вѣчный источникъ принужденія и скуки. Ольга и Настенька не были родня другъ другу. Настенька была сирота и училась въ какомъ-то заведеніи, изъ котораго прямо поступила въ гувернантки въ эту семью. Она занималась съ двумя маленькими сестрами Ольги, или, вѣрнѣе, сама стала ея сестрой—такъ полюбили онѣ другъ друга. Мать Ольги, въ свою очередь, очень привязалась къ сиротѣ и говорила, что отпуститъ ее отъ себя только въ домъ къ хорошему человѣку, къ мужу, котораго она ей найдетъ и выберетъ, какъ бы выбирала для родной дочери. Состояніе Катерины Петровны было не велико, но Ольга, а съ ней вмѣстѣ и ея подруга, жили весело, какъ всегда живется людямъ, требующимъ отъ жизни слишкомъ затѣйливаго веселья. Среди тихаго деревенскаго быта всякій маленькій праздникъ становится эпохой; самый простой нарядъ цѣнится дорого. То и другое не всегда бываетъ хорошо, за то приноситъ удовольствіе, которое рѣдко доставляютъ блестящіе балы и роскошные наряды тамъ, гдѣ къ нимъ уже привыкли. Въ глуши впечатлѣнія принимаются полнѣе, потому что случаются рѣже—истина не новая; но вѣдь всѣ истины не новы...

Ольга была настоящая деревенская дѣвушка по своей простотѣ и впечатлительности. Веселый характеръ сохранилъ ее отъ жеманства, доброе сердце—отъ страсти къ пересудамъ. Въ ней была какая-то рѣшительность, которая не давала ей заниматься мелочами, а здравый смыслъ, даже болѣе, нежели врожденная разборчивость женщины, не допускалъ ее быть неизящной и привязываться къ неизящному. Ея образованіе было не велико, но она понимала вѣрно и любила то, что знала, хотя любила безъ экзальтаціи. Въ ней нашлось мужество, рѣдкое въ восьмнадцатилѣтней дѣвушкѣ, мужество учиться у своей подруги, заниматься какъ дитяти, между тѣмъ какъ хотѣлось бы разговаривать, мечтать, смѣяться, какъ взрослой. Все, что она дѣлала, дѣлалось въ самомъ строгомъ порядкѣ; она оставляла свои занятія, даже тѣ, которыя любила, для другихъ занятій, даже нелюбимыхъ, если это было нужно, иногда, просто, если приходило время. Она легко дѣлила свою жизнь на жизнь ума, чувства и жизнь положительную, такъ легко, что, казалось, для нея не было скучныхъ занятій. Можно было бы сказать, не зная ее коротко, что Ольга—существо хуже нежели апатическое, существо грубое. Есть люди, готовые назвать спокойствіе безчувственностью, люди, которые не вѣрятъ, что другимъ больно, если эти другіе не кричатъ. Эти люди не простили бы Ольгѣ ея ровной веселости, предположивъ недостатокъ пониманія тамъ, гдѣ, напротивъ, было слишкомъ много вѣрнаго пониманія жизни: они затруднились бы подать ей совѣтъ, какъ жить въ селѣ Кружковѣ и съ его сосѣдями, вѣчно вздыхая объ идеалахъ и вѣчно тоскуя о человѣчествѣ... Къ счастью Ольги, такихъ строгихъ судей не нашлось между ея знакомыми, и всѣ, знакомые и сосѣди, продолжали отъ души любить милую, веселую дѣвушку, какъ любили ласковую, умную дѣвочку.

Года за два до того времени, съ котораго

начинается этотъ разсказъ, въ числѣ сосѣдей села Кружкова явился пріѣзжій, Василій Дмитріевичъ Хотницкій. Онъ нѣсколько лѣтъ служилъ въ Москвѣ и недавно вышелъ въ отставку; его имѣніе было очень хорошенькое, такъ что Хотницкій считался самымъ выгоднымъ женихомъ въ сосѣдствѣ. Конечно, въ столицѣ, гдѣ жилъ онъ прежде, онъ не удивлялъ и не брался никого удивить своими полутораста душами; но умъ и воспитаніе давали ему право бывать въ порядочномъ обществѣ, которое принимало его охотно. Пріѣхавъ въ деревню, онъ поскучалъ сначала даже о томъ, что почти не нравилось, когда было предъ глазами, еще разъ оправдывая этимъ давно извѣстное замѣчаніе «что прошло, то мило», пожалѣлъ немного, а потомъ, какъ человѣкъ благоразумный, понимая необходимость ужиться тамъ, гдѣ поставила его судьба, сталъ присматриваться ко всему окружавшему, съ искреннимъ желаніемъ найти какъ можно болѣе хорошаго. Это желаніе было нѣсколько себялюбиво: Хотницкій искалъ привязанностей, чтобъ не скучать. Увезенный ребенкомъ въ Москву, гдѣ выросъ, учился и жилъ, онъ зналъ уѣздныхъ жителей только по нравоописательнымъ романамъ, а потому очень удивился и обрадовался, открывъ въ нихъ множество сторонъ, не подмѣченныхъ романистами и выкупающихъ очень многое. Были, конечно, и странности, рѣзкости, иногда даже превышающія вымыселъ романистовъ; но Хотницкій припомнилъ и сравнилъ —и обрадовался еще болѣе, какъ новизнѣ, открытію старой истины, что хорошее и дурное перемѣшаны вездѣ въ равной степени; что, конечно, есть уголки на свѣтѣ, гдѣ можно скучать болѣе, нежели въ другихъ, но что именно въ этихъ уголкахъ слѣдуетъ менѣе негодовать и горячиться. Онъ не усвоилъ себѣ обычаевъ своего уѣзда, не привыкъ къ странностямъ, не потерялъ своихъ изящныхъ привычекъ, не облѣнился: онъ только сталъ болѣе извинять, припоминая, что видалъ вещи, въ своемъ родѣ не менѣе непростительныя. Не выказавъ съ перваго раза скуки, не важничая впослѣдствіи, отыскивая сближенія по душѣ, а не по сходству свѣтскихъ привычекъ, Хотницкій былъ скоро и достаточно вознагражденъ: въ числѣ сосѣдей оригиналовъ было немного, а нашлось нѣсколько хорошихъ людей, которые его полюбили. Къ концу втораго года своего житья-бытья въ деревнѣ, онъ ужъ любилъ деревню; даже ранѣе этого началъ онъ находить удовольствіе бывать въ Кружковѣ и видѣть Ольгу. Знакомство скоро сдѣлалось дружескимъ. Образы свѣтскихъ женщинъ уже довольно сгладились въ его памяти; оригинальность Ольги не казалась рѣзкою среди ея обстановки; напротивъ, въ минуты раздумья, слѣдствія неумѣреннаго чтенія любимыхъ поэтовъ въ жаркій день, Хотницкій находилъ, что къ сельской природѣ идетъ именно такая личность женщины. Въ числѣ его собственныхъ странностей, привезенныхъ изъ общества, или прирожденныхъ (какъ выражалось это общество, не заботясь, что выраженіе было вычурно), была страсть разбирать женскіе характеры. Онъ старался развить эту страсть въ Ольгѣ и употреблялъ на то все свое краснорѣчіе, разбирая необыкновенно тонко и говоря очень много...

На него нашло это расположеніе духа чрезъ нѣсколько минутъ послѣ того, какъ Ольга посадила его за клубнику.

— Была у васъ Прасковья Александровна Залѣская? спросилъ онъ, обращаясь къ хозяйкѣ.

— Зорькинская помѣщица? Нѣтъ, отвѣчала Катерина Петровна.

— Жаль! Какая это прекрасная, милая, образованная женщина... Очень жаль!

— А я очень мало жалѣю, возразила Ольга.

— Почему?

— Она очень богата: какъ она ни мила, ни обходительна, а неловко знакомиться при такой разницѣ состоянія.

— Извините, я не ждалъ этого отъ васъ. И это вы сказали! Если даже эта женщина своимъ удивительнымъ характеромъ, своимъ необыкновеннымъ умомъ заслуживаетъ привязанность безграничную...

— Тѣмъ хуже, прервала Ольга:—я привяжусь къ ней и должна буду съ ней разстаться. Чрезъ полтора мѣсяца, когда она уѣдетъ отсюда, мнѣ останется только горе, а она меня забудетъ.

— Почему вы это думаете?

— Потому что такихъ друзей, какъ я, у нея, должно быть, слишкомъ много: недостанетъ памяти.

— Зачѣмъ же такое самоуниженіе?

— Напротивъ, самая искренняя похвала ей, отголосокъ вашей похвалы.

— Послѣ этого лучшія, самыя возвышенныя созданія никогда не найдутъ друзей.

— Напротивъ; но пусть только эти созданія не сбираютъ ихъ на-лету. На-лету можно принять поклоненіе, комплементъ, а

не дружбу; дружбу надо узнавать ближе: это дѣло серьезное.

— Какое строгое сужденіе! возразилъ Хотницкій.

— Развѣ я не права?

— Положимъ, въ нѣкоторой степени вы, можетъ быть, и правы. Но какая холодность! Какъ мало женственности въ вашемъ рѣзкомъ опредѣленіи!...

— Залѣская здѣсь одна, или съ мужемъ? спросила Катерина Петровна.

— Одна. Мужъ ея живетъ въ тверской деревнѣ. Развѣ вы этого не знаете?

— Нѣтъ. Мы встрѣтились съ нею всего одинъ разъ, въ храмовой праздникъ, у священника, на одну минуту. А вы бываете у нея?

— Да, я познакомился и былъ... Разберемте хоть это, продолжалъ Хотницкій, обращаясь къ Ольгѣ.—Какая милая внимательность: она знала, что обрадуетъ старика, украситъ его праздникъ—и пришла.

— Постойте, Василій Дмитричъ, не сердитесь! вскричала Ольга: — я скажу, какъ вы: «разберемъ». Тонкости, такъ тонкости! Желала ли она обрадовать, или была увѣрена, что обрадуетъ?

— Ахъ! для чего же привязываться, чтобъ найти дурное?

— Вы привязываетесь же, чтобъ найти хорошее? Будьте справедливы.

— Вы предубѣждены противъ нея.

— Нимало; только я не люблю фразъ. Фразами все можно увеличить и украсить. Скажите то же, только просто, тогда увидите настоящую правду. Попробуйте придавать поменьше важности пустымъ вещамъ— увидите, что будетъ лучше.

— То есть, ничего не увидимъ отъ привычки не смотрѣть — ни хорошаго, ни дурного. Вы сегодня въ духѣ философствовать и противорѣчить.

— Вы знаете, я не люблю преувеличеній, а философствовать вы сами меня пріучили, отвѣчала она тихо.

Хотницкій видѣлъ, что огорчилъ ее, но, изъ упрямства, замолчалъ, будто самъ обидѣлся.

— Вы знали Залѣскую въ Москвѣ? спросила Настенька.

— Нѣтъ, въ первый разъ встрѣчаю здѣсь, отвѣчалъ онъ.

— И, вѣроятно, будете часто посѣщать ее? продолжала Настенька.

Хотницкій взглянулъ на Ольгу, и ему стало какъ будто совѣстно. У него было доброе сердце. Онъ вспомнилъ, что знакомство съ нею доставило ему самыя пріятныя минуты въ его деревенской жизни, и что теперь выказать предъ деревенской дѣвушкой, что онъ слишкомъ обрадовался этой свѣтской встрѣчѣ, значило бы огорчить эту дѣвушку, даже обидѣть. Онъ не былъ мелоченъ, не отрекался отъ пріязни изъ ложнаго стыда, и его почти испугала мысль, что его отвлеченныя разсужденія о женщинахъ вообще могутъ быть приняты за положительную неучтивость; поэтому онъ поспѣшилъ поправиться.

— Не знаю, часто ли я буду ее видѣть, отвѣчалъ онъ, обращаясь къ Настенькѣ.— Она пріѣхала сюда, какъ говоритъ, «отдыхать въ уединеніи»: значитъ, лишній визитъ обезпокоитъ ее. Я самъ, какъ вы знаете, такъ распредѣлилъ свое время, что буду посвящать ей только лишнее, если найдется...

— Послушайте, вскричала Ольга:—говорите сколько хотите, что я спорю, противорѣчу — все, что вамъ угодно, но я не могу не сказать: вы сами себѣ противорѣчите. «Прекрасная, очаровательная женщина», а вы отдадите ей только лишній часъ, если онъ у васъ найдется!..

— Я не противорѣчу себѣ.

— Такъ для чего же фразы? Почему вы не сказали просто, прямо: «я буду къ ней ѣздить часто, но все-таки не забуду васъ». Вы это думали?

— Конечно, это, отвѣтилъ немного затрудненный Хотницкій: — но, согласитесь, это ужъ такъ прямо...

— Вы думаете, ваша запутанная отговорка... пріятнѣе?

— Я ничего не думаю, вскричалъ онъ:— я знаю что вы заставляете меня во всемъ соглашаться съ вами.

— Это всего лучше, сказала Ольга. — Согласитесь ли вы вотъ на какой уговоръ: ни слова больше объ отвлеченностяхъ на нынѣшній вечеръ? и идемте въ поле!

— Съ удовольствіемъ.

— Маменька, милая, позвольте все это оставить; кончайте безъ насъ; вечеръ отличный, жаль его пропустить. Дѣти! сбирайтесь! Пойдемъ, Настенька...

Въ залѣ сдѣлалось еще шумнѣе. Хотя прогулка въ полѣ была не рѣдкость, но дѣти изъявляли свой восторгъ, бросаясь въ объятія другъ другу, старшей сестрѣ, наставницѣ, матери, гостю. Няня оставила кипѣвшее варенье на жаровнѣ и побѣжала за лепешками для Петруши, находя, что для такого длиннаго путешествія необходимъ за-

пась. Петруша кликнулъ дворняшку, съ которой не могъ разстаться; дѣвочки отыскивали свои платочки, прятали куколъ. Наконецъ Ольга и Настенька, какъ настоящія деревенскія жительницы, не надѣвающія шляпокъ для вечернихъ прогулокъ, накинули на голову кисейныя косынки; Хотницкій спряталъ въ карманъ своего Гюго и взялъ фуражку, и всѣ готовились было проститься, когда Катерина Петровна вскричала, взглянувъ въ окно:

— Погодите: пріѣхалъ кто-то ..

Въ секунду, Петруша былъ уже въ цвѣтникѣ, и на загородкѣ, выходившей во дворъ, а потому яснѣе другихъ могъ видѣть сцену, которая происходила у воротъ...

Готовясь описывать эту сцену, мы принуждены сознаться въ нашемъ затрудненіи. До сихъ поръ этотъ разсказъ касался такихъ незамѣчательныхъ предметовъ, представлялъ людей и бытъ такого мелкаго круга, что, мы чувствуемъ сами, выраженія были негладки, краски неизящны. Должно перемѣнить тонъ, проникнуться всей прелестью, всѣмъ величіемъ свѣтскости и постараться возвыситься до нѣкотораго паѳоса...

У воротъ стоялъ кабріолетъ, запряженный прекрасной сѣрой лошадью. Несмотря на пыль проселочныхъ дорогъ, сбруя и отдѣлка изящнаго экипажа сіяли въ послѣднихъ лучахъ солнца; все смотрѣло дорого и модно, но экипажъ казался еще недостойнымъ той, которая имъ управляла. Это была дама воздушная, стройная, нарядная, хотя роскошь ея наряда скорѣе угадывалась, нежели бросалась въ глаза; только женщины могли бы вполнѣ оцѣнить прелесть складокъ ея блѣднолиловаго платья; только женщины съ перваго взгляда могли бы понять, что ея соломенную шляпку прикрываетъ кружевной вуаль, а не паутина, которая летаетъ на поляхъ въ теплые дни...

Дама была въ затрудненіи: чтобъ сойти съ кабріолета, ей было необходимо, чтобъ кто нибудь подержалъ лошадь. Маленькій крестьянскій мальчикъ, наблюдавшій за нею, прислонясь къ столбу у воротъ и прикрываясь отъ солнца рукавами своей пестрядиной рубашки, спрятался за плетнемъ, едва посѣтительница выразила свою просьбу. Кругомъ больше никого не было. Сѣдой дворецкій, проходившій съ самоваромъ въ кухню, поставилъ на земь свою ношу, приблизился и отважился взять подъ уздцы великолѣпнаго коня, который, въ свою очередь, съ удивленіемъ оглянулъ его.

— Благодарю васъ, мой любезный, сказала гостья, сходя съ колесницы и показывая при этомъ невѣроятно маленькую ножку.

Рѣшительно, это была сильфида; она не прошла, а пролетѣла до крыльца; казалось, трава не мялась подъ ея шагами...

— Маменька, это Залѣская, сказала Ольга, глядя въ окно.

— Ахъ, батюшки! вотъ не въ пору заѣхала! сказала Катерина Петровна, пробираясь между сдвинутыми стульями навстрѣчу гостьѣ.

Хотницкій давно бросилъ свою фуражку.

Прасковья Александровна вошла; между дамами начались привѣтствія. Нечего и говорить, что дѣти убѣжали, произведя новую суматоху. Настенька пошла усмирять ихъ.

— Извините, что для перваго визита я явилась вечеромъ, сказала Прасковья Александровна, пожавъ руки матери и дочери: — но мнѣ хотѣлось начать безъ церемоній. Мсьё Хотницкій мнѣ такъ много говорилъ о васъ...

Нельзя не замѣтить, что существа, необыкновенно милыя, граціозныя, воздушныя, очень много теряютъ въ описаніяхъ: слово такъ опредѣленно! Чтобъ дать понятіе о красотѣ этихъ существъ, необходимо ставить ихъ непремѣнно въ нѣкоторомъ отдаленіи и на нѣкоторой высотѣ, такъ, чтобъ смертные видѣли ихъ только въ туманѣ и слышали ихъ рѣчи не отъ нихъ самихъ, а пересказанныя тѣмъ, кто взялся показывать міру эти диковинки: тогда смертные въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, повѣрятъ, что это диковинки...

Сознаемся еще разъ въ нестерпимо грубой, положительной привычкѣ: мы не можемъ не придвинуть этихъ «идеаловъ» къ свѣту ближе, нежели сколько слѣдуетъ для того, чтобъ они были выгодно освѣщены; мы не можемъ говорить за нихъ, а слушаемъ ихъ собственныя слова; мы не въ состояніи увѣрять, напримѣръ, что они «вздыхали о слезахъ и печали природы», когда они сказали, просто, что накрапываетъ дождикъ. Мы замѣчаемъ, что они пьютъ и ѣдятъ, и смѣемъ не думать, что, дѣлая это, они дѣлаютъ грустную уступку житейской необходимости... Изъ чего слѣдуетъ, что мы должны смиренно и вполнѣ сознаться въ неспособности представить сколько нибудь «воздушный», идеальный образъ: мы не видимъ его.

Теряетъ ли что нибудь истинно прекрас-

ное отъ положительнаго разбора? Намъ кажется, что дневной свѣтъ невыгоденъ только для декорацій и румянъ, и, выразивъ эту довольно неучтивую мысль, осмѣлимся пойти дальше. Мы скажемъ просто, что все, прячащееся отъ разбора—декораціи и румяна; что нѣтъ истины въ словахъ, которыя путаются въ перифразѣ; что нѣтъ истины въ чувствѣ, которое возбуждаетъ само себя словами... Можетъ быть, это рѣзкое убѣжденіе и мѣшаетъ намъ находить привлекательными «идеалы», гдѣ бы ни встрѣчались они: въ книгахъ ли, созданія слишкомъ разгоряченной фантазіи, въ жизни ли, подражанія этимъ образамъ, подражанія болѣе или менѣе удачныя, но всегда слѣдствіе отсутствія истиннаго чувства, слѣдствіе претензіи казаться интереснѣе, слѣдствіе кокетливаго разсчета, который, къ сожалѣнію, не всегда не удается...

Въ самомъ дѣлѣ, какому юношѣ не кружили головы эти мечтательныя, болѣзненно чувствительныя женщины, въ которыхъ томная красота заставляла забывать возрастъ, женщины съ вѣчной загадкой какой-то прошлой любви, съ вѣчнымъ словомъ: «поздно!», которое отталкиваетъ и опять вызываетъ признанія? Кто, уже не юноша, а человѣкъ поживившій и испытанный жизнью, не увлекался любовью и часто восторгомъ къ этимъ созданіямъ непокорнымъ и гордымъ, откровеннымъ въ своихъ недостаткахъ и винахъ, смѣлымъ въ своемъ презрѣніи, къ этимъ немолодымъ женщинамъ, которыя говорили, что «оцѣнили и отдали забвенію все свое прошедшее, что готовы, что могутъ, какъ дѣти, полюбить въ первый разъ?..» Насколько все это бывало истинно? Изъ всѣхъ женщинъ, игравшихъ въ эту игру, многія ли могутъ сказать, что въ самомъ дѣлѣ отдавали ей всю свою душу, что въ самомъ дѣлѣ забывали прошедшее, что разсчитывали только на блаженство минуты, и то не для себя, что, когда проходила эта минута, онѣ сознавали жизнь свою полною и конченною, и считали уже невозможнымъ, недолжнымъ ждать и искать чего нибудь еще впереди?..

Большая часть женщинъ окружаетъ себя романическимъ туманомъ отъ нечего дѣлать, потому что онъ хорошо скрываетъ ихъ настоящую незанимательность и потому что онъ—положеніе. Мечтая, вспоминая, страдая, пренебрегая свѣтомъ, утомясь размышленіемъ, можно цѣлый день сидѣть сложа руки и не заслужить названія лѣнивицы. Отъ долгаго бездѣлья захотѣлось спать — это можно объяснить побѣдой физической природы надъ нравственной; вздумалось чѣмъ нибудь раздражить себя—можно прочесть нѣсколько строкъ изъ полупонимаемаго Байрона и свои нервическія слезы назвать слезами о человѣчествѣ... и такъ далѣе. Къ этому легко привыкнуть и, съ начала обманывая другихъ, впослѣдствіи очень наивно обманывать самихъ себя, вообразивъ себя чѣмъ-то въ самомъ дѣлѣ отличнымъ отъ другихъ. Фразы, вычитанныя сквозь сонъ и заученныя потому, что онѣ взволновали умъ, тоскующій отъ бездѣлья, хотя онъ не сознаетъ этого, а, напротивъ, увѣряетъ себя, что вѣчно занятъ, эти фразы помогаютъ сантиментальнымъ дамамъ сдѣлать опредѣленіе собственнаго ихъ характера. Въ послѣднее время въ этихъ опредѣленіяхъ вошли въ моду слова: «развитіе», «впечатлительность», «познаніе», «сочувствіе»... Фраза всесильна и еще болѣе туманитъ голову тому, кто говоритъ ее, нежели тому, кто ее слушаетъ: слушатель, недовѣрчивый насмѣшникъ, можетъ остаться недоволенъ, но увлеченный ораторъ всегда доволенъ собою. «Воздушныя», восторженныя созданія вѣрятъ себѣ и счастливы; часто онѣ не имѣютъ понятія о томъ, что рѣшаютъ весьма отважно; часто ихъ восторгъ, умиленіе, негодованіе вызваны тоже фразами, или подготовлены разстройствомъ нервовъ; но имъ нѣтъ дѣла до этого: онѣ убѣждены, что онѣ «необыкновенныя женщины».

Мечтательность и восторженность, понятія отвлеченныя, требуютъ очень много положительныхъ удобствъ для своихъ проявленій. Необходимо независимое положеніе, чтобъ никто не смѣлъ удерживать стремленій души за предѣлы того, что свѣтъ называетъ своими условіями; необходимо нѣкоторое значеніе въ этомъ свѣтѣ для того, чтобъ онъ не смѣлъ, по крайней мѣрѣ, явно насмѣхаться; необходимо богатство для того, чтобъ прозаическія подробности не нарушали собою красоты этого поэтическаго міра... Какая огромная разница, напримѣръ, между обаятельной аристократкой, въ изнеможеніи склоняющей чудную головку на бархатную спинку кресла въ своей ложѣ, и между провинціалкой, рыдающей въ галереѣ пятаго яруса! Обѣ онѣ, конечно, видятъ одно и то же, чувствуютъ одно и то же; но одна изъ нихъ очаровательна, другая смѣшна... Такъ по крайней мѣрѣ, думаютъ очень многіе, и для этихъ многихъ очаровательницы никогда не пропустятъ случая порисоваться. Впрочемъ, онѣ привыкли ри-

соваться; эта привычка называется «сознаніемъ красоты, женственностью», особенно «женственностью...» Смыслъ этого слова сдѣлался очень обширенъ; если не ошибаемся, имъ объясняются и извиняются всѣ женскія слабости, причуды, своенравіе и мелочности. Удивительно, какъ женщины не только терпятъ это слово, но еще принимаютъ его за любезность!

Это слово недавно проникло въ глушь села Кружкова, гдѣ Хотницкій краснорѣчиво и неоднократно старался растолковать его Ольгѣ. Онъ былъ молодъ, и хотя успѣлъ нѣсколько узнать свѣтскихъ женщинъ и быть обманутымъ, но еще увлекался и обманывался. Женщины «поэтическія» опаснѣе другихъ тѣмъ, что разнообразнѣе и, кокетничая, такъ трогательно взываютъ къ чувству, такъ разумно говорятъ о высшемъ назначеніи человѣка, такъ благородно протягиваютъ объятія всему міру, что человѣку доброму, умному и благородному почти совѣстно не послушать ихъ, по крайней мѣрѣ хоть одинъ разъ. Хотницкій былъ готовъ слушать и болѣе. Онъ бредилъ «развитыми» женщинами и былъ почти смѣшонъ, когда изображалъ «идеалъ, о которомъ тосковала душа его, который она должна была искать и найти»... Онъ тоже, когда увлекался, довольно проворно нанизывалъ одну фразу за другою.

— Это значитъ, просто, прервала его однажды Ольга: — что вы хотѣли бы жениться на женщинѣ доброй, образованной и безъ претензій.

Хотницкій вспылилъ. Извиняясь, конечно, въ томъ, что говорилъ, онъ не могъ удержаться, чтобъ не высказать, какъ ему ненравится эта привычка называть вещи по имени, отъ чего самыя граціозныя становятся иногда рѣзкими. Онъ мечталъ о новой нимфѣ Эгеріи, о новой Консуэло—а ему ставили предъ глаза помѣщицу, хозяйку въ чепцѣ и съ ключами у пояса!.. Его досада была забавна. Ольга не могла не смѣяться, рискуя разсердить его не шутя; но досада Хотницкаго не была продолжительна, тѣмъ болѣе, что долго не возможно было сердиться на такую милую спорщицу.

Онъ былъ довольнѣе всѣхъ пріѣздомъ Прасковьи Александровны и взглянулъ на Ольгу съ нѣкоторымъ торжествомъ, какъ будто говоря: «вотъ вы увидите совершенство!»

Ольга отвѣчала улыбкой, но покачала головой, какъ будто у нея уже было готово противорѣчіе.

— Извините, сказала гостьѣ Катерина Петровна:—вы насъ застали въ хлопотахъ. Все хозяйственное, все не въ приборѣ...

— Ахъ, какъ это весело — хозяйничать! вскричала съ живостью Прасковья Александровна: — научите меня.

И, шаловливая, какъ дитя, она протѣснилась къ столу.

— Какъ это хорошо! сколько тутъ сладкаго!

— Гдѣ вамъ учиться! на что? сказала Катерина Петровна.—Вотъ, не угодно ли лучше полакомиться, отвѣдать?..

И она поднесла гостьѣ огромную миску еще горячаго варенья и большую ложку.

— Благодарю васъ, сказала Прасковья Александровна въ затрудненіи: — это такъ много... не безпокойтесь...

Она искала чего-то глазами. Катерина Петровна поняла ее и, положивъ этого варенья на блюдечко, едва ли не верхомъ, заставила гостью взять его.

— Пожалуйте въ гостиную, милости просимъ.

— Ахъ, нѣтъ, вы были заняты здѣсь; пожалуйста, для меня не оставляйте вашихъ занятій.

И, утомленная всѣми этими церемоніями, Прасковья Александровна сѣла на стулъ, поданный ей Хотницкимъ.

— Merci, сказала она тихо, немного задыхаясь и поднявъ на него свои большіе, темносѣрые глаза.

Ея бѣглый взглядъ былъ глубокъ и проницателенъ; ему придавали особенное выраженіе необыкновенно длинныя рѣсницы. Ея лицо, худое и продолговатое, оттѣнялось густыми прядями темныхъ волосъ, искусно уложенныхъ около щекъ; оно было нѣжно и матово-блѣдно, той блѣдностью, недоступной для загара, которая служитъ и будетъ вѣчно служить предметомъ удивленія и зависти деревенскихъ жительницъ.

— Мы съ вами очень близкія сосѣдки, сказала она привѣтливо, обращаясь къ Ольгѣ.—Часто ли вы бываете въ Зорькинѣ?

— Это нашъ приходъ, отвѣчала Катерина Петровна.

— Я часто хожу гулять туда, сказала Ольга: — и знаю вашъ садъ, можетъ быть, даже еще лучше, нежели вы сами: вы здѣсь еще такъ недавно...

— И въ первый разъ въ жизни.

— Какъ же вамъ, должно быть, скучно! сказала хозяйка.—Послѣ веселостей, послѣ большого свѣта, одной, въ деревнѣ...

— Я всегда заранѣе знаю, гдѣ мнѣ можетъ быть весело или скучно, возразила Прасковья Александровна:—еслибъ я ждала скуки здѣсь, я бы не пріѣхала.

Эти слова произвели довольно странное и совсѣмъ неожиданное дѣйствіе. Катерина Петровна сконфузилась: ей показалось, что гостья хотѣла дать ей понять, что и безъ нея знаютъ, что дѣлаютъ; напротивъ, Хотницкій пришелъ въ восторгъ: онъ видѣлъ въ этихъ словахъ удивительную энергію, смѣлую волю женщины, которая спокойно и свободно располагаетъ своею жизнью. Если провинціальныя барыни умѣютъ привязаться къ простому слову, чтобъ сдѣлать изъ него сплетню, то поклонники необыкновенныхъ женщинъ, въ свою очередь, не уступаютъ въ изобрѣтательности: они умѣютъ такъ объяснять всякое слово, всякое движеніе своихъ «идеаловъ», какъ идеаламъ часто и самимъ не приходитъ въ голову...

Хотницкому очень хотѣлось воспользоваться случаемъ повернуть разговоръ на отвлеченные вопросы, но ему показалось какъ-то совѣстно и неловко; онъ почти съ досадой замѣтилъ, что ему какъ будто страшно Ольги. Она такъ просто слушала гостью, такъ была занята тѣмъ, что дѣлалось кругомъ, что первая отвлеченность заставила бы ее разсмѣяться — Хотницкій былъ въ этомъ увѣренъ. Онъ зналъ также, что эта спорщица, вѣчно владѣющая собой, тотчасъ же найдетъ, что возразить на его чувствительную фразу, и кто знаетъ, что скажетъ на это Прасковья Александровна?..

Прасковья Александровна говорила въ это время о своемъ паркѣ (который Катерина Петровна упорно продолжала называть англійскимъ садомъ) и обнаруживала необыкновенное сочувствіе къ отвлеченнымъ сторонамъ крестьянскаго быта. Она не сказала ничего особеннаго, и повтореніе ея разговора было бы нестерпимо отъ своей вялости и обыкновенности, но Хотницкій понималъ ее. Женственно-ничего-незнающая, она путала посѣвы съ покосами, и когда Ольга, знающая это дѣло, какъ крестьянскій мальчишка, безъ церемоніи доказала, что она путаетъ, она разсмѣялась, какъ милая дѣвочка, и выслушала объясненіе съ какимъ-то вдохновеніемъ, какъ будто удивляясь познанію Ольги даже въ самомалѣйшихъ мелочахъ...

— Здѣсь какія поля! раздался въ ушахъ Хотницкаго голосъ Катерины Петровны, будто голосъ какой нибудь непріятной птицы: — слава Богу, если есть у кого десятинъ шесть на душу! А вотъ туда, къ степи...

— Степи! повторила гостья, вся оживая.— Помните (она обратилась къ Ольгѣ), помните степи у Гоголя?

И, не затрудняясь, она повторила то энергическое восклицаніе, которымъ Гоголь заключилъ свое описаніе степей.

Хотницкій былъ готовъ упасть передъ ней на колѣни.

— Помните? повторила Прасковья Александровна.

— Мнѣ кажется, описаніе ничего бы не потеряло и безъ этого восклицанія, отвѣчала Ольга.

Можно сказать, что это тупое, безжизненное возраженіе заставило завянуть гостью. Хотницкій взглянулъ на нее почти съ испугомъ. Послѣдній лучъ солнца скрывался въ эту минуту и послѣдній розовый оттѣнокъ сбѣжалъ съ лица прелестной женщины. Грубое слово провинціалки убило ея оживленіе; она какъ будто сжалась и притихла — цвѣтокъ сложилъ лепестки свои...

Была минута молчанія. Настенька, слыша, что тихо, и думая, что гостья уѣхала, съ шумомъ отворила дверь изъ корридора.

— Пойдемте въ поле! вскричала она: — взгляните, что за вечеръ!

— Я не знала, что у васъ еще дочь, сказала Прасковья Александровна, вставая предъ сконфуженной дѣвушкой.

— Это не дочь моя, отвѣчала Катерина Петровна:—она живетъ у насъ, дѣтей учитъ; ужъ года три будетъ, какъ изъ своего заведенія вышла.

Катерина Петровна полагала, что довольно этого объясненія. Она считала Настеньку своею, и потому ей казалось, что никто не можетъ понимать этого иначе; слѣдовательно, разсказывать о своей привязанности къ сиротѣ совершенно излишне и только можетъ какъ нибудь огорчить ее. Настенька, съ своей стороны, такъ сжилась съ этой семьей, что разспросы постороннихъ казались ей странными, а отвѣты Катерины Петровны — совершенно въ порядкѣ вещей. Катерина Петровна забыла представить ее гостьѣ, какъ этого требовало общежитіе; эта забывчивость легко объяснялась привычками деревенской жизни, но Прасковья Александровна была не въ состояніи понять этихъ привычекъ, а отношенія этихъ

лицъ она мало знала; поэтому ее, и безъ того нѣсколько утомленную и разстроенную, грустно поразило отчужденіе молодой дѣвушки, безсемейной пришелицы въ чужомъ домѣ. Она протянула ей обѣ руки и сказала по-французски, что она дѣлала въ первый разъ, деликатно и разборчиво не рѣшившись, до прихода Настеньки, заговорить на иностранномъ языкѣ съ людьми, которыхъ познанія были ей неизвѣстны:

— Милое дитя, такъ вы здѣсь однѣ? Такъ молоды и уже заботитесь о себѣ! Позвольте удивляться вамъ!

Настенька, которая выросла, не знавъ семьи, съ мыслью быть гувернанткой, которая видѣла гувернантками десятки своихъ ровесницъ и подругъ, до сихъ поръ не находила въ этомъ ничего удивителвнаго.

— Надѣюсь, вы будете у меня, продолжала Прасковья Александровна и, перемѣнивъ нарѣчіе, обратилась къ Катеринѣ Петровнѣ: — вы позволите ей бывать у меня?

— Съ большимъ удовольствіемъ; онѣ никогда не разстаются съ Оленькой.

— У меня много книгъ, прекрасный рояль; я немножко рисую, продолжала Прасковья Александровна по-французски Настенькѣ:—если вы лишены всего этого, у меня вы все найдете. Не правда ли, мы будемъ друзьями?

Настенька была очень смущена; она взглянула на Ольгу, которая слушала все, что говорила будто по секрету для нея. Ольга улыбнулась ей, но молчала.

— Не хочу мѣшать вашей прогулкѣ, m-lle Ольга. Я вижу ваше нетерпѣніе, очень понятное: вечеръ такъ хорошъ! Мсьё Хотницкій, вѣроятно, пойдетъ съ вами?

— Можно отправиться въ Зорькино, сказалъ Хотницкій: — если позволите, мы проводимъ васъ.

— О, нѣтъ! благодарю васъ, отвѣчала Прасковья Александровна. — Пѣшкомъ идти я не могу: я устала. У m-lle Ольги есть, вѣроятно, свой проектъ прогулки.

Она распростилась, подавъ всѣмъ руку; Настеньку она тихонько привлекла въ обътія и прошептала:

— Приходите ко мнѣ скорѣе, однѣ...

Затѣмъ она порхнула на крыльцо, вскочила въ кабріолетъ и умчалась.

— Зачѣмъ ты не заговорила съ ней пофранцузски? сказала Настенька Ольгѣ:—мнѣ было такъ неловко.

— Полно; что за вздоръ! Дай мнѣ, наконецъ, поучиться хорошему тону.

— Не правда ли, восхитительное созданіе? сказалъ Хотницкій, проводивъ Залѣскую.

— Несовсѣмъ, возразила Ольга:—во-первыхъ, она могла бы пріѣхать къ намъ, какъ деревенская барыня, постаринному, поутру, и намъ было бы покойнѣе съ церемоніями, нежели безъ церемоній; во-вторыхъ, продолжала она, не обращая вниманія на нетерпѣніе Хотницкаго: — если она не церемонилась, то могла бы снять шляпку и перчатки и не оглядываться, не пачкаетъ ли нашъ полъ ея барежеваго платья... Не знаю, много ли доброты въ этомъ движеніи...

— Въ-третьихъ?... прервалъ Хотницкій, совсѣмъ разсерженный.

— Въ-третьихъ? О, очень много, и даже хуже всего этого!

— Скажите.

— Скажу, но не сегодня. Идемте; скоро стемнѣетъ.

II.

Хотницкій сталъ ѣздить въ Зорькино чаще, нежели предполагалъ, и самъ не зналъ, какъ и почему это случалось. Правда, Прасковья Александровна была чрезвычайно привѣтлива, но не приглашала его никогда; она только давала порученія, которыя было необходимо исполнить и, слѣдовательно, дать отчетъ въ нихъ; она рѣдко оканчивала вечерній разговоръ такъ, чтобъ у молодого человѣка не оставалось желанія продолжать его на другой день; она бывала часто нездорова, и это приводило Хотницкаго въ безпокойство, которое можно было разогнать только навѣстивъ ее; впрочемъ, этого требовала и простая учтивость.

Нѣтъ привычекъ сильнѣе привычки свѣтской жизни: она никогда не изглаживается до конца. Деревенскій житель чрезъ десять лѣтъ жизни въ столицѣ сдѣлается неузнаваемъ и забудетъ свое прошедшее. У свѣтскаго человѣка, десять лѣтъ прожившаго въ глуши, еще сохранится въ образѣ жизни что-то прошлое, и онъ будетъ всегда готовъ обратиться къ нему вполнѣ, опять броситься на все, сколько нибудь напоминающее это прошлое. Исключенія очень рѣдки. Къ сожалѣнію, все это касается только внѣшности, и люди, способные сдѣлаться опять людьми свѣтскими въ привычкахъ, очень спокойно остаются людьми отсталыми въ понятіяхъ.

Хотницкій немного и недолго жилъ свѣтской жизнью, но онъ ее видѣлъ и не испыталъ въ ней мелкихъ разочарованій тще-

славія и самолюбія, этихъ великихъ лекарствъ, которыя обращаютъ фанфароновъ въ домосѣдовъ. Его свѣтская жизнь прошла среди кружка, хотя моднаго и блестящаго, но нѣсколько сантиментальнаго, или, какъ называлъ себя этотъ кружокъ «мыслящаго». Эта жизнь представляла Хотницкому одни пріятныя воспоминанія: они ожили сильнѣе, когда онъ нашелъ повтореніе прошедшаго въ домѣ Прасковьи Александровны. Бѣглый разговоръ, полный оживленія, легко переходящій отъ пустяковъ къ предметамъ, трогающимъ сердце, полный полусловъ, краснорѣчивыхъ недомолвокъ, далекихъ намековъ, разговоръ, въ которомъ каждый собесѣдникъ увѣренъ въ образованности другого (обстоятельство важнѣе, нежели сколько оно кажется), въ которомъ шутка нѣжна и тонка, и умъ возвышается невольно, принужденный каждую минуту искать возвышенныхъ или граціозныхъ образовъ... Хотницкій зналъ эти бесѣды: онъ не разъ учавствовалъ въ нихъ. А когда душой ихъ женщина прекрасная и впечатлительная, вдохновенная и способная вдохновить художника и поэта, тогда что сравнится съ прелестью этихъ длинныхъ вечеровъ у свѣтлаго камина, въ теплой, надушенной комнатѣ, съ опущенными тяжелыми сторами, съ мягкими коврами, съ цвѣтами, которые ярко и нѣжно глядятъ изъ полусвѣта? Обстановка много значитъ для сцены...

Эта обстановка, которую Хотницкій встрѣтилъ опять во всей ея красотѣ, болѣе всего оживила его воспоминанія; переселенецъ поневолѣ въ деревню съ наслажденіемъ увидѣлъ уголокъ, гдѣ была не деревня. Правда, общество все состояло изъ одной женщины, но едва ли даже не лучше, что больше не было никого. Ея умъ, чувство, любезность обращались къ нему одному, сознавая въ немъ «что-то родственное». Нѣтъ надобности прибавлять, что это были собственныя слова Прасковьи Александровны, сказанныя ею въ одинъ прекрасный вечеръ на террасѣ, откуда Хотницкій и она любовались солнечнымъ закатомъ. Правда, въ два года Хотницкій успѣлъ нѣсколько отвыкнуть отъ этой восторженности, но именно потому она напомнилась ему пріятно, какъ что-то знакомое; его самолюбіе затронулось еще пріятнѣе внимательностью свѣтской женщины; онъ съ удовольствіемъ разобралъ, что не достоинъ этой внимательности и, въ заключеніе, упрекнулъ себя въ томъ, что въ глуши допустилъ огрубѣть своимъ понятіямъ. Изъ всего этого слѣдуетъ, что онъ пустился въ фразы болѣе, нежели сколько дѣлали это люди привычные; истолковывалъ всякое движеніе Прасковьи Александровны поэтичнѣе, нежели дѣлаютъ это авторы романовъ, влюбленные въ своихъ героинь, находилъ необыкновенную глубину даже въ ея «здравствуйте» и «прощайте», началъ самъ задумываться надъ всякими пустяками, отъискивая въ нихъ смыслъ и впадая въ противоположную крайность тѣхъ, кто ничего не разбираетъ, ничего не думаетъ... «Человѣкъ умный сталъ дурачиться», сказали бы о немъ люди съ понятіями положительными, знающіе, что у него были въ самомъ дѣлѣ умъ и чувство, которые въ настоящую минута, по странной прихоти, онъ тратилъ на мелочи...

Странно, что Хотницкій не замѣчалъ самъ, какъ было ложно его настроеніе, тогда какъ замѣтить это было очень легко. Ему стоило только поймать себя на томъ, что онъ думалъ заранѣе, о чемъ будетъ размышлять въ теченіе дня съ этой «развитой» женщиной, и что часто не обращалъ вниманія на какой нибудь предметъ, а потомъ спохватывался, нельзя ли найти въ немъ что нибудь необыкновенное? Часто упрямый предметъ долго не поддавался разбору и послѣ такихъ же упрямыхъ стараній доставлялъ малую, весьма малую частичку мысли. И какъ же радовался Хотницкій, если ему это удавалось! какъ спѣшилъ онъ передать Прасковьѣ Александровнѣ свое выстраданное умозрѣніе, нерѣдко очень избитое общее мѣсто и еще чаще непостижимый парадоксъ! Она восклицала: «какъ это граціозно!» или задумывалась, открывъ нѣсколько шире и устремивъ предъ собою свои темносѣрые глаза; отъ напряженнаго чувства по ея лицу разливалась блѣдность, приводившая въ безпокойство Хотницкаго. Тогда эта женщина, терпѣливая и сильная, останавливала его руку, протянутую за флакономъ, и говорила:

— Ничего, прошло... запишите мнѣ то, что вы сказали.

И она подавала Хотницкому книгу въ великолѣпномъ переплетѣ, съ золотой застежкой, запертой на ключъ. Это была книга воспоминаній, impressions, «переплетныхъ мечтаній», и всего болѣе разныхъ выписокъ изъ разныхъ романовъ на разныхъ языкахъ. Все это, говорятъ, было написано въ тяжелыя минуты, хотя почеркъ былъ вездѣ равно красивъ и спокоенъ и во всемъ написанномъ не нашлось бы ни одного слова, смытаго слезами. Были, правда, строки, стра-

ницы зачеркнутыя и перекрещенныя, надписи вкось и въ клѣтку, въ родѣ: «Память прошлаго безумія», «Quel réveil!!!...» и такъ далѣе, но эти отрицанія и обвиненія прошедшаго, очевидно, были сдѣланы такъ же спокойно и обдуманно и отличались отъ текста только цвѣтомъ чернилъ, голубыхъ или розовыхъ. У книги былъ эпиграфъ: «Nessun maggior dolore...» Хотницкій какъ-будто ждалъ его, когда, получивъ ключъ, вѣчно висѣвшій у браслета владѣлицы, открылъ книгу; онъ удивился бы, еслибъ нашелъ что нибудь другое, и—странно! ему не стало смѣшно отъ своей догадки, ему не стало досадно на сантиментальность, которая довела до пошлости эти слова... Далѣе онъ увидѣлъ варьяціи на монологъ Гамлета, среди которыхъ часто поминалось имя какого-то prince Télépkoff—и это также не вызвало у него улыбки. Ему не вошло въ голову, что все это не истинно и какъ-то неудобно вмѣстѣ, что если и допустить эту невинную забаву, то пусть она совершается поскромнѣе, а не бросается всѣмъ въ глаза, на столѣ будуара, своимъ лазуревымъ переплетомъ и таинственнымъ золотымъ замочкомъ. Хотницкій не замѣтилъ претензій; но еслибъ и замѣтилъ, то извинилъ бы ихъ за ту женственную довѣрчивость, съ которой ему отдали эти замѣтки, позволивъ ему самому отцѣпить ключъ отъ браслета. Онъ хотѣлъ было размышлять о дружбѣ и сочувствіи, о жаркомъ, непосредственномъ увлеченіи, которое заставляетъ женщинъ иногда отдавать свои тайны людямъ едва знакомымъ, отдавать потому, что нашла такая минута и сердце готово, должно высказаться... Онъ хотѣлъ завести рѣчь объ этомъ, глядя на эпиграфъ, но та же худая и блѣдная рука, унизанная дорогими кольцами, которую за минуту онъ держалъ въ рукѣ своей, легла предъ нимъ на страницы книги, и дрожащій голосъ произнесъ:

— Прежде нежели вы прочтете, обѣщайтесь сказать мнѣ вашу истинную мысль, хотя бы въ ней было мое осужденіе.

Хотницкій поцѣловалъ ея руку. Онъ не только могъ, онъ долженъ былъ это сдѣлать и по чувству благодарности, и по чувству восторга. Пока онъ читалъ эти Mémoires, переименованныя потомъ въ Confessions, и еще далѣе въ Cofidences, по мѣрѣ того, какъ намѣревались расширить кругъ ихъ читателей, Прасковья Александровна сидѣла у окна, глядя на жаркое голубое небо, на мошекъ, кружившихся надъ жимолостью, цвѣтущей около террасы. Созерцаніе не утомляло ее. Какъ женщина, она должна бы знать, что умъ мужчины не можетъ долго заниматься женской исповѣдью, или, какъ авторъ, могла бы разсчесть время, въ которое можно соскучиться надъ ея произведеніями; несмотря на это, Прасковья Александровна не могла воздержаться отъ горькой улыбки, вызванной горькимъ чувствомъ, когда примѣтила, что Хотницкій началъ перебѣгать глазами сверху внизъ страницы, а потомъ и явно пропускать цѣлыя страницы. Тогда она встала и подошла къ нему, неслышная и легкая, какъ фея.

— Довольно! сказала она, между тѣмъ какъ онъ, изумленный, поднималъ на нее взоръ, въ которомъ видно было что-то похожее на пробужденіе. — Довольно! Вы устали. Въ васъ прошло теплое, задушевное настроеніе, а я—

... Право, этихъ горькихъ строкъ
Неприготовленному взору
Я не рѣшуся показать...

Она заперла книгу. Хотницкій былъ сконфуженъ, какъ школьникъ. Человѣкъ, непотерявшій привычекъ свѣта, а главное, неготовый увлечься, разсердился бы, съигралъ бы ловкую сцену и неучтивостями оправдался бы въ своей неучтивой дремотѣ. Хотницкій сталъ просить прощенія отъ чистаго сердца, увѣрять, умолять, чтобъ вѣрили его участію, и съ этой минуты отдалъ себя во власть необыкновенной женщины.

— Ребенокъ! сказала она.—Неужели вы думаете, что вы меня оскорбили? Сердце, которое такъ много вынесло (трагическое указаніе на книгу), это сердце въ состояніи вынести и больше, нежели невнимательность отъ невольной, чисто физической усталости. Я васъ простила. Оставьте меня; я утомлена и разбита...

Она ушла въ свою комнату и заперлась. Хотницкій уѣхалъ.

Онъ не осмѣлился показаться ей на другой день, и самъ не зналъ, какъ много этомъ выигралъ. Прасковья Александровна вообразила, что дала ему слишкомъ сильный урокъ, разсердила его, оттолкнула. Ей стало жаль. Она говорила себѣ, подвергая всѣ обстоятельства строгому разбору, что ей жаль Хотницкаго за то, что онъ мелоченъ, какъ другіе, но внутренно ей было жаль себя, жаль занятія, жаль поклонника, досадно, скучно, пусто. Это всегда бываетъ такъ, но женщины никогда въ этомъ не сознаются, и тѣмъ меньше истины въ ихъ словахъ, чѣмъ громче слова, которыя говорятъ онѣ. Доказать это очень легко. Напримѣръ, въ настоящую

минуту Прасковья Александровна объясняла свою грусть тѣмъ, что она «еще разъ ошиблась въ человѣкѣ, что еще разъ нѣжныя чувства души ея были измяты грубымъ прикосновеніемъ положительности»; ей было жаль своей напрасно растраченной симпатіи... Все это было придумано такъ легко, отъ привычки часто такъ придумывать, что Прасковья Александровна принялась плакать. Еще чрезъ нѣсколько часовъ «анализа» она увѣрила себя, что любитъ Хотницкаго; потомъ разобрала, что не можетъ больше любить, что въ ея жизни уже все извѣдано; чрезъ нѣсколько минутъ въ этомъ послѣднемъ заключеніи она прозрѣла самообманъ, вообразила опять, что любитъ, что въ ея сердцѣ происходитъ борьба, для которой неминуемой развязкой должно быть самоотверженіе и самопожертвованіе...

И все это изъ того, что молодой человѣкъ, поотвыкнувшій отъ фразъ, при всемъ искреннемъ желаніи, не могъ удержаться и вздремнулъ за ея мемуарами!.. Впрочемъ, женщины волнуются отъ причинъ еще меньше этой; а страсть воображать себя героинями доводитъ еще и не до такихъ умозаключеній. Такъ какъ большею частью эти женщины — женщины свѣтскія, то въ лѣта первой молодости, первое чувство, въ самомъ дѣлѣ родившееся въ ихъ сердцѣ, родится всегда подъ вліяніемъ романа, прочитаннаго украдкой. Романы помогаютъ развиться этому чувству. Романы, которые читаются украдкой, всегда ложны; читаемые езъ объясненій, безъ руководителей, они онимаются еще превратнѣе: очень ясно, что они могутъ только ложно развить чувство; что они не научатъ его искренности, не направятъ его увлеченій; они, вопервыхъ, выучатъ его рисоваться, а затѣмъ все пойдетъ навыворотъ, неестественно, себялюбиво, капризно. Всякое странное, часто дурное движеніе сердца объясняется примѣрами изъ этихъ романовъ и оправдывается фразами тѣхъ же романовъ. Обстановка свѣтской жизни такъ разнообразна, жизнь такъ хлопотлива, что серьезное чувство въ ней встрѣчается рѣдко. Рѣзкія драмы, которыя разъигрываются время отъ времени — слѣдствіе не чувства, а раздраженія, не прочныхъ, терпѣливыхъ и самоотверженныхъ привязанностей, а порывовъ, подготовленныхъ скукой отъ нечего дѣлать экзальтированной жаждой ощущеній, какимъ-то мелкимъ любопытствомъ и, чаще всего, романическимъ желаніемъ порисоваться и, по привычкѣ, составлять фразы, составить фразу изъ своей жизни... Маленькое чувство взбивается до послѣдней возможности, маленькое образованіе становится на ходули, нервы вступаютъ въ права свои—и является «необыкновенная женщина, безконечно симпатичная, трезво развитая и вполнѣ женственная...» Наружно все это такъ красиво, нарядно, нѣжно, закутано въ такія дорогія кружева и окружено такими благоуханными цвѣтами, что здравый смыслъ является настоящимъ провинціаломъ съ отсталыми манерами, и очень трудно имѣть къ нему довѣріе...

Хотницкій не скоро рѣшился навѣстить Прасковью Александровну послѣ своей странной размолвки. Этими днями онъ поѣхалъ въ Кружково. Ему казалось неловко ѣхать и туда, онъ самъ не зналъ почему; ему казалось, что и Ольга должна сердиться на него за что-то. Ольга встрѣтила его привѣтливо попрежнему, и это было ему несовсѣмъ по сердцу. Должно быть, заразившись разборчивостью, Хотницкій досадовалъ, что его шестидневное отсутствіе не произвело сильнаго впечатлѣнія. Обѣ дѣвушки прилежно шили что-то изъ бѣлой кисеи; предъ Настенькой, среди работы, лежала раскрытая, маленькая, тоненькая книжка. Все это показалось Хотницкому довольно граціозно, несмотря на воспоминаніе о Прасковьѣ Александровнѣ. Къ тому, же даже увлекаясь ею, онъ ужасно боялся показаться фатомъ, и потому былъ попрежнему оживленъ и разговорчивъ.

— Что вы дѣлаете такое? спросилъ онъ.

— Шьемъ себѣ обновки, отвѣчала Настенька.

— А это что за книга?

— О, цѣлая исторія! сказала Ольга. — Это — любезность madame Залѣской... Настенька, не сердись, моя милая... Видите ли Василій Дмитричъ, m-me Залѣская прислала ей третьяго дня вотъ этотъ романъ, при запискѣ... Однако, что-жъ я разсказываю? Извини меня, Настенька.

— Извинять нечего, отвѣчала Настенька. — Записка въ самомъ дѣлѣ довольно странная. Madame Залѣская почему-то вообразила, что мнѣ очень скучно, и желаетъ, чтобъ это чтеніе развлекало меня въ моемъ одиночествѣ...

— «Чтобъ оно отвѣтило на призывъ души твоей», подсказала Ольга, смѣясь.

— И вотъ все такія вычурности, продолжала Настенька, немного покраснѣвъ. — Я такъ удивилась этой присылкѣ...

— Это только доказательство ея внима-

тельности, ея участія къ вамъ, сказалъ Хотницкій.

— Участія? повторила Ольга, взглянувъ на него серьезно и, какъ будто не желая, чтобъ Настенька это замѣтила, продолжала, смѣясь: — въ самомъ дѣлѣ, Прасковья Александровна доказала намъ свою внимательность; невозможно доставить больше удовольствія, сколько доставляетъ намъ эта книга.

— Въ самомъ дѣлѣ? спросилъ Хотницкій, чему-то обрадовавшись.

— Въ самомъ дѣлѣ. Мы хохочемъ надъ нёю третій день, сказала Настенька.

— Несообразности, сантиментальности, фразы—все, что угодно! прибавила Ольга.— Это для тебя, затворница: «познакомься съ жизнью хотя издали!»

Обѣ дѣвушки расхохотались, какъ дѣти.

— Это опять цитата изъ записки m-me Залѣской? спросилъ Хотницкій, чѣмъ-то обидясь.

— Цитата изъ записки m-me Залѣской, отвѣчала Ольга, смѣясь и церемонно кланяясь.

— А вы были у нея?

— Нѣтъ еще.

— Цѣлую недѣлю послѣ ея визита?

— Что-жъ дѣлать! сказала Ольга. — Маменька не можетъ идти пѣшкомъ, а лошадей не было: всѣ были заняты на сѣнокосѣ; завтра отправимся.

— Почему-жъ не сегодня?

— Я какъ-то привыкла все говорить вамъ. Намъ хотѣлось бы нарядиться, а наши платья, какъ видите, еще не готовы. M-me Залѣская одѣвается такъ изящно, домъ ея такъ хорошо убранъ: не хотѣлось бы, хотя на первый разъ, слишкомъ выдаваться среди всей этой роскоши.

— Вы не разсердитесь за правду? спросилъ Хотницкій, выслушавъ это признаніе, сдѣланное съ самымъ милымъ смущеніемъ.

— Никогда.

— Это мелочность.

Ольга покраснѣла.

— Не сердитесь, въ свою очередь отвѣчала она послѣ минутнаго молчанія.—Въ другое время, въ другомъ расположеніи духа... можетъ быть, вы назвали бы это чувствомъ изящнаго, граціознымъ желаніемъ нравиться.

— Почему же въ другое время въ другомъ расположеніи духа? Что вы хотите этимъ сказать?

— Ничего, только это; я всегда договариваю все, что думаю. Ваше расположеніе духа измѣнчиво; это я замѣчала не разъ, слѣдовательно, и ваши мнѣнія измѣнчивы. Сегодня вы строги, завтра все измѣнится... даже извините и сегодня, если подумаете, какъ натурально то, въ чемъ я вамъ призналась.

Хотницкій рѣшилъ въ глубинѣ души своей, что ему никогда не переспорить этой дѣвушки. Въ самыхъ ея рѣзкостяхъ была какая-то доброта, которая обезоруживала даже болѣе, нежели обезоруживаетъ покорность. Онъ сознался, что былъ неправъ въ эту минуту, что было бы жестото требовать отъ молодой и хорошенькой дѣвушки равнодушія къ наряду и своей собственной красотѣ; нѣсколько восторгаясь, онъ доешлъ до заключенія, что эта черта истинно-женственная, и сказалъ это Ольгѣ, извиняясь въ своей первой выходкѣ. Ольга разсмѣялась. Хотницкій сталъ раздумывать. Ему вообразился домъ Прасковьи Александровны, ея мягкая мебель и другія затѣи, и среди всего этого деревенская барышня въ бѣленькомъ платьицѣ собственнаго издѣлія. Хотницкому стало совѣстно, досадно на себя за эту глупую мысль, но она его не оставляла. Онъ рѣшился не видать завтра этого визита и еще день не видать Прасковьи Александровны.

— Сдѣлайте мнѣ удовольствіе, сказала Ольга, прерывая молчаніе и раздумье Хотницкаго: — непремѣнно сдѣлайте: пріѣзжайте завтра въ Зорькино.

— Зачѣмъ?

— Мнѣ будетъ веселѣе тамъ, если будетъ знакомое лицо.

Хотницкій подумалъ, что отговариваться странно, и обѣщалъ, полагая не сдержать слово; но на другой день ему стало стыдно своей мелочности, и онъ поѣхалъ въ Зорькино. На дворѣ онъ увидѣлъ старомодную коляску Катерины Петровны, ту самую коляску, которую онъ не разъ хвалилъ за ея прочность; теперь онъ пожалѣлъ, зачѣмъ она дожила до этого визита. Въ передней, съ рѣзной дубовой мебелью и зеркалами, старый дворецкій, превращенный въ valet-de-pied, радостно раскланялся съ Хотницкимъ и объявилъ, что здѣсь Катерина Петровна съ барышнями. Проходя залу, Хотницкій услышалъ голосъ Ольги: она чему-то смѣялась. Все это навело на него не совсѣмъ пріятное расположеніе духа. Онъ вошелъ въ маленькую гостиную, гдѣ обыкновенно проводила время Прасковья Александровна, сумрачный и скучный. Прасковья Александровна лежала въ низенькомъ и широкомъ креслѣ, не-

обыкновенно блѣдная и закутанная въ шаль, несмотря на жаркій день; она держала руку Настеньки, сидѣвшей подлѣ нея. Катерина Петровна помѣщалась на диванѣ, довольно принужденно и замѣтно скучая. Одна Ольга была оживлена, какъ всегда, и стоя разсказывала что-то хозяйкѣ; она слегка покраснѣла, увидя Хотницкаго: ей было пріятно, что онъ пріѣхалъ. Прасковья Александровна не вставая протянула ему руку, лихорадочную, полупрозрачную, и прошептала:

— Je suis soute souffrante.

Затѣмъ она опять обратила взоръ на Ольгу, чтобъ показать, что возвращаетъ ея разсказу вниманіе, отвлеченное на минуту приходомъ гостя. Въ деревнѣ не совсѣмъ понимаютъ эту учтивость: тамъ все вниманіе обращается на вновь приходящаго, особенно если онъ замѣчателенъ, какъ Хотницкій; обычай подавать руку, здороваясь, еще не принятъ, и потому Ольга приняла движеніе Прасковьи Александровны не за любезность къ себѣ, а за короткость съ молодымъ человѣкомъ. Ей стало какъ будто неловко, и она поспѣшила сократить свой разсказъ. Прасковья Александровна улыбнулась улыбкой, подобной осеннему солнцу (сравненіе, принятое для этихъ улыбокъ), и сказала Настенькѣ:

— Какой счастливый характеръ у m-lle Ольги! она вѣчно весела.

Было замѣтно, что веселость стоила усилія этой женщинѣ, измученной внутренней борьбою. Хотницкій очень давно не былъ; ожидая его всякій день, Прасковья Александровна настроивала себя на испугъ при его появленіи. Онъ засталъ ее такъ, какъ ей хотѣлось, страдающую, и повѣрилъ, что она страдаетъ. Ей самой хотѣлось того же. Все это была уморительная комедія, которую еслибъ разсказывать чувствительно, можно было бы выдать за истину.

Прасковья Александровна не говорила съ Хотницкимъ. Съ усиліемъ обратилась она къ Катеринѣ Петровнѣ и съ самымъ замѣтнымъ желаніемъ занять ее заговорила о деревнѣ, о хозяйствѣ. Все это не удавалось и выходило неловко. Потомъ она спросила Настеньку, нравится ли ей романъ, который она ей прислала. Этотъ вопросъ былъ сдѣланъ осторожно. Прасковья Александровна боялась, что онъ придется не по понятіямъ другихъ собесѣдницъ. Такъ же осторожно, какъ будто боясь утомить ихъ, спрашивала она Настеньку о музыкѣ и, получивъ въ отвѣтъ, что онѣ занимаются музыкою вмѣстѣ съ Ольгой, казалось, чрезвычайно обрадовалась возможности говорить о чемъ нибудь.

— Вы музыкантша? спросила она Ольгу.

— Только ученица, отвѣчала та.

— По крайней мѣрѣ, находите ли вы наслажденіе въ музыкѣ?

— Только не въ моей собственной, отвѣчала Ольга: — это наслажденіе стоитъ мнѣ такого труда, что я скорѣе устаю, нежели увлекаюсь.

Прасковья Александровна хотѣла еще что-то сказать ей и вдругъ удержалась.

— Пересмотрите ноты на той этажеркѣ, сказала она Настенькѣ:—и возьмите что покажется вамъ занимательно. Я помогу вамъ.

Она встала и увела Настеньку на другой конецъ комнаты.

— Вы очень одиноки, бѣдное дитя? спросила она дѣвушку, закрываясь листами тетрадей отъ глазъ Катерины Петровны.— Неужели у насъ нѣтъ никого родныхъ?

— Никого, отвѣчала Настенька.

— А друзей?.. И вѣчно, съ дѣтства эта жизнь между чужими? Вѣрьте, я понимаю васъ; я поняла васъ съ перваго слова. Развитый умъ, принужденный выносить мелочности этого мелкаго общества, молодое сердце, лишенное привязанностей... У васъ не можетъ быть привязанностей...

— Почему же? возразила Настенька въ смущеніи:—вы ошибаетесь...

— Довѣрчива и нѣжна какъ ребенокъ! прервала Прасковья Александровна, обнявъ ее и бросивъ бѣглый взглядъ на Хотницкаго... Послѣ, послѣ, моя милая, мы увидимся, мы будемъ видѣться каждый день, заговорила она торопливо и съ волненіемъ. — Я старше васъ и опытнѣе; вы узнаете меня вполнѣ... Возьмите все это, прибавила она громко, отдавая Настенькѣ ноты.

Катерина Петровна, наскучавшись довольно, стала прощаться. Прасковья Александровна проводила ихъ до дверей гостиной и сказала Хотницкому, который пошелъ дальше:

— Возвратитесь. Вы останетесь у меня.

Хотницкій замѣтилъ, что обѣ дѣвушки были печальны. Печаль Ольги какъ-то непріятно тронула его за сердце: слѣдуя доброму движенію, онъ пожалъ ей руку, прощаясь, сказалъ, что будетъ у нихъ завтра. Ольга не стала веселѣе отъ этого; она отвѣчала, улыбнувшись: «До завтра еще далеко!» но такъ принужденно, какъ Хотницкій не привыкъ отъ нея слышать Впрочемъ, разбирать ему это было некогда: онъ спѣшилъ возвратиться къ Прасковьѣ Александровнѣ.

Она опять легла въ свое кресло, и когда входилъ Хотницкій, съ нетерпѣніемъ отбросила шитье, которымъ хотѣла-было заняться. Хотницкій поднялъ эту полосу кисеи, на которой, какъ онъ успѣлъ замѣтить, со времени его знакомства съ Прасковьей Александровной прибавилось только два фестона:

— Что съ вами? спросилъ онъ.

— Ничего, усталость, отвѣчала она, смѣясь сквозь слезы. — Я дѣлала глупости этими днями, много купалась, много скакала верхомъ. Для меня излишекъ воздуха такъ же вреденъ, какъ недостатокъ воздуха. Можно сказать, пожалуй, что я экзотическое растеніе.

Она положила голову на спинку кресла и закрыла глаза. Она говорила себѣ, что старалась отдохнуть физически и нравственно не отъ нездоровья, въ которомъ увѣряла молодого человѣка, а отъ всего, что было предъ нею за минуту. Она думала, что душа ея углублялась въ себя, что ея сердце тревожилось присутствіемъ этого человѣка и испытывало мучительное ощущеніе. Все это думалось по привычкѣ объяснить свои фантазіи, а времени нужно немного, чтобъ окончательно романически настроиться. Почувствовавъ себя въ духѣ, Прасковья Александровна вдругъ прервала молчаніе:

— Которую изъ этихъ двухъ дѣвушекъ вы любите?

И въ ея голосѣ, въ ея взглядѣ была сильная рѣшимость и восторженное самоотверженіе, такъ отлично сыгранное, что даже сама Прасковья Александровна не сомнѣвалась, что рѣшительна и самоотверженна въ самомъ дѣлѣ.

Хотницкій смутился. Странный вопросъ, предложенный единственно для эфекта, заставилъ его подумать серьезно. Онъ еще никогда не думалъ о томъ, что такое его знакомство: его дружба съ Ольгой, и особенно въ эту минуту не могъ бы сказать, что влюбленъ въ нее. Привычка не шутить чувствами, иногда доводившая его до фразерства и экзальтаціи, на этотъ разъ осталась тѣмъ, чѣмъ была въ самомъ дѣлѣ: благородствомъ сердца. Онъ отвѣчалъ послѣ нѣкотораго молчанія:

— Я не люблю ни той, ни другой.

— Въ самомъ дѣлѣ? вскричала Прасковья Александровна, засмѣявшись принужденно.—Понимаю: я не такъ спросила васъ. Я бросила вамъ чувство слишкомъ важное, а на свѣтѣ все ограничивается мелочами... Которая изъ нихъ вамъ больше нравится? Такъ ли я спрашиваю теперь? Довольно ли я примѣнила любовь, эту жизнь всего міра, къ нашей обыкновенной жизни?

— Зачѣмъ обвинять обыкновенную жизнь? возразилъ Хотницкій, все еще занятый мыслью, которую вызвалъ ея первый вопросъ.—Эта жизнь хороша и даетъ много...

— Вы довольны тѣмъ, что она даетъ? прервала Прасковья Александровна съ горькой ироніей и прибавила, будто сжалясь надъ нимъ:—впрочемъ, что же? Блаженъ тотъ, кто доволенъ, кого не тревожатъ сны, къ кому не льнутъ воспоминанія, кто не ищетъ, не слушаетъ какихъ-то невѣдомыхъ голосовъ невѣдомаго міра...

Она стремительно встала, провела по лицу своими блѣдными руками и вышла на террасу. Хотницкій не могъ не замѣтить, какъ граціозно заволновались складки ея платья. Чрезъ минуту, она возвратилась и позвонила.

— Осѣдлать намъ лошадей! сказала она вошедшему слугѣ.—Я хочу воздуха, движенія, продолжала она, обращаясь къ Хотницкому.—Ѣдемте въ лѣсъ: тамъ тѣнь, намъ не будетъ жарко.

Не дожидаясь отвѣта, она ушла и пришла переодѣтая. Хотницкій еще не видѣлъ ея таліи во всей красотѣ, такъ, какъ она явилась въ эту минуту, стянутая черной амазонкой, съ свободой и живостью движеній, говорившихъ яснѣе словъ, что этой душѣ хотѣлось на просторъ, на волю. Необыкновенныя женщины позволяютъ себѣ эту живость; предъ другими она выказываетъ ихъ моложе и заставляетъ ихъ самихъ забывать свой возрастъ; синій вуаль, развѣвавшійся за плечами, такъ легко можно вообразить крыльями феи; а если не искать образовъ для сравненій въ заоблачномъ мірѣ, то это простое черное платье такъ напоминаетъ Клару Моубрэй... Сколько поэзіи! и какая необыкновенная память у необыкновенныхъ женщинъ, которыя успѣваютъ все это припомнить, придумать и сообразить въ нѣсколько минутъ, пока дожидаются своихъ осѣдланныхъ лошадей...

Прасковья Александровна стояла на террасѣ, приложивъ къ губамъ золотую рукоятку своего хлыста и сдвинувъ брови съ самымъ дѣтскимъ нетерпѣніемъ. Женщины почему-то воображаютъ, что сдвинутыя брови необходимы при мужской шляпѣ. Прасковья Александровна еще не рѣшилась, которую изъ героинь романа, ѣздившихъ верхомъ, избрать себѣ за образецъ для этой прогулки.

— Я удивляюсь вамъ, сказалъ Хотниц-

кій:—сейчасъ вы были больны, и, казалось, малѣйшій шумъ или волненіе могли совсѣмъ васъ разстроить...

— А теперь я шаловлива какъ дитя и готова скакать сломя голову? Вы правы: это странность. Сознаюсь вамъ въ ней... Я, можетъ быть, никому бы не созналась. Мое сердце вдругъ захотѣло свободы, моей головѣ вдругъ стало необходимо разогнать все, что тяготѣло надъ нею... Понимаете ли вы это чувство?... На коня и впередъ! вскричала она, увидя лошадей, которыхъ подвели имъ.

Хотницкій едва успѣлъ подать ей руку, какъ она уже вскочила на сѣдло и мчалась по вымощенной дорогѣ къ парку. Молодой человѣкъ поспѣшилъ за нею. Ея стройная фигура ярко рисовалась въ свѣтломъ воздухѣ, привлекательная и легкая; въ теплотѣ воздуха, въ скорости ѣзды было что-то одуряющее, отъ чего закружилась голова у Хотницкаго. Догнавъ свою спутницу, онъ усталъ и поблѣднѣлъ.

— Я васъ замучила? спросила Прасковья Александровна, взглянувъ на него.—Вамъ не нравится моя прихоть?

— Не знаю... отвѣчалъ онъ, будучи не въ состояніи сказать что-нибудь другое.

— И прекрасно! оставимъ скучное благоразуміе и будемъ счастливы. Какъ хорошо счастье, какъ весела радость! Взгляните, какъ хорошъ и веселъ весь міръ! Чудный день! Милое солнце! Посмотрите, какъ оно закралось тамъ, въ самую густоту лѣса, и играетъ на стволахъ березъ... Березы, точно невѣсты въ своихъ бѣлыхъ платьяхъ... Какой поэтъ сказалъ это?

— Не знаю, отвѣчалъ Хотницкій—вы первыя, сколько помню.

— Я? я поэтъ?... Да! если страдать по красотѣ значитъ быть поэтомъ, то я могу примѣнить къ себѣ послѣднія слова Шенье, или слова другого избранника: я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя... Не правда ли, какъ я говорлива? не правда ли, какъ я странна?

— Не знаю, повторилъ Хотницкій, засмотрѣвшись на нее...

— Что вы дѣлаете? вы выпускаете поводъ... лошадь помчится, убьетъ васъ...

Хотницкій схватилъ ея руку и поцѣловалъ. Нѣсколько минутъ они ѣхали тихо и молча.

Увлеченіе Прасковьи Александровны прошло; она задумчиво оглядывалась кругомъ, между тѣмъ какъ молодой человѣкъ не сводилъ съ нея глазъ. Она знала это, слѣдовательно поступала очень умышленно; но для спутника послѣ прилива юности, веселья и ея отваги, который она выказала, ничто не казалось умышленнымъ. На этотъ разъ Хотницкій увлекался, не разбирая своего увлеченія. Онъ былъ всегда искрененъ; фразы были у него только привычка, которою онъ заразился въ обществѣ, гдѣ всѣ были ею заражены; но увлекаясь до фразы, Хотницкій не возбуждалъ въ себѣ чувства своими собственными словами. Онъ экзальтировался, но не обманывалъ себя и другихъ, а потому и въ другихъ подобный обманъ казался ему невозможнымъ. Онъ отъ души повѣрилъ и веселости, и раздумью, и страданію Прасковьи Александровны.

Напротивъ, Прасковья Александровна, хорошо обдумавъ все, что дѣлала, зная давно эти уловки и употребляя ихъ въ дѣло въ двадцатый разъ въ своей жизни, еще воображала, что поступаетъ по влеченію сердца, еще раскрашивала сама для себя разными поэтическими красками эту безцвѣтную ложь, еще называла чувствомъ все это избитое кокетство. Какъ ей удавалось обмануть самоё себя—это знаютъ только необыкновенныя женщины...

Изъ веселости она перешла въ мечтанія, говорила долго, протяжно и съ предлинными цитатами. Она и Хотницкій сѣли на старое упавшее дерево; ихъ лошади, привязанныя недалеко, щипали траву. Прасковья Александровна продекламировала цѣлую «Méditation» Ламартина, припомнила, улыбаясь, объ очарованномъ лѣсѣ въ «Освобожденномъ Іерусалимѣ», пожалѣла о временахъ рыцарства, о крѣпкихъ зàмкахъ, о бѣлокурыхъ пажахъ, о дамахъ, заключенныхъ въ своихъ молельняхъ... Это доставило ей случай высказать нѣсколько идей, которыя поразили Хотницкаго не столько своей новостью, сколько неожиданностью.

— Прекрасное время! говорила она: — но прекрасное именно своей строгостью. Смѣшны, жалки нынѣшнія женщины! Чего хотятъ онѣ? Не весь ли міръ долженъ быть для нихъ у маленькой колыбели слабаго и милаго существа? не все ли ихъ честолюбіе должно заключаться въ желаніи быть другомъ и опорою того... О, еслибъ я могла...

Хотницкій былъ встревоженъ ея словами ровно столько, сколько она этого хотѣла. Ей удалось растревожить и себя, наговориться до того, что ей показалось, будто ея сердце въ самомъ дѣлѣ должно устоять противъ че-

го-то, будто въ ея жизни готовится какая-то рѣшительная минута...

— Я женщина моего вѣка!.. сказала она наконецъ измѣнившимся голосомъ и съ привычнымъ отчаяннымъ движеніемъ закрывая руками лицо.—Поѣдемте.

Она встала, но вдругъ схватила руку Хотницкаго.

— Помните «Ленору»? сказала она съ испугомъ.—Безумная сказка—не правда ли? Отчего же эта сказка припомнилась мнѣ теперь? Какъ странно воображеніе! Отчего за минуту оно приводило мнѣ только граціозные образы, а теперь... Поѣдемте!

Они поѣхали рядомъ. Прогулка продолжалась долго, но Хотницкій забывалъ и усталость, и голодъ. Прасковья Александровна вспомнила то и другое, увидя свой домъ.

— Хорошо ли у васъ зрѣніе? Посмотрите, я вижу отсюда, на террасѣ, на мѣстѣ, которое вы любите, накрытый столъ; обѣдъ готовъ — какъ я рада! Знаете ли еще одинъ мой недостатокъ? Я лакомка...

Она умѣла необыкновенно граціозно перерождаться изъ воздушной красавицы въ восхитительную хозяйку. Къ обѣду она явилась въ голубой кисеѣ; на груди ея былъ приколотъ букетъ алыхъ розъ...

Хотницкій уѣхалъ отъ нея только вечеромъ — влюбленный...

III.

Чрезъ нѣсколько дней Прасковья Александровна проснулась, повторяя стихи:

> Le grand arbre est tombé! resté seul au vallon,
> L'arbuste est désormais à nu sous l'aquillon.

Подобные случаи бываютъ со всѣми: слова, стихи, музыкальные мотивы иногда съ утра вертятся въ головѣ цѣлый день; на это не обращаютъ вниманія, и все проходитъ. Но у Прасковьи Александровны это не прошло просто. Она стала искать, нѣтъ ли кругомъ нея, къ чему бы примѣнить это двустишіе, и слѣдствіемъ этого была записка къ Настенькѣ:

«Милое дитя! (записка была писана по-французски). Еслибъ моя мысль и безъ того не обращалась къ вамъ въ каждую минуту моего празднаго и длиннаго дня, васъ напомнила бы мнѣ сегодня судьба, которая, едва родилась заря (à l'aube naissante; смотри стихотвореніе: «L'aube nait, et ta porte est close»), привела мнѣ на память слова поэта... (слѣдуетъ вышеприведенная выписка изъ Гюго и трогательное описаніе чувствъ, которыя она пробудила). Не находите ли вы себя въ этомъ образѣ, граціозное созданіе? Бывали мгновенья, когда вы наклоняли вашу бѣлокурую головку подъ грозой жизни— не правда ли? Повѣрьте же сердцу, которое васъ такъ хорошо поняло (Мы позволяемъ себѣ нѣкоторыя сокращенія). И потому, я зову васъ. Придите, бѣлокурое дитя (blonde enfant; вообще слова blond и blonde въ большомъ употребленіи въ поэтическихъ произведеніяхъ этихъ дамъ), придите успокоить и утѣшить... слова, можетъ быть, новыя для васъ, милая невѣжда жизни (chère ignorante de la vie); но вы уже смутно сознаете ихъ и скоро поймете... Посылаю за вами экипажъ и жду васъ... Ваша сердцемъ, Pauline».

«Поклонитесь отъ меня... Я разсѣяна; поправляйте мои разсѣянности...»

— Боже мой, какая скука! сказала Настенька, прочтя это посланіе. — Неужели я должна ѣхать?

— Признаюсь, я тебѣ не завидую, сказала Ольга.—Дѣлать нечего, поѣзжай.

— Оля, миленькая, поѣдемъ вмѣстѣ.

— Другъ мой, я тебя очень люблю, но къ чему напрасныя жертвы? Намъ обѣимъ будетъ скучно; а я, отъ скуки, пожалуй, еще скажу какую нибудь глупость. Ты меня знаешь: лучше не зови. Поѣзжай; воротишься, разскажешь, и мы посмѣемся вмѣстѣ.

Но, проводивъ подругу, Ольга стала невесела; она тихо усѣлась за работу и задумалась. Такъ какъ она имѣла привычку и способность оживлять весь домъ, то нельзя было не замѣтить ея молчанія.

— Что ты, Оленька? спросила ея мать.— Ты, никакъ, скучаешь?

— Немножко, мамаша.

— А я, знаешь, задумалась тоже, и такія глупости пришли въ голову, даже совѣстно и досадно, а все тебѣ скажу. Съ чего это Залѣская такъ привязалась къ Настенькѣ?

— Такъ что-жъ, мамаша?

— Ты знаешь, Оленька, я Настеньку люблю, какъ дочь родную; еслибъ, сохрани Господи, кто ее обидѣлъ, я бы, кажется, въ жизнь не простила тому человѣку; еслибъ какое нибудь счастье представлялось ей и тебѣ, я бы отдала ей, а о тебѣ бы не пожалѣла, потому что она мнѣ жальче. Это ты все знаешь. Но вотъ теперь мнѣ досадно. Искушеніе какое-то, право. За что эта модная барыня точно будто тобой пренебрегаетъ? Еслибъ она познакомилась съ вами

обѣими покороче, Настенька пришлась бы ей больше по-сердцу и она бы съ нею сдружилась, я бы ничего не сказала, я бы порадовалась; а то, ни съ чего, такъ... Вѣдь это неучтиво, обидно даже. Ты умна, знаешь ты то же, что̀ и Настенька, манеры у тебя такія же... Какъ хочешь, а не выходитъ это у меня изъ головы, и я сижу, сама на себя сержусь.

— Полноте, маменька! возразила Ольга: — это вамъ въ самомъ дѣлѣ напрасно придумалось. Залѣская, говорятъ, добра, и особенно ласкаетъ Настеньку такъ же, какъ вы, за то, что она сирота и одинока.

— Дай Богъ, чтобъ такъ, отвѣчала Катерина Петровна и отправилась къ своимъ занятіямъ.

Ольга была довольна тѣмъ, что успокоила мать, но сама не успокоилась нисколько; напротивъ, ей стало какъ будто тяжело, когда она сказала матери только половину своей мысли. Эти ласки за «сиротство и одиночество», трогательныя, прекрасныя со стороны тѣхъ, кто сталъ матерью и сестрой сироты, были обидны отъ посторонней: Прасковья Александровна оскорбляла Ольгу, внушая ея подругѣ, что ее не понимаютъ, оскорбляла Катерину Петровну, повторяя, что вокругъ Настеньки все чужія. Ольга, припомнила, почти день за днемъ, три года своей жизни съ Настенькой, не преувеличивая, разобрала свои поступки, свои чувства, и ей стало очень горько, когда она подумала, что посторонняя, едва знакомая женщина, изъ удовольствія говорить фразы, ставитъ ни во что въ глазахъ ея подруги всю эту дружбу. Ольга знала, что, въ романахъ, гувернантки представляются страдалицами, но никакъ не понимала страсти повертывать на романическій ладъ жизнь свою.

«И еще бы свою, а то жизнь другихъ!» заключила она и улыбнулась, потому что ея милый и молодой умъ могъ скорѣе смѣяться, нежели негодовать, а сердце успокоилось, припомнивъ всю ея дружбу съ Настенькой, и рѣшило, что Настенька перемѣниться не можетъ.

Ольга развеселилась окончательно, когда Хотницкій пріѣхалъ и провелъ весь день съ нею...

Прасковья Александровна видѣла въ Настенькѣ героиню романа. Уѣзжая въ деревню, она сказала себѣ, что будетъ скучать; пріѣхавъ и видя, что еще не такъ скучно, она постаралась расчувствоваться надъ своимъ одиночествомъ. Это удалось ей. Ей встрѣтилась Настенька, и она вообразила въ ней душу, посланную ей навстрѣчу. Эта душа молода — тѣмъ лучше: она составитъ противоположность съ душой свѣтской женщины, много пережившей, которая, въ свою очередь, дополнитъ эту молодую душу... Далѣе можно придумать что угодно.

Придумывая очень многое, «анализируя всѣ свои начала», Прасковья Александровна не сознавалась себѣ въ одномъ, очень сильномъ чувствѣ: ей хотѣлось говорить — буквально говорить, потому что она давно была одна, и потому что предъ Хотницкимъ все-таки, даже изъ кокетства, нерѣдко приходилось молчать. Прасковья Александровна не привыкла, чтобъ ея чувства развивались въ молчаніи, и, къ тому же, за что пропадутъ даромъ всѣ прекрасныя изреченія, которыя можно сказать при этомъ случаѣ...

Она была необыкновенно привѣтлива, и первые часы дня, проведенные у нея, прошли для Настеньки, противъ ожиданія, очень пріятно. Исключая, время отъ времени, нѣсколько фразъ, Прасковья Александровна остроумно и съ чувствомъ говорила объ искусствѣ, о природѣ, о литературѣ. Она умѣла говорить даже о женскихъ работахъ, хотя и выразилась, что не понимаетъ пристрастія къ нимъ, что онѣ отупляютъ. Она ужъ успѣла на столько расположить гостью въ свою пользу, что гостья не испугалась этой фразы и не улыбнулась; а когда, вслѣдъ затѣмъ, Прасковья Александровна стала разсказывать, почему она не умѣетъ работать, какъ баловали ее въ дѣтствѣ, въ какихъ граціозныхъ мечтахъ оно проходило, Настенька была даже тронута.

Потомъ, разсказывая о своемъ первомъ выѣздѣ, она развила предъ нею картину большого свѣта. Это былъ не тотъ большой свѣтъ, гдѣ дѣвицы разучаются думать о чемъ бы то ни было, гдѣ женщины не знаютъ семейной жизни, гдѣ молодые люди, наводя скуку, сами умираютъ отъ скуки. Большой свѣтъ, въ разсказахъ Прасковьи Александровны, явился какъ яркое, заманчивое видѣніе. Тамъ порхали дѣвы съ золотыми кудрями и розами на челѣ, стыдливыя вакханки и обольстительныя Діаны-звѣроловицы; тамъ проходили личности женщинъ, предъ которыми блѣднѣли историческія личности, замѣчательныя въ разныхъ отношеніяхъ... Прасковья Александровна не любила цифръ и именъ собственныхъ, какъ чего-то слишкомъ опредѣляющаго, и только изрѣдка упо-

минала имена модистокъ, гдѣ одѣвались эти дѣвы, и называла титулы этихъ юныхъ женъ. Полнота описанія ничего не потеряла отъ этого; самыя положительныя подробности получали какой-то сказочный интересъ... Но юноши... ничто не можетъ сравниться съ ихъ властительною прелестью, съ ихъ обаятельнымъ умомъ, съ обширностью ихъ познаній, съ глубиной ихъ чувства, съ силой ихъ страсти... Здѣсь, имена собственныя не скрывались, исключая очень немногихъ. Часто являлись сравненія:

— Видали вы акватинту съ Лауренса? Молодой лордъ*** на скалѣ и мѣсяцъ просвѣчиваетъ сквозь вѣтви сухого дерева? Jacques Г. былъ похожъ на него...

Или:

— Блѣдное, грустное дитя, Nicolas S., склонялъ голову предъ незримымъ фатализмомъ. Онъ, казалось, былъ обреченъ на что-то. Цвѣтокъ ждалъ бури. Его бабушка, la comtesse Autoufieff, отъ которой зависѣло все его состояніе, était d'une avarice crasse...

Должно замѣтить, кстати или некстати, что необыкновенныя женщины, при необыкновенной, тонкой воздушности своихъ чувствъ, вообще привязаны къ силѣ и даже рѣзкости выраженія. Онѣ хотятъ быть народными и употреблять «крѣпкое словцо». Онѣ также усвоили себѣ нѣкоторые наукообразные термины и щеголяютъ ими, какъ доказательствомъ того, что имъ «нечуждо ничто человѣческое». Восторженные юноши, поклонники науки, приходятъ въ восторгъ, услыша выраженія, напоминающія имъ... часто только школьную скамью; впрочемъ, ихъ восхищеніе менѣе удивительно, нежели противорѣчія этихъ удивительныхъ женщинъ. «Невѣжды во всѣхъ грубыхъ сторонахъ жизни», онѣ очень практически разсчетливы и, когда случится, отлично ведутъ дѣла свои. Не зная буквально ариѳметики, онѣ, говоря о наукѣ, возьмутся составить новую планетную систему. Не зная, какъ переступаютъ порогъ въ русскую избу, онѣ кричатъ о русской жизни; прочитавъ, по наставленію какого нибудь юноши «съ свѣтлымъ челомъ», описаніе этой жизни, онѣ восхищаются вѣрностью этого описанія, глубиной идеи, по совѣсти, совершенно для нихъ непонятной. Тутъ-то и является «сила слова», вслѣдъ за «силой духа...» Эта манія началась недавно, но есть надежда, что она разовьется еще сильнѣе...

Прасковья Александровна говорила очень много. Къ вечеру ей стало легче; ей показалось, что она нѣсколько высказала свою душу, что ей необходимо отдохнуть отъ этого изліянія. У ней тѣснило грудь, что было также очень понятно, но что она объясняла не усталостью отъ безпрестанныхъ разсказовъ, а душевнымъ волненіемъ. Къ вечеру, когда все стало стихать въ природѣ, затихла и она, приказала принести нѣсколько вышитыхъ подушекъ на террасу и полулегла на ступеняхъ, любуясь потухающимъ закатомъ. Настенька тоже сѣла на ступеньки и могла вдоволь любоваться утомленными, исполненными нѣги движеніями прекрасной хозяйки, ея «чудной» головкой съ небрежно и пышно подобранными волосами, въ которыхъ завядала камелія, ея большими глазами съ глубокой думой, устремленными въ даль, ея бѣлыми, нѣсколько худощавыми руками, антично опертыми на подушку, такъ что широкіе рукава, распадаясь, позволяли видѣть ихъ до локтя. Въ эту минуту она показалась Настенькѣ въ самомъ дѣлѣ хороша и похожа на героиню романа; вся сцена, съ ея обстановкой, была похожа на что-то читанное, и Настенькѣ, настроенной разговорами цѣлаго дня, нравилось это, какъ новость. Она задумалась, глядя на модную даму, которая казалась ей счастливицей, несмотря на ея многія жалобы на судьбу.

— «Какъ она оживлена, молода!» думала Настенька: «а она почти десять лѣтъ меня старше».

Прасковья Александровна думала все это время и потомъ сказала вслухъ:

— Въ такой прелестный вечеръ одиночество замѣтнѣе. Какъ отрадно было бы встрѣтить теперь, если не вполнѣ дорогое существо, то хотя близкую намъ душу!..

Изъ чего можно было заключить, что души Настеньки ей было мало; но въ вѣрнѣйшемъ переводѣ эти слова значили, что Хотницкій несносенъ тѣмъ, что не догадается пріѣхать, когда его ждутъ. Вообще, въ два или въ три послѣднія посѣщенія Хотницкій былъ не такъ восторженъ, какъ прежде, и Прасковья Александровна ужъ начала объяснять это грубостью сердца, которое начинаетъ скучать, лишь только немного удовлетворится.

Прасковья Александровна ждала его цѣлый день; очень понятно, что къ вечеру, особенно устроясь на террасѣ, она потеряла терпѣніе и потому сдѣлалась еще болѣе чувствительна. На глазахъ ея (говоря высокимъ слогомъ) сверкнули слезы. Надо было найти имъ причину.

— Вы никогда не знали вашей матери? спросила она вдругъ Настеньку.

И принялась разстроивать ее, и еще больше себя, вдохновляясь тѣмъ, что говорила. Вечернія облака много помогли въ этомъ случаѣ: въ нихъ жили и витали души; въ нихъ закутывались онѣ — младенцы, какъ въ пеленки, мертвецы, какъ въ саванъ... Настенька не разъ въ своей жизни мечтала, разговаривала и плакала съ своими прежними подругами и съ Ольгой, но никогда не встрѣчала такого краснорѣчія; она была имъ истинно тронута. Возвратясь на землю, Прасковья Александровна сказала молодой дѣвушкѣ, что не понимаетъ ея жизни.

— Вѣрнѣе, я не понимаю вашего мужества, которому удивляюсь: жить въ этой глуши, въ этомъ обществѣ!

— Здѣсь нескучно... отвѣчала Настенька, почти совѣстясь вспоминать маленькіе балы уѣзднаго городка послѣ описанія праздниковъ, гдѣ кружились пери и сильфиды, гдѣ юноши были прекраснѣе Ромео и неотразимѣе Донъ-Жуана.

— Милая, кроткая душа! вскричала Прасковья Александровна: — вы находите въ самой себѣ прелесть, которая все украшаетъ, иначе я этого не объясню. Другая, знаете ли, прибавила она съ рѣзкой откровенностью: — другая подумала бы съ насмѣшкой, что вамъ нравится эта пошлость потому, что вы не знали ничего лучшаго. Видите ли, какъ я въ васъ увѣрена? Я говорю вамъ прямо: вамъ надо видѣть свѣтъ.

— Гдѣ же и какъ? спросила дѣвушка, которой уже становилось скучно на этомъ свѣтѣ, особенно послѣ «откровенности» Прасковьи Александровны.

— Эта дама, у которой вы живете?..

— У ней нѣтъ средствъ ѣхать въ Москву.

— Правда... а то бы она повезла свою дочь, сказала Прасковья Александровна съ горечью.—О, это было бы еще ужаснѣе! почти вскричала она, мгновенно оживляясь.— Эгоизмъ матери, мелочность провинціалки!.. вамъ пришлось бы выносить все это болѣе, нежели вы выносите теперь...

— Что вы говорите? прервала Настенька: — я такъ любима ими... Катерина Петровна такъ добра, ласкова... право, я не умѣю и разсказать, потому что привыкла къ ея добротѣ. Ольга... это ангелъ. Ради Бога, не предполагайте въ нихъ ничего дурного; я люблю ихъ, я съ ними счастлива!

— Бѣдный ребенокъ! сказала Прасковья Александровна, сжимая ее въ объятіяхъ.— Слезы... Я возмутила вашу душу — простите меня! О, лучше, въ тысячу разъ лучше это благородное незнаніе! Но, придетъ время, вы взглянете въ лицо жизни, она, наконецъ, сниметъ маску—и что тогда? Я ничего не говорю о нихъ; онѣ добры съ вами; но чѣмъ же надо быть, чтобъ оскорблять васъ? За что выказывать вамъ холодность? Какое надо имѣть сердце, чтобъ не содрогаться при одномъ словѣ «сирота»? А образованіе... вѣдь онѣ въ самомъ дѣлѣ не животныя, чтобъ не чувствовать, хотя смутно, что вы болѣе развиты, нежели онѣ. Я не отрицаю: онѣ добры... какъ добры? изъ состраданія, изъ желанія занять у васъ свѣтъ вашей граціи, этого чего-то, что нужно всякому. Пусть судьба броситъ ихъ въ испытаніе, онѣ себя покажутъ... во всемъ, во всемъ, заключила Прасковья Александровна съ порывомъ:—во всемъ, начиная съ прошлогодней шляпки, которую предложатъ вамъ доносить, до запрещенія выходить изъ вашей комнаты, когда пожалуетъ какой нибудь господинъ, котораго прочатъ въ женихи m-lle Ольгѣ!..

— Этого никогда быть не можетъ! прервала Настенька.

— Я говорю не о нихъ: я говорю о людяхъ вообще. Имя вашей подруги встрѣтилось мнѣ такъ, случайно. Столько этихъ «подругъ» на свѣтѣ!.. Я даже говорю не о васъ, а вообще. Я никогда не могла равнодушно видѣть дѣвушку въ вашемъ положеніи. Столько искушеній, затаеннаго горя и сомнѣнія—и прибѣгнуть не къ кому! Положимъ, не вы, а другая—къ кому обратится сирота съ тайной своего сердца? Можетъ быть, къ соперницѣ, отъ которой зависитъ— къ ея гордой матери—всегда къ особамъ, для которыхъ было бы выгоднѣе, еслибъ она была хуже... О, я знаю это!.. А мелочи, униженія, покровительственный тонъ посѣтительницъ, снисходительная вѣжливость посѣтителей, дружба дѣвчонокъ за то, что бѣдное, благородное дитя исполняетъ ихъ капризы и порученія, часто скрѣпя сердце; а дерзкое ухаживанье молодежи, а ревность женщинъ... О, я все знаю!

И, увлекаясь, Прасковья Александровна разсказала, одну за другой, нѣсколько исторій о гувернанткахъ, одну другой плачевнѣе и ужаснѣе. Настенька и прежде слыхала и читала подобныя вещи, но не бывала еще никогда такъ настроена, и притомъ, что достовѣрнѣе и увлекательнѣе разсказовъ очевидца? Ей стало страшно грустно... Будущее, которое она представляла себѣ такимъ же свѣтлымъ, какимъ было ея настоящее, стало раскрашиваться мрачными красками. «Что, если и со мной будетъ то же?»

спросила она себя. Маленькія дурныя чувства, которыя были въ ней (а у кого ихъ нѣтъ?) и которыя спокойно изгладились бы сами собою, еслибъ ихъ не трогать, теперь были затронуты и поднялись. Она вѣрила, что Катерина Петровна, которую она звала матерью, и Ольга, были хорошіе люди; но всегда ли онѣ останутся хорошими? Не слишкомъ ли была она довѣрчива съ людьми, которые, разставшись съ нею, забудутъ ее? Ольга, конечно, прежде нея выйдетъ замужъ: у Ольги есть состояніе (Настенька вспомнила это въ первый разъ); положимъ, она останется добра, ласкова попрежнему; но мужъ ея? Не дастъ ли онъ почувствовать сиротѣ, что она живетъ у него, а не у Ольги?.. Ласки... о, эти ласки изъ состраданія!.. А что, если Настенька сама полюбитъ того, кто будетъ любить Ольгу?

Прасковья Александровна въ эту минуту разсказывала романъ именно такого рода.

— Любите ли вы кого нибудь? спросила она въ заключеніе и неожиданно.

— Никого.

— Не скрывайте предо мною, не оскорбляйте меня недовѣрчивостью... А Хотницкій?

— Нѣтъ, увѣряю васъ.

— Мнѣ такъ показалось, когда онъ былъ у меня при васъ. Такъ онъ васъ любитъ!

— О, нѣтъ, еще меньше, отвѣчала Настенька съ грустью, потому что все настраивало ее на грусть: ей въ эту минуту было грустно, зачѣмъ въ нее не влюбленъ кто нибудь.

Прасковья Александровна поняла ее посвоему.

— О!.. сказала она, съ движеніемъ негодованія:—неужели онъ такъ мелоченъ, что выказываетъ вамъ свое невниманіе? Это иногда дѣлается...

Къ счастью, Настенька не поняла ее совсѣмъ, а то принялась бы придумывать еще новыя несообразности печальнѣе первыхъ.

— Онъ часто бываетъ у Катерины Петровны (два часа назадъ, Настенька сказала бы: «у насъ»). Намъ съ нимъ весело: онъ уменъ и любезенъ. Онъ, если хотите, друженъ съ обѣими нами. Мы часто выводимъ его изъ терпѣнія спорами...

— Ольга споритъ? спросила Прасковья Александровна съ особеннымъ выраженіемъ.

— Да. Она очень мила, когда оживлена, и доказываетъ всегда съ такимъ чувствомъ...

Настенькѣ было какъ будто совѣстно говорить о своей подругѣ; она смутно чувствовала, хотя не сознавалась, что была виновата предъ Ольгой; ей стало еще тяжелѣе на сердцѣ и она позволила себѣ отдаться этой печали. Она сказала себѣ, что Ольга милая, добрая, прекрасная дѣвушка, но что ей, сиротѣ, никто не подруга и не пара; ей почему-то показалось, что пора быть благоразумнѣе, что до сихъ поръ ея жизнь была какое-то дѣтство и что теперь оно кончилось...

— Скажите мнѣ, что такое Ольга? спросила Прасковья Александровна, прерывая молчаніе. — Ея образованіе, должно быть, очень поверхностное.

— Мнѣ кажется, какъ у всѣхъ насъ, дѣвушекъ, отвѣчала Настенька, затрудняясь этимъ вопросомъ.

— Понимаетъ ли она, по крайней мѣрѣ, то, что выучила? углублялась ли она во что нибудь?.. Вы говорите, она споритъ съ Хотницкимъ; но вѣдь Хотницкій человѣкъ необыкновенный, человѣкъ высшаго разряда, а она берется съ нимъ спорить! Это болѣе нежели смѣлость: это дерзость!

— Не знаю, сказала простодушно Настенька:—намъ онъ не казался ничѣмъ необыкновеннымъ.

— Милое дитя! вамъ, вамъ по плечу его сужденія; но Ольгѣ? Ольга посредственность... Я не касаюсь вашей привязанности къ ней, но будьте безпристрастны: развѣ всепрощающая душа ваша найдетъ въ ней достоинства? Привязанность не должна быть безразлична. Любите, но любите разумно... Она должна быть очень смѣшна, когда непонятливо и упрямо возражаетъ на его одушевленную рѣчь. Мнѣ бы хотѣлось послушать это... Или, нѣтъ, это бы меня измучило.

— Вѣроятно, мы обѣ одинаково смѣшны, сказала Настенька:—потому что я очень часто согласна съ Ольгой.

— Вы ее любите и предубѣждены, сказала Прасковья Александровна, снисходительно улыбаясь.—Вы, сами не замѣчая, приносите ей жертву вашего ума въ глазахъ человѣка... какихъ встрѣчается немного. И этотъ человѣкъ хорошо оцѣняетъ васъ обѣихъ—повѣрьте.

— Напротивъ, мнѣ всегда казалось, что эти споры доставляли ему большое удовольствіе... А что Ольга нравится ему больше, нежели я—въ этомъ я увѣрена.

— Въ самомъ дѣлѣ? Что-жъ заставило васъ убѣдиться? спросила Прасковья Александровна съ нѣкоторымъ безпокойствомъ.

— Стоитъ взглянуть на насъ обѣихъ, от-

вѣчала грустно Настенька.— Ольга хороша собою, игрива, откровенна.

— Смѣла... проговорила Прасковья Александровна вполголоса.—Конечно, есть люди, которымъ это нравится... Мнѣ хотѣлось бы узнать покороче эту Ольгу.

Прасковья Александровна вдругъ впала въ задумчивость. Въ ея памяти проходили всѣ извѣстные примѣры необыкновенныхъ женщинъ, забытыхъ для женщинъ обыкновенныхъ. Результатомъ этихъ воспоминаній было насмѣшливое презрѣніе и потомъ грустное обращеніе сердца, которое «не хотѣло» презирать Хотницкаго...

Все это выдумывалось и чувствовалось, чувствовалось и выдумывалось съ невѣроятной быстротою фантазіи. Въ пять минутъ мыслящая женщина раздразнила себя до слезъ. Эти вещи такъ эфектны, что ихъ не скрываютъ.

— Боже! сказала она: — какое же неодолимое очарованіе скрывается въ этихъ развязныхъ, безсмысленныхъ созданіяхъ, что ихъ предпочитаютъ... (голосъ ея «порвался», выражаясь ея слогомъ). И что такое сердце женщины, которое вѣчно ждетъ, вѣчно прощаетъ, вѣчно надѣется?.. Чего оно надѣется? Какая женщина выговоритъ это, не краснѣя за свое духовное превосходство?

Настенька ничего не понимала; монологъ былъ сказанъ даромъ и, къ тому же, глухо, прерывистымъ, совершенно трагическимъ, шипящимъ шопотомъ, такъ что было трудно разслышать.

— Что съ вами? спросила она, испугавшись нѣсколько отчаяннаго жеста Прасковьи Александровны.

— Ничего, отвѣчала Прасковья Александровна. — Пойдемте въ комнаты. Воздухъ влаженъ и раздражителенъ. Мнѣ нуженъ покой... о, ничего, кромѣ покоя!

Она вошла въ гостиную и упала въ кресло; она была блѣдна; волосы ея разсыпались...

Настенька испугалась еще больше. Ей не входило въ голову, что ничему этому не стоитъ вѣрить. Она поспѣшила помочь милой хозяйкѣ, которая, ни на минуту не забывая, что надо быть доброй, поцѣловала ее. Настенька стала на колѣни предъ ея кресломъ. Прасковья Александровна, все болѣе и болѣе приходя въ себя, начала любоваться ею. Эта фраза въ дѣйствіи продолжалась довольно долго. Прасковья Александровна все ждала, не застанетъ ли ее Хотницкій, хотя немного. Наконецъ, потерявъ терпѣніе, она рѣшилась отпустить свою гостью.

— Вы не боитесь ничего ночью? Мѣсяцъ всходитъ. Я отвезу васъ сама въ кабріолетѣ.

Хотницкій могъ встрѣтиться по дорогѣ— почему знать?..

IV.

Прасковья Александровна была не въ духѣ на другой день. Хотницкій явился къ ней въ ту минуту, когда она смѣлыми и яркими чертами обрисовывала его характеръ въ своихъ Confidences. Она написала одну изъ самыхъ вдохновенныхъ страницъ своихъ о перерожденіи человѣка, вдали отъ общества развитого и мыслящаго, о грубости, которая въ глуши незамѣтно прививается къ чувствамъ и понятіямъ, и прочее. Именъ собственныхъ не было. Хотницкому дали прочесть эту страницу. Наканунѣ онъ провелъ весь день въ Кружковѣ съ Ольгой, говорилъ и слышалъ все такія простыя и прямыя слова, что слогъ Прасковьи Александровны показался ему непонятенъ. Онъ рѣшительно не узналъ своего портрета и осмѣлился противорѣчить этому глубокому анализу. Прасковья Александровна начала объяснять и объясняла такъ хорошо, что Хотницкій наконецъ понялъ, что дѣло шло о немъ. Ему стало досадно, что очень натурально. Прасковья Александровна замѣтила это, обрадовалась, что уколола его, и продолжала колоть игриво, шутя, серьезно, насмѣшливо, съ досадой, съ чувствомъ, въ порывѣ увлеченія, въ раздумьѣ, какъ случалось. Она рѣшилась въ этотъ день сыграть роль женщины забывающей, что у нея есть сердце, потому что это сердце оскорблено — роль женщины-змѣи, очень эфектную. Хотницкій разсердился сначала, потомъ, увлекаясь, пробовалъ спорить, доказывать, оправдываться; наконецъ это ему надоѣло. Онъ сдѣлался нелюбезенъ и довольно явно торопился уѣхать. Послѣ отъѣзда его, Прасковья Александровна опять плакала отъ досады, увѣряя себя, что плачетъ отъ любви, и написала еще страницу «о фатализмѣ, который тяготѣлъ надъ нею».

Этотъ визитъ, хотя короткій и очень похожій на прежніе, произвелъ на Хотницкаго впечатлѣніе, котораго онъ не ожидалъ. Ему въ первый разъ было скучно съ необыкновенной женщиной; онъ самъ прежде иногда упрекалъ себя въ грубости понятій; но когда его упрекнули въ этомъ другіе, его самолюбіе оскорбилось. Онъ не былъ такъ мелоченъ, чтобъ изъ-за оскорбленнаго самолюбія вдругъ разлюбить женщину, которая

ему нравилась; но она стала ему меньше нравиться, и онъ позволилъ себѣ разбирать, какъ и почему. Многое, хотя еще далеко не все, ложное бросилось ему въ глаза, и онъ занялся бы этимъ разборомъ еще прилежнѣе, но у него нашлась забота: наступалъ день именинъ Ольги. Хотницкому почему-то показалось необходимымъ сдѣлать ей подарокъ. Чѣмъ болѣе вспоминались ему странности Прасковьи Александровны, тѣмъ сильнѣе убѣждался онъ, что должно напомнить Ольгѣ о себѣ въ этотъ день. Онъ затруднялся только въ выборѣ подарка. Привыкнувъ изъ всякой мысли дѣлать себѣ заботу, онъ ломалъ себѣ голову, придумывая, что можетъ понравиться Ольгѣ, и вмѣстѣ имѣть какое-то значеніе... какое — этого не могъ опредѣлить самъ Хотницкій: что-то духовное, что-то общечеловѣчное, что-то «необыденное», какъ выражалась Прасковья Александровна. Наканунѣ именинъ, возвращаясь вечеромъ изъ Кружкова, Хотницкій былъ погруженъ въ эту думу. Полный мѣсяцъ озарялъ мелкій лѣсокъ, чрезъ который лежала дорога, и предъ Хотницкимъ явилась Прасковья Александровна; она была въ бѣломъ платьѣ и доставила себѣ удовольствіе при лунномъ свѣтѣ накинуть на голову бѣлый газовый шарфъ. За ней, въ нѣкоторомъ отдаленіи, слѣдовали два ливрейныхъ лакея; одинъ несъ ея бурнусъ, другой... толстую палку—прозаическую защиту отъ собакъ въ поэтическихъ прогулкахъ.

— Откуда такъ поздно, сосѣдъ? спросила Прасковья Александровна, между тѣмъ какъ Хотницкій останавливалъ свою нѣсколько испуганную лошадь.

— Изъ Кружкова, отвѣчалъ онъ, сконфузясь.

— Хорошо! А меня забыли? продолжала она съ необыкновенной сельской простотою. — Помните ли вы, что мы три дня не видались?

— Очень помню. А вы откуда такъ поздно, сосѣдка?

— Ходила себя измучить, отвѣчала она, подойдя ближе и лаская его лошадь.—Вчера утромъ услышала, что въ Долгомъ умерла старуха, тетка выборнаго. Мнѣ хотѣлось видѣть покойницу... Не говорите никому; я имъ не велѣла говорить, гдѣ я была (она показала на людей); никто не узнаетъ... Странные люди, эти крестьяне! Чего они перепугались, когда я пришла? Какъ будто что сверхъестественное случилось. Они всѣ уже спали... Мертвецъ въ домѣ, а они спятъ!.. Вскочили, засуетились. Одна какая-то баба хлопотала около тѣста для завтрашнихъ пироговъ къ погребенью. Все это сдѣлало на меня престранное впечатлѣніе, какъ вы можете вообразить. Я плакала, а меня оглядывали кругомъ. Мнѣ такъ тяжело! Не говорите этого никому. Вы меня понимаете...

Она подала руку Хотницкому.

— Завтра увидимся.

— Да, надѣюсь, но не у васъ: завтра именины Ольги Григорьевны; вы вѣрно будете у нихъ.

— Охъ...

— Вы не пріѣдете? Вамъ не нравится бывать у нихъ?

— Нѣтъ...

Но куча будетъ тамъ народу,
И всякаго такого сброду...

Она разсмѣялась.

— Впрочемъ, я пріѣду, пріѣду. Прощайте. Я устала. Не правда ли, чудная ночь? И не хочешь, а мечтаешь. Кажется, послѣ того, что было сейчасъ предъ моими глазами, не должно было бы... а между тѣмъ... Прощайте!

Она удалилась; шарфъ ея волновался, и она напѣвала:

«Эта чудная ночь и тепла, и свѣтла...»

Хотницкій цѣлый часъ возвращался домой, хотя можно было доѣхать втрое скорѣе. Встрѣча взволновала его. Очаровательница показалась ему еще въ новомъ, невиданномъ свѣтѣ, и онъ не могъ о ней не думать; она была граціозна, какъ духъ, чувствительна, какъ женщина... эта женщина вникала въ жизнь... и прочее. Хотницкій долго раздумывалъ; но такъ какъ передъ этимъ онъ три дня былъ занятъ Ольгой, то ему пришла мысль разбить дружбу между этими двумя женщинами, сестрами по душѣ, заставить ихъ полнѣе узнать другъ друга... и прочее. Тутъ же внезапно и окончательно рѣшился онъ, чѣмъ подарить Ольгу.

Онъ взялъ съ своего письменнаго стола довольно бойко сдѣланный карандашомъ портретъ Гоголя. Онъ сбирался, нисколько не шутя, пожелать завтра имениницѣ не здоровья или счастья, а трезваго пониманія жизни; ему показалось даже лучше выразить это письменно, для того, чтобъ провести свою мысль чрезъ всѣ доводы и доказать яснѣе. Къ сожалѣнію, или къ счастью, дописавъ мелко третью страницу, онъ вздумалъ перечитать написанное. Хотницкій

удивился самъ своему краснорѣчію, а болѣе всего тому, что самъ не понималъ его; ему стало почти стыдно и онъ изорвалъ все, хотя увѣрялъ себя, для утѣшенія, что досадуетъ на бѣдность человѣческаго слова, неспособнаго выразить безконечную мысль. Онъ рѣшился завтра сказать, что вспомнится и что дастъ ему сказать Ольга. Тутъ кстати онъ порадовался, что истребилъ свое произведеніе: онъ вспомнилъ, что Ольга охотница смѣяться.

Ольга и Настенька занимали вмѣстѣ одну комнату въ мезонинѣ ихъ дома. Обѣ онѣ, особенно Ольга, успѣли хорошо узнать привычки одна другой и легко угадывали другъ у друга даже расположеніе духа; потому-то отъ Ольги не могло скрыться, что Настенька стала печальна, молчалива, что она какъ будто отдалялась отъ всѣхъ и какъ будто нехотя принимала участіе въ разныхъ затѣяхъ и забавахъ, которыми прежде Ольга и она разнообразили свое время. Долгія бесѣды по вечерамъ были какъ будто забыты. Ольгѣ стало скучно. Она спросила Настеньку однажды, что съ нею; но получивъ очень неудовлетворительный отвѣтъ, увидѣла, что въ этомъ случаѣ нельзя поступать рѣшительно, какъ она привыкла. Ольга замѣтила, что Настенька очень неподробно разсказала ей о днѣ, проведенномъ у Прасковьи Александровны, и что вообще она перестала смѣяться фразамъ Прасковьи Александровны. Однажды при Хотницкомъ она даже довольно рѣзко остановила Ольгу.

— Что она тебѣ сдѣлала? сказала Настенька.

— Ничего; мнѣ забавно то, что она сказала.

— Она такъ добра, что смѣяться надъ нею... грѣшно, продолжала Настенька:—ты ея не знаешь.

— А еслибъ знала, то попросила бы ее, когда она такъ добра, не портить своей доброты смѣшными словами.

Настенька не возражала больше, но стала грустна. Она провела еще день въ Зорькинѣ и, возвратясь, опять не разсказывая подробностей, сказала Ольгѣ, что Прасковья Александровна хотѣла бы познакомиться съ нею короче. Это утвердило Ольгу въ ея подозрѣніяхъ.

— Пожалуй, отвѣчала она:— пойдемъ къ ней когда нибудь. Ты, вѣрно, много наговорила обо мнѣ; признайся, безъ тебя это не пришло бы ей въ голову.

Ольга не ошибалась. Прасковья Александровна съ нѣкоторой недовѣрчивостью хотѣла взглянуть поближе на эту «дикую натуру»; она освѣдомлялась, можно ли о «чемъ нибудь» говорить съ Ольгой. Оставшись одна, она увѣряла себя, что хочетъ стать лицомъ къ лицу съ женщиной, которая...

«Но развѣ я люблю этого человѣка?..» Вопросъ внезапно написанный на совершенно чистой (vierge) страницѣ «Сувенировъ». Внизу годъ, мѣсяцъ и число.

Проснувшись очень рано въ день своихъ именинъ, Ольга разбудила свою подругу, и онѣ отправились пѣшкомъ къ обѣднѣ въ Зорькино. Свѣтлое утро, поля съ синими васильками и бѣлыми астрами, съ золотой рожью, вышиной въ ростъ человѣка, между которой лежала дорога, какъ узкій корридоръ, прерывавшійся только двумя лощинами, гдѣ росло столько кустовъ молодого клена и орѣшника, цвѣтовъ, ягодъ, травы самой нѣжной и тонкой, что надо было спѣшить пройти, чтобъ не уступить желанію остаться тамъ на весь день; солнце, которое ласкало и еще робко выкатывалось изъ-за розовыхъ облаковъ, роса въ плоенныхъ, пухлыхъ листьяхъ придорожника, птицы, шмели, кузнечики — все было такъ радостно, свѣтло, нарядно, что именинница возвращалась домой еще веселѣе и счастливѣе.

— Еслибъ ты знала, какъ мнѣ хорошо, милая моя Настя! сказала она, поцѣловавъ свою подругу.—Чего мнѣ недостаетъ на свѣтѣ?..

— Твоя правда, отвѣчала Настенька, оглядываясь на зорькинскій домъ, гдѣ еще были спущены всѣ сторы и было незамѣтно движенія, и припоминая все, что было ей говорено въ этомъ домѣ.

Ольга видѣла, что ей было грустно; не разспрашивая и уже увѣренная, что всему причиной сосѣдка, она обняла Настеньку еще крѣпче, и отъ желанія выразить свою привязанность, и отъ печали, что эта привязанность была не понятна. Ей ни на минуту не пришло въ голову, что Настенька виновата передъ нею. Она стала напоминать ей, какъ онѣ проводили этотъ день вмѣстѣ годъ назадъ, разныя веселыя обстоятельства и подробности, потомъ маленькія неудачи, тоже общія, маленькія бѣды, которыя такъ легко вспоминаются, когда онѣ прошли, а между тѣмъ такъ заботили и волновали, когда случались и были раздѣлены такъ дружно. Всѣмъ вообще, а женщинамъ въ особенности, рѣдко удается выказать свою дружбу въ чемъ нибудь важномъ, и потому маленькіе случаи тихой жизни, внутреннее чувство сближаютъ ихъ и налагаютъ на

нихъ обязательство другъ предъ другомъ. Не всегда справедливо мнѣніе, что дружба, начатая отъ мелочей, мелочна; она только кажется такою оттого, что не имѣла необходимости быть огромнѣе, и осудить ее можно только тогда, когда она измѣнитъ себѣ тамъ, гдѣ должна будетъ дѣйствовать.

Ольгѣ удалось если не развеселиться, то заставить разговориться свою подругу.

— Я должна тебѣ покаяться, сказала она наконецъ: — вотъ три недѣли, какъ у меня сердце непокойно, и ты будешь смѣяться. Началось съ шутки, а выходитъ, что не шутя я начинаю нетерпѣть Залѣскую.

— За что? спросила Настенька, которую будто что укололо, потому что Ольга въ первый разъ съ начала разговора назвала сосѣдку.

— Какъ это тебѣ сказать... Мы съ тобою привыкли шутить: Хотницкій да Хотницкій; онъ бывалъ у насъ всякій день; намъ ничего и въ голову не приходило. Но теперь онъ безпрестанно у нея... Мнѣ досадно... Право, я готова вообразить, что я влюблена въ Хотницкаго.

— Развѣ ты прежде этого никогда не думала? спросила Настенька, между тѣмъ какъ Ольга краснѣла, смѣялась и обнимала ее, чтобъ скрыть свое смущеніе. — Что-жъ? эта любовь пришла къ тебѣ такъ, разомъ, отъ ревности?

— Ахъ, что ты, Настя! Но теперь я поняла, что недаромъ мнѣ было такъ хорошо съ нимъ почти два года; и когда я подумала, что это можетъ кончиться, что онъ перестанетъ бывать у насъ, полюбитъ Залѣскую, не могу сказать тебѣ, какъ мнѣ стало тяжело. Я стала припоминать всѣ наши разговоры, смотрѣть въ книги, которыя мы читали вмѣстѣ... вижу, что если этого больше не будетъ... Я вижу, что я его люблю, Настя, что я его всегда любила, и только не понимала, что со мной... Мнѣ было совѣстно признаться даже тебѣ, но я ужъ не одинъ разъ плакала...

— Такъ вотъ за что ты не любишь Прасковьи Александровны!

— О, нѣтъ, это другое дѣло! Она сама по себѣ мнѣ не нравится. Если хочешь, мнѣ особенно обидно, зачѣмъ онъ привязался именно къ ней... лучше бы къ другой.

— Ты точно такъ же не взлюбила бы другую.

— Нѣтъ, Настя; вѣдь я въ этомъ увѣрена. Я прежде сама это думала: я разбирала, не оттого ли всѣ ея слова и поступки не по мнѣ, что мнѣ досадно, завидно? Нѣтъ. И я не могу удержаться, хотя вижу, что это бываетъ ему непріятно: я говорю ему прямо все, что о ней думаю.

— Я давно хотѣла сказать тебѣ: Хотницкій можетъ принять это за признакъ дурного характера.

Ольга подумала съ минуту и отвѣчала:

— Нѣтъ. Онъ слишкомъ часто соглашается со мной: стало быть, не можетъ осудить меня.

— Такъ онъ подумаетъ, что ты противорѣчишь изъ ревности. Онъ догадается, что ты его любишь.

Ольга шла молча и задумавшись. Наконецъ она взглянула на Настеньку, и на ея длинныхъ рѣсницахъ были слезы.

— Знаешь что, Настя, сказала она: — мнѣ кажется, что если онъ и замѣтитъ, что я его люблю, это будетъ еще не такое большое несчастье, чтобъ я должна была раскаяваться. Люблю — что-жъ дѣлать? Такъ случилось, такъ Богъ велѣлъ. Вѣдь я не требую, чтобъ онъ любилъ меня тоже. Изъ всѣхъ нашихъ знакомыхъ я одна, съ которой онъ проводилъ цѣлые дни, я одна не воображала его своимъ женихомъ; я держалась съ нимъ просто, какъ съ роднымъ. Если же онъ и увидитъ, что я люблю его... ему это, можетъ быть, будетъ пріятно... можетъ быть, эта свѣтская дама только мучитъ его своимъ кокетствомъ... что я говорю: «можетъ быть» — навѣрное!

— Опять злость! сказала Настенька, грозя ей. — Кто тебѣ сказалъ, что она кокетка?

— Если хочешь знать — ты. Зачѣмъ она десять разъ въ день то больна, то здорова? Зачѣмъ она то вдругъ ребячится, то прикидывается старухой? Зачѣмъ она какъ-то странно играетъ словами и никогда не скажетъ прямо то, что думаетъ?.. Не знаю, что еще — все! Въ ней нѣтъ ничего искренняго, кромѣ желанія нравиться. Она, говорятъ, добра; но зачѣмъ же она рисуется даже въ своей добротѣ?.. и рисуется довольно неудачно, право!

— Научи ее, возразила Настенька, обижаясь за своего новаго друга.

— Если она хочетъ, пожалуй, отвѣчала Ольга съ живостью, полной чистосердечной доброты и не обижаясь насмѣшкой Настеньки. — Я не свѣтская женщина и много моложе ея, а, кажется, не ошибусь, если скажу, что въ самомъ кокетствѣ долженъ быть здравый смыслъ...

— Котораго нѣтъ у Прасковьи Александровны?.. Однако, ты не снисходительна къ

Хотницкому: какъ же умный человѣкъ можетъ заниматься пустой женщиной?

— Его капризъ, а мое несчастье, отвѣчала Ольга, вдругъ притихнувъ. — Но, Настя, скажи мнѣ откровенно, продолжала она послѣ минутнаго молчанія: — ты какъ будто недовольна...

— Чѣмъ же?

— Не знаю... Тѣмъ, что я люблю Хотницкаго, тѣмъ, что я тебѣ это сказала, какъ я это сказала, зачѣмъ не сказала прежде или послѣ... не знаю, чѣмъ-то... мною, однимъ словомъ...

— Ты очень забавна, Оленька, отвѣчала Настенька, улыбаясь принужденно, потому что въ ней поднимались капризы, начавшіеся съ перваго визита въ Зорькино.— Какое право имѣю я быть не довольна тобою?

— Такое же, какъ я тобою — никакого и какое вздумается. Мнѣ кажется, что я не виновата, однако... Вѣдь ты сама не любишь Хотницкаго?

— О, нѣтъ! возразила Настенька, капризничая до того, что ей въ эту минуту хотѣлось бы умирать отъ любви къ Хотницкому; но Прасковья Александровна еще не успѣла научить ее, что эти вещи можно придумать, когда онѣ не чувствуются.

Настенька сказала себѣ только, что еслибъ она и любила, то какая до того забота этой смѣлой счастливицѣ, которая спрашиваетъ о чувствахъ сердца, какъ о погодѣ? Она не потрудилась подумать, что ея прежняя откровенность сдѣлала въ самомъ дѣлѣ то, что всѣ ея чувства были знакомы Ольгѣ, и что, слѣдовательно, Ольга была совершенно въ правѣ говорить и спрашивать прямо, безъ приготовленій. Она еще разъ улыбнулась грустной, покорной улыбкой, впрочемъ, искренно печальной, потому что Настенька только начала свою роль страдалицы; слѣдовательно, еще увлекалась.

— Ты не въ духѣ, душа моя, скажи правду! продолжала Ольга.

— Какой вздоръ! Какъ же я смѣю быть не въ духѣ?..

— Какъ ты смѣешь быть не въ духѣ, когда я именинница! вскричала Ольга, принимаясь ласкать и душить ее поцѣлуями.

— Конечно, такъ...

— Конечно, такъ, когда у именинницы горе...

— А у меня нѣтъ его...

Ольга давно чувствовала горечь ея отвѣтовъ; выносить ихъ не возражая, не разспрашивая, ей стоило большого труда; но она понимала, что разспросы не повели бы ни къ чему: надо было, не противорѣча, доказать Настенькѣ, что она ошибается.

— Прости меня, сказала Ольга: — у тебя есть горе, потому что оно есть у меня. Я увѣрена, что ты измучишься, глядя на меня и на Хотницкаго. Еслибъ ты хоть разъ застала его у Прасковьи Александровны!

— Зачѣмъ? спросила Настенька, вспоминая печальныя сказанія о томъ, какъ гувернантки служатъ прихотямъ своихъ госпожъ, наблюдаютъ за нихъ, передаютъ посланія и прочее, и что изъ этого бываетъ.

— Ты сказала бы мнѣ, мое сокровище, Настя, продолжала Ольга не подозрѣвая ужасовъ, которые воображались ея подругѣ:— ты сказала бы мнѣ, посмотрѣвъ на нее, умѣю ли я порядочно держаться съ порядочнымъ человѣкомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ она здѣсь поселилась, у меня изъ головы не выходитъ, что я неловка... Несмотря на то, что я философствую... Даже нарядъ ея... Еслибъ я умѣла, по крайней мѣрѣ, такъ приколоть волосы, какъ у нея... какъ мило?... Настя, ты видѣла: похлопочи, сдѣлай, чтобъ сегодня я была покрасивѣе.

Настенька вспомнила, что гувернантки иногда исполняютъ должность субретокъ...

— Ты и такъ хороша, отвѣчала она отъ чистаго сердца, но воображая, что льститъ, какъ это неизбѣжно въ ея положеніи.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Въ самомъ дѣлѣ, отвѣчалъ ей Хотницкій, появляясь изъ-за кустовъ, мимо которыхъ онѣ проходили.

Онъ, конечно, не могъ слышать разговора дѣвушекъ, начатаго далеко отъ мѣста, гдѣ они встрѣтились; но оживленіе и вмѣстѣ смущеніе Ольги показало ему ясно, что разговоръ былъ задушевный. Хотницкій могъ не безъ основанія предполагать, что рѣчь шла и о немъ, а эта мысль была ему пріятна. Ужъ не разъ и довольно неотвязно вспоминался ему вопросъ Прасковьи Александровны: «которую изъ этихъ двухъ дѣвушекъ вы любите?» Хотницкій зналъ, что не любилъ Настеньки, но въ послѣднее время, видясь поперемѣнно то съ Прасковьей Александровной, то съ Ольгой, онъ начиналъ спрашивать себя: которую изъ нихъ онъ любитъ? Еслибъ Залѣская не пріѣхала въ деревню и Хотницкій не познакомился съ нею, ему бы не пришло на мысль разбирать свои чувства, такъ же, какъ Ольга не догадалась бы, что любитъ его. Появленіе посторонней все рѣшило: и Ольга и Хотницкій увидѣли, что

они не совсѣмъ чужіе другъ другу, и что ихъ дружба есть что-то другое. Ему бывало пріятно и съ той и другой; но послѣ свиданія съ Прасковьей Александровной онъ чувствовалъ какое-то, хотя пріятное, но мучительное головокруженіе; а день, проведенный въ Кружковѣ, вспоминался ему какъ-то тихо отрадно, такъ, какъ ему хотѣлось бы провести всю свою жизнь. Онъ начиналъ сравнивать обѣихъ этихъ женщинъ, восхищался граціей свѣтской дамы, но забывалъ о ней совершенно, вдругъ вообразивъ предъ собою блестящіе черные глаза Ольги. Онъ высоко цѣнилъ страсть къ наукѣ, которую выказывала Прасковья Александровна, не затруднявшаяся ни мудренымъ терминомъ, ни рѣзкимъ выраженіемъ; но ему бывало очень пріятно учить Ольгу, и его очень радовала ея понятливость. Онъ даже не подозрѣвалъ, что его ученица знала больше, нежели та, которая удивляла его своими познаніями. При Ольгѣ онъ чувствовалъ себя свободнѣе; ему случалось досадовать на нее, но не случалось никогда скучать съ нею. Самая досада всегда кончалась или полнымъ сознаніемъ, что онъ былъ неправъ, или грустью, заставлявшей его искать, не могутъ ли они сойтись въ чемъ-нибудь другомъ, если не удавалось сойтись въ одномъ. Въ послѣдніе дни Хотницкій началъ утомляться бесѣдой Прасковьи Александровны, съ тѣхъ поръ, какъ она назвала это утомленіе грубостью понятій. Онъ, можетъ быть, изъ самолюбія пересталъ упрекать себя въ грубости понятій. Прихоть, заставившая его вдругъ привязаться къ женщинѣ, въ которой, какъ ему казалось, онъ находилъ осуществленіе своего идеала, эта прихоть начинала слабѣть, хотя онъ и не сознавался въ этомъ. Его самого сбивали съ толку мгновенныя пробужденія привязанности, въ родѣ того, которое онъ испыталъ наканунѣ въ свою вечернюю встрѣчу: въ такія минуты онъ не могъ сказать себѣ, кого онъ любитъ, а это считалъ онъ необходимымъ. Любя, какъ ему казалось, Прасковью Александровну, онъ, однако, пошелъ навстрѣчу Ольгѣ, зная, гдѣ встрѣтитъ ее. Ему хотѣлось поздравить ее какъ можно менѣе церемонно. Идя полями, онъ обдумывалъ свою рѣчь, задуманную наканунѣ: о человѣчествѣ и пониманіи жизни, и думалъ такъ крѣпко, что еще не совсѣмъ забылъ ее, когда Ольга была ужъ въ двухъ шагахъ. Онъ только невольно началъ комплиментомъ, вмѣсто другого, блистательнаго вступленія, уже готоваго въ его головѣ.

— Ахъ, здравствуйте! сказала Ольга, которой смущеніе прошло отъ удовольствія.— Какой славный случай завелъ васъ сюда?

— Почему же случай, а не мое желаніе? спросилъ Хотницкій, еще немного забывая свою рѣчь.— Я зналъ, что вы пойдете къ обѣднѣ, и спѣшилъ поздравить васъ прежде всѣхъ, по крайней мѣрѣ постороннихъ.

— Поздравляйте же, сказала она весело и съ чувствомъ, потому что ее тронули слова его, сказанныя просто и съ чувствомъ.

— Желаю вамъ, продолжалъ Хотницкій, заглядываясь на нее:—всегда остаться тѣмъ, что вы есть, на радость всѣмъ, кто васъ любитъ... Это почти совѣтъ, вмѣсто поздравленія, прибавилъ онъ смущаясь.

— Да... сказала она, смущаясь тоже:—и въ немъ больше желанія для другихъ, нежели для меня.

— Для васъ всегда будетъ довольно быть радостью другихъ, отвѣчалъ онъ, совсѣмъ забывъ и общечеловѣческія идеи, и Прасковью Александровну, и затрудняясь выразить то, что чувствовалъ въ эту минуту.

Онъ шелъ подлѣ нея; имъ было какъ-то особенно хорошо вмѣстѣ, хотя оба не знали, что сказать, желая сказать очень многое. Ольга повторяла себѣ, что она счастлива; Хотницкій отдавался безъ оглядки простому и прямому чувству, родившемуся очень давно, но странно непонятному сначала, а впослѣдствіи еще страннѣе запутанному. Оно объяснилось теперь, и по его необыкновенному спокойствію Хотницкій понималъ, что оно истинно.

— Я несъ вамъ подарокъ, сказалъ онъ, ощупавъ въ боковомъ карманѣ своего пальто рамку портрета.

Ольга покраснѣла отъ удовольствія: это вниманіе доказывало, что Хотницкій думалъ о ней даже больше, нежели она ожидала.

— Благодарю заранѣе, отвѣчала она.— Покажите.

Она протягивала руку за подаркомъ смѣло, какъ женщина любимая. Хотницкій досталъ своего Гоголя. Но когда онъ снималъ бумагу, въ которой былъ завернутъ портретъ, у него мелькнула мысль: этотъ подарокъ показался ему неудачнымъ; отъ него повѣяло какимъ-то педантствомъ, какой-то претензіей, какой-то натянутой восторженностью—словомъ, чѣмъ-то, что было совсѣмъ не у мѣста послѣ словъ, сказанныхъ за минуту. Міровыя идеи улетѣли куда-то, и Хотницкій какъ-то смутно догадался, что онѣ не могли бы улетѣть, еслибъ были искренни и въ самомъ дѣлѣ «нераздѣльны съ его существомъ», какъ казалось ему

съ вечера. Ему стало неловко и чего-то совѣстно. Говорить о Гоголѣ послѣ полупризнанія въ любви!... Хотницкій такъ хорошо вспомнилъ людей, способныхъ говорить обо всемъ во всякое время, такъ оцѣнилъ ихъ пустоту и забавную сторону, такъ живо почувствовалъ, что похожъ на нихъ, что, еслибъ было возможно, онъ уничтожилъ бы несчастный портретъ въ эту минуту... Но портретъ былъ уже въ рукахъ Ольги.

— Какъ, сказала она, взглянувъ на него и поднимая глаза на Хотницкаго:— вы разстаетесь съ нимъ? Но это память вашихъ милыхъ университетскихъ годовъ, работа вашего лучшаго друга.

Она была тронута. Хотницкій схватилъ и поцѣловалъ ея руки; онъ былъ восхищенъ ею выше всѣхъ словъ. Эта вѣчная гонительница всего смѣшного не только не нашла его смѣшнымъ, она припомнила то, о чемъ онъ, педантъ, забылъ совершенно, и придала его подарку высокую, истинную цѣну. Хотницкій не смѣлъ вообразить такой доброты, такой понятливой нѣжности чувства; онъ былъ благодаренъ Ольгѣ болѣе, нежели за прощеніе.

— Вы вспомнили, что этотъ портретъ мнѣ дорогъ, сказалъ онъ: — теперь-то я и прошу васъ взять его.

И онъ и Ольга съ каждой минуты болѣе и болѣе находили, что слова или невозможны, или излишни. Ольга хотѣла сказать: «благодарю васъ», но только взглянула на Хотницкаго и взяла подарокъ молча. За то она обратилась съ нимъ къ своей подругѣ:

— Посмотри, Настя.

— Теперь у васъ передъ глазами будетъ вѣчно готовый предметъ спора, сказала Настенька.

— О, нѣтъ, нѣтъ! вскричалъ Хотницкій, которому умозрѣнія, гипотезы, отвлеченныя толкованія представились будто привидѣнія среди бѣла дня.— Нѣтъ, я больше не спорю ни о чемъ и никогда!

— Въ самомъ дѣлѣ? сказала Ольга, засмѣявшись его довольно забавному испугу. — А «женственность?» конецъ толкамъ и о ней?

— О ней прежде всего. Теперь, болѣе нежели когда нибудь, сознаюсь, что я въ ней ничего не понимаю.

Настенька засмѣялась въ свою очередь.

— Будетъ у тебя сегодня Прасковья Александровна? спросила она Ольгу.

Этотъ вопросъ сконфузилъ Хотницкаго; Ольгу онъ разсердилъ. Это была не первая странная выходка Настеньки въ это утро: но теперь она возмущала такую пріятную минуту, что выдержать было еще труднѣе. Ольга была принуждена притвориться, чтобъ отвѣчать спокойно:

— Не знаю. Маменька никого не звала заранѣе; а если кто пріѣдетъ— очень рады.

Хотницкій зналъ, что она пріѣдетъ: еще вчера онъ самъ напомнилъ ей, почти просилъ ее. Теперь онъ не могъ сказать, что боится этой встрѣчи, но желалъ бы не встрѣчаться. Его привязанность къ Ольгѣ была истинна; но у этой привязанности еще не доставало силы быть откровенной... Онъ не сталъ разбирать этого, а сказалъ просто, въ глубинѣ души своей: «какъ это глупо!..»

Потомъ вообразился ему деревенскій обѣдъ, чуть ли не въ полдень, деревенскія барыни въ голубыхъ шаляхъ, деревенскіе франты и прочее, и среди этого Ольга, вѣчно довольная своимъ обществомъ... Ему хотѣлось бы, чтобъ Прасковья Александровна видѣла ее по крайней мѣрѣ не въ духѣ.

И онъ самъ сталъ не въ духѣ отъ разныхъ нелѣпостей, которыя, по привычкѣ, начали возвращаться ему въ голову. Довольно молчаливо дошелъ онъ до перекрестка, отказался проводить дѣвушекъ до ихъ дома и отправился къ себѣ, сказавъ, что придетъ позже.

— Съ чего тебѣ вздумалось помянуть эту Залѣскую? спросила Ольга Настеньку, когда онѣ остались однѣ.

— Чтобъ посмотрѣть, что съ нимъ будетъ, отвѣчала Настенька.

— Было изъ чего хлопотать! Ты только испортила наше гулянье.

— Боже мой! почему же я знала, что тебѣ это будетъ непріятно? Ты почти вспылила при немъ.. Конечно, такъ, продолжала Настенька, которой стало совѣстно, что Ольга не возражала ей: — и, наконецъ, не лучше ли было убѣдиться, хоть такъ, любитъ ли онъ ее. Теперь ты сама видѣла...

— Ее любить нельзя, рѣзко сказала Ольга, убѣждаясь, что всѣми нелюбезностями своей подруги она обязана Прасковьѣ Александровнѣ.

V.

Въ два часа въ Кружковѣ собрались уже гости и въ залѣ начали накрывать столъ. Это не мѣшало дѣтямъ бѣгать и вертѣться вмѣстѣ съ дѣтьми пріѣзжихъ гостей и шумѣть подъ довольно шумные сборы къ обѣду. Двѣ молоденькія дѣвушки, схвативъ подъ руки Настеньку, расхаживали тутъ же, разсказывая ей какой-то секретъ, какъ

всегда это дѣлаютъ дѣвушки, невидавшіяся нѣсколько дней. Легко можно было догадаться, что дѣло шло о задумчивомъ юношѣ, съ длинными русыми кудрями, который рисовался въ дверяхъ гостиной, повидимому, чрезвычайно занятый разговоромъ съ пожилымъ помѣщикомъ, сколько извѣстно, говорившимъ всегда только о серьезныхъ предметахъ. Юноша былъ воспитанникъ какого-то учебнаго заведенія, пріѣхавшій на вакацію къ родителямъ, но ужъ успѣвшій усвоить себѣ «много глубокихъ убѣжденій» и смотрѣвшій на жизнь «не шутя»; потому то онъ и не обращалъ вниманія на деревенскихъ дѣвицъ, которыя для него, «право, для него», какъ признались онѣ Настенькѣ, нарядились въ пышныя платья съ прекраснѣйшими пестрыми оборками. Юношѣ тоже не очень нравилось, что мать его, все еще по привычкѣ, звала его Мишенькой, и разсказывала о его прилежаніи и благонравіи своей знакомой, такой же, какъ она, полной и румяной дамѣ, сидѣвшей подлѣ нея на диванѣ въ гостиной. Катерина Петровна занимала двухъ другихъ дамъ, воспользовавшись тѣмъ же интереснымъ предметомъ разговора. Почти всѣ въ гостиной говорили о воспитаніи, приводя примѣры, какъ оно удавалось или не удавалось; сожалѣли, радовались, смѣялись, какъ это бываетъ вездѣ и всегда. Бесѣда была довольно шумная: въ ней принимали участіе еще два господина: одинъ, худенькій старичокъ, которому, какъ было замѣтно, непремѣнно хотѣлось спорить; другой, человѣкъ еще молодой, высокій, загорѣлый, веселый, съ длинными усами и нѣсколько размашистыми манерами, которому, казалось, хотѣлось непремѣнно согласить всѣхъ. Наконецъ, въ креслѣ, подлѣ хозяйки, помѣщался священникъ, почетный гость, лицо, къ которому часто обращались за рѣшеніемъ спорныхъ вопросовъ, а у окна, въ отдаленіи, сидѣлъ совсѣмъ безмолвный старый отставной маіоръ, занятый единственно своей пѣнковой трубкой, изъ которой онъ выпускалъ удивительныя колечки дыма.

Въ наше время, когда городскія привычки, городская роскошь съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе входятъ въ деревенскую жизнь, когда даже при очень ограниченныхъ средствахъ являются претензіи на щегольство, а при очень ограниченномъ образованіи—на хорошій тонъ, такое общество, какое собралось у Катерины Петровны, почти рѣдкость. Тутъ была еще деревня въ ея старинномъ значеніи; она еще имѣла своихъ представителей въ этихъ барыняхъ, сознававшихся, что онѣ сами входятъ во все въ своемъ хозяйствѣ, въ этихъ господахъ, читавшихъ, какъ говорили они, «только отъ скуки». Правда, и они дѣлали уступки требованіямъ новаго времени: маменьки уже позволили молодымъ дочерямъ переколоть по своему банты ихъ старомодныхъ чепцовъ; отцы, хоть и нѣсколько недовѣрчиво, а ужъ слушали юные толки о «новыхъ убѣжденіяхъ»; но съ вида кружковское общество было похоже на общество, какое было двадцать лѣтъ назадъ.

Ольга стояла на балконѣ съ молодой дамой, женой серьезнаго помѣщика, съ которымъ разговаривалъ юноша. Эта дама выражала собою новыя условія и новые обычаи. Она была маленькой законодательницей модъ въ своемъ краю и одѣвалась, подражая, по возможности и не всегда удачно, моднымъ картинкамъ. Воспитанная въ какомъ-то пансіонѣ, она говорила по-французски очень бойко, хотя и не очень правильно, читала много романовъ, любила танцовать, разыгрывала роль маленькой царицы на уѣздныхъ балахъ, и потому позволяла себѣ немножко злословить и подсмѣиваться надъ почтенными поклонницами старины, осуждавшими ея поступки. Впрочемъ, и злословіе, и осужденіе никогда не заходили далеко; не бывало ни ссоръ, ни размолвокъ, ни объясненій, которыя часто хуже и того и другого. Всѣ знали, что Олимпіада Николаевна «добрая душа» и не называли ее иначе; она была готова плакать надъ всякой чужой бѣдой, отдать послѣднее, подвергаясь гнѣву своего разсчетливаго супруга, запутаться въ непріятности, лишь бы выручить иногда даже незнакомаго человѣка. Она была вѣчно весела и обѣщала долго остаться молодою. Ольга любила ее; Хотницкій находилъ, что она скучна своей пустотой и маленькими претензіями.

Хотницкій пріѣхалъ въ это время, и едва успѣлъ поклониться Катеринѣ Петровнѣ и именинницѣ, какъ его заключилъ въ объятія молодой помѣщикъ, а старичокъ предложилъ ему вопросъ: что, по его мнѣнію, ученіе: свѣтъ, какъ полагали до сихъ поръ, или тьма, какъ признаетъ онъ самъ? Общество дамъ, какъ-то не взявъ въ толкъ этого вопроса, не могло разрѣшить его и запутывало такими положительными примѣрами, что самъ спорщикъ началъ теряться. Пріятель Хотницкаго рѣшилъ его разомъ.

— Э, помилуйте! прервалъ онъ: — все свѣтъ: и ученье свѣтъ, и неученье свѣтъ,

какъ случится. Вотъ онъ, Василій Дмитричъ, учился и вышелъ человѣкомъ; а я не учился и все-таки живу себѣ, слава Богу. Дѣло, кажется, ясное.

— Помилуйте! вскричалъ старичокъ:—это не то. Вы говорите о душевныхъ свойствахъ, а я о познаніяхъ...

Споръ поднялся еще громче.

— Что это, сказала Олимпіада Николаевна Ольгѣ довольно громко, увидя, что Хотницкій стоитъ у дверей балкона: — какіе нынче мужчины стали нелюбезные! слова не скажутъ, чтобъ можно было ихъ слушать съ удовольствіемъ; просто, одолѣваютъ или ученостью, или политикой.

— Пускай себѣ, отвѣчала тихо Ольга: — нечего имъ за то и выговаривать; они, пожалуй, догадаются, что намъ безъ нихъ скучно.

Хотницкій слышалъ ея отвѣтъ, и отвѣтъ ему понравился, не смотря на то, что не нравилась ему Олимпіада Николаевна: Ольга такъ мило давала совѣтъ, будто шутя и соглашаясь съ той, которой совѣтовала.

— Ахъ, какія вы милыя, право! Намъ, конечно, въ своей компаніи не скучно, когда знаешь другъ друга коротко, какъ мы съ вами, а какъ наберутся постороннія, да вычурныя... Будетъ къ вамъ Залѣская?

— Не знаю; можетъ быть.

— Сейчасъ Анна Ивановна сказывала, что какъ она ѣхала мимо ихъ дома, такъ видѣла, что карету закладывали: вѣрно, къ вамъ сбирается. Я думаю, часа четыре за туалетомъ просидѣла... Любопытно на нее посмотрѣть; я еще ея не встрѣчала. Хороша она? Я съ ней хочу познакомиться.

Хотницкій пришелъ въ волненіе. Онъ ждалъ Прасковью Александровну и, убѣдясь въ это утро, что любитъ Ольгу, не могъ вообразить, что женщина свѣтская, разборчивая, «необыкновенная», найдетъ ее объ руку съ такой нецеремонной, неизящной особой. Олимпіада Николаевна хочетъ ей представиться! Неужели Ольга возьмется ихъ знакомить?

— О чемъ задумались? спросилъ его молодой помѣщикъ. — Пойдемте-ка лучше на балконъ: тамъ пріятнѣе.

— Милости просимъ, Сергѣй Петровичъ, отозвалась ему Олимпіада Николаевна.

Хотницкій былъ очень радъ, что она оставила Ольгу.

— Кажется, сказалъ онъ Ольгѣ:—Олимпіада Николаевна съ большимъ нетерпѣніемъ ожидаетъ Залѣскую.

— А я отъ всей души желаю, чтобъ она не дождалась, отвѣчала Ольга.

— За что же это? Со стороны Залѣской это будетъ вниманіе...

— Вы знаете, что я дорожу добрымъ расположеніемъ ко мнѣ, отвѣчала Ольга.—Залѣская...

Ея слова и разговоръ другихъ были прерваны стукомъ и звономъ разбитыхъ тарелокъ; вслѣдъ затѣмъ въ залѣ раздался дѣтскій плачъ.

— Что тамъ, Оленька? спросила Катерина Петровна.

Ольга побѣжала взглянуть; гости были встревожены, кромѣ юноши, который чрезъ плечо оглянулся въ залу и потомъ снова принялъ свою горделиво-спокойную позу въ дверяхъ.

— Если разбили что—не бѣда: это знакъ къ прибыли, объяснила одна гостья Катеринѣ Петровнѣ.

— Лишь бы не случилось чего съ пирогомъ, замѣтилъ старичокъ.

— Успокойтесь, сказала Ольга, возвращаясь: — пирогъ цѣлъ и невредимъ и его сейчасъ подадутъ. Это только нашумѣли дѣти.

— Пошли къ нимъ няню, Оленька.

— А хорошъ будетъ пирогъ, Ольга Григорьевна? обратился къ ней старичокъ, любезничая.

— Великолѣпный! отвѣчала она съ восхищеніемъ.

— Неужели даже лучше прошлогодняго?

— Какое сравненіе! За этимъ я сама хлопотала — вотъ увидите.

— За что ни возьмется барышня, во всемъ художница!

— Вы радуетесь моему новому таланту? спросила Ольга Хотницкаго, который смотрѣлъ на нее, улыбаясь.

— Нѣтъ, восхищаюсь старыми, отвѣчалъ онъ тихо:—вашему умѣнью принять все къ сердцу, даже мелочи, сказать всякому что нибудь...

— По его вкусу?.. Ай, какое остроуміе! прервала она, смѣясь.

Въ эту минуту двѣ барышни возвратились изъ залы, держась за руки: но увидѣвъ, что Ольга говоритъ съ Хотницкимъ, какъ будто не посмѣли подойти къ нимъ и усѣлись какъ можно ближе къ юношѣ. Вслѣдъ за ними вошла Настенька, нѣсколько сконфуженная, ведя дѣтей и направляясь къ балкону. Ольга остановила ее.

— Куда ты, Настя?

— Въ садъ. Въ залѣ они все шалятъ.

— Пошли ихъ къ нянѣ; Богъ съ ними. Не уходи, сдѣлай милость.

— Я думаю, это моя обязанность, возразила Настенька и прошла.

Ольга покраснѣла. Хотницкій съ удивленіемъ посмотрѣлъ вслѣдъ Настенькѣ.

— Что съ нею? спросилъ онъ.

— Вы спрашивали, за что я не люблю Залѣскую? отвѣчала Ольга очень тихо, но встревоженная:—прежде мнѣ только не нравились ея странности, но теперь у меня есть настоящая причина—просто не любить ее... Что еще наговорила она Настенькѣ? чѣмъ она ее возмутила, что Настенька стала на себя непохожа въ эти три недѣли? Замѣтили ли вы?.. Я вамъ говорю это, только вамъ; я не признаюсь и маменькѣ, какъ меня мучитъ эта перемѣна! Вмѣсто друга, сестры, подлѣ меня посторонняя, которая отталкиваетъ мои ласки, которая мнѣ не довѣряетъ! И это все дѣло Залѣской, ея выспреннихъ, глупыхъ фразъ—я увѣрена. Знаете ли, что я огорчена, какъ только возможно, что я оскорблена, что я сержусь...

— Можетъ быть вы ошибаетесь, возразилъ Хотницкій, думая, однако, что за фразами у Прасковьи Александровны дѣло не станетъ.

— Не ошибаюсь; это такъ есть. Всякій разъ, какъ Настенька побываетъ у нея, то становится холоднѣе, своенравнѣе. Это начинаетъ замѣчать и маменька, сколько я ни стараюсь скрыть... Повѣрите ли вы, что я иногда дѣлаю? я лгу, говорю маменькѣ, что Настенька нездорова, чтобъ извинить ея дурное расположеніе духа... Вотъ несчастіе, котораго я не ожидала. Еслибъ я могла знать, что ей толкуетъ Залѣская!

— Разспросите ее.

— Развѣ это можно разспрашивать?.. Я такъ рѣзка — я это знаю; мнѣ никогда не разувѣрить ее словами.

— Ее разувѣрятъ ваши поступки; вѣдь вы не перемѣнились къ ней?

— Могу ли я къ ней перемѣниться?

— Такъ подождите, она одумается; это капризъ; онъ пройдетъ. Повторяю: вы сами, можетъ быть, ошибаетесь.

— Оленька! кажется, Залѣская пріѣхала, сказала Катерина Петровна, подходя къ нимъ.

Какъ существо мыслящее, Прасковья Александровна ничего не дѣлала безъ анализа; поэтому, сбираясь ѣхать на именины Ольги, она спросила себя, что она дѣлаетъ, какую цѣль можетъ имѣть этотъ поступокъ, а главное, каково его нравственное значеніе для нея самой и для тѣхъ, кого она увидитъ на этомъ праздникѣ? Она хотѣла бы не ѣхать, но вспомнила, что люди не осудятъ ее (какое дѣло ей до ихъ осужденій!), но оскорбятся, сочтутъ ея уступку эстетическому требованію души — за невниманіе. Она рѣшилась лучше страдать. Зная, что великіе смертные никогда не могутъ слишкомъ умалиться предъ малыми, она рѣшилась снизойти до конца; въ ея памяти промелкнули волшебныя сказки: Фея готовилась нарядиться дряхлой старушонкой, отречься отъ власти, знанія и прелести... «Для чего?» вдругъ мрачно спросила себя Прасковья Александровна.

Она принялась жалѣть о себѣ до такой степени, что еслибъ съ ней былъ кто нибудь, напримѣръ, Настенька, она убѣдила бы ее непремѣнно, что съѣздить въ Кружково, пробыть тамъ нѣсколько часовъ—все равно, что съ болью оторвать что-то отъ своего сердца, отъ своего ума... Прасковья Александровна не надѣялась убѣдить Хотницкаго.

Онъ будетъ тамъ, у ногъ своей деревенской красавицы. Что-жъ? онъ выбралъ то, что ему по плечу, то, что не ставитъ его каждую минуту на мѣсто своимъ превосходствомъ. Въ ней, видите ли, «прелесть непосредственности!» Не доказать ли ему, какъ просты ея пріемы? Внутренно женщинѣ съ образованіемъ и сердцемъ можно истерзаться, но наружно — ничего нѣтъ легче, какъ выказать эту «непосредственность», то есть чувствительную, необразованную пошлость...

Прасковьѣ Александровнѣ стало много легче съ той минуты, какъ она завидѣла впереди нѣчто въ родѣ побѣды надъ соперницей: она рѣшилась затмить ее своей изящной простотой, своимъ сдержаннымъ величіемъ.

Предполагая, что всѣ бросятся къ ней на встрѣчу, что она будетъ цѣлью всѣхъ этихъ необразованно-нецеремонныхъ взглядовъ, она вошла осторожно, такъ явно желая быть незамѣченной, что это всѣ замѣтили. Зная, что деревенскія жительницы щеголяютъ пестротой наряда, она выбрала классическій нарядъ героинь романа, желавшихъ одѣваться просто: «воздушное» бѣлое платье и букетъ геліотроповъ на груди. Кружковскія гостьи, знавшія цѣну «всякому лоскуту», испугались дороговизнѣ этой простоты, едва взглянули на нее.

— Excusez-moi, du grâce, заговорила она, обращаясь къ Ольгѣ; и вдругъ, очень замѣт-

но спохватившись, продолжала по-русски:— простите, что я не прислала поздравить васъ, а пріѣхала незваная; но мнѣ сказали, что это можно; и въ самомъ дѣлѣ, между сосѣдями...

Всѣ, кто былъ въ гостиной, пріѣхали незваные и многимъ стало какъ будто неловко: они какъ будто получили урокъ. Оговорка, что «въ самомъ дѣлѣ, между сосѣдями» значила только, что въ такой глуши, пожалуй, все съ рукъ сходитъ.

— Милости просимъ, сказала Катерина Петровна, указывая мѣсто на диванѣ.

Прасковья Александровна съ поклономъ отказалась отъ этой чести, мимоходомъ взглянувъ на двухъ полныхъ дамъ, сидѣвшихъ на диванѣ, и помѣстилась въ креслѣ, такъ что у многихъ явилось подозрѣніе, что она отказалась больше для свѣжести своего платья.

— О чемъ же я думаю? сказала она съ дѣтской игривостью, взявъ руку Ольги:—я привезла вамъ букетъ, дорогая именинница. Хотницкій, потрудитесь его спросить.

Въ деревняхъ не подносятъ букетовъ именинницамъ; это западное обыкновеніе еще не вошло въ моду; еще менѣе существуетъ тамъ короткость, съ которой Прасковья Александровна слегка кивнула молодому человѣку и послала его за букетомъ. Необыкновенная женщина удивляла, сколько не старалась примѣниться къ тону общества.

Она подала букетъ Ольгѣ, поцѣловала ее еще разъ и старалась не видѣть, какъ дѣвицы подошли посмотрѣть на этотъ подарокъ; ихъ любопытство казалось ей неприличнымъ, что даже нѣсколько выразилось на ея лицѣ; но, рѣшившись не измѣнять своему изящному внутреннему страданію ни словомъ, ни поступкомъ, Прасковья Александровна опять пріятно улыбнулась и сказала, садясь:

— О чемъ же вы здѣсь поговаривали?

Этотъ вопросъ нѣсколько удивилъ общество и остался безъ отвѣта, хотя Прасковья Александровна разсчитывала на его граціозную безцеремонность. Замѣтивъ, что общество было еще менѣе въ состояніи понимать ее, нежели даже сколько она надѣялась, она продолжала:

— Хорошо, когда садовники сами охотники до цвѣтовъ: я никакъ не надѣялась, что найду свой садъ въ такомъ порядкѣ.

— Къ вашему пріѣзду, вѣрно, готовились, отвѣчала ей Анна Ивановна, мать задумчиваго юноши, который смотрѣлъ на свѣтскую даму съ самымъ оживленнымъ вниманіемъ.

— Еслибъ сами здѣсь изволили жить, продолжала другая гостья: — все было бы въ порядкѣ.

— Ахъ, Зорькино такъ хорошо! возразила съ увлеченіемъ Прасковья Александровна:—я такъ люблю деревню...

— А рѣдко сюда жалуете; да никакъ въ первый разъ.

— Да, въ первый разъ...

— То-то же!

— Вы осмотритесь хорошенько: вѣкъ не выѣдете! заговорили дамы, очень довольныя, что пріѣзжая обратилась къ нимъ съ разговоромъ и искренно желая поддержать его.

— Домъ безподобный у васъ; вы, я думаю, не знаете, какую комнату выбрать сидѣть цѣлый день: всѣ хороши.

— Право; а церковь тутъ и есть. Намъ инымъ до прихода верстъ десять, а вамъ съ крыльца на крыльцо...

— Черезъ садъ, прибавила другая гостья,—съ балкона вся служба слышна.

Прасковьѣ Александровнѣ было какъ-то неловко, что эти особы знаютъ даже расположеніе ея комнатъ.

— Здоровье не позволяетъ мнѣ жить въ деревнѣ, возразила она тихо среди шумнаго разговора.

— Здоровье? А чѣмъ вы нездоровы?

— Здѣсь воздухъ одинъ чего стоитъ! помилуйте!

— Матушка, повѣрьте вы мнѣ (сказала громче другихъ толстая Анна Ивановна, увлекаясь до того, что положила свою руку безъ перчатки на пышную кисею гостьи), не думайте вы о здоровьѣ, лучше будетъ; кушайте больше...

— Вѣдь это вамъ по комплекціи, Анна Ивановна, прервала другая гостья:—а онѣ, посмотрите, какія худыя...

— Ахъ, Лизавета Кирилловна, да вѣдь и я худа была!

Прасковья Александровна покраснѣла и, воспользовавшись споромъ двухъ дамъ, слегка потянула свое платье изъ-подъ руки Анны Ивановны.

— Вы чѣмъ нездоровы? спросилъ старичокъ-помѣщикъ, садясь подлѣ нея.

— Вы докторъ? спросила Прасковья Александровна, вспыхнувъ еще разъ и невольно взглянувъ на него съ негодованіемъ.

Дамы расхохотались, а съ ними и старичокъ, принявъ это за самую милую шутку. Онъ принялся выхвалять искусство уѣзднаго доктора, который, по его словамъ, больше зналъ, чѣмъ иныя европейскія знамени-

тости, и Прасковья Александровна страдала еще болѣе отъ того, что пошлость осмѣливалась говорить что нибудь непошлое. Дамы утверждали, что спасеніе въ однихъ домашнихъ средствахъ. Старичокъ возразилъ имъ, что полагаться на эти средства, значитъ, полагаться на случай. Ему удалось толкнуть разговоръ на отвлеченныя разсужденія, до которыхъ, казалось, онъ былъ охотникъ.

— Какой же это случай? вовсе не случай! возражала Лизавета Кирилловна:—я знаю, что если я на ночь напьюсь малины сухой...

— Признаете ли вы судьбу? спрашивалъ старичокъ Прасковью Александровну.

— Какая тутъ судьба, батюшка? Судьба въ одномъ замужествѣ, прервала Анна Ивановна:—той ужъ не избѣжишь...

— А тутъ, продолжалъ старичокъ:—если я пью вашу малину, я думаю: не то она поможетъ мнѣ, не то нѣтъ; я разсчитываю на неизвѣстное; нѣчто въ родѣ предопредѣленія — не правда ли? прибавилъ онъ, обращаясь къ Прасковьѣ Александровнѣ.

Прасковья Александровна наклонила голову къ своему букету изъ геліотроповъ. Всѣ эти люди казались ей странны, антипатичны въ высшей степени; она не находила въ себѣ силъ говорить съ ними, смотрѣть на нихъ. Она оглянулась съ отчаяніемъ: Катерина Петровна занималась другими гостьями; Ольги не было въ комнатѣ. Прасковья Александровна догадалась, что она, какъ истинная провинціальная хозяйка, хлопочетъ о послѣднихъ приготовленіяхъ къ обѣду. Хотницкій разговаривалъ на балконѣ съ своимъ молодымъ пріятелемъ, съ священникомъ и съ мужемъ Олимпіады Николаевны. Онъ замѣтилъ взглядъ Прасковьи Александровны и подошелъ къ ней.

— Вамъ скучно? спросилъ онъ очень тихо.

— Мнѣ скучно?.. О, нѣтъ! отвѣчала она громко и съ усиліемъ, отъ котораго странно звучалъ ея голосъ.

— Однако мнѣ такъ показалось, продолжалъ Хотницкій тихо.

— Не спрашивайте меня, сказала она, нѣсколько теряясь:—прилично ли здѣсь, что вы говорите со мною тихо?.. Гдѣ Настенька?

— Вѣдь супругъ вашъ у себя въ деревнѣ? спросила ее Лизавета Кирилловна.

— Мой мужъ?... да, отвѣчала Прасковья Александровна, будто пробуждаясь отъ сна и заставляя себя понимать, что ей говорили.—Да, онъ въ Твери.

— Что-жъ, онъ сюда къ вамъ пожалуетъ или вы къ нему поѣдете?

— «Этимъ людямъ все нужно знать!»... подумала Прасковья Александровна и отвѣчала вслухъ:—я все лѣто останусь въ Зорькинѣ.

— Такъ-съ, хозяйничать, денежки копить...

— А зимой ужъ вмѣстѣ съѣдетесь съ вашимъ супругомъ въ Москвѣ или въ Петербургѣ? спросилъ старичокъ, любезничая.

— Я на зиму уѣду въ Парижъ, отвѣчала Прасковья Александровна, не выдержавъ болѣе характера.

Но ея отвѣтъ не удивилъ никого и не встрѣтилъ возраженій. Путешествія за-границу сдѣлались очень обыкновенны, и деревенскіе жители примирились съ мыслью, что богатые люди могутъ ихъ позволять себѣ. Лизавета Кирилловна не могла помириться съ другой мыслью.

— Супругъ вашъ тоже поѣдетъ? спросила она.

— Ему нельзя: онъ служитъ, отвѣчала Прасковья Александровна.

— Ахъ, да, слышала я: онъ тамъ предводителемъ, въ своемъ уѣздѣ. Слышала, слышала. Прекраснѣйшій человѣкъ вашъ супругъ.

— То-то онъ безъ васъ скучать будетъ! замѣтила неотвязчивая Лизавета Кирилловна.

Прасковья Александровна страдала; она не ждала, что эти люди не только впутаются въ ея хозяйство, образъ жизни, понятія, но даже не пощадятъ ея семейной жизни, ея чувствъ. Она поняла всю невозможность примѣниться къ этимъ людямъ, выносить ихъ грубость, не грубѣя и не терзаясь; она поняла, что ихъ ничѣмъ нельзя оскорбить, потому что они не поймутъ оскорбленія. Съ негодованіемъ взглянула она на Хотницкаго, который, должно признаться, не понимая причины этого негодованія, сконфузился и предложилъ ей взглянуть на цвѣтникъ съ балкона.

— Тамъ пуан-де-вю прекрасный, сказалъ старичокъ, вставая за нею.

Прасковья Александровна оглянулась на него черезъ плечо и, бросивъ огненный взглядъ на тѣхъ, кто былъ на балконѣ, сказала Хотницкому:

— Вы предлагаете мнѣ перемѣнить point-de-vue, чтобъ видѣть другихъ оригиналовъ? Пойдемте.

— Что съ вами? спросилъ Хотницкій, совершенно изумленный.

— Что можетъ быть со мной? Вы хотѣли, чтобъ я была здѣсь—я здѣсь. Вы должны быть довольны. Успокойтесь: я умѣю держаться прилично.

Она не напрасно совѣтовала ему успокоиться: Хотницкій былъ взбѣшонъ. Ничего нѣтъ досаднѣе, какъ глупость женщины, которая намъ нравится.

— Что-жъ вы слышали или видѣли непріятнаго? спросилъ Хотницкій въ досадѣ, забывая, что этотъ оживленный разговоръ вполголоса можетъ обратить на себя общее вниманіе.

— Послѣ! сказала она, выходя на балконъ.

Двѣ дѣвицы стояли тамъ, держась за руки Олимпіады Николаевны. Прасковья Александровна слегка поклонилась ей, и, увидя Настеньку въ цвѣтникѣ, поспѣшно и необыкновенно граціозно сошла къ ней. Онѣ обнялись. Хотницкій замѣтилъ, что Настенька сдѣлалась еще задумчивѣе послѣ нѣсколькихъ словъ, которыя сказала ей Прасковья Александровна. Онѣ стали ходить по дорожкѣ передъ балкономъ.

— Пойдемте же отсюда, сказала Олимпіадѣ Николаевнѣ одна изъ барышень: — она скажетъ, что мы нарочно стоимъ, чтобъ смотрѣть на нее.

Два часа назадъ, Хотницкій назвалъ бы эти слова глупой провинціальной выходкой, теперь онъ подумалъ, что они едва ли не справедливы. Ему стало тяжело. Онъ не могъ хладнокровно убѣждаться, что женщина, которую онъ почти любилъ, не заслуживала любви; онъ разобралъ, сколько было несноснаго въ ея образованности, сколько было требовательности въ ея «всепрощающей любви» къ человѣчеству; онъ спрашивалъ себя, какъ ни одна изъ сильныхъ, прекрасныхъ (какими онѣ казались ему до сихъ поръ) способностей души ея не пригодилась для оживленія этого простого круга? какъ въ этой душѣ не нашлось ни одного добраго чувства, ни одного ласковаго слова для тѣхъ, кто встрѣтилъ ее, какъ умѣлъ, ласково? неужели ничто «великое» не годится для мелкаго свѣта, или это «великое» не то, чѣмъ оно кажется, когда стоитъ одно, безъ сравненій и непримѣняемое къ дѣлу?.. Хотницкій не могъ улыбнуться своей вѣчной привычкѣ къ разбору, но разсердился самъ на себя за то, что все еще разбиралъ невольно. «Она добра», подумалъ онъ: «но ее отталкиваетъ внѣшность; я осуждаю ее напрасно. Тамъ, гдѣ ея чувство можетъ проглянуть въ изящной формѣ, оно проглянетъ».

— И такъ проходитъ все ваше время, мой бѣдный другъ? громко сказала Прасковья Александровна Настенькѣ, проходя у балкона.—Васъ лишаютъ даже *этого* общества, васъ отдаляютъ, чтобъ вы и тутъ не мѣшали.

Хотницкому стало стыдно за нее.

Они услышали, что зовутъ обѣдать. Гости поднялись, зашумѣли. Хотницкій остался на своемъ мѣстѣ; ему не хотѣлось встрѣчаться съ Прасковьей Александровной.

— Прасковья Александровна! Настя! милости просимъ! сказала Ольга, выбѣжавъ на балконъ и не замѣчая Хотницкаго.

Хотницкій видѣлъ, какъ необыкновенная женщина пожала руку Настенькѣ, будто желая проститься съ нею и придать ей мужества; обѣ прошли, не обращая на него вниманія, также и Ольга, которая остановилась въ дверяхъ; къ ней подошелъ священникъ. Въ гостиной не было больше никого.

— Я все выбиралъ время вамъ отчетъ отдать, сказалъ священникъ.—Исполнилъ ваше порученіе.

— Какое? спросила Ольга, забывая, потому что торопилась.

— А въ Дятловомъ дворъ сгорѣлъ; вы поручили мнѣ переслать деньги. Сегодня мой родственникъ оттуда пріѣхалъ; уже лѣсъ покупаютъ, хотятъ строиться.

— Ахъ, слава Богу! сказала Ольга съ радостью.—Какъ я вамъ благодарна, батюшка!

— Такъ нарочно и готовилъ вамъ сказать въ день ангела. Утѣшили вы ихъ! Я хотѣлъ было сказать имъ отъ кого...

— Что вы! какъ можно! вскричала Ольга, испугавшись:—я нарочно васъ просила.

— Я вѣдь только такъ; будьте спокойны...

— Сохрани Богъ! не говорите никому, прервала Ольга.—Деньги собственно мои: я вышивала одно модное шитье, Настя переслала его въ Москву, къ своимъ знакомымъ; его тамъ дорого купили. Маменька и не знаетъ, что я работала.

— Когда же вы успѣвали?

— А ночью; въ четыре мѣсяца много можно нашить... Пожалуйте кушать... Ради Бога, батюшка, не сказывайте никому. Вы одни это знаете, да Настя. Вы Настю такъ огорчите, а я... я не знаю, какъ васъ просить...

— Господь васъ благослови, даю вамъ слово, отвѣчалъ растроганный старикъ, уходя за нею.

Хотницкій смотрѣлъ вслѣдъ Ольгѣ, и въ душѣ его было какъ-то хорошо и больно.

«Я вѣдь зналъ объ этихъ погорѣлыхъ», думалъ онъ: «я бы могъ сдѣлать для нихъ вдвое больше, нисколько не трудясь, а не пришло же мнѣ это въ голову! И такъ все просто

и никто не знаетъ, и никто не можетъ подозрѣвать: она бѣдна сама... И какая нибудь модница надѣнетъ ея шитье, не воображая, какія руки его работали!»

Хотницкій совершенно забывалъ, что изъ всѣхъ гостей онъ не являлся къ обѣду.

— Василій Дмитричъ, гдѣ вы? сказала Ольга, входя на балконъ:—что съ вами сдѣлалось?

— Я васъ такъ люблю, Ольга Григорьевна, отвѣчалъ онъ, схвативъ ея руки и цѣлуя ихъ:—что съ ума сойду, если вы меня не любите!

Взглядъ его былъ такъ искрененъ, голосъ такъ прерывался, все, что онъ наговорилъ потомъ, было такъ хорошо безсвязно, что Ольга, счастливая столько же, сколько и онъ, сама не помня какъ, нѣсколько разъ повторила:

— Я люблю васъ.

Эта сцена долго бы не кончилась, еслибъ не прервалъ шумъ, раздавшійся въ гостиной. Кружковскій домъ былъ не великъ; тѣснота залы не позволяла всѣмъ гостямъ помѣститься за однимъ столомъ, и потому многіе безцеремонно брали свои приборы и садились къ другимъ столикамъ. Олимпіада Николаевна и двѣ барышни шумно побѣжали въ гостиную, преслѣдуемыя старичкомъ, котораго онѣ не хотѣли принимать въ свое общество.

— Пойдемте, сказала Ольга.

Хотницкій сообразилъ, что съ этой минуты онъ больше не разстанется съ Ольгой. Ему было хорошо и весело на душѣ; ему хотѣлось дѣлиться весельемъ со всѣми; онъ зналъ, что ничѣмъ не можетъ столько угодить Ольгѣ, какъ занимая и оживляя ея гостей; онъ сказалъ себѣ, что это даже его обязанность, и принялся исполнять ее съ увлеченіемъ. Онъ спорилъ со старичкомъ, былъ любезенъ съ Олимпіадой Николаевной, смѣшилъ барышень, и наконецъ въ полчаса настолько заслужилъ ихъ дружбу и довѣріе, что предложилъ имъ привести изъ залы за ихъ столъ Михайла Ѳедоровича, юношу, который такъ сильно занималъ ихъ. Хотницкому хотѣлось видѣть Ольгу, которая была въ залѣ.

Ольга не садилась за столъ: это дозволяется въ деревняхъ, гдѣ думаютъ больше объ угощеніи гостей, нежели объ этикетѣ. Между тѣмъ какъ ея мать занимала почетное мѣсто хозяйки и заботилась только о поддержаніи разговора, Ольга распоряжалась, приказывала, приходила и уходила, находя время сказать пріятное слово, посмѣяться, поблагодарить за привѣтствіе. Она была счастлива, и мать радовалась, глядя на ея милое, оживленное лицо и не догадываясь о причинѣ этого счастья. Хотницкій подошелъ къ Ольгѣ въ то время, какъ она угощала стараго отставного маіора, котораго наконецъ заставила разговориться. Всѣ знали, что это умѣетъ сдѣлать одна Ольга, и всякій разъ поздравляли ее, когда ей удавалось.

— Можно вызвать туда молодого человѣка? спросилъ Хотницкій Ольгу: — тамъ его хотятъ видѣть.

— Пожалуй, отвѣчала Ольга.

Они оглянулись оба разомъ: юноша сидѣлъ напротивъ, рядомъ съ Прасковьей Александровной, которая говорила что-то съ жаромъ и вполголоса.

— Когда она успѣла очаровать его? сказалъ Хотницкій, едва удерживаясь отъ смѣха.

Ольга не улыбалась: она была такъ счастлива, что не могла насмѣхаться.

Прасковья Александровна очаровывала мгновенно: идя къ обѣду, въ дверяхъ, она уронила свой букетъ; юноша, стоявшій у этихъ дверей и постоянно не сводившій съ нея глазъ, поднялъ геліотропы, за что и услышалъ слабое «merci», произнесенное такъ, какъ никогда не скажетъ провинціальная дѣвица. Вслѣдствіе чего, онъ бросился подать ей стулъ, когда она садилась, и самъ схватился за другой рядомъ съ нею.

— Вы сядете здѣсь? спросила Прасковья Александровна.

— Ici, madame, отвѣчалъ юноша, не робѣя: въ этихъ двухъ словахъ онъ былъ увѣренъ.

И онъ сѣлъ.

Въ нѣсколько минутъ онъ исчерпалъ до дна всѣ свои вокабулы, услуживая Прасковьѣ Александровнѣ и сопровождая каждую услугу приличнымъ поясненіемъ:

— De l'eau, madame?

— Du sel, madame?

И такъ далѣе.

— Мишенька мой какой ловкій кавалеръ будетъ! замѣтила, не стѣсняясь, Анна Ивановна своей сосѣдкѣ.

— Видишь, пострѣленокъ! а я его въ люлькѣ качала!

Прасковья Александровна тихо и плавно обратила взоръ на несчастнаго. Кровь бросилась ему въ лицо: школьничій апетитъ, не оставлявшій его и среди любезностей, исчезъ въ минуту; юноша не зналъ, куда взглянуть, и еще менѣе зналъ что сказать.

Необыкновенная женщина поняла его.

— Какой родъ службы вы намѣрены избрать? спросила она тихо.

— Ему, матушка, еще три года надо въ заведеніи пробыть, отозвалась всеслышащая Анна Ивановна.

— Пріѣзжайте въ Москву, продолжала Прасковья Александровна, не обращая на нее вниманія. — Оставьте этотъ ограниченный курсъ ученія, который не можетъ развить ничьихъ способностей, а только стѣсняетъ ихъ. Вамъ нужно болѣе, и вы сами это понимаете.

Юноша ничего не понималъ и никогда не размышлялъ объ этомъ предметѣ; онъ сконфузился, хотя чувствовалъ себя очень пріятно. Прасковья Александровна снизошла ободрить его.

— А жизнь! продолжала она: — вамъ нужно болѣе жизни, что нибудь полнѣе, изящнѣе... шире, досказала она наконецъ, найдя слово.—Здѣсь вы стѣснены—не правда ли?

— Конечно, отвѣчалъ онъ, еще колеблясь:—здѣсь, въ деревнѣ, какая свобода?

— Въ деревнѣ? Я думала въ деревнѣ и раздолье, сказала она, желая заставить его думать и высказываться.

— Нѣтъ-съ, въ городѣ много лучше. Здѣсь что? Тамъ знакомые, товарищи: не видишь, какъ время летитъ... на крылахъ.

Ему показалось необходимымъ выразиться нѣсколько изысканно.

— Вы много бываете въ обществѣ?

— Общество у насъ превосходное, отвѣчалъ онъ смѣло, между тѣмъ какъ необыкновенная женщина взглянула на него съ состраданіемъ.

«Какая богатая натура!» подумала она и сказала задумчиво:

— Вы не знаете общества!

Юноша вспыхнулъ: онъ обидѣлся.

— Вы знаете, что сказалъ Декартъ... одинъ великій мыслитель, пояснила Прасковья Александровна: — «чтобъ узнать истину, надо разъ въ жизни отрѣшиться отъ всѣхъ усвоенныхъ себѣ понятій». Вамъ, чтобъ узнать общество, надо совсѣмъ забыть то, которое до сихъ поръ вы знали.

Онъ окончательно не понималъ ея.

— Вы заинтересовали меня, продолжала Прасковья Александровна, не подозрѣвая этого непониманія:—пріѣзжайте ко мнѣ въ Зорькино.

У нея мелькнула мысль показать ему въ лицахъ, или, вѣрнѣе, въ самой себѣ то общество, о которомъ она говорила.

— Я замѣчаю, васъ удивляютъ мои слова; вы будто слышите что-то новое, что душа ваша предвкушала безсознательно, чему она не находила слова или названія— это такъ; на первый разъ это всегда такъ. Вы переходите отъ тьмы къ свѣту; но вы желали свѣта, и онъ открывается предъ вами... На одну минуту я явилась вамъ тѣмъ, что я есмь, только вамъ—замѣтьте это, и замѣчайте мой тонъ, мой разговоръ съ другими; онъ ужъ не то: онъ размѣренъ по ихъ понятіямъ, развѣшенъ на граны для ихъ умовъ... какъ имъ слѣдовало бы развѣсить пищу для ихъ слишкомъ крѣпкихъ желудковъ. Взгляните, какъ кушаютъ!

Послѣднее замѣчаніе весьма грустно напомнило юношѣ, что онъ пропустилъ уже три блюда и что приходится откланяться и прекраснѣйшей индѣйкѣ, когда либо украшавшей птичій дворъ села Кружкова. Онъ отъ души позавидовалъ другому сосѣду Прасковьи Александровны, Сергѣю Петровичу, который взялъ два куска этого жаркаго и ѣлъ съ такимъ удовольствіемъ, что на него было весело смотрѣть.

— Собакевичъ... сказала Прасковья Александровна, указавъ на него юношѣ.

Юноша расхохотался; это было понятно.

— Не правда ли, какъ вѣрно, какъ истинно онъ схваченъ?..

— Вѣрно и истинно; только позвольте замѣтить, что вы его понимаете въ половину, возразилъ Сергѣй Петровичъ, оставляя на минуту свое жаркое:—Собакевичъ не тѣмъ только Собакевичъ, что ѣстъ, а тѣмъ, что онъ во всемъ грубъ, рѣзокъ съ плеча. Я не имѣю чести быть вамъ извѣстнымъ настолько, чтобъ вы могли найти это полное сходство. Извините, что я вмѣшался въ разговоръ; но рѣчь шла обо мнѣ, стало быть, я имѣлъ нѣкоторое право; а мое замѣчаніе чисто-литературное.

Онъ взялся опять за ножикъ и вилку. Прасковья Александровна слегка растерялась; ее вывели изъ затрудненія поздравленія, которыя начинались въ ту минуту: пили здоровье Ольги; но тутъ только она увидѣла, что Хотницкій былъ близко и, слѣдовательно, могъ слышать литературное замѣчаніе своего пріятеля. Ей стало непріятно; надо было поправить дѣло: она знакомъ подозвала Хотницкаго. Онъ подошелъ, не скрывая насмѣшливой улыбки. У него, какъ у очень многихъ, было дурное и вмѣстѣ натуральное чувство: онъ какъ-то радовался, что женщина, которую онъ больше не любилъ, выказалась еще разъ смѣшною; этимъ

еще разъ оправдывалось его охлажденіе въ его собственныхъ глазахъ.

— Я сдѣлала глупость, сказала ему тихо, по-французски, Прасковья Александровна.—Вы были правы, говоря, что я неосмотрительна, какъ ребенокъ...

Хотницкій никогда не говорилъ ей ничего подобнаго и хорошо это помнилъ.

— Еслибъ вы знали, мнѣ теперь такъ неловко, стыдно...

Она ребячилась; ему стало досадно на смѣшную роль ея руководителя, которую она хотѣла дать ему, и потому онъ все молчалъ, насмѣшливо ожидая, что она еще скажетъ. Прасковья Александровна поняла это иначе: она вообразила, что Хотницкій обидѣлся ея внимательностью къ школьнику и... ревнуетъ. Мысль была великолѣпна; она за нея схватилась.

— Этотъ бѣдный молодой человѣкъ, il est si intéressant. Какъ иногда въ самомъ дѣлѣ напрасно затериваются и способности, и теплота сердца!.. Я говорила съ нимъ; вы меня знаете...

— Я знаю вашу чувствительность, сказалъ Хотницкій.

— Вы спѣшите поздравить... ah, pardon, я задержала васъ.

Всѣ встали и окружили хозяйку. Олимпіада Николаевна и барышни прибѣжали изъ гостиной. Поздравленія были очень шумны, такъ что Прасковья Александровна готовилась сдѣлать небольшой жестъ утомленія, въ надеждѣ, что его замѣтитъ Хотницкій; но Хотницкій не замѣчалъ ее: онъ поспѣшилъ вслѣдъ за Ольгой, которая подходила къ матери; они обмѣнялись взглядомъ.

— Поздравляю тебя, моя голубушка, сказала Катерина Петровна, обнявъ Ольгу.

— Поздравь меня еще съ радостью, мама, сказала ей Ольга на ухо.

Катерина Петровна подняла глаза на Хотницкаго, который стоялъ передъ нею: для матери все стало ясно, и когда Хотницкій, цѣлуя ея руку, поздравлялъ ее съ именинницей, она отвѣчала ему тихо, сквозь слезы:

— И васъ также...

Потомъ она опять обняла и поцѣловала дочь, и хотя никто изъ гостей не понималъ причины ихъ слезъ, но всѣ были тронуты.

Катерина Петровна оправилась прежде всѣхъ, и всякая «необыкновенная женщина» непремѣнно похвалилась бы мужествомъ и присутствіемъ ума, еслибъ съумѣла сказать такъ спокойно, какъ сказала она:

— Милости просимъ садиться: мы еще не кончили. Ты весь порядокъ разстроила, Оленька.

Она только удержала Хотницкаго, который поставилъ себѣ стулъ сзади ея стула и, подъ предлогомъ поздравленій, нѣсколько разъ цѣловалъ ея руки, пока гости были заняты пирожнымъ.

Юноша подъ шумокъ воспользовался временемъ и нѣсколько утолилъ свой голодъ.

Вставъ изъ-за стола, все общество отправилось въ гостиную, гдѣ былъ готовъ десертъ и кофе. Катерина Петровна и Ольга исчезли на минуту: имъ было необходимо сказать другъ другу нѣсколько словъ; но Ольгѣ нечего было долго разсказывать. Гости были заняты и не замѣтили ихъ отсутствія. Возвращаясь, Катерина Петровна встрѣтила Настеньку, подъ руку съ Прасковьей Александровной.

— Что съ тобой, душа моя? спросила она ее:—и голоса твоего не слышно сегодня. Здорова ли ты?

Настенька поблагодарила, конфузясь отъ этой ласки, потому что ее видѣла Прасковья Александровна.

— Богъ знаетъ, что съ ней сдѣлалось, продолжала Катерина Петровна, обращаясь къ гостьѣ:—все была весела, вдругъ точно кто ее сглазилъ. Я говорю ей, прибавила она тихо, смѣясь и вмѣстѣ растроганная, потому что думала о дочери:—если ты влюблена, скажи мнѣ: какъ нибудь горю поможемъ.

— Кого же любить здѣсь? сказала Прасковья Александровна.

— Да кого нибудь; мало ли хорошихъ людей... Пойти мнѣ, помочь Оленькѣ, посадить своихъ гостей дорогихъ за карточки. Вы не играете ли?

— Никогда! отвѣчала Прасковья Александровна.—Уйдемте въ садъ, сказала она Настенькѣ, едва отошла Катерина Петровна.—Васъ посадятъ, пожалуй, составлять кому нибудь партію; бывало это?

— Иногда...

— Какъ страненъ Хотницкій! Вы знаете его отношенія ко мнѣ; у него недостаетъ мужества даже при этомъ обществѣ держаться откровенно... даже просто говорить со мной. Онъ ко мнѣ не подходитъ—замѣтили вы это? И я его побѣсила нежножко за обѣдомъ...

— Настя, милочка, сказала, встрѣчая ихъ, Ольга:—куда ты?

— Мы идемъ въ садъ, отвѣчала Прасковья Александровна съ достоинствомъ.

— Такъ я и васъ попрошу подождать немножко, сказала Ольга.—Меня зовутъ, а тамъ Олимпіада Николаевна вздумала пѣть, ищетъ ноты и ничего не найдетъ. Помоги ей, Настя. У меня столько хлопотъ! Оживите наше общество, сдѣлайте милость; всѣ что-то заскучали послѣ обѣда... Какой я тебѣ скажу секретъ, Настенька! сказала она, въ заключеніе поцѣловавъ свою подругу и убѣжала.

— Какъ все это любезно! замѣтила Прасковья Александровна.—Впрочемъ, пойдемте, покоримся необходимости. Мнѣ любопытно видѣть.

Она не досказала. Она ужъ успѣла создать въ своемъ воображеніи драму, которую разъигрываетъ Хотницкій, замѣтя любовь юноши къ необыкновенной женщинѣ. А юноша влюбится непремѣнно. Онъ будетъ съумашествовать въ зорькинскомъ паркѣ; въ темную ночь онъ взойдетъ на террасу и на колѣняхъ, передъ освѣщенною дверью, будетъ биться головой о плиты (Il frappera les dalles de son front). Тогда растворится эта дверь, она явится и скажетъ:

— Дитя! но я десять лѣтъ старше васъ!..

Тутъ Хотницкей... Можно было бы посовѣтовать воображенію Прасковьи Александровны создать развязку еще занимательнѣе: предположить внезапный пріѣздъ господина Залѣскаго, развязку тѣмъ полнѣйшую, что въ ней рѣшилась бы кстати и судьба Хотницкаго; но Прасковья Александровна почему-то не останавливалась на этомъ предположеніи.

Олимпіада Николаевна, окруженная дѣвицами, пѣла французскій романсъ, любезничая съ Сергѣемъ Петровичемъ. Остальное общество сидѣло за картами, въ гостиной. Юноша бродилъ тамъ же, и увидя Прасковью Александровну, послѣдовалъ за нею, какъ тѣнь, хотя въ нѣкоторомъ отдаленіи. Олимпіада Николаевна аккомпанировала слабо, пѣла невѣрно и произносила очень дурно; тѣмъ не менѣе и слушатели и она сама были довольны.

— Обѣщалась я не пѣть вамъ этого романса, сказала она Сергѣю Петровичу:—да такъ, сама не знаю для чего пою.

— Почему же?

— Вы слышите, что въ немъ говорится? «Ты меня оставилъ, покинулъ; воротись когда хочешь, а я все тебя буду любить».

— Такъ и сказано? Что-жъ? Это прекрасно. Премилая особа, которая такъ говоритъ. Такъ и слѣдуетъ.

— Слышите? Вотъ всѣ такіе мужчины! И нечего вамъ это пѣть... Не правду ли я говорю? обратилась она вдругъ къ Прасковьѣ Александровнѣ.

— Я съ вами совершенно согласна, отвѣчала Прасковья Александровна, желая отмстить Сергѣю Петровичу за его литературныя мнѣнія.—Самолюбіе мужчинъ видитъ себя во всемъ.

— Такъ же, какъ самолюбіе женщинъ ничего не замѣчаетъ.

— Я не понимаю этого, возразила Прасковья Александровна рѣзко.—Я говорю, что мужчины готовы принять на свой счетъ даже пустой романсъ, если онъ льститъ ихъ самолюбію.

— А я хотѣлъ сказать только, что часто женщины не замѣчаютъ даже непріятнаго впечатлѣнія, которое производятъ... ихъ недостатки. Этотъ романсъ учитъ какъ быть доброй, снисходительной, а вы пѣть его не хотите, Олимпіада Николаевна. Спойте хоть что нибудь другое.

Онъ такъ явно оставилъ разговоръ съ Прасковьей Александровной, что она рѣшилась не уступать ему.

— Гдѣ вы учились пѣть? спросила она Олимпіаду Николаевну, которая ужъ взяла аккордъ.

— Въ пансіонѣ; а то въ Москвѣ я десять... двѣнадцать уроковъ взяла, отвѣчала Олимпіада Николаевна, испугавшись, что забыла счесть два урока своего замоскворѣцкаго учителя.

— У кого?

Олимпіада Николаевна скороговоркой назвала какое-то дикое имя, между тѣмъ какъ Прасковья Александровна бросила бѣглый взглядъ на не совсѣмъ ловко сшитый лифъ одной изъ дѣвицъ. Сергѣй Петровичъ облокотился на фортепіано и наблюдалъ.

— Что-жъ, Олимпіада Николаевна? вы было начали...

— А вы поете? спросила Олимпіада Николаевна, взявъ еще аккордъ.

— Я не смѣю назвать пѣніемъ мое пѣніе, отвѣчала Прасковья Александровна.

Олимпіада Николаевна стала спокойнѣе и, бросивъ Сергѣю Петровичу немножко кокетливый взглядъ, начала опять тотъ же французскій романсъ. На этотъ разъ она еще смѣлѣе фальшивила, кончила страшнымъ стукомъ и, вскочивъ съ табурета, вскричала:

— Ну, теперь довольно!

Она бросилась на диванчикъ; дѣвицы увлекли Настеньку къ окну; Прасковья Александровна осталась одна у фортепіано съ задумчивымъ юношей.

— Какъ прелестно поютъ Олимпіада Николаевна! сказалъ онъ, призвавъ всю свою смѣлость.

— Вы находите? спросила она, присѣвъ на табуретъ и поднявъ на юношу сострадательно испытующій взоръ.

И вслѣдъ затѣмъ она запѣла тотъ же самый романсъ вѣрно и выразительно, какъ артистка, аккомпанируя какъ ученица знаменитостей, и произнося какъ парижанка.

Бѣдная Олимпіада Николаевна покраснѣла до слезъ. Нѣкоторые изъ гостей оставили карты и явились слушать. Торжество Прасковьи Александровны было полное. Оставался совершенно нечувствителенъ Сергѣй Петровичъ, да старый маіоръ, сидѣвшій на балконѣ у окна этой комнаты. Онъ на минуту разстался съ своей трубкой и сказалъ Хотницкому, стоявшему подлѣ него:

— Срѣзала она нашу барыньку. Хоть бы спѣла-то что нибудь другое...

Прасковья Александровна уклонилась отъ комплиментовъ; она сказала себѣ, что удовлетворила жаждѣ души своей, желавшей звуковъ, и что ей больше нѣтъ дѣла до глупаго восхищенія этихъ людей... конечно, глупаго: развѣ сейчасъ они не восхищались голосомъ Олимпіады Николаевны? Имъ все равно...

Она вышла изъ комнаты. Юноша послѣдовалъ за нею. Имъ встрѣтился совершенно равнодушный Хотницкій.

— Я увлеклась, тихо сказала ему Прасковья Александровна:—и вижу, что сдѣлала еще неосторожность. Меня станутъ преслѣдовать... Какъ бы мнѣ хотѣлось бѣжать отсюда куда нибудь!

Хотницкій не отвѣчалъ ничего, понимая неловкость этихъ странныхъ a-parte; но Прасковья Александровна приняла его холодность за выраженіе сильнѣйшей ревности.

«У этого человѣка, однако, есть характеръ», подумала она.

— Вы сердитесь? спросила она вслухъ.

— За что? сказалъ съ нетерпѣніемъ Хотницкій.

— За что? Боже мой, вы ужасны!.. Что я сдѣлала?

Она «трепетала», какъ намѣревалась она выразиться, описывая впослѣдствіи эту сцену въ своихъ мемуарахъ.

— Вы, вѣроятно, устали? вамъ угодно ѣхать? спросилъ Хотницкій.

— О, нѣтъ! Я останусь, почти вскричала она:—я останусь, потому что хочу остаться! Вы не заставите меня уѣхать!

Она стремительно сбѣжала въ садъ. Тамъ, подъ акаціями, пріютились барышни, оплакивая потерю Михайла Ѳедоровича, окончательно прикованнаго къ свѣтской дамѣ. Онъ слѣдовалъ за нею, конечно, въ отдаленіи, стороной, а все-таки слѣдовалъ; проходя, онъ сорвалъ длинную былинку вереска и обкусывалъ ее до сѣмячекъ—признакъ любви и задумчивости. Прасковья Александровна вспомнила, что еще не говорила съ дѣвицами, и онѣ могутъ сказать, что она неприступна. Поэтому она неожиданно явилась предъ ними, ступая осторожно по песчаной дорожкѣ.

— Mesdames, сказала она, придавая дѣтскую звучность своему голосу:—дайте мнѣ мѣстечко между вами: я ужасно устала и не нашла другой скамейки.

Одна изъ дѣвицъ вскочила, уступая мѣсто; то же готовилась сдѣлать и другая; но Прасковья Александровна схватила ихъ за таліи.

— Нѣтъ, душки, нѣтъ! Кому не будетъ мѣста, та сядетъ ко мнѣ на колѣни.

Но въ эту минуту лицо ея выразило страданіе; она вскрикнула и отдернула руку.

— Ахъ!.. Скажите вашей горничной, моя милая, чтобъ она лучше прятала концы булавокъ.

На ея тонкомъ пальчикѣ съ длиннымъ ногтемъ и десяткомъ дорогихъ колецъ была кровь.

Дѣвицы перепугались.

— Это мнѣ подѣломъ, за то, что я сняла перчатки, сказала Прасковья Александровна, успокоиваясь и забывая, что обѣ ея собесѣдницы были безъ перчатокъ съ утра.— Нынче шьютъ платья не иначе, какъ со шнуровкой, продолжала она: — это гораздо удобнѣе: нѣтъ расхода на булавки и не случается несчастій.

— Ахъ, это такое несчастье! сказали дѣвицы, еще не будучи въ силахъ отвѣчать ей шуткой.

— Какое у васъ доброе сердце, mesdames! Послѣ этого вы, стало быть, всего боитесь. А еслибъ молодой человѣкъ, любимый вами... Любите вы кого нибудь?

Она цѣлые полчаса занималась тѣмъ, что называла «вызываніемъ звуковъ въ пустотѣ», то есть, разговоромъ съ бѣдными дѣвочками, жестоко конфузившимися отъ всякаго ея вопроса. Прасковья Александровна предлагала свои вопросы нецеремонно, не скрывая сомнѣнія, поймутъ ли ее, если она выразится деликатнѣе; она размѣряла и старалась приспособить къ понятіямъ слу-

шательницъ свои объясненія — и для слушательницъ стало ясно, что она считаетъ ихъ совершенно необразованными и безчувственными. Стараясь держаться проще, шутя рѣзко, она заходила за границы простоты и рѣзкости и еще болѣе смущала особъ, которымъ рекомендовала свой веселый характеръ. Предположивъ, что всякая деревенская дѣвушка скучаетъ стѣсненіемъ и желаетъ свободы, Прасковья Александровна напугала ихъ, подшучивая надъ ихъ маменьками и тетушками... Ей удалось оживиться самой, воображая, какъ она ловка въ этой новой роли. Когда подошла Настенька, она сказала ей по-французски:

— Еслибъ меня видѣлъ, полчаса назадъ, Jacques T... какъ я старалась заставить говорить этихъ куколъ!.. Уйдемте отъ нихъ.

«Куклы» прекрасно поняли комплиментъ и, оставшись однѣ, повторили въ ужасѣ:

— Неужели свѣтскія дамы всѣ такія злыя?..

Съ отчаяньемъ бросились онѣ разсказывать свои приключенія Ольгѣ и Олимпіадѣ Николаевнѣ, которыя подходили. Олимпіада Николаевна была сильно разгнѣвана, и Ольгѣ стоило большого труда уговорить ее не вступаться за барышень, что она намѣревалась сдѣлать, не зная, какъ отмстить за свою собственную непріятность, въ которой Ольга же, и съ такимъ же трудомъ, едва успѣла ее успокоить.

— О чемъ у васъ столько хлопотъ? спросилъ Хотницкій, наконецъ, встрѣтивъ Ольгу одну. — Вы не подарите мнѣ ни одной минуты.

— Всѣ бѣды отъ Залѣской, сказала Ольга, разсмѣявшись.

Впрочемъ, хотя онѣ и начали съ нея, а далѣе въ ихъ разговорѣ не было и помина о Залѣской. Идя вдвоемъ по саду, они провели нѣсколько тѣхъ счастливыхъ минутъ, которыя не забываются потомъ во всю жизнь...

Прасковья Александровна завидѣла издали эту пару. Она не подозрѣвала еще всей истины, но смутилась.

— Ольга любитъ Хотницкаго? спросила она Настеньку.

— Да, отвѣчала Настенька, не затрудняясь сказать тайну Ольги той, которую уже считала своимъ лучшимъ другомъ.

— Прощайте, сказала Прасковья Александровна: — я уѣзжаю. Завтра вечеромъ я пришлю за вами.

Съ ловкостью свѣтской женщины и вмѣстѣ съ поспѣшностью женщины страдающей, она пошла проститься съ Ольгой. Она такъ некстати прервала разговоръ влюбленныхъ, довольныхъ тѣмъ, что, наконецъ, они были одни на четверть часа въ теченіе дня, что Ольга не удерживала ея остаться.

— Завтра я жду васъ къ себѣ непремѣнно, сказала Прасковья Александровна Хотницкому:— непремѣнно—слышите ли?

Еслибъ Ольга была способна волноваться изъ пустяковъ, она была бы въ правѣ сдѣлать Хотницкому сцену за это трагическое прощаніе; но она тихо разсмѣялась вслѣдъ Прасковьѣ Александровнѣ и сказала раздосадованному Хотницкому:

— Подите же, проводите ее.

Прасковья Александровна превосходно владѣла собою; она только сжала руку Хотницкаго и произнесла: «A demain!» такимъ голосомъ, какъ будто завтра былъ рѣшительный день въ жизни обоихъ. Бросившись въ карету, она поспѣшила залиться слезами, увидя юношу, усердно кланявшагося ей изъ-за рѣшетокъ сада. Прасковья Александровна сказала себѣ, что она разбита всѣми ощущеніями дня, что слишкомъ много ихъ послала ей на долю судьба... Человѣкъ ревнивый и холодный, пользуясь властью, которую имѣетъ надъ ея сердцемъ, не позволяетъ ея сердцу отдохнуть даже въ кроткомъ чувствѣ сострадания къ существу молодому и еще неразвитому; это существо развилось бы подъ благотворнымъ вліяніемъ любви къ ней—можетъ быть, подъ вліяніемъ ея почти материнской любви; а теперь оно должно заглохнуть, погибнуть. Тутъ можно страдать не за себя, а во имя человѣчества!.. И чтобъ отмстить ей за минутное самолюбіе, ревнивецъ терзаетъ ее невнимательностью, оскорбительнымъ предпочтеніемъ грубой, дюжинной натуры...

Кто бы могъ отгадать во всемъ этомъ Хотницкаго и школьника, на котораго Прасковья Александровна обратила вниманіе вовсе не изъ любви къ человѣчеству?..

Неизвѣстно какъ и чѣмъ стѣсняла Прасковья Александровна кружковское общество, но оно стало много веселѣе послѣ ея отъѣзда. Вздумали танцовать, пили чай въ саду, бѣгали въ горѣлки, и Сергѣй Петровичъ заставилъ, наконецъ, развеселиться задумчиваго юношу, которому барышни, осмѣлившись, въ свою очередь, сказали по маленькой, почти непонятной колкости за то, что онъ заинтересовался столичной дамой. Наконецъ, гости разъѣхались. Ольга и Настенька остались однѣ на балконѣ.

— Настенька, сказала Ольга:—онъ меня любитъ.

— Кто?

— Онъ; кто же больше? Хотницкій. Онъ сказалъ мнѣ... Какъ я счастлива, Настя! Прости меня, я не тебѣ первой это сказала, я сказала маменькѣ... Я счастлива цѣлый день, а ты узнаешь это только теперь; прости меня... Еслибъ ты знала, какъ мнѣ хотѣлось признаться тебѣ скорѣе...

— Что-жъ? сказала Настенька:—я должна быть довольна, что ты теперь говоришь мнѣ. Ты могла бы не сказать ни слова, пока это совсѣмъ рѣшится.

— Что ты говоришь, Настя? спросила Ольга.

— Ничего. Вѣдь я тебѣ не родная...

— Богъ тебѣ судья! вскричала Ольга: — ты меня давно мучишь! Что-жъ такое наговорила тебѣ на насъ эта злая женщина? Какой романъ она тебѣ прочла? Въ ней нѣтъ на волосъ привязанности ни къ чему и ни къ кому, если она осмѣлилась какъ нибудь перетолковать нашу привязанность къ тебѣ...

— Она только открыла мнѣ глаза на мое настоящее положеніе, возразила Настенька.—Я бѣдна, живу — нанимаюсь... любить меня некому, я всѣмъ чужая...

— Она говорила это?

— Я обязана заслуживать расположеніе иногда Богъ знаетъ какими средствами, съ какими уступками сердца и совѣсти. Богъ знаетъ, что ждетъ меня въ будущемъ... кто скажетъ мнѣ, то ли въ самомъ дѣлѣ настоящее, чѣмъ оно мнѣ кажется?

— Это отвратительная женщина, для которой нѣтъ ничего святого! прервала Ольга съ гнѣвомъ и слезами.

— Она мой лучшій другъ, возразила Настенька.

— Послушай, Настя, вскричала Ольга, бросаясь ей на шею: — прости меня. Я, можетъ быть, зла, можетъ быть я огорчила тебя какъ нибудь, сама не зная... ты права, если меня не любишь! Но маменька... неужели она что нибудь сдѣлала противъ тебя? Скажи мнѣ, признайся; я ничего не скажу. За что ты испортила лучшій день моей жизни, Настя? тебѣ, можетъ быть, скучно у насъ? Маменька давно говоритъ, что дѣти тебѣ надоѣдаютъ...

— Видите ли, ваша маменька ужъ говоритъ это... прервала Настенька, тронутая сначала и еще сильнѣе волнуясь отъ послѣднихъ словъ Ольги.

— Она говорила, что тебѣ наскучаютъ чужія дѣти, потому что пріятнѣе ласкать своихъ; она думала устроить тебя...

— Отдать меня замужъ? За кого-жъ это? Кто-жъ удостоитъ взять меня?

— Для меня нашелся же человѣкъ, Настя?

— Да, единственный порядочный женихъ во всей этой глуши... А если я такъ горда, что признаюсь вамъ, что не считаю себя хуже васъ и не хочу быть женой какого нибудь «хорошаго человѣка», идеала съ двадцатью душами, котораго преслѣдуютъ деревенскія маменьки...

— Боже мой? Залѣская свела тебя съ ума! прервала Ольга.

— Можетъ быть!..

— Перестань дурачиться! продолжала Ольга:—теперь я вижу, что ты не тоскуешь, а блажишь...

— Извольте, если вамъ такъ больше нравится. Я обязана сносить и это.

— Ты сама не помнишь, что говоришь. Слушай: ты блажишь отъ скуки; эта свѣтская фразерка растолковала тебѣ превратно твою скуку—вотъ и все. Подожди немного. Мы повеселимся, поѣдемъ вмѣстѣ, куда хочешь: въ Москву, въ Петербургъ, будемъ слушать оперу, заведемъ себѣ самое милое, умное знакомство...

— Значитъ, я буду подъ покровительствомъ m-r и madame Хотницкихъ?

— Да, m-r и madame Хотницкихъ, повторила Ольга, краснѣя, улыбаясь и обнимая ее.

— На какихъ же правахъ я буду въ ихъ домѣ?

— На правахъ сестры, я думаю.

— Сестрѣ не платятъ, возразила Настенька, отклоняясь отъ нея:—а обязываться кому нибудь я не хочу.

Ольга не отвѣчала; она тихо плакала, но сказала черезъ минуту довольно твердо:

— Знаешь, Настя, мудрено было бы придумать, какъ огорчить меня въ нынѣшній день.

— А я съумѣла? Что-жъ дѣлать! Не умѣю забавлять, еще не выучилась... Придется поучиться и этому!.. Впрочемъ, по всей вѣроятности, я послѣдній разъ васъ огорчаю, прибавила она нерѣшительно.

— Это еще что? спросила Ольга, и ея немного рѣзкій вопросъ подстрекнулъ злость Настеньки.

— То, что завтра я отправляюсь къ madame Залѣской, на недѣлю: она звала меня... Надѣюсь, Катерина Петровна дастъ мнѣ этотъ отпускъ.

— Ни за что на свѣтѣ! вскричала Ольга: — я скажу маменькѣ, что эта Залѣская злая интриганка, отъ которой ты съ ума сойдешь!

— Сдѣлайте одолженіе, выбирайте слова, говоря объ особѣ, которую я уважаю!

— Настенька, прошу тебя, ради Бога!..

— Вы не можете простить ей, что вашъ обожатель ею занимается!

Ольга не могла нѣсколько минутъ выговорить слова.

— Настенька, сказала она наконецъ: — мы жили съ тобой какъ сестры... я этого не заслужила...

Она сошла съ балкона и ушла въ садъ. Настенька убѣжала наверхъ, въ свою комнату. Ольга возвратилась спокойная, если не веселая: Хотницкій былъ еще тамъ. Онъ, Катерина Петровна и Ольга не разставались до поздней ночи. У матери всегда найдется сказать многое жениху своей дочери.

Настенька плакала одна наверху и жаловалась, что ее всѣ забыли. Ольга помнила о ней, но когда приходила, подруга притворялась спящею.

VI.

На слѣдущее утро, проснувшись и еще не вставая, Прасковья Александровна вспомнила вчерашній день и обдумывала настоящій. Она такъ замечталась, что позабыла все ее окружавшее и почти не узнала своей горничной, подавшей ей два письма.

Почеркъ одного изъ нихъ былъ слишкомъ знакомъ Прасковьѣ Александровнѣ, и потому, слегка сжавъ брови, она взялась за незнакомое.

Это были стихи — произведеніе задумчиваго юноши, скромно подписавшагося «Извѣстный вамъ...» и двѣ заглавныя буквы. Въ стихахъ кое-гдѣ недоставало мѣры и рифмы: но стоило ли обращать вниманіе на такія мелочи? Прасковья Александровна не смотрѣла на исполненіе — она видѣла намѣреніе; иначе, надо предполагать, особа съ такимъ строгимъ литературнымъ вкусомъ была бы строже въ своемъ приговорѣ.

Она распечатала другое письмо, принявъ болѣе спокойное положеніе и какъ будто заранѣе запасаясь терпѣніемъ. Письмо было отъ ея мужа. Съ ея лица исчезло томно-кокетливое выраженіе; глаза какъ-то непріятно засвѣтились; романическая женщина вдругъ подурнѣла, постарѣла: она смотрѣла самой капризной, злой женщиной.

Можно было не ошибаясь сказать, что въ письмѣ господина Залѣскаго рѣчь шла о деньгахъ; иначе гнѣвъ его жены принялъ бы другое выраженіе.

— Одѣваться! вскричала Прасковья Александровна, нетерпѣливо дергая звонокъ и производя болѣе шума, нежели сколько было нужно, чтобъ перепугать весь домъ.

Она говорила о себѣ, что она не зла, но фантастична (fantasque), что ей иногда входить въ голову испытывать «постоянное волненіе бѣшенства» (l'émotion continuelle de la rage): невозможно вообразить, сколько она волновалась и шумѣла, сколько она плакала и сколько она выпила успокоительныхъ капель въ это утро, остерегаясь, однако, успокоиться до конца, потому что ждала Хотницкаго.

Хотницкій заставилъ себя долго ждать, но пріѣхалъ во-время: онъ засталъ Прасковью Александровну въ горькихъ слезахъ; горничная, тоже очень разстроенная, ухаживала вокругъ нея. Оба письма лежали на столикѣ: Прасковья Александровна перенесла ихъ изъ своей спальни.

— Что случилось? спросилъ Хотницкій, испуганный не шутя.

— Прочтите, сказала она, указывая на письма, и сомкнула глаза.

Хотницкому попалось стихотвореніе; онъ подумалъ, что его дурачатъ. Не имѣя терпѣнія дочитать, онъ бросилъ его на столикъ, всталъ и собирался уйти, но изъ учтивости спросилъ:

— Ничего больше?

— Развѣ этого мало? вскричала Прасковья Александровна.

— Слишкомъ много, чтобъ заснуть стоя, но чтобъ плакать...

— А! Вы прочли... Пощадите меня отъ насмѣшки, простите меня; бѣдный молодой человѣкъ и безъ того слишкомъ несчастливъ; но я прибавлю къ его несчастью... я такъ несчастна сама...

Хотницкому было скучно. Онъ пріѣхалъ единственно изъ учтивости; всѣ вчерашнія выходки Прасковьи Александровны жестоко его разочаровали. Онъ сказалъ себѣ, что не любилъ бы ея, еслибъ даже не любилъ Ольги. Но Прасковья Александровна плакала, у него было доброе сердце.

«Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, какое нибудь горе», подумалъ Хотницкій, видя, что она взяла другое письмо и смутно вспоминая, что, недѣлю назадъ, ему было бы очень тяжело ея горе.

— Потрудитесь прочесть, сказала немного сухо и съ горечью Прасковья Александро-

вна, отдавая ему письмо мужа. — Тайны здѣсь нѣтъ. Читайте: здѣсь нѣтъ также отвлеченныхъ разсужденій, которыя могли бы утомить васъ... Вы будете моимъ судьею. Я еще никогда не говорила вамъ о моихъ дѣлахъ. Вы должны знать, что когда я шла замужъ, мои родные потребовали отъ Залѣскаго, чтобъ онъ далъ мнѣ вексель на половину своего состоянія... Надо же было обезпечить, въ самомъ дѣлѣ, восьмнадцатилѣтнюю женщину отъ цѣлой ватаги бабушекъ, братцевъ двоюродныхъ... почему я знаю! Онъ могъ умереть, а я бы осталась ни съ чѣмъ. Со мной распорядились такъ, что дали мнѣ въ приданое однѣ тряпки; впереди меня были еще три мои братца, о которыхъ думали больше, нежели обо мнѣ... Ну, все равно. Черезъ годъ послѣ свадьбы Залѣскій покупаетъ это Зорькино на мое имя—quelle galanterie, видите ли! А до тѣхъ поръ прикидывался, что у него нѣтъ денегъ. Является ко мнѣ его бабушка, старая вѣдьма, которая плела на меня тысячи небылицъ, и начинаетъ вразумлять меня, что съ моей стороны было бы благородно—она вздумала учить благородству! — еслибъ я уничтожила свой вексель. Я, видите ли, обезпечена теперь втрое противъ этого векселя: Зорькино—шестьсотъ душъ въ одномъ мѣстѣ... что я даже должна это сдѣлать изъ любви къ мужу, который прощаетъ мнѣ... не знаю, ужъ что онъ мнѣ прощаетъ. Я всегда была умна и устояла на своемъ: не отдала векселя. Кто зналъ, что могло случиться. Да вотъ теперь и случается. На меня дулись... я не смотрѣла. Залѣскій никогда ни слова мнѣ о векселѣ, хотя очень знаетъ, что вексель у меня. Я не знаю подобнаго лицемѣра. Мы шесть лѣтъ протянули вмѣстѣ въ Москвѣ, за-границей, въ Петербургѣ; наконецъ онъ захотѣлъ служить и отправился къ себѣ, въ Тверь... Я отдохнула послѣдніе четыре года, потому что, конечно, не подумала ѣхать услаждать его дни въ провинціи... Теперь вотъ это письмо. Я написала ему, что ѣду въ Парижъ зимою, и... прочтите, вы увидите.

Хотницкій прочелъ, не возражая:

«Ты шалишь, милая Паша; иначе бы тебѣ не пришло въ голову пугать меня такими ужасами. Тебѣ нужны деньги для поѣздки; ты спрашиваешь проценты по своему векселю и говоришь, что представишь его ко взысканію, если я не пришлю ихъ. Помилосердуй! чѣмъ я такъ провинился, что ты обѣщаешь мнѣ тюрьму? Не шутя, у меня нѣтъ ни гроша, то есть такого большого, какой тебѣ нуженъ. Я съ годъ только расплатился за свое имѣніе, которое заложилъ для покупки Зорькина, и больше закладывать его не намѣренъ. Не совѣтую и тебѣ дѣлать это съ Зорькинымъ, потому что, Богъ вѣсть, когда мы будемъ въ состояніи обернуться и его выкупить, а я ненавистникъ заложенныхъ имѣній. Подожди: Парижъ, говорятъ, все строится и украшается; къ будущей зимѣ онъ будетъ еще красивѣе, и я самъ повезу тебя посмотрѣть его. А на нынѣшнюю зиму, прикажи — я найму домъ въ Петербургѣ, и ты насмотришься на Маріо, сколько тебѣ угодно».

— Какъ вамъ это нравится? вскричала Прасковья Александровна, между тѣмъ какъ Хотницкій положилъ письмо и избѣгалъ взглянуть на нее:—чего тутъ нѣтъ? Упреки, угрозы; они же и супружескіе совѣты—шуточки, какъ съ ребенкомъ, намеки на мое кокетство... Oh ça n'a pas de nom!.. Но я, право, не ребенокъ; я не напрасно росла среди разсчетовъ день за день; я знала, для чего меня вывозятъ въ свѣтъ, и если рѣшилась идти замужъ, то не въ неволю шла; знаю, что мнѣ дѣлать... Онъ думаетъ, я испугаюсь или расчувствуюсь отъ его письма? Очень ошибается! Я завтра же протестую вексель. Онъ и не ждетъ, что ему на голову свалится.

Въ волненіи Прасковья Александровна прошлась по комнатѣ. Это было не то обыкновенное романическое волненіе, которымъ она наполняла свои досуги, а волненіе чисто положительное, и, только взглянувъ въ зеркало, она вспомнила, что нужно оправдать вспышку предъ Хотницкимъ. Она не чувствовала, что для нея ужъ не было оправданія, что Хотницкій, безмолвный на своемъ привычномъ мѣстѣ, былъ уже не благоговѣющій поклонникъ, и даже не строгій судья, а человѣкъ, совершенно охладѣвшій, слушающій ее потому только, что былъ призванъ. Хотницкій ненавидѣлъ разсчетъ въ женщинахъ, какъ ненавидятъ его вообще всѣ мужчины; а эта женщина выказалась такъ откровенно-разсчетлива, корыстолюбива и неблагодарна, что сдѣлалась для него непріятна...

— Послушайте, сказала она вдругъ, подмѣтивъ на его лицѣ странную улыбку и ошибаясь въ ея значеніи: — я звала васъ еще вчера; сегодня еще болѣе вы необходимы мнѣ... будьте моимъ руководителемъ, другомъ. Я хочу уѣхать, я уѣду. Хотите ли вы слѣдовать за мною?

— Ѣхать съ вами! вскричалъ Хотницкій, пораженный этой смѣлой неожиданностью.

— Да, со мной... Вы видите, я откровенна, я самоотверженна. Меня назовутъ безумной — все равно; вы поймете, что я несчастна, вы извините мои недостатки, вы забудете...

— Обѣщаю вамъ, что забуду весь этотъ разговоръ, прервалъ Хотницкій, взявъ шляпу:—это будетъ лучше всего. Чрезъ полчаса вы сами будете смѣяться.

— Смѣяться? Вы находите меня смѣшною?

— Такъ, что не хочу самъ быть столько же смѣшнымъ... извините мою откровенность.

— О, конечно! вскричала Прасковья Александровна:—я смѣшна, я осуждена по понятіямъ вашего патріархальнаго круга, по этимъ узкимъ мнѣніямъ, предъ которыми вы преклоняетесь! Вы,человѣкъ свободный, пугаетесь, если женщина укажетъ вамъ прямо выходъ изъ этой нравственной тюрьмы, и первый осудите ее.

— Позвольте! прервалъ Хотницкій:—много фразъ было сказано въ теченіе нашего знакомства—довольно ихъ; не будемъ продолжать. Ихъ можно было бы заключить очень дѣльной фразой объ обязанностяхъ. Всѣ эти пожертвованія, это самоотверженіе... Но мы и безъ того слишкомъ много наговорили другъ другу для окончанія нашей шутки.

— Шутки? повторила Прасковья Александровна.

— Шутки, не болѣе, отвѣчалъ онъ серьезно.—Еще разъ обѣщаюсь вамъ ея не помнить. Въ ней были пріятныя минуты, и потому мнѣ особенно тяжелъ ея конецъ.

— Вы жалѣете... о чемъ же? спросила она насмѣшливо:—не о томъ ли, что увлекались напрасно? Говорите, я позволяю вамъ эту дерзость. Скажите, что вы разочаровались, что вы открыли глаза и не можете болѣе увлекаться; повторяю: я все позволяю вамъ.

— Я оскорбилъ бы васъ больше, сказавъ, что люблю васъ... Разберите, кажется, это вѣрно. Я оскорбилъ бы васъ выше всѣхъ словъ, еслибъ осмѣлился понять то, что вы сказали нѣсколько минутъ назадъ—такъ ли?

Прасковья Александровна не отвѣчала. Создавъ въ воображеніи по-своему характеръ Хотницкаго, она не ожидала отъ него ничего подобнаго.

— Наконецъ, продолжалъ онъ:—я не вижу надобности раздувать въ себѣ чувство словами, разбирать то, чего нѣтъ, заставлять себя жалѣть о томъ, чего мнѣ не жаль. Я огорчился бы не за себя, еслибъ вы полюбили кого нибудь.

— О, дитя! вскричала Прасковья Алексадировна, вдругъ попадая на мысль о ревности, такъ великолѣпно развившуюся у нея наканунѣ.—Вижу теперь въ чемъ дѣло. Вы думаете о вчерашнемъ днѣ, объ этомъ бѣдномъ юношѣ...

Онъ схватилась за стихотвореніе.

— Нѣтъ, это слишкомъ много! вскричалъ Хотницкій:—вижу, что васъ надо рѣшительнѣе вывести изъ заблужденія: я женюсь на Ольгѣ.

Онъ поклонился и вышелъ.

Чтобъ изобразить чувства Прасковьи Александровны, надо было бы имѣть ея перо и, главное, ея желаніе разбирать до тонкости всякое движеніе души, ея умѣнье понимать вещи превратно и превращать ихъ изъ малыхъ въ великія... Настенька, вечеромъ явившаяся утѣшать ее, слушала исповѣдь ея горестей до бѣла свѣта.

Эти два существа «поняли» другъ друга. Это «пониманіе» и дружба послужили горестнымъ доказательствомъ тому, что и фразы, кажется, съ вида самыя пустыя изъ человѣческихъ глупостей, могутъ сдѣлать свое зло, смотря по тому, какъ и кому скажутся. Прогостивъ недѣлю у своего друга, Настенька объявила Ольгѣ и Катеринѣ Петровнѣ, что рѣшительно желаетъ оставить ихъ и ѣдетъ съ m-me Залѣской за-границу. Всѣ увѣщанія были напрасны. Ольга просила свою подругу пробыть у нихъ по крайней мѣрѣ свадьбу, назначенную въ августѣ, но Прасковья Александровна спѣшила уѣхать именно отъ этой свадьбы...

Ольга поплакала при этомъ разставаніи; но собственное ея счастье не дало ей долго плакать: одно впечатлѣніе изгладило другое, какъ изглаживается все на свѣтѣ, гораздо болѣе серьезное, нежели эта простая исторія.

ДЛЯ ДѢТСКАГО ТЕАТРА.

СЦЕНА.

1855—1856 г.

Публичный садъ въ городѣ N. Площадка, обсаженная деревьями; въ срединѣ статуя. Нѣсколько скамеекъ далеко одна отъ другой. Госпожа ПОЛОСКОВА, помѣщица; НИКОЛАША, КЛИПОЧКА, ея дѣти; ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА, молодая дѣвушка, гувернантка, выходятъ изъ аллеи очень поспѣшно. За ними лакей въ старомодной ливреѣ.

полоскова. Вы посмотрите хорошенько; идетъ она?

пелагея ивановна. Отсюда за деревьями не видно.

полоскова. И хорошо; стало и насъ ей не видно. Отдохнуть здѣсь. Ушла бы совсѣмъ, да неравно съ ней столкнешься... Дѣти, подите сюда. Не трогайте вы ничего руками, говорятъ вамъ. Антонъ, полно смотрѣть по сторонамъ, батюшка; что за диво такое нашелъ: городъ, какъ городъ. Стань здѣсь: какъ увидишь, что идетъ эта барыня, такъ скажи. [Садится на скамейку. Пелагея Ивановна стоитъ, задумчиво поглядывая то на верхушки деревьевъ, то въ землю]. Устала я до смерти: жара такая.

пелагея ивановна. Вы скоро шли и тепло одѣты.

полоскова. Что же на мнѣ особеннаго надѣто? только шаль да салопъ.

пелагея ивановна. Ватный.

полоскова. Не простудиться же, чтобъ потомъ лихорадку нажить. У Николаши ушки подвязаны?

пелагея ивановна. Подвязаны.

полоскова [обмахиваясь платкомъ]. Умрешь по милости этой Черпиной... Что она, съ дѣтьми здѣсь?

пелагея ивановна [улыбаясь]. Вы и не разглядѣли, такъ поспѣшили спастись бѣгствомъ.

полоскова. Вы чему же смѣетесь?

пелагея ивановна. Я не смѣюсь... Съ ней дѣти и mademoiselle Рестанъ.

полоскова. Какая она мамзель; въ Москвѣ родилась.

пелагея ивановна. Все же иностранка... Какъ она мила, обходительна. Прошлымъ лѣтомъ, когда онѣ жили въ нашемъ сосѣдствѣ, мы такъ сошлись съ ней привычками, характеромъ.

полоскова. Она васъ лѣтъ десять будетъ постарше.

пелагея ивановна. Ахъ, какъ можно! Она такъ хороша, я въ восхищеніи отъ ея красоты! Какъ она прекрасно всегда одѣта.

полоскова. Не всякій то можетъ платить, что ей платятъ Черпины.

николаша. Мамаша, а сколько ей платятъ?

полоскова. Пятьсотъ цѣлковыхъ, дружочекъ.

николаша. Это тысячу семьсотъ пятьдесятъ, мамаша?

пелагея ивановна. И madame Черпина, какая пріятная дама! Я не знаю, почему вы не хотите съ ней видѣться. Дѣти тоже въ прошломъ году всего однажды видѣлись.

полоскова. Клипа, не трогай ничего руками!.. Я потому не хочу съ ней видѣться, что это тонкая особа; я ее знаю. Она ужъ вѣрно пронюхала, что я пріѣхала сюда деньги въ приказъ отдавать, и ужъ присылала ко мнѣ въ гостинницу узнать, приму ли я ее,—

да я дома не сказалась. Вотъ, дернуло насъ сюда пойти; она, вѣрно, какъ нибудь увидѣла, да и погналась за мной, а теперь, коли нагонитъ, примется выпрашивать. Ужъ я ее знаю. А они намъ и безъ того должны, должны не есть конца. Егоръ Семенычъ мой все сжаливался, давалъ,—а они вотъ какъ расплачиваются. Глазъ нынѣшній годъ въ деревню не показали, здѣсь пиры да балы. Имъ хорошо модничать на чужой счетъ. Въ деревнѣ, видѣли, какія у нихъ затѣи тоже, а въ иномъ дворѣ и овцы не найдешь. Такъ я ужъ лучше отъ грѣха подальше, чтобы и она ко мнѣ не приставала, да и мнѣ ей не отказывать. Отказывать мудрено.

пелагея ивановна. Ахъ, конечно! я понимаю вашу деликатность. Это дама высшаго круга; предъ ея образованностью можно поклоняться.

полоскова. Сами-то они изъ денегъ кланяются.

пелагея ивановна. Конечно... Впрочемъ, нельзя же и не быть иногда въ затрудненіи. У нихъ такое знакомство, такой пріѣздъ гостей, всегда. Наши уѣздные, помните, всѣ... Что за праздникъ былъ въ прошломъ году на ея именины,—я не могу вспомнить безъ восторга! Весь уѣздъ, рѣшительно; за сто верстъ пріѣзжали многіе. И она—великолѣпна, какъ царица! Я ея входа забыть не могу, она меня поразила...

полоскова. Сами вы, матушка, охотница до вздоровъ-то до этихъ.

пелагея ивановна. Ахъ!.. но, какъ хотите, а столько есть величія, что всѣ кругомъ нея, и она такъ гордо...

полоскова. То-то, изъ чего гордиться.

пелагея ивановна. Ахъ, какъ же не гордиться! Вы вспомните, кто ея родня, все знатные; вѣдь она только по любви вышла за Черпина...

полоскова. Родные дальніе и знать ея не хотятъ.

пелагея ивановна. Что вы! они въ перепискѣ.

полоскова. Въ перепискѣ?

пелагея ивановна. Какъ же. Ахъ, очаровательныя письма! мнѣ говорила m-lle Рестанъ.

полоскова. Вотъ какъ; я не знала. Что же они ей денегъ не пришлютъ?

пелагея ивановна. Развѣ это возможно? Это значитъ оскорбить, это можно только мелкимъ людямъ. Изрѣдка подарить что нибудь, pour souvenir... Я видѣла у нея однѣ серьги изъ лавы; ей прислала тетка, княгиня, изъ Неаполя.

полоскова. Дорогая вещь?

пелагея ивановна. Здѣсь такой ни за что не найдете... Ахъ, это такая женщина! Замѣтьте, какой у нея тонъ всегда, какъ къ ней всѣ всегда съ всеобщимъ уваженіемъ, а на выборахъ, тогда...

полоскова. Потому-то и лучше съ ней не связываться. Она станетъ просить, всю душу вытянетъ,—ну ее!

николаша. Мамаша, а она чего станетъ просить?

полоскова. У меня того нѣтъ, дружочекъ.

николаша. А вы сейчасъ говорили, что привезли въ приказъ отдавать.

полоскова. Плутъ какой, все слышитъ. Большой выростешь, будешь самъ отдавать.

николаша. Я никому не дамъ.

полоскова [нѣжно]. А Клипѣ?

николаша. Клипочкѣ не надо; она въ монастырь пойдетъ.

клипочка. Мамаша, не прикажите ему говорить. Это они съ няней выдумали, чтобъ я въ монастырь пошла. Я нянѣ сказала, что я къ себѣ ключи возьму, буду варенье варить, а няня говоритъ: «ты не будешь варить, потому что тебя папаша въ монастырь отдастъ». А я сказала, что я велю большую-большую ткацкую построить, велю, чтобъ мнѣ холсты ткали.

[Пока г-жа Полоскова слушаетъ ее съ нѣжнымъ вниманіемъ, а Пелагея Ивановна задумчиво смотритъ на деревья, входитъ madame Черпина].

Madame ЧЕРПИНА, городская жительница; МИШЕЛЬ, МАРИ, ея дѣти; mademoiselle РЕСТАНЪ, ихъ гувернантка.

ЧЕРПИНА [садится на другой конецъ скамейки, гдѣ сидитъ г-жа Полоскова]. Здѣсь больше тѣни, нежели въ той аллеѣ.

[Г-жа Полоскова оглядывается, дѣлаетъ знакъ Пелагеѣ Ивановнѣ, хватаетъ дѣтей за руки и встаетъ. Все это дѣлается поспѣшно и неловко. Г-жа Полоскова путается въ своемъ салопѣ, который спустился съ плечъ, роняетъ зонтикъ, не находитъ перчатокъ].

ПОЛОСКОВА [тихо Пелагеѣ Ивановнѣ]. Да не смотрите на нихъ, пожалуйста!

РЕСТАНЪ [тихо m-me Черпиной]. Мы перепугали эту даму.

ЧЕРПИНА [оборачивается]. Здравствуйте, Любовь Ильинишна.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА [почти громко г-жѣ Полосковой]. Видите ли, какъ она мила—она васъ узнала. Ахъ, что за прелесть! я просто отъ нея въ восхищеніи.

черпина. Куда же вы спѣшите? Давно ли пріѣхали.

полоскова. Дня три-съ.

черпина. Гуляете, смотрите городъ?

ПОЛОСКОВА [сконфужена]. Да, вотъ-съ, пришла съ дѣтьми...

ЧЕРПИНА. И я тоже. Дѣти меня вызвали и заставили такъ много пройти, что я устала. Дѣти неутомимы ходить.

ПОЛОСКОВА [сконфужена, но уже нѣсколько пріятно]. Да-съ, это народъ такой... съ ними какъ разъ устанешь.

ЧЕРПИНА [мило улыбается]. Именно, народъ такой! Отдохнемте вмѣстѣ; пусть они бѣгаютъ. Какъ ваше здоровье, милая Любовь Ильинишна?

ПОЛОСКОВА [садится съ ней рядомъ, но почтительно]. Слава Богу; такъ себѣ.

ЧЕРПИНА. Вашъ мужъ въ деревнѣ?

ПОЛОСКОВА. Да-съ, въ деревнѣ.

ЧЕРПИНА. Какъ его здоровье?

ПОЛОСКОВА. Ничего-съ, слава Богу.

ЧЕРПИНА. Онъ всегда такъ занятъ, неутомимъ, хлопочетъ, ему надо беречь себя. Его здоровье драгоцѣнно.

ПОЛОСКОВА [растаявъ]. Нѣтъ-съ, онъ ничего; покорнѣйше васъ благодарю. А меня онъ сюда послалъ, потому — самому нельзя выѣхать: пора самая рабочая. Хлѣба родилось, благодареніе Богу, такъ надо присмотрѣть за уборкой, а то съ большого-то, да и на малое съѣдешь, съ народомъ — ни что возьмешь...

ЧЕРПИНА. Конечно, конечно!..

[Мари катитъ обручъ. Мишель, заложивъ руки въ карманы пальто, ходитъ кругомъ статуи. Николаша и Клипочка стоятъ подлѣ своей матери].

ЧЕРПИНА [тихо m-lle Рестанъ]. Пожалуйста, уведите гувернантку, удержите подольше дѣтей; мнѣ надо переговорить съ этой дамой; чтобъ не мѣшали.

РЕСТАНЪ. Bien, madame.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА [съ упрекомъ m-lle Рестанъ]. Aline, вы меня не узнали?

РЕСТАНЪ [равнодушно]. Нѣтъ, я васъ видѣла издали; я узнала вашу шляпку.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Знакомая вамъ шляпка, прошлаго лѣта! Вы вспомнили, что я обѣщалась вѣчно носить васильки?.. Ахъ, chère, bonne amie! Какъ я счастлива, что мы встрѣтились! Я видѣла васъ издали, узнала, просила остановиться подождать... но что съ ней дѣлать? [Выразительный жестъ на г-жу Полоскову]. Вы хотите здѣсь съ ними сѣсть.

РЕСТАНЪ. Я устала.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Пойдемте на другую скамейку, подальше. Я такъ не люблю быть на глазахъ. Столько намъ надо припомнить, пересказать другъ другу...

МАРИ [подбѣгаетъ]. Bonne amie, какой тамъ смѣшной человѣкъ стоитъ!

РЕСТАНЪ. Что такое?

МИШЕЛЬ [подходитъ хладнокровно]. Это ихъ лакей. Онъ стоитъ и спитъ.

[Гувернантки садятся далеко на другой скамейкѣ. Мари бѣгаетъ, Мишель бродитъ. Николаша и Клипочка остались съ матерью].

ЧЕРПИНА [продолжая разговоръ]. Какъ, хлѣбъ родился, а нельзя надѣяться, что его будетъ много?

ПОЛОСКОВА. Чего надѣяться, матушка, умолотъ самый пустой... Пелагея Ивановна, что же вы мнѣ дѣтей прикинули, а сами ушли. [Дѣтямъ]. Ступайте туда, видите, гдѣ барышни сѣли.

НИКОЛАША [прижимаясь къ ней]. Я не пойду.

ПОЛОСКОВА [m-me Черпиной, гладя по головѣ Николашу]. Онъ у меня, видите, такой хозяинъ; чуть что услышитъ — говорятъ о хозяйствѣ,—такъ и не отстаетъ.

ЧЕРПИНА. Ребенку еще рано этимъ заниматься.

ПОЛОСКОВА [Николашѣ]. Слышишь, тебѣ, говорятъ, рано... Вѣдь всего одиннадцатый годъ, вы посудите... Ступай къ мамзели. Клипочка, поведи его. Я вамъ по прянику дамъ, какъ домой придемъ. [M-me Черпиной]. Только этимъ съ ними и сладишь.

НИКОЛАША [идетъ и возвращается]. Мамаша, мнѣ два.

КЛИПОЧКА. И мнѣ два.

НИКОЛАША. Тебѣ не надо.

КЛИПОЧКА. Мамаша, ему вовсе не давайте. Я вчера свой пряникъ въ столъ положила, а онъ унесъ, Анютка видѣла, какъ онъ унесъ. Я говорю: кто взялъ пряникъ, а она говоритъ: братецъ съѣлъ. А я говорю: я скажу мамашѣ...

ПОЛОСКОВА. Ступайте, ступайте къ мамзели.

На другой скамейкѣ. ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА въ ажитаціи, m-lle РЕСТАНЪ совершенно-порядочно хладнокровна.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Ахъ, chère Aline, какъ это случилось, что мы видимся опять? Я къ вамъ писать хотѣла, знаете? Былъ одинъ вѣрнѣйшій случай, и вамъ бы передали мое письмо изъ рукъ въ руки. Двѣнадцать страницъ кругомъ я написала, все, все... Да, такъ это разстроилось... У меня было приключеніе, chère. Знаете, это собственно не приключеніе, ничего, но для сердца. Я встрѣтила одного молодого человѣка. Онъ иностранецъ, жилъ нынѣшнюю зиму у Бичевкиныхъ... Ахъ, это идеалъ!.. Chère, какъ вы хороши въ этой круглой шляпкѣ! Это московская?

РЕСТАНЪ. Да.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Какъ къ вамъ идетъ?

РЕСТАНЪ. Отъ солнца это удобно.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Нѣтъ, вы сами въ ней... Нѣтъ, это такъ интересно, вуалетка въ пол-лица. Я вамъ говорила... Помните, chère, наши прогулки у пруда?

РЕСТАНЪ. Вы, кажется, боитесь лягушекъ.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. То есть, я не боюсь, но это нервное... Такъ, нынѣшней зимой... Ахъ прудъ замерзъ, ma bonne amie! Мы гуляли, я и Морисъ... Его зовутъ Морисъ... Мы все говорили, все говорили. Онъ иностранецъ, но знаете, совсѣмъ чисто говоритъ по-русски. Я вамъ это все описала... Только вдругъ, онъ отошелъ отъ Бичевкиныхъ, уѣхалъ... Вотъ, я съ нимъ хотѣла вамъ послать письмо... А ужъ отсюда не знаю, куда онъ уѣхалъ. Онъ обѣщался мнѣ писать, но, вотъ, ни слова... Ахъ, этихъ дѣтей противныхъ къ намъ прислали!

[Николаша и Клипочка подходятъ и становятся предъ нею безмолвно, какъ стояли предъ матерью].

РЕСТАНЪ [бѣгло оглянувъ ихъ]. Вы занимаетесь дѣтьми, или мать?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Ахъ, chère, я, конечно! мои такіе господа... ну, что бы взять учителя, вотъ, Мориса... Il ne faut pas devant les enfants raconter...

РЕСТАНЪ. Что же они стоятъ; имъ, я думаю, скучно. Что вы не бѣгаете?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Courez, allez, Николаша. Посмотрите, какія хорошія дѣти. Помните, вы ихъ прошлымъ лѣтомъ видѣли? Renouvellez la connaissance, renouvellez...

РЕСТАНЪ. Мишель! [Мишель подходитъ; она говоритъ съ нимъ тихо].

КЛИПОЧКА [тихо Пелагеѣ Ивановнѣ]. У нихъ свой домъ есть?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Есть, душечка, есть; поди къ нимъ.

КЛИПОЧКА. А кто этой барышнѣ платье шилъ?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Не знаю, душечка; поди, спроси.

КЛИПОЧКА. Я спрошу. [Нерѣшительно идетъ къ Мари, которая перестала катать обручъ и отдыхаетъ, живописно опираясь на него].

МИШЕЛЬ [m-lle Рестанъ]. Извольте, если вы непремѣнно этого хотите. Вы хотите, чтобъ я тратилъ мое время съ этими провинціалами? Нѣтъ пожертвованія, котораго бы я не сдѣлалъ для васъ, хоть знаю, что оно напрасно.

РЕСТАНЪ [шутя]. Вы злой ребенокъ.

МИШЕЛЬ [серьезно]. Вы знаете, что я давно не ребенокъ.

РЕСТАНЪ. Такъ вы съ ума сошли.

МИШЕЛЬ. Отъ васъ?.. Нѣтъ, сойти съ ума ужъ слишкомъ много. Я надѣюсь, что сохраню разсудокъ тѣмъ болѣе, потому что...

РЕСТАНЪ. Ну, что же?

МИШЕЛЬ. Вѣдь я все знаю!.. Ну что?

РЕСТАНЪ [строго]. Ступайте играть.

МИШЕЛЬ [смѣется]. Вы меня прогоняете? это наказаніе еще не такъ велико... [Николашѣ]. Вы не видѣли этой статуи? Посмотрите.

НИКОЛАША. Я не хочу на нее смотрѣть.

МИШЕЛЬ. Такъ рѣшительно не хотите? [Идутъ вмѣстѣ къ дѣвочкамъ].

НИКОЛАША. Зачѣмъ ее сдѣлали?

МИШЕЛЬ. Для вида, для украшенія сада. Вы прежде видѣли гдѣ нибудь статуи?

НИКОЛАША. Нѣтъ. Она каменная?

МИШЕЛЬ. Бронзовая.

НИКОЛАША [оживляясь]. У насъ, на нее похожа, у колодца стоитъ. Папаша велѣлъ сдѣлать.

МИШЕЛЬ. Какъ же вы говорите, что никогда не видали?

НИКОЛАША. Деревянная, и армякъ на нее надѣли. Тутъ садъ близко, такъ отъ галокъ. Папаша велѣлъ.

МИШЕЛЬ. Стало быть, вашъ папаша любитъ искусства?

НИКОЛАША. У папаши много денегъ. Одинъ садъ у насъ продали; нынѣшнимъ лѣтомъ насъ туда не пускаютъ. Купцы сняли. Сторожъ ихній сидитъ въ шалашѣ, и собака большая-пребольшая, такъ на всѣхъ и бросается. Мы было хотѣли пролѣзть за яблоками,—какъ она хватитъ! Я насилу ушелъ.

МИШЕЛЬ [серьезно]. Скажите, какой разсчетъ покупать сады? Не всегда же можно надѣяться, что будетъ много плодовъ? Конечно, сумма пустая, но какому нибудь мѣщанину, купцу... почемъ я знаю! трудно и этимъ рисковать.

НИКОЛАША. Они сами говорятъ—на рискъ. Въ прошломъ году насъ нашъ садовникъ надулъ: предоставилъ купцамъ садъ, а самъ съ нихъ три цѣлковыхъ взялъ. Его папаша за это въ пастухи сослалъ. Вотъ ему!

МИШЕЛЬ. Но, стало быть, теперь это человѣкъ безполезный?

НИКОЛАША. У насъ ихъ много.

КЛИПОЧКА [которая все это время молча осматривала Мари]. Его жена приходила, какъ маменьку за него просила!..

МИШЕЛЬ [Клипочкѣ серьезно]. Ваша маменька входитъ въ эти распоряженія?

МАРИ [взглядываетъ на брата, потомъ на Клипочку и вдругъ хохочетъ]. Ah, mon frère!.. [Клипочкѣ]. Здѣсь грязи нѣтъ; гдѣ вы такъ запачкали ваши ботинки?

КЛИПОЧКА. Это старыя.

МАРИ. У васъ, видно, нѣтъ другихъ.

КЛИПОЧКА. Анъ есть. А на васъ какія? [Мари нетерпѣливо прячетъ ножку]. Погляди, Николаша, изъ холстины сшиты!

МАРИ. Если бы вы жили въ городѣ, вы бы знали, что другихъ лѣтомъ не носятъ.

КЛИПОЧКА. Вы богаты?

МАРИ. Конечно, богаты.

КЛИПОЧКА.—Зачѣмъ же на васъ платье не шелковое?

МАРИ [хохочетъ].—Мишель, помоги же мнѣ поддержать разговоръ,—ты началъ.

МИШЕЛЬ. Толкуйте сами о вашихъ женскихъ лоскутьяхъ.

КЛИПОЧКА. Вамъ это свои дѣвки дома вышивали? [приподнимаетъ пелеринку Мари].

Издали, въ аллеѣ, показываются Поль, молодой человѣкъ, лѣтъ двѣнадцати, очень хорошенькій, обстриженный въ кружокъ по-русски, костюмированный въ безрукавку и личные сапоги, и HERR МИЛЛЕРЪ, его гувернеръ, розовый юноша лѣтъ тридцати; онъ смотритъ рачительнымъ и умѣющимъ жить экономно. Мишель идетъ къ нимъ на встрѣчу и жметъ руку Полю. Мари, увидя ихъ, вырывается отъ Клипочки и бѣжитъ въ сторону.

РЕСТАНЪ [вслѣдъ Мари]. Eh bien, qu'y a-t-il?

МАРИ. Ah, ma bonne! ото невыносимое общество, у меня голова кружится! [добѣгаетъ до пустой скамейки, далеко отъ гувернантокъ, бросаетъ за скамейку свой обручъ и садится въ утомленной и граціозной позѣ].

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА [увидя вновь прошедшихъ, вскрикиваетъ] Ah, chère.

РЕСТАНЪ [все время спокойно слушая ея разсказы].—Что съ вами?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА [въ сильнѣйшей ажитаціи].—Это онъ...

РЕСТАНЪ. Кто такой?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Ахъ, это онъ, vous dis-je! Могла ли я думать, что встрѣчу его здѣсь! Я думала онъ уже далеко... И вы, и онъ—оба здѣсь! всѣ мои желанія исполнены! Ахъ, я теперь уѣду спокойно!.. Ваше дитя съ нимъ кланяется, chère, такъ вы знакомы?

РЕСТАНЪ [покраснѣвъ и неспокойно]. Съ кѣмъ?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Ахъ, съ Морисомъ, mon ange! Вѣдь это Морисъ!

РЕСТАНЪ. Monsieur Миллеръ?.. Да, онъ ходитъ съ своимъ воспитанникомъ къ Мишелю.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. — Я вы его часто видите? Ахъ, счастливица: Vous parlez avec lui? счастливица!

РЕСТАНЪ [презрительно и очень неравнодушно].— Какое счастье!.. Такъ это вашъ идеалъ?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА.—C'est mon idole, chère!

РЕСТАНЪ.—Лифляндскій нѣмецъ!

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Vous parlez avec lui?

РЕСТАНЪ. Такъ что же?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Ахъ, какъ я раскаиваюсь, что не послала съ нимъ къ вамъ письма! Вы бы говорили ему обо мнѣ. Вы бы узнали его чувства. Вы бы напомнили ему, что я существую.

РЕСТАНЪ. Вотъ онъ самъ; можете ему напомнить, что хотите.

[Herr Миллеръ. Поль и Мишель подходятъ. Пелагея Ивановна отворачивается, наклоняетъ голову и смотритъ песокъ. Поль, поклонясь, уходитъ къ Мари. Herr Миллеръ любезно раскланивается съ m-lle Рестанъ; она разсержена и покраснѣла. Мишель нѣсколько минутъ наблюдаетъ за ними и потомъ уходитъ къ сестрѣ].

МИЛЛЕРЪ [m-lle Рестанъ]. Какой сегодня хорошій вечеръ. Я былъ въ увѣренности васъ здѣсь найти. Поль хотѣлъ, чтобы проѣхать кататься, но я радъ, что это не могло быть.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА [въ отчаяніи, къ m-lle Рестанъ]. Ахъ, chère, онъ меня не узнаетъ, не узнаетъ!

РЕСТАНЪ [съ сдержаннымъ гнѣвомъ и очень холодно]. Monsieur Миллеръ, вы не видите? здѣсь ваша знакомая, m-lle Шапочкина...

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Шаманова, chère amie!..

РЕСТАНЪ. M-lle Шаманова, съ которой вы провели всю прошлую зиму.

МИЛЛЕРЪ. Мнѣ очень, очень пріятно.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Морисъ... Mein Herr, вѣроятно, здѣсь, среди удовольствій, вы уже забыли.

МИЛЛЕРЪ. Нѣтъ, я не забывалъ... Это навсегда.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА [оживаетъ]. Я была въ васъ увѣрена, что навсегда! И теперь, когда мы встрѣтились въ присутствіи моего лучшаго друга, Aline... Вы говорили, что только что найдете себѣ мѣсто... Хорошо ли вамъ жить?

МИЛЛЕРЪ. Я на ассигнаціи получаю семьсотъ [M-lle Рестанъ хохочетъ].

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Ахъ, chère, вамъ это забавно, но это такъ трогательно! Я такъ увѣрена, что онъ это отъ души... Конечно, мѣсто... Конечно, никто больше меня не принимаетъ участія... Но и вы, Морисъ, вѣрно не искали участія постороннихъ людей.

МИЛЛЕРЪ. Нѣтъ, я искалъ.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Какъ?.. [M-lle Рестанъ хохочетъ].

МИЛЛЕРЪ. Нѣтъ въ людяхъ искалъ, потому, что если манкировать свою обязанность.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Да!.. обязанность!

РЕСТАНЪ [хохочетъ]. Это восхитительно! Я не знала о вашихъ успѣхахъ, m-r Миллеръ!

МИЛЛЕРЪ. Какой успѣхъ? я моей обязан-

ности не манкирую, но Поль всегда мало успѣваетъ.

РЕСТАНЪ [въ гнѣвѣ]. Какъ давно выучились вы каламбурить, m-r Миллеръ? я за вами этого не знала!

МИЛЛЕРЪ [потерялся]. Нѣтъ, что же... Я могу васъ увѣрить.

РЕСТАНЪ. Сдѣлайте милость, не надо! какое мнѣ дѣло!

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. До чего дѣло, chère amie?

РЕСТАНЪ. До успѣховъ m-r Миллера!... Поздравляю васъ, m-r Миллеръ!

МИЛЛЕРЪ. Нѣтъ, но послушайте: то, что я вамъ говорилъ...

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. А что вы ей говорили?

МИЛЛЕРЪ [m-lle Рестанъ]. Нѣтъ, если я вамъ говорилъ, то это по искренности. Потому что вѣдь то было на прошедшей зимѣ, а это есть теперь...

РЕСТАНЪ. Ахъ, оставьте меня въ покоѣ! Это даже глупо!..

На другой скамейкѣ. МАРИ сидитъ, ПОЛЬ стоитъ передъ нею. МИШЕЛЬ подходитъ, оставя гувернантокъ.

МАРИ. Такъ вы не хотѣли придти сюда, m-r Поль?

ПОЛЬ. Mais, c'est toujours la même chose!..

МИШЕЛЬ. Нѣтъ, не всегда: сегодня здѣсь показываютъ дикарей. Ты видѣлъ?

ПОЛЬ. Кстати, скажи, что это такое? Я видѣлъ тамъ твоя маменька тоже разговариваетъ Богъ знаетъ съ кѣмъ.

МИШЕЛЬ. Полосковы какіе-то.

ПОЛЬ. А! мой Миллеръ ихъ знаетъ. Деревенскіе?

МАРИ. Comme cela vous interresse, monsieur Paul!

ПОЛЬ. Вы хотите, чтобы я ужъ ни на что не обращалъ вниманія; вѣдь это невозможно! Надо же чѣмъ нибудь и развлечься.

МАРИ. Вы слышали, что эту дѣвицу зовутъ Клипочка?

ПОЛЬ. Comme c'est drôle! Что это такое— Клипочка?

МАРИ. Почему же я знаю; спросите ее сами.

ПОЛЬ. Непремѣнно спрошу.

МАРИ. Она будетъ очень рада вашему вниманію.

ПОЛЬ. А гдѣ вашъ обручъ? что вы не катаете?

МАРИ. [вспыхнувъ]. Не вѣчно можно дѣлать глупости.

ПОЛЬ. [смѣется]. Вы ихъ такъ часто дѣлаете, что я думалъ, можно и вѣчно.

МАРИ. Monsieur Paul, vous vous oubliez!... Mon frère... я не понимаю, Мишель,—on me manque et vous ne dites rien!

МИШЕЛЬ [смѣется и беретъ подъ руку Поля]. Полно, охота тебѣ связываться съ дѣвчонкой. Тутъ есть кое-что занимательнѣе...

ПОЛЬ. Что такое?

МИШЕЛЬ. Пойдемъ курить, я скажу.

ПОЛЬ. А съ тобой есть папироски?

МИШЕЛЬ. Какъ не быть. Вотъ, туда пойдемъ, за статую; о пьедесталъ можно зажечь спичку, ты держи свою зимогорку и зажжемъ.

ПОЛЬ. А нѣмецъ?

МИШЕЛЬ [хохочетъ]. Твой нѣмецъ пропалъ; онъ теперь ничего не увидитъ [ему на ухо]. У m-lle Рестанъ нашлась соперница!

ПОЛЬ. Что ты говоришь!.. Пойдемъ.

МАРИ. А я скажу, что вы пошли курить, m-r Поль.

МИШЕЛЬ [грозитъ ей]. Если ты только осмѣлишься!

МАРИ. Что ты мнѣ сдѣлаешь?

ПОЛЬ. Я покажу локонъ, который вы мнѣ подарили на память,—вотъ что!

[Мишель и Поль убѣгаютъ и прячутся за статую. Мари остается въ задумчивости одна на скамейкѣ. Клипочка подходитъ и стоитъ передъ нею, глядя на нея].

КЛИПОЧКА. Николаша!

НИКОЛАША [подходитъ]. Что тебѣ?

КЛИПОЧКА. Поди погляди.

НИКОЛАША. Что тутъ глядѣть?

КЛИПОЧКА. Ты этого никогда не видалъ. У нея юбка на обручахъ, и другая, шитая. И панталончики шитые.

НИКОЛАША. Ну, что-жъ тамъ глядѣть?

КЛИПОЧКА. Видно, въ городѣ все такъ носятъ.

НИКОЛАША. Ты дура.

МАРИ. А у васъ въ деревнѣ всѣ такіе учтивые мальчики, какъ вы? [Клипочка бѣжитъ отъ нея со всѣхъ ногъ. Мари смѣется].

НИКОЛАША. Чего вы хохочете? я пойду, мамашѣ скажу.

МАРИ. Ваша мамаша такая же смѣшная.

НИКОЛАША [входя въ азартъ]. Анъ нѣтъ. У моей мамаши деньги есть, а у вашей нѣтъ. Вонъ, она сидитъ, ваша мамаша, изъ моей мамаши душу тянетъ. Ваша мамаша попрошайка.

МАРИ. Ахъ, какой вы гадкій мальчикъ! Подите отъ меня прочь! Я скажу вашей гувернанткѣ, она васъ на колѣни поставитъ... подите прочь!

НИКОЛАША. Экая невидаль—на колѣни! А васъ и вовсе высѣкутъ.

МАРИ [вскакиваетъ]. Ахъ, какой вы уродъ! подите прочь! [Бѣжитъ къ гувернанткамъ, которымъ не до нея въ эту минуту, и садится подлѣ нихъ].

На другой скамейкѣ. M-lle РЕСТАНЪ, ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА, Herr МИЛЛЕРЪ, въ жаркомъ разговорѣ. МАРИ.

РЕСТАНЪ. Что же вы конфузитесь, m-r Миллеръ? вспоминайте, какъ вы проводили ваше время зимою, и долгіе вечера, и прогулки у мерзлаго пруда. Это интересно.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Ахъ, chère, если онъ уже все забылъ,—къ чему напоминать?

МИЛЛЕРЪ. Нѣтъ, я помнилъ, но это есть неловко...

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Вамъ неловко, при Aline, при моемъ лучшемъ другѣ?.. Aline, chère, скажите, откройте мнѣ глаза, чтобъ я не заблуждалась болѣе: онъ забылъ меня,—но кто же другая заняла его сердце?

МИЛЛЕРЪ. Нѣтъ, я помнилъ, но я искалъ, чтобъ въ такой домъ себя помѣстить, гдѣ бы вмѣстѣ и мальчикъ, и дѣвочка, чтобъ я могъ, соединивъ свои fortune...

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Но вотъ у Полосковыхъ вѣдь и Николаша, и Клипочка, это мальчикъ и дѣвочка...

МИЛЛЕРЪ. Вамъ есть извѣстно, что я съ madame Полосковъ имѣлъ неудовольствіе.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Но вы знаете, что я готова... Нѣтъ, Морисъ, тутъ другое! вы искали другого, вы искали болѣе...

МИЛЛЕРЪ. Точно такъ, есть; я искалъ болѣе, потому что fortune недостаточна...

РЕСТАНЪ [въ сильномъ гнѣвѣ]. Такъ вы искали денегъ?

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА. Такъ гдѣ же вы искали, Морисъ?..

На площадкѣ. НИКОЛАША, КЛИПОЧКА.

НИКОЛАША. Ты чего же бѣжала?

КЛИПОЧКА. Какъ же, Николаша, она глядитъ... Непремѣнно скажу мамашѣ, чтобъ мнѣ такую шляпку сшила.

НИКОЛАША. Грибъ-то этотъ? Это тебѣ съ Дунькой за калиной ходить.

КЛИПОЧКА. Ну, за калиной пойду.

НИКОЛАША. А я соберу ребятъ дворовыхъ, побѣжимъ за тобой,—у-у! закричимъ.

КЛИПОЧКА. А у меня все-таки будетъ шляпка.

НИКОЛАША. Видишь ты! а гдѣ мамашѣ денегъ взять, ее тебѣ шить?

КЛИПОЧКА. Есть деньги.

НИКОЛАША. Да не про тебя.

КЛИПОЧКА. И не про тебя.

НИКОЛАША. Нѣтъ, про меня. Мнѣ вонъ такой сюртукъ сошьютъ.

КЛИПОЧКА. И мнѣ. Я тоже мамашина дочь.

НИКОЛАША. Ты не мамашина дочь.

КЛИПОЧКА. Какъ не мамашина дочь?

НИКОЛАША. Нѣтъ. Тебя мамаша не любитъ. Тебя мамаша въ монастырь пошлетъ.

КЛИПОЧКА. А тебя папаша въ пастухи посадитъ.

НИКОЛАША. Какъ ты мнѣ смѣешь? Вотъ я тебя...

КЛИПОЧКА. Ой, не буду!.. [отбѣгаетъ]. Да что ты, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь нельзя драться!

НИКОЛАША. Отчего нельзя?

КЛИПОЧКА. А гляди, гляди, откуда это дымъ идетъ?

НИКОЛАША [оглядывается]. Это, вонъ, тѣ курятъ.

КЛИПОЧКА. Я пойду, посмотрю.

НИКОЛАША. Да, еще тебя оттуда не погнали.

КЛИПОЧКА. Нѣтъ, я пойду... Другой-то, Николаша, мужикомъ одѣтъ!

НИКОЛАША. Всѣ они дрянь.

КЛИПОЧКА. Пойдемъ вмѣстѣ, посмотримъ; съ тобой лучше.

НИКОЛАША. Не хочу. Я ѣсть хочу. Что это мамаша тамъ разсидѣлась. Я къ Антону пойду, онъ крендель дастъ.

КЛИПОЧКА. Принеси мнѣ.

НИКОЛАША. Какъ же!.. [Николаша отправился къ Антону и ѣстъ. Клипочка крадется за статую].

На первой скамейкѣ. Госпожа ПОЛОСКОВА и madame ЧЕРПИНА разговариваютъ очень дружелюбно.

ЧЕРПИНА. У васъ превосходный скотъ, Любовь Ильинишна.

ПОЛОСКОВА. Порода хороша-съ. А представьте какъ онъ вымеръ-то весь!

ЧЕРПИНА. Ахъ, какое несчастье! неужели ничего не осталось?

ПОЛОСКОВА. Ни шерстинки-съ.

ЧЕРПИНА. Извините... Но такимъ хозяевамъ, какъ вы, какъ же не позаботиться, не принять мѣръ, не призвать врачей...

ПОЛОСКОВА. Принимали-съ, призывали-съ! какъ для своего добра не постараться.

ЧЕРПИНА. Такъ это, просто, несчастье... Теперь, я думаю, сосѣди... Вѣдь это такіе пустые люди, говоря откровенно! — сосѣди радуются, что ваше хозяйство разстроено: оно имъ глаза кололо.

ПОЛОСКОВА. А съ чего же имъ радоваться? вѣдь этому ужъ десять лѣтъ прошло. Съ тѣхъ поръ, матушка, сами изволили видѣть, какъ у насъ все заведено.

ЧЕРПИНА. Десять лѣтъ! но вы говорили... мнѣ показалось, это въ нынѣшнемъ году [поспѣшно]. Такъ вы въ нынѣшнемъ году не потерпѣли никакого убытка?

ПОЛОСКОВА. И, матушка, что вы, какой убытокъ, что Бога гнѣвить! [увлекается]. У меня однѣхъ телокъ пятьдесятъ штукъ, и ни за что не продамъ. Это мой Егоръ Семенычъ

какъ себѣ хочетъ. Онъ кричитъ—продавай, зачѣмъ я, видите, сѣно, солому травлю,—а я таки на своемъ поставлю...

черпина. Конечно! [улыбается]. Что мужьямъ волю давать, — они въ нашихъ женскихъ дѣлахъ ничего не понимаютъ.

полоскова [очень весела и смѣется]. Вотъ какъ не понимаютъ, что смѣхъ! Имъ—чтобъ было, а какъ—и не спрашиваютъ, только подавай. А вѣдь тутъ нельзя все духомъ однимъ дѣлать, надо и приложить къ нему что нибудь, чтобъ было оно, хозяйство-то. И къ тому, все руки да руки, глазъ да глазъ. Пригляжу я — сдѣлано. Ленъ, напримѣръ, или пряжа, изволите знать...

черпина. Ахъ, милая Любовь Ильинишна, ничего, къ стыду моему, не знаю! Все только хочу учиться, а время уходитъ.

полоскова. Да еще какіе ваши года,—научитесь.

черпина. Не года, милая Любовь Ильинишна, а просто, времени нѣтъ. Я думала пріѣхать на нынѣшнее лѣто въ деревню, вдругъ, пишетъ тетушка... Княгиня Дзичевская, изъ Неаполя. Она тамъ... право, какъ не позавидовать! знаете, это иногда приходитъ въ голову, если припомнить свое воспитаніе, свои привычки... А тутъ, этотъ вздорный городъ... Если бы вы знали, сколько сплетень, а я ихъ такъ ненавижу! Служба мужа заставляетъ насъ здѣсь жить. Какъ я надѣялась, какъ просила Бога, чтобъ прошлой зимой его не выбрали... нѣтъ, — выбрали!..

полоскова. Будто вы не хотѣли? а какъ же обѣды-то вы давали?

черпина. Обѣды... Поневолѣ, милая Любовь Ильинишна. Поневолѣ и живемъ здѣсь, и тратимъ больше нежели хотѣли бы... а я бы и совсѣмъ не хотѣла! Мнѣ—мой уголокъ, книги, любовь моего мужа и дѣти—вотъ весь мой міръ!.. Эта служба, просто, жертва, потому что деревню, хозяйство, все, — мы должны были оставить...

полоскова. Супругъ вашъ, пожалуй, что такъ, да и то—деревня ваша не за горами, могъ бы и понавѣдаться; а вы-то ужъ и вовсе могли бы тамъ, кажется...

черпина. Оставить моего мужа? я не въ состояніи. Это надо понять, Любовь Ильинишна! И дѣти... да, вотъ, я начала вамъ говорить. Тетушка, княгиня Дзичевская, пишетъ мнѣ... Она имѣетъ огромныя связи... Надо помнить кто мы, Любовь Ильинишна!.. Она бываетъ безпрестанно на балахъ при дворѣ, тамъ, въ Неаполѣ. Все, что возможно—все предъ ней съ уваженіемъ. Она пишетъ мнѣ, что желала бы опредѣлить моего Мишеля при посольствѣ...

полоскова. А ему сколько лѣтъ?

черпина. Кому?

полоскова. Вашему Мишелю?

черпина. Тринадцать.

полоскова. Это еще раненько служить.

черпина. Конечно... конечно, рано! Но приготовить его надо. Я беру ему здѣсь лучшихъ учителей. Это стоитъ ужасъ какъ дорого, но какъ же я могу сдѣлать противъ воли тетушки? какъ я могу лишить моего сына такой блестящей карьеры? Вы понимаете, какая ему современемъ карьера? При посольствѣ, посланникомъ... Вѣдь посланникъ представляетъ лицо монарха...

полоскова [поражена]. Да-съ...

черпина. Черезъ два года онъ уже долженъ отправиться къ тетушкѣ. Два года,—это такъ скоро идетъ!

полоскова. Скоро-съ... да-съ...

черпина. И потомъ, этотъ молодой человѣкъ, увѣшенный крестами, почетно принятый коронованными особами,—сказать себѣ, что это — мой сынъ!.. Это такое счастье! Можно ли что нибудь пожалѣть для этого? нельзя?

полоскова. Нельзя-съ...

черпина. Какъ я рада, что вы меня понимаете, милая Любовь Ильинишна! [съ чувствомъ жметъ ей руку]. Я была въ этомъ увѣрена. Вы такое доброе, превосходное существо.

полоскова [сконфужена, впрочемъ, еще пріятно]. Помилуйте!

черпина. Нѣтъ, дайте мнѣ быть откровенной съ вами? Я скажу вамъ отъ сердца, что меня никто такъ хорошо не понимаетъ, какъ вы. Я имѣла случай это замѣтить... Мы вамъ такъ обязаны...

полоскова. Да-съ...

черпина. И эта обязанность для меня самая священная, но и самая пріятная... Потому что,—я скажу откровенно: моя тетка, княгиня Дзичевская, моя кузина, маркиза Дорфейль... онѣ обѣ за иностранцами... Онѣ не понимаютъ меня такъ, какъ вы!

полоскова. Какъ это возможно!

черпина. Да! Вѣдь онѣ не живутъ въ нашей провинціи, въ нашей глуши. Онѣ воображаютъ, что это легко. А жить очень трудно.

полоскова. Очень трудно. Года плохіе.

черпина. Вамъ не трудно, милая Любовь Ильинишна, вы сами говорите, что не потерпѣли убытковъ.

полоскова. Ну, однако же, все-таки...

черпина. Но каково намъ, когда мы, по

нашему положенію, по воспитанію, не можемъ заниматься мелкими разсчетами.

ПОЛОСКОВА. Безъ разсчета нельзя-съ.

ЧЕРПИНА [грустно улыбается]. Знаю, что нельзя, добрая моя Любовь Ильинишна. Кто лучше меня это знаетъ!.. Вотъ, теперь я въ такомъ затруднительномъ положеніи...

ПОЛОСКОВА [быстро повертывается на своемъ мѣстѣ и глядитъ по сторонамъ]. Куда это дѣти запропали?

ЧЕРПИНА. Ахъ, они тамъ, играютъ съ моими; мои дѣти такъ скоро дружатся со всѣми, такъ ласковы. Вы, такъ же какъ я, страстно любите вашихъ дѣтей, ничего не жалѣете для нихъ, милая Любовь Ильинишна; это еще черта сходства нашихъ характеровъ... Вотъ почему я ищу такъ сблизиться съ вами, прошу дружбы. Я къ вамъ посылала сегодня...

ПОЛОСКОВА [поспѣшно]. Меня не было. Я въ тотъ... въ соборъ, къ обѣднѣ ѣздила.

ЧЕРПИНА [кротко]. Это было во время обѣда, въ три часа.

ПОЛОСКОВА. Такъ къ вечернѣ. Тамъ вечерня ранняя.

ЧЕРПИНА. Все равно... Кузина маркиза Дорфейль пишетъ мнѣ, что скоро будетъ здѣсь, въ Россіи. Ея мужъ состоитъ членомъ въ одномъ ученомъ обществѣ, которое объѣзжаетъ разныя страны... Она, вотъ какъ я съ моимъ мужемъ, не можетъ съ своимъ разстаться. Они скоро будутъ проѣздомъ здѣсь въ N. и остановятся у меня, конечно,—гдѣ же больше? на нѣсколько дней... Эти нѣсколько дней такъ меня затрудняютъ!.. Они привыкли къ роскоши; изысканный столъ, дорогія вина... У нихъ есть сервизъ—серебро vermeil и настоящій севрскій фарфоръ... Домъ ихъ въ Парижѣ—это не знаю какое великолѣпіе!.. Ихъ прислуга, каждый имѣетъ свою комнату, свою мебель...

ПОЛОСКОВА. Эка, Господи, холопья-то!

ЧЕРПИНА. Я согласна съ вами: безумная роскошь, но что же дѣлать? Нельзя же мнѣ не принять ее у себя,—ужъ не говорю такъ, какъ бы она приняла меня, но хотя порядочно... А вы вообразите, дорогая моя Любовь Ильинишна, я вамъ признаюсь какъ родной: мы безъ копѣйки!

ПОЛОСКОВА [мрачно]. Что-жъ дѣлать, матушка.

ЧЕРПИНА. Это такое ужасное положеніе! Я не могу подумать, что эта особа, которую я люблю, которая привыкла меня уважать,—вдругъ найдетъ мой домъ, какъ нибудь... это ужасъ! И самъ маркизъ, такой значительный, европейски образованный человѣкъ, членъ ученыхъ обществъ... Это можетъ впослѣдствіи повредить и карьерѣ Мишеля... Я не смѣю говорить объ этомъ съ моимъ мужемъ: мы молчимъ, но я вижу, что его это убиваетъ и онъ, съ страшной силой воли, старается все скрыть... совѣстно, страшно, не знаю какъ быть...

ПОЛОСКОВА. Со всякимъ бываетъ.

ЧЕРПИНА. Вы понимаете это чувство? чувство матери, жены, женщины общества...

ПОЛОСКОВА. Какъ, матушка, не понимать, что скучно, когда денегъ нѣтъ, всякому скучно.

ЧЕРПИНА [обнимаетъ ее съ пріятнымъ смѣхомъ]. Милая Любовь Ильинишна! Какъ я люблю въ ней этотъ le gros bon sens... не знаю какъ выразить... однимъ словомъ... Вы это понимаете. Выручите меня.

ПОЛОСКОВА. Какъ это, матушка? Я не въ состояніи.

ЧЕРПИНА. Вѣдь съ вами есть деньги.

ПОЛОСКОВА. Вовсе нѣтъ.

ЧЕРПИНА. Зачѣмъ же вы пріѣхали?

ПОЛОСКОВА. Ахъ, мать моя, такъ пріѣхала! въ городъ пріѣхала! Мнѣ въ городъ развѣ заказано въѣзжать?

ЧЕРПИНА [смѣется]. Ахъ, эта добрая Любовь Ильинишна, какъ она мило вспылила! Напротивъ, такихъ, какъ вы, надо было бы присылать къ намъ въ городъ!.. Но я знаю навѣрное: вы пріѣхали деньги положить въ приказъ. Мнѣ чиновникъ приказа говорилъ.

ПОЛОСКОВА [въ гнѣвѣ]. Чтобъ ему пусто было, чиновнику вашему! Врутъ они всѣ: какія у меня деньги? А если и есть, такъ мнѣ онѣ самой нужны!

ЧЕРПИНА. Но вѣдь не сейчасъ нужны: вы ихъ отдаете въ приказъ.

ПОЛОСКОВА. Ахъ, сударыня, что-жъ мнѣ, ужъ и про дѣтей не поберечь? Вы вашего въ послы готовите, царя онъ будетъ изъ себя представлять,—а мой, какой ни есть сынъ, хоть прохвостомъ мнѣ его, дай Богъ устроить,—копѣйка и ему надобна.

ЧЕРПИНА. Она не пропадетъ, копѣйка ваша! вы, я думаю, возьмете такіе проценты, какихъ вамъ ни одинъ ломбардъ не дастъ...

ПОЛОСКОВА [встаетъ]. Ну, ростовщица я, жидовка, — а нѣтъ вамъ моихъ денегъ, какъ нѣтъ,—слово мое сказано! Мнѣ отъ вашихъ княгинь да графинь шубы себѣ не сшить,—возитесь съ ними, какъ сами знаете, а мнѣ, маленькому человѣку... [слышенъ визгъ Клипочки]. Они еще тамъ моимъ голову проломять, дѣти ваши ласковыя... [бѣжитъ къ дѣтямъ].

У статуи. ПОЛЬ и МИШЕЛЬ курять, усѣвшись на ступенькѣ пьедестала. КЛИПОЧКА притаилась и слушаетъ.

поль. Такъ вы играли?

мишель. Мы въ танцклассѣ всегда играемъ. Уйдемъ къ Жаку въ кабинетъ, покуда другіе отличаются, и играемъ. Его monsieur Моранъ вздумалъ было зашумѣть одинъ разъ, да ему Жакъ далъ острастку. — «Вы, говоритъ, знайте то, что вы у меня третій гувернеръ въ полгода: захочу, и вы полетите».

поль. Молодецъ Жакъ!

мишель. Я не понимаю тебя, какъ ты не возьмешь въ руки своего нѣмца. Одно ужъ: перчатки мыть отдаетъ, — этакая скотина! съ нимъ выдти на улицу совѣстно.

поль. Что мнѣ съ нимъ дѣлать?

мишель. Ну, и держи его какъ лакея, чтобы грубить не смѣлъ. Ты все еще какимъ-то мальчикомъ. Это оттого, что тебя наряжаютъ по-шутовски.

поль. Твоя правда [вздыхаетъ]. Такъ ты выигралъ?

мишель [сквозь папироску]. Выигралъ.

поль. Много?

мишель. Нѣтъ. Игры нѣтъ порядочной. Сережу два прошлыя воскресенья не отпустили изъ пансіона; нашалилъ. Его отецъ разсердился и не далъ ему денегъ за двѣ недѣли.

поль. Это плохо. Что у нихъ тамъ вышло?

мишель. Не знаю. Побили кого-то.

поль. А знаешь, вотъ съ кѣмъ бы поиграть, — съ деревенщиной этой. Нѣмецъ мой ихъ знаетъ, Полосковыхъ; говорилъ, что богаты.

мишель. Нѣмецъ твой говоритъ! ахъ, ты!.. У него ушки подвязаны, или не видишь?

поль [смѣется]. Ну, такъ что же?

мишель. Что?.. Развѣ у такого дурака могутъ быть свои деньги?

поль. Твоя правда.—У тебя, кажется, непріятности вышли какія-то?

мишель. Какія непріятности?

поль. Въ кондитерской, говорятъ, будто ты задолжалъ, просили... Нѣмецъ говорилъ.

мишель. Погоди же онъ, нѣмецъ!.. Ну задолжалъ, приходили просить, m-lle Рестанъ заплатила. Со мной ничего быть не можетъ съ тѣхъ поръ, какъ я забралъ ее въ руки.

поль. Скажи, пожалуйста, какъ ты это сдѣлалъ.

мишель. Очень просто: притворился, что влюбленъ въ нее, и, будто изъ ревности, поймалъ ея записку къ твоему нѣмцу... Вѣдь это тебѣ стыдно, Поль! вся твоя голова въ зимогорку ушла: у тебя никакой сметливости нѣтъ. Какъ же послѣ этого ты хочешь, чтобъ тебя во что нибудь цѣнили женщины? Ты ничего не читаешь, стыдно!

поль. Полно учить, пожалуйста.

мишель. Видите ли, не нравится. Ну, какъ хочешь.

поль. Нѣтъ... Какъ же m-lle Рестанъ!

мишель. Охъ, зла она теперь, должно быть! И ужъ я этого не пропущу: воспользуюсь... Твой нѣмецъ въ деревнѣ волочился за той...

поль. За этой чучелой? На ней шляпка проломана!

мишель. Ну, вотъ, еще есть ли возможность держать гувернера съ такимъ вкусомъ? Стыдъ! У меня бы онъ трехъ дней не выжилъ.

поль. И у меня не выживетъ. Только научи, какъ его прогнать.

мишель. Изволь. А покуда держи шапку, я еще закурю [оборачивается и видитъ Клипочку]. Что вы здѣсь дѣлаете?

клипочка. Ничего... [Хочетъ бѣжать, Поль ловитъ ее за платье].

поль. Это вамъ не стыдно подслушивать?

клипочка. Я не подслушивала, я, ей-Богу, не подслушивала... Я только смотрѣла, какъ вы тутъ... Я только слышала...

мишель [закуривая папироску]. Держи ее, Поль, ее надо отвести къ гувернанткѣ. Молодая дѣвушка бѣгаетъ туда, гдѣ одни молодые люди!.. [Бросаетъ спичку и попадаетъ въ платье Клипочки; оно вспыхиваетъ. Визгъ и смятеніе. Мишель, испугавшись, тушитъ огонь, но на платьѣ остается огромная выжженная дыра. Клипочка кричитъ и бѣжитъ къ своей матери; мальчики за нею].

Скамейка, гдѣ сидятъ гувернантки, ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА въ слезахъ. M-lle РЕСТАНЪ въ сильнѣйшемъ волненіи. Herr МИЛЛЕРЪ уже не сконфуженъ, а, напротивъ, пользуется превосходствомъ своего хладнокровія. МАРИ сидитъ на концѣ той же скамейки и смотритъ на сцену съ жаднымъ вниманіемъ.

миллеръ. Нѣтъ, но видите. Я не желаю завлекаться ни той, ни другой. Это было отъ чистаго сердца. Но воображеніе молодой дѣвицы немножко работало, и потому это такъ случилось. И оттого есть то, что я сказывалъ у пруда. Но нужно во всемъ планъ имѣть. Я тогда сказывалъ m-lle Паулинъ, что нужно всегда планъ имѣть. Я свой планъ имѣю. Я не могу ранѣе, нежели три года, еще взять семейство. А это — воображеніе играло. Мы нѣсколько Trauerspiel читали...

пелагея ивановна [рыдаетъ]. Ужасный человѣкъ!

рестанъ. Пустой человѣкъ! такъ дѣлаютъ люди безъ совѣсти! Такъ вы на меня соста-

вляли ваши планы? Какъ же вы смѣли меня увѣрять въ вашей любви?

миллеръ. Извините: я не завлекался... то есть, я не желалъ васъ завлекаться. Вы напрасно такъ принимали.

рестанъ. Какъ, и я напрасно такъ принимала, обѣ напрасно, и я, и mademoiselle?

пелагея ивановна. О, сдѣлайте милость, не вступайтесь за меня! Теперь я васъ знаю, знаю, что вы отвлекли его отъ меня! Вы доказали мнѣ: какъ невѣрна ваша дружба, какъ вы коварны! Въ одинъ мигъ я все потеряла, и любовь, и дружбу!..

миллеръ. Но отъ моей стороны къ вамъ это было братское дружество, — а къ вамъ [обращается къ m-lle Рестанъ] я считалъ на устройство мое въ жизни...

рестанъ. Подите прочь, вы, просто, гадки!

мари. Ah, que c'est drôle, mon Dieu!

[Г-жа Полоскова, въ ярости, ведетъ за руку рыдающую Клипочку; Поль и Мишель хохочутъ. M-me Черпина приближается вслѣдъ за ними важно и съ видомъ оскорбленнаго достоинства. M-lle Рестанъ тотчасъ встаетъ и идетъ къ ней на встрѣчу].

полоскова. Мамзель! куда вы дѣвались? Это вы чего смотрите? Головорѣзы чуть ребенка до-смерти не избили, уродомъ не сдѣлали... Что вы тутъ, матушка, дѣлаете, съ кѣмъ рѣчи сладкія ведете?.. Ахъ, ты. Владыко мой Господи—нѣмецъ тутъ! Ты, нѣмецъ, еще здѣсь привернулся? Я, сударь мой, этого не люблю! Вы ему, сударыня, свиданіе, что ли, назначили?

миллеръ. Я здѣсь съ моимъ воспитанникомъ пришелъ. Прошу васъ не безпокоиться.

черпина [m-lle Рестанъ]. Что это за сцена?

рестанъ [хладнокровно]. Je ne sais.

черпина. Уведите дѣтей; я буду тамъ [показываетъ въ аллею и удаляется].

рестанъ. Мари, что вы тамъ смотрите? подите сюда.

мари [нехотя оставляетъ скамейку и идетъ къ m-lle Рестанъ]. Ah, mon Dieu, c'est très drôle, я хочу посмотрѣть.

рестанъ. Тутъ нѣтъ ничего забавнаго.

мари. Правда, теперь нѣтъ ничего. Всѣхъ забавнѣе были вы.

рестанъ. Qu'osez-vous dire, mademoiselle?.. M-r Michel!

мишель [подходя развязно и смѣется]. Весь къ вашимъ услугамъ; что вамъ угодно?

рестанъ. Мнѣ угодно увести васъ домой и наказать за ваши дерзости съ этой дѣвицей.

мишель. Накажите, какъ хотите: я такъ счастливъ, что не почувствую; я счастливъ, потому что отомщенъ, потому что вы сами, наконецъ, получили хорошій урокъ.

мари. Ah, que c'etait drôle, mon frère! Dieu, que c'était drôle!

мишель [m-lle Рестанъ]. Вы, по крайней мѣрѣ, сами увидѣли, убѣдились, какой ничтожностью вы занимались! Человѣкъ, который изъяснялся въ любви такой жалкой особѣ! И вы могли предпочесть... О, теперь-то я буду беречь его письма и ваши записки! это доказательство, это сокровище, съ которымъ я не разстанусь!..

рестанъ. Мари, гдѣ ваше серсо? Надѣюсь, вы не потеряли платка? Пойдемте.

мишель [жметъ руку Полю]. До свиданія. [Уходитъ съ Мари и m-lle Рестанъ].

полоскова [въ гнѣвѣ надъ рыдающей Пелагеей Ивановной]. Я, матушка, этихъ штукъ не люблю! Что вы тутъ на все публичное мѣсто разревѣлись? Нѣмецъ вашъ зачѣмъ здѣсь?

миллеръ. Я имѣлъ честь говорить, что я здѣсь съ моимъ воспитанникомъ приходилъ. Будьте здоровы. [Кланяется и уходитъ, уводя Поля].

пелагея ивановна [рыдаетъ до истерики].

полоскова. Уймись, сударыня, долго ли конецъ? Не водой васъ отливать! Это вашъ надзоръ за дѣтьми, это вы ихъ бережете? Мало, что хоть дитя пропади у нея, нѣтъ,— еще нѣмцы съ амурами нужны! Какъ теперь Клипа по улицѣ въ клокахъ пойдетъ?.. Ахъ, мои батюшки! да Николаша-то гдѣ?

пелагея ивановна [рыдаетъ, не отвѣчая].

полоскова. Ахъ, прахъ тебя возьми! я, матушка, тутъ тебя совсѣмъ брошу! въ городѣ одну брошу, живи, нанимай у кого хочешь!.. Батюшки, гдѣ Николаша? [Слышенъ ревъ Николаши. Его ведетъ сторожъ; за ними слѣдуетъ перепуганный Антонъ].

сторожъ. Это ваше дитя, сударыня?

полоскова [оторопѣвъ]. Мое, голубчикъ, мое!

сторожъ. Такъ извольте его держать, сударыня. Я его сейчасъ съ березы снялъ, да еще онъ тамъ цѣлую гряду цвѣтовъ вытопталъ, — такъ это намъ не приказано; это я, пожалуй, и въ будку отведу...

полоскова. Сына моего, дворянское дитя, въ будку? Да какъ ты мнѣ смѣешь?.. [къ Пелагеѣ Ивановнѣ]. Злодѣйка, ты чего же смотрѣла? Въ будку вести хотѣли!.. Ну, такъ и оставайся же ты здѣсь, мнѣ такой не нужно! Пришлю подводу изъ деревни, добро твое тебѣ вышлю... [Уходитъ съ дѣтьми и Антономъ; Пелагея Ивановна, опомнясь отъ рыданій, бѣжитъ за ними].

ИЗЪ СВЯЗКИ ПИСЕМЪ, БРОШЕННОЙ ВЪ ОГОНЬ.

ОЧЕРКЪ.

1857 г.

I.

18-е декабря 18..

Право, не знаю, что буду писать тебѣ, Маша; все то же, что было и на прошлой недѣлѣ, и повторять—жаль бумаги. Не жаль времени, потому что его у меня довольно и даже много лишняго, и всего полезнѣе употреблять его на письма къ тебѣ. Мнѣ скучно, отъ бездѣлья ли—не знаю, но только скучно и даже какъ-то досадно; расположеніе духа непріятное, и многое начинаетъ меня сердить.

Во-первыхъ, мой опекунъ. Мнѣ начинаетъ казаться, что, пригласивъ погостить къ себѣ въ домъ молодую дѣвушку, можно было бы подумать, какъ и чѣмъ хотя немного развлечь ее. Онъ объ этомъ нисколько не заботиться. Его жена—которая мила какъ ангелъ, о чемъ я тебѣ уже сто разъ писала—предложила мнѣ выѣзжать съ нею; но для выѣздовъ и моего туалета нужны деньги, а это зависитъ отъ моего опекуна. Она вызвалась поговорить ему, и изъ этого, не дальше какъ вчера, вышла довольно странная сцена. Мы же, то есть, моя милая опекунша Аннета и я, остались виноваты, что, конечно, было намъ доказано, какъ нельзя спокойнѣе. Спокойнѣе, благоразумнѣе и учтивѣе Михайла Васильевича нѣтъ человѣка на свѣтѣ. Его ничто не волнуетъ; ему странно, что другіе чѣмъ нибудь волнуются, и никогда не скажетъ онъ, какъ ему угодно, чтобъ другіе поступали, думали; можетъ быть, ему что нибудь и не нравится, но онъ молчитъ и никому не мѣшаетъ. Аннета хохочетъ надъ этимъ; мнѣ досадно. Какъ это понять: совершенное ли это равнодушіе, или презрѣніе къ людямъ, или обидная уступка ихъ глупостямъ, или лицемѣріе, самоуниженіе? Я вздумала однажды разобрать это, потолковать съ Аннетой. Эта прелестнѣйшая и лѣнивѣйшая изъ женщинъ зазѣвала, показала мнѣ свои бѣлые зубки; я не могла удержаться, чтобъ не расцѣловать ее въ душку—и тѣмъ все кончилось. Она призналась мнѣ, что мужъ прежде сводилъ ее съ ума своими наставленіями, покушался переформировать ея характеръ, и потому она, наконецъ, рада, что начались «какъ ты хочешь»... Ахъ, Маша! желать ли выйти замужъ? Аннета выходила по любви... Похоже ли тутъ что нибудь на любовь? И это въ пять лѣтъ замужества!

Не понимаю, что она полюбила въ немъ, кромѣ его огромнаго образованія? Собой онъ нехорошъ; любезенъ, говорятъ, не былъ никогда; остроуменъ, правда, но остроуменъ серьезно. Педантомъ, конечно, назвать его нельзя: онъ никогда не говоритъ о непостижимыхъ предметахъ, и незамѣтно, чтобъ онъ былъ къ нимъ особенно привязанъ; напротивъ, серьезный разговоръ его увлекателенъ и пріятенъ. Конечно, онъ разговариваетъ не съ нами, а съ посторонними. Я всегда слушаю и въ эти минуты мирюсь съ нимъ. Еслибъ было возможно, я говорила бы съ нимъ сама охотно и часто, лишь бы его послушать; но Аннетѣ это надоѣдаетъ, и она

премило дразнить меня. Эта счастливица воспитана не такъ, какъ мы съ тобой, Маша. Ея не учили размышлять и разбирать все на свѣтѣ. Ея состояніе не велико—ей нѣтъ дѣла до этого; все принимаетъ она рѣшительно, легко; чего хочетъ, того хочетъ и ставитъ на своемъ; всегда весела, всегда оживлена... конечно, не въ обществѣ и не въ присутствіи своего серьезнаго супруга, при которомъ неловко шутить и рѣшительно невозможно смѣяться...

Такъ я начала тебѣ разсказывать толки о моихъ выѣздахъ. Аннета пошла ловить Михайла Васильича, когда онъ возвратился изъ должности, прежде нежели бы онъ успѣлъ опять усѣсться за свою конторку: онъ цѣлый день занятъ, какъ тебѣ извѣстно. Признаюсь, мнѣ было неловко, когда Аннета начала выговаривать ему, что я скучаю, что средства веселиться зависятъ отъ него. Онъ не ждалъ такого нападенія; она его сбила съ толку. «Да вы бы давно сказали», прервалъ онъ ее, обращаясь къ намъ обѣимъ такъ хладнокровно, что мнѣ стало совѣстно: «я не зналъ, что вы хотите ѣхать на вечеръ». Аннета напала на него за это «я не зналъ». Какъ не знать, когда его дѣло догадаться: онъ хозяинъ дома, онъ довольно жилъ въ свѣтѣ, долженъ знать, отчего бываетъ скучно, отчего весело. Онъ не отвѣчалъ, напѣвалъ что-то, пробираясь къ своей конторкѣ, наконецъ, взялъ газету и сталъ читать, не обращая на насъ вниманія. Это значило, что аудіенція кончена. Аннета разсердилась и ушла. Я, не знаю отчего, посовѣстилась или не успѣла уйти вмѣстѣ съ нею, а потомъ надо было бы проходить мимо самой конторки... Я осталась, взяла на другомъ столѣ альбомъ каррикатуръ и смотрѣла. Ты знаешь, что на меня множество картинокъ, незамѣчательныхъ особенно, все въ одномъ родѣ и похожихъ между собою, производитъ одуряющее дѣйствіе: я перестаю понимать ихъ, скучаю, а все-таки продолжаю смотрѣть одну за другою... Мой опекунъ взглянулъ на меня изъ-за своей газеты. Меня раздосадовало это неучтивое равнодушіе, этотъ хладнокровный взглядъ. Я засмѣялась, чтобы вызвать этого человѣка сказать что нибудь—засмѣялась, чтобъ его уколоть. Онъ взглянулъ еще разъ и опять безъ удивленія. «Что вы смотрите? Васъ забавляютъ картинки?» спросилъ онъ, улыбнувшись. Онъ всегда радъ, когда забавляются картинками. «Нѣтъ», возразила я: «я смѣюсь надъ собой». Онъ промолчалъ. «Я должна вамъ казаться очень забавной».— «Чѣмъ же?» спросилъ онъ разсѣянно, опять глядя въ газету. «Для такого серьезнаго человѣка, какъ вы, наши женскія дѣла всегда забавны...»

Словомъ, Маша, я была зла, не знаю на кого—на него, на себя, на цѣлый свѣтъ; за что—тоже не знаю, и наговорила ему... можетъ быть, много вздору; но, право, тяжело, Маша. Онъ слушалъ спокойно, даже не улыбаясь. Мнѣ показалось, что я его огорчила... Мнѣ скучно писать тебѣ, Маша. Неужели ты думаешь, легко признаваться въ своихъ глупостяхъ?..

Сегодня все утро хлопотала, разъѣзжала по лавкамъ, покупала себѣ наряды. Сказать ли правду? Когда Аннета, поутру, веселенькая, принесла мнѣ деньги для этихъ нарядовъ, мнѣ стало очень тяжело. Богъ знаетъ что это такое. Аннета была рада покупать, хлопотать для меня. Когда мы воротились домой, она побѣжала показывать всѣ наши покупки Михайлу Васильичу, потащила и меня въ его кабинетъ. Михаилъ Васильичъ взглянулъ на все очень равнодушно, сказалъ, что не знаетъ ни въ чемъ толку, что очень радъ, если мнѣ это нравится... Онъ прескучный!

У него дурной характеръ. Аннета умоляла его сегодня о бездѣлицѣ; ему ничего не стоило, ровно ничего, подарить ей эту бездѣлицу: всего-то маленькій лорнетъ на цѣпочкѣ, и у него достало духу отказать ей... Она плакала, бѣдная! Каково выпрашивать то, что мы имѣемъ право требовать!.. Какая она хорошенькая!

II.

Некогда, Маша, право, некогда; не упрекай меня, что пишу рѣдко. Веселюсь всякій день, устаю смертельно. Когда же и веселиться, какъ не на святкахъ? Мое веселье вмѣстѣ и доброе дѣло: еслибъ я не просила чаще баловъ, выѣздовъ, этой миленькой, хорошенькой женщинѣ пришлось бы сидѣть дома, а теперь она все лишній разъ повеселится. Пусть отдохнетъ отъ своей безцвѣтной жизни: ни занятія, къ которому бы она могла привязаться, ни чувства... Какъ она жалка, когда высказываетъ это, плача, какъ ребенокъ, даже капризничая, какъ самая восхитительная капризница! Счастье быть красавицей! Развлеченія ей необходимы: она меньше волнуется дома, когда больше танцуетъ. Можетъ быть, она немного взыскательна и раздражительна; можетъ быть, она преувеличиваетъ свои маленькія горести и «тревожиться понапрасну», какъ выражается

своимъ холоднымъ молчаніемъ ея нестерпимый супругъ; но горести всякаго дня, какія бы ни были, перестаютъ уже быть маленькими... Боже мой! да что такое тревожиться понапрасну? Мнѣ дорогъ каждый мой день, каждая моя минута; каково мнѣ, если мнѣ ихъ портятъ? Это значитъ, мою жизнь портятъ!..

Повезли мы одинъ разъ съ собой на балъ этого супруга; онъ съ такой горестью повиновался этой необходимости, что съ тѣхъ поръ его не тревожатъ больше. Тѣмъ лучше для насъ. Въ обществѣ мы вознаграждаемъ себя за домашнюю скуку. Аннета удивительно игривая и ловкая женщина, немножко кокетка, если хочешь, немножко шалитъ и неосторожна... Но она еще вчера сказала мнѣ, что я «слишкомъ много думаю». Я неловка, а ей... ей все можно простить!

III.

Пожалуйста, не приставай ко мнѣ, Маша; это вздоръ. Гадалинъ хорошенькій мальчикъ—ничего больше, но далеко неуменъ, и я не влюблена въ него. Сдѣлай милость, не наскучай мнѣ съ нимъ. Не понимаю, какъ и откуда дошли до тебя эти пустые слухи. Все это шалость, которую позволяетъ себѣ Аннета, противъ которой я спорила, возставала, которую я останавливала, остановить не могла и теперь, поневолѣ, должна скрывать все и даже брать на себя. Не понимаю, какая охота женщинѣ съ умомъ заниматься подобной ничтожностью? Она позволяетъ Гадалину объясняться ей въ любви на каждомъ балѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ... Впрочемъ, она такъ скучаетъ!..

Маша, можно ли перестать любить—вотъ чего я прежде не понимала. Этимъ временемъ часто приходится къ слову, и Аннета разсказывала мнѣ о своемъ мужѣ. Я думала прежде, что онъ разлюбилъ ее — выходитъ, напротивъ, она разлюбила его. Причинъ особенныхъ не было; все шло почти такъ, какъ идетъ теперь; онъ былъ только немного вспыльчивѣе, взыскательнѣе, хотя сценъ не бывало никогда. Пришло время — она поняла свое достоинство, поняла, что она уже не ребенокъ, когда у нея есть свой ребенокъ. Она возражала и прежде, а тутъ, просто отказалась слушать его выговоры, не только слушаться ихъ. Онъ притихъ, сталъ холоденъ, равнодушенъ. За равнодушіе платятъ тѣмъ же. Онъ показываетъ, что занятъ только своей службой, своими дѣлами; она не скрываетъ, что скучаетъ съ нимъ. Прежде онъ выражалъ какія нибудь мнѣнія, требованія — теперь онъ ничего не выражаетъ; она можетъ дѣлать, что ей угодно; онъ не вступается, не возражаетъ, не совѣтуетъ. Онъ, видимо, ждетъ, чтобъ она сама захотѣла его вмѣшательства или совѣта... Странное ожиданіе! Они точно посторонніе, даже не друзья. Когда знаешь, какъ мало общаго между ними, какъ-то тяжело слышать, что они говорятъ другъ другу ты, толкуютъ о своихъ дѣлахъ, о распоряженіяхъ въ домѣ. Двое чужихъ, осужденные жить вмѣстѣ! Грустно и тяжело!.. Даже не знаю, за кого тяжеле, за нее или за него...

Ты знаешь, я вовсе не добра, вовсе не кротка, не послушна и даже не особенно чувствительна, но меня всегда останавливала одна мысль: люди, которыхъ не любятъ, должны ужасно страдать, если замѣчаютъ это. Какъ они должны чувствовать себя одинокими! сколько у нихъ нераздѣленныхъ мыслей, неисполненныхъ желаній, можетъ быть, и недурныхъ, но которыхъ они не смѣютъ сказать, боясь, что ихъ не поймутъ, или, еще грустнѣе, зная, что ихъ уже не хотятъ понимать, что между ними и окружающими ихъ все кончено. А этимъ окружающимъ живется легко: они близки между собою, веселы, откровенны дружны... Каково это видѣть тому, кто нелюбимъ?.. а если, Боже сохрани! онъ еще нелюбимъ напрасно?..

Положимъ, не напрасно, положимъ, за что нибудь стоитъ человѣкъ, чтобъ его не любили; но есть въ немъ что нибудь и другое, въ другомъ родѣ, благородное, изящное; а этого его близкіе уже не замѣчаютъ, не хотятъ замѣчать — это ужасно! Мнѣ иногда входитъ въ голову: что, еслибъ разспросить этихъ людей, добиться ихъ довѣренности, дать имъ хоть разъ высказать ихъ душу, или, по крайней мѣрѣ, говорить съ ними о чемъ нибудь, хотя постороннемъ, чтобъ доставить имъ удовольствіе видѣть чье нибудь вниманіе, сказать имъ доброе слово, потому что они забыли, какъ говорятся добрыя слова?.. Неужели среди жизни другихъ, полной, радостной или печальной, но общей, но раздѣленной, для нихъ не найдется ничего, и они будутъ бродить одинокіе, оставленные, не люди, а тѣни?..

Я сидѣла одна въ маленькой гостиной Аннеты, въ этомъ прелестномъ и дорогомъ уголку, который я тебѣ описывала, куда не допускаются скучные люди. Аннета уѣзжала съ визитами. Мнѣ послышались шаги въ

другихъ комнатахъ; я взглянула. Михайло Васильичъ былъ почему-то дома, а не на службѣ; онъ ходилъ по залѣ и большой гостиной одинъ, заложивъ руки въ карманы, спокойный, немножко блѣдный, каковъ онъ всегда. Мнѣ вздумалось вглядѣться въ него пристальнѣе; я была увѣрена, что онъ не видитъ моихъ наблюденій, а смотрѣть на него прямо я никогда не рѣшусь. Странно, онъ не показался мнѣ дуренъ, какимъ всегда кажется. Что-то задумчивое въ лицѣ, тихое и уже слишкомъ спокойное; это не апатія и не самоувѣренность... Его маленькій сынъ бѣжалъ чрезъ комнату; Михайло Васильичъ поймалъ его, приподнялъ и поцѣловалъ; балованный ребенокъ, которому помѣшали играть, закричалъ, ударилъ отца, сталъ вырываться. Отецъ, не говоря ни слова, опустилъ его на полъ и ушелъ въ свой кабинетъ. Мнѣ хотѣлось не знаю что сдѣлать съ этимъ дряннымъ мальчишкой. Я не вытерпѣла, побѣжала въ залу, гдѣ онъ еще продолжалъ ревѣть, и прочла ему наставленіе, какъ онъ долженъ любить, уважать своего отца. Я говорила отъ души; мнѣ было тяжело; не знаю, что показалось мнѣ ужаснаго въ судьбѣ этого человѣка...

IV.

Конечно, ты была тысячу разъ права, и изъ кокетства, изъ... неосторожностей, изъ глупостей не можетъ выйти ничего хорошаго. Я предупреждала Аннету: она не хотѣла слушать. Говорятъ, дамы умнѣе насъ, дѣвушекъ, больше знаютъ свѣтъ, людей, приличія... и, кажется, дѣлаютъ больше глупостей, полагаясь на свое всезнаніе. Мнѣ за Аннету досадно, хотя и самой вовсе непріятно. Для ея удовольствія я оставляла всѣхъ думать, что Гадалину нравлюсь я; оказывается, что онъ влюбленъ въ жену моего опекуна... Что-жъ за роль я играла?

Досаднѣе всего то, что Аннета надъ этимъ хохочетъ и обижается, нисколько не шутя, что мнѣ этоне кажется такъ же забавнымъ. Ей ничего, что въ обществѣ прошумѣла исторія, лишь бы эта исторія не дошла до мужа; отъ мужа все должно быть скрыто... конечно, не для избѣжанія его ссоры съ Гадалинымъ, или съ кѣмъ нибудь: онъ не долженъ знать, потому что не долженъ знать... Какая скука, Маша! Я убѣгу отсюда, уѣду къ тебѣ...

V.

Между Аннетой и мной престранныя отношенія... Конечно, другихъ и быть не можетъ съ той памятной исторіи. Она сидитъ въ одномъ углу въ большомъ креслѣ, и шьетъ фестоны; я сижу въ другомъ углу и шью фестоны, и почти все молчимъ. Хорошо, что она часто выѣзжаетъ, а я теперь рѣшительно отъ этого отказываюсь.

Я въ ужасѣ отъ самой себя. Неужели я такая эгоистка? Неужели Аннетѣ стóило только провиниться передо мной для того, чтобъ я начала отыскивать въ ней недостатки? лѣтъ, право, я не ищу ихъ, но они какъ-то странно являются мнѣ сами собою. Мнѣ стаНо скучно съ нею; ея разговоръ такъ пустъ... все одно и то же. Я двумя годами моложе ея, но, право, не все же толковать объ однѣхъ тряпкахъ, да о глупыхъ романахъ, которые для нея, можетъ быть, и забавны...

VI.

Пишу тебѣ поздно ночью. Мнѣ весело, не знаю отчего. Сегодня вечеромъ я разливала чай; Аннета сбиралась на балъ и вышла въ залу причесанная, въ цвѣтахъ и еще въ бѣломъ пеньюарѣ, что къ ней очень идетъ. Михайло Васильичъ пришелъ тоже, противъ своего обыкновенія; ему всегда отсылаютъ чай въ кабинетъ. Его появленіе прежде всегда намъ мѣшало, или стѣсняло насъ въ чемъ нибудь: теперь я была ему рада. Онъ спросилъ, почему я не ѣду на балъ. Мнѣ стало совѣстно, когда я припомнила весь шумъ, который, мѣсяцъ назадъ, Аннета подняла изъ-за моихъ выѣздовъ; однако я превозмогла свой стыдъ и сказала, что балы мнѣ наскучили. Мнѣ припомнился Гадалинъ; мнѣ стало тяжело, стыдно всей пустоты, которая меня занимала цѣлый мѣсяцъ, стало жаль этого времени, которое пропало даромъ: въ круженьи, въ болтовнѣ, въ кокетствѣ, въ притворствѣ, въ недостойной игрѣ въ чувства. Мнѣ стало вдругъ ужасно грустно; я какъ будто въ первый разъ поняла, что эти выѣзды не только не сдѣлали меня счастливѣе, не принесли мнѣ новой привязанности, а только отняли старую, отдалили меня отъ Аннеты. Если даже и невелика эта потеря, все-таки это потеря, а не находка; все же я хоть сколько нибудь, хоть какъ нибудь любила Аннету...

Я такъ раздумалась, что не замѣтила, какъ Аннета ушла изъ-за чайнаго стола, какъ нянька заставила маленькаго Сашу расшаркаться предо мной и пожелать мнѣ bonne-nuit. Не знаю, что тяжелое было у меня на сердцѣ, не знаю, чего мнѣ особенно хотѣлось, какого утѣшенія, какого слова, но мнѣ хотѣлось плакать, какъ будто судьба

отказала мнѣ въ чемъ-то, и, вмѣсто этого желаннаго, дорогого счастья, дала какую-то ничтожность... Я такъ задумалась, что совсѣмъ забыла, что я не одна.—«Hélène, о чемъ вы думаете?» спросилъ меня Михайло Васильичъ совершенно неожиданно; но онъ спросилъ какъ-то ласково, улыбнулся съ такой добротой, что я, къ счастью, не почувствовала этого вѣчнаго желанія скрыть или перевернуть свою мысль, желанія вдругъ, Богъ знаетъ для чего, быть не самой собою... что мы, дѣвушки, дѣлаемъ такъ часто, къ чему мы привыкли, можетъ быть, и по неволѣ. Я откровенно сказала, что мнѣ скучно, отчего — и сама не умѣла объяснить. Онъ смотрѣлъ на меня серьезно и кротко. Что за странный взглядъ. Притомъ сказалъ, что то горе еще не такъ велико, въ которомъ пересказывать нечего, безпощадно напалъ на безпредметныя или неопредѣленныя печали, назвалъ ихъ капризами, говорилъ, что эти капризы вовсе не такъ извинительны, какъ мы, женщины, это думаемъ, что ими мы дѣлаемъ самое положительное зло и себѣ, и другимъ... Это меня огорчило и заставило высказаться. Мнѣ не хотѣлось, чтобъ онъ принялъ мое чувство за капризъ. Я сказала ему, что мнѣ скучно и стыдно потому, что я пуста, потому что я даромъ трачу время. «Дѣлайте, наконецъ, что нибудь!» прервалъ онъ съ нетерпѣніемъ, но до такой степени милымъ и веселымъ, что я никогда не забуду этого восклицанія. «Что за смѣшныя эти женщины! И танцуютъ, и плачутся, что танцуютъ! Но развѣ отъ баловъ и танцовъ ваша пустота?.. развѣ балы виноваты? Еслибъ вы хотѣли, вы, женщины, то, повѣрьте, нашли бы чѣмъ наполнить вашу жизнь: и чувствъ, и занятій довольно»...

И мы разговорились, не знаю какъ долго, Маша. Онъ умѣлъ заставить меня быть откровенной и самъ былъ веселъ и разговорчивъ; онъ убѣдился, что мнѣ было искренно скучно, и потому—я увѣрена въ этомъ—старался развеселить меня. Я увѣрена, что у него было это доброе намѣреніе: нельзя было не развеселиться, когда онъ такъ хлопоталъ объ этомъ. Когда онъ взглянулъ на часы, я боялась, что онъ уйдетъ въ кабинетъ, что кончится этотъ чудесный вечеръ. Я не знала, что онъ говоритъ такъ хорошо; его разговоры съ посторонними, которые я слыхала, никогда не касались чувства. Съ каждымъ его словомъ, задушевнымъ или серьезнымъ, съ каждой шуткой, доброй или безпощадно-насмѣшливой, такой шуткой, въ которой чувствуешь всю силу воли, всю власть человѣка, съ каждымъ объясненіемъ, увлекательно, жарко высказаннымъ, я чувствовала, что моя печаль уходитъ, моя тревога затихаетъ. Мнѣ стало вдругъ легко, хорошо. Я сказала это; я не могла не благодарить его за радость, которую онъ мнѣ доставилъ. Онъ смутился и не отвѣчалъ; мнѣ показалось, что ему было непріятно. Чрезъ минуту онъ самъ опять возобновилъ разговоръ, спросилъ, что я читала или читаю, пошелъ въ кабинетъ и принесъ книгу. «Вотъ, прочтите это; это не романъ. Но или читайте какъ слѣдуетъ, съ желаніемъ знать, съ желаніемъ учиться, или никакъ не читайте. Что будетъ для васъ неясно—я готовъ объяснить...»

Я была только за одно зла на эту книгу: онъ ходилъ въ кабинетъ за нею и, побывавъ тамъ, вѣроятно, вспомнилъ, что пора туда возвратиться, сказалъ, что поздно, что пора спать...

А я еще не сплю, Маша. Сейчасъ слышала звонокъ: Аннета возвратилась—значитъ, около четырехъ часовъ ночи...

VII.

Въ самомъ дѣлѣ, въ иныхъ людяхъ есть что-то странно привлекательное. Ихъ разговоръ простъ необыкновенно; но въ этой простотѣ столько истины, такая твердость убѣжденій, такое благородство понятій, что ихъ чувствуешь, ихъ отгадываешь точно такъ, какъ на большой рѣкѣ чувствуешь, какъ упруга и глубока вода подъ дномъ лодки. Ты видишь, что эти люди не рисуются— сохрани Боже! оглянись на ихъ жизнь, посмотри на ихъ отношенія къ другимъ: эти люди именно то, чѣмъ кажутся. И къ чему рисоваться? Стоитъ ли, и предъ кѣмъ?... Мнѣ бы хотѣлось какъ нибудь съумѣть перевести слово presitge. Обаяніе—это смѣшно. А въ самомъ дѣлѣ, привлекательность этихъ людей необъяснима... Богъ знаетъ что. Они никогда не говорятъ любезностей, но за одно ихъ доброе слово, не знаю, что можно отдать. Они не особенно веселы; но отчего, когда отъ нихъ дождешься улыбки, то радуешься ей, какъ будто счастье какое-то пришло съ неба?...

VIII.

Ты смѣешься надо мною, что съ нѣкотораго времени на меня нашла страсть философствовать, что я все разбираю и выражаю «такія идеи, которыхъ ты у меня не подозрѣвала». Вспомни прошлое, Маша: врядъ ли ты не подозрѣвала у меня этихъ идей. Конечно, на письмѣ я говорю ихъ свобод-

нѣе, нежели на словахъ, но помнится, мнѣ случалось высказываться: Ты и твои сестрицы, всѣ вы трое, и тогда смѣялись надо мной.

Смѣйся и теперь сколько хочешь; я сказала и повторяю: я не думаю о себѣ; и еслибъ нашлась душа, которой бы на что нибудь пригодилось мое чувство, мои ограниченныя понятія, мое полуобразованіе, попеченія, ласки моей бѣдной особы — я бы все это отдала охотно, и была бы благодарна, лишь бы приняли. Я не просила бы благодарности для себя; я не просила бы памяти. Счастье дать нѣсколько дней другому — вотъ все, что мнѣ нужно. Жизнь такъ тяжела вообще; дать забыть ея тяжесть.... право, мнѣ кажется, что, сдѣлавъ это, можно считать себя довольно вознагражденной. Мы, женщины, все требуемъ, чтобъ насъ вознаграждали, то заботой, то уваженіемъ, то равнымъ чувствомъ, то воспоминаніемъ. Знаешь ли, что въ ожиданіи, въ требованіи вознагражденій, даже моральныхъ, есть что-то унизительное?..

Никогда ничего этого я не потребую. Если захочешь подумать злость, или не злость, но истину для меня горькую, ты подумаешь, что и отъ меня никогда и никто не попроситъ счастья. Пожалуй, думай; эта истина подтверждается всякій день...

Но тратить жизнь и чувства на пустяки я не хочу. Балы, ухаживанье юношей въ родѣ Гадалина... Ради Бога, не упрекай меня въ самолюбіи, въ гордости, всѣми этими несносными упреками, пикировкой людей, которые говорятъ, лишь бы говорить, не зная тѣхъ, кому говорятъ! Ты меня знаешь, Маша: мы вмѣстѣ выросли; мы горячо и хорошо любимъ другъ друга; мы, чужія, дружнѣе иныхъ сестеръ. Я не самолюбива и не горда, но мнѣ жаль чувства, своего, чужого — все равно, когда оно тратится даромъ, жаль его какъ вещи хорошей и испорченной... Вообрази сожалѣніе жаднаго человѣка о своемъ или чужомъ добрѣ—ты получишь понятіе о моемъ сожалѣніи. Но что я не хочу беречь только для одной себя это добро, что я не проповѣдую этой скупости другимъ — тебѣ доказательствомъ мое прошлое письмо, да и это...

Я, можетъ быть, буду несчастна. Что-жъ? пусть будетъ что̀ Богъ пошлетъ. Можетъ быть, не пошлется и ничего... Признаюсь, пустота больше всего пугаетъ меня. Прожить жизнь и подъ конецъ сказать себѣ, что она шла ни къ чему, не была нужна никому, никто не дорожилъ ею, никому, радуясь и молясь, я не посвятила ее... Боже мой, лучше горе, лучше отчаяніе!

Ну, что же, что горе? Что мы называемъ горемъ? Развѣ мы не плачемъ о пустякахъ такъ же горько, какъ плакали бы, еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, случилось несчастье? Не дальше какъ сегодня, сейчасъ, при мнѣ, молодая женщина рыдала и чуть не рвала на себѣ волосы искренно, непритворно, потому что... Конечно, она сама не называла такъ прямо причины своей печали, но причина— флаконъ, который мужъ купилъ и подарилъ не ей, а старой кузинѣ... старой, Маша! Еслибъ еще можно было привязаться ревновать!.. Отъ флакона, разбирая все дальше и дальше, можно было дойти до Богъ знаетъ чего и разрыдаться; но основная причина, флаконъ, развѣ не вздорная? А она испортила цѣлый день жизни; больше: эти слезы, рыданія, упреки, можно долго помнить... Нѣтъ, чѣмъ мельче причина, тѣмъ неизвинительнѣе оскорбленія: ихъ никогда забыть нельзя!

Я бы не стала такъ портить своей жизни, еслибъ... еслибъ было что портить. Какъ мнѣ минутами бываетъ тяжело и грустно!

IX.

Не знаю, съ чего привязался ко мнѣ этотъ ребенокъ. Я его не балую и неособенно ласкова съ нимъ; напротивъ, я строже другихъ, шалить не позволяю, и движеній дурного характера не терплю рѣшительно. Онъ не отходитъ отъ меня цѣлые дни; чтобъ не мѣшалъ мнѣ, когда я занята, я пріучаю его также чѣмъ нибудь заниматься. Мои затѣи, должно быть, ему нравятся. Воображаю, какъ ты удивишься, что я нахожу удовольствіе возиться съ ребенкомъ, особенно, когда ты знаешь, что я не такъ думаю о дѣтяхъ, какъ другіе, что дѣтскія дурачества, даже игры нисколько меня не забавляютъ, если лишены смысла и неграціозны; я никогда не восхищалась этими будущими широкими натурами, которыя цѣлый день бѣгаютъ, хлещутъ кнутомъ по стульямъ и покрикиваютъ, которымъ надо непремѣнно обѣщать пряникъ, чтобъ они сдѣлали милость, унялись. Мои толки объ этомъ очень забавляютъ Михайла Васильича. Я рада, по крайней мѣрѣ, что теперь, благодаря мнѣ, этотъ ребенокъ не составляетъ несчастія всего дома, какъ было два мѣсяца назадъ, когда онъ двадцать разъ въ день принимался кусаться, ревѣть, такъ что у всѣхъ голова трещала, и просилъ ѣсть тоже двадцать разъ въ день. Теперь это, слава Богу, прошло; крикунъ мой выучилъ аз-

буку, вчера исписалъ меломъ весь полъ въ своей дѣтской; и батюшка его былъ очень доволенъ.

Ты спрашиваешь, какъ я провела масляницу. Да все такъ же, душа моя; здѣсь веселились, я была на двухъ вечерахъ. Впрочемъ, этому ужъ цѣлая недѣля, и я забыла что было. Теперь, постомъ, дни велики: я шью большой коверъ моему опекуну; онъ, когда есть у него свободное время, приходитъ изъ своего кабинета, читаетъ вслухъ что нибудь; мы толкуемъ о томъ, что читали. У насъ вошло въ привычку проводить такъ послѣ обѣда. Аннета обыкновенно этимъ временемъ ложится на диванъ и засыпаетъ подъ чтеніе или разговоры. Она очень пополнѣла и похорошѣла. Досадно то, что она почти не говоритъ со мною. Мы ничего не сдѣлали и не сказали другъ другу для размолвки, но мы разошлись — увы, Маша, окончательно! Теперь, когда я новѣряю себя, у насъ съ ней нѣтъ двухъ понятій, въ которыхъ мы были бы согласны; во всемъ остальномъ, въ обыкновенныхъ мелочахъ, намъ скучно другъ съ другомъ. Не понимаю, какъ мы ладили прежде; она все та же, сколько помню: должно быть, я перемѣнилась...

Да, въ самомъ дѣлѣ, такъ. Прежде мнѣ, бывало, ничего, не совѣстно полѣниться, провести день, перебирая свои ленты и шитье, хотя я ничего не шила для себя. Теперь я цѣлый день работаю, читаю, учу Сашу, и дѣла у меня такъ много и такъ хочется его дѣлать, что даже скучно, если мнѣ мѣшаютъ пустяками. Ребенокъ вѣшается мнѣ на шею, ласкаетъ по лицу своими славными лапочками, проситъ показать ему хорошія картинки, цѣлуетъ такъ нѣжно и проситъ такъ жалко, глядитъ въ глаза своими огромными глазами... И кто ихъ учитъ такъ глядѣть, этихъ дѣтей?.. А я ему откажу и пойду «поваляться на диванѣ, потому что скоро сумерки», пойду слушать... Что слушать? Я стала зла, я это чувствую. И если пойду, отославъ ребенка, который, натурально, заплачетъ (я бы и сама заплакала, еслибъ меня прогнали послѣ такихъ просьбъ), этого бѣднаго ребенка разбранятъ, разобидятъ, покажутъ ему, что можно бранить и обижать ни за что, а потомъ станутъ говорить, что у него гадкій характеръ... и увѣряютъ, что мы, дѣвушки, ничего не понимаемъ въ воспитаніи! «Онъ вамъ не надоѣдаетъ, потому что это не вашъ ребенокъ; посмотрѣть бы на васъ тогда, да если еще много ихъ будетъ...» Это говоритъ женщина, у которой этотъ ребенокъ первый и единственный! Материнская любовь, право, поэтична только у поэтовъ; въ дѣйствительности, это грязная дѣтская, глупыя няньки, шумъ изъ пустяковъ, несправедливости, неуклюжіе наряды и, при постороннихъ, напыщенныя фразы!..

X.

Онъ усталъ отъ работы; съ утра до ночи за своими дѣлами и бумагами; можно съума сойти! Я ужасно перепугалась, войдя въ кабинетъ. Наканунѣ Аннета уѣхала въ деревню къ своей знакомой, на нѣсколько дней; надо было хлопотать, распоряжаться. Онъ необыкновенно терпѣливъ и даже съ докторомъ спорилъ, что его болѣзнь неопасна. Не могу тебѣ пересказать всего безпокойства и тоски, которую я испытала въ эти дни. Я написала Аннетѣ, конечно, осторожно, чтобъ не испугать ея: она не поняла меня совсѣмъ, и вмѣсто того, чтобъ воротиться, какъ я ожидала, надавала мнѣ порученій, что еще прислать ей въ деревню, гдѣ ее уговорили остаться. Надо было сказать это Михайлѣ Васильичу: онъ тоже ждалъ ее. Онъ сказалъ, что радъ этому: пусть она не тревожится. «Вѣдь вамъ не очень скучно ухаживать за мной?» спросилъ онъ меня. Я подумала потомъ: и лучше, что Аннета не здѣсь; она бы разстроилась сама и еще больше его разстроила.

Ты никогда не воображала меня сидѣлкой? Я сама не воображала за собой этого таланта, не думала, что съумѣю угодить и за что нибудь ловко взяться. Выходитъ, что для этого нужна только добрая воля; и какъ не быть у меня доброй воли? Мнѣ такъ его жаль, Маша! Ты сама говоришь, что всякое предубѣжденіе есть злость и несправедливость, а у меня было предубѣжденіе: надо его загладить. Я была много виновата и всякій день убѣждаюсь въ этомъ. Не въ чемъ упрекнуть этого человѣка, который трудится вѣчно, не щадя себя, для удовольствій, для прихотей жены, не жалуясь, вынося все... И не платить за эту любовь, за это самопожертвованіе; оставлять его скучать, какъ тѣнь бродить одного; не научиться ничему, чтобъ быть въ состояніи хоть немного понимать его; не окружить его заботой, чтобъ онъ могъ отдохнуть отъ труда, за которымъ чахнетъ и блѣднѣетъ; не бросить хоть половину своихъ прихотей, которыя стоютъ ему жизни; убѣгать отъ него, любезничать съ какимъ нибудь Гадалинымъ (онъ и теперь тамъ, въ деревнѣ,

этотъ Гадалинъ!); не внушить своему ребенку съ первыхъ лѣтъ, съ первыхъ дней, благоговѣнія къ такому отцу; находить, что онъ несносенъ тѣмъ, что молчитъ, и не замѣчать, что его умъ утомленъ окружающей его пустотою; не замѣчать, что она сама, эта женщина, не говоритъ ему ни дѣльнаго, ни ласковаго слова, такъ что ему отвѣчать нечего; не понимать его деликатности; находить, что онъ не возражаетъ на глупости жены изъ своей собственной глупости... Боже мой, и я была также виновата!

Еслибъ онъ жаловался, еслибъ онъ чѣмъ нибудь выражалъ свое страданіе, онъ не былъ бы такъ правъ: онъ былъ бы мелоченъ, не возбуждалъ бы во мнѣ того удивленія, въ которомъ я признаюсь теперь, когда разобрала, поняла эту странную жизнь! Два мѣсяца я вижу ее день за днемъ. Теперь, когда онъ чуть не умеръ, когда я не могу вспомнить безъ ужаса блѣдное лицо, которое я увидѣла, прибѣжавъ въ кабинетъ... А онъ еще спрашиваетъ, не очень ли скучно мнѣ за нимъ ухаживать!..

XI.

Что за чудесная жизнь! Мнѣ такъ легко и хорошо, милая Маша! Конечно, у васъ, въ деревнѣ, лучше: весна во всей красотѣ, и мнѣ пора къ вамъ, пора домой; но мнѣ здѣсь весело; мнѣ не хочется уѣзжать отсюда, Маша. Подождите меня. Васъ трое, мои милыя, вамъ безъ меня не скучно.

Что я дѣлаю? Маша, все то же! День за днемъ: чтеніе, прогулки вмѣстѣ, длинные разговоры у моихъ пялецъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ оправился, онъ бережется и не такъ много работаетъ. Его недоступный кабинетъ теперь отворенъ для меня во всякое время. Если я вижу, что хозяинъ занимается слишкомъ долго, вхожу безъ церемоніи, прерываю его, приношу свое шитье, привожу Сашу, а тутъ ужъ не до бумагъ. Но я понимаю, какъ онѣ важны: не смѣю шутить его дѣломъ; чаще всего сажусь я за его конторку, и онъ диктуетъ мнѣ свои дѣловыя бумаги. Какъ мнѣ весело помогать ему, раздѣлять хотя немного его трудовую жизнь! Какъ весело развлекать его чѣмъ нибудь, заставлять его смѣяться всякой мелочи!... Знаешь ли, что онъ не умѣетъ смѣяться? Онъ выросъ, воспитанъ серьезно; жизнь все шла для него трудно, занятая, разсчитанная по часамъ; удовольствія принимались въ положенное время и не могли никогда продолжаться долѣе этого положеннаго времени. Все это отняло у него не веселость, но умѣнье забавляться. Онъ не знаетъ, что такое затѣи, проказы, смѣхъ надъ пустымъ словомъ, удовольствія, сейчасъ придуманныя и сейчасъ же исполненныя. Никто ими не дѣлился съ нимъ, никто не научилъ его жить полегче.

Мнѣ дѣлается ужасно грустно, когда я объ этомъ думаю. Я, конечно, еще молода... Кстати, онъ, смѣясь, сказалъ, что скоро представитъ мнѣ счеты по моей опекѣ: я скоро буду совершеннолѣтняя. Я молода; казалось, можно бы не такъ дорожить временемъ, а мнѣ все жаль времени! Когда я подумаю, что можно прожить жизнь и не успѣть ни порадоваться, ни насладиться, мнѣ дѣлается страшно. Говорятъ, счастье приходитъ, хотя бы и позже, но все же бываетъ для человѣка хоть разъ въ жизни... счастье, которое придетъ ко мнѣ вмѣстѣ съ сѣдыми волосами, когда я, можетъ быть, уже не съумѣю за него взяться, можетъ быть, не обрадуюсь, а обезпокоюсь!... Напротивъ, говорятъ, что счастью бываютъ рады всегда, всегда, что для него нѣтъ слова *поздно*, но что сердце прихотливѣе на позднее счастье; не беретъ его первое, какое встрѣтится, а оцѣниваетъ, беретъ только тогда, когда *хочетъ* взять.. потому что для того, кто привыкъ къ одиночеству, ничего не стоитъ еще разъ отказаться отъ чувства, пройти мимо счастья: еще однимъ будетъ меньше въ жизни—все равно, не бѣда!..

Еслибъ я могла записать тебѣ все, что я слышу хорошаго, задушевнаго, умнаго, благороднаго, серьезныхъ сужденій, милыхъ разсказовъ и шутокъ, все, что меня научаетъ и трогаетъ, все, что заставляетъ меня думать... Я слушаю; иногда плачу, сама не знаю отчего. Я такъ счастлива всѣмъ, даже тѣмъ порядкомъ, который самъ собою завелся въ въ моихъ занятіяхъ. Мнѣ будетъ трудно отвыкнуть жить такъ, какъ я живу теперь; а по возвращеніи домой, къ вамъ, надо будетъ перемѣнить все это. Я возвращусь скоро; дайте мнѣ еще пожить здѣсь немного. Аннета сбирается уѣхать мѣсяца на два въ деревню къ знакомымъ и на время своего отъѣзда пригласила сюда свою тетку, старушку, похозяйничать, заняться Сашей. Нельзя же оставить одного бѣднаго мальчика. Мнѣ будетъ тяжело съ нимъ разстаться: онъ такъ привыкъ ко мнѣ и сталъ такой миленькій... Когда пріѣдетъ тетка, я уѣду къ вамъ. Не могу подумать, что безъ меня это дитя опять останется Богъ знаетъ на чей присмотръ и произволъ. Старухи умѣютъ только кормить и пугать *бирюкомъ*. Аннетѣ не совсѣмъ нравится то, что она превважно

называетъ «моей методой воспитанія». Меня начинаетъ сердить этотъ важный тонъ: онъ—явная насмѣшка. Мнѣ кажется, нечего смѣяться, когда изъ дикаря ребенка, который, бывало, цѣлый день твердитъ одну и ту же пошлость, вышелъ маленькій ангельчикъ, кроткій, веселый, умнéнькій, какой бы методой это ни сдѣлалось... Вообще она стала какъ-то не любезна, часто не въ духѣ. Право, я не виновата...

XII.

Если мы сами испортимъ, разобьемъ свое счастье, сами сдѣлаемъ все, что можемъ, чтобъ не оставить себѣ ни покойнаго дня, ни хорошаго воспоминанія; если во всякой пустой вещи мы съумѣемъ примѣшать непріятность; если мы всякое слово другихъ станемъ толковать странно или превратно; если мы научимся особенно ловко выговаривать колкости и дѣлать намеки, выучимся молчать молчаніемъ, которое бѣситъ; если мы все это сдѣлаемъ, зная и понимая, чтò дѣлаемъ, потому что всякій понимаетъ, когда дѣлаетъ дурно—не теряемъ ли мы право жаловаться, когда чувствуемъ, что все пропало, счастье и любовь, когда оглянемся на то, что потеряли, и какъ мы несчастны? Мы несчастны—это несомнѣнно; не сами ли мы виноваты? Право на сострадание принадлежитъ всякому; право на участіе... не потеряли ли мы его? Мы сами хотѣли этого горя, этой пустоты, когда разрушали не оглядываясь, не задумываясь все, что Богъ даетъ лучшаго и дорогого; мы сами не жалѣли сердца, по которому били безъ пощады, безсмысленно, грубо, неблагодарно... Мы лучшаго не стоимъ!

Еслибъ кто нибудь сказалъ мнѣ: права ли я, когда говорю это? Если бы кто нибудь разобралъ и разрѣшилъ мнѣ, насколько я обманываюсь, разобралъ, не обманываю ли я сама себя... и почему нибудь не нужно ли мнѣ найти виноватыхъ!..

XIII.

Не говори мнѣ ни слова: нужды нѣтъ. Я знаю, я давно поняла, что съ моимъ счастьемъ, съ моимъ сердцемъ все кончено. Развѣ ты думаешь, я сама не догадывалась, что со мной? Я не ребенокъ.

Такъ должно было быть. Что же, въ двадцать-одинъ годъ, который я отпраздновала вчера... О, вчера, какой день!.. Я не помню, что пишу тебѣ. Что-жъ, что жизнь кончена? Да Богъ съ ней. Что онъ не подозрѣвалъ, не чувствовалъ, какъ подлѣ него другое существо жило его жизнью почти полгода... на что было ему знать это? Онъ никогда и не узнаетъ. Я уѣду. Наши офиціальныя отношенія и счеты кончены; онъ можетъ остаться для меня хорошимъ знакомымъ; можетъ быть, встрѣтимся когда нибудь, гдѣ нибудь въ обществѣ... Безъ меня не опустѣетъ его домъ; онъ не замѣтитъ, тутъ ли я, нѣтъ ли—ему все равно. Я отдала бы... Что мнѣ отдать, когда жизнь мнѣ не дорога?.. За счастье, хотя на одну секунду въ день, встрѣчаться, съ нимъ, только встрѣчаться съ нимъ у его порога...

XIV.

Маша, ты знаешь, я вѣрю тебѣ какъ сестрѣ, какъ вѣрила бы матери, еслибъ она была у меня! Маша, скажи, что мнѣ дѣлать? Онъ все знаетъ, онъ меня любитъ, онъ умоляетъ меня не оставлять его: я нужна ему... Моя жизнь, моя любовь нужны ему, Маша!.. Она уѣхала вчера. Онъ меня любитъ. Ѣхать ли мнѣ, или оставаться?..

БАРИТОНЪ.

РОМАНЪ.

1857 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

«Баритонъ» писанъ въ 1857 г. Многое съ тѣхъ поръ перемѣнилось въ обществѣ и въ той средѣ, откуда взятъ романъ; но, какъ бы ни были велики внѣшнія перемѣны, за ними стоятъ еще цѣлые ряды укоренившихся понятій, обычаевъ, матеріальныхъ преградъ, которыя не такъ скоро допускаютъ минувшее сдѣлаться только воспоминаніемъ. Наружность измѣняется легче, нежели характеръ, и, во всякомъ случаѣ, это прошедшее еще близко и многимъ памятно.

Въ настоящемъ изданіи (1880 г.) «Баритона» есть нѣсколько страницъ, не бывшихъ въ прежнихъ изданіяхъ. Но это не новыя дополненія и не передѣлки: чрезъ двадцать лѣтъ поправки и приставки невозможны. Эти страницы были написаны въ одно время съ романомъ, но, по разнымъ обстоятельствамъ, остались не напечатаны.

В. К.

27 мая 1879.

> Ничего въ мірѣ не можетъ быть ограниченнѣе и безчеловѣчнѣе, какъ оптовое осужденіе цѣлаго сословія по надписи, по нравственной отмѣткѣ, по главному характеру. Названія — странная вещь... **И.**

I.

За городомъ N, на довольно высокомъ пригоркѣ, есть церковь, окруженная кладбищемъ; подлѣ нея два дома: одинъ—жилье священника, другой — богадѣльня. Видъ съ этого мѣста очень живописенъ; съ полверсты тянутся засѣянныя поля и огороды, и за ними виденъ городъ, къ которому ведетъ узкая дорога. Издали онъ кажется красивѣе, нежели есть въ самомъ дѣлѣ, съ блестящими верхушками своихъ колоколенъ и бѣлыми каменными строеніями. Въ другую сторону виднѣется какая-то дача, съ расписными башенками и бесѣдками; внизу, у крутого обрыва пригорка, надъ родникомъ, котораго вода считается лучшею въ городѣ, стоитъ маленькая деревянная часовня, выстроенная недавно, но уже обветшалая. Старыя липы и молодыя рябины прислоняются къ церковной крышѣ и отштукатуреннымъ стѣнамъ. На густой травѣ лежитъ известь, которою недавно бѣлили фундаментъ, но стѣны сохранили свой блѣдно-желтый цвѣтъ и блѣдную живопись въ полукругахъ надъ дверями и окнами. Круглый куполъ сведенъ изящно; трапеза широка; арка поддерживаетъ круглую, невысокую колокольню. Церковь красиво выдается среди зелени и широкаго пространства, которое ее окружаетъ.

Въ половинѣ мая 1854 г., вечеромъ, въ этой церкви кончалась всенощная. Многіе уже выходили заранѣе, избѣгая тѣсноты; помощники церковнаго старосты уже гасили большія праздничныя свѣчи, между тѣмъ какъ самъ староста шумно убиралъ свой ящикъ и ссыпалъ съ блюда мѣдныя деньги. Среди движенія выходившей, раздававшейся и молившейся толпы, слышалось звонкое дѣтское чтеніе «перваго часа». Всенощная была потому, что на другой день былъ престольный праздникъ этой церкви, и для

парада были наняты архіерейскіе пѣвчіе. Послѣдняя молитва была спѣта хоромъ тридцати молодыхъ и сильныхъ голосовъ необыкновенно стройно и выразительно, съ такимъ пониманіемъ и такой любовью къ искусству, что не терялся ни одинъ переходъ, ни одна нота превосходной музыки. При всей благоговѣйной сдержанности пѣнія, чувствовалась сила звуковъ, которые то возвышались, то замирали, полные и чистые...

Черезъ нѣсколько минутъ всенощная кончилась. Всѣ зашумѣли, зашевелились, расходясь. Бо̀льшая часть молельщиковъ были купцы, ремесленники, крестьяне — люди, знающіе всякій престольный праздникъ всякой церкви. Знакомые встрѣчали знакомыхъ, здоровались, разговаривали, условливались идти вмѣстѣ; матери спасали дѣтей отъ тѣсноты; старухи еще клали земные поклоны въ своихъ углахъ; темныя фигуры причетниковъ мелькали, спуская лампадки на скрипучихъ маленькихъ блокахъ; церковь пустѣла; двѣ-три свѣчи мерцали предъ ея иконостасомъ, освѣщая золотыя ризы и яркіе вѣнки дѣланныхъ цвѣтовъ; голубоватыя полосы дыма отъ ладана еще стояли въ воздухѣ. Когда у выхода оказалось нѣсколько просторнѣе, дамы, ожидавшія впереди, рѣшились тоже выйти.

Въ N* есть дамы, постоянно являющіяся на всѣхъ духовныхъ торжествахъ: однѣ любятъ видѣть служеніе какого нибудь особенно уважаемаго ими духовнаго лица, другія любятъ пѣніе, хотя часто вовсе не знаютъ въ немъ толку; большая часть просто любитъ пѣвчихъ. Эти дамы преслѣдуютъ хоръ на похоронахъ, на свадьбахъ, гдѣ только возможно. Онѣ всегда впереди, всегда у клироса и всегда находятъ что нибудь сказать пѣвчимъ. Пѣвчіе—ихъ страсть, ихъ развлеченіе, ихъ утѣшеніе. Эти дамы не принадлежатъ къ высшему губернскому обществу: это большею частью помѣщицы или чиновницы, живущія въ городѣ, почти всегда старухи и почти всегда вдовы.

— Дивно, дивно пѣли! сказала одна изъ такихъ покровительницъ, которая не преминула явиться къ праздничной всенощной изъ слободы, версты за три, съ другого конца города. Это была пожилая, но очень живая особа. Она накидывала себѣ на плечи бѣлый бурнусъ, поднявъ его съ пола и обращаясь къ клиросу.

Тамъ тоже замѣтно было движеніе: пѣвчіе разбирали свои фуражки, разговаривали вполголоса тѣмъ звучнымъ говоромъ, который входитъ въ привычку у людей молодыхъ и часто поющихъ. Они выговаривали слово, будто брали ноту. Маленькіе сопрано и альто подбирали тетради. Нѣкоторые изъ нихъ были сами меньше этихъ тетрадей и вертѣлись между шинелями своихъ старшихъ товарищей и рѣшоткой клироса, пока наконецъ, вывернувшись, пустились бѣгомъ изъ церкви съ своею ношею. Старшіе послѣдовали за ними. Ихъ регентъ, молодой человѣкъ, завитой и одѣтый особенно щегольски, разговаривалъ съ церковнымъ старостой у ящика.

— Не поскупитесь, Матвѣй Петровичъ, говорилъ онъ: — а мы еще постараемся.

— Объ этомъ не безпокойтесь. Спасибо вамъ. Только завтра не опоздайте: не дьячкамъ начинать, какъ васъ тутъ не будетъ... либо станете приходить одинъ по одному.

— Нѣтъ, мы всѣ вмѣстѣ придемъ, Матвѣй Петровичъ.

— Ну, вотъ вамъ, и еще спасибо. А это маленькимъ по гривеннику. Смотри, маленькихъ не обидь!

Регентъ спряталъ деньги, застегнулъ свое новенькое синее пальто и, натягивая перчатки, поспѣшилъ къ товарищамъ. На дворѣ было гораздо свѣтлѣе, нежели казалось въ церкви, гдѣ деревья закрывали окна. Было еще непоздно. Туча поднималась въ сторонѣ, отчего въ воздухѣ было особенно свѣжо и пріятно.

Молодые люди дожидались своего регента недалеко отъ паперти, подъ липами, гдѣ мимо ихъ проходили всѣ вышедшіе изъ церкви. Они остановилися тамъ—впрочемъ, вовсе не для того, чтобъ обращать на себя вниманіе—и раскланялись только съ двумя купцами, которые отдали имъ поклонъ дружелюбно, но съ видомъ покровительства. Еще менѣе смотрѣли они сами на проходящихъ, хотя въ этомъ невниманіи было замѣтно больше смущенія, нежели гордости. Казалось бы, смущаться было не-отчего: многіе изъ нихъ были очень недурны собою, нѣкоторые довольно нарядны, и всѣ безъ исключенія въ бѣлыхъ воротничкахъ, выставленныхъ на видъ даже тѣми, на комъ были шинели. Совсѣмъ тѣмъ, кружокъ молодыхъ людей былъ похожъ на стаю дикихъ птицъ, готовыхъ разлетѣться, лишь только кто нибудь подойдетъ къ нимъ.

— Дивно, дивно пѣли! повторила старая дама, проходя мимо.

— Очень рады, что могли доставить вамъ удовольствіе, отвѣчалъ одинъ изъ нихъ

вѣжливо, но тотчасъ отвернулся, сконфуженный.

Дама сѣла на дрожки и уѣхала.

— Пойдемте, господа, дорога не ближняя.

— Пойдемте. Еще рано: можно прогуляться, зайдти кой-куда.

— Въ какую страну?

— Усмотримъ.

— Это рѣшится по большинству голосовъ.

— А завтра, господа, идемъ что-ли, къ ктитору здѣшнему, Матвѣю Петровичу, концертъ пѣть?

— Кто хочетъ — поетъ, а я не пойду, сказалъ одинъ изъ самыхъ высокихъ, basso-cantante, закидываясь шинелью.

— За что такъ?

— Не хочу.

— Великая важность многолѣтіе пропѣть! Нынѣ, только передъ всенощной, пѣлъ же на сговорѣ... Дурно, что ли, показалось? не понравилось? Слышите, Ивановскому не понравилось!

Всѣ разсмѣялись.

— Ну, и довольно. Сегодня многолѣтіе, завтра многолѣтіе, такъ и голоса не станетъ: вѣдь это не флейта и не фаготъ, не вѣчное, прибавилъ basso-cantante въ подтвержденіе своихъ словъ, приподнявъ голову и показывая на свое горло съ особенной заботливостью.

— Нѣжничаетъ! не слушайте! А завтра Матвѣй Петровичъ на чай пригласитъ — не то скажетъ!

— Скажите, сдѣлайте одолженіе, спросилъ подлѣ нихъ кто-то: — вы завтра здѣсь поете?

Спрашивающая была дама, которой они не замѣтили. Она была одѣта просто, но съ той дорогой простотою, которую оцѣниваютъ только особы понимающія. Ея соломенная шляпка, кружевной вуаль, черный суконный бурнусъ, превосходно вышитый чернымъ шелкомъ, никакъ не обратили бы вниманія тѣхъ, кому, прежде всего, нравится пестрота. Но пѣвчіе присмотрѣлись къ нарядамъ. Видя все N--ское общество въ церквахъ въ праздничные дни, они отгадали аристократку и сконфузились. Никто не отвѣчалъ ей; въ кружкѣ послышался гулъ: они ободряли другъ друга, и ни одинъ не рѣшался.

— Вы здѣсь поете завтра? повторила она.

— Здѣсь, отвѣчалъ Ивановскій, котораго товарищи толкнули впередъ.

Товарищи тихонько разсмѣялись, видимо надъ нимъ.

— Мы поемъ здѣсь позднюю обѣдню, продолжалъ Ивановскій, становясь смѣлѣе, самъ не зная почему, можетъ быть потому, что его подстрекалъ смѣхъ товарищей.

Дама слегка поклонилась и отошла. Она оглянулась на тучу, которая поднималась все выше, на пространство, отдѣлявшее кладбище отъ города, и пошла немного скорѣе. Ее, однако, опередили всѣ: дама въ бѣломъ бурнусѣ, посадившая къ себѣ на дрожки знакомую, встрѣтившуюся по дорогѣ, церковный староста на своей гремучей тележкѣ, рабочіе въ армякахъ нараспашку. Ихъ тяжелые шаги слышала молодая женщина еще далеко за собою. Поровнявшись съ нею, они сказали что-то громко и отрывисто, продолжая свой разговоръ, и прежде, нежели этотъ звукъ затихъ въ дрогнувшемъ воздухѣ, они были уже далеко впереди, ступая своей скорой и размашистой походкой. Изъ-подъ тучи на минуту выглянуло солнце, готовое закатиться; дорога, на которой, между двумя стѣнками ржи, пыль стояла какъ въ ящикѣ, освѣтилась розовымъ свѣтомъ; ярко блеснулъ дорогой шелковый салопъ старухи-купчихи, повязанной платочкомъ, которая вела за руку маленькаго внука, едва переступавшаго, но одѣтаго въ долгополый сюртучокъ съ безобразно торчащими рукавами. Молодая купчиха, ея невѣстка, распустила зонтикъ. Она была въ бархатной мантильѣ и въ шляпѣ съ розами. Хорошенькая дѣвочка, дочь ея, бѣжала подлѣ нея, въ пунцовомъ платьѣ и розовой шляпкѣ. Все семейство прошло мимо молодой дамы, торопясь и оглядываясь.

— Гроза будетъ страшная, сказала старуха:—Господи помилуй!

— Не встрѣтится ли извощикъ? замѣтила молодая купчиха.

— Развѣ на валу, подъ городомъ, встрѣтимъ, и то врядъ. Господи помилуй! Кто сюда поѣдетъ?

Молодая дама тоже оглянулась. Туча была велика въ самомъ дѣлѣ; солнца спряталось; какой-то странный сине-зеленый оттѣнокъ легъ по землѣ; пыль начинала клубиться подъ вѣтромъ, который поднимался порывами, холодноватый и рѣзкій; въ облакахъ, оторванныхъ отъ тучи и бѣжавшихъ впереди нея, была замѣтна легкая дрожь. Наконецъ молнія освѣтила тучу, и послышался громъ, еще глухой и далекій; но сильные порывы вѣтра приносили грозу ближе съ каждой минутой.

Конечно, было непріятно вытерпѣть ее въ полѣ, безъ малѣйшей надежды найти

убѣжище или встрѣтить дрожки; но молодая женщина не боялась грозы и потому шла смѣло. Всѣ молельщики уже скрылись изъ вида, когда за собою услышала она сильные, ровные шаги. Это были пѣвчіе. Они запоздали тоже; но стоило взглянуть, какъ шли они, какъ вѣяли шинели ихъ, чтобъ убѣдиться, что они скоро будутъ внѣ опасности: хоръ летѣлъ какъ буря.

Они даже нисколько не безпокоились о грозѣ: звучный говоръ и смѣхъ раздавались по вѣтру.

— Посмотри, отстала! сказалъ одинъ, еще издали указывая другому на молодую даму.

— Кружева-то ея замочитъ порядкомъ.

— Вотъ и суета-суетъ и всяческая суета! не то, что нашъ братъ-семинаристъ: въ погоду и въ непогоду идетъ веселъ.

— Я знаю эту барыню, кто она такая, сказалъ невысокій басъ, съ густыми черными бакенбардами, необыкновенно мрачный.

— Бѣляевъ, слышишь? ты спрашивалъ: Маргаритинъ эту барыню знаетъ.

— Знаетъ? Что-жъ ты ей не поклонился? спросилъ Бѣляевъ, первый теноръ и самый веселый товарищъ изъ всего хора.

— А что-жъ ей кланяться?

— Вотъ какъ, господа: Маргаритинъ съ барынями знакомъ!

— Да еще важничаетъ: кланяться имъ не хочетъ!

— Да вы не замѣтили, господа, какъ она подходила, спрашивала—онъ вовсе спрятался.

— Что-жъ это ты оплошалъ? право, дикарь какой-то!

— Пріятное знакомство можетъ имѣть—и прячется!

— Ступай впередъ, догони ее...

— Полноте, господа! что вы привязались? Ну, она сама мнѣ не поклонится: тогда что? Богъ съ ней совсѣмъ!

— Да кто она такая?—спросилъ Ивановскій.

— Помѣщица нашего села, гдѣ батенька священникомъ, отвѣчалъ Маргаритинъ.— Недѣли три назадъ, какъ батенька сюда пріѣзжалъ: онъ меня съ собой къ ней водилъ.

— Вотъ какъ! онъ у нея въ домѣ былъ! вскричалъ Бѣляевъ.

— Какъ ее зовутъ? просилъ Ивановскій.

— Лизавета Дмитревна Майцова. Она съ годъ, какъ овдовѣла. Супругъ ихъ служилъ въ другихъ губерніяхъ. Они здѣсь не жили; а теперь у нея какое-то дѣло: такъ она пріѣхала хлопотать... Батенька ее крестилъ.

— Богата она?

— Не знаю. Въ нашемъ селѣ ей отъ родителей что-то досталось. У батеньки приходъ невеликъ.

— То-то тебѣ на его мѣсто и не хочется.

— А напрасно, замѣтилъ Бѣляевъ:—помѣщица молодая, пріѣхала бы въ свое село жить.

— Конечно, общество было бы какое нибудь, сказалъ регентъ, оглянувшись на тучу.

Онъ не былъ такъ равнодушенъ къ грозѣ, какъ другіе, опасаясь за свою новенькую шляпу. Онъ одинъ изъ всѣхъ былъ въ шляпѣ.

— Въ деревнѣ съ тоски умрешь, продолжалъ Бѣляевъ:—а тебѣ, Маргаритинъ, счастье въ руки дается, да самъ не хочешь: разбираешь еще, что приходъ невеликъ.

— Да онъ лучше можетъ мѣсто взять за женой, возразилъ Пустынскій, другъ Маргаритина, не менѣе его мрачный.

— А какову жену возьмешь? прервалъ Бѣляевъ:—иная жена уподобляется, знаешь, чему?

Онъ разсмѣялся, за нимъ и другіе.

— Или у тебя уже есть кто нибудь на примѣтѣ? Есть, что ли?

— Шутите, шутите! сказалъ Никольскій, теноръ, пѣвшій всегда съ необыкновеннымъ стараніемъ:—а вотъ курсъ кончается—вамъ выходить надо.

— Ну, что-жъ? Маргаритинъ съ Пустынскимъ уже года три, какъ курсъ кончили, поютъ-себѣ...

— Хорошо, поютъ. Всѣ мы поемъ, покуда голоса есть... Вотъ Ивановскій и теперь поетъ.

Ивановскій въ самомъ дѣлѣ напѣвалъ вполголоса, идя съ края дороги и посматривая по сторонамъ.

— А что-жъ, господа,—сказалъ онъ:—есть чего впередъ думать! Я больше ничего не желаю: пропѣть еще десять лѣтъ, а тамъ умереть.

— Дождикъ, дождикъ! вскричалъ регентъ, распуская огромный зонтикъ, подъ которымъ скрылась въ мигъ не только прекрасная шляпа, но вся особа артиста, кромѣ маленькихъ ножекъ, зашагавшихъ съ неимовѣрной быстротою.

Нѣсколько зонтиковъ также поспѣшно распустились надъ хоромъ. Пѣвчіе предусмотрительны и всегда запасаются калошами и зонтиками, идя въ дальнюю дорогу; а отъ поля, котораго они прошли только половину, до стариннаго архіерейскаго дома, гдѣ они жили, было побольше версты. Непогода не испортила расположенія духа молодыхъ

людей: тѣ же веселые голоса, восклицанія, шутки слышались изъ-подъ синихъ, черныхъ и небѣленыхъ палатокъ, по которымъ стучали рѣдкія и крупныя капли дождя. Время отъ времени, при ударахъ грома, мелькали, крестясь, бѣлыя руки. Дружба доказывается въ несчастіи: всѣ, у кого не было зонтиковъ, пріютились подъ зонтиками товарищей.

— Ахъ, бѣдная барыня! сказалъ Бѣляевъ, смѣясь и спотыкаясь по неровной дорогѣ.—Маргаритинъ! ты бы пошелъ, предложилъ свои услуги.

— Право, подхватили другіе:—Маргаритинъ, ты бы ей зонтикъ!

— Ты бы по знакомству... Эхъ право, Маргаритинъ, приличія ты не знаешь!

— Вѣдь жалости достойно: посмотри на нее... Поди, покуда еще дождикъ невеликъ.

— А ну ее, съ Богомъ, возразилъ Маргаритинъ.

— Просто, тебѣ жаль сюртука.

— Всего-то дорогу перейти, подойти къ ней два шага... ступай!

— Что вы смѣетесь! ее въ самомъ дѣлѣ жаль, сказалъ Ивановскій:—не шутя жаль: теперь она когда дойдетъ!

Товарищи расхохотались.

— А что-жъ? ну ты, ступай, развернись, попробуй! вскричалъ Бѣляевъ:—выручи товарища, а, когда товарищъ конфузится.

— Попробуй, поди самъ! сказалъ Маргаритинъ.

— Что-жъ вы думаете, не пойду?

— Не пойдешь!

— Вотъ увидите, подойду... что за важность!

— Важность не велика, а не пойдешь.

— Да что-жъ, господа, развѣ Ивановскій не сдѣлаетъ? онъ всегда былъ человѣкъ свѣтскій.

— Да не пойдетъ онъ. Ну, что онъ толкуетъ! самому жаль шинели...

— Я вамъ сказалъ: пойду. Прощайте, господа!

Съ этими словами Ивановскій перешелъ дорогу и очутился рядомъ съ молодой дамой.

— Позвольте предложить вамъ зонтикъ, сказалъ онъ все грудными нотами и вдругъ оробѣвъ.

— Благодарю васъ, отвѣчала она:—но онъ, я думаю, тяжелъ, я не удержу его.

— Я буду держать его надъ вами... Намъ по одной дорогѣ... проговорилъ онъ, между тѣмъ какъ товарищи пролетѣли мимо нихъ, смѣясь и оглядываясь.

Ивановскій остался одинъ съ m-me Майцовой. Онъ былъ сконфуженъ, какъ только возможно; но дѣло уже было сдѣлано и раскаяваться поздно. Товарищи были уже далеко; но еслибъ они были близко, то тѣмъ болѣе было бы необходимо выдержать характеръ.

— Я не могу идти скоро: я задержу васъ, сказала молодая женщина.

— Ничего, отвѣчалъ онъ, подумавъ, что напрасно сказалъ это, и еслибъ она еще разъ отказалась, то можно было бы убѣжать.

— Если такъ, то остановитесь: я поправлю бурнусъ... Но вы сами остаетесь подъ дождемъ.

— Это ничего, повторилъ Ивановскій, не зная, что сказать и что дѣлать.

— Лучше дайте мнѣ руку: и вамъ, и мнѣ будетъ удобнѣе.

Ивановскій повиновался молча. Въ первый разъ въ жизни подавая руку дамѣ, онъ рѣшительно не зналъ, какъ это дѣлается. Онъ какъ-то успѣлъ захватить свою вѣющую шинель, но когда увидѣлъ, что на его локоть легла ручка въ черной французской перчаткѣ, застегнутой на двѣ пуговицы, то такъ сконфузился своей собственной, прекрасной, но открытой руки, что съумѣлъ остаться подъ дождемъ, хотя, казалось, держалъ зонтикъ равно надъ собою и своей спутницей. Впрочемъ, онъ велъ ее очень ловко и скоро принаровился къ ея походкѣ, съ трудомъ укротивъ свои шаги,—шаги семинариста, даже болѣе: пѣвчаго; а пѣвчіе вѣчно спѣшатъ. Другого затрудненія Ивановскій не зналъ какъ преодолѣть, а оно становилось сильнѣе съ каждой минутой: ему казалось ужасно неучтиво идти и не сказать ни слова, хотя другой на его мѣстѣ разсчелъ бы, что гроза избавляетъ его отъ этой учтивости. Растерявшись, онъ отвернулся отъ молодой дамы и посматривалъ то по сторонамъ, то на небо, пока яркая молнія не заставила его зажмуриться и наклонить голову. M-me Майцова взглянула ему въ лицо, которое такъ горѣло отъ смущенія, что краска не прошла и отъ минутнаго испуга.

— Еслибъ не вы, сказала она, — мое положеніе было бы вовсе непріятно.

Они были уже на валу, у города.

— Что вы сказали? спросилъ Ивановскій, очень хорошо разслышавъ, что она говорила, но не найдя отвѣта.

— Я говорю, что я вамъ чрезвычайно благодарна.

— А вы боитесь? рѣшился проговорить Ивановскій.

— Нѣтъ. Я даже люблю смотрѣть грозу, только изъ окна.

— Я тоже чрезвычайно люблю... Это такая картина разрушенія... красоты природы...

— Но вы тоже больше любите видѣть ихъ изъ окна?

— Нѣтъ... какъ придется. У преосвященнаго съ балкона видъ чудесный: поля... большія деревья подъ грозою клонятся — поэзія!..

— Берегитесь простудиться отъ этой поэзіи, сказала m-me Майцова, чуть замѣтно улыбнувшись. — Вы живете въ архіерейскомъ домѣ?

— Да, мы тамъ живемъ, отвѣчалъ молодой человѣкъ, сбитый этимъ прозаическимъ вопросомъ: — насъ тамъ много живетъ. Это очень древнее зданіе. Давно когда-то, это княжескій дворецъ былъ... когда здѣсь княженіе было.

— И внутри такой же старинный, какъ снаружи, не передѣланъ? спросила m-me Майцова, видя, что ему хотѣлось разговориться, и доставляя ему это удовольствіе.

— Нѣтъ, многое передѣлано... для современнаго удобства... лѣстница осталась, своды, мрачныя подземелья... теперь тамъ погреба.

— Ахъ, какая перемѣна! сказала она, разсмѣявшись.—Что-жъ! это прекрасно: это можетъ наводить на размышленія.

— Только никого не наводитъ, возразилъ Ивановскій, необыкновенно обрадовавшись ея веселости, которая его ободрила.—Мы всѣ народъ беззаботный, мало думаемъ о прошедшемъ и о будущемъ.

— Что-жъ вы дѣлаете въ настоящемъ? спросила молодая женщина, которую начиналъ забавлять ея спутникъ.

— Занимаемся, отвѣчалъ онъ, немного запинаясь:—вѣдь мы почти всѣ еще ходимъ въ классы.

— О, какая славная, веселая молодость! сказала она.—А послѣ классовъ?

— Такъ, что нибудь... поемъ. Мы безпрестанно поемъ, изучаемъ концерты!

— И исполняете ихъ въ совершенствѣ: я уже не одинъ разъ слышала васъ. Какую партію вы поете въ хорѣ?

— Я?.. первый басъ... вѣрнѣе: баритонъ; я солистъ.

Молодая женщина вспомнила удивительное solo, которое, полчаса назадъ, привело ее въ восхищеніе. Ея новый знакомый оказывался артистомъ, какихъ немного.

— Вы! сказала она:—но у васъ огромный талантъ! Неужели вы всю вашу жизнь здѣсь останетесь?

— А то куда же? спросилъ онъ.

Они вошли въ улицы города. Дождь, который былъ еще сносенъ до тѣхъ поръ, усилился, и, какъ на зло, не встрѣчалось ни однихъ дрожекъ; за то Ивановскій увидѣлъ своихъ товарищей, входившихъ на крыльцо большого дома, на которомъ была вывѣска, изображающая самоваръ и подносъ съ чашками. Молодые люди рѣшились отдохнуть и напиться чаю на половинѣ дороги. Регентъ вбѣжалъ первый, спасаясь отъ непогоды. Маргаритинъ и Пустынскій входили не торопясь, спокойные, какъ настоящіе философы. Они оглянулись и, увидя Ивановскаго, стали махать ему рукою и звать по имени. Они не понимали, чтобъ было возможно отказаться отъ удовольствія пить чай, для удовольствія провожать даму, да еще и модную. Маргаритинъ былъ даже увѣренъ, что товарищъ обрадуется этому предлогу поскорѣе ее оставить.

— Какая досада! сказала она.—Конечно, отсюда недалеко до моего дома; но я устала и хотѣлось бы лучше доѣхать...

— Ивановскій! Алексѣй Алексѣичъ! восклицали попеременно то Маргаритинъ, то Пустынскій, въ полной увѣренности, что дама ихъ не слышитъ.

Ивановскій сдѣлалъ имъ отрицательный жестъ. M-me Майцова оглянулась.

— Это ничего... проговорилъ онъ и опять весь попунцовѣлъ:—это меня зовутъ товарищи; имъ надо здѣсь идти...

— Въ самомъ дѣлѣ, теперь намъ дорога въ разныя стороны. Идите. Я боюсь васъ удерживать: вы можете опоздать... Благодарю васъ.

— Ивановскій! повторили товарищи.

— Нѣтъ, это ничего... Нѣтъ я еще успѣю... Это ничего, если я опоздаю... Позвольте мнѣ имѣть счастіе проводить васъ до вашего дома.

— Очень рада, сказала она смѣясь:— для меня же лучше. Пойдемте вотъ въ эту улицу. Всѣ мои приключенія сегодня оттого, что я, по обыкновенію, вышла гулять одна и не сказала моимъ людямъ, куда прислать мнѣ экипажъ.

Они шли какъ можно скорѣе. Гроза будто дожидалась, чтобъ m-me Майцова достигла своей улицы и наконецъ своего дома: ударъ гремѣлъ за ударомъ. M-me Майцова остановилась на первой ступенькѣ крыльца и сказала Ивановскому, который собирался уже снять фуражку, чтобъ откланяться:

— Вы меня спасли въ полѣ, господинъ

Ивановскій: невозможно, чтобъ я отпустила васъ отъ порога моего дома. Сдѣлайте мнѣ удовольствіе, войдите.

Гроза и неожиданность приглашенія совершенно сбили съ толку пѣвчаго. Онъ уже проговорилъ, самыми густыми нотами: «нѣтъ, это ничего, благодарю васъ, не безпокойтесь»; но m-me Майцова пріостановилась и ждала... громъ гремѣлъ—и Ивановскій рѣшился въ секунду. Онъ хорошо сдѣлалъ, потому что едва вошелъ въ подъѣздъ, дождь полилъ какъ изъ ведра.

II.

М-me Майцова позвонила. Въ передней уже горѣли свѣчи. Лакей, отворившій дверь, запиралъ ее, впустивъ Ивановскаго. Изъ другой комнаты вбѣжала маленькая ловкая горничная.

— Ахъ, Лизавета Дмитревна, какъ мы о васъ безпокоились! вскричала она, бросаясь къ своей госпожѣ:—мы думали, Богъ знаетъ, что съ вами случилось.

— Какъ видишь, ничего, отвѣчала Лизавета Дмитріевна и прибавила, особенно вѣжливо обращаясь къ Ивановскому:—милости просимъ. Извините, если я заставлю васъ подождать.

Она вышла; горничная за нею. Ивановскій былъ ни живъ, ни мертвъ отъ смущенія. Онъ вертѣлъ ручку мокраго зонтика, на который опирался, и не отходилъ отъ порога. Приглашеніе хозяйки напомнило ему, что надо снять калоши и шинель. Лакей помогъ ему, оглянувъ его съ недоумѣніемъ, и отворилъ дверь въ гостиную.

Ивановскій вошелъ машинально, растерянный. Лизавета Дмитріевна жила одна и пріѣхала въ N* на время, а потому занимала маленькій домъ. Пріемная комната была только одна. Высокая, просторная и нарядная, эта комната походила больше на кабинетъ, нежели на гостиную; но оттого и казалось покойно и пріятно въ каждомъ уголкѣ ея. Книги и цвѣты попадались подъ руку. Пяльцы съ рабочей корзиной были придвинуты къ одному окну; у другого помѣщался письменный столикъ. Прямо, напротивъ входа, у стѣны, стоялъ открытый рояль. Мебель была изящна, сторы спущены и комната освѣщена.

Ивановскій оглядывался, не зная, что дѣлать. Вмѣстѣ съ товарищами онъ ходилъ на святкахъ и на святой недѣлѣ пѣть концерты и поздравлять съ праздникомъ въ дома высшаго N-скаго общества; но пѣвчіе не допускались дальше залы, и то въ самую залу входили только одни маленькіе, а старшіе становились стѣною въ дверяхъ передней и пѣли, едва вставъ на мѣсто, не сказавъ ни слова, тотчасъ послѣ поклона. Семейство «аристократовъ», удостоившее принять ихъ, слушало, тѣснясь также у противоположной двери и оставляя между собою и пѣвцами все пространство залы, скрывалось, смѣясь, при первой нотѣ многолѣтія и высылало кого нибудь изъ своихъ маленькихъ членовъ расплатиться. Пѣвчіе уходили опять послѣ безмолвнаго поклона. Проходя мимо оконъ, они могли видѣть завитыя головки дѣтей аристократовъ, которыя смѣялись, показывая на ихъ длиннополый нарядъ, синій, съ вытертыми галунами... Что дѣлалось, какъ жили, чѣмъ занимались въ этихъ домахъ—все это оставалось для молодыхъ людей неизвѣстнымъ. Они знали только, что тамъ женятся и умираютъ, потому что какой нибудь родственникъ, которому поручалось хлопотать, являлся наканунѣ свадьбы или похоронъ сказать ихъ начальнику, отцу эконому Аарону, что «желаютъ, чтобъ были пѣвчіе», и регентъ условливался въ цѣнѣ. На свадьбѣ или на похоронахъ все ограничивалось для нихъ немногими наблюденіями съ клироса. Случалось, что юноша высшаго круга, хлопотавшій очень много, чтобъ придать себѣ больше важности, подбѣгалъ къ нимъ, прося достать стаканъ воды «для дамы», и нѣсколько разъ повторялъ это «для дамы», какъ будто боясь, что семинаристы не поймутъ всей великости значенія этого слова. Случалось, что какая нибудь старушка въ смятомъ капорѣ, равно охотница до зрѣлищъ веселыхъ и печальныхъ, тѣснимая со всѣхъ сторонъ, находила пріютъ между стѣной и маленькими альтиками, и пѣвчіе оставляли ее въ покоѣ, улыбнувшись и рѣшивъ: «а впрочемъ, господа, Богъ съ нею! пусть отсюда посмотритъ: вѣдь тамъ ее не пустятъ...» Общество являлось имъ и было понято ими какъ что-то необыкновенное и недоступное, понято такъ, съ покорностью и страхомъ...

Другое общество, которое они знали короче—богатые и небогатые купцы города N*—принимало пѣвчихъ довольно радушно и очень «гостепріимно». Радушіе выказывалось въ добромъ словѣ, а гостепріимство—въ самомъ щедромъ угощеніи; но никогда молодые люди не были ни знакомыми, ни гостями своихъ хозяевъ: съ ними говорили шутя и ожидая шутки, давая иногда несовсѣмъ деликатные совѣты; съ ними обращались свысока; ихъ угощали, безъ церемоніи выказывая, что считаютъ ихъ за людей, ко-

торымъ только и нужно, что угощеніе... Крѣпко спалось послѣ этихъ угощеній, и некогда бывало раздумываться; а на другой день нужда и лишенія заставляли безъ горечи вспомнить о тѣхъ, кто далъ забыть хотя на нѣсколько часовъ эту нужду и лишенія, заставляя даже простить имъ... Нельзя сказать, однако, чтобъ это было легко, чтобъ это не заставляло молодыхъ людей не разъ подумать, что такимъ образомъ они не сближаются ни съ какимъ обществомъ, а отдаляются отъ всякой цѣли...

Было еще въ N* много мелкихъ чиновниковъ, къ которымъ ученики семинаріи ходили какъ знакомые; нѣкоторые даже имѣли въ числѣ ихъ своихъ родственниковъ. Но тутъ, кромѣ весьма рѣдкихъ нецеремонныхъ пирушекъ въ праздничные дни, разстояніе между ними и этимъ обществомъ дѣлалось еще замѣтнѣе. Родственники и знакомые были уже люди самостоятельные и, слѣдовательно, нѣсколько гордились тѣмъ, чего достигли. Одни, выбравъ другую дорогу, предали забвенію классы и желали бы также предать забвенію свое происхожденіе; другіе, какъ нибудь кончивъ свѣтскій учебный курсъ или вовсе его не кончивъ, не оказывали большого сочувствія молодымъ людямъ, для которыхъ вся будущность была въ наукѣ. Совершенное невниманіе высшаго общества было гораздо легче: то общество совсѣмъ не знало этихъ молодыхъ людей, а они, поставленные далеко отъ него, не имѣя случаевъ узнать его, вѣрили въ его блескъ, въ его безукоризненность, въ его добродѣтели, въ его премудрость. Но тутъ, въ кругу купцовъ и чиновниковъ, они понимали все и знали всѣхъ. Общество было грубо, заносчиво и тщеславно: оно обижало безъ заботы, безъ оглядки... Въ немъ эти молодые люди были равны всѣмъ, были выше многихъ; но, въ простотѣ сердца, ни одинъ изъ нихъ не смѣлъ сравнивать себя съ этими значительными людьми. Правда, что-то щемило за сердце; но это справедливое движеніе тутъ же усмирялось мыслью о своей собственной невѣрной будущности, воспоминаніемъ строгихъ правилъ, внушенныхъ съ дѣтства, послушаніемъ и безусловной покорностью... Конечно, тяжело, когда перетянутыя барышни, едва умѣющія читать, поглядываютъ чрезъ плечо и, хохоча съ юношей въ красномъ воротникѣ, навѣрное, незнающимъ грамматики, не остерегаясь, почти громко, величаютъ «кутейникомъ» молодого человѣка, сидящаго у двери, и которому ихъ маменька, чиновница въ шелковомъ халатѣ и съ нечесаной головой, не даетъ молочника въ руки, а сама наливаетъ сливки въ чашку съ чаемъ... Какой-то инстинктъ—слѣдствіе размышленій и познанія—заставлялъ желать чего-то лучшаго: свѣтъ и люди, такъ завлекательно представляемые въ книгахъ, не могли кончаться одними этими неизящными образцами... Молодые люди привыкли встрѣчать грубость сужденій, угловатость обращенія, но не мирились съ нею. Они сами держались неловко; но это была неловкость робости, неумѣнье, а не развязное довольство собою. Ихъ разговоръ бывалъ иногда страненъ, нѣсколько смѣшонъ, потому что отзывался книжностью, но никогда не былъ пошлъ и, еще менѣе, неприличенъ.

Мелкіе франты не принимали ихъ въ свое общество, смотрѣли на нихъ съ глубочайшимъ презрѣніемъ, за что семинаристы платили имъ тѣмъ же и, исподтишка осмѣивая ихъ манеры, ихъ неудачное подражаніе манерамъ порядочнаго круга, сохраняли свою, иногда угрюмую, простоту и были лучше ихъ. Они могли бы учиться многому; но имъ было не отъ чего отучаться.

Изъ числа своихъ товарищей, поющихъ и непоющихъ, Ивановскій считался «свѣтскимъ человѣкомъ», потому что чаще бывалъ въ этомъ незатѣйливомъ обществѣ и умѣлъ держать себя въ немъ такъ, что съ нимъ были вѣжливы. Его наружность доставляла ему даже нѣкоторый успѣхъ между дамами и дѣвицами, которыя позволяли ему сопровождать ихъ на гуляньяхъ у качелей, въ посѣщеніяхъ акробатовъ и звѣринцевъ. Но эти дамы не нравились Ивановскому: слишкомъ ли скоро онѣ становились любезны, слишкомъ ли скоро и надъ всѣмъ шутили, слишкомъ ли много говорили вообще, пестро ли онѣ одѣвались, очень ли была замѣтна ихъ окончательная необразованность—онъ самъ не зналъ, но ему очень скоро становилось скучно съ ними, и если онъ продолжалъ бывать у нихъ въ праздники, то потому только, что не было другого развлеченія; а въ двадцать-два года, послѣ цѣлой недѣли, проведенной за книгами, развлеченіе необходимо. Ему былъ какъ-то непріятенъ безпорядокъ ихъ домовъ, гдѣ, однако, было всего въ-волю. Онъ не разъ думалъ, что эти молодыя особы ничего не дѣлаютъ, какъ будто ему были на что нибудь нужны ихъ занятія или таланты. У него было много сестеръ, и всѣ онѣ, молодыя дѣвушки и дѣвочки, жили въ слободѣ, въ крошечномъ домикѣ, работая цѣлый день

и помогая матери; даже у самой меньшой, восьмилѣтней, давно была заведена подушка со сколкомъ и кружевами. Вся семья трудилась и жила тѣсно и бѣдно, хотя отецъ былъ священникомъ въ городѣ, что много значило, и старался найдти себѣ учениковъ и уроковъ сколько возможно; по крайней мѣрѣ, былъ свой уголъ, и нужда не доходила до крайности. Ивановскому бывало грустно смотрѣть на своихъ хорошенькихъ сестеръ, и, можетъ быть, сравненіе съ ними увеличивало его нерасположеніе къ моднымъ барышнямъ. Но ему бывало часто скучно и въ семьѣ, какъ ни любилъ онъ свою семью: тамъ было слишкомъ однообразно! тамъ не говорилось ни о чемъ, кромѣ самыхъ обыкновенныхъ вещей; тамъ все было серьезно и чинно; всѣ, и въ томъ числѣ онъ, былъ въ патріархальной, безпрекословной зависимости; тамъ даже нельзя было смѣяться, какъ смѣются, школьничая, товарищи. Онъ самъ не зналъ, чего ему хотѣлось; ничѣмъ особенно онъ не былъ недоволенъ и, почти зная, чего можетъ ждать впереди, жилъ день за день, иногда, для развлеченія, придумывая несбыточное, иногда цѣлые дни ничего не думая.

Въ этотъ вечеръ Ивановскій такъ неожиданно очутился въ гостиной m-me Майцовой. Эта гостиная и это новое знакомство были такъ непохожи на все, что онъ видалъ и встрѣчалъ прежде, что онъ ни одной минуты не могъ собраться съ мыслями. Онъ подумалъ только, что, пригласивъ его, ему сдѣлали такую честь, какой онъ не стоилъ и не смѣлъ надѣяться; онъ боялся, какъ не боялся во всю жизнь свою, даже предъ экзаменами; онъ чувствовалъ себя не на мѣстѣ, стыдился чего-то, безпощадно вертѣлъ и мялъ свою фуражку, не рѣшаясь ни сѣсть ни пристальнѣе посмотрѣть вокругъ себя. Онъ вспомнилъ, что теперь уже, вѣроятно, товарищи допили свой чай и спѣшатъ домой, и, хотя громъ грянулъ въ самую минуту его желанія, Ивановскій отъ души желалъ быть съ ними. Его собственное лицо, мелькнувшее въ зеркалѣ, сконфузило его еще болѣе. Зеркало отражало, однако, чрезвычайно стройную и высокую фигуру молодого человѣка, одѣтаго просто, но довольно порядочно; прекрасные бѣлокурые волосы, причесанные безъ претензій, даже очень живописно смятые; легкія бакенбарды, немного темнѣе волосъ, выдававшія нѣжный цвѣтъ лица, которому позавидовала бы дѣвушка; черты немного неправильныя, но въ которыхъ было что-то неуловимо пріятное... Всякій, даже самъ Ивановскій, только не въ такомъ затруднительномъ положеніи, нашелъ бы, что эта особа совершенно презентабельна; но Ивановскій, увидя себя, хотѣлъ бы спрятаться.

Сдѣлать это было невозможно и поздно: Лизавета Дмитріевна вошла въ эту минуту, а изъ другой комнаты лакей вносилъ подносъ съ чайнымъ приборомъ.

— Извините меня, сдѣлайте одолженіе, сказала она:—я заставила васъ такъ долго дожидаться...

— Я не нахожу словъ благодарить... за все ваше вниманіе... проговорилъ Ивановскій.

— Развѣ можно было позволить вамъ идти пѣшкомъ и уставать? Еслибъ завтра вы потеряли хоть одну ноту вашего голоса, я бы себѣ никогда не простила.

Ивановскому вдругъ стало какъ-то легче. Онъ осмѣлился въ первый разъ взглянуть на Лизавету Дмитріевну, которую до тѣхъ поръ не успѣлъ разсмотрѣть хорошенько, и увидѣлъ предъ собою прелестную женщину ли въ черномъ платьѣ, съ черной кружевной косыночкой на головѣ. Ея граціозная талія была замѣтна и подъ мантильей, въ которую она куталась отъ вечерняго холода.

— Отдохнули ли вы хотя немного? продолжала Лизавета Дмитріевна, садясь дѣлать чай и приглашая гостя сѣсть къ столу.

— Я не усталъ, отвѣчалъ Ивановскій, ловко подкативъ себѣ мягкое кресло и садясь; но его руки, закрытыя тѣнью стола, принялись опять терзать фуражку:—я даже нисколько въ настоящую минуту не чувствую усталости.

— Нѣтъ, я еще ее чувствую и очень рада за васъ, что вы отдохнули.

— Мы привыкли, сказалъ онъ, торопясь вскочить, потому что она подавала ему чай; но она держала чашку такъ низко надъ столомъ, что Ивановскій догадался не вскакивать, а только поклониться. Ему мелькнула ея тонкая, маленькая ручка съ гладкимъ золотымъ браслетомъ, блеснувшимъ изъ-подъ кружева. Онъ еще разъ весь вспыхнулъ.

— Но такая прогулка, какъ сегодня, не очень пріятна, сказала Лизавета Дмитріевна.

— Это ничего... Зимой гораздо непріятнѣе; иногда случается непогода... морозъ, вьюга...

— Это ужасно! И вы идете?

— Что-жъ дѣлать! Это наша обязанность.

— Но вы рискуете здоровьемъ?

— Мы привыкли. Маленькимъ, конечно, это трудно; бѣжитъ иной, плачетъ, другой шалитъ, грѣется—такъ и привыкаетъ.

— Ахъ, бѣдныя дѣти! Но какъ выдерживаютъ голоса?

— Ничего... Говорятъ, иностранцы, пріѣзжая въ Россію, особенно берегутъ свои голоса, а мы... это нашъ родной климатъ, мы должны выдерживать. Къ тому же, голосъ нуженъ намъ только на время, а впослѣдствіи ни на что не пригодится: такъ и потерять его не жаль.

— Какъ ни на что не пригодится?

— Конечно. Вотъ, у насъ выпускъ въ іюлѣ: многіе выйдутъ.

— Стало быть, вашъ хоръ разстроится?

— Нѣтъ, вѣроятно, нѣкоторыхъ оставятъ, пока еще не наберутъ новыхъ голосовъ.

— Но тѣ, которые выйдутъ?

— Мѣста получатъ гдѣ нибудь: тамъ пѣніе уже не нужно.

— Конечно, сказала Лизавета Дмитріевна, которой показалось, что онъ говорилъ это уже не совсѣмъ хладнокровно:—но жаль забросить талантъ, когда онъ есть.

— Что-жъ дѣлать.

— Вы тоже кончаете курсъ?

— Да.

— И оставите хоръ?

— Не думаю. Буду пѣть, пока возможно.

— А какъ долго вамъ возможно пѣть?

— Пока придется взять мѣсто... устроиться, чтобъ быть чѣмъ нибудь. Въ пѣвчихъ нельзя цѣлый вѣкъ оставаться. И охотно бы остался, но дѣлать нечего.

— Куда же вы думаете поступить? на службу?

— Признаюсь, отвѣчалъ онъ:—я думалъ сначала; но жалованье не велико. Другіе какъ-то устроиваются, умѣютъ, живутъ даже роскошно... не знаю, какими средствами... но я чувствую, что не гожусь. Конечно, прибавилъ онъ, спохватясь, не сказалъ ли слишкомъ многого:—я говорю это не изъ честолюбія...

Лизавета Дмитріевна помогла его затрудненію.

— Но вы не чувствуете въ себѣ способности ловко устроиваться, какъ эти господа? сказала она, съ улыбкой взглянувъ ему въ глаза, что его не только ободрило, но и обрадовало.

— Я не могу такъ жить, сказалъ онъ, вспыхнувъ, но не отъ смущенія: напротивъ, въ его движеніи мелькнула какая-то свобода:—что тогда скажутъ мои товарищи?

— Они раздѣляютъ вашъ образъ мыслей?

— Когда воспитаніе одинаково, то и направленіе одинаково, отвѣчалъ онъ. — Конечно, насъ такъ много, что не можетъ не быть исключеній... но большая часть этихъ исключеній бываетъ отъ крайности... а тамъ втягиваются. Говорятъ, порокъ заманчивъ...

Ивановскій выговорилъ эту школьную фразу съ такимъ истиннымъ убѣжденіемъ, во всѣхъ его словахъ было столько откровеннаго чувства, что Лизавета Дмитріевна продолжала разспрашивать съ участіемъ:

— Такъ вы располагаете въ духовное званіе?

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ вдругъ: — впрочемъ, можетъ быть, да... Надо жениться... я, право, не знаю. Можетъ быть... На это нужно призваніе...

— У васъ есть семейство?

— Большое. Я одинъ сынъ, старшій. Я обязанъ поддержать семейство.

— Вашъ отецъ и мать живы?

— Слава Богу. Мой батюшка здѣсь священникомъ.

— Такъ вы покуда свободны. Ступайте въ университетъ.

— Я, право, не знаю, отвѣчалъ онъ, смущаясь: — не знаю, какъ вамъ сказать... До девятнадцати лѣтъ я отлично занимался, съ такимъ рвеніемъ... ночи не спалъ, изучалъ, писалъ... не знаю, чего я ждалъ отъ науки. Но съ тѣхъ поръ, какъ перешелъ въ старшій классъ, Богъ знаетъ что со мною сдѣлалось: я не могъ ничего дѣлать, принуждалъ себя... Мнѣ было такъ совѣстно; я просто недостойно лѣнился, отсталъ отъ всѣхъ... Вы будете презирать меня!

— За что же? сказала Лизавета Дмитріевна, которую тронула и вмѣстѣ забавляла эта непритворная горесть:—напротивъ, вы заслуживаете самаго полнаго участія, потому что откровенны; вы себя не извиняете.

— Я не знаю, какъ васъ благодарить... Это какъ-то странно, съ перваго раза...

— Не останавливайтесь на этомъ. Вы съ перваго раза откровенны, а я съ перваго раза расположена къ вамъ: чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

Она улыбнулась съ такой привѣтливой добротой, что смущеніе Ивановскаго совершенно исчезло. Ему стало такъ легко съ этой свѣтской женщиной, какъ не бывало легко ни въ семьѣ, ни съ товарищами; о знакомыхъ онъ и не вспомнилъ.

— Что же такое сдѣлалось со мною? спросилъ онъ: — отчего произошла во мнѣ эта перемѣна? Не могу понять.

— Очень просто: молодость взяла свое. Если вы дѣлали все, чтобъ заставить себя заниматься, то вы не виноваты. Это доказываетъ только, что вы не расположены къ серьезному занятію. Идти противъ своей природы мудрено. Кромѣ богословія, есть и другія науки; кромѣ этой одной дороги, есть множество другихъ... Чѣмъ вы начали заниматься, когда залѣнились?

— Я цѣлые дни пѣлъ и ничего больше.

— Прекрасно! И вы пристрастились къ этому?

— Отъ всей души.

— Что же вы пѣли?

— Все, что случалось. Концерты, романсы... Мнѣ попались двѣ партіи изъ оперъ: я и тѣ выучилъ и пѣлъ...

— Безъ музыки? спросила она, смѣясь.

— Безъ музыки, повторилъ онъ, смѣясь тоже.

— У васъ удивительный голосъ, сказала Лизавета Дмитріевна:—я слышала много хорошаго въ мою жизнь и потому позволяю себѣ судить; вамъ позавидовали бы многіе, даже извѣстные пѣвцы.

— Вы шутите? сказалъ онъ съ радостью.

— Для чего я буду шутить?

— Мнѣ говорили... мое пѣніе нравится, я знаю... но вашъ авторитетъ... такъ возвышаетъ меня въ собственныхъ глазахъ. Не знаю, какъ я вамъ благодаренъ за похвалу; вы меня оживили.

— Я вамъ сказала не похвалу, а только правду. Я люблю музыку, занимаюсь ею постоянно и очень разборчива... такъ разборчива, прибавила она, улыбаясь, — что даже изъ учтивости никогда не могла принудить себя хвалить посредственность.

— Право, я не смѣю вѣрить...

— Зачѣмъ я буду вамъ льстить? Подумайте сами: я встрѣтила васъ случайно, говорю съ вами въ первый разъ и очень легко могла бы промолчать о вашемъ голосѣ, еслибъ онъ въ самомъ дѣлѣ не былъ удивителенъ. Это сдѣлалось бы такъ просто, что вы бы и не замѣтили.

— Это правда... И безъ того вы такъ внимательны, такъ добры! сказалъ онъ съ восхищеніемъ. — Я благодарю васъ уже не за похвалу, а за то, что отъ вашихъ словъ я, право, не знаю, что со мною дѣлается. Вы меня какъ-то возвышаете... Я считалъ себя потеряннымъ

— Это почему?

— Нѣтъ, право, я уже ничего не смѣлъ надѣяться въ жизни, а вы сказали, что у меня талантъ...

— Замѣчательный, отличный, необыкновенный! Довольны вы?

— Кажется, невозможно быть недовольнымъ, отвѣчалъ онъ весело.

— Только не надо переставать имъ заниматься.

— Я всегда это думалъ. Я бы желалъ учиться, совершенствоваться, сказалъ онъ съ жаромъ:—но какъ это сдѣлать?

Ивановскій замолчалъ. Молчаніе продолжалось нѣсколько минутъ. Лизавета Дмитріевна прервала его, замѣтивъ, что оно начинало приводить гостя въ затрудненіе.

— Бываетъ ли у васъ свободное время?

— У насъ?.. Да, послѣ классовъ; впрочемъ, немного.

— Что же вы дѣлаете?

— Что нибудь... готовимъ уроки, поемъ, иногда ходимъ въ гости... читаемъ иногда вмѣстѣ съ товарищами: это очень пріятно.

— И все серьезныя книги?

— Нѣтъ: журналы, романы... Я постоянно читаю; у меня на столикѣ всегда какая нибудь книга.

— Что вы читаете теперь?

— Теперь?.. Право, мнѣ совѣстно признаться... «Евгеній Онѣгинъ».

— Почему же вамъ совѣстно признаться?

— Какъ же! мнѣ уже двадцать третій годъ, а я читаю эту книгу только въ первый разъ.

— Такъ вы считаете себя старикомъ? вскричала Лизавета Дмитріевна, разсмѣявшись.

— Нѣтъ; но дожить до этихъ лѣтъ и не знать произведеній Пушкина...

— Напротивъ, вы очень счастливы, что читаете уже въ такомъ возрастѣ, когда можете понимать его. Еще позже было бы еще лучше.

— Почему?

— Больше узнаете жизнь, вѣрнѣе оцѣните, правду-ли сказалъ поэтъ... Вѣдь вамъ нравится не одна красота стиховъ?

— Конечно, отвѣчалъ онъ, слушая ее, какъ ученикъ: — стихи безъ мысли — одни звуки... Но въ мой возрастъ всѣ уже давно знаютъ это, прочли еще дѣтьми...

— Кто всѣ? Ваши товарищи?

— Нѣтъ... я слышалъ... свѣтскіе молодые люди.

— Повѣрьте, что это не принесло много пользы—по крайней мѣрѣ, всѣмъ—и даже не очень много удовольствія... навѣрное, не столько, сколько вамъ. Теперь вы, чувствуя

и понимая, читаете эти слова, которыя заставляютъ чувствовать и думать. Двѣнадцатилѣтній мальчикъ пробѣжитъ, схватитъ нѣсколько фразъ, запомнитъ ихъ какъ нибудь неопредѣленно: къ чему это служитъ? А если онъ еще станетъ важничать тѣмъ, что читалъ Пушкина, и, главное, «Онѣгина», что онъ понялъ его?.. Еслибъ вы знали, какая скука отъ этого скораго пониманья и отъ раннихъ умниковъ!

— Я думалъ, напротивъ, возразилъ Ивановскій, удивленный и смутясь.

— Много ли знаете вы дѣтей, которыя бы все понимали ясно и не толковали превратно? «Онѣгинъ» тѣмъ больше въ-пору только взрослому...

— И свѣтскому человѣку, сказалъ Ивановскій, тихо и какъ-то покорно.

— Конечно, отвѣчала она просто: — нѣкоторыя подробности этого романа ближе свѣтскимъ людямъ, потому что взяты изъ ихъ жизни; но большая часть свѣтскихъ людей привыкли къ своей жизни, присмотрѣлись, романъ причитался имъ съ дѣтства и потому не дѣлаетъ на нихъ того сильнаго впечатлѣнія, какое можетъ сдѣлать на человѣка развитаго, съ чувствомъ, для котораго онъ новость... Я увѣрена, что вы отъ него въ восхищеніи.

— Да... Но, какъ вы сейчасъ сказали, я подумалъ... Для меня тоже, какъ для ребенка, половина должна быть непонятна.

— Почему?

— Мы не въ томъ свѣтѣ живемъ, для насъ онъ совершенно недоступенъ, отвѣчалъ Ивановскій, говоря во множественномъ числѣ, по привычкѣ, или потому, что такъ ему было легче признаваться.

— Въ немъ нѣтъ ничего особеннаго, возразила она, съ добротой, которая постоянно ободряла молодого человѣка: — нѣсколько условій — вотъ и все, а ихъ узнать очень легко.

Ивановскому въ самомъ дѣлѣ показалось это легко, глядя на нее. Онъ никогда не воображалъ, чтобъ въ свѣтѣ держались такъ просто и требовали такъ немного. Свѣтъ былъ вовсе не страшенъ, если всѣ его женщины были похожи на Лизавету Дмитріевну. Эта мысль заставила Ивановскаго подумать, что онъ, противъ ожиданія, очень пріятно проводитъ вечеръ. Эта же мысль напомнила ему, что пора уходить. Уходить ему не хотѣлось; къ тому же, явилось сильное затрудненіе: онъ не зналъ, какъ проститься, и дума объ этомъ важномъ вопросѣ возвратила ему всю неловкость первыхъ минутъ знакомства. Онъ почувствовалъ, что переломилъ козырекъ своей фуражки. Сожалѣніе объ этомъ несчастіи, вмѣстѣ съ смущеніемъ, заставило его опять покраснѣть и не найти слова. Онъ нѣсколько тревожно повернулся на мѣстѣ, оглядываясь на окна.

Лизавета Дмитріевна встала и подняла стору.

— Ахъ, какъ хорошо! сказала она, отворяя окно.

Мѣсяцъ свѣтилъ, между тѣмъ какъ въ тучѣ, ушедшей далеко, блестѣла блѣдная молнія. Деревья шумѣли въ саду, на другой сторонѣ улицы; въ чистомъ воздухѣ слышался запахъ зелени и сиреней. Гдѣ-то, вдали, часы пробили десять. Бой казался особенно звученъ среди тишины, темноты и легкаго холода.

— Пусть освѣжатся мои цвѣты, сказала Лизавета Дмитріевна, выставляя ихъ на окно. — Потрудитесь, дайте мнѣ и тотъ букетъ... Вы любите цвѣты?

— Очень, отвѣчалъ Ивановскій.

— Я очень скучаю, что у меня здѣсь нѣтъ своего садика.

— Позвольте проститься съ вами, сказалъ Ивановскій, вдругъ рѣшившись и самъ чувствуя, что некстати.

— Вы уходите? Такъ, сдѣлайте одолженіе, спросите: я приказала, чтобъ вамъ были готовы дрожки.

— Нѣтъ, благодарю васъ... не безпокойтесь: для чего же?.. Я дойду: недалеко... вечеръ такъ хорошъ...

— Если вы хотите любоваться вечеромъ; только вамъ вовсе не близко, а главное — сыро.

— Нѣтъ... прощайте... Я вамъ столько обязанъ... я, право, не знаю...

— Прощайте, или до свиданья, если вы доставите мнѣ удовольствіе бывать у меня. Завтра отправляюсь васъ слушать.

Ивановскій еще разъ поклонился и скрылся за дверью. Лизавета Дмитріевна не успѣла поставить еще одного букета на окно, какъ мимо нея по тротуару уже пролетѣлъ ея новый знакомый, закидываясь шинелью, опустивъ голову и спѣша, какъ будто гнались за нимъ.

Маленькая горничная принесла Лизаветѣ Дмитріевнѣ рабочій ящикъ. Лизавета Дмитріевна приказала ей взять чашки.

— Это пѣвчій? спросила дѣвушка, отодвигая кресло, на которомъ сидѣлъ Ивановскій.

— Пѣвчій.

— Пѣвчій! А я думала, это гость.

— Развѣ пѣвчій не можетъ быть гостемъ? спросила, смѣясь, Лизавета Дмитріевна, которую часто забавляли замѣчанія ея субретки, особы очень развязной.

— Ну, какой это гость — семинаристъ! Ихъ много мимо насъ ходитъ всякій день: ихъ заведеніе тутъ и есть... Ужъ и гость!

III.

Запоздавъ до десяти часовъ, между тѣмъ какъ ворота дома, гдѣ жили пѣвчіе, запирались въ половинѣ десятаго, Ивановскій рисковалъ получить выговоръ, потерять мѣсто пѣвчаго, наконецъ быть исключеннымъ изъ семинаріи, еслибъ не представилъ дѣльнаго оправданія. Постановленіе было очень строго. Къ счастію молодого человѣка, его отсутствіе не было замѣчено: товарищи не выдали, и онъ, хотя не совсѣмъ спокойно, ночевалъ у своего отца. Рано утромъ, едва отворились ворота, Ивановскій явился домой.

Утро было прелестно, свѣжее. Громадная тѣнь лежала отъ собора, величаваго, темнаго зданія съ пятью синими главами, слегка освѣщенными снизу еще невысокими лучами солнца. Верхушки ихъ и кресты горѣли въ блестящемъ небѣ; ласточки вились надъ ними и щебетали неумолчно. Соборъ былъ окруженъ террасой, равнявшейся со вторымъ этажемъ стариннаго бывшаго дворца и соединенной съ нимъ; ея тонкая рѣшотка исчезала въ воздухѣ. Арка террасы служила воротами въ архіерейскій дворъ. Налѣво этого двора былъ дворецъ, нынѣшній архіерейскій домъ. Неправильныя, маленькія окна его нижняго этажа, низенькія двери, каменная лѣстница подъ надтреснутымъ сводомъ, крутымъ поворотомъ уходившая внутрь строенія, украшенія, вырѣзанныя изъ камня, желѣзныя рѣшотки — все напоминало старину и радовало художника. Второй этажъ носилъ на себѣ слѣды позднѣйшей, даже новѣйшей передѣлки: окна были увеличены; ихъ рамы были въ четыре стекла, ихъ рѣшотки исчезли. Но архитекторъ не могъ уравнять ихъ, и они разбѣгались по три, по два, по одному, и часто одно было выше другого. Крыльцо было совершенно новое, съ деревяннымъ навѣсомъ, подъ которыми виднѣлась широкая, удобная лѣстница. Вчерашній дождь разнесъ полосами песокъ по дорогѣ передъ этимъ крыльцомъ и омылъ кусты и ярко раскрашенную зеленую загородку маленькаго садика, разбитаго напротивъ, на дворѣ, между небольшой церковью, почти прижавшеюся къ террасѣ собора, и высокимъ каменнымъ флигелемъ, желтымъ, некрасивымъ, какъ все, что строится только для удобства. Во дворѣ было тихо и пусто. Одни дрожки стояли передъ крыльцомъ дома, куда уже взошло нѣсколько молельщиковъ. Въ домѣ шла обѣдня. Ее отзвонили маленькіе колокола, навѣшенные снаружи, въ одномъ изъ выступовъ стариннаго строенія. Въ другихъ церквахъ и далеко въ городѣ еще раздавался протяжный, рѣдкій ранній благовѣстъ.

Ивановскій шелъ по двору. Взглянувъ на окна флигеля, онъ увидѣлъ, что они были еще не подняты: значитъ, товарищи еще спали. Въ простые дни они, не всѣ, но по нѣскольку старшихъ, въ очередь, пѣвали раннія обѣдни въ архіерейскомъ домѣ.

— Давно началась обѣдня? спросилъ Ивановскій звонаря, сидѣвшаго на готическомъ окнѣ, въ которое была укрѣплена перекладина съ колоколами. Звонарь любовался природой или, вѣрнѣе, дремалъ на свѣжемъ воздухѣ, потому что дворъ и садикъ, и все, что его окружало, уже давно успѣли ему присмотрѣться.

— Не очень давно, отвѣчалъ онъ Ивановскому:—еще половины не будетъ.

Ивановскій подумалъ, что хотя очередь не его, но онъ можетъ пойти на клиросъ и пѣть; потомъ онъ подумалъ, что усталъ и что какъ ни жарко въ тѣсномъ дортуарѣ флигеля, но отдохнуть надо, что надо и принарядиться къ поздней обѣднѣ, которую всѣ они пойдутъ пѣть въ кладбищенской церкви. Потомъ какая-то мысль заставила его улыбнуться, и ему стало жаль спать въ такое свѣтлое утро. Онъ вышелъ опять изъ воротъ на площадь, окружавшую соборъ. Эта площадь кончалась въ обрывъ надъ берегомъ рѣки и была обнесена низенькой деревянной загородкой. Колокольня собора была выстроена отъ него отдѣльно: у моста, соединявшаго соборную площадь съ пустымъ пространствомъ въ полверсты, которое шло до города и ограничивалось съ одной стороны зданіемъ присутственныхъ мѣстъ, а съ другой кончалось тоже въ обрывъ къ рѣкѣ. На этомъ мѣстѣ нѣсколько разъ пробовали разводить садъ; но весь берегъ открытъ и обращенъ на сѣверъ, и потому всѣ попытки были неудачны. Двѣ-три унылыя акаціи и крошечныя рябинки, выглядывающія изъ бурьяна, свидѣтельствуютъ, каковъ былъ трудъ. Ивановскій сѣлъ на загородку около собора и сталъ смотрѣть въ даль. Видъ былъ хорошъ: городъ полукругомъ съ одной стороны; внизу, за рѣкою, луга; за ни-

ми, дальше, селенія въ темной сосновой рощѣ, пригорки, а еще дальше, къ горизонту, бѣлая полоса песчанаго берега рѣки. Много простора, много воздуха. Ивановскому этотъ видъ былъ давно знакомъ: онъ смотрѣлъ на него постоянно четыре года, съ тѣхъ поръ, какъ поступилъ въ пѣвчіе и жилъ въ архіерейскомъ домѣ; онъ зналъ, что, разлившись, рѣка затопитъ все пространство отъ песчанаго берега до подошвы горы, гдѣ стоитъ соборъ; часто смотрѣлъ онъ, какъ въ это время, на Страстной, его товарищи, ученики семинаріи, отправлялись на праздники въ деревни, нанявъ большую лодку, садились въ нее человѣкъ по двадцати и отплывали, запѣвъ «Царю небесный...» Долго и далеко мелькаетъ, бывало, ихъ лодка и раздается ихъ пѣніе въ чисто голубомъ, блестящемъ пространствѣ воды и воздуха. Потомъ, на Святой недѣлѣ, между тѣмъ какъ колокола собора, монастыря и города весело перезваниваютъ и по разливу мелькаютъ челноки и лодочки, на берегу сбирается почти все N—ское народонаселеніе любоваться на тающій снѣгъ, на сизую рѣку, на первую траву и на первые весенніе дни. Разливъ сойдетъ, и рѣдко кто приходитъ къ рѣшоткѣ: у нея становятся только экипажи тѣхъ, кто бываетъ въ соборѣ; иногда отдыхаютъ рабочіе, которые грузятъ барки, стоящія внизу; чаще всего собираются пѣвчіе, подъ вечеръ, когда запереться въ домѣ скучно, а уходить въ городъ ужъ поздно. Ивановскій проводилъ у этой рѣшотки многіе часы раздумья, послѣ неудачныхъ экзаменовъ, въ пору совершеннаго безденежья, или послѣ родительскихъ увѣщаній за какую нибудь шалость. Всего этого испыталъ онъ въ жизни довольно, но видѣлъ въ своихъ несчастіяхъ какую-то неизбѣжную судьбу и покорялся ей. Онъ отъ всего сердца хотѣлъ бы учиться и не могъ, и его стыдъ и сожалѣніе были такъ велики, что ему стоило труда скрывать ихъ, какъ того требовало его двадцатидвухлѣтнее достоинство. Отъ необходимости поставить себя какъ нибудь передъ товарищами, онъ часто скрывалъ это отвагой, какъ будто махнувъ рукой на все; но когда его уже очень брало за сердце, онъ казался сердитымъ, неизвѣстно на кого и на что, или прикидывался веселымъ, и, какъ это всегда случается, втягивался въ веселье, для чего иногда тратилъ все, что могъ, свое маленькое жалованье, свою часть изъ общаго сбора пѣвчихъ. Когда Ивановскій былъ веселъ въ самомъ дѣлѣ, его, конечно, не могъ перещеголять никто. Раскаянье приходило поздно, къ счастію проступки были рѣдки. Отецъ выговорилъ ему, что онъ «неучъ, беззаботная голова, не помнитъ о семьѣ», не подозрѣвая, сколько терпѣло сердце этого бѣднаго неуча, сколько разныхъ плановъ и затѣй напрасно перебиралъ онъ для своей семьи, какъ онъ жалѣлъ о всякой растраченной копѣйкѣ, которой не умѣлъ не пріобрѣсти, ни сохранить и которую молодость и скука заставляли его растратить. Скука не могла не придти: усилія учиться утомляли, а не занимали, свободное время проходило однообразно, удовольствія были неизящны, и молодой человѣкъ понималъ это, чувствовалъ, какъ-то странно желалъ чего-то и кончалъ тѣмъ, что отдавался или этимъ удовольствіямъ, или тихому раздумью, доходившему до тоски...

Ивановскій былъ отличный товарищъ. Его любили; но все то, что онъ чувствовалъ, было для него такъ тяжело, а главное — ему было такъ совѣстно признаться въ своихъ чувствахъ, что онъ никогда и никому не говорилъ о нихъ. Между товарищами были славные молодые люди, многіе находились въ такомъ же положеніи, но беззаботные, какъ всегда бываетъ въ молодости, никогда долго не разсуждали, а если и толковали иногда, то большею частью кончали шуткой. Нѣкоторые предлагали крайнія мѣры, и на это особенно мастеръ былъ Бѣляевъ, который нѣсколько разъ говорилъ Ивановскому, что, на его мѣстѣ, сейчасъ бы пошелъ въ военную службу. Маргаритинъ, болѣе положительный, утверждалъ, что Ивановскому нечего задумываться, когда у него есть въ виду городской приходъ отца; другіе, еслибъ Ивановскій былъ откровененъ съ ними, стали бы жалѣть о немъ, но все равно ничего бы не придумали. Многіе сами говорили, что имъ скучно; но все кончалось тѣмъ же «дѣлать нечего!», которое онъ и самъ говорилъ себѣ.

Общее воспитаніе, у котораго нѣтъ роскошной обстановки, заставляющей забыть бѣдность родительскаго крова и отвыкать отъ крова и отъ этой бѣдности, воспитаніе, въ которомъ вмѣстѣ надо учиться и бороться съ жизнью, воспитаніе среди строгостей и стѣсненія, сближаетъ учениковъ семинаріи на то время, пока они еще въ классахъ. Если не между всѣми существуетъ дружба, то между всѣми есть пріязнь или жаркое товарищество, которое, при случаѣ, заставляетъ забывать всѣ мелкія ссоры и мелкое соперничество. Если у семинариста нѣтъ дру-

зей, онъ навѣрное дурной человѣкъ. Въ самомъ дѣлѣ, надо быть очень дурнымъ человѣкомъ, чтобъ въ этой жалкой средѣ позволить себѣ быть гордецомъ, эгоистомъ или доносчикомъ. Молодыя головы, которымъ самая ихъ наука твердитъ о нравственности, восторжены отъ молодости и потому судьи строгіе, пока еще вмѣстѣ. Жизнь всякаго семинариста заключена въ такую тѣсную и опредѣленную рамку, жизнь одного такъ похожа на жизнь другого, что помощь одного другому можетъ быть только матеріальная, а совѣтъ—только въ классныхъ бѣдахъ и семейныхъ обстоятельствахъ. Изъ нихъ большею частью состоитъ жизнь семинариста, и онѣ-то кладутъ свой оттѣнокъ на его характеръ. Почти всѣ эти молодые люди расположены къ грусти, и только молодость бережетъ ихъ отъ совершеннаго упадка бодрости. Оттого и веселость ихъ—скорѣе дѣтская беззаботность или отвага людей, желающихъ забыться, нежели счастливое расположеніе характера, развивающагося спокойно и въ довольствѣ. Въ семинаристѣ матеріальная забота подавляетъ веселость съ дѣтства. Ребенокъ, которому отецъ и мать не въ состояніи дать нагольнаго тулупчика, дрогнетъ въ холодномъ классѣ, не зная, какъ дожить до тѣхъ лѣтъ, когда будетъ самъ въ состояніи пріобрѣсти себѣ тулупчикъ, и зная, и видя по примѣрамъ товарищей, которыхъ то и дѣло уносятъ лихорадка и горячка, что счастливая пора тепла и довольства очень далека и очень сомнительна. Ребенокъ окруженъ строгостью и одинокъ; для него одно счастіе—вакація, гдѣ, если и строгъ отецъ, если матери нечѣмъ полакомить и хоть немножко откормить маленькое существо, зачахшее отъ лишеній, за то есть поля и рощи, гдѣ можно побѣгать въ волю, а старики «пожалѣютъ» маленькое дитя и не возьмутъ его помогать себѣ въ полевыхъ работахъ... Подростая, мальчикъ свыкается съ своей нуждой: веселость утрачивается съ каждымъ днемъ; забота ложится въ основаніи характера. Съ возрастомъ ученіе становится серьезнѣе, голова занята сильнѣе, и нужда дѣлается еще тяжеле. Молодой человѣкъ можетъ повеселиться сегодня только насчетъ своего завтрашняго дня; онъ долженъ заработать всякую свою лишнюю издержку, а чаще всего эта издержка необходима. Къ лишеніямъ, равно ощутительнымъ и для взрослаго, и для ребенка, прибавляется понятіе приличія—этотъ первый признакъ уваженія къ себѣ, и ложный стыдъ—этотъ общій недостатокъ молодости: то и другое равно мучительно, когда, чтобъ успокоить ихъ, нуженъ трудъ выше силъ. Въ губернскомъ городѣ нелегко найти работу, если тотъ, кто ищетъ ее, не ремесленникъ. Для переписки бумагъ кому нибудь есть множество писарей въ присутственныхъ мѣстахъ. Правда, писаря не знаютъ орѳографіи; но объ орѳографическихъ тонкостяхъ заботятся только въ особенно важныхъ бумагахъ, которыя пишутся не часто и въ которыхъ главныя условія—красивый почеркъ. Какъ люди, пишущіе много и скоро, семинаристы вообще пишутъ некрасиво. Остаются уроки въ частныхъ домахъ: но въ губернскомъ городѣ есть и пансіоны, и гимназіи, и только изрѣдка, въ какихъ нибудь домахъ средней руки, родители рѣшаются довѣрить образованіе дѣтей своихъ семинаристу, да и то ненадолго: въ два мѣсяца лѣтней вакаціи, чтобъ дѣти не теряли времени; плата съ каждымъ годомъ становится ниже и ниже. Семинаристы теряютъ свою вакацію, оставаясь въ городѣ для уроковъ; они, впрочемъ, не отдохнули бы и въ деревнѣ: они бы косили, жали и пахали...

Время, когда названіе семинариста обозначало широкоплечаго, рослаго и согнутаго молодца, мастера поѣсть, еще болѣе мастера выпить, съ дубоватыми манерами и грубымъ голосомъ, силача съ толстыми руками, котораго было бы непріятно встрѣтить вечеромъ на пустынномъ перекресткѣ, неряху, котораго невозможно было принять какъ гостя, тупую голову, довольную познаніемъ одной церковной грамоты,—это время, если оно и было когда нибудь, прошло давно, и этотъ типъ или миѳъ исчезъ совершенно. Нынѣшній семинаристъ держится скромно и порядочно, какъ всѣ, даже лучше многихъ, чтобъ не уронить еще ниже репутаціи семинариста; если онъ не шалунъ, не лѣнивецъ и не ограниченъ (что встрѣчается и между не семинаристами), онъ учится что есть силы, сожалѣя, что многія науки, ближе другихъ касающіяся живой жизни, недовольно подробно преподаются въ его курсѣ. О здоровьѣ ему думать некогда и взять его не откуда: еще ребенкомъ онъ поблѣднѣлъ и захирѣлъ отъ сырости своей квартиры, черстваго хлѣба и класснаго страха. Трудъ и скука вогнутъ ему грудь прежде, нежели онъ успѣетъ развиться; стоитъ не поберечься—а безъ средствъ беречься мудрено—и при первой лишней неосторожности, при первой простудѣ, придетъ чахотка, которой молодой человѣкъ даже не удивится: она на его глазахъ уже выхватила многихъ его товарищей.

Составляя совершенно отдѣльную касту, семинаристы рады малѣйшему вниманію, малѣйшей привѣтливости общества. Это вниманіе, всегда заслуженное, эта привѣтливость, всегда очень обыкновенная, какъ будто убѣждаютъ молодыхъ людей въ ихъ собственномъ достоинствѣ, которому они не смѣютъ вѣрить. Очень рѣдко, у очень немногихъ является мысль, что общество могло бы убавить своей спѣси; чаще думаютъ они, что придетъ и ихъ время, что они выкажутъ себя, заставятъ уважать себя, пригодятся, будутъ людьми, поживутъ покойно... Прекрасныя мечты, которыя не осуществляются и для десяти изъ сотни богослововъ, кончающихъ курсъ каждые два года! Однакожъ, это не мѣшаетъ мечтать богословамъ слѣдующаго курса; но неудачи, несчастія бывшихъ товарищей бросаютъ тѣнь на эти мечты, горькій опытъ другихъ учитъ поменьше довѣрять надеждамъ, а еслибъ и достало отваги, бѣдность убиваетъ ее.

Усиленное ученіе, нужда, отчужденіе отъ всего міра, лежащаго внѣ бурсы, наводятъ на молодыхъ людей уныніе. Иныхъ оно очерствляетъ, другихъ дѣлаетъ чрезъ мѣру чувствительными; одни становятся сумрачны и необщительны, другіе печальны и кажутся испуганными. Трудность настоящаго чувствуется каждую минуту, будущее невѣрно, и мысль о немъ такъ крѣпко поселилась въ молодыхъ головахъ, что если не сказывается ясно, то напоминаетъ о себѣ какой-то смутной тревогой, которая примѣшивается ко всему, отравляетъ и тихій, покойный часъ, и рѣдкіе промежутки веселья съ товарищами. Будущее однообразно, жизнь представляется въ той же формѣ, въ которой сложилась она для ихъ дѣдовъ, для ихъ отцовъ, и молодыхъ людей мучитъ мысль, къ этому ли только ведетъ наука? Неужели это однообразіе должно постичь ихъ съ двадцатилѣтняго возраста и тянуться до смерти?.. Для многихъ заранѣе ужасенъ этой покой: молодая душа рвется на просторъ, на дѣятельность. Случается, попадаетъ она на другую дорогу; но обстоятельства, нужда, рутина отцовъ... и все кончается тѣмъ же, чѣмъ кончилось для другихъ, какъ будто надъ всѣми стоитъ какое-то неизбѣжное предопредѣленіе... Страшно и скучно за себя; жаль другихъ и скучно за другихъ... Нужно много твердости характера, молодой забывчивости, дѣтской простоты и невѣдѣнія, чтобъ выносить эту жизнь, не упадая духомъ...

Со вчерашняго дня Ивановскаго что-то странно волновало. Онъ заснулъ и проснулся съ мыслью, что у него талантъ, и что сказалъ ему это не кто нибудь, никогда неслыхавшій ничего истинно хорошаго, а особа высшаго круга, которая удостоила его вниманія, разговора и даже приглашенія бывать у нея. Ивановскій былъ ужасно радъ. Онъ припоминалъ этотъ разговоръ и не могъ припомнить подробностей: всѣ впечатлѣнія сливались въ одно необыкновенно хорошее, такое, какого онъ не испытывалъ еще никогда. Онъ вспомнилъ, однако, что у него—онъ самъ не зналъ какъ—вырвалось нѣсколько задушевныхъ словъ; что онъ, кажется, сказалъ этой посторонней, важной дамѣ что-то о своемъ положеніи, о своихъ чувствахъ; но онъ помнилъ очень ясно, что она отвѣчала ему ободреніемъ, котораго онъ не ждалъ и не надѣялся... Для чего онъ не высказалъ ей всего? чего онъ испугался? Можетъ быть, она бы научила его, что дѣлать, можетъ быть, объяснила бы, почему ему скучно и чего онъ хочетъ... Зачѣмъ онъ такъ глупо робѣлъ? Вотъ и правда, что семинаристы неловки, неотесаны!.. Эта дама, однако, обращалась съ нимъ вовсе не какъ съ семинаристомъ. Конечно, она говорила и объ этомъ народѣ; но о чемъ же ей было говорить съ незнакомымъ, который подлетѣлъ къ ней съ клироса? Съ нею было страшно, а что-то хорошо. Она не презирала семинариста... Ивановскій рѣшилъ, что у m-me Майцовой ангельская душа. Онъ сказалъ себѣ, что будетъ вѣчно хранить память объ этомъ вечерѣ, что образъ этой женщины будетъ ему вездѣ сопутствовать, поддерживать, ободрять его. Ему вспомнилось множество романовъ, прочитанныхъ въ свободные часы, и всѣ стихи и романсы, переписанные въ тетрадкахъ. Онъ сталъ придумывать, что скажетъ m-me Майцовой, когда увидитъ ее, сочинялъ ей отвѣты, цѣлые разговоры, наконецъ такъ развеселился, что не зналъ, какъ приблизить время увидѣть ее скорѣе. Ему явилась еще мысль: спѣть сегодня такъ, чтобъ поразить ее, и съ этою мыслью Ивановскій почти бѣгомъ пустился къ архіерейскому дому, въ свой флигель: надо было просить регента выбрать для пѣнія то, что особенно хорошо пѣлъ Ивановскій.

Было семь часовъ. Пѣвчіе уже встали. Ихъ жилье состояло изъ большой пѣвческой залы, гдѣ было старое фортепіано, принадлежащее регенту, изъ маленькой комнаты регента и большого дортуара, гдѣ жили старшіе пѣвчіе; дѣти помѣщались внизу, совсѣмъ отдѣльно. Когда пришелъ Иванов-

скій, дортуаръ былъ уже убранъ акуратно, какъ прибираютъ его люди, которые служатъ сами себѣ и дорожатъ своимъ добромъ, и смотрѣлъ такъ чисто, какъ можетъ смотрѣть чисто комната, выбѣленная лѣтъ пять назадъ. Пѣвчіе одѣвались, что производило большую суматоху, потому что всякій старался хоть на минуту достичь маленькаго зеркальца, приставленнаго къ двумъ толстымъ книгамъ на столѣ, предъ которымъ сидѣлъ регентъ, серьезно занятый своей прической. Регента, какъ начальника, никто не смѣлъ потревожить или поторопить; но, благодаря его заботамъ, его черная кудрявая головка скоро пригладилась и заблестѣла какъ перья молодой курицы. Регентъ остался очень доволенъ и, уступивъ мѣсто Бѣляеву, который не могъ сладить съ галстукомъ, присоединился къ другимъ, окружившимъ Ивановскаго.

— Гдѣ это вы пропадали? сказалъ онъ.

— Ну, что? какъ? далеко ли проводилъ барыню? спрашивали другіе.

— Я у нея былъ, господа!

— У нея? вскричалъ Бѣляевъ, бросивъ и зеркало и не замѣчая, что на его мѣсто ужъ сѣлъ октава Ждановъ, въ свою очередь толкнувъ Пустынскаго, который, непричесанный, не могъ добиться ни гребня, ни щетки.

Мрачный Маргаритинъ переносилъ лишенія стоически хладнокровно: онъ воспользовался лучомъ солнца на стѣнѣ и причесывался, глядя на тѣнь свою. Не такъ былъ равнодушенъ басъ Свѣтловъ, красавчикъ, шалунъ и щеголь изъ всего хора: онъ въ это утро уже два раза ссорился съ товарищами за зеркало. Онъ и не замѣтилъ прихода Ивановскаго, занимаясь туалетомъ и разбираясь въ своемъ сундукѣ, гдѣ принадлежности туалета находились въ самомъ живописномъ безпорядкѣ, вмѣстѣ съ тетрадями и книгами. Изъ этихъ книгъ и тетрадей нѣкоторыя уже вылетѣли на полъ...

— Какъ же? и вы ничего? не оробѣли? спрашивалъ Ивановскаго теноръ Никольскій.

— То-то, я думаю, ты шелъ, все равно какъ по горячимъ уголькамъ?

— Нѣтъ, ничего: она такая милая, обходительная...

— Вѣдь мы видѣли: ты шелъ, все оглядывался.

— Какъ же, подъ ручку велъ! Я думаю, самъ не радъ...

— Почему же вы думаете, господа? напротивъ, она такая добрая, внимательная; это, просто... должно быть, ангельская душа!

— Что-жъ, господа? отозвался второй баритонъ, Лампадинъ, почему-то нерасположенный къ Ивановскому:—Алексѣй Алексѣичъ не сробѣетъ, найдется: вѣдь онъ у насъ... Большому кораблю большое и плаванье.

— Долго ты у нея сидѣлъ? спросилъ Бѣляевъ.

— Чай пилъ.

— Былъ тамъ кто нибудь еще изъ ея знакомыхъ, изъ важныхъ лицъ? спросилъ Лампадинъ.

— Нѣтъ, никого.

— Ну, вѣдь мы хороши, когда нѣтъ никого, сказалъ задумчиво Маргаритинъ.

— О чемъ же вы съ ней рѣчь вели? спросилъ регентъ.

— Многое... такъ, разное... О литературѣ говорили.

Лампадинъ расхохотался.

— Развѣ нельзя говорить о литературѣ? возразилъ регентъ, который, вѣроятно по своему сану, имѣлъ нѣкоторое нравственное вліяніе на товарищей: — мы всѣ, я думаю, читаемъ, занимаемся отечественной литературой.

— И очень, подтвердилъ Никольскій, который писалъ недурно стихи и переводилъ Горація.

— Она такъ хвалила нашъ хоръ... продолжалъ Ивановскій.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Въ восхищеніи... Знаете что, Ѳедоръ Михайлычъ? еслибъ сегодня спѣть что нибудь такое, получше... Она говорила, что для нея это наслажденіе, что мы въ совершенствѣ исполняемъ...

— Что-жъ, пожалуй, можно все спѣть концертное, сказалъ регентъ, чрезвычайно довольный, отправляясь въ уголъ, къ большому столу, гдѣ лежали ноты.

Ивановскій пошелъ за нимъ.

Самолюбіе регента было затронуто, что, впрочемъ, было очень понятно. Городъ N* всегда славился своими пѣвчими. Составъ хора, конечно, нѣсколько разъ измѣнялся, голоса выбывали и поступали новые; случалось, что эти новые далеко не могли замѣнить прежнихъ; хоръ слабѣлъ, но продолжалъ славиться и пѣть прекрасно; въ немъ, какъ преданіе, сохранялась его превосходная метода—настоящая, вѣрно понятая метода духовнаго пѣнія, исполненіе отчетливое безъ замѣтнаго старанія, выразительное безъ декламаціи, поражающее безъ эфектовъ, та высокая простота, которой въ нашемъ духовномъ пѣніи удивляются ино-

странцы. Въ настоящее время регентъ, ученикъ придворной капеллы, молодой человѣкъ, влюбленный въ искусство и прекрасный музыкантъ, довелъ свой хоръ до совершенства, котораго и въ N* давно не помнили. Неудивительно послѣ этого, что, похваливъ хоръ, можно было пріобрѣсть расположеніе регента; а доставить ему случай выказать красоту хора, значило обязать его навѣки.

Ивановскій привелъ его въ самое пріятное затрудненіе: регентъ искалъ въ нотахъ, выбирая изъ лучшаго лучшее.

-- Вотъ это спѣть, сказалъ онъ наконецъ: — это, помните, на праздникъ пѣли; тутъ еще вамъ много приходится.

Ивановскій только этого и желалъ, но скрылъ свою радость: онъ боялся, что товарищи станутъ смѣяться.

— Надо спѣться, господа! сказалъ онъ другимъ.

— Ну, ужъ эти спѣвки хуже горькой рѣдьки, сказалъ Лампадинъ, взглянувъ на нумеръ концерта.—Это что-жъ? тутъ одинъ Алексѣй Алексѣичъ отличается. Что-жъ? Алексѣю Алексѣичу хочется утѣшать барыню, такъ самъ ей одинъ и пой.

Но регентъ употребилъ свою власть, позвавъ маленькихъ альто и сопрано и заставивъ протвердить концертъ. Регента слушались волею или неволею: прогнѣвавшись, онъ могъ исключить изъ хора; а это было бы очень невыгодно. Ивановскій пѣлъ свою партію съ восторгомъ и такъ, что удивилъ даже товарищей, которыхъ онъ одушевлялъ и поддерживалъ. Его партія была въ самомъ дѣлѣ главною въ этомъ концертѣ. Даже регентъ былъ видимо доволенъ.

Дѣтей отослали завтракать, а старшіе принялись оканчивать свой туалетъ. Ивановскій, достигнувъ зеркала, съ тайнымъ удовольствіемъ посмотрѣлъ на свое свѣжее, оживленное лицо и на свои прелестныя баки. Онъ былъ радъ, что молодъ и недуренъ, былъ счастливъ, что у него талантъ, и потому расположенъ ко всему человѣчеству. Замѣтя озабоченность Свѣтлова, Ивановскій самъ предложилъ ему свою ослѣпительной бѣлизны манишку, собственноручно напомадилъ и причесалъ перваго сопрано, Васю, прелестнаго миніатюрнаго мальчика, замѣтивъ ему, между прочимъ, что если онъ осмѣлится сбиться, когда имъ придется пѣть вдвоемъ, то ему, Васѣ, достанется отъ Ивановскаго такое, чего не бывало и отъ регента. Вася выслушалъ это увѣщаніе смѣясь и глядя на грознаго баритона во всѣ свои черные глазки, такъ смѣло, что братъ его, Ждановъ, постоянно учившій его свѣтскому обращенію, замѣтилъ ему, густыми нотами, съ большимъ достоинствомъ:

— Чего ты осклабляешься?

Ивановскій одѣвался съ особенной заботой, стараясь дѣлать ее какъ можно менѣе замѣтной. Къ счастію, товарищи были слишкомъ заняты сами собою и не видѣли его хлопотъ, не видѣли, какъ онъ затруднялся въ выборѣ между черным сюртукомъ и оливковымъ пальто—своими единственными нарядами, какъ онъ рѣшился на послѣднее, какъ онъ чистилъ его, осматривалъ, повертывалъ къ свѣту... Одинъ Бѣляевъ замѣтилъ это и сказалъ ему тихо:

— Принарядись, принарядись, Алеша: покажи этой барынѣ, какой у насъ народъ бываетъ въ бурсѣ...

Когда всѣ были готовы и маленькіе отправлены съ тетрадями впередъ, Ивановскій предложилъ зайти напиться чаю, потому что пѣть, не промочивъ горла, невозможно. Времени оставалось не болѣе получаса до благовѣста, и потому предложеніе Ивановскаго было принято съ удовольствіемъ, тѣмъ больше, что онъ вызвался заплатить. Маргаритинъ примѣтилъ, выходя, что на Ивановскомъ были перчатки. Ивановскій сказалъ ему, будто вскользь, что удивляется, почему онъ, Маргаритинъ, не бываетъ у Лизаветы Дмитріевны, когда знакомъ съ нею, а она такая милая женщина! Ивановскій говорилъ это не для того, чтобъ, по общей привычкѣ, немножко посмѣяться надъ дикостью Маргаритина, а потому, что имя Лизаветы Дмитріевны вертѣлось у него на языкѣ. Онъ, однако, укротилъ свое желаніе безпрестанно говорить о ней и былъ необыкновенно веселъ и любезенъ съ товарищами въ трактирѣ, гдѣ угощалъ ихъ чаемъ. Они не опоздали на мѣсто съ первыми ударами колокола.

Ивановскій послѣдній вошелъ на клиросъ. Идя медленно, онъ оглядывался, будто разсѣянно и равнодушно, но тѣмъ не менѣе пересчиталъ всѣ шляпки, стоявшія впереди. Съ клироса видѣть было удобнѣе. Пока не начиналась служба, Ивановскій обернулся раза два, подъ предлогомъ взглянуть на ноты, сказать что-то Жданову, который былъ отъ него дальше другихъ; но служба началась, оставалось пѣть и не оборачиваться.

Лизаветы Дмитріевны не было въ церкви. Ивановскій былъ въ этомъ увѣренъ. Онъ ждалъ; наконецъ онъ становился нетерпѣ-

ливъ. Отъ нетерпѣнія онъ пѣлъ вяло, разсѣянно, безъ силы, безъ выраженія. Регентъ два раза весь покраснѣлъ, взглянувъ на него, и два вторые сопрано, державшіе одинъ табакерку, а другой фуляръ своего повелителя, затрепетали, поднявъ на него свои блѣдныя личики и свѣтлые глазки; одинъ изъ нихъ сбился отъ страха и получилъ камертономъ въ маковку. Но Ивановскій не замѣчалъ ни гнѣва своего начальника, ни страданій невинности: онъ пѣлъ какъ въ просонкахъ и не фальшивилъ только потому, что не зналъ, какъ это дѣлается.

Приходило время концерта. Лизаветы Дмитріевны не было. Регентъ былъ человѣкъ учтивый, онъ уважалъ искусство, уважалъ достоинство своихъ товарищей. Онъ обратился къ Ивановскому почти умильно:

— Алексѣй Алексѣичъ! вы покруче, посильнѣе, какъ давича...

Впрочемъ, удостоивая снисхожденія взрослаго и перваго артиста, регентъ не былъ такъ милостивъ съ другими и въ особенности облегчалъ свое сердце надъ маленькими. Онъ задалъ тонъ — концертъ начался.

«Что-жъ это такое, въ самомъ дѣлѣ», думалъ Ивановскій, взявъ полной грудью четыре ноты, которыми начиналась его партія: «обѣщалась быть и не пришла?.. Для кого-жъ стараться? Значитъ, она говорила одни комплименты только потому, что надо было вниманіе обратить, изъ учтивости... Лучше бы ужъ она ничего не говорила, напрасно не заставляла бы думать Богъ знаетъ что... Имъ все равно, свѣтскимъ дамамъ; а тутъ, когда думаешь всю жизнь...»

— До, соль, фа... все не такъ! прошепталъ регентъ, весь пунцовый, обратясь къ басамъ, которые были ни въ чемъ не виноваты, потому что пропущенныя ноты были не у нихъ, а въ партіи Ивановскаго.

Лампадинъ, въ оправданіе себя, показалъ на него головою. Ивановскій ничего не замѣчалъ, онъ глядѣлъ въ тетрадь, ничего не видя, онъ пѣлъ наобумъ... вдругъ, внизу, въ толпѣ сдѣлалось движеніе. Ивановскій забылся и обернулся совсѣмъ: ему показалось, что мелькнула соломенная шляпка съ кружевнымъ вуалемъ...

Шляпки никакой не было; но великолѣпный пассажъ, въ которомъ регентъ возлагалъ всѣ надежды на Ивановскаго, погибъ невозвратно: Ивановскій пропѣлъ, но пропустилъ ровно пять тактовъ, то есть цѣлую строку...

— Алексѣй Алексѣичъ! что нибудь одно: либо пѣть, либо по сторонамъ смотрѣть! сказалъ регентъ внѣ себя.

Ивановскій опомнился. Онъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на регента, на товарищей, на маленькихъ и сталъ пѣть кротко, послушно, будто маленькій. Вася, спрятавшись подъ десницей регента, едва удерживался отъ хохота. Концертъ справили и допѣли.

— А еще сами просили пѣть! сказалъ регентъ съ упрекомъ Ивановскому.

Регентъ еще волновался, когда они сходили съ крыльца. Всѣ, кромѣ баритона, отправились къ ктитору, Матвѣю Петровичу, поздравлять съ праздникомъ и завтракать.

— Куда ужъ ему съ нами! сказалъ Лампадинъ, глядя, какъ Ивановскій уходилъ, повѣсивъ голову и задумавшись.

Бѣляевъ тоже посмотрѣлъ ему вслѣдъ, только не сказалъ ничего. Онъ подозрѣвалъ, что на душѣ у друга Алеши что-то неладно.

IV.

Лизавета Дмитріевна, конечно, не воображала, какихъ несчастій она была причиною. Уставъ съ вечера, она проснулась поздно. Потомъ къ ней пріѣхалъ чиновникъ и очень долго толковалъ о дѣлѣ по наслѣдству, которое она должна была получить: это утомило ее еще болѣе, такъ что, когда чиновникъ уѣхалъ, Лизавета Дмитріевна съ наслажденіемъ усѣлась на свой диванчикъ, взяла книгу и приказала принимать гостей, кто бы ни пріѣхалъ, чтобъ разсѣяться. Ей вздумалось вознаградить себя чѣмъ нибудь за свою, хотя небольшую, скуку—прихоть, которая случается нерѣдко у людей молодыхъ и впечатлительныхъ.

Впрочемъ, Лизавета Дмитріевна была бы въ правѣ требовать у судьбы бо̀льшихъ вознагражденій за все, что пришлось ей перенести въ свою жизнь. Эта жизнь, то-есть ея лучшая половина, молодость, прошла невесело. Лизаветѣ Дмитріевнѣ было двадцать восемь лѣтъ; изъ нихъ десять она провела замужемъ за человѣкомъ, въ которомъ только и было хорошаго, что любовь къ ней, впрочемъ, тоже довольно странная. Лизавета Дмитріевна была очень молода, очень хороша собою, замѣчена и любима обществомъ, когда Майцовъ пріѣхалъ въ N* и влюбился въ нее безъ памяти. Партія была выгодная. Молодая дѣвушка не любила Майцова, но не любила еще никого, и старуха мать, будто предчувствуя, что недолго проживетъ на свѣтѣ, уговорила ее выйти замужъ. Тотчасъ послѣ свадьбы они уѣхали изъ N*. Майцовъ

былъ уже немолодъ, но образованъ уменьи. Женившись, онъ измучилъ жену своимъ ужаснымъ характерамъ: онъ былъ золъ и вспыльчивъ, дома — деспотъ, на службѣ — то низокъ, то несправедливъ. Лизавета Дмитріевна увидѣла, что ея участь—страдать и краснѣть, и рѣшилась, сколько возможно, облегчить для себя это мученье. Она позволила себѣ вмѣшиваться въ дѣла своего мужа, просить его за другихъ, защищать предъ нимъ тѣхъ, кого онъ притѣснялъ, предупреждать его несправедливости. Ея просьбы, порицанія, совѣты были слишкомъ основательны. Не слушать ихъ значило бы выказаться человѣкомъ не только безъ чувства, но и безъ понятія о нравственности, и тогда торжество жены было бы слишкомъ велико. Майцовъ сталъ лучше скрывать отъ нея свои поступки и распоряженія, а въ томъ, что узнавала жена, уступалъ изъ самолюбія: не мѣшаетъ время отъ времени сдѣлать хорошее дѣло, чтобъ поддержать свою репутацію предъ обществомъ. Изъ того же самолюбія, передъ женою онъ притворялся, будто охотно дѣлаетъ эти уступки, но отмщалъ ей за свое униженіе въ мелочахъ, въ бездѣлицахъ каждаго дня. Онъ оставлялъ на мѣстѣ писаря, за котораго жена и пятеро дѣтей умоляли Лизавету Дмитріевну, но три дня былъ недоволенъ обѣдомъ, и никакія слезы Лизаветы Дмитріевны не спасали повара. Майцовъ зналъ, что она страшно тратитъ деньги, помогая всякой нуждѣ, потому что ея вѣчно сжатая душа требовала отдыха, потому что она презирала средства, которыми были нажиты эти деньги, стыдилась ими пользоваться и, отдавая ихъ бѣднымъ, облегчала свою совѣсть: Майцовъ никогда не спрашивалъ отчета въ этихъ деньгахъ, но самъ безпрестанно, противъ ея воли покупая ей наряды и заставляя ее наряжаться, безпрестанно и обидно упрекалъ ее за то, что она его разоряетъ. Въ обществѣ, гдѣ все окружало ее вниманіемъ, уваженіемъ, восторгомъ, Майцовъ снова влюблялся въ свою жену какъ мальчикъ, не ревновалъ ее, а, напротивъ, желалъ, чтобъ она всегда была такая же и, если можно, еще лучше; дома, убѣжденный, что его презираютъ, ненавидятъ и терпятъ въ обществѣ только за жену, зная, что не въ чемъ упрекнуть ее, чувствуя, что выказать ей свою обиду значило бы унизиться передъ нею, онъ не давалъ ей покоя подъ самыми пустыми и ничтожными предлогами. Онъ съ наслажденіемъ мучилъ страстно любимую женщину, доказывая свою власть надъ ней всякую минуту, чтобъ она не «забывалась» и не «гордилась»...

Для того, чтобъ, вынося семейныя бури, продолжать нравиться, блестѣть въ обществѣ, необходимо много мужества. У Лизаветы Дмитріевны нашлось оно. Мужъ увезъ ее изъ N*, тотчасъ послѣ свадьбы, въ другой губернскій городъ, гдѣ служилъ, и потомъ еще два раза перемѣнилъ мѣсто службы, что нисколько не удивило знавшихъ его: Майцовъ нигдѣ не могъ держаться долго. Для него ничего не значила эта кочевая жизнь: онъ не искалъ пріязни, сближенія; но жена его, постояно окруженная обществомъ, была всегда одинока. Ея умъ, любезность, красота заставляли замѣчать ее, едва она появлялась. Она была такъ искренно добра, что ее любили даже женщины; но у нея не было и не могло быть ни одного близкаго знакомства. Лизавета Дмитріевна чувствовала, что хотя бы давно и коротко знала многихъ изъ своихъ свѣтскихъ знакомыхъ, женщинъ умныхъ и добрыхъ, но ни одной не рѣшилась бы говорить о своемъ положеніи. Въ этомъ чувствѣ было столько же гордости, сколько благородства. Мужъ отнялъ у нея возможность и право имѣть друзей: она не могла никому довѣриться. И къ чему послужили бы эти жалобы, которыя называются откровенностью? Ей было не нужно ничье вмѣшательство; утѣшить ее никто не могъ. Общество видѣло ее спокойную и любезную, и хотя знало, что ея домашняя жизнь должна быть тяжела, но, не слыша признанія, не выражало и участія. Очень горьки и тяжелы были минуты, когда оглядѣвшись кругомъ себя, молодая женщина сознавала, что она одна; но ее поддерживали все то же чувство собственнаго достоинства, которое заставляло ее скрываться, молодость и доброта сердца. Среди непріятностей каждаго дня она успокоивалась тѣмъ, что чувствовала себя правою. Чтобъ разсѣяться, она являлась въ обществѣ. Только тогда поняла она, что ея сердце измучено и убито, когда, встрѣтивъ среди свѣтскихъ удовольствій и успѣховъ истинную, глубокую любовь, не нашла въ себѣ силы отвѣчать на нее. Домашнее горе вытѣснило изъ ея сердца всякое другое чувство; оно разогнало мечты и оставило доступнымъ только одно свѣтское веселье, въ которое можно погрузиться на минуту, чтобъ забыться, и отъ котораго можно бѣжать по произволу...

Но сердце ея не могло быть не занято, не могло не чувствовать. Домашнее горе, которое отняло у нея возможность любви и, мо-

жетъ быть, счастія, въ высшей степени развило въ ней состраданіе къ другимъ. Живя день-за-день, не надѣясь ни на что, терпѣливая и твердая. молодая женщина перестала думать о себѣ, за то не могла спокойно видѣть чужого горя. Ей стало больно за всѣхъ, кто страдалъ и стыдно за всѣхъ кто дѣлалъ зло. Множество печали и зла на свѣтѣ узнала она. Одинъ мужъ ея успѣлъ сдѣлать многихъ несчастными. Она сближалась съ бѣдными, неизвѣстными, незначащими людьми, выслушивала ихъ, помогала имъ, умоляла за нихъ, вынося многое сама. Она узнала всѣ мелкія подробности бѣдности, отношенія этихъ забытыхъ лицъ, ихъ тревоги, ихъ нужды. Изящная женщина узнала порядокъ служебныхъ дѣлъ, темныя стороны этихъ дѣлъ и множество разныхъ исторій, всегда остающихся неизвѣстными для свѣтскихъ женщинъ. Она пріучилась не судить по первому впечатлѣнію, не презирать, не проходить безъ вниманія. Она увидѣла такія личности, узнала такіе характеры, была судьею въ такихъ поступкахъ, существованія которыхъ прежде не подозрѣвала. Она удивлялась деликатности, самоотверженію, благородству, которыя встрѣчала неожиданно. Она полюбила этихъ людей, отдавая цѣлому свѣту избытокъ чувства, котораго не могла употребить для своего собственнаго счастія. Ей стало легче. На балѣ, гдѣ являлась она, никто не зналъ и не подозрѣвалъ, что, можетъ быть, полчаса назадъ, эта веселая и нарядная женщина плакала съ какимъ нибудь бѣднякомъ, лишившимся мѣста, отдавала ему что могла и сводила разсчетъ его копеечнаго хозяйства...

Оставшись вдовою и свободною, Лизавета Дмитріевна поняла, по желанію отдохнуть, которое явилось къ ней, что безпрестанное принужденіе, безпрестанная скрытность чувствъ утомили ее выше силъ. Ей захотѣлось, хотя на нѣсколько времени, отдалиться отъ свѣта; эгоистически, въ первый разъ въ жизни, захотѣлось забыть всякую заботу окружить себя не роскошью, которой не любила, а изящнымъ довольствомъ, покоемъ, котораго не нарушило бы ничто. Многіе не повѣрили бы, что она порадовалась, что мужъ не могъ оставить ей ничего изъ нажитаго состоянія, которое все шло на разныя уплаты и взысканія; но Лизавету Дмитріевну такъ тяготило это состояніе, что, лишаясь его, она радовалась, будто избавлялась отъ вѣчнаго упрека. У нея не было дѣтей: для нея было довольно ея приданаго—небольшой деревни въ N-ской губерніи.

Она съ восхищеніемъ думала, что уѣдетъ на цѣлое лѣто въ эту деревню, гдѣ прожила свое дѣтство, когда получила извѣстіе о смерти какого-то дальняго родственника, вспомнившаго о ней въ своемъ духовномъ завѣщаніи. Лизаветѣ Дмитріевнѣ было необходимо ѣхать въ N*: представились хлопоты, отъ которыхъ избавиться было невозможно, и, вмѣсто деревни, она очутилась въ маленькомъ городскомъ домикѣ, который поторопилась убрать по своему вкусу, чтобъ вознаградить себя за несбывшееся удовольствіе.

Въ N*, гдѣ ее знали, когда она не была еще замужемъ, прежніе знакомые встрѣтили ее такъ привѣтливо, что Лизавета Дмитріевна должна была отказаться отъ плановъ затворничества, которые составляла. Многія знакомства возобновила она даже охотно, а старые знакомые привели новыхъ. Кто разъ побывалъ въ маленькой гостиной Лизаветы Дмитріевны, тотъ спѣшилъ придти опять какъ можно скорѣе. Лизаветѣ Дмитревнѣ вызывались услуживать, старались угождать. Молодая женщина отдыхала душой и оживала; она испытывала тихое, необыкновенно отрадное спокойствіе; ничто не прерывало ея занятій, ничто не тревожило ея ни поступкомъ, ни словомъ; она могла веселиться не торопясь и не заботясь, что дѣлается дома, могла дѣлать и думать что хотѣла: она была свободна.

Въ этотъ день, когда, проводя своихъ гостей, Лизавета Дмитріевна вздумала сѣсть за работу, шаги и голоса подъ окнами обратили на себя ея вниманіе: ученики семинаріи толпой расходились изъ класса. Маленькія дѣти, съ книгами въ узелкахъ или подъ рукой, бѣжали впередъ старшихъ. Лизавета Дмитріевна смотрѣла, улыбаясь, на ихъ озабоченныя, смышленныя, запуганныя или веселыя, худенькія и румяныя личики. У нея не было дѣтей; но, вопреки понятію, что только матери умѣютъ любить ихъ, Лизавета Дмитріевна любила и понимала дѣтство. Глядя на дѣтей, она невольно улыбнулась ихъ рѣзвости, шуму, который, проходя, они подняли, ихъ веселому смѣху; потомъ ей стало жаль ихъ: она привыкла принимать къ сердцу нужды и огорченія всякаго, а бѣдность дѣтей заслуживала еще большаго состраданія. При взглядѣ на нихъ, Лизаветѣ Дмитріевнѣ вспомнились балованныя дѣти—наказаніе гувернеровъ, учащіяся когда имъ угодно, получающія для поощренія конфекты, знающія, что трудиться не зачѣмъ, что они непремѣнно надѣнутъ блестящія эполеты и каску съ султаномъ, что у нихъ есть и бу-

дутъ дорогіе экипажи, дорогая мебель, дорогой столъ, дѣти, уже гордыя, уже презирающія, знающія цѣну всему, уже разборчивыя на удовольствія, дѣти любезники съ маленькими страстями, которымъ улыбаются родители... Вѣдь не умнѣе же они, даже не красивѣе этихъ крошечныхъ мальчиковъ, оставленныхъ учиться на свой произволъ и на милость Божію, едва одѣтыхъ, кто въ старый сюртучекъ, кто въ старый халатикъ, голодныхъ съ утра до самаго жалкаго обѣда, веселыхъ и робкихъ, этихъ дѣтей, которыя принуждены учиться, не смотря ни на здоровье, ни на способности, и которыя, кромѣ того, еще поютъ какъ маленькіе ангелы? Какими прелестными могли бы вырости эти дѣти, еслибъ положить на ихъ воспитаніе хотя половину заботъ, попеченій, денегъ, которыя тратятся на тѣхъ маленькихъ счастливцевъ!.. Какое страшное зло—бѣдность, и сколько его на свѣтѣ! Какъ оно убиваетъ и какъ рано начинаетъ убивать. Такъ и быть, страдали бы большіе, а то дѣти! Хорошо, теперь лѣто—тепло; придетъ зима—бѣдняжки будутъ также бѣгать въ холодный классъ, шалить дорогой, чтобъ согрѣться...

Лизавета Дмитріевна вспомнила, что сказалъ вчера Ивановскій. Она вспомнила о немъ, глядя на старшихъ учениковъ, которые проходили. Она подумала, что эти молодые люди, бывшіе недавно бѣдными дѣтьми, могли бы, по своему образованію, занять въ обществѣ мѣсто лучше того, на которое ставитъ ихъ общество. Даже горничныя говорятъ, что пѣвчій не гость! Лизавета Дмитріевна знала слишкомъ много бѣдныхъ людей: у нея не могло быть предубѣжденій. Она такъ часто скучала въ свѣтѣ разговорами, къ которымъ привыкла, что могла находить скучными разговоры, гдѣ непремѣнно встрѣчалось что нибудь новое для нея, и не столько неизящное, какъ многіе предполагаютъ. Наканунѣ ей не было скучно съ Ивановскимъ; его наивное смущеніе и еще болѣе наивная откровенность тронули ее. Лизавета Дмитріевна знала многихъ молодыхъ людей своего круга, знала, какъ они дѣлаютъ дѣло и какъ лѣнятся, какъ они бываютъ довольны своимъ трудомъ и недовольны всѣми, какъ почти всегда они довольны собою. Она слышала много откровенныхъ словъ и запутанныхъ фразъ, дѣльныхъ сужденій и опрометчивыхъ приговоровъ; въ ея глазахъ многое, начинавшееся, казалось, блистательно, кончилось ничѣмъ, воспитаніе проходило даромъ, стремленія сбивались на какую нибудь странную дорогу, чувство погибало среди развлеченій. Ей случалось отъ души сожалѣть и отъ души досадовать, и если она не выражала неудовольствія, то тѣмъ не менѣе чувствовала его. Лизавета Дмитріевна подумала, что Ивановскій не терялъ ничего въ сравненіи съ этими молодыми людьми. Онъ конфузился; но въ его разговорѣ было что-то порядочное; а робость проходитъ скоро: стоитъ привыкнуть къ обществу. Ивановскій увлекается какъ-то забавно; но въ его лѣта не лучше ли это холоднаго, обдуманнаго равнодушія? Кажется, онъ артистъ, какъ по таланту, такъ и по призванію... Бѣдный молодой человѣкъ!

Лизавета Дмитріевна задумалась и, по привычкѣ людей, незанятыхъ своей собственной дѣйствительностью, принялась строить разные воздушные замки о судьбѣ баритона. Она уже воображала, какъ онъ споетъ знаменитый мейерберовскій хоралъ, когда разсмѣялась сама своимъ выдумкамъ.

«Нечего мнѣ дѣлать!» сказала она: «недоставало только мнѣ взяться устроивать семинариста...»

Ивановскій очень помнилъ о ней. Вечеръ, проведенный въ обществѣ женщины порядочнаго круга, сдѣлалъ на него сильное впечатлѣніе. Ивановскій былъ такъ радъ, такъ счастливъ въ то прекрасное утро послѣ грозы — и вдругъ такъ скоро, такъ жестоко кончились всѣ его радости! Невниманіе Лизаветы Дмитріевны, забывшей придти его слушать, поразило разомъ всѣ его надежды: Ивановскій вообразилъ уже, что чего-то надѣялся. На словахъ его захвалили — на дѣлѣ ему доказали, что надъ нимъ смѣялись... Что за важность посмѣяться надъ семинаристомъ? Только на то и годны семинаристы. Перейти отъ одной горькой мысли къ другой, еще болѣе горькой, очень легко, и эта мысль была такъ давно признана за истинную, подкрѣплялась стольkими примѣрами, что Ивановскій нисколько не затруднился на ней остановиться. Если свѣтская дама не хохотала надъ его неловкостью въ глаза, то потому только, что умные люди никому въ глаза не хохочутъ; она его просто презирала, какъ презираютъ эти дамы все, что стоитъ ниже ихъ... И онъ самъ уменъ: вообразилъ, что она занялась имъ въ самомъ дѣлѣ!.. Ивановскому было совѣстно взглянуть на своихъ товарищей, которые видѣли его досаду, хотя не могли отгадать ея причины; онъ зналъ, что ему не было бы житья отъ Лампадина, еслибъ тотъ догадался. И безъ того этотъ соперникъ, незнав-

шій, какъ дождаться, чтобъ Ивановскій кончилъ курсъ, оставилъ хоръ и уступилъ ему первое мѣсто на клиросѣ, преслѣдовалъ Ивановскаго намеками, часто нечаянно попадавшими въ самую цѣль. Онъ, напримѣръ, говорилъ регенту, муча и его заодно съ баритономъ:

— Счастье наше, Ѳедоръ Михайлычъ, что немного было аристократовъ, какъ мы концертъ спутали!

Лампадинъ великодушно говорилъ мы, хотя всѣ знали, что всѣ были правы; но другіе не оправдывались, боясь регента и не желая обидѣть Ивановскаго, а самъ виноватый молчалъ, чтобъ не дать шуткамъ Лампадина зайти еще дальше и, можетъ быть, попасть на настоящую дорогу. Ивановскаго мучило и то, что онъ спѣлъ дурно: ему было ужасно стыдно; но его брала такая злость, что онъ говорилъ себѣ, что не стоитъ пѣть хорошо, что будущій разъ онъ еще нарочно сфальшивитъ и всѣхъ собьетъ, и сдѣлаетъ это при большой публикѣ. Кому отъ этого будетъ легче, Ивановскій не разбиралъ... Вечеромъ регентъ, одѣтый какъ куколка, намѣревался отправиться въ одинъ домъ, гдѣ ему бывало особенно пріятно, гдѣ даже какъ предполагали товарищи, начиналась у него сильная сердечная привязанность; другіе расходились тоже, кто гулять, кто въ гости; неразлучные Маргаритинъ и Пустынскій, пересчитавъ свои капиталы, пошли дѣлать какія-то покупки. Лампадинъ, уходя къ родителямъ, спросилъ Ивановскаго, не пойдетъ ли онъ пить чай туда же, гдѣ былъ вчера.

— Намъ кстати по дорогѣ, и меня бы представили, Алексѣй Алексѣичъ! Она дама такая милая, обходительная...

Ивановскій сказалъ ему, чтобъ онъ убирался, и эта новая досада отняла у него охоту какъ нибудь разнообразнѣе провести свой вечеръ. Бѣляевъ; который убѣждалъ своего милаго Алешу разсѣяться и предлагалъ развлеченія, получилъ въ отвѣтъ одно: «отвяжись!» и ушелъ, не дождавшись ничего болѣе. Ивановскій былъ такъ скученъ, что не пошелъ даже сидѣть на загородку. Онъ гулялъ по опустѣлому дортуару; а въ уголку, у окна, на которомъ стояло маленькое лимонное деревцо, предметъ постоянныхъ попеченій Никольскаго, Никольскій писалъ стихи, вдохновляясь яркими лучами заката и голубыми небесами. Ивановскій соскучился отъ бездѣлья и вздумалъ читать. На его столикѣ лежала тетрадь; но, едва взявъ ее, онъ съ сердцемъ бросилъ ее объ полъ: это былъ «Евгеній Онѣгинъ». Ивановскій легъ и отвернулся къ стѣнѣ: ему хотѣлось хоть заснуть; между тѣмъ какъ Никольскій, кончивъ свою поэтическую работу, тихонько, тоненькимъ теноркомъ пѣлъ романсъ, акомпанируя себѣ на гитарѣ. Въ другомъ расположеніи духа, Ивановскій непремѣнно сталъ бы ему вторить и попросилъ бы прочесть его произведеніе: онъ очень уважалъ Никольскаго за его талантъ и любилъ толковать съ нимъ о поэзіи. Никольскій пользовался общимъ уваженіемъ, хотя былъ еще очень молодъ и только въ прошломъ году поступилъ въ классъ философіи; но люди, безпрестанно разсуждающіе о высокихъ качествахъ души, высоко цѣнятъ ихъ, когда встрѣчаютъ въ дѣйствительности. Въ Никольскомъ были всѣ начала хорошаго человѣка, разумѣется, выказывавшіяся по-дѣтски, въ мелочахъ, немного восторженно. Онъ былъ прилеженъ такъ, что блѣднѣлъ надъ книгами столько же отъ горячей любви къ наукѣ, сколько для будущности своей семьи, которой, неизвѣстно какимъ образомъ, умѣлъ онъ отдѣлять отъ своего избытка и пересылать все, что могъ. Съ нимъ были почтительны даже самые отчаянные шалуны, хотя никто не зналъ, какъ сердится Никольскій. Онъ былъ помощникомъ регента и училъ пѣть маленькихъ пѣвчихъ, которые не боялись его нисколько и любили какъ старшаго брата. Въ среднемъ отдѣленіи семинаріи, философіи, издавался еженедѣльный журналъ: Никольскій былъ самымъ усерднымъ сотрудникомъ и всякую субботу отправлялся слушать чтеніе статей въ редакціи, помѣщавшейся въ дортуарѣ семинаріи. Въ этотъ вечеръ, дописавъ свое стихотвореніе, назначенное въ субботній нумеръ, онъ охотно прочелъ бы его Ивановскому, котораго считалъ хорошимъ судьею; но Ивановскій былъ такъ замѣтно не въ духѣ, что лучше было его не безпокоить. Два товарища проводили вечеръ молча, одинъ въ своемъ углу, другой—на своей постели, пока стемнѣло, возвратились остальные и отецъ Ааронъ велѣлъ звать ужинать.

Ивановскій былъ расположенъ начать свой слѣдующій день такъ же, какъ кончилъ вчерашній; товарищи, слушающіе курсъ, ушли въ классъ; регентъ переписывалъ ноты; Маргаритинъ и Пустынскій—люди свободные, потому что выпущенные—были особенно озабочены и толковали объ обновкахъ, которыя накупили. Портной предлагалъ имъ сдѣлать изъ ихъ сукна визитки или пальто пальмерстонъ. Имъ сильно хотѣлось

послѣдняго; но они не рѣшались, потому что еще недавно досталось одному товарищу за англійскій проборъ.

Упорная мрачность Маргаритина иногда приводила въ отчаяніе товарищей его. Это былъ бы самый молчаливый семинаристъ, когда либо воспитывавшійся въ бурсѣ, еслибъ другъ его, Пустынскій, не былъ еще мрачнѣе. Что заставляло ихъ молчать—неизвѣстно. Оба были не бѣдны: кончивъ курсъ, остались въ пѣвчихъ, что довольно выгодно, и никто не замѣчалъ, чтобъ у нихъ бывали какія нибудь особенныя причины печалиться. Ссориться они ни съ кѣмъ не ссорились, потому что никого не трогали и, въ свою очередь, ихъ никто не трогалъ. Они были очень добры и кротки, но такъ грозны съ вида, что маленькіе сопрано, которые не боялись шалить при регентѣ, не дерзали возвести очей на Маргаритина и его друга. Они были услужливы и готовы принять участіе въ бѣдахъ товарищей, но всегда дѣлали это безмолвно: должно быть, души ихъ понимали одна другую съ полуслова; даже между собою они рѣдко вели долгую бесѣду, и тогда эта бесѣда слышалась какъ глухой гулъ въ углу дортуара, куда обыкновенно удалялись друзья. О чемъ шла рѣчь—никогда никто не зналъ. Можно было замѣтить, что въ этой дружбѣ Маргаритину принадлежалъ нравственный перевѣсъ, которому Пустынскій подчинялся совершенно, какъ человѣкъ, уже окончательно отрѣшившійся отъ всякихъ волненій. Невозможно было сомнѣваться, что въ обоихъ было развито эстетическое чувство; оба пѣли прелестно. Регентъ признавалъ голосъ Маргаритина лучшимъ въ хорѣ послѣ голоса Ивановскаго, находя, что онъ поетъ съ толкомъ, какъ артистъ. Судя потому, что Маргаритинъ всегда приходилъ слушать, когда читали вслухъ, и часто сидѣлъ за книгою, можно было заключить, что это занятіе ему нравится; но онъ не выражалъ и этого. Товарищи начали предполагать, что Маргаритинъ влюбленъ; но случилось обстоятельство, которое опровергло и эти догадки. Однажды Ивановскій, по обыкновенію, лежа читалъ вслухъ между разными стихотвореніями, списанными въ тетрадку, извѣстную балладу: «Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный» Дойдя до стиховъ:

И изъ женщинъ ни съ одною
Молвить слова не хотѣлъ,

Ивановскій сошкольничалъ и, расхохотавшись, вскричалъ: «Маргаритинъ, это на тебя похоже!» Товарищи такъ и ожидали, что это заставитъ Маргаритина высказать тайну своей души, если была тайна; но Маргаритинъ хладнокровно наградилъ Ивановскаго эпитетомъ «безумной головы» и, не сказавъ ничего болѣе, остался спокоенъ попрежнему. Всѣ предположенія были сбиты однимъ разомъ. Маргаритинъ былъ не робокъ и не избѣгалъ общества (неизвѣстно, на что оно было ему нужно при его вѣчномъ молчаніи), но выбиралъ себѣ общество по своему вкусу, не знакомясь съ знакомыми товарищей. Очевидно, онъ искалъ чего-то скромнаго, солиднаго, патріархальнаго и потому удалялся отъ семействъ, гдѣ были молодыя женщины и дѣвушки. Знали, что онъ посѣщалъ домъ полицейскаго стряпчаго, весьма угрюмаго, бездѣтнаго старика, съ такой же угрюмой женою. Въ темные вечера, въ этомъ обществѣ, въ самомъ чинномъ безмолвіи, выпивался цѣлый самоваръ, и болѣе никогда ничѣмъ не занимались. Былъ у Маргаритина еще другъ, архиваріусъ, старый холостякъ, къ которому Маргаритинъ ходилъ часто и иногда приводилъ съ собой Пустынскаго. Старикъ, проведя весь день въ безмолвномъ созерцаніи связокъ съ дѣлами, разсказывалъ кое-что объ этихъ дѣлахъ. Маргаритинъ слушалъ, а Пустынскій курилъ трубку, и вечеръ проходилъ назидательно. Вѣроятно, эти разсказы служили для нихъ предметомъ бесѣдъ, и случалось, хотя весьма рѣдко, что друзья тихонько посмѣивались между собою... Эти два молодые человѣка были вѣчной и очень интересной загадкой для регента, который за недосугомъ отказывался разбирать ее; но Ивановскій и Бѣляевъ часто, глядя на нихъ, хохотали какъ сумасшедшіе.

Въ настоящее время Ивановскій почувствовалъ къ Маргаритину необыкновенное влеченіе, даже уваженіе, потому что Маргаритинъ былъ крестовый братъ Лизаветы Дмитріевны. Онъ старался поддержать его доброе расположеніе къ себѣ всѣми возможными услугами, совѣтами о визиткѣ и пальмерстонѣ, и не только не смѣялся больше дикости этого молодого человѣка, но не понималъ, чему находятъ смѣяться Бѣляевъ, Лампадинъ и другіе вѣтренники. Онъ заговорилъ съ нимъ о Лизаветѣ Дмитріевнѣ. Маргаритинъ сказалъ, что Лизавета Дмитріевна писала батенькѣ письмо объ устройствѣ сельской школы у себя въ деревнѣ; но, сказавъ однажды и повторивъ два раза, что было письмо, Маргаритинъ ничего больше не прибавилъ и наконецъ соскучился. Ивановскій соскучился тоже и оставилъ его.

Въ послѣднее время Ивановскій рѣдко

ходилъ въ классы, потому остался и теперь, взявъ одну изъ книгъ Никольскаго — разрозненный томъ какого-то журнала сороковыхъ годовъ, и сѣлъ читать. Тамъ была статья объ «Онѣгинѣ». Ивановскій принялся за нее съ какимъ-то страннымъ чувствомъ, съ досадой, съ грустью, съ волненіемъ и, увлекаясь ею, читалъ такъ внимательно, какъ, можетъ быть, не читалъ еще никогда.

«Что-жъ изъ этого?» подумалъ онъ, принужденный прервать свое чтеніе, потому что продолженія статьи не было: «все это писано не для насъ, семинаристовъ. Намъ такъ не жить: къ чему намъ это и понимать?»

Регентъ, уставъ отъ занятія, спросилъ, что онъ читаетъ. Ивановскій сказалъ, что читалъ о разныхъ столичныхъ увеселеніяхъ. Регентъ зналъ ихъ отчасти, потому что былъ въ Петербургѣ. Онъ всегда увлекался своими воспоминаніями и не могъ безъ восторга говорить объ итальянскихъ пѣвцахъ, которыхъ слышалъ нѣсколько разъ. Начавъ о нихъ, онъ долго не кончалъ, и хотя путалъ немного, но своими разсказами производилъ сильное впечатлѣніе на слушателей. Онъ особенно любилъ разсказывать Ивановскому, въ которомъ находилъ сочувствіе самое полное. Въ это утро онъ окончательно разстроилъ бѣднаго баритона: ему вздумалось, чтобъ объясниться понятнѣе, сравнивать, для примѣра, чей-то голосъ съ голосомъ Ивановскаго, прибавляя къ этому.

— Только у васъ голосъ свѣжѣе: вы молоды.

Ивановскій не зналъ, что дѣлать отъ тоски. Былъ его товарищъ, и хорошій товарищъ, къ которому онъ могъ бы обратиться: басъ Троицкій, котораго въ хорѣ звали «дѣдушкой», потому что онъ былъ старше всѣхъ: ему было двадцать пять лѣтъ. Троицкій вышелъ изъ семинаріи, не кончивъ курса — «исключился», какъ говорятъ семинаристы, чтобъ выразиться учтивѣе о тѣхъ, кто бросаетъ ученье. Но Троицкій, одинъ изъ лучшихъ учениковъ, исключился для того, чтобъ уступить мѣсто въ классахъ своему меньшему брату: по разнымъ обстоятельствамъ, оба брата не могли оставаться въ семинаріи; долженъ былъ выйти тотъ или другой: Троицкій пожертвовалъ собой. Онъ остался ни при чемъ: безъ пристанища и безъ права на мѣсто. Онъ добровольно взялъ на себя весь стыдъ, который, въ понятіяхъ его круга, связывается съ положеніемъ исключеннаго. Тамъ не разбираютъ тонкостей: исключенъ — стало быть того стоилъ; исключенъ—значитъ, лѣнивецъ или негодяй. Старшіе презираютъ, товарищи, при случаѣ, въ ссорѣ, упрекаютъ. Одно названіе «исключенный» такъ тяготитъ и лишаетъ бодрости, что многіе молодые люди попадаютъ на дурную дорогу, портятся окончательно именно потому, что исключены и съ тоски бросаются на все: доброе имя погибло—больше беречь нечего... Троицкій, къ счастію и къ чести своего характера, вынесъ свою бѣду не потерявшись, хотя было отъ чего потеряться. Отецъ, котораго онъ обожалъ и который понялъ бы его, умеръ. Старшіе братья были всѣ устроены; идти жить къ нимъ было невозможно и, главное, совѣстно. Но жить было рѣшительно нечѣмъ: исключеннаго не принимали на службу, не брали въ дома давать уроки. Троицкій нанимался пѣть съ дьячками въ приходскихъ церквахъ, пока архіерейскій регентъ, услышавъ его, не замѣтилъ его прекраснаго голоса и не взялъ его въ хоръ. Троицкій пѣлъ тамъ четыре года. Онъ жилъ во флигелѣ, съ пѣвчими, но занималъ одинъ особую, очень тѣсную и холодную каморку, прямо съ лѣстницы, потому что въ общемъ дортуарѣ ему не было мѣста. Троицкій былъ доволенъ этимъ уединеніемъ. Онъ рѣдко приходилъ къ товарищамъ поболтать, посмѣяться: большею частію онъ запирался у себя, читалъ, если что случалось, спалъ иногда болѣе половины дня, потому что нечѣмъ больше было заняться; рисовалъ очень недурно, но всѣ его рисунки летѣли въ печь, такъ же, какъ листки стихотвореній, которыя Троицкій очень рѣдко довѣрялъ товарищамъ. Это были посланія къ нимъ, воспоминанія прошедшаго: молодость всегда вспоминаетъ прошедшее. Для товарищей эти произведенія не имѣли никакой цѣны и были, просто, шуткой; никто, и самъ Троицкій, не признавалъ въ нихъ никакого достоинства, хотя были достоинства неоспоримыя — задушевность, отсутствіе претензій, что-то доброе и благородно-трогательное... Стихотворенія выражали автора. Троицкій рѣдко бывалъ шумно, особенно веселъ: горе и нужда его какъ будто надломили: исключенный считалъ себя уничтоженнымъ и покорялся. Это былъ ровный, благоразумно терпѣливый характеръ, снисходительный къ другимъ и сосредоточенный. Можно было догадаться, что у него бывало тяжело на душѣ; но онъ никогда не высказывался — не отъ скрытности, а оттого, какъ онъ однажды сказалъ Иванов-

скому, что это ни къ чему не поведетъ, а только хуже взволнуетъ. Было ясно, что эта душа хочетъ покоя, отдыха, тишины, ничего больше. Въ теченіе этихъ четырехъ лѣтъ ему представлялись случаи устроиться лучше: его предлагали перевести въ одинъ изъ столичныхъ хоровъ; регентъ и его знакомые набивали ему голову, толкуя о его талантѣ. Троицкій слушалъ, не вѣрилъ и отъ всего отказывался. Это была не лѣнь, а усталость... можетъ быть, непонятная для людей, которые жизнью называютъ только приключенія и перемѣщенія съ мѣста на мѣсто..

Ивановскій подумалъ было разсказать свою тоску Троицкому, который, по обыкновенію, сидѣлъ запершись у себя, но не рѣшался. Ивановскій предчувствовалъ, что отъ разговора ему будетъ еще тяжелѣе, что его тоска такого рода, что лучше о ней не раздумываться... День прошелъ однообразно, какъ всегда. Товарищи были веселы, шутили по обыкновенію. Ивановскій не понималъ, отчего имъ весело. На другое утро, съ горя, онъ пошелъ въ классъ. Занятіе немного успокоило его; а возвращаясь домой, онъ подумалъ, что можно, хотя это будетъ дальше, пройти другой дорогой мимо дома Лизаветы Дмитріевны. Ивановскому ужасно хотѣлось заглянуть въ ея окна. Онъ рѣшился и исполнилъ это; но сторы были спущены. Ивановскій сдѣлался необыкновенно прилеженъ и принялся всякій день, даже по два раза, посѣщать классы; но напрасно: сторы были вѣчно спущены. Онъ не зналъ, впрочемъ, что бы онъ сдѣлалъ, еслибъ онѣ были подняты и Лизавета Дмитріевна показалась у окна.

Это случилось совсѣмъ неожиданно для Ивановскаго, на пятый день его прилежанія, когда онъ шелъ, по привычкѣ, опустя голову и отъ досады, твердо рѣшась не оглядываться. Но этой рѣшимости помѣшалъ теноръ Евфратовъ, юноша, чрезвычайно невзрачный, особенно недальновидный и простодушный, умѣвшій всегда мѣшать своей услугой и попадаться гдѣ только представлялась возможность. Товарищи, какъ люди, по убѣжденію, отрицающіе слѣпую судьбу и признающіе въ поступкахъ человѣка его собственный произволъ, почти жестоко преслѣдовали Евфратова за его злополучія, и онъ избралъ себѣ въ покровители Ивановскаго, которому еще не успѣлъ досадить. Поэтому онъ и поспѣшилъ пріютиться къ чему, выходя изъ класса.

— Алексѣй Алексѣичъ! сказалъ онъ: — должно быть, эта барыня, что вы провожали, здѣсь живетъ: вотъ она подъ окошкомъ.

Ивановскій быстро поднялъ голову и покраснѣлъ, какъ зарево. Его рука поднялась было къ фуражкѣ; ему хотѣлось подойти, сказать... но онъ не исполнилъ ничего этого, даже поклона, и въ какомъ-то испугѣ пошелъ скорѣе. Онъ былъ радъ, что съ нимъ одинъ Евфратовъ и что некому подшутить надъ нимъ, какъ онъ самъ шутилъ надъ Маргаритинымъ, почему онъ не кланяется знакомымъ... Онъ рѣшился—какъ ни тяжело почему-то казалось ему рѣшиться — не ходить больше по этой улицѣ, выкинуть вовсе изъ памяти эту встрѣчу и, главное, слова своей гордой знакомки. Онъ сообразилъ, что товарищи въ правѣ смѣяться надъ его разсѣянностью и скукой; а многіе почтенные люди, и въ числѣ ихъ его отецъ, еслибъ Ивановскій вздумалъ признаться имъ, сказали бы, что онъ слишкомъ много возмечталъ о себѣ...

«Ничѣмъ не будешь», подумалъ онъ: «надо хоть прожить весело, пока есть время!..»

И потому, придя домой, Ивановскій шутилъ, школьничалъ, пѣлъ, чтобъ развеселиться насильно. Никто лучше его не умѣлъ одушевить своего кружка; веселость Ивановскаго, хотя бы и притворная, казалась всегда откровенной: въ ней было столько беззаботности и какой-то отваги, что она увлекала невольно. Благодаря ему, товарищи не скучали; а вечеромъ Бѣляевъ, очень довольный, что грусть Ивановскаго, наконецъ, разсѣялась, увелъ его въ гости къ своей сестрѣ, женѣ молодого соборнаго дьякона, который былъ въ этотъ день именинникъ.

V.

Общество собралось тамъ въ двухъ очень небольшихъ комнатахъ. Въ первой были мужчины: три чиновника, гарнизонный офицеръ, нанимавшій у хозяина половину дома, два профессора семинаріи, удостоившіе посѣтить именинника, бывшаго ихъ ученика; между сюртуками мелькали шелковыя рясы священниковъ. Всѣ сидѣли рядомъ на стульяхъ, разставленныхъ вокругъ стѣнъ, и пили чай. Хозяинъ, красивый молодой человѣкъ, съ длинными черными волосами, очень высокій, казавшійся еще выше отъ длинной синей рясы и отъ того, что одна его стоящая фигура возвышалась среди залы, обходилъ гостей съ привѣтствіемъ и приглашеніемъ кушать. Онъ не смѣлъ заводить разговора: эти гости сдѣлали ему честь тѣмъ, что пришли, и онъ былъ меньшимъ въ ихъ обще-

ствѣ. Впрочемъ, онъ скорѣе нѣсколько стѣснялся, нежели робѣлъ. Гости разговаривали о политикѣ и военныхъ дѣйствіяхъ, причемъ духовныя лица (и въ томъ числѣ профессоры) оказывали большее уваженіе къ мнѣніямъ офицера, которое чиновники опровергали довольно насмѣшливо. Говорили шумно и не очень послѣдовательно. Самые кроткіе люди предлагали самыя жестокія мѣры; профессоръ приводилъ примѣры древней исторіи; одинъ изъ чиновниковъ, основываясь на этихъ примѣрахъ, неизвѣстно къ чему, доказывалъ офицеру, что наука не нужна; другой, напротивъ, выхваляя современную науку, въ которой онъ путалъ все, даже названія, съ помощью ея распоряжался судьбами народовъ необыкновенно быстро, производилъ такіе перевороты и творилъ такія чудеса храбрости, что одного изъ нихъ было бы довольно для увѣковѣченія его памяти. Это могло продолжаться долго, еслибъ третій чиновникъ не напомнилъ, что гораздо лучше самимъ выступить на бранное поле — сыграть партійку, чему былъ очень радъ хозяинъ, не знавшій, чѣмъ занять гостей по ихъ вкусу. Въ углу залы поставили столъ, и свѣтскіе гости усѣлись за него; а духовныя лица перешли въ другую комнату.

Тамъ были дамы. Толстая чиновница, одѣтая очень дорого и со вкусомъ, сидѣла на главномъ мѣстѣ, на диванѣ, и съ сосредоточеннымъ видомъ молчала постоянно, только благодаря угощавшую ея хозяйку и вовсе не замѣчая блѣдной и худой постоялицы — офицерши, которую посадили рядомъ съ нею, хотя офицерша долго отказывалась отъ этой чести, и, сѣвъ, наконецъ, тоже принялась молчать. Двѣ попадьи и дьяконица, гостьи уже пожилыя, разговаривали между собою и очень занимались дѣтьми хозяина, которыхъ было такъ много, и всѣ такъ малы и до того похожи одинъ на другого, что ихъ приходилось различать по цвѣту ихъ рубашонокъ. Хозяйкѣ, молодой и хорошенькой женщинѣ, было некогда оставаться съ гостями: она суетилась, выходя распоряжаться, и возвращалась подчивать ихъ то чаемъ, то виномъ, то пирогомъ, то миндальными орѣхами. Гостямъ была предоставлена полная свобода заниматься другъ другомъ. Всѣ они сидѣли чинно и неподвижно, кромѣ одной, немолодой и очень некрасивой свѣтской кумы хозяина. Эта особа была не поповна и не чиновница, а настоящая дворянка, что она хорошо помнила и давала понять. Она когда-то ѣзжала въ свѣтъ, имѣла большое и порядочное знакомство, но подъ старость соскучилась—а можетъ быть у нея недостало средствъ—и отдалилась. Свѣтъ забывалъ ее, и она утѣшалась, полюбивъ общество духовныхъ лицъ. Тамъ приняли ее съ большимъ уваженіемъ: она какъ будто дѣлала честь своимъ сближеніемъ. У нея было состояніе, и она жила удобно, одна, очень много говорила о добродѣтели и позволяла прославлять свои добродѣтели; она захватила нѣкоторыя права, поощряла, покровительствовала, принимала искренно къ сердцу все, что касалось духовныхъ лицъ, знала все и всѣхъ, интересовалась даже звонарями заштатныхъ монастырей, подавала совѣты, наблюдала за нравственностью, раздавала мѣста и сама въ этомъ обществѣ занимала первое мѣсто. Тутъ не обходилось безъ конкуренціи съ аристократками другихъ приходовъ; но Варвара Сергѣевна, послѣ маленькихъ назидательныхъ пикировокъ, умѣла такъ низлагать своихъ совмѣстницъ, что онѣ больше не осмѣливались состязаться съ нею. Она блистала остроуміемъ, умѣла говорить любезно о предметахъ, казалось бы, нисколько не наводящихъ на любезность, шутила легко и тонко, хотя довольно смѣло, и другимъ не позволяла подобныхъ шутокъ. Она бывала приглашаема на всѣ праздники священниковъ и дьяконовъ всѣхъ N-скихъ приходовъ, не отказывалась никогда и являлась привѣтливая и говорливая, но никогда не давая забыть, кто она. Въ ея обращеніи было что-то особенно мягкое, но нелишенное достоинства; она выражалась немного свысока, впрочемъ, изысканно и снисходительно. Въ этотъ вечеръ она отличалась изысканностью наряда, моднаго и легкаго, «по сезону», тогда какъ другія гостьи облеклись въ шелкъ и даже въ шерсть. На ней развѣвалось множество кружевъ; съ плечъ ея скользила черная прозрачная косынка, на которую она и указала хозяину, хозяйкѣ, гостямъ, профессорамъ, объясняя, что надѣла на именины черное, потому что не имѣетъ предразсудка. Видя недосугъ хозяйки, она какъ будто приняла на себя обязанность оживить общество, показала свою бирюзовую брошку своему маленькому крестнику и, когда онъ потянулся за нею, успокоила его миндальнымъ орѣхомъ. Она сказала два симпатическія средства отъ лихорадки дьяконицѣ, освѣдомилась о сынѣ одной попадьи, недавно посвященномъ въ какое-то село, и объяснила подробно другой попадьѣ, сколько нужно аршинъ гро-де-напля на платье ея дочери-невѣстѣ. Чиновницѣ она нѣсколько наставительно истолковала значе-

ніе одного крестнаго хода, даже, увлекаясь, нѣсколько поспорила и призвала на рѣшеніе спора одного изъ профессоровъ, входившаго въ это время въ комнату. Совершенно развязно, какъ особа свѣтская, сѣла она подлѣ профессора, выражая улыбкой, что рада его приходу, потому что онъ можетъ вознаградить ее за утомленіе, испытанное ею въ обществѣ, которое ее не понимало, и продолжала разговоръ о начатомъ предметѣ. Она много дѣлала комплиментовъ учености своихъ собесѣдниковъ, духовныхъ лицъ, перешедшихъ изъ залы, но въ то же время выговаривала и свои мнѣнія съ увѣренностью и нѣкоторымъ сознаніемъ своего превосходства. Занимательный разговоръ не помѣшалъ ей замѣтить Бѣляева и Ивановскаго, которые вошли и, поклонившись, стали у двери (сѣсть въ комнатѣ не было уже мѣста). Съ той минуты, какъ ее окружили профессора, гостья покойно погрузилась въ кресло и говорила о заблужденіяхъ разсудка и сердца, еще болѣе о невольныхъ увлеченіяхъ сердца; опустивъ глаза, улыбаясь и играя бахромой своей косынки, она какъ будто владычествовала и женственно радовалась этому. Это выражалось на ея лицѣ; а такъ какъ почти во всякомъ удовольствіи проявляется эгоизмъ, то ей не было больше дѣла до остальнаго общества, скучали ли тамъ, или были веселы. Она была окружена людьми, которые знали цѣну ея уму и достоинствамъ, и нисколько не затруднялась тѣмъ, что обращала на себя вниманіе другихъ женщинъ, которыя были такъ пусты и необразованы.

У окна чинно сидѣли двѣ дѣвушки: меньшая сестра Бѣляева и хозяйки, и ея подруга, молоденькая, полненькая, розовая. Онѣ говорили только одна съ другою, но съ одушевленіемъ, отчего было очень пріятно смотрѣть на нихъ, и молодымъ людямъ очень хотѣлось подойти къ нимъ, еслибъ это было принято въ ихъ обществѣ; но Бѣляевъ сказалъ только два слова съ сестрою и не смѣлъ подвести Ивановскаго, на котораго обѣ онѣ, какъ дѣвицы благовоспитанныя, взглянули только разъ, и то украдкой.

— Что это, Машенька, какія мы съ вами несчастныя! сказала подруга сестрѣ хозяйки: — вотъ мы въ гостяхъ, а все равно, какъ дома: сидишь, и не смѣй ни на кого взглянуть.

— Правда ваша, Оленька! Вотъ Варвара Сергѣевна, посмотрите, какъ свободно себя держитъ: съ кѣмъ хочетъ говоритъ...

Хозяинъ въ эту минуту «просилъ гостей закускою», и собесѣдники Варвары Сергѣевны, довольно безцеремонно оставивъ ее, перешли въ залу. Въ ожиданіи ихъ, Варвара Сергѣевна сдѣлала Бѣляеву знакъ подойти къ ней, что онъ не вдругъ догадался исполнить.

— А мы все молчи да молчи, Машенька, продолжала подруга: — такъ никто не узнаетъ, есть ли у насъ умъ, есть ли у насъ душа. Посмотрите: Варвара Сергѣевна... конечно, она лучше нашего воспитана, она благородная; да вѣдь она уже не молода...

— Хоть бы она сѣла поближе: послушали бы, что она говоритъ... Ахъ, она съ Ивановскимъ заговорила!

— На что они ей нужны, Машенька, сказала, смѣясь, ея подруга: — братецъ вашъ или Алексѣй Алексѣичъ? Вѣдь это, кажется, наши бы съ вами кавалеры. Ивановскій какой хорошенькій! прибавила она шопотомъ.

— Ахъ, не говорите! онъ изъ третьяго разряда! возразила Машенька съ ужасомъ и еще понижая голосъ. — Ихъ инспекторъ сказывалъ папенькѣ: Ивановскій прежде шелъ все хорошо, а теперь уже такъ залѣнился. Какой шалунъ, говорятъ. Его отецъ такъ на него сердится, такъ его бранитъ... Не знаю, зачѣмъ его братецъ привелъ.

Оленька не возражала, но посмотрѣла на баритона, и ея строгая подруга не удержалась отъ того же, между тѣмъ какъ Варвара Сергѣевна расточала предъ нимъ свою любезность.

— Кто съ вами этотъ молодой человѣкъ? спросила она, подозвавъ Бѣляева.

— Товарищъ, нашъ первый баритонъ.

— Очень интересенъ. Какъ его фамилія?

— Ивановскій.

Варвара Сергѣевна дожидала полнѣйшаго отвѣта.

— Алексѣй Алексѣичъ, договорилъ Бѣляевъ: — успенскаго священника сынъ.

Варвара Сергѣевна давно это знала, потому что знала все, но еще никогда не говорила съ Ивановскимъ и воспользовалась этимъ случаемъ познакомиться ближе. Она встала, будто уставъ сидѣть, сдѣлала нѣсколько шаговъ по комнатѣ и, будто желая пройти въ залу, направилась къ двери, у которой стоялъ Ивановскій. Онъ хотѣлъ ей дать дорогу; она остановилась.

— Что, молодой человѣкъ, сказала она неожиданно и любезно обращаясь къ нему: — вамъ, я думаю, скучно, вамъ нельзя развернуться?.. Вы стѣсняетесь, конфузи-

тесь въ присутствіи вашихъ начальниковъ; вы еще воображаете себя какъ будто въ классѣ...

— Что вамъ угодно? спросилъ Ивановскій своими грудными нотами, не понимая ея совершенно.

— Конечно, хотя я уже въ такихъ лѣтахъ, но умѣю понимать молодыхъ людей. Наша обязанность ободрить, такъ сказать, приласкать, продолжала она съ граціознымъ жестомъ руки, къ которому пріучилась, чтобъ чаще выказывать свою красивую руку: — меня такъ заинтересовала ваша наружность... вы только вступаете на свѣтское поприще... но, при вашихъ способностяхъ, можете быть увѣрены, что для васъ всѣ двери открыты... Я понимаю, что для васъ должно быть неловко: самый разговоръ... Конечно, для васъ должны быть священны попеченія вашихъ начальниковъ; но я не изъ такихъ особъ, которыя не умѣютъ цѣнить по достоинству, и всегда готова отдать справедливость...

Профессоръ возвратился изъ залы. Онъ ѣлъ корочку хлѣба съ икрой и явился какъ разъ въ дверяхъ между Ивановскимъ и Варварой Сергѣевной.

— О чемъ это вы съ нимъ толкуете? сказалъ онъ:—малый-то, какъ говорится, весь сгорѣлъ. И, Господи! какія вы добрыя! тотчасъ вниманіе обратите. Ужъ вы его какъ возвысили-то, возвеличили, что заговорили съ нимъ! Вѣдь они этого не смыслятъ, ей-ей! Ужъ вы имъ простите, если они что не такъ, не красно выражаются...

— Напротивъ, возразила Варвара Сергѣевна съ одобрительной улыбкой: — я просто нашла удовольствіе въ разговорѣ этихъ молодыхъ людей, хоть я и въ первый разъ говорю... Я не знала этого молодого человѣка.

— Алексѣя-то вы нашего не знали? Э, какъ не знать! Видите, какой большой выросъ: какъ на клиросѣ стоитъ, до хоругви достаетъ.

— По таланту Алексѣя Алексѣича я знаю его давно...

— Видите, по таланту! Право, какія вы добрыя, все сейчасъ замѣтите. Ты, братъ, Алексѣй, кланяйся, благодари, сердечно благодари, что тебя на такую степень поставили; умѣй заслужить! (Онъ толкнулъ Ивановскаго въ спину, чтобъ тотъ кланялся).— Ты вѣдь знаешь, какой ты человѣкъ... Вотъ вы ему, по расположенію вашему, Варвара Сергѣевна, посовѣтуйте: совсѣмъ залѣнился, хоть съ нимъ что хотите дѣлайте. Ужъ его и отецъ-ректоръ увѣщевалъ. Это, вотъ, насъ мода сгубила: любимъ мы гдѣ музыку послушать, гдѣ что...

— Ахъ, музыка! сказала съ чувствомъ Варвара Сергѣевна:—я сама такъ люблю ее. А если общество... оно тоже необходимо... Конечно, вамъ, молодой человѣкъ, ваши всѣ мысли должны быть направлены, одна цѣль—это магистерскій крестъ...

— Ужъ до этого намъ куда, прервалъ профессоръ.

— По крайней мѣрѣ, продолжала Варвара Сергѣевна:—когда вы видите его на вашихъ начальникахъ, вы знаете, какъ это важно и какой вѣсъ даетъ онъ... Поэтому, я надѣюсь, когда вы дадите короче съ вами познакомиться, что я увижу васъ во всѣхъ отношеніяхъ достойнымъ...

Она бы не кончила, еслибъ ее не прервалъ поднос съ вареньемъ, который хозяйка подавала ей. Отговариваясь и любезничая по случаю варенья, Варвара Сергѣевна отошла отъ Ивановскаго; профессоръ послѣдовалъ за нею.

— Что мы тутъ торчимъ съ тобой? Пойдемъ домой! сказалъ Ивановскій Бѣляеву.

Они пожали, проходя, руки хозяину, бывшему товарищу, который, хотя не столько, сколько они, но довольно стѣснялся своими учеными и важными гостями. Еслибъ молодые люди не привыкли къ подобнымъ чиннымъ праздникамъ, то одного такого праздника было бы довольно, чтобъ отбить охоту отъ подобныхъ удовольствій. Но въ кругу духовенства семинаристы допускались какъ люди низшіе, не имѣющіе права ѣсть, какъ другіе гости, а обязанные смотрѣть и поучаться.

Поученія Варвары Сергѣевны и объясненія профессора раздосадовали Ивановскаго, какъ и слѣдовало ожидать. Онъ зналъ, что его начальники не благоволятъ къ нему, что онъ и самъ виноватъ въ этомъ: но зачѣмъ объ этомъ разсказывать?.. Онъ шелъ молча; дорога была не близкая. Ужъ стемнѣло. Ивановскій такъ крѣпко думалъ, такъ былъ разсѣянъ, что не замѣтилъ, куда велъ его товарищъ.

Вдругъ, среди тишины, сначала издалека, а потомъ ближе и ближе, по мѣрѣ того, какъ они подходили, они услышали музыку: кто-то игралъ на фортепіано такъ отчетливо, такъ пріятно, что было невозможно не остановиться. Остановившись, Ивановскій узналъ улицу.

— Кто бы это такъ отличается? сказалъ Бѣляевъ, прокрадываясь по тротуару.

— Майцова, отвѣчалъ Ивановскій. Постоимъ, послушаемъ.

У него стучало сердце, когда, прижавшись у окна, глядя, какъ колыхалась бѣлая стора, освѣщенная изнутри комнаты, онъ слушалъ музыку, какой еще ему никогда не удавалось слышать... Если Лизаветѣ Дмитріевнѣ бывало пріятно слушать Ивановскаго, она награждала его вполнѣ, такъ что онъ совсѣмъ, отъ всей души простилъ ей и не помнилъ ни своей досады на нее, ни скуки этого вечера. Ему сдѣлалось вдругъ легко, онъ вспомнилъ добрыя слова этой женщины, смутно сравнилъ ихъ съ упреками, которые только что слышалъ, вспомнилъ ея внимательность и не могъ не сравнить ея съ покровительственнымъ тономъ приходской аристократки; онъ вспомнилъ, что его сейчасъ обидѣли и что онъ долженъ былъ молчать на обиду, къ которой уже привыкъ... Онъ слушалъ и думалъ, и отъ всего, что онъ думалъ, ему казалась еще лучше превосходная игра Лизаветы Дмитріевны. Такая артистка могла судить, могла хвалить; а если она хвалила, стало быть, было что... Ивановскій былъ готовъ сказать Бѣляеву, чтобъ онъ шелъ своей дорогой, и войти... вѣдь его приглашали бывать.

— Пойдемъ, пора, сказалъ ему въ эту минуту Бѣляевъ:—она ужъ кончила: видишь, встаетъ, закрываетъ фортепіано.

Ивановскій видѣлъ это, онъ видѣлъ тѣнь Лизаветы Дмитріевны; но она подходила къ окну, она, вѣрно, сейчасъ подняла бы стору... И Ивановскій поспѣшилъ за товарищемъ въ непобѣдимомъ, ученическомъ страхѣ.

— Знаешь что? сказалъ онъ Бѣляеву дорогой:—не говори нашимъ, что мы тутъ стояли, слушали.

Бѣляевъ согласился.

— Отчего-жъ тебѣ не хочется, чтобъ я сказалъ нашимъ? спросилъ онъ, пройдя нѣсколько шаговъ и раздумавшись.

— Такъ,толковать станутъ. Можетъ быть, вздумаетъ кто нибудь самъ пойти слушать. Ты знаешь, регента тогда не удержишь.

— Ну такъ что-жъ?

— Ну... неприлично.

—Да вѣдь ты самъ пойдешь завтра?

Ивановскій не сказалъ ни слова.

— Алеша! ты нашу пріязнь забылъ: ты неоткровененъ. Я не ожидалъ видѣть въ тебѣ такой перемѣны. Развѣ я тебѣ не доказывалъ дружбы? Вѣдь между нами не первый секретъ...

— Никакого секрета нѣтъ, возразилъ Ивановскій:—я бы, право, тебѣ сказалъ. Какой секретъ! Просто, не хочется, чтобъ всѣ знали. Если и вздумается когда сюда прійти... всѣ пойдутъ—неловко. Ей можетъ показаться непріятно, если она откроетъ окошко и увидитъ, что ее слушаютъ. Вѣдь это не то, что стояли тогда, балъ у столоначальника смотрѣли.

— Да вѣдь ты самъ пойдешь? повторялъ Бѣляевъ.

— Ну, пойду. Мнѣ не въ первый разъ глупости дѣлать; а другіе пусть не мѣшаются.

— Да вѣдь ты и такъ знакомъ съ этой барыней?

— Развѣ я знакомъ? Вотъ ты и уменъ, Ваня, а вздоръ говоришь... Ты сейчасъ видѣлъ и слышалъ, что говорили про насъ: наше ли это мѣсто? изъ жалости, такъ, Богъ знаетъ съ чего заговорятъ съ нами, а все помнятъ, кто мы...

— Развѣ и эта барыня, твоя знакомая, тоже важничаетъ и ломается?

— Сохрани Боже! совсѣмъ не то, вскричалъ невольно Ивановскій:—она какъ-то такъ благородно, скромно держится, доброта такая на лицѣ, голосъ нѣжный, говоритъ такъ просто... самъ себя не узнаешь, когда ее слушаешь, точно будто цѣлый вѣкъ жилъ и чувствовалъ, и мыслилъ какъ она... Пожалуйста. Ваня, не говори нашимъ. Отъ пустыхъ шутокъ даже то, что пріятно, дѣлается немило—ты самъ знаешь...

Бѣляевъ не разспрашивалъ дальше. Онъ видѣлъ, что у друга новая фантазія, которую онъ, вѣроятно, объяснитъ ему современемъ. Пришедши домой, Бѣляевъ былъ скроменъ, такъ что даже самому Ивановскому ничего не напомнилъ о m-me Майцовой, объ ея игрѣ, даже не намекалъ ни на что близкое къ этому.

Когда, на другой день, въ сумерки, онъ увидѣлъ, что Ивановскій ушелъ со двора, Бѣляевъ не спросилъ, куда онъ идетъ, даже не посмотрѣлъ на него вопросительно или значительно, какъ сдѣлалъ бы всякій другъ на его мѣстѣ.

VI.

Городъ N* раздѣляется оврагомъ. На Большой улицѣ чрезъ него есть вымощенный и широкій мостъ. Проходя по немъ, можно видѣть, какъ въ обѣ стороны извилинами уходитъ этотъ оврагъ, съ маленькой рѣчкой въ глубинѣ. Берега хотя не круты, но высоки. На нихъ были когда-то разбиты два-три садика, принадлежавшіе къ домамъ, которыхъ дворы выходятъ на оврагъ. Эти садики за-

пущены: подъ вечеръ, когда возвращается стадо, въ нихъ пасутся коровы ихъ владѣльцевъ, обламываютъ и объѣдаютъ жалкія, уцѣлѣвшія акаціи. Дальше, по горѣ кое-гдѣ тянутся гряды, обсаженныя ветлами, и желтѣютъ цѣлые лѣса подсолнечниковъ; еще дальше все заросло сорной травой, лощина становится шире, и по берегамъ рѣчки настроены маленькіе домики. Они не красивы и ветхи, или новы, но неудобны; въ нихъ немного свѣта отъ вышины горы, къ которой они прислонены, и отъ большихъ домовъ, выстроенныхъ на горѣ, обращенныхъ къ оврагу службами. Весною и осенью здѣсь грязь непроходимая; но маленькіе домики всегда наняты: здѣсь не даль, не слобода; писарямъ и служащимъ стоитъ только подняться на гору, на площадь—присутственныя мѣста тутъ и есть; дьяконамъ и дьячкамъ два шага до собора, а, главное—здѣсь дешево, потому и не берется въ разсчетъ, каково взбираться на гору въ слякоть или въ морозъ, тотчасъ послѣ оттепели.

Одинъ изъ этихъ домиковъ, побольше другихъ и съ свѣтелкой, былъ особенно тѣсно населенъ. Въ немъ жила цѣлая колонія семинаристовъ. Казенные ученики помѣщаются въ самомъ зданіи семинаріи; но ихъ очень немного въ сравненіи съ числомъ всѣхъ учениковъ, которыхъ, взрослыхъ и дѣтей, считается въ N* до семисотъ. Своекоштные живутъ на квартирахъ, почти всегда очень далеко отъ училища, въ слободахъ или въ какомъ нибудь захолустьѣ, гдѣ дешевле; только архіерейскіе пѣвчіе, какіе бы они ни были, учащіеся или выпущенные, живутъ въ архіерейскомъ домѣ, обезпеченные столомъ, освѣщеніемъ и отопленіемъ, и хотя все это далеко не роскошно, но архіерейскіе пѣвчіе могутъ назваться счастливцами въ сравненіи съ тѣми, которые живутъ на свой счетъ.

Безъ преувеличенія, бѣдность семинаристовъ часто доходитъ до крайней нужды. Большая часть ихъ—дѣти сельскаго духовенства; они привозятся въ городъ, въ ученіе, очень маленькіе, не оттого, чтобъ отцы хотѣли скорѣе ихъ помѣстить и этимъ отъ нихъ избавиться, но потому, что учиться надо много. Отцы не избавляются отъ заботы о дѣтяхъ: если не удалось помѣстить ихъ на казенное содержаніе, они платятъ за ихъ содержаніе на квартирѣ и, въ томъ и въ другомъ случаѣ, одѣваютъ ихъ. Отцы живутъ тѣмъ, что дастъ приходъ. Очевидно, что они очень мало могутъ дать дѣтямъ. Сельскій дьячокъ, напримѣръ, не получаетъ въ годъ дохода болѣе ста рублей ассигнаціями; а кромѣ двухъ-трехъ сыновей, записанныхъ въ семинаріи, дома ростетъ еще семья. Немного богаче и городскіе приходы, говоря вообще. Въ N* одинъ священникъ, всѣми уважаемый старикъ, съ наперснымъ крестомъ, въ тридцать лѣтъ не могъ сбиться выстроить себѣ домъ, и подобные примѣры нерѣдки. Многія дѣти не имѣютъ буквально ничего, кромѣ какого нибудь нанковаго сюртучка, который носятъ лѣтомъ и зимою. На квартирахъ семинаристы живутъ по нѣскольку человѣкъ въ складчину, маленькіе подъ надзоромъ большихъ, и всѣ поручаютъ распоряженія квартирой и хозяйствомъ старшему. Старшимъ называется тотъ, кого товарищи выбираютъ для этихъ распоряженій, или кто самъ возьметъ ихъ на себя. Начальство знаетъ объ этомъ выборѣ, но не вмѣшивается. Старшіе завѣдываютъ всѣми расходами, заботятся о маленькихъ ученикахъ, живущихъ въ этомъ же домѣ, и первые отвѣчаютъ предъ своимъ начальствомъ не только за товарищей, за ихъ поведеніе, за безпорядки, которые, впрочемъ, случаются рѣдко, но даже за чистоту своего жилья. Маленькая колонія живетъ, какъ позволяютъ ея бѣдныя средства.

Домикъ былъ набитъ семинаристами, большими и маленькими, какъ улей пчелами: ихъ было человѣкъ двадцать. Хозяйка, толстая, пожилая мѣщанка, помѣщалась въ свѣтелкѣ съ своей старой матерью и отдавала въ наймы внизу двѣ комнаты съ чуланомъ—вѣрнѣе, комнату съ двумя чуланами, потому что въ одной изъ нихъ не было печи, и три семинариста, жившіе въ ней, занимали ее всю, такъ что едва доставало мѣста, гдѣ повернуться. Другая комната была съ тремя окнами на «улицу», то есть на пыльную или топкую, смотря по времени года, дорогу по краю оврага. Эти окна не возвышались и на аршинъ отъ пола и начинались прямо отъ завалины. Изъ нихъ можно было видѣть, насупротивъ, на горѣ, вдали, синія главы и кресты собора, а ближе—спускъ съ этой горы, бревенчатый мостикъ чрезъ рѣчку и заборъ сосѣдняго огорода. Окна были на западъ: солнце свѣтило всегда на противоположную сторону, на зелень и песчаный спускъ горы, отчего лѣтомъ въ комнатѣ постоянно былъ голубоватый полусвѣтъ съ утра до сумерекъ, когда темнота совершенно охватывала всѣ углы. Впрочемъ, нечего было разсматривать въ этой комнатѣ. Она была оклеена бумагой и выбѣлена; въ ней стояли старый шкапъ, большой столъ, нѣ-

сколько плетеныхъ стульевъ и двѣ-три постели. Какъ находилось мѣсто для всего этого и гдѣ находили мѣсто спать остальные— непостижимо. Подъ постелями помѣщались еще маленькіе сундучки; одинъ уголъ былъ увѣшанъ платьемъ, акуратно прибраннымъ; на полочкахъ, прибитыхъ кое-гдѣ, виднѣлись чернильницы съ взъерошенными перьями, тетради и книги, завернутыя въ бумагу. Передній уголъ былъ занятъ множествомъ образовъ. Въ одномъ простѣнкѣ между окнами было зеркальцо, разбитое и полуистертое, въ другомъ—отдѣланный въ черную рамку видъ N-скаго собора, вѣрно снятый и безобразно раскрашенный. Этотъ рисунокъ, работы N-скихъ семинаристовъ, можно найти во всѣхъ ихъ квартирахъ и въ казенныхъ дортуарахъ. Въ числѣ жильцовъ половина были дѣти; но ни слѣда, ни признака дѣтскихъ игръ и затѣй не было замѣтно въ комнатѣ.

Часовъ въ пять вечера, въ воскресенье, трое семинаристовъ, Демкинъ, Алавдинъ и Слободской, сидѣли въ этой комнатѣ. Солнце свѣтило еще ярко; въ городѣ было шумно; мимо оконъ проходили мастеровые, мѣщане и нарядныя мѣщанки, собравшіяся погулять. Они въ особенности занимали Демкина, который, чтобъ лучше слѣдить за прохожими, высунулся до половины въ поднятое окно.

— Охъ! даже локтямъ больно, шею извертѣлъ, сказалъ онъ, наконецъ, прерывая свое занятіе и влѣзая въ комнату.

— Да что ты не пойдешь самъ погулять? сказалъ Слободской, бѣлокурый и высокій, читавшій газету у другого окна: — прошелся бы.

— Да не въ чемъ; сюртукъ отказывается. Нынѣ праздникъ. Посмотрите, вѣдь такъ не годится?

Слободской посмотрѣлъ на него и потомъ оглянулся на себя, какъ будто мѣрилъ ростъ его и свой; но товарищъ былъ ниже его цѣлой головой.

— Не годится, тихо сказалъ Слободской.

— Въ классѣ еще сойдетъ, или въ будни, а ужъ на гулянье—куда! продолжалъ Демкинъ, стараясь скрыть какъ это его огорчаетъ, что не совсѣмъ ему удавалось. — Гуляньямъ теперь конецъ! договорилъ онъ съ рѣшительнымъ жестомъ, чтобъ поддержать свое мужество, между тѣмъ какъ голосъ измѣнилъ ему и зазвенѣлъ какъ у ребенка, готоваго заплакать.

Слободской не отвѣчалъ; онъ акуратно сложилъ газету и сидѣлъ наклонивъ голову и смотря передъ собою. Онъ былъ старшимъ въ этомъ кружкѣ, пользовался довѣріемъ, уваженіемъ товарищей и въ самомъ дѣлѣ стоилъ этого: онъ считался однимъ изъ первыхъ учениковъ въ классахъ и велъ себя примѣрно. Управленіе маленькой колоніею доставляло ему много хлопотъ: денегъ въ складчину не всегда было довольно, товарищи не всегда ладили между собою. Вразумлять ровесниковъ мудрено; случалось мирить, скрывать шалости, правда, небольшія, но на которыя начальство смотритъ очень строго. Инспекторъ и профессоры семинаріи часто нечаянно заходятъ въ квартиры учениковъ. Слободской прибиралъ за другими и умѣлъ выручить. Если товарищи скрывали отъ него свои похожденія, то единственно потому, что знали, какъ ему самому они будутъ непріятны и какъ ему тяжело обманывать. Впрочемъ, имъ рѣдко случалось покутить: безъ средствъ это довольно трудно.

Демкинъ принялся опять смотрѣть въ окно, только не съ прежнимъ увлеченіемъ и въ раздумьи.

Алавдинъ, мальчикъ лѣтъ шестнадцати, писалъ у стола. Передъ нимъ лежала толстая книга, съ которой онъ часто справлялся. Работа видимо его затрудняла, судя по страшнымъ перемаркамъ, которыми онъ то и дѣло уничтожалъ то, что написалъ за минуту. Онъ посмотрѣлъ на товарищей и рѣшился.

— Степанъ Александрычъ! сказалъ онъ тихонько.

— Что, душа моя? спросилъ Слободской.

— Посмотрите, я, право, не знаю, какъ тутъ быть.

— Что у тебя?

— Разсужденіе задали о сребролюбіи. Я ужъ его однажды написалъ, подавалъ...

— Ну, что-жъ?

— Да вотъ видите, что мнѣ подписали.

Слободской взялъ тетрадку въ четвертку, перевернулъ двѣ страницы и прочелъ:

«Скелетъ разсужденія; кости его крѣпки и мощны, но плоть не отцвѣчена приличными красками».

— Я этого не понимаю, заговорилъ скороговоркой Алавдинъ, торопясь высказать все, что его смущало: — коли «скелетъ», такъ какая ужъ плоть, тѣло? тѣла ужъ вовсе нѣтъ.

— Не то, сказалъ Слободской, въ недоумѣніи, пробѣжавъ двѣ страницы разсужденія: — у тебя написано дѣло, да сухо, нецвѣтисто.

— Такъ какъ же?

— По моему бы, никакъ, хорошо. Дѣло есть: что его раскрашивать.

— Да вѣдь велѣно.

— Ужъ этого я не знаю, я не мастеръ. По моему, чѣмъ проще сказано, тѣмъ понятнѣе. Ты попроси кого нибудь изъ своихъ «философовъ» — тебѣ помогутъ — Никольскаго.

Слободской отошелъ; Алавдинъ съ отчаяніемъ опять принялся марать бумагу.

— Вотъ не думаешь, не думаешь, да подумаешь, сказалъ Демкинъ, когда Слободской сѣлъ подлѣ него: — нѣтъ хуже нашего положенія. Учись, размышляй, когда на сердцѣ у тебя Богъ знаетъ что, когда подъчасъ пить-ѣсть нечего! Пойдетъ ли что въ голову?...

— Да вѣдь тебѣ пошло, прервалъ Слободской, тихо улыбнувшись.

— Э, Степанъ Александрычъ, я какой-то отчаянный! Я о другихъ говорю. Если мы и лѣнимся, право, нельзя насъ и винить. Посмотрите, дворянскій сынокъ, купчикъ, мѣщанинъ даже, если пошлютъ его въ школу—только иди, сдѣлай милость, учись: батюшка и матушка всѣмъ тебя успокоятъ; пока выучишься, на ноги станешь, нужды не увидишь; не заботься ни о чемъ, думай только о наукѣ. А мы-то!... Теперь, когда ужъ самъ выросъ, на маленькихъ посмотришь—право, удивляешься, какъ выносилъ.

— Богъ хранитъ, сказалъ Слободской.

— Богъ хранитъ! повторилъ, задумавшись, Демкинъ.—А какъ мы съума не сходимъ, скажите мнѣ? Къ чахоткѣ мы ужъ привыкли — это наша семинарская болѣзнь—какъ разсудокъ цѣлъ остается? Забота, забота, и все забота, съ ребяческихъ лѣтъ всю молодость... Кончилъ курсъ, выходи на всѣ четыре стороны, куда хочешь... А куда дѣваться!

— Дорогъ много; какъ пуститься и съ чѣмъ! сказалъ Слободской: — что толковать!...

— Конечно, что толковать! повторилъ Демкинъ: — куда мнѣ сбираться, когда я вотъ уже третій мѣсяцъ и здѣсь-то живу и кормлюсь по вашей милости: вѣдь еслибъ не вы, Степанъ Александрычъ... Эхъ, право, какая тоска!

Съ минуту оба молчали; только слышался скрипъ пера Алавдина, на котораго нашло вдохновеніе.

— А вѣдь я рѣшился, Степанъ Александрычъ, сказалъ наконецъ Демкинъ: — я къ дядѣ вчера написалъ письмо.

Онъ былъ очень взволнованъ, говоря это.

— Рѣшился? ужъ отослалъ письмо? спросилъ Слободской.

— Отослалъ, какъ въ классъ шелъ, занесъ на почту.

— Что-жъ ты написалъ?

— Все то же. Развѣ можетъ быть какая перемѣна? «Дядюшка (говорю я), я свое положеніе хорошо знаю; но я также вникъ и въ глубь моей совѣсти. Какъ я вамъ сказалъ и повторялъ неоднократно, такъ повторяю и теперь: я священникомъ не буду и отъ вашего мѣста отказываюсь. Я знаю, что этимъ я раздражаю вашъ гнѣвъ...» Ужъ не знаю, хорошо ли я сдѣлалъ; я тутъ ему написалъ, что «вы мнѣ доказали вашъ гнѣвъ, потому что два мѣсяца съ тѣхъ поръ, какъ я объявилъ вамъ мое рѣшеніе, вы оставляете меня безъ всякой помощи, а я, какъ сирота, только на васъ и могъ имѣть надежду...»

— На что ты это писалъ? прервалъ Слободской:—зачѣмъ укорять человѣка?

— Да вѣдь ужъ сердце не вытерпѣло! вскричалъ Демкинъ. — Ну, вотъ еще доказательство: что я за священникъ, когда такой малости простить не могу? «Дядюшка (я ему писалъ), несмотря на мою настоящую нужду, я готовъ вытерпѣть во сто кратъ худшее, но недостойно на себя не приму такого сана. Этотъ санъ, дяденька, не средство къ существованію: онъ страшенъ и святъ...»

— Такъ и написалъ? спросилъ Слободской.

— Такъ и написалъ. Я писалъ еще: «Я не могу поставить себя судьей ничьей совѣсти, зная свои собственныя слабости. Быть можетъ, я поступаю малодушно, ибо отрекаюсь отъ дѣла, на которое готовился съ юныхъ лѣтъ; но лучше не браться за дѣло, нежели исполнять его худо, лучше бѣжать съ поля битвы, нежели измѣнить...» А я надѣюсь, что Господь меня проститъ по Своему милосердію.

— Такъ, такъ! сказалъ Слободской, взволнованный не менѣе своего друга.

— Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ! продолжалъ Демкинъ: — вѣдь это какъ нибудь не дѣлается. Я что сказалъ, то и повторяю... Некуда дѣваться: въ университетъ идти не съ чѣмъ, писцомъ опредѣлиться — когда еще найдешь мѣсто... Въ полкъ пойду; взялъ ружье на плечи... прощай ученье и классики и... все! Много натерплюсь всего: горя, нужды, тоски — знаю... да все легче, на душѣ будетъ легко. Жизни, ужъ конечно, не увижу; когда еще прійдется отдохнуть!

— Все Богъ! сказалъ Слободской со слезами на глазахъ.

— А какъ мнѣ васъ жаль, Степанъ Александрычъ! сказалъ Демкинъ и вдругъ зарыдалъ, отошелъ отъ окна и бросился лицомъ на постель.

Слободской не тревожилъ его и тихонько плакалъ, закрывшись газетой.

— Степанъ Александрычъ! робко отозвался Алавдинъ.

— Что тебѣ, душа моя?

— Можно ли сказать: «свирѣпое буйство страстей»?

— Плеоназмъ будетъ, душа моя.

— Такъ какъ же? «Свирѣпое раздраженье»—можно?

— На что тебѣ эти страсти?

— Какъ же? я сказалъ: «Гордость и самонадѣянность, честолюбіе и ненависть, прокрадываясь, какъ ночные тати, въ душу смертнаго, разливаютъ...»

— Всего по-немножку! Да вѣдь ты пишешь о сребролюбіи? Покажи.

Слободской взялъ тетрадь. Алавдинъ посматривалъ въ окно: ему хотѣлось гулять.

— Поди, Богъ съ тобой, пройдись! сказалъ старшій, замѣтя его движеніе: — я исправлю, ты успѣешь списать къ завтрему.

— Вамъ некогда, отвѣчалъ Алавдинъ, весь вспыхнувъ и обрадовавшись: — совѣстно...

— А совѣстно, такъ постарайся. Вотъ тутъ...

Объясненіе было прервано крикомъ на улицѣ: Слободской бросился къ окну. Маленькіе семинаристы, его подчиненные, играли съ сосѣдними дѣтьми и поссорились.

— Вамъ сказано, не выходить на улицу! закричалъ имъ Слободской: — ступайте играть на дворѣ; развѣ мало тамъ мѣста? Ваше ли дѣло змѣи да свинчатки?

— Мы, Степанъ Александрычъ, тутъ недалеко, у воротъ, Степанъ Александрычъ! заговорили тоненькіе дѣтскіе голоса подъ окномъ.

— Нечего толковать, ступайте играть на дворѣ! возразилъ неумолимый Слободской, выходя самъ посмотрѣть, исполняютъ ли его приказаніе.

Дѣти повиновались, между тѣмъ какъ уличные мальчишки, ихъ непріятели, дразнили ихъ вслѣдъ и называли «кутьей» и «кадиломъ». Алавдинъ, вздыхая, смотрѣлъ на свою тетрадь.

— Вотъ, къ тебѣ помощь идетъ, сказалъ ему Демкинъ:—садись опять къ окну отдыхать отъ горя.

Подъ окномъ слышались поспѣшные шаги, и чрезъ минуту въ комнату вбѣжалъ высокій, широкоплечій семинаристъ, полный и румяный, что случается рѣдко. Это былъ богословъ Костинъ, отличный малый и еще болѣе веселый товарищъ. Отчего онъ былъ всегда веселъ и какъ умѣлъ сохранить свой здоровый румянецъ—Богъ его знаетъ.

— Господа, нѣтъ ли чего поѣсть? вскричалъ онъ, едва показался.

— Развѣ ты голоденъ? спросилъ Демкинъ.

Но Костинъ, не отвѣчая, отодвинулъ ящикъ стола, на которомъ занимался Алавдинъ, и, не найдя ничего, бросился къ шкапу и возился молча, передвигая чашки и тарелки.

— Хоть бы корочку! повторялъ онъ.

Но не нашлось и корочки. Отъ обѣда семинаристовъ мудрено чему нибудь остаться.

— Это смерть что такое! вскричалъ Костинъ: — съ утра ничего не ѣлъ, а сегодня еще заговѣнье! Ты вообрази: пошелъ я въ десять часовъ поутру...

— Гдѣ ты это былъ съ утра? спросилъ Слободской, входя.

— Да гдѣ, Степанъ Александрычъ... Иду къ обѣднѣ, встрѣчается пансіонеръ изъ благороднаго пансіона, остановилъ меня, спросилъ, кто я, свободенъ ли я. Конечно, свободенъ: сегодня воскресенье, а когда бы предвидѣлъ, что будетъ, десять бы дѣлъ себѣ придумалъ, отговорился. Онъ говоритъ, что ему и его товарищамъ крайняя нужда—надо кое-что переписать. «Пойдемте», говоритъ, «въ домъ къ родителямъ». Его родитель — служащій, еще важное лицо: Еремѣевъ... знаете?

— Нѣтъ, сказалъ Слободской, который, какъ большая часть семинаристовъ, не зналъ никого.

— Какъ же, сѣдой, шитый воротникъ, становится всегда у лѣваго клироса, подхватилъ Алавдинъ.

— Ты поѣшь прежде, сказалъ Демкинъ.

Онъ выходилъ и возвратился съ кружкой молока и кускомъ хлѣба, которые досталъ у хозяйки.

— О, золотой мой! вскричалъ Костинъ, принимаясь ѣсть:—благодареніе послѣ принесемъ. Даяніе хоть мало, но благо... И то сказать, по моему сложенію рѣдко когда бываетъ достаточно... Что же я вынесъ, господа! томился гладомъ, былъ заключенъ въ темницѣ, а ужъ какой я дичи начитался — голова кругомъ пошла!

— Что-жъ ты дѣлалъ? спросили въ голосъ оба товарища.

— Мальчишка этотъ... ужъ порядочный Митрофанъ, лѣтъ пятнадцати будетъ... и другіе его четверо пріятелей къ нему отпущены сегодня: погулять хочется, а къ классамъ, къ завтрему ничего не готово. Маменька его, госпожа Еремѣева, балуетъ сынка, а отецъ строгъ: и матушка, и сынокъ боятся его. Позвать меня позвали, а спрятать надо, чтобъ онъ не видалъ. Куда меня дѣвать? отвели въ кухню. Эти пятеро баловниковъ нанесли мнѣ своихъ тетрадей. Сочиненія имъ заданы русскія, да латинскій переводъ, да французское сочиненіе и переводъ французскій. Что надо исправить, а что и совсѣмъ вновь сдѣлать. Лѣнивцы отъявленные. Одинъ прибѣжалъ ко мнѣ — дружества между собою въ нихъ хоть бы на мѣдный грошъ — разсказываетъ про другихъ... тьфу, гадости! Еще хвалятся этимъ — дураки! Я говорю: «какъ же васъ не исключаютъ?» — «Вотъ тебѣ разъ», говоритъ: «папенька отвезъ сто цѣлковыхъ, и не только не исключатъ, въ старшій классъ переведутъ...»

— Ахъ, ты, Господи! сказалъ Демкинъ почти съ ужасомъ.

— Родителей или наставниковъ обмануть — это имъ ровно нипочемъ. Просто, я даже душой возмутился... Ну, ужъ потомъ, какъ началась потѣха — сочиненія ихъ... Я сначала хохоталъ, а потомъ зло взяло. Грамматическихъ ошибокъ, господа, не пересчитать, а ороографическихъ—просто пригоршнями! Я ставилъ, ставилъ яти, да ужъ и закаялся: такъ, думаю, и до заутрень не кончить. И что они сочиняютъ — смысла, толку ниже на пылинку! латинскій переводъ, знаете, изъ Кошанскаго, Федровы «Lupus et agnus» и еще «Vulpes»—этого не понимаютъ! Французскій языкъ—ногу переломишь! Ну, мы произносить не умѣемъ, а они значенія самыхъ обыкновенныхъ словъ не знаютъ... Невѣжество такое, что голова заболѣла. Истинно, легче бы, не вставая, три дня просидѣть за своимъ дѣломъ, какое хотите дайте головоломное. И безъ пищи...

— Да вѣдь ты былъ въ самой лабораторіи, сказалъ, смѣясь, Демкинъ.

— Лабораторія, братъ! возразилъ Костинъ, допивая послѣднюю капельку молока: — обо мнѣ забыли и думать. Часа въ четыре, въ вечерню, они уже пообѣдали... Я наблюдалъ, какъ имъ яства ихъ готовили.

— Что-жъ? практическую лекцію взялъ! замѣтилъ Слободской, смѣясь тоже.

— Душевно признателенъ! Часа въ четыре, вотъ ужъ недавно, сама госпожа, должно быть вспомнила, горничную свою прислала узнать, «накормили ли, дескать, семинариста». Меня такъ и взорвало: точно семинаристъ безсловесное животное. «Скажи», говорю, «что я очень благодаренъ, не хочу ѣсть»; да такъ и остался.

— А послѣ раскаялся? спросилъ Демкинъ, хохоча.

— Послѣ и раскаялся; только тайное покаяніе приносилъ молча.

— Что-жъ, заплатили тебѣ что нибудь? вѣдь не даромъ же трудиться въ самомъ дѣлѣ!

— Заплатили, какъ же! Митрофанъ этотъ вертится: «у маменьки мелкихъ денегъ нѣтъ». Я говорю, что взялъ бы и крупными, все равно; когда же придти? «Приходите», говоритъ, «послѣ завтра: еще попишите намъ, немножко, нѣмецкое». Я ужъ испугался, отрекся отъ нѣметчины, говорю, что не знаю, а за деньгами приду. «Такъ», говоритъ, «пришлите товарища».

— Ступай ты, сказалъ Слободской Демкину.

— Эхъ, житье, житье!.. сказалъ Демкинъ, на котораго въ минуту нашла его прежняя тоска.

— Ну, чего еще? прервалъ Костинъ.— Э, милый ты мой! плохо житье, да Богъ съ нимъ, проживемъ. Посмотри лѣтъ черезъ десятокъ какіе мы съ тобой люди будемъ.

— Да, чрезъ десятокъ лѣтъ, какъ ужъ насъ ноги не станутъ носить, да согнетъ тебя въ кочергу...

— Ни-ни-ни! Какъ смѣетъ согнуть? я-то на что? Вѣдь я иду въ медико-хирургическую, я твой докторъ буду, ужъ такъ положено, и если вашему превосходительству на сраженіи руку или ногу оторвутъ, посмотри, какъ я тебя обдѣлаю, просто прелесть! Спасибо скажешь...

Демкинъ пожался.

— А если это раньше случится, сказалъ онъ:—не чрезъ десять лѣтъ, не въ генеральскомъ чинѣ, а скоро, просто гдѣ нибудь во рву умрешь, и покроютъ тебя шинелью... и прежніе товарищи не узнаютъ, что маялся, маялся, да умеръ...

— Ну, что-жъ? Вѣдь на то твоя воля. Можно, пожалуй, и другое: «Повели! повелите! повели, преосвященный владыко!.. Аксіосъ, аксіосъ...» протоворилъ басомъ и запѣлъ Костинъ.

— Перестань, сдѣлай милость, прервалъ Демкинъ.

— А вотъ идутъ великолѣпные архіерейскіе басы, сказалъ Костинъ, взглянувъ въ окно.

— Одинъ басъ и одинъ теноръ, сказалъ Слободской.

— Въ самомъ дѣлѣ, вскричалъ Костинъ, узнавая Ивановскаго и Никольскаго: — къ намъ, что ли, господа? Милости просимъ. Алёша, милый, здравствуй! здорова ли твоя сестрица? Иди! Тысячелѣтія мы съ тобой не видались.

Ивановскій и Никольскій вошли.

— Здравствуй, Алеша, здравствуй, душа моя! сказалъ Слободской: — что тебя, въ самомъ дѣлѣ, не видно? Забылъ насъ. Изъ класса когда идешь, тебя не догонишь...

— А въ классѣ далеко сидимъ, отвѣчалъ Ивановскій:—когда-то сосѣдями были, Степанъ Александрычъ!

— Ну, что-жъ, хоть и не сосѣди, а все пріятели, возразилъ Слободской, между тѣмъ какъ Костинъ, обнявшись съ Никольскимъ, разсказывалъ ему свое приключеніе.—Мнѣ сказали про тебя, Алеша, прибавилъ онъ тихо:—что ты заскучалъ, унывать сталъ. Что это ты, милый мой? Господь съ тобою. Правда ли это?

— Нѣтъ, я не скучаю, отвѣчалъ, покраснѣвъ, Ивановскій: — такъ, самъ не знаю что. Все какъ-то волнуетъ. Курсъ кончается: образъ жизни не знаешь какой избрать. Твердости какъ-то недостаетъ. Вотъ, вы всѣ рѣшились, знаете чѣмъ вы будете... Право, весь нашъ выпускъ разойдется, а я одинъ останусь не причемъ—посмотрите тогда.

— Пой себѣ да пой, возразилъ ему Костинъ: — есть о чемъ толковать! Голосъ славный, собой красавчикъ... Какой ты нарядный сегодня! Покажись. Или въ гостяхъ былъ?

— Нѣтъ, прямо отъ батюшки.

Алавдинъ съ восторгомъ смотрѣлъ на широкіе рукава Ивановскаго, подъ которыми бѣлѣли рукава рубашки и блестѣли золотыя запонки.

— Сейчасъ встрѣтилъ изъ вашего хора Маргаритина и Пустынскаго, сказалъ Костинъ.

— Да; они всегда вмѣстѣ ходятъ.

— Прелестныя визитки на нихъ—должно быть, они сшили себѣ новыя—какъ павлины идутъ.

— И къ чему роскошничаютъ? отозвался маленькій и худенькій богословъ Миролюбовъ.

Этотъ молодой человѣкъ вошелъ тихо, такъ что его не замѣтили. Войдя, онъ отправился прямо въ уголъ, снялъ и повѣсилъ сюртукъ, въ которомъ ходилъ посѣтить родственниковъ, и сейчасъ же облекся во что-то длинное и пестрое.

— Къ чему роскошничаютъ? продолжалъ онъ.—Я самъ съ ними сейчасъ встрѣтился. Наше ли дѣло модѣ подражать, свѣтскимъ изобрѣтеніямъ?

— Что-жъ, въ халатѣ по улицѣ идти? спросилъ Костинъ.

— Нѣтъ!.. ужъ ты тотчасъ! А не намъ гоняться: мы совсѣмъ не то, что другіе.

— Семинаристы не люди, что ли? сказалъ Ивановскій.

— А ужъ вы, Алексѣй Алекѣичъ, прежде всѣхъ за эту суету вступаетесь: вамъ она паче меда сладчайшаго. Эту наклонность слѣдуетъ искоренять. Мы духовнаго званія. Прежде голову надо познаніями обогатить, а потомъ умастить.

— А все-таки умастить надо же? прервалъ, смѣясь, Слободской: — духовное званіе чему тутъ помѣшало?

— Вы имъ потворствуете, Степанъ Александрычъ: излишнее попеченіе объ одеждѣ...

— Да ты самъ что толкуешь? возразилъ Костинъ. — Степанъ Александрычъ, мы не знаемъ, будетъ ли франтить, а ты, что посвятятъ, то шелковую рясу сошьешь, ты ужъ обѣщался.

— Ну, что-жъ? сошью: оно такъ слѣдовать будетъ.

— Почему же слѣдовать будетъ?

— Потому что такъ подобаетъ, возразилъ Миролюбовъ поучительнымъ тономъ:—вы все причины изыскиваете; а отъ изысканія причинъ ничего больше не истекаетъ, какъ одно заблужденіе.

— Видите, такъ сразу и отрѣзалъ! вскричалъ Костинъ.

— Миролюбовъ! ты о какихъ же причинахъ говоришь? Дѣло шло о рясѣ, спросилъ Демкинъ.

— О всякихъ. Вы все хотите корень вещей видѣть—вольнодумство!

— Экъ его изъ стороны въ сторону! сказалъ Костинъ.

— Оттого всѣ наши и заботы, продолжалъ невозмутимый Миролюбовъ: — мечтательность явится, разные помыслы. Вотъ спросите Демкина: отъ своей мечтательности всю свою будущность разстроилъ.

— Ну, ужъ ты, пожалуйста, не вмѣшивайся — не спрашиваютъ, прервалъ нетерпѣливо Демкинъ.

— Или вотъ вы, Алексѣй Алексѣичъ:

вамъ всего хочется, вамъ бы и свѣтскія удовольствія, вамъ бы и блескъ; чтеніе какое нибудь, такъ, пустячки...

— Миролюбовъ, ты безтолковъ. Знаешь ты очень, какихъ мнѣ пустяковъ хочется? сказалъ Иваневскій.

— Нѣтъ, продолжалъ Миролюбовъ, не слушая:—надо такъ свой разумъ направить, чтобъ онъ неуклонно шелъ... неуклонно...

— Куда?

— Куда укажутъ.

— Но если станутъ вотъ такъ указывать, какъ ты, только хуже съ пути собьютъ, возразилъ Ивановскій.—Растолкуй ты мнѣ, Миролюбовъ: учился ты хорошо, вызубрилъ— отчего изъ тебя всякое чувство точно выжато? Точно тебѣ наука и голову, и сердце— все вотъ такъ сдавила...

— За что ты его? возразилъ Слободской:— у него сердце хорошее.

— Очень хорошее, Степанъ Александрычъ, да никуда оно негодно. Вѣдь онъ ничего не извинитъ. Утѣшить онъ уже никого не можетъ. Онъ затвердилъ одно: «такъ не должно, это грѣшно»; запугать, не запугаетъ, а только надоѣстъ... Ты меня извини, Миролюбовъ, ты, должно быть, ужъ слишкомъ заучился: набивалъ-набивалъ себѣ голову, не размышляя, захватилъ много добра, да ужъ не знаешь, какъ въ немъ разобраться...

— Чего разбираться? Размышлять-то чего? Былъ въ классѣ, обогатили тебя, пріобрѣлъ—будь благодаренъ, размышлять нечего...

— Да безъ размышленія что твои классы? вскричалъ Ивановскій—что твоя наука? буква одна!

— До-смерти люблю, когда ты съ нимъ схватываешься, сказалъ Демкинъ Ивановскому.

— Мы уже отступились: только тебя и достаетъ, Алеша, сказалъ Костинъ: твоя горячая натура...

— Вы всѣ такіе, духъ въ васъ какой-то, возразилъ Миролюбовъ поучительно и даже не возвышая голоса:—новое все хотите. Начитались, выраженія свои выдумываете... видишь: «горячая натура»... Оттого и истиннаго прилежанія нѣтъ...

— Я не знаю, что ты говоришь, прервалъ Ивановскій:—да оттого и лѣнишься, и бодрости лишаешься, что науку мы учимъ сухо, безжизненно, въ долбяшку; а по-твоему еще не размышляй...

— Да! романовъ вамъ дать!

— Ты понимаешь ли, что такое романы?

— Вздоры ваши: красоты природы описываются, страсти разныя—игра воображенія... Небывальщина!

— Тебѣ все небывальщина! Ты, стало быть, не видишь, что на свѣтѣ въ самомъ дѣлѣ есть страсти? Ты ихъ не понимаешь, не признаешь: какъ же ты послѣ этого о нихъ судить можешь?

— Что мнѣ ихъ судить? Имъ уже дано свое опредѣленіе...

Въ комнату вошелъ еще молодой человѣкъ, средняго роста, черноволосый и немного худощавый; глаза его были замѣчательно хороши и ярки, но взглядъ спокоенъ, лицо необыкновенно нѣжно, блѣдно и очень привлекательно: онъ поклонился товарищамъ молча и учтиво, съ секунду прислушался къ тому, что говорилъ Ивановскій, и подошелъ къ общему кружку. Всѣ его движенія нисколько не напоминали семинариста; они были мягки и ровны, свободны и самоувѣренны. Это былъ Александръ Матвѣевичъ Зарѣчинскій, первый богословъ, «человѣкъ высокаго краснорѣчія», какъ говорили о немъ товарищи, любимецъ профессоровъ, которые доставляли ему уроки въ богатыхъ N-скихъ домахъ. У Зарѣчинскаго были богатые родные; онъ жилъ на квартирѣ у одного изъ профессоровъ и къ товарищамъ ходилъ рѣдко.

— Вотъ у насъ какой диспутъ! сказалъ ему Слободской, когда тотъ подалъ ему руку.

— Да, отвѣчалъ Зарѣчинскій.

— Вы, вѣрно, въ гости ходили?

— Княгиня желала прочесть то поученіе, что я сегодня поутру говорилъ. Я у нея былъ, да вспомнилъ, что и вы хотѣли перечитать, и зашелъ къ вамъ. Вотъ.

Зарѣчинскій разстегнулъ свой изящный черный сюртукъ, досталъ изъ бокового кармана тетрадь, небрежно смятую вдвое, положилъ ее на столъ и опять застегнулся подъ горло.

— Ахъ, очень обязали! сказалъ Слободской.

— Нѣтъ! восклицалъ Миролюбовъ, продолжая спорить:—я умствовать не стану! Пожалуй, вотъ Демкинъ съ своими разсужденіями: «не могу, не смѣю!» Мой родитель и моего родителя родитель и даже до пятаго колѣна были іереями, и я буду іереемъ по тому самому...

— Да полно вамъ! прервалъ Костинъ:— брось его, Алеша: съ нимъ не столкуешь. Спой лучше что нибудь: отъ спора только охрипнешь. Гдѣ у насъ тутъ еще гость дорогой...

Онъ обратился къ Никольскому. Никольскаго, почти съ первой минуты его появле-

нія, захватилъ Алавдинъ, и подъ шумокъ читалъ ему свое сочиненіе. Никольскій подъ шумокъ давалъ совѣты.

— Видишь, что, шепталъ Алавдинъ:—ты говоришь «жажда пріобрѣтенія». У меня уже о ней упомянуто. Вотъ какъ сказано: «И въ наше время не видимъ ли мы, какъ цѣлыя народонаселенія стремятся покинуть свое отечество, отправляются въ отдаленные края, дабы, погрузязь алчными руками въ пески источниковъ, созданныхъ для утоленія жажды человѣка, утолить только одну свою жажду къ пріобрѣтенію тлѣнныхъ сокровищъ. Сребролюбіе...»

— А, ну тебя съ сребролюбіемъ! вскричалъ Костинъ, выхвативъ у него тетрадь:— нашелъ время!.. Вася, спой, милый, съ Алешей, возвеселите душу мою. На̀ гитару, подстрой, да спойте хорошенькую. Ужъ немного намъ осталось и слушать-то васъ.

— Изъ вашего хора человѣкъ пять выйдутъ, сказалъ Слободской.

— Да, отвѣчалъ Никольскій, строя гитару:—регентъ нашъ совсѣмъ съ ума сошелъ, такъ въ скорби потерянный и ходитъ, не придумаетъ, кѣмъ замѣнить, кого избрать.

— Хорошенькую спойте, повторялъ Костинъ.

— Спойте вы одни, Алексѣй Алексѣичъ! сказалъ Никольскій.

Пѣвчіе не умѣютъ пѣть романсовъ, растягивая ихъ, будто духовную музыку; но русскія пѣсни выходятъ у нихъ удачно. Ива̀новскій спѣлъ «Иль у сокола крылья связаны» съ большимъ одушевленіемъ: онъ былъ въ голосѣ, а одно воспоминаніе, которое смутно мелькнуло и заставило его вспыхнуть, оживило его еще болѣе; ему почему-то казалось, что онъ пѣлъ не для однихъ только товарищей.

Костинъ притопывалъ и билъ тактъ; Слободской слушалъ съ удовольствіемъ, улыбаясь своей тихой улыбкой; Демкинъ отвернулся, будто смотря въ окно, и заливался горькими слезами; Зарѣчинскій былъ внимателенъ, казалось, больше наблюдалъ, нежели слушалъ; Миролюбовъ сидѣлъ неподвижно, смотрѣлъ прямо, какъ будто кругомъ него ничего не случилось.

— Эхъ, вздоръ-то какой! сказалъ онъ, когда Ива̀новскій кончилъ.

— Алеша? откуда вся сія! вскричалъ въ восхищеніи Костинъ.

— Вы сегодня пѣли съ какой-то особенной выразительностью, которой я не замѣчалъ у васъ прежде, сказалъ Зарѣчинскій.

— Вамъ понравилось? сказалъ Ива̀новскій, весело оправляя волосы и обмахиваясь платкомъ, какъ артистъ, сошедшій съ эстрады.

Для чего на свѣтъ
Глядѣть хочется?
Облетѣть его
Душа просится...

— Да, сказалъ Зарѣчинскій, улыбаясь осторожно, какъ будто у него было что-то на умѣ, впрочемъ, очень мягко и вѣжливо:—конечно, странно выражать свое мнѣніе, какъ Миролюбовъ; но мнѣ кажется, чтобъ пѣть такъ, надо себя нѣсколько ненормально настроить... или уже быть заранѣе настроену какимъ нибудь другимъ, тоже несовсѣмъ нормальнымъ ощущеніемъ...

— Ну что іезуитничать, Александръ Матвѣичъ? прервалъ его Костинъ:—молодъ человѣкъ—весело ему и поется... Вѣдь и вамъ понравилось? Чего вамъ скромничать? Признайтесь: хороша пѣсня?

— Да, повторилъ Зарѣчинскій съ той же улыбкой:—только я не нахожу, чтобъ она была особенно весела, и у Алексѣя Алексѣича, вѣроятно, есть причины спѣть ее такъ, какъ онъ ее спѣлъ.

— Что вы говорите? спросилъ Ива̀новскій, покраснѣвъ и сконфузясь:—нѣтъ, право, никакой нѣтъ причины: такъ, расположеніе духа.

— А вы его поддерживаете этой пѣсней, замѣтилъ Зарѣчинскій.

— Смѣшно, право! Ну, что такое пѣсня, сказалъ Миролюбовъ.

— А то, возразилъ Костинъ:—что ты ничего не понимаешь: ремень какой-то! Хоть бы молодость въ тебѣ была, удаль—и того нѣтъ!... Спой еще, Алеша, благо ты въ духѣ.

— Погодите, сказалъ Слободской:—я пойду, провѣдаю, что дѣлаютъ маленькіе; расшумѣлись что-то, неравно голову сломаютъ.

— Какой онъ заботливый! сказалъ Никольскій, когда Слободской вышелъ.

— Высокой души человѣкъ! замѣтилъ Демкинъ:—даже удивительно, какъ его на все достаетъ: своего дѣла столько, а онъ о всякой бездѣлицѣ заботится. Утромъ онъ у всѣхъ дѣтей уроки переспроситъ—безъ того въ классъ не отпуститъ—заставляетъ ихъ родителямъ писать. А какъ онъ кротокъ съ ними! Если который занеможетъ, онъ за нимъ, какъ нянька; что только можетъ, все имъ отдаетъ. Осенью сбирался шинель на вату положить, а вмѣсто того купилъ дѣтямъ сапоговъ, да такъ всю зиму и ходилъ въ холодной шинели...

— Онъ особенно одного маленькаго лю-

бить, сказалъ Алавдинъ:—онъ сирота; его хотятъ къ вамъ въ пѣвчіе взять.

— Знаю, сказалъ Никольскій, которому, какъ помощнику регента, поручалось выслушивать голоса у дѣтей.

— Мнѣ вчера Степанъ Александрычъ говорилъ, продолжалъ Алавдинъ:—«вотъ, я выйду, если пріѣду сюда какъ нибудь и увижу или узнаю, что вы Сережу оставили безъ попеченія—и не знайте меня, что я былъ вамъ товарищъ: навѣкъ съ вами разсорюсь...»

— Благородная душа! сказалъ Ивановскій:—во всякомъ участіе приметъ, всякаго утѣшитъ. Помните, когда еще эта исторія вышла: Павлова исключили...

— Павлову выдали аттестатъ, возразилъ Зарѣчинскій.

— Но кто выпросилъ аттестатъ? Его совсѣмъ исключали, безъ аттестата: просто, на волоскѣ висѣлъ.

— Помнимъ, сказалъ Демкинъ.

— Степанъ Александрычъ выручилъ... Кто бы рѣшился посмѣть? а онъ посмѣлъ. Послѣ класса, продолжалъ Ивановскій:—пошелъ къ отцу-ректору, бросился въ ноги и выпросилъ. Отецъ-ректоръ самъ сказывалъ недавно моему батюшкѣ, что не могъ такимъ просьбамъ отказать. Помните, вдругъ, неожиданно Павлова помиловали. Два года этому. Степанъ Александрычъ еще былъ тогда въ «философіи». Я говорю, у кого достанетъ столько смѣлости? Это самоотверженіе!

— Да, сказалъ Демкинъ:—и просто къ отцу-ректору позовутъ, такъ идешь, дверь отворяешь, душа дрожитъ.

— Степанъ Александрычъ просилъ отца-ректора не говорить объ этомъ, продолжалъ Ивановскій:—отецъ-ректоръ два года молчалъ, только къ слову разсказалъ батюшкѣ, потому что ужъ Слободской курсъ кончаетъ и долженъ скоро выйти. «Вотъ», говоритъ, «каковъ Слободской! Товарищи не знаютъ, чего они въ немъ лишаются!»

— Ужъ очень знаемъ! сказалъ Демкинъ.

— Самъ ума не приложу, какъ я съ нимъ разстанусь, сказалъ Костинъ:—какъ прощусь съ нимъ, залягу въ телѣгу, такъ онъ все будетъ у меня въ глазахъ представляться.

— Засни; не будетъ представляться, сказалъ Миролюбовъ.

— Ну, дѣло ты говоришь? вскричалъ Ивановскій.

— Конечно. Когда съ чистой совѣстью заснешь, такъ никакое тебѣ мечтаніе...

— Послушай, Миролюбовъ... началъ было Ивановскій.

— Отступись отъ него, Алеша! прервалъ Костинъ: — не трать драгоцѣннаго времени.

— И что же вы говорите о Степанѣ Александрычѣ! продолжалъ Миролюбовъ:—вѣдь онъ за недостойнаго просилъ: что же онъ такое сдѣлалъ хорошее?

— А то, что не далъ погибнуть человѣку... понимаешь? возразилъ Ивановскій.—Какое тебѣ дѣло—достойный или недостойный, да погибалъ онъ...

— Злое зло и гибнетъ, отвѣчалъ Миролюбовъ:—такъ назначено.

Ивановскій махнулъ рукой.

— Вотъ что, господа, сказалъ онъ:—пожалуйста, чтобъ это не дошло до Степана Александрыча, кому хотите говорите, только чтобъ онъ не узналъ. Если онъ хотѣлъ это скрыть, его воля: нечего его и возмущать; еще огорчишь его, пожалуй...

— Конечно, сказалъ Зарѣчинскій:—великодушный поступокъ находитъ вознагражденіе въ самомъ себѣ.

— Еслибъ его за все вознаграждать! сказалъ Демкинъ.—Намъ что говорить! Мы, все равно, знаемъ.

— Миролюбовъ, ты, пожалуйста, не проговорись.

— Вотъ, стало, онъ самъ чувствуетъ, что худо сдѣлалъ, когда боится обнаружить, возразилъ Миролюбовъ.

— Ну, худо ли, хорошо ли, молчи.

— Какъ же я молчать буду, когда я знаю?

— Такъ и молчи.

— Да вѣдь я знаю. Что я знаю, то долженъ объявить. Какъ же я могу скрывать? Когда я истину слышалъ, я долженъ истину всякому сказать.

— Ты будто не слышалъ.

— Да вѣдь я слышалъ.

— Ну, говори кому хочешь, только не Степану Александрычу.

— А почему не ему?

— Ахъ, бѣда съ тобой, Миролюбовъ! вскричалъ Ивановскій.

— Нѣтъ, братъ Алеша, съ этой головой дѣло кончено, сказалъ Костинъ. — А я тебѣ вотъ что скажу, Миролюбовъ: отецъ-ректоръ два года молчалъ, можешь и ты два мѣсяца помолчать, пока Степанъ Александрычъ еще съ нами. Поразмысли объ этомъ.

— Отецъ-ректоръ вчера бумагу получилъ: вызываютъ желающихъ отправиться при миссіи въ Восточную Сибирь, сказалъ Зарѣчинскій.

— Получена бумага? Степанъ Алексан-

дрычъ только этого и ждалъ! сказали вмѣстѣ Ивàновскій и Костинъ.

— Ахъ, ради Бога, не говорите ему! вскричалъ Демкинъ, въ отчаяніи.

— Не говорите ему, повторилъ Алавдинъ.

— Все равно, отецъ-ректоръ ему скажетъ, возразилъ Зарѣчинскій. — Развѣ онъ такъ твердо рѣшился?

— Спитъ и видитъ уѣхать съ миссіей, отвѣчалъ Демкинъ: — теперь ужъ кончено: онъ уѣдетъ. У него только одна сестра, живетъ у родственниковъ. Степанъ Александрычъ говоритъ: «Кто изъ товарищей меня любитъ, тотъ на ней женится; а меня отпустите трудиться, какъ Богъ на сердце положилъ, на настоящій подвигъ...»

Демкинъ не договорилъ. Что-то удержало его броситься лицомъ на постель при Зарѣчинскомъ. Онъ убѣжалъ въ маленькую комнату и захлопнулъ двери.

Слободской возвратился въ эту минуту.

— Что же, господа, не поете? спросилъ онъ, между тѣмъ какъ товарищи почти всѣ невольно взглянули на него тѣмъ страннымъ прощальнымъ взглядомъ, выражающимъ и безпокойство, и привязанность, и любопытство, взглядомъ, которымъ смотрятъ на людей, чья участь уже рѣшена. — Печальное извѣстіе вамъ приношу: хозяйка наша ушла со двора—ужинать долго не дождемся; а кто не обѣдалъ... прибавилъ Слободской, разсмѣявшись, Костину.

— Ну, что же! отвѣчалъ Костинъ:—такъ и быть.

— Покормите его пѣсенками, продолжалъ весело Слободской.

— Нѣтъ, что-то не хочется пѣть, сказалъ Ивàновскій.

— Не читали ли вы новыхъ газетъ, Александръ Матвѣичъ? У насъ нумеръ отъ профессора съ прошлой почты. Мы его наизусть выучили.

— Новыя развѣ теперь только принесли, отвѣчалъ Зарѣчинскій:—почта въ пять часовъ пришла.

— Дай Богъ какого нибудь утѣшительнаго извѣстія, продолжалъ Слободской:—съ такимъ нетерпѣніемъ всегда ожидаешь. — Нѣтъ ли чего въ нашемъ мірѣ новенькаго, у васъ въ редакціи? обратился онъ къ Никольскому:—вѣдь вчера была суббота. Если нумеръ журнала вышелъ, благоволите дать прочесть.

— Отличный нумеръ вышелъ, отвѣчалъ Никольскій, которому этотъ предметъ былъ слишкомъ близокъ къ сердцу:—мы даже не жоидали: кто къ экзамену готовится, а кто гуляетъ, погода стоитъ хорошая, такъ что думали, бѣда: ничего не наберется къ субботѣ, а вышло прекрасно.

— Я слышалъ объ этомъ журналѣ, сказалъ Зарѣчинскій:—но онъ мнѣ никогда не встрѣчался.

— Какъ же, отвѣчалъ Слободской: — наши философы издаютъ, уже съ полгода.

— И богословы удостоиваютъ—участвуютъ, сказалъ Никольскій.

— Они очень скромны: скрываютъ это, объяснялъ Слободской Зарѣчинскому: — къ тому же, знаете, если узнаютъ, скажутъ, что не дѣломъ занимаются, время тратятъ... А впрочемъ, право, на все довольно—и на уроки, и на журналъ.

— Кто у васъ редакторомъ? спросилъ Зарѣчинскій.

— Александръ Дмитричъ Спасскій.

— А, изъ философіи, казенный ученикъ.

— Мы и сбираемся у него, въ казенномъ корпусѣ, по субботамъ послѣ всенощной.

— Что же есть во вчерашнемъ нумерѣ? спросилъ Слободской.

— Разборъ статей прошлаго нумера. Мы сами себя разбираемъ, прибавилъ Никольскій, обратясь къ Зарѣчинскому:—ужъ какъ строго, безпристрастно. Продолженіе повѣсти «Странная встрѣча».

— Еще не кончена? спросилъ Слободской.—Прелюбопытная повѣсть.

— Да. Незнакомку тамъ помните? Она еще является на балѣ подъ покрываломъ... балъ у графа описанъ... вотъ вы прочтете. Потомъ «Вечерняя бесѣда съ бабушкой», воспоминанія дѣтства. Съ большимъ чувствомъ разсказано... какъ одинъ изъ нашихъ, изъ ритористовъ, шелъ на вакаціи, легъ на дорогѣ заснуть, проснулся, забылъ, въ какую сторону легъ головою: назадъ и пошелъ... Но лучшая статья, и еще будетъ продолженіе, это «Замѣтки будущаго доктора». Авторъ сообщаетъ, какъ онъ, будучи на вакаціи, въ деревнѣ, во время холеры, наблюдалъ разные случаи въ медицинскомъ отношеніи и въ нравственномъ, какое вліяніе имѣлъ страхъ болѣзни на умы, на характеры и на самое здоровье поселянъ; приводитъ примѣры, излагаетъ свои мысли... Потомъ есть «Нѣсколько словъ» отъ редактора. «До насъ дошло, что надъ нашимъ журналомъ смѣются: говорятъ, это такъ, школьныя затѣи». Редакторъ возражаетъ... мы его слова наизусть выучили... «что эта затѣя есть выраженіе подѣлиться трудомъ и мыслью». А дальше онъ говоритъ... мы въ восхищеніе приходили... «Можетъ быть»,

говоритъ онъ, «у многихъ изъ насъ мелькнетъ какая нибудь новая, благородная мысль. Онъ долженъ спѣшить скорѣе ее высказать и передать другимъ. Она, можетъ быть, не возвратится, не повторится, и оттого, что она не будетъ передана, пропадетъ частица общаго достоянія мысли, вложенной Творцомъ каждому порознь, для того, чтобъ всѣ старались сливать ее воедино...»

— Хорошо, тепло! сказалъ Слободской.

— Немного восторженно, замѣтилъ Зарѣчинскій.

— Вотъ это вытвердилъ, сказалъ Миролюбовъ: — отъ точки до точки прочелъ, а какъ урокъ говорить, такъ все свои выраженія путаешь.

— Стихотворенія есть? спросилъ Слободской.

— Очень много. Особенно понравилось одно: «Латынь и семинаристъ».

— Ахъ, прочти, сдѣлай милость.

— Всего не помню.

— Хоть немножко.

— Сначала, какъ слѣдуетъ, воззваніе:

«...Изъ мрачныхъ пропастей Аида,
Къ намъ въ бурсу, Цицеронъ, явись!

Ну, и другіе великіе мужи. Потомъ говорится о ихъ славѣ.

...И классъ ученныхъ съ уваженьемъ
Вамъ въ краснорѣчьи подражалъ;
Одинъ, одинъ лишь съ небреженьемъ
Васъ безъ пощады искажалъ—
Рукой дрожащею марая
Послѣдній свой бумаги листъ
И клики славы презирая,
Вевславилъ васъ семинаристъ!
Онъ презрѣлъ синтаксисъ, просодью,
Всѣхъ правилъ пользу отвергалъ...
. . . .
Ломалъ по-своему склоненья,
Склонялъ онъ даже и предлогъ;
Пощады не было спряженьямъ—
Гнулъ sum въ страдательный залогъ.
Клянусь локуцьей infinito,
Клянусь герундіей на dum,
Клянуся всѣмъ, что мной забыто,
И всѣмъ, что помню наобумъ,
Что самый тартаръ злѣй мученій
Не могъ для грѣшныхъ изобрѣсть!
Но до чего ожесточенье
Не можетъ бурсака довесть!
. . . .
Въ бесѣдѣ межъ своихъ собратій
Или одинъ, когда мечталъ,
Онъ ядъ насмѣшекъ и проклятій
На прахъ вашъ славный изрыгалъ.
Вѣнцами вашими играла
Его отважная рука.
Въ жару похмѣлья, свысока,
Она отцу-дьячку писала:
— «Какая цѣль и наслажденье
И re и ire изучить
И сотней варварскихъ спряженій
И умъ и память отягчить?
Какое для ума стяжанье
Знать bonus homo просклонять,
Иль на латинскія названья
Родную рѣчь перевирать?
Иль мало на Руси родимой
Замашистыхъ и бойкихъ словъ,
Чтобы мѣнять языкъ любимый
На рѣчь отжившихъ ужъ вѣковъ?
Или бурсакъ на то родится,
Чтобъ вздоръ старинный разбирать?
Или онъ въ дѣло не годится,
Когда не знаетъ do спрягать?
Кто счесть трехъ русскихъ не умѣетъ,
Хоть сотни знай латинскихъ вракъ,
Тотъ все равно не поумнѣетъ,
Зовись хоть stultus, хоть дуракъ.
Не лучше-ль силы, умъ и время
На трудъ полезный посвятить
И жизни тягостное бремя
Наукой свѣтлой облегчить?
Къ познаньямъ съ жаждою высокой
Природы свитокъ развернуть,
Въ тайникъ души своей глубокій
Пытливымъ окомъ заглянуть,
Или исторіи страницы
Временъ минувшихъ пробѣгать,
Свѣряя были съ небылицей,
Героевъ славу изучать,
Или возвышенно стремиться
Умомъ къ Причинѣ всѣхъ причинъ,
Познать природы стройный чинъ
И въ тайны Божьи углубиться?
Великихъ истинъ глубина
И сердцу, и уму отрада;
Святая мудрость лишь одна
Трудовъ достойная награда!..»

— Ахъ, славно, славно! вскричали въ голосъ почти всѣ товарищи.

— Довольно плоская шутка! замѣтилъ Зарѣчинскій.

— Еще какіе стихи? спросилъ Костинъ.

— Одно большое, на послѣднія военныя событія... другое мое.—Я, впрочемъ, не свои чувства въ немъ выражалъ, прибавилъ Никольскій, поспѣшно и смѣясь: — меня просили написать.

— Влюбленъ кто нибудь изъ вашихъ? сказалъ Слободской, догадавшись и смѣясь тоже.

— Свѣтловъ, что ли? спросилъ Костинъ.

— Некогда ему: слишкомъ занятъ; теперь ему въ пору развѣ въ догматику, да въ гомилетику влюбиться.

— Ну, Маргаритинъ?

— Гдѣ ему!

— Онъ, говорятъ, стихи пишетъ: «Полину» какую-то.

— Это такъ, миѳъ.

— Да ты для кого же написалъ стихи?

— Меня просили.

— Мнѣ кажется, замѣтилъ Зарѣчинскій, взглянувъ на Ивановскаго, который, сконфузясь, схватился за тетрадь Алавдина: —

мнѣ кажется, не совсѣмъ полезно волновать себя чужимъ волненіемъ, выражая чувства другого, будто свои собственныя... Какъ вы думаете, Алексѣй Алексѣичъ?

— Вы говорите о стихахъ Никольскаго? спросилъ Ивановскій.

— Да. Для чего погружать свою душу въ чужія заблужденія? Это предосудительно.

— Но вотъ Алавдинъ третій день погружаетъ свою душу въ сребролюбіе, возразилъ Ивановскій:—вы не находите, что это предосудительно.

— То, видишь ли, сребролюбіе! прервалъ Костинъ, смѣясь.

— Но развѣ любовь дурное чувство? сказалъ Ивановскій, краснѣя.

— А ты думаешь, хорошее! вступился Миролюбовъ.—Эхъ, зачитались вы стиховъ, да не знаю, чего...

— Алавдинъ разбираетъ и осуждаетъ, возразилъ Зарѣчинскій: — но авторъ стиховъ, вѣроятно, не осуждаетъ заблужденія, которое описываетъ...

— Нисколько! вскричалъ, смѣясь, Никольскій:—заблужденіе привлекательно!

— Хорошо ли умышленно возмущать свою душу, и, можетъ быть, даже насильно, когда душа противится и не желаетъ возмущаться...

— Охъ, какъ тонко! вскричалъ Костинъ.

— Мнѣ кажется, вы ужъ слишкомъ серьезно берете, возразилъ Ивановскій, сконфуженный:—это шутка.

— Тѣмъ хуже, сказалъ горячо Зарѣчинскій: — что за игра притворяться виновнымъ, шутки ради возбуждать въ себѣ мысли, которыя безъ того, можетъ быть, никогда не явились бы!.. Быть порочнымъ дурно; но подстрекать себя на порокъ—недостойно.

— Любовь не порокъ, тихо возразилъ Слободской.

— Однако, и не добродѣтель, отвѣчалъ Зарѣчинскій, вспыхнувъ въ свою очередь.

— Что такъ строго, Александръ Матвѣичъ? сказалъ Костинъ:—вѣдь и у васъ сердце не камень. Каяться, такъ ужъ всѣмъ вмѣстѣ... смиренничать нечего...

— Никто не смиренничаетъ, возразилъ Зарѣчинскій очень серьезно.

— Нѣтъ, вы въ самомъ дѣлѣ строги, прервалъ Ивановскій, оправляясь отъ смущенія:—если до послѣдней тонкости разбирать каждый поступокъ, то можно все найти предосудительнымъ; а многое дѣлается такъ, просто, безъ всякой мысли, ни дурной, ни хорошей.

— Вы сейчасъ только спорили за необходимость размышленія, сказалъ Зарѣчинскій, улыбнувшись спокойно и, чтобъ лучше напомнить, показывая на Миролюбова.

— Да... но не въ томъ смыслѣ.

— Я слышалъ. Къ наукѣ вы желаете примѣнить размышленіе, потому что оно расширяетъ науку; въ жизни — вы его отклоняете, чтобъ оно не стѣсняло жизни. Вамъ вообще хочется больше простора... Вы выразили это даже романсомъ, который сейчасъ пѣли.

— Такъ что же? сказалъ Ивановскій.

— Ничего, отвѣчалъ тихо и серьезно Зарѣчинскій: — кажется, мы не къ тому готовимся.

— Всякому своя дорога, сказалъ Слободской, на котораго Ивановскій взглянулъ съ ожиданіемъ.

— Возьмите въ разсчетъ и темпераментъ, началъ Костинъ.

— А ужъ ты свое: «темпераментъ!» прервалъ Миролюбовъ:—у тебя больше и разумъ помутился отъ медицины.

— Вы—человѣкъ холодный, продолжалъ Костинъ, обращаясь къ Зарѣчинскому: — вамъ, пожалуй, ничего, пріятно пойти къ старой княгинѣ, читать ваше поученіе, а Алеша во снѣ увидитъ беззубую старуху, такъ лихорадку схватитъ, спросите его. Для него необходимо развлеченіе...

Зарѣчинскій улыбался.

— Спорить нечего, сказалъ онъ,—вы и я уже рѣшились идти по разнымъ дорогамъ... А вы рѣшились какъ нибудь, Алексѣй Алексѣичъ?

— Нѣтъ еще, отвѣчалъ Ивановскій.

— И, какъ мнѣ кажется, даже вовсе не думаете о будущемъ? Не мѣшало бы, однако, подумать: ваше положеніе неблистательно...

— Отстаньте, пожалуйста! что вы ко мнѣ привязались? прервалъ Ивановскій: — я дѣлаю что хочу, и вамъ до этого нѣтъ дѣла.

Зарѣчинскій, не отвѣчая, отвернулся къ Слободскому.

— Что ты пылишь? сказалъ тихо Костинъ Ивановскому.

— Да что онъ обрѣзаетъ на каждомъ словѣ? Іезуитъ! Терпѣть его не могу!

— Конечно, человѣкъ съ разсчетомъ, сказалъ Костинъ: — будетъ щеголять въ черномъ атласѣ; въ лаковыхъ сапожкахъ; въ моду попадетъ...

— Ну его! прервалъ Ивановскій.

Демкинъ вышелъ изъ своего заключенія

и присоединился къ нимъ. Алавдинъ въ уголку что-то съ жаромъ разсказывалъ Никольскому. Никольскій захохоталъ.

— Веселъ: видно, дѣла свои обдѣлалъ, сказалъ Слободской Алавдину. — Справили разсужденіе?

— Какое разсужденіе, Степанъ Александрычъ! отвѣчалъ Никольскій: — онъ мнѣ открылъ, почему оно ему на умъ нейдетъ...

Алавдинъ толкалъ его, чтобъ онъ молчалъ.

— А что?

— Вы его спросите. Онъ вчера пошелъ посмотрѣть гулянье въ публичномъ саду. Тамъ, въ галереѣ, были танцы; а онъ отъ роду танцевъ не видалъ...

— Ахъ, какъ хорошо! вскричалъ Алавдинъ, не въ силахъ болѣе скрывать своего восхищенія: — барышни въ шляпкахъ, а мужчины рука съ рукой, и музыка... То схватятся за руки, то разойдутся. Вдругъ затихнетъ: музыка перестанетъ; а я думаю: теперь, значитъ, будетъ новое, еще, должно быть, перемѣна. И кружатся. Я стоялъ далеко. Кругомъ народъ; меня толкаютъ. Я думаю: какъ хочешь меня толкай, не отойду. И еслибъ туча шла, хоть всего меня вымочи, не пойду. Смотрю... Ну, просто, огни разноцвѣтные зажжены, въ глазахъ все мелькаетъ... Господи, я думаю, еслибъ я могъ пройти ближе, ближе-то ихъ увидѣть! на чемъ они ходятъ? неужели они не по воздуху летятъ?... И такъ, и такъ руками... Какъ, должно быть, имъ весело!

— Неужто ты никогда не видалъ, какъ танцуютъ? спросилъ Ивановскій.

— Гдѣ же мнѣ видѣть, Алексѣй Алексѣичъ? Вы пѣвчіе, вы на свадьбахъ бываете — видите, или въ гости куда пойдете; а вѣдь я въ городѣ всего другой годъ: только и знаешь дороги—въ классъ да изъ класса... Вы здѣсь, въ губернскомъ городѣ, родились и выросли, Алексѣй Алексѣичъ; а насъ, какъ изъ уѣздовъ привезутъ, подгородныхъ... Вы посмотрите, мы точно овцы угорѣлыя; намъ все въ диковинку... Иной идетъ по улицѣ, смотритъ, на тумбочку присядетъ... Колькольня — онъ и на нее глядитъ: и та ему нужна, онъ такой вовѣкъ не видалъ... А ужъ какъ увидитъ что на дверяхъ, надъ классомъ. «Среднее отдѣленіе» золотомъ написано, такъ и обомлѣетъ...

— Что же, какъ же танцовали? прервалъ Костинъ, заливаясь смѣхомъ.

— Во снѣ того не увидишь! продолжалъ Алавдинъ все съ возростающимъ восторгомъ:—я думаю... Господи, думаю, хорошо, что завтра нѣтъ класса, а то бы ужъ вовсе пропалъ, вовсе бы ничего не вспомнилъ... Такъ бы и погибъ!

— Видишь, какъ искусился! А ты зачѣмъ искушался, зачѣмъ шелъ-то туда? сказалъ Миролюбовъ.

— Какъ же не пойти? вскричалъ Алавдинъ: — Господи, какъ тамъ хорошо! И что это такое? И можетъ ли быть еще лучше...

— Совсѣмъ потерялся! прервалъ Миролюбовъ:—вотъ отчего вы нынѣ и возню такую подняли. Какъ же: нынѣ послѣ обѣда всѣ товарищи разошлись, продолжалъ онъ, обратясь къ Зарѣчинскому:— я легъ отдохнуть въ той комнатѣ; думаю, Алавдинъ тутъ сидитъ, занимается, задачку пишетъ. Вдругъ слышу, поднялось! Трескъ, гласы! кони и всадники тутъ и все воинство! Я вскочилъ, устремился, смотрю: Алавдинъ да другой съ нимъ за руки взялись да по всей комнатѣ мечутся, кружатся, молча, только земля подъ ними сотрясается, отъ праха облаки выходятъ...

— Они танцовали! вскричалъ Ивановскій: — кто же другой съ тобой, Алавдинъ?

— Я голосъ возвысилъ, продолжалъ Миролюбовъ среди общаго хохота: — куда вы, говорю, нечестивые? стойте! что вы творите? И не внемлютъ: такъ погружены въ занятіе; а вдругъ, какъ меня взвидѣли, изъ комнаты вонъ, въ сѣни, и оба скрылись и уже не показывались...

— Кто же еще съ тобой танцовалъ? повторилъ Ивановскій.

— Ни за что не скажу! вскричалъ Алавдинъ, застыдясь, и убѣжалъ изъ комнаты.

— Вотъ они все такъ, въ бѣгство обращаются, продолжалъ Миролюбовъ, одинъ гнѣвный и серьезный, между тѣмъ, какъ всѣ хохотали:—а я подозрѣваю, что Православовъ былъ. Дядя его въ палатѣ служитъ, семья большая, и вечеринки у нихъ бываютъ: юноша насмотрѣлся, за образецъ себѣ принялъ и товарища совращаетъ... Вамъ бы въ это вступиться должно, Степанъ Александрычъ.

— Что же мнѣ вступаться? возразилъ Слободской:—велика ли бѣда, что мальчикъ ноги расправитъ, попрыгаетъ.

— А помыслы, помыслы-то у нихъ какіе?

— Да никакихъ. Что поплясать, что змѣя спустить—все равно, сказалъ Слободской.

— Видите, все равно! Нѣтъ, не равно!... Онъ забалуется, въ науку-то онъ и вовсе не вникнетъ...

— А ты, никакъ, и вовсе никогда не баловался! прервалъ Костинъ.

— Онъ, пожалуй, и самъ выучится, да на вечеринку пойдетъ...

— Ну, и пойдетъ! сказалъ Костинъ:—что же за бѣда?

— Неприлично, замѣтилъ Зарѣчинскій.

— Что неприлично, Александръ Матвѣичъ? возразилъ Костинъ: — если бы мы всѣ рѣшились и готовились, какъ вы, удалиться отъ міра сего суетнаго, то, пожалуй, неприлично. А мы идемъ по разнымъ путямъ—кто въ военную службу, кто въ статскую, кто въ доктора — по всѣмъ путямъ. Мы будемъ въ свѣтѣ, въ обществѣ...

— Такъ тебя туда и пустятъ! прервалъ Миролюбовъ.

— За это я, братъ, тебѣ, отвѣчаю, что пустятъ, возразилъ Костинъ. — Не будь глупъ, веди себя благородно, такъ свѣтъ съума не сошелъ гнать отъ себя людей. Что же намъ себя истуканами держать? Гляди на другихъ, слушай что говорятъ и учись!

— А покуда выучишься? сказалъ Ивàновскій.

— Э, Алеша, отъ тебя-то это досадно слышать! Еще ты скажешь, что въ свѣтъ не годишься! На то Богъ разумъ далъ—перенимай. У насъ, конечно, съ дѣтства гувернеровъ не было... Хороши иные выходятъ и отъ гувернеровъ! Я сегодня видѣлъ эти «надежды родительскія». Выучиться, какъ на диванѣ сидѣть да кадриль плясать — велика наука! Глупости я, надѣюсь, не скажу, чтобъ мнѣ краснѣть...

— Какой смѣлый! сказалъ Ивàновскій.

— Алеша, не коварствуй: не люблю. Ты самъ такой же смѣлый!

— Гордости-то, гордости нѣсть конца! сказалъ Миролюбовъ.

— Это, по-твоему, гордость?

— Нѣтъ, возразилъ Ивàновскій:— но ты мечтатель. Ты надѣешься на привѣтливость, на пріязнь; а свѣтъ такъ строгъ, такъ холоденъ...

— Кажется, вы сомнѣваетесь въ томъ, чего даже совсѣмъ не знаете, сказалъ Зарѣчинскій, своимъ пристальнымъ взглядомъ заставивъ Ивàновскаго покраснѣть.—Извините, продолжалъ онъ, обратясь къ Костину:—но мнѣ тоже кажется, вы очень честолюбивы...

— А мнѣ кажется, что вы честолюбивѣе меня, возразилъ Костинъ:—мои планы, мои замыслы—лишь бы прожить для ближнихъ небезполезно и самому весело; а вы... Александръ Матвѣичъ! неужели вы не молоды и вамъ не жаль себя? И если бы вы по чувству, по искреннему убѣжденію... если бы ваша душа стремилась, отрѣшившись отъ всего; а вѣдь ваша цѣль... Я не знаю, вы меня извините, мнѣ кажется, тутъ и эгоизмъ, и желаніе, чтобъ вамъ удивлялись...

— Не твое дѣло толковать, прервалъ Слободской серьезно и вмѣстѣ кротко, слегка ударивъ Костина по плечу, и прибавилъ тихо, отведя его въ сторону: — ты не знаешь, что думаетъ Александръ Матвѣичъ? Ты видишь, что онъ поступаетъ хорошо—не ищи дурного помысла...

— Да вѣдь сомнительно, Степанъ Александрычъ...

— Сомнительно, такъ тѣмъ болѣе не ищи. Если дурной помыселъ есть, нечего радоваться находкѣ; а если его нѣтъ, тебѣ же стыдно, что искалъ.

— Охъ, Степанъ Александрычъ, еслибъ не вы говорили!

— Вотъ онъ такъ въ Охотскѣ проповѣдывать станетъ, сказалъ Миролюбовъ, который подслушалъ.

— Къ намъ еще гости идутъ, прервалъ громко Демкинъ, между тѣмъ какъ двѣ темныя фигуры, проходя мимо, заслоняли свѣтъ всѣхъ трехъ оконъ, одно за другимъ.

— Милости просимъ, сказалъ Слободской, идя къ двери.—Кто пожаловалъ?

— Тотчасъ перебилъ, тотчасъ, шепталъ Миролюбовъ Зарѣчинскому, указывая на Демкина:—боялся, что я о миссіи скажу.

VII.

Въ комнату вошли двое молодыхъ людей.

— Узнаете ли, спросилъ одинъ изъ нихъ.

— Березовъ! Иванъ Павлычъ! сколько лѣтъ не видались! вскричали товарищи, окружая его.

— Два года, господа—и того довольно!—съ самаго моего выпуска.

— Давно ли пріѣхали? съ кѣмъ? зачѣмъ? да отвуда пріѣхали?

— Все скажу, погодите. Пріѣхалъ сегодня поутру, одинъ, не зналъ гдѣ васъ найти, и вотъ сейчасъ встрѣтилъ на улицѣ Невзорова: онъ меня къ вамъ привелъ.

Березовъ былъ только однимъ выпускомъ старше товарищей, но казался гораздо старѣе своихъ лѣтъ. Черты его лица, не блѣднаго, но безцвѣтнаго, были крупны и сухи; а впалые сѣрые глаза и густые, коротко остриженные черные волосы придавали всей физіономіи что-то строгое и не совсѣмъ пріятное. Березовъ былъ высокъ и гнулся по семинарской привычкѣ. Впрочемъ, онъ былъ уже не очень похожъ на семинариста, хотя въ то же время его нѣсколько рѣзкое обра-

щеніе не было похоже на изнѣженное обращеніе Зарѣчинскаго. Березовъ былъ одѣтъ съ замѣтнымъ и неловкимъ подраженіемъ модѣ, съ тѣмъ желаніемъ «не отстать отъ другихъ», при которомъ необходимо такъ много такта. Онъ смотрѣлъ человѣкомъ, увѣреннымъ въ себѣ и обезпеченнымъ... Невзоровъ, семинаристъ, пришедшій съ Березовымъ, составлялъ съ нимъ совершенную противоположность. Его лицо было болѣзненно, изнуренно, но беззаботно весело; какая-то отвага всѣхъ движеній производила впечатлѣніе грустное и непріятное. Онъ былъ жалокъ, не возбуждая сочувствія. Онъ былъ не бѣднѣе многихъ своихъ товарищей; но ни въ комъ изъ нихъ такъ рѣзко не выказывалась бѣдность, не скрытая ни привычкой къ порядку, ни гордой совѣстливостью, ни щегольствомъ молодости: Невзоровъ былъ одѣтъ небрежно, даже грязно. Онъ какъ будто на все махнулъ рукой, живя день-за-день, не чувствуя въ себѣ силъ ни терпѣть, ни бороться, не думая ни о чемъ слишкомъ серьезно, безпорядочно тратя все, что имѣлъ. Товарищи, знавшіе его ближе, любили его за добрую душу. Впрочемъ, и между ними были судьи очень строгіе: въ этотъ вечеръ, между тѣмъ какъ весь кружокъ привѣтливо подалъ руку Невзорову, Зарѣчинскій поклонился ему, какъ едва знакомый.

— Что новаго, господа? — какія перемѣны? — кто куда выходитъ? спрашиваетъ Березовъ.

— Вы прежде о себѣ скажите, о насъ послѣ. Выходимъ куда Богъ дастъ; всѣ перемѣны еще впереди.

— Я — въ медико-хирургическую, сказалъ Костинъ.

— Я—въ духовную, сказалъ Зарѣчинскій.

— Это какъ и слѣдовало ожидать, сказалъ Березовъ.

— Такъ я вамъ объявлю неожиданное, сказалъ Невзоровъ: — я съ тѣмъ шелъ къ вамъ, господа. Я женюсь.

— Какъ, что? — женишься? вскричали всѣ.

— Да, женюсь и посвящаюсь.

— Мѣсто есть? спросилъ Миролюбовъ.

— Есть.

— Хорошее?

— Да такъ. Въ село Яблонево... знаете?

— Знаю, знаю, подхватилъ Миролюбовъ:—тамъ отецъ Николай за дочерью отдаетъ, самъ на покой просится.

— Все знаетъ! вскричалъ Костинъ.

— Хороша ли невѣста?

— Видѣлъ ли ты ее?

— Какъ ее зовутъ?

— Зовутъ ее Ксенія. Сегодня ходилъ ее смотрѣть: она сюда въ городъ къ теткѣ пріѣхала... Что ужъ говорить, господа, очень нехороша!

— Ну, ужъ это, братъ, хуже всего! сказалъ Костинъ.

— Образованная? спросилъ Демкинъ.

— Захотѣлъ еще! — сельская поповна... Читать, кажется, умѣетъ.

— А тебѣ хочется съ французскимъ языкомъ? прервалъ Миролюбовъ. — Какая, подумаешь, суета во всѣхъ!

— А ты, кажется, ничего въ эти два года не измѣнился, замѣтилъ Березовъ Миролюбову.

— Чего ему мѣняться, возразилъ Костинъ:—и такъ хорошъ!

— Все-таки ты разговаривалъ съ невѣстой? спросилъ Ивановскій:—умна?

— Незамѣтно, отвѣчалъ Невзоровъ.

— Можетъ быть, конфузилась... Скромность всего пріятнѣе въ женщинѣ. Можетъ быть, она добра...

— А кто ее знаетъ!

— Какъ же ты рѣшаешься? сказалъ Слободской:—вѣдь это на всю жизнь...

— Какъ нибудь проживу.

— Но ты и наклонности не имѣлъ къ духовному званію?

— Что-жъ дѣлать! видно такъ ужъ суждено.

— Вотъ, видите, благоразуміе! вскричалъ Миролюбовъ: — именно такъ суждено! Еще превыше дѣда твоего станешь: дѣдъ твой всего только былъ дьячокъ. Отъ чрева матери такъ промыслъ и ведетъ человѣка.

— Какой его промыслъ велъ? прервалъ Демкинъ: — мы его жизнь знаемъ, наклонности знаемъ...

— Мудрствованіе-то отложите! Что-жъ ему, вотъ какъ ты, идти въ солдаты? «Недостоинъ» да «не могу»?

— Какъ же это устроилось? спросилъ Слободской Невзорова, прерывая этотъ споръ, который всегда сильно огорчалъ Демкина.

— Такъ, устроилось. Ея родственники имъ про меня сказали, отыскали меня, говорятъ мнѣ. Я... Такая минута нашла: я нѣсколько дней себя отъ тоски не помнилъ; за квартиру хозяинъ пристаетъ, тамъ еще задолжалъ... обстоятельства самыя дурныя, обратиться не къ кому: вы, я знаю, сами безъ копѣйки сидите... Я и говорю: что-жъ, пожалуй, говорю, я пойду на то мѣсто...

— Это просто счастье тебѣ! вскричалъ

Миролюбовъ: — усадьба есть, земля есть... Домъ есть у нея, у невѣсты?

— Есть... Я подумалъ... Да, чего! я и не думалъ! Право, обстоятельста одолѣли, господа! Смерть, скука. Отдохнешь, по крайней мѣрѣ. Не будешь хоть мерзнуть въ нетопленой свѣтелкѣ, да глодать корки вчерашнія. Насъ у тятеньки восемь сыновей, я старшій, вы знаете. Тятенька дряхлъ, слабъ становится; а надо еще всѣхъ кормить. Что-жъ, мои наклонности... Ну, я самъ знаю, дурныя наклонности... Да какія бы онѣ ни были, или какую скромную жизнь ни веди, все одно: сберегать нечего, домашняго пособія, грошей этихъ, и на хлѣбъ недостаетъ. Кондиціи взять—показаться не въ чемъ. Сегодня, невѣсту эту смотрѣть выпросилъ пальто у товарища, тотъ взялъ у портного недошитое, вметали рукава на живую нитку: такъ и щеголялъ передъ Аксиньей Николавной!— Смѣшно, господа, продолжалъ онъ, между тѣмъ какъ Березовъ смѣялся:—смѣшно, а смерть! Здоровье разстрилось, молодость уходитъ... Конечно, и тамъ какая ужъ молодость: обяжешься женой, семьей, всѣмъ!... Ну, да хоть спать будешь не на голой лавкѣ!

— Но какъ же такъ, какъ же, не подумавъ... говорилъ Слободской съ недоумѣніемъ и сожалѣніемъ.

— Что же, видно, въ самомъ дѣлѣ, такая судьба, сказалъ Костинъ.—Поздравляемъ, братъ! Устройся себѣ, да живи покойно.

— Проживу, конечно... Тамъ, на селѣ, ярмарка бываетъ, на Казанскую... Да, кто же мнѣ велитъ все дома сидѣть? Я и сюда, въ городъ, буду пріѣзжать... старое вспомянуть.

— А знаешь, что̀ тому, кто старое вспоминаетъ? возразилъ Костинъ:—нѣтъ, это ужъ не приходится.

— За то, на покоѣ, посмотрите какъ поправлюсь: растолстѣю, въ дверь не войду. Такъ Аксиньѣ Николавнѣ и объявлю заранѣе, чтобъ рясы съ запасомъ шила.

— Богъ съ тобой, если ужъ такъ ты рѣшился, сказалъ Слободской:—только, пожалуйста... поудержись. Ты, тамъ, хоть занимайся, пиши, если время будетъ свободное.

— Что ему тамъ писать? спросилъ Миролюбовъ:—село однодворческое: исполнилъ требы и сядь себѣ. Еслибъ господа тамъ были, а то крестьяне: ихъ что поучать—многаго не требуется...

— Видишь, какъ! прервалъ Слободской:— господамъ нужно, а крестьянамъ не нужно!

— Онъ хотѣлъ сказать не то, возразилъ Зарѣчинскій, прерывая свое долгое молчаніе:—у поселянъ понятія не развиты; краснорѣчіе доступнѣе понятіямъ высшаго сословія, которое лучше можетъ оцѣнить познанія и умъ того, кто поучаетъ. Поселянамъ довольно слегка, что нибудь...

— Извините, Александръ Матвѣичъ, прервалъ Слободской:—господа и безъ того ѣдятъ бѣлый хлѣбъ, а крестьяне мякину. По крайней мѣрѣ, мы словомъ Божіимъ одѣлимъ ихъ равно. Наше дѣло говорить такъ, чтобъ насъ понимали.

— Тамъ, впрочемъ, есть помѣщики, сказалъ Невзоровъ:—но они не живутъ въ селѣ, изрѣдка пріѣзжаютъ.

— Ну, потеря невелика! сказалъ Березовъ:—я на помѣщиковъ насмотрѣлся—два года съ ними пожилъ.

— Да! вы еще ничего о себѣ не разсказали, Иванъ Павлычъ! Мы, вотъ, его заслушались.

— Разскажите сначала.

— Сначала... Да что, непріятная исторія, и вся-то въ двухъ словахъ. Вы знаете, меня рекомендовалъ отецъ-ректоръ учителемъ въ домъ къ одному господину Арбенину. Двое сыновей у него; при нихъ дядька нѣмецъ, гувернеръ французъ: надо было кому нибудь учить ихъ по-русски. Богатые люди...

— Отлично образованные люди, и мужъ, и жена, я слышалъ, сказалъ Зарѣчинскій.

— Да, отлично образованные! отвѣчалъ Березовъ. — Эта деликатная дама, вся въ кружевахъ, въ шелку, родственники и друзья все знать, она меня одолжила на первый день моего пріѣзда: при постороннихъ, громко, приказала, чтобъ я не смѣлъ пить водки.

— Боже мой! вскричалъ Ивановскій, въ ужасѣ хватаясь за волосы.

— Какъ, знатная дама? сказали въ голосъ Костинъ и Демкинъ.

— Я сгорѣлъ, продолжалъ Березовъ:—я тогда новичокъ былъ, въ страхѣ; да еще отецъ-ректоръ меня отрекомендовалъ: я боялся, что до него дойдетъ; а то бы я ей отвѣтилъ... Впрочемъ, господа, что храбриться? привыкаешь какъ-то къ безотвѣтности. Душа возмущается, а молчишь, все молчишь, ждешь, авось и мой часъ придетъ. Слуги, дѣти, глядя на старшихъ, всякій, кто можетъ, тотъ или съ наглой дерзостью обращается, или язвитъ, попрекаетъ... кажется, какъ всѣ, ходишь, сидишь, говоришь, стараешься во всякомъ движеніи или словѣ приноровиться къ ихъ тону и самъ чувствуешь, что они на этомъ мѣстѣ точно бы то же сказали

или сдѣлали — выходитъ не такъ: видишь усмѣшки, или на тебя смотрятъ съ ожиданіемъ, вотъ-вотъ, сейчасъ соврetъ, или глупость сдѣлаетъ. Осмотръ этотъ бѣглый съ головы до ногъ всякій разъ такъ и срѣжетъ. Былъ бы и ловчѣе, развязнѣе, да чувствуешь, что приросъ къ мѣсту... сначала отъ смущенія, а потомъ, когда уже привыкъ къ этимъ взглядамъ, отъ негодованія. За столомъ ихъ... Что же за важность особенная, незаслуженная почесть мнѣ или униженіе для нихъ, что они сажали меня съ собой обѣдать? А сколько разъ, бывало, образованная дама объясняетъ кому нибудь постороннему по-французски, кто я такой, сколько мнѣ платятъ, и всегда прибавляетъ: «il dine avec nous...» Вѣдь я понимаю! А за обѣдомъ, всякій разъ, эта тарелка съ супомъ, который черезъ край плескается, и кусокъ пирога въ подъемъ,—развѣ это не обида? Бѣденъ семинаристъ, не ѣдалъ онъ въ волю, да вѣдь не два у него желудка, не объ одной ѣдѣ онъ думаетъ, — не радушіе это, а презрѣніе какое-то! Въ душѣ и кипитъ, и накопляется. Вступилъ въ домъ какъ къ благодѣтелямъ, а они ожесточили. Поручили дѣтей, а сами точно боятся оставить ихъ съ семинаристомъ, наблюдаютъ, чтобъ не научилъ ихъ худому... Чему онъ ихъ худому научитъ? Манеры, видите, дурныя примутъ! Да онъ самъ, бѣднякъ, у этихъ дѣтей манерамъ учится, а дѣти надъ нимъ смѣются и его же дурачатъ. И все попрекаютъ—взрослые косвенно, дѣти напрямки — попрекаютъ происхожденіемъ... Далось оно имъ! Не справляются о происхожденіи своего нѣмца или француза... Богъ имъ судья! Послушайте только, какое понятіе составляютъ себѣ иностранцы о нашемъ сословіи, насмотрѣвшись какъ обращаются съ нами! Наши господа, тѣ, которые могли бы насъ оправдать, защитить, они-то насъ и выдаютъ!

— Какое же мнѣніе иностранцевъ? прервалъ Ивановскій съ наивнымъ любопытствомъ.

— Это, господа, для васъ terra incognita, продолжалъ Березовъ.—Гувернеръ былъ человѣкъ добрый, только что пріѣхалъ въ Россію, поднималъ носъ сначала, а потомъ ничего. Онъ гордился тѣмъ, что вышелъ «изъ среды народа»— такъ онъ разсказывалъ — потому и рискнулъ со мной сблизиться. Смѣялся, какъ я говорилъ по-французски... Я, видя его снисходительность, рѣшился съ нимъ говорить. Какъ нибудь надо же было съ нимъ говорить...

— Ну, что же?

— Послушайте теперь, какъ я говорю. Въ два года можно было выучиться.

— Ахъ, какой счастливецъ! вскричалъ Ивановскій.

— Дорого обошлось счастіе это, возразилъ Березовъ:—два года всякій день жолчь поднималась, да кровь портилась. Не вынесъ наконецъ—бросилъ эту должность, и сохрани меня Богъ не только самого—другу и недругу заказываю идти жить въ эти важные дома.

— Вотъ какъ разсердился! сказалъ Ивановскій.

— Нѣтъ, это вы говорите напрасно, возразилъ Слободской: — многіе изъ нашихъ имѣли кондиціи и прекрасно жили.

— Да, прибавилъ Костинъ: — я до баричей тоже не большой охотникъ, но мы отъ многихъ слышали и знаемъ, что часто эти аристократы, если примутъ къ себѣ учить, то обращаются деликатно. Одно: что годъ-отъ-года все дешевле платятъ нашему брату. Товарищи прошлую вакацію ѣздили, — 5, 6 цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, и живи какъ знаешь. А обращаются съ нами, ничего, деликатно.

— Въ высшей степени, заключилъ Зарѣчинскій.

— Не только учтиво, прилично, даже дружески...

— Поздравляю васъ, сказалъ Березовъ:— утѣшайте себя мечтами. Ну, обращаются лучше Арбениныхъ (и немудрено быть деликатнѣе ихъ!), да что же изъ этого? Неужели вы думаете, это искренно, какъ съ равными себѣ? Нимало! Это затѣмъ дѣлается, чтобъ аристократы могли сами на себя указать и сказать: «Вотъ какъ мы снисходительны, вотъ какъ мы всякаго ласкаемъ!..» Всякаго!.. И чтобъ доказать это, прекрасно помѣстятъ насъ, прекрасно содержатъ,— имъ это ничего не стоитъ, — можетъ быть, даже разговариваютъ съ нами, когда, отъ скуки, въ деревнѣ больше говорить не съ кѣмъ...

— Нѣтъ, вы уже очень разочаровались, ожесточились, прервалъ Костинъ.

— Насмотрѣлся, узналъ ихъ покороче, возразилъ Березовъ. — Да, вотъ вамъ еще, кстати... кто помнитъ Погорѣловскаго?

— Какъ же, знаемъ, сказалъ Слободской: — мы тогда еще въ меньшихъ классахъ были. О немъ осталось преданіе, что былъ примѣрный по всему — по наукамъ и поведенію.

— Камень крѣпкій, сказалъ Костинъ.

— Ну, онъ велѣлъ кланяться, кто его

помнитъ. Онъ въ приходѣ Арбениныхъ священникомъ, отецъ Іоаннъ. Я съ нимъ видался.

— А! ну, что онъ? какъ поживаетъ?

— Живетъ себѣ.

— Вотъ, видите ли, вскричалъ Миролюбовъ.—Землю ему крестьяне пашутъ?

— Крестьяне...

— Ну, и доходъ есть?

— Какой доходъ?

— Извѣстно, отвѣчалъ Миролюбовъ:— крестины, свадьба, похороны, поминовенія, въ праздникъ пойдетъ съ крестомъ, всякія требы, молитву дастъ...

— Какъ проворно сосчиталъ! сказалъ Ивàновскій.

— Онъ всякій день считаетъ, чтобъ не забыть, сказалъ Костинъ.

— Что тамъ забывать? возразилъ Миролюбовъ:—всякій долженъ самъ знать и помнить, для своего же спасенія.

— Такъ ты Погорѣловскаго забылъ, прервалъ серьезно Слободской:—онъ не для доходовъ шелъ на мѣсто.

— Не такой души былъ человѣкъ, прибавилъ Демкинъ.

— Да, со способностями, сказалъ Зарѣчинскій:—онъ могъ бы поступить въ академію и быть впослѣдствіи времени профессоромъ.

— Какъ не быть! отвѣчалъ Березовъ:— а теперь посмотрѣли бы вы на него. Жалости достойно!

— А что?

— Во-первыхъ, жизнь бѣдная. Доходовъ онъ сбирать не умѣетъ, да и учиться сбирать не хочетъ. Кто богатъ, дай ему хоть копѣйку, онъ и тѣмъ доволенъ, а недостаточному самъ еще поможетъ. Дома за это непріятности... Женился онъ, какъ всѣ мы женимся: какъ случилось, не узнавъ характера жены; а характеръ оказался предурной. Всякій день ропотъ да упреки...

— Женщины всѣ коварны... ихъ не узнаешь, замѣтилъ Костинъ.—Эй, братъ Невзоровъ, слышишь? берегись: Какъ твоя Аксинья Николавна тоже вздумаетъ...

— У меня не вздумаетъ, отвѣчалъ Невзоровъ.

— Двое дѣтей у него, продолжалъ Березовъ:—маленькія; а все-жъ надо о нихъ подумать: надежды не велики...

— Какая же бѣдность можетъ быть? настаивалъ Миролюбовъ:—вѣдь въ селѣ есть помѣщики?

— Ну, помѣщики... Вотъ, напримѣръ, онъ къ одной помѣщицѣ опоздалъ прійти съ праздникомъ ее поздравить; помѣщица живетъ въ двухъ верстахъ отъ села; мостикъ на лощинѣ снесло, покуда поправили, отецъ Іоаннъ, вмѣсто перваго дня святой, пришелъ на третій. Помѣщица разсердилась: ея баба жила въ работницахъ у отца Іоанна, она ее отняла; на самые праздники, некому ни корову убрать, ни дѣтямъ кашу сварить. Жена больна. Къ ея душевнымъ качествамъ прибавьте еще и то, что она и физически все хвораетъ...

— Какъ же онъ справился? спросилъ Слободской.

— Какъ? Нечего дѣлать, пошелъ къ Арбенинымъ попросить, чтобъ хоть на время дали работницу. Самъ пошелъ, потому, подумалъ, что если написать письмо, какъ еще покажется, не разсердились бы и эти... Эхъ, господа, нечего говорить, скверно! Пришелъ... кажется, лицо почтенное, а садись у двери. Глядятъ свысока, слушаютъ — улыбаются, едва отвѣчаютъ. Снисхожденіе будто, Богъ знаетъ, какое дѣлаютъ, что велятъ своей дворовой бабѣ (у нихъ ихъ десятка четыре) пойти послужить; жалѣютъ о ней, какъ будто эта баба не все равно служитъ и трудится у нихъ во дворѣ, да еще больше, да еще даромъ,—а отецъ Іоаннъ ей жалованье будетъ платить. Разбирательство началось; позвали управляющаго. На что прежде вниманія не обращали, то теперь важно стало: у Матрены ребенокъ, у Василисы три мѣсяца назадъ лихорадка была; третьей поручены господскія куры; четвертой некогда: она еще своихъ тàлекъ не допряла. И все это, тутъ при отцѣ Іоаннѣ, безъ всякой церемоніи разсуждается, а онъ, какъ проситель, сидитъ у двери и ждетъ. Покуда, наконецъ, разрѣшили, дали какую-то хромую старуху. Я былъ при этомъ, все видѣлъ. Какъ теперь помню, было вечеромъ, чай на столѣ, отецъ Іоаннъ уходитъ. Господинъ Арбенинъ ему вслѣдъ,— дверь едва затворилась, говоритъ женѣ:— «Что ты его не пригласила? онъ только этого и ждалъ».—А жена:—«Ахъ, mon cher, его надо поить ромомъ, а я запаху выносить не могу».—Дѣти тутъ слушаютъ, хохочутъ. Начинаются объясненія по-французски гувернеру, что какъ это непріятно, какъ необразованъ «этотъ классъ», какъ онъ все проситъ и кланяется, какія у него грубыя привычки... Привычки! да отецъ Іоаннъ развѣ двѣ рюмки вина въ годъ выпьетъ, и то по необходимости, на свадьбѣ гдѣ нибудь, и за то его мужики гордымъ считаютъ, говорятъ, что онъ ихъ знать не хочетъ. Мужикъ иной глупъ: сколько хочетъ священникъ

принимай въ немъ участіе, наставляй его, будь съ нимъ кротокъ,—коли не пьетъ онъ съ нимъ: «гордъ батька»! Это я вамъ не новость говорю, а я еще насмотрѣлся поближе. Отецъ Іоаннъ тамъ изъ гордецовъ не выходитъ, хотя его очень любятъ мужики. Онъ, бывало, проповѣдь говоритъ, отлично, и они слушаютъ усердно; какъ начнетъ, такъ, бывало, всѣ лѣзутъ впередъ слушать; около амвона давка. Понятно, тепло говорилъ; людьми ихъ дѣлалъ. Что-жъ вышло? Господинъ Арбенинъ слушалъ... Посмотрѣли бы вы, господа, что за мина у него была, когда онъ слушалъ! То легкая улыбка пробѣжитъ: не довѣряетъ онъ или слогъ ему не нравится, или снисхожденіе онъ желаетъ показать; то нахмурится, соображаетъ, разбираетъ критически... Охъ, какъ вспомнишь,—та и голова, чтобъ разбирать критически!

— Образованный человѣкъ, прервалъ Зарѣчинскій.

Березовъ махнулъ рукой.

— Образованный! повторилъ онъ:—двятри иностранные языка, а на своемъ писать не умѣетъ! Образованъ, словами закидаетъ, сто философскихъ системъ назоветъ по имени, а нѣтъ своего никакого убѣжденія! Образованъ, любезенъ, учтивъ, руку жметъ, а никакого понятія человѣческаго достоинства!... Красно толкуетъ о свободѣ, а какъ онъ обращается съ своими крестьянами?.. Образованность!!...

— Но какъ же, что-жъ онъ говорилъ о поученіяхъ отца Іоанна? спросилъ Слободской.

— Раза два пригласилъ отца Іоанна къ себѣ. Гости были. Завели разговоръ, завели споръ. Что это было! Вкривь, вкось судятъ, толкуютъ... а незнаніе какое, невѣжество! Что дѣтьми учили, и то перезабыли. Добро бы ужъ... эхъ, господа, вы сами въ этомъ случаѣ—дѣти, не видали такихъ, не слыхали, не можете постичь, — а я уразумѣлъ, какъ вглядѣлся! Добро бы ужъ отрицали-то они логично, на основаніи какихъ нибудь свѣдѣній, а то — каша въ головѣ, и отходятъ насмѣшками, плоскостями, грязью... ну, образованно вышучиваютъ! Отецъ Іоаннъ былъ сконфуженъ, огорченъ, натурально — въ негодованіе приходилъ... За глаза, потомъ, господинъ Арбенинъ говоритъ о немъ, что онъ глупъ, педантъ, потомъ началъ совѣтовать отцу Іоанну не писать. Отецъ Іоаннъ не послушался. — «Я, говоритъ, долженъ исполнить мою обязанность; я не худому поучаю». — «Такъ, говоритъ господинъ Арбенинъ: — вы должны мнѣ прежде показать, что вы намѣрены говорить моимъ крестьянамъ». — Отецъ Іоаннъ,—дѣлать нечего! — одинъ разъ показалъ... Тутъ пошли непріятности разныя, мелочныя. Кто знаетъ, могло бы дойти и до большаго. Я сказалъ отцу Іоанну; онъ пересталъ совсѣмъ писать и поучать.

— Напрасно, сказалъ Слободской:— онъ началъ свое дѣло, надо было продолжать до конца.

— Мудрено, Степанъ Александрычъ, обстоятельства...

— Надо было выдержать, — выказать твердость; быть можетъ, наконецъ, онъ бы и убѣдилъ.

— Видите, твердость! вскричалъ Миролюбовъ: — смѣлый какой, по себѣ судитъ! Это вы воображаете, Степенъ Александрычъ, что если васъ на дикихъ островахъ каменіемъ побіютъ, то вамъ ничего,—а другому...

— Вы собираетесь въ миссіонеры? спросилъ Березовъ.

— Да, если Богъ дастъ, отвѣчалъ Слободской.

— А другому... поди! продолжалъ Миролюбовъ:—жалобу помѣщикъ принесетъ или такъ обидитъ... Іерей первѣе всего долженъ быть миренъ со всѣми...

— И что ты говоришь! прервалъ Слободской: — развѣ это миръ? Человѣкъ только наружно уступилъ, а въ душѣ не примирился,—грѣхъ лицемѣрія, грѣхъ, что не исполнилъ своей обязанности...

— Онъ исполнилъ обязанность — покорился! продолжалъ Миролюбовъ. — Мы отъ сильныхъ земли имѣемъ кровъ и пищу; неблагодаренъ тотъ, кто не смиритъ себя предъ благодѣтелемъ... лобзай руку питающую...

— Нѣтъ, ужъ лучше замолчи, прервалъ Слободской.

— Степанъ Александрычъ, возразилъ Березовъ: — вѣдь онъ отчасти правъ. Не у всякаго станетъ силы и терпѣнья: жена ворчитъ, дѣти плачутъ, домъ — почти изба, а помѣщикъ гнѣвается или неладитъ за что нибудь, и приходится идти къ нему смиряться и кланяться... Крайность!

— Полноте, прервалъ Слободской:—какой крайности, при доброй волѣ, не вынесетъ человѣкъ? И часто ли встрѣчается такая крайность? Можемъ ли мы жаловаться, что къ намъ теряютъ уваженіе, когда мы уступаемъ въ чемъ не должны уступать и не умѣемъ снести обыкновенной тяготы жизненной? Все Богъ! Исполнимъ свое дѣло, а тамъ во всемъ буди Его воля: есть — хорошо, нѣтъ—такъ и быть.

— Не о томъ рѣчь, прервалъ Березовъ: — вы все-таки требуете свыше обыкновенной человѣческой силы. Вы не берете въ разсчетъ попеченій о семьѣ... У васъ были родители? каково имъ было, когда вы росли въ бѣдности?

— Славу Богу, выросъ, отвѣчалъ Слободской: — еще какой длинный вытянулся, прибавилъ онъ, улыбаясь. — И сестра выросла: славная дѣвушка. Наши родители не плакались, хотя и бѣдными сиротами насъ оставляли. Конечно, другіе заботятся, горюютъ...

— Какъ же не заботиться? возразилъ Березовъ: — эта забота въ порядкѣ вещей: семья ростетъ—надо прожить, надо нажить, чтобъ ее чѣмъ нибудь обезпечить. Отъ кого помощь, отъ кого поддержка, какъ не отъ прихода? Что сберешь, то и есть, почти день за день,—а не сберешь—перебивайся, какъ отецъ Іоаннъ.

— Конечно, приходскій священникъ живетъ подаяніемъ, сказалъ Зарѣчинскій, очень небрежно.

— Да, вотъ я, напримѣръ, сказалъ Невзоровъ: — чѣмъ я проживу? пить-ѣсть надобно, а не попросишь—не дадутъ.

— Въ томъ дѣло, какъ попросишь, сказалъ Слободской.

— Какъ попросишь? Да й — и все тутъ, возразилъ Березовъ: — вѣдь доктору платятъ? Кто въ доктора выходитъ? Ты? обратился онъ къ Костину: — вѣдь будешь брать за визитъ?

— Смотря по обстоятельствамъ, отвѣчалъ Костинъ.

— Ну, еще, по обстоятельствамъ! Я тебѣ деликатничать не совѣтую: не стоютъ. Мы свое дѣло дѣлаемъ, слѣдовательно, заслуживаемъ свое вознагражденіе... Да вотъ, разсудите, тутъ гдѣ здравый смыслъ: аристократы понимаютъ нашу нужду, видятъ нашу заслугу, а укоряютъ насъ малостью, которую даютъ намъ. Все мы «жадны» да «ничего не дѣлаемъ»... Я слышалъ много этихъ толковъ; при мнѣ не церемонились, все говорили. Тяжело было на все молчать. Да какъ не молчать? Съ дѣтства такъ поставлены. Почти всѣ мы нашихъ дѣдовъ помнимъ. Скажите, кому не представляется дѣдушка-батюшка, какъ они кланялись помѣщикамъ? Дѣдъ у двери садился, отецъ выпрашивалъ мѣру крупъ, и сынъ подгибаетъ ноги подъ стулъ, чтобы лишняго мѣста не занять въ комнатѣ, жмется, да козырьки у фуражекъ ломаетъ... Бывалое дѣло, господа.

Ивановскій порадовался, что въ сумеркахъ нельзя было видѣть, какъ онъ покраснѣлъ.

— Зависимы, необезпечены, бѣдны, продолжалъ Березовъ: — и молчимъ, и кланяемся, и смиряемся, и подчасъ потворствуемъ. Нехорошо, но аристократамъ нельзя насъ винить: сами насъ доводятъ до этого. Какую нужно силу воли, чтобъ выносить? А тѣмъ больше — въ чемъ нибудь имъ прекословить! Намъ же будетъ хуже. По-вашему, напримѣръ, неправъ отецъ Іоаннъ, что уступилъ, перестал поучать; а не уступи онъ, что бы съ нимъ было?.. И безъ того, сила воли наша тѣмъ велика, что мы не ожесточаемся, прощаемъ, на мелкія обиды не смотримъ, будто ужъ такъ и должно, будто можно быть невнимательнымъ къ намъ, будто мы ниже этихъ людей, хотя и очень хорошо мы знаемъ, и учили насъ, что всѣ люди — такіе же люди, также въ грѣхахъ рождены. Отъ этого стѣсненія и смиренія и физіономіи наши выходятъ какія-то странныя; а чѣмъ бы пожалѣть о насъ, надъ нами смѣются. Мы учились, понятія наши развиты; а намъ говорятъ: «поди, говорятъ, къ лавочникамъ, къ мѣщанамъ, къ приказнымъ: вотъ твое мѣсто»; а послѣ кричатъ, что у семинариста манеры дурны...

— Спросили бы, каково семинаристу въ необразованномъ обществѣ! прервалъ Ивановскій.

— Видишь, душа твоя откликнулась, вскричалъ Миролюбовъ: — гдѣ это ты духа такого набрался? Чѣмъ ты будешь-то, подумалъ ли? Разсуждаете вы, а все тѣмъ же кончите.

— Ну, я тѣмъ не кончу, возразилъ Березовъ: — я рѣшился. Отъ Арбениныхъ я безъ всякой непріятности, безъ объясненій, просто отошелъ. Одинъ ихъ знакомый, петербургскій баринъ, обѣщалъ записать меня на службу въ Петербургѣ, въ департаментъ. Баронъ этотъ здѣсь теперь, въ городѣ. Я пріѣхалъ съ нимъ повидаться, можетъ быть съ нимъ и уѣду.

— Все-таки вамъ счастіе-же чрезъ этихъ людей, сказалъ Костинъ.

— Конечно, удача. Начну служить, сначала мелко, но добьюсь своего. Нѣтъ! полно отъ всѣхъ зависѣть и всякому кланяться: когда нибудь придетъ моя очередь, поклонятся и мнѣ. Бѣдность одолѣла.

— Да вѣдь и тамъ, на службѣ, та же бѣдность, сказалъ Слободской.

— Какъ же! возразилъ Березовъ: — бѣденъ—бѣденъ сначала, а потомъ и богатъ.

Говорятъ—мы жадны; такъ не говори даромъ. Право, господа, что напрасно, что подѣломъ, а худая слава одна. Развѣ я не человѣкъ? Люди богаты: подай и мнѣ. Я на себя надѣюсь, успѣлъ себя узнать: я сметливъ. Съумѣю дѣльца обдѣлывать не хуже другого. Дайте срокъ, я покажу себя, съумѣю и командовать: у меня держись! Былъ учителемъ, такъ знаю, какъ держать въ повиновеніи. Только за дѣтей вступались маменьки, а тамъ я самъ буду отецъ-командиръ... Я дамъ себя знать!

— Развѣ это хорошо? сказалъ Слободской.

— Нехорошо! вскричалъ горячо Березовъ:—а они что съ нами дѣлаютъ? Я училъ барина грамотѣ, а онъ меня оскорблялъ... да чтобъ я ему потомъ этого не выместилъ? «Блинники» да «кутейники»... Знай же онъ кутейника, важная фигура!

— Но вѣдь отъ этого не легче, возразилъ Слободской:—и прозванія тѣ же останутся.

— Это будьте покойны. Чрезъ десятокъ лѣтъ не очень кто нибудь посмѣетъ справляться о моемъ батюшкѣ и дѣдушкѣ; а я не такъ глупъ, чтобы о нихъ разсказывать. Были они, скончались, царство имъ небесное; а я самъ по себѣ. Попробуй тогда кто нибудь, помяни мнѣ родство да семинарію; она мнѣ и теперь опротивѣла.

— Что вы? Богъ съ вами! вскричали въ голосъ товарищи:—храмъ науки, гнѣздышко наше, нашъ священный пріютъ...

— Однимъ словомъ, все, что говорится въ прощальныхъ стихахъ на выпускномъ экзаменѣ, прервалъ Березовъ.—Вы господа—извините меня—еще дѣти!

— Нѣтъ, мы не дѣти, и все это отъ души говорится, вскричалъ Ивàновскій:—мнѣ кажется, я скорѣе себя забуду, чѣмъ забуду нашу дорогую, милую, родную бурсу! Мы тамъ росли, тамъ сдружились.

— Такъ, душа моя, Алеша, истинно такъ! вскричалъ Костинъ.

— Какое бы ни было мое положеніе въ свѣтѣ, продолжалъ Ивàновскій:—я этимъ не постыжусь: моя одна мысль доказать, что я достоинъ нашихъ благородныхъ наставниковъ, нашихъ братьевъ-товарищей...

Костинъ заключилъ его въ объятія. Общее увлеченіе было такъ велико, что даже Зарѣчинскій всталъ и подалъ руку Ивàновскому; а Миролюбовъ повторялъ:

— Вотъ сказалъ, хорошо сказалъ! даже не ожидалъ я отъ него! И наставники... такъ!

— Они хоть и строги, сказалъ Демкинъ:—а занемоги который нибудь, всякій изъ насъ съ просфорой о здравіи побѣжитъ. Это такъ!

— Хорошо, Алеша, спасибо! сказалъ Слободской.

Березовъ смѣялся.

— Господа! все это говорятъ въ васъ молодость, неопытность... Я самъ когда-то также думалъ.

— Мы уже не молоды!

— На что намъ опытность, если отъ нея только досада да огорченія?

— Вы теперь вмѣстѣ, а когда разойдетесь...

— Душой останемся тѣ же...

— Каждый на своемъ мѣстѣ, на поприщѣ, которое изберетъ...

— Въ свѣтѣ нужны люди: нечего разбирать, кто семинаристъ, кто что другое...

— Оглянутся на насъ, и мы пригодимся!

— Заблуждаетесь, заблуждаетесь! Васъ не пускаютъ па порогъ, а вы воображаете, что сейчасъ вамъ и дадутъ мѣсто. Убивайте молодость въ ученьи, а надъ вами покуда посмѣются!.. И какое ученье? Никакихъ дверей оно вамъ не отворитъ. Или тоскуйте, что вы не въ силахъ его закончить, или заройтесь въ глушь, присмирѣйте и забывайте послѣднее, что знаете... Господа, жизнь не классъ, гдѣ мы ребята, гдѣ мы всѣ равны. Вы свою классную кротость, да классныя мечты куда нибудь подальше, да возьмитесь благоразумно за дѣло, иначе не проживете...

— Я, право, не понимаю, какого же онъ хочетъ благоразумія? сказалъ Ивàновскій подъ шумокъ Костину.

— Какого? Иди, какъ онъ, въ приказные—вотъ благоразуміе, отвѣчалъ Костинъ тихо:—наживайся, прижимай кого можно. Ты видѣлъ, ходитъ иногда мимо насъ маленькій, гаденькій приказный? Въ заплатахъ щеголялъ прошлымъ лѣтомъ, а зимой завелась шуба енотовая... Вотъ тебѣ благоразуміе...

— Положилъ бы ему эту шубу въ головы... грѣховодникъ! проговорилъ Ивàновскій, вспыхнувъ:—и у товарища, у бывшаго бурсака такія понятія!..

— Аль свѣчки нѣтъ? раздался голосъ въ дверяхъ.

— Ну, вотъ, парочка идетъ господину Березову, продолжалъ Костинъ тихо Ивàновскому:—знаешь Сіянскаго? Тоже товарищъ называется... какой это товарищъ? Живемъ вмѣстѣ, а душой врозь, да и всѣмъ врозь. Онъ для себя свѣчку зажжетъ, такъ, кажется, жаль ему, зачѣмъ другимъ отъ нея свѣтло.

— Знаешь, сказалъ Ивàновскій:—отъ такихъ людей вся наша бѣда. Выскочитъ вотъ этакій озлобленный или корыстолюбивый че-

ловѣкъ—натурально, дурное скорѣе въ глаза бросается, по немъ судятъ обо всѣхъ и бранятъ насъ. Досадно до смерти! Всякую бодрость теряешь.

— Что ты, Алеша? да ты что сейчасъ говорилъ?

— Конечно, говорилъ... Конечно, я на низость не способенъ—отъ отца отказываться, задумывать, какъ на голову сѣсть такимъ же людямъ, которые меня обязывали, взятки драть съ живого и съ мертваго... Я къ Березову потерялъ всякое уваженіе... Но что со мной будетъ? Куда я дѣнусь? Разсуди-ка. Я какъ вспомню объ этомъ, такъ меня въ холодъ бросаетъ. Вѣдь я не могу очертя голову жениться да посвятиться.

— Полно! Господь съ тобой! Кто тебя станетъ неволить? Выйдешь, живи у отца или пой въ хорѣ, покуда надумаешься, что дѣлать. Ты этими мыслями здоровье разстроишь только.

— Разстроишь его, какъ же!

— Полно, милый, развеселись. Спой что нибудь. Вотъ Ванечка Демкинъ тоже пріунылъ. Э, господа, будетъ вамъ! Давайте пѣть! Я къ вамъ пристану. У Невзорова былъ басокъ недурной когда-то, покуда его не укачалъ; да въ нашъ хоръ все сойдетъ. Давайте.

Между тѣмъ, Сіянскій здоровался съ Березовымъ. Сіянскій былъ рослый, полный и сумрачный семинаристъ, и къ привычкѣ гнуть спину прибавлялъ еще привыкьу гнуть голову, глядя немного изподлобья; онъ былъ богачъ своего кружка, но тратилъ необыкновенно мало, позволяя себѣ только роскошь неимовѣрно огромныхъ и туго накрахмаленныхъ воротничковъ. Живя вмѣстѣ съ товарищами, онъ умѣлъ устроить себѣ цѣлое отдѣльное хозяйство маленькихъ сундучковъ, узелковъ, полочекъ; даже свое платье онъ вѣшалъ въ особенномъ углу.

Когда Костинъ подошелъ звать Никольскаго и Невзорова, Слободской спрашивалъ Сіянскаго, гдѣ онъ былъ до такого поздняго часа.

— По дѣлу ходилъ, отвѣчалъ Сіянскій сурово и сѣлъ въ сторонѣ.

— Какія у тебя дѣла? спросилъ Невзоровъ.

— Какія?... Ты женишься, что ли?

— Да, женюсь.

— Смотри, чтобъ тебя не надули.

— А ты, видно, самъ обжегся? вскричалъ Невзоровъ, засмѣявшись, отчего Сіянскій сдѣлался еще мрачнѣе.

— Что же ты, взыскалъ сколько нибудь? спросилъ Миролюбовъ Сіянскаго.

— Ничего. Прошеніе подалъ.

— Видно, очень непріятное дѣло? спросилъ Березовъ.

— Совсѣмъ онъ его неправильно завелъ, отвѣчалъ неохотно Слободской.

— Какія у васъ непріятности? спросилъ Зарѣчинскій.

— Невѣсту мнѣ сватали, отвѣчалъ Сіянскій.

— Это я слышалъ. У васъ разошлось?

— Разошлось.

— А онъ отъ любви страдаетъ! прибавилъ Костинъ, смѣясь съ Ивановскимъ и Демкинымъ.

— Отчего же разошлось у васъ? Вамъ, я слышалъ, дѣвушка нравилась? Она хорошенькая.

— Да... ничего.

— А приходъ какой отличный! въ село Подгорное, дьякономъ, сказалъ Миролюбовъ Березову:—домъ свой, все заведеніе, хозяйство, садъ плодовитый. Вдовѣ дьяконицѣ предоставлено мѣсто зятю отдать; а дочь у нея всего одна.

— И вы совсѣмъ сосватались? спросилъ Березовъ.

— Да... ѣздилъ туда, смотрѣлъ, отвѣчалъ Сіянскій.—Домъ, точно, у нихъ и садъ есть. Условились было совсѣмъ.

— Холстовъ у нихъ заготовлено множество, прибавилъ Миролюбовъ:—четыре платья шелковыхъ за нею даютъ, и что для будущаго нужно, все сдѣлать обязывались...

— А ты разсказывай! прервалъ Сіянскій, очень недовольный.

— Да не безпокойся: никто изъ насъ у тебя не перебьетъ, не станетъ свататься, сказалъ Костинъ:—только, вотъ, развѣ Миролюбовъ опасенъ...

— Какъ же у васъ неудовольствія вышли?

— Я пріѣхалъ, все это осмотрѣлъ, отвѣчалъ Сіянскій, будто рѣшившись разсказывать:— сутки цѣлыя тамъ жилъ. Какъ пришло совсѣмъ заключать условіе, вдругъ, говорятъ, я долженъ при себѣ тещу оставить, содержать ее. Домъ ея, такъ будто она въ немъ жить должна. Я говорю, пожалуй, дайте еще сто цѣлковыхъ, а нѣтъ, такъ выходите. Старуха не захотѣла выходить, а я говорю, что безъ того не женюсь. Ну, такъ и кончили.

— Вѣдь жалость какая... началъ Миролюбовъ.

— Я говорю, продолжалъ Сіянскій, попрежнему, сумрачно:—что хоть бы онѣ мнѣ за убытки заплатили. Я подводу нанималъ:

не шутка, двадцать верстъ туда и оттуда конецъ сдѣлалъ, смотрѣть невѣсту. Сутки подвода стояла. А этимъ временемъ въ городѣ, вотъ здѣсь, я все-таки за квартиру платилъ. Да родственники невѣсты пріѣзжали ко мнѣ съ предложеніемъ — я ихъ угощалъ. А въ надеждѣ, что тамъ устрою себя, я шинель продалъ, полагая, что она мнѣ не будетъ болѣе нужна. За что же мнѣ убытки терпѣть? Мнѣ хоть это заплати, это подай. Онѣ платить не хотятъ—я прошеніе подалъ. Исчисляю свои потери... Вотъ нынѣ здѣсь, въ городѣ, былъ племянникъ старухи: я къ нему ходилъ, говорилъ ему еще. Говорилъ, я моему батенькѣ напишу. Онъ шутить не любитъ: вступится, такъ имъ же хуже будетъ.

— Ай-да батенька! вскричалъ Костинъ:— нѣжный отецъ не дастъ сынка въ обиду! По этому случаю, господа, споемъ пѣсенку, да почувствительнѣе, такъ, чтобы намъ всѣмъ прослезиться. И я съ вами, своимъ рыбьимъ голоскомъ... Невзоровъ! и ты не отставай... Ты давно не слыхалъ, какъ Алеша поетъ? Послушай-ка: этакое горло!

— Не поздно ли будетъ? сказалъ Зарѣчинскій, вынимая изъ кармана часы и стараясь разглядѣть ихъ.

Березовъ помогъ ему: онъ досталъ красивый портфейль, зажегъ спичку и свѣтилъ Зарѣчинскому, закуривая папиросу.

— Десятый часъ въ началѣ, только: послушаемъ ихъ, сказалъ онъ снисходительно.—Не угодно ли?

Березовъ предлагалъ папиросъ Зарѣчинскому.

— Благодарю васъ, я не курю, отвѣчалъ Зарѣчинскій какъ-то особенно скромно.

Березовъ закрылъ портфейль, не предлагая никому болѣе.

— Степанъ Александрычъ, сказалъ, войдя, маленькій семинаристъ:—хозяйка воротилась: зоветъ ужинать.

— Ахъ, не во-время! вскричалъ Костинъ:—только что было вздумали пѣть.

— Я попрошу тебѣ оставить, а самъ сейчасъ ворочусь, только дѣтей посажу за столъ, сказалъ Слободской. — Кому еще оставить, господа?

Демкинъ отказался отъ ужина; Миролюбовъ ушелъ, едва услыша, что зовутъ; Сіянскій подумалъ съ минуту и тоже сказалъ, что не хочетъ.

— Должно быть, родственникъ, съ котораго онъ ходилъ долги взыскивать, угостилъ его чѣмъ нибудь въ счетъ шинели, сказалъ Костинъ тихо Ивановскому:—и должно быть въ волю.

— Чего ты не выдумаешь! возразилъ Ивановскій.

— А ты думаешь, Сіянскій свои выгоды забудетъ? Да онъ завтра отъ Степана Александрыча потребуетъ, чтобъ онъ ему нынѣшній ужинъ вычелъ изъ общихъ денегъ. «Я, скажетъ, не пользовался...» Ну, еще идетъ кто-то! Вотъ какая собралась сегодня компанія.

— Здравствуйте, честные господа! вскричалъ, вбѣгая, маленькій, веселенькій богословъ Зерцовъ: — шелъ мимо, зашелъ къ вамъ... Ужъ какъ же я сегодня смѣялся, господа! Вотъ казусъ совершился!

— Ну, ты, съ своими казусами! сказалъ Костинъ:—и говорить разучился, повелся съ своими приказными; небось и теперь отъ нихъ.

— И теперь отъ нихъ... Какіе вы гордые, въ самомъ дѣлѣ!.. Умора случилась просто. Я прихожу надняхъ къ Никонову — ну, помощникъ столоначальника — сидитъ за рекрутскими списками. Я ему говорю: «Друже! что зряще...»

— А ты говори какъ нибудь иначе, прервалъ его Слободской.

— Ахти, я и забылъ, тутъ Степанъ Александрычъ, гроза наша!.. Я говорю, что, братъ, задумался? «Да вотъ, говоритъ, думаю, тутъ дѣльце одно сдѣлать, да половчѣе вывернуться», разсказываетъ. Я говорю: не обдѣлаешь и не вывернешься.—«Анъ сдѣлаю».—Анъ нѣтъ.—Да, нѣтъ — да, нѣтъ, пошло на споръ. Я его подзадорилъ, смѣшно мнѣ показалось. — «Ну, вотъ же, говоритъ, клянусь тебѣ, что сдѣлаю. Приходи въ воскресенье: увидишь». Вѣдь неспроста: объ закладъ побились! Что же вы думаете? Прихожу сегодня, онъ мнѣ кричитъ: «Выворачивай карманъ: подавай, плати: обдѣлалъ». Извѣстно, смѣхъ: чѣмъ мнѣ платить? Но какъ онъ мнѣ поразсказалъ, какъ онъ извертывался, лѣпилъ да ладилъ... Совсѣмъ бы загремѣлъ, гдѣ его и не сыщешь, кабы провѣдали. Ну, ужъ такія штуки, прелесть просто, зато и въ авантажѣ. «Спасибо тебѣ, мнѣ говоритъ, кабы не ты, не сдѣлать бы; а то досада брала: какъ ты надо мной смѣяться будешь...»

— Тьфу ты, что за человѣкъ! сказалъ Костинъ, отвертываясь въ сторону.

— Это тебѣ смѣшно кажется? спросилъ Слободской.

— А что же скучнаго-то, Степанъ Александрычъ?.. Вотъ и они, и они смѣются (онъ указалъ на Березова и Зарѣчинскаго).— Вы одни, ужъ Богъ васъ знаетъ, ничему не улыбнетесь.

— Что же, хорошо сдѣлалъ твой пріятель?

— А мнѣ какое дѣло, худо ли, хорошо ли? Господь съ нимъ. Ему хорошо, его дѣло: мнѣ что вступаться?

— Да вѣдь ты вступался: ты, говоришь, подзадорилъ? На какое дѣло ты его навелъ? Ты-то хорошо, что ли, сдѣлалъ?

— Ахъ, батюшки, ничего, пошутилъ! Грѣхъ что ли какой пошутить?

— Ты, стало быть, не понимаешь...

— Чего тутъ понимать, Степанъ Александрычъ? Да мы всѣ такъ, цѣлый свѣтъ такъ, сто человѣкъ насъ спросите...

— Чему же тебя учили?

— Тому же, чему васъ.

— Но ты не отличаешь зла отъ добра: чему же ты выучился? вскричалъ Костинъ, не выдержавъ и вступаясь.

— Да я на всѣхъ пошлюсь, чтò я особеннаго сдѣлалъ?... Господа! скажите. Я и не пошути, да такъ съ наставленіемъ всякому въ глаза и лѣзь! Что мнѣ за дѣло! я на васъ пошлюсь.

— Конечно! сказалъ, смѣясь, Березовъ.

Зарѣчинскій тихонько улыбнулся.

— Наставлять того, другого да во все вступаться, этакъ и жизни человѣческой недостанетъ. Отойди отъ зла и сотвори благо... И безъ того вѣкъ юный прелестный, того гляди...

— Ты и всегда намѣренъ такъ думать? прервалъ Слободской.

— Что вы, въ самомъ дѣлѣ, Степанъ Александрычъ? Ну, и всегда. Я вамъ говорю, вы одни такіе, а я не одинъ. Вамъ всѣ тоже скажутъ. Очень мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, нужно, что тамъ кому въ голову взойдетъ. Мѣшаться еще, чтобъ потомъ отвѣчать своими боками, какъ кому еще покажется... Что хорошо, что дурно, этого еще никто не сказалъ; это еще «сія да мудрствуется»...

Онъ расхохотался.

— Прощайте. У васъ хорошо, да я на минутку: некогда...

— Кажется, это васъ разстроило, Степанъ Александрычъ? спросилъ, смѣясь, Березовъ, когда Зерцовъ затворилъ двери.

— Признаться, отвѣчалъ Слободской:— такъ это грустно, тяжело, стыдно какъ-то...

Зарѣчинскій разсмѣялся очень громко.

— Вы чувствительны, замѣтилъ Березовъ.

— А лучше всего, Степанъ Александрычъ, прервалъ Костинъ:—послушайте, какъ мы запоемъ. Съ этимъ молодчикомъ мы было сбирались, сбирались, да остались. Дружнѣе, господа, давайте... Алёша, красота моя, начинай!

Они запѣли хоромъ пѣсню. За одной слѣдовала другая. Семинаристы вообще страстные охотники пѣть. Съ голосомъ или безъ голоса, они всѣ поютъ, наслушавшись своихъ товарищей пѣвчихъ, архіерейскихъ и семинарскихъ. Въ семинаріи свой хоръ. Онъ состоитъ весь изъ учениковъ, еще слушающихъ курсъ, и изъ него выбираются лучшіе голоса въ архіерейскій, что, конечно, всегда непріятно для семинарскаго регента и отчего рѣдко регенты въ ладахъ между собою. Семинарскій хоръ подверженъ еще больше и чаще измѣненіямъ, нежели архіерейскій, потому что ученики, а случается и регенты, выходятъ каждые два года, но, несмотря на это, все таки всегда очень хорошъ по прекрасной методѣ пѣнія. Семинарскіе пѣвчіе поютъ всякій праздникъ въ своей церкви, приглашаются тоже на парадныя службы въ приходскихъ церквахъ и на свадьбы; вмѣстѣ съ архіерейскими они поютъ только по самымъ торжественнымъ службамъ въ соборѣ. Никольскій разсказалъ, между прочимъ, какъ на прошлую вакацію, въ своемъ деревенскомъ приходѣ, онъ и другой товарищъ пѣли вдвоемъ то, что семинарскіе и архіерейскіе пѣвчіе поютъ на два хора, какъ они утѣшались сами и, какъ имъ казалось, утѣшали слушателей. Алавдину не дали порядкомъ поужинать, потому что въ хорѣ недоставало альто, и Слободской съ трудомъ упросилъ, когда понадобился сопрано, чтобы не тревожили маленькихъ, которые ложились спать во дворѣ, въ сѣняхъ, а нѣкоторые въ углу, въ этой же комнатѣ, и засыпали въ ту же минуту.

— Если они подъ твой голосъ спятъ, Алеша, сказалъ Демкинъ Ивàновскому:—такъ подъ колоколами уснутъ.

Березовъ и Зарѣчинскій тихо разговаривали между собою, изрѣдка изъявляя свое одобреніе пѣвцамъ, которыхъ они почти не слушали. Миролюбовъ дремалъ и охотно бы улегся, еслибъ было гдѣ. Сіянскій сидѣлъ въ сторонѣ и молчалъ.

Пѣсня смѣнялась пѣсней, одушевленіе поющихъ достигло высочайшей степени, когда Невворовъ, вдругъ переставъ пѣть, прервалъ всѣхъ:

— Погодите, господа: послушайте!

На минуту всѣ замолчали. Недалеко, на улицѣ, тоже слышалась пѣсня; но ее пѣли женскіе визгливые голоса, въ хорѣ раздавался и мужской охриплый голосъ и звуки разстроенной гармоники. Вѣроятно, эта компанія

праздновала свадьбу или возвращалась съ пирушки.

— Прощайте, господа! вскричалъ Невзоровъ, схвативъ фуражку.

— Куда ты? постой! куда?

— Туда, къ нимъ, договорилъ онъ уже въ сѣняхъ, наступая на спящихъ дѣтей.

Въ сѣняхъ Невзоровъ столкнулся съ кѣмъ-то. Его схватили.

— Куда ты, куда бѣжишь? спросилъ вошедшій пожилой господинъ, въ которомъ Невзоровъ узналъ своего профессора, потому что Слободской, услышавъ шумъ, поспѣшилъ со свѣчой.

— Домой... я здѣсь у товарищей былъ, отвѣчалъ второпяхъ Невзоровъ:—домой спѣшу.

— То-то... Ну, Господь съ тобой, поди домой, сказалъ профессоръ, оставляя его и идя въ комнату.

Слободской свѣтилъ ему: всѣ притихли и встали; Миролюбовъ встрепенулся.

— Э! да васъ тутъ большая компанія собралась, продолжалъ профессоръ, войдя и перекрестясь предъ образами.—Не все свои: и гости есть. Я шелъ, слышалъ, вы пѣли?

— Пѣли, отвѣчалъ Слободской.

— Ну, Господь съ вами, пойте, ничего... Это кто же у васъ? Александръ Матвѣичъ! сказалъ онъ, увидя Зарѣчинскаго:—ты здѣсь? пришелъ ихъ навѣстить? Хорошо, хорошо: все же они тебѣ товарищи... А это... ба, ба, ба! Иванъ Павлычъ! И папироску покуриваетъ: совсѣмъ свѣтскимъ человѣкомъ сталъ! Поглядишь, сердце радуется. Дайте я съ вами посижу, побесѣдую. Зашелъ на васъ посмотрѣть.

Семинаристы если не казались недовольными, то почти всѣ были смущены, кромѣ всегда спокойнаго Зарѣчинскаго и Березова, который держался совершенно свободно. Такая смѣлость, впрочемъ, рѣдко встрѣчается между семинаристами, и то только между поступающими въ статскую службу; ученики, даже выпущенные, даже посвященные, все еще съ трепетомъ проходятъ мимо зданія своей семинаріи и сохраняютъ къ своимъ бывшимъ начальникамъ страхъ,—хотя часто смѣшанный съ уваженіемъ, а иногда и съ привязаностью, но все-таки, страхъ, который стѣсняетъ ихъ въ присутствіи этихъ важныхъ лицъ, и нерѣдко продолжаетъ стѣснять во всю жизнь.

Настоящій визитъ профессора, несмотря на привѣтливость, которую профессоръ оказывалъ ученикамъ, былъ не что иное, какъ внезапная ревизія, которую начальники семинаріи дѣлаютъ время отъ времени, чтобы узнать житье-бытье и поведеніе молодыхъ людей. Все было въ порядкѣ, чему всѣ внутренно радовались; а Слободской, какъ старшій, которому пришлось бы отвѣчать вдвое, былъ особенно радъ тому, что ушелъ Невзоровъ.

— А ты, пѣвецъ сладкогласный, что же не въ своемъ мѣстѣ, спросилъ профессоръ Ивановскаго (Никольскій предвидя этотъ вопросъ, отошелъ подальше, въ темный уголъ комнаты).—Ворота ваши, чай, скоро запрутъ, если уже не заперли. Гдѣ изволилъ гулять?

— Я все здѣсь былъ, у нихъ, съ начала вечера, отвѣчалъ Ивановскій, сильно смущенный.

— Здѣсь? Ну, все запаздывать нечего... Охъ, непорядки! страха въ васъ нѣтъ, повиновенія... Вотъ ты утверждаешь, что здѣсь былъ; а вѣрить ли мнѣ тебѣ, не знаю. Развѣ они подтвердятъ...

— Чѣмъ же я заслужилъ такое недовѣріе?

— Видишь, какой ты; тотчасъ и озлобляешься! Я тебя, Алеша, люблю (я даже тебя такъ и зову Алешей), да по городу, по стогнамъ о тебѣ молва худая расносится. Пылокъ ты, слишкомъ общество любишь...

— Что же, я не скрываю, возразилъ Ивановскій: это только одна и есть моя вина... Право, товарищи могутъ подумать, что вы знаете что нибудь и худшее...

Профессоръ засмѣялся.

— Какой смѣлый, обидчивый! Такъ и рѣжетъ, отвѣчаетъ. Ты бы товарищей попросилъ: научите, дескать, меня, люди добрые, уму-разуму, куда мнѣ свою буйную головушку устроить. Я тебѣ не въ укоръ скажу, Алексѣй, ты примѣромъ можешь служить, до чего вотъ этотъ свѣтскій чадъ доводитъ. Въ мѣру, когда умѣренно, хорошо, слова нѣтъ, заимствоваться обращеніемъ и модой, пожалуй... ну ее!... человѣкомъ себя поставить благообразнымъ, чтобы умѣть въ гостиную войти; да сѣсть-то, мѣсто-то найти, гдѣ сѣсть! А ужъ безъ мѣры, такъ вѣтрогономъ никуда негодящимъ и останешься... И безъ того вѣдь ужъ вы, братцы, не то, что мы были, старѣйшіе ваши. Вы на себя посмотрите, да отцовъ спросите. Теперь изъ васъ всякій самый послѣдній модныя пальто завелъ, изукрасилъ себя разнымъ блескомъ, кудри завилъ... А мы-то— Господи Боже мой! — мы изъ халатовъ не выходили... и въ классъ, бывало... и не взыскивали съ насъ, потому, извѣстно, что не изъ чего намъ наряжаться. А вѣдь нынѣ (я не

въ укоръ кому говорю) вы вѣдь отцовъ-то разоряете! Нѣтъ ли, есть ли у отца, а вамъ подай, вотъ хоть бы тебѣ, Алексѣй! Оно хорошо съ той стороны, что вы просвѣщаетесь: все къ улучшенію идетъ; ну, и можете вы себя лучше нашего въ свѣтъ показать, что вотъ-де какіе мы люди, не хуже другихъ. Свѣтъ, конечно, по одеждѣ встрѣчаетъ. Безуменъ еще свѣтъ... охъ, куда еще молодъ... и вовсе молодехонекъ! Ему что въ глаза блеснуло, на то онъ и бросается, и покланяется тому, блеску-то, блеску, суетному.

— Совершенно правда ваша, сказалъ Березовъ.

— Правда?... Ну, вотъ, видите ли, правда! Вотъ ты, Иванъ Павлычъ, свѣтъ-то видѣлъ, такъ лучше порасскажешь. Мы на васъ глядимъ, просто, дивимся, какъ себя вспомнимъ. Куда намъ! далеко мы были не то. Вы смѣлы стали, а мы... Бывало, идешь, дрожишь, какъ бы тебя на улицѣ кто не увидалъ; говорить станешь, если кто тебя о чемъ спросить изъ старшихъ или такъ, случится изъ постороннихъ — слова лишился. Ищешь, ищешь выраженій, да такъ и кончишь, что молчишь... Вы изнѣжены, вы себѣ ни въ чемъ не отказываете; а вы насъ спросите... Вотъ ты, Алексѣй, меня спроси: вы всякій праздникъ да и въ будній день нерѣдко, пѣвцы, гурьбой отправляетесь чай пить. А мы этого чая не знали, какой вкусъ въ немъ есть. Я уже курсъ кончилъ, въ академію поступилъ, такъ уже тамъ, однажды, пригласилъ меня отецъ Діодоръ къ себѣ и предложилъ чаю. Батюшки! за чашку-то я не знаю, какъ и взяться! хлебнулъ— ароматъ, теплота разлилася... А я теплу радъ: одежда плохая. Я какъ въ первый разъ шубу надѣлъ (ужъ сюда опредѣлился, мѣсто занялъ), такъ и думаю: что это такое, и я ли это самъ — вотъ какъ! Двое товарищей тогда со мной вмѣстѣ вышли изъ академіи, вмѣстѣ сюда на мѣсто пріѣхали. Какъ примѣряли мы эти шубы, — тепло да хорошо—такъ и ходимъ по горницѣ, радуемся: вотъ и мы людьми стали. Какъ же не радоваться? Я по седьмому году круглымъ сиротой остался, поступилъ въ училище, да не на казенное, а платить за меня и некому, и нечѣмъ. Изъ жалости хозяйка кормила... дай ей Господь царство небесное! (Профессоръ перекрестился). Бывало, придешь, за столомъ сидятъ товарищи, старшіе: такъ совѣстно кусокъ взять. Вотъ какъ! Пера не бывало чѣмъ писать; бывало, поднимешь листы бумаги старые, писанные, которыми въ лавкахъ купцы товаръ завертываютъ, да между строками и пишешь... Покуда на казенное содержаніе взяли. Вотъ какъ! А вы не то, у васъ уже и понятія не тѣ... Нынче ужъ не та бурса, что прежде была. И худого было больше; къ чести вашей сказать,— шалостей, безпорядковъ больше было; бѣдовый народъ бывалъ...

— Ужъ какой бѣдовый! сказалъ Березовъ. — Говорятъ, рать на рать выходила, страшно бывало жить на улицахъ, гдѣ жили семинаристы.

— Ну, ну, дѣло прошлое. А лучше нынѣшняго было тѣмъ, что простоты нравовъ больше было: бывало, къ отцу на вакацію въ село поѣдутъ, да въ полевыхъ работахъ имъ помогаютъ... Эта простота нравовъ у насъ, у старыхъ-то, и понынѣ сохранилася. Прошлымъ лѣтомъ, вотъ скажу вамъ, дѣтушки, удостоилъ меня отецъ-ректоръ, взялъ съ собою: въ гости онъ ѣхалъ, на дачу. Ѣдемъ мимо поля— жнутъ. «А что—говоритъ отецъ-ректоръ — вспомнимъ мы съ тобой старину, Павелъ Захарычъ: не позабылъ ли ты?» да вышелъ изъ кареты, въ шелковой рясѣ, во всѣхъ своихъ орденахъ, взялъ серпъ у бабы и давай жать... Вотъ, значитъ, душа, смиреніе... Ну, и я за нимъ. А вы что...

— Да мы почти всѣ то же дѣлаемъ, возразилъ Костинъ:—я всю прошлую вакацію, какъ былъ у батюшки, и жалъ, и косилъ, и сѣялъ.

— За то скромнѣе были, въ разсужденія не вдавались, не обольщались разной суетой! — такъ — флюгерами на всѣ вѣтра не вертѣлись. Семинаристъ такъ семинаристомъ и оставался, особнякомъ; а нынче вы все стремитесь, туда же, за всѣми... Желанія у васъ являются... развитіе, вотъ, это, какое-то...

— Вы, кажется, находили, что это не совсѣмъ дурно, замѣтилъ Березовъ.

— А ужъ Господь знаетъ, что хорошо, что дурно! возразилъ профессоръ. — Если удастся кому — значитъ, хорошо. Вы счастливѣе насъ тѣмъ, что смѣлѣе. Авось къ вамъ снисходительнѣе будутъ, чѣмъ къ намъ. Вы себя, въ сравненіи съ нами вельможами держите. Ну, что-жъ, попытайте счастья...

— Ты этому не улыбайся, не радуйся, Алексѣй Алексѣичъ! Не одно счастіе, да смѣлость, да рожица красивая: тутъ наука нужна, познанія основательныя. «Удача удачей, а ума все, хоть немного, да надобно», какъ говорилъ безсмертный Сурововъ.

Профессоръ разсмѣялся.

— Кстати, сказалъ Зарѣчинскій, довольно смѣло позволяя себѣ перемѣнить разговоръ:—позвольте спросить, не получили ли вы газеты? Мы всѣ очень интересовались узнать, что новаго...

— Да, сдѣлайте одолженіе, пожалуйте намъ, позвольте прочесть, сказали вмѣстѣ Слободской и Костинъ.

— Видишь, какъ встревожились, взалкали! Честь вамъ это дѣлаетъ, братцы: чувство это священное. Патріотами я васъ не назову: слова этого иностраннаго не люблю, не родного... а хорошо братцы, честь вамъ и слава! Этимъ вы доказываете, что не одна наука, а человѣческое, и тѣмъ болѣе отечественное, серцу вашему близко... Вотъ вамъ скажу, сколько новостей! И чудеса что тамъ, сами прочтите. Зайдите ко мнѣ кто нибудь завтра, послѣ класса, и возьмите...

Молодые люди, осмѣлившись, принялись благодарить.

— Пора по домамъ. Господь съ вами, сказалъ профессоръ, вставая и опять крестясь на образъ. — Пойдемъ, Александръ Матвѣичъ!.. Иванъ Павлычъ! пойдемъ и ты съ нами: дорогой побесѣдуемъ... А ты, Алексѣй, и... кто еще тутъ съ тобой?.. смотрите, чтобъ этого въ другой разъ не было — не запаздывать. Сегодня у товарищей сидѣлъ, а завтра по лицу земли разсѣетесь... Спасайся, пока есть время... Ну, Господь съ вами.

Профессоръ, Зарѣчинскій и Березовъ ушли. Слободской свѣтилъ имъ въ сѣни.

— Прощайте, господа! сказалъ Ивановскій, когда онъ возвратился.

— Прощай, Алеша! Что ты не веселъ сталъ?

— Такъ что-то.

— Утро вечера мудренѣе, сказалъ Костинъ.

VIII.

Ивановскій давно придумалъ, какъ кончить свой вечеръ: онъ сказалъ Никольскому, чтобы тотъ шелъ домой, и отправился въ улицу, гдѣ жила Лизавета Дмитріевна. Онъ до полночи простоялъ у ея окна, слушая, какъ она играла.

Ивановскій началъ дѣлать это почти всякій день, ночуя у отца и возвращаясь домой на зарѣ. Онъ жертвовалъ сномъ, чтобы послушать, какъ играетъ Лизавета Дмитріевна, и посмотрѣть въ ея освѣщенныя окна. Почти всегда сторы были спущены, но если поднимались случайно и отворялось окно, Ивановскій отходилъ на средину улицы, откуда можно было видѣть глубину комнаты. Онъ видѣлъ, какъ Лизавета Дмитріевна прохаживалась по комнатѣ, какъ она работала у того стола, гдѣ они вмѣстѣ пили чай. Иногда подъѣзжали экипажи, сбирались гости, дамы и молодые люди. Ихъ тѣни мелькали на опущенныхъ сторахъ. Должно быть, было весело: они оставались долго. Одинъ разъ, когда уѣзжала какая-то дама, Лизавета Дмитріевна подошла къ окну, поклонилась ей еще разъ, сказала: «до свиданія», и потомъ нѣсколько словъ по-французски. Ивановскій дожидался отъѣзда гостей, бродя по противоположному тротуару. Лизавета Дмитріевна играла больше и охотнѣе, когда бывала одна. Всякій разъ, когда она бывала одна, Ивановскій рѣшался войти къ ней, но рѣшался уже такъ поздно, что исполнить было невозможно.

Въ N* пріѣхалъ одинъ извѣстный артистъ. Ивановскій узналъ это, идя изъ класса и увидя афишку концерта, вывѣшенную у театральнаго подъѣзда. Вечеромъ этого дня Ивановскій видѣлъ, какъ Лизавета Дмитріевна уѣхала въ концертъ. На другой день у нея опять были гости и пріѣзжій артистъ, котораго Ивановскій узналъ потому, что изъ его кареты вынесли ящикъ со скрипкою. Звуки этой скрипки и рояля Лизаветы Дмитріевны раздавались далеко за ночь. Ивановскій думалъ, что съ ума сойдетъ въ эту ночь.

Такъ прошло нѣсколько дней. Классы въ семинаріи, классы пѣнія, очередныя раннія обѣдни въ архіерейскомъ домѣ, прогулки съ товарищами, часа два въ своей семьѣ, чай въ какомъ нибудь трактирѣ, чтеніе посредственнаго романа въ плохомъ переводѣ — все шло своимъ порядкомъ, какъ шло уже нѣсколько лѣтъ. Товарищи замѣтили Ивановскому, что онъ похудѣлъ, а регентъ замѣчалъ, что онъ поетъ усерднѣе, нежели когда нибудь. Только однажды, наигрывая на скрипкѣ какое-то изъ своихъ петербургскихъ воспоминаній, регентъ, дѣлавшій это всегда съ цѣлью затронуть вниманіе Ивановскаго, былъ удивленъ тѣмъ, что Ивановскій не только обратилъ вниманіе, но смутился, какъ будто его что разстроило: эту самую тему онъ слышалъ наканунѣ, какъ ее играла Лизавета Дмитріевна.

Наступила суббота. Пропѣвъ всенощную и напрасно прождавъ, что Лизавета Дмитріевна придетъ въ крестовую, церковь архіерейскаго дома, Ивановскій пошелъ было въ

городъ съ товарищами, но раздумалъ, едва выйдя изъ воротъ, хотѣлъ пройти въ слободу, къ отцу. и, раздумавъ опять, возвратился на площадку предъ соборомъ и сѣлъ на загородку. Солнце было уже низко и отражалось въ рѣку прямо въ томъ мѣстѣ, гдѣ она огибаетъ полукругъ города; дальній конецъ города исчезалъ въ яркихъ лучахъ какъ въ туманѣ; дальняя церковь, въ тѣни, окрасилась какимъ-то сизымъ цвѣтомъ, а крестъ ея горѣлъ такъ, что глазамъ было больно. Зелень луговъ синѣла и темнѣла; бѣлый песчаный берегъ и далекая сосновая роща освѣщались прелестнымъ розовымъ оттѣнкомъ. Кругомъ собора было пусто и тихо; только подъ горой покрикивали ласточки и слышалось плесканіе воды, которую огородникъ лилъ въ бочку. Его бѣлая лошадка стояла въ водѣ, отдыхая отъ жара и усталости; она даже нѣсколько разъ порывалась поплыть, къ большому неудовольствію хозяина. Ивановскій смотрѣлъ на все это и думалъ, самъ не зная что. Двое товарищей — добрый малый Ждановъ, котораго денежныя обстоятельства были постоянно плохи, и Евфратовъ, не чуждавшійся, но боявшійся общества—явились изъ воротъ архіерейскаго двора и тоже усѣлись вдали отъ Ивановскаго, на загородку. Одинъ считалъ свои долги, другой предлагалъ неудачныя утѣшенія. Наконецъ Ждановъ, совсѣмъ перевѣсившись чрезъ рѣшетку, завелъ, съ вершины берега, разговоръ съ огородникомъ; а Евфратовъ погрузился въ соображеніи, сколько, при такой погодѣ, можно наловить рыбы на отраву.

Ивановскій посмотрѣлъ въ ихъ сторону и, не желая разговаривать, остался на своемъ мѣстѣ. Оглянувшись въ другой разъ, онъ увидѣлъ, что къ нимъ подходила женская фигура. Такъ, по крайней мѣрѣ, ему показалась, потому что солнце мѣшало разсмотрѣть; но когда эта фигура, приближаясь, вышла изъ-подъ лучей, Ивановскій ясно увидѣлъ бѣлый зонтикъ и черное платье. Чрезъ минуту онъ убѣдился, что это была Лизавета Дмитріевна. Она гуляла одна, какъ это было въ ея привычкахъ, о чемъ она сама сказала Ивановскому.

Онъ рѣшился встать и уйти въ домъ, потомъ рѣшился остаться и поклониться ей, если она пройдетъ мимо его, наконецъ принялъ твердое намѣреніе смотрѣть на даль, не оборачиваться и не кланяться, хотя бы Лизавета Дмитріевна десять разъ прошла мимо. Но въ самую минуту этого намѣренія Лизавета Дмитріевна была въ двухъ шагахъ, узнала Ивановскаго и остановилась.

— Здравствуйте, сказала она. Между тѣмъ какъ онъ всхочилъ, покраснѣлъ и раскланялся.

— Здравствуйте, повторилъ онъ, едва выговоривъ это слово отъ испуга и радости.

— Какой чудесный вечеръ! продолжала Лизавета Дмитріевна: — какъ это вы не гуляете гдѣ нибудь далеко? На поля даже издали весело смотрѣть.

— Для насъ ужъ поздно гулять, отвѣчалъ онъ, показавъ на свое жилище: — скоро запрутъ ворота.

— Жаль... А въ самомъ дѣлѣ, продолжала она, опираясь на загородку:—здѣсь славный видъ, лучшій со всего берега. Счастливцы вы, что можете смотрѣть на него, когда хотите.

— Да... отвѣчалъ Ивановскій, глядя на нее, между тѣмъ какъ она смотрѣла въ поле: — видъ хорошъ... только для проходящихъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? спросила она, разсмѣявшись и обращаясь къ нему:—а сколько лѣтъ вы имъ любуетесь?

— Четыре года.

— Довольно... Но все-таки вы пришли посмотрѣть на него и сегодня.

— Что же больше дѣлать?

Невольно Ивановскій такъ печально сказалъ это, что Лизавета Дмитріевна посмотрѣла на него пристально.

— Вы какъ будто перемѣнились, сказала она:—вы нездоровы?

— Я?.. Да... нѣтъ... Право, не знаю, какъ вамъ сказать, отвѣчалъ онъ, смущаясь, а, между тѣмъ, думая, что это, можетъ быть, единственный случай сказать ей что нибудь о себѣ: въ двѣ недѣли онъ столько думалъ о Лизаветѣ Дмитріевнѣ, что ему стало казаться, будто они знакомы давно: — право, не знаю... Мнѣ очень скучно; можетъ быть, я и боленъ... физическія болѣзни всегда происходятъ отъ нравственныхъ причинъ...

— Полноте! возразила она, съ такимъ милымъ и вмѣстѣ изящнымъ состраданіемъ, что и не Ивановскій, а всякій, даже предубѣжденный противъ нея, сказалъ бы, что у нея ангельская душа: — полноте! въ ваши лѣта быть больнымъ отъ горя — сохрани Боже! Что васъ такъ сильно огорчаетъ? Всѣ ли здоровы въ вашей семьѣ?

— Слава Богу, отвѣчалъ Ивановскій:—и со мной ничего особеннаго не случилось... такъ, скучно. Меня ничто особенно не занимаетъ; но, когда раздумаешься, придешь сюда...

Ему хотѣлось высказать такъ много, что онъ не договорилъ. Ему мерещилось, что эта встрѣча не на яву, а во снѣ, что Лизавета Дмитріевна и безъ того знаетъ, что онъ хочетъ сказать ей. У него какъ-то недостало голоса продолжать.

— А вы, кажется, охотникъ раздумываться, сказала Лизавета Дмитріевна: — это несовсѣмъ хорошо. Лучше старайтесь разсѣяться какъ нибудь. Почему вы такъ давно не приходили ко мнѣ? прибавила она, вспомнивъ, что для бѣднаго пѣвчаго не существовало большихъ разсѣянностей.

— Признаюсь, я хотѣлъ, но не смѣлъ... я боялся васъ обезпокоить, отвѣчалъ онъ поспѣшно и вспыхнувъ отъ радости: — я, право, не могъ ожидать... я думалъ, вы въ шутку...

— Какая шутка! возразила она, засмѣявшись его смущенію: — я просила васъ бывать у меня, если это доставитъ вамъ удовольствіе, и теперь повторяю то же...

— Ради Бога, не подумайте, чтобы я не цѣнилъ этой чести, прервалъ онъ, оторопѣвъ: — не подумайте, чтобы я смѣлъ забыть, но я никакъ не надѣялся, что вы удостоите...

— Я думаю только, что вы забыли самое главное: то, что мнѣ было очень пріятно, когда вы были у меня. Милости просимъ завтра, когда хотите, когда будетъ у насъ время... До свиданія.

Лизавета Дмитріевна поклонилась и отошла. Ивàновскій слѣдовалъ за нею нѣсколько шаговъ; но она не оборачивалась, изъ чего онъ догадался, что она не хочетъ, чтобы ее провожали. Онъ стоялъ и смотрѣлъ все время, какъ она шла по огромной площади, отдѣляющей соборъ отъ города, пока темнѣло ея платье, пока мелькалъ, блестя, ея зонтикъ. Когда она скрылась изъ вида, Ивàновскій не зналъ, остаться ли ему весь вечеръ и всю ночь у загородки, идти ли домой и думать, притворившись спящимъ, въ темномъ дортуарѣ... Стемнѣло. Евфратовъ и Ждановъ давно ушли... куда, Ивàновскій не замѣтилъ: онъ, вообще, ничего не помнилъ, и его вызвалъ къ дѣйствительности только Никольскій, возвращавшійся съ своего литературнаго вечера.

— Вы еще здѣсь, Алексѣй Алексѣичъ? Какъ тамъ всѣ жалѣли, что вы не пришли. Я сказалъ, что вы обѣщались. Въ ту субботу пойдемте... Ахъ, что за ночь, Алексѣй Алексѣичъ!

Ночь темна, пустыня внемлетъ Богу,
И звѣзда съ звѣздою говоритъ;
Въ небесахъ торжественно и чудно;
Спитъ земля въ сіяньи голубомъ...

Никольскій читалъ съ особеннымъ чувствомъ и одушевленіемъ: его пріятный голосъ немного дрожалъ отъ наслажденія, которое доставляли ему эти слова. Ивàновскій выслушалъ его въ какомъ-то восторгѣ. Когда прошелъ этотъ восторгъ, молодые люди, отвернувшись другъ отъ друга, оба молча, смотрѣли въ темное поле; потомъ Никольскій сказалъ: «пора», и оба молча, не спѣша пошли домой. Тамъ Ивàновскій сказалъ, что у него голова болитъ, чтобъ имѣть предлогъ неидти ужинать, молчать и думàть. Впрочемъ, онъ думалъ недолго, а заснулъ, какъ засыпаютъ счастливцы въ двадцать два года.

Невозможно описать всѣхъ его волненій утромъ на другой день. Евфратовъ пересказалъ товарищамъ о его встрѣчѣ съ Лизаветой Дмитріевной, и Ивàновскаго допрашивали до тѣхъ поръ, пока онъ сказалъ, что она пригласила его къ себѣ. Тогда, одни изъ любопытства, другіе шутя, Лампадинъ даже насмѣхаясь, Бѣляевъ и регентъ совершенно дружески, стали совѣтовать ему не откладывать и идти скорѣе. Ивàновскій и безъ того думалъ быть у Лизаветы Дмитріевны въ тотъ же день. Это было воскресенье. Они пѣли позднюю обѣдню въ соборѣ. У Ивàновскаго замерло сердце, когда онъ увидѣлъ вдали Лизавету Дмитріевну; но, когда кончилась служба и, сойдя съ клироса, Ивàновскій долженъ былъ пройти мимо нея, онъ осмѣлился поклониться ей. Лизавета Дмитріевна говорила въ это время съ двумя нарядными и важными дамами: съ ней любезничалъ старичокъ, очень хорошо декорированный. Она на минуту прервала разговоръ, оглянулась и поклонилась учтиво и привѣтливо. Ивàновскій рѣшилъ, что пойдетъ къ ней сейчасъ же, утромъ. Онъ только побѣжалъ еще разъ осмотрѣть свой нарядъ, выпросилъ шляпу у регента, отказался отъ чаю, отъ завтрака, сказалъ, чтобъ его не ждали обѣдать, и полетѣлъ, не слыша земли подъ собою. Онъ былъ такъ счастливъ, что у него достало храбрости на всю дорогу, и сомнѣнія, идти или воротиться, не пришли ни разу. Онъ не замѣтилъ кареты и дрожекъ, стоявшихъ въ тѣни подъ большими деревьями съ другой стороны дома, и вошелъ на подъѣздъ и въ переднюю, волнуясь, но только отъ удовольствія. Тамъ сидѣлъ лакей въ ливреѣ. Онъ приподнялся было, увидя Ивàновскаго, и тотчасъ сѣлъ опять.

— У барыни гости, сказалъ лакей Лизаветы Дмитріевны.

Маленькая горничная выглянула изъ дру-

гой двери, засмѣялась и исчезла. На Ивановскаго нашло не смущеніе, не страхъ, а отчаяніе. Колебаться было некогда. Уйдти значило погубить себя. Онъ запустилъ руку въ свои великолѣпные волосы, встрепалъ ихъ сколько слѣдовало, какъ дѣлалъ это въ трудныя минуты жизни, взглянулъ на свои отличныя перчатки и вошелъ въ гостиную.

— Здравствуйте, Алексѣй Алексѣичъ! сказала хозяйка, привставъ: милости просимъ.

На диванѣ сидѣла довольно полная дама среднихъ лѣтъ, можетъ быть и старѣе; но Ивановскому, не знавшему, какъ сохраняютъ свою наружность дамы высшаго круга, она показалась молодою. Она слегка качнула шляпкой, въ отвѣтъ на его общій поклонъ. Въ креслахъ, у стола, кружкомъ, помѣщались хозяйка, пожилой господинъ и молодой человѣкъ, смотрѣвшій, казалось, совершенно равнодушно, хотя его взглядъ, почему-то, болѣе всего смутилъ Ивановскаго. Но Ивановскій какъ началъ, такъ и продолжалъ дѣйствовать отчаянно.

— Я поспѣшилъ воспользоваться вашимъ позволеніемъ... сказалъ онъ Лизаветѣ Дмитріевнѣ и хотя говорилъ вполголоса, но слова его звучали, какъ хорошо спѣтый речитативъ.

— Очень рада, что вы его не забыли, прервала Лизавета Дмитріевна, чтобы остановить благодарность, которой ожидала, и указала ему одно изъ кресслъ, составлявшихъ кружокъ.—Петръ Александрычъ! продолжала она, обращаясь къ пожилому господину: Алексѣй Алексѣевичъ Ивановскій, одинъ изъ артистовъ, которые привели васъ въ такое восхищеніе. Можете благодарить сами... Мы сейчасъ говорили о вашемъ хорѣ, господинъ Ивановскій. Петръ Александрычъ слышалъ его сегодня въ первый разъ. Онъ пріѣзжій и такой же, какъ я, поклонникъ духовной музыки.

— Да, прекрасно, прекрасно пѣли, сказалъ Петръ Александровичъ Ивановскому.

Ивановскій поклонился слегка, молча, не вставая. Молодой человѣкъ взглянулъ на него спокойно и безъ всякаго выраженія; дама потянула свое платье, касавшееся кресла, на которомъ сидѣлъ Ивановскій, и посмотрѣла на хозяйку вопросительно.

— Такъ вы изволили говорить... обратился Петръ Александровичъ къ гостьѣ, спѣша возобновить разговоръ, прерванный приходомъ Ивановскаго.

Гостья тотчасъ возобновила этотъ разговоръ. Она разсказывала цѣлую исторію; а такъ какъ Ивановскому пришлось слушать ее съ средины, то исторія показалась ему еще непонятнѣе, чѣмъ была для него въ самомъ дѣлѣ. Рѣчь шла о какой-то княжнѣ, вышедшей замужъ. Петръ Александровичъ, какъ пріѣзжій въ N, не зналъ подробностей, и потому гостья разсказывала ему генеалогію князей Лычинскихъ и біографію почти всѣхъ членовъ этого семейства. Аристократическія имена сыпались одно за другимъ. Исчисленіе ихъ богатства, похвалы ихъ образованію, ихъ умѣнью жить, тончайшій разборъ отношеній этихъ лицъ между собою—все вмѣстѣ было изумительно и излагалось очень пространно. Гостья говорила съ такимъ увлеченіемъ, что среди ея рѣчей, казалось, никому невозможно вставить свое слово.

Страхъ, который Ивановскій чувствовалъ въ первыя минуты, почти прошелъ: Ивановскій осмотрѣлся и, убѣдясь, что ни въ его движеніяхъ, ни въ его костюмѣ, ни въ немъ самомъ не было ничего страннаго, сказалъ себѣ, что стыдно робѣть, какъ маленькій ребенокъ. Но разсказы этой дамы оглушили его, сбила съ толку. Рѣшившись слушать для своего назиданія, онъ почти не понималъ, о чемъ говорили. Удивленіе Ивановскаго удвоилось, когда молодой человѣкъ позволилъ себѣ прервать гостью, обратясь къ Петру Александровичу.

— Прежде всего надо сказать, что княжна Hélène Лычинская, нынѣшняя m-me Чижова, стара и страшно дурна собою.

— M-r Аницкій, что вы говорите! вскричала дама.

— Стара и дурна. Иначе, какъ объяснить, почему она вышла замужъ за какого-то parvenu, за мальчишку въ девятнадцать лѣтъ, глупаго и безъ образованія. Отецъ его нажился подрядами... не знаю, чѣмъ... нигдѣ не бывалъ дальше передней; а сынъ...

— Vous allez nous dire! прервала гостья:—прехорошенькій молодой человѣкъ...

— Вотъ и причина! продолжалъ Аницкій:—старая княжна влюбилась! Конечно, въ ея лѣта любовь все превозмогаетъ... даже страхъ имѣть мужа съ скверными манерами!

— Во-первыхъ, онъ вовсе не глупъ, возразила дама, покраснѣвъ отъ досады:—онъ это доказалъ устройствомъ своей свадьбы... Вы не повѣрите, Лизавета Дмитріевна, какъ все было великолѣпно, роскошно. Онъ доказалъ, какъ много любитъ Hélène, потому что съ его стороны это была истинная любовь, истинная. Hélène... Во-первыхъ, она вовсе не такъ стара, какъ вы говорите...

— Лѣтъ подъ сорокъ, сказалъ хладнокровно Аницкій.

— Hélène не могла отвѣчать на такую сильную любовь. Она, конечно, принесла себя въ жертву, elle s'est dévouée pour cet amour; но она была восхитительна подъ вѣнцомъ! платье отдѣлано Bruxelles, вуаль, брильянты...

— Подъ вѣнцомъ! вскричалъ Аницкій, расхохотавшись:—помилуйте, это былъ ужасъ! желта, черна...

Ивановскій вспомнилъ эту свадьбу. Аницкій, смѣясь, обратился въ его сторону, почему Ивановскій рѣшился сказать, но удержавшись отъ улыбки:

— Мнѣ тоже она нисколько не понравилась.

Гостья бросила на него страшный, гнѣвный и изумленный взглядъ, быстрый, какъ молнія. Къ счастію своему, семинаристъ его не замѣтилъ.

— Гдѣ же вы видѣли княжну? спросилъ довольно рѣзко Аницкій, въ минуту переставъ смѣяться.

— Въ церкви, подъ вѣнцомъ. Мы пѣли, отвѣчалъ Ивановскій съ спокойствіемъ невинности.

Аницкому стало какъ-то совѣстно: или онъ не ждалъ такого смиреннаго отвѣта, или ему понравилась простота этого признанія.

Лизавета Дмитріевна обратилась къ гостьѣ, чтобы успокоить ея негодованіе и заставить ее опять заговорить. Ивановскій замѣтилъ, что сдѣлалъ какую-то неловкость, и потерялся.

— Вы пѣли? спросилъ его Петръ Александровичъ:—что-жъ, хорошо вамъ заплатили?

Аницкій взглянулъ на Петра Александровича, немного вытаращивъ глаза.

— Угостили васъ, все какъ слѣдуетъ? продолжалъ Петръ Александровичъ.

— Не помню: это было давно, отвѣчалъ Ивановскій, покраснѣвъ.

Аницкій сдѣлалъ неуловимую гримасу въ родѣ усмѣшки и обратился къ Ивановскому.

— Я помню только, что страшно перезябъ въ эту церемонію, сказалъ онъ ему, особенно просто и пріятно, какъ говорятъ съ людьми знакомыми.—Пришло же въ голову этой четѣ вѣнчаться въ такой морозъ! Хоть бы подумали о зрителяхъ!

— Вы были даже дѣйствующимъ лицомъ, шаферомъ Hélène, замѣтила гостья, желая опять разговориться съ Аницкимъ и вмѣстѣ, почему-то желая уколоть его.

— Княжна меня просила, отвѣчалъ равнодушно Аницкій, взявъ одну тетрадь французской «Иллюстраціи», лежавшей на столѣ.

— А знаете, сказала Петру Александровичу гостья, вдругъ мѣняя разговоръ, между тѣмъ какъ Лизавета Дмитріевна говорила съ Ивановскимъ:—нынѣшняя зима будетъ оживлена у насъ. Полкъ будетъ стоять, резервы. Несмотря на всѣ событія, повеселятся хоть немного...

Гостья стала доказывать необходимость повеселиться, описывала грусть дѣвицъ, по случаю войны не танцовавшихъ цѣлую прошлую зиму, и объявила, что хочетъ въ первый разъ вывести въ свѣтъ своихъ дочерей.

— Здѣсь былъ концертъ, сказала Лизавета Дмитріевна Ивановскому.

— Да, я знаю.

— Этотъ артистъ былъ здѣсь проѣздомъ. Я знакома съ нимъ давно, еще съ Петербурга, и онъ былъ такъ снисходителенъ, что игралъ у меня цѣлый вечеръ.

Ивановскій хотѣлъ повторить: «я знаю», но удержался.

— На возвратномъ пути онъ опять будетъ здѣсь, опять будетъ у меня, и тогда, конечно, вы его услышите.

— Не знаю, чѣмъ я заслужилъ столько вниманія... сказалъ Ивановскій.

— Мнѣ хочется, чтобъ онъ и васъ слышалъ: я успѣла много наговорить ему о васъ.

— Вамъ угодно, чтобы я загордился, возразилъ Ивановскій, краснѣя отъ восхищенія.

— Помогите отгадать эту загадку, сказалъ Аницкій гостьѣ, подвигая ей нумеръ, «Иллюстраціи».

— Я тупа и многаго не понимаю, отвѣчала гостья, взглянувъ на хозяйку и Ивановскаго.

Она обратилась опять къ Петру Александровичу съ разсказами объ удовольствіяхъ прошлыхъ зимъ и воспитаніи своихъ дочерей.

— Ничего столько не ненавижу я въ женщинахъ, какъ экцентричность, говорила она съ сильнымъ убѣжденіемъ.

— Лизавета Емитріевна! спросилъ Аницкій:—вы будете здѣсь зимою?

— Нѣтъ.

— Почему нѣтъ? Это зависитъ отъ вашей доброй воли. Останьтесь: здѣсь будетъ весело.

— Тѣмъ лучше для васъ.

— Для меня? Мнѣ рѣшительно все равно, будутъ ли танцовать, или нѣтъ. Но я васъ прошу, останьтесь. Сдѣлайте это для добрыхъ людей.

— Любопытно знать, какое особенное удовольствіе это доставитъ добрымъ людямъ.

— Удовольствіе видѣть, какъ злые будутъ злиться. Сердить злыхъ, по-моему, полезное дѣло.

— Я не совсѣмъ это понимаю.

— Постараюсь объяснить вамъ... Кстати, не будете ли вы сегодня вечеромъ въ деревнѣ у Шеняевыхъ? Всего пять верстъ. Дѣвицы поручили мнѣ просить васъ. Онѣ умираютъ отъ скуки. Батюшка ихъ брюзжитъ по обыкновенію, матушка зѣваетъ... Ничего не знаю плачевнѣе этого семейства!

— А, вы, молодые люди, сказала гостья, съ милымъ упрекомъ, ясно выказывая, что упрекаетъ въ шутку и подсмѣивается надъ тѣми, къ кому выражаетъ состраданіе:—вы бываете тамъ часто: какъ вы не сжалитесь надъ этими дѣвушками, не оживите ихъ какъ нибудь? Trois grande jeunes personnes, три невѣсты!

— На меня могутъ не разсчитывать ни невѣсты, ни ихъ маменьки, отвѣчалъ Аницкій очень рѣзко.

— Въ самомъ дѣлѣ? спросила гостья, смѣясь, чтобы не сконфузиться.

— Какъ нельзя серьезнѣе, сказалъ Аницкій.

Ивановскій взялъ «Иллюстрацію». Онъ догадался, что можетъ это сдѣлать, если Аницкій это дѣлалъ. Петръ Александровичъ сказалъ въ полголоса Лизаветѣ Дмитріевнѣ, показывая глазами на Ивановскаго:

— Отпустите его.

— Кого? спросила Лизавета Дмитріевна, не понимая.

— Отпустите этого пѣвчаго: что ему нужно?... не церемоньтесь съ нами. Вѣдь онъ ждетъ чего нибудь, пришелъ по дѣлу...

Лизавета Дмитріевна засмѣялась.

— Онъ мой знакомый, гость, отвѣчала она тихо.

Петръ Александровичъ, чѣмъ-то недовольный, обратился къ гостьѣ съ вопросомъ, не имѣетъ ли она извѣстія изъ Москвы, отъ одной ихъ общей знакомой.

— Отъ Рогачевой? какъ же! отвѣчала гостья и начала новый разсказъ.

Ивановскій смотрѣлъ на листокъ нотъ въ «Иллюстраціи». Лизавета Дмитріевна догадалась, что онъ читаетъ ихъ.

— Не трудитесь, сказала она:—не стоитъ: вовсе нехорошо.

— Я вижу, что нехорошо, отвѣчалъ онъ:— даже какъ будто подражаніе чему-то знакомому, какому-то романсу.

Аницкій взглянулъ на него равнодушно и, положивъ локти на столъ, потянулъ къ себѣ одну тетрадь «Иллюстраціи».

— Вотъ это сраженіе, сказалъ Ивановскій, осмѣлясь, самъ не зная какъ, и показывая Лизаветѣ Дмитріевнѣ на картинку:— описываетъ намъ въ письмѣ нашъ товарищъ. Онъ ординаторомъ... младшимъ медикомъ въ одномъ госпиталѣ.

— Онъ недавно тамъ? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Съ зимы; какъ кончилъ курсъ въ академіи, такъ поѣхалъ.

— Онъ вамъ часто пишетъ?

— Какъ случится: когда есть время. Мы просили его писать чаще. Мы съ нимъ дружны: хотѣлось бы знать и о немъ и обо всемъ, что тамъ происходитъ: разсказъ очевидца интереснѣе газетъ.

— Особенно, когда этотъ очевидецъ вашъ другъ... Онъ описываетъ подробно?

— Да, очень живо. Онъ имѣетъ способность разсказывать увлекательно... сколько возможно передать такія сцены... Впрочемъ, здѣсь это дѣло расказано не совсѣмъ такъ, какъ онъ пишетъ: намъ, конечно, отдаютъ справедливость; но потеря непріятеля простиралась гораздо болѣе.

Ивановскій показалъ на журналъ. Аницкій слушалъ.

— Кто нибудь изъ вашихъ товарищей пошелъ въ военную службу? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Нѣкоторые пошли. Я самъ думалъ, и если бы не семейство... это такая священная обязанность...

— По крайней мѣрѣ, было намѣреніе ее выполнить.

— Да... но намѣреніе одно, а исполненіе—другое.

— Одно зачтется за другое, возразила Лизавета Дмитріевна.

Аницкій подвинулъ ей нумеръ «Иллюстраціи».

— Посмотрите, сказалъ онъ: — какой славный праздникъ!

— Ah c'est la fête de Paris! c'est vraiment imperial! вскричала гостья.

— Роскошный праздникъ! сколько вкуса! прибавилъ Аницкій.

— Тяжело смотрѣть на эти праздники послѣ такихъ сценъ, отвѣчала Лизавета Дмитріевна, показавъ на картинку, которую смотрѣла съ Ивановскимъ, и отдавая ему обѣ.

— На свѣтѣ все такъ: все дѣлается въ одно время, идетъ одно съ другимъ, сказалъ Ивановскій, дѣлаясь смѣлѣе отъ ея вниманія.

Аницкій захохоталъ.

— Философія! сказалъ онъ:—недалеко было ходить за ней: текстъ передъ глазами!

— Этотъ праздникъ напоминаетъ мнѣ одинъ случай, о которомъ мнѣ пишетъ моя знакомая, сказала гостья:—Рогачева... Вы знаете, это превосходно образованная женщина, съ совершенно свѣтскимъ тактомъ. Она именно тѣмъ и даетъ цѣну своему знакомству, что чрезвычайно разборчива. Такъ она, въ письмѣ, между прочимъ, разсказываетъ одинъ случай...

Гостья стала разсказывать этотъ «случай»—одно изъ тысячи нисколько не назидательныхъ приключеній, сплетню, которую дамы повторяютъ, увѣряя, что не сплетничаютъ. Ивановскій слушалъ. Онъ не могъ понять всѣхъ тонкостей разсказа; но и то, что понималъ онъ, его поразило. Страшнѣе всего ему показалась разсказчица. И безъ того Ивановскій едва осмѣливался взглядывать на нее, замѣтивъ, что она чѣмъ-то разгнѣвана, и, къ счастію своему, не подозрѣвая, что онъ самъ, что присутствіе его, семинариста, причиною ея гнѣва; она не удостоивала его взглядомъ; но когда она начала разбирать людскія неделикатности и выражать свое мнѣніе, не щадя никого и ничего, Ивановскій пришелъ въ ужасъ. Онъ не ожидалъ, чтобъ такая великолѣпная дама, какъ ему казалось, одна изъ недоступныхъ царицъ общества, выражалась такъ смѣло и даже неизящно.

«Что за злая барыня!» подумалъ онъ, мысленно сравнивъ ее съ супругой одного изъ профессоровъ, которой трепетала вся семинарія.

Петръ Александровичъ былъ особенно внимателенъ къ гостьѣ; на Ивановскаго онъ посматривалъ изрѣдка, улыбаясь милостиво-снисходительно. Эти взгляды и улыбки какъ будто имѣли цѣлью напомнить семинаристу, что, принимая его, ему дѣлаютъ незаслуженную, неслыханную честь.

Аницкій слушалъ разсказы гостьи, почти лежа въ креслѣ и зѣвая. Ивановскій подумалъ, что, вѣроятно, зѣвать въ обществахъ позволено, можетъ быть, принято; но этотъ обычай ему не понравился. Ему вообще не нравилось небрежное обращеніе Аницкаго: Ивановскому оно казалось просто неучтивостью предъ хозяйкой. Не смотря, однако, на то, что судилъ Аницкаго, Ивановскій чувствовалъ себя уничтоженнымъ его спокойнымъ, холоднымъ равнодушіемъ. Презрѣніе барыни, обидная снисходительность старика—все это не такъ тяжело, какъ отталкивающее высокомѣріе человѣка равнаго лѣтами. Ивановскій чувствовалъ это сначала смутно, потомъ разбиралъ на досугѣ, во время своего долгаго молчанія. Одну минуту, въ началѣ разговора, когда Аницкій почти привѣтливо обратился къ нему, прервавъ непріятные разспросы Петра Александровича о деньгахъ и угощеніи пѣвчихъ, Ивановскому показалось, что Аницкій расположенъ къ нему, готовъ поддержать его. У Аницкаго, въ самомъ дѣлѣ, было доброе движеніе: ему стало жаль бѣднаго пѣвчаго, принужденнаго отвѣчать на такіе разспросы; но ему еще больше хотѣлось выказать, что онъ не такъ неделикатенъ, какъ Петръ Александровичъ. Послѣ одного добраго движенія, другого не было. Аницкій не замѣчалъ пѣвчаго, пока внимательность Лизаветы Дмитріевны къ пѣвчему не раздосадовала Аницкаго и не заставила его расхохотаться, чтобъ скрыть досаду.

Ивановскій, конечно, не понималъ этого; онъ былъ только смятъ, встревоженъ. Это былъ не прежній безотчетный страхъ, не школьничья робость, не стыдливость семинариста въ обществѣ, предъ которымъ онъ привыкъ благоговѣть: злая барыня казалась ему почти смѣшна, уваженія къ ней, къ Аницкому онъ не чувствовалъ нисколько; это общество говорило не о такихъ головоломныхъ предметахъ, чтобъ нельзя было, вникнувъ, ихъ понять и поддержать разговоръ. Но Ивановскому стало тяжело; онъ чувствовалъ себя какъ-то одиноко; въ немъ поднялась какая-то безсильная тоска. Онъ посмотрѣлъ на Лизавету Дмитріевну: она слушала, хотя замѣтно безъ удовольствія, разсказъ гостьи, котораго прервать не могла. Ивановскій подумалъ и, пользуясь минутой, всталъ. Онъ не зналъ, что сказать, прощаясь, и поклонился молча.

— Вы уходите? сказала Лизавета Дмитріевна:—позвольте же одну минуту. Не хотите ли прочесть это?

Она встала, взяла съ этажерки книгу и подала ему.

— Если вы еще не читали, я буду очень рада.

Ивановскій ожилъ отъ ея словъ и, покраснѣвъ, поспѣшилъ заглянуть въ книгу.

— Нѣтъ, не читалъ... благодарю васъ, сказалъ онъ.

— Когда прочтете и будете у меня, вы мнѣ скажете ваше впечатлѣніе. До свиданія.

Онъ раскланялся и вышелъ.

— По какому случаю былъ у васъ этотъ молодой человѣкъ, Лизавета Дмитріевна?

спросила гостья, едва Ивановскій затворилъ дверь.

— Просто въ гостяхъ, отвѣчала Лизавета Дмитріевна, улыбаясь вопросу, который предлагали ей уже во второй разъ.

— Въ гостяхъ? повторила гостья съ удивленіемъ, похожимъ на ужасъ.

— Un joli garçon, сказалъ Аницкій, которому нравилось удивленіе этой дамы.

— Неправда ли, жаль, что такіе порядочные молодые люди не имѣютъ средствъ бывать въ порядочномъ обществѣ? сказала Лизавета Дмитріевна.

— На что они тамъ нужны? сказалъ Петръ Александровичъ, пріятно посмѣиваясь.

— Порядочные люди! вы сказали «порядочные люди»? повторилъ Аницкій.

— Какъ же сказать? по ихъ воспитанію...

— Воспитаніе! господа Кедроливанскіе и Вертоградовы?.. Когда я вижу семинариста, мнѣ такъ и представляется живой богословъ Халява... Помните его?

— Помню; карикатура.

— Какъ, карикатура? Но въ немъ выражается весь его классъ, грязный, жадный, лѣнивый!

— Полноте! одного жаднаго лѣнивца принимать за выраженіе цѣлаго класса! Похожъ ли, напримѣръ, Ивановскій на Халяву?

— Но вашъ protégé, вѣроятно, краса своего круга...

— Что-жъ такого особеннаго въ этомъ пѣвчемъ? сказала гостья.

— Именно ничего, прибавилъ Петръ Александровичъ:—если онъ получилъ воспитаніе, могъ бы что нибудь сказать...

— Ахъ, нѣтъ! вскричалъ Аницкій: — увольте! Еслибъ онъ еще вздумалъ высказывать свои познанія...

— Ни ловкости, продолжалъ Петръ Александровичъ: — чтобъ былъ развязный малый, чтобъ умѣлъ занять...

— Чѣмъ же ему занимать общество, когда онъ его не знаетъ? возразила Лизавета Дмитріевна.

— Такъ нечего и показываться въ обществѣ, прервалъ Аницкій.

— Потеря была бы не велика, прибавила гостья.

— Послѣ этого, гдѣ же имъ научиться?

— Ахъ, гдѣ хотятъ! вскричалъ Аницкій.

— Да вѣдь мы принимаемъ ихъ, сказалъ Петръ Александровичъ: — кто-жъ ихъ гонитъ?

— Но кто же въ нашемъ кругу говоритъ съ семинаристомъ? возразила Лизавета Дмитріевна: — кто обращаетъ вниманіе на умъ семинариста?

— Какъ не обратить вниманіе на семинарскій юморъ и на семинаризмы вообще! все это очень замѣтно! прервалъ Аницкій, засмѣявшись.

— Надъ ними смѣются—положеніе незавидное!

— И смѣяться не стоитъ труда, отвѣчалъ Аницкій: — но на что они нужны? что съ ними дѣлать? Какъ же еще ихъ принимать? Я буду вѣжливъ съ семинаристомъ, потому что я со всѣми вѣжливъ; но о чемъ прикажете съ нимъ толковать? между нами нѣтъ ничего общаго. Семинаристъ запертъ въ своей бурсѣ, ходитъ Христа славить, ѣстъ блины, долбитъ латынь—вотъ вся его жизнь!

— Неужели ничего больше? прервала Лизавета Дмитріевна.

— Чего же больше?

— Но это все молодые люди...

— Какіе они молодые люди! вскричалъ Аницкій:—это что-то высохшее, вывѣтренное, выжатое...

— Какъ, ни чувствъ, ни понятій, ни стремленій?..

— У семинариста, Лизавета Дмитріевна, у семинариста? Но вы создаете идеалъ семинариста! У потомка Халявы, у праотца будущихъ Халявъ — чувства и стремленія?.. Они только и думаютъ, какъ собрать съ васъ, съ меня...

— Семинаристъ этого не думаетъ.

— Такъ будетъ думать,— все равно! онъ съ колыбели учится!

— Все-таки, мы же виноваты, что ему нужно этому учиться; они отъ насъ зависятъ...

— Всѣ хороши! сказалъ Петръ Александровичъ.

— Чѣмъ они отъ насъ зависятъ? продолжалъ Аницкій.

— Тѣмъ, что безъ прихода имъ жить было бы нечѣмъ.

— И изъ этого прихода они извлекаютъ все, что возможно, требуютъ, кланяются, выражаютъ претензіи. Но что имъ нужно... Богъ знаетъ сколько?..

— Странно, прервала Лизавета Дмитріевна: — въ нашъ вѣкъ, когда такъ сильно схватились за необходимость матеріальнаго довольства для всѣхъ, когда признали, что довольство имѣетъ вліяніе даже на нравственность, даже на способности человѣка,— этому сословію говорятъ: довольства не нужно!

— О, какой вопросъ вы поднимаете!

— Да; если они и дѣлаются хуже, то потому, что бѣдны; а мы отталкиваемъ ихъ отъ себя: они грубѣютъ поневолѣ...

— Нѣтъ, вы вѣроятно, ихъ не знаете, вы не видали...

— Я очень много видѣла въ мою жизнь, возразила Лизавета Дмитріевна: — я знаю, что люди, отъ скуки, оттого, что развитые, образованные, когда были поставлены въ общество ниже ихъ, не только грубѣли — погибали. Мы ставимъ семинариста точно въ такую крайность...

— А кто его ставитъ!..

— Кто ему мѣшаетъ быть человѣкомъ? прервалъ Петръ Александровичъ: — всѣ дороги открыты.

— И всѣ дома заперты, возразита Лизавета Дмитріевна.—Но, позвольте, вы сказали, что всѣ дороги открыты: слѣдовательно, семинаристъ готовится и можетъ быть членомъ нашего общества?

— Такъ что же?

— Такъ примите его въ вашъ кругъ заранѣе, дайте научиться этой премудрости, пріемамъ вашего круга: онъ перестанетъ быть и казаться смѣшнымъ... Вы принимаете же какого нибудь parvenu, какого нибудь Чижова!.. Семинаристъ бѣденъ: онъ и не можетъ и не желаетъ дѣлить ваши удовольствія; но не отказывайте ему въ сочувствіи, въ дружбѣ, которыхъ онъ стòитъ, какъ и всякій другой...

— И вдругъ—мой пріятель надѣнетъ рясу! Ай, это выше силъ моихъ! вскричалъ Аницкій.

Петръ Александровичъ размѣялся, гостья тоже.

— Представьте мое положеніе: я долженъ принимать у себя это почтенное лицо, я долженъ, идти съ нимъ по улицѣ; меня спросятъ:—«Qui donc était avec vous tout-à-l'heure?» и я отвѣчу: — Un de mes amis, le пономарь de Воскресенье-на-Валу...

— Ah, la plaisanterie est charmante! вскричала дама.

— И вы смѣетесь? вскричалъ Аницкій, увидя улыбку Лизаветы Дмитріевны:—стало быть, вы согласны со мною? стало быть, это смѣшно?

— Дурная привычка смѣяться, признаюсь, отвѣчала она.—Но будемте судить, какъ люди благоразумные...

— Извольте! Вы, вѣроятно, предполагаете, что эти знакомства особенно мнѣ необходимы; что, для моего назиданія, мнѣ собственно необходимо послушать полезныхъ поученій, потому что я въ моихъ убѣжденіяхъ осмѣлился идти дальше...

— Я не говорю ни объ этомъ, ни о васъ, возразила Лизавета Дмитріевна:—но что потеряетъ общество, если къ нему прибавятся полезные люди, порядочные люди?

— Нѣтъ! вы рѣшительно ихъ идеализируете! Вы ихъ не знаете, а я ихъ знаю.

— Положимъ, вы знали нѣсколько дурныхъ людей — дурные люди бываютъ вездѣ—но зачѣмъ предразсудокъ, предубѣжденіе, что всѣ дурны?..

— Жадны, грубы, педанты, низкопоклонны, лѣнивы, привязчивы! Изъ рода въ родъ и изъ вѣка въ вѣкъ!

— Они знаютъ, что о нихъ говорятъ это... Они очень великодушны, что не ненавидятъ насъ!

— Какъ? ненавидѣть? Помилуйте! но они учились и намъ твердятъ: «познавай себя и смиряйся!»

— Мсьё Аницкій, признайтесь, вы не желали бы быть на мѣстѣ котораго нибудь изъ этихъ молодыхъ людей, вотъ хотя Ивàновскаго, и послушать, какъ вслѣдъ вамъ станутъ говорить... все, что вы сейчасъ сказали?

— О, да вѣдь я не Ивàновскій!

— Но эти молодые люди такъ же молоды, какъ вы, такъ же способны оскорбляться и такъ же благородно понимаютъ вещи, какъ вы... точно такъ же, повторяю это, потому что для меня нисколько неутѣшительна мысль, что только одинъ нашъ кружокъ благородно понимаетъ вещи...

— Такъ вы говорите въ смыслѣ общественной идеи? сказалъ Аницкій, смѣясь.

— Да, да, да! Вы, кажется, всегда были за эту идею! прибавилъ Петръ Александровичъ, посмѣиваясь: — вы, кажется, желали бы всѣхъ сблизить, соединить...

— Да, я убѣждена, что когда люди сближаются, изъ этого не можетъ выйти ничего, кромѣ хорошаго... Можно ли изъ предразсудка отталкивать цѣлое сословіе...

— Это такая широкая идея, что невозможно ей не сочувствовать, отвѣчалъ Аницкій съ насмѣшливой, почти дерзкой важностью: — но, повѣрьте, этотъ народъ не понимаетъ вашей идеи, ничего не понимаетъ.

— Въ этихъ молодыхъ людяхъ я уважаю человѣческое достоинство; мнѣ жаль ихъ, потому что имъ жить не весело...

— О, въ такомъ случаѣ, не тратьте сожалѣній! вскричалъ Аницкій, смѣясь громко:—эти порядочные молодые люди такъ веселятся...

— Какъ и другіе; но веселье бѣдныхъ людей стоитъ дешевле, и потому кажется грубѣе, возразила хладнокровно Лизавета Дмитріевна.

— Я замѣчаю, что я засидѣлась у васъ, сказала гостья, вставая.

Она торопилась; казалось, послѣднія слова Лизаветы Дмитріевны переполнили мѣру ея негодованія.

— Увидимся вечеромъ у Шеняевыхъ? спросила Лизавета Дмитріевна, вставая тоже, чтобъ проводить ее.

— Не думаю... не безпокойтесь... отвѣчала гостья и исчезла очень поспѣшно.

Аницкій смѣялся.

— Барыня разсердилась за общественный вопросъ, сказалъ онъ, когда Лизавета Дмитріевна воротилась послѣ проводовъ:— еслибъ я зналъ напередъ, что ее можно этимъ разсердить, я бы сталъ васъ поддерживать... Но вы не сердитесь за мои противорѣчія?

— На васъ? за что-жъ? за предразсудокъ?

— Убѣдитесь, что это не предразсудокъ, а основательное мнѣніе.

— Не могу убѣдиться.

— Но если предразсудокъ, откуда же онъ могъ взяться?

— Можно объяснить и это, возразила Лизавета Дмитріевна.

— Скажите.

— Надо брать издалека... и зайти далеко.

— Хорошо, вы не хотите... но вы согласитесь, по крайней мѣрѣ, что наше предубѣжденіе не совсѣмъ напрасно. Вы назвали этихъ господъ «порядочными людьми», и говорите, что, толкаясь въ обществѣ, они могутъ пріобрѣсть нѣкоторый навыкъ, нѣкоторыя манеры. Положимъ, это можетъ быть такъ. Къ чему это послужитъ? Они не наружно, а внутренно негодятся... Позвольте! Вы возразите мнѣ, представляя идеалы, а я вамъ разскажу одинъ за другимъ факты, примѣры самые неутѣшительные... но вы ихъ такъ же хорошо знаете, какъ я. Откуда они, отчего они?.. Общество не такъ неосновательно отвергаетъ этихъ людей, какъ вамъ кажется. Общество разсчетливо; оно разбираетъ, кто ему нуженъ, что ему нужно. Всякій членъ общества обязанъ внести въ него свой вкладъ. Что принесутъ ему эти люди?..

— Позвольте...

— Извините, я попрошу вашего терпѣнія!.. Что они принесутъ? Богатство, какъ иные разжившіеся мѣщане? Его нѣтъ! Образованность... но, Боже мой, что они знаютъ! гимназистъ третьяго класса собьетъ ихъ съ перваго слова во всѣхъ точныхъ наукахъ; всякій, сколько нибудь размышлявшій человѣкъ, въ прахъ разсѣетъ всю ихъ философію... Вы это знаете, не правда ли? Вы согласны — они недоучены?

— Они учены мало...

— Не мало, совсѣмъ не мало! Мало было бы еще не бѣда, но сухо, ложно. Учатъ, чтобъ выучить, долбятъ наизусть, а къ чему это, что отъ этого остается для ума, для сердца, для домашняго обихода—никто не думаетъ. Имъ все равно, что Наполеонъ, что столпотвореніе вавилонское. Исторія не имѣетъ для нихъ никакого значенія, развѣ какое-то особенное, мистическое. Какая же, послѣ этого, можетъ быть у нихъ вѣра въ прогрессъ? а безъ этой вѣры, что такое человѣкъ? Они, какъ ни молоды, не могутъ принять теплаго, сердечнаго участія въ человѣчествѣ: человѣчество представляется имъ съ школьной, со сказочной точки зрѣнія... Такъ ли? Вижу, вы согласны. Вотъ ихъ образованность! Узко, ограниченно, глупо довольно собою...

— Кто-жъ вамъ сказалъ, что они довольны собою?

— Довольны! Иначе стали бы доучиваться на свободѣ, старались бы разбудить, воскресить свое забытое размышленіе, выразили бы этимъ свой протестъ противъ схоластики...

— Очень многіе идутъ въ университеты; еще больше шли бы, еслибъ были средства жить...

— Ахъ, оставимте эту вѣчную бѣдность, не будемъ брать крайностей, исключеній: взгляните въ общую массу! Взгляните, всѣ, что выучили, при томъ и остаются. Или — довольны собою, считаютъ себя мудрецами, громятъ насъ, которые идемъ дальше, или... что натуральнѣе, право, даже извинительнѣе!.. соскучились на смерть за своимъ вялымъ ученьемъ и забываютъ его сплошь, махнутъ на него рукой, окончательно отупляются. Я вамъ приведу факты, примѣры, повторяю вамъ. Они чуждаются насъ; это понятно: у насъ имъ все кажется дико, — но они не сближаются и между собою. И это понятно: они всѣ въ одну форму, одинъ какъ другой; премудрости положено поровну, сколько въ одного, столько въ другого, и каждый при томъ и остался, не подвинулся; они скучаютъ другъ съ другомъ; одинъ другому ничего не приносятъ новаго...

— Потому что жизнь ничего не даетъ ни тому, ни другому! вскричала Лизавета Дми-

тріевна. — Бѣдность, и вслѣдствіе ея, роковое однообразіе среды...

— «Среда!» повторилъ Аницкій. — Но, если они незначительны даже въ той средѣ, которую сами составляютъ—позвольте мнѣ повторить: какой же вкладъ внесутъ они въ общество?.. Да! еще: нравственность! Что-жъ дѣлаютъ они...

— Я ужъ говорила: дурные люди бываютъ вездѣ...

— Отчего же между ними дурныхъ такъ особенно много? Тутъ бы и быть хорошими,— нѣтъ! прямо, откровенно дурны, какъ будто такъ имъ и быть должно. Отчего? Все та же причина, все то же мертвое ученіе по буквѣ, размышленіе по риторикѣ, рутина. Все это надоѣстъ головѣ, сердце не развито; тексты вошли въ привычку, идутъ подчасъ въ шутку. Велѣно громить ими другихъ, эти господа и громятъ; а для себя, кто имъ велитъ стѣсняться? Дурная, униженная, заколоченная натура вырвалась на волю и беретъ верхъ надъ правилами, которыхъ не усвоило сердце. Къ тому же, — соглашаюсь съ вами,—бѣдность, зависимость; при этихъ условіяхъ быть честнымъ человѣкомъ мудренѣе; но все же, ихъ больше, нежели кого нибудь учили быть честными людьми! То-то и есть, что не такъ учили!.. Есть, бываетъ между ними, — кто станетъ спорить,— прекрасные, достойные уваженія характеры; но развѣ это наука ихъ выработала? Сами собой выработались; были слишкомъ хороши сами по себѣ и сухое ученье не могло ихъ высушить; сами почувствовали, сами себѣ сыяснили то... чего имъ и не объясняли, право!.. Но это — исключенія. А въ общей массѣ... извините, я повторяюсь! — въ общей массѣ на что нужны обществу люди безъ всякихъ вкладовъ — безъ матеріальныхъ средствъ, безъ образованія, безъ примѣровъ нравственности?..

— Вы меня убѣдили... сказала Лизавета Дмитріевна.

— Что я правъ?

— Нѣтъ, что я еще больше права. Вы сказали: «люди». Люди — значитъ — силы. Слѣдовательно, въ обществѣ не «разсчетливость», а просто, тупая жестокость. Эти люди ничего не приносятъ, но могутъ приносить, ничего не дѣлаютъ, но могутъ дѣлать; это—силы, погибающія даромъ. Общество — старшее, стоитъ впереди, оно обязано оглянуться, и, если оно умно, то оно обязано понять...

— Что-жъ ему прикажете дѣлать? Измѣнить курсъ ученія, бытъ этихъ людей...

— Для начала — хоть только ихъ не отталкивать! Подать имъ руку, поддержать, дать имъ возможность развиваться хотя бы послѣ класснаго ученія, сближаясь съ ними, принимая ихъ въ свой кругъ. Жизнь среди развитаго общества — та же наука. Общество можетъ дать имъ только пріязнь; дайте — она нужнѣе всего, для начала... И это, со стороны общества, будетъ не милость, не снисхожденіе, а только исполненіе обязанности. Вы настаивали, что общество разсчетливо? Нѣтъ. Отвергая семинариста, общество доказываетъ, что не заботится о будущемъ...

— Какъ, отвергая семинариста?..

— Да. Общество должно сберегать и соединять свои силы для общаго труда, для будущаго. Семинаристъ—бѣднякъ; по своей бѣдности, онъ ближе насъ къ народу; по своему званію, онъ можетъ имѣть самое сильное, самое прямое вліяніе. Дайте этимъ людямъ истинное просвѣщеніе! дайте хоть возможность имѣть его — они будутъ лучшими, прямыми проводниками просвѣщенія для народа. Молодой богачъ, которому жизнь легка, не позаботится, чтобъ въ его деревнѣ знали грамоту; пусть онъ поручитъ семинаристу...

— Да, учить грамотѣ, пожалуй, они годятся.

— Нѣтъ, этого мало! Дайте основательныя познанія, примѣненныя къ жизни, широкія познанія,— эти люди съумѣютъ передать ихъ...

— Народу? Къ чему это поведетъ?

— Вы спрашиваете?

— Да!.. Вамъ угодно поднять еще вопросъ...

— Ужъ кстати, сказала Лизавета Дмитріевна: — потому что нѣсколько ихъ было затронуто въ этомъ разговорѣ.

— И еще какихъ! замѣтилъ Петръ Александровичъ, слушавшій съ недовѣрчиво-снисходительной улыбкой. — О, добрѣйшая моя Лизавета Дмитріевна! я давно имѣю удовольствіе васъ знать, вы всегда были такая, горячая, восторженная душа! Но, помилуйте, еслибы то, что вы говорите, къ чему нибудь вело, къ чему нибудь служило, неужели вы думаете, что объ этомъ бы не позаботились, кто получше насъ знаетъ, не распорядились бы пустить въ ходъ ученыхъ этихъ? Видите — вздумали просвѣщать мужиковъ!..

— Вамъ угодно, чтобъ они, идя за сохой, читали Виргилія, какъ крестьяне гоголевскаго полковника Кашкарова? спросилъ Аницкій.

— Оставьте меня съ этой карикатурой! прервала съ нетерпѣніемъ Лизавета Дмитріевна:—право, не остроумно,—и къ чему она повела? ей обрадовались помѣщики: она оправдываетъ ихъ грубость и лѣнь! Учить—смѣшно, бить—полезнѣе... Обществу, конечно, не нужно просвѣщеніе крестьянъ; общество довольно своимъ положеніемъ, находитъ въ немъ свои выгоды. Тутъ, конечно, не нуженъ и образованный священникъ: чѣмъ просвѣщеннѣе судья, тѣмъ онъ строже, а тамъ... «Après nous—le déluge!» какъ говорила одна дама, которой тоже не было дѣла до будущаго...

— Ай, ай, ай, какія вещи мы говоримъ! вскричалъ Аницкій, между тѣмъ какъ Петръ Александровичъ взялся за шляпу.

Это движеніе возбудило у молодого человѣка такую же охоту смѣяться, какъ внезапный отъѣздъ гостьи.

— Нельзя ли полнѣе развить эту идею? продолжалъ онъ, обратясь къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ.

— Нѣтъ, нельзя, отвѣчала она: я и безъ того доставила вамъ много случаевъ смѣяться.

— Ради Бога, не сердитесь! Позвольте мнѣ надѣяться, что вы не сердитесь за мои противорѣчія.

— За что-жъ? мы спорили. У всякаго должно быть свое мнѣніе; ваше вѣрно во многомъ...

— Во многомъ? Вы признаете, что я вѣрно понимаю вещи?

— Тѣмъ хуже для васъ.

— Тѣмъ хуже для меня? за что-жъ?

— Кто больше понимаетъ, съ того больше спросится...

— Ахъ, Лизавета Дмитріевна, тексты!...

— Не даромъ же я пользуюсь обществомъ семинариста, отвѣчала она, смѣясь...

IX.

Воспоминаніе визита къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ не восхищало Ивановскаго, какъ воспоминаніе перваго знакомства и встрѣчи на берегу.

«Они меня презирали, думалъ Ивановскій,—но я, должно быть, въ самомъ дѣлѣ былъ очень смѣшонъ».

Отъ врожденной доброты сердца и печальной привычки къ пренебреженію, Ивановскій прощалъ обществу его невниманіе, даже болѣе: онъ не находилъ, чтобъ общество было виновато; оно было еще милостиво, что позволило семинаристу сѣсть не у двери.

Но вмѣстѣ съ этимъ чувствомъ, полнымъ покорности и лишеннымъ достоинства, въ душѣ Ивановскаго поднималась тоска, какой онъ еще не испытывалъ. Ему не нравились эти гости, образчики недостигаемаго для него круга, но ему понравился этотъ кругъ съ его нарядной обстановкой. Приговоры этого круга рѣзки, но въ этой рѣзкости столько увѣренности въ себѣ, столько свободы... Ивановскій назвалъ счастливцами людей, которые могутъ быть такъ свободны. Онъ слышалъ сплетни, пустыя, несносныя мелочи, но у людей, разбирающихъ такъ тонко даже мелочныя побужденія и поступки, развита, стало быть, внимательность ко всякому чувству; стало быть, ихъ внутренняя жизнь полнѣе, разнообразнѣе, нежели жизнь, о которой довольно сказать два слова, чтобъ понять ее всю—жизнь семинариста... Этому господину Аницкому, кажется, тоже не болѣе двадцати трехъ, четырехъ лѣтъ: отчего же онъ смотритъ взрослымъ человѣкомъ, а Ивановскій передъ нимъ ребенокъ?.. Какъ, должно быть, Аницкій живетъ весело? Неужели жизнь должна пройти скучно только потому, что началась въ семинаріи?..

«И зачѣмъ во мнѣ эти глупыя желанія, эти мечты?» думалъ Ивановскій.—«Еще этого недоставало! Лѣнивецъ, шалунъ; недоставало еще вбить себѣ въ голову, что я могу быть въ изящномъ кругу, съ порядочными людьми!.. Но, стало быть, я уже родился съ этими желаніями. Зачѣмъ же я допустилъ, чтобъ они во мнѣ вкоренились? Развѣ товарищи не живутъ?.. А впрочемъ, кто ихъ знаетъ, товарищей! Можетъ быть, также скучаютъ; въ этой скукѣ громко не признаешься, на кого нападешь съ признаніемъ—засмѣютъ! Попробовать мнѣ, напримѣръ, открыть душу Лампадину... Но если даже открыться и другу, чѣмъ онъ поможетъ? Товарищи... Вѣдь съ ними ни съ однимъ не случалось того, что со мною; они не встрѣчались съ аристократками; ихъ ничто не заманивало, оттого, можетъ быть, они и не тоскуютъ... Они сегодня здѣсь, а завтра разсѣются по-бѣлу свѣту. Съ ними хорошо, но съ ними вѣкъ не проживешь; а съ кѣмъ его прожить? Все грубые какіе-то, невѣжественные, необразованные люди, приказные, еще купцы; образъ мыслей, понятія всѣ какія странныя... И отчего все это приходитъ мнѣ въ голову? Много ли я видѣлъ аристократовъ? Барыня эта злая, старичокъ... онъ только важенъ, а смотритъ неученѣе ктитора Матвѣя Петровича. Господинъ Аницкій... но вѣдь премудрость не велика класть бороду на столъ, глядя на картинки, и посматривать кругомъ въ полглаза, будто ничто

въ природѣ его вниманія недостойно, или ужъ ему такъ скучно, что спать захотѣлось... И о чемъ они говорили? Осуждали ближняго по большей части. Что-жъ хорошаго? Что же можетъ возвысить душу въ ихъ обществѣ? Но невозможно же, чтобъ, кромѣ ихъ, на свѣтѣ не было хорошихъ, добрыхъ людей между образованными людьми. Эти люди, гости Лизаветы Дмитріевны, не могутъ быть ей по-сердцу, но, конечно, есть и другіе... Если бы достигнуть счастія узнать такихъ людей!..»

Ивановскій размышлялъ, сидя на загородкѣ и глядя въ поле, между тѣмъ какъ тѣ изъ его товарищей-пѣвчихъ, которые еще слушали курсъ, уходили мимо него въ классъ. Бѣляевъ подзывалъ и его; другіе смѣялись. Ивановскій въ это утро рѣшительно не могъ учиться. Какъ ни тяжело вспоминалось ему вчерашнее утро, но еслибъ было возможно, онъ сейчасъ полетѣлъ бы опять туда, въ гостиную Лизаветы Дмитріевны. Нужды нѣтъ, пусть будетъ тамъ опять злая барыня, десять злыхъ барынь, Аницкій или другой свѣтскій молодой человѣкъ, еще насмѣшливѣе, презрительнѣе Аницкаго—нужды нѣтъ, лишь бы услышать хотя одно слово отъ Лизаветы Дмитріевны. Она тоже свѣтская женщина, но во сколько тысячъ разъ она лучше, выше другихъ! Всякое ея движеніе такъ благородно! отъ одного ея взгляда становится легко и забывается все принужденіе, вся робость, вся тоска, которую выносилъ за минуту...

Ивановскій подумалъ, что еще не все кончено для него въ жизни, когда такая умная, образованная и прекрасная женщина удостоиваетъ обращать на него вниманіе. Онъ то ободрялъ себя, то унывалъ опять; его мысли вертѣлись все вокругъ одного предмета... Невозможно, чтобъ она была привѣтлива только изъ одной доброты; вѣроятно, она нашла въ бѣдномъ, робкомъ молодомъ человѣкѣ что нибудь, стоющее вниманія. Она сказала, что говорила о немъ пріѣзжему артисту — знаменитости!..

«Господи»,подумалъ Ивановскій,—«да теперь я буду пѣть съ утра до ночи: она увѣряетъ, что у меня талантъ...»

Но восхищеніе, которое поднялось въ немъ отъ этой мысли, упало отъ нея же. За талантъ принимаютъ всякаго. Можно послушать прекрасный голосъ, можно поблагодарить пѣвца и насказать ему комплиментовъ, а потомъ все-таки отвернуться отъ него: занимайся съ кѣмъ знаешь, поди хоть въ переднюю — ты семинаристъ...

Ивановскій такъ запустилъ себѣ руку въ волосы, что едва освободилъ ее.

«Если она и сказала два-три пріятныя слова, то такъ, забывшись, или для того, чтобъ сказать что нибудь, чтобъ ужъ не совсѣмъ убить человѣка, которому позволяла переступить свой порогъ», подсказывало Ивановскому горькое чувство, отъ котораго вся кровь бросилась ему въ лицо... «Правду говорятъ: аристократы добры для того, чтобъ о нихъ сказали, что они добры...»

Ивановскій ушелъ съ берега въ домъ и былъ очень радъ, найдя свой дортуаръ пустымъ. Чтобъ какъ нибудь разогнать свои мрачныя мысли, онъ поискалъ книги и тутъ только вспомнилъ о той, которую наканунѣ дала ему Лизавета Дмитріевна и которую онъ, забѣжавъ домой, заперъ на ключъ въ свой сундукъ. Ивановскій провелъ у отца остатокъ вчерашняго дня, а сегодня проснулся въ такой тоскѣ, въ такомъ волненіи, что забылъ о книгѣ. Но воспоминаніе о ней вдругъ перевернуло опять и освѣтило его мысли.

«Нѣтъ», сказалъ онъ самъ себѣ:—«я неблагодарный. Еслибъ она презирала меня, она не подумала бы,какъ доставить мнѣ удовольствіе, не дала бы занятіе для моего ума... она просто не дала бы своей вещи въ руки семинаристу».

Ивановскій досталъ книгу. Хотя руками этого семинариста могъ бы гордиться и аристократъ, но Ивановскій прикасался къ шагреневому переплету, какъ будто переплетъ былъ сотканъ изъ паутины. Утѣшась мыслью, почему ему дана эта книга, Ивановскій сталъ радоваться самой книгѣ. «Мѣдный Всадникъ», «Каменный Гость»... Ивановскій не читалъ этого никогда; онъ зналъ эти названія по слухамъ. Мысль, что ему, наконецъ, досталось это наслажденіе, что оно доставлено Лизаветой Дмитріевной, эта мысль восхитила его до такой степени, что онъ нѣсколько минутъ смотрѣлъ въ книгу, ничего не понимая.

Сознаніе проявилось въ немъ прозаически, по-дѣтски, по-семинарски: Ивановскій схватилъ два листа отличной бѣлой бумаги, хранившіеся для переписки разсужденія къ экзамену, и завернулъ книгу, какъ будто пряталъ сокровище. Онъ говорилъ себѣ, что потомъ сохранитъ эту обертку, когда возвратитъ книгу.

Потомъ онъ принялся читать. Такъ прошло нѣсколько часовъ; наконецъ на лѣстницѣ и затѣмъ въ сѣняхъ послышались шаги возвращавшихся товарищей, и товарищи толпой явились въ комнатѣ.

— Какъ, Алексѣй Алексѣичъ, вы все дома сидѣли? спросилъ его Лампадинъ.

Бѣляевъ сообщилъ ему таинственно, что отецъ-инспекторъ спрашивалъ, почему Ивановскаго опять нѣтъ въ классѣ, что онъ, Бѣляевъ, рѣшился сказать, что Ивановскій нездоровъ, а отецъ-инспекторъ проговорилъ очень непріятно:—«Боленъ? что за болѣзнь такая?» и, не дожидаясь дальнѣйшаго объясненія, тотчасъ же записалъ, что Ивановскаго не было.

— Онъ скажетъ отцу-ректору, Алеша, какъ быть?

— Пусть сказываетъ, отвѣчалъ Ивановскій:—что-жъ.

— Экзаменъ близко, Алеша, — вотъ что неладно.

Ивановскій въ эту минуту какъ-то не понималъ, что такое экзаменъ и какъ будто не помнилъ ни отца-инспектора, ни отца-ректора. Онъ смотрѣлъ на товарищей будто съ просонка, поднявъ глаза отъ книги... Двадцатилѣтніе школьники тѣ же дѣти. Книга была выхвачена изъ рукъ Ивановскаго; Ивановскій, испугавшись за ея цѣлость, бросился отнимать ее, что удалось ему только благадаря его силѣ и ловкости, потому что просьбъ не слушали. Среди этихъ просьбъ, чтобъ внушить болѣе уваженія къ предмету, за который сражались, онъ выговорилъ имя Лизаветы Дмитріевны.

— Ахъ, это она вамъ дала! сказалъ Лампадинъ, которому отлично досталось по рукамъ:—ну какъ же не беречь послѣ этого!

Смѣхъ поднялся на весь дортуаръ, даже другъ Бѣляевъ — считавшій себя обиженнымъ, потому что, отнимая книгу, Ивановскій не пощадилъ и его — даже и онъ подшучивалъ, непріятно намекая на путешествія друга по вечерамъ къ окошкамъ г-жи Майцовой. Все это надо было скорѣй прекратить.

— Вы взбѣсились, господа, сказалъ Ивановскій:—шумите, точно ребята. Книга дана, чтобъ ее читать, а не рвать. Хотите слушать, я вамъ прочту съ удовольствіемъ, только въ руки ея никому не дамъ — было бы вамъ извѣстно.

Предложеніе приняли охотно. Регентъ, возвратившійся въ это время, Бѣляевъ, Никольскій, Свѣтловъ, Маргаритинъ и даже Лампадинъ усѣлись кружкомъ около Ивановскаго. Онъ читалъ хорошо, а слушатели были въ такомъ восхищеніи и столько разъ заставляли его повторять прочитанное, что Ивановскій еще болѣе убѣдился въ благоразуміи принятой имъ мѣры — запирать книгу на ключъ, когда уходилъ со двора. Онъ вспомнилъ объ участи одного экземпляра «Монте-Кристо», купленнаго въ складчину всѣмъ классомъ: отъ слишкомъ усерднаго перечитыванія, маленькіе листочки сѣраго изданія были всѣ вырваны изъ переплетовъ, округлились со всѣхъ четырехъ угловъ и со многихъ страницъ печать исчезла, какъ будто тамъ ничего не бывало. Ивановскому удалось сохранить книгу во всей ея красотѣ. Онъ даже разсердился на Никольскаго, который сталъ его умолять хоть продиктовать, чтобъ списать что нибудь. Эта просьба почему-то показалась ему неделикатною...

«Самъ не спишу и никому не позволю», думалъ онъ, лежа, и въ десятый разъ перечитывая для себя «Каменнаго Гостя».

Онъ провелъ три дня, читая и раздумывая. Товарищи, заинтересованные книгою, разспрашивали о Лизаветѣ Дмитріевнѣ, о ея гостяхъ, потому что Ивановскій сказалъ, что нашелъ у нея гостей. Но Ивановскій не сказалъ никому, что его тревожило, что его печалило, какія мысли, несообразныя съ его положеніемъ, входили ему въ голову. Онъ рѣшился все беречь про себя, справляться съ своими тревогами безъ совѣта и помощи чьей бы то ни было, даже дружеской. Онъ самъ не зналъ, чего хочетъ и что будетъ дѣлать, но жить такъ, какъ жилъ до сихъ поръ, показалось ему невозможнымъ.

Кругомъ его товарищи готовились къ экзамену. Ивановскій самъ взялъ книги, тетради, попробовалъ протвердить и заняться. Его остановила мысль, что все это ни къ чему не послужитъ, греческій языкъ, догматика и гомилетика никогда не могли помѣститься въ его упрямую память. Ивановскій не могъ учить наизусть, какъ этого требуютъ по методѣ семинарскаго ученія; его нетерпѣливый характеръ не могъ преодолѣть этой трудности и помириться съ сухостью изложенія науки: то, что, казалось Ивановскому, онъ ясно понималъ не глядя въ книгу, едва онъ раскрывалъ книгу, представлялось невозможнымъ для человѣческаго пониманія. Это странное чувство приводило Ивановскаго въ отчаяніе. Онъ завидовалъ тѣмъ товарищамъ, которые, понимая дѣльно, выучивали твердо и были въ состояніи и сказать наизусть, и объяснить выученное. Были и другіе, которые обладали способностью выучивать наизусть что угодно, не размышляя, не соображая и не приходя въ отчаяніе отъ того, что ничего не понимали. Иногда, благодаря своей необыкновенно развитой памя-

ти, эти счастливцы опережали по классамъ размышляющихъ товарищей и на экзаменахъ удивляли своими крѣпко вызубренными отвѣтами. Ивановскій, еслибъ и могъ, то не хотѣлъ бы такъ отличиться: у него было слишкомъ много добросовѣстности. Онъ учился бы хорошо, еслибъ не учился наизусть, а такъ какъ перемѣнить было невозможно, то Ивановскій махнулъ рукой на ученье...

«Выйду послѣднимъ изъ третьяго разряда... этакій срамъ!» думалъ онъ, въ разсѣянности загибая углы толстой тетради, отмѣченной на поляхъ цифрами текстовъ «какъ еще безъ аттестата утѣшать, ну!..»

И Ивановскому представилась зала богословскаго класса, толпа товарищей, лица профессоровъ и законоучителей, строгое лицо отца-инспектора, озабоченное лицо отца-ректора, который подходитъ къ скамьямъ учениковъ, заглядываетъ въ тетради, ободряетъ, и на котораго Ивановскій не посмѣетъ взглянуть въ этотъ страшный часъ. Ученики безмолвны и неподвижны; на всѣхъ лицахъ ожиданіе; на многихъ это ожиданіе нагнало блѣдность. Въ окна свѣтитъ яркое лѣтнее утро; въ огромной залѣ слышится только легкій гулъ разговоровъ вполголоса, который ведутъ между собою начальники. Вдругъ затихаетъ и онъ: на колокольнѣ семинарской церкви раздается первый трепетный звонокъ; къ нему разомъ громко и весело присоединяются звуки всѣхъ колоколовъ; по семинарскому двору слышно, какъ гремитъ карета... Отецъ-ректоръ, отецъ-инспекторъ, профессора, торопясь, спѣшатъ изъ залы на лѣстницу. Колокола затихаютъ. Молчаніе въ залѣ дѣлается страшное. Многіе ученики встаютъ на своихъ мѣстахъ и крестятся... Въ корридорѣ раздаются шаги, тихій шелестъ шелковой рясы по чугунному полу. Дверь залы отворяется настежъ, преосвященный входитъ, за нимъ возвращаются всѣ начальники; ученики уже всѣ встали, всѣ обратились къ огромной фрескѣ, изображающей Спасителя, учащаго во храмѣ, и хоръ полутораста богослововъ поетъ: «Царю Небесный»...

Потомъ, всѣ поклонятся; преосвященный займетъ свое мѣсто; всѣ сядутъ. Отецъ-протоіерей попроситъ благословенія преосвященнаго, чтобъ начать экзаменъ, а отецъ-ректоръ станетъ вызывать своимъ тихимъ и незвучнымъ голосомъ по четыре ученика разомъ.

— Стефанъ Слободской!

— Иванъ Демкинъ!

— Александръ Ряжскій!

— Алексѣй Ивановскій!...

— «Господи! что-жъ будетъ со мною?» почти громко сказалъ Ивановскій...

Нѣсколько минутъ онъ сидѣлъ, запустивъ обѣ руки въ волосы, потомъ вдругъ вскочилъ, бросилъ гомилетику подъ подушку своей постели, схватилъ фуражку и побѣжалъ къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ.

Пройдя половину площади, онъ одумался, и хотя именно одно посѣщеніе Лизаветы Дмитріевны казалось ему спасеніемъ отъ печали и всего, что стало ему грезиться наяву, но Ивановскій умѣрилъ шаги и спросилъ себя: что такое онъ дѣлаетъ? Какое дѣло свѣтской дамѣ, что семинаристъ боится экзамена? Какъ онъ смѣетъ идти безпокоить ее своимъ посѣщеніемъ?...

«Такъ что-жъ?» прервалъ самъ себя Ивановскій:—«она сама меня звала; она говорила, что скучать не должно, что надо разсѣяваться... Гдѣ-жъ мнѣ искать разсѣянностей? Мнѣ скучно, я и иду къ ней. Я, просто, прямо скажу ей, что умираю отъ тоски...»

Ивановскій придумывалъ, что еще онъ скажетъ и шелъ тихо. Два товарища, пѣвчіе, Троицкій и Ждановъ, догоняли его, еще издали завидя его высокую фигуру на пустой дорогѣ.

— Вѣдь это Ивановскій, сказалъ Троицкій:—онъ уже давно ушелъ, а все еще здѣсь. Что это онъ одинъ по площади разгуливаетъ?

— Такъ, какія нибудь обстоятельства, сказалъ задумчиво Ждановъ.

— Какія обстоятельства? онъ, мнѣ кажется, просто разсудка лишился. Экзаменъ ли его безпокоитъ, съ отцомъ не вышло ли у нихъ чего...

— Можетъ статься, что нибудь и вышло, отвѣчалъ Ждановъ:— не въ первой будетъ.

— Денежная система, что ли, плоха... Вѣдь онъ все такъ, франтитъ-франтитъ, покуда весь профрантится, тогда и начнетъ голову вѣшать. Иной разъ, право, сказалъ бы ему... Алексѣй Алексѣичъ, куда стопы ваши направляете?

— Въ городъ, отвѣчалъ Ивановскій.

— Въ какую часть города, если позволено спросить?

— Пойдемъ вмѣстѣ «на теплыя воды», сказалъ Ждановъ.

Ивановскій подумалъ, не лучше ли будетъ принять это приглашеніе, нежели «преслѣдовать свою химеру», мѣнять вѣрное на невѣрное? Компанія представлялась самая пріятная, какую онъ могъ выбрать изъ своихъ товарищей. Ивановскій любилъ Троиц-

каго и въ печальныя минуты находилъ болѣе удовольствія съ нимъ, нежели даже съ другомъ Бѣляевымъ, который вѣчно шутилъ надо всѣмъ. Ждановъ былъ существо добрѣйшее, сумрачное съ вида, хотя веселое нравомъ и почему-то казавшееся жалкимъ. Онъ съ горемъ пополамъ кончалъ курсъ, не зналъ, на чьи руки оставить маленькаго сопрано, своего брата, и совсѣмъ тѣмъ не очень безпокоился объ этомъ братѣ; желалъ бы поступить въ университетъ, и вмѣстѣ говорилъ, что не выдержитъ еще нѣсколькихъ лѣтъ ученья; просилъ себѣ мѣста и, получивъ въ отвѣтъ, что онъ его не стоитъ, все-таки искалъ себѣ невѣсту; наконецъ сбирался перейти пѣвчимъ въ другой губернскій городъ, переписывался съ регентомъ того хора объ этомъ переводѣ, хотя здѣшній регентъ, Ѳедоръ Михайловичъ, положительно говорилъ, что и полгода не пройдетъ, какъ у Жданова его «октава» никуда не будетъ годиться. Въ настоящее время Ждановъ былъ въ томъ положеніи, которое часто случается съ семинаристами и которое недавно воспѣлъ Никольскій:

Шинели зимнія въ закладѣ
И сюртукамъ указанъ путь.

Чтобъ забыть это неудовольствіе, Ждановъ шелъ утѣшаться, пить чай—единственное утѣшеніе семинариста...

Ивановскій подумалъ, не пойти ли съ ними?.. Но это будетъ опять все то-же, тотъ же трактиръ, тотъ же органъ, тѣ же шутки и разговоры, все давно надоѣвшее и неизящное... Ему стало какъ-то тяжело и стыдно. Еслибъ его звали на квартиру къ кому нибудь изъ товарищей—другое дѣло...

— Нѣтъ, господа, сказалъ онъ, смутясь, потому что боялся, чтобъ товарищи не отгадали его немного обидной мысли:—мнѣ нельзя съ вами: надо зайти...

— Ну, знаемъ куда! возразилъ Троицкій съ неудовольствіемъ: — ты идешь сидѣть вечеръ у своей аристократки. Только я тебѣ вотъ что скажу, Алеша... при немъ можно говорить (онъ указалъ на Жданова), нехорошо ты дѣлаешь, не по товариществу. Пренебрегать своими не годится. Что-жъ дѣлать, если наша участь такая, по трактирамъ чай пить. Ты самъ то же дѣлалъ, а нынѣ вдругъ стало низко...

— Какъ тебѣ въ голову вошло! прервалъ Ивановскій, больше огорченный, нежели обиженный: — ты тоже говоришь не какъ товарищъ, я отъ тебя не ожидалъ...

— Ну, виноватъ, извини, съ языка сорвалось; ты человѣкъ благородный... виноватъ. Ужъ ты и опечалился! Право, эти дни больно было тебя видѣть. Другіе въ тебѣ не замѣтили, а я-то понялъ. Я для тебя говорю, Алеша. У тебя пылкій характеръ; тебѣ понравилось, что, вотъ, тебя приняли... Вѣдь изъ этого ничего не будетъ?

— Чему же быть? сказалъ Ивановскій, идя вмѣстѣ съ ними: — буду знакомъ — и только.

— Тебѣ этого мало покажется, я тебя знаю. Вѣдь третьяго дня Бѣляевъ ужъ проговорился, что ты ходилъ подъ окошки слушать — что?... Право, полно, Алеша, не по насъ эта компанія. Войдутъ въ голову разныя мечты, а тутъ экзаменъ чрезъ недѣлю... испортишь свою карьеру совсѣмъ.

— Э, порченаго не испортишь!

— Отъ своихъ отстанешь, Алеша... тебѣ не всякій такъ откровенно скажетъ. Въ будущемъ себѣ только душу возмутишь. Хорошо тамъ, въ обществѣ — слова нѣтъ, да вѣдь намъ съ тобой одно прибѣжище: остаться въ хорѣ.... Опредѣлятъ куда нибудь звонарями, тогда звони себѣ, да вспоминай аристократокъ. Легче не знать, не видать и не прицѣпляться...

Они прошли площадь.

— Прощайте, сказалъ Ивановскій:—вамъ идти прямо.

— А ты все-таки туда же?

Ивановскій уже завернулъ въ улицу и зашагалъ еще скорѣе.

— Дома Лизавета Дмитріевна? спросилъ онъ, когда ему отворили.

Онъ старался казаться смѣлѣе. Его приняли. Лизавета Дмитріевна была одна и читала; это посѣщеніе удивило ее, какъ и слѣдовало ожидать, но она приняла его, зная, что отказъ огорчитъ посѣтителя.

— Я боялся не застать васъ дома, сказалъ Ивановскій.

— Вечеръ немного холоденъ, а я что-то нездорова, отвѣчала Лизавета Дмитріевна, взявъ работу.

Ивановскій былъ такъ взволнованъ, что совершенное спокойствіе Лизаветы Дмитріевны его испугало. Онъ подумалъ, что помѣшалъ ей, что она прогнѣвалась; можетъ быть, она ждетъ гостей, при которыхъ онъ опять будетъ лишнимъ; можетъ быть, она такъ нездорова, что всякій разговоръ ее утомляетъ... Нужно ли уйти? Можно ли остаться? Остаться—что сказать? Онъ перезабылъ все; что придумалъ.

— Я безпокою васъ... проговорилъ онъ, поднимаясь съ кресла, едва сѣлъ.

— Какъ, вы уходите, едва пришли? сказала Лизавета Дмитріевна, отгадавъ мученія, впрочемъ очень ясно выражавшіяся на его физіономіи.—Останьтесь, скажите мнѣ что нибудь.

Она говорила, по своему обыкновенію, живо и привѣтливо, но семинаристъ принялъ слова ея буквально за урокъ общежитія и онѣмѣлъ совсѣмъ.

— Вы прочли ту книгу?

— Благодарю васъ... Извините, я еще не могъ принести.

— О! пожалуйста, не торопитесь, оставьте ее у себя сколько хотите. Для меня тѣмъ пріятнѣе: значитъ, я доставила вамъ удовольствіе; вы читаете не начитаетесь.

— Это правда.

— Вы разобрали теперь, что эти вещи не надо читать слишкомъ рано?

— Ваша правда... — Вы тоже читаете что-то?

Больше отъ смущенія, нежели отъ смѣлости, Ивановскій взялъ взглянуть книгу, которую оставила Лизавета Дмитріевна; буквы книги были латинскія, но языкъ совершенно невѣдомый для Ивановскаго. Онъ положилъ ее, чувствуя необходимость вздохнуть, потому что смятеніе, стыдъ своего невѣжества и тоска захватили его дыханіе.

— Что вы дѣлали этимъ временемъ? спросила Лизавета Дмитріевна, которая, видя эти страданія, не могла надъ ними не сжалиться.—Послѣдній разъ, какъ вы были у меня, вы ничего о себѣ не сказали.

— Нечего сказать, возразилъ Ивановскій:—все то же.

— Но вѣдь я не знаю, что значитъ это «то же».

— Учимся, поемъ—только.

Голосъ Ивановскаго дрожалъ; на разгорѣвшемся лицѣ выступали бѣлыя пятна. Лизавета Дмитріевна взглянула на него пристальнѣе: онъ опустилъ голову, пряча глаза отъ ея взгляда.

— Вы чѣмъ-то огорчены, сказала она тихо.

У Ивановскаго упало сердце отъ ея вопроса.

— Что съ вами случилось? спросила Лизавета Дмитріевна:—вѣрно, какое нибудь горе: вы такъ разстроены.

— Нѣтъ, право ничего, отвѣчалъ Ивановскій прелестнѣйшими грудными нотами sotto-voce.

— Невозможно, чтобъ ничего, возразила Лизавета Дмитріевна:—полноте: лучше скажите мнѣ въ чемъ дѣло. Подумаемъ, постараемся поправить; а если нельзя поправить, все же вамъ будетъ легче, когда разскажете. Право, скажите, что случилось!

— Нѣтъ, право, ничего, повторилъ онъ:—такъ, вообще, грустно.

— Отчего?

— Особенныхъ причинъ нѣтъ... такъ, жить скучно.

— До слезъ жить скучно въ двадцать два года! вскричала Лизавета Дмитріевна:—Боже мой! что-жъ это съ вами?.. Послушайте... скажите мнѣ, не затрудняясь... какъ товарищу: вы бѣдны?

— Нѣтъ, отвѣчалъ Ивановскій, не возмущаясь, какъ семинаристъ, привыкшій къ этому вопросу и не понимающій, чтобъ въ немъ могло быть что нибудь щекотливое.

— Такъ ваша семья... Бываютъ такія несчастія, бываютъ семьи, гдѣ живутъ нехорошо. Любимы ли вы въ семьѣ?

Она спрашивала съ такой трогательной заботой, такъ торопилась, ожидая отвѣта, какъ будто была готова сію минуту идти мирить Ивановскаго съ его родителемъ, если случилось какое нибудь столкновеніе.

— Нѣтъ, благодаря Бога, меня любятъ.

— У васъ есть друзья?

— Между товарищами? да, конечно.

— Отчего же вамъ скучно жить? Что васъ тревожитъ? Стало быть, есть какая нибудь особенная забота. Не влюблены ли вы? прибавила она, улыбаясь.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ тихо.

— Нѣтъ ли какихъ нибудь затрудненій, непріятностей?

— Нѣтъ.

— Такъ, безъ причины? хандра?... Вѣдь это стыдно?

— Почему же стыдно? повторилъ Ивановскій, котораго это слово укололо.

— Потому что вы молоды и безъ пользы, безъ радости тратите время, портите вашъ характеръ, убиваете ваши способности, огорчаете вашихъ друзей, если они это замѣчаютъ.

— Это не хандра, а такъ... уныніе, возразилъ онъ, опустивъ голову.

— Тоже стыдно. Отчего вамъ унывать?

— Чего-жъ мнѣ надѣяться?... Вотъ я шелъ къ вамъ... Я эти дни измучился: экзаменъ, выпускъ, все на свѣтѣ...

— Вы не надѣетесь счастливо кончить экзаменъ?

— И думать нечего, отвѣчалъ Ивановскій:—это ужъ давно рѣшено. Я два года не занимаюсь, этого въ двѣ недѣли не воротишь. Я учился чему хотѣлъ, читалъ для себя. Главнаго, что нужно на экзаменѣ—я и не знаю... А, впрочемъ, такъ и быть!..

— Что «такъ и быть?» Говорите все, я васъ слушаю съ участіемъ; я вамъ давно сказала, что откровенность всего лучше. Будьте откровенны, какъ въ своей семьѣ...

Ивановскій покачалъ головою.

— Какъ съ вашими друзьями, договорила Лизавета Дмитріевна.

— Я этого и друзьямъ не говорю, отвѣчалъ онъ.—Нѣтъ, это ужасъ, что такое! Я шелъ къ вамъ съ тѣмъ...

— Чтобъ сказать мнѣ?

— Да, отвѣчалъ Ивановскій, испугавшись своей минутной смѣлости.

— Что-жъ дальше? Что вы мнѣ хотѣли сказать? что вамъ жить скучно? Признаваться трудно, но вы ужъ начали. Вижу, что вы горюете не въ шутку, а я горя видѣть не могу. Какое бы оно ни было, настоящее или мечтательное, разсказывайте: если я не могу помочь, то могу утѣшить. Вы боитесь экзамена? нечего бояться; вѣдь вы не готовили себя въ духовное званіе?

— Ни за что въ свѣтѣ! вскричалъ онъ, вспыхнувъ.

— Кажется, я вамъ говорила... не помните ли вы? что и безъ этого на свѣтѣ много дорогъ?

— Я помню всякое ваше слово, отвѣчалъ онъ.

— Такъ что-жъ васъ можетъ тревожить, когда будущее въ вашихъ рукахъ? Богословскія науки не удались вамъ, имѣйте твердую волю, докончите сами ваше воспитаніе, когда кончите курсъ. Вамъ двадцать два года, время все впереди, а въ эти годы учиться легче, потому что понятія уже развиты. Не говорите мнѣ, что трудно не развлекаться,— это мелочно. Кто думаетъ, какъ устроить свою жизнь, тотъ долженъ рѣшиться на эти маленькія пожертвованія; тому они даже не должны казаться пожертвованіями... да и чѣмъ вамъ развлекаться?... Вы скажете: чтобъ учиться, нужны средства; у васъ они есть, хотя небольшія, но есть...

— Бѣднѣе меня идутъ въ университетъ, сказалъ Ивановскій, слушавшій не сводя съ нея глазъ.

— Потомъ... Я помню тоже ваши слова. Говоря о службѣ, вы выразились такъ благородно, что съ этими понятіями вамъ нечего бояться службы; странно думать, будто она непремѣнно—искушеніе и преткновеніе. Претыкается тотъ, кто самъ этого хочетъ; дѣло свободнаго произвола—кажется, у васъ это такъ объясняется?

— Такъ, отвѣчалъ Ивановскій, улыбнувшись.

— Видите ли! А если такъ, и вы сами не перемѣните вашего произвола и образа мыслей, вы всегда останетесь благороднымъ человѣкомъ.

— Неужели вы имѣете обо мнѣ такое лестное мнѣніе? прервалъ онъ, краснѣя отъ восхищенія.

— Имѣю, отвѣчала Лизавета Дмитріевна, улыбнувшись, потому что восхищеніе было дѣтски наивно.

— Но чѣмъ же я могъ заслужить?

— Если то, что вы тогда говорили, было искренно...

— Умоляю васъ, не сомнѣвайтесь!

— Такъ какъ же мнѣ не считать васъ за хорошаго человѣка? Вы желали бы учиться, вы боитесь порока—этого довольно. Я убѣждена, что, при твердой волѣ, которая будетъ у васъ,—потому что вы понимаете вашу пользу—немного лѣтъ пройдетъ, какъ вы, всѣмъ обязанный самому себѣ, проложите себѣ дорогу, займете мѣсто въ обществѣ...

— Господи, что вы говорите! прервалъ Ивановскій, испугавшись:—что вы говорите? занять мѣсто въ обществѣ...

— Почему же нѣтъ? Молодой человѣкъ съ умомъ, чувствомъ, образованіемъ и еще съ такимъ удивительнымъ талантомъ...

— Вы представляете такую свѣтлую картину будущаго... сказалъ Ивановскій, наклоняя голову, до красна сжимая руки и ломая пальцы.

— Развѣ будущее не отъ васъ зависитъ? оно возможно.

— Нѣтъ!

— Почему же? Не думаю, чтобъ ваши родные не захотѣли...

— Чтобъ я учился? Еще какъ были бы рады!

— Такъ вы сами?

— О, Боже мой! тутъ и говорить нечего!

— Что-жъ, наконецъ?

— Простите меня, ради Бога, сказалъ Ивановскій, послѣ минуты молчанія, въ которую Лизавета Дмитріевна терпѣливо дожидалась его отвѣта:—я не знаю, какъ взялась у меня смѣлость придти къ вамъ говорить вамъ все это; да ужъ такъ и быть!.. Положимъ, я стану заниматься, пойду въ университетъ, какъ это ни будетъ трудно, а добьюсь, кончу курсъ, поступлю на службу, буду въ обществѣ... Это все не то!

— Что-жъ не то?

— Мы кутейники... отвѣчалъ онъ тихо.

— Что такое? вскричала Лизавета Дмитріевна.

— Всѣ это говорятъ.

— Вы стыдитесь вашего происхожденія?

— Ради Бога, не думайте обо мнѣ такъ дурно! Я ничего не стыжусь, я знаю, что мнѣ нечего стыдиться... но, право, подчасъ ужъ и не знаешь, что о себѣ думать! Мы не то, что всѣ. Надъ нами какая-то судьба. Развѣ можно намъ смѣть гдѣ нибудь показаться? На что мы нужны? Мы люди потерянные... Я самъ-то себя не стыжусь, но другіе насъ презираютъ... До того насъ довели, что изъ насъ иные сами вѣрятъ, убѣждены, что насъ презираютъ справедливо, что мы родимся презрѣнными! Знаете—живутъ, скрѣпя сердце, какъ отверженные!.. Ужасъ! Доходишь до сомнѣнія во всѣхъ своихъ силахъ, во всѣхъ способностяхъ. Что-жъ это, думаешь, такое? Никакъ и въ самомъ дѣлѣ изъ насъ ничего быть не можетъ?.. Точно, не можетъ! Глядишь: одинъ самъ виноватъ, Богъ знаетъ, какъ повелъ себя; другому хода не дали, прижали; третій, куда показался—осмѣянъ. За что же нибудь это дѣлается, не даромъ... Богъ знаетъ, что мы такое? Одно намъ остается: прятаться, чтобъ насъ люди не видали, такъ, съ чѣмъ нибудь мелкимъ, низкимъ знаться... А когда силы нѣтъ на это рѣшиться, когда душа возмущена и хочется ей лучше, на свѣтъ Божій... Зачѣмъ, Боже мой! понятія эти приходятъ кутейнику...

— Можно ли это говорить? прервала Лизавета Дмитріевна: — можно ли такъ унижать себя? Глупые люди выдумали глупое слово, а вы его повторяете?

— Да когда его всѣ повторяютъ?

— Кто «всѣ»?

— Отъ кого ни услышишь.

— Отъ кого же вы слышите?

Ивановскій поблѣднѣлъ. Этотъ вопросъ былъ какъ будто подтвержденіе того, что онъ говорилъ—довершеніе его горя.

— Конечно, сказалъ онъ, теряясь совершенно:—вы не можете знать людей, съ которыми я знакомъ... они такъ ничтожны...

— Ничтожныхъ людей нѣтъ — это прежде всего; ничтожны только люди дурные. Но вы сами оцѣните себя и скажите: что, эти ваши знакомые, образованнѣе васъ?

— Не знаю...

— Такъ я вамъ скажу: нѣтъ, потому что позволяютъ себѣ говорить такія вещи. Можете ли вы цѣнить во что нибудь мнѣніе людей, можетъ быть и добрыхъ, но такъ мало понимающихъ? Можетъ ли ихъ мнѣніе доводить васъ до сомнѣнія въ вашихъ силахъ и способностяхъ, какъ вы говорите—до отчаянія? потому что то, что вы сказали, говорится только въ отчаяніи.

— Но эти люди не одни на свѣтѣ, возразилъ Ивановскій: — кто и лучше ихъ... Мы видимъ, замѣчаемъ... Нѣтъ, право, ничего нѣтъ въ насъ хорошаго, никуда мы не годимся, ничѣмъ мы не можемъ быть, иначе бы не такъ на насъ смотрѣли!

— Кто?

— Люди высшаго общества, люди образованные.

— Кого вы называете людьми образованными?

— Люди, получившіе воспитаніе... словомъ, которые въ свѣтѣ...

Ивановскій не кончилъ, испугавшись того, что сказалъ.

— Еслибъ вы знали, продолжалъ онъ чрезъ минуту, съ смѣлостью, которую придавало ему горе: — еслибъ вы знали, какъ это тяжело! Чувствовать, что ничтоженъ, на каждомъ шагу видѣть, что ничтоженъ, что ничѣмъ не можешь сравниться, заслужить!.. думать не смѣть, не только дѣйствовать! Гдѣ ужъ тамъ занять какое нибудь мѣсто! дай Богъ, чтобъ позволили хоть на порогѣ постоять, спиной бы не отвертывались... Господи, какое мученье!

Онъ схватился руками за голову, совершенно забывъ, что предъ нимъ особа того круга, который приводитъ его въ отчаяніе.

— Вѣрите ли вы мнѣ? спросила Лизавета Дмитріевна, также взволнованная: — если я вамъ скажу: не обращайте вниманія на это грубое пренебреженіе, потому что оно не стоитъ вниманія, потому что наше общество, которымъ вы такъ справедливо недовольны, развито не больше вашего, не понимаетъ, не выучилось уважать человѣческое достоинство... Будьте только сами, по совѣсти, по вашей собственной оцѣнкѣ хорошимъ человѣкомъ и не презирайте — это чувство мелкое и дурное — а простите. Теперь вы равный этому обществу, тогда вы будете выше... Вы скажете, что все-таки это не легче, что жизнь все-таки будетъ трудна, что этотъ равный вамъ, но упрямый, гордый кругъ все-таки будетъ сторониться отъ васъ, пренебрегать вами... Вѣрите ли вы мнѣ? Не всѣ такъ несправедливы и горды; найдется между нами много и много образованныхъ людей, которые умѣютъ цѣнить жажду знанія, любовь къ труду, молодую, жаркую вѣру въ добро — все, что въ васъ есть хорошаго. Эти люди охотно сблизятся съ вами, охотно дадутъ вамъ мѣсто между собою, потому что вы имъ равный и они это понимаютъ и помнятъ. Не упрямьтесь сами напрасно; не поддерживайте сами глупаго

предразсудка: наше происхожденіе равно. Не унывайте: по благородству чувствъ и понятій вы равный всѣмъ и выше многихъ, а хорошіе люди съ радостью вамъ это скажутъ и докажутъ...

Лизавета Дмитріевна остановилась. Ивановскій слушалъ, не сводя съ нея глазъ и не переводя дыханія; онъ весь былъ — восторгъ, счастье, благодарность; онъ будто воскресъ...

— Еслибъ вы знали... сказалъ онъ: — еслибъ васъ слышали мои товарищи! Я вамъ обязанъ всей моей жизнью... вы сдѣлали меня другимъ человѣкомъ...

Онъ былъ внѣ себя; его голосъ прерывался; поблѣднѣвшее лицо опять вспыхнуло; глаза блестѣли: онъ казался другимъ человѣкомъ; въ немъ пробудилась какая-то сила, свобода, радость дѣтски-трогательная...

— Пока я живъ, я не забуду, что вы сказали, проговорилъ онъ, вставъ и отходя, чтобъ скрыть свое волненіе: — вы не меня одного, вы насъ всѣхъ воскресили!

«Какое хорошее существо!» подумала Лизавета Дмитріевна, глядя на него.

Ивановскій умеръ бы отъ радости, еслибъ зналъ, что она это подумала.

Она выждала нѣсколько времени, чтобъ дать ему придти въ себя и сказала съ своей милой и ласковой улыбкой:

— Подите сюда. Скажите что нибудь о себѣ. Теперь вы не будете больше скучать жизнью?

— Я не нахожу словъ, я не знаю какъ благодарить Бога за настоящую минуту, сказалъ Ивановскій:—вы будто что у меня съ души сняли... Не даромъ у меня было такое предчувствіе... я не знаю, какъ вамъ сказать...

— Говорите все.

— Когда я васъ въ первый разъ встрѣтилъ, вы были такъ добры... Боже мой! намъ и просто чья нибудь привѣтливость въ диковинку, а отъ васъ... Я не умѣю этого объяснить: ваше обращеніе... вы обходитесь со мною, какъ будто я принадлежу къ вашему обществу, будто я... вамъ равный...

— Да, вы и есть равный. Что-жъ особеннаго въ моемъ обращеніи?

— О, Господи! вы этого сами не понимаете.

— Очень рада, если это васъ такъ утѣшаетъ, отвѣчала она, смѣясь отъ волненія: — но, право, это очень натурально, очень обыкновенно; такъ быть должно...

— Я вижу, что предчувствіе меня не обманывало.

— Какое предчувствіе?

— Мнѣ показалось... право, я не знаю какъ выразиться!.. что я могу, что я долженъ сказать вамъ все, что у меня есть на душѣ, что мнѣ отъ этого будетъ легче. Ради Бога, не прогнѣвайтесь за мою смѣлость! Вотъ, я сказалъ... Дай Богъ, чтобъ васъ кто нибудь такъ утѣшилъ, какъ вы меня!

— Такъ смотрите же, отвѣчала Лизавета Дмитріевна:—впередъ, если вамъ вздумается хандрить, унывать, говорите мнѣ скорѣе, чтобъ не долго мучиться.

— Вы позволяете?..

— Непремѣнно! А какъ давно съ вами продолжается эта тоска?

— Какъ себя помню. Такъ тяжело! кромѣ товарищей, ни съ кѣмъ не скажешь слова по душѣ, не услышишь слова порядочнаго. Посмотришь кругомъ — пустота, грубость, закоснѣлость. Вырвался бы, бѣжалъ самъ не знаешь куда... Право, всѣ полагаютъ, что, напримѣръ, намъ, пѣвчимъ, весело на какихъ нибудь вечеринкахъ...

Онъ остановился, вспыхнувъ.

— Я не одинъ такъ тоскую; вы говорили не обо мнѣ одномъ, о всѣхъ насъ... Теперь: я чувствую, что намъ можно жить на свѣтѣ.

— Послушайте, сказала Лизавета Дмитріевна: — теперь ваше огорченіе прошло, признайтесь, что особенно васъ смутило и заставило придти ко мнѣ?

— Совѣстно признаться: я твердилъ къ экзамену, совсѣмъ съ ума сходилъ, силъ не стало, я и побѣжалъ къ вамъ...

Лизавета Дмитріевна разсмѣялась, Ивановскій тоже.

— Представьте только: учить все наизусть! И еслибъ что нибудь живое, такъ сказать, освѣтило — ничего! Право, мы ничего не знаемъ. Недавно въ журналѣ я прочелъ одно историческое изслѣдованіе—стыдно стало... и какъ-то все объясняется иначе, въ другомъ свѣтѣ, точно другая жизнь...

— Кончайте курсъ и принимайтесь опять учиться.

— Непремѣнно!

— И пойте больше, учитесь музыкѣ, займитесь вашимъ талантомъ: вы сами не знаете, какое у васъ сокровище. Что вашъ голосъ, не потерпѣлъ отъ всѣхъ вашихъ огорченій? о немъ надо спрашивать, какъ о здоровьѣ.

— Совершенно здоровъ, слава Богу, отвѣчалъ Ивановскій.

Къ его счастью недоставало только, чтобъ

Лизавета Дмитріевна вспомнила о его таланте.

— Скоро кончится вашъ курсъ? спросила она.

— Въ половинѣ іюля.

— Вамъ будетъ грустно разстаться съ товарищами.

— О, конечно! Были всѣ вмѣстѣ, теперь куда кого заброситъ судьба. О многихъ я не могу вспомнить равнодушно. Вечеромъ, иногда, мы сбираемся... неужели этимъ вечерамъ скоро конецъ? Чего мы не переговоримъ, какихъ вопросовъ не рѣшаемъ! придумываемъ и возможное, и несбыточное. Какіе люди чудесные, характеры какіе! Одинъ идетъ въ миссіонеры—кроткая, святая душа; сколько изъ насъ онъ поддержалъ, наставилъ и примѣромъ, и словами! Бывали случаи, я былъ готовъ совсѣмъ потеряться, еслибъ не онъ... А Ваня Демкинъ, милый мой, а другіе... Такъ всѣхъ жаль!

— И дастъ Богъ, сказала Лизавета Дмитріевна, съ удовольствіемъ замѣчая, что онъ оживился:—когда каждый изъ нихъ пойдетъ по своей дорогѣ, сколько хорошихъ людей прибавится на свѣтѣ!

— Ахъ, дай Богъ!

— И вашъ хоръ разойдется тоже?

— Нѣтъ; велѣно всѣмъ оставаться, пока не будетъ кѣмъ замѣнить голоса̀. А тамъ и пѣвчіе разойдутся, начнутъ искать невѣстъ; кто къ роднымъ уѣдетъ отдыхать; кому возможно, въ университетъ, въ академію.

— Ужасно, если нѣтъ средствъ! сказала Лизавета Дмитріевна.

— Да... Одинъ изъ нашихъ пѣвчихъ сбирался тоже. Голосъ у него прелестный, густой басъ, октава, но онъ его теряетъ... Вотъ несчастье! Ну что еслибъ это случилось со мною?

— Полноте! Однако, вы любите придумывать себѣ бѣды.

— У меня несчастный характеръ, отвѣчалъ Ива̀новскій въ восхищеніи: — прежде я не боялся этой потери, но теперь, когда я только и думаю, что о своемъ голосѣ...

— Думайте, но не выдумывайте чего ненадо. Что-жъ вашъ товарищъ?

— Да, Ждановъ. Онъ сбирался въ университетъ, но нѣтъ возможности. Его очень печальная судьба. Какъ и чѣмъ онъ жилъ, пока не поступилъ въ хоръ—непостижимо. Богъ, должно быть, хранилъ. Достался еще ему на попеченіе маленькій братъ, ребенокъ, тоже записанный въ семинарію, въ меньшее отдѣленіе. Жили на квартирѣ; зимой, часовъ въ семь утра, еще темно, старшій братъ идетъ въ классъ и маленькаго несетъ на рукахъ, тоже въ классъ; съ рукъ спустить нельзя: такая былъ крошка, гдѣ нибудь пропалъ бы въ сугробѣ...

— Боже мой! вскричала Лизавета Дмитріевна:—гдѣ-жъ теперь это дитя?

— У насъ въ хорѣ, первый сопрано. Подросъ, такой смышленый мальчишка, хорошенькій. Посмотрите на него когда нибудь, онъ стоитъ подлѣ меня.

— Что-жъ будетъ съ нимъ, когда выйдетъ братъ?

— Мы его не оставимъ—какъ можно!

— А братъ?

— Что Богъ дастъ. Вездѣ наша участь, семинаристовъ, и жалка, и забавна. Недавно посвятили одного товарища; онъ два года уже какъ вышелъ, отличный человѣкъ, изъ «перваго десятка», богословъ и проповѣдникъ, прекрасно пишетъ... средствъ ужъ рѣшительно никакихъ, меньше чѣмъ у Жданова. Онъ всегда располагалъ въ духовное званіе, но мѣста не было; дали ему пока мѣсто звонаря въ деревнѣ. Сколько разъ рисковалъ жизнью, когда лѣзъ на колокольню; лѣстница ветхая, подъ ногами зыблется, а онъ ростомъ будетъ еще повыше меня.

— И онъ два года звонилъ?

— Что-жъ дѣлать? пока, наконецъ, посвятили... Все вынесъ, сколько лишеній, неудовольствій!

— У меня есть знакомый въ вашемъ хорѣ, сказала Лизавета Дмитріевна.

— Да, Маргаритинъ. Онъ говорилъ намъ... онъ и сказалъ намъ о васъ.

— Онъ былъ у меня съ своимъ отцомъ; не знаю, почему онъ у меня не бываетъ.

— Мы ему тоже говорили, но онъ ужъ такъ застѣнчивъ, отшельникъ какой-то. Чудесная душа, а просто, дикарь. Вотъ, вслушайтесь въ его голосъ: совершенство, какъ онъ старательно беретъ, въ особенности, какъ выговариваетъ, лучше насъ всѣхъ.

Лизавета Дмитріевна продолжала разспрашивать его о товарищахъ, о классахъ, о начальникахъ; Ива̀новскій разсказывалъ охотно. Онъ забылъ свою робость, не чувствуя ея ни одной минуты; напротивъ, каждую минуту обращеніе Лизаветы Дмитріевны, привѣтливое и вмѣстѣ полное уваженія, усиливало въ Ивановскомъ неизобразимо-пріятное чувство равенства, котораго онъ еще никогда не испытывалъ. Веселый, не стѣсняясь, онъ говорилъ свободно, съ

наслажденіемъ замѣчая, что его разговоръ занимаетъ, а веселость раздѣлена. Это убѣждало его, что онъ держится порядочно, что въ его простотѣ нѣтъ ничего неизящнаго; это предохраняло его даже отъ неловкостей, которыя могли бы привести его въ смущеніе. Онъ рѣшился оглянуться кругомъ, разсмотрѣть комнату, которая такъ ему нравилась, хотя онъ въ оба первые визита видѣлъ ее смутно; онъ осмѣлился посмотрѣть и на Лизавету Дмитріевну. Онъ дѣлалъ это и прежде, но всегда такъ безпокойно, въ страхѣ или въ волненіи, что не зналъ лица ея, помнилъ что-то общее, но не могъ представить себѣ ясно ни одной черты. Этотъ досадный недостатокъ памяти мучилъ его уже много разъ, когда онъ думалъ о Лизаветѣ Дмитріевнѣ. Теперь Ивановскій рѣшился помочь этой непріятности и насмотрѣться на Лизавету Дмитріевну такъ пристально, сколько позволяла учтивость. Заодно онъ рѣшился назвать ее по имени, чего еще не дѣлалъ ни разу, и, назвавъ, не пугался — такъ смѣла и рѣзка показалась ему эта выходка. Хоть Лизавета Дмитріевна—что очень натурально—даже и не замѣтила этого отважнаго поступка, но Ивановскій смѣшался и покраснѣлъ, вдругъ оробѣвъ опять, будто видѣлъ предъ собой свѣтскую даму въ первый разъ въ жизни: у него еще не явилась способность скоро овладѣвать собою.

Почти въ эту минуту Лизавета Дмитріевна взглянула на часы.

— Знаете ли что? я прогоню васъ, сказала она, смѣясь: — скоро десять, а теперь я знаю вашъ уставъ и не хочу, чтобъ вы опоздали. Вы сами сказали, что за это могутъ быть вами недовольны. До свиданія. Идите домой и не придумывайте себѣ печалей.

Она подала ему руку.

Ивановскій обомлѣлъ: этого ему и во снѣ не снилось. Ничего не помня, онъ пожалъ руку Лизаветы Дмитріевны гораздо крѣпче, нежели принято это дѣлать, и стоялъ, не видя ничего и никого предъ собою.

— До свиданія, повторила Лизавета Дмитріевна, скрывая свой невольный смѣхъ надъ его неловкостью: этотъ смѣхъ убилъ бы семинариста. — Не забывайте, что мнѣ всегда пріятно васъ видѣть. Пойте больше, а главное не скучайте.

— Нѣтъ, теперь скучать для меня невозможно, проговорилъ онъ: — я такъ счастливъ... Это лучшій день моей жизни!

Онъ совершенно потерялся. Ему хотѣлось остаться еще хотя одну минуту въ этой комнатѣ.

— Если вы позволите, у меня будетъ къ вамъ просьба, сказалъ онъ, остановясь въ дверяхъ: — нельзя ли дать мнѣ еще какую нибудь книгу?

— Съ удовольствіемъ. Что хотите? другой томъ Пушкина?

Она подошла къ этажеркѣ, Ивановскій за нею.

— Нѣтъ; что нибудь серьезное.

Лизавета Дмитріевна затруднялась; ей попало подъ руку одно описаніе путешествія по Италіи, но книга была по-французски. Лизавета Дмитріевна отложила ее опять, Ивановскій взялъ ее.

— Вотъ это можно? спросилъ онъ, взглянувъ на заглавіе.

— Возьмите. Извините, я не знала, что могу вамъ предложить ее.

— Но только вслухъ я никогда читать не буду! вскричалъ онъ, засмѣявшись, какъ школьникъ, и прижавъ къ себѣ книгу.

Сойдя съ крыльца, слыша, какъ заперлись двери, Ивановскій отдалъ бы Богъ знаетъ что, чтобъ воротиться хотя на секунду...

X.

Ивановскій едва не помѣшался, повторяя себѣ вопросъ: «Гдѣ я былъ? что со мною было?»

Онъ твердилъ себѣ эти два вопроса, возвращаясь чрезъ пустую, темную площадь. Небо было въ тучахъ, ночь безъ мѣсяца; вдалекѣ уже перекликались часовые; сторожъ гремѣлъ замкомъ, когда Ивановскій добѣжалъ до своихъ воротъ. Убѣдивъ просьбами и обѣщаніями, чтобъ его впустили, Ивановскій взошелъ на свою лѣстницу, шагая чрезъ двѣ ступеньки, задыхаясь отъ усталости и внутренней дрожи. Баритонъ несеминариста пропалъ бы навѣрное на нѣсколько нотъ отъ такихъ волненій, но семинаристъ, достигнувъ верхней площадки, былъ въ состояніи пропѣть свое solo въ одномъ знаменитомъ концертѣ, который, Богъ знаетъ почему, звенѣлъ у него въ ушахъ, между тѣмъ какъ сердце стучало. Товарищи спали. Ивановскому хотѣлось говорить, разсказывать, хотѣлось обняться съ кѣмъ нибудь, хотѣлось школьничать; чтобы поднять товарищей, Ивановскій охотно крикнулъ бы: «пожаръ!» изъ всей силы своей груди, что удавалось ему въ совершенствѣ, но, къ счастью, вспомнилъ, что однажды слишкомъ удачное исполненіе

этой продѣлки подняло отца Аарона и Ивановскій спасся только тѣмъ, что увѣрилъ, будто ему пригрезилось...

Онъ бросился впотьмахъ на свою постель; ему не спалось и было душно, несмотря на прохладный, даже сырой воздухъ стариннаго жилья со сводами.

«Гдѣ я былъ? что со мною было?» твердилъ онъ, осматриваясь и начиная различать свѣтлыя окошки, лимонное деревцо Никольскаго, которое колыхалось при легкомъ вѣтрѣ, старыя, лѣтъ десять назадъ оштукатуренныя стѣны, старые столы, старыя книги, старое платье...

Онъ хотѣлъ думать и не могъ; онъ только чувствовалъ, что былъ совершенно счастливъ. Ни завтрашній классъ, ни будущій экзаменъ, ни неудовольствіе начальниковъ, ни выговоры отца — хотя обо всемъ этомъ Ивановскій очень хорошо помнилъ—не тревожили его. Онъ зналъ, что онъ бѣденъ, что его воспитаніе неполно, что въ будущемъ бездна трудностей; но его ничто не огорчало, ему ничто не было страшно. Онъ зналъ теперь, что онъ не потеряный, не ничтожный человѣкъ; что онъ можетъ, долженъ надѣяться; что ему есть мѣсто на свѣтѣ; что онъ равный со всѣми, кого прежде считалъ такъ недосягаемо высокими. Съ него сняли униженіе, которое тяготѣло надъ нимъ и убивало характеръ его и способности: его убѣдили, что и въ немъ есть достоинство, въ которомъ отказывало ему и всему его сословію вѣковое предубѣжденіе, достоинство, въ которомъ онъ начиналъ сомнѣваться, какъ отверженный...

Ивановскій не задумывалъ, что будетъ съ нимъ въ жизни, но былъ увѣренъ, что ему все удастся. Бѣдность настоящаго, темный дортуаръ, скука классовъ, нужда завтрашняго дня — все это переходное и скоро пройдетъ. Это только внѣшнее, а внутренняя сторона всего этого освѣщена и не тревожитъ; въ настоящемъ такъ много дорогого и отраднаго, что и спѣшить нечего: все сбудется, все удастся. Скучать жизнью стыдно и грѣшно: жизнь вся впереди, и какая жизнь!..

Онъ жилъ въ будущемъ, но благородныя слова ободренія и утѣшенія дали значеніе его настоящему, привязали къ нему. Ивановскому стали милѣе его товарищи, потому что и они были возвышены вмѣстѣ съ нимъ. Они не «дешевый народъ семинаристы», они—дѣльные люди, которые рука-объ-руку могутъ сдѣлать много добра; они — равные всѣмъ! Онъ былъ счастливъ за нихъ, воображая, какъ они обрадуются, когда онъ разскажетъ имъ завтра, что свѣтская женщина, избалованная успѣхами, изящная, образованная, красавица, не презираетъ семинаристовъ!

Едва проснувшись, онъ разсказалъ это товарищамъ-пѣвчимъ, а въ классѣ и другимъ. Его разсказъ приняли съ чувствомъ, съ большой благодарностью и удовольствіемъ. Всѣ въ голосъ повторяли, что Лизавета Дмитріевна «добрая, славная барыня»; многіе, тронутые, говорили, что Алеша долженъ поминать ея имя на молитвѣ, а нѣкоторые прибавляли, что и они готовы дѣлать то же...

Нѣсколько дней Ивановскій блаженствовалъ; онъ въ жизнь свою не помнилъ такихъ дней. Просыпаясь легко, зная, что день пройдетъ однообразно, въ обыкновенныхъ занятіяхъ, онъ не смущался этимъ, какъ прежде, но какъ-то смутно говорилъ себѣ, что этотъ день приближаетъ его къ цѣли—какой? онъ и самъ не могъ сказать; это была не мысль, а ощущеніе. Спокойный, довольный, онъ былъ веселъ всей счастливой веселостью своего характера, которая прежде являлась въ немъ неровно и порывами; онъ думалъ какъ-то свободнѣе, какъ будто его вдругъ выпустили на волю и позволили ему думать; мыслей было много и о многомъ; онѣ тѣснились въ головѣ, и потому были еще неопредѣленны, но вышли уже изъ опредѣленной, ежедневной колеи. Онъ еще не разбиралъ себя, но чувствовалъ, что жилъ полнѣе, что яснѣе понималъ вещи съ тѣхъ поръ, какъ увѣрился, что имѣетъ равное со всѣми право судить о нихъ... Ивановскій былъ хорошая натура, воспріимчивая и изящная; его воспитаніе было неполно, но не было ложно; оно не могло ничего испортить. Не отъ привычки многое не казалось ему грубымъ въ обстановкѣ его жизни, въ ея удовольствіяхъ, въ сношеніяхъ съ людьми его круга, а отъ добраго, здраваго смысла, который бываетъ у людей немелочныхъ, и заставляетъ не прощать, или мириться эфектно и съ претензіями, а спокойно принимать вещи, какъ онѣ есть, понимая, что иначе онѣ быть не могутъ. Держась порядочно отъ врожденной порядочности, Ивановскій, еще задолго до знакомства съ Лизаветой Дмитріевной, понималъ, что многіе изъ товарищей держатся неловко, что многія семинарскія замашки рѣзки и странны, но онъ уважалъ товарищей, какъ хорошихъ людей, любилъ ихъ съ дѣтства и не обращалъ вниманія на мелочи, важныя только въ глазахъ тѣхъ, кто выше всего цѣнитъ наружность. Ивановскому бы-

ло всегда хорошо съ товарищами; онъ еще больше сблизился съ ними въ блаженные дни, которые доставилъ ему разговоръ Лизаветы Дмитріевны.

Костинъ вздумалъ праздновать день своего рожденія и звалъ нѣкоторыхъ друзей къ себѣ вечеромъ. Предполагалось пить чай и пѣть.

— Скажи по совѣсти, Алеша, спросилъ Свѣтловъ Ивановскаго, идя на этотъ «вечеръ» вмѣстѣ съ нимъ и Бѣляевымъ;—тебѣ это ничего, идти?

— Какъ, ничего?

— Такъ... побывалъ въ лучшемъ обществѣ. Ты не подумай, что я вздоръ говорю, будто ты пренебрегаешь товарищами: у меня этого и въ умѣ нѣтъ. А такъ, не скучно тебѣ?

— По совѣсти, нѣтъ, отвѣчалъ Ивановскій:—вы знаете, какъ мнѣ съ вами хорошо. Бѣдная жизнь, бѣдны удовольствія; да гдѣ же намъ взять другихъ? вѣдь они недурны, негрязны, стыдиться намъ нечего...

Ивановскій говорилъ отъ души и доказывалъ свою искренность на дѣлѣ; товарищи еще больше полюбили его за его веселость, а близкіе друзья за какую-то особенную мягкость, которая явилась въ его обращеніи. Счастливецъ, казалось, сдѣлался добрѣе.

Такъ прошла недѣля. Увидя Лизавету Дмитріевну только одинъ разъ подъ окномъ, когда шелъ изъ класса, Ивановскій рѣшилъ, что пойдетъ къ ней въ воскресенье. Онъ прочелъ ея книгу и съ вечера субботы, проведеннаго въ редакціи семинарскаго журнала, только и думалъ о счастьѣ, которое ожидаетъ его завтра.

Но случилось иначе. Въ воскресенье, пропѣвъ обѣдню и возвращаясь изъ собора домой, Ивановскій встрѣтилъ въ архіерейскомъ дворѣ своего отца.

Отецъ Алексѣй являлся тамъ очень рѣдко, въ важныхъ случаяхъ: по вызову владыки, или за какимъ нибудь дѣломъ въ консисторію, или за тѣмъ, чтобъ «дать головомойку» сыну. Ивановскій, увидя отца, тотчасъ счелъ, что ровно двѣ недѣли не былъ у него; онъ вмѣстѣ обрадовался и оробѣлъ. Отецъ казался недовольнымъ.

— Что это ты глазъ не кажешь? спросилъ онъ, когда сынъ поцѣловалъ его руку, послѣ благословенія.—Здоровъ?

— Слава Богу, батюшка.

— Что-жъ давно не былъ?

— Какъ-то все времени нѣтъ, отвѣчалъ Ивановскій смущаясь еще больше, потому что чувствовалъ себя виновнымъ.

— День-то великъ. Въ классы ходишь?

— Какъ же?

— А послѣ классовъ все по улицамъ скитаешься?

— Нѣтъ, я большую часть дня дома... Занимаюсь...

— Ну, ужъ твои занятія! Когда вашъ экзаменъ?

— Въ меньшемъ отдѣленіи ужъ начался; у богослововъ начнется съ четвертаго іюля.

— Приходи-ка ты сегодня, сейчасъ, ко мнѣ на цѣлый день. Праздникъ; нечего тебѣ звѣркомъ изъ конца въ конецъ рыскать. Я затѣмъ и зашелъ, тебѣ сказать. Видишь, франтомъ, шляпу завелъ! Приходи безпремѣнно.

Отецъ Алексѣй ушелъ. Ивановскій возвратился; въ свой флигель, повѣся голову. Онъ привыкъ повиноваться отцу, уважалъ и любилъ его, но все еще съ какимъ-то дѣтскимъ страхомъ, и потому неожиданное появленіе и неожиданное приказаніе отца сконфузило его, почти испугало.

«Что мнѣ дѣлать тамъ, дома, цѣлый день? на что я нуженъ?» думалъ Ивановскій.

Ему такъ хотѣлось быть у Лизаветы Дмитріевны!

Но долго думать было некогда; не послушаться отца—Ивановскій не зналъ, какъ не слушаются: къ тому же, явное неповиновеніе всегда казалось ему дерзко и грубо. Онъ вспомнилъ, что двѣ недѣли не видѣлъ матери и сестеръ; его досада прошла, хотя расположеніе духа изъ восторженнаго сдѣлалось тихо и нѣсколько печально. Ивановскаго будто что смяло.

Тихими шагами приближался онъ къ родительскому дому. Этотъ домъ былъ недалеко отъ собора, но въ такой глуши, куда не достигалъ даже шумъ городской—за стѣною архіерейскаго дома, отдаленный даже отъ слободы, къ которой принадлежалъ, которая начиналась дальше и была разсыпана подъ горой, у самаго берега рѣки. Прилѣпленный къ старинной каменной стѣнѣ, крошечный домикъ отца Алексѣя имѣлъ предъ другими домами слободы только ту выгоду, что весною разливъ не затапливалъ его подъ самыя окошки, напротивъ, тогда домикъ смотрѣлъ очень гордо съ своей высоты; и хотя изрытое колеями глинистое пространство отъ его воротъ до обрыва берега не могло назваться ни лугомъ, ни улицей, но на немъ сбиралось много гулящихъ смотрѣть на воду. Видъ на разливъ былъ прекрасный; затопленные домики слободы, съ огоньками, которые зажигались въ нихъ

по вечерамъ, казались чѣмъ-то фантастическимъ.

Семейство отца Алексѣя въ эти немногіе дни, когда оживлялась «улица», любовалось, конечно, не природой, а гулявшими. Надо было на что нибудь посмотрѣть двумъ молодымъ дѣвушкамъ-невѣстамъ и тремъ дѣвочкамъ, цѣлые дни запертымъ въ свѣтелкѣ за работой. Свѣтелка, какъ и весь домикъ, была обращена на сѣверъ, и такъ низка, что Ивановскій касался ея потолка головою; можно было надѣяться, что чрезъ нѣсколько времени, когда старая постройка еще покривится и осядетъ, а Ивановскій еще подростетъ, ему будетъ уже совершенно невозможно войти на эту свѣтелку. Зимой бывало холодно, весною и осенью сыро, лѣтомъ, въ длинные дни, очень скучно... За домикомъ былъ огородъ; въ немъ нѣсколько яблонь и вишень; послѣднія посажены руками Алексѣя Алексѣевича, который, самъ высокій и прямой, особенно заботился, чтобъ его вишни росли высоко и прямо, «штампиками». Тамъ была и баня, или что-то въ родѣ сарая съ верхомъ, надъ которымъ кровля была совершенно раскрыта, разломана, такъ что небо сквозило между стропилами. Это было жилье Ивановскаго въ лѣтніе дни, когда онъ приходилъ къ отцу, его пріютъ, куда онъ удалялся твердить уроки, отдыхать въ холодкѣ и размышлять въ скорби душевной, между тѣмъ какъ отецъ, виновникъ этихъ размышленій, тоже отдыхалъ внизу, въ самой банѣ...

Отца не было дома, когда пришелъ Ивановскій. Мать и старшія сестры хлопотали по хозяйству, меньшія бѣгали въ огородѣ. Ивановскій усѣлся одинъ въ гостиной, комнатѣ съ небольшимъ косымъ зеркаломъ между двухъ оконъ, съ подзеркальнымъ столикомъ, покрытымъ бумажной скатертью, синей съ краснымъ узоромъ, съ большимъ чернымъ кожанымъ диваномъ и креслами разнаго фасона, жесткими какъ камень. Ставленная грамота отца Алексѣя висѣла въ рамѣ надъ диваномъ. Ивановскій видѣлъ ее тысячу разъ, но смотрѣлъ на нее по привычкѣ. Стѣнные часы шипѣли и пощелкивали; въ открытыя окна слышалось изрѣдка полудневное пѣніе пѣтуховъ и крики мальчишекъ, игравшихъ у обрыва. Надъ рѣкой, надъ далью, стоялъ синеватый зной; каждая минута жаркаго іюльскаго дня тянулась медленно, лѣниво, казалась длиннѣе вдвое.

Еслибъ Ивановскому не было скучно, онъ бы заснулъ, сидя одинъ. Его позвали обѣдать.

— Гдѣ же батюшка? спросилъ онъ, не видя отца.

— Въ деревню поѣхали, въ Кузьминское, отвѣчала мать—къ ночи воротятся. Развѣ они тебѣ не сказывали, какъ заходили?

— Нѣтъ. А вамъ онъ не говорилъ, зачѣмъ приказалъ мнѣ придти?

— Нѣтъ, не говорили.

Мать разрѣзывала пирогъ — необходимую принадлежность воскресенья, и хлопотала, какъ бы прежде всѣхъ угостить своего Алешу. Но Алеша былъ слишкомъ озабоченъ.

— Не знаете ли, матушка, продожалъ онъ:—нѣтъ ли какого особеннаго дѣла до меня? Меня это очень безпокоитъ.

— Особеннаго, кажется, ничего нѣтъ, отвѣчала мать, одѣливъ пирогомъ дочерей и садясь:—а самъ батюшка очень о тебѣ безпокоился, давно не видавши. Заходилъ онъ надняхъ къ секретарю семинарскаго правленія; о васъ уже списки составляютъ.

— Да, знаю, сказалъ Ивановскій.

— Знаешь, такъ нечего и говорить, возразила мать;—ты еще съ зимы въ послѣднемъ разрядѣ записанъ. Парашенька, обратилась она къ старшей дочери:—ты, никакъ, слышала, которымъ онъ съ конца? вторымъ, али третьимъ?

— Вторымъ, мамаша.

— Вторымъ! повторила мать.—Хуже тебя всего, значитъ, одинъ. Какъ же батюшкѣ не гнѣваться? Къ преосвященному послѣ этого не посмѣетъ и глазъ показать, мѣста тебѣ просить. Скажетъ: «впереди его сто человѣкъ есть», или дастъ гдѣ въ селѣ, дьячковское, если ужъ надъ нашимъ бѣдствіемъ сжалится: тогда и невѣсты не найдешь.

— Что-жъ, матушка, возразилъ Ивановскій, который почему-то сталъ не только не скучнѣе, но даже веселѣе отъ ея словъ:—я могу и подождать; а не дождусь мѣста, такъ и быть: другія дороги есть.

— Вотъ, хорошо отца нѣтъ, ты бы такъ не заговорилъ! вскричала мать.—Куда ты себя готовишь? Посмѣй-ка это отцу сказать! Онъ за тебя и долги платилъ, и просилъ, и кланялся, а ты такія мысли имѣешь! Не забудь того, что Парашенькѣ двадцать первый годъ, въ дѣвкахъ засидѣлась, да и Наташенькѣ девятнадцатый: пора и о ней подумать; а жениховъ все нѣтъ, да нѣтъ, потому что отдать не съ чѣмъ. Батюшка, ты думаешь, не сокрушается? Онъ тебѣ такъ разсуждать не позволитъ, ты его не въ первый день знаешь. Хоть бы ты о сестрахъ позаботился, себя устроивъ: еще три ростутъ. Отецъ въ тебѣ

одномъ души не чаетъ; строгъ-строгъ, а все тебѣ одному...

Ивàновскій посмотрѣлъ на сестеръ. Парашенька, казалось, раздѣляла мнѣніе матери: она была сконфужена. Наташа улыбнулась брату, что очень шло къ ней и очень его ободрило.

— Ты себѣ, сказываютъ, разныя знакомства между знатными господами завелъ, продолжала мать.—Онамедни батюшка въ лавку заходилъ кое-что искупить, встрѣтили вашего пѣвчаго — рябенькій такой, изъ себя невидный— такъ сказывалъ, ты всякій день къ какой-то барынѣ ходишь.

— Ну, такъ и есть, Евфратовъ! вскричалъ Ивàновскій:—этотъ дуракъ чего не перескажетъ!

— Тятенька ничего, не осердился, братецъ, сказала Наташа.

— За что ему осердиться, коли знакомство хорошее! продолжала мать:—ходи себѣ, пожалуй: ты чрезъ это можешь свои выгоды имѣть. Вотъ, какъ, Богъ дастъ, батюшка станетъ просить для тебя о мѣстѣ, можетъ, и эта барыня что нибудь сдѣлаетъ, словцо замолвитъ. Лучше, какъ ей прежде поклонишься: она помѣщица: можетъ и къ ней въ приходъ надобность случится.

— Никогда этого не будетъ! прервалъ Ивàновскій, вспыливъ, и прибавилъ, удержавшись:—я бываю у этой дамы очень рѣдко, и ей нѣтъ никакого дѣла, кого назначатъ ей въ приходъ... да и мѣсто занято.

— Такъ для чего же ты къ ней ходишь?

— Просто, знакомъ... для своего удовольствія.

— И весело у нихъ, братецъ? много бываетъ гостей? спросила Наташа.

— Да, бываютъ.

— Музыка бываетъ, танцы?

— А тебѣ все вздоры! прервала мать.

Они вставали изъ-за обѣда. Парашенька отвела мать въ сторону и о чемъ-то убѣдительно просила.

— Тамъ, мамаша, гости будутъ, отпустите меня. Что, въ самомъ дѣлѣ, свѣта не видишь! Тамъ хоть кого нибудь посмотришь.

— Куда ты сбираешься? спросилъ братъ.

— Вотъ затѣяла къ теткѣ идти; съ темной зари просится.

— А тамъ весело, сказалъ Ивàновскій:—къ ней многіе наши товарищи ходятъ.

— Конечно, ходятъ. У сестрицы Анны Васильевны денегъ много, да двѣ дочки на возрастѣ, невѣсты: глядишь, какую нибудь и просватаетъ. Нашимъ бесприданницамъ ненечего туда соваться.

— Почему же не пойти? возразилъ Ивàновскій:—Параша хорошенькая; ее за красоту возьмутъ.

— Толкуй имъ пустяки-то! прервала мать.—Пожалуй себѣ, Парашенька, поди, только чтобъ батюшка не зналъ: онъ не любитъ. Недолго побудь.

— Вечеромъ приду, отвѣчала Парашенька и побѣжала наряжаться.

— А ты что-жъ? спросилъ Ивàновскій Наташу.

— Ей куда еще! возразила мать, дай прежде старшую, какъ слѣдуетъ, сдать: а то, куда старшая, туда и она! Я пойду, прилягу уснуть, а ты, Алексѣй, не уходи. Батюшка такъ и наказывалъ, чтобъ, ты весь день здѣсь оставался.

Она ушла.

— Что-жъ, я подъ наказаніемъ, что ли? спросилъ Ивàновскій Наташу, когда они осталить вдвоемъ въ гостиной.

— А развѣ есть за что? возразила она смѣясь.

— Кажется, не за что. Развѣ за старое... Скажи, въ самомъ дѣлѣ, батюшка не сердится, что я бываю у госпожи Майцовой?

— Нѣтъ, братецъ, право, нѣтъ. Все, какъ вамъ маменька говорила.

«Ну, это не легче», сказалъ про себя Ивàновскій.

Чрезъ минуту онъ подумалъ, что всѣ предположенія отца и матери о мѣстѣ, о протекціи Лизаветы Дмитріевны ни съ чѣмъ несообразны и, слѣдовательно, озабочиваться ими нечего. Это хоть немного успокоило его; а ему было необходимо успокоиться, потому что нѣсколько часовъ въ семьѣ слишкомъ рѣзко напомнили ему дѣйствительность, положительную заботу о будущемъ, необходимость опредѣленно сказать себѣ, чѣмъ онъ будетъ. Все это отуманило Ивàновскаго, набросило тѣнь на его счастье... Еслибъ можно было сію минуту бѣжать къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ и разсказать ей все! Весь день испорченъ. Теперь ужъ поздно: два часа; она, вѣроятно, уѣхала куда нибудь съ визитами. Развѣ вечеромъ... Но Ивàновскій не могъ вообразить, какъ онъ поступитъ противъ приказанія отца. Онъ утѣшалъ себя мыслью, что, вѣроятно, Лизавета Дмитріевна и вечеромъ не будетъ дома: у нея столько знакомыхъ, вечеръ будетъ хорошо...

Еслибъ вечеромъ встрѣтить ее хоть на гуляньѣ, въ городскомъ саду! Только бы взглянуть на нее...

— Братецъ, сказала Наташа, прерывая молчаніе:—хороша она собой?

— Въ совершенствѣ красавица! отвѣчалъ Ивановскій, догадавшись, о комъ она спрашивала, хоть Наташа и не назвала Лизаветы Дмитріевны.

— Какъ бы мнѣ ее посмотрѣть?

— Что-жъ? приходи къ поздней обѣднѣ въ соборъ, въ праздникъ, когда мы поемъ; она почти всегда бываетъ.

— Какъ же! такъ меня и отпустятъ одну! Маменькѣ некогда, а тятенька самъ служитъ въ приходѣ.

— Я, пожалуй, зайду за тобой.

— Ужъ вы!

— И знаешь, какъ хорошо: проведу тебя, поставлю у клироса. Кстати и насъ послушаешь, на насъ посмотришь. Хочешь?

— Полноте, братецъ! какъ же можно мнѣ идти съ вами?

— Почему-жъ нельзя? развѣ я такой вѣтренникъ, что мнѣ нельзя тебя поручить?

— Вѣтренникъ не вѣтренникъ, только и не степенный человѣкъ, отвѣчала Наташа, смѣясь.

Ивановскій развеселился; ему было пріятно болтать съ сестрой, которую онъ особенно любилъ; а въ его головѣ успѣло пройти уже довольно мыслей, которыя опять разогнали заботу.

— Ты не очень надъ мною шути, сказалъ онъ, смѣясь тоже: — вѣдь я тебѣ старшій братъ, глава. Вотъ, матушка говоритъ, что я долженъ вамъ жениховъ поискать. Прикажешь для тебя постараться?

— Полноте! возразила дѣвушка, покраснѣвъ и застыдясь:—вы, братецъ, въ самомъ дѣлѣ шалунъ.

— Что все «шалунъ»! Я вовсе не шалю. Скажи лучше, кто тебѣ нравится, кого тебѣ посватать?

— Какіе вы, братецъ! Мнѣ никто не нравится.

— Быть не можетъ. Прикажешь моего друга, Ваню Бѣляева?

— Нѣтъ, онъ мнѣ не нравится: онъ собой дуренъ.

— А, видишь, скромница! ты это, однако, разсмотрѣла. Ну, хочешь Свѣтлова? хорошенькій мальчикъ, черненькіе усики...

— Вы все изъ вашихъ пѣвчихъ.

— Кого же тебѣ лучше? Они у насъ всѣ молодецъ къ молодцу. Маргаритинъ, напримѣръ, выразительное, славное лицо, щеголь; Лампадинъ—прелесть что такое! На насъ смотрѣть, какъ мы всѣ стоимъ—наслажденіе. Вы, я думаю, всѣ глаза проглядѣли...

— Всѣ ваши пѣвчіе насмѣшники; ни въ одномъ проку нѣтъ.

— Ай-ай, Наташа! да я самъ пѣвчій!

— Ну, что-жъ, и вы такой же!

— Смотри, я тебѣ за это такого добропорядочнаго выберу, ужъ непремѣнно сосватаю, что ни естъ страшнѣе изъ всей бурсы.

— Проказникъ вы! сказала Наташа, смѣясь:—не хочу я вашихъ жениховъ; еще успѣю.

— А ты прехорошенькая, Наташа, сказалъ онъ, глядя на нее съ удовольствіемъ.

— Говорятъ, на васъ похожа, отвѣчала она.

— Бѣленькая, миленькая носикъ кверху... Постой, я нашелъ тебѣ жениха! Знаешь, у насъ естъ Миролюбовъ—видѣла? Вотъ такъ хорошъ: и уменъ, и добронравенъ!

— Хорошо вамъ говорить, возразила Наташа:—а вы подумайте не шутя: ну, отдадутъ меня... я ихъ, въ самомъ дѣлѣ, никого не знаю... отдадутъ за незнакомаго, отвезутъ, можетъ быть, въ деревню, гдѣ души человѣческой нѣтъ, кромѣ мужиковъ... Вѣдь скучно, братецъ; я молода. Положимъ, это веселье, удовольствія разныя—вздоръ; а каковъ будетъ мужъ? Ну, Боже сохрани, отдадутъ, какъ отдали бѣдную Танечку...

— А въ самомъ дѣлѣ, Танечка! что пишетъ она къ своей матери?

— Какъ же можно, братецъ? Это еще какъ мужъ позволитъ писать, да дастъ денегъ на письмо.

— Да... сказалъ Ивановскій:—поторопились ее отдать.

— Все такъ-то, братецъ... Васъ она не подождала.

— Меня?

— Ужъ какъ вы ей нравились!.. Да вы очень многимъ нравитесь, братецъ. Маменька напрасно говоритъ, что вамъ не найти себѣ невѣсты.

Ивановскій улыбнулся; хотя зеркало было косо, но онъ взглянулъ на свои баки, которыми гордился въ особенности.

— Я ни на комъ не женюсь, Наташа, сказалъ онъ, помолчавъ.

— Какъ же это такъ?

— Такъ, не женюсь.

— Да какъ же вы посвятитесь?

— И не посвящусь.

— Никогда?

— Никогда.

— Что вы, братецъ? (Она испугалась). Какъ же тятенька этого желаетъ, маменька тоже... Я, право, не знаю... развѣ можно...

— Развѣ только и жизни, что въ духовномъ званіи?

— Такъ вы въ военную службу пойдете?

— Нѣтъ.

— Ну, въ приказные?

— Нѣтъ.

— Я ужъ и не понимаю васъ, братецъ. Если вы такъ тятенькѣ скажете, я и не знаю, что будетъ.

Ивановскій задумался и не отвѣчалъ.

— Тятенька васъ въ самомъ дѣлѣ безъ памяти любитъ, продолжала Наташа:—онъ для васъ, мнѣ кажется, жизни не пожалѣетъ. Никто больше его вамъ добра не желаетъ; а ужъ если говоритъ, что вамъ надо посвятиться, такъ, стало быть, надо. Онъ знаетъ, что вамъ надо.

— Наташа, да вѣдь посвящаться мнѣ, а не ему.

— Такъ что-жъ? вѣдь онъ посвящался?

— То онъ, а то я. Я не могу.

— Почему не можете?

— Я и самъ не знаю. Не могу.

— Это, братецъ, вамъ такъ, искушеніе, сказала она со страхомъ.

— Ты молоденькая дѣвочка, ты этого не понимаешь, возразилъ онъ: — нечего и толковать съ тобой объ этомъ.

— Какъ же вы тятенькѣ скажете?

— Такъ и скажу... Все скажу.

— Братецъ, вѣдь онъ какъ прогнѣвается!

Ивановскій запустилъ руку въ волосы.

— Братецъ, вѣдь вы, какъ передъ Богомъ, не можете его ослушаться, если онъ вамъ прикажетъ!

Онъ молчалъ.

— Что толковать! Богъ дастъ, все и такъ обойдется, сказалъ онъ наконецъ взволнованный:—скажи что нибудь другое. Ну, какая же твоя подружка въ меня влюблена? и еще кто въ кого? Ахъ вы, смиренницы! Гдѣ же вы на насъ смотрите?

Сестра развеселила его опять. Ему понравилось это вывѣдыванье маленькихъ тайнъ, хоть и не потому, что онѣ льстили его самолюбію: Ивановскій нисколько не гордился тѣмъ, что покорялъ сердца молоденькихъ поповенъ и дочерей самыхъ мелкихъ чиновниковъ, но и не пренебрегалъ этими побѣдами. Онъ отъ природы не былъ фатомъ. Ему просто было весело, что его любятъ; разсказы сестры нравились ему какъ сказка; не думая серьезно и не насмѣшничая, онъ слушалъ о себѣ какъ будто о постороннемъ, какъ будто его собственное сердце было уже совершенно отдѣлено и ограждено отъ всякихъ привязанностей.

Разговоръ съ сестрой заставилъ Ивановскаго немного забыть время, пока часы пробили четыре и вслѣдъ за ихъ боемъ раздался звонъ соборнаго колокола къ вечернѣ.

— Неужели мнѣ здѣсь сидѣть до ночи? вскричалъ Ивановскій, вскочивъ съ мѣста: — если меня батюшка позвалъ для того, чтобъ я не «баловался» въ праздникъ, то вѣдь баловаться можно все равно, что въ праздникъ, что въ будни, была бы охота... Пойдемъ гулять, Наташа, пойдемъ хоть къ тетушкѣ Аннѣ Васильевнѣ, куда нибудь пойдемъ!

— Нельзя, братецъ, отвѣчала она.

Наташа тоже вдругъ опечалилась, потому что вечеръ прекраснаго лѣтняго дня какъ-то особенно наводитъ на сожалѣнія о скучно-проведенномъ днѣ и на желаніе свободы.

— Тебѣ нельзя, такъ мнѣ можно, возразилъ Ивановскій, отыскивая свою фуражку.

У калитки раздался стукъ. Двѣ знаменитыя своей злобой дворняшки ринулись головами въ подворотню и, припавъ, неистово колотя о-земь хвостами, лаяли такъ ужасно, что, казалось, отворить калитку можно было только съ опасностью жизни. Ивановскій закричалъ на собакъ, а работница побѣжала вести переговоры съ тѣмъ, кто стучался. Это былъ ребенокъ, пѣвчій, второй сопрано Андрюша, мальчикъ до того бѣленькій, что его личико казалось прозрачнымъ.

— Здѣсь Алексѣй Алексѣичъ? спросилъ онъ звонкимъ голоскомъ, немного шепелявя, какъ выговариваютъ дѣти, которымъ нѣтъ еще десяти лѣтъ.

— Здѣсь, отозвался Ивановскій грудной нотой изъ окна.

— Ѳедоръ Михайлычъ прислали за вами; пожалуйте сейчасъ — спѣвка будетъ. Очень васъ нужно; приказали какъ можно скорѣе просить, и отецъ Ааронъ приказывали...

— Сейчасъ иду. Ступай себѣ, отвѣчалъ Ивановскій, обрадовавшись предлогу уйти, хотя и не совсѣмъ довольный предлогомъ: спѣвки Ѳедора Михайловичу никогда скоро не кончались.—Какую еще тамъ спѣвку затѣяли?..

— Братецъ, вы скажитесь маменькѣ, что за вами прислали, замѣтила Наташа.

Ивановскій пошелъ къ матери.

— Я васъ подожду, Алексѣй Алексѣичъ, продолжалъ Андрюша, все стоя за калиткой и не подозрѣвая, что баритонъ больше его не слушаетъ:—я лучше съ вами пойду, Алексѣй Алексѣичъ. Тамъ, на углу, во дворѣ собаки злыя, да спущены, совсѣмъ было съѣли...

— Это тебя за пѣвчимъ прислали? спросилъ уличный мальчикъ въ новой красной рубашкѣ и съ огромнымъ змѣемъ въ рукахъ.

— За пѣвчимъ.

— На что такъ скоро понадобился?

— Регентъ приказалъ. Теперь мы всѣ бѣгаемъ, ихъ, большихъ, собираемъ; всѣ разошлись, кто куда; иного и не отыщешь. Одни мы, маленькіе, заперты сидимъ цѣлый день, даромъ что праздникъ; только вотъ теперь насъ разослали. Вася Ждановъ побѣжалъ за своимъ братомъ, тотъ въ заведеніи чай пьетъ... Умаешься за ними бѣгавши; отъ однѣхъ собакъ что... духу не переведешь, а еще пѣть надо.

— Такъ вы, значитъ, у нихъ, у большихъ, на побѣгушкахъ

Андрюша посматривалъ на змѣя.

— Конечно, когда посылаютъ, бѣжишь.

— И всякія имъ, небойсь, услуги справляете?

— Какъ придется, отвѣчалъ Андрюша, протянувъ руку къ змѣю.

— Какія-жъ такія услуги?

— Да вотъ этотъ, Алексѣй Алексѣичъ, франтъ большой. Иной разъ: «вычисти калоши» (Андрюша говорилъ сквозь зубы, передразнивая Ивановскаго и поднимая носикъ кверху, чтобъ казаться выше), и чистишь; думаешь, что тебѣ будетъ? Пятакъ серебра тебѣ. А за этотъ пятакъ серебра ты ихъ круглый годъ будешь чистить, хоть маленькія, хоть высокія—все равно.

— А не хорошо вычистишь, тогда что?

— Ну, что... Этотъ ничего, а другой, ни что возьмешь, и оттреплетъ.

— Видишь, какое ваше житье! кутейнички! Ты, небойсь, туда же, учишься?... Эй, не замай змѣя!

Андрюша отвернулся и прижался къ калиткѣ. Ивановскій выходилъ въ эту минуту; маленькій сопрано побѣжалъ за нимъ, догоняя его какъ могъ.

Регентъ Ѳедоръ Михайловичъ волновался ужасно, когда Ивановскій явился въ сопровожденіи Андрюши. Ивановскій засталъ его среди пѣвческой залы, со скрипкою въ рукахъ; предъ нимъ, трепеща, пѣли два альто. «Большихъ» не было ни одного. Кипы нотъ въ углу и на столѣ были въ страшномъ безпорядкѣ.

— Слава тебѣ, Господи, хоть одинъ! вскричалъ регентъ, увидя Ивановскаго.

— Что случилось, Ѳедоръ Михайлычъ? спросилъ Ивановскій.

— А то случилось, что преосвященный ѣдетъ церковь освящать въ селѣ Истобномъ; помѣщикъ звалъ. За нами ужъ два тарантаса и долгуши прислали: завтра пообѣдаемъ, да въ часъ пополудни выѣзжаемъ, впередъ преосвященнаго.

— Такъ что-жъ намъ дѣлать!

— Какъ, что дѣлать? спѣваться. Только дай Богъ успѣть; вотъ они то-и-дѣло путаютъ. Освященіе — надо пѣть, «столъ» — надо пѣть... А васъ, старшихъ, не сберешь...

Маргаритинъ и Пустынскій вошли степенные, какъ мудрецы.

— Выручите, господа!.. обратился къ нимъ регентъ. — Ахъ, наказанье, хоть бы одного тенора!.. Гдѣ Бѣляевъ? кинулся онъ къ Никольскому, который вбѣжалъ запыхавшись, и за нимъ маленькій Вася Ждановъ:—гдѣ твой братъ?

— Чай пьетъ, отвѣчалъ Никольскій.

— Да что-жъ вы ихъ не привели съ собой?

— Какъ же, приведешь «большого съ баками»! Я было тащилъ Бѣляева, почти до угла довелъ, а онъ повернулся, да и назадъ.

— Ну, закутила бурса! вскричалъ регентъ: — кто по гостямъ, кто гдѣ... Евфратовъ куда дѣвался, не знаетъ ли кто? Кажется, онъ ужъ никакой компаніи не посѣщаетъ.

— Онъ, какъ обѣдни отошли, уѣхалъ съ воздвиженскимъ дьячкомъ на челнокѣ рыбу ловить, отвѣчалъ Вася: — и меня съ собой звали.

— Тебѣ бы еще отправиться!... Тутъ не придумаешь, что и дѣлать!

— Давайте пѣть, Ѳедоръ Михайлычъ, сказалъ Ивановскій:—какъ нибудь сладимъ; а то завтра до самого отъѣзда придется твердить, собраться не успѣемъ.

Ивановскій боялся, что и завтра утромъ не успѣетъ слетать къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ; поѣздка должна была продолжаться дней пять, а онъ и такъ давно не видалъ Лизаветы Дмитріевны.

— Маленькіе у васъ всѣ на-лицо; вотъ вамъ еще тенора Примогеновъ, Гіацинтовъ, а Свѣтловъ споетъ за октаву, продолжалъ Ивановскій, стараясь успокоить регента и увидя еще двухъ входящихъ товарищей.

— Да, Христа ради, разбудите вы мнѣ Троицкаго! вскричалъ регентъ: — безсонница у человѣка: залегъ отъ поздней обѣдни и до всенощной! Хоть папиросочкой его поманите, авось поднимется...

Ивановскій отправился за Троицкимъ въ его коморку и привелъ его.

У регента отлегло отъ сердца, а пѣніе началось и продолжалось до поздняго вечера.

Ивановскаго это заняло и развлекло. Скучный день нагналъ было на него смутныя мысли, какое-то предчувствіе отдаленнаго безпокойства, какой-то страхъ чего-то неизвѣстнаго, словомъ, непріятное чувство, какого Ивановскій не зналъ въ эти счастливые дни. Пѣніе — занятіе, которое онъ любилъ, помогло ему разсѣяться. Засыпая, онъ опять былъ покоенъ; опять ему мерещилось что-то хорошее; онъ съ удовольствіемъ думалъ, что будетъ въ деревнѣ, подышетъ чистымъ воздухомъ, что онъ пойдетъ завтра увѣдомить объ этой поѣздкѣ Лизавету Дмитріевну...

На другой день, съ утра, между пѣвчими начались волненія; молодые люди снаряжались, укладывались, сбирались въ дорогу. Регентъ, чѣмъ свѣтъ, принялся учить маленькихъ, и наконецъ, собравъ весь хоръ, три часа «проморилъ на спѣвкѣ», какъ выразился даже терпѣливый Маргаритинъ. Лампадинъ, который у какихъ-то знакомыхъ заказалъ накрахмалить себѣ необыкновенные рукава и манишку со складками и порывался сбѣгать о нихъ навѣдаться, громко негодовалъ на деспотизмъ начальника. Ивановскій молчалъ: онъ зналъ, что къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ нельзя идти раньше полудня, и потому, просто, рѣшился не обѣдать. Пока другіе садились за столъ, онъ сказалъ, что идетъ къ своимъ, и зашагалъ по площади.

У Лизаветы Дмитріевны сидѣлъ Аницкій. Ивановскій нисколько не оробѣлъ, узнавъ это, напротивъ, ему еще сильнѣе вспомнились слова Лизаветы Дмитріевны, и онъ вошелъ спокойно и развязно. Онъ былъ ловокъ и догадливъ — два качества: одно физическое, другое нравственное, изъ которыхъ образуется свѣтскій тактъ. Поклонясь хозяйкѣ, Ивановскій поклонился и Аницкому, но умѣлъ выразить, что дѣлаетъ это не изъ подобострастія къ «аристократу», не изъ дерзки-фамильярнаго желанія набиться на знакомство, а потому, что въ другой разъ встрѣчается съ нимъ въ этой гостиной и считаетъ обязанностью помнить, съ кѣмъ онъ здѣсь встрѣчался. Этотъ поклонъ былъ исполненъ такъ удачно, такъ порядочно, что Аницкій невольно отвѣчалъ самымъ внимательнымъ поклономъ, совершенно забывъ, что кланяется семинаристу, а не человѣку своего круга. Это сдѣлалось такъ скоро, что Аницкому стало досадно. Послѣ такого поклона, какой онъ имѣлъ неосторожность сдѣлать, было уже невозможно смотрѣть на семинариста, какъ будто спрашивая, кто онъ и зачѣмъ здѣсь, или не замѣчать его вовсе.

«Мальчишка оперился», думалъ Аницкій, посматривая на Ивановскаго, когда тотъ разсказывалъ Лизаветѣ Дмитріевнѣ, что преосвященный ѣдетъ освящать церковь и они съ нимъ.

— Далеко ли? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Верстъ сорокъ. Жаль, что не дальше. Мы всѣ рады, особенно я радъ хоть на нѣсколько дней выѣхать изъ города: я лѣтъ пять изъ него не выѣзжалъ. Для насъ, пѣвчихъ, никогда нѣтъ вакацій. Отдохнемъ отъ всего, и отъ приготовленій къ экзамену.

— А вы сильно приготовляетесь?

— Нѣтъ... Ахъ, какой концертъ мы разучиваемъ! отвѣчалъ онъ:—регенту прислали новый изъ Петербурга. Вы вообразить себѣ не можете: равняется съ лучшими Бортнянскаго! Зато, какъ мы его и учимъ! Всякій день три часа классъ. Многіе изъ товарищей, которые очень хлопочатъ объ экзаменѣ, даже соскучились. Забавно видѣть: иной разложитъ свои книги, хочетъ заняться... регентъ его подъ руки и тащитъ пѣть; иногда и я ему помогаю... Мнѣ ни разучивать, ни повторять не скучно. Ахъ, что за концертъ!

— Скоро мы его услышимъ? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Мы совсѣмъ было его приготовили, еще въ прошлое воскресенье, спѣвались у себя... вдругъ не понравилось Ѳедору Михайлычу: не то, не такъ идетъ andante. Разсердился, разстроился, изъ дома не выходилъ все воскресенье и цѣлый день мучился, училъ маленькихъ.

— Вашъ регентъ артистъ, сказалъ Аницкій.

— Да... Онъ особенно изобрѣтателенъ ловить голоса себѣ въ хоръ, прибавилъ Ивановскій.

— Какъ «ловить голоса»?

— Наши студенты скрываютъ свои голоса; отцы вообще не любятъ, чтобъ дѣти были въ пѣвчихъ: говорятъ, пѣвчіе слабѣе идутъ по классамъ... Я служу печальнымъ доказательствомъ этой истины.

— Вы тоже артистъ, сказала Лизавета Дмитріевна.

— Но что-жъ дѣлаетъ вашъ регентъ? спросилъ Аницкій:—это любопытныя черты семинарскихъ нравовъ...

— Ученики живутъ на квартирахъ; теперь лѣтнее время, они часто поютъ по вечерамъ гдѣ нибудь на дворѣ у себя, въ огородѣ. Регентъ провѣдаетъ, или кто нибудь донесетъ ему, проговорится—онъ отправится попозже, притаится у забора и слушаетъ, подмѣтитъ голосъ, скажетъ отцу-инспектору и возьметъ въ хоръ. Онъ такъ двоихъ поймалъ на прошлой недѣлѣ.

— Точно птицъ! сказала Лизавета Дмитріевна, смѣясь, что очень радовало Ивановскаго.

— Надо же ему чѣмъ нибудь себя утѣшать! продолжалъ Ивановскій:—онъ въ отчаяніи, что многимъ изъ насъ уже недолго съ нимъ оставаться. Но онъ досталъ себѣ утѣшеніе, въ самомъ дѣлѣ птицу какую-то, сопрано, отъ земли не видно, лѣтъ семи, и чудо что за голосъ! Два регента, нашъ и семинарскій, за него спорили до ссоры; одинъ къ себѣ, другой къ себѣ хотѣлъ его взять; нашъ одержалъ побѣду, поставилъ себѣ мальчика подъ-руку, тактъ на немъ считаетъ... Онъ у него подъ рукой не выростетъ.

— И ужъ поетъ? спросилъ Аницкій.

— Нѣтъ еще, но къ концу вакаціи будетъ пѣть. У насъ это скоро дѣлается...

Ивановскій говорилъ, сколько удовольствія онъ ждетъ отъ своей поѣздки, какъ ему давно хотѣлось въ лѣса и луга; безъ малѣйшаго смущенія смѣялся, какъ тѣсно будетъ сидѣть въ тарантасѣ, и т. п. Онъ сказалъ, возвращая Лизаветѣ Дмитріевнѣ ея книги и благодаря за нихъ, что чтеніе путешествія еще больше прибавило ему охоты прокатиться куда нибудь, что послѣ стараго сырого жилья и каменныхъ стѣнъ архіерейскаго двора, всякое село Истобное покажется Италіею.

— И еще праздникъ въ перспективѣ! замѣтилъ Аницкій, которому развязность пѣвчаго не нравилась, именно потому, что осудить въ ней было нечего.

— Мы не гости на этомъ праздникѣ, хладнокровно возразилъ Ивановскій:—мы споемъ и пойдемъ бродить по селу, въ поле. А пѣть придется ужасно много: всенощную съ вечера, на другой день освященіе, обѣдню, молебенъ, свадьбу...

— Какую, чью свадьбу?

Ивановскій объяснилъ, что у многихъ, а въ томъ числѣ у помѣщика села Истобнаго, есть «замѣчаніе» обновить церковь этимъ веселымъ обрядомъ, и потому 30-го іюня въ новой церкви будетъ крестьянская свадьба, нарочно сосватанная къ этому дню.

— Веселый обрядъ!.. сказалъ насмѣшливо Аницкій: — схватили двухъ бѣдняковъ и велѣли имъ жениться, какъ это всегда дѣлается для выгодъ помѣщика. По крайней мѣрѣ, повѣнчаются съ архіерейскими пѣвчими — и то утѣшеніе!.. Какое же это «замѣчаніе?» я не понялъ. Кажется, всякій благочестивый храмостроитель боится, что его перваго отпоютъ въ его церкви, что его пристукнетъ тѣмъ же годомъ, какъ онъ ее достроитъ?

— Да, отвѣчалъ Ивановскій:—есть и это повѣрье.

— Въ силу чего же пристукнетъ? Въ награду за доброе дѣло?

— Кто знаетъ, какъ эти люди себѣ объясняютъ! отвѣчалъ Ивановскій, разсмѣявшись.

— Но вы изучали эти тонкости; потрудитесь объяснить, какъ вы понимаете. Повѣрье наслѣдственное ведется отъ вѣка между почтенными людьми...

— Что-жъ, есть и наслѣдственное сумасшествіе! возразилъ Ивановскій, смѣло и весело:—мало ли сколько ихъ на свѣтѣ! Есть предразсудки еще забавнѣе этого.

Онъ всталъ, очень свободно прерывая разговоръ и извиняясь тѣмъ, что его ждутъ ѣхать. Лизавета Дмитріевна пожелала ему счастливаго пути и удовольствія. Ивановскій чуть не сказалъ въ отвѣтъ, что его первая молитва въ новой церкви будетъ за нее, но удержался, вспомнивъ, что тутъ Аницкій, и только проговорилъ тихими, ровными нотами, краснѣя отъ восхищенія:

— Благодарю васъ за доброе желаніе.

Въ послѣднее время Аницкій началъ «заниматься» Лизаветой Дмитріевной не потому, конечно, что вдругъ полюбилъ ее, а потому, что почувствовалъ себя ужъ слишкомъ давно ничѣмъ незанятымъ. Семинаристъ назвалъ бы это чувство «страхомъ пустоты», horror vacui; Аницкій никакъ его не называлъ: онъ выражалъ его, проводя время по утрамъ у Лизаветы Дмитріевны, подлѣ ея пялецъ, молча, или лѣниво говоря самый незначащій свѣтскій вздоръ, и почему-то воображая, что эти свиданія даютъ право на интимность.

— Сейчасъ вамъ насплетничаю! вскричалъ онъ, когда ушелъ Ивановскій:—по милости этого пѣвца, вы лишились одной знакомой.

— Какъ это?

— Сердитая madame Лохова. Помните, при ней приходилъ этотъ... и былъ еще споръ о левитахъ. Съ тѣхъ поръ она не была у васъ?

— Не была.

— А вы у нея?

— Была, но меня не приняли.

— Надняхъ, не помню кто, спрашиваетъ ее о васъ при мнѣ. Она закусила губки, потупила глазки и тихо сказала: «я туда не ѣзжу...» Вы знаете, что я не выдумываю.

— Ахъ, какъ она смѣшна! вскричала Лизавета Дмитріевна, разсмѣявшись отъ души.

— А вы зачѣмъ идете наперекоръ общественному мнѣнію? сказалъ Аницкій, смѣясь тоже.

— Я имѣю привычку не обращать на него вниманія, когда оно нелѣпо...

XI.

Для N-ской семинаріи наступало страшное и торжественное время: экзамены старшаго богословскаго класса, готовящагося къ выпуску. За нѣсколько дней передъ тѣмъ всей семинаріи былъ данъ одинъ вакантный день, не въ праздникъ. Лѣтомъ такіе вакантные дни даются время отъ времени. По старинному обычаю, наканунѣ, регентъ семинарскаго хора собираетъ маленькихъ, поющихъ и непоющихъ, человѣкъ тридцать, и отправляется съ ними къ отцу-ректору; остановясь у двери, они спрашиваютъ позволеніе войти, и всегда допускаются; тогда они поютъ отцу-ректору хоромъ латинскую пѣсню, гдѣ просятъ у pater carissime рекреаціи для себя и для старшихъ. Рекреація дана, и на слѣдующій день (обыкновенно выбирается день самаго труднаго класса) на всѣхъ N-скихъ улицахъ можно встрѣтить семинаристовъ. Знакомствъ у нихъ немного: они спѣшатъ обдѣлать свои маленькія дѣла и, просто, отдохнуть, пробѣгаться, что равно нужно для большого и маленькаго, и чему большіе рады не меньше маленькихъ. Они отправляются въ луга, въ ближнія рощи, въ монастырь, лежащій за рѣкой; для однихъ это прогулка, для другихъ богомолье, чтобъ благополучно сошли экзамены,—для всѣхъ шумно, свободно проведенный день. Меньшіе устроиваютъ громадную игру въ бабки на дворѣ маленькой семинаріи. Еще не такъ давно, за нѣсколько лѣтъ, въ этой игрѣ участвовали не только старшіе, но и профессора; теперь этотъ обычай вывелся.

Экзамены начались. Преосвященный всякій день пріѣзжаетъ въ семинарію; всякій день въ богословскомъ классѣ повторяется сцена, которая мерещилась Ивановскому; озабоченные и утомленные богословы выходятъ изъ класса часомъ позже и даже, глядя, какъ они толпами идутъ по улицѣ, незамѣтно въ нихъ той веселой отваги, той ученической беззаботности, которая оживляла ихъ наканунѣ начала экзаменовъ. Всѣ какъ будто еще яснѣе сознали важность дѣла, котораго заранѣе трепетали. Въ семинарскомъ саду, небольшомъ, но густомъ, въ каждомъ уголку, въ тѣни каменной стѣны, подъ каждымъ кустомъ слышится гулъ и жужжаніе: тамъ таятся семинаристы, твердя уроки. Многіе устроили себѣ ложе изъ сѣна подъ развѣсистымъ склономъ акацій, залегли и занимаются отъ обѣда даже до ночи. Стонъ стоитъ надъ садомъ, какъ на огромномъ пчельникѣ. Еще болѣе озабоченныя лица являются и бродятъ около семинаріи: это отцы, пріѣхавшіе изъ деревень провѣдать дѣтей и справиться, чѣмъ ихъ Господь обрадуетъ. Они отличаются отъ городскихъ отцовъ ветхостью одежды и сумрачнымъ или смиренно запущеннымъ видомъ. Богъ знаетъ, кто болѣе трепещетъ: они или сыновья; сыновьямъ, по крайней мѣрѣ, нѣтъ столько хлопотъ: сыновья должны только твердить и «готовиться», а отцы ходятъ сбирать слухи, умолять—отцы заботятся о будущемъ. Замѣчательно, что къ выпуску семинариста отецъ никогда не готовитъ ему обмундировки, какъ дѣлаютъ это родители всѣхъ дѣтей, учащихся во всѣхъ заведеніяхъ: почти всегда лучшая, единственная мечта родителей семинариста, чтобъ сынъ скорѣе промѣнялъ свой сюртукъ на рясу, или хотя на дьячковское полукафтанье... Для многихъ сыновей пріѣздъ отцовъ увеличиваетъ ужасъ экзамена: семинаристъ боялся своего незнанія, боялся профессоровъ, боялся всегда пугающей обстановки экзаменовъ; теперь, ко всему этому прибавился еще страхъ присутствующей родительской власти, то странное, всѣмъ врожденное чувство, которое въ рѣшительныя минуты заставляетъ болѣе робѣть и смущаться въ присутствіи родныхъ, вѣчно недовѣряющихъ нашимъ силамъ, нежели въ присутствіи постороннихъ, которымъ до насъ нѣтъ дѣла. Отцы не допускаются въ залу, гдѣ происходятъ экзамены, но они слѣдятъ за дѣтьми; нерѣдко, поймавъ сына, идущаго подъ вечеръ отдохнуть къ товарищу, отецъ заставляетъ его повторить все, что его спрашивали поутру, свидѣтельствуетъ книги, завязанныя въ узелокъ, который семинаристъ почти всегда тащитъ съ собою, и, разложивъ ихъ на тумбѣ тротуара, спрашиваетъ и поучаетъ; отецъ давно живетъ въ селѣ; онъ не знаетъ, что такъ въ городѣ не дѣлается, да еслибъ и зналъ, онъ, отецъ богослова, считаетъ себя выше

этихъ «свѣтскихъ условій», которымъ легкомысленный сынъ его такъ и рвется подчиниться, пока, взявъ мѣсто, самъ не станетъ такимъ же. Самая рѣчь отца отзывается какимъ-то библейскимъ величіемъ.

— На него счетъ представили, три цѣлковыхъ, говорилъ своему знакомому, идя съ нимъ по улицѣ, отецъ Свѣтлова: — но я сына не посрамилъ: внесъ.

Съ недѣлю продолжаются эти волненія; но экзамены кончены и правленіе семинаріи уже отослало въ губернскую типографію печатать билеты, которыми «почтеннѣйше приглашаетъ любителей духовнаго образованія удостоить своимъ посѣщеніемъ публичное испытаніе учениковъ N-ской семинаріи, имѣющее быть 10-іюля 1854 года въ 9 часовъ утра».

«Публичное испытаніе», или актъ, уже нестрашно: это, просто, торжество съ пѣніемъ, чтеніями рѣчей и стиховъ, съ раздачею наградъ и съ немногими вопросами по всѣмъ наукамъ. Къ нему не готовятся даже и пѣвчіе, потому что давно вытвердили два-три канта и «Тебѣ, Бога, хвалимъ», которые поются ими всегда и на всѣхъ публичныхъ испытаніяхъ. Только ученики, которымъ назначено читать свои сочиненія въ прозѣ и стихахъ, учатся, какъ прочесть внятнѣе и лучше. Актъ — торжество не однихъ выпускныхъ учениковъ, но всей семинаріи, и потому для чтенія на немъ выбираются сочиненія учениковъ средняго и даже меньшаго отдѣленія, чтобъ показать успѣхи всѣхъ классовъ; читаются иногда и богословскія серьезныя разсужденія, но весьма рѣдко.

Сочиненія учениковъ средняго отдѣленія. философовъ—небольшія тетрадки въ четвертку, написанныя на заданныя темы и украшенныя всѣми возможными цвѣтами краснорѣчія, были собраны у профессора Павла Захаровича. Надо было все пересмотрѣть, исправить, еще украсить. Профессоръ трудился болѣе недѣли. Конечно, для публичнаго чтенія были выбраны весьма немногія, но надо было прочесть всѣ; десятокъ сочиненій на одну тему, почти въ однихъ выраженіяхъ, съ одними и тѣми же метафорами и уподобленіями, сбилъ бы съ толку многихъ судей, но не сбивалъ Павла Захаровича. Онъ утомлялся только физически. За новой, и еще менѣе за сильной мыслью онъ не гнался. Написано было правильно, сказано было, что есть. Напримѣръ: «неблагодарность есть порокъ» — дѣло ясное, какъ іюньскій день, развивать мысли нечего, а украсить ее можно: лучше выйдетъ и пространнѣе; не въ трехъ же словахъ такъ и отрѣзать! Павелъ Захаровичъ могъ бы замѣтить общее направленіе: изъ явленій природы выбирать для описанія самыя разрушительныя; ему встрѣтилась всего только одна «кроткая весна», которую вольнодумецъ авторъ, начитавшійся новѣйшихъ произведеній литературы, осмѣлился назвать «благоухающею». Павелъ Захаровичъ, конечно, уничтожилъ этотъ эпитетъ, какъ неприличный, потому что всякому качеству предполагается другое, противоположное качество. Нововведеніями подобнаго рода отличались въ особенности сотрудники журнала; зато ихъ произведенія и не были въ большой милости у профессора: въ рамку заданной темы, которая ихъ стѣсняла, они всегда какъ-то ухищрялись ввертывать что нибудь несообразное, и откуда бралось это—Павелъ Захаровичъ недоумѣвалъ.

Онъ съ нѣкоторымъ негодованіемъ ставилъ кресты на сочиненіи Никольскаго, въ которомъ этотъ юноша писалъ «сѣнокосъ», вмѣсто «мирное занятіе поселянъ», и даже два раза напрямки помянулъ «бабу». Вошелъ Зарѣчинскій, жившій у него на квартирѣ.

— Что, батюшка Александръ Матвѣичъ, спросилъ профессоръ: — далъ ли Господь успѣху?

— Конечно, отвѣчалъ Зарѣчинскій: — княгиня сдѣлала то, о чемъ давно говорила.

— Дала письмо?

Зарѣчинскій, не отвѣчая, досталъ изъ кармана большой пакетъ.

— Вотъ оно! вскричалъ профессоръ: — пошли ей Господь многи лѣта! Вотъ доброта-то истинная, душевная! Покажите-ка мнѣ поближе, хоть прикоснуться-то!

Онъ съ дѣтской радостью повертывалъ и разсматривалъ атласистый конвертъ, аристократическую печать и надпись, сдѣланную некрасивымъ почеркомъ рукою старухи.

— Сама матушка трудилась, даже надписывала — вотъ какъ! «Его.... и разныхъ орденовъ кавалеру». Подлинно, вотъ онъ, ключъ, всѣ двери отверзающій. Кажется, что бы такое письмо? невелико вмѣстилище, а участь человѣка въ немъ заключается... и подумаешь! Полюбопытствовалъ бы узнать, что тамъ изображено, какъ выражается она, молитъ призрѣть и не оставить милосердіемъ своимъ отеческимъ, соблюсти отъ соблазна...

Зарѣчинскій, не слушая, снималъ пер-

чатки и бросилъ на столъ еще два пакета, меньшаго размѣра, но такіе же щегольскіе, какъ первый.

— Это что? вскричалъ профессоръ, хватаясь за нихъ: — и это она все вамъ надавала? «Ея сіятельству...» «Ея превосходительству...» Фу, ты подумаешь! Кто же это такія?

— Одна—ея дочь, другая—ея пріятельница.

— Пріятельница, видите, другъ, должно быть, съ кѣмъ она душа въ душу, то есть ничего сокровеннаго не имѣетъ. Это она васъ ей рекомендуетъ?

— Да.

— Случилось мнѣ, удостоился я однажды слышать имя это... Почтенная дама, отъ суеты мірской уже все отложше. Подлинно, матерински княгиня о васъ заботится, чтобъ сирымъ и одинокимъ вамъ въ столицѣ не остаться, пріютъ найти, не оскудѣть... Душа-то у нея, Господи, какая!

— Пріютъ у меня и свой будетъ въ Петербургѣ, а помощь мнѣ ненужна, сказалъ очень хладнокровно Зарѣчинскій.

— А дочери она что же пишетъ? спросилъ профессоръ, вдругъ почему-то немного оробѣвъ:—порученія вамъ къ ней даетъ, что ли?

— Нѣтъ, это просто нѣсколько словъ, чтобъ я могъ ей представиться, бывать у нея въ домѣ, отвѣчалъ Зарѣчинскій.

— Видите, какъ возвеличила: въ домѣ бывать, въ семействѣ ея!

— Да; тамъ я могу познакомиться со многими, кто мнѣ можетъ быть нуженъ; у нея бываетъ большое общество.

— Въ компанію-то ихъ, въ генеральскій домъ!.. Подлинно, вотъ блаженство высокое, не здѣшнее! Общество ихъ! Все, я думаю, звѣзды, украшенія. Вѣдь если достигъ человѣкъ, что возвеличили, то добродѣтелями своими достигъ, отечеству заслужилъ... Счастье вамъ, батюшка Александръ Матвѣичъ, что съ такими людьми будете, и вамъ самимъ почести, слава... Насъ не забудьте тогда, недостойныхъ!

Зарѣчинскій открылъ шкатулку и положилъ письма.

— Вы ихъ въ бумажку заверните, сказалъ профессоръ, между тѣмъ какъ Зарѣчинскій уже щелкнулъ ключомъ. — Путь вашъ, батюшка, предстательство сильныхъ земли...

Зарѣчинскій немного улыбнулся.

— Года на два, что-жъ, мнѣ еще пригодится покровительство этихъ сильныхъ земли, сказалъ онъ: — а тамъ я не очень въ немъ буду нуждаться.

Профессоръ повѣсилъ голову.

— Возлетите на своихъ крылахъ... сказалъ онъ послѣ минутнаго раздумья.— Нынѣ, продолжалъ онъ:—позвалъ меня отецъ-ректоръ, читали тетрадки, стихи нашего Ѳеди, знаете, прощальные?

— Знаю, сказалъ Зарѣчинскій.

— Отецъ-ректоръ умиленъ былъ, да и я, признаться, не выдержалъ. Ѳедя ихъ тогда въ классѣ читалъ—помните? ну, а тутъ мы съ отцомъ-ректоромъ пораздумались, свое старое припомнили. Истинно, вся жизнь впереди, съ тяготами, Господи, Господи!.. Вѣдь онъ васъ любитъ, отецъ-ректоръ, ему вы всѣ все равно какъ бы дѣти; самъ онъ нужду зналъ, о всѣхъ душой болѣетъ. И боится за васъ, трепещетъ: вы ему Богомъ были поручены; наставлялъ, воспиталъ, а тамъ что предстоитъ, какія искушенія, отъ злобы ли человѣческой, или отъ обстоятельствъ, или отъ своей собственной суеты и гордости...

Зарѣчинскій ничего не сказалъ. Профессоръ какъ будто сконфузился.

— Хорошо Ѳедя чувства свои выразилъ, прибавилъ онъ.

— Неужели его стихи читать станутъ? сказалъ Зарѣчинскій:—у него ни на волосъ дарованія; женской рифмы отъ мужской не отличитъ.

— И, батюшка, какой строгій! возразилъ профессоръ, повеселѣвъ самъ не зная отчего: — захотѣлъ дарованія отъ бурсака! Его отецъ въ лаптяхъ ходитъ, пономарь, сами знаете, сельскій, а самъ онъ весь курсъ не знаю чѣмъ питался. Гдѣ ему чтò постичь?.. Что вы смотрите, тетрадки эти? Самъ читаетъ, самъ улыбается. Что-жъ? вѣдь это дѣти вовсе, среднее отдѣленіе...

Зарѣчинскому попалась тетрадь редактора журнала; журналъ былъ тайна, и Зарѣчинскаго заинтересовало сочиненіе именно потому, что онъ зналъ тайну. Въ немъ шевельнулось какое-то предубѣжденіе, какое-то чувство отрицанія. Все, что было въ немъ сухихъ и непрощающихъ понятій, поднялось и стало настороже.

— О-о, какія идеи! проговорилъ онъ съ своей сдержанной улыбкой, всегда какъ-то странной на его молодомъ лицѣ: — будущій богословъ отличается!

— Кто? спросилъ профессоръ.

— Спасскій.

— Все вообще, объ обязанностяхъ. Вотъ, особенно...

Зарѣчинскій прочелъ:

«Мало, если человѣкъ исполняетъ обязанности, возложенныя на него для пользы его ближнихъ такъ, какъ исполняютъ ихъ другіе, большею частью нерадивые или заботящіеся только о себѣ, чему мы видимъ многіе примѣры»...

— Онъ, вѣроятно, знаетъ свѣтъ, замѣтилъ Зарѣчинскій.

«Мало, если онъ исполняетъ ихъ лучше, мало даже, если онъ хорошо ихъ исполняетъ, какъ ему предписано и установлено правилами. Его высокій долгъ, какъ человѣка мыслящаго, изыскивать далѣе, и, обсудивъ предметъ со всѣхъ сторонъ, стараться найти для блага ближнихъ, какъ нравственнаго, такъ и положительнаго, новыя мѣры, новые способы, неусмотрѣнные его предшественниками, или съ теченіемъ времени сдѣлавшіеся необходимыми»...

— Законодатель! сказалъ Зарѣчинскій.

«Довольствоваться только тѣмъ, что сдѣлано прежде насъ, значитъ, быть подобно животнымъ, которыя посему и зовутся безсмысленными. Въ предупрежденіе сего необходимо, чтобъ и самая мысль человѣка старалась расширять полетъ свой, не прилѣпляясь къ понятіямъ, внушеннымъ ей съ дѣтства, если, при тщательномъ размышленіи, эти понятія окажутся ложными; но, напротивъ, она должна, отклонивъ ихъ, не обращаться къ нимъ болѣе»...

— Вы это уже читали? спросилъ Зарѣчинскій профессора, недоумѣвавшаго, что особеннаго находитъ въ этихъ строкахъ ученикъ его.

— Читалъ... Что это онъ написалъ?

— Да растолкуйте ему! сказалъ серьезно Зарѣчинскій, выказывая совершенную увѣренность, что профессоръ отлично растолкуетъ.

— Нѣтъ, знаете... ужъ лучше вы ему скажите: вы товарищъ.

— Я его почти не знаю, возразилъ холодно Зарѣчинскій.

— Такъ я, знаете, ужъ лучше ничего не скажу, не обличу его. А вотъ, поставлю крестъ на всемъ, не велю совсѣмъ писать— и только.

— И лучше всего, отвѣчалъ Зарѣчинскій: — они воображаютъ себя Богъ знаетъ чѣмъ, набиваютъ себѣ голову... .

Профессоръ былъ окончательно затрудненъ: Зарѣчинскій заставилъ его что-то заподозрить въ невинныхъ тетрадкахъ и не облегчилъ дѣла ни совѣтомъ, ни помощью. Профессоръ надѣялся было, и даже слегка выразилъ надежду, что ученикъ, краса всего курса, первый изъ перваго разряда, поможетъ ему разобраться въ этой утомительной работѣ, прочтетъ, поправитъ что нибудь; но Зарѣчинскій, и прежде всегда державшійся съ большимъ достоинствомъ, сдѣлался какъ-то еще недоступнѣе, такъ что профессоръ ужъ не только не повторилъ намека о помощи, но вообще затруднился заговорить о чемъ бы то ни было.

Наступилъ день «публичнаго испытанія». Зданіе N-ской семинаріи, снаружи очень красивое, внутри далеко не роскошно. Широкая чугунная лѣстница ведетъ прямо въ корридоръ, который тянется во всю длину дома, освѣщенъ только двумя окнами на концахъ и вымощенъ чугуномъ, отчего въ немъ всегда темно, а зимой нестерпимо холодно. Темнота придаетъ ему строгій видъ монастыря; въ холодѣ съ нимъ соперничаютъ классныя залы, гдѣ въ прежнее время профессора и ученики сидѣли въ шубахъ, въ тулупахъ, въ шинеляхъ, гдѣ отъ сырости и угара бывало зелено въ глазахъ. Для акта отворяется особая парадная зала, немного просторнѣе, но нисколько не богаче классныхъ залъ, съ той только разницей, что въ ней каждый простѣнокъ расписанъ фресками, къ счастью, не совсѣмъ плохими. Окна обращены на улицу. Для торжественнаго дня, одинъ изъ учителей всегда присылаетъ нѣсколько прекрасныхъ олеандровыхъ и миртовыхъ деревьевъ, выращенныхъ его заботами; онъ и жена его прежде, нежели сберутся посѣтители, хлопочатъ, разставляя и укрѣпляя эти деревья на окнахъ. Зала высока; это одно спасеніе отъ жара и полдневнаго солнца, которые очень безпокоятъ посѣтителей и, вмѣстѣ съ шумомъ улицы, развлекаютъ вниманіе. Болѣе половины залы занято скамьями для учениковъ; потомъ поставленъ большой столъ съ книгами для наградъ, аттестатами, рисунками, чертежами и тетрадками сочиненій. Затѣмъ слѣдуютъ ряды креселъ для посѣтителей. Хотя приглашенія посылаются всему городу, но посѣтителей всегда бываетъ немного. Посѣтители большею частію мелкіе чиновники и ихъ семейства, родственники учениковъ, духовныя лица и городскія власти, въ мундирахъ. Преосвященный пріѣзжаетъ рано; отецъ-ректоръ и другіе начальники семинаріи встрѣчаютъ его на лѣстницѣ. Войдя въ залу, онъ занимаетъ свое мѣсто, въ срединѣ перваго ряда въ креслахъ, предъ столомъ, и актъ начинается точно такъ же, какъ экзаменъ въ классахъ, съ той разницей, что мо-

литву поютъ уже не всѣ ученики, а только пѣвчіе.

Такъ начался и актъ 10-го іюля 1854 года. Пѣвчіе, оба хора, архіерейскій и семинарскій, какъ это заведено, не сидѣли на скамьяхъ съ товарищами, потому что изъ пѣвчихъ никого не вызываютъ на публичномъ актѣ, но стояли толпой въ простѣнкѣ между двумя окнами: больше не было и мѣста въ залѣ. Когда, послѣ пѣнія молитвы, всѣ сѣли — преосвященный, ученики и посѣтители — и начались вопросы, нѣкоторые пѣвчіе тоже сѣли на окна, подъ тѣнь олеандровъ.

Изъ числа позволившихъ себѣ эту вольность, былъ, конечно, Ивановскій. Солнце пропекало ему плечи сквозь оливковое пальто. Слушать, что отвѣчали товарищи, было невозможно за смѣшаннымъ шумомъ, да и незанимательно; гораздо занимательнѣе было смотрѣть на посѣтителей и сообщать свои замѣчанія товарищамъ-пѣвчимъ. Время отъ времени у многихъ приходила мысль, что это ихъ послѣднія минуты вмѣстѣ, въ семинаріи; эта мысль мелькала и у Ивановскаго; было жаль чего-то и весело; что-то казалось милѣе; на многое смотрѣлось свободнѣе. Ивановскій примѣтилъ въ числѣ посѣтительницъ хорошенькую Машеньку, сестру Бѣляева, и зная отъ своей сестры, что Машенька не совсѣмъ къ нему равнодушна, очень развязно поклонился ей, чего никакъ не сдѣлалъ бы прежде, подчиняяясь строгости условій ея круга и горестной мысли, что онъ самъ ученикъ и въ зависимости. Мысль о свободѣ привела множество другихъ пріятно тревожныхъ мечтаній.

Посѣтители тоже, какъ водится, больше занимались собой, нежели экзаменомъ; для большей части серьезные вопросы были непонятны, остальное скучно. Всѣ сошлись, потому что «праздникъ, будетъ много народа, будутъ пѣть», и въ самомъ дѣлѣ становились внимательнѣе, когда, въ промежуткахъ перехода отъ одного предмета къ другому, пѣвчіе пѣли «Коль славенъ» и патріотическую кантату. Важныя лица, власти, въ мундирахъ, слушали серьезно, но какъ люди свѣтскіе, позволяли себѣ разговоръ вполголоса съ немногими дамами высшаго круга, по обыкновенію, пріѣхавшими поздно, къ большому затрудненію распорядителей-профессоровъ, которые съ трудомъ находили имъ мѣста впереди, вносили кресла, ставили ихъ какъ можно ближе къ столу, отчего въ такомъ чинномъ засѣданіи образовался довольно оригинальный безпорядокъ и пестрота; пунцовыя ленты и вѣтки розъ на шляпкахъ явились рядомъ съ черными крепомъ. Надѣлавъ шуму своимъ входомъ, эти дамы потомъ держались особенно серьезно и чинно. Онѣ молчали, улыбаясь, говорили тихо съ важными господами, очень рѣдко между собою, нюхали букеты цвѣтовъ и повременамъ обращали глубочайшее вниманіе на вопросы профессоровъ и отвѣты учениковъ.

Не такъ поступали истинныя любительницы просвѣщенія, занимавшія второй рядъ креселъ, пришедшія рано, компаніями, успѣвшія до пріѣзда преосвященнаго поклониться всѣмъ законоучителямъ и спросить о здоровьи всѣхъ профессоровъ. Эти любительницы просвѣщенія всѣ запаслись программами испытанія; нѣкоторыя употребляли ихъ вмѣсто вѣеровъ, другія заглядывали въ нихъ время отъ времени, но «испытанія» не слушала ни одна: съ перваго слова о догматикѣ, которое произнесъ Слободской, отвѣчая на вынутый билетъ, эти дамы заговорили между собою такъ оживленно, такъ усердно, что позади ихъ, въ третьемъ ряду и далѣе, никто уже не слышалъ экзамена. Случалось, что какая нибудь изъ нихъ напоминала что-то о многоглаголаніи, но эта милая шутка служила только текстомъ для новаго разговора и наводила на новые разсказы. Эти дамы, казалось, были рады, что случай свелъ ихъ такъ удобно, всѣхъ вмѣстѣ, на общей родной почвѣ. Надо замѣтить, однако, что всѣ онѣ были нисколько не дружны одна съ другою, и что именно эта «родная почва» была причиной ихъ раздоровъ и несогласій. Нѣкоторыя именно здѣсь старались выказать свой образъ мыслей другъ другу и свое взаимное нерасположеніе. Такъ одна изъ нихъ, совмѣстница Варвары Сергѣевны, занимавшей самое видное мѣсто въ этомъ кружкѣ, въ продолженіе всего экзамена не обернулась ниразу въ ея сторону, рискуя ослѣпнуть отъ солнца, которое безпощадно свѣтило ей прямо въ лицо. Варвара Сергѣевна видѣла эти страданія и, съ улыбкой давъ его замѣтить двумъ своимъ «друзьямъ» (въ свою очередь посмѣявшимся надъ нею), старалась обратить на нее вниманіе проходившаго профессора. Но профессоръ былъ добрая душа и бывшій семинаристъ: онъ не понималъ такихъ тонкостей. Варвара Сергѣевна, очень нарядная, граціозно погружалась въ свое кресло и, повременамъ, въ безмолвіе: она сильно заботилась о хорошемъ тонѣ. Потому-то, увидя Зарѣчинскаго, вызваннаго отвѣчать, она не могла воздержаться отъ восклицанія вполголоса:

«Какой интересный молодой человѣкъ!»

На что другая дама, которая, для назиданія, привела на духовное торжество свою четырехлѣтнюю дочку, принялась было разсказывать Варварѣ Сергѣевнѣ полнѣйшую біографію Зарѣчинскаго; но Варвара Сергѣевна съ двухъ словъ остановила ее и доказала, что знаетъ ее лучше. Варвара Сергѣевна все знала. Ея недоброжелательница увѣряла тутъ же, что сама слышала, какъ до начала акта, встрѣтивъ у дверей залы семинарскаго регента, Варвара Сергѣевна сказала ему: «Вы нынче поете съ архіерейскими; смотрите у меня, не сбейтесь!» Она могла сказать это. Всѣ ученики, а пѣвчіе въ особенности, смотрѣли на этихъ дамъ вообще, и на Варвару Сергѣевну въ особенности, съ нѣкоторымъ страхомъ.

Къ концу акта, когда одинъ изъ учениковъ прочелъ прощальные стихи и отецъ-ректоръ сказалъ прощальное слово, въ самомъ дѣлѣ растроганный, посѣтители были тоже растроганы, сдѣлались внимательны. Всѣ подобныя торжества всегда оканчиваются умиленіемъ, неизвѣстно почему являющимся у людей, которые, за минуту назадъ и минуту спустя, были и дѣлаются совершенно равнодушными. Дамы всѣ казались тронутыми; одна весьма неблагообразная пожилая дѣвица заливалась горькими слезами во время рѣчи отца-ректора; другая дама, полная, живая, нарядная особа, поднимала глаза къ небу, повторяя: «О молодость, молодость!» Когда, вслѣдъ затѣмъ, Ивàновскій, Маргаритинъ, Лампадинъ и прочія знаменитости обоихъ хоровъ, соединенными силами грянули «Тебѣ, Бога, хвалимъ», нѣкоторыя деликатныя дамы зажали уши, восклицая, что это нестерпимо-громко.

За актомъ слѣдуетъ тотчасъ «прощальный» обѣдъ учениковъ. Преосвященный пошелъ благословить трапезу ихъ, а за нимъ отецъ-ректоръ пригласилъ посѣтителей и посѣтительницъ посмотрѣть заведеніе. Важные гости и нарядныя гостьи отправились внизъ, въ узкую, низкую и темную залу со сводами, которой маленькія окна, обращенныя въ садъ, были заслонены деревьями. Ученики были уже тамъ, на лавкахъ, за длинными столами, поставленными вокругъ стѣнъ; въ срединѣ залы небольшая каѳедра; на ней одинъ изъ учениковъ читалъ вслухъ духовную книгу; другой, дежурный, стоялъ подлѣ него. Столы были накрыты старыми толстыми скатертями, съ оловянными мисками, деревянными тарелками, деревянными ложками. Прощальный обѣдъ состоялъ изъ щей, варенаго мяса и каши; маленькіе зеленые огурцы катались по скатерти не въ большомъ изобиліи; отъ черпаго свѣжаго хлѣба еще шелъ паръ. Посѣтители очень радушно желали молодымъ людямъ хорошаго апетита и очень конфузили ихъ своимъ присутствіемъ. Это продолжалось недолго; подъ предлогомъ «не стѣснять ихъ», гости спѣшили удалиться отъ темноты, жара и запаха кухни, въ которую дверь была отворена настежь.

Они отправлялись посмотрѣть спальни — длинные ряды желѣзныхъ кроватей съ суконными одѣялами, и библіотеку, гдѣ каждый годъ на всѣхъ актахъ одинъ и тотъ же господинъ объяснялъ своимъ спутницамъ, однѣмъ и тѣмъ же дамамъ, устройство электрической машины...

Нѣкоторые изъ любительницъ духовнаго просвѣщенія отправились, вслѣдъ за женой отца-инспектора, въ его комнаты, поздравить его съ благополучнымъ окончаніемъ курса, съ наступившей двухмѣсячной вакаціей, и пожелать ему отдыха отъ трудовъ. Эта внимательность отняла у отца-инспектора полтора часа отдыха, въ которомъ онъ очень нуждался, захлопотавшись съ утра, и онъ не безъ радости проводилъ своихъ посѣтительницъ. Обѣдъ былъ давно конченъ, и ученики перебѣгали по корридору, прощаясь съ товарищами, забирая пожитки. Спускаясь съ лѣстницы, въ корридорѣ у окна, Варвара Сергѣевна увидѣла Ивàновскаго и Костина. Имъ вздумалось, на прощанье, посидѣть еще разъ на этомъ окнѣ, посмотрѣть на семинарскій дворъ.

— Мечтаете, молодые люди? спросила она, остановясь передъ ними. — Не безпокойтесь, не вставайте; вы уже не ученики, прибавила она, когда Костинъ, соскочивъ съ окна, крѣпко стукнулъ въ чугунный полъ каблуками. — Какое поприще вы думаете себѣ избрать?

— Въ медико-хирургическую академію, отвѣчалъ Костинъ.

— Прекрасно! Это тоже подвигъ для поданія помощи ближнему. Хотя вы не будете врачомъ души, но все же и въ самомъ свѣтѣ это такая карьера... Но вотъ вамъ, я понимаю, должно быть грустно, обратилась она къ Ивàновскому: — вы, какъ артистъ, понимаете свое назначеніе, а впереди у васъ такая проза... Вашъ батюшка, вѣроятно, позаботился поискать вамъ мѣсто? Съ вашимъ голосомъ васъ всякій образованный помѣщикъ пожелаетъ имѣть у себя.

— Я остаюсь въ хорѣ, прервалъ Ивàновскій, которому была противна эта барыня.

— Да, но впослѣдствіи... Я подамъ вамъ дружескій совѣтъ: не мечтайте, а старайтесь себя устроить къ благу, положительно... Вообще вы, молодые люди, какъ мотыльки на огонь. А тихая жизнь въ семействѣ... Предупреждаю васъ, въ В*, въ соборѣ скоро откроется ваканція: дьяконъ просится на покой. Нужды нѣтъ, что городъ уѣздный. Вотъ скажите вашему батюшкѣ. Очень рада, что могла дать вамъ эту благую вѣсть, молодой человѣкъ... артистъ. Вы (она обратилась къ Костину),когда выйдете изъ академіи, будете меня лечить, а вы меня похороните... До свиданія.

Варвара Сергѣевна мило, смѣясь, подала имъ руки и, продолжая смѣяться, спустилась съ лѣстницы.

— Ворона старая! сказалъ ей вслѣдъ Ивановскій, почти громко:—тараторитъ, гдѣ ея не спрашиваютъ!

Костинъ хохоталъ, какъ съумасшедшій.

— Э, Алеша, душа ты моя, ну ее! Отпросись на святки у владыки и у своего батюшки, да пріѣзжай ко мнѣ, въ Москву; какъ нибудь поживемъ недѣльки двѣ, кое-о-чемъ перетолкуемъ.

Они пошли вмѣстѣ; Костинъ утѣшалъ друга, который повѣсилъ голову. Онъ поднялъ ее подъ окнами Лизаветы Дмитріевны. Ея прелестное лицо выглянуло изъ-за зелени и бѣлыхъ занавѣсокъ.

— Кончился вашъ актъ? спросила она, когда Ивановскій поклонился ей, вспыхнувъ и развеселившись.

— Конченъ. Вы слышали—звонили; ужъ всѣ разъѣхались. И мой курсъ оконченъ; теперь я на всѣ четыре стороны.

— Поздравляю васъ. Приходите ко мнѣ вечеромъ.

— Ахъ, какая красавица! сказалъ Костинъ, прятавшійся въ простѣнкѣ во время этого разговора. Ему не было больше надобности утѣшать друга.

XII.

Богословы, кончившіе курсъ, еще несовсѣмъ простились съ своимъ «священнымъ пріютомъ»: они пришли всѣ на другой день, въ воскресенье, къ обѣднѣ въ семинарскую церковь; регентъ семинарскаго хора, тоже кончившій курсъ, въ послѣдній разъ управлялъ хоромъ; хоръ спѣлъ всю обѣдню «концертную», потомъ прощальный благодарственный молебенъ, потомъ концертъ для того, чтобъ пѣть что нибудь вмѣстѣ. Кончивъ этотъ концертъ, семинарскій регентъ поклонился на всѣ стороны клироса и вручилъ камертонъ своему помощнику и преемнику. Всѣмъ было какъ-то грустно, неловко. Только очень немногіе оставались равнодушными и не задумывались о завтрашнемъ днѣ, о жизни впереди, о товарищахъ, объ обязанностяхъ, о страхѣ «сдѣлаться дурнымъ человѣкомъ», объ искушеніяхъ, особенно страшныхъ въ жизни бѣдной и зависимой... Это были минуты лучшаго раздумья молодости, послѣднія восторженно-хорошія минуты, послѣ которыхъ человѣкъ начинаетъ идти по своей дорогѣ, уступая и покоряясь обстоятельствамъ, или уступая своему собственному дурному чувству. Восторженность живетъ вездѣ недолго; въ бѣдной средѣ простительно, если она бываетъ еще недолговѣчнѣе...

Цѣлые обозы маленькихъ семинаристовъ отправлялись на вакацію. На личикахъ, которыя выглядывали изъ-подъ рогожъ повозокъ, скрывавшихъ ихъ отъ дождя, или черезъ края телѣги, гдѣ они насаживались десятками, видна была только радость, радость полнѣйшая, радость вакаціи. Тѣ, за кѣмъ не пріѣхали, или не прислали отцы, уходятъ пѣшкомъ, съ котомками за спиной; походъ иногда верстъ за пятьдесятъ. Компанія убавляется по дорогѣ: каждый уходитъ въ свою сторону, въ свое село, и часто оставшійся крошечный мальчикъ одиноко идетъ по проселку, припоминая дорогу по кустамъ и межевымъ ямамъ, въ которыхъ онъ отдыхалъ, когда точно такъ же шелъ въ прошломъ году на вакацію. Дома—счастье, свобода, сонъ въ волю, свѣжее молоко, раздолье въ лугахъ, раздолье на улицѣ, гдѣ можно сколько душѣ угодно играть въ коршуны, бросать свинчатки; дома можно отдохнуть отъ латыни хотя немножко...

«Среднее отдѣленіе», философы, переходящіе, по выходѣ старшихъ товарищей, въ классъ богословія, отправлялись на вакацію почти такъ же весело, какъ дѣти. Было больше хлопотъ со сборами, больше заботъ о томъ, что надо вытвердить и выучить въ свободное время; но удовольствіе отдохнуть было велико. Они отправлялись такъ же, какъ и маленькіе, на подводахъ и пѣшкомъ; но тутъ уже соблюдались нѣкоторыя условія. Кромѣ закоснѣлыхъ дикарей, для которыхъ ничего не значило въ какомъ бы костюмѣ ни увидала ихъ публика, почти всѣ, положивъ въ узелокъ, или на подводу, которой приказывали выѣхать за заставу, старенькіе сюртуки, назначенные для дороги, сами выходили изъ губернскаго города пѣшкомъ, будто для прогулки, нарядившись

какъ въ воскресный день, нѣкоторые франты даже съ тросточками въ рукахъ и въ перчаткахъ. За заставой происходило переодѣванье и размѣщеніе на подводахъ...

Сборы богослововъ были сложнѣе: тутъ слѣдовали расплаты за квартиру, прощанія съ хозяевами, знакомыми и товарищами, хлопоты о бумагахъ изъ семинарскаго правленія, справки о мѣстахъ, о невѣстахъ, маленькія исканія покровительства, чаще всего неудачныя. Понемногу молодые люди тоже разъѣзжались и расходились изъ города; маленькіе домики пустѣли; почти каждая колонія лишалась своего «старшаго», хотя «старшіе», богословы, уѣзжали послѣдніе, когда остальные уже всѣ разлетались на вакацію.

Слободской, Демкинъ и Костинъ просторно жили одни на своей квартирѣ, проводивъ товарищей. Слободской ждалъ своего опредѣленія въ миссію и, по милости отца-ректора, давалъ уроки въ одномъ домѣ, гдѣ прежде училъ Зарѣчинскій, уже уѣхавшій въ Петербургъ. Нѣсколько воспитанниковъ благороднаго пансіона поддерживали существованіе Демкина, сдавъ ему на руки всѣ сочиненія и переводы съ разныхъ языковъ, заданные имъ на вакацію. Всякій день, рано утромъ, прежде нежели приняться за эту головоломную работу, Демкинъ ходилъ къ знакомому гарнизонному солдату учиться ружейнымъ пріемамъ и маршировкѣ, и дѣлалъ необыкновенные успѣхи, которые очень утѣшали и забавляли Костина. Неожиданно Демкину пришло счастіе: пакетъ на его имя, съ деньгами, цѣлые сто рублей! Пакетъ отдалъ ему подошедшій къ окну неизвѣстный человѣкъ. Откуда, какъ, кого благодарить— не зналъ ни Демкинъ, ни товарищи, не меньше его обрадованные. Догадывался одинъ Ивановскій, которому онъ разсказалъ. Костинъ не поѣхалъ въ свое село: оно было на концѣ губерніи, поѣздка ему стоила бы того же, что переѣздъ въ Москву; отецъ его, совершенно довольный какъ успѣхами, такъ и избранной имъ карьерой, обѣщалъ прислать ему денегъ съ родственниками, и Костинъ ждалъ этихъ родственниковъ, сговорившись взять съ собой и Демкина, которому тамъ надо было держать экзаменъ и записываться въ полкъ. Въ ожиданіи, онъ тоже давалъ уроки, переписывалъ бумаги одному барину, страшному охотнику до процессовъ, и оживлялъ свой кружокъ, въ которомъ одинъ другъ бывалъ часто серьезенъ, а другой еще чаще приходилъ въ отчаяніе. Демкинъ говорилъ не разъ, что не зналъ бы, какъ прожить безъ Костина.

Изрѣдка навѣщали ихъ другіе выпущенные товарищи, которые жили въ городѣ у родныхъ, или, такъ же, какъ они сами, оставались въ ожиданіи чего нибудь. Новостей было немного и больше неутѣшительныхъ: то неудачи, то удачи скрѣпя сердце, то случаи, вызывающіе невольный ропотъ на несправедливость судьбы—все, изъ чего понемногу составляется горькая мудрость опыта. Конечно, было еще много отваги, веселья, молодости, были маленькія похожденья, тревожныя для сердца, случалось и смѣяться надъ вздоромъ, но все это было ужъ какъ будто не то, что прежде, да и сами товарищи съ каждымъ свиданіемъ становились какъ будто ужъ не тѣ. Одни надѣли форменные сюртуки, записавшись въ канцеляристы, и, сближаясь съ новыми товарищами, отдалялись отъ старыхъ; у нихъ являлся какой-то другой складъ въ разговорѣ и мысляхъ; они какъ-то скоро, собственнымъ примѣромъ доказывали, что не все, чему ихъ учили, послужило имъ. Другіе, дѣти богатыхъ отцовъ, забывали старое: все имъ было какъ-то некогда; щеголяли они сильно. Между бывшими друзьями стали случаться размолвки, ссоры, и все это шло какъ-то слишкомъ быстро... Жизнь, въ самомъ дѣлѣ, брала ихъ и увлекала подобно бурному потоку, съ которымъ, еще не зная жизни, семинаристы сравнивали ее въ своихъ классныхъ сочиненіяхъ. «Бурный потокъ» былъ не глубокъ и довольно мутенъ, однако, все-таки онъ совращалъ съ пути истиннаго людей, обѣщавшихъ быть хорошими людьми...

Грустнымъ явленіемъ было и то, что объ этихъ перемѣнахъ другіе бывшіе товарищи не говорили много, не разбирали ихъ, не удивлялись имъ, принимали ихъ какъ должное. Когда одинъ изъ бѣдняковъ-бурсаковъ, нынѣшній приказный, восхищенный тѣмъ, что пріобрѣлъ маленькую сумму, пренаивно разсказалъ свою первую взятку, Слободской съ полнымъ убѣжденіемъ напомнилъ ему, что «неправое созданье—прахъ», но еще съ большимъ уныніемъ повѣсилъ голову, какъ будто зло было неизбѣжно. Правда, Костинъ, взбѣсившись, насказалъ бывшему пріятелю такихъ словъ, за которыя бьютъ, но тоже нисколько не удивился, что бывшій пріятель не побилъ его. Демкинъ ничего не говорилъ; онъ былъ такъ смятъ, замученъ, что сдѣлался равнодушенъ ко всему, начиная съ своей собственной жизни...

Изъ деревень рѣдко, съ оказіями, получали они письма: товарищи извѣщали о своемъ житьѣ-бытьѣ; большая часть выражалась,

что «отъ тоски не знаютъ, куда дѣваться, сидятъ въ грязи и сами грязнятся». Нѣкоторые заняли мѣста домашнихъ учителей и описывали—одинъ никогда имъ невиданную «роскошь» барскаго дома, гдѣ его пріютили хорошо и удобно, другой—свою одинокую скуку, какую нибудь странную помѣщичью жизнь, гдѣ ни въ чемъ не было ни мысли, ни порядка, гдѣ учителя возили по цѣлымъ днямъ на охоту, или заставляли пѣть цѣлые дни, для развлеченія ничего не дѣлающихъ «господъ». Это, конечно, не описывалось подробно, а слегка, осторожно: семинаристъ всегда боится «какъ бы чего не вышло», а отправленіе учительскаго письма всегда зависитъ отъ помѣщика. Были между этими молодыми людьми и такіе, которые совершенно чуждались всякаго общества. Такъ, одинъ изъ этихъ остатковъ старинной, коренной бурсы, послѣ выпуска, безъ мѣста и безъ надежды на мѣсто, изъ хаты своего отца-дьячка, писалъ одному помѣщику слѣдующее письмо:

«Ваше высокоблагородіе, Михаилъ Николаевичъ, благоденствуйте!

«Нарочито посланный вами къ намъ, въ село Хворощовку, вашъ крестьянинъ, явился сюда на другой день нашего храмового праздника. Поэтому я не могъ съ нимъ отправиться для условій съ вами, касательно должности учителя въ вашемъ домѣ, такъ какъ семейство наше теперь занято гостями. Спустя недѣлю, представится мнѣ случай быть въ вашихъ краяхъ. При этомъ я не премину побывать и у васъ. Впрочемъ, и въ настоящее время я считаю нелишнимъ сказать вамъ, что если угодно вамъ въ своемъ учителѣ видѣть человѣка во вкусѣ нынѣшняго свѣта, то во мнѣ этого качества не найдете. Какъ дубравная птица, я росъ на раздольяхъ Кареліи дикой, надъ озеромъ бурнымъ, въ дремучихъ лѣсахъ. Кромѣ сего, вы найдете во мнѣ много и другихъ недостатковъ.

«Остаюсь, въ чаяніи лично видѣться съ вами, готовый къ услугамъ вашимъ студентъ Іосифъ Кипарисовъ».

Иногда, все съ оказіями, приходили письма, полныя разныхъ порученій о покупкахъ, справкахъ, расплатахъ съ долгами. Одинъ изъ товарищей писалъ Ивановскому:

«Великой бурсѣ бьетъ челомъ ея недостойный сынъ, а тебѣ, Алеша, особенное челобитье. Поройся въ комодахъ своихъ пѣвцовъ и узнай, не найдется ли у кого либо бѣлаго жилета, atque галстуха, жилета, хотя бы даже не бѣлаго, но почти, или приблизительно бѣлаго, лишь бы онъ былъ comme il faut, чтобъ мнѣ, твоему другу, надѣвъ его, не ударить въ грязь не однимъ лицомъ, а всей своей особою. Кто одолжитъ меня сими необходимыми мнѣ предметами, того одолженія не забуду, а вещи возвращу съ признательностью, въ цѣломъ видѣ и съ чаемъ. За симъ слѣдуетъ просьба, прямо относящаяся къ тебѣ, caro amico mio Алексѣй Алексѣичъ. Прикажи своимъ быстрымъ ножкамъ донести тебя до лавокъ и купи мнѣ перчатки бѣлыя, но не фильдекосовыя, а настоящія лайковыя, не забывая притомъ, что мои ручки худѣе и деликатнѣе твоихъ, и наблюдая, чтобъ выбранныя перчатки на моихъ рукахъ не висѣли мѣшками, а также не разлопались съ перваго раза. Имѣю я тоже необходимость въ двухъ аршинахъ розовыхъ лентъ пріятнаго и нѣжнаго цвѣта. Какія собственно должны быть эти ленты—спроси у людей знающихъ, которые научатъ тебя, что купить приличнѣе. На покупки посылаю 50 коп. сер. Все это мнѣ нужно къ свадьбѣ Саши Ставрова, у котораго я шаферомъ. Присовокупляю къ этому еще просьбу, чтобъ ты не завѣтренничался, какъ ты сдѣлалъ это о прошлыхъ святкахъ, когда вы всѣ блуждали по стихіямъ міра сего съ корыстными видами, то есть всѣмъ хоромъ ходили съ поздравленіемъ, а ты перезабылъ все, что было тебѣ поручено. Какъ идутъ дѣла твои и попрежнему ли продолжаешь ты предаваться несбыточнымъ мечтаньямъ? И что поговариваютъ объ этихъ мечтаніяхъ твои родители?..»

Неизвѣстно, что думали родители Ивановскаго о его мечтаніяхъ, потому что онъ не говорилъ о нихъ; но Ивановскій продолжалъ мечтать и блаженствовалъ, потому что мечты его понемногу стали переходить въ самую восхитительную дѣйствительность. Полтора мѣсяца прошло послѣ выпуска. Такъ какъ не было больше ни классовъ, ни уроковъ, ни заданныхъ сочиненій, то Ивановскій былъ совершенно свободенъ и завелъ свой порядокъ дня и занятій. Какъ пѣвчій, онъ остался въ архіерейскомъ домѣ и не перешелъ жить къ роднымъ, которыхъ попрежнему видѣлъ довольно рѣдко. Они были очень недовольны весьма неблистательнымъ окончаніемъ его курса. Отецъ Алексѣй даже не приходилъ на актъ; и когда кто-то изъ знакомыхъ, встрѣтивъ его, поздравилъ съ выпускомъ сына, онъ выразился, что «Господь послалъ ему въ этомъ сынѣ наказаніе, что сынъ покрылъ его позоромъ и, безумный, все еще не унываетъ». Ивановскій въ са-

момъ дѣлѣ какъ-то слишкомъ крѣпко помнилъ, что «уныніе — смертный грѣхъ», и еще чаще повторялъ, что унывать «стыдно». Кто натвердилъ ему это послѣднее правило — не понимали и товарищи. У него явились какія-то особенныя идеи, ясныя и здравыя, правда, но ужъ такія смѣлыя, какихъ ожидать было невозможно отъ семинариста, не исключеннаго только потому, что не въ чѣмъ было упрекнуть его поведеніе. Этотъ отъявленный лѣнивецъ цѣлые дни занимался, читалъ, дѣлалъ выписки изъ книгъ; товарищи знали откуда эти книги, и Ивановскій не скрывалъ этого: ихъ давала ему Лизавета Дмитріевна. Взявъ впередъ жалованье за мѣсяцъ, Ивановскій купилъ у знакомаго гимназиста два ветхіе диксіонера, французскій и нѣмецкій, и однажды ночью Бѣляевъ слышалъ, какъ Ивановскій, при лунномъ свѣтѣ, ломая языкъ, читалъ вслухъ по-французски. Бѣляевъ удержался отъ хохота, зная, что хохотъ не прошелъ бы даромъ, а потомъ сообразилъ: «почему человѣку не образоваться?» Наутро, однако, онъ разсказалъ объ этомъ Троицкому.

Троицкій не засмѣялся.

— Что-жъ! сказалъ онъ, вздохнувъ: — Господь съ нимъ, дай ему Богъ успѣть, если онъ чего надѣется; человѣкъ онъ и товарищъ хорошій! А что онъ жаждетъ общества другого, ты взгляни на него да вспомни: онъ всегда былъ будто не нашъ. Гдѣ ему въ «широкіе рукава», куда нибудь въ село! И воля твердая. Кто такъ сдѣлаетъ? Курсъ кончилъ, опять за книги сѣлъ; вѣдь онъ все съизнова переучиваетъ — чего нибудь это стоитъ.. Одна бѣда: какъ что скрутитъ да помѣшаетъ...

Послѣднее въ особенности не входило въ голову Ивановскому. Что могло ему помѣшать? Его родные такъ отчаялись въ немъ, что, казалось, совершенно оставили на его волю поправлять свою несчастную, испорченную карьеру. Онъ былъ такъ радъ, что она испорчена... Но въ чемъ могли помѣшать ему — этого онъ и самъ не зналъ, не сказалъ себѣ положительно.

Онъ безпрестанно бывалъ у Лизаветы Дмитріевны. Милая и добрая женщина позволяла ему эти посѣщенія, видя радость и пользу, которую они ему приносили. Ей самой было пріятно его видѣть и говорить съ нимъ, когда, наконецъ, отважившись, онъ рѣшался выражать свои мнѣнія о вещахъ, о прочитанныхъ книгахъ, даже о томъ, что случилось ему слышать изъ свѣтскихъ вѣстей и разговоровъ въ гостинной Лизаветы Дмитріевнѣ. Образъ мыслей Ивановскаго былъ прямъ и благороденъ; незнаніе свѣтскихъ тонкостей; совершенное невѣдѣніе уступокъ совѣсти ради приличія дѣлали то, что часто его сужденія были наивно-строги и рѣзки, что онъ, принявъ къ сердцу совсѣмъ для него посторонее, горячился или безпокоился; но именно эту горячность и живучесть было отрадно встрѣтить среди спокойствія и равнодушія, которыя въ наше время, къ сожалѣнію, такъ рано охлаждаютъ большую часть молодыхъ людей. Для Ивановскаго все было ново, все производило на него сильное впечатлѣніе, котораго онъ не умѣлъ и не старался скрывать, не понимая, что̀ хорошаго въ этой скрытности, какое достоинство она можетъ придать ему: онъ совершенно иначе понималъ достоинство. Ловко усвоивая себѣ всѣ привычки хорошаго общества, Ивановскій въ душѣ оставался добрымъ ребенкомъ, семинаристомъ; онъ становился увѣренъ въ себѣ, но безъ самонадѣянности; разбиралъ, но признавалъ превосходство другихъ... Лизавета Дмитріевна находила удовольствіе узнавать ближе этотъ счастливый характеръ.

Въ полтора мѣсяца, Ивановскій сдѣлалъ большіе успѣхи въ «свѣтѣ». Знакомые Лизаветы Дмитріевны не всѣ были похожи на сердитую m-me Лохову; общество въ провинціи, хотя и чопорно, но не всегда взыскательно, а, главное, сильно покоряется авторитету. У m-me Майцовой встрѣчали семинариста: слѣдовательно, можно принимать э т о г о семинариста; онъ одѣтъ всегда порядочно, держится прекрасно, не хуже многихъ. Дамы не замѣчали его, или, замѣтивъ, обходились съ нимъ не непріязненно; мужчины заговаривали съ нимъ; Аницкій— встрѣчая Ивановскаго чаще нежели другіе, потому что чаще всѣхъ бывалъ у Лизаветы Дмитріевны — началъ подавать ему руку: онъ разсчелъ, что и порядочный человѣкъ можетъ наконецъ сдѣлаться смѣшнымъ, если будетъ слишкомъ долго выказывать свое величіе; къ тому же, ему случалось, забывшись, очень пріятно разговаривать съ Ивановскимъ. Ивановскій не былъ уже нимало стѣсненъ въ этомъ кругу; онъ ужъ на столько привыкъ къ нему, что переталъ напряженно слѣдить за собою. Когда прошло это нравственное, утомительное принужденіе, Ивановскій сталъ присматриваться ближе къ людямъ, которыхъ узнавалъ и сталъ цѣнить ихъ; это дѣлало его самостоятельнѣе, свободнѣе внутренно, развязнѣе и находчивѣе съ каждымъ днемъ.

Онъ былъ счастливъ. Разнообразіе впечатлѣній, оживленность жизни, которая хотя была не его жизнь, но сдѣлалась ему видима и понятна, доступна, потому что онъ бралъ въ ней свою, хотя маленькую, долю; чтеніе превосходныхъ книгъ, о которыхъ онъ прежде не имѣлъ понятія; объясненія того, что казалось ему неясно въ чтеніи или затрудняло въ жизни, объясненія, дѣлаемыя съ такой деликатной снисходительностью, съ такой доброй веселостью, съ такимъ возвышающимъ вниманіемъ — все занимало, волновало, пробуждало совсѣмъ новыя чувства, совсѣмъ незнакомыя мысли. Ихъ особенная прелесть состояла въ томъ, что онѣ новы, что ихъ много... Его радовало все, даже маленькія услуги, которыя случалось ему оказывать Лизаветѣ Дмитріевнѣ, хотя онѣ заключались не болѣе, какъ въ томъ, что Ивàновскій приказывалъ подать ей воды, поднималъ ея платокъ, передавалъ ей шелкъ или отыскивалъ иголку, упавшую съ ея пялецъ. Ему казалось это короткостью, которая его счастливила, и мелочи эти составляли его наслажденіе. Разъ, играя при постороннихъ, она попросила его отыскать и подать ей тетрадь нотъ съ этажерки; онъ осмѣлился сдѣлать больше: перевертывать ей страницы, пока она играла; она поблагодарила его съ своей милой, немного церемонной вѣжливостью, которая такъ шла къ ней и отъ которой семинаристу было такъ легко и свободно передъобществомъ. Чаще, одна, Лизавета Дмитріевна играла по цѣлымъ часамъ, совершенно забывая, тутъ или нѣтъ Ивàновскій; тогда онъ усаживался въ углу комнаты и слушалъ въ неописанномъ восторгѣ. Его мысли или всѣ приковывались къ роялю, или уходили Богъ-знаетъ куда...

— О чемъ вы задумались? спросила его однажды Лизавета Дмитріевна, переставъ играть и увидѣвъ его. Она едва удержалась отъ вопроса: «вы еще здѣсь?»

— Такъ, ничего, отвѣчалъ Ивàновскій, покраснѣвъ.

Онъ еще не потерялъ привычки краснѣть, когда говорилъ съ нею.

— Однакожъ, не думать нельзя...

— Нѣтъ... мнѣ входило въ голову... Такъ все это странно! Я здѣсь сижу, у этого окна, въ вашемъ домѣ... Я вспоминалъ, какъ встрѣтилъ васъ въ первый разъ, какъ вошелъ сюда. Воображалось ли мнѣ тогда хоть немного все, что будетъ со мной потомъ?

— Но что-жъ было съ вами? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Вы очень хорошо знаете; вся моя жизнь перемѣнилась.

— Къ лучшему, или нѣтъ?

— Вы шутите, спрашивая меня. Тогда я всего робѣлъ, все представлялось мнѣ какъ-то смутно... даже не упомню, дурно что-то было. Теперь какое сравненіе! во мнѣ какое-то мужество, гордость; кажется, что-бъ ни случилось со мной въ будущемъ, я на все готовъ. И это все вы сдѣлали; я вамъ всѣмъ обязанъ...

— А думаете ли вы о будущемъ? Пора!. сказала Лизавета Дмитріевна.

Ивàновскій, не отвѣчая, взглянулъ на нее съ недоумѣніемъ; положительный вопросъ, положительное слово отъ Лизаветы Дмитріевны смутили его; онъ чувствовалъ, что если напоминала она, то надо было думать и рѣшиться.

— Вы нѣсколько разъ говорили, продолжала она:—что остаться вѣчно въ хорѣ вамъ нельзя; но еслибъ и было можно, я скажу, что, какъ ни хорошъ вашъ хоръ, а это была бы напрасная потеря времени и таланта. Къ тому же, здѣсь жить нечѣмъ—такъ ли?

— Конечно, такъ, отвѣчалъ Ивàновскій, опуская голову.

— Что-жъ вы думаете дѣлать?

— Ничего, сказалъ онъ вдругъ рѣзко и отчаянно.—Посвятиться я не могу, идти воровать въ подъячіе тоже не могу... Ваня Деминъ пошелъ въ солдаты; пойду и я. Батюшка этого не захочетъ—все равно, пусть меня убьютъ... Батюшка сказалъ, чтобъ я дѣлалъ, что хочу, что онъ ужъ ни во что не вмѣшивается...

Ивàновскій замолчалъ, вспомнивъ довольно непріятную сцену, которая была у него съ отцомъ, нѣсколько дней назадъ, и которая, какъ все, что ни касалось его «перерожденія», прошла, не оставивъ въ немъ впечатлѣнія и была тотчасъ забыта. Лизавета Дмитріевна молчала тоже; она задумалась.

— Такъ вы совсѣмъ свободны располагать собой? спросила она, между тѣмъ какъ ея лицо освѣщалось еще не улыбкой, но веселой мыслью.

— Совсѣмъ свободенъ, отвѣчалъ Ивàновскій, принимаясь смотрѣть на нее, что было для него величайшимъ счастьемъ.

— «Въ солдаты! пусть убьютъ!» повторила Лизавета Дмитріевна, покачавъ головой.—Что за крайнія мѣры? къ чему себя самого раздражать словами? А вы еще говорите, что въ васъ явилось какое-то мужество... Придумайте что нибудь другое.

— Да не придумаешь! отвѣчалъ Ивàнов-

скій почти весело, потому что она уже улыбнулась.

— Такъ не поручите ли мнѣ придумать за васъ? вамъ все равно, вы свободны...

— Господи, какъ вы добры! вскричалъ Ивановскій.—Располагайте мной какъ вамъ угодно; все, самая моя жизнь...

— Опять громкія слова! прервала, разсмѣявшись, Лизавета Дмитріевна:—сколько разъ я вамъ говорила, что это ни къ чему не ведетъ и не принято!

— Виноватъ, не буду... Но что-жъ вы придумали?

— Подождите; я обдумаю хорошенько и тогда скажу вамъ.

— Скоро?

— Недѣли чрезъ двѣ.

— Съ какимъ нетерпѣніемъ я буду ждать! Вы понимаете...

— А вы понимаете, что первое условіе твердой воли—терпѣніе?

— Да... Но когда стремишься быть чѣмъ нибудь, быть человѣкомъ... Вы пробудили во мнѣ столько новыхъ понятій, чувствъ... Я не знаю, что будетъ со мною если не осуществится то, о чемъ я думаю и дни и ночи...

— Но о чемъ же вы думаете?

— Я и самъ не знаю... я хочу быть чѣмъ нибудь.

— Подождите, будете! отвѣчала Лизавета Дмитріевна.

Ивановскій совсѣмъ сошелъ съ ума послѣ этого вечера; онъ принялся такъ ждать чего-то, рѣшенія Лизаветы Дмитріевны, какого-то переворота, что началъ пугаться при всякомъ неожиданномъ шумѣ, оборачиваться къ отворявшейся двери, какъ будто вѣстникъ необыкновеннаго, имѣющаго совершиться съ нимъ событія, долженъ былъ явиться или слетѣть къ нему въ пѣвческую залу, куда Ивановскій началъ удаляться отъ товарищей, находя, что дортуаръ слишкомъ шуменъ для занятій, но больше для того, чтобъ скрывать свое волненіе, Это было почти страданіе, физическая боль. Ивановскій часто задумывался до того, что не слышалъ, что ему говорили; за разсѣянность у баритона съ регентомъ доходило чуть не до ссоръ. Ивановскій бывалъ подчасъ молчаливѣе Маргаритина, и даже суровый Пустынскій улыбался, глядя на него. Ждановъ полагалъ, что причиной всему, вѣроятно, «обстоятельства», разумѣя подъ этимъ, что отецъ Алексѣй, сердитый на сына за третій «разрядъ», не даетъ ему денегъ. Этого предположенія, однако, не принимали: было давно извѣстно, что «Алексѣй Алексѣевичъ геній, найти умѣетъ, и все какъ-то у него ладится»; слѣдовательно, такая малость, какъ деньги, не можетъ его разстроить, да и смотритъ онъ вовсе не печально, а такъ, странно какъ-то. Почти единогласно рѣшили, что Алексѣй Алексѣевичъ влюбленъ и, вѣроятно, предметъ его страсти выходитъ замужъ. Основываясь на разныхъ догадкахъ приказали Евфратову заговорить при Ивановскомъ объ одной сосватанной невѣстѣ; Евфратова избрали для этого щекотливаго дѣла, какъ жертву безотвѣтную, на случай вспышки гнѣва Ивановскаго. Но Ивановскій выслушалъ новость такъ равнодушно, какъ будто дѣло шло о незнакомой, а не о хорошенькой Оленькѣ.

— А когда свадьба? спросилъ онъ машинально.

— На той недѣлѣ, въ понедѣльникъ.

— Ахъ, когда бы онъ пришелъ скорѣй! сказалъ Ивановскій, разсчитывая, что по сроку, который онъ самъ себѣ назначилъ, сообразивъ все изъ двухъ словъ Лизаветы Дмитріевны, въ этотъ понедѣльникъ можно будетъ услышать отъ нея что нибудь «рѣшительное...»

На другой день, въ холодное утро, послѣ ранней обѣдни, Свѣтловъ и Ивановскій, спѣша напиться чаю, проходили вдвоемъ огромную площадь, побѣлѣвшую отъ легкаго мороза. Оба артиста прятали носы въ воротники шинели. У Свѣтлова былъ кошачій, подъ боберъ, у Ивановскаго собачій; этотъ мѣхъ называется «сторожковымъ».

— Такъ ты не ѣдешь въ университетъ? спросилъ вдругъ Свѣтловъ.

— Что тебѣ вздумалось? спросилъ удивленный Ивановскій.

— Какъ же! сегодня первое сентября: пора бы ужъ тамъ быть.

— Ты шутишь, что ли: съ чего тебѣ показалось?

— Ты все занимаешься. Я вчера, признаться, заглянулъ къ тебѣ въ тетради, какъ ты уходилъ со двора... Мы всѣ такъ и полагали, что ты готовишься.

— Нѣтъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, должно быть, что нѣтъ: ты бы не сталъ скрываться; а дѣло было бы доброе.

— Что, ты надо мной смѣешься? возразилъ Ивановскій:—куда я гожусь въ университетъ? Вѣдь только сердце надрывать, говорить мнѣ это. Нѣтъ, не иду я въ университетъ; а впрочемъ... Богъ знаетъ, можетъ быть, и тамъ буду.

— Да что съ тобою? или горе какое?

— Никакого—честное слово; напротивъ, слишкомъ много радости.

— Алеша... ну, такъ и быть, по-товарищески! Ты безъ мѣры честолюбивъ; не было бы бѣды.

— Какой? возразилъ Ивановскій:—чего мнѣ бояться? Не удастся иначе повести жизнь, то-есть такъ, какъ хочу, а волочить ее, какъ до сихъ поръ волочилъ, какъ товарищи волочатъ... сохрани меня, Господи! я этого не вынесу. Я ужъ сказалъ себѣ: чѣмъ я теперь, тѣмъ не останусь, не хочу, не могу; лучше не жить на свѣтѣ. Чего мнѣ бояться? Мнѣ бѣда одна—неудача, а послѣ нея мнѣ одинъ конецъ. Тутъ ни бояться, ни раздумывать нечего.

Его отчаяніе было самое веселое: онъ отчаявался на словахъ; въ душѣ же былъ убѣжденъ, что ни въ чемъ, ни въ загадочномъ предположеніи Лизаветы Дмитріевны, ни въ его собственныхъ, самыхъ фантастическихъ замыслахъ не можетъ быть неудачи; напротивъ, чѣмъ громче и отчаяннѣе говорилъ онъ, тѣмъ невозможнѣе казалось ему, чтобъ съ нимъ случилась эта «бѣда». Наконецъ одинъ, самъ съ собою, особенно ночью, на сонъ грядущій, изъ странной прихоти помучить себя нарочно, онъ принимался придумывать, что, вотъ, ничего изъ этого не выйдетъ, и онъ останется здѣсь, и назначатъ посвятить его куда нибудь въ село; ему было пріятно встревожить себя разными печальными подробностями, воображать, какъ Лампадинъ станетъ на его мѣсто на клиросѣ, какъ товарищи протяжно и заунывно пропоютъ ему «Kyrie eleison» и перекрестятся за него такъ же, какъ онъ самъ отъ души крестился за товарищей, которымъ пѣлъ на посвященіе... какъ онъ будетъ откланиваться профессорамъ семинаріи и, проходя, заглянетъ въ одно окошко...

«А этого ничего не будетъ», прервалъ самъ себя Ивановскій, между тѣмъ какъ сердце у него уже начинало стучать.

«Прежде посвященія надо еще жениться», такъ возобновлялъ онъ свои мучительныя придумыванія. «Вотъ скажутъ батюшкѣ: есть невѣста; пойдемъ мы ее смотрѣть; сельская, грамоту церковную съ грѣхомъ пополамъ знаетъ... Или, лучше, здѣшнюю, городскую, выйдетъ къ намъ въ шелку, въ пансіонѣ гдѣ нибудь выучена, романсы поетъ, романы читаетъ», продолжалъ думать Ивановскій, холодѣя, какъ въ лихорадкѣ:— «и вотъ насъ сосватаютъ, поставятъ подъ вѣнецъ...»

«Господи, спаси меня и помилуй!» вскрикивалъ онъ, вскакивая на своей постели, какъ испуганный ребенокъ: «жениться! Да будь она красавица, образованная... все равно, жениться! сохрани Господи...»

Онъ принимался читать молитвы, чтобъ отогнать «лукавыя мечтанія», молиться, чтобъ миновали его несчастія; весь дрожа, крестился на окна, освѣщенныя яркимъ осеннимъ луннымъ свѣтомъ... Золотой обрѣзъ изящной книги, блестя гдѣ нибудь въ тѣни, напоминалъ дѣйствительность и успокоивалъ его.

Все это хотя и не убивало бодрости и надеждъ Ивановскаго, но разстроивало его, даже физически; онъ самъ сказалъ себѣ, что «такъ жить нельзя», и рѣшился сказать это Лизаветѣ Дмитріевнѣ. Начавъ, однако, говорить о своемъ безпокойствѣ, онъ остановился на половинѣ признаній: онъ самъ себѣ показался такъ глупъ, что стало совѣстно.

— Право, договорилъ онъ: — я не умѣю пересказать вамъ. Я мучусь, когда начинаю воображать ужасную будущность...

— Но для чего же вы ее воображаете? возразила Лизавета Дмитріевна: — еслибъ это невольно приходило вамъ въ голову, я бы стала утѣшать васъ; а то насильно, будто сами себѣ сказываете сказку, сами себя пугаете. Это ребячество! Волновать себѣ нервы, не спать ночи, а потомъ пѣть такъ, какъ вы сегодня пѣли.

— Дурно?

— Нехорошо; разсѣянно и слабо.

— Боже мой, какъ я счастливъ, когда вы мнѣ выговариваете, когда вы меня браните!

— Довольно странное счастье!

— Вы можете меня успокоить: скажите, чего я могу надѣяться, что вы за меня придумали?

— Это еще не рѣшено.

— А скоро рѣшится?

— Надняхъ, я думаю.

— Но... какъ же, я ничего не знаю, что и какъ...

— Вы сказали, что вы свободны, и что я могу устроить васъ, какъ найду лучше...

— Ради Бога, не думайте, чтобъ я не довѣрялъ... чтобъ я не цѣнилъ вашей заботливости... я такъ сказалъ... признаюсь, все это въ туманѣ... загадочно... Мнѣ хотѣлось бы узнать, хоть немножко... заглянуть въ будущее...

Лизавета Дмитріевна не могла не засмѣяться.

— Нѣтъ, сказала она: — это рѣшено, вы

ничего не узнаете. Если сказать вамъ теперь, вы, по своей привычкѣ, начнете придумывать Богъ знаетъ что. Подождите; это вамъ наказаніе за ваши «мечтанія», какъ вы ихъ называете.

— А вы хорошо придумали?

— Думаю, что вамъ понравится.

— Что-жъ это? Хоть одно слово намекните.

— О, огромный, отличный планъ!..

— Но какой, ради Бога?

— Вы любопытны, какъ женщины, сказала Лизавета Дмитріевна, позволяя себѣ забавляться волненіемъ, и зная, что вознаградитъ за него.

— За что же вы имѣете обо мнѣ такое дурное мнѣніе?.. возразилъ Ивановскій, не чувствуя, что говоритъ.

— Какъ, развѣ сравнить васъ съ женщиной значитъ имѣть о васъ дурное мнѣніе?

— Нѣтъ, но я, право, не знаю...

Онъ совсѣмъ растерялся.

— Я такъ неловокъ, сказалъ онъ съ досадой на себя: — то не договоришь, то проговоришься. Какъ я долженъ быть смѣшонъ!

— Нѣтъ, нисколько.

— Боже мой, вы такъ добры!.. Но когда же я выучусь порядочно держаться?

— Не волнуйтесь: порядочные люди не волнуются.

— Меня это даже начинаетъ страшить...

— Что?

— Свѣтъ.

— Кто-жъ въ немъ особенно страшенъ: мужчины или женщины? старцы или дѣти?

— Вы все шутите...

— Какъ же не шутить! Въ самомъ дѣлѣ, какъ люди страшны!

— И когда я подумаю, теперь, когда я сколько нибудь вижу и понимаю, продолжалъ Ивановскій: — что мы, бывало, судимъ, толкуемъ о свѣтѣ и свѣтскихъ удовольствіяхъ... Господи мой Боже, о свѣтскихъ страстяхъ!.. Мало, что толкуемъ между собою, пишемъ разсужденія, грозимъ и караемъ... Одинъ изъ нашихъ написалъ повѣсть; мы всѣ читали, восхищались; да и какъ не восхищаться? Повѣсть съ графами, съ князьями, все, какъ слѣдуетъ, и маскарадъ въ дворянскомъ собраніи... А мы и на святкахъ никогда не наряжаемся, сидимъ поневолѣ дома съ восьми часовъ вечера!.. Нѣтъ, писать такъ писать, балъ, такъ ужъ великосвѣтскій, настоящій... Что написано тамъ — уму непостижимо!

— Что, напримѣръ?

— Всего не припомнишь, несодѣянное! Черкесскіе беки, съ заряженными пистолетами за поясомъ, танцуютъ польку; красавицы необыкновенныя, коварныя, подъ покрывалами... И все это писалось не шутя, когда подумаешь!

— Вы не писали повѣстей? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Нѣтъ; куда мнѣ!

— Но что нибудь писали?

— О свѣтѣ? Какъ же! Разсужденіе было задано.

— Какое, скажите пожалуйста.

— Ахъ, какъ вы будете смѣяться! отвѣчалъ онъ, восхищенный тѣмъ, что она уже смѣялась: — о женщинахъ.

— Какъ это хорошо! вскричала Лизавета Дмитріевна. — Что-жъ, удачно вышло?

— Хвалили, отвѣчалъ Ивановскій. — У меня ни на волосъ таланта, я думалъ взять строгостью; всѣмъ досталось — свѣтскимъ въ особенности.

— Какъ же, въ чемъ же вы ихъ упрекали?

— Въ отсутствіи священнаго чувства любви къ родинѣ.

— Напримѣръ, чѣмъ же доказывается это отсутствіе?

— Зачѣмъ онѣ читаютъ иностранныя книги. Возьмите, говорю, листокъ «Московскихъ Вѣдомостей»...

— Еще что?

— Въ роскоши, какъ водится, зачѣмъ обременяютъ себя разными украшеніями, облекаются разомъ въ нѣсколько одеждъ...

— Это что же?

— То есть въ мантильи, въ бурнусы... да назвать ихъ въ высокомъ слогѣ неприлично...

— Пожалуйста, еще что нибудь припомните...

— Зачѣмъ онѣ непокорны своимъ супругамъ...

— Это вы почему знаете?

— Такъ мнѣ показалось... Привязаны къ «свѣтскимъ удовольствіямъ»...

— Опять! Но къ какимъ же удовольствіямъ?

— Я не знаю. Это слово у насъ ужъ такъ принято: не знаешь, что написать, пиши «свѣтскія удовольствія», или «страсти» — что придется; сказалъ «гибельный потокъ страстей» — и правъ: свое дѣло сдѣлалъ; а что это такое — не наша забота, разберутъ. Самъ смысла не найдешь — отыщутъ.

— Дальше еще не было ли чего?

— Хорошо было сказано о клеветѣ: «Языкъ свѣтской женщины—это жало змія». И тутъ много о змiѣ, о кружевахъ, о бархатѣ; ну и змія туда же, рядомъ, кто онъ такой, по имени, прямо...

— Ахъ, какъ хорошо! Еще вспомните.

— И легкомысліе... Вотъ тутъ была одна фраза... Позвольте... какъ еще... да! «Матери семействъ!» говорю: «вы заботитесь только, чтобъ дочери ваши упражнялись въ быстрыхъ тѣлодвиженіяхъ кругомъ и скаканіи то въ бокъ, то въ сторону»...

— Постойте, это что же? вскричала Лизавета Дмитріевна, расхохотавшись до слезъ.

— Какъ что? танцы? отвѣчалъ Ивàновскій, тоже смѣясь и конфузясь.

— Нѣтъ, это ужъ слишкомъ хорошо!

— Но теперь я ужъ не такъ думаю, сказалъ Ивàновскій: — женщины кажутся мнѣ ангелами...

— Это стоитъ вашего «разсужденія», сказала Лизавета Дмитріевна, продолжая смѣяться.

Ивàновскій хотѣлъ было поправиться, договорить: «не всѣ», но догадался, что «порядочные люди такъ не поправляются»...

XIII.

Прошло нѣсколько дней. Пропѣвъ свою очередную раннюю обѣдню въ крестовой и сходя съ лѣстницы, Ивàновскій встрѣтилъ Лизавету Дмитріевну; она была съ одной своей знакомой дамой.

— Господинъ Ивàновскій, сказала она: — придите ко мнѣ вечеромъ, непремѣнно.

Онѣ сѣли въ карету и уѣхали. Ивàновскій, не заходя домой, пошелъ безъ цѣли по площади.

Было холодно; туманъ закрывалъ городъ голубоватой прозрачной занавѣсью; изъ-за нея розовыми полосами сквозили стѣны домовъ, обращенныхъ къ восходящему солнцу; выше, на ясномъ небѣ, виднѣлась вся розовая, новая, еще неокрашенная каланча съ своей тоненькой рѣшеткой и маленькой фигурой часового. Въ самой дали, за площадью, въ улицѣ, было замѣтно движеніе; городъ начиналъ просыпаться; мужики и возы шли и ѣхали на базаръ; люди, лошади, телѣги мелькали странно и неясно сквозь туманъ; деревья въ саду у конца площади рѣзко выдавались, желтыя, бурыя, синевато-зеленыя. На травѣ лежалъ бѣлый иней. Луга за рѣкой тоже всѣ побѣлѣли; тѣни между пригорками были какого-то мертваго коричневаго цвѣта; узкая телѣжная дорога вилась по лугу, оттаявала и чернѣла; туманъ разстилался клубами; даль исчезала; тѣнь соборной колокольни перекинулась черезъ площадь, черезъ рѣки и достигала дальняго берега; рѣка струилась тяжело и лѣниво. Воздухъ былъ чистъ и свѣжъ; это осеннее утро не наводило тоски, напротивъ, оно дѣлало какъ-то здоровѣе и бодрѣе...

Ивàновскій дошелъ до конца площади, до города, и повернулъ назадъ: онъ не зналъ, куда дѣвать свое утро, оно началось такъ рано. Онъ всталъ и пришелъ въ крестовую, когда еще не разсвѣтало, до начала заутрени; завернувшись въ шинель, онъ старался согрѣться и дремалъ, присѣлъ на окнѣ пустой и темной церкви. Теперь спать было уже поздно, да и не было охоты; а на дворѣ было едва семь часовъ. Около присутственныхъ мѣстъ еще не было видно не только ни однихъ дрожекъ, даже ни одного пѣшехода-чиновника. На заросшихъ бурьяномъ клумбахъ той части площади, которую тщетно старались сдѣлать садомъ, еще бродили коровы, не загнанныя въ стадо... Никогда длинный день такъ не пугалъ Ивàновскаго. Пойти къ своимъ, къ отцу? Эти посѣщенія, въ послѣднее время особенно, сдѣлались вовсе невеселы: къ тому же сегодня не праздникъ: мать и сестры или хлопочатъ по хозяйству, или сидятъ за работой; у отца читаютъ по складамъ его ученики: тутъ остается только сѣсть въ уголокъ и молчать... но о чемъ и говорить? Развѣ посмотрѣть въ саду, не нужно ли что прибрать, подчистить деревья къ осени?.. Скучно! Пойти домой въ свой флигель? Что тамъ дѣлать? Читать нѣтъ возможности? въ голову нейдетъ...

«Что ей вздумалось сказать съ утра, чтобъ я приходилъ?» подумалъ Ивàновскій: «такъ до вечера не доживешь, пожалуй!»

Пройдя мимо воротъ архіерейскаго двора, онъ пошелъ въ слободу, въ родительскій домъ. Еще не доходя до дома, Ивàновскій слышалъ частый мѣрный стукъ и женскіе громкіе голоса; онъ догадался, въ чемъ дѣло.

«Какъ это женщины ничего не умѣютъ дѣлать безъ крика?» спросилъ онъ самъ себя, входя въ сѣни кухни: тамъ рубили капусту.

— Богъ пòмочь, Параша! сказалъ онъ, увидя сестру, которая, засучивъ рукава, возилась около кочней, вмѣстѣ съ крестьянскими дѣвушками.—И ты за работой?

— По вашей милости никакъ вѣкъ въ работницахъ останешься, отвѣчала Парашенька, видимо не въ духѣ.

Онъ отошелъ не возражая.

— Баринъ; а ну и вы съ нами: на-те сѣчку! закричала ему вслѣдъ одна изъ дѣвушекъ.

— Такъ и взялъ! Онъ у насъ въ самомъ дѣлѣ баринъ — повернулся да пошелъ, возразила громко Парашенька.

Ивановскій пошелъ въ огородъ. Наташа встрѣтила его съ полнымъ фартукомъ кочней и весело закричала ему, чтобъ онъ пустилъ съ дороги. Онъ не вытерпѣлъ, чтобъ не расцаловать ее: бѣленькая, румяная и смѣющаяся дѣвушка была очень мила. Мать съ такой же ношей, хотя полегче, слѣдовала за нею, не торопясь, важно и улыбаясь.

— Вотъ, Алеша, Господь урожай послалъ, сказала она: — дай Богъ убраться. Поглядика-ка: на будущій годъ придется, можетъ, и тебѣ такъ-то домкомъ заводиться, запасы готовить.

— Ну, матушка, ему ни придется ни на будущій, ни на предбудущій, возразилъ отецъ Алексѣй, прохаживавшійся по двору, въ подрясникѣ изъ выцвѣтшаго гранатнаго шалона и вышитомъ поясѣ, когда-то яркомъ. — Не тотъ человѣкъ, матушка; ему домъ развѣ разорить, а не устроить; нечего ему и думать жену брать: пусть ужъ лучше такъ скитается.

У Ивановскаго сначала мелькнуло было желаніе помочь матери и сестрамъ, повозиться въ осенней сырой травѣ, устать хорошенько; но слова отца, утѣшивъ его необыкновенно, внушили ему мысль доказать, что онъ въ самомъ дѣлѣ не умѣетъ ни за что взяться. Онъ заложилъ руки въ карманы, обошелъ свои вишни и видя, что все семейство занято, съ Наташей поболтать нельзя, нельзя и потормошить другихъ маленькихъ сестеръ, видя, что отецъ собрался идти куда-то, распростился тоже и ушелъ.

Съ радостью увидѣлъ онъ на соборныхъ часахъ, что было уже девять; голова его какъ-то прояснилась, и, усѣвшись покойно въ своемъ любимомъ углу въ пѣвческой залѣ, онъ принялся читать Тацита во французскомъ переводѣ, справляясь съ латынью, напечатанною en regard. Впрочемъ, этого расположенія духа достало ненадолго; мысль отъ Тацита прыгала Богъ знаетъ куда. Ивановскій сталъ мѣнять книги одну за другою, пробовалъ читать романъ, прочелъ товарищамъ вслухъ нѣсколько стихотвореній, наконецъ вызвался помочь регенту списать ноты, перепортилъ три листа... и самъ не зналъ, какъ дотянулъ время до сумерекъ.

За то въ семь часовъ онъ не пошелъ, а полетѣлъ къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ. Еслибъ кто нибудь видѣлъ на пустой площади его фигуру въ развѣвавшейся шинели, то принялъ бы ее за что-то фантастическое. Думать было некогда и невозможно; однако, войдя въ улицу и идя тише, чтобъ отдохнуть, Ивановскій вспомнилъ, какъ на этомъ мѣстѣ, тоже осеннимъ вечеромъ, въ темнотѣ, Маргаритинъ такъ кашлянулъ, чтобъ перевести дыханіе, что испугалъ прохожаго, который со всѣхъ ногъ бросился въ сторону..

«Что будетъ со мной? чѣмъ все рѣшится?» подумалъ онъ, ступая на крыльцо.

— Идите скорѣе! сказала Лизавета Дмитріевна, услыша, что онъ пришелъ, и отворяя дверь изъ гостиной:—поздравляю васъ съ радостью.

— Боже мой! что такое? проговорилъ онъ, еще не опомнясь.

— Вотъ что... да отдохните, сядьте. Разсказывать долго... Читайте лучше: тутъ все будетъ ясно.

Она подала ему письмо.

— Прежде всего я скажу вамъ: у меня есть дядя, отличный, умный, образованный старикъ, любитъ меня, балуетъ; я ему многимъ обязана. У него нѣтъ дѣтей, и онъ очень богатъ. Я ему писала о васъ. Читайте теперь; вотъ его отвѣтъ... Вотъ что до васъ касается:

«На все, что ты говоришь мнѣ о г. Ивановскомъ, душа моя, и желаешь, чтобъ я для него сдѣлалъ — я согласенъ. Пусть онъ пріѣдетъ ко мнѣ и живетъ у меня; а такъ какъ онъ не захочетъ жить безъ занятія и даромъ, то можетъ быть моимъ секретаремъ, писать мои письма, мои бумаги. Дѣла у меня не особенно много и времени у него будетъ довольно, чтобъ учиться и совершенствовать свой талантъ, а я готовъ дать ему на это всѣ средства и знакомства, и всѣ уроки беру на свой счетъ. Я очень радъ дать ходъ молодому человѣку; на артистовъ у меня легкая рука: много разъ удавалось. Хлопотать мнѣ будетъ пріятно, если у этого, какъ говоришь ты, превосходный голосъ; почемъ знать, можетъ быть выйдетъ и знаменитость! На будущій годъ я ѣду заграницу, и г. Ивановскій, конечно, поѣдетъ со мною, если ему это будетъ необходимо; почти годъ поучившись здѣсь, это придется во-время. Жаль, что не могу пригласить его тотчасъ же къ себѣ: я еще останусь нѣсколько времени въ деревнѣ; но въ концѣ ноября жду г. Ивановскаго къ себѣ въ Петербургъ. Дай ему мой адресъ. Да когда же ты сама выѣдешь изъ N*?..»

Ивȁновскій читалъ дрожа, торопясь, едва понимая. Еще не дочитавъ, онъ залился слезами, схватилъ руки Лизаветы Дмитріевны и цѣловалъ ихъ, повторяя:

— Вы моя благодѣтельница, вы моя жизнь!..

Онъ не могъ опомниться, плакалъ, крестился, смѣялся, начиналъ перечитывать исьмо и прерывалъ себя, спрашивая, не во снѣ ли это. Онъ взглянулъ на Лизавету Дмитріевну: она, тронутая, смотрѣла на него тоже со слезами на глазахъ.

— Господи, и вы рады за меня! вскричалъ онъ:—да стою ли я этого?..

Его восторгъ едва стихалъ и черезъ минуту поднимался снова.

— Ахъ, когда бы только поскорѣе! Еще почти два мѣсяца!

— Такъ и быть, подождите; вѣдь и ждать весело?

— Какъ я буду учиться! Не потеряю ни одного часа.

— Хотите, я вамъ оставлю книгъ, когда уѣду?

— Вы уѣдете? вскричалъ Ивȁновскій, остолбенѣвъ.

— Да, скоро. Мнѣ больше здѣсь оставаться не зачѣмъ: мои дѣла кончаются.

— Вы уѣдете! Куда же?

— Въ Петербургъ.

— Да... но въ Петербургъ! повторилъ онъ, успокоиваясь:—я было испугался... Такъ я найду васъ уже тамъ?

— Да. Къ тому времени вамъ надо будетъ рѣшиться говорить по-французски.

— Необходимо... Бѣда моя!

— Ничего; вы произносите недурно; еще привыкнете. У дяди всякій день полонъ домъ артистовъ: музыканты, художники, пѣвцы, наши русскіе и иностранцы...

— Это страшно! И я между ними!

— Да вѣдь и они начинали, были тоже люди неизвѣстные: все сдѣлалъ талантъ и твердая воля.

— Твердая воля у меня будетъ.

— А талантъ ужъ есть. Я вамъ повторяю и прошу васъ объ одномъ: пойте, но не забывайте читать и заниматься постоянно; какъ хотите, находите для этого время. Образованность — первая красота таланта; безъ нея талантъ блѣденъ; его не спасаетъ и чувство: онъ все-таки остается грубъ, тяжелъ...

— Я все буду учиться, буду все знать, отвѣчалъ Ивȁновскій, глядя на нее: — моя одна мысль угодить вамъ... сдѣлаться достойнымъ...

— Вы вообразите, какъ вамъ будетъ весело. Я знаю дядю: это такая чудесная душа, за все принимается жарко; иногда хлопочетъ волнуется хуже молодого человѣка. Онъ непремѣнно захочетъ, чтобъ васъ всѣ знали... vous produire de la monde — вы понимаете это?

— Понимаю, отвѣчалъ Ивȁновскій, смѣясь и краснѣя.

— Вообразите какой нибудь вечеръ, гдѣ блестящее общество, знатоки, цѣнители, эстрада, оркестръ отличной музыки — и вы поете...

— Боже мой, и это будетъ со мною! вскричалъ Ивȁновскій, въ восхищеніи и страхѣ, закрывая руками лицо.—Я вамъ всѣмъ обязанъ, сказалъ онъ, вдругъ обращаясь къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ:—я не знаю, что вы сдѣлали со мною; вы вложили мнѣ понятія, которыхъ я не имѣлъ; вся моя жизнь и я самъ уже не то... Все мое счастіе... Простите меня, я самъ не знаю, что говорю!..

— Будемъ говорить серьезно, дѣльно, отвѣчала Лизавета Дмитріевна, — впереди, дастъ Богъ, все устроится. Надо еще устроить здѣсь. Какъ, вы думаете, примутъ это ваши родные?

— Батюшка, конечно, согласится, слова не скажетъ... Господи, да чего же еще они могутъ желать для меня лучшаго? Я буду на своей дорогѣ; а для нихъ буду въ состояніи что нибудь сдѣлать...

— А современемъ и очень много, прибавила Лизавета Дмитріевна.

— Устрою сестеръ, пріѣду къ нимъ сюда... Нѣтъ, вскричалъ онъ, и слезы брызнули у него снова:—мнѣ кажется, я не доживу до этого! Слишкомъ много Богъ мнѣ даетъ! Они бѣдны теперь; а тогда, тогда, чрезъ меня... чрезъ васъ...

Онъ не договорилъ, бросившись опять цѣловать ея руки.

— Вы себя измучите своей радостью, сказала Лизавета Дмитріевна, которой онъ сталъ даже жалокъ: — у васъ все крайности—несчастный характеръ...

— Правда ваша; но что-жъ мнѣ дѣлать? Еслибъ я готовился къ этому, еслибъ я могъ предвидѣть, я былъ бы какъ нибудь хладнокровнѣе; меня бы это такъ не поразило... А то, вообразите, вѣдь это все равно изъ темноты, изъ какой темноты! — на свѣтъ Божій!.. изъ бѣдности, изъ ничтожества, изъ униженія... то, о чемъ я не смѣлъ и думать... спокойствіе моей семьи, общество, искусство, вы говорите, извѣстность; а тамъ, кто знаетъ, можетъ быть...

— Богъ съ вами, успокойтесь! сказала Лизавета Дмитріевна:—къ чему изъ радости дѣлать себѣ горе? Докажите вашу твердую волю, не волнуйтесь.

Она уговаривала его терпѣливо, тихо, какъ ребенка. Чрезъ нѣсколько минутъ Ивàновскій говорилъ, веселый, какъ ребенокъ.

— Каково же это? Я буду въ Италіи!

Лизавета Дмитріевна помогала ему фантазировать, разсказывала. Кромѣ того, что въ судьбѣ Ивàновскаго можно было принимать участіе, его исторія становилась занимательна. Она была далеко необыкновенна, а обстановка артистической жизни заманчива. Ивàновскій слушалъ и придумывалъ самъ.

— Еслибъ, часъ назадъ, мнѣ стали говорить это, я сказалъ бы, что мнѣ разсказываютъ сказку...

Лизавета Дмитріевна взглянула на часы.

— Подите, досказывайте ее себѣ дома, сказала она: — мнѣ надо ѣхать въ гости, а вамъ отдохнуть. Повидайтесь завтра съ вашими родными, переговорите съ ними обо всемъ, что нужно, и скажите мнѣ: я напишу дядѣ. Вамъ нужно будетъ еще получить увольненіе отсюда, изъ хора.

— Да... Милый мой хоръ, прощай! Такихъ друзей мнѣ не нажить, гдѣ бы я ни былъ... И не забуду же я ихъ—въ этомъ ручаюсь...

— Вы имъ разскажете все?

— Знаете, отвѣчалъ онъ подумавъ: — нѣтъ, всего не скажу: не поймутъ... не повѣрятъ. Намъ все это кажется несбыточнымъ; мы не привыкли... Скажу все, какъ получу увольненіе и сберусь ѣхать.

— Какъ хотите. Но съ родными рѣшите все акуратно.

— И это не сонъ? спросилъ еще разъ Ивàновскій, выходя и остановясь у двери.

— Нѣтъ, не сонъ, и будетъ еще лучше, отвѣчала Лизавета Дмитріевна.

— Еслибъ сбылось все, чего я прошу у Бога!.. сказалъ онъ и ушелъ скорѣе.

На другой день утромъ, подъ мелкимъ дождемъ, который сѣялъ, какъ сквозь сито, Ивàновскій пошелъ къ отцу. Ночь нисколько не охладила его радости; но сѣрый день, затрудненія, которыя предвидѣлись, возвратили Ивàновскому робость, которую онъ всегда чувствовалъ, когда приходилось о чемъ нибудь имѣть дѣло съ отцомъ. Собаки залаяли, не узнавъ его—дурной знакъ...

«Что за вздорный у меня характеръ!» сказалъ себѣ Ивàновскій, входя въ сѣни: «развѣ я не человѣкъ, какъ другіе, и не могу избирать себѣ карьеру, которая мнѣ нравится? Еслибъ я придумалъ не дѣло...»

— Что это такъ зачастилъ: два дня сряду приходишь? спросилъ отецъ, выходя къ нему на встрѣчу. — Смотри, новую шинель хорошо подъ дождемъ отдѣлалъ.

Ивàновскій тутъ только замѣтилъ, что, сбираясь идти и занятый одной своей мыслію, онъ не подумалъ о зонтикѣ. Зонтикъ напомнилъ ему первую встрѣчу съ Лизаветой Дмитріевной, и его мужество ожило.

— Я за дѣломъ пришелъ, батюшка, сказалъ онъ, входя въ комнату.

Мать чинила какое-то платье; сестеръ не было.

— Какое дѣло?

— Госпожа Майцова, у которой я бываю, писала обо мнѣ своему родственнику въ Петербургъ—почтенный очень человѣкъ, старикъ богатый. Онъ желаетъ, чтобъ я поступилъ къ нему въ домъ, занимался иногда его дѣлами, перепискою...

Ивàновскаго очень затрудняло это вступленіе; не рѣшаясь говорить далѣе, онъ ждалъ перваго слова отца, какъ приговора. Поднявъ глаза на серьезное лицо отца Алексѣя, онъ увидѣлъ, что оно прояснилось, и вздохнулъ свободнѣе.

— Значитъ, онъ мѣсто тебѣ у себя предлагаетъ? спросилъ отецъ, помолчавъ немного.

— Да.

— Казенное мѣсто, или нѣтъ?

— Нѣтъ, при себѣ, такъ...

— А жалованье какъ велико, Алешинька? спросила мать.

— Я не знаю... отвѣчалъ Ивàновскій, затрудняясь еще больше.

— Кто же тамъ знаетъ, какое жалованье, возразилъ отецъ Алексѣй: — его воля вызывать къ себѣ, его воля и назначать. Если человѣкъ богатый, онъ, конечно, не обидитъ.

— Онъ больше дѣлаетъ мнѣ одолженіе тѣмъ, началъ Ивàновскій:—что такъ какъ у меня голосъ, онъ обѣщаетъ дать мнѣ средства учиться, чтобъ еще усовершенствоваться, будетъ платить за уроки... Это послужитъ мнѣ впослѣдствіи...

Онъ рѣшительно не зналъ, какъ разсказать свои вчерашнія мечты: ихъ приходилось объяснять, выбирая слова понятныя и невызывающія на споръ, объяснять положительно.

— Это пустое, сказалъ хладнокровно отецъ:—развѣ чтобъ не забыть, чтобъ, когда отъ него отойдешь, могъ опять въ хоръ куда поступить, или у помѣщика какого хоръ сформировать.

— Мой голосъ на это жаль тратить, батюшка! возразилъ Ивàновскій, не смѣло и

краснѣя:—мнѣ говорятъ, что если я поучусь, чрезъ годъ, чрезъ два, я и въ Петербургѣ... и вездѣ могу съ нимъ показаться.

— Что говорить, голосъ краса! сказалъ отецъ Алексѣй, съ веселой гордостью взглянувъ на сына.—Онамедни дивились всѣ, ты Апостола читалъ, да протодіакону такой тонъ задалъ, что тотъ какъ вышелъ, хоть не начинай. Вице-губернаторъ, какъ выходить, встрѣтилъ меня, говоритъ: «Это вашъ, говоритъ, сынъ отличился?»—«Мой, говорю, ваше сіятельство; каковъ ни есть, взросъ моими грѣшными молитвами».—«Честь вамъ и слава, говоритъ: какой у него голосъ; это, говоритъ, только у насъ на Руси такіе люди родятся; заставить бы такъ какого итальянца прочесть, онъ бы лопнулъ». Я даже тутъ усмѣхнулся; вотъ, думаю, какъ насъ превозносятъ, что иностранцевъ даже съ нами не сравниваютъ...

— Вотъ, видите ли, батюшка, вскричалъ весело Ивановскій:—какъ же мнѣ не учиться, когда мой талантъ...

— Да вѣдь въ Питерѣ такихъ, какъ ты, много: вѣдь это шутка одна сказать о насъ... Гдѣ тебѣ!.. Учись себѣ, пожалуй; ученье тебѣ не за плечами носить. Жить будешь покойно; пѣнье это такъ-себѣ, между дѣла, пожалуй. Одно жаль: невѣрное все это мѣсто, не казенное...

— Все равно, отвѣчалъ Ивановскій, обомлѣвъ отъ радости, потому что въ этихъ словахъ было позволеніе, согласіе:—я постараюсь сохранить это мѣсто какъ можно долѣе, заслужу расположеніе г. Майцова...

— Покамѣстъ, конечно, пока Господь благословитъ на что другое... Ты самъ, что ли, просилъ, что о тебѣ писала госпожа Майцова?

— Нѣтъ, батюшка, я не зналъ ничего... Она вздумала сама, изъ участія ко мнѣ, и приказала мнѣ спросить васъ; безъ вашего благословенія я не смѣю.

Лицо отца Алексѣя совершенно просіяло.

— Что-жъ мнѣ у тебя счастье отнимать? развѣ я тебѣ врагъ? сказалъ онъ, смѣясь съ особенно пріятнымъ величіемъ:—ты мнѣ сынъ, утроба моя. Кому же мнѣ и пожелать, какъ не тебѣ? Надъ тобой мое благословеніе. Иди себѣ, куда тебѣ сердце указуетъ. Придется пѣть—пой, просвѣщай себя, предъ людьми себя покажи. Что этотъ господинъ Майцовъ, знатный вельможа какой?

— Не знаю... онъ открыто живетъ.

— Что-жъ! поѣзжай, посмотри на людей, на столицу: не мѣшаетъ въ жизни разъ-другой повеселиться; развѣ я тебѣ когда воспрещалъ? Пока можно. Знатныхъ, сановниковъ, министровъ тамъ увидишь—все люди важные. Военнаго народу что полководцевъ! Ты смотри у меня, молодецъ, въ военную службу не вздумай. Ты у меня одинъ. Видишь, какой красавецъ родился!

— Нѣтъ, батюшка, въ военную не пойду, отвѣчалъ Ивановскій, совершенно счастливый, стараясь удерживать свое восхищеніе.

— То-то! Ты у меня одинъ. Я съ тобой и строгъ бывалъ, да вѣдь любя, бывало, и наказуешь. Чего я тебѣ желалъ, какъ не добра? Когда ты что отъ меня и видѣлъ, какъ не для твоей же пользы; вотъ о нихъ скорбя (онъ указалъ на жену), чтобъ ты и ихъ не забылъ...

— Ахъ, батюшка! да это вся моя мысль, все мое желаніе! Черезъ нѣсколько лѣтъ, если Богъ и вы меня благословите, я надѣюсь много успѣть... Вѣдь всѣ люди, батюшка, начинали какъ я, иные и труднѣе моего...

— Никто, какъ Господь, конечно! отвѣчалъ отецъ, обнявъ его, когда Ивановскій, больше не владѣя собой, бросился къ нему: — покамѣстъ займись-себѣ хоть этимъ дѣломъ, а тамъ, авось найдемъ лучше.

Ивановскій хотѣлъ отвѣтить, что лучше и желать нечего, но удержался, подумавъ, что споръ не поведетъ ни къ чему, доказать на словахъ онъ не съумѣетъ, а чрезъ годъ, не больше, его родные сами убѣдятся въ этомъ на дѣлѣ.

— Что-жъ, тебѣ надо увольненіе отсюда получить, продолжалъ отецъ Алексѣй:—когда тебѣ ѣхать придется?

— Въ ноябрѣ.

— Стало, еще успѣемъ. Долги есть? Говори по совѣсти.

— Нѣтъ, батюшка; я что былъ долженъ, то въ послѣднее время справилъ изъ жалованья... Почему же вы такъ обо мнѣ думаете?.. прибавилъ онъ, краснѣя предъ испытующимъ взоромъ, котораго привыкъ бояться.

— О тебѣ, къ чести твоей, ужъ давно ничего худого не слышно. Лѣнился ты... ну, Господь и грѣшники прощаетъ, дѣло konченное. А вотъ, у тебя разное щегольство завелось, въ перчаткахъ сталъ ходить, сюртукъ модный сшилъ: я полагалъ, ты все это въ долгъ.

— Нѣтъ, батюшка.

— Конечно, въ домѣ такомъ бываешь, гдѣ тебѣ нельзя амасономъ какимъ нибудь показаться; такъ и слѣдуетъ. Насъ Господь не до конца достатками обидѣлъ; ты

у меня единственный, и передъ людьми было бы совѣстно, еслибъ ты у меня въ рубищѣ ходилъ. Скажи, коли что нужно, я заплачу.

— Нѣтъ, батюшка, увѣряю васъ.

Отецъ Алексѣй былъ видимо въ хорошемъ расположенiи духа; онъ расхаживалъ по комнатѣ, сложивъ руки за спиною, молча и хотя съ свѣтлымъ лицомъ, но этого молчанiя никто не смѣлъ прервать, ни даже сынъ. Жена, сидя за работой, не вмѣшивалась въ разговоръ ни однимъ словомъ; она только повременамъ вздыхала и покачивала головой.

— Мнѣ еще въ приходъ надо, сказалъ отецъ Алексѣй, — пойти; никакъ дождя не переждешь. Ты уйдешь, или здѣсь день останешься? спросилъ онъ сына.

— Какъ прикажете, батюшка, отвѣчалъ Ивановскiй, готовый даже скучать, лишь бы поддержать это доброе расположенiе духа, и отъ души раскаяваясь въ томъ, что, бывало, не зналъ, какъ скорѣе бѣжать отъ этой скуки.

— Останься, обѣдай; вѣдь дѣла у тебя нѣтъ.

— Надо только зайти къ госпожѣ Майцовой, сказать: она хотѣла писать своему родственнику...

— Не опоздаешь, еще успѣешь, зайдешь.

Отецъ Алексѣй ушелъ надѣть рясу и позвалъ работницу запереть за собой калитку.

— Вотъ и сладили! сказала мать, когда Ивановскiй остался съ ней одинъ, впрочемъ, ненадолго, потому что сестры тотчасъ сбѣжали съ свѣтелки. — Эхъ, Алексѣй, избаловалъ тебя родитель — вотъ и все тутъ!

— Матушка, развѣ вы не согласны?

— Да ни за что, ни за тысячи, ни въ вѣкъ бы не позволила! Что за вздоръ такой? Конечно, воля не моя, какъ батюшка изволитъ, я ему поречить не смѣю, а грѣхъ и предъ Богомъ дѣтей не равнять. Вотъ дочери сидятъ, а тебѣ позволенiе: въ Петербургъ поѣзжай. Баловаться тебѣ тамъ пуще прежняго. И что затѣялъ — служба не служба, такъ, Богъ знаетъ что. Голосомъ своимъ думаетъ взять: какъ же! такъ и взялъ; не слыхали его тамъ! Вонъ къ Покрову, въ прошломъ году, дьячка посвятили, тоже изъ пѣвчихъ былъ, спился да сбился, не только голосъ, языкъ перемололся — вотъ-те и голосъ!

— Это не то, матушка...

— У васъ все не то. Какъ захотите по-вашему толковать, все по-вашему и выйдетъ. Я говорила батюшкѣ третьяго дня, вонъ, есть мѣсто у Сорока-Мучениковъ, конечно, на дьячковскомъ положенiи, да намъ, при бѣдности нашей, и то хорошо. Куда ужъ тебѣ сравняться съ которыми изъ перваго десятка, да академистами... Такъ нѣтъ! и у батюшки амбицiя—раскричался. «Я, говоритъ, моего сына больше желаю произвести». Вотъ-те и больше! Больше-то, что получше, не дадутъ, и поѣзжай вотъ такъ-то, слоняй слоны по бѣлу-свѣту... Замолчишь передъ вами, конечно.

Она не только замолчала, но ушла, хлопнувъ дверью. Ивановскому было досадно; онъ не возражалъ. Ему было какъ-то горько на душѣ: все, что восхищало его наканунѣ, кончилось, хотя и по его желанiю, но какъ-то вяло, непрiятно. Никто не порадовался, не сказалъ за него: «слава Богу». Отецъ принялъ счастье сына какъ что нибудь **такъ**, за неимѣнiемъ лучшаго; мать и совсѣмъ была недовольна. Сестры разспрашивали; но еслибъ Ивановскiй сталъ разсказывать имъ свои планы и надежды, онѣ поняли бы ихъ еще менѣе, нежели отецъ, растолковали бы ихъ какъ нибудь по-своему... кто знаетъ? эти толки, дойдя до отца, могли бы заставить его перемѣнить свое рѣшенiе. Ивановскiй рѣшился не говорить ни сестрамъ, никому на свѣтѣ о своихъ мечтахъ; о концертахъ среди блестящаго общества, объ Италiи и прочемъ... Онъ только сказалъ имъ, что надѣется, что Богъ ему поможетъ, что онѣ будутъ счастливы, что онъ пришлетъ много денегъ, пусть только подождутъ. Парашенька слушала недовѣрчиво. Наташа сказала смѣясь:

— Вы, братецъ, сказки разсказываете. Богъ съ вами, коли вамъ это весело; поживите хоть вы въ свое удовольствiе.

Лизавета Дмитрiевна утѣшила его, утвердивъ въ мысли, что главное тутъ—согласiе отца, а въ остальномъ онъ убѣдитъ всѣхъ современемъ.

— Тѣмъ лучше, говорила она: — что ваши родные надѣятся мало: успѣхъ чѣмъ неожиданнѣе, тѣмъ прiятнѣе. Вамъ и самимъ, сколько вы ни раздумываете, ни мечтаете, эта перемѣна жизни и все еще кажется дико: какъ же вы хотите, чтобъ всѣ такъ вдругъ и обрадовались тому, что случилось съ вами? Довольно, что васъ отпускаютъ...

XIV.

Наступилъ октябрь, короткiе, дождливые дни, безконечные вечера. Ивановскiй не замѣчалъ ни того, ни другого: просыпаясь, онъ

говорилъ себѣ, что счастливѣе его нѣтъ человѣка на свѣтѣ, а послѣ такой первой мысли всякій день кажется свѣтлымъ и хорошимъ. Никакая погода не удерживала его дома, когда онъ собирался идти къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ: эти два-три вечера въ недѣлю были его праздники, въ ожиданіи которыхъ онъ жилъ, мечталъ, учился. Онъ развлекалъ и товарищей, для которыхъ, запертыхъ безъ занятія, это осеннее время казалось особенно длинно и скучно. Жизнь пѣвчихъ—одна изъ самыхъ скучныхъ, какія можно придумать: классъ утромъ (въ послѣобѣденный классъ они ходятъ рѣдко, особенно въ дурную погоду), вечеромъ классъ пѣнія, а остальной день—совершенное бездѣлье и пустота. Пѣть и спать—только и дѣла; даже говорить не о чемъ, потому что все одно и то же. Только молодость заставляетъ придумывать шутку, находитъ чему посмѣяться, но и смѣхъ и шутка вертится все на одномъ и томъ же, на этомъ бѣдномъ житьѣ-бытьѣ. Никольскій выражался, что всѣ ихъ разговоры «безнравственные», желая сказать этимъ, что эти разговоры не касаются нравственныхъ, отвлеченныхъ предметовъ, а такъ, все больше пустяковъ. Онъ былъ, впрочемъ, не совсѣмъ правъ: иногда съ вечера, разговорившись, молодые люди вдругъ принимались толковать какіе нибудь изъ самыхъ серьезныхъ догматическихъ вопросовъ, спорить и доказывать, цитируя тексты; самыми жаркими спорщиками были именно тѣ, которые не очень усердно подвизались въ классахъ. Споры бывали шумны; чаще всего ихъ рѣшали однимъ словомъ Свѣтловъ или Бѣляевъ, сказавъ, что никто ничего не смыслитъ и спать пора. Этотъ шумъ достигалъ коморки Троицкаго, но не тревожилъ сна его, размышленій или поэтическихъ занятій. Утромъ, просыпаясь до свѣта, до заутрени, тѣ, кому не спалось больше, поднимали шумъ, чтобъ скорѣе развеселить компанію; только одинъ теноръ Гіацинтовъ (исключенный, что, можетъ быть, и было причиной его задумчивости и чувствительности, надъ которыми потѣшался Свѣтловъ), если случалось ему проснуться первому, не шумѣлъ, не будилъ товарищей, не зажигалъ огня, а находилъ удовольствіе сидѣть впотьмахъ съ открытыми глазами, сидѣть такъ часъ, другой, въ неопредѣленной печали, не дремать и не бодрствовать, до отупленія. Регентъ часто заставалъ его такъ, приходя будить очередныхъ къ раннимъ обѣднямъ. Утромъ начинались разсказы сновъ, которые толковались съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ, что они что нибудь значатъ; цѣлые два дня, напримѣръ, никто не могъ успокоиться, когда Жданову приснилось, будто горитъ архіерейскій домъ, и будто Троицкій въ это время идетъ внизу, по рѣкѣ, яко по суху. Никольскій, озабоченный «спѣвками» своихъ сопрано и альто, разсказывалъ, что къ нему во снѣ пріѣзжалъ одинъ владѣтельный принцъ, и онъ, Никольскій, принималъ его въ пѣвческой залѣ, и посѣтитель былъ доволенъ, такъ что, казалось, все бы шло хорошо... «А зачѣмъ у тебя маленькіе mi спускаютъ?» спросилъ вдругъ принцъ грозно... Никольскій такъ испугался, что проснулся, и было единогласно рѣшено, что къ году этотъ сонъ чѣмъ нибудь отзовется... Троицкій не разсказывалъ своихъ сновъ, осенняя погода дѣлала его еще задумчивѣе, и онъ развлекался только тѣмъ, что читалъ безпрестанно книги, въ которыхъ Ивàновскій не могъ ему отказать... Благодаря чтенію, разсказамъ, разговорамъ, которые умѣлъ завязывать Ивàновскій, отшельническая жизнь этихъ людей оживлялась; кромѣ мизантропа Пустынскаго, Жданова, вѣчно озабоченнаго своими обстоятельствами, и Евфратова, не имѣвшаго желанія что нибудь понимать, никто больше не позволялъ себѣ спать цѣлые дни, съ полудня до ужина—единственное развлеченіе пѣвчихъ, когда «разрушительное дѣйствіе стихій» не позволяетъ имъ «скитаться по стихіямъ міра сего». Ивàновскій напомнилъ регенту, что у него есть нѣсколько тетрадей нотъ, «славныхъ старинныхъ вещей», привезенныхъ регентомъ еще изъ капеллы; что хотя ихъ и нигдѣ не придется пѣть, а выучить можно, благо есть время. Регенту нужно было только сказать, что можно что нибудь разучивать: между старшими пѣвцами нашлись охотники; Ивàновскій, конечно, первый; другихъ просили и уговорили, а дѣтей, альто и сопрано, можно было и заставить. Регентъ и Ивàновскій досыта напоили ихъ чаемъ, когда удался этотъ первый концертъ, составленный изъ удивительныхъ отрывковъ, и дѣти спрашивали, скоро ли будетъ второй.

— Ахъ, да что это выходитъ съ музыкой? повторялъ регентъ, вспоминая концерты филармоническаго общества: — когда бы вамъ только послушать, Алексѣй Алексѣичъ, хоть одинъ разъ... небесное!..

«А я самъ буду пѣть это», думалъ Ивàновскій...

Иногда ему хотѣлось сказать это громко, разсказать все: его мучили желаніе подѣлиться своей радостью и неоткровенность предъ товарищами; ему было почти совѣст-

но молчать, но молчать было необходимо; разобравъ холодно, онъ зналъ, что немногіе совершенно искренно, безъ маленькой мелкой зависти, порадуются за него; что вполнѣ пойметъ его только одинъ регентъ; что даже изъ тѣхъ, кто порадуется—Свѣтловъ, Ждановъ, Бѣляевъ, напримѣръ — скажутъ, что все-таки это «гадательное, несбыточное». Бѣляевъ прибавитъ, смѣясь: «славную шутку ты подвернулъ, чтобъ бѣжать отсюда!» Маргаритинъ останется совершенно равнодушенъ, или подивится этимъ затѣямъ, какъ съумасшествію; Троицкій скажетъ печально и покачавъ головою: «все это хорошо, Алеша, да гдѣ намъ? наше ли это дѣло?..» Лампадинъ станетъ насмѣшничать, разскажетъ своимъ знакомымъ по городу: знакомые у него приказные франты, барыни разныя, пойдутъ толки; эти люди на улицѣ гдѣ нибудь встрѣтятъ, такъ сконфузятъ: «вы въ чужіе края, Алексѣй Алексѣичъ, собираетесь!..» За это не возьмешь и Богъ знаетъ чего! Лучше молчать.

Зато Ивановскій съ ожесточеніемъ принялся учить сольфеджи, смѣясь вмѣстѣ съ товарищами, которые смѣялись надъ нимъ.

— Скажи на милость, съ чего ты цѣлый день воешь? спрашивалъ его Бѣляевъ.

— Пригодится, отвѣчалъ Ивановскій.

— Вотъ, о святкахъ, поѣзжай къ своему дядѣ въ деревню: сторона веселая, говорилъ Ждановъ:—кругомъ верстъ на двадцать нѣтъ жилья; изба на выѣздъ въ поле; сядь на крылечко да подвывай волковъ.

— Что-жъ, славно. И это можно.

Когда, провѣдавъ какъ нибудь, что въ театрѣ будутъ «различныя упражненія», пѣвчіе толковали о счастьи посмотрѣть это, а Никольскій ахалъ отъ одного разсказа о люстрѣ, въ которой вдругъ увеличивается и уменьшается свѣтъ, что очень подробно описывалъ регентъ, видѣвшій эти чудеса въ большихъ размѣрахъ, Ивановскій закрывалъ глаза и думалъ, думалъ не дыша съ замирающимъ сердцемъ... Того, что казалось такъ заманчиво товарищамъ, маленькаго N-скаго театра, ему ужъ было не нужно: онъ уже вообразилъ себѣ, построилъ и населилъ золотой городъ; онъ уже жилъ въ немъ, наслаждался всѣмъ, что только бываетъ лучшаго въ жизни, всѣмъ, что можетъ придумать молодая голова, молодое сердце, для которыхъ впечатлѣнія новы, поражаютъ сильно и потому сильнѣе и ярче заставляютъ работать воображеніе, вдругъ выпущенное на волю. Ивановскому мерещились удовольствія, успѣхи, искусство, слава, любовь... мечтать, такъ мечтать вполнѣ! Послѣ вечеровъ у Лизаветы Дмитріевны ничего не было лучше, какъ вечеромъ, въ дортуарѣ, лежать и смотрѣть въ потолокъ, по которому бѣгаетъ тѣнь свѣтильни и свѣтъ единственнаго огарка въ кривомъ мѣдномъ подсвѣчникѣ. И свѣчку, и подсвѣчникъ заслоняетъ голова Никольскаго, который, положивъ оба локтя на столъ и зажавъ уши, твердитъ наизусть исторію іерархіи; онъ слегка покачивается, что, какъ извѣстно, помогаетъ ученію, и огромная тѣнь его маленькаго тѣла качается тоже. Передъ нимъ, въ свѣту, ярко выдаются пунцовыя щеки и черные усики Свѣтлова, дремлющаго надъ книгой. Ждановъ, которому свѣчка свѣтитъ прямо въ лицо, протянувшись на своей постели, спитъ богатырскимъ сномъ; вдали, въ тѣни, двое товарищей наслаждаются тѣмъ же. Маргаритинъ сидитъ въ сторонѣ; въ рукахъ у него книжка; какъ онъ видитъ читать почти въ потемкахъ? по выраженію лица его можно догадаться, что онъ въ двадцатый разъ перечитываетъ о томъ, какъ принцъ Джальма собственноручно задушилъ льва— обстоятельство, почему-то особенно нравящееся Маргаритину. Бѣляевъ въ темномъ углу хохочетъ, разсказываетъ что-то Лампадину; двое товарищей на краю стола бьются на мѣлокъ въ преферансъ; рядомъ съ ними Евфратовъ нагнулъ до самой бумаги свое желтое лицо и красные волосы и пишетъ «задачку»: не разсуждаетъ ли онъ о большомъ свѣтѣ и женщинахъ?.. Регентъ удалился въ пѣвческую залу, совсѣмъ въ потемки; у него есть какое-то сердечное огорченіе; издали слышатся три-четыре такта, которые онъ повторяетъ на своей скрипкѣ, съ промежуткомъ молчанія, и опять все тѣ же: «Не томи, родимый...» дальше онъ не помнитъ... Эти ноты какъ-то щемятъ за сердце.

— Это тріо изъ «Жизни за Царя», говоритъ себѣ Ивановскій, который слышалъ и помнитъ дальше...

И онъ принимается опять слѣдить за бѣгущей тѣнью на потолкѣ... Чудо какъ хорошо и весело въ эти минуты!

«За что-жъ я одинъ такой счастливецъ?» спрашивалъ онъ самъ себя, оглядываясь на товарищей: «развѣ у нихъ тоже нѣтъ таланта? развѣ не одинакое мы горе терпѣли? Господи, пошли же имъ что нибудь, пошли каждому утѣшеніе, сколько можно, какое только можно счастье, дай отдохнуть имъ, дай пожить? Бѣдные труженики, дешевый народъ!..»

Ивановскій пряталъ голову подъ свое толстое одѣяло и плакалъ обо всѣхъ—о тѣхъ, кто былъ тутъ на глазахъ, о товарищахъ, съ которыми разстался; друзья и не друзья—всѣ становились милы, ко всѣмъ рвалось сердце. Какъ тяжело жить на свѣтѣ, и когда подумаешь, что всѣмъ тяжело!.. Сколько жгучихъ слезъ, сколько знакомыхъ лицъ прошло въ его памяти, молодыхъ лицъ, блѣднѣвшихъ отъ заботы, и тѣхъ блѣдныхъ, уже спокойныхъ, которыя провожалъ онъ въ могилу, которымъ пѣлъ «надгробное рыданіе»... Куда уходила эта молодость, забитая бѣдностью, эти силы безъ простора, добрая беззаботность, эти умныя, благородныя понятія! Какъ все гибло разомъ, завядало разомъ! Что за жизнь, Боже мой! Трудиться, маяться, умереть... Или—одинъ исходъ... ну, скрѣпя сердце! А тамъ ужъ сталъ другой человѣкъ, привыкнетъ, облѣнится... О, чего это стоило!.. Слободской поѣхалъ жениться, нашелъ невѣсту, такую же сироту: никого и ничего въ цѣломъ мірѣ; ей все равно, что здѣсь, что въ Камчаткѣ... вотъ еще участь, Господи Боже!

Засыпая тревожно и въ печали о другихъ, даже совѣстясь вспомнить о своемъ собственномъ счастьи, Ивановскій, конечно, не предчувствовалъ, что о немъ вспоминали и говорили у Лизаветы Дмитріевны.

У нея собрались гости. Двѣ дамы сидѣли около лампы на диванѣ; Аницкій у рояля наигрывалъ и напѣвалъ какой-то романсъ.

— Что это я все фальшивлю! сказалъ онъ: — какъ бы мнѣ взять этотъ si bemol, какъ беретъ Ивановскій? У него хороша эта нотка... А гдѣ этотъ пѣвецъ? его давно не видно у васъ.

— Вѣрно дома сидитъ, отвѣчала Лизавета Дмитріевна: — погода дурная.

— Бѣдный пѣвецъ! сказала одна гостья, которая тоже видѣла Ивановскаго: — онъ пѣшкомъ дѣлаетъ свои визиты.

— Кто же бы ему мѣшалъ дѣлать ихъ въ каретѣ? возразилъ Аницкій: — будь у меня такой талантъ, я бы все бросилъ, и службу, и отправился бы въ консерваторію. Онъ умный малый; ему всего двадцать лѣтъ съ небольшимъ; стоитъ только рѣшиться. Что за радость тянуть одну ноту на клиросѣ, да еще гдѣ же? здѣсь, въ N*! Состояніе бы себѣ составилъ въ нѣсколько лѣтъ... Я готовъ ему посовѣтовать.

— Онъ такъ и рѣшился, сказала Лизавета Дмитріевна:—ѣдетъ зимой въ Петербургъ учиться.

— Уважаю его за это! вскричалъ Аницкій.

— Но какъ ему будетъ трудно безъ средствъ! сказала одна изъ дамъ, добрая особа, всегда внимательная къ Ивановскому.

— Обыкновенная исторія всѣхъ артистовъ, возразилъ Аницкій:—побѣгъ изъ родительскаго дома, жизнь на чердакѣ до перваго успѣха.

— Этотъ не бѣжитъ изъ родительскаго дома: его отпускаютъ, сказала Лизавета Дмитріевна.

— Неужели?.. Но, помилуйте, я изумленъ! Это прогрессъ, громадный прогрессъ въ этомъ интересномъ сословіи съ тѣхъ поръ, какъ я имѣлъ честь вамъ доказывать... Родители Ивановскаго понимаютъ, что не слѣдуетъ отнимать у него дорогу, понимаютъ, что у него талантъ. Отреченіе отъ стихаря, отъ мѣста съ богатымъ приходомъ? И все это изъ невѣрной надежды на извѣстность—это прогрессъ!

— Я ужъ не знаю, что это такое, отвѣчала Лизавета Дмитріевна: — а только отпускаютъ. Я дала эту мысль Ивановскому; онъ въ восхищеніи, и мнѣ самой очень весело; ничего такъ не желаю, чтобъ ему удалось.

— Непремѣнно удастся, подтвердилъ Аницкій: — и сомнѣваться нечего, лишь бы самъ онъ не сталъ неглижировать, или другіе... Эти знаменитости завистливый народъ...

— Вы меня заставите смѣяться, мосьё Аницкій! сказала другая гостья: — вы такъ рѣшительно говорите о будущей славѣ этого бѣднаго семинариста! Знаменитости будутъ завидовать, мѣшать карьерѣ баритона N-скаго клироса!

— А что-жъ?

— Ничего; охладите немножко свое воображеніе.

— Позвольте заподозрить вашъ патріотизмъ. Что-жъ? семинаристъ съ N-скаго клироса развѣ не можетъ быть великимъ артистомъ? развѣ семинаристы не люди?

— Мсьё Аницкій, вскричала, смѣясь, Лизавета Дмитріевна: — что съ вами? это еще какой прогрессъ? Вы обращены!

— Я не то хотѣлъ сказать, отвѣчалъ Аницкій, смѣясь тоже:—но развѣ природа, посылая таланты дѣтямъ аптекарей, почтарей, à des cadets de famille, гдѣ нибудь не у насъ, не можетъ сдѣлать того же и для N-скаго семинариста? Или именно потому только мы не будемъ вѣрить вещи, что она совершается въ нашихъ глазахъ? Нѣтъ, я беру вашу мысль подальше, въ самомъ основа-

нія: потому не вѣримъ, что это наше: это маленькій образчикъ недовѣрія къ нашимъ народнымъ силамъ...

— Не поднимайте общественныхъ вопросовъ! прервала Лизавета Дмитріевна, смѣясь такъ же, какъ и обѣ ея гостьи: — вамъ не удаются эти вопросы. Должно быть, такова судьба Ивàновскаго, что они все за него поднимаются.

— Непремѣнно скажу ему это, сказалъ Аницкій.

Непогода продолжалась съ недѣлю; наконецъ, въ одинъ вечеръ, когда она немного поутихла, хотя было и поздно, Ивàновскій рѣшился идти къ Лизаветѣ Дмитріевнѣ, хоть на четверть часа: онъ не видѣлъ ея цѣлую недѣлю.

Не встрѣтивъ никого въ передней, онъ осмѣлился въ первый разъ войти безъ доклада.

Трауръ Лизаветы Дмитріевны кончился этимъ временемъ. Когда Ивàновскій вошелъ въ гостиную, Лизавета Дмитріевна стояла передъ зеркаломъ, въ бальномъ платьѣ, въ цвѣтахъ. Ивàновскій еще никогда не видѣлъ ея такую нарядную; онъ и не воображалъ ея никогда иначе, какъ въ черномъ. Онъ былъ пораженъ—такъ она была хороша; ея глаза блестѣли необыкновенно. Онъ смутился, чего-то испугался, и вмѣстѣ былъ радъ чему-то; ему показалось какъ-то особенно свѣтло; вѣтка зелени, которая падала съ ея черныхъ волосъ на плечи, была точно живая.

— Какъ же тамъ нѣтъ никого? сказала Лизавета Дмитріевна тихо горничной, которая подавала ей перчатки.—Что такъ поздно? обратилась она къ Ивàновскому.

— Вы уѣзжаете? спросилъ онъ, не смѣя взглянуть, потому что она подошла къ нему ближе.

— Да, сейчасъ.

— На балъ... Вы будете танцовать?

— Не хотѣлось бы, но, вѣроятно, буду. Что новаго съ вами? Вы не очень скучали?

— Не знаю...

— Я вамъ скажу хорошую новость: мой знакомый артистъ-скрипачъ Л. здѣсь, былъ у меня утромъ сегодня и будетъ завтра вечеромъ. Приходите непремѣнно, я зову только васъ; онъ просилъ, чтобъ не было гостей, но для васъ дѣлается исключеніе, потому что съ вами онъ хочетъ познакомиться. Не забудьте придти.

— Не забуду, сказалъ Ивàновскій, почти не слыша, что она говорила.

— Всего лучше, еслибъ онъ могъ васъ послушать. Гдѣ бы это? не поете ли вы завтра?

— Да, кажется, поемъ.

— Прекрасно; такъ я пошлю ему сказать. Прощайте же — до завтра. Приходите раньше, часовъ въ семь.

Она подала ему руку уже въ бѣлой перчаткѣ.

— Боже мой, какъ вы хороши! сказалъ онъ, не помня, какъ сказалъ это.

Онъ еще меньше помнилъ, какъ шелъ домой, въ темнотѣ, въ непогодѣ, въ мелкой вьюгѣ, которая вилась по площади; передъ нимъ мелькало что-то бѣлое, блестящее, золотые круги, какія-то яркія звѣзды. Озябъ ли онъ, онъ не зналъ; но, весь дрожа, онъ не уснулъ во всю ночь.

На другой день, зная, что его слушаютъ, онъ не могъ пѣть, и, пропѣвъ немного, ушелъ съ клироса.

— Усталъ я что-то, отвѣчалъ онъ на разспросы товарищей.

— Такъ, въ самомъ дѣлѣ, лучше не пойте, сказалъ регентъ, трепеща за «красу» своего хора:—натрудите грудь, долго ли до грѣха!..

Ивàновскаго томила какая-то безпредметная скука, капризъ, до тоски, до желанія выместить на чемъ нибудь или на комъ нибудь свое расположеніе духа. Досаднѣе всего было то, что онъ очень хорошо помнилъ, что счастливъ, но что въ эту минуту счастье его не радовало. Такъ, какъ-то, все не то, мало... Онъ шелъ въ свой флигель и уже входилъ подъ арку воротъ, когда услышалъ за собой звонкій, почти отчаянный голосъ, звавшій его по имени. Онъ остановился и оглянулся. Варвара Сергѣевна летѣла за нимъ, махая рукой и муфтой; завязки ея шляпки и полы шубы развѣвались по вѣтру; она рисковала упасть на обледенѣвшей дорогѣ, стараясь настичь баритона; но необразованный пѣвчій не сдѣлалъ ни шага, чтобъ сократить ея путь; онъ стоялъ, какъ вкопаный подъ воротами и только смотрѣлъ, какъ она бѣжала.

— Ахъ, Боже мой, какъ я устала! заговорила она, подбѣжавъ наконецъ, задыхаясь, мило смѣясь и протягивая ему руку.

Ивàновскій очень продолжительно освобождалъ свою изъ-подъ шинели, которую, сберегая горло, носилъ, поднявъ воротникъ до самыхъ глазъ.

— Право, я сначала не узнала васъ, продолжала Варвара Сергѣевна:—вижу, идетъ, закутавшись, такъ интересенъ, въ мѣху, потомъ вижу... вы. Скажите, вашъ батюшка...

Я вамъ кричала, кричала издалека. Неужели вы не слыхали?

— Нѣтъ.

— О, разсѣянный молодой человѣкъ! я на васъ буду жаловаться... Что-жъ вы ушли? что васъ побудило оставить вашъ постъ тамъ?

— Такъ вздумалось — и ушелъ.

— Что нибудь недаромъ? Признайтесь!.. Я слышала, вы часто бываете въ обществѣ. Какъ вы находите, какое оно производитъ на васъ впечатлѣніе?

«Какъ тебѣ на вѣтру горла не перехватитъ!» подумалъ Ивановскій и прибавилъ громко, грудной нотой, отъ которой охнуло эхо подъ воротами:

— Ухъ, какъ холодно!

— Что это, общество холодно!

— На дворѣ холодно, возразилъ баритонъ, кашлянувъ еще болѣе густой нотой и прячась въ воротникъ.

Варвара Сергѣевна разсмѣялась; впрочемъ, она все время говорила съ веселымъ одушевленіемъ.

— Нѣтъ, вы меня не проведете! вскричала она:—не перемѣняйте разговора! Впрочемъ, я уже въ такихъ лѣтахъ, что не могу быть опасна, и вы можете ко мнѣ съ полной довѣренностью, тѣмъ болѣе, что... Послушайте, однако: вашъ батюшка... Въ какихъ онъ отношеніяхъ съ отцомъ Лукою? я слышала, они дружески знакомы?

— Да, знакомы.

— Стало быть, я могу надѣяться... Сегодня праздникъ въ приходѣ отца Луки, стало быть, я могу надѣяться, что вечеромъ увижу у него вашего батюшку? Отецъ Лука приглашалъ на чашку чая... Вы будете? Что вы улыбаетесь?

— Мы тамъ не бываемъ, отвѣчалъ Ивановскій.

— Кто это «мы».

— Мы, пѣвчіе.

— О, молодой человѣкъ! я васъ понимаю, не играйте словами! Я знаю, что для васъ общество... «Вкусивъ горькаго, не восхощешь сладкаго...» Вы хотите сказать, что это только для насъ, стариковъ... Впрочемъ, я имѣю надобность видѣть вашего батюшку, а если вы интересуетесь знать зачѣмъ, такъ я вамъ не скажу.

— Я не интересуюсь.

— Но я не скажу, не скажу: я понимаю вашу уловку: вы хотите дать мнѣ почувствовать, что вы умѣете словами... Прощайте, однако, пустите меня, и безъ того я тороплюсь, а вы меня задержали. Вамъ время недорого, молодой человѣкъ: у васъ его въ жизни впереди много, а у меня... Прощайте же.

И ея рука опять изъ муфты протянулась за рукой Ивановскаго. Варвара Сергѣевна полетѣла по площади такъ же скоро, какъ Ивановскій убѣгалъ отъ нея во дворъ; она еще прокричала что-то ему вслѣдъ, но онъ ужъ не разслышалъ; онъ только отъ души разсмѣялся, и смѣхъ оживилъ его. Послѣ страннаго, вялаго расположенія духа, на него нашло вдругъ такое же странное, порывное веселье. Когда Ивановскій, придя домой, сдѣлалъ нѣсколько концовъ взадъ и впередъ по дортуару, это веселье кончилось слезами, хлынувшими вдругъ, какъ дождь, а слезы кончились крѣпкимъ сномъ. Такъ и застали его возвратившіеся товарищи.

Регентъ ухаживалъ за нимъ необыкновенно, такъ что, при доброй волѣ, Ивановскій могъ бы въ самомъ дѣлѣ принять свой капризъ за болѣзнь; но онъ помнилъ, что вечеромъ его звали, и едва начинались сумерки, начались и его прогулки отъ окна къ окну и обычное замираніе сердца.

— Вы никакъ куда-то собираетесь? спросилъ регентъ: — право, останьтесь лучше, чѣмъ нибудь займитесь: коли отдохнули, споемъ что нибудь, ваше любимое, классическое.

— Нѣтъ, благодарю васъ, Ѳедоръ Михайлычъ; мнѣ некогда, я сейчасъ ухожу.

— Да рано, всего семь часовъ, возразилъ регентъ, догадавшись, куда онъ сбирался.

— Нѣтъ, пора.

— Холодно! право, давайте лучше пѣть.

— Я не въ голосѣ.

— Ну, а на холодъ пойдете; онъ и вовсе у васъ пропадетъ; хороша будетъ штука! кричалъ ему вслѣдъ регентъ, когда Ивановскій ужъ накидывалъ шинель и бѣжалъ съ лѣстницы.

«Очень нужно было это говорить; только этого не доставало!» говорилъ про себя Ивановскій. «Человѣкъ и безъ того себя не помнитъ, разстроенъ: надо еще его смущать! Да вотъ не пропадетъ голосъ... Господи, Боже мой! что-жъ это такое? Только что начать жить, и вдругъ... Увижу сейчасъ знаменитость... Счастливецъ, этотъ ужъ добился! Что-то онъ скажетъ обо мнѣ? А я сегодня, какъ нарочно, спѣлъ Богъ знаетъ какъ. Но, право, я не могъ, не въ силахъ былъ пѣть лучше... Вѣдь этого не разскажешь. Лучше, еслибъ она была одна... хоть одну минуту застать ее одну».

Но первое, что онъ увидѣлъ въ передней, была шуба гостя и ящикъ со скрипкой.

— Мы васъ давно ждемъ, сказала Лизавета Дмитріевна, вставъ ему на встрѣчу:— мсьё Л., Алексѣй Алексѣичъ Ивановскій.

— Очень радъ, очень радъ познакомиться, сказалъ артистъ, потрясая руку Ивановскаго обѣими руками, по-дружески.—Вы къ намъ, въ Петербургъ? Прекрасно! Съ вашими средствами робѣть нечего; я и о васъ много слышалъ, и васъ слышалъ...

Артистъ былъ ужъ человѣкъ немолодой, съ пріятнымъ, оживленнымъ лицомъ, особенно яркими черными глазами и привѣтливо-живыми манерами, что ободряло и привязывало къ нему сразу. Ивановскій не воображалъ, чтобъ знаменитости обращались такъ просто и приступно; отвѣчая своему новому знакомому, онъ смотрѣлъ на Лизавету Дмитріевну: она казалась довольна имъ и за него. Разговоръ завязался. Артистъ разсказывалъ о другихъ своихъ знакомыхъ артистахъ, обращаясь къ Ивановскому, и часто прибавлялъ: «Вы его увидите; вы узнаете; вамъ надо у него быть...» Онъ разспрашивалъ Ивановскаго подробности о немъ самомъ, о хорѣ, о музыкѣ; для человѣка, страстнаго къ своему искусству, это былъ предметъ неистощимый.

— Этого мало, что мы толкуемъ, сказалъ онъ наконецъ:—я васъ мало слышалъ. Спойте. Лизавета Дмитріевна будетъ такъ добра, съиграетъ...

— Какъ же это? сказалъ Ивановскій, испугавшись:—я пою только духовную музыку...

— И классическую, вы говорили, пробовали. Здѣсь, смотрите, сколько сокровищъ, нотъ; вѣрно найдете что нибудь. Вы можете пѣть à livre-ouvert, конечно...

— Что-жъ я буду дѣлать? сказалъ Ивановскій Лизаветѣ Дмитріевнѣ, между тѣмъ какъ его новый знакомый бросился къ этажеркѣ и живо перебиралъ тетради.

— Ничего, споете! отвѣчала тихо и весело Лизавета Дмитріевна: — вы и сами не знаете, какъ вы сильны; попробуйте.

— Вы всегда меня ободряете; одно ваше слово....

— Пойдемте, сказала она, уводя его за руку къ роялю.—Какъ я рада, вы будете дебютировать при мнѣ. Въ добрый часъ!... Не ищите далеко, сказала она артисту: — вотъ что есть у меня, Stabat Mater; вотъ арія баритона...

— Я это знаю, сказалъ ей тихо Ивановскій.

— Начинайте же! вскричалъ артистъ.— Сдѣлайте одолженіе, Лизавета Дмитріевна...

У Ивановскаго зарябило въ глазахъ, когда онъ увидѣлъ тетрадь, развернутую на пюпитрѣ, услышалъ первые акорды, когда Лизавета Дмитріевна обратила къ нему свои свѣтлые глаза и сказала: «Начинайте». Но ея же взглядъ и сдѣлалъ то, что онъ началъ смѣло и пѣлъ, думая не о томъ, что его слушаютъ, а о томъ, что она играетъ для него, что если это успѣхъ, она помогаетъ его успѣху, благословляетъ его «въ добрый часъ...»

Съ послѣдней нотой, еще глядя на руки Лизаветы Дмитріевны, Ивановскій почувствовалъ себя въ объятіяхъ артиста.

— Чудо! восклицалъ онъ: — какая свѣжесть, какая сила! выразительность!.. Нѣтъ еще навыка, да это придетъ. Поздравляю васъ, мой милый, vous avez là toute une fortune.

Онъ показывалъ на горло. Ивановскій смотрѣлъ на Лизавету Дмитріевну.

Она была въ восхищеніи; ея лицо, казалось, было сотворено, чтобъ выражать радость за другихъ, это лучшее чувство, и, выражая его, освѣщалось дѣтской искренностью, безконечной добротой; ея красота радовала...

— Поздравляю васъ, сказала она:—вотъ начало и сдѣлано! и какъ удачно! Знаете ли, какой строгій судья передъ вами? Я только не хотѣла пугать васъ... Теперь вы вѣрите, что у васъ талантъ?

— А вы еще сомнѣвались? спросилъ весело артистъ:—нѣтъ, теперь кончено, и вы нашъ. Когда свидимся? скажите опредѣленнѣе, когда пріѣдете къ намъ?

Онъ давалъ Ивановскому совѣты, распоряжался за него заранѣе; это повело опять къ разсказамъ, толкамъ объ искусствѣ. Ивановскій слушалъ: такой разговоръ былъ для него новостью. N-ское общество, даже лучшее, которое удалось ему видѣть у Лизаветы Дмитріевны, говорило о подобныхъ предметахъ вскользь, слегка; въ сужденіяхъ этого общества не было того глубокаго, вѣрнаго пониманія, того жаркаго участія души, которое въ разговорѣ артиста замѣчалось сразу; въ его рѣчахъ было что-то рѣзко-опредѣленное и вмѣстѣ до совершенства изящное. Ивановскій въ первый разъ видѣлъ настоящую образованность; онъ понялъ, что она придавала прелесть и жизнь всему, что говорилось такъ просто, такъ ясно; онъ понялъ, или, вѣрнѣе, почувствовалъ еще другое: то, что истинная образованность не пугаетъ... Онъ восхищался тѣмъ, что все это было ему понятно и еще болѣе, слушая Лизавету Дмитріевну; онъ никогда

еще не слыхалъ, чтобъ она такъ говорила; никогда не выказывала она столько увлеченія, чувства и знанія съ той свободой, которая составляетъ удовольствіе разговора съ людьми одинакаго образованія и одинакихъ понятій. Она казалась Ивановскому еще совершеннѣе...

Ивановскій не видѣлъ, какъ шло время; онъ цѣлый вѣкъ остался бы такъ, на этомъ уютномъ диванчикѣ, съ тѣмъ, что было предъ его глазами, съ тѣмъ чувствомъ, которое было у него въ сердцѣ... Онъ не понималъ, чтобъ это наслажденіе могло прерваться.

— Знаете что? сказалъ вдругъ Л., взглянувъ на часы: — я скоро прощусь съ вами; я ѣду рано завтра, на зарѣ; надо отдохнуть. Сыграемъ что нибудь вмѣстѣ, на прощанье.

Лизавета Дмитріевна согласилась и, вставая, чтобъ идти къ роялю, сказала Ивановскому:

— А вы будете наша публика: мы играемъ для васъ...

Подъ предлогомъ, что нехорошо видитъ, артистъ собралъ всѣ свѣчи на рояль. Ивановскій остался на диванчикѣ, глядя на освѣщенный конецъ комнаты.

Онъ собрался съ мыслями, оставшись одинъ, и сдѣлалъ это въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ въ его жизни совершился переворотъ; только теперь молодой человѣкъ сознавалъ его ясно и видѣлъ безъ страха. Все, что было у него чувствъ, мыслей, понятій, привычекъ — все было взволновано и потрясено; нравственно и матеріально въ его жизни столкнулись страшныя противоположности, вытолкнули его изъ его среды и бросили туда, гдѣ съ прежней средой не было ничего общаго. Люди, высшіе по своему положенію въ обществѣ, доказали, что считаютъ себѣ равнымъ семинариста, передъ которымъ, бывало, не вставалъ и лакей, дремавшій въ передней. Этотъ семинаристъ, которому, бывало, праздникомъ, въ диковинку заглянуть съ улицы въ окно на «балъ» столоначальника, будетъ принятъ, уже принятъ въ кругъ, выше и блестящѣе котораго есть круги, но умнѣй и образованнѣе нѣтъ... Образованность! Какъ, бывало, измучась ученьемъ наизусть, бѣдный семинаристъ радъ разрозненной книжкѣ журнала! А теперь, какой просторъ! цѣлый свѣтъ открытъ, была бы охота учиться!.. Голова закружится отъ всего этого. Съ нимъ совершаются не перемѣны, а крайности; ему, бѣдняку, у котораго не былъ обезпеченъ даже завтрашній день, пророчатъ богатство! его семья рубитъ капусту, а онъ собирается въ Италію!.. Въ его душѣ все затронуто, все возбуждено — любопытство, забота, честолюбіе; подняты всѣ надежды, со всей силой, со всей пылкостью двадцати двухъ годовъ и невѣдѣнія свѣта... И вотъ первая минута, въ которой все является не только сбыточнымъ, возможнымъ, но вѣрнымъ...

Это была первая минута отдыха и Ивановскій испытывалъ наслажденіе, какого еще не зналъ. Его волненіе улеглось; онъ вздохнулъ свободно; прошлое, вчерашнее, даже то, что было за часъ, казалось ему уже далеко. Онъ уже жилъ тѣмъ, что прежде только придумывалъ. Онъ уже былъ человѣкъ этого общества, меньшой баловень въ благородной семьѣ талантливыхъ людей; изящное удобство, довольство, которое было предъ его глазами, было уже его; онъ былъ покоенъ. Если и дрожало сердце, то отъ тихой, радостной благодарности Богу, и еще отъ одной, жгучей, безумной надежды, которая освѣщала все, давала счастью цѣль и значеніе.

Ивановскій слушалъ и смотрѣлъ передъ собою въ ту сторону, откуда достигали къ нему свѣтъ и звуки... Для глазъ, утомленныхъ отъ волненія, свѣтъ сливался въ одинъ яркій кругъ; звуки захватывали дыханіе; казалось, вся жизнь переживалась въ одно мгновеніе, возрождалась опять, опять томила блаженствомъ и опять обрывалась. Лучше подобныхъ минутъ не бываетъ...

— А вы хорошо понимаете вещи! сказалъ Л., кончивъ играть и подходя къ Ивановскому, который смотрѣлъ на него, ничего не помня.—Взгляните на него, Лизавета Дмитріевна: пріятно было бы имѣть все такихъ слушателей. До скораго свиданія въ Петербургѣ, мсьё Ивановскій! Будьте увѣрены заранѣе, что найдете тамъ друзей, меня въ числѣ ихъ, конечно.

Онъ простился съ Лизаветой Дмитріевной; она провожала его до двери.

— Вы счастливы? спросила она, возвращаясь и подходя къ Ивановскому:—вы видите теперь, все это не сонъ?

— Нѣтъ, дѣйствительность!

— И будетъ еще лучше, говорю вамъ опять.

— Можетъ ли быть лучше?

— Почему же нѣтъ?

— Лучше настоящей минуты?

— Это только начало, а тому, кто такъ благодаренъ, Богъ пошлетъ и больше.

— Еслибъ только... еслибъ составить себѣ имя, извѣстность... перевоспитать себя...

— Вотъ этотъ человѣкъ, что сейчасъ вы-

шелъ, сдѣлалъ все это; кто же мѣшаетъ и вамъ?..

— И вы думаете, что я достигну того же?

— У васъ благородныя понятія; вы любите все доброе и прекрасное. Я увѣрена, вы сдѣлаете все для вашего образованія. Все ли удастся вамъ въ жизни—одинъ Богъ знаетъ; но все возможно...

— А вы... желаете, чтобъ мнѣ удалось?

— Такъ отъ души, какъ могутъ желать только родные.

— Но еслибъ вы знали, чего я хочу, еслибъ я смѣлъ сказать...

— Скажите все; вы мнѣ всегда все говорили.

— Нѣтъ, я не знаю... Нѣтъ, я этого никогда не рѣшусь сказать вамъ, я не могу вамъ этого сказать... Богъ знаетъ, что со мною... Это одна моя мысль, одна моя мечта съ того самаго дня, съ того вечера, вотъ, здѣсь... вы говорили... Это невозможно! этого сказать нельзя... это вся моя жизнь... Господи, что-жъ будетъ со мною?.. Еслибъ вы знали... Ради Бога, позвольте мнѣ хоть минуту еще здѣсь остаться, еще одну минуту, недолго...

Онъ сѣлъ молча, глядя предъ собою, иногда закрывая глаза, какъ въ испугѣ. Лизаветѣ Дмитріевнѣ стало жаль его: кто знаетъ, какое горе или какая тайна были на душѣ бѣднаго молодого человѣка, и безъ того измученнаго, хоть и счастьемъ, но счастьемъ неожиданнымъ, непривычнымъ?

— Что съ вами? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Простите меня, ради Бога! сказалъ онъ, отнимая руки отъ своего пылавшаго лица.

— Полноте, въ чемъ?

— Я такъ счастливъ... Когда нибудь... Богъ милостивъ, сбудется то, чего я прошу!

— Конечно сбудется, если вы просите хорошаго; дай Богъ!

— Ахъ, и вы это говорите!

— Когда же я говорила что нибудь другое за васъ?.. Богъ васъ сохрани. Будьте веселы, спокойны; пусть радость будетъ вамъ въ настоящую радость.

— О, Господи!..

— Право, вы больны, вы разстроены—это дурно. Идите домой, успокойтесь. Не думайте лучше ни о чемъ, если все васъ мучитъ.

— Нѣтъ, не могу не думать...

Ивановскій замолчалъ, оглянулся кругомъ съ тревогой, почти съ испугомъ, потомъ вдругъ всталъ.

— Прощайте... сказалъ онъ.—Какъ здѣсь хорошо! всѣ мои лучшіе дни были въ этой комнатѣ! Какъ я тогда вошелъ въ нее... Что-жъ это со мной?

Онъ закрылъ лицо, стараясь опомниться.

— Прощайте, повторилъ онъ.—Благодарю васъ за все...

Онъ взялъ руку, которую подала ему Лизавета Дмитріевна, хотѣлъ поцѣловать ее и удержался отъ смущенія, отъ какого-то страннаго чувства; онъ только сжалъ ее крѣпко. Ему хотѣлось сказать еще что-то, самъ не зналъ что; онъ чувствовалъ, что у него недостаетъ дыханія; онъ осмѣлился только, все держа и сжимая руку Лизаветы Дмитріевны, взглянуть ей прямо пристально въ глаза, и ушелъ, не сказавъ больше ни слова и не оглядываясь...

XV.

На другой день Лизавета Дмитріевна встала съ хлопотами. Она сбиралась ѣхать изъ N и, пользуясь ясной погодой, которая, казалось, обѣщала простоять нѣсколько времени, отправляла въ деревню свои вещи. Рояль былъ вынесенъ и уложенъ; этажерки съ книгами опустѣли; зеркала, красивыя бездѣлки на столикахъ, пяльцы, которыя придавали нарядной гостиной какую-то привѣтливую простоту, исчезли. Сдвинувъ какѣ можно удобнѣе столы, диванчики и рѣшетки съ зеленью, Лизавета Дмитріевна старалась какъ нибудь скрыть отъ самой себя эту скучную пустоту, которую ей нужно было видѣть предъ собой еще дня два. Разоренная комната наводитъ тяжелое впечатлѣніе: въ ней какъ-то звонко, какъ-то особенно свѣтло; изъ нея вынесены только вещи, а кажется, будто ее оставили люди... Уставъ отъ приказаній, неизбѣжнаго безпорядка и стука, Лизавета Дмитріевна была рада усѣсться на мѣстѣ и открыть рабочій ящикъ, который оставила себѣ въ утѣшеніе. Она даже измѣнила своимъ привычкамъ и рано спросила обѣдать—такъ длиненъ показался ей рано начатый день.

Она встала изъ-за стола, когда сильный и рѣзкій звонокъ заставилъ ее вздрогнуть; вслѣдъ затѣмъ она услышала въ передней голосъ Ивановскаго. «Дома? принимаетъ?» И дверь отворилась прежде отвѣта.

Пѣвчій не вошелъ, а вбѣжалъ; онъ, видно, бѣжалъ всю дорогу, потому что, запыхавшись, не могъ выговорить слова; онъ былъ блѣденъ, въ старенькомъ сюртукѣ, безъ перчатокъ; волосы смяты.

— Что съ вами? сказала, испугавшись, Лизавета Дмитріевна.

Онъ, не отвѣчая, бросился въ первое кре-

сло, которое встрѣтилось, схватилъ себя обѣими руками за голову и зарыдалъ; у него, казалось, достало силъ терпѣть только до этой минуты.

— Что съ вами случилось? повторяла Лизавета Дмитріевна.

— Отецъ... мой отецъ... проговорилъ онъ, рыдая.

— Выпейте воды, ради Бога... Что вашъ отецъ?

— Отецъ нашелъ мнѣ мѣсто! отвѣчалъ онъ почти съ крикомъ.

Лизавета Дмитріевна обомлѣла.

— Вчера... началъ Ивановскій:—сегодня утромъ я пошелъ къ нему спросить его, что же мое увольненіе... Я хотѣлъ... я хотѣлъ вслѣдъ за вами... въ Петербургъ... Господи, Творецъ мой! что-жъ я сдѣлалъ, чѣмъ я виноватъ? За что же Ты меня наказуешь? Развѣ я хотѣлъ худого? Все для нихъ; они бы покойны были, я бы жизнь мою за нихъ положилъ... я никогда отца не ослушался; если и шалилъ я—Боже мой! давно ли я изъ ребятъ вышелъ... Не все ли равно имъ, гдѣ бы я ни былъ?.. За что же, за что же отнимать у меня, когда вся моя душа... когда я не могу...

— Ради Бога, прервала Лизавета Дмитріевна, взявъ его за руки:—успокойтесь хоть на минуту, скажите мнѣ...

— А! Теперь все кончено! вскричалъ онъ съ отчаяніемъ, которое взорвалось отъ ея ласковаго слова:—мѣсто, мѣсто нашли, женятъ меня! Женятъ, Господи, свяжутъ, женятъ!

— Кто это придумалъ? Опомнитесь, скажите.

— Эта гадкая... Вы о ней не слыхали, Варвара Сергѣвна, вчера... чай тамъ пили у кого-то, прохлаждались... Она къ батюшкѣ... Мѣсто есть, въ В* уѣздномъ гоородѣ открылось. «Вашему сыну, говоритъ; вы должны за него просить»... Смерти моей просить—все равно!.. Я въ ноги упалъ батюшкѣ... Боже мой, Владыко мой, защити меня!.. Нѣтъ, кончено, все кончено!

— Не кончено, возразила Лизавета Дмитріевна:—придите въ себя; вашъ отецъ еще не подавалъ просьбы...

— Подастъ!

— Но вы сами скажите ему, скажите безъ отчаянія, но твердо, что вы не можете, что противъ призванія не должно идти — онъ это и самъ знаетъ... Вы это говорили—да?.. Такъ представьте ему, что и другія дороги равно выгодны: что семью вы, все равно, не забудете...

— Я все говорилъ, все, все сказалъ, что могъ! вскричалъ Ивановскій.

— Вы говорили ему, что вы должны заняться своимъ талантомъ, что вы успѣете навѣрное...

— Какое «вѣрное»—фантазія, онъ говоритъ, вздоръ, гадательное!

— А здѣсь!

— Здѣсь кусокъ хлѣба.

— Но что же за кусокъ хлѣба? Тамъ выгоднѣе, лучше, если ужъ разсчитывать выгоды. Вы сказали, что вчера говорилъ вамъ знаменитый артистъ?

— Говорилъ... «Тебя, говоритъ, потѣшить хотѣли, посмѣялись надъ тобой, а ты и повѣрилъ, Богъ знаетъ, что о себѣ возмечталъ»... Я напомнилъ ему, какъ онъ самъ радовался, что у меня хорошъ голосъ. «Я, говоритъ, радовался, я тебя и отпускалъ, потому что все равно тебѣ, что здѣсь, что тамъ быть неустроеннымъ; но теперь здѣсь вѣрное; я на твои фантазіи не польщусь. Ты себя погубить хочешь, а я тебя спасаю»...

— Отъ чего же спасаетъ, когда тамъ и выгоды, и извѣстность, и образованіе?...

— Развѣ у насъ это понимаютъ?

— Когда тамъ общество, которое вамъ необходимо?

— Онъ говоритъ, что я загордился!

— Но вы должны сказать, что будете приняты въ обществѣ, что вы ужъ приняты...

— Онъ засмѣялся! сказалъ, что я совсѣмъ безумный, и рукой махнулъ; онъ говоритъ: «кто тебя, семинариста, знать захочетъ?»... Вотъ оно, вотъ, помните, что мы говорили здѣсь въ первый разъ...

— Но развѣ вы не сказали ему, что это составитъ ваше несчастье? вскричала Лизавета Дмитріевна съ отчаяніемъ.

— Господи Боже мой! Онъ крестится, со слезами говоритъ, что любитъ меня, что хочетъ мнѣ добра, а я себя гублю! «Ты, говоритъ, заблуждаешься; какого ты успѣха ждешь? гдѣ тебѣ? что ты такое? Развѣ изъ нашего рода удавалось кому нибудь? Ты пропадешь—и только. Неужели ты думаешь, что я для тебя не сдѣлалъ бы все, что возможно, все на свѣтѣ, по любви моей къ тебѣ, не поставилъ бы тебя выше всѣхъ, не отдалъ бы тебѣ всего на свѣтѣ, не благословилъ бы тебя на все, еслибъ тебя это къ чему нибудь хорошему вело? А это ни къ чему не поведетъ. Я не хочу, чтобъ ты себя губилъ. Ты мнѣ дорогъ, но ты упрямишься, а я отецъ любящій, воля моя непреклонная; я насильно твое счастье сдѣлаю... Сжалься, говоритъ потомъ: тебя отецъ умоляетъ!»

— Боже мой!...

— А тамъ упрекать начали всѣ, что я ихъ не люблю, что я хочу ихъ бросить, бѣжать отъ нихъ; что мнѣ все равно, что они въ крайности... Лучше не напоминайте! вскричалъ онъ, зарыдавъ снова.

— Скажите прямо, что вы не хотите, не согласны...

— Сказать это отцу! Господи!.. Вы меня знаете, я вамъ мою совѣсть открою: никогда въ жизни я не смѣлъ поступать противъ него; онъ послѣ Бога... Даже теперь, среди всѣхъ моихъ страданій, я вижу, какъ онъ меня любитъ... Но онъ не понимаетъ—я вижу теперь, что онъ не понимаетъ! Еслибъ ему, какъ вы мнѣ, въ молодости кто нибудь внушилъ, растолковалъ, что мы не пропащіе люди, что изъ насъ можетъ быть что нибудь... А ему этого никто не говорилъ... Онъ моего горя не можетъ понять, а я—какъ я рѣшусь ему противорѣчить? Мнѣ страшно вымолвить, страшно подумать, что я всю мою жизнь, всю мою участь перемѣню безъ благословенія, подъ гнѣвомъ отца. Мнѣ это будетъ вѣчный укоръ; это меня свяжетъ, это меня послѣднихъ силъ, разсудка лишитъ. Клянусь вамъ всѣмъ, что свято, вотъ моя мысль! А повиноваться не могу, не могу!... Вы это знаете лучше, нежели кто другой...

— Онъ проститъ васъ.

Ивàновскій зарыдалъ, не отвѣчая.

— Хотите, я поговорю ему за васъ?

Онъ покачалъ головою.

— Напишу ему? попрошу его придти ко мнѣ?

— Нѣтъ, напрасно!

— Пойду сама къ нему?

— Нѣтъ, нельзя... хуже будетъ; и безъ того они говорятъ... Всего не перескажешь!.. Боже мой! вотъ чѣмъ жизнь кончилась, едва началась, въ двадцать два года! Вчера, только... Вчера, покуда я тутъ былъ, тутъ у васъ... это какъ громъ на меня упало! И вы ѣдете, вы ѣдете! Что-жъ я останусь безъ васъ?..

Лизавета Дмитріевна не могла равнодушно видѣть слезъ, капавшихъ у него между пальцами.

— Послушайте, сказала она:—полноте; подождите, будемъ говорить. Что, это мѣсто хорошее?

— Какъ, и вы меня хотите уговаривать?

— Что вы, Богъ съ вами!.. Но хорошо это мѣсто?

— Мѣсто хорошее, но мой отецъ никогда не былъ корыстолюбивъ. Это дѣлается только изъ желанія спасти меня.

— Но если мѣсто хорошо, значитъ, многіе будутъ его просить...

— Конечно, двадцать охотниковъ найдется. Ужъ Сіянскаго отецъ пріѣзжалъ, кланялся...

— Тѣмъ лучше! Значитъ, вамъ могутъ и не дать.

— Могутъ, повторилъ Ивàновскій, поднявъ голову и слушая.

— Вѣдь это дается по разрядамъ, по заслугамъ?

— Да.

— Какія ваши заслуги?

— Никакихъ... Я почти послѣдній вышелъ... Что я не догадался ужъ заодно нашалить, чтобъ меня исключили!

— А Сіянскій этотъ, какъ вы назвали, что онъ?

— Изъ первыхъ... Да у него голоса нѣтъ; тамъ, въ городѣ, парадъ нуженъ, прибавилъ онъ, заплакавъ опять тихонько.

— Вѣрно найдутся и еще съ голосами?

— Изъ пѣвчихъ, можетъ быть...

— Прекрасно! Спросите. Кто бы ни вздумалъ, я найду чрезъ кого попросить...

— Ахъ, ради Бога! вскричалъ онъ, оживая:—можетъ быть, какъ нибудь... А я еще попрошу, еще скажу батюшкѣ... Все же онъ мнѣ отецъ, какъ я его ни прогнѣвлю, онъ до конца не захочетъ... онъ меня любитъ... Вы знаете, вы все знаете! Каково мнѣ на душѣ, могу ли я жить... Я потерялся, ничего не помню, не знаю... я на все готовъ... Еслибъ вы знали... еще сегодня, проснувшись, я былъ такъ счастливъ, такъ покоенъ, и вдругъ... Я себя не помню, съ утра... что я вынесъ...

— Это видно; вы на себя не похожи...

— Извините меня, сказалъ онъ сквозь слезы, взглянулъ на свой нарядъ и тутъ только вспомнивъ о его безпорядкѣ:—все это, такъ... Что со мной будетъ? какъ же это такъ, все кончено, все прервано?.. И вы уѣзжаете... что же это такое? Господи!

— Послушайте, перестаньте, сказала Лизавета Дмитріевна:—опомнитесь; вы не дитя, не теряйтесь, будьте тверды; для васъ послѣднее несчастье—потеряться; тутъ дѣло идетъ о вашемъ будущемъ...

— Мое будущее! Да знаете ли вы, какое я себѣ представлялъ будущее?.. Нѣтъ, Боже мой! нѣтъ, я не могу, я упаду ему въ ноги, я буду лежать, умолять... я сейчасъ пойду, опять пойду, пойду къ товарищамъ... О, я съ ума сойду! прощайте... Позвольте мнѣ зайти къ вамъ опять сегодня.

— Приходите, непремѣнно приходите; если не придете, я пошлю къ вамъ узнать.

Скажите, если я могу что сдѣлать, все сдѣлаю...

— Нѣтъ, не присылайте, не надо...на что? Я знаю, что я погибъ; тутъ ничѣмъ нельзя помочь...

Онъ вышелъ на улицу, не чувствуя ни холода, ни вѣтра, который дулъ въ его разгорѣвшееся лицо и захватывалъ дыханіе. Онъ ничего не чувствовалъ — онъ бѣжалъ; ему хотѣлось броситься на землю и рыдать...

Два раза подходилъ онъ къ воротамъ отцовскаго дома и уходилъ назадъ, не рѣшаясь войти. Бродя по площади, по берегу, уставая и раздражаясь, онъ успѣвалъ увѣрить себя, что его просьбы, мольбы, отчаяніе превозмогутъ непреклонную волю, которую онъ слишкомъ хорошо зналъ, которой противорѣчить не смѣлъ, которую чтилъ свято. Онъ увѣрялъ себя, что если, ребенкомъ, стѣсняли его и заставляли повиноваться, то дѣлали это для его пользы, для его будущаго; но теперь, неужели не захотятъ понять, что онъ самъ уже можетъ думать за себя, что онъ избралъ себѣ дорогу, рѣшился, что въ этомъ рѣшеніи его жизнь? Невозможно! Неужели не поймутъ и горя? Вѣдь онъ единственный, онъ, говорятъ, любимецъ!..

«И зачѣмъ я узналъ все это, зачѣмъ я понялъ, зачѣмъ я ко всему этому привязался!» говорилъ онъ самъ себѣ: «что я такое — я? Такъ бы и оставался. Нѣтъ! надо было проглянуть, прозрѣть... Видно, судьба!.. Но я не могу, не хочу; такъ и скажу имъ, скажу всѣмъ — пусть что хотятъ дѣлаютъ; насильно меня не схватятъ. Самъ потребую увольненіе, уѣду безъ увольненія... добрые люди похлопочутъ...»

Но, положивъ руку на кольцо калитки, онъ останавливался, его рука холодѣла, ноги не двигались; то, что представлялось ему за порогомъ дома—повтореніе того, что уже было поутру—было ужасно.

«Завтра!» думалъ онъ, отходя. «Онъ ко мнѣ самъ придетъ, спроситъ: что, рѣшился? Я скажу: нѣтъ, стою на своемъ. За ночь и онъ, дастъ Богъ, одумается... Господи, внуши ему!.. Вотъ у нихъ огонь зажгли. Сидятъ, обо мнѣ толкуютъ. Тутъ, спора нѣтъ, всѣ рады. Это не гадательное, это кусокъ хлѣба... а каковъ онъ мнѣ, этотъ кусокъ!..»

Онъ прижался лицомъ къ столбу у воротъ и стоялъ-стоялъ, не помнилъ, какъ долго. Темнѣло. Онъ повторялъ себѣ только два слова: «войти или нѣтъ?» отъ которыхъ всякій разъ вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ...

«Выбираютъ невѣсту»... прошло вдругъ у него въ головѣ; и еслибъ въ эту минуту его руки не схватились за столбъ, молодой человѣкъ упалъ бы; у него зазвенѣло въ ушахъ, предъ глазами забѣгали красныя пятна; ему сдавило горло; онъ хотѣлъ вскрикнуть и не могъ... Его привелъ въ чувство порывъ вѣтра, который сорвалъ съ него фуражку.

«Уѣдетъ надняхъ...» сказалъ онъ, оглядываясь на берегъ, на темное поле, по которому бѣлѣли рѣдкія полосы тонкаго перваго снѣга: «уѣдетъ... Что бы тутъ ни было, одинъ конецъ! Все равно, все кончено, послѣдніе мои дни, послѣдніе часы... хоть еще разъ увидѣться»...

Онъ побѣжалъ мимо бѣлой стѣны архіерейскаго сада; деревья, скрипя, махали нагими вѣтками. Двѣ темныя фигуры мелькнули у соборной террасы: это были товарищи-пѣвчіе, возвращавшіеся домой; они окликнули Ивановскаго, узнавъ его. Ивановскій, не отвѣчая, шелъ дальше. Когда онъ поравнялся съ соборной колокольней, ея часы глухо пробили семь. Вѣтеръ вертѣлъ мелкій сухой снѣгъ на площади; въ городѣ тускло мерцали красные, туманные огни. Не видя ничего передъ собою, Ивановскій чуть не сбилъ съ ногъ какого-то прохожаго господина, который назвалъ его невѣждой и еще грозилъ долго и очень громко; но Ивановскій ничего не слышалъ.

— Что новаго? спросила его Лизавета Дмитріевна, когда онъ явился передъ нею.

— Ничего, отвѣчалъ Ивановскій.

— Вашъ батюшка?..

— Я у него не былъ. До завтра.

— Ваши товарищи? Вы видѣли кого нибудь?

— Я нигдѣ не былъ. — Да все равно: ни одинъ не захочетъ, я вспомнилъ.

Онъ сѣлъ. Взглянувъ на него, Лизавета Дмитріевна убѣдилась, что онъ былъ не въ состояніи ничего ни дѣлать, ни думать. Его трудно было узнать: съ лица исчезъ даже признакъ румянца, опухшіе глаза едва смотрѣли, плечи вздрагивали. Сѣвъ, онъ согнулся, какъ старикъ, опустя голову. Это было тихое, покорное, совершенно безсильное, убивающее уныніе.

— Вы больны, сказала Лизавета Дмитріевна, дотронувшись до его холодной руки.

— Нѣтъ.

— Вы озябли.

Она спросила чаю.

— Гдѣ-жъ вы были весь день?

— Не знаю... нигдѣ... на улицѣ.

— Что вы дѣлаете съ собою!

— Все равно.

— Выпейте горячаго, согрѣйтесь. Вы не обѣдали?

Онъ взялъ отъ нея чашку, вдругъ поставилъ ее на столъ и закрылъ лицо руками: у него не было ужъ и слезъ.

— Въ первый разъ, здѣсь, на этомъ мѣстѣ, помните... помните...

— И теперь не послѣдній, возразила Лизавета Дмитріевна: — Богъ милостивъ, не здѣсь, такъ въ другомъ мѣстѣ, вы придете ко мнѣ, а я васъ съ радостью встрѣчу. И тѣмъ больше радость будетъ, что горе было. Все перемѣнится — увидите. Вы отложили до завтра переговорить съ отцомъ?

— Я и самъ не знаю, что дѣлаю. Это все напрасно будетъ.

— Почему же напрасно?

— Ничто не поможетъ; не уговоришь... Вы по себѣ судите; а развѣ у насъ такъ понимаютъ? Тутъ надо переубѣдить, а это у насъ вѣковое... Онъ пойдетъ просить; ему скажутъ: «пусть сынъ подаетъ просьбу...»

— Такъ что же? Стало быть, это отъ васъ зависитъ? Не подавайте.

— Но какъ же я осмѣлюсь идти противъ отцовской воли? Ему разрѣшатъ, ему обѣщаютъ, а я вдругъ... Такъ нельзя!

— Какъ же можно?

— Не знаю... Знаете что? не будемъ говорить объ этомъ; я не могу. До завтра, что Богъ дастъ, съ силами сберусь вынести.

Онъ опять опустилъ голову, закрывъ глаза.

— Долго это можетъ продлиться? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Если откажутъ, то скоро кончится. Придетъ батюшка съ поклономъ и съ просьбой, скажутъ: нѣтъ—и все кончено.

— Что, если скажутъ «нѣтъ!»

Ивàновскій не отвѣчалъ.

— А то это мученье долгое, проговорилъ онъ, сжимая губы и ломая пальцы...—Я тогда буду завидный женихъ: станутъ еще разбирать, какую бы невѣсту взять побогаче. Смотры начнутся. Потомъ всѣ эти церемоніи... Хоть бы разомъ, скорѣе...

Лизавета Дмитріевна смотрѣла на него съ ужасомъ: онъ говорилъ тихо, безъ выраженія, какъ въ бреду.

— Скажите мнѣ, что могу я сдѣлать? вскричала она.

— Да ничего. Что-жъ вамъ дѣлать?

— Нѣтъ, я хочу видѣть вашего отца, я ему скажу...

— Вы хуже сдѣлаете.

— Но я уѣду чрезъ три дня... Скажите, не нужно ли чтобъ я осталась, просила кого нибудь? Нѣтъ?... Ну, рѣшитесь, уѣзжайте сами; если вамъ что нужно, деньги — возьмите; адресъ моего дяди у васъ есть, вы и меня найдете чрезъ него...

— У меня нѣтъ увольненія; отецъ все откладывалъ его брать самому. Теперь и не допуститъ меня взять. Что же мнѣ — бѣжать? Меня воротятъ по пересылкѣ.

— Вы меня въ отчаяніе приводите! сказала Лизавета Дмитріевна. — Я останусь еще—хотите?

— Нѣтъ; это судьба!.. Да въ три дня все рѣшится... Завтра рѣшится.

— Слушайте, сказала она: — завтра, когда уговорите отца, ужъ заодно просите, чтобъ васъ уволили изъ хора. Сдѣлайте все разомъ, а тамъ уѣзжайте вслѣдъ за мной въ Петербургъ. Если васъ что нибудь задержитъ, если вы промѣшкаете пріѣхать, я вамъ напишу, и вы напишите мнѣ, на имя дяди...

Ивàновскій не отвѣчалъ; неподвижно глядя передъ собою, онъ, казалось, ничего не понималъ.

— Слышите ли вы, что я вамъ говорю? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Слышу, слышу, вскричалъ онъ:—помолитесь за меня, васъ Богъ услышитъ! Что вы мнѣ говорите! Развѣ я не знаю... ничего не сбудется, я не увижу васъ больше никогда... Ну, вы останетесь еще день, два... что мнѣ день, два дня!.. Лучше не мучьте меня, не говорите мнѣ ничего!

Онъ упалъ головой на столъ, въ отчаяніи, плакалъ, вскрикивая, ломая руки, рыдалъ до истощенія.

— Бѣдное дитя, вы себя уморите! Опомнитесь! повторила Лизавета Дмитріевна, тоже не удерживаясь отъ слезъ.

Онъ скоро опомнился; у него недостало больше силъ терзаться; онъ опять притихъ въ болѣзненномъ утомленіи, въ совершенномъ безсиліи.

— Нѣтъ, я не уѣду, не узнавъ, чѣмъ все рѣшится! сказала Лизавета Дмитріевна.—Я во всемъ виновата, я вамъ натолковала... Что я сдѣлала!

— Ни въ чемъ вы не виноваты, возразилъ Ивàновскій кротко и тихо.—Я еще не зналъ васъ, какъ ужъ не зналъ куда дѣваться. Другому сколько хотите толкуйте, не натолкуете, если самъ не захочетъ. Вы сдѣлали то, что я былъ счастливъ, жилъ какъ человѣкъ цѣлые пять мѣсяцевъ, съ того дня, какъ васъ встрѣтилъ. Бывало, ску-

чно ли, тяжело ли, вспомнишь о васъ—легче станетъ. Бѣжишь къ вамъ сломя голову. Вообразишь васъ, ваше лицо, вашъ голосъ— и засыпаешь, какъ въ раю. Богу молишься, ваше первое имя на молитвѣ; поешь — чувствуешь, что въ самомъ дѣлѣ, не просто это, а жертву Богу приносишь способностями, которыя Онъ далъ... Вѣдь это вы мнѣ растолковали, все вы! Пусть Богъ вамъ за все воздастъ! Какъ мнѣ ни тяжело, какъ мнѣ ни горько теперь, а не хочу я безчувствія, безпонятливости прежней... Если и входило мнѣ въ голову, что лучше бы ничего не знать, то это было такъ, съ отчаянія. А теперь... не знаю отчего, ужъ очень ли вѣрно я понялъ свое горе, но мнѣ тяжеле всего, тяжеле, чѣмъ утромъ было, а я все-таки говорю — такъ лучше, что я все понимаю, такъ должно. Судьба!.. Что за жизнь была нынѣшнимъ лѣтомъ! А послѣ выпуска! Этого никто не знаетъ и пересказать нельзя, какъ я былъ счастливъ!.. Въ чемъ же вы виноваты? Еслибъ вы прельщали меня несбыточнымъ, а вѣдь вы говорили дѣло... Вѣдь все сбыточно, все возможно, даже и теперь возможно... вѣдь только вчера говорили мнѣ, что у меня талантъ... Ради Бога, не огорчайтесь такъ, не плачьте, не упрекайте себя ни въ чемъ; мнѣ каждый вашъ взглядъ, не только слезы... охъ, какъ онѣ мнѣ дороги!.. Теперь я все говорю; вамъ это слушать все равно, какъ отъ мертваго!..

Онъ замолчалъ; нѣсколько минутъ сидѣлъ задумавшись, вспоминая и видимо пересиливая болѣзненное чувство, которое схватывало его при каждомъ воспоминаніи, наконецъ всталъ.

— Прощайте, сказалъ онъ: — простите меня.

— Въ чемъ? возразила Лизавета Дмитріевна: — мнѣ за васъ такъ горько, такъ горько...

Ивàновскій взялъ ея руку и тихо поцѣловалъ ее. Лизавета Дмитріевна поцѣловала его въ голову и перекрестила. У него въ глазахъ потемнѣло.

— Съ Богомъ! сказала она: — прощайте, до завтра.

— Утромъ мнѣ некогда будетъ, отвѣчалъ онъ, едва дыша.

— Такъ вечеромъ придите непремѣнно.

— Да.

— И вечеромъ не бѣгайте пѣшкомъ. Спросите теперь себѣ дрожки: я велѣла, чтобъ они были готовы. Что, если вы еще занеможете!

— Нѣтъ, ничего... не нужно; я дойду.

Лизавета Дмитріевна проводила его въ переднюю; она еще разъ остановила его на порогѣ, протянула ему руку и сказала: «Прощайте». Ей стало очень тяжело, когда Ивàновскій затворилъ за собой двери.

Казалось бы невозможнымъ, но Ивàновскій спалъ ночь, какъ убитый, и проснулся поздно; всѣ товарищи уже встали; дортуаръ былъ прибранъ.

— Алеша, или ты боленъ? спросилъ Бѣляевъ, усаживаясь къ нему на постель.

Другіе подошли тоже. Участіе, разспросы и больше всего бѣлый день, который свѣтилъ въ окна, напомнили Ивàновскому все, что далъ ему забыть крѣпкій сонъ. Онъ поднялся въ испугѣ. Съ первыхъ словъ разсказалъ онъ товарищамъ все.

— Какъ это? вскричалъ въ негодованіи регентъ, бѣгая по комнатѣ: — отнимутъ у меня первый голосъ изъ хора? Ничего завесть нельзя! И добро бы куда нибудь, а то въ В*!—въ ярмарку тамъ мужикамъ его слушать! Да я готовъ самъ пойти сказать... Ну, еще ѣхать учиться понятно: тутъ должно отпустить, послать слѣдуетъ васъ учиться, а такъ, напрасно, не знаю куда...

— Чего ты мѣшкалъ съ увольненіемъ? говорилъ Бѣляевъ:—теперь бы правъ былъ.

— Какъ же это? правъ? возразилъ Троицкій: — да хоть будь у него сейчасъ въ карманѣ увольненіе, развѣ онъ противъ отца пойдетъ? Это вѣдь не шутка!

— Да что-жъ ему неволей...

— Никто и не говоритъ, каково ему. Эхъ, Алеша, милый ты мой! говорилъ я тебѣ не одинъ разъ: куда намъ задумывать, когда ужъ на роду написано!.. Легко ли, тяжело ли, укрощай всякое мечтаніе, да такъ и иди, закрывъ глаза; а ты что съ собой сдѣлалъ? Ну, люди мы, какъ всѣ другіе, талантами и насъ Богъ не обижаетъ—знаемъ мы это всѣ: неужели, ты думаешь, никому, кромѣ тебя, это въ голову не входитъ? Но какъ скажешь себѣ, на другихъ поглядишь, да убѣдишься, что все ни къ чему, что противъ судьбы не пойдешь...

— Что ты изъ него душу тянешь! вскричалъ Бѣляевъ, оттолкнувъ Троицкаго: — привязался къ человѣку, когда тотъ внѣ себя...

— Развѣ мнѣ его не жаль? сказалъ Троицкій, отходя.

— И что за диковинка какая — широкіе рукава эти! восклицалъ регентъ:—какъ будто онъ ихъ еще не успѣетъ надѣть. Дали бы,

по-крайности, малому хоть годикъ-два попѣть, въ силу войти! Вѣдь черезъ годъ у него голосъ еще прибавится; что онъ его тамъ исковеркаетъ! Хоть бы люди его послушали, насъ бы прославилъ...

— Я бы пошелъ на это мѣсто, сказалъ Лампадинъ, подшучивая.

— Да идите вы, Господь съ вами! сказалъ регентъ въ совершенной ярости.—Сдѣлайте милость, идите; о васъ плакать не станутъ; у васъ ужъ шипѣть начинаетъ, какъ вы верхнія берете! Всякій разъ такъ бы и не слушалъ, не знаешь куда отъ стыда дѣваться!

— Мѣсто это, дѣйствительно, хорошее, замѣтилъ Ждановъ: — да мнѣ не дадутъ.

Онъ подсѣлъ къ Маргаритину и Пустынскому, которые тоже разсчитывали доходы въ В*.

— А намъ не нужно, сказалъ Свѣтловъ:— у насъ отъ отцовъ лучше мѣста будутъ.

— Конечно, сказалъ Лампадинъ, присоединяясь къ нимъ: — кто себя готовитъ въ капеллу, или въ концерты, на удивленіе всему свѣту, тому это низко кажется; а мы о себѣ такъ высоко не думаемъ, компаніей никакой не брезгаемъ, съ аристократками не знаемся...

— Алеша, душа моя, сказалъ ему тихо Троицкій, потому что Бѣляевъ ужъ отступился:—ты не убивайся, послушай... Ты меня прости: вѣдь я дѣло говорилъ. Ну, конечно, что было—не воротишь, себя не передѣлаешь, ты не такой человѣкъ...

— Ну, что-жъ еще? покориться, что ли? прервалъ регентъ:—затѣяли!..

— Да вѣдь и отца Алексѣя нельзя винить! Вѣдь онъ тебя на то отъ рожденья готовилъ, Алеша; вѣдь это отъ вѣка ведется; перемѣны вдругъ онъ и не сообразитъ. Иначе онъ и не можетъ думать — самъ знаешь. Какъ отцу не хотѣть! Вѣдь ему кажется, что онъ тебя устраиваетъ; онъ старъ, не понимаетъ, и толковать съ нимъ мудрено. Проси его лучше просто; скажи: не могу! наклонности не имѣю, семьей заводиться не хочу; женатому сыну, скажи, некогда о родителяхъ помнить — отрѣзанный ломоть; какова еще навяжется жена... Какъ бы нашелся за тебя поговорить кто нибудь... Подите съ нимъ, Өедоръ Михайлычъ, право; вы объясните лучше; онъ, вотъ, и говорить порядкомъ не можетъ.

— Что тамъ толковать! скажи «нѣтъ», наотрѣзъ! вскричалъ Бѣляевъ: — нашали такъ, чтобъ онъ и просить за тебя не смѣлъ...

— Бога ты не боишься! прервалъ Ивàновскій.

Онъ всталъ, одѣлся и молча ходилъ изъ угла въ уголъ по залѣ и дортуару; товарищи замолчали съ нимъ тоже: помочь было нечѣмъ, ни словомъ, ни дѣломъ; только, посматривая ему вслѣдъ, Маргаритинъ замѣтилъ: «Экъ его оттрепало!» Обстоятельства Ивàновскаго навели на разсказы и разговоры о другихъ подобныхъ обстоятельствахъ. Ждановъ приводилъ примѣръ, какъ одинъ товарищъ прошлаго выпуска былъ совсѣмъ назначенъ на мѣсто и ужъ сосватался, но вдругъ полюбилъ другую дѣвушку, женился на ней, отказался отъ мѣста, поступилъ въ статскую службу — и все ничего, съ рукъ сошло...

— Отчаянность нужна, сказалъ Маргаритинъ.

— Ну, вотъ, чтобъ ему такъ? Алеша, слышишь? вскричалъ Бѣляевъ.

— У отца Алексѣя не очень посмѣешь, сказалъ Свѣтловъ.

— Алеша, проси мѣста, да какъ назначатъ, промѣшкай жениться; отдай тѣмъ временемъ замужъ сестру, и уступи мѣсто зятю, сказалъ Ждановъ.

— И прекрасно! прибавилъ Бѣляевъ: — самъ вырвешься, сестру устроишь, да еще товарища замѣстишь.

Ивàновскій остановился въ раздумьи и слушалъ.

— Конечно, время на это нужно, да вѣдь тебѣ что время! не загорѣлось! въ Петербургъ еще уѣдешь.

— Да можно и скоро повернуть; женихъ сестрѣ какъ-разъ найдется; твои сестры хорошенькія.

— Надо только, чтобъ отецъ Алексѣй согласился...

— Вотъ и задача! сказалъ Свѣтловъ.

— Не все равно ему, что сынъ, что зять?

— Какъ же! городское мѣсто-то?

— Подумаешь, амбиція какая, невидаль какая! вскричалъ регентъ, не выдержавъ:— городское мѣсто! А что его сынъ будетъ на ряду съ первѣйшими людьми...

— Алексѣй Алексѣичъ, сказалъ, вдругъ отворяя дверь, маленькій сопрано, Андрюша: — вашъ тятенька пришелъ; тамъ, внизу, на лѣстницѣ стоитъ, васъ спрашиваетъ.

Ивàновскій поблѣднѣлъ и бросился со всѣхъ ногъ.

Отецъ Алексѣй никогда не всходилъ выше въ жилище пѣвчихъ, имѣя привычку и находя удобнѣе совѣщаться съ сыномъ на нижней площадкѣ лѣстницы. Онъ ждалъ его тамъ.

— Что ты, сейчасъ, что ли, всталъ? спро-

силъ онъ, когда сынъ явился предъ нимъ:— Лица на тебѣ нѣтъ.

Ивановскій поцѣловалъ его руку не отвѣчая.

— Это ты тосковалъ все, убивался изъ пустяковъ?.. Я за тебя сейчасъ просить ходилъ. Видно судьба твоя такая, по-твоему вышло.

— Отказали?.. спросилъ Ивановскій, охолодѣвъ...

— Отказали. Нечего и думать! «Что такое, говорятъ, твой сынъ? Другіе есть, мѣста ждутъ, а этотъ въ хорѣ жалованье получаетъ, и ты самъ приходъ имѣешь; онъ только что еще курсъ кончилъ, и какъ еще кончилъ? Послѣднимъ онъ вышелъ — послѣдній и мѣсто получитъ». Я до земли кланялся, молилъ. На весь свѣтъ поношеніе только принялъ.

Ивановскій прислонился къ стѣнѣ, чтобъ не упасть; отъ холода его бросило въ жаръ; его всего точно что встряхнуло.

— Что-жъ теперь, батюшка? проговорилъ онъ.

— Что-жъ теперь? Ничего. Оставайся здѣсь, ступай куда хочешь. Ужъ лучше ступай куда нибудь отъ стыда. Хоть сегодня возьми себѣ увольненіе. Я осмѣлился, помянулъ, сказалъ, что вѣрно за голосъ твой тебя въ хорѣ желаютъ удержать. «Этихъ пѣвуновъ, говорятъ, много; хоть сейчасъ онъ выходи—все равно». А все равно, не дорожатъ моимъ сыномъ, такъ завтра и выходи. Зайди нынче въ вечерню, напишешь дома прошеніе.

— Батюшка, вы не гнѣваетесь? вскричалъ Ивановскій, бросаясь цѣловать его руку.

— Безумная твоя голова! отвѣчалъ съ чувствомъ отецъ Алексѣй: — развѣ я тебя не люблю? Господь это видитъ, вѣдь ты у меня единственный! Что-жъ дѣлать, если не удалось тебя устроить?.. Поникнешь главой, да покоришься. Что мнѣ гнѣваться? Дѣлать нечего!.. Прощай. Заходи вечеромъ.

Отецъ Алексѣй сошелъ послѣднія ступеньки и отправился по двору къ воротамъ. Ивановскій, еще не опомнясь, смотрѣлъ ему вслѣдъ, потомъ перекрестился и побѣжалъ наверхъ. Ему встрѣтился Свѣтловъ. Ивановскій выхватилъ у него фуражку, сбѣжалъ внизъ опять, и, не помня, что былъ въ одномъ своемъ лѣтнемъ оливковомъ пальто, пролетѣлъ дворъ, площадь, мостъ, прямо въ городъ.

Свѣтловъ еще размышлялъ, на что такъ спѣшно понадобилась товарищу его фуражка, когда Ивановскій уже звонилъ у подъѣзда Лизаветы Дмитріевны.

— Нѣтъ дома, уѣхала съ визитами, сказалъ слуга.

Ивановскій былъ такъ счастливъ, что это его даже не огорчило; онъ только взволновался.

— Такъ пожалуйста, говорилъ онъ горничной:—пожалуйста, какъ вернется Лизавета Дмитріевна, скажите ей, что я былъ, что все, слава Богу, благополучно кончилось, какъ нельзя лучше... да я самъ приду вечеромъ... да вотъ еще вѣрнѣе...

Онъ ощупалъ карандашъ въ карманѣ пальто и маленькую тетрадку, въ которой записывалъ себѣ французскія слова.

— Я лучше оставлю записку.

Онъ оторвалъ лоскутокъ и написалъ:

«Отцу наотрѣзъ отказали. Сегодня беру увольненіе; чрезъ недѣлю уѣду; самъ меня посылаетъ».

Вручивъ эту записку и еще десять разъ потвердивъ, чтобъ ее не затеряли и отдали, Ивановскій, не отдыхая, отправился домой къ товарищамъ. Но онъ не чувствовалъ усталости; онъ, казалось, шелъ не по землѣ, а по воздуху; этой радости, свободы, восторга, пересказать невозможно.

— Прощайте, господа! закричалъ онъ, распахивая настежь дверь пѣвческой залы,— въ Петербургъ ѣду!

— Что ты говоришь? въ самомъ дѣлѣ? вскричали товарищи.

— Ѣду, ѣду! Нѣтъ мнѣ мѣста, никуда не гожусь, въ хорѣ меня не нужно... Прощайте, милые мои, золотые мои! скажите: слава Богу! возрадуемся и возвеселимся! Простите, предъ кѣмъ въ чемъ былъ грѣшенъ, не забывайте, а ужъ я васъ не забуду! Отъ сего дня и до моего отъѣзда бросьте всѣ ваши дѣла и давайте ликовать...

— Ты, никакъ, на радости помѣшался! сказалъ весело Троицкій, котораго Ивановскій душилъ, обнимаясь съ нимъ.

Другимъ доставалось не легче. Ивановскій поднялъ шумъ, возню, растормошилъ даже Маргаритина. Эти ликованья необыкновенно увлекательны: молодые люди принялись шалить, какъ мальчишки; отъ радости одного всѣмъ стало весело; стулья опрокидывались, книги летѣли на полъ; регентъ спасалъ тетради нотъ, но не спасъ скрипки, на которой пилилъ Бѣляевъ, вскочивъ на столъ, пока Ждановъ акомпанировалъ ему, стуча на фортепіано что-то непостижимое. Троицкій вальсировалъ съ Свѣтловымъ; виновникъ торжества, заключивъ Евфратова

въ объятія, заставилъ его исполнить невиданный въ мірѣ танецъ.

Среди всего этого кое-какъ добились и узнали отъ Ивàновскаго толкомъ о его дѣлѣ.

Регентъ былъ доволенъ, но злобенъ. Онъ радовался за Ивàновскаго, какъ за друга, за талантъ, за ученика, который дѣлалъ ему честь, но за разстройство хора просто изъ себя выходилъ.

— Ничего не заведешь! повторялъ онъ:— хоть и не принимайся! Ну, скажите вы мнѣ на милость, что я стану дѣлать? кого я поставлю? Просто, хоть не пой вовсе! Столбъ какой у меня свалили, самое, что называется, сердце выхватили!.. Дай Богъ вамъ, Алексѣй Алексѣичъ, какъ себѣ бы пожелалъ, такъ вамъ желаю, всего, что можно лучше; да войдите вы въ мое-то положеніе! вѣдь это что-жъ такое? Вѣдь у нихъ ни у кого такой нѣжности нѣтъ, бархатной этой... Ахъ, ты, Господи! хоть плакать...

Когда всѣ порядкомъ устали и прошла охота шумѣть, пѣвчіе принялись толковать объ участи товарища. Всѣмъ, кромѣ регента, она казалась странна, «гадательна».— «Дай Богъ», говорили они, радуясь, потому что Ивàновскій былъ радъ; но многіе недоумѣвали, чему онъ такъ радуется.

— Удовольствія свѣтскія любитъ, продолжалъ Маргаритинъ.

— Испугался, что съ женой не управится, замѣчалъ, посмѣиваясь, Ждановъ.

Троицкому какъ будто сгрустнулось.

— Эхъ, братъ Алеша, не забывай насъ! сказалъ онъ:—когда свидимся?

— Да очень скоро, возразилъ ему Ивàновскій подъ шумокъ.—Кто тебѣ велитъ тутъ сидѣть, когда я тамъ буду? Махай въ университетъ: будетъ чѣмъ жить.

Осенній день скоро стемнѣлъ; онъ показался очень коротокъ. Съ первымъ ударомъ колокола къ вечернѣ, Ивàновскій сталъ сбираться къ отцу, откуда былъ намѣренъ идти кончать вечеръ у Лизаветы Дмитріевны, и потому особенной заботой о своемъ туалетѣ старался загладить безпорядокъ вчерашняго туалета. Онъ даже не скрывалъ этого.

— Что со мной было вчера! говорилъ онъ:—всѣ приличія можно было забыть.

— Что-жъ, потѣшь себя, нарядись, сказалъ Ждановъ:—и мы на тебя еще посмотримъ.

— Θедоръ Михайлычъ, вотъ, какъ меня уволятъ, ну, послѣзавтра, или дня черезъ два, въ воскресенье послѣднюю обѣдню всю концертную споемъ; я вамъ по себѣ память оставлю, и концертъ мой любимый... Прощайте, покуда.

Онъ ушелъ напѣвая, перекрестился, сходя съ лѣстницы, и опять продолжалъ пѣть, пока вѣтеръ и вьюга, визжа въ воротахъ, не заставила баритона поднять воротникъ выше ушей и спеленаться въ шинель; онъ не зналъ, какъ скорѣе дойти до отцовскаго дома, хотя дорога была очень недальняя.

— Это ты, Алексѣй? закричалъ отецъ, услыша, что онъ вошелъ:—иди скорѣй, молодецъ! радость скажу...

— Что такое, батюшка?

— А вотъ что: я отъ тебя нынѣ утромъ вышелъ, встрѣтилъ Варвару Сергѣевну; она съ такимъ участіемъ, истинно христіанскимъ, «что вы» спрашиваетъ. Я ей наше горе сказалъ, что, вотъ, матушка, какъ мы не удостоены—отказано. Она тѣмъ же слѣдомъ, туда... да милостиво исходатайствовала все. Присылали послушника за мной. Подавай, говоритъ, старикъ, просьбу; мѣсто за сыномъ... я и бумагу велѣлъ тамъ написать, просьбу; вотъ готова: крестись да подписывай...

Лизавета Дмитріевна ждала Ивàновскаго вечеромъ и все слѣдующее утро, совершенно успокоенная его запиской и думая, что если онъ нейдетъ, значитъ, все благополучно, и онъ захлопотался. Вечеромъ, разсчитывая, что послѣзавтра должна ѣхать, она послала къ нему, въ архіерейскій дворъ, сказать, чтобъ онъ пришелъ проститься. Регентъ вышелъ къ посланному сказать, что Ивàновскій ушелъ наканунѣ къ своимъ и не возвращался. Посланный, по его указанію, отправился отыскивать домъ отца Алексѣя: собаки чуть не съѣли его у калитки, а работница весьма непріязненно объявила, что «какого тутъ пѣвчаго ищутъ, никакого нѣтъ пѣвчаго». Не понимая этой путаницы, думая, что посланный ошибся, Лизавета Дмитріевна на другой день утромъ отправила въ домъ къ пѣвчимъ записку, которую велѣла оставить, чтобъ ее отдали Ивàновскому.

«Я васъ ждала; мнѣ хотѣлось видѣться съ вами; но такъ какъ всѣ ваши затрудненія счастливо кончились, я уѣзжаю, хотя и не повидавшись, но покойная за васъ; иначе бы я не уѣхала. До скораго свиданія въ Петербургѣ. Не забудьте адресъ дяди; если промѣшкаете, напишите, и я напишу вамъ».

Эта записка не застала Ивàновскаго: онъ еще не приходилъ... Регентъ взялъ ее, обѣщаясь отдать, а посланный не пошелъ больше искать Ивàновскаго въ родительскомъ

домѣ, котораго онъ не оставлялъ всѣ эти двое сутокъ.

Его участь рѣшилась. Она не могла не рѣшиться. Всѣ просьбы были безсильны; противъ его твердыхъ словъ были сказаны немногія слова, на которыя ужъ нѣтъ возраженія, которыхъ хладнокровно вынести невозможно, которыя доводятъ до отчаянія и дѣлаютъ покорнымъ... Все было кончено— Ивàновскій подписалъ бумагу.

Когда, на третій день, выйдя, наконецъ, изъ этихъ низкихъ и темныхъ стѣнъ, слышавшихъ и видѣвшихъ его отчаяніе, на сырой, холодный воздухъ, проникнутый тлѣніемъ и туманомъ, онъ добрелъ до жилья своихъ товарищей, они его едва узнали. Никто не сказалъ ничего, не спросилъ ничего: все было ужъ извѣстно. Регентъ отдалъ ему записку Лизаветы Дмитріевны.

— Присылала два раза, сказалъ онъ.

Ивàновскій прочелъ, не сказалъ ни слова и побѣжалъ въ городъ.

— Она уѣзжаетъ! хоть бы проститься!... Все кончено: будущность, слава, счастье— все... Много было всего впереди, все убито!.. Хоть проститься съ нею... Все точно въ гробъ положили... но и покойнику даютъ послѣднее цѣлованіе... О, если она здѣсь, она еще спасетъ, утѣшитъ, спасетъ какъ нибудь, что нибудь скажетъ, наставитъ... Только бы броситься ей въ ноги, услышать ея слова, взглянуть на нее, взглянуть одну секунду...

Онъ не думалъ, не страдалъ, ничего не чувствовалъ: онъ бѣжалъ въ послѣднемъ припадкѣ жизни, бѣжалъ не дыша; сердце останавливалось... Богъ съ нимъ, лишь бы дойти... Все тутъ, вся жизнь тутъ, въ этомъ маленькомъ домикѣ; его крыша ужъ видна... Нѣсколько минутъ осталось этой жизни. «О! если она здѣсь, еще не все пропало, она спасетъ... Господи, если еще можно молиться, если еще не грѣхъ желать и просить, если еще возможно... ты знаешь самъ, что возможно»...

Ивàновскій подбѣжалъ къ дому: ворота были заперты, подъѣздъ запертъ, ставни заперты. Домъ былъ пустъ.

«Уѣхала!» вскричалъ онъ.

Улица была пуста. Ивàновскій сталъ на тротуаръ и смотрѣлъ на домъ. Какъ долго стоялъ онъ, что онъ думалъ... Одну минуту онъ упалъ на ступеньки крыльца, занесенныя снѣгомъ; руки его схватились и замерли на этихъ ступенькахъ, но онъ всталъ тотчасъ же, оглянулся: онъ былъ одинъ. Ему хотѣлось разломать окна, войти, ходить по пустымъ комнатамъ... Ему хотѣлось кричать...

«Господи!» сказалъ онъ: «за что-жъ это?.. Нѣтъ ея!.. Ничего нѣтъ! Впереди что же... А если ничего нѣтъ, пусть же ничего и не будетъ, одинъ конецъ!» проговорилъ онъ громко и побѣжалъ, не оглядываясь...

Ивàновскаго не видали три дня. Товарищи могли бы думать, что онъ у своихъ, еслибъ о немъ не присылали навѣдаться.

Вечеромъ третьяго дня, это была суббота, напрасно поджидая его пѣть всенощную и ужинать, пѣвчіе ложились спать и еще разговаривали въ своемъ дортуарѣ, какъ дверь съ лѣстницы растворилась и вошелъ Иàновскій. Его волосы были растрепаны, глаза впали, лицо блѣдно, въ красныхъ пятнахъ и съ какимъ-то страннымъ, болѣзненно тупымъ выраженіемъ; онъ едва держался на ногахъ, шатаясь, дотащился до постели и упалъ на нее...

— Алеша, что ты? Алеша, что съ тобою? спросилъ Бѣляевъ, стаскивая съ плечъ друга мокрую шинель и наклоняясь къ его лицу.

Ивàновскій не отвѣчалъ—онъ спалъ.

— Совсѣмъ потерялся! сказалъ Свѣтловъ, махнувъ рукой...

XVI.

Зима наступила и прошла. Лизавета Дмитріевна нровела ее всю въ Петербургѣ и въ первыхъ дняхъ апрѣля была ужъ въ деревнѣ. Ей хотѣлось воздуха и весны; весна въ этотъ годъ была удивительная и, гуляя въ полѣ, Лизавета Дмитріевна могла любоваться на разливъ, который шелъ верстъ на двадцать и начинался отъ горы, гдѣ стоитъ N-скій соборъ.

Святая недѣля въ деревнѣ, гдѣ нѣтъ ни скучныхъ визитовъ, ни надоѣвшихъ вечеровъ, гдѣ на маленькой деревянной колокольнѣ звонитъ всего одинъ колоколъ— утѣшеніе и забава ребятишекъ, гдѣ утромъ чинно и благоговѣйно переносятся изъ избы въ избу образà и хоругви, а вечеромъ, когда золотая заря еще горитъ въ разливѣ, а на другой сторонѣ неба ужъ высыпаютъ прелестныя мелкія звѣзды, народъ собирается, веселясь сколько можетъ и сколько можно, забывая нужду; въ деревнѣ, гдѣ праздникъ тепломъ и свѣтомъ стоитъ въ воздухѣ, гдѣ всякая капля росы и всякій лучъ, воскрешая жизнь, напоминаетъ воскресенье, въ деревнѣ праздникъ понимается полнѣе, чувствуется лучше... Лизавета Дмитріевна была счастлива, проводя его одна.

Какъ ни разсѣянно проходило ея время зи-

мою, но она помнила объ Ивановскомъ, ждала его—онъ не пріѣхалъ, писала ему нѣсколько разъ—отвѣта не было. Она нѣсколько разъ писала въ N* своимъ знакомымъ и просила ихъ узнать о немъ; но знакомые, одни, не считая за большую важность участь пѣвчаго, не позаботились развѣдывать; другіе отвѣчали просто, что Ивановскаго нѣтъ въ N*; кто-то прибавилъ къ этому, что не слышно, чтобъ его посвятили. Съ отцомъ Алексѣемъ никто не встрѣчался; одна дама даже обидѣлась и негодовала громко, что ей даютъ такія странныя порученія: справляться Богъ знаетъ о комъ... Пѣвчій какъ въ воду канулъ. Лизавета Дмитріевна какъ-то особенно грустно нѣсколько разъ вспоминала о немъ въ эти праздничные дни; близость N* и лѣто сильнѣе приводили ей на память ея прошлогоднее оригинальное знакомство. Она рѣшилась, какъ скоро будетъ возможенъ переѣздъ черезъ рѣку, ѣхать въ N* нарочно за тѣмъ, чтобъ узнать объ Ивановскомъ.

Случилось, что она узнала скорѣе. На послѣдній день святой, выходя отъ обѣдни, Лизавета Дмитріевна пригласила своего священника пить кофе.

— Сынъ меня утѣшилъ, пріѣхалъ изъ города, сказалъ ей старикъ.

По басу, гремѣвшему изъ глубины клироса надъ жалостными, повременамъ и вовсе замиравшими, альтами сельскихъ дьячковъ, Лизавета Дмитріевна могла бы еще прежде догадаться, что тамъ находится одна изъ знаменитостей N-скаго хора. Ей представился Маргаритинъ. Онъ былъ великолѣпенъ въ пальмерстонѣ, котораго, наконецъ, достигъ, и во всемъ остальномъ, лѣтнемъ, въ мельчайшую клѣтку, бѣлую съ чернымъ. Въ деревнѣ, на лонѣ природы, онъ казался довѣрчивѣе къ людямъ и утратилъ часть своей дикости; онъ даже улыбнулся, самъ не зная чему, но такъ что-то показалось ему пріятно, поздравляя Лизавету Дмитріевну съ праздникомъ. Его грудныя, глухія и нѣсколько протяжныя ноты, пурпуръ на его щекахъ, фуражка, которую наконецъ онъ скаталъ въ свитокъ — весь общій семинарскій складъ заставили Лизавету Дмитріевну усмѣхнуться.

Она не выдержала, когда, вскочивъ въ ту минуту, какъ она передавала ему корзинку съ сухарями, Маргаритинъ сказалъ ей:

— Ничего.

— Почему вы никогда не бывали у меня въ городѣ? спросила Лизавета Дмитріевна.

— Да я ужъ его журилъ, сказалъ отецъ:— все конфузится.

— Я даже и въ хорѣ никогда васъ не видала.

— Я сзади стою, отвѣчалъ Маргаритинъ.

— Что вашъ хоръ, попрежнему хорошъ?

— Двухъ теноровъ новыхъ пріобрѣлъ Өедоръ Михайлычъ: счетомъ насъ теперь больше прежняго. Басы новые есть, только басами мы слабѣе; противъ тѣхъ не будетъ, которые вышли; Жданова нѣтъ, еще Лампадинъ...

— А Ивановскій гдѣ?

— Ивановскій приказалъ долго жить.

— Что?.. вскричала Лизавета Дмитріевна.

— Скончался, объяснилъ Маргаритинъ, удивленный, что она этого еще не знала:— да ужъ давно, еще зимой.

— Боже мой? какъ же это? отчего?

— Занемогъ, не поберегся.. Его на мѣсто назначили.

— Но я предъ моимъ отъѣздомъ узнала, что въ мѣстѣ ему отказали, что отецъ его отпускалъ въ Петербургъ.

— Это дѣйствительно такъ было, да все вдругъ перемѣнилось. Отецъ сильно этого желалъ; ну, сынъ, сколько ни бился... заставили его просьбу подать. Онъ съ этого дня, какъ отчаянный, на все и бросился, вовсе себя не берегъ. Онъ же къ этому не привыкъ, какъ, пожалуй, привыкаютъ другіе; у насъ же въ хорѣ, это, сохрани Богъ, за какой порокъ считается. Дня по три, по четыре пропадалъ. Өедоръ Михайлычъ, регентъ нашъ, сталъ ему выговаривать; просили и мы. «Все равно, говоритъ; я, говоритъ, и безъ того погибъ, а ужъ это заодно; думать мнѣ не о чемъ, людей мнѣ не видать, лучше ужъ и себя не помнить».

Отецъ Маргаритина вздохнулъ и покачалъ головой.

— Вотъ она, молодежь-то! сказалъ онъ.

— Недѣли двѣ или три онъ такъ протянулъ. Невѣсту тутъ ему искали. «Ищите, говоритъ, что хотите, мнѣ все равно». И не ходилъ ихъ смотрѣть ни одной. Все дома, съ нами, въ пѣвческой, или совсѣмъ пропадетъ. Сидитъ-сидитъ все молча, ударится плакать, волосы на себѣ рветъ, потомъ убѣжитъ, воротится и спитъ до другихъ сутокъ. Всякій день такъ, хоть бы мы отъ него слово слышали. Или, надумается, будто съ силами сберется, пойдетъ къ отцу. Сестрѣ его женихъ нашелся; онъ хотѣлъ ей то мѣсто передать, да отецъ не согласился. «Нельзя, говоритъ, потому что ужъ слишкомъ сильно за самого Ивановскаго просили...» Такъ, день за день, да день за день...

— Неужели долго было это мученье? прервала Лизавета Дмитріевна.

— Да почти съ мѣсяцъ. Мы сами, глядя на него, измучились, думали, хоть бы ужъ чѣмъ нибудь однимъ это скорѣе кончилось.

— Чѣмъ же кончилось?

— Тутъ, въ ноябрѣ, праздникъ подошелъ. Онъ ужъ, бывало, и не ходитъ пѣть съ нами: уволенный будто, сбирается жениться, некогда. А тутъ онъ съ вечера еще поздно пришелъ. Өедоръ Михайлычъ его и брать не хотѣлъ, да приказали всѣмъ быть: большой парадъ; съ нами и семинарскіе даже въ этотъ разъ пѣли. Регентъ его спрашиваетъ: «Какъ же вы-то, Алексѣй Алексѣичъ?» — «Спою, говоритъ, все равно». Стали мы пѣть; онъ чувствуетъ, что ничего не можетъ, дыханія нѣтъ, а нельзя же такъ стоять; особенно пришлось ему верхи взять въ одномъ мѣстѣ; онъ усилился, да взялъ. Отъ роду, кажется, онъ лучше, чище, вольнѣе не бралъ. Мы даже всѣ удивились. Взглянули на него—онъ какъ смерть. Ушелъ тотчасъ и слегъ съ этого дня. Сказали, у него горловая чахотка. Отецъ его къ себѣ взялъ; мы туда къ нему ходили. Старикъ ужъ такъ убивался, не зналъ, чѣмъ его, какъ ублажать. Какъ сказали, что онъ выздоравливаетъ, отецъ съума отъ радости сходилъ, мѣсто это тотчасъ сдалъ. «Поѣзжай, говоритъ, куда хочешь, только живи; вотъ тебѣ увольненіе». Денегъ сталъ искать занять, чтобъ было съ чѣмъ его отправить; письмо тогда изъ Петербурга пришло: онъ ему отдалъ. Прежде какія были, онъ ему не отдавалъ, а тутъ всѣ отдали.

— Не отдавали? Почему-жъ?

— Кто ихъ знаетъ! Боялись, должно быть, чтобъ это больше его не растревожило, не ожесточило. Онъ, Алексѣй Алексѣичъ, то есть, наклонности большія имѣлъ къ удовольствіямъ: ну, ужъ тутъ, вѣрно, отецъ думалъ, въ новомъ званіи неприлично... Онъ его всегда въ большой строгости держалъ, а тутъ, объ этомъ мѣстѣ когда зашло дѣло, то и мы даже удивились, какъ старикъ заупрямился, «Хочу, говоритъ; весь нашъ родъ такой»... А послѣ смерти сына самъ чуть не умеръ, мѣсяца три прохворалъ.

— Ивановскій не выздоровѣлъ?

— Нѣтъ; ему сначала легче стало, много легче. Намъ сказали, что ему пѣть запрещено, а онъ, получа письмо, еще лежалъ, а все-таки сталъ сбираться ѣхать. Вдругъ, въ одинъ день — о святкахъ это было—приходитъ къ намъ, только вышелъ въ первый разъ послѣ болѣзни. «Поздравьте, говоритъ, господа, голоса-то у меня нѣтъ». Самъ смѣется. Мы думали, онъ шутитъ, да какъ поглядѣли на него, видимъ: нѣтъ. Тутъ онъ съ нами со всѣми прощался, съ домомъ, съ спальней, съ нотами, со всякимъ угломъ. Даже всѣ мы не знали, что съ нами дѣлается.

— Куда же онъ уѣзжалъ?

— Отецъ не зналъ, куда съ нимъ дѣваться, чѣмъ ему угодить; послалъ его къ дядѣ въ деревню погостить, тамъ должна бы свадьба быть—поразсѣяться...

— Тамъ онъ и умеръ?

— Тамъ. У нихъ пированье было большое; народу сошлось много въ избѣ, жарко; пѣли, и онъ пѣлъ, надрывался, чувствуя, что ужъ послѣднее, нечего беречь. Усталъ онъ, въ жаръ его бросило, онъ и вышелъ посидѣть на крылечкѣ... Вьюга была... Чрезъ два дня Богу душу отдалъ тамъ. Хоть бы здѣсь; по крайности, мы бы ему послѣдній долгъ отдали—отпѣли бы его...

Лизавета Дмитріевна плакала весь день, вѣчно вспоминала и часто плакала потомъ... Когда ей случилось вскорѣ быть въ N*, у ней недостало силы идти слушать пѣвчихъ...

ДОБРОЕ ДѢЛО.

ОЧЕРКЪ.

1857 г.

Въ одинъ изъ самыхъ непріятныхъ сентябрскихъ дней на широкій дворъ господскаго дома въ селѣ Долгомъ въѣзжала дорожная коляска. Дождь, который сначала сѣялъ какъ сквозь сито, принялся лить ливнемъ; старинный каменный домъ, двухъэтажный, съ антресолями, смотрѣлъ мрачно, грязновато-бѣлый среди высокихъ деревьевъ сада, черныхъ, бурыхъ, лишенныхъ листьевъ, и своимъ унылымъ видомъ только хуже наводившихъ тоску. Но было замѣтно по зеленымъ лужайкамъ и размытымъ дорожкамъ, виднѣвшимся изъ-за деревьевъ и красивой рѣшетки, по измоченнымъ кустамъ, на которыхъ бились, Богъ вѣсть какъ, уцѣлѣвшіе, зазябшіе цвѣты, что лѣтомъ садъ былъ наряденъ и содержался въ порядкѣ. Домъ тоже смотрѣлъ жилымъ; его угрюмость была, очевидно, только слѣдствіемъ непогоды.

Когда коляска остановилась у крыльца, на встрѣчу вышли два лакея.

— Дома Василій Владиміpычъ? спросилъ пріѣзжій, высовывая голову изъ-подъ зонтика коляски.

— Нѣтъ; уѣхалъ вчера, отвѣчали ему.

— А барыня?

— Настасья Александровна уѣхала съ нимъ.

— Досадно! Такъ никого нѣтъ? Какъ же такъ, никого нѣтъ? А я заѣхалъ нарочно, думалъ найти... Куда же уѣхали?

— Къ сосѣднимъ помѣщикамъ.

— Когда воротятся?

— Завтра къ вечеру, не ранѣе.

— Мнѣ нельзя до завтра пробыть... Да все же я выйду, отдохну; ямщикъ лошадей накормитъ.

Лакей пріѣзжаго, сидѣвшій на козлахъ, соскочилъ, откинулъ подножку и баринъ взошелъ на крыльцо и въ сѣни. Тамъ встрѣтилъ его старый дворецкій, который, какъ глава дома въ отсутствіе господъ, шелъ узнать, съ кѣмъ и о чемъ идутъ такіе долгіе переговоры.

— Петръ Семенычъ, батюшка! какими судьбами? вскричалъ онъ, узнавая пріѣзжаго, котораго изъ остальной прислуги никто не зналъ.

— А, старикъ!.. сказалъ пріѣзжій, взглянувъ на него съ недоумѣніемъ:—да ты какъ меня знаешь?.

— Какъ же мнѣ васъ, сударь, не знать? Еще какъ баринъ въ университетѣ съ вами былъ, и потомъ, какъ вы съ нимъ въ Курскѣ служили, я все при нихъ состоялъ. Извѣстно, холостая жизнь, всегда на глазахъ у господъ находишься... Всего-то года три будетъ, какъ мы изъ Курска выѣхали; васъ, сударь, запамятовать ужъ мнѣ никакъ нельзя.

— Такъ, пожалуйста... какъ тебя?.. распорядись, чтобъ накормили моихъ лошадей и дайте мнѣ обѣдать.

Въ прихожей Петръ Семенычъ снялъ шубу, освободился отъ кашнѐ и шали, защищавшихъ отъ непогоды его худенькую, небольшую и блѣдную особу, и отправился въ залу.

— Зачѣмъ это сюда пожаловалъ? сказалъ вслѣдъ ему старый дворецкій:—видите, не узнаетъ! А кто-жъ ему, бывало, служилъ все равно, что законному господину,

и въ крайности, бывало, послѣдней копѣйкой выручалъ? Трудно ему доброе слово вымолвить; что его убудетъ, что ли, отъ этого? Какъ былъ пустой человѣкъ, видно, такой и остался.

— А баринъ друженъ съ нимъ былъ? спросилъ одинъ изъ молодыхъ лакеевъ.

— Баринъ никогда дружбы съ пустыми людьми не водилъ, возразилъ старикъ съ достоинствомъ, какъ будто его обижали лично: — товарищи были по ученью. Извѣстно, когда товарищъ придетъ — не прогонишь. Служить потомъ пришлось вмѣстѣ. Когда человѣкъ льнетъ да самъ набивается, подчасъ и жалко его станетъ—на то благородство, деликатность! А потомъ, когда самъ онъ крошечку оперится да станетъ носъ поднимать — тотъ, кто благороденъ, пеняй на себя, что допустилъ до этого, а ужъ не поправишь. Состояніе у этого, у Петра Семеныча Завадьева, небольшое... что-жъ? не всякаго Господь достаткомъ наградилъ... а страхъ у него великъ, чтобы какъ кто нибудь объ этомъ не провѣдалъ. Смѣшно даже: что и провѣдывать, коли все на лицо? Прямо между товарищами, въ своей компаніи, сказать: «бѣденъ я, братцы, нѣтъ денегъ»—это ни за что на свѣтѣ: унизительно! а гдѣ нибудь по закоулкамъ, у всякой гадины занимать, да еще ей кланяться—ничего... Дослужился онъ до чего нибудь, должно быть: въ коляскѣ ѣздитъ. И вся важность барская: лакей замореный, въ нанкѣ, весь промокъ... Смотрите же вы, однако, обратился старикъ къ остальной прислугѣ: — чтобы все было исправно; затопите каминъ въ гостиной; въ комнатѣ, подлѣ баринова кабинета, приготовьте все, что нужно: можетъ, захочетъ переодѣться, отдохнуть; да позовите ко мнѣ повара: надо съ обѣдомъ распорядиться. Не великъ гость, не для него это дѣлается, а для барина, чтобъ не сказалъ э т о т ъ потомъ, что не такъ его приняли, что у насъ все дурно...

Петръ Семеновичъ Завадьевъ, между тѣмъ, прохаживался по пустымъ комнатамъ; онъ дѣлалъ это отъ холода; но вскорѣ теплый воздухъ высокихъ комнатъ согрѣлъ его, и онъ продолжалъ прогулку уже изъ любопытства. Онъ и пріѣхалъ въ Долгое только изъ любопытства. Между нимъ и помѣщикомъ Долгаго, Васильемъ Владиміровичемъ Горевановымъ, не было никогда той особенной дружбы, изъ которой люди способны въ сентябрскую непогоду своротить съ почтовой дороги на тридцать верстъ въ проселокъ, чтобъ повидаться съ тѣми, кого не видѣли три года. Они были товарищами по ученію и сначала по службѣ, разстались безъ печали, когда Горевановъ уѣхалъ изъ Курска. Завадьевъ слышалъ, что онъ вышелъ въ отставку, женился и живетъ въ деревнѣ, и, проѣзжая изъ Курска въ N*, куда его перевели служить, вздумалъ посмотрѣть, что дѣлаетъ его знакомый. Говорили, что Горевановъ женился очень выгодно; говорили, что жена его очень хорошенькая: все это было любопытно видѣть. Завадьевъ помнилъ характеръ своего знакомаго и нѣкоторыя его мнѣнія о женщинахъ, и эти воспоминанія заставляли его какъ-то особенно улыбаться; онъ почему-то вообразилъ, что эта семейная жизнь не можетъ обходиться безъ драмъ, и, подъѣзжая къ дому, подумалъ, тоже не безъ улыбки, что если m-me Горевановa хорошенькая, то было бы интересно и ему, Завадьеву, сыграть маленькую роль въ ея драмахъ. Завадьевъ спѣшилъ, однако, оговориться тотчасъ же, даже предъ собою, что нисколько не желаетъ шума, хлопотъ, объясненій—всего, до чего, рано или поздно, доводятъ эти занятія, а такъ, чего нибудь слегка, немножко потревожить покой женщины, которая вообще бываетъ довольно глупа и никогда не прочь побезпокоиться. Завадьевъ считалъ себя большимъ знатокомъ женскаго сердца и, къ тому же, сознавалъ въ себѣ необыкновенную силу сарказма и холодности, при которыхъ побѣда неотразима, а отступленіе всегда обезпечено... Съ первыхъ словъ о томъ, что Горевановa нѣтъ дома, его очень пріятно польстила надежда застать одну, совсѣмъ незнакомую хозяйку и, смотря по обстоятельствамъ, сыграть свою маленькую комедію.

Теперь приходилось разыгрывать ее одному, въ пустыхъ комнатахъ. Онѣ были убраны почти роскошно, множество цвѣтовъ свидѣтельствовало о томъ, что здѣсь живетъ молодая женщина; тишина и порядокъ доказывали, что въ домѣ нѣтъ дѣтей.

— Тѣмъ лучше, подумалъ Завадьевъ: — дѣти «ces anges, ces têtes blondes», это совѣсть, это добродѣтель, какъ выражаются расплывчивые поэты. Маменьки часто ихъ по цѣлымъ недѣлямъ не видятъ; этихъ têtes blondes сѣкутъ, чтобъ стояли смирно, покуда ихъ завиваютъ, а при случаѣ дѣти тотчасъ выставляются впередъ: напоминаніе, защита, долгъ—все, что нужно выставить въ подобныхъ случаяхъ!.. Скучно, однако, одному бродить по дому...»

Но когда пришли спросить его, въ которомъ часу ему угодно обѣдать, Завадьевъ

разсчелъ, что еще успѣетъ къ ночи пріѣхать на станцію, и что лучше обѣдать здѣсь, въ прекрасномъ домѣ, съ мягкой мебелью, и провести день въ спокойномъ одиночествѣ, нежели ѣхать по дурной дорогѣ и подъ проливнымъ дождемъ. Къ вечеру это будетъ уже необходимо (Завадьеву надо было явиться черезъ день въ N* на службу); но пока можно промѣшкать,—почему не сдѣлать этого?

Онъ прошелъ въ приготовленную для него комнату; тамъ подали ему сначала завтракъ, потомъ газеты и сигары. Завадьеву понравились порядокъ и обычаи этого дома. Онъ позавтракалъ и, оставя въ сторонѣ политику, зажегъ сигару и отправился съ нею въ гостиную. Гостепріимство и предупрежденіе его желаній дѣлали его въ собственныхъ глазахъ будто своимъ человѣкомъ въ домѣ и давали ему право позволить себѣ эту вольность. Завадьевъ отправился даже далѣе гостиной, въ маленькій, нарядный кабинетъ хозяйки.

Блужданіе по комнатамъ ему понравилось. Сознавая въ себѣ тонкую и безошибочную наблюдательность, Завадьевъ нашелъ свое положеніе занимательнымъ и напрягалъ свой умъ, приписывая значеніе всякой бездѣлицѣ и объясняя ими характеръ, привычки, положеніе хозяйки. Въ кабинетѣ была розовая мебель и розовыя драпировки. Завадьевъ рѣшилъ, что m-me Горeванова брюнетка, блѣдна и сильно занята собою, потому что, вѣроятно, желаетъ смягчить свой цвѣтъ лица отливомъ этихъ драпировокъ. Онѣ очень свѣжи, слѣдовательно кабинетъ убранъ недавно, слѣдовательно madame Горeванова нашла необходимымъ поддержать свою красоту. Для чего? Женщины хлопочатъ о своей красотѣ, когда имъ измѣняетъ любовь. Завадьевъ разсмѣялся. Хлопотать о любви мужа! Мужъ сотворенъ на то, чтобъ любоваться папильотками жены: локоны распускаются не для него... Хлопотать для Горeванова! для этого серьезнаго, скучнаго человѣка, который всегда занимался женщинами будто дѣломъ, умѣлъ изъ любви устроивать что-то въ родѣ службы, для человѣка точнаго, холоднаго, безъ воображенія, для человѣка, помѣшаннаго на долгѣ... Что за вздоръ! Тутъ что нибудь другое... У женщинъ бываетъ желаніе казаться лучше, когда онѣ желаютъ завлечь. Тогда это рядъ маленькихъ ухищреній, очень забавныхъ, потому что бѣдняжка не подозрѣваетъ, что тотъ, для кого она такъ ухищряется, видѣлъ подобныя продѣлки не одинъ разъ и знаетъ ихъ наизусть. Но какъ въ вопросѣ объ умѣ, гдѣ всякій считаетъ себя умнѣе другого, такъ и тутъ женщины воображаютъ себя ужасно ловкими, и каждая непремѣнно себѣ приписываетъ честь первой придумать какую нибудь хитрость, извѣстную еще со временъ незапамятныхъ...

«Вотъ до чего доводятъ розовыя драпировки! О, цѣлый міръ догадокъ!» думалъ Завадьевъ, очень довольный собою: «m-me Горeванова занята кѣмъ нибудь—это рѣшено. Теперь надо постараться открыть, кѣмъ именно; что это за человѣкъ, его наклонности, образованіе... да и ея характеръ, ужъ кстати. Начавъ съ нея, можно легко добраться и до него, по аналогіи или по контрасту...»

На стѣнахъ висѣли два большіе ландшафта; Завадьевъ заключилъ, что m-me Горeванова мечтательница и любитъ заглядываться въ туманную даль. Вслѣдствіе этого онъ началъ искать, нѣтъ ли на этажеркѣ какихъ нибудь Méditations или Récueillements, но число книгъ было весьма умѣренно: всего одна, и та — особенно длинный англійскій романъ во французскомъ переводѣ; одинъ первый томъ, замѣченный почти вначалѣ, вмѣсто закладки, обрѣзкомъ кружева, скатаннымъ въ трубочку — ясно, что читательница занималась чтеніемъ меньше, нежели этимъ лоскуткомъ, и думала о чепчикѣ, косынкѣ, о чемъ нибудь, что въ это время готовила ей швея изъ этого кружева.

«Она не изъ серьезныхъ головъ», подумалъ Завадьевъ, «и читаетъ то, что даетъ ей супругъ изъ своей библіотеки; стало быть, ее еще воспитываютъ. Это недурно. Если въ два года замужества воспитаніе женщины еще некончено — она или глупа, или готова потерять терпѣніе. M-me Горeванова, можетъ быть, ужъ его потеряла».

Ничто, однако, не подтверждало догадки Завадьева, не наводило его на слѣдъ поклонника, котораго онъ предположилъ, отыскивалъ, котораго начиналъ даже обрисовывать довольно опредѣленно. Это долженъ быть молоденькій, немного значащій мальчикъ, существо не то, чтобъ вѣчно веселое, а такое, съ которымъ ни о чемъ нельзя задуматься, съ которымъ можно отдохнуть отъ чтенія слишкомъ умныхъ романовъ. Женщина, не совсѣмъ ограниченная, скоро соскучится такимъ поклонникомъ и прогонитъ его, хотя бы пришлось остаться опять при однихъ умныхъ романахъ; но женщина обыкновенная, каковы онѣ почти всѣ, оставитъ и сохранитъ себѣ эту забаву даже и тогда,

когда найдется что нибудь лучшее... Неизвѣстный, но непремѣнно существующій обожатель m-me Горевановой ничто больше, какъ лекарство отъ скуки...

Непремѣнно такъ. Еслибъ это былъ человѣкъ поживщій, съ опредѣлившимся умомъ, съ волей, съ страстью, онъ наложилъ бы свою руку на эту жизнь, далъ бы ей какой нибудь оттѣнокъ, заставилъ бы ей чѣмъ нибудь выразиться. Тогда на какомъ нибудь изъ этихъ маленькихъ столиковъ, или въ уголку, гдѣ такъ уютно и хорошо за рѣшетками зелени, нашлась бы какая нибудь давно начатая, никогда не кончаемая женская работа, шитье, за которымъ можно думать, долго думать... за чтеніемъ романа съ тяжбами и родословными можно только отупѣть... Шитье, за которое берутся, чтобъ не потерять contenance, къ которому наклоняются, за которымъ трудятся прилежно, порывно, лихорадочно, въ минуты ожиданія, въ минуты свершившагося горя...

Завадьевъ остановился въ своихъ размышленіяхъ, начинавшихъ увлекать его романичнѣе, нежели сколько онъ позволялъ себѣ увлекаться; онъ вспомнилъ, что еще очень недавно, анализируя женщинъ (конечно, въ присутствіи женщинъ, и притомъ занятыхъ вышиваньемъ, иначе выходка не имѣла бы значенія), онъ безпощадно осудилъ и осмѣялъ эту пустую, безцѣльную трату времени, этотъ самообманъ, въ которомъ называютъ «трудомъ» самое нелогичное изъ всѣхъ занятій... Поймавъ себя на такомъ противорѣчіи, Завадьевъ, не унывая, извинился тѣмъ, что надо брать въ разсчетъ обстановку чувствъ и обстоятельствъ, но, впрочемъ, прекратилъ свои размышленія о томъ, что значила бы полоса англійскаго шитья въ кабинетѣ m-me Горевановой.

«Еслибъ онъ былъ сколько нибудь развитой человѣкъ, это бы какъ нибудь отразилось на ней, выказалось»... сказалъ самъ себѣ Завадьевъ, уже съ досадой, потому что вдругъ какъ-то сбился съ толку въ своихъ соображеніяхъ.

Ему стало досадно, на кого—неизвѣстно, досадно за себя, будто кто его обидѣлъ, или доказалъ ему, что онъ беретъ на себя лишнее, что его наблюденія дерзки, что въ его предположеніяхъ нѣтъ смысла... Завадьевъ, конечно, не допустилъ себя подумать все это, благоразумно удержавшись отъ мысли, которая могла испортить его расположеніе духа, поколебать довольство собою; онъ только потерялъ нить своихъ наблюденій. Предметы, по случаю которыхъ онъ успѣлъ придумать цѣлую исторію, потеряли въ его глазахъ свое значеніе; m-me Горевановa, начинавшая обрисовываться довольно занимательно, превращалась, просто, въ незнакомую, обыкновенную барыню, скучную супругу скучнаго Василія Владиміровича... Завадьеву было досадно: точно его обманули и обманули еще неостроумно.

Разсердясь, онъ сдѣлался даже неучтивъ, будто на зло отсутствующей хозяйкѣ этого кабинета; сѣлъ въ кресла у ея письменнаго стола, протянулъ ноги на ближайшій стулъ, разсыпалъ на столъ золу своей сигары.

«Письменный столъ», сказалъ онъ самъ себѣ очень насмѣшливо, «письменный столъ! эта дама тоже занимается, пишетъ!.. Любопытно знать, сколько ошибокъ она дѣлаетъ въ трехъ строкахъ. И что такое ея корреспонденція? съ кѣмъ?.. Вѣроятно, les grands parents, батюшка и матушка, которыхъ она считаетъ долгомъ увѣдомлять время отъ времени о своемъ супружескомъ счастіи. Слышалъ я что-то, что ея родители люди весьма несимпатичные: понятно, что они избрали себѣ такого основательнаго зятя. Любопытно было бы прочесть, какъ лжетъ эта женщина, увѣряя ихъ, что она блаженствуетъ, или какъ она нанизываетъ одну фразу за другой, чтобъ написать что нибудь, какъ нибудь дотянуть письмо до третьей страницы, гдѣ почтительная дочь можетъ подписаться «почтительною дочерью», уже не боясь заслужить упрекъ, что письмо коротко. Это, вѣрно, такъ дѣлается. Или, быть можетъ, Василій Владиміры́чъ самъ диктуетъ эти задушевно откровенныя изліянія дочери къ родителямъ?.. Можетъ быть, есть пріятельницы. Съ ними она ужъ, конечно, отводитъ душу: — Chère amie, возьмите на себя трудъ выбрать для меня шляпку у Андріе и напишите подробно, правда ли, что мы возвращаемся къ временамъ нашихъ прабабушекъ и что для нашихъ платьевъ надо расширять дверцы у каретъ и самыя кареты? я только объ этомъ и слышу, съ прибавкой всѣхъ насмѣшекъ, которыя можно придумать на насъ, бѣдныхъ женщинъ... Это очень мило: намекъ на мужа, но сдѣланъ онъ такъ тонко, что кто же скажетъ, что это жалоба? Иногда могутъ быть и настоящія жалобы, но тоже въ самой милой, мягкой, поэтической формѣ:—Не знаю, что я пишу вамъ: у меня голова будто не моя; je n'ai pas la tête à moi; бываютъ такіе странные дни, когда чувствуешь себя разбитой; не

желаешь больше ничего и имѣешь сердце только для друзей своихъ... Желаніе откровенности приходитъ къ этимъ дамамъ приливами; времена года для этого—весна и осень, какъ болѣе располагающія къ чувствительности; откровенность приходитъ особенно, когда эти дамы заняты кѣмъ нибудь... Но кѣмъ же занята m-me Гореванова? Неужели нельзя узнать этого, или какъ нибудь догадаться?.. Какой, однако, у нея изящный столикъ! много вкуса...»

Завадьевъ бралъ въ руки и смотрѣлъ все, что было на столѣ, портфели, прессъ-папье, печати, бронзу, корзиночки, коробочки съ облатками, тетради бумаги, связки конвертовъ, карандаши, перья. Это былъ осмотръ ребенка, который забавляется, или взрослаго, которому дѣлать нечего. Дѣти бываютъ привязчивы,взрослые—дерзки.Завадьевъ не удовольствовался тѣмъ, что было на столѣ: онъ попробовалъ отодвинуть ящикъ; ящикъ былъ запертъ, ключа не было. Машинально водя рукою снизу стола, Завадьевъ больно прижалъ себѣ палецъ о какой-то гвоздикъ; но едва онъ тронулъ его въ другой разъ, чтобъ убѣдиться, что это такое, какъ боковая доска стола, рядомъ съ главнымъ ящикомъ, отскочила и выдвинулся самъ собою маленькій длинный ящичекъ. Эта неожиданность сначала почти испугала Завадьева, чрезъ минуту она заставила его засмѣяться. Онъ обрадовался находкѣ.

«Недаромъ же я полтора часа сижу здѣсь и раздумываю!» сказалъ онъ, опуская руку въ ящикъ.

Онъ былъ почти пустъ. Завадьевъ вынулъ бантъ изъ розовыхъ лентъ, свѣжій, прекрасно связанный, но конецъ ленты былъ затоптанъ въ пескѣ, который еще оставался въ складкахъ. Завадьевъ пришелъ въ восторгъ.

«Вотъ оно!» вскричалъ онъ мысленно: «теперь все ясно: поклонникъ есть. Была уединенная, чувствительная прогулка, вѣроятно, на берегу той глупой рѣчонки, гдѣ меня сегодня чуть не опрокинули. Тамъ видъ такой располагающій къ чувствительнымъ объясненіямъ. Тамъ была потеряна эта лента. Ее нашли, возвратили... Этотъ господинъ—мальчишка; онъ глупъ—это несомнѣнно: съ нимъ вздумали быть жестокой, ленты ему не отдали... Ай, какъ это старо, какъ пошло!.. Еще что здѣсь? Букетъ полевыхъ цвѣтовъ...»

Завадьевъ съ презрѣніемъ бросилъ засохшій букетъ опять въ ящикъ. Тамъ оставалось только письмо, за которое онъ схватился, боясь одного, чтобъ это не было какое нибудь дѣловое, семейное письмо, но судьба его побаловала.

Письмо было отъ пріятельницы, по-французски и подписано «Marie». Завадьевъ недолго колебался, читать ли его или нѣтъ, и колебался только потому, что боялся потерять терпѣніе на этомъ связномъ почеркѣ въ клѣтку, съ немного фигурными буквами и сокращеніями, къ которымъ надо было сначала присмотрѣться, чтобъ читать бѣгло. Любопытство одержало верхъ надъ этими затрудненіями, другихъ не было, и Завадьевъ, усѣвшись покойнѣе, читаетъ слѣдующее:

«Я получила твое письмо, мой добрый другъ, и была поражена всѣмъ, что ты говоришь въ немъ. Нужно ли увѣрять тебя, бѣдная, милая, что мое сердце сочувствуетъ твоей печали, твоему одиночеству, твоему страданію? Не того ждали мы отъ жизни, когда она, такая свѣтлая, являлась на нашемъ горизонтѣ!.. Ты спрашиваешь, буду ли я осуждать тебя? Спроси у своего сердца. Мы, женщины, понимаемъ другъ друга; между нами существуютъ симпатіи, неизвѣстныя другимъ, и только ими мы живы. Я не могу осуждать тебя, я могу только сожалѣть о тебѣ; я скажу тебѣ, милая: бери свое счастье, если судьба посылаетъ его; она обязана дать тебѣ это грустное утѣшеніе. Связанная съ человѣкомъ, котораго никогда не любила, который не стоитъ кончика твоего пальца и не умѣетъ цѣнить тебя, ты можешь позволить себѣ отдохнуть въ любви преданной и благородной, окруженной тѣмъ обаяніемъ молодости и деликатности, которое такъ необходимо для того, чтобъ было живо самое чувство любви... Мнѣ хотѣлось бы видѣть тебя, милая Anastasie: ты бы подробнѣе разсказала мнѣ свою исторію. Онъ... (Но я, какъ ты, буду называть его Eugène—я такъ рада всему этому!). Eugène жилъ лѣто въ деревнѣ у своей сестры, близко васъ, и зимою слѣдуетъ за тобою въ N*, гдѣ вы, наконецъ, будете жить зиму. Это мило съ его стороны и совсѣмъ по-рыцарски. Удивляюсь только, почему вы ѣдете въ N*, а не въ столицу и что за идея этихъ зимъ въ провинціи? У васъ будутъ выборы: это, по крайней мѣрѣ, утѣшительно. Нечего и говорить, добрый другъ, что на все, что будетъ нужно для твоихъ выѣздовъ, я совершенно къ твоимъ услугамъ — приказывай. Я хочу знать, что ты будешь хороша, что ты воскреснешь. Можешь сказать Eugène, что я его обожаю за тебя. Эти длинные разгово-

ры въ длинныхъ аллеяхъ, эти встрѣчи раннимъ утромъ—это прелестно! Кто изъ насъ не мечталъ объ этомъ? Только берегись, моя милая: есть люди, которые понимаютъ это иначе, и я очень боюсь, чтобъ твой мужъ, съ своей обыкновенной неловкостью, не сыгралъ тутъ какой нибудь штуки въ своемъ родѣ. Но онъ, вѣроятно, занятъ честолюбивыми замыслами и ты спокойна, пока продлятся выборы. А потомъ?.. Ахъ!.. но вы, счастливцы, живете безъ заботы о завтрашнемъ днѣ; всѣ ваши тревоги въ васъ самихъ, и еслибъ не было грустной мысли, что вы не можете принадлежать другъ другу... Но что въ этой мысли? Вы принадлежите другъ другу всей душой—и ты счастлива, Anastasie, ты хорошо выбрала. Ты огорчаешься и плачешь, но это общая участь всякой страсти. Принимай свои слезы за счастье: вѣдь это не тѣ слезы, которыми плакала ты, когда я прикалывала къ твоимъ волосамъ эти роковые fleurs d'orange... Прости, что я напоминаю. Ты счастлива въ своемъ несчастьи: ты владѣешь благороднымъ сердцемъ, которое тебя любитъ...

«Прости, меня прерываютъ; надо еще такъ много сказать тебѣ, а у меня тамъ полна гостиная. Я отдѣлала ее en panneaux; но это не ново и мнѣ самой уже не нравится. Мы, ангелъ мой, слабыя и перемѣнчивыя созданія! сегодня одно, завтра другое... Но, кажется, я философствую съ тобой... Прощай».

«Твоя Marie».

«Милый мой Василій Владимірычъ, я вамъ нисколько не завидую!» подумалъ Завадьевъ, кончивъ чтеніе и хохоча. «Тутъ все, что угодно; жена ваша страдаетъ, одинока, не оцѣнена по достоинству; вы грубы и не стоите ея пальчика; интересный Eugène деликатенъ, благороденъ, окруженъ престижемъ молодости, и прочее... Да вѣдь и вамъ всего тридцать-четыре года, Василій Владимірычъ! Развѣ вы ужъ слишкомъ стали угрюмы и скучны? Урокъ мужьямъ — не серьезничать. Впрочемъ, кого и когда чему нибудь научили эти уроки? Для того, кто ихъ получалъ, поправляться поздно; а для другихъ — всякій такъ самолюбиво глупъ, что не смотритъ на чужія бѣды. Но вамъ грозитъ бѣда, Василій Владимірычъ... Только грозитъ, потому что романъ еще въ началѣ: десять дней, какъ писано это письмо... Вотъ мнѣ занятіе въ этомъ тошномъ N*, куда меня заноситъ судьба! Говорятъ, этотъ городъ гнѣздо скуки и сплетень: по крайней мѣрѣ есть что наблюдать и надъ чѣмъ позабавиться, и нечего далеко отыскивать».

Завадьевъ перечитывалъ письмо отрывками и продолжалъ смѣяться.

Его пріятель, Василій Владиміровичъ, имѣлъ неосторожность считать вообще женщинъ дѣтьми, но дѣтьми, неспособными развиваться, и потому постоянно нуждающимися въ руководителяхъ. Съ дѣтьми, какъ извѣстно, много хлопотъ; поэтому многими родителями принята система дрессированія, съ успѣхомъ замѣняющая разныя другія системы воспитанія. Дѣйствія дѣтей приведены въ самый строгій порядокъ, который не измѣняется ни для какихъ обстоятельствъ, просьбъ и желаній: понятно, что желанія перестаютъ являться, сознавая себя напрасными; очевидно, усмиряется и воображеніе, которое создаетъ эти желанія, и вообще волнуетъ и наталкиваетъ на уклоненіе отъ заведеннаго порядка; естественно, что и сердце привыкаетъ спокойно принимать все, что до него касается, и спокойно видитъ все, что совершается предъ глазами; слова: нельзя и такъ должно становятся непреложной заповѣдью, навсегда воздерживающею отъ борьбы и ропота... Люди ли выходятъ изъ такихъ дѣтей — Горевановъ никогда объ этомъ не думалъ, но онъ былъ убѣжденъ, что такъ слѣдуетъ воспитывать женщинъ, и воспитывать до конца ихъ жизни, потому что онѣ вѣчно дѣти. Онъ не хотѣлъ и предполагать, чтобъ между ними могъ встрѣтиться сильный характеръ, недовольный этой полужизнью, которую ему оставятъ, способный и роптать, и бороться, и погибнуть въ борьбѣ. Горевановъ оставлялъ на долю женскихъ способностей капризы, блажь, хитрости, притворство—всѣ эти мелочи, которымъ только можно улыбаться; онѣ несносны, но безвредны; ихъ можно «останавливать, исправлять», какъ дѣтскія шалости...

Завадьевъ тоже смѣялся надъ женщинами, но только иначе. Онъ признавалъ въ нихъ сердце, даже душу, даже умъ и характеръ; вѣрилъ, что онѣ бываютъ несчастны, недовольны; замѣчалъ, что онѣ терпѣливы; зналъ, что онѣ упрямы; видѣлъ изъ многихъ примѣровъ, что онѣ умѣютъ выдерживать и бороться до конца. Но такъ какъ успѣхъ женщины въ борьбѣ за супружеское благополучіе, выражающееся въ домашнемъ порядкѣ, выборѣ знакомствъ и прочихъ положительныхъ сторонахъ, какъ такой успѣхъ почти всегда представляетъ женщину несовсѣмъ

изящно и поэтически—Завадьевъ смѣялся надъ отважными дамами, ведущими подобную борьбу. Хотя бы успѣхъ велъ и къ добру, въ устройству, къ счастью,—побѣдительница была смѣшна. Посадить супруга въ яму, хотя бы для того, чтобъ онъ не промоталъ послѣдняго куска хлѣба дѣтей—все-таки забавно. Борьбу другого рода Завадьевъ называлъ сантиментальничаньемъ. Стремленіе развить тонкія чувства въ человѣкѣ грубомъ или ограниченномъ, свѣтскость—въ деревенскомъ троглодитѣ, понятіе общечеловѣческихъ вопросовъ—въ чиновникѣ, живущемъ выше своего жалованья и состоянія, это стремленіе очень забавно и въ немъ предполагается такое наивное упрямство не понимать вещи, что ему невозможно не смѣяться. Нельзя сожалѣть надъ неудачами—такъ онѣ предвидѣны; нельзя сочувствовать страданію, потому что страдалицы сами на него напрашиваются, на зло здравому смыслу. Школить женщинъ, какъ полагалъ Горевановъ, по мнѣнію Завадьева, было слишкомъ хлопотливо и не стоило труда: трудъ былъ нескончаемый и безполезный. Завадьевъ предпочиталъ наблюдать и смѣяться.

Его истинное наслажденіе составляли исторіи сердца, исторіи любви. Онъ любилъ тонкости, путаницу—все, что невольно является въ исторіи любви женщинъ, отъ необходимости скрываться, отъ восторженнаго уваженія къ чувству, отъ робости—добродѣтели большей части любящихъ женщинъ. Завадьевъ не смотрѣлъ на это съ поэтической точки зрѣнія, онъ только забавлялся, и многія чувствительныя души могли бы, пожалуй, назвать его удовольствіе жестокостью. Онъ, впрочемъ, не скрывалъ этого чувства. Нѣкоторыя дамы, отваживаясь съ нимъ на разговоръ о чувствахъ, намекали ему, что онъ жестокъ; Завадьевъ оправдывался мужской гордостью, которой пріятно видѣть торжество разума и силы надъ мелкими увертками, страннымъ, но тѣмъ не менѣе существующимъ во всякомъ человѣкѣ чувствомъ, которое заставляетъ съ удовольствіемъ видѣть торжество охотника надъ добычей, которая старалась его обмануть. Потомъ Завадьевъ принимался разбирать и умѣлъ находить столько мелочности въ женскихъ соображеніяхъ, затаенной злобы въ женской защитѣ, романичности въ женскомъ благородствѣ, глупости въ женскомъ простодушіи, что всякая женщина—правая и виноватая, обманутая и кокетка—становилась дѣйствительно забавна...

Въ настоящую минуту его забавляла m-me Горреванова и онъ обѣщалъ себѣ много удовольствія зимою, въ N*, гдѣ можно будетъ слѣдить за дальнѣйшимъ развитіемъ этого романа, потому что герой, поступая «по-рыцарски», явится туда къ своей любезной...

«По-рыцарски», подумалъ Завадьевъ: и гдѣ это барыни отыскиваютъ свои фразы? Рыцарство въ этомъ городишкѣ, въ наше время! И вотъ начнутся страхи, опасенія, сплетни. Madame такая-то сказала старой мамзели такой-то—и пошло! Что будетъ дѣлать интересный Eugène? что будетъ дѣлать супругъ? что я самъ буду дѣлать?.. потому что я ни за что на свѣтѣ не хочу играть глупую роль ничего непонимающаго зрителя, о которомъ не заботятся... Да я начну съ проказы, съ шалости, сейчасъ. Внизу письма остался клочокъ чистой бумаги, я припишу ей что нибудь... Что-жъ?.. Она, скоро схватится за письмо; эти вещи перечитываются. Въ минуты, когда ее уколетъ что-то въ родѣ совѣстливости предъ моимъ неоцѣненнымъ Васильемъ Владимірычемъ, m-me Горреванова поспѣшитъ прочесть о томъ, что судьба «обязана ее утѣшить», и все, что слѣдуетъ далѣе, и о роковыхъ fleurs d'orange»... Она скоро прочтетъ письмо. Что бы такое написать ей?

Завадьевъ мучилъ свою память: ему хотѣлось двухъ-трехъ стиховъ, приличныхъ обстоятельствамъ. Досадуя, что изъ немногаго, что помнилъ, онъ не могъ выбрать ничего особенно ловкаго; придумывая, отыскивая, онъ занялся такъ, что ни минуты не обсуживалъ своего намѣренія, не разбиралъ его; напротивъ, отъ хлопотъ придумыванья, Завадьеву начало казаться необходимымъ непремѣнно придумать что нибудь и исполнить свое намѣреніе. Поэтому, когда ему мелькнула удачная мысль, онъ съ такимъ восхищеніемъ схватился за перо, какъ будто былъ самъ творцомъ того, что приписалъ внизу подписи доброй пріятельницы.

. . . . Я боюсь за тебя.
Въ тѣснотѣ, въ многолюдствѣ собранья,
Пусть пройдетъ клевета безъ вниманья,
И любви откровенной слова
Не подслушаетъ злая молва.

Завадьевъ сначала обрадовался, будто свершилъ подвигъ, потомъ чего-то сконфузился, даже осмотрѣлъ письмо, подумавъ, нельзя ли оторвать приписанное, остановился, сообразивъ, что оторванный лоскутокъ все-таки возбудитъ подозрѣніе; но, засмѣявшись изумленію m-me Горевановой, когда она увидитъ это четверостишіе, бросилъ письмо въ ящикъ, къ букету и розовой лен-

тѣ и задвинулъ его изо всей силы. Пружина щелкнула. Завадьеву вдругъ пришла мысль унести письмо совсѣмъ, изорвать его, или сохранить—что нибудь, но не оставлять его здѣсь: это будетъ и ловчѣе, и добросовѣстнѣе... Но сколько ни бился онъ, стараясь опять открыть ящикъ, ящикъ не открывался; должно быть, механика испортилась, или въ его устройствѣ произошло что нибудь извѣстное только ея владѣльцу. Въ досадѣ, Завадьевъ еще больше разсердился, увидя издали лакея, который шелъ доложить ему, что готовъ обѣдъ; почти сконфузясь, онъ привелъ въ порядокъ все, что было на столѣ, вытеръ перо, счистилъ со стола золу сигары и, отправляясь въ столовую, приказалъ закладывать лошадей.

Коляска была готова, пока Завадьевъ обѣдалъ, и обѣдъ поправилъ его расположеніе духа, вдругъ чѣмъ-то возмущенное. Уѣзжая, онъ приказалъ кланяться Василію Владиміровичу и его супругѣ и выражалъ сожалѣніе, что не засталъ ихъ и не могъ дождаться...

Горевановы возвратились вечеромъ. Василій Владиміровичъ не выразилъ никакого сожалѣнія о томъ, что не видѣлся съ Завадьевымъ; и когда жена спросила его, кто такой Завадьевъ, онъ отвѣчалъ только:

— Такъ, знакомый.

Впрочемъ, Настасья Александровна привыкла получать отвѣты большею частью односложные, на которые возраженія не допускались, а объясненій никогда не бывало. Изъ отвѣта мужа о Завадьевѣ, она ясно видѣла, что ей больше знать нечего, что это человѣкъ обыкновенный, незначительный, незанимательный и что ей разспрашивать о немъ не слѣдуетъ.

Но еслибъ она и захотѣла, отъ нечего дѣлать, подумать лишній разъ о гостѣ, котораго видѣть ей не удалось, ей было некогда. На другой же день къ нимъ наѣхали гости, сосѣдніе помѣщики, которыхъ Василій Владиміровичъ пригласилъ на нѣсколько дней. Встарину, то есть лѣтъ двадцать назадъ, деревенскія посѣщенія не дѣлались иначе, какъ семьями и надолго; теперь это вывелось. Богатые владѣльцы не живутъ въ своихъ помѣстьяхъ, а если и живутъ, то сдѣлались необыкновенно разсчетливы и разборчивы на знакомство.

Горевановъ вздумалъ возобновить старинный обычай. Зимой предстояли выборы и ему хотѣлось быть предводителемъ; а для этого надо было заслужить расположеніе, сблизиться, выказаться любезнымъ. Гостей собралось много, дамъ и мужчинъ, старыхъ и молодыхъ, даже дѣвицъ и подростковъ. Горевановъ былъ такъ любезенъ, что позвалъ изъ ближняго уѣзднаго города музыкантовъ какого-то стоявшаго тамъ полка, и въ селѣ Долгомъ три вечера сряду танцовали. Это дѣлалось какъ-то осебенно запросто, безъ большихъ приготовленій, стѣснительныхъ для гостей, отчего и выходило оживленно и весело; Горевановъ дѣлалъ не праздникъ, а просто прощался съ сосѣдями, намѣреваясь переѣхать на зиму въ городъ.

На другой же день, послѣ отъѣзда гостей, начались сборы отъѣзда хозяевъ. Настасья Александровна оставалась одна, какъ это случалось съ ней очень часто, потому что мужъ былъ всегда чѣмъ нибудь занятъ у себя. Отдавъ всѣ нужныя приказанія, уложивъ свои любимыя вещи, Настасья Александровна подошла къ своему письменному столу.

Убѣдившись, что она одна и мужъ занятъ Настасья Александровна рѣшилась открыть завѣтный ящикъ, чтобъ достать и увезти то, что въ немъ находилось. Ящикъ не открывался; она приписывала это торопливости и страху, съ которымъ старалась его открыть, но, трудясь напрасно, пришла въ отчаяніе. Позвать кого нибудь на помощь? А если услышитъ и вздумаетъ помогать мужъ? Кто такъ могъ задвинуть этотъ ящикъ?.. Но столько постороннихъ людей подходило къ этому столу въ послѣдніе дни: кто нибудь могъ толкнуть неосторожно... Ящикъ рѣшительно не отворялся. Настасья Александровна вложила большія ножницы между верхней доской и задвижкой и сломала замокъ.

Все было на мѣстѣ, все казалось въ порядкѣ; но это показалось только въ первую минуту; письмо было вынуто изъ пакета. Настасья Александровна схватила его; строки, написанныя другимъ почеркомъ, другими чернилами, бросились ей въ глаза... Она еще не прочла ихъ, но охолодѣла... У нея захватило дыханіе, остановилось сердце; ея ужаса описать невозможно.

Нѣсколько минутъ смотрѣла она на эти строки, забывая, что мужъ можетъ застать ее съ письмомъ въ рукахъ; ей не вѣрилось, ей казалось, что она сошла съума или видитъ во снѣ; забываясь, она сказала громко: «Кто могъ это сдѣлать?..»

Она принялась всматриваться въ каждую букву, въ каждую черту: почеркъ былъ незнакомый. Цѣлый часъ простояла она у от-

крытаго ящика, все глядя на письмо, потерянная, не понимая что дѣлаетъ, что должно дѣлать. Ей приходило на мысль бѣжать къ мужу и разсказать ему; у ней была мысль сказать все Eugène...

Настасьѣ Александровнѣ было двадцать два года. Она вышла замужъ не любя никого, потому что не стоитъ считать любовью первыхъ, пустыхъ впечатлѣній и увлеченій, на которыхъ дѣвушка пробуетъ свое сердце. Вздохи въ кадрили, желаніе понравиться еще далеко не то чувство, которое должно рѣшить участь сердца, это еще продолженіе дѣтства, всѣмъ забавляющагося и неразборчиваго. Настасья Александровна по характеру была робка, нерѣшительна и покорна. Мужъ, взявшійся воспитывать ее, еще болѣе пріостановилъ развитіе этого характера, заставляя ее слушаться и повиноваться хотя и дѣльно, но не размышляя. Онъ требовалъ, чтобъ она была занята, училась, отдавала ему отчетъ въ своихъ поступкахъ и выборѣ знакомствъ, держалась всегда спокойно, не волновалась ничѣмъ, не увлекалась никогда. Ей было скучно. Она умѣла оцѣнить своего мужа и понять, что его сильный и строгій характеръ былъ прямъ и благороденъ, что взыскательный и непрощающій, онъ былъ взыскателенъ только на дурное, что, не терпя мелочей, онъ не привязывался къ мелочамъ, а только порицалъ и гналъ ихъ безъ пощады. Настасья Александровна не могла не уважать своего мужа; она даже любила его разсудительную доброту, его великодущіе, но она боялась его даже, когда онъ казался доволенъ—казался, потому что Горевановъ никогда не выражалъ и не говорилъ, что доволенъ чѣмъ нибудь: онъ считалъ хорошее на свѣтѣ должнымъ и никого не хвалилъ за то, что называлъ исполненіемъ долга. Настасья Александровна скучала.

Она скучала такъ три года, проводя ихъ постоянно въ деревнѣ, въ довольно пріятномъ обществѣ сосѣдей, иногда даже оживленно, весело, но безъ сближенія, безъ дружбы, оживляясь и веселясь будто по обязанности. Ее начали считать женщиной серьезной, какъ ея мужъ; другіе называли ее вялымъ ребенкомъ, куклой...

Самой близкой сосѣдкой Гореваповыхъ была m-me Сборова, вдова, съ большимъ состояніемъ, огромной семьей дочерей, подроставшихъ и маленькихъ, съ множествомъ гувернантокъ. Ея усадьба была всего въ полуверстѣ отъ Долгаго, почему знакомство представляло всѣ удобства частыхъ свиданій, даже телеграфическихъ знаковъ съ балконовъ. Дамы познакомились. Время проходило занимательно и назидательно въ разсматриваніи planches de lingerie изъ «Journal des Dames et des Demoiselles», чтеніи «Revue Etrangère», игрѣ на фортепіано въ четыре руки, прогулкахъ въ рощѣ, тамъ, гдѣ были расчищены дороги. Свѣжесть туалетовъ этихъ дамъ была восхитительна. M-me Сборова говорила о m-me Горевановой, что это «une charmante personne», m-me Горевановa говорила то же о дочеряхъ m-me Сборовой; о ней самой, какъ особѣ лѣтъ болѣе почтенныхъ, относилась, что «c'est une personne distinguée». У нихъ бывали des longues causeries, Богъ вѣсть о чемъ, только не объ искусствахъ, не о литературѣ, не о философіи, не о жизни, не о самихъ себѣ. Это была совершенная дружба. Горевановъ находилъ ее весьма полезной для своей жены, какъ нѣчто порядочное и пріучающее къ порядку, приличное и ненаводящее на мечтанія. Самъ онъ рѣдко являлся у m-me Сборовой, между тѣмъ какъ Настасья Александровна отправлялась туда почти всякій день, пѣшкомъ, чрезъ выгонъ, одна, пользуясь деревенской свободой...

Но мечтательность (качество хорошее или дурное—не намъ судить), какъ бы ни была она ограничена и стѣснена воспитаніемъ, надзоромъ и совѣтами, непремѣнно проявится въ женщинѣ въ чемъ нибудь, когда нибудь. Однажды, совершая утренній походъ къ пріятельницѣ, Настасья Александровна вздумала взглянуть на тѣнь свою, граціозной полосой бѣжавшую по лугу. Она остановилась; Богъ вѣсть почему ей показалось, что пріятнѣе стоять такъ, одной среди поля, гдѣ у ногъ ея цвѣли красныя гвоздики и голубыя незабудки, нежели проводить утро на балконѣ подъ парусиннымъ маркизомъ за чтеніемъ произведеній m-me Clémence Robert; утро жарко и влажно пахнуло ей въ лицо: она обрадовалась этому и сложила зонтикъ; жаворонокъ такъ мило залился такой веселой пѣсныо, что Настасьѣ Александровнѣ захотѣлось бѣжать отыскивать, гдѣ поетъ онъ; а когда онъ поднялся прямо надъ нею, она рисковала потерять съ головы шляпу, глядя вверхъ и восхищаясь поджатыми тоненькими ножками крошечной птички... Настасья Александровна подумала, что это наслажденіе: идти одной, быть на свободѣ, не думать о чемъ-то, что всегда велѣно помнить, объ этихъ приличіяхъ, на которыхъ вертится вся жизнь; что наслажденіе—хоть четверть часа въ день провести не

такъ, какъ, говорятъ, принято и должно проводить свой день; что очень много дней пропадаетъ за чтеніемъ Clémence Robert и выборомъ planches de lingerie; что въ саду и расчищенной рощѣ не такой воздухъ; что веселѣе слушать жаворонка, нежели играть на фортепіано въ четыре руки... Какъ до сихъ поръ ей не приходило это въ голову! Но время еще не ушло; теперь она будетъ всякій разъ, идя къ m-me Сборовой, останавливаться на лугу; можно будетъ даже идти по травѣ, а не по тропинкѣ; можно будетъ даже, просто, когда нибудь обойти весь лугъ, нагуляться вдоволь... и никому не говорить объ этомъ.

Съ этого дня Настасья Александровна полюбила уединеніе—но не въ своемъ саду, который присмотрѣлся ей и былъ въ нестерпимомъ порядкѣ, гдѣ зеленыя палочки подъ георгинами начали выводить ее изъ себя, а колышки, еще замѣтные на вновь настланномъ дернѣ, чуть не доводили ее до слезъ. Она уходила на самый конецъ сада, къ рѣшеткѣ, садилась и смотрѣла въ поле. Она не брала съ собой книги, потому что ничего не дѣлать пріятнѣе и потому, что англійскіе романы, которые рекомендовалъ ей мужъ, романы съ тысячами непривлекательныхъ джентльменовъ и героинями, всегда отличными хозяйками, какъ-то не читаются въ виду природы. Настасья Александровна уединялась со страхомъ и украдкой; можетъ быть, этотъ дѣтскій страхъ и составлялъ всю прелесть ея уединенія: будь оно позволено, будь для него назначенъ часъ—вѣроятнѣе всего, что Настасья Александровна стала бы въ этотъ часъ сама вызываться читать вслухъ газеты своему супругу...

Въ одинъ день, прійдя къ m-me Сборовой, Настасья Александровна встрѣтила молодого человѣка, красиваго собой и очень элегантнаго. Сборова представила его; это былъ ея братъ, Евгеній Ивановичъ Лѣсичевъ, сдѣлавшій ей милый сюрпризъ, пріѣхавъ провести у нея лѣто.

Евгеній Ивановичъ сбирался заграницу, но, наговоривъ объ этомъ очень много, вдругъ спохватился, что средствъ для путешествія очень мало, и, чтобъ не оставаться на глазахъ у своихъ столичныхъ друзей, которые могли бы посмѣяться надъ этимъ несчастьемъ, придумалъ, что сестра вызываетъ его по необыкновенно нужному дѣлу на лѣто въ деревню. Сестрѣ, конечно, онъ не сказалъ ни о планахъ путешествій, ни о причинѣ пріѣзда, и держался какъ человѣкъ, жертвующій своимъ комфортомъ, чтобъ запастись въ деревнѣ здоровьемъ, послѣ холода и сырости столицы.

Съ Настасьей Александровной онъ говорилъ о столицѣ. Сестра спросила его послѣ обѣда, оставшись съ нимъ на минуту одна:

— Не правда ли, миленькая женщина?

— Глупа немножко, отвѣчалъ онъ очень хладнокровно, отправляясь въ цвѣтникъ курить.

Его племянницы играли тамъ въ серсо; предъ ними онъ негодовалъ, что присутствіе m-me Гореваново мѣшаетъ ему курить на балконѣ. Впрочемъ, онъ негодовалъ недолго и негромко, какъ человѣкъ, который разсчелъ, что не стоитъ ничѣмъ ни волноваться, ни озабочиваться. Возвратясь къ дамамъ, онъ вмѣшался въ разговоръ, который, вѣроятно, отъ присутствія молодого человѣка перешелъ къ отвлеченнымъ предметамъ. Лѣсичевъ разговаривалъ умѣренно и слегка въ отрицательномъ тонѣ, заставлявшемъ предполагать, что онъ думаетъ болѣе, нежели говоритъ, отчего его мнѣнія получили занимательность загадочности. Онъ казался задумчивымъ. Настасья Александровна не знала, что есть люди скучно скучающіе; ей показалось, что Лѣсичевъ страдаетъ, что у него есть тайныя огорченія и причины не довѣрять людямъ и не находить ихъ прекрасными. Она знала также, что есть холодныя женщины, которыя надъ всѣмъ смѣются, для которыхъ наслажденіе играть чувствомъ, которыя не раскаяваются, оскорбивъ кого нибудь и сдѣлавъ несчастнымъ. Въ романахъ и въ жизни Настасью Александровну ужасали такіе характеры. Потому она стала говорить съ Лѣсичевымъ осторожнѣе, чтобъ какъ нибудь нечаянно не затронуть больной и раздраженной струны его сердца; ей тоже не хотѣлось, чтобъ онъ могъ принять и ее за подобное холодное и злое созданіе. Вслѣдствіе этой мысли она осмѣлилась поспорить съ нимъ, когда онъ завелъ вѣчныя и разнообразныя варіаціи на тему La donna é mobile, и увѣряла, краснѣя и смущаясь, что могутъ быть исключенія...

Лѣсичевъ понялъ эту робкую защиту иначе; онъ сказалъ себѣ, что m-me Горевавова порядочная кокетка, только по-своему, и не совсѣмъ ловка, а впрочемъ, лѣтомъ надобно что нибудь дѣлать.

Между тѣмъ какъ она примѣнялась къ его «страданію», которое вообразила себѣ, онъ старался поддѣлаться подъ сантиментальный тонъ, который находилъ приличнымъ своему положенію и болѣе удобнымъ съ наивной и неопытной женщиной. Она са-

ма помогла ему, вообразивъ его страдальцемъ. Ему было бы трудно начать учиться сочувствовать чему нибудь, а тутъ предполагаемыя несчастья сердца совершенно извиняли его грустную холодность, и ничего не было пріятнѣе, какъ заставлять утѣшать себя. Если случалось, что, во время задушевнаго разговора, мысли Лѣсичева вдругъ, неизвѣстно почему, начинали кружиться около какого нибудь зимняго пикника на Средней Рогаткѣ, и онъ, опуская голову и задумываясь сильнѣе, отвѣчалъ невпопадъ, или выговаривалъ фразу безъ конца и начала, это извинялось очень легко множествомъ сильныхъ ощущеній, пролетѣвшихъ въ памяти въ одну минуту, множествомъ идей, которыми всегда такъ полна голова человѣка, много испытавшаго. Лѣсичевъ былъ очень доволенъ подобными объясненіями и покоенъ насчетъ своихъ разсѣянностей. Одинъ разъ, однако, онъ провелъ дурную минуту. Настасья Александровна, немного увлекаясь, говорила о своемъ дѣтствѣ, о природѣ; Лѣсичевъ усталъ, закрылъ лицо платкомъ и, уступая непреодолимому желанію, зѣвнулъ до слезъ. Кончивъ, онъ съ невольнымъ страхомъ поднялъ глаза на свою собесѣдницу.

— Oh, vous souffrez! вскричала она, растроганная.

Видъ его смятаго лица и покраснѣвшихъ глазъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, очень трогателенъ. Лѣсичевъ сказалъ себѣ, однако, что впередъ надо быть осторожнѣе.

Онъ подумалъ то же, самъ увидя этого мужа, занятаго политикой, управлявшаго своимъ имѣніемъ такъ серьезно, какъ будто правилъ государствомъ, очень часто молчаливаго, погруженнаго въ созерцанія, очевидно непохожія на страдальческія созерцанія Лѣсичева. Мужъ не понравился Лѣсичеву: съ нимъ было какъ-то неловко и говорить нельзя. Оба они поняли другъ друга совершенно съ перваго свиданія. Горевановъ принялъ Лѣсичева такъ же хладнокровно, какъ принимаются поздравленія съ праздникомъ, посредственное стихотвореніе, чириканье воробья на крышѣ. Горевановъ съ первыхъ словъ видѣлъ, что Лѣсичевъ ни о чемъ не думаетъ, слѣдовательно можно о немъ ничего не думать...

Лѣсичевъ этимъ не обидѣлся. Хотя дружба мужей вообще довольно забавна, но онъ безъ сожалѣнія отказалъ себѣ въ этомъ удовольствіи и охотно ограничивался съ Горевановымъ одними рукопожатіями, двумя-тремя словами о погодѣ, если встрѣчались въ саду, двумя-тремя словами о здоровьѣ и лѣтнемъ леченіи, если встрѣчались дальше отъ дома или въ полѣ. Они начали ужъ повторяться. Въ двѣ недѣли эта короткость отношеній дошла до того, что Горевановъ, приходя утромъ къ завтраку и заставая съ женой Лѣсичева, молча здоровался, бралъ свою чашку, разрывалъ обертку газеты и садился читать въ своемъ креслѣ у окна. Онъ былъ увѣренъ, что съ этимъ человѣкомъ говорить нечего.

Лѣсичевъ нашелъ, что Горевановъ глупъ и что, слѣдовательно, этимъ можно воспользоваться, только не надо злить его. Оставаясь съ хорошенькой хозяйкой, между тѣмъ какъ мужъ углублялся въ чтеніе, не замѣчая ни его, ни ея, Лѣсичевъ началъ съ того, что сталъ выказывать нетерпѣніе, неудовольствіе отъ присутствія этого молчаливаго свидѣтеля. Онъ начиналъ молчать самъ, говорить такія пустыя и несложныя вещи, что разговоръ не только не могъ завязаться, но становился невозможнымъ въ нѣсколько минутъ и наводилъ какую-то тяжелую усталость. На молодое сердце Настасьи Александровны эта усталость дѣйствовала какъ печаль; ей дѣлалось грустно; она конфузилась. Присутствіе мужа, безучастнаго и холоднаго, видимо, стѣсняло, бѣсило пылкаго молодого человѣка, сдерживало его любезность, остроуміе, даже выраженіе его мысли, такъ парализировало его чувства, что Настасьѣ Александровнѣ начало казаться, будто и она сама стѣснена, будто и ей говорить нечего и нельзя, будто и она не можетъ ничего ни чувствовать, ни думать... Раза два нетерпѣливымъ жестомъ и полусловомъ вполголоса Лѣсичевъ даже выразилъ, что ему скучно. Настасья Александровна стала искать возможности оставаться съ нимъ наединѣ; какъ хозяйка дома, она сочла обязанностью не давать скучать гостю. Разъ, наконецъ, послѣ долгихъ колебаній, она рѣшилась, собрала все свое мужество, взяла зонтикъ и перчатки и, вставая изъ-за стола, гдѣ завтракали, сказала Лѣсичеву:

— Пойдемте въ садъ.

Горевановъ поднялъ глаза изъ-за «Indépendance»: ему мелькнули только оборки платья жены, выходившей на балконъ. Лѣсичевъ слѣдовалъ за нею; можетъ быть, его слишкомъ равнодушный видъ и заставилъ бы подумать, что это равнодушіе не совсѣмъ искренно, но Горевановъ такъ презрительно понималъ людей этого сорта, что Лѣсичевъ могъ притворяться или не притворяться, ни-

сколько не взволновавъ его спокойствія. По мнѣнію Горева́нова, только женщина совершенно пошлая могла увлечься подобнымъ господиномъ, а жену свою онъ не считалъ пошлой женщиной; еслибъ она, по ребячеству, и нашла въ Лѣсичевѣ что нибудь привлекательное, то всегда нашлось бы время показать ей вещи въ настоящемъ свѣтѣ и образумить ее... Все это прошло въ головѣ Горева́нова, пока онъ перебѣгалъ столбецъ газеты, которою опять занялся невозмутимо.

Настасья Александровна остановилась въ цвѣтникѣ, едва сошла съ балкона: она сама испугалась подвига, который совершила, и, сконфуженная, не знала что сказать своему спутнику и что дѣлать.

Лѣсичевъ былъ очень доволенъ; онъ счелъ важнымъ успѣхомъ приглашеніе молодой женщины; правда, онъ самъ былъ какъ-то не совсѣмъ покоенъ, думая о мужѣ, но, стало быть, можно не очень бояться его и держаться свободнѣе, если жена рѣшается быть смѣлою. Главный разсчетъ въ томъ: какъ держаться интереснѣе, не показать же школьнической радости, что его удостоили вызвать на уединенную прогулку. Лѣсичевъ нахмурился и улыбнулся неожиданной улыбкой, отрицательной, насмѣшливой, себѣ на умѣ, улыбкой какого-то унижающаго сожалѣнія, всегда производящей сильное дѣйствіе на робкія и болѣе всего на неопытныя женскія сердца.

Играя до конца жестокую роль, Лѣсичевъ сталъ ждать, чтобъ Настасья Александровна заговорила съ нимъ сама.

— Какъ вчерашній дождь измялъ розы! сказала она наконецъ.

Разговоръ начался по-французски.

Лѣсичевъ, не отвѣчая, наклонился къ куртинѣ, сломилъ вѣтку розъ и подалъ ее Настасьѣ Александровнѣ. Она вспыхнула. Онъ былъ совершенно спокоенъ; онъ укололъ себѣ палецъ и, дѣлая видъ, что скрываетъ страшную боль, сморщилъ брови съ досадой человѣка, сознающаго, что наказанъ подѣломъ за свои глупости, и завернулъ руку въ платокъ съ такой хладнокровной рѣшимостью, какъ будто былъ раненъ смертельно и зналъ это. Настасья Александровна испугалась и не смѣла спросить ни слова; и безъ того вся эта сцена происходила слишкомъ близко отъ оконъ гостиной. Она молча пошла впередъ; Лѣсичевъ пошелъ за нею, подумавъ, что она кокетка болѣе опытная, нежели онъ предполагалъ.

— Я, кажется, не ошибся, давъ вамъ красную розу, сказалъ Лѣсичевъ разсѣянно, послѣ нѣсколькихъ минутъ прогулки и молчанія, очень затруднительнаго для Настасьи Александровны: — вашъ любимый цвѣтъ розовый.

— Почему вы это замѣтили?

— Вы часто его носите. Мнѣ показалось даже это оригинальностью—вы блондинка.

— И даже очень бѣлокурая. Этотъ розовый цвѣтъ — оригинальность моего мужа, который находитъ, что гармонія цвѣтовъ состоитъ не въ контрастахъ, а, напротивъ, въ сходствѣ, и потому къ румяному лицу, къ свѣтлымъ волосамъ идетъ бѣлое и розовое.

— Онъ хочетъ, чтобъ вы видѣли все въ розовомъ цвѣтѣ, замѣтилъ сквозь зубы Лѣсичевъ: — похвальное желаніе! тѣмъ болѣе, что отъ него самого зависитъ его исполнить.

— Какъ это? спросила Настасья Александровна, не подумавъ что говоритъ, потому что эти слова и тонъ ихъ привели ее въ смятеніе.

— Дѣлая васъ счастливой, отвѣчалъ Лѣсичевъ, снисходительно улыбаясь наивному вопросу и давая замѣтить и свою снисходительность, и свое раздумье. — Вѣдь вы счастливы? прибавилъ онъ съ какой-то особенной желчью и состраданіемъ.

— Конечно, отвѣчала она, обиженная его тономъ.

— Счастливые люди очень счастливы, сказалъ Лѣсичевъ невозмутимо.

— Великая истина, замѣтила она, улыбнувшись.

Лѣсичевъ счелъ долгомъ отмстить ей за эту улыбку; мстить иначе нельзя, какъ мучить.

— Что-жъ дѣлать? возразилъ онъ съ своимъ обыкновеннымъ спокойствіемъ: — есть положенія, есть отношенія, въ которыхъ можно говорить только великія истины...

— То есть?..

— То есть общія мѣста, договорилъ Лѣсичевъ.

— Какъ я должна понять это? спросила Настасья Александровна.

— О, Боже мой! очень просто, конечно. Я говорю, конечно, о себѣ... о комъ же больше? Я—никто больше какъ я—нахожусь въ положеніи такомъ безцвѣтномъ, обыкновенномъ, лишенномъ интереса и движенія, что мнѣ остается говорить только великія истины. Все вокругъ меня однообразно до зѣвоты; впереди ничего, потому что жизнь дожита, перемѣны невозможны, все опредѣлено;

одинъ день проходитъ, какъ прошелъ другой; пройдетъ ихъ еще много... и какъ скучно видѣть ихъ много впереди и все такихъ же! Будутъ, конечно, развлеченія, что нибудь мелькнетъ; но я чувствую, знаю и предвижу, что это «что нибудь» будетъ драма жизни другихъ, а не моя. Другіе живутъ, я — нѣтъ. И поневолѣ дѣлаешься вялъ, пошлъ, скученъ для другихъ; тѣнь—не человѣкъ. Я отдаю себѣ справедливость: я, можетъ быть, то же, что другіе; но если внутренняя жизнь не занята, что-жъ мнѣ за дѣло до внѣшней? Я могу имѣть знакомство, комфортъ, все довольно приличное, есть люди, которые находятъ въ этомъ все наслажденіе жизни; я этого наслажденія не понимаю. Меня эта разсчитанная жизнь съ ума сводитъ. Холодъ, скука...

У Лѣсичева не достало больше краснорѣчія; но и того, что онъ сказалъ, было довольно.

«Это и моя жизнь», подумала Настасья Александровна и прибавила громко:

— Что-жъ дѣлать!..

— Конечно, что-жъ больше дѣлать, какъ не покоряться и жить такой рыбьей жизнью? Что же дѣлать, когда недостаетъ ни энергіи, ни силы воли, ни способности чувства, ни даже охоты дѣлать глупости? Я очень хорошо знаю, что располагать собою въ моей власти, знаю чѣмъ можно оживить жизнь— и не двигаюсь!.. Нечего извинять себя: это самое презрѣнное безсиліе и тѣмъ презрѣннѣе, что я, по своей волѣ, допустилъ себя впасть въ него. Была, должно быть, въ моей жизни минута, когда спокойствіе — это обманчивое спокойствіе лѣни — показалось мнѣ пріятно, и я поддался ему... Можетъ быть, была необходимость, которой я уступилъ и, уступивъ, охладѣлъ... Теперь я раскаяваюсь, но поздно!..

«Это мой характеръ», подумала Настасья Александровна.

— Почему-жъ поздно? спросила она громко.

— Вы думаете, нѣтъ?

— Я ничего не думаю.

— Вы не думаете о томъ, что я сказалъ?

— О вашемъ характерѣ?

— Вы не думаете обо мнѣ?... Счастливые люди очень счастливы и потому всегда немножко эгоисты—еще великая истина! Извините, но признайтесь: пока я такъ долго утомлялъ ваше вниманіе анализомъ моихъ чувствъ и помысловъ, у васъ для меня не находилось ни сочувствія, ни мысли?

— О, нѣтъ, вы ошиблись! напротивъ, я думала... думала о васъ и еще...

— О чемъ?.. или о комъ?..

— Нѣтъ, я думала, что невозможно... невозможно, когда жизни еще много впереди, дать ей завянуть такъ, напрасно... Я ошиблась, сказавъ, что дѣлать нечего; вы видите, что я ошиблась... невозможно, чтобъ у того, кто такъ безпощадно разбираетъ себя и обвиняетъ, не нашлось силы, хотя бы силы отчаянія, разбудить свое сердце...

Лѣсичевъ улыбнулся про себя, подумавъ, что Настасья Александровна первая назвала с е р д ц е, о которомъ въ теченіе разговора не было упомянуто.

— Невозможно, продолжала она, увлекаясь:—чтобъ у васъ не нашлось той благородной силы, которая заставляетъ жизнь идти, какъ она должна идти... Вы такъ молоды...

Она остановилась и замолчала.

— А кто-жъ увѣритъ меня, сказалъ задумчиво Лѣсичевъ, давъ пройти минутѣ молчанія:—что я недаромъ воскрешу мое чувство, не наживу себѣ новаго страданія, что меня не обманутъ?

— Это невозможно! возразила она.

— Вы думаете?..

— Я увѣрена, отвѣчала она съ полнѣйшимъ, дѣтскимъ непониманіемъ, къ чему онъ клонилъ свой вопросъ.

— Благодарю васъ, сказалъ Лѣсичевъ, тихо пожавъ ея руку, которой она опиралась на его руку:—первое отрадное слово въ моей жизни я услышалъ отъ васъ.

Она смутилась и не отвѣчала. Онъ нашелъ, что на нынѣшній разъ довольно, и, пожалуй, такъ и быть, если и завтра объясненіе не подвинется дальше. Онъ усталъ. Съ отдыхомъ, пожалуй, эта игра, можетъ быть, выйдетъ и занимательна, но пока довольно. Молча и задумчиво онъ довелъ до дома молодую женщину и, подъ предлогомъ дѣла, сказаннаго такимъ тономъ, что дѣло ясно означало душевное волненіе и разстройство, уѣхалъ домой. Въ самомъ дѣлѣ, ему хотѣлось взять сигару, лечь въ тѣни дремать.

Настасья Александровна была разсѣяна и, нисколько не настроивая себя задумываться, задумывалась цѣлый день. Ей вдругъ вошло въ голову, что для мужа можетъ показаться страннымъ такое расположеніе духа, и она старалась скрывать его. Ей не вошло въ голову, что это притворство. Она стала грустить, сама не зная о чемъ. Жизнь стала казаться ей не занятой, однообразной, стѣсненной. Лѣсичевъ догадался не приходить

нѣсколько дней. Настасья Александровна не говорила себѣ, что ждетъ его, что хотѣла бы его видѣть, но тѣмъ хуже: пустота, которую она чувствовала, довела ее до тоски, до раздраженія. Гореванову показалось, что его жена простудилась и нездорова; онъ признавалъ разстройство нервовъ, но только отъ испуга или огорченія, а женѣ его—онъ положительно зналъ—испугаться или огорчиться было не отчего. Настасьѣ Александровнѣ вдругъ почему-то показалось неловко пойти къ Сборовой. Сборова сама пришла ее провѣдать, потому что въ запискѣ, которую написала ей Настасья Александровна, отсылая какую-то Ame exilée или Ame en peine, Настасья Александровна не вытерпѣла и прибавила: Je ne sais ce que j'ai, mais je me trouve mal. Она потомъ раскаявалась въ этой припискѣ и хотѣла воротить посланнаго, но было уже поздно: посланный успѣлъ сбѣгать и возвратиться. Она думала, что если Лѣсичевъ увидитъ ея записку... не покажется ли это ему... чѣмъ? что за бѣда извѣстить пріятельницу о своемъ здоровьѣ? Ей представлялось, что она сдѣлала что-то недолжное, странное. Ей представлялся весь вздоръ, о которомъ женщины допускаютъ себя думать, раздражая сами себя, и потомъ, именно анализомъ этого вздора, приданьемъ ему важности доводятъ себя до ошибокъ и несчастій. Разговаривая съ пріятельницей, Настасья Александровна не помянула имени ея брата, какъ будто и не знала его, какъ будто его не было на свѣтѣ; а казалось бы, что натуральнѣе спросить о знакомомъ, который бывалъ всякій день и вдругъ не являлся пять дней! Сборова, какъ хорошая пріятельница и женщина не мелочная, тотчасъ это замѣтила и, будто вскользь, сказала, что Eugène цѣлые дни проводитъ на охотѣ. Настасья Александровна покраснѣла, именно потому, что боялась покраснѣть, если назовутъ Лѣсичева, а его назвали еще просто Eugène, какъ же было не вспыхнуть?... Словомъ, путаница чувствъ изъ пустяковъ завязывалась полнѣйшая.

И другой путаницы завязалось довольно. Сборова вдругъ почему-то сильно принялась думать, что у нея пять дочерей, въ домѣ три гувернантки, братъ, неженатый, молодой человѣкъ, что m-me Гореванова очень молоденькая женщина, что въ деревнѣ рощи, поля, сосѣди, которымъ дѣлать нечего, а говорить хочется, слѣдовательно, все это какъ-то странно, неловко, бросается въ глаза, неприлично... Она много думала все такъ же связно и такъ же понятно, и, рѣшившись, какъ женщина, понимающая обязанности матери семейства, такъ же связно и понятно высказала все брату.

Евгеній Ивановичъ сказалъ:

— Ma chère, vous êtes folle, повернулся, запѣлъ и пошелъ. Но вдругъ, одумавшись (онъ, какъ многіе, не любилъ длинныхъ женскихъ рѣчей и захотѣлъ разомъ прекратить всѣ дальнѣйшія покушенія сестры своей на краснорѣчіе), воротился и сказалъ серьезно и съ большимъ достоинствомъ, конечно, по-французски:

— M-me Гореванова—если ты говоришь о ней и обо мнѣ—можетъ быть, и молоденькая и хорошенькая женщина, но это не свѣтская женщина; а я не терплю ни наивностей, ни удивленій, ни громкихъ фразъ. Если она боится, что я потревожу ея спокойствіе, то можетъ не бояться. Ты меня знаешь довольно... да и я сказалъ довольно.

Но думалъ онъ совсѣмъ другое, или, вѣрнѣе, ничего не думалъ. Изъ словъ сестры онъ заключилъ, что сдѣлалъ впечатлѣніе на Гореванову—тѣмъ лучше. Не продолжать было бы глупо. Не показать же, въ самомъ дѣлѣ, будто онъ испугался, что станутъ говорить. Тѣмъ лучше, что говорятъ: интереснѣе. А если дойдетъ до мужа?... Вздоръ! можетъ и не дойти.

И въ тотъ же день, вечеромъ, онъ пошелъ къ Горевановымъ. Мужа не было дома. Настасья Александровна была въ саду и почти испугалась, когда явился Лѣсичевъ, отыскивавшій ее—испугалась, потому что онъ явился неожиданно. Какъ-то невольно она выговорила, что садъ ей надоѣлъ. Лѣсичевъ предложилъ проводить ее въ поле. Она согласилась. Ей было страшно, выходя за калитку сада; она велѣла лакею догнать себя по дорогѣ и принести бурнусъ; она сказала Лѣсичеву, что хочетъ идти съ нимъ къ его сестрѣ, сдѣлать ей сюрпризъ, словомъ, она говорила и дѣлала всѣ глупости, которыя дѣлаютъ женщины, долго остановившись на первой глупой мысли. Изъ самой простой вещи, прогулки въ полѣ, Настасья Александровна создавала цѣлое происшествіе. Лѣсичевъ наблюдалъ и улыбался. Бурнусъ, несомый въ почтительномъ отдаленіи, особенно смѣшилъ и бѣсилъ его, и Лѣсичевъ рѣшилъ, что спокойствіе Горевановой будетъ возмущено прежде, нежели они дойдутъ до дома его сестры.

— Перейти выгонъ не значитъ гулять въ полѣ, сказалъ онъ:—пройдемте сначала влѣво: тамъ хорошій видъ, рѣчка.

Настасья Александровна пошла, не возражая. Лѣсичевъ заговорилъ о красотахъ

природы. Онъ былъ не мастеръ на это, но заставилъ говорить свою спутницу. Давъ ей оправиться отъ отуплявшаго страха, Лѣсичевъ поддерживалъ въ ней сердечную тревогу, что-то въ родѣ воспоминанія и ожиданія, особенно пріятную въ лѣтній вечеръ подъ ветлами, на берегу рѣки. Онъ напомнилъ ей ихъ послѣдній разговоръ. Пересказать всѣ полуслова и недоговоренныя фразы, имѣющія великій смыслъ именно по своему совершенному безсмыслію — невозможно, и Лѣсичевъ успѣшно договорился до признанія, что съ послѣдняго разговора только и думаетъ, что о Настасьѣ Александровнѣ, только и слышитъ, что ея утѣшительный голосъ, что съ тѣхъ поръ все кажется ему лучше, свѣтлѣе; мысль его полнѣе и жизнь краше...

— Отчего это, спрашиваю я самъ себя? говорилъ онъ:—не отгадаете ли вы?

Она не умѣла отгадать, хотя голова ея кружилась отъ предчувствія догадки. Наговорено тутъ было очень много. Лѣсичевъ кончилъ признаніемъ, что любитъ Настасью Александровну, какъ никогда не любилъ въ жизни, а любилъ онъ многихъ.

Тотчасъ ли повѣрила она этому — трудно сказать: она слишкомъ испугалась того, что показалось ей необыкновеннымъ счастьемъ. Она была тронута, изумлена; ей было тяжело и весело, и вдругъ кольнуло ее въ сердце какое-то неопредѣленное, но мучительное раскаяніе. Въ чемъ раскаявалась она — она не назвала себѣ, отклоняя эту мысль съ благимъ намѣреніемъ заняться ею на свободѣ, послѣ... Но... о благихъ намѣреніяхъ есть одна, очень невеселая поговорка; ими вымощено одно не очень веселое мѣсто; а не исполнивъ суроваго долга сгоряча, мы впослѣдствіи находимъ тысячи предлоговъ для отсрочекъ и проволочекъ, покуда перемѣнятся обстоятельства, или мы сами, и долгъ такъ и останется неисполненный.

Лѣсичевъ не далъ ей время задуматься. Онъ сдѣлался тихъ, сантименталенъ, какъ восьмнадцатилѣтній мальчикъ; говорилъ такъ сладко и увлекательно, что Настасья Александровна вообразила, что любитъ его давно, съ перваго свиданія, но только не сказала себѣ этого. Ей показалось, что его признаніе открыло ей глаза, разъяснило ей собственное чувство, и съ этой минуты краснорѣчивыя фразы и еще болѣе краснорѣчивое молчаніе Лѣсичева стали доставлять ей наслажденіе такихъ пріятныхъ волненій, страховъ, безсонницъ, ожиданій, что некогда было обращать вниманіе на то безпокойное что-то, въ родѣ угрызенія совѣсти, которое приходило не разъ. Чуть ли это угрызеніе не прибавляло интереса всей этой комедіи. C'est la peine qui double le bonheur, сказалъ кто-то. Настасья Александровна въ горькихъ слезахъ повторяла эту фразу; она даже молилась о успокоеніи своего сердца, но ей хотѣлось успокоиться не вдругъ, а понемногу, не сейчасъ, а когда нибудь. Она стала больше бояться своего мужа; иногда стали пробуждаться въ пей порывы необыкновенной любви и нѣжности къ нему; ей хотѣлось бы въ эти минуты никогда не видѣть Лѣсичева, но Лѣсичевъ являлся, приглашенный ею наканунѣ, и Настасья Александровна говорила que c'est une fatalité и покорялась этой fatalité. Она говорила еще себѣ, что, любя, исполняетъ назначеніе женщины... все, что говорится въ подобныхъ случаяхъ.

Лѣсичевъ, конечно, не любилъ ея, но она была очень хорошенькая женщина и исторія была занимательна.

Эту занимательную исторію Настасья Александровна разсказала въ письмѣ своему другу, Маріе, одной изъ женщинъ непонятыхъ и одаренныхъ высокими способностями анализа. Отвѣтъ Маріе нашелъ и прочелъ Завадьевъ...

Приписка Завадьева свела было съума Настасью Александровну. Она чуть не рѣшилась показать ее мужу, какъ своей защитѣ и прибѣжищу, какъ руководителю, котораго привыкла слушаться. Она забывала, что показать письмо значило открыть мужу все; но когда это простое соображеніе пришло ей въ голову— конечно, позже другихъ соображеній, потому что простыя мысли приходятъ всегда позже запутанныхъ— ея ужасу не было мѣры.

Потомъ она придумала сказать все Лѣсичеву... Но въ любви, которая держится на сантиментальномъ разстояніи, подобное довѣріе невозможно; эта любовь такъ зависитъ отъ наряда, ей такъ необходима дорогая обстановка, она такъ пропитана ловкими фразами и тонкостями, это такая свѣтская любовь, что разсказать влюбленному подобное горе, значитъ признаться въ своей оплошности, глупости, выказаться смѣшною... Къ тому же, «порядочные» молодые люди, удостоивая любить нѣжнѣе и сантиментальнѣе, чѣмъ это принято между людьми, считающими неприличнымъ всякое волненіе, терпѣть не могутъ откровенностей между пріятельницами. Настасья Александровна тысячу разъ слышала отъ Лѣсичева,

что чувство священно для него только до тѣхъ поръ, пока оно тайно для всѣхъ.

Лѣсичевъ просто боялся, чтобъ не провѣдалъ мужъ.

Но Настасья Александровна не знала объ этой боязни; она вѣрила Лѣсичеву на слово, и если поступила противъ его желанія, излила душу предъ пріятельницей, то потому, что женщины, поступая противъ здраваго смысла, не могутъ не разсказать кому нибудь объ этомъ. Женская откровенность равняется мужскому хвастовству...

Въ настоящую минуту, по зрѣломъ размышленіи и долгихъ слезахъ, Настасьѣ Александровнѣ оставалось запереть письмо въ ящикъ, увезти его съ собой въ городъ и молчать.

Она такъ и сдѣлала.

Зима выборовъ въ N* была очень веселая; Горевановъ сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать любящій и попечительный мужъ для удовольствія жены: нашелъ прекрасный домъ, покупалъ ей наряды, сдѣлалъ два вечера. N-ское общество находило m-me Гореванову миленькой женщиной, но весьма недалекой; находили, что она конфузится, теряется; что мужъ прекрасно дѣлаетъ, что слѣдитъ за нею, предупреждаетъ въ неловкости, которыя случались бы поминутно, еслибъ не его надзоръ... «Молода она еще», прибавляли обыкновенно. Кажется, это была судьба Настасьи Александровны: все казаться молоденькой и не выходить изъ дѣтей. Ея судьба была также бояться мужа, хотя онъ, напротивъ, не только не слѣдилъ за каждымъ ея словомъ или поступкомъ, но предоставлялъ ей полнѣйшую свободу; воспитатель не наблюдалъ за ея развитіемъ, но выжидалъ, какъ она разовьется... Впрочемъ, Горевановъ былъ такъ занятъ выборами, что ему было не до жены.

Лѣсичевъ жилъ зиму въ N* и бывалъ у Гореванoвыхъ безпрестанно. Любовь его шла своимъ порядкомъ.

Зимой онъ былъ больше въ своей сферѣ. Лѣтомъ поля и луга представляютъ, можетъ быть, неисчерпаемый источникъ разговора для тѣхъ, кто любитъ заниматься подобными предметами; но Лѣсичевъ былъ далеко не изъ числа этихъ любителей. Къ тому же, онъ, человѣкъ, ничего не дѣлавшій во всю свою жизнь, сознаn тщету траты времени на пустые вздохи и обращенія къ звѣздамъ. Онъ считалъ позволительнымъ заниматься этимъ, когда требовали обстоятельства, предъ особой, еще сочувствующей красотамъ природы и вѣрящей въ привязанности за гробомъ, но считалъ это позволительнымъ ненадолго: ровно настолько, пока наскучитъ, и насколько нужно, чтобъ и любимая особа поняла, что это скучно. Потому ему бывало ловчѣе въ свѣтѣ, на балахъ, гдѣ отвлеченное чувство можетъ проявляться положительнѣе, въ сценахъ ревности или уничтоженія соперниковъ, гдѣ все можно разсчитать заранѣе, все идетъ по одному, однажды принятому порядку (въ деревнѣ надо еще изобрѣтать!), гдѣ мечтать некогда и, слѣдовательно, любовь освобождается отъ разныхъ ребяческихъ мечтаній... Горeванова была преупрямая мечтательница, и Лѣсичевъ убѣждался въ этомъ послѣ всякой встрѣчи, всякаго визита, когда ему удавалось найти ее одну. Это его сердило. Всякая слишкомъ долгая забота всегда скучна, а эта забота продолжалась ужъ около полугода, такъ, пожалуй, можно было заслужить названіе вздыхателя и сдѣлаться смѣшнымъ даже въ глазахъ господина Горeванова. Хорошо то, что свѣтъ ничего не говоритъ и, вѣрно, ничего не замѣчаетъ, благодаря этой розовой кротости и спокойствію, которое неизмѣнно выказываетъ m-me Горeванова: что за удовольствіе—исторіи!.. Но все же это вздыханіе такъ глупо...

Въ длинные утренніе визиты или вечера, которые Лѣсичевъ проводилъ у Настасьи Александровны, онъ началъ нестерпимо тяготиться откровенностью, съ которой она повѣряла ему свои мысли, мелочи, ее занимавшія, заботы, мечты, разговоры пріятельницъ и знакомыхъ, разговоры съ мужемъ—все, что для женщины, искренно любящей, кажется необходимымъ довѣрить тому, кого она любитъ. Настасья Александровна дѣлала эту глупость: она не шутя любила. Праздность или скука, потребность любить или мечтательность, или все это вмѣстѣ настроило ея сердце привязаться къ Лѣсичеву. Вообразивъ его сначала страдальцемъ, вообразивъ потомъ, что воскресила и утѣшила его, она вообразила въ немъ себѣ друга, понимающаго и прощающаго, друга, способнаго отвѣчать на малѣйшія движенія ея души и, въ свою очередь, утѣшать ее... утѣшать въ чемъ? нѣтъ нужды! Женщины изобрѣтательны, когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ выдумать себѣ страданія; число физическихъ болѣзней велико, но число душевныхъ безконечно... Настасья Александровна была увѣрена, что нашла себѣ опору; что эта опора снисходительна до самоотверженія; что чувство Лѣсичева такъ же благодарно, какъ ея собственное чувство... Конечно, здѣсь не

бралось въ разсчетъ, какъ опредѣлилъ бы его Горевановъ, безъ сомнѣнія, виноватый въ томъ, что слишкомъ многое считалъ шуткой и ребячествомъ, но ужъ никакъ неожидавшій, что его жена станетъ искать друга и утѣшителя.

Но Лѣсичевъ былъ нисколько не снисходительнѣе его. Горевановъ, слушая женскіе толки и разбирая женскія бѣды, оставался совершенно равнодушенъ, но Лѣсичевъ, слушая Настасью Александровну, дѣлался нетерпѣливъ, насмѣшливъ, золъ и доводилъ ее до слезъ; за слезами слѣдовали упреки.

— Женщины воображаютъ, что онѣ очень милы въ слезахъ, говорилъ онъ: — очень весело найти какъ нибудь время оторваться отъ занятій (Лѣсичевъ, какъ уже сказано, никогда ничѣмъ не занимался), пріѣхать, ждать минуты счастья — и не дождаться ничего, кромѣ выспреннихъ фразъ и слезъ! Если васъ мучитъ, смущаетъ что нибудь, чѣмъ же я-то виноватъ? Кажется, я ничего не сдѣлалъ, что бы могло приводить васъ въ ажитацію. Скажите еще, что я васъ не люблю. Для меня ясно, что вы меня не любите: кого любятъ, того щадятъ, того понимаютъ. Тревожитъ васъ, что мы часто вмѣстѣ? ну, разойдемтесь, простимтесь и—конецъ! что нибудь одно.

Ее нисколько не тревожило, что онъ пріѣзжалъ часто. Она умѣла убѣдить себя, что не виновата, уступая этому съумасшедшему увлеченію; что оно было необходимо въ ея жизни. Ее мучили его рѣзкости, его нетерпѣніе, его насмѣшливая холодность въ тѣ минуты, когда она говорила отъ полноты сердца; потомъ, ее мучила мысль, что она виновата предъ нимъ и огорчаетъ его... Послѣ такой свѣтлой и здравой мысли, какъ же было, при первомъ свиданіи, не просить у него прощенія, не плакать опять и не вызвать его на новую вспышку, часто еще болѣе дерзкую, нежели первыя?..

Одинъ разъ Лѣсичевъ вспылилъ до того, что сказалъ: «мы больше не увидимся» и уѣхалъ не простясь.

Вечеромъ былъ балъ въ собраніи. Настасья Александровна, проплакавъ весь день, сообразила, что Лѣсичевъ будетъ въ собраніи, и поѣхала. Лѣсичевъ это предчувствовалъ и не поѣхалъ. Впрочемъ, онъ обѣдалъ поздно, въ очень оживленномъ обществѣ молодыхъ людей, гдѣ рѣшили, что послѣ обѣда пріятнѣе выспаться, нежели прыгать съ барышнями. Въ ожиданіи Настасья Александровна измучила свои глаза, глядя въ толпу молодыхъ людей, измучила свое сердце, вздрагивая всякій разъ, какъ въ дверяхъ бальной залы являлся кто нибудь похожій на Лѣсичева. При ея всегдашней неподвижности такое волненіе не могло не быть замѣчено, хотя никто не могъ догадаться, отчего оно происходило: мужчины N-скаго общества давно считали Гореванову неспособною увлекаться, а женщины— неспособной увлекать. И на этомъ балѣ молодые люди не трудились думать, отчего она смущена, а дамы говорили просто, что, вѣроятно, дома у нея вышли непріятности...

Былъ только одинъ человѣкъ, который предполагалъ не то, и вообще давалъ себѣ трудъ думать о Горевановой; это былъ Завадьевъ.

Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, какъ онъ поселился въ N* и какъ Горевановы переѣхали изъ деревни, Завадьевъ успѣлъ возобновить знакомство съ бывшимъ товарищемъ. Горевановъ остался холоденъ, по своему обыкновенію. Эта холодность къ бывшему товарищу непріятно поразила Настасью Александровну, отъ любви къ Лѣсичеву расположенную любить все человѣчество. Чтобъ загладить дурное впечатлѣніе, которое, по ея мнѣнію, долженъ былъ вынести отъ этого пріема Завадьевъ, она была съ нимъ особенно привѣтлива. Впослѣдствіи какой-то судьбой Завадьевъ всегда, какъ нарочно, являлся къ Горевановымъ, когда Настасья Александровна была недовольна своимъ супругомъ и, слѣдовательно, расположена къ привѣтливости. Лѣсичева еще не было въ N*; онъ пріѣхалъ позднѣе, въ ноябрѣ. У Завадьева были цѣлые полтора мѣсяца для изученія характера Настасьи Александровны и наблюденій за нею. Полтора мѣсяца слишкомъ много, особенно когда изучать почти нечего, но Завадьевъ придавалъ великую важность этому изученію и называлъ его своимъ «занятіемъ». Надо простить ему эту гордость: человѣкъ живетъ мечтами; Завадьевъ, хотя и служилъ, но рѣшительно ничего не дѣлалъ: надо же было ему утѣшать себя, мечтая, что онъ чѣмъ нибудь занятъ. Онъ сдѣлалъ себѣ изъ Горевановой «нравственную задачу», которую время разрѣшитъ. Могутъ найтись положительные люди, которые скажутъ, что это было занятіе безполезное; но положительные люди во всемъ ищутъ какой-то пользы и ничего не смыслятъ въ нравственныхъ задачахъ.

Пріѣздъ Лѣсичева и его водвореніе въ N* еще болѣе укрѣпили Завадьева въ его положеніи наблюдателя и придали ему энергію. Въ одинъ вечеръ, увидя Гореванову и Лѣсичева

вмѣстѣ въ обществѣ, Завадьевъ такъ остался доволенъ своей эфектной позой, скрещенными руками, своими сдвинутыми бровями и поджатыми губами, что назвалъ себя «злобнымъ геніемъ этой женщины». Онъ нисколько не расхохотался, подумавъ это, напротивъ, нашелъ свой небольшой ростъ и худенькую фигурку, иногда очень ему непраившіеся, какъ нельзя болѣе приличными въ этомъ случаѣ: духъ, и еще злой, не долженъ быть ни толстъ, ни великъ ростомъ—это ужъ такъ принято. Обстановка шла къ роли, и Завадьевъ, какъ человѣкъ съ умомъ, не довольствовался одной ролью безъ словъ. Онъ былъ на столько коротко знакомъ, что могъ позволить себѣ вступать съ Горевановой въ разборъ нѣскольких отвлеченныхъ вопросовъ, конечно, о женщинахъ, женственности и женскихъ чувствахъ. Онъ снисходительно выслушивалъ, завлекалъ высказываться, соглашался такъ, что никогда нельзя было понять, согласенъ онъ или нѣтъ, или, вдругъ, казалось, съ участіемъ выслушавъ слова, сказанныя отъ сердца, неожиданно поражалъ ѣдкимъ сарказмомъ и эфектно уходилъ неразгаданный. Иногда, замѣтивъ, что Горевавова веселѣе и оживленнѣе обыкновеннаго, Завадьевъ умѣлъ озадачить ее словомъ, сказаннымъ будто вскользь, мимоходомъ... Онъ былъ смѣшонъ до послѣдней невозможности, и тѣмъ болѣе смѣшонъ, что самъ не находилъ себя смѣшнымъ, дурачился не ради шутки. Но еслибъ существовали лѣтописи свѣтской и бальной исторіи, въ нихъ нашлось бы много и много примѣровъ того, какъ женщины, благодаря своей наклонности къ фразѣ, раздражительности бальнаго воздуха, искусственной восторженности отъ нечего дѣлать и нечего чувствовать, аберадіямъ отъ безпрестанныхъ вздорныхъ хлопотъ принимали за великихъ мыслителей дикихъ господъ, не совсѣмъ по модѣ причесанныхъ и еще несовершенно забывшихъ изреченій школьной премудрости, принимали за мефистофелей—юношей, только и умѣвшихъ, что стоять скрестя руки и долго смотрѣть въ одну точку, не моргая... Неудивительно нисколько, что N-скія дамы считали Завадьева человѣкомъ опаснымъ, а Горевавова начинала его бояться. Она никакъ не могла придумать, для своего успокоенія, что онъ влюбленъ въ нее, и чувствовала себя всегда какъ-то разстроенной и смущенной, послѣ разбора тонкихъ вопросовъ съ Завадьевымъ. Пересказать, какъ и что разбиралось—невозможно; это была путаница словъ и словъ, выводовъ, совершенно противорѣчащихъ тому, къ чему клонили свою рѣчь разговаривавшіе, потому что нельзя не заговориться, когда говорятъ много, и случается, о предметѣ, неимѣющемъ никакого основанія... У Завадьева, впрочемъ, при вступленіи въ разговоръ, въ продолженіе и въ заключеніе разговора была постоянно одна основная мысль: «я владѣю тайной этой женщины», и эта мысль, случалось, залегала въ его головѣ и отупляла его такъ сильно, что онъ, самъ того не чувствуя, говорилъ страшныя несообразности и поправлялъ ихъ только, опомнясь въ пору, самой эфектной таинственностью... Одинъ разъ Настасья Александровна, выбившись изъ силъ послѣ контраверсы, не выдержала и сказала какой-то дамѣ: «Je renonce à le comprendre». Дама была особа очень остроумная и никогда не пропускавшая даромъ того, чѣмъ могла воспользоваться; она взяла признаніе Горевановой текстомъ своей собственной контраверсы съ Завадьевымъ. Завадьевъ, натурально, добивался узнать, кто именно отказывается по нимать его. Дама такъ любила Гореванову, что, конечно, не захотѣла совсѣмъ присвоить себѣ ея «совершенно женственное» выраженіе: она назвала ее.

— О, такъ она пойметъ меня! вскричалъ Завадьевъ, съ наслажденіемъ вообразивъ въ себѣ чувство злобнаго генія, вдругъ затронутаго и возстающаго.

Онъ великолѣпно выговорилъ это; его собесѣдница много смѣялась.

Это случилось незадолго до бала въ собраніи, на который Настасья Александровна пріѣхала, послѣ размолвки съ Лѣсичевымъ, и гдѣ она была такъ разсѣяна и взволнована. Завадьевъ еще не видѣлъ ее съ того дня, какъ обѣщался дать себя понять; минута показалась ему благопріятною. Впрочемъ, для толковъ ни о чемъ—всѣ минуты всегда благопріятны.

Онъ подошелъ къ ней.

— Вы не танцуете сегодня, Настасья Александровна?

— Такъ же, какъ и вы, возразила она съ нетерпѣніемъ.

Вмѣсто Завадьева ей хотѣлось видѣть другого и не хотѣлось видѣть именно Завадьева.

— Я—это другое дѣло.

— Почему?

— Я могъ бы отвѣчать вамъ, сказалъ онъ:—что ничего не значу для бала, здѣсь ли я даже, или нѣтъ меня—все равно, тогда какъ вы — его украшеніе, оживленіе... Но, кажется, это слишкомъ избито. Позвольте только напомнить вамъ, что вы пріѣхали на

балъ не для одного вашего удовольствія, но и для удовольствія другихъ, слѣдовательно доставлять его—вашъ долгъ, слѣдовательно вы его не исполняете...

— А вы?

— Я—другое дѣло. Я пріѣхалъ только для своего удовольствія.

— И вамъ весело?

— Нескучно. Не такъ, какъ вамъ.

— Кто-жъ вамъ сказалъ, что мнѣ скучно?

— Вашъ послѣдній вопросъ, отвѣчалъ Завадьевъ, разсмѣявшись:—когда спрашиваютъ другого: весело ли ему, значитъ, скучаютъ сами.

— Почему вы предполагаете, что это непремѣнно должно быть такъ?

— Непремѣнно. Неужели вы думаете, что вопросъ: «весело ли вамъ?» предлагается отъ полноты души, готовой дѣлиться радостью? Никто такъ не щедръ! Напротивъ, этотъ вопросъ—надежда: «можетъ быть, судьба такъ милостива, что и моему ближнему такъ же досадно, грустно, тяжело, какъ и мнѣ...»

— Такъ вы думаете... что мнѣ...

— Досадно, грустно и тяжело.

— Поздравляю васъ съ догадкой.

— Вы недовольны, значитъ, я отгадалъ.

Въ смущеніи Настасья Александровна была готова сдѣлать еще неловкость: встать и уйти. Завадьевъ это замѣтилъ и подвинулъ себѣ стулъ подлѣ нея.

— Не уходите, сказалъ онъ съ своимъ обыкновеннымъ смѣхомъ:—вы еще болѣе подтвердите мою догадку. Неужели вы думаете, что эта манера «удаляться съ достоинствомъ» — хорошая манера скрывать свои чувства? Это, напротивъ, значитъ ихъ высказывать. Эфектные выходы давно поняты; ихъ время прошло. Остаться и выслушивать — для этого надобно болѣе мужества и даже, если хотите, разсчета...

— Но можно уйти просто, изъ нежеланія слышать... лишнее... возразила Настасья Александровна, вспыхнувъ.

— Извините; но что лишняго я позволилъ себѣ сказать вамъ? Вамъ, можетъ быть, не нравится мой тонъ, слишкомъ прямой, можетъ быть рѣзкій; но я смѣю думать, что прямыя, рѣзкія слова не хуже разныхъ запутанныхъ... соболѣзнованій, которыя не кажутся вамъ непріятными только потому, что выражены мягко. Вы ихъ много слышали въ нынѣшній вечеръ.

— Отъ кого? спросила Настасья Александровна, испугавшись.

— Не знаю; я предполагаю... Всѣ такъ любятъ васъ, принимаютъ въ васъ участіе...

Завадьевъ смотрѣлъ ей въ лицо: она блѣднѣла.

— Невозможно, продолжалъ онъ, любуясь самъ своей невозмутимостью: — чтобъ изъ огромнаго круга вашихъ друзей никто не изъявилъ вамъ этого участія, не предположилъ причины вашей грусти: это такъ натурально!.. Такъ же натурально—не правда ли?— и ошибаться въ предположеніяхъ, придумывать несообразное, преувеличивать, даже перетолковывать по-своему то, что занимаетъ насъ и остается загадкой? Даже догадавшись, даже зная, во всѣхъ людяхъ вообще (въ N-скихъ дамахъ въ особенности... ради Бога, не выдайте меня! прибавилъ онъ, улыбаясь и понижая голосъ) есть способность извращать факты, давать имъ другой смыслъ, тотъ, который ближе къ понятіямъ этихъ людей, приходится по ихъ убѣжденіямъ, по ихъ совѣсти. Вы замѣчали это? Пустая вещь дѣлается громадной. Но это бы еще ничего... Право, я сегодня что-то золъ на нихъ, на всѣхъ (онъ показалъ глазами на танцующихъ и нетанцующихъ). Замѣчали вы...— это такъ, въ скобкахъ—что когда имъ приходитъ охота судить и говорить, главное, говорить: — для нихъ ничто недорого, ничего не жаль, ничто не свято... Что за люди! Недавно я знаю этихъ людей... Впрочемъ, весь свѣтъ таковъ; всѣ хороши вездѣ! Умѣютъ подмѣтить, умѣютъ очернить... Право, теперь, говоря хоть такъ, ради шутки... потому что, я увѣренъ, вы сами готовы этимъ шутить: вы гораздо выше всего этого!.. Такъ, ради шутки, спросить бы нѣкоторыхъ изъ этихъ особъ, дамъ, дѣвицъ, родителей и прочихъ, какъ они думаютъ, отчего m-me Гореванова не танцуетъ и какъ будто разстроена? Много нашлось бы причинъ...

— Вамъ любопытно? прервала Настасья Александровна, не помня себя.

— Мнѣ? нисколько. Я знаю.

— Знаете?

— Конечно. Вы безпокоитесь объ отсутствующемъ. За глаза безпокойство всегда сильнѣе; отсутствующихъ всегда жаль.

Настасья Александровна не упала только потому, что прислонилась къ столу.

— Вашего мужа нѣтъ здѣсь, продолжалъ Завадьевъ:—онъ, можетъ быть, не совсѣмъ здоровъ. Онъ послалъ васъ на балъ, а вы все думаете о немъ—это очень просто.

Завадьевъ всталъ.

— Надѣюсь, я васъ понялъ? сказалъ онъ въ торжествѣ и гордости неописанной.

Смятеніе Настасьи Александровны было тоже неописанное. Она не уѣхала тотчасъ только потому, что боялась дать Завадьеву еще полнѣе догадаться.

«Но что еще ему отгадывать?» думала она одна въ своей комнатѣ, ночью, которую, конечно, всю не спала. «Не все ли онъ отгадалъ, не все ли для него ясно? Онъ увѣренъ, что я люблю; онъ знаетъ, кого я люблю. Я погибла: Завадьевъ золъ и дерзокъ. Онъ нападаетъ на мелочныя сплетни; но открытая злость, но преслѣдованіе, по его мнѣнію, немелочны; мучить — немелочно; сдѣлать несчастіе женщины — немелочно... Это ужасный человѣкъ! Что я ему сдѣлала? за что?... Какое удовольствіе можно находить въ этихъ намекахъ? что это за игра?»

Все это сопровождалось самыми горькими слезами и рыданіями.

«Какъ онъ могъ догадаться? Мы были осторожны... Боже мой! но еслибъ мы были и неосторожны, такъ ли велика моя вина? Въ тоскѣ, въ скукѣ, я привязалась къ тому, кто доставилъ мнѣ первыя минуты радости въ жизни. Я готова, я смѣю въ этомъ громко признаться! Меня никто не осудитъ: ни свѣтъ, какъ онъ ни золъ, ни мой мужъ, потому что онъ справедливъ и будетъ справедливъ къ самому себѣ; ни Богъ меня не осудитъ... Я готова во всемъ признаться!..»

Въ минуты горести, какъ извѣстно, является необыкновенное геройство. Конечно, оно является только у тѣхъ, кто можетъ, какъ могла Настасья Александровна, обвинить себя только въ томъ, что создавала идеалъ изъ очень обыкновеннаго фата. Восторженность заставляетъ дѣлать много глупостей, но она же и отвращаетъ отъ большаго числа дурныхъ дѣлъ, и потому это не такой недостатокъ, который можно посовѣтовать искоренять родителямъ и мужьямъ-воспитателямъ. Еслибъ Горевановъ видѣлъ слезы своей жены, онъ, безъ сомнѣнія, порадовался бы, что его положительныя и разумныя наставленія не удались вполнѣ и не пріучили ее къ рѣшительности, одной изъ самыхъ опасныхъ добродѣтелей.

У огорченій бываютъ свои отдыхи, минуты, когда все кажется невозможнымъ, или во снѣ, или не такъ страшнымъ, или приходитъ мысль, что все это мы вообразили и преувеличили сами. Настасья Александровна слышала такъ много выговоровъ за свою страсть преувеличивать, что попробовала разсмотрѣть, не напрасно ли испугалась.

Завадьевъ говорилъ по привычкѣ что нибудь говорить.

«Я была печальна... Я не должна была показываться въ общество съ такимъ лицомъ — это главное... Я была печальна, онъ подошелъ и привязался съ своимъ пустымъ разговоромъ, по привычкѣ. Не должно было никогда позволять ему этихъ пустыхъ разговоровъ... Но вѣдь онъ не сказалъ ничего; онъ не помянулъ имени Eugène... Еще бы онъ помянулъ его! онъ говорилъ объ отсутствующихъ — и того довольно... Но развѣ это не самая обыкновенная, самая пошлая фраза: on est triste—c'est qu'on songe aux absents... ее говорятъ, однако, чтобъ заставить проговориться. Завадьевъ, навѣрное, хотѣлъ этого. Я не проговорилась, но я себѣ измѣнила, стало быть онъ былъ увѣренъ, что я измѣню себѣ, что у меня есть тайное, скрытое чувство, которое мнѣ страшно выдать, дурное чувство? Стало быть, онъ былъ увѣренъ, что я сознаю себя виноватой?... А я испугалась—отчего? оттого что я... Но я не виновата! Что-жъ мнѣ дѣлать, если мнѣ было скучно, если Eugène одинъ...»

Она принялась доказывать себѣ самыми громкими фразами, что Eugène лучшій другъ, какого могла послать ей милосердая судьба. Доказательства необходимы въ томъ, что сомнительно. Настасья Александровна никакъ не допускала себѣ думать, что сомнѣвается въ совершенствахъ Лѣсичева, но начинала отыскивать ихъ слишкомъ упорно и тщательно для совершенствъ, которыя должны бы, казалось, сами бросаться въ глаза. Она повторяла себѣ, что онъ безконечно добръ, и плакала, невольно вспоминая нисколько не добрыя вещи, которыя онъ наговорилъ ей поутру, вслѣдствіе чего они разстались, вслѣдствіе чего[1] произошла вся сцена съ Завадьевымъ. Она увѣряла себя, что, еслибъ онъ зналъ ея настоящую печаль, его деликатное сердце возмутилось бы отъ ужаса за всѣ мученія, которыя онъ навлекъ на нее, женщину, любимую имъ; но тутъ же какъ-то странно приходили на память всѣ деликатныя тонкости, всѣ обстоятельства, очень мелкія, но очень важныя въ любви, и все это онъ осмѣивалъ такъ жестоко, выражаясь такъ рѣзко, пренебрегалъ этимъ такъ презрительно!.. Начавъ увѣрять себя, что страдаетъ за любовь къ Лѣсичеву, Настасья Александровна, сама не чувствуя какъ, дошла до того, что расплакалась отъ мысли объ этой любви. Она не упрекала, она плакала; вспоминая не нарочно, она поняла... Не вдругъ, не въ эти минуты, чудомъ явилось къ ней это пониманіе: оно было давно, давно сказывалось болью и негодо-

ваніемъ сердца, но тогда упрямство любви осуждало эту боль и это негодованіе; позднѣе неразбираемый страхъ пустоты, несознаваемое желаніе сохранить свое заблужденіе, какъ свою единственную бѣдную радость, заставляли отклонять мысль обо всемъ, что разбивало этотъ идеалъ, поступать какъ дѣти, которыя отворачиваются, чтобъ не видѣть какой нибудь страшной картинки... Теперь, въ минуту печали, у Настасьи Александровны недостало силы владѣть собою, слѣдовательно попрежнему обвинять только себя, или разсчитывать, какъ сберечь свое чувство: она отдалась своей печали и догадалась, что была непонята, что бывала оскорблена, что вся эта любовь... лучше бы ея не было!

Испугъ заставилъ Настасью Александровну вѣрнѣе взглянуть на Лѣсичева. Хотя ея привязанность все еще была такъ велика, что она могла судить пристрастно и сильно вступаться за себя, но было уже довольно, было уже слишкомъ много и того, что она оглянулась и начала думать. Для любви бѣда оглядываться и думать: рѣдкая любовь выдержитъ прямой взглядъ и строгій разборъ; на это способна только та, которая немелочна, ни въ чемъ не скрывалась, не рисовалась съ самаго начала, у которой, кромѣ привлекательности, есть еще и другія добродѣтели... И какъ эти добродѣтели становятся необходимы въ критическія минуты любви, въ минуты, когда увлеченіе утихло, жизнь напомнила о себѣ, на сердцѣ больно!.. Тогда кстати и хорошо найти въ своей любви что-то лучше любви и, странно, какъ тогда разныя серьезныя и часто черствыя и скучныя качества поддерживаютъ, придаютъ мужество, оправдываютъ, утѣшаютъ; какъ они дѣлаютъ, что во имя ихъ нѣтъ сожалѣнія о пожертвованіяхъ, нѣтъ усталости чувства, нѣтъ какого-то противнаго разочарованія, а, напротивъ, въ душѣ остается что-то свободное и хорошее, уваженіе къ себѣ и вѣра въ будущее...

Все это, конечно, нисколько не касалось Лѣсичева.

Настасья Александровна со всей заботливостью любви, которая можетъ равняться только съ заботливостью материнскою, старалась найти оправданіе для Лѣсичева. Она слишкомъ много старалась, но успѣла успокоить себя мыслью, что Завадьевъ сказалъ только такъ, что она сама ребенокъ, что Лѣсичевъ пожалѣетъ о «неровностяхъ» своего характера и не будетъ больше ее мучить... что все пройдетъ.

Прекрасное утѣшеніе, когда нѣтъ другого!

Уснувъ, наконецъ, отъ усталости, Настасья Александровна утромъ встала поздно и пошла въ кабинетъ мужа. Она обыкновенно проводила у него начало утра до тѣхъ поръ, пока начинались визиты, или Горевановъ самъ уѣзжалъ куда нибудь. Онъ былъ выбранъ предводителемъ, и потому жена всегда заставала его занятымъ дѣлами, и продолжительныхъ разговоровъ не было. Эти посѣщенія, однако, сдѣлались обязанностью. Настасья Александровна даже завела себѣ ящикъ съ broderie anglaise, чтобъ чѣмъ нибудь занимать свои руки. Въ это утро она пришла безъ работы. Она была блѣдна и измучена, какъ послѣ лихорадки. Какъ ни приготовлялась она во время своихъ ночныхъ размышленій къ мужеству и «къ борьбѣ жизни», но день засталъ ее врасплохъ: въ ея умѣ все перемѣнилось; ей хотѣлось плакать каждую минуту и, взглянувъ на мужа, ей сдѣлалось еще тяжелѣе. Горевановъ поднялъ голову отъ бумагъ и посмотрѣлъ на нее пристально.

— Ты больна? сказалъ онъ, приложивъ руку къ ея лбу.

— Нѣтъ, я очень устала, отвѣчала Настасья Александровна, поспѣшивъ сѣсть.

— Я зналъ, что это недаромъ, когда, два часа назадъ, мнѣ сказали, что ты еще не просыпалась. Ну, можно ли такъ себя мучить? Изъ какого удовольствія?.. Право, ты больна, Настя. Не простудилась ли ты? не случилось ли чего? Я сейчасъ спрошу у людей...

— Что-жъ ты будешь спрашивать? прервала она, улыбнувшись, сама не зная отъ какой радости, которую доставило ей его безпокойство.

— Не опрокинули ли тебя? не взбѣсились ли лошади при разъѣздѣ... почемъ я знаю? Вѣдь ты не скажешь, такъ кого же спросить, какъ не людей? Не на балѣ же съ тобой что нибудь случилось.

— Конечно... слабо отвѣчала она: — но, право, ничего; я только устала.

— А если только, то, кажется, мнѣ пора вступиться и оставлять тебя почаще дома. Посмотри, какъ ты похудѣла, ни на что непохоже. Сиди, отдыхай здѣсь, хоть вздремни, если хочешь, ты мнѣ не мѣшаешь.

Настасья Александровна сама не знала, почему приняла это предложеніе, а не ушла къ себѣ, отговорившись необходимостью отдохнуть. Ей показалось какъ-то совѣстно уйти и страшно: мужъ могъ подумать, что она его убѣгаетъ.

Горевановъ ничего бы не подумалъ. Онъ читалъ, подписывалъ, писалъ карандашомъ замѣчанія и совсѣмъ забылъ о женѣ. Только разъ, оглянувшись на нее и видя, что она, закрывъ глаза, прислонила голову къ подушкѣ кресла, онъ засмѣялся и сказалъ:

— Что, прыгунья?

Болѣе не было оказано никакого вниманія, но эти два слова закружились въ ея памяти, все повторяясь, какъ случается въ лихорадочномъ и взволнованномъ состояніи. Мысль, которая поднялась отъ этихъ словъ, вызвала двѣ крупныя слезы, которыя замерли на рѣсницахъ Настасьи Александровны. Слезъ было бы и больше, и неизвѣстно, чего бы она не наговорила и въ чемъ бы не призналась въ эту минуту своему мужу, еслибы вдругъ не стало ей опять страшно, еслибъ не пришло размышленіе:

«Къ чему это поведетъ? Какой я ребенокъ!..»

Горевановъ былъ очень занятъ. Кончивъ, онъ сталъ сбираться ѣхать и, уже вставъ изъ-за письменнаго стола, перечитывалъ разныя бумаги. Настасья Александровна поднялась съ своего кресла; утреннее посѣщеніе было кончено. Горѣванову принесли записку; онъ въ эту минуту надѣвалъ перчатки.

— Отъ кого? спросилъ онъ.

— Отъ Завадьева, отвѣчалъ лакей.

Горевановъ передалъ записку женѣ.

— Мнѣ некогда; прочти, пожалуйста, что ему нужно.

Настасья Александровна взяла записку, но едва развернула ее, какъ, поблѣднѣвъ, упала опять въ кресло.

— Что съ тобой? вскричалъ мужъ, испугавшись:—ты больна рѣшительно!

Онъ поднялъ записку, которую она выронила, но въ ней была только просьба о справкахъ по какимъ-то дѣламъ, словомъ, ничего такого, отчего можно было бы упасть въ обморокъ. Горевановъ приписалъ обморокъ жены нервному разстройству, отвелъ ее въ ея комнаты и, позаботясь о ней сколько слѣдовало, уѣхалъ.

Едва онъ уѣхалъ, Настасья Александровна побѣжала въ кабинетъ; записка Завадьева еще не была изорвана и лежала на столѣ. Настасья Александровна схватила ее, унесла къ себѣ и, открывъ ящикъ, болѣе потаенный, нежели ящикъ ея письменнаго стола въ деревнѣ, достала письмо своей пріятельницы, положила его предъ собою, положила и записку Завадьева...

Нечего было утѣшать себя: почеркъ таинственнаго четверостишія и записки былъ одинъ и тотъ же.

Что думала Настасья Александровна — можно вообразить, но не разсказать. Она не была «женщина сильная, испытанная въ борьбѣ и въ страданіи» (какъ принято называть приключенія въ родѣ того, которое случилось съ нею) и потому приходила въ отчаяніе.

«Все открыто! Все не сегодня, такъ завтра разнесется по городу: Завадьевъ не изъ такихъ людей, которые молчатъ. Узнаетъ мужъ... это еще ничего; но за кого принимаетъ меня Завадьевъ?..»

Негодованіе, досада на себя, страхъ остановили даже слезы Настасьи Александровны; она волновалась, мучилась, сердилась; она была почти способна поступить какъ нибудь рѣшительно, еслибъ представился случай.

Случай какъ разъ представился. Лѣсичевъ, сказавшій ей наканунѣ: «мы никогда не увидимся», нашелъ утромъ, что ему ровно нечего дѣлать, если онъ не поѣдетъ къ Гореваповой помириться, или, эфектнѣе, поссориться—что нибудь одно, но утро будетъ занято. Онъ явился предъ Настасьей Александровной въ минуту, когда она, не помня въ который разъ, старалась найти какое нибудь сходство почерка въ двухъ страшныхъ автографахъ.

Лѣсичевъ былъ холоденъ, приготовляясь къ чему нибудь. Холодность при началѣ свиданія никогда ничему не мѣшаетъ и изъ нея можно перейти во что угодно. Онъ поклонился очень церемонно и серьезно. Настасья Александровна вскричала, едва увидѣла его:

— Ah! Eugène, sauvez-moi!

Она не выдержала, вслѣдствіе чего онъ счелъ долгомъ удвоить суровость.

— Отъ чего прикажете васъ спасти? сказалъ онъ, садясь, но не выпуская изъ рукъ шляпы.

— Вотъ, Eugène, вотъ, посмотрите!.. О, вы были правы тысячу разъ! Мы, женщины, безумны съ нашей откровенностью; мы неосторожны; мы подвергаемъ себя всѣмъ несчастіямъ, изъ желанія высказать наше сердце... Надо простить намъ это, Eugène. Вы не знаете, какъ бываетъ иногда необходимо высказаться: то слишкомъ тяжело, то слишкомъ много радости на душѣ... Я виновата, я довѣрила моему лучшему другу, моей Marie...

И такъ далѣе. Настасья Александровна

разсказала все, что слѣдовало, о своемъ письмѣ, объ отвѣтѣ своего друга, наконецъ, о внезапно явившемся четверостишіи. Помня испорченный замокъ письменнаго стола, она основательно догадывалась, что Завадьевъ занялся этимъ, когда провелъ нѣсколько часовъ одинъ у нихъ въ деревнѣ.

— Вотъ, посмотрите, заключила Настасья Александровна, показывая Лѣсичеву письмо и записку.

Увидя Лѣсичева, она ужъ забыла все, что было у нея на душѣ противъ него; она обрадовалась его приходу, ему самому, какъ другу, какъ защитнику. Показывая ему письмо, она глядѣла ему въ глаза, ожидая гнѣва, негодованія, одной изъ тѣхъ эфектныхъ выходокъ, послѣ которыхъ чувствительныя души обыкновенно восклицаютъ: «О, ты великъ!» и потомъ излагаютъ все это подробно въ письмахъ къ другому.

Лѣсичевъ расхохотался, но расхохотался непритворно, отъ всего сердца—такъ остроумна, такъ забавна, такъ оригинальна показалась ему шутка Завадьева.

— Повѣса! вскричалъ онъ: — какъ умно придумано!

Лѣсичевъ совсѣмъ забылъ или не думалъ, что эта «шутка» касалась его самого, касалась женщины, которую онъ увѣрялъ въ своей любви. Это было только ловко, дерзко, такъ ловко и дерзко, что даже завидно...

Настасья Александровна продолжала смотрѣть на своего обожателя, пока онъ продолжалъ хохотать. Она была поражена, убита. Еслибъ она была «женщина съ характеромъ», она приказала бы ему выйти, но она только сказала сквозь слезы:

— Ради Бога, перестаньте смѣяться!

— Что-жъ прикажете мнѣ дѣлать? спросилъ Лѣсичевъ, все еще смѣясь и не скрывая, что смѣется надъ нею.

— Не знаю... но вы видите... Боже мой! неужели вамъ надо объяснять, что я оскорблена, что я въ рукахъ этого человѣка?

— О, женщины! безъ фразъ ни на минуту!

— Боже мой! вскричала Настасья Александровна, залившись слезами: — но онъ меня преслѣдуетъ, онъ намекаетъ... вчера... Но вчера не въ первый разъ. Какъ я до сихъ поръ не понимала! Онъ ясно доказываетъ, что знаетъ все...

— Что онъ знаетъ?

— Что вы... что я люблю васъ.

— Онъ очень ошибается; и вы можете быть совершенно спокойны, потому что вы меня не любите... Ну да, вы меня не любите, повторилъ Лѣсичевъ съ самымъ величественнымъ хладнокровіемъ.

— Вы говорите это!..

— Говорю. Что-жъ, развѣ это любовь?

— Но что-жъ это?

— Право, не знаю! отвѣчалъ онъ, расхохотавшись.

Дерзость, которую онъ сейчасъ узналъ, подбивала и его на дерзости: какъ отстать отъ Завадьева? выказаться мальчишкой? сантиментальничать? Вчера онъ дѣлалъ сцену, мучилъ, упрекалъ, торжествовалъ, а сегодня будетъ геройствовать, мириться, просить прощенія?..

— Въ любви бываетъ самоотверженіе, самозабвеніе, продолжалъ онъ рѣзко, какъ человѣкъ оскорбленный: — а вы эгоистка. Вы любите — чѣмъ же вы это доказали? чего можно ждать отъ вашей любви, когда она пугается всякихъ пустяковъ, когда у нея нѣтъ силы ни для какой жертвы? Это такъ, не знаю что, блажь, прихоть, капризъ...

— Величайшая глупость, которой я не прощу себѣ! прервала, вспыхнувъ, Настасья Александровна.

— Видите ли, какъ вы кротки, видите ли, какъ это нѣжно, какъ этимъ можно хорошо привязать къ себѣ такими словами! Пожалуй, не прощайте себѣ, но, сдѣлайте милость, не ставьте и меня въ глупое положеніе. Къ чему мнѣ было знать, что, вслѣдствіе вашихъ откровенностей, Завадьевъ съигралъ эту шутку? Я вамъ говорилъ, что терпѣть не могу пріятельницъ! Не умѣли вы сдѣлать замка, задвижки какой нибудь въ вашемъ ящикѣ, чтобъ посторонніе не крали вашихъ писемъ? А украли, случилось это—къ чему мнѣ разсказывать? Къ чему путать меня въ исторіи, ставить въ странныя отношенія къ Завадьеву? Мнѣ теперь неловко предъ нимъ, какъ хотите неловко. Онъ можетъ вздумать намекать и мнѣ...

— И вы не найдетесь что отвѣчать за меня, за васъ самихъ? вскричала Настасья Александровна.

— Огласка? благодарю отъ всего сердца! Изъ-за чего? Развѣ я любимъ? Огласка! для того, чтобъ я выказался совершеннымъ глупцомъ, и въ глазахъ постороннихъ? Довольно того, что я въ моихъ собственныхъ глазахъ смѣшонъ!.. Такъ! теперь слезы! одно, что вы умѣете дѣлать. Мнѣ бы хотѣлось знать, о чемъ вы плачете? Не отъ любви же—сдѣлайте милость, не увѣряйте! Просто, оскорбили ваше самолюбіе; испугались вы. И выходитъ, что у васъ все на словахъ и

любовь ваша—одни слова, и мужество—одни слова.—«Ахъ, я рада всѣмъ жертвовать!» «Ахъ, я на все готова!» и нѣтъ ничего; тѣмъ кончается, что «sauvez moi...» Развѣ вы сами не могли сказать Завадьеву, что онъ негодяй? Другая, любя какъ должно, давно бы догадалась, что за нею слѣдятъ, поставила бы этого совѣтчика на почтительное разстояніе... А вы... Это называется «беречь любимаго человѣка»! Что-жъ мнѣ драться, что ли, съ Завадьевымъ? по какому праву я вступлюсь за васъ, впутаюсь въ смѣшную исторію, жизнью рисковать буду...

Настасья Александровна слушала, по дѣтской привычкѣ все выслушивать молча и покорно. Ни одинъ урокъ не обходился ей такъ больно, но также ни одинъ не вразумлялъ ее такъ сильно. Она убѣдилась, что ее не любятъ, потому что съ такой душой, «какъ у Лѣсичева, любить нельзя». Оскорбленная, она поняла, что ея идеалъ—мелкій трусъ, эгоистъ, у котораго недостало даже ума притвориться обиженнымъ ея обидой. Вступиться за нее онъ, конечно, не можетъ, не долженъ, но хоть бы взволновался, а онъ хохочетъ!

Но, понимая все это, Настасья Александровна не знала, что ей дѣлать, что сказать. Мгновенныя перерожденія бываютъ только съ «избранными натурами», а Настасья Александровна была слишкомъ обыкновенная женщина, чтобъ вдругъ изъ робкой женщины сдѣлаться энергической, запуганной — вступиться за свое достоинство, неопытной—разгромить свой падшій идеалъ, какъ можно краснорѣчивѣе и какъ слѣдовало сдѣлать это. Она только перестала плакать отъ горя и плакала уже отъ раскаянія. Ей не было больше жаль ни любви Лѣсичева, ни себя; ей было совѣстно, досадно, зачѣмъ она его полюбила. Ей хотѣлось бы ввѣкъ не видать его...

— Въ подобныхъ случаяхъ, продолжалъ Лѣсичевъ, послѣ нѣкотораго молчанія, наставительнымъ голосомъ, смягчаясь и совершенно обманываясь во всѣхъ чувствахъ своей собесѣдницы: — въ подобныхъ случаяхъ не плачутъ, а рѣшаются на что нибудь. Будьте благоразумны и слушайте меня. Вы спрашиваете моего совѣта и прибѣгаете къ моему покровительству. Вы сами видите, что оно невозможно. Судъ свѣта такъ строгъ, такъ безпощаденъ... Вы не рѣшитесь пренебречь имъ...

— А еслибъ рѣшилась?.. сказала Настасья Александровна, такъ, не размышляя, чтобъ сказать что нибудь, какъ дѣлаютъ люди нерѣшительные и къ тому-жъ еще сильно взволнованные.

Она взглянула въ лицо Лѣсичеву; онъ показался такъ сконфуженъ, такъ испуганъ, что ей, тоже неизвѣстно почему, пришло желаніе подтвердить свои слова, которыя она уже успѣла признать безумными.

— Еслибъ я рѣшилась пренебречь толками свѣта, ввѣриться вамъ совершенно... вы любите меня такъ сильно, вы всегда такъ заботились о томъ, чтобъ я была спокойна, поступала благоразумно...

У нея недостало больше силъ для этого противнаго притворства; но и Лѣсичевъ не выдержалъ.

— Вы хотите испортить мою карьеру! вскричалъ онъ:—вотъ и любовь! Это называется любовь! Шумъ, громъ, сцены, драмы... съ чѣмъ же это сообразно? что за крайности? То ребяческій страхъ, непонятливость до тупости, строгость до ханжества, или... ужъ не знаю что! Да подумали ли вы одну секунду, что губите человѣка, который имѣлъ неосторожность оказать вамъ вниманіе...

— Я вотъ что думаю, прервала Настасья Александровна:—что я васъ не уважаю.

Она выговорила это съ такимъ наивнымъ спокойствіемъ, что Лѣсичевъ изумился.

— Я сейчасъ сказала дурныя и вздорныя слова, продолжала она, покраснѣвъ: — но очень рада, что ихъ сказала: изъ вашего отвѣта я еще лучше узнала васъ. Еслибъ я, къ моему несчастью, была понятлива и умѣла притворяться, лгать, обманывать цѣлый свѣтъ, незаслуженно принимать его уваженіе, недостойно пользоваться защитой моего мужа, вы были бы довольны, потому что все было бы тихо, скрыто... Я сейчасъ сказала глупость, вы изъ нея заключили, что я хочу огласки, и испугались за себя... Но чѣмъ же одно хуже другого?

— Какъ чѣмъ хуже? вскричалъ Лѣсичевъ.

— Нравственно! развѣ нравственно было бы хуже...

— Да вы толкуете о нравственности? прервалъ онъ, захохотавъ.

Настасья Александровна залилась слезами.

— Подите отъ меня, ради Бога, сказала она: — я не хочу, не могу васъ видѣть! никогда!..

— Какая твердость духа! отвѣчалъ Лѣсичевъ, хохоча и вставая. — Но въ какихъ же отношеніяхъ мы должны оставаться предъ обществомъ? спросилъ онъ, останавливаясь и желая испугать ее и помучить.

— Какъ незнакомые, отвѣчала Настасья Александровна въ припадкѣ рѣшимости.

— Но что скажетъ общество?

— Что хочетъ.

Лѣсичевъ мгновенно размыслилъ, что общество не будетъ смѣяться надъ нимъ, когда онъ самъ поможетъ ему осудить Гореванову.

— А мужъ вашъ? спросилъ онъ еще, желая быть обезпеченнымъ съ этой стороны и крѣпко надѣясь, что робость Настасьи Александровны не допуститъ ее броситься подъ защиту мужа. — А мужъ вашъ? какъ объяснитъ онъ, что я оставилъ его домъ, гдѣ всѣ привыкли меня видѣть...

— Мужъ мой сегодня же все узнаетъ, отвѣчала Настасья Александровна почти рѣзко.

Она отняла у Лѣсичева послѣднюю надежду; ему оставалось выбирать: или названіе неудачнаго вздыхателя, или вмѣшательство Гореванова...

Лѣсичевъ расхохотался — больше дѣлать было нечего.

— Милое дитя! сказалъ онъ, остановясь еще разъ: — подите, признайтесь въ вашей шалости, васъ простятъ!..

Въ дверяхъ съ нимъ встрѣтился лакей, который шелъ докладывать:

— Петръ Семенычъ Завадьевъ.

— Просить, сказала Настасья Александровна.

Лѣсичевъ поспѣшилъ уйти; встрѣча съ Завадьевымъ послѣ такой сцены должна была неминуемо повести къ чему нибудь, къ объясненію. Настасья Александровна поступила такъ отважно, такъ рѣшительно, такъ несогласно съ своимъ характеромъ, что Лѣсичева это испугало.

Но Настасья Александровна была отважна и рѣшительна совершенно наивно: она была очень взволнована и разсержена, сама не знала, что дѣлать и ужъ, конечно, не обдумывала того, что дѣлала; она поступала сгоряча, чтобъ чѣмъ нибудь кончить—лучше ли, хуже ли будетъ...

Поспѣшный выходъ, почти бѣгство Лѣсичева, разсердили ее еще больше: она еще яснѣе увидѣла, что онъ трусить, и потому ей показалось необходимымъ выказать характеръ.

— Вы пришли очень кстати, сказала она Завадьеву, едва дыша отъ страха и досады: — потрудитесь сказать мнѣ: вы ли это писали?

Она показала ему четверостишіе.

Завадьевъ видѣлъ, что Лѣсичевъ вышелъ сконфуженный, что Настасья Александровна едва не плакала: что нибудь да произошло. Завадьевъ увидѣлъ на столѣ и свою утреннюю записку и понялъ, что запираться глупо; надо придумать что нибудь другое.

— Это я писалъ, отвѣчалъ онъ очень хладнокровно.

— Боже мой! да какъ же вы осмѣлились открыть мой столъ, читать мои письма? Развѣ это дѣлается? развѣ это позволено? благородно ли это?

— Очень дурно, я знаю, сказалъ Завадьевъ хладнокровно, попрежнему.

— Вы не дитя, продолжала Настасья Александровна, призывая всю свою твердость и вспоминая, какъ краснорѣчивѣе можно убѣждать человѣка въ его проступкахъ: — вы знали, что дѣлали дурно; какія же ваши правила?..

— Позвольте, я сознался, что мой поступокъ дуренъ... прервалъ Завадьевъ, удерживаясь отъ улыбки.

— Но въ ту минуту, когда вы такъ поступали, вы не считали его дурнымъ?

— Не знаю... возразилъ онъ:—я, кажется, считалъ его хорошимъ.

— Хорошимъ?!..

— Не поступокъ, а цѣль поступка была хороша.

— Ваша цѣль?..

— Предупредить васъ, дать вамъ совѣтъ.

— Я не дитя, m-r Завадьевъ, чтобъ мнѣ давать совѣты! вскричала Настасья Александровна въ сильнѣйшемъ гнѣвѣ, какой только испытывала въ своей жизни.

— Это обыкновенный отвѣтъ на всѣ благіе совѣты, возразилъ хладнокровно Завадьевъ:—мой совѣтъ постигла также общая участь. Но еслибъ онъ былъ принятъ, еслибъ вы удостоили, безъ гнѣва, безъ оскорбленнаго самолюбія, безъ добровольнаго заблужденія любви...

— Не смѣйте говорить мнѣ дерзостей! прервала она: — вы, кажется, ставите себя моимъ судьей!

— Я осмѣлился бы только просить, чтобъ вы позволили мнѣ говорить, какъ преданному другу...

— Преданный другъ!.. еще не зная меня, вы ужъ меня оскорбили!

— А если это было не оскорбленіе, возразилъ Завадьевъ:—если послѣ дурного, неблагороднаго чувства любопытства, которое толкнуло меня взять и прочесть это письмо, явилось другое чувство — чувство глубокаго раскаянія, скажу болѣе: искреннее, отчаянное желаніе загладить свою вину — за-

мѣтьте, вину, которую скрыть было легко, въ которой можно было не признаться—загладить, обнаруживъ ее, подвергая себя вашему гнѣву, но загладить добрымъ совѣтомъ, словомъ правды, предостереженіемъ, напомнить вамъ, что свѣтъ, молва, что ваши обязанности...

Настасья Александровна всегда робѣла, когда ей говорили много; это случилось бы и теперь, еслибъ ей не пришла въ голову одна внезапная мысль.

— Почему же вы не выразили этого громко, чистосердечно? прервала она: — почему вы не написали просто записку, не высказались ясно, не подписали вашего имени?

Завадьевъ разсмѣялся.

— Извините, Настасья Александровна, это такъ романично, такое дѣтство...

— Дѣтство! повторила она, вспыхнувъ:— раскаяться прямо, или дать прямой совѣтъ, какъ настоящій другъ—это романично! Измучить меня неизвѣстностью, подозрѣніемъ... Но, Боже мой! еслибъ была тѣнь великодушія и искренности въ томъ, что вы сдѣлали, вы не написали бы мнѣ стихами вашего добраго слова... Вы смѣялись надо мной!

Она не выдержала больше и заплакала.

— Боже мой! чѣмъ я заслужила это? говорила она. — Незнакомый, никогда невидавшій меня человѣкъ забавляется мной, оскорбляетъ меня... Что-жъ свято этимъ людямъ? Тотъ, за кого я страдаю... M-r Завадьевъ, прибавила она вдругъ, обращаясь къ нему, не владѣя собою и потому не замѣчая, что проговаривалась: — я сейчасъ сказала Лѣсичеву, что не уважаю его и не хочу его видѣть — повторяю то же и вамъ. Избавьте меня отъ вашей преданной дружбы!

Завадьевъ потерялся было, но только на одну минуту; онъ понялъ, что Гореванова разсорилась съ своимъ обожателемъ, и этого ему было довольно, чтобъ успокоиться. Онъ всталъ.

— Мой поступокъ отвратителенъ, неблагороденъ, онъ—насмѣшка, онъ — дерзость, ему нѣтъ имени, сказалъ онъ съ самой торжествующей улыбкой:—но я доволенъ имъ, я радуюсь, что я его сдѣлалъ: я спасъ васъ отъ пустѣйшаго фата; я сдѣлалъ доброе дѣло.

Она не отвѣчала.

— Разстанемтесь по-дружески, сказалъ Завадьевъ:—и позвольте дать вамъ послѣдній совѣтъ: не будьте ни съ кѣмъ откровенны обо всемъ, что случилось... и не приносите покаянія предъ вашимъ мужемъ.

— Ему-то я и скажу все, чтобъ обезпечить себя отъ друзей, отвѣчала она.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ? Вы будете способны на такую романическую исповѣдь?.. Настасья Александровна, происшествія, подобныя этому, должны придавать опытность, должны формировать характеръ! А вы все еще остаетесь неопытны! Позвольте пожалѣть о васъ.

Онъ поклонился очень церемонно и вышелъ.

Настасья Александровна была измучена выше силъ; она осталась одна съ своими размышленіями... Но о чемъ ей было размышлять? Все было кончено: ея мечты были убиты, ея любовь убита, ей было не жаль Лѣсичева, но скучно, скучно... И это было очень натурально, потому что ей не оставалось занятія. Ей было досадно, обидно, что еще натуральнѣе; ей стало страшно, страшнѣе прежняго: она только теперь поняла, что и Лѣсичевъ, и Завадьевъ ея враги, но никакъ не понимала, что эти враги ничего ей не сдѣлаютъ. Она знала, что она невиновата, но они такъ злы!..

Она не была въ состояніи вынести своего страха; ея воображенію представлялись всѣ свѣтскіе толки—эти ужасы, на уваженіи къ которымъ воспитывается всякая женщина. Виноватыя не боятся ихъ, потому что вынесли сильнѣйшее, собственное сознаніе въ своей винѣ, и потому смѣлѣе правыхъ, которыя, не умѣя, защищаются неловко и не имѣютъ понятія о томъ, какъ и за что могутъ напасть на нихъ. Виноватыя не боятся свѣта, но боятся семьи, правыя наоборотъ... Настасья Александровна съ радостью думала, что ей есть къ кому прибѣгнуть.

Упрекнувъ себя сто разъ, она рѣшилась «исправиться»; но исправленіе не можетъ быть безъ раскаянія; раскаяніе неполно, когда нѣтъ признанія... Настасья Александровна, будто въ лихорадкѣ, дожидалась возвращенія своего мужа...

Хорошо, что ей пришлось ждать недолго. Колокольчикъ зазвенѣлъ; она пошла на встрѣчу мужа; онъ вошелъ; она дожидалась, глядя на него, какъ виноватое дитя, покуда онъ снималъ шубу, давалъ разныя приказанія, потомъ пошла за нимъ слѣдомъ въ кабинетъ, все молча...

— Что тебѣ нужно? спросилъ онъ.—Здорова ты?

— Ты не занятъ? спросила она.

— А что?

— Мнѣ надо поговорить съ тобой.

— Подожди, сейчасъ.

Пока Горевановъ переодѣвался, кончалъ съ дѣлами, Настасья Александровна ждала, сидя у себя. Это ожиданіе было невыносимо. Лучше бы ей не вызываться говорить! Но чрезъ полчаса ей пришли сказать, что Василій Владиміровичъ проситъ ее къ себѣ.

Она пошла.

— Что ты хотѣла сказать, Настя?

Настасья Александровна расплакалась. Она потеряла счетъ своимъ слезамъ въ этотъ день. Страхъ при видѣ мужа, сидящаго въ креслахъ, спокойнаго, серьезнаго, былъ такъ великъ... что хоть не начинать говорить. Но было поздно.

— Что съ тобой, Настя?

Къ счастью, онъ сказалъ это ласково. Она бросилась обнимать его; онъ обнялъ ее очень нѣжно.

— Что съ тобой, моя душка?

Она рѣшилась сказать тихонько.

— Прости меня...

А послѣ этихъ двухъ словъ, которыхъ воротить было невозможно, молчать было также невозможно, скрыть что нибудь еще невозможнѣе. Настасья Александровна все разсказала.

Горевановъ выслушалъ невозмутимо.

— Все? спросилъ онъ наконецъ.

Настасьѣ Александровнѣ казалось, пока она разсказывала, что она совершаетъ что-то важное, какое-то рѣшительное дѣло жизни; она каялась въ своей скукѣ, разбирала свои чувства, взвѣшивала свои поступки, выдавала всѣ тайны, всѣ стороны своей души, отдавала все это на судъ человѣка, въ чьихъ рукахъ была ея жизнь и ея счастье; отрекалась отъ заблужденія, которое казалось ей счастьемъ и, какъ ни было ничтожно, но все-таки освѣтило ея безцвѣтную скуку; негодуя, какъ женщина, говорила она о своемъ оскорбленіи; спрашивала: умѣла ли она отплатить за него? спрашивала: что должно ей дѣлать и чего бояться, какъ оградиться отъ нападокъ общества? наконецъ, умоляла успокоить ее, сказавъ, что ее прощаютъ...

Горевановъ и не думалъ прощать; онъ рѣшилъ иначе.

— Я всегда говорилъ тебѣ, что не слѣдуетъ, не къ чему заниматься вздоромъ, сказалъ онъ очень спокойно: — вздоръ и вышелъ. Ты начиталась романовъ, набила себѣ голову, что влюблена, чего вовсе не было, и такъ далѣе. Обыкновенная глупость дѣлать изъ мухи слона. Ты сказала обоимъ этимъ негодяямъ, чтобъ они не бывали у тебя въ домѣ—и довольно. Ты имъ сказала, что все мнѣ перескажешь—и они такъ этого боятся, что будутъ молчать. Самъ я вступаться не стану; ты выказалась глупа: если я вступлюсь, скажутъ еще хуже, скажутъ, что мнѣ есть за что вступаться... но ты этого не въ состояніи понять. Ты еще мало понимаешь вещи. Это тебѣ впередъ урокъ. Тебѣ, я вижу изъ всего этого, еще рано пускаться въ свѣтъ и располагать собою. Самое лучшее, посиди немножко дома, а потомъ поѣзжай къ своимъ роднымъ, пробудь до поста у нихъ; я пріѣду за тобой и вмѣстѣ воротимся въ деревню. Тамъ и покойнѣе, и тише, и полезнѣе для тебя...

Слушая эту рѣчь, молодой женщинѣ почему-то казалось, будто она ребенокъ и ее поставили въ уголъ...

Чувство довольно странное и затруднительное для описанія.

Настасья Александровна хотѣла разобрать его немножко, такъ, для себя... но ей такъ хорошо доказали, что разбирать не стоитъ и не должно...

Горевановы третій годъ безвыѣздно живутъ въ деревнѣ...

СТАРОЕ ГОРЕ.

ОЧЕРКЪ.

1858 г.

Декабрь, 1850.
Душинскій чугунный заводъ.

...Не знаю, что дѣлать отъ пустоты. Работы много, но все еще слишкомъ много времени остается думать. Говорить не съ кѣмъ; газеты прочитаны; журналовъ не дождешься еще цѣлый мѣсяцъ. Орѣшкинъ уѣхалъ; говоритъ, ненадолго, а я увѣренъ, что на всѣ святки; онъ знаетъ, что здѣсь на святкахъ работы убавится; да хотя бы и не убавилось, онъ знаетъ тоже, что я займусь и безъ помощи его, моего помощника. Онъ очень милый юноша; но когда повторитъ разъ пять въ теченіе вечера, что женщины заставили его много страдать, можно ожидать, что онъ ужъ больше ничего не скажетъ. Этотъ юноша, однако, всего годомъ, никакъ еще меньше, моложе меня. Что значитъ пожить, или постоять гдѣ-то съ полкомъ къ Польшѣ, потомъ надзирать за поведеніемъ кадетовъ и, наконецъ, опредѣлиться помощникомъ управляющаго на Душинскомъ частномъ чугунномъ заводѣ, въ самой глуши Пермской губерніи!..

А впрочемъ, развѣ это не значитъ пожить на свѣтѣ? И по какой странной гордости говорю я, что я жилъ, а онъ нѣтъ? Развѣ непремѣнно нужно въ жизни имѣть тысячу приключеній, надѣлать шуму, добиться чего нибудь необыкновеннаго, чтобъ имѣть право назваться человѣкомъ пожившимъ? Такихъ людей очень немного; всѣ, по большей части, умираютъ тамъ же, гдѣ родились, въ той же средѣ, часто въ томъ же кругу близкихъ и знакомыхъ... Я вздумалъ посмѣяться надъ Орѣшкинымъ, а моя жизнь не разнообразнѣе его жизни.

Говорятъ... я самъ говорилъ это прежде, когда было съ кѣмъ толковать о возможномъ и невозможномъ, объ отвлеченныхъ вопросахъ, когда еще дѣйствительность не сбила всѣ эти вопросы, одни—разомъ, другіе понемногу. Мнѣ казалось, можно сказать о человѣкѣ, что онъ жилъ больше или меньше, смотря потому, сколько пріобрѣлъ онъ опыта, сколько мыслилъ, сколько страдалъ. Но каждый думаетъ, сколько можетъ: опытность дается такимъ горькимъ трудомъ, а страданіе—вовсе незавидное право на значеніе и уваженіе нашихъ ближнихъ. Богъ съ нимъ! я отдалъ бы свое... Впрочемъ, я убѣдился, что страданіе нисколько не прибавляетъ къ намъ уваженія; если мы вздумаемъ его выказывать—мы надоѣдимъ; станемъ скрывать, гордо и деликатно—его не замѣтятъ...

Одну минуту я подумалъ, что и въ страданіи, какъ въ мысли, какъ въ опытности, мы всѣ равны: всякій вынесъ свое... да нѣтъ, это неправда. Пусть толкуютъ, сколько угодно, вмѣстѣ съ напыщеннымъ моралистомъ, что «les reines ont été vues pleurant comme de simples femmes»—это ничего не доказываетъ. Этихъ царицъ видѣли, какъ онѣ плакали, слѣдовательно ихъ считали долгомъ утѣшать... а тѣ, которыхъ никто не видѣлъ въ слезахъ, никто и не утѣшалъ?

Моя милая Саша, что ты вынесла, и какъ выносила!...

Смотрю на ея имя, которое написалъ вчера. У меня никогда не было никого, съ кѣмъ

бы говорить о ней. Скоро годъ, какъ ея ужъ нѣтъ на свѣтѣ.

Рѣшительно, въ этиддлинные вечера, когда работа кончена, счеты сведены, контора заперта, на дворѣ темно, холодно, кругомъ тихо, только лаятъ собаки да стучатъ сторожа, часы какъ-то хрипло щелкаютъ, свѣчи горятъ тускло, а все еще рано и сонъ нейдетъ, я не знаю, что со мной дѣлается. Я сойду съ ума...

И эту жизнь надо вести—надо, для того, чтобъ жить. Это существованіе—средство къ поддержанію моего существованія... Да есть ли изъ чего хлопотать?

Есть ли люди, которые не нахвалятся этой стороной и такой жизнью; пожалуй, мнѣ еще завидуютъ. Привольно, все дешево, сытно; нѣтъ искушеній тратить деньги на пустяки; жалованье большое. Можно, пожалуй, поѣхать недалеко, на Гуськовскій заводъ: тамъ два молоденькіе купчика, племянники хозяина, роскошничаютъ какъ сатрапы, пьютъ страшно и ведутъ адскую игру. У нихъ можно гостить по недѣлямъ и наслаждаться. Это здѣсь называется общество... Есть по сосѣдству и дамы. Какой-то господинъ, тоже управляющій на одномъ заводѣ, выписалъ къ себѣ трехъ своихъ дочекъ, разсчитывая, что здѣсь образованныя дѣвицы—рѣдкость и скорѣе выйдутъ замужъ. Эти дѣвицы, одна страшнѣе другой, цѣлый день ѣдятъ, спятъ и курятъ, иногда катаются на тройкахъ, впрочемъ, читали много романовъ и очень интересничаютъ.

Странно! здѣсь всѣмъ хорошо, всѣмъ нравится. Помню, еще въ N*, случалось видѣть пріѣзжихъ изъ этой обѣтованной земли: они страдали по ней чѣмъ-то въ родѣ тоски по родинѣ. Провѣришь, бывало, эти восторги и печали—и выходило, что ихъ причиной какая-то необыкновенная рыба, да чай, дешевизна всего. «Тамъ холодно!» бывало, скажешь этимъ господамъ. «А сколько дровъ! какіе лѣса!» возражаютъ они: какіе мѣха!..» И, увидя у какой нибудь нашей N-ской барыни бѣличью муфту, цѣлый день толкуютъ о соболяхъ и горностаяхъ. Замѣтишь имъ, что природа дика, что солнце блѣдно: они толкуютъ, что у С. хорошія оранжереи. Скажешь, что пусто, что мало людей, въ кругу которыхъ было бы пріятно жить, что, наконецъ, подчасъ вѣрно не съ кѣмъ слова сказать: они прерываютъ разсказами о капиталистахъ, заводчикахъ, золотопромышленникахъ, которые въ какой нибудь десятокъ лѣтъ нажили себѣ милліоны...

Милліоны, все милліоны! ужъ и я тоже не сбираюсь ли нажить здѣсь себѣ милліоны?..

Вотъ почему всѣмъ и кажется здѣсь хорошо. Я только и знаю одного себя съ этой глупой тоской о тепломъ солнцѣ, о людяхъ по-сердцу, о разговорахъ, гдѣ бы не поминалось вѣчно о капиталахъ, паяхъ и тому подобномъ. Я хорошій труженикъ—не изъ любви къ своему труду, а потому, что взялъ его на себя. Надо какъ нибудь жить и что нибудь дѣлать на свѣтѣ, если ужъ человѣкъ остался жить...

Впрочемъ, что-жъ? Душинскій заводъ—такая могила, и цѣлые дни счетовъ, разсчетовъ, провѣрокъ, расплатъ, наймовъ, подрядовъ, молчанія, вьюги, пустоты окружающаго и внутренняго, болѣзненнаго воспоминанія, тѣмъ болѣе жгучаго, что самъ сознаешь, какъ оно напрасно, что некому и не зачѣмъ его высказывать, а надо уморить его, и поскорѣе, чтобъ голова свѣжѣе работала надъ цифрами—такіе дни, все равно, доводятъ до небытія, до отупѣнія...

Сегодня былъ день ея рожденія. Ей было бы двадцать два года—самый лучшій возрастъ женщины, когда опредѣляется характеръ, полнѣе развиваются понятія, когда еще много восторженности для того, чтобъ увлекаться всѣмъ хорошимъ, но ужъ пришло то милое благоразуміе, которое разсуждаетъ еще робко и кротко, но уже разсуждаетъ и улыбается тому, что важно называетъ «ребячествомъ».

Я вспомнилъ, какъ она улыбалась. Она умерла, улыбаясь...

Саша... но что-жъ это такое? Даже твоя могила такъ далеко, такъ далеко...

Это, пожалуй, умные люди назовутъ счастьемъ; скажутъ: «будь благодаренъ: инымъ и этого не давалось». Любить другъ друга, принадлежать другъ другу и не знать въ четыре года ни одного покойнаго, неозабоченнаго дня, не знать, что такое нарядить ее, мою красавицу... Какъ она была хороша!.. Не показать ее никому, чтобъ на нее полюбовались, чтобъ узнали, какъ она умна, весела, остроумна; не повеселить ее ничѣмъ, не имѣть возможности дать ей хоть бездѣлицу, хоть сотую долю той роскоши, или хоть того удобства, которымъ пользуются женщины нестоющія, чтобъ и сравнить ихъ съ нею... Роскошь, удобство... у нея не бывало необходимаго!.. Одной тряпки, одного клочка кружева, въ которое рядятся эти бездушныя безобразія, было бы довольно, чтобъ цѣлый

годъ не вышивала по ночамъ моя Саша... Бѣдность—чума, отъ которой всѣ бѣгутъ; это—проклятіе...

О, но что мнѣ во всемъ этомъ? ея не воротишь!...

Я кончилъ курсъ въ университетѣ счастливо и не очень долго дожидался опредѣленія на службу. Одинъ господинъ, у котораго сына я приготовлялъ тоже къ университету, былъ назначенъ предсѣдателемъ палаты въ N*... Зная, что я хотѣлъ служить, потому что жить уроками не было возможности, онъ предложилъ мнѣ помѣстить меня въ этой палатѣ, въ N*, говоря заранѣе, что мѣсто будетъ. Я еще не зналъ этой общей всѣмъ вновь назначеннымъ начальникамъ методы: привозить съ собой своихъ знакомыхъ и protégés и сажать ихъ куда и какъ можно. Въ губернскихъ городахъ къ этому обычаю привыкли, и вотъ почему чиновничество мелкое (да и не совсѣмъ мелкое) трепещетъ при перемѣнахъ своихъ важныхъ правительствующихъ лицъ: не то, чтобъ кто очень сознавалъ свои вины, но всѣ знаютъ обычай и думаютъ: «не понадобилось бы кому мое мѣсто?» Я былъ очень удивленъ недоброжелательствомъ, съ какимъ меня встрѣтили мои сослуживцы; когда отгадалъ причину, мнѣ стало совѣстно: я сталъ развѣдывать, узнавать, наконецъ, изъ самыхъ дѣлъ стола, поступившаго въ мое вѣдѣніе, убѣдился, что, для доставленія мнѣ мѣста, не было сдѣлано никакой несправедливости—напротивъ; но отъ этого мнѣ нисколько не стало легче. Меня боялись, считая за слишкомъ преданнаго кліента его превосходительства, и ошибались, конечно. Во мнѣ есть странность, которую я самъ всегда замѣчалъ, но отъ которой не могъ и не умѣлъ исправиться: во мнѣ мало наблюдательности, слѣдовательно нѣтъ сметливости, и послѣ этого не можетъ быть практическаго умѣнья пользоваться людьми и обстоятельствами. Помню, давно, въ мои университетскіе годы, у меня была знакомая пожилая дама, мастерица хлопотать; она размѣстила десятокъ дѣтей на казенный счетъ въ разныя заведенія, взяла съ бою нѣсколько процессовъ, вымолила себѣ двѣ пенсіи, а о пособіяхъ даже не говорила, считая это дѣломъ уже слишкомъ простымъ и обыкновеннымъ. Она знала цѣлый свѣтъ; вся жизнь ея прошла въ подаваніи прошеній, въ ожиданіяхъ по пріемнымъ и переднимъ, въ сильныхъ сценахъ, гдѣ она доказывала и защищала свои права не хуже любого адвоката—и все это составляло ея наслажденіе, о которомъ она съ наслажденіемъ же и разсказывала. Не только мнѣ ужъ вовсе непрактическому человѣку, а, я думаю, никому въ голову не придетъ, какими путями иногда она добивалась аудіенцій, какъ она умѣла провѣдывать самыя сокровенныя семейныя отношенія важныхъ лицъ, какъ доставала себѣ рекомендательныя письма съ береговъ Кубани въ Петербургъ. Кажется, принято вѣрить, что рекомендательныя письма—только лишній соръ, который выметаютъ на другой день; для этой дамы они имѣли другое значеніе: они дѣйствовали; она умѣла выбрать мѣсто, время и свидѣтелей, чтобъ вручать ихъ. Ей ничего не значило падать на колѣни и заливаться слезами; послѣднее даже обратилось у нея въ привычку, и часто слезы прерывали ея одушевленные разсказы, хотя въ этихъ разсказахъ, случалось, она называла «мошенниками» своихъ благодѣтелей и покровителей и вообще отзывалась о нихъ съ сарказмомъ и пренебреженіемъ. Она плакала о своихъ собственныхъ прошедшихъ страданіяхъ. Но страдала ли она?... Она была не только не бѣдна, но всегда жила очень порядочно; могла бы жить и еще лучше, еслибъ, какъ сама говорила, «не необходимость скрывать, что у нея есть состояніе, потому что иначе ничего бы не дали». Я, конечно, не чувствовалъ къ этой дамѣ ни малѣйшей симпатіи; но одинъ мой знакомый, впрочемъ, совершенно раздѣлявшій мои убѣжденія, совѣтовалъ мнѣ благоговѣть предъ этой «силой» сметливости, предъ этой «громадностью» интригантства. «Мало ли что вамъ не нравится, не по-васъ!» говорилъ онъ: «можете находить, что она отвратительна; но удивляйтесь ей; развѣ въ неодушевленной природѣ мало гадкаго, но удивительнаго? почему не быть тому же и въ природѣ нравственной?..»

Хорошій былъ человѣкъ этотъ, повременамъ, защитникъ парадоксовъ, но вѣчный зашитникъ правды, говорившій рѣзко и громко, ненавидимый многими и едва оцѣненный немногими друзьями... Гдѣ-то онъ теперь?.. Какъ насъ разбрасываетъ судьба!..

Какъ разбросались мои мысли! Я началъ говорить о моей службѣ и припомнилъ эту почтеннѣйшую даму... Ея совѣты: пользоваться людьми, какъ вещами, и уроки ея практической мудрости очень бы мнѣ пригодились въ N*, еслибъ натура моя была способна хоть немного ими воспользоваться...

Кромѣ того, что я несметливъ, я какъ-то

разсѣянъ, или, вѣрнѣе, задумываюсь слишкомъ много. Вмѣсто того, чтобъ наблюдать за людьми, я разбираю ихъ мысленно, разбираю до такой степени, что придумываю этимъ людямъ характеры нисколько непохожіе на ихъ характеры; и когда приходится имѣть съ ними дѣло, я говорю, что ошибся въ нихъ — а я, просто, не досмотрѣлъ. Бывало и хуже: я не наблюдалъ и не думалъ; люди проходили передо мной въ родѣ тѣней; сношенія, которыя имѣлъ я съ ними, были или официальныя, или самыя простыя, общежительныя: поклонъ, вопросъ о здоровьѣ, разговоръ о всѣхъ извѣстныхъ новостяхъ; чаще всего разговоръ о политикѣ, искусствахъ, литературѣ, то есть о такихъ предметахъ, въ которыхъ можетъ исчезнуть личность разговаривающихъ. Со мной (я говорю о моей жизни въ N*; университетъ— другое дѣло) никто не разговаривалъ ни о чемъ другомъ, ни о чемъ близкомъ, даже о томъ, что сколько нибудь касалось интимной жизни постороннихъ; со мной даже не говорили о сплетняхъ, которыми богатъ городъ N*, можетъ быть, догадываясь, что я ничего не пойму, но, вѣрнѣе, считая меня человѣкомъ себѣ-на-умѣ, слѣдовательно опаснымъ. Людямъ, которыхъ все занимаетъ, которые во всемъ принимаютъ участіе дѣятельное и практическое, конечно, не могло придти въ голову, чтобъ могъ существовать человѣкъ, одаренный неспособностью видѣть, слышать и заниматься тѣмъ, что всѣхъ занимаетъ. Отъ меня сторонились — я не жалѣлъ объ этомъ. Мои сослуживцы мнѣ не нравились. Были между ними и хорошіе люди; но много значитъ складъ воспитанія, а у насъ онъ былъ совершенно разный. Они могли, не скучая, вести свою чиновничью жизнь, играть по маленькой въ карты, не чувствуя даже потребности думать о чемъ нибудь другомъ, знать что нибудь дальше. Я сначала познакомился, бывалъ у нихъ, потомъ отсталъ: дѣла было много; для отдыха, я записался въ клубъ и ходилъ туда по вечерамъ читать журналы. Мое общественное положеніе было слишкомъ незначительно; я не могъ попасть въ высшій N-скій кругъ, почему-то очень гордый: тамъ не принимали столоначальниковъ, будь они десять разъ кандидатами университета. Въ клубѣ я видѣлъ всю губернскую аристократію, всѣхъ молодыхъ людей; они, конечно, не обращали на меня вниманія; я, по своей привычкѣ, сначала тупо смотрѣлъ на нихъ, а потомъ они, какъ и всѣ, стали казаться мнѣ тѣнями...

Это продолжалось почти годъ. Разъ, вечеромъ, передъ святками, какъ теперь (какъ мнѣ это памятно!), сижу въ моей квартирѣ, читаю одно дѣло и составляю о немъ журналъ... ко мнѣ стучатся. Университетскій товарищъ Петровъ проѣздомъ изъ Москвы, тоже въ губернію, на службу. Мы всю ночь проговорили! онъ долженъ былъ уѣхать на другой день. Я испугался скуки, ожидавшей меня послѣ его отъѣзда, и сказалъ ему: «Что ты ни съ кѣмъ не знакомишься?» — «Не съ кѣмъ; пробовалъ», отвѣчалъ я. — «Ахъ, да сюда недавно пріѣхалъ мой знакомый», сказалъ онъ: «Журавцовъ, славный старикъ; я съ нимъ тоже недавно познакомился; его опредѣлили сюда учителемъ исторіи въ гимназію. Я тебя поведу къ нему завтра, передъ тѣмъ, какъ мнѣ уѣхать».

На другой день мы пошли къ старику. Петровъ поручилъ ему меня; я сталъ бывать тамъ всякій день. У Журавцова была дочь, Саша...

Боже мой! что-жъ тутъ еще писать? Весной я женился на Сашѣ, а послѣзавтра годъ, какъ схоронилъ ее...

Рабочій, Егоръ Ивановъ, вчера, въ воскресенье, отпросился съѣздить въ Гуськовскую слободу до вечера, получить долгъ съ какого-то пріятеля. Весь день и всю ночь была вьюга ужасная; онъ не воротился; сегодня непогода еще продолжалась; къ вечеру, когда стало потише, отецъ его, стосковавшись, видно, по предчувствію, отправился искать сына и нашелъ его верстахъ въ двухъ отъ нашего завода, около лѣса, въ сторонѣ отъ дороги, замерзшаго, полуживого. Онъ успѣлъ только сказать, что бился цѣлые сутки. Отецъ положилъ его въ свои сани, повезъ домой, но довезъ ужъ мертваго. Мнѣ прибѣжали сказать; я былъ въ конторѣ. Работа была кончена; народъ толпился около Ивановой избы; жена его кричала, дѣти кричали, мать лежала безъ памяти! говорить и утѣшать было нечего. Я послалъ въ нашъ приходъ, верстъ за пять, за священникомъ; къ счастью, это человѣкъ умный и хорошій; онъ, по крайней мѣрѣ, возстановилъ какой нибудь порядокъ.

Я измучился не меньше ихъ. Пока тамъ кричатъ, молятся, зажигаютъ свѣчи, я здѣсь одинъ вспоминаю свою годовщину. Что мнѣ мерещется, что я вижу въ темнотѣ...

Къ ужасу, къ тоскѣ, не доставало грязи; она явилась: безъ нея, видно, ничто на свѣтѣ не обходится. Меня разбудили, едва я

заснулъ поутру. Съ Гуськовскаго завода пріѣхали лекарь и становой. Они тамъ наслаждались жизнью цѣлую недѣлю—этого довольно. Привязались и не позволяютъ хоронить рабочаго: подозрѣніе, что онъ умеръ «не своею смертью», то есть убитъ; имъ мало показаній, что деньги при немъ цѣлы, что отецъ нашелъ его еще живымъ, говорилъ съ нимъ. Не отецъ же убилъ его, въ самомъ дѣлѣ! «А не убитъ, такъ подгулялъ съ пріятелемъ, къ которому ѣздилъ, оттого и не доѣхалъ». И пріятель этотъ, и пятеро другихъ уже здѣсь, призваны и увѣряютъ, что нисколько не гуляли, что Ивановъ, какъ взялъ деньги, такъ и уѣхалъ, что они еще уговаривали его обождать, не ѣхать въ вьюгу. Жена и мать валяются въ ногахъ, просятъ не мучить покойника...

И эта исторія продолжалась до вечера; можно было задохнуться отъ злости, или обезумѣть. Кончилось, конечно, деньгами. Священникъ урезонилъ меня взять еще на полчаса терпѣнія и вытребовать отъ этихъ господъ, со всѣми формальностями, позволеніе совершить погребеніе по христіанскому обряду...

Кому тяжеле: мертвымъ или живымъ? Рабочій замерзалъ, «бился» цѣлые сутки, но, наконецъ, избавился, умеръ. Нравственное страданіе длится всю жизнь и не убиваетъ. Возмущаешься, негодуешь, клянешь—и все живъ, для того, чтобъ возмущаться, страдать, проклинать...

У нихъ былъ садикъ при квартирѣ, которую они нанимали. Святая недѣля случилась въ половинѣ апрѣля; я приходилъ къ нимъ всякій день. Какъ нарочно для насъ, время стояло чудесное; листъ распустился, смородина начинала цвѣсть. Когда я закрываю глаза, передо мной представляется единственная узенькая дорожка; съ обѣихъ сторонъ низенькіе ровные кусты смородины, подвязанные длинными жердями; клейкая молодая зелень желтовата и пахнетъ смолой; тонкія вѣточки цвѣта такъ граціозны... Дорожка, конечно, не вычищена и не усыпана пескомъ; мы сами утоптали ее, ходя взадъ и впередъ. На одномъ ея концѣ, подъ большими березами, у забора недостаетъ нѣсколькихъ бревенъ; на него можно облокотиться и смотрѣть внизъ, потому что здѣсь приходится обрывъ и сосѣдній садъ расположенъ по оврагу. Мы назвали этотъ заборъ балкономъ... Еслибъ воротить хоть одинъ день, одинъ часъ!..

Отецъ обыкновенно отдыхалъ послѣ обѣда. Солнце ужъ жарко въ апрѣлѣ; тѣни еще мало. Мы выбрали мѣстечко въ углу сада, устроили скамейку изъ одной старой доски и сидѣли тамъ, прячась отъ жара и отъ сосѣдей. Она приносила работу, я—книгу; она много шила, я ничего не читалъ. Что мы говорили — не помню. Все это смѣшалось въ моей душѣ въ одно больное, отчаянное ощущеніе. Когда вспоминаю, мнѣ хочется бѣжать куда нибудь...

Я сказалъ ей: «Пойдемъ, скажемъ отцу...» Старикъ выслушалъ насъ, плача и смѣясь; онъ прежде насъ самихъ догадался, что съ нами. Мнѣ было двадцать три года, ей — семнадцать; будущее насъ не пугало.

Молодость глупа; она не понимаетъ, что раздраженіе, напряженіе чувства, хотя бы никогда не прошло оно, какъ не прошло въ насъ, не есть еще сила и не поддержитъ въ борьбѣ со всей этой дрянью, которая называется хозяйствомъ, служебными отношеніями, приличіями свѣта. Обнявшись, можно забыть, что не обѣдалъ, но нельзя забыть, но помнишь ещё сильнѣе, что та, которую ты обнялъ, не обѣдала. Можно, придя изъ должности, скрыть, что тамъ вынесъ непріятность, а для развлеченія предложить хоть прогулку любимой женщинѣ; она откажется, и оба поняли: она—что у тебя есть непріятность, ты—что ей не во что прилично одѣться. Что молчать? лучше сказать это другъ другу; сказали—и оба измучены одинъ за другого, и оба смѣетесь, увѣряя, что все это «ничего»...

Когда я подумаю, что только бѣдность, несносная, нестерпимая, съ заботой на каждую минуту дня, съ разсчетомъ каждаго гроша, мѣшала намъ быть счастливыми, какъ мало есть счастливыхъ на свѣтѣ! Мы думали одно, чувствовали одно. Она умѣла быть граціозна даже среди своихъ домашнихъ хлопотъ, весела, какъ жаворонокъ, милая, кроткая, умница. Когда выдавались у насъ «легкіе» дни, у меня случалось не такъ много дѣла—какъ намъ бывало уютно вдвоемъ въ нашей крошечной квартиркѣ, какъ скоро шло время!

Я виноватъ передъ нею: я огорчалъ ее. Знаю это и говорю спокойно, потому что все кончено, и къ моему горю и раскаянію ничего больше нельзя прибавить. Я виноватъ тѣмъ, что, любя ее, цѣня ее выше всего и всѣхъ, я не хотѣлъ, чтобъ она не только сближалась съ кѣмъ нибудь ниже себя, но чтобъ она даже знала этихъ людей. «Развѣ

тебѣ недовольно, что мы двое?» говорилъ я. Лучшаго общества я не могъ ей доставить; мелкаго не хотѣлъ. Чиновницы были, можетъ быть, лучше своихъ мужей, можетъ быть, добрыя женщины, можетъ быть, несплетницы, но развѣ это была компанія для моей Саши? Она сама не находила удовольствія съ ними, но возразила мнѣ однажды: «Другъ мой, безъ людей не проживешь». Это было единственное возраженіе, которое я слышалъ отъ нея во всю ея жизнь... Она не настаивала, чтобъ не сказали, будто я держу ее взаперти и не выдумали какой нибудь сплетни; она сама стала отдаляться отъ своихъ знакомыхъ и получила прозваніе «гордячки». Я зналъ это.

Она цѣлые дни сидѣла дома одна, когда я былъ на службѣ; изъ любви и уваженія къ ней, я лишилъ ее даже возможности слышать голосъ человѣческій... Проклятая бѣдность! Я видалъ свѣтскихъ дамъ и дѣвицъ, которыя говорили пошлости, сходившія съ рукъ, потому что говорились онѣ смѣло и по-французски, и этихъ особъ называли «des femmes charmantes». Ни одна изъ нихъ не была такъ игрива и остроумна, какъ моя Саша. Заставить бы этихъ любезныхъ женщинъ, живущихъ чужимъ умомъ и фразой, скучающихъ отъ своей душевной пустоты, недовольныхъ и капризныхъ, потому что у нихъ всего вдоволь, отнять бы у нихъ все и заставить бы ихъ такъ искренно шутить и смѣяться, такъ легко острить и такъ порядочно говорить, такъ одушевленно и съ такимъ чувствомъ... А этого ума, этого чувства, этой веселости никто не зналъ, никто не восхищался этой, въ самомъ дѣлѣ, прелестной женщиной!..

Но еслибъ кто нибудь и заглянулъ въ нашъ уголъ или какимъ нибудь случаемъ увидѣли ее въ настоящемъ, въ порядочномъ обществѣ, стали ли бы восхищаться ею? — едва ли!.. Проклятая бѣдность!

Я не хотѣлъ, чтобъ кто нибудь ее видѣлъ. Красавица, жена бѣднаго и мелкаго чиновника — чего тутъ ждать, зачѣмъ и кому ее показывать?..

Дѣвицы, мои сосѣдки, дочери управляющаго Бѣгицына, прислали мнѣ сегодня предлинную записку. Я даю имъ читать журналы; возвращая ихъ, онѣ оставили у себя прейсъ-курантъ какого-то магазина, гдѣ продаются шерсти, шелки и разныя разности для женскихъ работъ. Въ запискѣ тысячи извиненій, что осмѣлились удержать этотъ прейсъ-курантъ (какъ онъ необходимъ мнѣ!) и объясненія, что онѣ намѣреваются выписать себѣ матеріалы для работы, потому что въ такомъ уединеніи, безъ занятія... и прочее... Я всегда находилъ, что женщины изобрѣтательны на толки и разговоры о пустякахъ. Записка — косвенный намекъ на то, что мнѣ давно пора бы познакомиться у нихъ въ домѣ. Я былъ одинъ разъ по дѣламъ у ихъ «папаши»; дочекъ не было дома, и я отказался остаться обѣдать, о чемъ просилъ меня родитель, разсчитывая, что онѣ воротятся къ этому времени. Съ тѣхъ поръ прошло три мѣсяца; я встрѣтился съ ними только одинъ разъ, пріѣхалъ поздравить одну старуху сосѣдку именинницу, гдѣ тоже не остался на цѣлый день. Со мной была особенно любезна старшая mademoiselle Бѣгицына; она и пишетъ ко мнѣ сегодня. Отъ нечего дѣлать, я считалъ, сколько ошибокъ въ ея запискѣ. Она подписала все свое имя—Нина, и съ французскимъ N.

Женщины всегда приводили меня въ недоумѣніе. Несправедливо и слишкомъ зло было бы сказать, что у нихъ дурная натура; но отчего изъ нихъ такъ мало истинно хорошихъ? Отъ многихъ слышалъ я отвѣтъ: «отъ отношеній, отъ обстановки». Не всегда такъ. Впечатлѣнія дѣтства, правда, сильны, но они дѣйствуютъ на характеръ, а не на складъ ума, не на привычки. Какіе родители захотятъ, чтобъ дочь выросла капризна или лѣнива? Не говорю о тѣхъ, которыя ростутъ въ роскоши, привыкаютъ къ ней и впослѣдствіи сохраняютъ тѣ же требованія; но дѣвушки бѣдныя, казалось бы, принужденныя трудиться—откуда берется у нихъ холодный, беззаботный эгоизмъ, допускающій ихъ сидѣть сложа руки и смотрѣть, какъ для нихъ трудится отецъ, потомъ мужъ, и тяжко трудится, убивая силы, здоровье, веселость и, наконецъ, часто и совѣсть?.. Онѣ съ какимъ-то чувствомъ собственнаго достоинства требуютъ попеченій, угожденій, баловства, какъ чего-то должнаго; онѣ забыли, что женщина помощница, и съ какой-то гордостью считаютъ ее только утѣхой, не вникая, что это названіе, когда оно одно, унижаетъ женщину... Женщины мелкаго круга нецеремонно говорятъ о своихъ мужьяхъ: «онъ меня взялъ, такъ долженъ поить, кормить, одѣвать» — выраженія, конечно, рѣзкія, неэлегантныя; но элегантныя страданія дамъ круга повыше развѣ не то же значатъ?..

Женщины не понимаютъ, что ихъ поэзія — истинность. Это, сколько я замѣтилъ, мало кто понимаетъ вообще, а женщины въ

особенности. Тутъ нечего нападать на чтеніе романовъ, которые будто бы внушаютъ желаніе казаться не тѣмъ, что онѣ есть въ самомъ дѣлѣ. Дѣвочка, дѣвушка, никогда не читавшая ничего, не только романовъ, если не хитритъ, не лукавитъ, то ломается по инстинкту; она или нѣжничаетъ, сантиментальничаетъ, прикидывается слабой, жалкой, или ребячится, своевольничаетъ, Богъ знаетъ почему находя это граціознымъ, болтаетъ пустяки, говоритъ наивности, хмурится, выказываетъ настойчивость, забавляется разными затѣями, потому что настоящая эксцентричность стоитъ дорого и возможна только особамъ высшаго круга, богатымъ. Дѣвушки средняго круга и средняго состоянія блажатъ по мелочи... Конечно, есть господа, которые находятъ, что все это «мило и непосредственно»; но сколько я замѣчалъ, они перемѣнили мнѣніе, женясь на этихъ «непосредственностяхъ». Меня, собственно, это иногда смѣшило, но чаще бѣсило. Студентомъ, я былъ знакомъ въ нѣсколькихъ домахъ въ Москвѣ и насмотрѣлся на дѣвицъ. Можетъ быть, между ними были и существа очень добрыя, но я какъ-то не умѣю уживаться только съ одной добротой: мнѣ скоро становится скучно. И не знаю, доброта ли это, когда, хотя бы мелочами, насъ тревожатъ, огорчаютъ умышленно и зная, какъ намъ это непріятно. «Ахъ, Боже! мнѣ какое дѣло!» — слова, которыхъ я не могу равнодушно слышать отъ женщины...

Mesdemoiselles Бѣгицыны (какъ мнѣ показалось изъ единственнаго разговора со старшей, не знаю почему выражавшейся съ большимъ увлеченіемъ и желаніемъ откровенности) стремятся выказаться падшими аристократками, привыкшими къ болѣе изящному житью-бытью, знакомству и прочему. Ихъ батюшка служилъ прежде секретаремъ въ какой-то казенной палатѣ. Я знаю, какая это аристократія. Онѣ желаютъ дать замѣтить, что здѣсь все не по нихъ. Это весьма сомнительно. Другимъ женщинамъ было бы въ самомъ дѣлѣ здѣсь скучно и пусто, но для этихъ особъ, право, довольно. Онѣ «задаютъ тонъ» и удивляютъ на пятьдесятъ верстъ въ окружности—чего же имъ больше? Орѣшкинъ безъ ума отъ нихъ, отъ всѣхъ трехъ—самъ не умѣетъ разобрать, отъ которой въ особенности...

Это добрѣйшій человѣкъ, Орѣшкинъ. Онъ молодъ, но въ немъ есть какой-то складъ стараго времени, который теперь почти не встрѣчается, что-то мягкое, сантиментальное, романическое, подчасъ смѣшное, а въ самомъ дѣлѣ хорошее. Онъ очень щекотливъ въ отношеніи чувства и потому деликатенъ въ высшей степени; иногда онъ можетъ надоѣсть, но уже не оскорбитъ никогда; чувствителенъ онъ необыкновенно... Сначала я смѣялся этому съ непривычки, потому что качество рѣдкое и, по нашему времени, выражается довольно забавно, но потомъ разсмотрѣлъ, какъ оно непритворно и сколько въ немъ хорошаго. Правда, эта чувствительность часто sensiblerie—умиленіе надъ романами, восторги предъ дѣвицами; но отъ нея сглаживается грубость, свойственная людямъ полуобразованнымъ. Орѣшкинъ отлично обходится съ нашими рабочими, чѣмъ я очень доволенъ, какъ начальникъ. Онъ понимаетъ горе бѣднаго человѣка, соболѣзнуетъ, помогаетъ; его подчасъ какъ нельзя лучше обманываютъ: онъ сердится за это нисколько не негодуя на человѣчество и давая зароки, что впередъ его не проведутъ, что онъ будетъ строгъ, неумолимъ; но эти зароки только на словахъ, и часто къ вечеру того же дня онъ приходитъ умолять меня, чтобъ я не отсылалъ въ самомъ дѣлѣ виноватаго рабочаго, не взыскивалъ чего нибудь, хотя бы и справедливо. Онъ въ самомъ дѣлѣ жалостливъ и не ожесточается; но онъ жалостливъ только къ видимымъ бѣдамъ бѣдныхъ людей и къ романическимъ страданіямъ, выраженнымъ печатно, иногда и словесно, но высокимъ слогомъ. Просто высказаннаго горя и нравственнаго страданія онъ не понимаетъ...

А моя вся жизнь полна ими! Матеріальная забота тяжела мнѣ только тѣмъ, что мѣшаетъ наслаждаться моимъ душевнымъ счастьемъ... Впрочемъ, теперь нѣтъ ни того, ни другого—ни заботы, ни счастья, и говорить о нихъ нечего...

Когда я вспоминаю свѣтъ, людей—бѣшусь, зная, что въ нихъ мало хорошаго, а сдѣлаться лучше они не имѣютъ и намѣренія. Орѣшкину это рѣшительно все равно; его даже удивляетъ моя досада. Онъ судитъ по тѣмъ личностямъ, которыхъ зналъ, которыя были хороши къ нему и, вслѣдствіе этого, онъ счелъ ихъ высоко добродѣтельными. Все дѣло въ томъ, что онъ приглядывался и примѣнялся къ людямъ, съ которыми сводила его судьба, въ особенности къ тѣмъ, которые были къ нему ближе; а я, не обращая вниманія на близкихъ, разбиралъ и судилъ въ массѣ... По его понятіямъ, человѣкъ, если живетъ хорошо, то есть удобно, сытно, съ семьей при чужихъ не бранится,

воспитываетъ дѣтей въ подчиненности, патріархально, экономно, въ хозяйствѣ ведетъ мудрый разсчетъ и все у него ладится и пріумножается, умѣетъ во-время закупить что нужно и съѣздить за годовой провизіей въ Москву подешевле—это человѣкъ умный и хорошій. Сыновья цѣлуютъ у него руку, а дочери, поочередно, обмахиваютъ мухъ, когда онъ почиваетъ послѣ обѣда. Сыновья его не женятся, потому что не находятъ невѣстъ, которыя бы, на неизвѣстное, рискнули пойти въ подобную подчиненность; но дочерей онъ выдастъ замужъ и непремѣнно надуетъ жениховъ. Но что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, дать ему за дочерьми? Обнаружить то, что онъ пріобрѣлъ—нельзя, да и разстаться жаль. Онъ пріобрѣтаетъ, пожалуй, честно: многое на свѣтѣ называется «безгрѣшнымъ» доходомъ: онъ и трудится, потому что даже и безгрѣшное надо пріобрѣтать такъ, чтобъ лѣвая рука не вѣдала, гдѣ черпаетъ правая, а эта таинственность стоитъ не малыхъ хлопотъ: такъ развѣ легко отдать то, что стоило такого труда? Онъ обезпечитъ себя и насчетъ неудовольствія зятя—угрозой, что возьметъ дочь къ себѣ, и тогда ужъ, конечно, ничего не дастъ, а свѣтъ (онъ въ томъ увѣренъ) будетъ не на сторонѣ требовательнаго зятя, а на сторонѣ его, почтеннаго человѣка, вынужденнаго сдѣлать скандалъ. Каково будетъ дочери?.. Но «почтенные» люди весьма основательно считаютъ, что, когда всѣ видимыя потребности жизни удовлетворены, а остальное предоставлено на волю Божію, то жаловаться больше нечего..

А негодованіе, судъ свѣта, любовь къ тому, съ кѣмъ была связана бѣдная женщина, опять согнутая подъ иго патріархальнаго рабства, а стѣсненіе и рабство вдвое тяжеле послѣ минутной свободы?.. Неужели все это такъ легко разрѣшается и успокоивается тремя словами: «сыта, пригрѣта, одѣта?..» Но это—блаженство богадѣльни... Когда для существа, все еще живого, ужъ не осталось радостей, нѣтъ возможности мыслить, нѣтъ больше ничего и никого милаго на свѣтѣ, когда, кажется, самъ Богъ не придумаетъ для него счастья, тогда можно сказать этому существу: вотъ теплая постель—лягъ, успокойся, засни, забудься; вотъ свѣжій обѣдъ—ѣшь, чтобъ животная природа взяла верхъ и обманула нравственную пріятнымъ, животнымъ ощущеніемъ... Что на свѣтѣ ужаснѣе такого утѣшенія? Неужели оно не значитъ: доживай свой вѣкъ, какъ неодушевленная тварь, потому что, какъ человѣкъ, ты уже жить не можешь?...

Но не ошибаюсь ли я?.. Посмотришь на людей, послушаешь—и убѣдишься, что создалъ самъ себѣ какой-то туманно-чувствительный міръ и судишь дѣйствительность по мѣркѣ своей фантазіи. Тысячи людей въ матеріальныхъ благахъ, въ томъ, что мы, «развитые» гордецы, называемъ полужизнью, находятъ настоящую жизнь, успокоеніе, больше—наслажденіе. И не одни тѣ, для которыхъ постель, обѣдъ, красивое платье дороги по справедливости, какъ вознагражденіе труда; но всѣ, и изъ числа ихъ, всѣхъ больше тѣ, кому все достается безъ труда. Я зналъ людей, которые не шутя, но искренно горько жаловались, что у нихъ только пять, а не десять тысячъ дохода, потому что тогда они имѣли бы не наемную, а свою карету: стало быть, для нихъ карета—желаемое благо, а неимѣніе ея—тяжкое лишеніе? Я размышлялъ объ этомъ, уходя отъ нихъ по грязи пѣшкомъ и, право, не чувствуя никакихъ «лишеній». Мнѣ было даже смѣшно, но какъ-то непріятно смѣшно... Они, снисходительно и какъ будто сочувствуя, иногда вступали со мной въ разговоры о человѣчествѣ и потомъ очень кротко и снисходительно мнѣ улыбались...

Проклятая бѣдность! я хуже этихъ людей!

Я взялъ одну изъ своихъ старыхъ книгъ. Старыя лучше: въ нихъ, кромѣ того, что перечитываешь, перечитываешь и свою жизнь тѣхъ минутъ, когда, давно, раскрывалъ эти книги... Я горько заплакалъ, чего со мной едва ли не никогда не бывало.

Мнѣ попался въ книгѣ лоскутокъ, обрѣзокъ шелковой матеріи. Помню, я нашелъ его на полу нашей комнаты и, не знаю почему, вздумалъ спросить Сашу, что это. Она покраснѣла, смутилась и стала ласкать меня. Это значило, что она не хотѣла отвѣчать. «Я себѣ обновку шью», сказала она, наконецъ, когда я ужъ слишкомъ привязался. Обновки, и такой дорогой, быть не могло; я допрашивалъ настойчиво; она призналась: она взялась сшить платье какой-то госпожѣ, которая искала, чтобъ ей работали дешевле, чѣмъ въ магазинахъ. Саша уже не въ первый разъ это дѣлала.

Это была ужасная минута... Моя жена — швея, поденщица — вотъ все, что я ей доставилъ! Грязная франтиха, торгующаяся въ каждомъ грошѣ, важная богатая барыня, которой не жаль тысячей для своихъ глупыхъ прихотей, для своихъ тряпокъ, и которая смѣетъ находить, что бѣдные люди дорожатся, продавая свои безсонныя ночи и голодные дни; уродливая барышня, которой

надо угодить, чтобъ скрыть ея выломанные бока и сухія кости — все это обходится съ моей женой, какъ съ служанкой, посылаетъ за нею, когда вздумается, заставляетъ ее ждать въ своихъ дѣвичьихъ... Я задыхался... не помню, что я дѣлалъ. Саша выхватила у меня изъ рукъ это платье: я хотѣлъ бросить его въ печку. Это меня образумило, это дало мнѣ понять, что сколько ни негодуй, ни кричи, ты человѣкъ «чистый и развитой», тебѣ это не къ лицу, неприходится: сожжешь гадкую тряпку, а заплатить за нее не въ состояніи...

— Милый, не шуми! сказала она, тихо обнявъ меня и тихо плача.

Ея отецъ, слѣпой, больной, спалъ рядомъ въ комнатѣ.

Памятно мнѣ это время. Старикъ ослѣпъ и, натурально, уже не могъ служить; умный, дѣятельный, образованный, онъ изнывалъ безъ занятія; его томила тьма, тоска, болѣзнь, невозможность помогать намъ, необходимость жить нашимъ трудомъ. Его не обманывалъ смѣхъ Саши: онъ догадывался, чего мнѣ стоило доставать какую нибудь книжку журнала и какъ дорого было время, которое я употреблялъ, чтобъ ему прочесть ее! Чтобъ скрывать отъ него наши затрудненія, мы выучились говорить знаками — онъ выучился прислушиваться къ каждому шороху. Онъ все зналъ — и его все мучило; деликатный и добрый, онъ имѣлъ мужество пересиливать болѣзнь, шутить, чтобъ не лишать насъ бодрости, чтобъ скрыть отъ насъ, какъ ему тяжело, какъ будто мы не понимали!.. Любя и страдая одинъ за другого, мы цѣлый годъ играли эту комедію...

Помню похороны старика. Его лицо еще будто предо мной, и расплаканное лицо Саши... И то сказать, такимъ людямъ не зачѣмъ жить на свѣтѣ! Любить науку, изучать не утомляясь и не слабѣя волей до старости—и не имѣть возможности выбиться изъ труженичества; доставить пользу другимъ, а себѣ хотя пылинку той извѣстности, которую другіе достаютъ такъ легко; быть принужденнымъ изъ-за куска хлѣба преподавать узенькій, жалкій курсъ мальчишкамъ, которые, чтобъ скорѣе кончить, убоясь премудрости, то-и-дѣло выпрыгиваютъ въ юнкера... стоило ли для этого родиться съ горячимъ сердцемъ, неочерствѣвшимъ ни отъ старости, ни отъ горя, ни отъ стѣсненій, ни отъ безсочувствія, съ чистѣйшей любовью къ добру и прекрасному, уцѣлѣвшей среди всей житейской грязи?.. Говорятъ, чувство долга, чувство прекраснаго во всемъ утѣшаетъ и поддерживаетъ. Да, утѣшало, какъ утѣшаетъ опіумъ, вино, на извѣстное время, но не поддержало, а свело въ могилу. Будь онъ не труженикъ, а шарлатанъ, онъ бы не негодовалъ, не тратилъ времени на добросовѣстные и никѣмъ неоцѣненные труды; онъ бы приноровился къ настоящимъ потребностямъ, поискалъ бы протекціи, сдѣлалъ бы одну-двѣ уступки совѣсти, издалъ бы брошюрку въ назидательно-хвалебномъ духѣ о какомъ нибудь мудреномъ вопросѣ, прославился бы, слылъ бы за человѣка благонадежнаго и получилъ бы гдѣ нибудь мѣсто инспектора, а пожалуй, и директора гимназіи...

Онъ кончилъ иначе: ослѣпнувъ надъ ночной работой, лишенный хлѣба, онъ умеръ на рукахъ бѣдняка, которому, самъ восторженный, какъ юноша, любуясь на молодую любовь, отдалъ онъ свою безпомощную, безпріютную дочь...

Я собралъ все, что уцѣлѣло отъ его бумагъ, замѣтокъ, рукописей, которыя онъ уничтожалъ или дарилъ. Перечитывать и разбирать ихъ мнѣ было некогда, и теперь некогда; но ящикъ, гдѣ лежатъ онѣ, всегда со мною... Были люди, которые спрашивали, на что мнѣ это? Одинъ молоденькій чиновникъ, изъ учениковъ покойнаго старика, разъ пошутилъ, поднесъ къ нимъ папиросу: «А что, если я подожгу?..»

— Безъ спора, сказала она мнѣ, думая, что успокоила меня ласками и милыми словами: — ты трудишься же? тебѣ невесело? Позволь и мнѣ трудиться...

Бѣдное созданіе! Я имѣлъ жестокость толковать ей и доказывать, что мужчина, какую бы должность ни взялъ на себя, можетъ сохранить свою независимость и быть самостоятельнымъ; что, наконецъ, если его осмѣлятся оскорбить, онъ можетъ отплатить дерзостью, но что женщина, чѣмъ больше она понимаетъ свое достоинство, чѣмъ она скромнѣе и выше нравственно, тѣмъ меньше у нея этого послѣдняго, крайняго средства — способности платить обидой за обиду, что она подчиняется не обязанности, которую беретъ на себя, но произволу тѣхъ, для кого беретъ ее... Я знаю, что говорилъ дѣло, знаю, что я его чувствовалъ и говорилъ отъ души, но не поддерживалъ, а только убивалъ бодрость моей жены. Толкуя и разсуждая, негодуя и выходя изъ себя, сознавая, какъ велика и тяжела жертва, я не настоялъ въ отказѣ — я принялъ эту жертву; я позволилъ Сашѣ работать, я пользовался трудомъ ея... Что хуже необходимости? Она заставляетъ уступать даже тамъ, гдѣ воз-

мущается болѣе нежели совѣсть—разумъ и любовь...

Хорошъ и тотъ, кто, размышляя и любя, уступаетъ изъ разсчетовъ домашней экономіи! Идеалистъ, мечтатель, можетъ быть, умереть съ голоду и уморить любимую женщину, но ужъ, конечно, не сдѣлаетъ такихъ «благоразумныхъ» низостей, на которыя способенъ человѣкъ разсуждающій. Мнѣ бывало тошно смотрѣть, какъ Саша перебирала и перекраивала разное старье; но когда, получивъ за него деньги, она готовила обѣдъ, я съѣдалъ этотъ обѣдъ...

Орѣшкинъ получилъ приглашеніе на какое-то торжество — именины, вечеръ, кажется, домашній спектакль, и все ходилъ кругомъ меня, выжидая, что я предложу ему отправиться дня за два къ одному его пріятелю (тамъ же, въ сосѣдствѣ), чтобъ, погостивъ у него, вмѣстѣ явиться на праздникъ. Я видѣлъ ясно, чего онъ надѣялся, но упрямо притворился, что не понимаю. Позволить ему уѣхать заранѣе — онъ опять просрочитъ; воротится — и опять всѣ дѣла цѣлую недѣлю останутся на моихъ рукахъ. Сказать правду, это бы ничего; я радъ, чѣмъ больше у меня дѣла, но у меня вертѣлось какое-то странно-злое желаніе: посмотрѣть, какъ будетъ мучиться Орѣшкинъ. Онъ измучился, но еще больше надоѣлъ мнѣ. Онъ все сидѣлъ у меня, курилъ, молча вздыхая, перебиралъ старые журналы, не читая ничего, иногда пробѣгалъ какое нибудь стихотвореніе и, вслѣдъ затѣмъ, громко захлопывалъ книгу, громко охалъ, вставалъ, какъ-то особенно повертывался на каблукахъ, смотрѣлъ въ окно, прохаживался съ минуту по комнатѣ и опять садился. Это было сильнѣйшимъ выраженіемъ печали, безпокойства и нетерпѣнія. Одинъ разъ онъ даже рѣшился выразить все это опредѣленнѣе.

— Знаете, сказалъ онъ, послѣ, наблюденій въ окно: — погода перемѣняется; вьюга будетъ.

— Да, отвѣчалъ я, продолжая считать у конторки:—и даже непремѣнно; барометръ падаетъ.

И мы опять умолкли. Ему оставалось только воображать, какъ онъ измучится въ утро знаменитаго праздника, когда ему придется, вставъ до свѣта, проѣхать тридцать верстъ подъ метелью, какова будетъ его физіономія къ балу, и еще попадетъ ли онъ на балъ — кто знаетъ?...

Я простеръ свою жестокость до того, что задалъ ему провѣрить счеты за послѣднюю треть и все молчалъ о его поѣздкѣ. Наконецъ, онъ не выдержалъ. Вчера вечеромъ, видя, что я не дѣлаю никакихъ распоряженій, чтобъ ему приготовили лошадей, и еще толкую о завтрашней работѣ, онъ сказалъ очень робко:

— Нѣтъ, ужъ вы мнѣ позвольте; мнѣ надо съѣздить...

Я расхохотался—такъ онъ былъ смѣшонъ и сконфуженъ; весь красный.. На его счастье, нѣтъ ни мороза, ни вьюги, и теперь онъ, вѣроятно, уже блаженствуетъ около мамзель Серафимы Бѣгицыной, поющей «какъ небожители». Такъ говоритъ Орѣшкинъ; должно быть, слышалъ, какъ поютъ небожители...

Теперь, спрашивается, за что я мучилъ Орѣшкина? изъ какой прибыли? Счеты онъ такъ перепуталъ, что съ ними вдвое работы, а я долженъ былъ ожидать, что онъ ихъ перепутаетъ: я зналъ, что ему было не до нихъ. Изъ какого удовольствія? Но мнѣ было пріятно, и даже, минутами, казалось, что такъ надо, что его желаніе веселиться — глупое ребячество, недостойное человѣка въ его лѣтахъ, что пора свѣту поумнѣть и думать о чемъ нибудь дѣльнѣе пирушекъ и барышень... О чемъ же? Вотъ, я о нихъ не думаю: неужели я человѣкъ сколько нибудь дѣльный? Если я веду счеты лучше Орѣшкина — важность еще не велика; а тратить время все одно, что въ бесѣдахъ съ мамзель Бѣгицыной, что ходя изъ угла въ уголъ по комнатѣ, или самъ не зная зачѣмъ, записывая свои размышленія. Развлеченіе, которое я себѣ придумалъ—мучить Орѣшкина четыре дня, нисколько не остроумнѣе разныхъ другихъ развлеченій; оно только зло и отзывается школьничествомъ, нападками сильнаго на слабѣйшаго, потѣхами старинныхъ баръ; совершенно то же, только въ другомъ видѣ и новѣйшемъ вкусѣ.

Орѣшкинъ не сдѣлалъ бы этого со мною. Отчего? Богъ знаетъ! Не потому, чтобъ онъ меня боялся, или очень уважалъ, или очень любилъ, а не сдѣлалъ бы. Выдумай это кто нибудь другой и предложи ему сдѣлать, онъ отвѣтитъ скромно, тихо и по-своему конфузясь: «ахъ, какъ можно-съ! нѣтъ-съ!», а почему «нѣтъ» и самъ не растолкуетъ. Ему всѣхъ и всего жаль.

Отчего-жъ мнѣ ничего не жаль, никого не жаль, а, напротивъ, иногда хочется дѣлать зло какъ можно больше, чтобъ, наконецъ, пожалѣть, каяться, метаться, взворочать какъ нибудь сердце, которое замираетъ въ тупой, неподвижной печали?.. Такъ жить нѣтъ силъ...

Чрезъ полгода.

Мнѣ предстоитъ возможность разбогатѣть. И это не шутка, не воздушные замки, не какое нибудь несбыточное предположеніе: это очень сбыточно. Черезъ три или четыре года у меня будетъ завидное состояніе. Все это рѣшилось вчера. Я ужъ и сегодня богаче, нежели былъ вчера, по разсчету, который сдѣланъ вѣрно и акуратно.

На прошлой недѣлѣ пріѣхалъ нашъ хозяинъ, Кромкинъ, владѣлецъ Душинскаго завода. Я не видалъ его болѣе двухъ лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ, узнавъ меня въ N* среди всѣхъ моихъ несчастій, принявъ во мнѣ участіе и благородно повѣривъ, что я не виноватъ въ разныхъ чужихъ кражахъ и низостяхъ, самъ предложилъ мнѣ управлять его здѣшнимъ имѣніемъ и заниматься счетами по заводу. Я исполнилъ свое дѣло какъ слѣдовало; но исполнять дѣло какъ слѣдуетъ такая рѣдкость, что Кромкинъ благодарилъ меня. Дошло до повѣрки моего жалованья, которое я долженъ былъ самъ брать изъ конторы. Увидя, что въ два года я не взялъ и тысячи рублей, онъ спросилъ: «Гдѣ же остальныя три, которыя вамъ слѣдовали?»—«Въ конторѣ», отвѣчалъ я: «мнѣ было не нужно больше того, что я бралъ». — «Но если онѣ оставались въ конторѣ», возразилъ онъ: «то, слѣдовательно, были въ оборотѣ и приносили свой доходъ и проценты, вмѣстѣ съ моими суммами? Оставляя ваше жалованье въ числѣ капиталовъ завода, вы имѣете право пользоваться той прибылью, которая придется вамъ по общему разсчету. Оборотъ суммъ и прибыль въ теченіе двухъ лѣтъ вашего управленія были очень велики; позвольте мнѣ разсчесть, сколько я вамъ долженъ». Онъ счелъ: мой капиталъ увеличился въ полтора раза. Кромкинъ очень деликатно предложилъ мнѣ взять эти деньги. — «Что-жъ мнѣ дѣлать съ ними?» спросилъ я: «если вы мною довольны и хотите, чтобъ я продолжалъ управлять вашимъ имѣніемъ, то, оставаясь здѣсь, я опять буду такъ мало издерживать, что такой суммы мнѣ дѣвать некуда; научите, какъ употребить ее».—«Вотъ что», сказалъ онъ: «если вы обѣщаете еще нѣсколько лѣтъ заняться моимъ имѣніемъ, то не хотите ли оставить эту сумму и то, что впослѣдствіи будетъ у васъ оставаться отъ жалованья, въ общихъ суммахъ конторы? Это будетъ вашъ собственный капиталъ. Заботясь о моихъ выгодахъ, вы будете заботиться и о своихъ; будетъ прибыль мнѣ — будетъ и вамъ. Въ случаѣ же неудачъ, вы совершенно свободны, и я даже требую: отдѣлите тотчасъ и возьмите вашу собственность, чтобъ не терять вмѣстѣ со мною; вы можете сдѣлать это по всей справедливости, потому что, при удачѣ или неудачѣ моихъ предпріятій, все-таки должны получить все ваше жалованье...» Конечно, я согласился на все, кромѣ послѣдняго условія. «Если вы предлагаете мнѣ участвовать въ вашихъ предпріятіяхъ съ моимъ собственнымъ капиталомъ», сказалъ я: «то позвольте рисковать такъ же, какъ вы, и раздѣлять неудачи». На этомъ мы кончили, условились и разстались друзьями; онъ уѣхалъ вчера.

Кромкинъ милліонеръ; онъ пріѣзжалъ взглянуть на свое имѣнье, а больше для того, чтобъ узнать, въ какомъ порядкѣ сосѣдній Гуськовскій заводъ, который онъ покупаетъ. Я убѣдилъ его на эту покупку: она будетъ стоить огромныхъ денегъ—заводъ разстроенъ; но черезъ два-три года всѣ издержки вознаградятся, и выгоды очевидны. Наблюдать за всѣмъ этимъ и управлять буду я; мое жалованье удвоено.

Я буду богатъ: это какъ-то диво! Сегодня вечеромъ былъ у меня Бѣгицынъ. Странно, какъ скоро все узнаютъ! Онъ ужъ знаетъ о моихъ условіяхъ съ Кромкинымъ и самъ началъ говорить объ этомъ такъ подробно, что было неловко спросить, отъ кого онъ слышалъ. Конечно, это не Богъ знаетъ какая тайна; но свѣдѣнія господина Бѣгицына ужъ слишкомъ явно идутъ отъ чьего нибудь подслушиванья у двери—а онъ такъ наивно-спокойно выказываетъ ихъ, что даже возмутительно. Съ первыхъ же словъ началъ твердить, что у Кромкина въ этомъ поступкѣ со мною разсчетъ самый вѣрный. «Я вижу, что это благородно и щедро», возразилъ я: «но разсчета не вижу».—«Вѣрнѣйшій разсчетъ», повторилъ Бѣгицынъ: «теперь онъ васъ привязалъ служить ему; вы поневолѣ станете изъ всѣхъ силъ за него стараться, чтобъ своего не потерять. А ему, при милліонахъ, не важность, если и вы наживете свою копѣйку; вы съ его вѣдома, съ его спроса наживете и должны въ отчетѣ показать, сколько нажили: скрыть ужъ ничего нельзя. Ему это безопаснѣе, нежели еслибъ вы, безъ этого уговора, какъ всѣ дѣлаютъ, стали сколачивать свой капиталецъ... (Всякому жить хочется; что-жъ, даромъ, что ли, служить этимъ господамъ?) брали бы изъ конторы сколько вздумается, будто на непредвидѣнныя издержки... для людей, тамъ, на машины, на то, на другое, да подводили бы итоги... Вы этого, гово-

рите, не можете дѣлать, да вѣдь онъ васъ не знаетъ, каковы вы. Онъ себя съ вашей стороны обезпечилъ: компаньонъ поневолѣ долженъ быть вѣренъ; а невѣренъ — ну, все-таки этотъ компаньонъ — управитель: можно съ нимъ и разстаться, если что не такъ...»

Какъ гадки люди, когда подумаешь!..

Я увидѣлъ Кромкина въ первый разъ въ самое ужасное время моей жизни. Я былъ тогда исключенъ изъ службы и подъ судомъ: въ палатѣ пропали разныя суммы. Еслибъ онѣ были у меня, я, конечно, не жилъ бы такъ бѣдно; я не могъ проиграть десятокъ тысячъ въ карты по копѣйкѣ какимъ нибудь мелкимъ людямъ — такъ доносили на меня, хотя я не играю никакъ и никогда; въ клубъ я ходилъ только читать, и то до женитьбы. Все это было ясно; но меня все-таки обвинили и судили, и это тянулось полтора года, пока кончили и рѣшили: «за недостаткомъ болѣе положительныхъ обвиненій или оправданій, не опредѣлять меня никуда». Оставалось жить свободнымъ отъ всякаго занятія... Саша умирала... Съ того дня, какъ меня выгнали изъ службы, она не занемогла, не слегла въ постель, но таяла какъ свѣчка, все скрывая печаль, все вынося, не огорчивъ меня никогда не только жалобой, ни однимъ вздохомъ. Она вѣчно молилась, хоть ужъ не надѣялась. Она умѣла и умереть скоро, не измучивъ меня долгой агоніей, не успѣвъ подурнѣть отъ болѣзни, не давъ своей болѣзни стоить дорого... Эти ужасы надо пережить, чтобъ понимать ихъ! Въ бѣдности все — непозволительная роскошь, даже любовь, даже продолжительность горя...

Все, что у насъ было, заложено или продано; къ тому времени, когда окончилось мое дѣло, мы дошли до нищеты. Это было осенью... Сашѣ было хуже; она лежала... Говорятъ, свѣтъ не безъ добрыхъ людей, но для насъ они не находились, или были они, но такіе, которые сами не меньше насъ нуждались въ помощи. Правда, тутъ я лучше узналъ ихъ и сдѣлалъ еще другое, удивившее меня открытіе: настоящую деликатность пониманія этихъ бѣдныхъ людей. Мои сослуживцы вѣрили и не вѣрили, что я правъ—скорѣе, нѣтъ — можетъ быть, судя по себѣ, можетъ быть, судя вообще дурно о цѣломъ свѣтѣ, можетъ быть, наконецъ, потому, что не сближались со мной и не любили меня никогда. Я не зналъ, что думали обо мнѣ высшіе, но знаю, что для нихъ всякій подсудимый есть скорѣе идея, нежели человѣкъ, а потому можно посвящать ему, по обязанности, минуту размышленія, но никакъ не сочувствія. Впрочемъ, я тоже хорошо знаю, что такое нервическое сочувствіе сытыхъ людей и состраданіе къ ближнимъ, выражаемое балами по подпискѣ. У меня самого, когда я служилъ, вычитали изъ жалованья на эти балы въ пользу бѣдныхъ. Еслибъ крайность и заставила меня позабыть мое достоинство и обратиться къ кому нибудь изъ этихъ лицъ съ просьбою о помощи, то вѣрное знаніе людей удержало бы меня и доказало бы какъ это безполезно. Я не просилъ никого. Ко мнѣ пришли сами: лавочникъ, у котораго, противъ обыкновенія всѣхъ служащихъ, я никогда ничего не бралъ въ долгъ; мужикъ, поставлявшій намъ дрова, обязанный мнѣ какой-то бездѣлицей; торговка, у которой Саша брала дѣтей, когда та какъ-то разъ ходила на богомолье. Эти люди сами предлагали помощь и услуги, что могли; отказаться отъ ихъ предложеній было бы для нихъ величайшимъ оскорбленіемъ. «Но», говорили мы имъ: «у насъ нѣтъ ничего, у васъ немного; вамъ будетъ только убытокъ; одинъ Богъ знаетъ, когда мы расплатимся». Они заговорили въ голосъ, что невозможно, чтобъ честные люди пропадали, чтобъ мнѣ не дали мѣста лучше прежняго, чтобъ мы не «поправились». Мою исторію всѣ знали: отчего же ни въ комъ, кромѣ бѣдныхъ людей, я не встрѣтилъ этого искренняго желанія услужить и этой совершенной увѣренности, что я терплю напрасно, что, рано или поздно, мнѣ отдадутъ справедливость? Отчего простые люди не сомнѣвались во мнѣ, тогда какъ другіе довольно ясно и очень нецеремонно показывали, что не хотятъ имѣть дѣла съ человѣкомъ потеряннымъ? Не оттого ли, что бѣдность лучше понимаетъ бѣдность, что люди, съ которыми другіе обходятся дурно и свысока, люди, заподозрѣнные и оттолкнутые напрасно, испытавъ на себѣ, лучше знаютъ, что и сколько можетъ оскорбить или утѣшить? Въ бѣдности люди грубѣютъ только наружно, отъ крайности, заставляющей поступать не по условіямъ свѣта... да, въ бѣдности, право, не смѣшны ли эти претензіи на условія свѣта?.. Ихъ сердца не грубѣютъ, они только привыкаютъ, какъ къ неизбѣжному, къ зрѣлищу несчастій и печалей; но за то на сколько развивается въ нихъ истинная чувствительность и заботливость, истинная оцѣнка людей безъ предубѣжденій и лицепріятія!.. Саша призналась мнѣ: одна изъ щеголихъ, на которую она

работала, прослезилась, узнавъ о нашемъ «несчастіи», но отняла отъ Саши свою практику, узнавъ, что мы перемѣнили квартиру на другую, потѣснѣе. «Теперь вамъ, милая, негдѣ будетъ шить; только испачкаете...» Вотъ состраданіе «образованныхъ» женщинъ!..

Саша заснула; я сидѣлъ и смотрѣлъ на нее, перебирая въ умѣ, что мнѣ дѣлать... Можно было помѣшаться... Впереди была одна надежда: я могъ давать уроки, еслибъ еще нашлись они, еслибъ можно было существовать десятью копѣйками въ день, которыя пришлись бы по разсчету ежемѣсячной платы. Положимъ, уроки нашлись бы; положимъ, мы бы прожили; но до тѣхъ поръ далеко... чѣмъ прожить завтра? Пойти въ поденщики? Хотя бы я и умѣлъ плотничать, ворочать каменья—никто не возьметъ: я чиновникъ. Мнѣ начали мерещиться безумныя вещи. Я почти желалъ, чтобъ она умерла, чтобъ самому утопиться. Я обдумывалъ подробности самоубійства, выбралъ мѣсто берега, откуда хотѣлъ броситься въ рѣку... Саша пошевелилась и, сквозь сонъ, протянула ко мнѣ руку. Я поцѣловалъ ее, будто прощаясь съ нею; но прикосновеніе этой жаркой, влажной руки подняло во мнѣ вдругъ такую жалость, такое болѣзненное горе объ этомъ миломъ, бѣдномъ ребенкѣ, что я забылъ свое собственное страданіе и отчаянно спросилъ себя: неужели нѣтъ средствъ ничего сдѣлать для нея, чтобъ она могла хотя отдохнуть на минуту, чѣмъ нибудь ее порадовать, побаловать? На дворѣ холодно, сыро... одѣть ее потеплѣе, затопить печь, освѣтить эту темную комнату... Я рѣшился—на что до этой минуты не могъ рѣшиться—идти просить у кого нибудь денегъ. Я вспомнилъ объ одномъ учителѣ гимназіи, очень порядочномъ человѣкѣ, у котораго мы бывали, правда, давно— Саша еще при жизни ея отца, но я и позже, до своего «суда и слѣдствія». Я одѣлся. Насъ не даромъ называли «гордецами и аристократами», потому что мы всегда старались и заботились придавать жилой, изящный видъ нашей чистенькой комнатѣ, держали на окнахъ цвѣты, которые расхода не требуютъ, и даже теперь, въ крайности, не продали, а только заложили книги, необходимыя намъ, какъ хлѣбъ насущный! Ненавидя грязь, зная, что выставка бѣдности ни къ чему не служитъ, я старался одѣваться всегда прилично... Впрочемъ, что и къ чему служитъ? Грязнаго бѣдняка прогоняютъ, чисто-одѣтому не вѣрятъ...

Я пошелъ къ учителю и попалъ не во-время: у него были гости. Онъ принялъ меня отлично, пенялъ, зачѣмъ я давно не былъ, просилъ остаться, когда я хотѣлъ уйти, отуманенный свѣтомъ въ комнатахъ, говоромъ людей, внезапнымъ переходомъ изъ моего темнаго угла... Просить денегъ было некогда. Не помню, о чемъ я говорилъ съ знакомыми, которыхъ встрѣтилъ, и незнакомыми, которымъ меня представили. Я провелъ такъ около часа. Мнѣ подали чаю; мнѣ хотѣлось ѣсть и пить, и я не могъ проглотить куска. Кругомъ вертѣлась крошечная собачка хозяйки, и всѣ наперерывъ кормили ее то бисквитомъ, то сахаромъ... Я ушелъ домой...

На другой день я очень удивился: учитель пришелъ ко мнѣ. Онъ сказалъ, что накануне, послѣ меня, обо мнѣ много говорили, и что мнѣ представляется шансъ имѣть мѣсто. «Какое же?» — «Вы видѣли у меня одного господина, не старый еще, богачъ Кромкинъ? Онъ ищетъ себѣ управляющаго. Ваше дѣло онъ знаетъ подробно, и чѣмъ больше вы потерпѣли отъ людей, которые, говоритъ онъ, хорошо ему извѣстны, тѣмъ больше готовъ оказать къ вамъ довѣрія. Попробуйте счастья»...

Такъ начались мои сношенія съ Кромкинымъ, по милости котораго я буду богатъ... Да не поздно ли?

Саша умерла черезъ два мѣсяца, не дождавшись ни довольства, ни даже конца моихъ переговоровъ съ Кромкинымъ. А мы ужъ не разъ толковали, мечтали съ нею, что уѣдемъ въ далекую, холодную сторону, и тамъ, среди чужихъ людей, будемъ жить вдвоемъ, тихо-тихо, покойно, будемъ отдыхать, будемъ особенно много любить другъ друга...

Гдѣ-жъ все это обѣщанное, загадочное счастье? гдѣ же она?.. Стоитъ ли жить, чтобъ наживать гроши или милліоны — все равно? Конечно, есть кому раздать ихъ; конечно, бѣдняковъ много... но мнѣ собственно, мнѣ, эгоисту, мнѣ, измученному, гдѣ же счастье?..

Мы долго съ нимъ толковали. Онъ человѣкъ умный, главное, добрый и хорошій; но онъ говоритъ то же, что повторяетъ цѣлый свѣтъ—пожалуй, правду, да ужъ очень она устарѣла. Его учили такъ, онъ учитъ такъ. И не замѣчаетъ никто, что даже не вслѣдствіе какого бы то ни было ученія, а просто, по какому-то дрянному свойству сердца, человѣкъ во всемъ забывается и все забываетъ.

Говорили мы, конечно, по поводу того, что у меня будетъ состояніе. Онъ выговаривалъ мнѣ кротко, благодушно, зачѣмъ я «все недоволенъ, все тоскую и мечтаю».

— Что было, то прошло, повторялъ онъ:— будьте благодарны за то, что вамъ представляется. Кто знаетъ, вамъ, можетъ быть, будетъ воздано съ избыткомъ? Примите съ радостью.

— Конечно, я приму съ радостью, возражалъ я:—не въ природѣ человѣка не радоваться, когда его житье-бытье дѣлается удобнѣе, когда онъ имѣетъ не только необходимое, но и прихоти. Мнѣ, кажется, ничего не нужно; но я еще не знаю себя: можетъ быть, богатство мнѣ и очень понравится — это такъ натурально... Притомъ, по моему мнѣнію, равнодушіе — самая отвратительная сторона неблагодарности; она доказываетъ вялость, неспособность души; недовольство лучше: въ немъ есть сила... Но хорошее настоящее, или блестящее будущее— сами по-себѣ. Прошедшаго нельзя воротить, слѣдовательно, нельзя вознаградить. Мое прошедшее горе было—оно фактъ; уничтожить его вы не можете. Еслибъ оно было необходимой причиной настоящаго или будущаго благополучія, я, пожалуй, примирился бы съ нимъ, принялъ бы его за нѣчто въ родѣ болѣзни, развивающей силы; но въ немъ не было нужды; то, что теперь со мной, съ нимъ не вяжется...

— Оно развило ваши нравственныя силы, выучило васъ терпѣть...

— И научило роптать. Я сталъ хуже отъ моего прошедшаго. Въ довольствѣ, въ покоѣ, я буду еще хуже, спрашивая: зачѣмъ же, за что-жъ страдалъ я лучшіе годы моей жизни?..

Онъ прервалъ меня.

— Такъ говорить не годится. Это искушеніе дурной мысли: побѣдите его. Объясните себѣ, что вы сами себя наталкиваете на неблагодарность, на ожесточеніе. Счастье всегда годится, во всякіе годы, а вы еще довольно молоды, чтобъ успѣть имъ отъ души пользоваться—такъ ли?

— Да.

— А если такъ, то примиритесь съ Властью, которая по причинамъ, Ей одной извѣстнымъ, промедлила дать вамъ наслажденіе, и когда бы ни пришло оно, не отталкивайте его.

— Я былъ не одинъ тогда... возразилъ я.

— Что-жъ дѣлать! сказалъ онъ со вздохомъ.

— Какъ могу я не помнить моего прошлаго страданія, когда съ этой памятью связана память о существѣ, мнѣ дорогомъ, святомъ, страдавшемъ вмѣстѣ со мною? Какъ я, не оглядываясь на прошлое, отдамся настоящему? Еслибъ я лишился состоянія, добраго имени, здоровья, чего еще?.. все можетъ быть вознаграждено, воротиться, обновиться, быть лучше прежняго — это мои личныя, матеріальныя потери... Но потерять любимую женщину... кто мнѣ ее отдастъ?.. Ну, я повторю за вами: «Богъ далъ, Богъ и взялъ», но не могу же я признать, что это горе, эта потеря должна была случиться, что она нужна на что нибудь... Право, она не сдѣлала меня ни терпѣливымъ, ни добродѣтельнымъ. Не могу же я признать, что эта скорбь должна быть забыта, что она, какъ мелкая житейская потеря, можетъ быть вознаграждена, что другая женщина замѣнитъ мнѣ Сашу такъ, что не останется и сожалѣнія!.. Не качайте головой; я согласенъ, я знаю, что вы хотите сказать: человѣкъ слабъ, я могу полюбить, могу найти другую—кто знаетъ? лучше Саши... Но что-жъ я за эгоистъ, что-жъ я за безчувственный, если въ счастьи не буду думать о ней, не буду терзаться тѣмъ довольствомъ, котораго она не успѣла раздѣлить со мною?.. Не говорите мнѣ о забвеніи!

— Однако, всѣ забываютъ... возразилъ онъ.

— Такъ эту общую, истинно-неблагодарную привычку вы хотите обратить въ правило? для чего же? для освященія спокойствія эгоистовъ?.. Я вознагражденъ—ее кто вознаградитъ, мою Сашу?

— Что вы говорите? прервалъ онъ:—почему вы знаете... ей тамъ лучше; вы будете за нее молиться...

Боже мой, этого недоставало! Вспоминать о ней въ положенные сроки года и—ужасъ! говорить со вздохомъ или зѣвотой (одно такъ похоже на другое): «ей тамъ лучше!..»

Ноябрь 1857.—В.

Семь лѣтъ! Довольно времени, и много пережито въ это время. Планы, если только они у меня были, осуществились: у меня порядочное состояніе, довольство, теплый домъ, знакомые, друзья, молодая хорошенькая, умная и добрая жена—все есть; остается только жить и наслаждаться. Мнѣ тридцать-четыре года; я еще не состарѣлся и не охладѣлъ къ удовольствіямъ жизни. Мнѣ живется хорошо.

Чрезъ три года послѣ моего условія съ Кромкинымъ, въ одинъ день, когда мнѣ было особенно скучно, мнѣ захотѣлось посту-

пить какъ нибудь рѣшительно. Въ жизни на Душинскомъ и Гуськовскомъ заводахъ рѣшительность можетъ проявиться только въ какомъ нибудь денежномъ видѣ. Я вздумалъ рискнуть своимъ капиталомъ, который тогда уже былъ порядочный, взялъ его изъ конторы и отдалъ золотопромышленнику, который отправлялся искать счастья. «Вотъ, говорю, поищите на мою долю». Это, рѣшительно, было дѣйствіе скуки и того повѣтрія предпріятій, которое господствуетъ въ тѣхъ «обѣтованныхъ странахъ»: тамъ нельзя сидѣть сложа руки; равнодушіе къ богатству считается за лѣнь или неумѣнье разбогатѣть. Мнѣ было, конечно, все равно, за что бы ни считали мое равнодушіе; жить мнѣ и безъ того было чѣмъ; я взялся за обороты отъ скуки и продолжалъ, потому что началъ. Въ два съ небольшимъ года мой компаніонъ выплатилъ мнѣ шестьдесятъ тысячъ рублей и предлагалъ вступить еще въ разныя предпріятія; но они показались мнѣ ужъ черезчуръ смѣлыми, и я отказался. Кромкинъ умеръ; его заводъ переходилъ къ наслѣдникамъ; не зная ихъ, я не захотѣлъ имѣть съ ними дѣла и, къ тому же, мнѣ больше не хотѣлось оставаться въ этой «благословенной» странѣ, гдѣ я никакъ не могъ ни привыкнуть, ни ужиться. Я уѣхалъ оттуда. Съ деньгами можно вездѣ найти мѣсто и занятіе. Я присталъ къ одному торговому обществу, которое берется перевозить клади и тяжести по Волгѣ. Служить я уже отсталъ и не хотѣлъ.

Разъѣзжая по свѣту, знакомясь съ людьми, я познакомился съ одной семьей, очень почтенной, очень приличной. Въ семьѣ была дѣвушка—Лиза, моя вторая жена. Мы любимъ другъ друга; вотъ цѣлый годъ, какъ мы женаты, и ни тѣни не пробѣжало между нами; я не подмѣтилъ ни одной черты въ ея характерѣ, которою бы могъ быть недоволенъ; въ ея любовь я вѣрю. Мы счастливы. У насъ всего довольно; намъ весело...

Тяжело въ минуты скорби вспоминать прошлую радость, но въ радости плакать надъ памятью стараго горя—блажь... Отчего же оно вѣчно предо мною, это старое горе? Зачѣмъ въ каждую минуту особенной удачи, особеннаго веселья, въ упрямомъ, незабывающемъ сердцѣ поднимается вопросъ: зачѣмъ же прежде этого не было? Развѣ Саша заслуживала меньше, нежели эта счастливая женщина? Какъ мнѣ горько и больно по ней!.. Моя жена добра; но въ счастьи такъ легко быть добрымъ! Я самъ сталъ добрѣе; у меня нѣтъ движеній дурного расположенія духа — невольныхъ, неизбѣжныхъ, когда въ головѣ постоянно одна матеріальная забота; со мной легче ужиться, чѣмъ прежде: я снисходительнѣе, чѣмъ былъ прежде; моя жена счастлива. Въ счастьи не нужно мужества, не нужно самоотверженія, не нужно умѣнья утѣшать, изобрѣтательности, терпѣнія, кротости, неприхотливости: все это лишнія добродѣтели, до которыхъ не доходитъ и дѣло. Ея желанія предупреждены — за что-жъ ей сердиться? Она просыпается, придумывая веселый день, увѣренная, что сбудется все такъ, какъ она придумала; она оживлена своимъ удовольствіемъ и игрива. Отъ нея отстранены всѣ домашнія заботы; она ограждена отъ всего непріятнаго, что можетъ встрѣтиться въ обществѣ: что-жъ ей дѣлать больше, какъ только хорошѣть и нравиться?...

Я люблю ее; я знаю, она хорошая женщина. Но часто, когда ласкаю ее, мнѣ приходитъ мысль (она никогда не узнаетъ этой мысли), что еслибъ судьба бросила тебя, веселое, беззаботное созданіе, въ такую пытку, какую вытерпѣла моя Саша? что бы съ тобой было? достало ли бы въ тебѣ нравственной силы и любви?... Я люблю ее; но съ какимъ-то ужасомъ, съ отвращеніемъ, почти съ ненавистью смотрю иногда на ея наряды, когда мнѣ вспоминается вдругъ, что, наряжая въ гробъ мою Сашу, я едва могъ отыскать какое-то бѣлое кисейное платье... Счастливы забывающіе; счастливы скороутѣшанные—тѣ, кому весело за накрытымъ столомъ, кто не замѣчаетъ пустыхъ приборовъ людей милыхъ когда-то, о которыхъ теперь они вспоминаютъ съ спокойной покорностью—она же есть и отупѣніе чувства. Счастливцы, чье горе не переживаетъ одного дня! счастливцы, не размышляющіе какъ дѣти, только безъ дѣтской любви и невинности! мудрецы, выработавшіе себѣ твердое сердце для того, чтобъ ничѣмъ не тревожиться! радуйтесь—васъ много на свѣтѣ!.. Какъ же это, свѣтъ зовутъ больнымъ и несчастнымъ, когда большею частью бездѣлица, суета, дрянь—деньги, не только вполнѣ замѣняютъ дорогихъ людей, но заставляютъ насъ утѣшиться, что эти люди страдали? Забвеніе—этотъ невозможный даръ, котораго Манфредъ напрасно просилъ у духа, дается такъ легко: спать, ѣсть, брать подряды... Свѣтъ очень веселъ, очень здоровъ, очень счастливъ!..

Только есть еще безумцы, которымъ на немъ не живется...

БРАТЕЦЪ.

ПОВѢСТЬ.

1858 г.

I.

Сельцо Акулево всего въ двадцати верстахъ отъ губернскаго города N*, но лежитъ оно на проселкѣ, окружено оврагами; на пути къ нему находятся два косогора и одинъ страшно крутой спускъ къ рѣкѣ, такъ что сообщенія съ городомъ N* и вообще съ остальнымъ населеннымъ міромъ весьма затруднительны, а въ грязныя времена года почти невозможны. Но сельцо очень давно существуетъ на свѣтѣ, продолжаетъ процвѣтать — стало быть, жители его не чувствуютъ неудобствъ своей пустыни, не нуждаются въ городѣ. Сельцо принадлежитъ помѣщикамъ, нѣсколькимъ поколѣніямъ господъ Чиркиныхъ, въ которыхъ страсть къ домосѣдству сильнѣетъ съ каждымъ поколѣніемъ. Предпослѣдній владѣлецъ поселился въ деревнѣ съ того дня, когда, какъ водится, вышелъ въ отставку изъ военной службы и женился—то есть, слишкомъ сорокъ лѣтъ назадъ; онъ выѣзжалъ изъ Акулева только чрезъ три года одинъ разъ, въ N* на выборы, и еще одинъ разъ, экстренный, когда провожалъ своего десятилѣтняго сына, котораго одинъ родственникъ увезъ изъ Акулева съ собою въ Петербургъ учиться. При такой недѣятельности, конечно, не могло увеличиваться состояніе г-на Чиркина; даже деревенскіе доходы его не увеличивались ни въ Акулевѣ, его резиденціи, ни въ двухъ другихъ деревняхъ въ смежной губерніи, въ которыя онъ никогда не заглядывалъ. За пятнадцать лѣтъ до начала этой исторіи, онъ умеръ, оставивъ женѣ, тремъ дочерямъ и сыну всѣ эти имѣнія — правда, не въ долгахъ, но уже нисколько неустроенныя. Онъ выразилъ свою заботу о будущемъ только тѣмъ, что, умирая, отдѣлилъ сыну и старшей дочери, уже совершеннолѣтнимъ, ихъ части имѣнія, назначилъ части двумъ меньшимъ дочерямъ и поручилъ опеку женѣ своей, ихъ матери, которой завѣщалъ Акулево.

Любовь Сергѣевна Чиркина осталась жить тамъ съ дочерьми. Сынъ уже давно кончилъ курсъ и служилъ въ Петербургѣ; съ тѣхъ поръ, какъ его отвезли учиться, онъ пріѣзжалъ домой только разъ, на одну вакацію; но, узнавъ о смерти отца, поспѣшилъ пріѣхать, чтобъ успокоить мать и вообще распорядиться. Нельзя сказать, чтобъ его пріѣздъ подѣйствовалъ успокоительно: человѣкъ молодой (Сергѣю Андреевичу было тогда двадцать-пять лѣтъ), воспитанный далеко отъ деревенской глуши, онъ имѣлъ свои понятія и свой взглядъ на вещи, былъ нѣсколько строгъ и нѣсколько взыскателенъ: а къ этому въ Акулевѣ не привыкъ никто. Онъ удивлялъ своимъ знаніемъ производительныхъ силъ этого угла земли и такъ требовалъ видимо должнаго, что противорѣчить ему не было возможности. Впрочемъ, кто бы и сталъ ему противорѣчить? Мать была взволнована познаніями и величіемъ сына, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ обрадована свиданіемъ съ своимъ Серженькой послѣ долгой разлуки, что могла только умиляться до слезъ, глядя на него, и разсказывать посторонним о его служебныхъ подвигахъ съ такимъ же восхищеніемъ, съ какимъ, бываа-

ло, разсказывала она остроты и успѣхи его дѣтскаго возраста. Сергѣй Андреевичъ былъ сынокъ, выпрошенный у Бога. Его старшая сестра, Прасковья Андреевна, годомъ прежде его явившаяся на свѣтъ, была встрѣчена очень непривѣтливо родителями, мечтавшими о сынѣ. Его начали обожать съ колыбели и судьба дѣлала все, чтобъ оставить за нимъ однимъ это обожаніе: шесть сыновей, родившихся потомъ отъ счастливаго брака Чиркиныхъ, умерли всѣ, даже не достигнувъ періода занимательности, періода перваго смысла, такъ что о бѣдныхъ дѣтяхъ не могло остаться и яснаго воспоминанія... Можно вообразить отчаяніе Любови Сергѣевны, когда пришлось разставаться съ этимъ сокровищемъ, съ Серженькой, и отпускать его въ даль, въ ученье! Серженька писалъ рѣдко: у него и въ гимназіи постоянно недоставало времени, а позже — и говорить нечего. Но онъ акуратно помнилъ дни рожденія и именинъ родителей и умѣлъ принаровить такъ, что поздравленія его получались въ самый день торжества; если же письма должны были опоздать или придти ранѣе, по разсчету почтовыхъ дней, Серженька пользовался этимъ случаемъ для какой нибудь особенной любезности: «Ранѣе всѣхъ и первый бросаюсь я въ ваши объятія, дрожайшіе родители»... Или: «теперь, когда давно кругомъ васъ затихъ шумъ поздравленій, радуюсь, что моего голоса не заглушитъ болѣе голосъ постороннихъ»... и прочее. Сергѣй Андреевичъ не думалъ или не помнилъ, что «посторонними» называлъ своихъ сестеръ...

Онъ зналъ ихъ мало, но онѣ хорошо его помнили. Когда онъ пріѣзжалъ на вакацію, ему было девятнадцать лѣтъ, его сестрамъ— двадцать и одиннадцать; третьей еще не было на свѣтѣ. Онъ сказалъ только сестрѣ Вѣрѣ, что она ничего не знаетъ и неграціозна, и замѣтилъ (при родителяхъ) сестрѣ Прасковьѣ, что она могла бы заняться ребенкомъ, что долгъ женщины любить дѣтей и заботиться о нихъ. Мать ахала отъ ума и сердца Серженьки. Маленькая Вѣра стала его бояться, убѣгала, встрѣчаясь съ нимъ въ саду, а случалось, и пряталась. Прасковья Андреевна, скучая, какъ скучала бы всякая молодая дѣвушка, осужденная провести лучшіе годы молодости въ забытой, глухой деревнѣ, отважилась поговорить съ братомъ; онъ былъ такъ ученъ, а у нея, нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, была гувернантка — невѣжда, но добрѣйшая дѣвушка, которая ничему не учила свою воспитанницу и вмѣстѣ съ нею читала самые чувствительные стихи и восторженные, хотя и нравственные романы. Гувернанткѣ отказали, подъ предлогомъ дороговизны и того, что Прасковья Андреевна сама можетъ заниматься меньшой сестрой. Зналъ ли эту причину Сергѣй Андреевичъ, рекомендуя сестрѣ это занятіе, или ему вошло въ голову сказать это такъ, отъ дидактическаго настроенія, но онъ попалъ на мысль и на желаніе родителей. Онъ какъ-то умѣлъ всегда попадать такъ ловко... Гувернанткѣ отказали еще потому, что надо было посылать больше денегъ Сергѣю Андреевичу, переходившему на высшіе курсы... Сестра знала эту причину. Выросшая среди хозяйства и счетовъ, она знала этотъ разсчетъ, знала и то, что можно было бы оставить ей подругу, не разоряясь и не заставляя братца стѣсняться въ чемъ нибудь... да не бѣда была бы и отказать немного братцу: онъ не одинъ! Впрочемъ, давъ какъ-то однажды этой мысли пройти въ головѣ, Прасковья Андреевна не возвращалась къ ней больше, а напротивъ, старалась пользоваться пріѣздомъ брата, чтобъ сблизиться съ нимъ. Она попробовала говорить ему о чувствахъ, о своей скукѣ... Сергѣй Андреевичъ шутилъ, смѣялся, наконецъ строго сказалъ сестрѣ, чтобъ она не дурачилась. Они разстались не холодно, не принужденно, а какъ-то странно... Прасковья Андреевна вздохнула свободнѣе съ отъѣздомъ братца, но горько думала, какъ имъ могло бы быть хорошо вмѣстѣ, и... почему же было дурно?..

Потомъ, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когда у молодой и хорошенькой затворницы промелькнула мечта первой любви — что-то далекое, смутное, чему было не суждено ни объясниться, ни осуществиться, когда на душѣ у нея стало и больно, и весело, и захотѣлось подѣлиться съ кѣмъ нибудь этимъ счастьемъ и горемъ, Прасковья Андреевна принялась думать о братѣ съ нѣжностью и раскаяніемъ... ей казалось, будто онъ былъ добръ, ласковъ, внимателенъ... онъ такъ уменъ!.. Она рѣшилась и написала ему письмо, полное самыхъ милыхъ, трогательныхъ и наивныхъ полупризнаній, самыхъ горькихъ, потому что покорныхъ жалобъ на скуку и пустоту жизни, на скуку и прозу житья-бытья, на недостатокъ дружбы и общества... Это письмо было отправлено потихоньку, одинъ Богъ знаетъ съ какимъ страхомъ. Для отвѣта Прасковья Андреевна давала брату адресъ жены конторщика, старухи, которая ее любила, единственной посторонней, которая была близка къ ней.

Прасковья Андреевна ждала отвѣта и дождалась его скорѣе, нежели думала. Родители получили письмо отъ Серженьки. Увѣдомивъ о своихъ успѣхахъ и передавъ отцу поклоны совершенно незнавшихъ его начальниковъ, а матери поклоны начальницъ, не подозрѣвавшихъ ея существованія, описавъ высокимъ слогомъ погребеніе какого-то важнаго лица, Сергѣй Андреевичъ извинялся, что долженъ оставить пріятную бесѣду съ безцѣнными виновниками своего бытія и исполнить весьма горестный для него долгъ—отвѣчать сестрѣ на ея письмо, которое его удивило...

Какъ поразили эти строки Прасковью Андреевну, которой приказывалось всегда читать вслухъ письма Серженьки! Каково было ей прочесть длиннѣйшее, черствое, злое наставленіе, полное насмѣшекъ, желчи, желанія поучить и выказаться!.. Ей ничего не досталось за эту открытую тайну, не досталось потому, что тайны ея и она сама не считались большой важностью; но въ ея житьѣ-бытьѣ ухитрились прибавить еще стѣсненія, съ ней стали еще строже... Прасковья Андреевна, конечно, не умѣла разобрать своего чувства, но она разобрала, что у нея душа не лежала къ братцу.

Такъ началось ихъ знакомство; позже, когда Сергѣй Андреевичъ пріѣхалъ въ деревню послѣ смерти отца, онъ засталъ старшую сестру еще неустарѣвшую, конечно, но тихую, молчаливую, такъ что нельзя было ни отгадать, ни понять, что она думала или чувствовала. Весь домъ молчалъ—не отъ одной горести о смерти главы дома, но потому, что молчаніе было въ привычкѣ. Вторая сестра, Вѣра, семнадцатилѣтняя дѣвушка, некрасивая и болѣзненная, была такъ робка, что краснѣла и смущалась отъ всякаго слова; третья, Катя, пятилѣтняя дѣвочка, совершенно незнакомая брату, воспитывалась въ строгости и повиновеніи и находила защиту и ласки только у одной старшей сестры своей. Изъ чувствъ Прасковьи Андреевны можно было подмѣтить только одно: она до безумія любила Катю. Меньшая сестра годилась бы ей въ дочери; Прасковья Андреевна соединила въ своемъ почти материнскомъ чувствѣ все сожалѣніе о своемъ тяжело прожитомъ дѣтствѣ и даромъ прожитой молодости, все горе о холодной пустотѣ настоящаго. Она немногому могла учить Катю и не требовала, чтобъ она училась: ей было жаль заставлять ребенка трудиться; она думала только о томъ, чтобъ этотъ ребенокъ былъ веселъ, былъ счастливъ какъ нибудь, чѣмъ нибудь; она наряжала его, какъ могла... потому что у двадцати-пятилѣтней дѣвушки не было ничего въ распоряженіи и она, бывало, должна выработывать, чтобъ наряжать свою куклу. Сергѣй Андреевичъ замѣтилъ ей, что это сумашествіе...

— Такъ и быть, отвѣчала хладнокровно Прасковья Андреевна.

— Для чего же она пріучается къ роскоши, къ которой не пріучены ея сестры? возразилъ братъ.

Разговоръ былъ при матери. Сергѣй Андреевичъ вообще любилъ дѣлать свои замѣчанія гласно; онъ былъ увѣренъ въ непогрѣшимости своихъ мнѣній и потому не находилъ нужнымъ скрывать ихъ.

— Роскошь полушерстяное платье? спросила Прасковья Андреевна попрежнему хладнокровно.

Сергѣй Андреевичъ превосходно объяснилъ, что отъ мелочей до большихъ послѣдствій—одинъ шагъ, что женщины вообще настойчивы, пусты и недальновидны. Онъ говорилъ краснорѣчиво. Не трудно было сдѣлать впечатлѣніе на женщинъ, никогда не слыхавшихъ такихъ длинныхъ рѣчей; онъ выражался такъ строго, рѣзко и съ такимъ сознаніемъ своего превосходства, своего прекраснаго воспитанія и ничтожности слушательницъ, что слушательницы, волею или неволею, должны были благоговѣть предъ нимъ.

Мать видѣла въ немъ чудо... У матерей бываютъ заблужденія. Предметъ заблужденій, вслѣдствіе безпрестаннаго восхваленія въ дѣтствѣ, вслѣдствіе любви, выказанной слишкомъ явно, съ безцеремоннымъ предпочтеніемъ предъ другими дѣтьми, кажется неприступно великимъ, всезнающимъ, всеобъемлющимъ, когда выростаетъ постарше и умѣетъ взять половчѣе въ руки тѣхъ, кто обожалъ его безусловно. Судьба послала это выгодное положеніе Сергѣю Андреевичу Чиркину... Серженька былъ красавецъ, умница, послушенъ, остроуменъ, и проч. Серженька былъ прилеженъ, уважалъ родителей, и проч. Серженька не щадилъ трудовъ своихъ для службы отечеству, достигъ въ юныхъ лѣтахъ почетныхъ чиновъ, былъ благоразуменъ не по лѣтамъ, заботливъ о матери, а ужъ уменъ-то какъ, уменъ-то!..

И, разработывая эту тему, Любовь Сергѣевна создала себѣ идола изъ своего Серженьки. Она слушала, когда онъ говорилъ, буквально замирая, потому что ловила не только слова его, но и всякій звукъ слова,

хотя бы онъ говорилъ пошлости. Она изъ себя выходила, когда другіе ему противорѣчили, даже если съ нимъ соглашались; ей казалось, что этого мало; ей воображалось, что не такъ соглашаются. Если онъ желалъ чего нибудь — хотя бы это желаніе было стаканъ воды, котораго онъ долго дожидался—мать волновалась, какъ будто весь міръ возсталъ и мѣшаетъ Серженькѣ. Она никогда не бывала кротка, но за сына становилась ужасна! Она поклонялась сама и требовала для него всеобщаго поклоненія...

Замѣчательно, что Сергѣй Андреевичъ принималъ все это будто должное, съ большимъ достоинствомъ и очень хладнокровно. Если мать, говоря о запутанныхъ дѣлахъ по имѣнію, восклицала:

— Ахъ, Серженька, на тебя одна надежда!

Онъ отвѣчалъ съ увѣренностью:

— Да, конечно; вы ни о чемъ понятія не имѣете.

И это выслушивалось, какъ будто такъ и слѣдовало. Если мать жаловалась на нездоровье, Сергѣй Андреевичъ объяснялъ ей, что она объѣлась и съ необыкновенной точностью припоминалъ все, что она ѣла два-три дня назадъ; доказательства были неопровержимы, спорить было нечего—оставалось только еще выслушать нѣсколько морали о невоздержаніи. Если Любовь Сергѣевна, думая «занять» своего идола, принималась разсказывать ему что нибудь, она могла ясно видѣть по его физіономіи, что онъ усталъ давно и слушаетъ единственно изъ учтиваго снисхожденія, чтобъ оставить ей удовольствіе говорить. Чаще всего онъ уходилъ, не сказавъ ни слова, просто вставалъ и уходилъ, едва она кончила разсказъ; или, иногда вдругъ глубокомысленно разспрашивалъ подробности, заставлялъ повторять, дѣлалъ замѣчанія и заключенія, и—чудо! люди, которыхъ Любовь Сергѣевна считала и хотѣла выказать умными, оказывались дураками, и наоборотъ...

Онъ не шутилъ почти никогда, только изрѣдка, тонко и не совсѣмъ понятно подшучивалъ надъ сестрой Вѣрой. Онъ продолжалъ считать ее ребенкомъ, училъ ее входить въ гостиную, кланяться, здороваться, находя, что она не умѣетъ ничего этого дѣлать; заставлялъ ее говорить громче или тише, какъ случалось, или какъ ему вздумается; заставлялъ повторять слова русскія, находя, что она не такъ ихъ произноситъ, что она говоритъ не по-русски, неправильно; заставлялъ объяснять то, что она сама говорила, увѣряя ее, что она сама не понимаетъ того, что говоритъ... Вѣра играла на фортепіано, ее выучила старшая сестра, совсѣмъ оставившая музыку; но Вѣра любила музыку и занималась ею охотно; у нея было старенькое фортепіано и старенькія ноты, что нибудь новое доставалось съ большимъ трудомъ. Музыка сдѣлалась новымъ источникомъ мученій для бѣдной дѣвушки: братецъ былъ знатокъ и любитель; онъ бывалъ во всѣхъ концертахъ и постоянно посѣщалъ оперу; къ счастью Вѣры, тогда еще въ Петербургѣ не было итальянской оперы. Сергѣй Андреевичъ нашелъ, что долженъ дать сестрѣ нѣсколько совѣтовъ; какъ меломанъ, онъ былъ очень недоволенъ, но, какъ человѣкъ порядочный, умѣлъ выражаться не шумя.

— Ты понимаешь, тихо и мягко говорилъ онъ испуганной самоучкѣ, которая, не смѣя заплакать, уже не различала отуманенными глазами пожелтѣлыхъ клавишей своего фортепіано: — ты понимаешь, я не хочу, чтобъ всякій имѣлъ право сказать, что ты колотишь, какъ барабанщикъ; если ты не можешь перемѣнить свою методу, такъ нечего и играть...

— Въ самомъ дѣлѣ, для Серженьки это тяжело, что она такъ играетъ, говорила между тѣмъ шопотомъ мать Прасковьѣ Андреевнѣ: — ты бы тоже поговорила ей, чтобъ она перемѣнила методу.

— Не понимаю, какое ему дѣло? возразила холодно Прасковья Андреевна:—она играетъ какъ умѣетъ.

— Что еще такое?

— Она играетъ для своего удовольствія; она не училась.

— Какъ это «не училась»?

— Учителей не было.

— У кого же они были?

— У братца были, отвѣчала Прасковья Андреевна, покраснѣвъ, но тихо.

И послѣ этого, что бы ни говорилось, она не возражала болѣе ни слова.

Только, замѣчая ея пристальный, ничего не выражавшій взглядъ и напрасно попробовавъ такимъ же пристальнымъ взглядомъ заставить ее потупить глаза, Сергѣй Андреевичъ начиналъ говорить матери, что Катю надо отдать въ институтъ, или замѣчалъ Вѣрѣ за обѣдомъ, что она не такъ держитъ вилку, не такъ беретъ кушанье...

Можетъ быть, въ мірѣ не было существа добрѣе и терпѣливѣе Вѣры. Она ни отъ чего не приходила въ негодованіе, ничѣмъ не оскорблялась; она могла только плакать, роптать на судьбу, но никогда на людей. У

этой грустной покорности была причина еще болѣе грустная: Вѣра съ дѣтства слышала, что она дурна и глупа, и наконецъ повѣрила, что это справедливо, и что всѣ правы, не допуская ея имѣть своего мнѣнія даже о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ. Послѣ такого убѣжденія, она совсѣмъ перестала думать, разсчитывая, что для нея, слабоумной, это совершенно лишній трудъ. Она въ самомъ дѣлѣ отупѣла. Въ дѣтствѣ игры, шалости могли бы развить въ ней понятливость; но, больное дитя, она не могла развиться какъ другія дѣти; она цѣлые дни сидѣла не съ куклой, а съ чулкомъ въ рукахъ, все у одного и того же окна, въ которое посматривала въ тупомъ, разсѣянномъ раздумьи... И такъ прошли цѣлые годы; чулокъ былъ замѣненъ пяльцами. Вѣра запомнила всѣ бревна и всѣ щели забора, который возвышался предъ окномъ... Ей безпрестанно говорили, что съ больными тоска, и она вообразила, будто она въ тягость цѣлому свѣту и что это уже великая милость, если не только какъ нибудь заботятся о ней, но только терпятъ ее... Послѣ этого, всѣ казались ей справедливы, всѣ милостивы, а умны были всѣ такъ въ ея глазахъ, что она всѣхъ боялась.

Она была уже въ такомъ возрастѣ, что могла-бъ быть подругою старшей сестрѣ; но ихъ характеры были такъ непохожи и Прасковья Андреевна такъ давно привыкла къ своему одиночеству, что не могла сблизиться съ Вѣрой. Вѣра доставляла ей слишкомъ много заботъ, слишкомъ часто приходилось вступаться за нее, хлопотать о разныхъ мелочахъ, научать ее, какъ вести себя, чтобъ жить если не счастливо, то хотя покойно. Въ чемъ могла быть виновата безотвѣтная дѣвушка — неизвѣстно; но ей часто случалось быть виноватой, и приходилось бы очень тяжело, еслибъ не выручала Прасковья Андреевна... Забота утомляетъ. Мать можетъ не тяготиться заботой о своемъ ребенкѣ, потому что имѣетъ власть надъ нимъ, потому что свободна и не поставлена въ необходимость сама безпрестанно извертываться, отстаивать мелочи, выпрашивать мелочи, подвергаясь выговорамъ, упрекамъ, непріятностямъ. Если и бываютъ матери, которыя терпятъ это, то имъ придаетъ силы ихъ материнское чувство; но забота о равной, забота, стоющая досады, огорченій, утомляетъ, наводитъ на злую мысль, что слабое существо, которому такъ покойно подъ нашей защитой, могло бы само за себя хлопотать; эта забота наскучаетъ до того, что предметъ ея становится не милъ... Во всѣхъ есть доля эгоизма — въ молодыхъ дѣвушкахъ болѣе, нежели въ комъ другомъ, а Прасковья Андреевна проживала самые лучшіе годы молодости въ то время, когда ей приходилось терпѣть за сестру. Ея утомленіе и эгоизмъ выразились только тѣмъ, что она не могла сдѣлать изъ своей сестры себѣ подругу, повѣренную; сестра не была ей необходима. Но Вѣра была существо такое слабое, жалкое, вялое, что не могла быть необходима кому нибудь, тѣмъ менѣе Прасковьѣ Андреевнѣ, недовольной, скучающей, раздраженной и принужденной молчать и молча бороться. Онѣ сошлись бы, можетъ быть, еслибъ имъ было дано настоящее образованіе, еслибъ кто нибудь съ дѣтства принялъ въ нихъ участіе и наставилъ ихъ: этого не случилось. Онѣ любили другъ друга горячо, но въ то же время какъ-то странно: любовь одной смѣшивалась съ какимъ-то мелкимъ подобострастіемъ, любовь другой съ какимъ-то унижающимъ состраданіемъ...

Братъ понималъ все это по-своему. Иногда, въ послѣобѣденное время, лежа на диванѣ, на который ему приносили нѣсколько подушекъ (онъ не выносилъ жесткой мебели, привыкнувъ къ комфорту своей столичной квартиры), онъ доставлялъ себѣ наслажденіе молча наблюдать за сестрами, которыя вышивали, каждая у своихъ пялецъ и у своего окна.

— Ты не боишься, что у тебя скривится спина? вдругъ спрашивалъ онъ Вѣру.

— Отчего? спрашивала она.

— Отчего? отъ пялецъ, конечно. Это будетъ пріятное прибавленіе къ прочимъ твоимъ пріятностямъ.

Водворялось опять молчаніе. Сергѣй Андреевичъ прерывалъ его снова, на этотъ разъ не обращаясь ни къ одной изъ сестеръ, такъ что могли отвѣчать обѣ.

— Сколько еще манишекъ необходимо вышить?

Онъ поднималъ голову и ждалъ отвѣта.

— Какъ «необходимо»? спрашивала Прасковья Андреевна.

— Что это, подрядъ какой нибудь?

— Нѣтъ, не подрядъ; для себя.

— А! вы для своего удовольствія тратите время. Съ Богомъ. Что-жъ! больше вамъ дѣлать нечего, заняться нечѣмъ.

— Чѣмъ же, братецъ?

— Скотный дворъ у васъ есть, кухня.

— Не цѣлый же день быть тамъ.

— Совершенно справедливо!.. отвѣчалъ онъ, посмѣиваясь.

Долгое молчаніе.

— Что, вы иногда говорите между собою? внезапно спрашиваетъ Сергѣй Андреевичъ.

Сестры столько же удивлены, сколько сконфужены.

— Право! Или принято у васъ, считается приличнымъ цѣлый день слова не вымолвить?

— О чемъ же намъ говорить? возражала Прасковья Андреевна.

— Такъ-таки рѣшительно не о чемъ?

— Да что-жъ, все ужъ извѣстно, переговорилось.

— Ну, и прекрасно! Двѣ дѣвушки, двѣ сестры, живутъ цѣлый вѣкъ вмѣстѣ: велика, стало быть, дружба между ними, когда имъ нечего сказать другъ другу! велико ихъ умственное развитіе!... Удивляюсь, право. Не слыхалъ, не только не видалъ я въ жизнь ничего подобнаго!..

Сергѣй Андреевичъ становился краснорѣчивъ. Онъ умѣлъ доводить разговоръ до того, что Прасковья Андреевна выговаривала нѣчто похожее на жалобу, что сестра и она ничего не видѣли и не знаютъ на свѣтѣ дальше Акулева. Послѣ этого поученіямъ его не было конца...

Сергѣй Андреевичъ не догадывался, что его сестры не знали, что такое общество, удовольствія, книги, наряды, любезность молодыхъ людей, заботы о своей красотѣ, волненія, которыми живутъ женщины. Ему въ голову не входило, что сестры жили затворницами, дикарками со дня рожденія. Городъ N* былъ очень недалеко! тамъ живали весело, но для двухъ сестеръ N* былъ все равно, что въ Америкѣ. Онѣ были тамъ раза два-три въ жизни, на богомолье, въ ярмарку, посмотрѣли на улицы и на народъ, толпившійся на торговой площади. Вѣра боялась тѣсноты, хотя, кажется, можно было на все смотрѣть спокойно съ вершины тряской старомодной коляски, въ которой помѣщалось все семейство. Это семейство смотрѣло дико и подозрительно, съ презрѣніемъ къ городской суетѣ и вмѣстѣ съ самоумаленіемъ предъ городскимъ блескомъ; городскіе жители посмѣивались, глядя на него... Трудно описать впечатлѣніе, которое выносили дѣвушки изъ этого дня, проводимаго въ церкви, гдѣ N-ское общество было необыкновенно нарядно; въ лавкахъ, гдѣ все продавалось ужасно дорого и гдѣ купцы смотрѣли какъ-то странно и непривѣтливо; въ нумерѣ дешевой гостинницы, гдѣ, послѣ обѣдни и покупокъ, пообѣдавъ, родители ложились спать, а дочери, между тѣмъ, не двигаясь, чтобъ не потревожить ихъ сна, и сторожа свои вещи въ постоянномъ страхѣ и увѣренности, что въ городѣ ихъ непремѣнно обокрадутъ, сидѣли у оконъ, обращенныхъ во дворъ. Лѣтній день шелъ долго — свѣтлый, тихій, веселый; на улицахъ слышался стукъ экипажей, говоръ проходящихъ, музыка; на крышѣ прыгали воробьи; во дворѣ гостинницы извозчики пѣли пѣсни; солнце садилось, наставалъ холодокъ; родители просыпались и торопили запрягать лошадей, возвращаться въ Акулево. «Довольно! нагулялись!» говорили они, съ видомъ величайшаго утомленія и негодованія, и приговаривали часто, особенно во время счетовъ съ хозяиномъ:

— Что это за городъ! Это не городъ, это грабительство.

Влѣзая въ коляску, подъ воротами дома, увидя мерцаніе и огни на противоположномъ тротуарѣ, они спрашивали: «что это?»

— Иллюминація, отвѣчали имъ.

И такъ какъ гостинница была на выѣздѣ изъ города, то двѣ-три плошки около заставы—была вся иллюминація, какую когда нибудь видѣли молодыя дѣвушки.

Онѣ могли бы разсказывать это братцу, требовавшему отъ нихъ разговоровъ и любезности; но можно поручиться, что эти разсказы его не займутъ. Хотя онъ много говорилъ о необходимости довѣренности, но очень строго судилъ женскую довѣренность... Впрочемъ, Прасковья Андреевна уже испытала, каково участіе братца, и, помня его очень хорошо, не искала его больше. Братецъ сказалъ однажды, послѣ неудачныхъ попытокъ завязать разговоръ:

— Если вы не говорите мнѣ, что у васъ на душѣ, стало быть, не хотите: ну я и не набиваюсь; какъ знаете!

Вѣра испугалась; Прасковья Андреевна сказала ей, улыбаясь довольно странно:

— А ты думаешь, ему въ самомъ дѣлѣ есть охота о насъ заботиться?

Сергѣй Андреевичъ прожилъ два осенніе мѣсяца въ своемъ семействѣ, утѣшая мать и подкрѣпляя вообще совѣтами и наставленіями всѣхъ, даже и постороннихъ, даже сосѣдей, навѣщавшихъ Любовь Сергѣевну послѣ ея утраты. Сергѣй Андреевичъ отдалъ визиты весьма немногимъ, весьма разборчиво и осторожно. Онъ и держалъ себя со всѣми какъ-то на-сторожѣ, мягко, уклончиво, холодно. Съ тѣми, кому отдалъ визитъ, онъ говорилъ умѣренно—если не совсѣмъ свысока, то съ большимъ достоинствомъ—о предметахъ общезанимательныхъ, о службѣ, объ административныхъ перемѣнахъ... Въ

провинціи, особенно лѣтъ двадцать назадъ, спокойная увѣренность и слегка таинственный тонъ въ разговорѣ о подобныхъ вещахъ производили сильный эфектъ.

«Дѣловая голова! далеко пойдетъ!» говорили вслѣдъ Сергѣю Андреевичу послѣ его визитовъ.

«Умнѣйшій, ученый человѣкъ, дипломатъ!» шептали бѣдные сосѣди, до благоговѣнія запуганные Сергѣемъ Андреевичемъ, котораго удавалось имъ видѣть во всемъ его величіи—дома.

«Все знаетъ, во все вникъ, все вотъ такъ кругомъ пальца повернетъ—ловкій человѣкъ!» восклицали губернскіе дѣльцы, знатоки дѣла, восхищавшіеся Сергѣемъ Андреевичемъ изъ любви къ искусству: «этотъ не дастъ себѣ на шею сѣсть, нѣтъ! ну, и своего не проглядитъ; что слѣдуетъ — не пропуститъ»...

Послѣднее говорилось вслѣдствіе разныхъ сдѣлокъ, актовъ и тому подобнаго, что совершилъ Сергѣй Андреевичъ, который дождался въ теченіе этихъ двухъ мѣсяцевъ срока, когда Вѣра, выходя изъ опеки, могла выбрать сама себѣ попечителя, убѣдилъ (впрочемъ, кого? ни Вѣру, ни мать убѣждать было нечего)—сдѣлалъ такъ, что Вѣра выбрала его своимъ попечителемъ, и, распорядившись, уѣхалъ.

Предъ отъѣздомъ онъ сдѣлалъ еще одно распоряженіе: не убѣждалъ Прасковьи Андреевны, но показалъ ей чьи-то векселя, чьи-то претензіи и тому подобное, напугалъ ее разными долгами и обязательствами, натолковалъ, что, для общаго семейнаго спасенія, нужны деньги, и устроилъ такъ, что она дала ему довѣренность заложить въ совѣтъ ея часть имѣнія. Сергѣй Андреевичъ положилъ эту довѣренность и всѣ, какія слѣдовало, бумаги въ свой бумажникъ и уѣхалъ совершенно успокоенный.

О сестрѣ Катѣ онъ никакъ не распорядился; онъ даже какъ-то забылъ поцѣловать ее, прощаясь. Мать это замѣтила и долго потомъ повторяла въ слезахъ:

— Такъ былъ потерянъ, такъ огорченъ, мой голубчикъ! Повисъ на рукѣ, не могъ оторваться... Дѣвчонка эта куда-то отвернулась.

Жизнь въ Акулевѣ пошла своимъ чередомъ. Сергѣй Андреевичъ возвращался туда еще раза два или три въ пятнадцать лѣтъ, на самое короткое время. Всякій разъ онъ болѣе и болѣе совершенствовался въ величіи — и не мудрено: онъ быстрыми шагами восходилъ на лѣстницу почестей и чиновъ. Его трепетали не только въ Акулевѣ, но и въ N*. Тамъ положительно увѣряли, что Сергѣй Андреевичъ сильнѣе многихъ министровъ...

Этимъ временемъ имѣнье Прасковьи Андреевны, котораго доходы, при отчетахъ бурмистра, поставленнаго Сергѣемъ Андреевичемъ, акуратно высылались въ Петербургъ, будто бы для уплаты въ совѣтъ, это имѣнье продалось съ аукціона, и Прасковья Андреевна узнала объ этомъ... отъ знакомыхъ, которые, конечно, не воображали, что сообщаютъ ей новость. Это была новость и для матери; но мать всегда была увѣрена, что Серженька устроиваетъ все къ лучшему.

Братецъ издали пекся о благосостояніи Вѣры и ея помѣстья. Онъ былъ сначала попечителемъ, потомъ управлялъ по довѣренности. Непостижимо: тамъ продавались то луговые участки, то хлѣбъ на корню, то заповѣдныя рощи, то мельницы, то цѣлые дворы... это было какъ-то необходимо для «округленія» имѣньица, и оно такъ превосходно округлилось, что стало заключаться все въ одномъ флигелькѣ съ усадебной землей, которую со всѣмъ, съ флигелькомъ, Сергѣй Андреевичъ издали, чрезъ надежнаго человѣка, счелъ выгоднѣе продать молодому священнику, только что пріѣхавшему и неуспѣвшему разсмотрѣть, что флигелекъ годится только на дрова. Продать его была, конечно, мѣра дѣльная и благоразумная...

— Вѣра, вѣдь у насъ съ тобой нѣтъ ничего! сказала Прасковья Андреевна вечеромъ того дня, какъ «надежный человѣкъ» извѣстилъ обо всемъ этомъ Любовь Сергѣевну.

Сестры были однѣ въ своей комнатѣ.

— Подъ старость мы безъ куска хлѣба, продолжала Прасковья Андреевна.

Вѣра плакала.

— Богъ далъ, Богъ и взялъ, сестрица! отвѣчала она.

II.

Осенній вечеръ, темнота и дождь. Домъ въ Акулевѣ неуютный, некрасивый, холодный, смотритъ еще мрачнѣе и непривѣтливѣе, нежели когда нибудь; онъ обветшалъ и постарѣлъ пятнадцатью годами послѣ смерти стараго владѣльца; а тѣ, кто жилъ въ немъ эти пятнадцать лѣтъ, не дѣлали никакихъ поправокъ, не только украшеній. Къ этому дому примѣнялось нѣчто въ родѣ леченія домашними средствами. Тесовыя стѣны сѣней и стѣны холодной лѣстницы, выходившей изъ этихъ сѣней наверхъ, гдѣ жили дѣ-

вицы, были грязно оклеены синей сахарной бумагой, въ защиту отъ непогоды и вьюги, которыя свободно свистѣли въ щели и обливали дождемъ или засыпали снѣгомъ и сѣни, и ступеньки лѣстницы. Сахарная бумага, только бѣлая, была употреблена на заклейку обвалившагося потолка прихожей. Въ залѣ потолокъ согнулся и страшно обвисъ: было ясно, что въ немъ перегнила какая нибудь переводина; въ избѣжаніе паденія, онъ былъ подпертъ двумя столбами изъ некрашенаго, едва отесаннаго дерева, укрѣпленными въ полъ между двумя толстыми деревянными обрубками. Полъ былъ искривленъ; изъ него дуло, изъ оконъ тоже.

Любовь Сергѣевна Чиркина, маленькая, сгорбленная старушка, завернутая вся во что-то ветхое, стеганое—въ одну изъ тѣхъ одеждъ, какія умѣютъ придумать только деревенскія старухи—сидѣла въ гостиной, сжавшись въ комокъ, на черномъ кожаномъ диванѣ, который одинъ не измѣнялся съ вѣками. Она перебирала карты въ рукахъ и у себя на колѣняхъ, гадая какъ-то по-своему. Передъ нею не было свѣчки. Свѣчка горѣла поодаль отъ дивана, на небольшомъ столѣ, у котораго сидѣли Прасковья Андреевна и Вѣра.

Обѣ сестры были уже старухи. Въ деревнѣ, въ глуши, женщины старѣютъ скоро. Съ дѣтства, въ лучшую пору, не было средствъ, не было своей воли, не было случая, слѣдовательно, и желанія наряжаться, заботиться о себѣ; равнодушіе къ своей особѣ сдѣлалось привычкой. Потомъ, позже, когда первые сѣдые волосы, усталыя вѣки, складки рта напомнили, что прошло и невозвратно прошло прекрасное время, является вдругъ болѣзненно-грустное, болѣзненно-озлобленное чувство: равнодушіе, перешедшее въ отчаяніе. «Все равно, дурна ли, хороша ли я; меня никто не видитъ; я никому ненужна...» И, однажды сказавъ себѣ это, женщина принимается старѣть безобразно, неизящно и старѣетъ скоро...

Онѣ работали, перешивали что-то. Рядомъ съ ними, у стола, тоже работая, но очень разсѣянно, сидѣла ихъ меньшая сестра, Катя, хорошенькая, полненькая дѣвушка. Она одна смотрѣла весело, немножко нетерпѣливо... она ждала чего-то...

Любовь Сергѣевна съ глубокимъ вздохомъ встала съ дивана и, удерживая оханье, осторожными шагами отправилась въ залу, гдѣ было совершенно темно; ощупывая стѣну руками, споткнувшись раза два и загремѣвъ стульями, старуха добралась до коридора. Тамъ она остановилась у затворенной двери, изъ-подъ которой былъ виденъ свѣтъ, и стала прислушиваться.

Едва вышла мать, Катя вскочила съ мѣста, бросилась къ окну, незакрытому ставнемъ, потому что ставень былъ сломанъ, приподняла выше головы большой платокъ, бывшій у нея на плечахъ, чтобъ въ стекла не отражалась комната, и принялась смотрѣть, что дѣлалось на дворѣ.

— Вотъ, всякому свое! сказала, засмѣявшись, Прасковья Андреевна.

Вѣра оглянулась со страхомъ: ей показалось, что сестра говоритъ слишкомъ громко.

— Нѣтъ никого; эги невидно! сказала Катя, отходя отъ окна.

— Какъ же ты хочешь, чтобъ онъ пріѣхалъ? Вѣдь отъ города двадцать верстъ, и еще какова дорога! возразила Прасковья Андреевна.

— Да, дай Богъ, чтобъ не пріѣзжалъ, замѣтила Вѣра.

— Это почему-жъ такъ? обратилась къ ней Катя, очень недовольная и очень смѣло.

— Не во-время, отвѣчала, сконфузясь, Вѣра: — у братца головка болитъ...

— Да мнѣ-то что-жь? возразила Катя. — Ахъ, ты Господи! развѣ у насъ монастырь? Вѣдь это ужасъ! У братца головка болитъ, такъ мнѣ не видать моего жениха? Вѣдь Александръ Васильичъ мнѣ женихъ... У братца головка болитъ! да она у него всякій день болитъ съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ; весь домъ на цыпочкахъ ходитъ. Маменька никакъ въ двадцатый разъ нынѣшнимъ вечеромъ подъ дверью слушаетъ...

— Ну, затормошилась. Сядь на мѣсто да шей, сказала ей Прасковья Андреевна.

Черезъ минуту Вѣра встала.

— Я пойду также послушаю, что они, сказала она тихо и осторожно.

— Вотъ охота! возразила Прасковья Андреевна.

— Какъ же, сестрица, можетъ быть, они и въ самомъ дѣлѣ такъ нездоровы. Маменька скажетъ: не хотѣли провѣдать.

— Полно, сдѣлай милость, прервала Прасковья Андреевна: — ничего онъ не боленъ. Онъ злится какъ пріѣхалъ, пятый день. Будто мы этихъ штукъ не видали. Вотъ, посмотри, немного погодя и узнаемъ сюрпризъ какой нибудь пріятный.

— Какой же еще сюрпризъ? сказала Вѣра, вздохнувъ.

— Конечно, намъ ужъ ничего хуже быть не можетъ, продолжала Прасковья Андреевна: — разорить насъ больше нельзя; къ

чему другому — привыкли, ничѣмъ насъ не удивишь. А самъ-то онъ что-то не такъ; должно быть, что нибудь случилось.

— Избави Богъ! сказала Вѣра: — что вы, сестрица!

— Что-жъ? спокойно возразила Прасковья Андреевна:—намъ-то что-жъ отъ этого? Онъ учился, онъ служилъ: какая намъ была утѣха или прибыль? — ничего. Ну, слетѣлъ съ мѣста, можетъ быть: намъ что за печаль?

Катя опять встала и пошла смотрѣть въ окно.

— Избави Богъ, повторила Вѣра:—какъ вы это такъ говорите! Вотъ, начиная съ того, что Александръ Васильичъ служитъ: братецъ можетъ ему и мѣсто лучше доставить, братецъ знаетъ, гдѣ выгоднѣе, и постарается, и попроситъ за него, и научитъ, что и гдѣ нужно.

— Никогда ничему не научитъ и никогда ничего не сдѣлаетъ! возразила Прасковья Андреевна:—пожалуйста, лучше не говори! Это только въ сердце вводить—говорить о нашемъ братцѣ... Богъ ему судья! Теперь ужъ хуже того не натворитъ, что натворилъ. Учить насъ—выросли; мудрить надъ этой дѣвочкой я не даю, такъ дай хоть поскрипѣть, что «головка болитъ», чтобъ весь домъ ошалѣлъ, за нимъ ухаживая... Господи! счастье бываетъ человѣку!

Вѣра вздохнула, наклонясь къ своей работѣ; лицо ея выразило какое-то болѣзненно грустное чувство; въ глазахъ мелькнули будто слезы.

— А какъ подумаешь да припомнишь!.. сказала Прасковья Андреевна и замолчала тоже.

Имъ ничего не оставалось больше, какъ молчать. Вся ихъ жизнь съ дѣтства была принесена въ жертву семейному идолу, и теперь, когда впереди была безпомощная, безпріютная, одинокая старость — потому что эти одичалыя созданія не умѣли даже знакомиться, не только сближаться съ людьми—теперь онѣ видѣли, что все кончено и непоправимо...

Братецъ снова посѣтилъ ихъ уединеніе. Его пріѣздъ никогда не былъ имъ на радость; нынѣшній разъ въ немъ было что-то загадочное.

Сергѣю Андреевичу было сорокъ лѣтъ. Съ годами онъ пріобрѣлъ необыкновенный вѣсъ и значеніе; но посторонніе знали о немъ больше, нежели его семья. Посторонніе разсказывали о роскошномъ домѣ, который онъ занималъ въ Петербургѣ, о вечерахъ и обѣдахъ, которые онъ давалъ нерѣдко, о его огромной игрѣ въ клубѣ. Въ N* говорили, что одна ревизія, назначенная туда совсѣмъ неожиданно и надѣлавшая много шуму, а нѣкоторымъ важнымъ N-скимъ лицамъ много непріятностей, была прислана по внушенію и вліянію Сергѣя Андреевича. Въ Акулево, время отъ времени, пріѣзжали разные господа, искавшіе должностей или находившіеся въ запутанныхъ служебныхъ обстоятельствахъ; они свидѣтельствовали свое глубочайшее уваженіе Любови Сергѣевнѣ и выпрашивали ея рекомендаціи къ сыну, или ея собственнаго письменнаго предстательства. Въ провинціи еще вѣрятъ въ силу этихъ предстательствъ! Любовь Сергѣевна, которая, по характеру, не взялась бы ни за кого хлопотать и просить, не могла отказывать этимъ просьбамъ: это значило бы допустить сомнѣніе или въ могуществѣ Серженьки въ министерствахъ, или въ уваженіи Серженьки къ просьбамъ матери, слѣдовательно, въ ней самой. Любовь Сергѣевна давала свои автографы просителямъ и конфиденціально писала сыну потвержденія:

«Я, мой другъ Серженька, не сомнѣваюсь въ твоихъ истинно благородныхъ чувствахъ принять во всякомъ участіе, и, какъ тебя поставилъ Богъ на такой высотѣ, ты окажешь, сколько можешь, помощи; но по занятіямъ твоимъ, мой другъ, я боюсь, чтобъ ты не запамятовалъ...» и прочее.

Въ корзинкѣ подъ письменнымъ столомъ Сергѣя Андреевича было очень много этихъ «подтвержденій».

Самъ онъ писалъ рѣдко, раза два въ годъ, уже не помня ни о дняхъ именинъ и рожденій, ни о праздникахъ — писалъ тогда только, когда случалось дѣло, и никогда не поминалъ о protéges своей матери, какъ будто ни ихъ, ни рекомендацій о нихъ никогда не бывало. О сестрахъ тоже никогда ничего не говорилось—впрочемъ, по довольно уважительной причинѣ: о нихъ было нечего говорить. Сергѣй Андреевичъ былъ увѣренъ, что если умретъ которая нибудь, ему напишутъ, а на бракъ (обстоятельство болѣе нежели сомнительное) станутъ испрашивать его разрѣшенія... Онъ самъ однажды неожиданно увѣдомилъ свою матушку, что вступаетъ въ бракъ съ дѣвицей, дочерью дѣйствительнаго статскаго совѣтника (имя и фамилія не назывались, какъ лишнія послѣ титула), что этотъ бракъ совершится въ непродолжительномъ времени, и что, слѣдовательно, необходимы деньги. Любовь Сергѣевна испросила изъ опеки разрѣшеніе

продать на срубку рощу, составлявшую главную цѣнность имѣнія маленькой Кати. Такъ какъ сдѣлка дѣлалась на̀-скоро, то пришлось продавать почти за безцѣнокъ, а такъ какъ все это было «дѣло женское», то есть дѣлалось безъ толку, то рощу такъ хорошо вырубили, что въ ней не осталось даже и порядочныхъ пеньковъ, и прошло съ тѣхъ поръ много лѣтъ, а не выросло и прутика. Деньги были отосланы Сергѣю Андреевичу. Онъ долго не отвѣчалъ, пока, наконецъ, письма Любови Сергѣевны, начинавшіяся словами: «Успокой меня, мой другъ Серженька, насчетъ высланныхъ мною къ тебѣ восьми тысячъ рублей ассигнаціями...» не вывели его изъ себя, и онъ отвѣчалъ, конечно, очень основательно, что суммы, посылаемыя по почтѣ, не пропадаютъ, и что еслибъ случилось это, онъ написалъ бы давно. Любовь Сергѣевна удивилась, какъ такое простое соображеніе давно не пришло ей въ голову, и замѣтила, что Серженька «проказникъ». Спустя нѣсколько времени, она сообразила, что ей надо дать сыну свое родительское благословеніе и послала его въ письмѣ очень краснорѣчивомъ. Она выражала надежду, что ея другъ и сынъ, вмѣстѣ съ его прекрасной подругой (неизвѣстно почему, Любовь Сергѣевна воображала прекрасною невѣсту Сергѣя Андреевича: онъ ни слова не говорилъ о ея красотѣ), дадутъ ей пріютъ у себя, потому что съ дочерьми она жить не намѣрена. Отвѣта на это письмо не было. Сначала Любовь Сергѣевна хранила въ тайнѣ отъ дочерей женитьбу сына; но ей наконецъ наскучила таинственность, или, что вѣроятнѣе, вздумалось доказать дочерямъ, во сколько братъ умнѣе ихъ тѣмъ, что нашелъ себѣ невѣсту, тогда какъ онѣ не умѣли найти жениховъ. Она описала имъ, какъ хороша невѣста, какъ богата. Мечтать ей понравилось. Вотъ такъ-то Серженька повѣнчался, такой-то у него домъ, такое-то приданое у жены... Сообразивъ, что свадьба ужъ была, Любовь Сергѣевна сочинила поздравительное письмо и заставила обѣихъ дочерей писать тоже, поздравлять братца и рекомендоваться невѣсткѣ.

— Мы ему всѣмъ обязаны, говорила Любовь Сергѣевна: — нашъ долгъ почтить жену его; она глава въ домѣ, конечно, а не я.

Отвѣта не было. Спустя недѣли двѣ, Любовь Сергѣевна писала опять:

«Полагая, друзья мои и милыя дѣти, что письмо мое затерялось, поздравляю васъ снова и желаю согласія и счастья...» и прочее.

Прошло два мѣсяца. На второе подтвердительное поздравленіе Сергѣй Андреевичъ отвѣчалъ, что матушка могла бы и не торопиться поздравлять, что свадьбы не было и не будетъ, и что, слѣдовательно, смѣшно было спѣшить... Любовь Сергѣевна была поражена какъ громомъ. Она была жестока къ Прасковьѣ Андреевнѣ, которая все чему-то улыбалась.

Къ слѣдующимъ святкамъ, года чрезъ полтора, Сергѣй Андреевичъ прислалъ съ оказіей сестрамъ подарки: мантилью, шляпку и два пестрые галстучка, все нѣсколько поношенное и потерявшее фасонъ. Онъ не скрывалъ, что это были остатки его подарковъ, возвращенныхъ ему невѣстою послѣ того, какъ разошлась свадьба.

«Что было цѣннаго, я продалъ (прибавлялъ онъ), какъ-то: серьги, брошки, шали и тому подобное; были очень дорогія и прекрасныя вещи».

— На что намъ знать, что были дорогія вещи? сказала Прасковья Андреевна: — онъ бы лучше ихъ прислалъ, чѣмъ разсказывать!

— А на что онѣ тебѣ? возразила мать: — все вы недовольны, все вамъ больше подай! Ты и эту-то мантилью куда надѣнешь?

— Я ея никуда и никогда не надѣну, возразила Прасковья Андреевна.

Это было за четыре года до настоящаго пріѣзда Сергѣя Андреевича.

Онъ явился нечаянно, не предупредивъ заранѣе, что дѣлывалъ всегда прежде — явился въ осеннее ненастье, между обѣдомъ и сумерками, въ самое несносное время дня, когда какъ-то не то скучно, не то дремлется, когда хозяйкѣ затруднительно сейчасъ собрать обѣдать для голоднаго и прозябшаго пріѣзжаго. Пріѣзжій явился мраченъ. Кромѣ голода, сырости, толчковъ по проселку, непріятнаго впечатлѣнія отъ обветшалаго дома, страннаго впечатлѣнія отъ неожиданнаго свиданія, среди радостныхъ криковъ матери, суеты прислуги, молчаливыхъ входовъ и выходовъ сестеръ сконфуженныхъ, неубранныхъ — кромѣ всего этого, онъ, казалось, выносилъ нѣчто большее, горе не внѣшнее, но глубоко лежащее въ самой душѣ его. Домашніе, семья и мелкіе сосѣди привыкли видѣть на челѣ Сергѣя Андреевича спокойное и грозное величіе, заставлявшее потуплять взоры и повиноваться. Нынѣшній разъ величіе было то же, но къ нему примѣшивалось не презрѣніе, не равнодушіе, а какая-то грустная безучастность, заставлявшая смотрѣть на людскія

глупости безъ насмѣшки, безъ гнѣва, потому что какъ-то не то было въ головѣ, не до того, чтобъ осуждать, смѣяться или поучать: какъ хотятъ, такъ пусть и живутъ и дурачатся! Сергѣй Андреевичъ говорилъ мало, какъ-то тихо, какъ человѣкъ больной; пожаловался только, что его растрясло. Мать предложила ему пораньше лечь, отдохнуть съ дороги. Къ общему удивленію, Сергѣй Андреевичъ не возразилъ, что не имѣетъ привычки ложиться раньше двухъ часовъ, но всталъ, взялъ со стола свѣчу и вымолвилъ: «прощайте». Это было третье слово, которое онъ выговаривалъ съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ. Отправляясь почивать, онъ, противъ обыкновенія, даже не прогнѣвался, что не зажгли лампы, которую онъ привезъ въ предпослѣдній пріѣздъ нарочно для своей спальни — ни за что не разгнѣвался, только молчалъ и слегка охалъ.

Любовь Сергѣевна, щелкая туфлями, разъ десять ночью приходила къ его двери слушать это оханье.

Оно усилилось на другой день: у Сергѣя Андреевича заболѣла голова. Весь домъ повернулся вверхъ дномъ. Любовь Сергѣевна предлагала всевозможныя домашнія средства — Сергѣй Андреевичъ отказался отъ всѣхъ; она предлагала доктора — онъ сказалъ, что въ N* они всѣ дураки, что у него есть свое лекарство, которымъ онъ постоянно лечится. Мрачность его и всего дома дошла до высочайшей степени. Все безмолвствовало; были даже остановлены стѣнные часы, потому что стукъ ихъ раздражалъ нервы Сергѣя Андреевича. Наконецъ, въ самомъ ли дѣлѣ чувствуя себя хуже, или желая показать, что болѣзнь такъ мучительна, что онъ готовъ на все, Сергѣй Андреевичъ согласился на домашнее леченье. Тутъ возня поднялась такая, какой ожидать было уже невозможно послѣ всего, что было прежде. Одинъ Сергѣй Андреевичъ былъ попрежнему величавъ и неподвиженъ, лежа на диванѣ въ своей комнатѣ, или выходя въ гостиную, съ обвязанной головой, облеченный въ пестрый, шелковый халатъ, поводя кругомъ себя тусклыми взорами, будто никого и ничего не видя; эти взоры иногда останавливались на сестрахъ, удивленные, вопросительные, непонимающіе, ничего неузнающіе. Казалось, разумъ Сергѣя Андреевича помутился...

Въ одну подобную минуту Любовь Сергѣевна осмѣлилась подкрасться поближе и заглянуть ему въ лицо.

— Что вамъ надо? отрывисто спросилъ Сергѣй Андреевичъ.

— Я, ничего, другъ мой, Серженька... Что-жъ?.. Я — ничего. Такъ, я хотѣла видѣть, не задремалъ ли ты, другъ мой, успокоился ли...

Сергѣй Андреевичъ молча всталъ и ушелъ.

— Опасаюсь я за него, говорила вслѣдъ ему, шопотомъ, Любовь Сергѣевна своимъ дочерямъ:—такая странная болѣзнь...

Она продолжалась пятый день. Не безпокоились только Прасковья Андреевна, по отрицательному направленію своего характера, и Катя, девятнадцатилѣтняя дѣвочка, которая была всегда весела, довольна и беззаботна, потому что влюблена и помолвлена съ своимъ любезнымъ. Этотъ любезный былъ Александръ Васильевичъ Ивановъ, N-скій чиновникъ, съ крошечнымъ жалованьемъ, съ крошечнымъ состояніемъ, но молоденькій, хорошенькій, кончившій довольно успѣшно гимназическій курсъ и по экзамену недавно получившій первый чинъ. Этого важнаго событія дожидался онъ, чтобъ предложить свою руку Катеринѣ Андреевнѣ; сердце было уже давно предложено и принято. Когда дѣло дошло до офиціальнаго сватовства, Прасковья Андреевна, повѣренная всей этой любви, настояла, чтобъ мать согласилась и дала слово, не дожидаясь разрѣшенія братца. Прасковья Андреевна крѣпко приняла къ сердцу любовь своей Кати. Какъ, ребенка еще, берегла ее она отъ всякаго горя, такъ и теперь, обрадовавшись, что дѣвушка нашла милаго человѣка и придумала себѣ счастье, старшая сестра хлопотала только, чтобъ все это устроить. Ей помогла судьба. У Прасковьи Андреевны была богатая крестная мать; недавно, умирая, она завѣщала крестницѣ сумму въ пять тысячъ рублей, положенную въ N-скомъ приказѣ. Прасковья Андреевна объявила матери, что отдаетъ эту сумму въ приданое Катѣ. Неизвѣстно, на что надѣялась, или намѣревалась употребить эти деньги Любовь Сергѣевна; вѣроятнѣе всего, она сама не знала, на что онѣ были бы ей нужны; но, услыша рѣшеніе дочери, она была удивлена, поражена, поникла головою, будто лишалась чего-то, и покорилась очень грустно, сказавъ, что Прасковья Андреевна въ такихъ лѣтахъ, что имѣетъ право сама какъ хочетъ распоряжаться. Прасковья Андреевна пропустила это не возражая. Любовь Сергѣевна о чемъ-то долго плакала, и когда пришла къ ней какая-то сосѣдка, долго, съ неопредѣленными намеками жаловалась на свою горь-

кую участь. Вѣра была смущена и по какому-то трусливому чувству избѣгала случая говорить и оставаться наединѣ съ Прасковьей Андреевной. Прасковья Андреевна была хладнокровна, внутренно измучена и взбѣшена. Катя, избалованная попеченіями, эгоистка, какъ счастливыя дѣти, не замѣчала и не хотѣла замѣчать этой драмы, разыгрывавшейся за нее, и цѣлый день болтала и смѣялась съ своимъ женихомъ, сконфуженнымъ общей холодностью, но счастливымъ.

Любовь Сергѣевна написала сыну объ этой помолвкѣ. Письмо было полно извиненій, что распорядились безъ позволенія Серженьки, что Серженька не знаетъ жениха, что все это такъ скоро... наконецъ, Любовь Сергѣевна сама не знала въ чемъ извинялась, но письмо было горькое, и Серженька десять разъ назывался въ немъ «единственной отрадой» своей несчастной матери.

Сергѣй Андреевичъ не отвѣчалъ ни слова; онъ вскорѣ самъ пріѣхалъ. Въ одну изъ первыхъ минутъ этого внезапнаго и мрачнаго пріѣзда, пока Сергѣй Андреевичъ выходилъ изъ комнаты, Любовь Сергѣевна грозно обратилась къ дочерямъ, къ Прасковьѣ Андреевнѣ въ особенности:

— Вотъ что-то онъ скажетъ. Глупости вы ваши затѣяли... Можетъ быть, затѣмъ и пріѣхалъ.

Прасковья Андреевна возразила хладнокровно:

— Онъ затѣмъ не поѣдетъ.

Она первая рѣшилась и сказала братцу, что Катя невѣста.

— Я тебѣ писала, мой другъ... сказала жалобно Любовь Сергѣевна.

— Да-а... помню, отвѣчалъ Сергѣй Андреевичъ.

Онъ, видимо, ничего не помнилъ, но ни о чемъ не спросилъ больше. Онъ занемогъ къ вечеру, какъ уже извѣстно.

Жениха онъ не видалъ. Александръ Васильевичъ пріѣзжалъ къ невѣстѣ только по субботамъ, или наканунѣ праздниковъ, когда въ городѣ кончались присутствія, пробывалъ праздникъ и уѣзжалъ на зарѣ другого дня, совершенно какъ ученикъ на вакантные дни, и то еще стоило слишкомъ дорого по его ограниченнымъ средствамъ.

Вечеръ, который мы начали разсказывать, былъ субботній. Катя ждала жениха, просто, для удовольствія его видѣть; Прасковья Андреевна если и безпокоилась насчетъ его представленія братцу, но ничего не говорила, Вѣра была въ тревогѣ... Но ожиданія и тревога были напрасны: Ивановъ не пріѣхалъ. Когда дождь, темнота и позднее время достаточно доказали, что ждать больше нечего, Катя заплакала и ушла спать, какъ нетерпѣливый и избалованный ребенокъ, настучавъ и своимъ кресломъ, которое отодвинула въ досадѣ, и дверьми, которыя всѣ скрипѣли и хлопали, и досками пола, которыя въ корридорѣ шевелились подъ ногами проходящихъ.

Любовь Сергѣевна, въ ужасѣ, почти вбѣжала въ гостиную, гдѣ оставались старшія дочери.

— Господи! вскричала она:—кто здѣсь? что такое случилось?

— Ничего, отвѣчали дочери.

— Я думала, съ умасшедшая эта полетѣла встрѣчать обожателя своего. Боже ты мой!.. того гляди прикатитъ ночью, весь домъ подниметъ, важная особа такая! Срамъ, просто, сказать, за кого идетъ...Брата что̀ поразило, какъ не это? Оттого и слегъ. Только забылся, какъ вдругъ гвалтъ тутъ поднялся...

Любовь Сергѣевна долго еще держала рѣчь, пока часы не пробили десять; Прасковья Андреевна сложила работу и сказала, вставая:

— Покойной ночи, маменька.

Вѣра сдѣлала то же; обѣ поцѣловали руку у матери и ушли.

Мать еще долго вздыхала, охала и даже принималась плакать, укоряя кого-то въ своихъ горестяхъ... Она постоянно горевала, любя только своего Серженьку, надѣясь только на него; судьба, какъ нарочно, заставила ее жить розно съ этимъ сокровищемъ, постоянно не отвѣчавшимъ ни слова на ея намеки, на прямыя выраженія желанія, наконецъ, на просьбы позволить ей пріѣхать и жить съ нимъ, оставя дочерей жить однѣхъ, какъ имъ угодно — идолъ былъ глухъ къ мольбамъ, какъ глухи всѣ вообще идолы... Можетъ быть, какія нибудь размышленія по поводу этихъ отвергнутыхъ моленій, отвергнутыхъ ласкъ, разныхъ неудовольствій, въ разныя времена выраженныхъ Сергѣемъ Андреевичемъ, и приходили на умъ Любови Сергѣевнѣ; можетъ быть, оттого ей и было такъ горько, но она была упряма въ своемъ обожаніи, и отчего бы ни было ей тяжело, она увѣряла себя, что страдаетъ не отъ своей «единственной отрады», а отъ другихъ... Богъ знаетъ, почему Любовь Сергѣевна всегда считала дочерей своихъ въ чемъ-то себѣ помѣхой.

Въ настоящую минуту у нея были гото-

вые предлоги тревожиться, обвинять, гнѣваться и, какъ почти всегда бываетъ, милосердно желать, чтобъ все это «отозвалось и получило свое воздаяніе». Эти предлоги были—сватовство Кати и деньги Прасковьи Андреевны. Любовь Сергѣевна находила, что то и другое огорчаетъ ее смертельно, и въ тишинѣ ночной принимала разныя намѣренія, которыя непремѣнно рѣшалась исполнить поутру... Въ чемъ состояли эти намѣренія—Любовь Сергѣевна сама бы затруднилась растолковать; она рѣшилась только «все высказать Серженькѣ...»

Что такое было это «все»—никто, ни сама Любовь Сергѣевна не могла бы объяснить. Бываютъ характеры, никогда ничѣмъ недовольные, создающіе себѣ несчастье, неудобства, странныя отношенія къ окружающимъ, все ожидающіе чего-то, непокойные, любящіе страшно много толковать о пустякахъ, но, Богъ-вѣсть, любящіе ли кого нибудь. Эти люди съ вида очень чувствительны, но внутренно чувствительны только для самихъ себя; эгоистами назвать ихъ нельзя, потому что они вѣчно скрипятъ и охаютъ за другихъ; но надо знать, какъ бываютъ они озлоблены на тѣхъ, о комъ хлопочатъ и жалѣютъ, какъ будто тѣ виноваты, что о нихъ взялись жалѣть и охать. Эти люди озлоблены, все ожидая благодарности, такъ же, какъ ждутъ они отъ всего и всѣхъ прибыли, подарка, вознагражденія—чего нибудь. Ихъ нельзя назвать жадными: они говорятъ, что ничего не желаютъ; но все, что имѣютъ или пріобрѣтаютъ другіе, кажется имъ отнятымъ у нихъ: они все плачутся... Эти люди иногда среди другихъ людей выбираютъ себѣ привязанность—и всегда выборъ бываетъ неудаченъ; изъ противорѣчія, изъ того, что другіе говорятъ, что такой-то дуренъ, они берутъ именно этого человѣка себѣ въ друзья, говоря съ самоуниженіемъ, не лицемѣрнымъ, но озлобленнымъ: «Для меня и то хорошо». Иногда возраженіе дѣлается иначе: «Его всѣ ненавидятъ; со мной, по крайней мѣрѣ, ему будетъ съ кѣмъ слово сказать...» Съ вида—чувство доброе и смиренное; но тотъ не ошибется, кто сочтетъ его за осужденіе всѣхъ этихъ ненавистниковъ и гордецовъ, которые отталкиваютъ отъ себя человѣка... За то, выбравъ друга, эти люди не знаютъ ему предъ другими цѣны и мѣры; наединѣ сами съ собой они размышляютъ, что этотъ другъ ими манкируетъ и прочее...

Любовь Сергѣевна имѣла не друга, но предметъ обожанія—своего Серженьку. Боже сохрани того, кто бы осмѣлился усомниться, что Серженька геній; но она начинала находить, что этотъ геній, вѣроятно, за недосугомъ, любитъ ее мало, и какъ будто онъ ея вовсе не уважаетъ. «И то сказать, что я такое? выговаривала она почти вслухъ»: но чѣмъ же я заслужила, чтобъ мой сынъ, единственное мое сокровище одну меня покинулъ?..»

За что и почему не любила она дочерей—Богъ-вѣсть. Онѣ никогда не подали ей повода гнѣваться. Вѣра была добра и, не раздумывая, горячо любила мать. Прасковья Андреевна была всегда серьезна, иногда противорѣчила, но на такія малости не стоило обращать вниманія, а противорѣчія были всегда дѣльны и необходимы. Любовь Сергѣевна могла бы любить старшую дочь за совѣты и помощь во всякомъ затрудненіи, но именно за это она ее еще меньше любила: исполняя, послѣ страшныхъ споровъ, сценъ, непріятностей, что нибудь, очевидно дѣльное и полезное, Любовь Сергѣевна кричала, что она несчастная, что у нея нѣтъ своей воли ни въ чемъ, что ее забрали въ руки и прочее, все столько же утѣшительное для той, которая подала совѣтъ и настояла, чтобъ ему послѣдовали для общаго спокойствія... Притомъ Любовь Сергѣевна была какъ-то мелко подозрительна; ей мерещились какіе-то семейные уговоры «партіи», хотя, казалось бы, мудрено раздѣлить еще на партіи такое немногочисленное семейство, какъ она и ея три дочери, изъ которыхъ одна была ребенокъ, а другая вѣчно всего трепетала. Но Любовь Сергѣевна такъ опасалась, такъ не была ни въ комъ увѣрена, что возвышалась даже до подслушиванія...

Оставшись одна, поплакавъ, она обошла опять весь домъ, послушала у дверей возлюбленнаго сына, посмотрѣла въ окно и еще грустно поохала, увидя полосы свѣта, падавшія сверху, изъ оконъ мезонина, гдѣ жили дочери. Ей показалось, что онѣ о чемъ-то совѣщаются... Пожелавъ, чтобъ онѣ сами рано или поздно извѣдали, каково ей, она покойно заснула.

III.

На утро Катя была внезапно, съ-просонка, обрадована извѣстіемъ, что Александръ Васильевичъ пріѣхалъ и уже сидитъ въ залѣ, одинъ. Поскорѣе одѣвшись, она побѣжала къ нему.

— Какъ же это не стыдно? Я ждала вчера до полночи! вскричала она, обнимаясь съ нимъ:—не случилось ли съ тобою чего нибудь?

— Случиться ничего не случилось, отвѣчалъ Ивановъ:—а я ночевалъ на дорогѣ, верстахъ въ пяти отсюда, въ Высокомъ; меня везти не взялись въ темноту. Ну, какъ поживаешь? къ вамъ братъ пріѣхалъ?

— А ты почему знаешь? спросила Катя.

— Люди ваши сказали. Да въ городѣ давно знаютъ, что онъ пріѣхалъ; у насъ въ палатѣ говорили.

— Вамъ въ палатѣ до него какое дѣло?

— Какъ же не знать! такой важный человѣкъ! отвѣчалъ Ивановъ.—Вотъ что я скажу тебѣ, милочка: напой меня чаемъ, позволь покурить и потолкуемъ.

— Чай еще рано; братецъ не вставалъ, возразила Катя.

— Что за бѣда? Попроси; няня похлопочетъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, нельзя; что прежде можно, того теперь нельзя; теперь ни я, ни няня, никто ничѣмъ не смѣетъ распоряжаться: какъ маменька прикажетъ, какъ братецъ прикажетъ...

— Дѣлать нечего. А какъ я прозябъ! Знаешь, изморозь какая-то идетъ, холодно и вѣтеръ...

— Душечка моя! а шинель на тебѣ холодная?

— Я мѣховой воротникъ пришилъ: вотъ ты посмотришь, очень хорошо. Теплую еще не скоро сошью.

— Саша!.. сказала Катя, молча поглядѣвъ на него нѣсколько минутъ, въ теченіе которыхъ у нея начали навертываться слезы на глаза.

— Что?

— Саша, мы съ тобой вовсе не миліонщики...

— Вотъ новость сказала! Такъ что-жъ?

— Какъ что-жъ? Нехорошо.

— Ты, кажется, хочешь плакать? Что это такое? Стыдно! Полно, милочка; пожалуйста, полно; иначе ты меня огорчишь, ты меня лишишь бодрости... право, полно!

Ивановъ очень серьезно успокоивалъ свою будущую подругу.

— Ты знаешь, что моя обязанность заботиться... И съ чего тебѣ это вдругъ пришло въ голову? Во-первыхъ... давай считать: у тебя есть приданое?

— Есть.

— У меня есть домъ—развѣ это мало?

— Старенькій, возразила Катя.

— Все порядочный, съ садомъ, не на глухой улицѣ; половина въ наймы отдается, есть гдѣ жить... Вѣдь тебѣ въ немъ нескучно будетъ жить?

— Съ тобой-то? Конечно.

— Ну, и слава Богу! Вѣдь я служу, получаю жалованье... Знаешь, меня обѣщали помощникомъ столоначальника сдѣлать?

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Право; еще вчера я къ старшему совѣтнику бумаги носилъ на домъ, такъ онъ мнѣ говорилъ: къ новому году непремѣнно. Всего два мѣсяца подождать... да награжденіе дадутъ... Какъ же люди-то живутъ? развѣ всѣ богачи? Сосчитай, много ли богатыхъ на свѣтѣ?

— Саша, да тебѣ трудно будетъ...

— Вотъ это ужъ ты вздоръ говоришь, не прогнѣвайся! Что же? развѣ ты меня какъ нибудь разорять будешь? Милая ты моя! я для тебя готовъ... не знаю на что!

— Полно тоже вздоръ говорить, я до смерти не люблю.

— Ну, послушай: теперь твой братъ здѣсь; ты знаешь, какой онъ сильный человѣкъ; его у насъ, въ городѣ, служащіе просто всѣ боятся; ему стоитъ слово сказать—мнѣ мѣсто дадутъ, на чинъ мой не посмотрятъ, за отличіе представятъ. Развѣ онъ за насъ не постарается?

— Это, Саша, плохая надежда.

— Вы ему говорили про меня?

— Конечно, говорили.

— Что-жъ онъ?

— Ничего не сказалъ.

— Ни слова?

— Вѣдь ему и прежде писали, ты знаешь—ну, ни слова. Онъ какъ пріѣхалъ, все, говорятъ, боленъ, и такой сердитый... Охъ, Саша!..

— Бѣда... сказалъ, задумавшись, Ивановъ: — онъ еще, можетъ быть, скажетъ, что я тебѣ не пара; можетъ быть, имѣетъ кого нибудь въ виду для тебя...

— Это не безпокойся! вскричала весело Катя: — куда я гожусь за чиновнаго да за петербургскаго? Я по-французски говорю... самъ ты говоришь, что меня переучить надо; манеръ у меня никакихъ; таланты... умѣю хозяйничать—только и всего...

— Полно, прервалъ Ивановъ:—захочешь наговорить на себя незнаю чего, такъ наговоришь. Еслибъ ты была и страшна собой, и необразована, и глупа, и то всякій былъ бы радъ породниться съ твоимъ братомъ. И онъ, вѣрно, тоже разсчитываетъ... Всякому связи нужны; кто выше стоитъ, тому, пожалуй, еще больше нужны. Мы, маленькіе люди, какъ нибудь продержимся и сами собой, а тѣ, большіе, все другъ другомъ держатся. Твой братъ, можетъ быть,

чрезъ тебя разсчитываетъ съ кѣмъ нибудь сблизиться для своихъ выгодъ; ты можешь для него устроить...

— Охъ, сдѣлай милость, перестань! вскричала Катя, хохоча: — что я принцесса, что ли, какая? Видите, моей руки будутъ искать! видите, я такая умница, буду дѣла устроивать!.. Полно, голубчикъ мой, перестань толковать о томъ, чего быть не можетъ; ни за кого меня братецъ не отдастъ, а надо одного у Бога молить, чтобъ онъ для тебя что нибудь сдѣлалъ.

— Поговорилъ бы только за меня. А, впрочемъ, Богъ съ нимъ! Мнѣ, пожалуй, ничего отъ него не нужно — самъ какъ нибудь справлюсь... Знаешь что, милочка? Я закурю немного, погрѣюсь.

— Ну, погрѣйся, сказала она, побѣжала ему за спичками, принесла, зажгла, поцѣловала его, пока онъ закуривалъ папиросу, и сѣла къ нему поближе.

Они очень пріятно проводили время, говоря пустяки, занимательные только для людей въ ихъ положеніи, смѣясь тому, чему другіе, вѣроятно, не подумали бы даже улыбнуться.

— Батюшки, дымъ столбомъ! сказала, входя, Любовь Сергѣевна.

Она нѣсколько преувеличивала, потому что дыма вовсе не было: папироса Иванова погасла, едва бывъ зажжена, а Ивановъ, заговорившись, забылъ о ней. Но Любовь Сергѣевна видѣла свѣчку, видѣла спички, знала, что тутъ есть юноша, имѣющій привычку курить — и этого было довольно для того, чтобъ заставить ее чихать и отмахиваться платкомъ.

— Здравствуйте, маменька! сказалъ Ивановъ, вслѣдъ за Катей подходя цѣловать ея руку.

Старуха не поцѣловала его въ голову или щеку, какъ водится, а слегка ткнула ему въ носъ своей рукой, торопливо обращаясь къ дверямъ.

— Что же самоваръ не несутъ, Аѳанасья? закричала она:—баринъ вчера не ужиналъ; Бога въ васъ нѣтъ!.. Серженька, другъ мой, какъ ты себя чувствуешь?

Сергѣй Андреевичъ входилъ въ эту минуту, въ длиннѣйшемъ тепломъ пальто, застегнутомъ на всѣ пуговицы и обрисовывавшемъ его фигуру, невысокую, плотную, весьма нестройную, но совершенную фигуру чиновника, и притомъ еще съ вѣсомъ. Его лицо было ни блѣдно, ни румяно, а какого-то тускло-лиловатаго цвѣта; глаза блѣдно-зеленоваты и опухлы, какъ слѣдуетъ у человѣка, занятаго кабинетными трудами осанка очень величава, хотя такъ отчетлива, приготовлена, натянута, что можно было подумать, будто Сергѣй Андреевичъ движется посредствомъ винтовъ и пружинъ. Именно эта неприступная нечеловѣчность и внушала такое благоговѣніе провинціальнымъ жителямъ и чиновникамъ, выросшимъ и воспитавшимся въ провинціи: они мнили видѣть нѣчто высшее обыкновенныхъ смертныхъ въ этомъ существѣ, не имѣвшемъ, повидимому, съ ними ничего общаго. Въ предпослѣдній пріѣздъ Сергѣя Андреевича, когда онъ ревизовалъ какой-то уѣздный судъ, величественная наружность этого сановника такъ поразила секретаря, что онъ лишился употребленія языка, и на всѣ вопросы Сергѣя Андреевича могъ только выговорить: «ваше превосходительство...» Сергѣй Андреевичъ замѣтилъ ему, весьма мягко и учтиво, что онъ не имѣетъ права носить этого титула, и что ему, секретарю, робѣть нечего. «Еслибъ я и былъ генералъ — вамъ все равно; вы развѣ ихъ никогда не видали? у васъ предводитель генералъ». — «Ваше превосходительство, онъ у насъ домашній»... возразилъ секретарь. Сергѣй Андреевичъ съ удовольствіемъ разсказывалъ этотъ «анекдотъ» своимъ петербургскимъ знакомымъ...

При входѣ этого лица, Ивановъ сконфузился. Онъ былъ вовсе не робокъ, служилъ недавно и потому не успѣлъ пріобрѣсти боязни старшихъ, боязни, которая между чиновниками чаще усиливается, нежели проходитъ съ годами; Ивановъ былъ еще школьникъ, еще самостоятеленъ. Онъ конфузился, потому что семья его невѣсть что заранѣе натолковала ему о братцѣ, потому что въ N* натолковали ему, что этотъ господинъ «горами ворочаетъ». Наконецъ мысль: «сдѣлаетъ ли онъ что нибудь для меня?»—мысль тревожная и особенно мучительная, когда приходится имѣть ее въ двадцать-два года— смяла молодого человѣка до смущенія. Онъ поклонился Сергѣю Андреевичу, который осторожно кивнулъ ему головою, взглянулъ на него вопросительно и вмѣстѣ равнодушно, выждалъ секунду, какъ важное лицо выжидаетъ при поклонѣ посѣтителя, и видя, что ни о чемъ не просятъ, направился къ столу, гдѣ старый буфетчикъ ставилъ самоваръ и чашки.

Любовь Сергѣевна слѣдила за сыномъ съ видомъ сокрушеннымъ и почему-то умоляющимъ о прощеніи.

— Сколько разъ я говорилъ, что не могу видѣть цвѣтной скатерти на чайномъ столу!

сказалъ Сергѣй Андреевичъ глухо и отрывисто и не обращаясь ни къ кому особенно.

— Сколько разъ, въ самомъ дѣлѣ, говорили! заговорила, суетясь, Любовь Сергѣевна буфетчику. — Перемѣни сейчасъ, все долой сейчасъ...

— Гдѣ же масло? тартинки? что нибудь, наконецъ? продолжалъ Сергѣй Андреевичъ съ возроставшей энергіей человѣка, у котораго разыгрывается апетитъ и съ нимъ вмѣстѣ желаніе браниться.

— Гдѣ-жъ все? шумѣла Любовь Сергѣевна.—Другъ мой, успокойся, не разстраивай себя, береги свое здоровье... Да гдѣ же барышни? Что онѣ дѣлаютъ? неужели все спятъ? Ступай, скажи имъ тотчасъ...

— Немножко поздно — до десяти, замѣтилъ Сергѣй Андреевичъ съ тонкой ироніей.

— Право, ни на что непохоже! воскликнула Любовь Сергѣевна.

Катя и Ивановъ были совершенно забыты. Молодая дѣвушка краснѣла и блѣднѣла; наконецъ, вдругъ рѣшилась, взяла жениха за руку и подвела его къ Сергѣю Андреевичу.

— Братецъ... сказала она: — вотъ мой женихъ, Александръ Васильичъ Ивановъ.

Любовь Сергѣевна взглянула на нее съ ужасомъ и едва не обварила себѣ руки кипяткомъ, который наливала.

Сергѣй Андреевичъ мѣшалъ ложечкой чай, попробовалъ его, нашелъ, что несладко, прибавилъ сахару, который мать кинулась подавать ему, и, попробовавъ еще разъ, промолвилъ:

— Очень радъ.

И, не прибавляя ничего болѣе, принялся за сухари и крендели.

— Садись, Саша, сказала Катя, подавая себѣ и Иванову стулья къ чайному столу.

Сергѣй Андреевичъ учтиво отодвинулъ ноги, которыя мѣшали Иванову. Вѣроятнѣе, впрочемъ, что онъ это сдѣлалъ не столько изъ учтивости, сколько для собственнаго спокойствія.

Любовь Сергѣевна молчала; лицо ея выражало страданіе; минутами на ея глазахъ навертывались слезы; она устремляла на сына взоры, которыми, казалось, хотѣла выразить, что онъ видитъ образчикъ мученій, выносимыхъ ею всякій день... Она очень долго заставила ждать Иванова, пока, наконецъ, удовлетворивъ Серженьку третьимъ стаканомъ, налила Иванову чашку какой-то блѣдной жидкости.

— Пожалуйста, ужъ не курите, сказала она ему, указывая глазами на Сергѣя Андреевича:—голова у него слаба; горячка начиналась; едва прервали...

Сергѣй Андреевичъ счелъ приличнымъ заговорить съ Ивановымъ.

— Вы служите?

— Да, служу.

— Гдѣ?

— Въ палатѣ государственныхъ имуществъ.

— Въ какомъ отдѣленіи?

— Въ хозяйственномъ.

— Въ которомъ столѣ?

— Въ четвертомъ.

— По межеванью?

— Да.

— У васъ управляющій новый, недавно?

— Да, Ливонскій, прекраснѣйшій человѣкъ.

— Я его не знаю лично; слышалъ о немъ, отвѣчалъ загадочно Сергѣй Андреевичъ..

— Отличный человѣкъ, продолжалъ Ивановъ: — его у насъ всѣ полюбили, хотя и строгъ.

— Какъ же это? вмѣшалась Катя, чтобъ поддержать разговоръ, потому что братецъ замолчалъ:—строгъ, а его любятъ?

— Любятъ хорошіе люди, отвѣчалъ ей Ивановъ: — а кто похуже, тѣ притворяются, будто любятъ. Нельзя же противъ общаго голоса говорить, что хорошій человѣкъ не по-сердцу — совѣстно; это ужъ значитъ самого себя явно показывать дурнымъ.

Сергѣй Андреевичъ все молчалъ.

Любовь Сергѣевна нашла, что Ивановъ ужъ слишкомъ разговорился и, кажется, сбирается противорѣчить Серженькѣ.

— Я думаю, начальнику вашему все равно, что бы вы о немъ ни думали, замѣтила она рѣзко и кисло.

Вѣра вошла, поздоровалась; но ея прибытіе не оживило бесѣды, даже не прибавило шума въ комнатѣ, она умѣла ходить, придвигать себѣ стулья, браться за вещи какъ тѣнь — тихо, мѣрно, осторожно, чтобъ не обезпокоить другихъ и скрыть свое присутствіе; страхъ былъ у нея постояннымъ чувствомъ. Сѣвъ къ столу, Вѣра нѣсколько разъ вздрагивала, когда, взглянувъ на братца, встрѣчала его взглядъ, но не говорила ни слова и, поскорѣе выпивъ чашку чая, встала такъ же осторожно и пошла къ своимъ пяльцамъ.

Прасковья Андреевна явилась вскорѣ послѣ нея.

— Что-жъ, Катя, спросила она, послѣ обыкновеннаго здорованья: — познакомила ты Александра Васильича съ братцемъ?

— Да, отвѣчала Катя.

— Видите ли, братецъ, продолжала Прасковья Андреевна: — мы теперь въ своей семьѣ, то можно прямо говорить: вы прекрасно сдѣлали, братецъ, что пріѣхали; вы намъ поможете въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ.

Любовь Сергѣевна смотрѣла на нее съ отчаяніемъ.

— Я не знаю, въ какихъ обстоятельствахъ я долженъ вамъ помочь, возразилъ серьезно Сергѣй Андреевичъ: — но только заранѣе предупреждаю васъ — не въ денежныхъ, потому что я, какъ всякій порядочный чиновникъ не изъ трущобы какой нибудь, взятокъ не бралъ, жилъ жалованьемъ; а въ Петербургѣ жизнь дорога: стало быть, капиталовъ у меня быть не можетъ.

— Капиталовъ намъ не нужно, начала съ улыбкой Прасковья Андреевна, видимо принуждая себя быть любезной съ братцемъ.

— А я полагаю, они-то именно и нужны, прервалъ Сергѣй Андреевичъ: — я не позволяю себѣ, конечно, вмѣшиваться, подавать совѣты, устроивать и разстроивать, а я такъ, просто, спрошу... такъ какъ это ужъ рѣшено, безъ сомнѣнія, съ согласія маменьки...

— О, мой другъ!.. протяжно воскликнула Любовь Сергѣевна такимъ тономъ, что было ясно, что она протестуетъ.

— Безъ сомнѣнія, маменька объяснила и Катеринѣ и... вамъ, продолжалъ Сергѣй Андреевичъ, слегка обратясь къ Иванову: — что у Катерины состояніе очень ограниченно, запутано, разстроено — вы это знаете?

— Я... слышалъ, отвѣчалъ, сконфузясь, Ивановъ, которому никогда ничего не объясняла Любовь Сергѣевна, но который зналъ все довольно подробно. Болѣе всего его конфузилъ офиціальный тонъ братца.

— Какіе же ваши планы? продолжалъ спрашивать Сергѣй Андреевичъ: — чѣмъ же будете жить?

Ивановъ вспыхнулъ; подобный вопросъ, самъ по-себѣ щекотливый, въ особенности щекотливъ для человѣка молодого.

— Можно жить со всякимъ состояніемъ, отвѣчалъ онъ.

Сергѣй Андреевичъ проглотилъ чаю и усмѣхнулся, прикрываясь стаканомъ.

— Я къ тебѣ писала, мой другъ Серженька, сказала Любовь Сергѣевна: — что это тутъ затѣялось... такъ скоро, что я не успѣла и опомниться. Теперь, мой другъ, какъ ты самъ рѣшишь, а я больше не могу!..

Катя взглянула на свою старшую сестру.

— Братцу тутъ нечего рѣшать, маменька, тихо возразила Прасковья Андреевна: — вы знаете, что вы своимъ согласіемъ составляете счастье Кати и Александра Васильича: стало быть, тутъ и говорить больше нечего. О состояніи ихъ, братецъ, можете также не безпокоиться: я отдаю Катѣ мои деньги, что мнѣ отъ крестной матери оставлены; имъ будетъ чѣмъ съ избыткомъ прожить.

— Я тебѣ писала, мой другъ, сказала еще разъ Любовь Сергѣевна.

— Какъ великъ вашъ капиталъ? спросилъ Сергѣй Андреевичъ сестру.

— Пять тысячъ рублей серебромъ, отвѣчала она.

— Капиталъ!!.. повторилъ сквозь зубы Сергѣй Андреевичъ.

— Въ столицахъ деньги дешевы, братецъ, возразила Прасковья Андреевна: — а здѣсь это хорошій капиталъ.

— Можетъ быть, сказалъ онъ.

— И очень. Посмотрите, здѣсь женятся служащіе, и меньше этого берутъ.

— Можетъ быть; не знаю.

— Конечно, братецъ, какъ кто станетъ жить...

— Вы точно меня усовѣщеваете, прервалъ онъ: — мнѣ-то что же? Если вамъ угодно знать мое мнѣніе...

— Мы хотѣли просить васъ, братецъ, прервала въ свою очередь Прасковья Андреевна: — чтобъ вы постарались объ одномъ: мѣсто бы получше, повиднѣе Александру Васильичу. Вамъ это такъ легко... Что-жъ, онъ, въ самомъ дѣлѣ, только писаремъ...

Сергѣй Андреевичъ улыбнулся и, повернувшись къ ней спиной, облокотился о столъ.

— То есть, вы не хотите ни мнѣнія, ни совѣта, а требуете помощи, проговорилъ онъ: — такъ!.. Какъ вы думаете, легко это — достать мѣсто? вдругъ рѣзко спросилъ онъ Иванова.

— Каково мѣсто, отвѣчалъ Ивановъ: — вамъ, я думаю, никогда не трудно, особенно такое неважное мѣсто, какое бы желалъ я...

Онъ покраснѣлъ, сказавъ это.

— Вы понимаете, что нужно дѣлать для этого? продолжалъ спрашивать Сергѣй Андреевичъ.

— Сказать тѣмъ, отъ кого зависитъ...

— То есть, попросить ихъ?

— Да.

— У меня есть правило—никогда не просить. Вы понимаете, я слишкомъ важенъ, чтобъ просить; я не долженъ терпѣть, если мнѣ откажутъ. Я буду просить замѣстить писаря; если какой нибудь совѣтникъ или предсѣдатель не уважитъ моей просьбы, я долженъ столкнуть съ мѣста этого совѣтника или предсѣдателя... Вы понимаете эти отношенія, этотъ point d'honneur—вы понимаете?

— Но, братецъ, вмѣшалась Прасковья Андреевна:—зачѣмъ же вамъ просить? Тутъ не нужно ни просьбъ, ни хлопотъ, ни чего нибудь такого, чтобъ могли счесть, что вамъ дѣлаютъ одолженіе. Просто, чтобъ только обратили вниманіе на заслуги...

— На чьи заслуги?

— На заслуги... вообще на Александра Васильича.

— Это называется рекомендовать. Я долженъ быть увѣренъ въ томъ, кого рекомендую.

— Но развѣ вы неувѣрены, братецъ?..

— Не безпокойтесь, сдѣлайте одолженіе, прервалъ ее Ивановъ:—я не желаю ничѣмъ затруднять Сергѣя Андреича.

Сергѣй Андреевичъ засмѣялся.

— Вотъ, видите ли, сказалъ онъ очень пріятно Иванову:—женщины ничего не понимаютъ. Послѣ всего, что я говорю, она еще готова настаивать! Вы не можете вообразить, что такое имѣть дѣло съ дамами! Въ вашей палатѣ ихъ не бываетъ, нѣтъ?

— Нѣтъ... отвѣчалъ Ивановъ, озадаченный этимъ вдругъ развязнымъ тономъ.

— Дамы — это бѣда! съ просьбами, съ пенсіями... дай имъ невозможное, вотъ какъ она...

Любовь Сергѣевна была въ восхищеніи, что Серженька такъ внезапно одушевился.

— Я васъ не понимаю, братецъ, сказала Прасковья Андреевна.

— Ну, я не виноватъ, сказалъ онъ, вдругъ также внезапно омрачившись, всталъ изъ-за стола и вышелъ.

День прошелъ, по обыкновенію, однообразно и томительно; даже Ивановъ и Катя были невеселы, не смотря на то, что Прасковья Андреевна, нѣсколько разъ застававшая ихъ въ молчаніи и раздумьи, говорила имъ:

— Полно вамъ! какія вы еще дѣти! мало ли что бываетъ на вѣку, такъ обо всемъ и горевать?

Сергѣй Андреевичъ былъ такъ сумраченъ и грозенъ, что пройти мимо него было страшно. Какъ нарочно, онъ не удалился въ свою комнату, но удостоивалъ сидѣть въ гостиной съ матерью и старшими сестрами, или вдругъ появлялся въ залѣ, гдѣ были женихъ и невѣста, прохаживался, бросая взоры на столбы, поддерживавшіе потолокъ, и останавливался въ нѣмомъ и загадочномъ созерцаніи этихъ столбовъ.

— Крышу надо бы поправить, Серженька, раздавался дрожащій голосъ Любови Сергѣевны изъ гостиной... Что ты говоришь, мой другъ? спрашивала она, не дождавшись не только отвѣта, но и вопросительнаго междометія.

— Я ничего не говорю, произносилъ Сергѣй Андреевичъ.

— Нѣтъ, я о крышѣ. Все денегъ нѣтъ... Охъ, ты, Боже мой, Боже мой, Боже мой!.. А тутъ еще...

Остальное старуха какъ-то шептала, или ворчала между вздохами.

Ивановъ уѣхалъ рано, даже не дождавшись вечера: ночевать онъ не смѣлъ остаться. Катя провожала его, умоляя не засѣсть въ какомъ нибудь оврагѣ и лучше ночевать на дорогѣ. Любовь Сергѣевна и Сергѣй Андреевичъ слышали это и никто не сказалъ ни слова.

И опять точно также протянулось нѣсколько дней...

Всякое правильное развитіе, говорятъ, должно совершаться медленно, не торопясь, безъ скачковъ. Отчего же у людей, чья жизнь идетъ однообразно, безъ потрясеній и видимыхъ переворотовъ, складывается по большей части тяжелый и скучный характеръ? отчего для нихъ не бываетъ счастья? Ихъ энергія переходитъ въ упрямство, и это упрямство проявляется въ пустякахъ, въ брюжжаньи, въ мелкомъ притѣсненіи; ихъ мужество полно эгоизма, состраданіе въ нихъ умерло отъ скуки; если осталась доброта сердца, она какая-то пассивная, покорная, неспособная волноваться за другихъ, неспособная негодовать, предлагающая въ утѣшеніе одно терпѣніе... потому что сама отерпѣлась и, при концѣ жизни, вынесла всю тоску жизни, не находя въ себѣ уже ни силъ, ни желанія противиться тоскѣ и освободиться отъ нея; она воображаетъ, что и другіе могутъ перенести такъ же легко... Такова, съ рѣдкимъ исключеніемъ, большая часть людей, проживших даромъ... Обвинять ихъ, конечно, нельзя: не всегда они виноваты. Скажутъ: кто-жъ

мѣшалъ имъ въ молодости, когда еще кипѣли силы и волновалась, и возмущалась душа, рѣшиться на что нибудь, на какой нибудь выходъ изъ положенія, которое неминуемо должно было убить ихъ нравственно и не принести никакой видимой радости? Кто мѣшалъ? А средства? Кто перечислитъ, сколько путаницъ разныхъ мелкихъ отношеній, нѣжнѣйшей деликатности, матеріальной невозможности, задерживая этихъ несчастныхъ людей въ ихъ глуши, въ ихъ средѣ, въ ихъ скукѣ, задерживала до конца нравственной жизни, когда уже прошла охота, да уже и не къ чему было?..

Случалось, бывали примѣры—эти страшныя насмѣшки судьбы — что возможность счастья являлась именно тогда, когда усталому тѣлу хотѣлось только мягкой постели, а заморенной душѣ — безлюдья и тишины...

А до тѣхъ поръ все одно и то же, да одно и то же: вставанье рано утромъ, ни зачѣмъ, ни за какимъ дѣломъ, а такъ, потому что, говорятъ, надо вставать рано; питье и ѣда, потому что безъ этого человѣкъ не живетъ, хотя ясно, какъ день, что такъ ему жить не зачѣмъ; какое нибудь мелкое занятіе, всегда мелкое относительно огромной идеи жизни, а тутъ еще мельче, потому что состоитъ въ заботахъ объ этомъ житьѣ-бытьѣ, объ устройствѣ этого житья-бытья... Всякій шагъ, всякій поступокъ не ведетъ ни къ чему, всякое дѣло—бездѣлье; а между тѣмъ, это жизнь...

Никто никогда не имѣлъ терпѣнія слѣдить за собой или за другими, чтобъ видѣть и опредѣлить вѣрнѣе годъ, день, когда въ такомъ состояніи человѣкъ изъ существа живущаго сталъ превращаться въ существо ненужное... Къ счастью (это сказать страшно—къ счастью!), это перерожденіе превращается въ привычку, съ нимъ сживаются не страдая; бѣда только тѣмъ, кто понимаетъ и оглядывается...

Эта жизнь, гдѣ погибли и силы, и разумъ, и чувства, гдѣ съ ними вмѣстѣ погибло столько неначатаго дѣла, несовершеннаго добра — эта жизнь стоитъ, чтобъ надъ ней задуматься едва ли не больше, нежели надъ той, которая полна дѣйствія и приключеній. Эта жизнь—что-то странное, таинственное, неродившееся... А какъ она прозаична, подчасъ смѣшна и грязна съ вида!

Какъ будто въ доказательство того, что безъ движенія ничто жить не можетъ, среди такого застоя эти люди выдумываютъ себѣ волненія, что-то нескладное, нелогичное, уродливое, неслыханныя причуды, невообразимыя привычки, ссоры, вражды—изъ ничего. Все это шевелится, поднимается въ темнотѣ, дѣлаетъ свое возможное зло, дѣлаетъ кому нибудь жизнь еще тяжеле, еще труднѣе и безотраднѣе, портитъ чье нибудь сердце, убиваетъ чье нибудь здоровье, выработываетъ изъ молодого поколѣнія новыхъ искусниковъ въ свою очередь все уничтожать и портить...

IV.

Въ одинъ вечеръ (день былъ почтовый, и Сергѣй Андреевичъ получилъ письмо, за которымъ посылалъ въ городъ и которое ждалъ такъ нетерпѣливо, что даже сказалъ, что ждетъ письма), въ вечеръ этого дня Сергѣй Андреевичъ долго прохаживался по залѣ, наконецъ пріостановился и произнесъ:

— Маменька!

Любовь Сергѣевна скатилась съ дивана и побѣжала къ нему.

— Что тебѣ, другъ мой?

— Пойдемте ко мнѣ, сказалъ Сергѣй Андреевичъ.

Онъ увелъ ее за собою, заперъ двери, и совѣщаніе продолжалось до ночи. Дочери, не дождавшись конца, ушли спать.

На другой день, утромъ, Ивановъ явился изъ города. Его встрѣтила Прасковья Андреевна.

— Что новенькаго?

— Вы однѣ? спросилъ онъ, оглядываясь въ залѣ.

— Одна.

— Да у васъ новости, Прасковья Андреевна.

— У насъ? откуда имъ быть?

— Нѣтъ, право? вы ничего не знаете, Прасковья Андреевна.

— Конечно, не знаю. Съ чего же бы я стала отъ васъ скрывать? развѣ вы не семьянинъ?

— Ужъ Богъ знаетъ что я, возразилъ Ивановъ:—еслибъ не вы... Знаете, Прасковья Андревна, стало быть я люблю Катю, когда рѣшился, вотъ, и сегодня пріѣхать?.. Да что говорить!.. Я къ вамъ съ извѣстіемъ, только съ непріятнымъ.

— Что такое? Не томите, сдѣлайте милость!

— Братецъ вашъ мѣсто свое потерялъ.

— Что вы?..

— Право. Вчера съ почтой получили приказы у насъ въ палатѣ. Уволенъ, да такъ, просто, даже къ министерству не причисленъ. Это называется, просто, загремѣлъ...

— Ай, ай, ай! сказала протяжно Праско-

вья Андреевна, впрочемъ, безъ ужаса, даже безъ большого сожалѣнія: она была только удивлена внезапностью всего этого.

— Должно быть, онъ зналъ, что его уволятъ, какъ сюда ѣхалъ, продолжалъ Ивановъ:—провѣдалъ тамъ черезъ кого нибудь... какъ ему не провѣдать? провѣдалъ, что плохо, да и уѣхалъ. Что-жъ, для человѣка, который въ такой чести, въ силѣ, ужъ лучше не быть тутъ, на лицо, какъ столкнутъ. Непріятно это, должно быть!

— То-то онъ и былъ такой сердитый, какъ пріѣхалъ, сказала въ раздумьи Прасковья Андреевна.

— Есть изъ чего и сердиться, отвѣчалъ Ивановъ: — подумайте, онъ что получалъ жалованья, какъ жилъ... У насъ всѣ толкуютъ, говорятъ... Правду сказать, какъ всѣ рады...

— Рады? почему-жъ? спросила Прасковья Андреевна.

— Да такъ... отвѣчалъ онъ, спохватившись. — Впрочемъ, я лучше все скажу, я васъ люблю, какъ родную мать, Прасковья Андревна. Вѣдь вашъ братецъ человѣкъ такой тяжелый, отъ кого ни услышишь. Еслибъ вы только знали, послушали бы отъ кого нибудь, какія дѣла онъ дѣлалъ, что онъ денегъ бралъ... Это ужъ правда, что на службѣ честный человѣкъ не наживется, а онъ...

— Онъ и не нажился, возразила Прасковья Андреевна, въ которой при этомъ наивно-дерзкомъ обвиненіи поднялось что-то въ родѣ обиды за брата. — Что-жъ у него есть?

— А чего-жъ у него нѣтъ? вскричалъ, забываясь молодой человѣкъ. — Помилуйте! спросите пріѣзжихъ, кто бывалъ въ Петербургѣ, или послушайте, что говорятъ наши «власти», которыя тамъ къ нему ѣзжали: обѣды, карточные вечера; онъ страшно игралъ, ни въ чемъ себѣ не отказывалъ. Прижаться, копить деньгу нельзя бѣло: нужна роскошь, поддержать знакомство, связи— все это денегъ стоило. Послушайте, что о немъ разсказываютъ!..

— Еслибъ было у него что нибудь, онъ не забывалъ бы семьи, прервала Прасковья Андреевна, далеко не увѣренная въ томъ, что говорила; но она обманывала себя и противорѣчила потому, что было слишкомъ тяжело согласиться. — У него странный характеръ... ну, гордый, положимъ; но еслибъ у него былъ избытокъ, онъ бы не оставилъ матери.

— Ахъ, Боже мой! прервалъ Ивановъ:— это даже больно слушать! Нѣтъ, я вамъ все скажу. Объ этомъ даже грѣшно молчать: лучше вамъ совсѣмъ глаза открыть. Прошлый разъ, какъ я отъ васъ воротился, я на другой день пошелъ къ нашему управляющему палатою, поговорить о моихъ бумагахъ, о разрѣшеніи, потому что я женюсь. Вы помните... я-то ужъ очень хорошо помню, какъ вашъ братецъ принялъ и мое сватовство, и меня—ну, словомъ, все. Я тогда же рѣшился объявить, что мнѣ дано слово, что я женюсь, взять разрѣшеніе, чтобъ вашъ братецъ не подумалъ, будто я его испугался. Ему все равно, что я женюсь на его сестрѣ, а мнѣ онъ и подавно все равно: мнѣ ни его милости, ни протекціи, ни денегъ его—ничего не нужно, право... Ради Бога, скажите, такъ ли я говорю? Что-жъ? я молодъ, неважная особа; но, кажется, всякій человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, имѣетъ право... о себѣ думать по справедливости, имѣетъ право... хоть не унижаться, если ужъ судьба и пустой карманъ велятъ ему молчать—такъ, что ли? скажите!

— Что-жъ вы управляющему вашему сказали? спросила Прасковья Андреевна.

— Я? ничего: говорилъ о бумагахъ, какія мнѣ нужны, просилъ не задержать—и только. Онъ человѣкъ чудесный, разспрашивалъ, что, какъ, по любви ли я женюсь, на комъ. Я сказалъ. Онъ говоритъ: «не родня ли Чиркину, что служитъ въ ... министерствѣ?»—«Сестра», говорю я. Въ то время былъ у управляющаго нашъ ассесоръ, недавно изъ Петербурга: онъ вступилъ въ разговоръ. «Какая, говоритъ, сестра? у Чиркина нѣтъ сестеръ». Я говорю: «Есть сестры и мать, живутъ въ деревнѣ»... Да, Боже мой! это разсказывать отвратительно. Вообразите вы, что онъ увѣряетъ всѣхъ, цѣлый свѣтъ, что у него нѣтъ родныхъ: отрекается отъ васъ, потому что вы для него слишкомъ бѣдны, слишкомъ мелки... отъ матери!.. Видите, ему, важному лицу, непріятно имѣть провинціальныхъ родныхъ, вы на него тѣнь бросаете... я ужъ и не понимаю, что это! какъ будто вы не въ тысячу разъ лучше его, благороднѣе его, со всѣми его мраморными лѣстницами да золочеными карнизами, какъ будто вамъ не больше стыдъ и обида, что вашъ братъ эгоистъ, взяточникъ... Нѣтъ, ради Бога, простите меня! Я изъ себя выхожу...

— Хорошо... сказала про себя Прасковья Андреевна.

Съ минуту они молчали.

— Вотъ что, начала она:—вы не говори-

те ничего Катѣ ни объ этомъ, ни объ увольненіи братца. Вѣдь ему не вѣкъ молчать—самъ скажетъ, а не скажетъ... я скажу. Любопытно только, зачѣмъ онъ молчитъ, и для чего прикатилъ сюда, на что мы ему стали нужны...

— Что, если онъ останется жить съ вами? спросилъ Ивановъ.

— Кто его знаетъ! отвѣчала она:—это ужъ будетъ хуже всего!..

— Сдѣлайте милость, сказалъ онъ:—я скоро получу свои бумаги; какъ только онѣ у меня будутъ, настойте, чтобъ маменька назначила день свадьбы; что откладывать? Ноябрь на дворѣ, тамъ постъ, а тамъ... далеко это... ужасно! Что тянуть до другого года?

— Хорошо; доставайте скорѣе бумаги. Надо это чѣмъ нибудь кончить.

Почти у всякаго въ жизни бываютъ рѣшительныя минуты, такія, для которыхъ надо призывать на помощь мужество, хитрость, краснорѣчіе, скрѣпить сердце, чтобъ дѣйствовать и, во что бы ни стало, успѣть. У многихъ такая борьба стоитъ названія борьбы, бываетъ окружена эфектной обстановкой, принимаетъ размѣры драмы; у большей части людей это мелочныя хлопоты, домашнія дрязги, не интересныя для посторонняго зрителя. Внутренно онѣ стоютъ того же, такой же рѣшимости, такого же страха, такихъ же волненій, можетъ быть, даже сильнѣйшихъ, потому что мелкіе люди, отъ непривычки къ волненіямъ, способны мучиться и сильнѣе все принимаютъ къ сердцу. Еще надо разобрать, какъ много поддерживаетъ и придаетъ энергіи обстановка борьбы, хотя бы и страшная, но нарядная. Мы сами не знаемъ, насколько мы дѣти, насколько сильно въ насъ желаніе порисоваться, хотя бы въ собственныхъ глазахъ. Споръ, гдѣ можно выказать краснорѣчіе, сцена, въ которой женщина можетъ разсчитывать даже на свой эфектъ красоты, обращеніе къ суду свѣта или презрѣніе этого суда, даже роскошная уборка комнаты, гдѣ происходитъ дѣйствіе — все это увлекательно: это сцена изъ романа; сыгравъ ее, ее можно разсказывать, трепетъ въ ожиданіи ея, экзальтація во время дѣйствія, интересное истощеніе силъ нравственныхъ и физическихъ потомъ— всему этому должны найтись и найдутся сочувствующіе... Но грубый толкъ вкривь и вкось, съ привязками къ каждому слову, съ подниманьемъ всего стараго хлама, старой вражды, но обидныя, невзвѣшенныя слова, крики, безпорядокъ кругомъ, какое-то особенное, необразованное безобразіе разсерженныхъ лицъ, прислуга, которая выглядываетъ изъ-за дверей... Не огромное ли мужество нужно тому, кто рѣшается на подобную сцену, на подобную борьбу, въ которой, къ тому же, и успѣхъ сомнительнѣе, нежели успѣхъ той или другой изящной борьбы? Тамъ, по крайней мѣрѣ, выслушиваютъ и иногда уступаютъ изъ приличія...

Прасковья Андреевна обѣщала Иванову постараться и устроить дѣла его. Она, однако, медлила начинать, что довольно понятно.

«При немъ неловко», думала она: «еще время терпитъ».

Любовь Сергѣевна была погружена въ такую горесть и посылала къ небу такіе вздохи, что на нее нельзя было смотрѣть безъ нѣкотораго содроганія. Вѣра была зелена отъ страха, Катя—сердита, Богъ знаетъ за что на жениха, который показался ей невеселъ. Братецъ только ходилъ по комнатамъ и откашливался.

Ивановъ уѣхалъ вечеромъ; Катя проводила его на крыльцо и, не заходя въ домъ, отправилась въ свою свѣтелку. Остальное общество все оставалось въ гостиной.

— Долго еще будетъ сюда таскаться этотъ молодчикъ? спросилъ Сергѣй Андреевичъ, когда прогремѣла телѣга Иванова.

Прасковья Андреевна поняла, что это относилось къ ней; у нея зашумѣло въ ушахъ. Она подумала, что надо говорить теперь.

— Вѣдь это женихъ Кати, отвѣчала она своимъ равнодушнымъ голосомъ, не поднимая глазъ отъ шитья.

— Развѣ эти глупости все еще продолжаются? Я полагалъ, что ужъ пора и кончить.

— Я то же думаю, что пора скорѣе кончить, повѣнчать ихъ, сказала Прасковья Андреевна тихо и отчетливо.

Сергѣй Андреевичъ, противъ обыкновенія, не замолчалъ.

— Ахъ ты, мой Боже! Я, кажется, русскимъ языкомъ говорю, что это вздоръ, безуміе, съумасшествіе, а вы все еще свое! Все еще ихъ вѣнчать надо?

— Какой же это вздоръ, братецъ? спросила Прасковья Андреевна, не возвышая голоса.

— Это умно по-вашему?

— Пристроить Катю? умно.

— Это умно по-вашему, сдать вашу сестру... не знаю кому, мальчишкѣ... кому попало? Ни кола, ни двора, ни значенія, ни об-

разованія... Вы скажете послѣ этого, что вы о ней заботитесь? бережете ее? лелѣете? Вы ей «вторая мать»?.. Спросите прежде первую: вотъ она, на лицо — радуетъ ее устройство это? нравится ей?

— Маменька была не прочь, возразила Прасковья Андреевна поспѣшно, чтобъ не дать времени Любови Сергѣевнѣ вступиться.

— Ну, да вѣдь я васъ знаю! Какъ вы съ ножомъ къ горлу приступите, у васъ всякій будетъ не прочь...

— Братецъ! возразила она такъ кротко, какъ не смѣла ожидать Вѣра, взглянувшая на нее отчаянными глазами: — маменька вамъ сама можетъ сказать, что ей это нравилось; Ивановъ довольно образованъ для Кати... Вѣдь и Катя не изъ ученыхъ, братецъ.

— Кто-жъ, какъ не вы, помѣшали мнѣ дать ей образованіе? Не вы ли сами всегда настойчиво требовали, чтобъ она оставалась здѣсь, при васъ?..

— Позвольте, прервала Прасковья Андреевна: — я ничего настойчиво не требовала; вамъ было... некогда заняться Катей. Да это и къ лучшему, братецъ: она бы тамъ привыкла къ роскоши, выучилась бы, не знаю, много ли...

— Вы довольны, что сами ничего не знаете, вы изъ зависти не хотѣли, чтобъ молодая дѣвушка была воспитана какъ слѣдуетъ...

— Не грѣшите, братецъ, прервала она, вспыхнувъ и вдругъ удержавшись:—вы понятія не имѣете, какъ я люблю Катю: я бы жизнь отдала, чтобъ она была какъ всѣ... но мнѣ ея счастье всего дороже. Ну, что-жъ, выучили бы ее тамъ пѣть, танцовать, англійскому языку... Что-жъ въ этомъ бѣдной дѣвушкѣ? Куда ей идти потомъ? Вѣдь она бѣдна, жениха образованнаго ей бы никогда не найти. Вы лучше сами знаете: всякій ищетъ богатыхъ. Въ гувернантки?.. Боже ее сохрани и помилуй! Чтобъ я допустила мою дѣвочку идти за кусокъ хлѣба въ чужіе люди, сносить чужіе капризы... Господи, я и вообразить не могу! Не говорите, братецъ; если въ васъ есть капля любви къ намъ, и не поминайте мнѣ объ этомъ!

— Немножко поздно и поминать, возразилъ Сергѣй Андреевичъ:— вы сами все это устроили; вамъ, конечно, все должно казаться прекрасно устроено. Но вамъ цѣлый свѣтъ скажетъ: глупо, глупо, глупо. Лучше дѣвушкѣ быть гувернанткой...

— Но она не можетъ, она ничего не знаетъ! вскричала Прасковья Андреевна.

— Ну, дома сидѣть, въ дѣвкахъ остаться, чѣмъ выскочить, повторяю, за кого попало, съ улицы, за писаришку—срамъ сказать!

— Позвольте, однако, за что такая гордость? прервала Прасковья Андреевна:—вы сами развѣ не начинали служить?

— Не съ писарей я начиналъ, не съ писарей, не съ писарей!

Сергѣй Андреевичъ уже кричалъ.

— Знаю я это, возразила сестра:—да вѣдь не дешево стоило и выучить васъ, чтобъ вы не въ писаря попали!

— Не вы за меня платили, сестрица!

— Я не говорю этого.

— Я, кажется, вамъ не обязывался моимъ воспитаніемъ, вамъ угодно считать...

— Полноте, братецъ, что вы привязываетесь? что я считаю?

— Съ чего вы взяли, что я привязываюсь? Я васъ очень понимаю, очень! Я васъ давно знаю: вы начнете съ Иванова вашего, а я знаю куда вы клоните!.. Извольте продолжать... что-жъ? я готовъ, ну-съ?

— Что вамъ угодно?

— Вамъ угодно, а не мнѣ... мнѣ все равно! Вамъ угодно считать доходы ваши, повѣрять... почему я знаю; тутъ не поймешь!

— Ужъ и видно, что вы сами себя не понимаете, отвѣчала Прасковья Андреевна съ обидной и спокойной улыбкой: — вы хотите сказать одно, а какъ вертится у васъ въ головѣ другое, старое, непокойны вы — такъ вамъ и кажется, будто и другіе все къ тому же клонятъ...

— Къ чему? извольте сказать! вскричалъ громовымъ голосомъ Сергѣй Андреевичъ.

— Охъ, Господи! застонала Любовь Сергѣевна.

Вѣра приросла къ мѣсту.

— Къ чему? что вамъ кажется? продолжалъ Сергѣй Андреевичъ.

— Ничего, отвѣчала она.—Полноте, братецъ; вы сами знаете, не стоитъ ворочать чего не воротишь; что и говорить! Не упрекъ вамъ — сохрани меня Господи! — а какъ не сказать, поневолѣ иногда подумаешь... Братецъ, вѣдь по вашей милости вотъ у нея и у меня нѣтъ ничего! Вы нѣжились тамъ, а мы здѣсь старыя тряпки по десяти лѣтъ перешивали да таскали! Богъ съ вами, Богъ вамъ проститъ — отъ всего сердца говорю! Намъ ужъ теперь ничего не нужно; авось вы насъ не прогоните, умереть дадите въ своемъ углу, въ отцовскомъ домѣ... Но Катю мнѣ жаль, Кати мнѣ до смерти жаль! Ей нельзя такъ жить; ей надо куда ни-

будь уйти, чтобъ и жизнь не пропала, да чтобъ такой нужды, такого горя не видѣть. За что она измучится, какъ мы измучились?

— Вотъ, мой другъ, вотъ цѣлый вѣкъ это слышу! вскричала Любовь Сергѣевна.

— Извините, маменька, вы этого никогда не слыхали, возразила Прасковья Андреевна: — я въ первый разъ говорю; да нельзя же и не сказать. Что-жъ это будетъ такое? Ужъ и послѣдней не пожить какъ хочется? Мы бѣдны, необразованы—да, Господи! счастье для всякаго бываетъ, и для насъ нашелся бы бѣдный, необразованный человѣкъ...

— Нищихъ заводить, прервалъ Сергѣй Андреевичъ:—жить, какъ въ конурѣ...

— Братецъ, вскричала она: — побойтесь Бога! что вы все съ богатствомъ! Вы привыкли, что все вамъ дай роскошное; вы ужъ бѣднаго человѣка за человѣка не считаете. Вы ужъ думаете, что бѣдному ничего и не нужно и ничего онъ не достоинъ; а если Богъ и посылаетъ ему что нибудь, вы на это съ такимъ презрѣніемъ смотрите, что грѣшно, просто... Не всѣмъ быть богатымъ да чиновнымъ; какъ еще кому удастся...

— Что вы этимъ намѣрены сказать? прервалъ, весь покраснѣвъ, Сергѣй Андреевичъ.

Прасковья Андреевна взглянула на него пристально и засмѣялась.

— Ахъ, братецъ, вы забавный человѣкъ! Вотъ что значитъ непокойнымъ быть: на всякомъ словѣ все мерещится! Что я хочу сказать?.. Ничего; вы сами знаете...

— Что такое-съ?

— Да сами вы знаете. Для чего я стану при всѣхъ объявлять, когда вы скрываете? что за пріятность?

— Я не отъ кого ничего не скрываю. Извольте говорить.

— Ну, безъ мѣста вы теперь; васъ отставили.

Прасковья Андреевна говорила осторожно; она ждала, что мать упадетъ въ обморокъ; ахнула только Вѣра, и то тихонько: она боялась пугаться. Любовь Сергѣевна не только не упала въ обморокъ, но даже засмѣялась довольно презрительно.

— Вотъ важность велика! сказала она.

— Вы это гдѣ, подъ какою дверью подслушали? спросилъ Сергѣй Андреевичъ, задохнувшись.

— Я подслушивать не имѣю привычки. Мнѣ Ивановъ сказалъ: въ городѣ приказы получены.

Хуже не могла сдѣлать Прасковья Андреевна, какъ назвать Иванова.

— Что-жъ вы это объявляете съ такимъ страхомъ? продолжалъ Сергѣй Андреевичъ:— кого вы думали испугать?

— Не испугать, а я полагаю, невесело лишиться такого мѣста...

— А вы думаете, я имъ дорожилъ?.. Да почему вы знаете? Я, можетъ быть, самъ хотѣлъ, самъ просилъ, чтобъ меня уволили?

— Да, подтвердила Любовь Сергѣевна:— изъ чего ты тотчасъ заключила, что твой братъ лишенъ мѣста, выгнанъ, обезчещенъ? изъ чего? чему ты радуешься?

— Я не радуюсь... а я не маленькій ребенокъ, понимаю, что это вовсе нехорошо, не бездѣлица...

— Такая бездѣлица, такой вздоръ, что я матушкѣ давно сказалъ, и она нисколько не безпокоится.

— Чего же вы сами-то, братецъ, голову повѣсили, если это вздоръ, ничего? Видно не вздоръ!.. Обманывайте другихъ, а не меня.

— Очень хорошо-съ. Только къ чему это ведетъ?

— Что?

— Да вотъ удовольствіе ваше, радость ваша, что вашъ братъ выгнанъ изъ службы, какъ воръ и мошенникъ, что онъ не годится никуда, что, вотъ, онъ голову повѣсилъ, и всякій мальчишка приказъ читаетъ, радуется, что стерли его съ лица земли... брата вашего? У васъ онъ одинъ, кажется, одна ваша опора, на кого вы можете надѣяться...

— Точно одинъ! вскричала Любовь Сергѣевна и зарыдала.

Прасковья Андреевна оставалась хладнокровна.

— На васъ-то надѣяться, братецъ? спросила она спокойно; но голосъ ея звучалъ рѣзко и странно:— да что-жъ намъ на васъ и надѣяться? У насъ, къ счастію, не было къ вамъ просьбъ никакихъ и, думали мы, вѣкъ не будетъ. Вотъ, въ первый разъ случилось, просила я васъ за Александра Васильича...

— За кого?

— Да все за жениха этого! сказала мать съ отвращеніемъ.

— Все за жениха, повторила Прасковья Андреевна: — право, я надѣялась, что вы хоть разъ что нибудь для него сдѣлаете. Что-жъ вы? «нѣтъ», наотрѣзъ. Что-жъ вы намъ за подпора? И что-жъ намъ убиваться, когда вы мѣста лишились? Все равно, какъ бы я о постороннемъ пожалѣла...

— О постороннемъ? повторилъ Сергѣй Андреевичъ.

— Вотъ оно, вотъ! вотъ любовь! Вотъ, мой другъ, что я выношу! вскричала Любовь Сергѣевна.

— Такъ я вамъ чужой, посторонній? Вы считаете меня чужимъ? настаивалъ Сергѣй Андреевичъ, все ближе и ближе подходя къ сестрѣ.

Она взглянула пристально ему въ лицо, которое совсѣмъ наклонилось къ ней.

— А вы чѣмъ насъ считаете? родными? спросила она тихо и протяжно, такъ что онъ смутился.—Полноте, братецъ; нечего толковать, нечего спорить, нечего считаться: будетъ, довольно того, что есть. Вы ничего для насъ не сдѣлали и не хотите дѣлать, и не сдѣлаете; такъ и быть; живите себѣ какъ вамъ покойнѣе. Мы вамъ не мѣшали и не будемъ мѣшать; сдѣлайте милость, ужъ и вы намъ не мѣшайте. Вы себѣ дослуживайтесь до какого хотите чина, а намъ ужъ позвольте отдать сестру за писаря: этого, если и столкнутъ съ мѣста, такъ не такъ еще важно... да и сраму такого не будетъ... Поздно, однако. Покойной ночи. Пойдемъ спать, Вѣра.

Вѣра машинально и поспѣшно собрала свое шитье, сказала «покойной ночи», вышла изъ комнаты; но за дверью этой комнаты старшая сестра была принуждена подхватить ее подъ руки и позвать дѣвушку, чтобъ помочь отвести ее въ свѣтелку. Мать и братъ, остававшіеся въ гостиной, слышали, что въ корридорѣ что-то происходитъ и, должно быть, даже догадались, въ чемъ дѣло, потому что Любовь Сергѣевна проговорила: «ну, этого только недоставало!» но ни тотъ, ни другая не двинулись съ мѣста.

Сергѣй Андреевичъ сидѣлъ молча и стучалъ по столу пальцами; онъ поникъ головою и задумался. Любовь Сергѣевна долго смотрѣла на него, не прерывая молчанія, потомъ поникла головой, задумалась и, наконецъ, сказала:

— Другъ мой, я недоумѣваю...

И видя, что Сергѣй Андреевичъ не слышитъ или не слушаетъ, она встала и подошла къ нему.

— Ты скрываешь отъ меня, другъ мой, Серженька...

— Что такое? спросилъ Сергѣй Андреевичъ нетерпѣливо, потому что прервали его размышленія.

— Вотъ что... Погоди, другъ мой, стучать по столу, оставь на минуту... Эта безумная, другъ мой... я сама не знаю... она меня въ такое сомнѣніе привела... Ты, другъ мой, отъ меня скрываешь...

— Да что я отъ васъ скрываю? Вы, кажется, все слышали: я вамъ еще вчера, третьягодня сказалъ, что я уволенъ — вотъ и весь секретъ. Что-жъ еще скрывать?

— Нѣтъ; послѣдствія, Серженька...

— Какія послѣдствія?

— Послѣдствія, другъ мой... При увольненіи, обыкновенно...

— Ну, подъ судъ меня отдадутъ — хотите вы сказать? Не отдадутъ, потому что не мнѣ одному тогда можетъ придтись плохо.

— Я все-таки, мой другъ, непокойна. Если ты тамъ забылъ какъ нибудь устроить... Погоди, пожалуйста, стучать... Если ты что нибудь упустилъ изъ вида...

Сергѣй Андреевичъ бросилъ о полъ наперстокъ, забытый сестрами и попавшійся ему подъ руку.

— Развѣ я маленькій ребенокъ?

— Не горячись, другъ мой, ради самого Бога, успокой себя. Я это, какъ мать, говорю. Ты мнѣ одна отрада... Эта безумная тебя взволновала.

— Никто меня не волновалъ; съ чего вы взяли?

— Нѣтъ, она меня, другъ мой, какъ мать, оскорбила въ тебѣ, потому что она въ тебѣ осмѣлилась сомнѣваться, подозрѣвать тебя... Я бы одно хотѣла знать: какъ же это такъ, какія причины всего этого...

— Чего?

— Вотъ этого, другъ мой... твоей отставки.

— Вотъ! а вы упрекаете, что Прасковья Андреевна во мнѣ сомнѣвается! Сами что вы дѣлаете? вы во мнѣ не сомнѣваетесь? вы меня не подозрѣваете? Я въ вашихъ глазахъ не воръ, не мошенникъ? не прямо меня въ Сибирь?

— Серженька, другъ мой, ради Бога, опомнись, что ты говоришь? Что-жъ я сказала? что-жъ я такое могла выразить?..

— Какъ что? Вы причины спрашиваете! вы спрашиваете, за что меня отставили! Подите, спросите за что—вамъ скажутъ; подите, жениха этого спросите! Подите, подите въ городъ, въ уѣздный судъ, въ земскій судъ, въ полицію, у всякаго сторожа, подите, спрашивайте: они толкуютъ, они всѣ знаютъ, они вамъ такъ объяснятъ, что мои возлюбленныя сестрицы возрадуются. Подите!

— Куда же мнѣ пойти, Серженька? произнесла въ ужасѣ Любовь Сергѣевна.

— Куда хотите! Вамъ разскажутъ, какъ вашъ сынъ милліоны накралъ. Еслибъ я ихъ накралъ, меня бы не прогнали... Но свадьбы этой я не хочу, этой свадьбѣ не бывать—я вамъ говорю: не хочу; чтобъ и слова о ней

не было! Или моя нога здѣсь не будетъ, или я отъ васъ отказываюсь и вы меня во вѣки не увидите! Я здѣсь ничего не вижу, кромѣ оскорбленій! Люди, которые мнѣ всѣмъ обязаны, позволяютъ себѣ въ отношеніи меня... Да хоть бы онѣ сочли, эти сестрицы, по копейкѣ сочли, чего стоила ихъ жизнь, тряпки ихъ, питье, ѣда, одежда, столъ, наряды, кусокъ всякій? Что, мало? Нельзя было прожить по пятидесяти душъ какихъ нибудь? Видите, я прожилъ! я ихъ обобралъ да все прокутилъ! Безсовѣстныя! Тамъ трудишься, служишь, какъ волъ работаешь; здѣсь, пріѣхалъ—вотъ что въ семьѣ!

— Серженька, другъ мой! проговорила оцѣпенѣвшая Любовь Сергѣевна.

— Э, полноте! возразилъ онъ, махнувъ рукой, отходя и принимаясь шагать по комнатѣ.

Любовь Сергѣевна тихонько плакала.

— Я завтра вечеромъ уѣду, сказалъ онъ.

— Куда, мой другъ?

— Ахъ, ты, мой Боже! Не въ Америку! Не съ чѣмъ, хоть, говорятъ, и нажился... Куда нибудь уѣду. Здѣсь я жить не могу. Мнѣ служить надобно. Надо мѣсто получить, достать скорѣе, а то, въ самомъ дѣлѣ, доброжелатели да сестрицы повѣрятъ, что меня въ спину вытолкали.

— Какое же ты мѣсто намѣренъ, Серженька...

Сергѣй Андреевичъ расхохотался.

— Ну, понимаете ли вы что нибудь послѣ этого? Ну, что вы спрашиваете: какое мѣсто? Кто же можетъ это сказать? Почему-жъ я знаю? Вѣдь мнѣ надо пріѣхать да посмотрѣть, похлопотать, надо на лицо быть, на глазахъ. Отсюда что сдѣлаешь?

— Такъ для чего-жъ ты уѣзжалъ изъ Петербурга, другъ мой?

— Что? вскричалъ онъ очень громко: — зачѣмъ я сюда пріѣхалъ? Да, я вамъ въ тягость, конечно. Когда вы могли ждать отъ меня чего нибудь, вы не спрашивали, зачѣмъ я пріѣзжалъ.

— Серженька, другъ мой!..

— Вамъ угодно знать, зачѣмъ я пріѣхалъ? Извольте. Сестеръ еще обирать пріѣхалъ. Деньги мнѣ нужны. Мѣста даромъ не достанешь. Пусть мнѣ Прасковья Андреевна отдастъ свои пять тысячъ: я черезъ мѣсяцъ буду имѣть мѣсто; знаю какъ, знаю чрезъ кого...

— Неужели, Серженька?

— Какъ нельзя вѣрнѣе. А вы тутъ затѣяли этого подъячаго вѣнчать — очень нужно! Конечно, если она рѣшила, что отдаетъ Катеринѣ эти деньги въ приданое, мнѣ остается сѣсть здѣсь да землю пахать... ну, или управителемъ къ кому нибудь попасть, мнѣ, статскому совѣтнику-то!..

— Такъ ты бы желалъ, чтобъ она отдала тебѣ эти деньги, Серженька?

— Да. Вы понимаете, что мнѣ другого ресурса нѣтъ?

— Какъ же ты говорилъ, что тебя отставка не безпокоитъ, что все это вздоръ, что ты надѣешься получить... Я какъ-то этого въ толкъ не возьму! Ты меня совершенно успокоилъ, и вдругъ — нѣтъ другого ресурса... Вѣдь у тебя домъ полный въ Петербургѣ?..

— Что-жъ мнѣ, распродавать мои вещи? Благодарю васъ, маменька, утѣшили! Вѣдь мнѣ жить гдѣ нибудь надобно — не съ вами же мнѣ жить! Кому я стану распродавать? что это будетъ такое? срамъ! Мнѣ надо пріѣхать въ мой домъ... Да не мой онъ еще, а наемный, надо пріѣхать и тотчасъ занять другое мѣсто, другую службу, не заботясь, что я потерялъ. Вотъ какъ люди живутъ! А то, что-жъ, мнѣ себя совсѣмъ скомпрометировать, пожитки продавать! Что выдумали!.. Э, съ женщинами бѣда! хоть не говори, не начинай...

— Она вѣдь не дастъ тебѣ денегъ, Серженька...

— Ну, мнѣ въ петлю... Покойной ночи.

Онъ схватилъ свѣчку и ушелъ.

Любовь Сергѣевна въ потемкахъ добралась до своей спальни.

V.

Прасковью Андреевну разбудили чѣмъ-свѣтъ и позвали къ маменькѣ. Сергѣй Андреевичъ, можетъ быть, и проснулся, но его ставни никогда не запирались, а занавѣски оконъ никогда не поднимались, и потому нельзя было сказать навѣрное, знаетъ ли онъ объ этомъ разговорѣ.

Прасковья Андреевна нисколько не удивилась, что Любовь Сергѣевна встрѣтила ее особенно холодно.

— Что вамъ угодно, маменька?

Любовь Сергѣевна притворила двери.

— Еслибъ не крайность, я бы съ тобой не заговорила, я бы не только тебя не позвала, сама бы, зажмуря глаза, бѣжала Богъ знаетъ куда—такъ мнѣ отъ васъ горько, такъ вы мнѣ все сердце пронзаете...

— Всѣ? кто-жъ, маменька? и братецъ?

— Не трогайте вы его; не возмущайте меня! Что вамъ сдѣлалъ этотъ несчастный человѣкъ, что вы его ненавидите, что вы рады его всячески уколоть или оскорбить? Вы

его цѣнить не умѣете. Чѣмъ онъ виноватъ передъ вами, прошу сказать?

— Оставимте его, маменька, отвѣчала Прасковья Андреевна.—Отъ всего, что я вчера сказала, я не отрекаюсь ни отъ единаго слова; я могла бы и больше сказать, да... да говорить не хочется.

— Тебѣ со мной говорить не хочется?

— Я не хочу говорить о братцѣ, возразила Прасковья Андреевна очень твердо и принужденно тихо.

— Это почему же?.

— Маменька, вы сами знаете...

— Да разскажите вы мнѣ, что это на васъ нашло? Что это вамъ вздумалось вдругъ кричать, считаться?...

— Кому же «вамъ»? Сестра Вѣра, кажется, ужъ вѣкъ свой молчитъ, умретъ молча когда нибудь со страху; а Катя...

— А дѣвчонка ваша, балованная, хороша! вѣшается на шею всякому приказному...

— Позвольте! перебила, вспыхнувъ, Прасковья Андреевна:—вы сами ее благословили съ Александромъ Васильичемъ; вы не свое говорите: вы братцовы слова повторяете. Довольно онъ насъ и дѣломъ, и словомъ обижалъ, меня и Вѣру, бѣдную. Катю я обижать не позволю. Тутъ ужъ не одна обида: тутъ о всей жизни дѣло идетъ...

— Что вы все жизнь вашу мѣшаете? кто тутъ о вашей жизни говоритъ?

— Да о ней никогда и никто ничего не говорилъ! вскричала Прасковья Андреевна, странно разсмѣявшись:—что о ней и говорить! Мнѣ, вотъ, на послѣднихъ дняхъ, стало жаль дѣвочки, такъ и свое все припомнилось... Господи, Боже мой!

Она закрыла руками глаза; ей хотѣлось заплакать, но слезъ ужъ не было: только глаза ея покраснѣли и засвѣтились, а завялое лицо, отъ сильнаго внутренняго чувства, которое его оживило, на минуту показалось прекраснымъ, будто молодое.

— Что говорить!.. повторила она:—ради Христа, маменька, душа моя, не дѣлайте намъ этого горя, не берите на себя дурного дѣла, не разстроивайте свадьбы Кати. Не слушайте братца. Они не бѣдны будутъ... да, право, надоѣло ужъ оно, это богатство, все о немъ толкуютъ!... Настоящее надо смотрѣть: по душѣ ли намъ жизнь наша будетъ—вотъ что главное...

— Матушка, сколько разъ ты замужемъ была, что такъ разсуждаешь? прервала Любовь Сергѣевна съ ироническимъ смѣхомъ, мастерскимъ подражаніемъ смѣху Сергѣя Андреевича.

Прасковья Андреевна посмотрѣла на нее пристально.

— Вы лучше скажите прямо, маменька, начала она черезъ минуту своимъ рѣзкимъ, обыкновеннымъ тономъ:—что вы вчера, на чемъ положили съ братцемъ о свадьбѣ Кати.

— Ахъ, матушка, что ты меня допрашиваешь? что я тебѣ досталась?

— Мнѣ надо это знать.

— Зачѣмъ это?

— Надо. Распорядиться надо.

— Я и безъ васъ съумѣю порогъ показать вашему подьячему!

— Стало быть, это рѣшено и говорить нечего! сказала Прасковья Андреевна. — Зачѣмъ вы приказали позвать меня, маменька?

Любовь Сергѣевна слегка смутилась предъ этимъ холоднымъ тономъ и внезапной перемѣной разговора. Она помолчала, глядя на дочь, которая стояла, дожидаясь объясненія или, вѣрнѣе, первой возможности уйти.

— Присядь на минуту, сказала Любовь Сергѣевна очень смягченнымъ тономъ.

Прасковья Андреевна повиновалась. Любовь Сергѣевна еще долго молчала.

— Ты вчера обрадовалась, что братъ лишился мѣста... начала она наконецъ:—ты, стало быть, въ самомъ дѣлѣ не считаешь этого за несчастье?

— Я не радовалась и не печалилась; это для него несчастье, а не для кого другого.

— Ну, а для насъ несчастье?

— Для васъ, маменька, можетъ быть.

— А вамъ все равно?

Прасковья Андреевна молчала.

— Ну, а для меня, для матери, какъ ты думаешь, каково это—а? какъ ты думаешь? Я съ третьяго-дня, какъ онъ мнѣ сказалъ это, мой голубчикъ, глазъ не осушала, ночей не сплю... видѣла ли ты, чтобъ я кусокъ съѣла?

— Мнѣ вчера показалось, вы такъ покойны.

— Что-жъ мнѣ при васъ терзаться, вамъ на показъ, на посмѣяніе! И такъ ужъ вы за мою любовь къ Серженькѣ... Да еслибъ не онъ, что-бъ было? что-бъ мы всѣ были?

— Не знаю... отвѣчала, улыбнувшись, Прасковья Андреевна.—Сдѣлайте милость, маменька, перестанемте о немъ говорить.

— А о себѣ что я говорить могу? могу я сказать, что меня это въ гробъ сведетъ, что его несчастье такъ на меня обрушилось, что, вотъ, смерть моя... душитъ меня!

Любовь Сергѣевна показала на свое горло; по ея лицу текли слезы.

— Ты меня успокоить можешь, Параша...

— Чѣмъ, маменька? спросила Прасковья Андреевна, которую эти слова заставили встрепенуться, пробудивъ какую-то жалость, какое-то позднее сожалѣніе о невозвратномъ, старую радость, старое горе...

Мать это замѣтила.

— Охъ, продолжала она:—еслибъ кто зналъ, каково мнѣ—чужой бы, кажется, пожалѣлъ! Что-жъ это, все вы однѣ правы да правы! Когда-жъ мнѣ, старухѣ, можно будетъ хоть вздохнуть, что, вотъ, я... ахъ, легко стало!.. Какъ это матери не простить, что она своего ребенка любитъ! Эхъ, Господи, Господи!..

Любовь Сергѣевна плакала, взглядывая на Прасковью Андреевну, на которую послѣдняя рѣчь произвела впечатлѣніе совершенно противное тому, какого ожидала мать. Но Любовь Сергѣевна думала, что успѣла растрогать и убѣдить, потому что ей не возражали.

— Серженька надѣется мѣсто получить, сказала она.

— Прекрасно, сказала Прасковья Андреевна.

— Ему деньги нужны.

— Я думаю; теперь у него жалованья нѣтъ, жить нечѣмъ въ Петербургѣ.

— Вотъ, ты это прекрасно поняла, другъ мой. Нечѣмъ жить—это ужасно. А ему до зарѣзу нужны деньги. И опредѣленіе отъ этого зависитъ.

Прасковья Андреевна не сказала ни слова.

— Успокой меня, другъ мой... продолжала мать.

Прасковья Андреевна молчала.

— У тебя есть деньги... отдай Серженькѣ.

— Нѣтъ! сказала очень хладнокровно Прасковья Андреевна, давно догадавшись, что должно дойти до этого.

— Боже мой, Боже мой! Къ чему же ты ихъ... для себя бережешь?

— Вы очень хорошо знаете: это приданое Кати.

Любовь Сергѣевна выслушала, не возражая, съ самой возмутительной кротостью.

— Другъ мой, братъ тебѣ ихъ возвратитъ.

— До тѣхъ поръ далеко, пока онъ возвратитъ.

— Ты въ немъ сомнѣваешься?

Прасковья Андреевна не отвѣчала.

— Онъ тебѣ вексель напишетъ, сказала старуха съ ожиданіемъ и нѣкоторымъ презрѣніемъ къ корыстолюбію, которое выказывала дочь.

— Что-жъ? Мнѣ онъ можетъ давать сколько угодно векселей: онъ очень увѣренъ, что я его въ тюрьму не посажу.

— Онъ въ тебѣ совершенно увѣренъ, сказала Любовь Сергѣевна поспѣшно: — онъ знаетъ твое благородство...

— Я не дамъ! прервала Прасковья Андреевна.

— Ты представь, что это вся его надежда...

— Я знала, что онъ даромъ не пріѣдетъ! вскричала Прасковья Андреевна:—нѣтъ.

— Тебѣ-то на что онѣ нужны, деньги эти?

— Не мнѣ, а Катѣ. Не сидѣть же имъ безъ гроша!

— А какъ братъ сидитъ безъ гроша? Тамъ въ большомъ городѣ, въ столицѣ...

— А мнѣ-то что-жъ, прервала Прасковья Андреевна:—ему бывало хорошо, онъ о насъ не думалъ: что намъ о немъ думать! извернется...

— А какъ не извернется?

— Что-жъ дѣлать? такъ и быть.

— Тебѣ не жаль?

— Кого, маменька? Это онъ самъ научилъ васъ просить—да?.. Фу, что за бозсовѣстный!

— Только отъ васъ и дождешься!

— Да нечего больше дожидаться, право! Что это? какъ еще это назвать? Припомнилъ, что можно еще малость какую нибудь отнять, и прискакалъ! И у кого же отнимаетъ?—у бѣдной дѣвочки, которой вся жизнь впереди!.. Удивляюсь, маменька, какъ вы никогда не подумаете: вѣдь Катѣ такъ же жить хочется, какъ и Сергѣю Андреичу! Какъ вы взялись за него просить!.. Богъ съ нимъ совсѣмъ. Не дамъ я ему ничего, ни за что на свѣтѣ—такъ ему и скажите!

Прасковья Андреевна ушла съ этими словами. Любовь Сергѣевна была въ страшномъ затрудненіи: какъ сказать свою неудачу сыну, который хотя не поручалъ ей ходатайствовать за него, но былъ увѣренъ, что она и безъ порученія это сдѣлаетъ. Она, однако, собралась съ духомъ и послѣ утренняго чая, къ которому Прасковья Андреевна не явилась, отвела Сергѣя Андреевича въ сторону и разсказала ему.

Сергѣй Андреевичъ былъ недоволенъ столько же неудачей, сколько тѣмъ, что мать подвергла его отказу. Но, посердясь немного и сказавъ Любови Сергѣевнѣ, что у нея страсть мѣшаться тамъ, гдѣ не слѣдуетъ, онъ предался размышленію въ своей комнатѣ и сообразилъ, что теперь, когда этой просьбой онъ уже скомпрометированъ и униженъ предъ сестрою, надо продолжать и успѣть во что бы то ни стало, благо дѣло начато.

Онъ пошелъ въ свѣтелку. По этой лѣстницѣ Сергѣй Андреевичъ не всходилъ со дней своего отрочества, не удостоивая свѣ-

телки своихъ посѣщеній во всѣ свои пріѣзды. Лѣстница порядочно тряслась подъ тяжелыми шагами важнаго человѣка.

Прасковья Андреевна сидѣла на своей постели, закутавшись во что-то когда-то мѣховое. Въ свѣтелкѣ было страшно холодно.

— Кто тамъ? закричала она, услыша, что отворяютъ и не умѣютъ отворить двери.— Ахъ, батюшки!..

Она была поражена удивленіемъ при видѣ братца, который входилъ, нагнувъ голову подъ дверью; но чрезъ минуту это удивленіе замѣнилось другимъ чувствомъ, которое Прасковья Андреевна привыкла выражать смѣхомъ.

— Что это вамъ вздумалось навѣстить! спросила она, смѣясь, не двигаясь съ мѣста и продолжая починивать платье, которое лежало у нея на колѣняхъ.

Сергѣй Андреевичъ былъ настолько уменъ, что не отвѣчалъ ей какой нибудь шуткой, когда ихъ отношенія были такъ ясны; къ тому же, у нихъ никогда не бывало предметовъ для посторонняго разговора.

— Маменька вамъ говорила... прямо началъ Сергѣй Андреевичъ, садясь на маленькій плетеный стулъ и осмотрѣвъ его прежде, нежели сѣлъ.

— Говорила, братецъ. И вамъ она передала, что я отвѣчала? сказала также тихо, просто и прямо Прасковья Андреевна.

— Передала... Я пришелъ вамъ самъ поговорить, продолжалъ Сергѣй Андреевичъ, нѣсколько затрудненный ея молчаніемъ.

— Что-жъ больше говорить, братецъ, спросила она равнодушно.

— Вы, пожалуйста, не упрямьтесь—дайте деньги. Мнѣ до-зарѣзу нужно.

— И намъ нужно тоже.

— Нужно, да не такъ.

— Все равно! всякому своя необходимость.

— Да, необходимость можетъ быть, но не несчастье.

— Ваше несчастье не велико: вы такой важный человѣкъ—какъ разъ поправитесь.

— Въ томъ-то и бѣда, что важенъ; да небогатому человѣку поправляться мудрено; покровительство у меня слишкомъ знатное: надо себя поддержать. Того и гляди, забудутъ.

— Ну, васъ-то, можетъ, такъ скоро и не забудутъ, братецъ, отвѣчала она спокойно, холодно и нѣсколько насмѣшливо:—у васъ такія способности, вы всѣмъ нужны были. Найдетесь скоро.

— Да, еслибъ съ деньгами.

— Нѣтъ, братецъ.

Онъ подумалъ, помолчалъ и сказалъ наконецъ:

— Я долженъ вамъ все сказать, чего я не говорилъ маменькѣ: она бы ничего не поняла; шумъ былъ бы только... На меня казенный начетъ; пополнить надо.

— Какъ великъ?

— Тысячъ около пяти.

— Э, не вѣрю, братецъ; ничего нѣтъ! Какъ можно, если на васъ есть начетъ, такъ только въ пять тысячъ! Вы бы половчѣе выдумывали; вы бы вдесятеро сказали, я бы повѣрила. Развѣ такіе люди, какъ вы, пятью тысячами кончаютъ? Полноте, неправда, ничего нѣтъ. Вамъ мои деньги нужны только...

— Мнѣ ваши деньги нужны пополнить часть начета, сказалъ Сергѣй Андреевичъ мрачно и тихо.

— Ну, вотъ, поправились; я васъ научила какъ сказать! сказала Прасковья Андреевна, разсмѣявшись.

— Начетъ, дѣйствительно, огромный, продолжалъ братецъ, нахмурясь.

— Полноте, пожалуйста, выдумывать, прервала она:—ничего нѣтъ.

— Есть, подтвердилъ онъ.

— Я вамъ не вѣрю, возразила Прасковья Андреевна:—да все равно, есть или нѣтъ— какое мнѣ дѣло? Если на васъ огромный начетъ, стало быть вы брали деньги, пользовались? Ну, и расплачивайтесь, какъ знаете.

Сергѣй Андреевичъ еще помолчалъ нѣсколько минутъ.

— Вы рѣшительно говорите? спросилъ онъ.

— Рѣшительно.

Онъ всталъ и медленно вышелъ. Все это происходило очень тихо; никто не возвысилъ голоса. Прасковья Андреевна продолжала сидѣть одна и работать, когда Вѣра вошла, шатаясь, полумертвая, и упала на свою постель. Сестра подошла къ ней.

— Что ты? что съ тобой? или что случилось?

— Охъ, не трогай меня... Тамъ онъ...

Катя прибѣжала перепуганная. Сергѣй Андреевичъ, говорятъ, бросалъ стульями по залѣ.

Въ этотъ день весь домъ былъ въ чемъ нибудь виноватъ; не осталось въ покоѣ ни одного человѣка. Сергѣй Андреевичъ, между прочимъ, объявилъ радостное извѣстіе, что остается жить здѣсь.

Нѣсколько дней сряду въ Акулевѣ происходили необыкновенныя вещи. Не было кон-

ца сценамъ, объясненіямъ, спорамъ, шуму, слезамъ: промежутки тишины были едва ли еще не тяжеле всего этого. Замѣчательно то, что все это происходило по разнымъ причинамъ, совершенно посторроннимъ, а о деньгахъ Прасковьи Андреевны не было ни слова.

Вѣра занемогла; Катя глазъ не осушала. Иванова не велѣли принимать. Пріѣхавъ въ субботу, недопущенный въ домъ, онъ оставался на деревнѣ, въ избѣ, и оттуда прислалъ Катѣ записку, спрашивая, что все это значитъ.

Записку перехватилъ Сергѣй Андреевичъ...

Онъ принесъ ее Любови Сергѣевнѣ и попросилъ ее написать Иванову письмо, которое продиктовалъ и въ которомъ поправилъ ошибки орѳографіи... Это письмо было образцовое въ своемъ родѣ.

Катя, между прочимъ, была заперта братцемъ въ его комнатѣ. Сергѣй Андреевичъ вошелъ съ этимъ письмомъ въ рукахъ и прочелъ его вслухъ. Онъ необыкновенно ловко и хорошо обставлялъ всю эту комедію.

— Братецъ, братецъ! что-жъ это такое? что-жъ со мной будетъ? вскричала Катя, не дослушавъ до конца обиднаго, дерзкаго отказа, который назначался ея жениху:—я жива не останусь, я умру...

Сергѣй Андреевичъ, конечно, только разсмѣялся этой глупости, повторяемой дѣвушками при всякомъ удобномъ случаѣ.

— Молчать! строго сказалъ онъ, когда рыданія и крики Кати сдѣлались уже слишкомъ громки.

Она едва не выхватила у него письма, которое онъ сбирался печатать; но Сергѣй Андреевичъ взялъ ее за руки, повернулъ, вытолкнулъ за дверь и заперся.

Катя кричала, стучала въ дверь, наконецъ, вырвавшись отъ тѣхъ, кому было приказано «держать эту безумную», побѣжала въ свѣтелку къ старшей сестрѣ и упала ей въ ноги.

— Ради Христа, спасите насъ, сестрица, голубушка, милая!

Вѣра чуть не умерла, лежа въ своей постели.

Прасковья Андреевна едва добилась у своей любимицы, въ чемъ дѣло.

— Милочка моя, сказала она:—но знаешь ли, чего онъ хочетъ? чтобъ я отдала ему твое приданое—все, что у тебя есть!..

— А умру я, кому это приданое? Не все равно, я умру? Отдайте ему, Богъ съ нимъ! Онъ еще не отсылалъ письма... Подите, подите къ нему скорѣе, отдайте все! Ну, пусть я безъ всего останусь, да не могу я жить безъ Саши...

Прасковья Андреевна взяла билетъ приказа и понесла его брату.

— Возьмите, сказала она, бросивъ его на столъ:—не уморите мнѣ ея!

— Что это такое? сказалъ онъ съ большимъ достоинствомъ. На что мнѣ это? Мнѣ ненужно!

— Ну, ради Бога, братецъ, полноте, довольно! Я сама виновата: до этого довела... Одна сестра умираетъ; другая, дѣвочка моя, внѣ себя... Полноте ее томить, возьмите. Уѣзжайте; я ее безъ васъ обвѣнчаю... Одно только: отхлопочите здѣсь мѣсто Иванову... Я глупа, братецъ, простите меня; но не мучьте мою Катю...

Сергѣй Андреевичъ посмотрѣлъ на ея блѣдное, измученное лицо съ укоризной и состраданіемъ.

— Э-эхъ!.. сказалъ онъ, покачавъ головой, и спряталъ билетъ въ свою шкатулку. Я дамъ вамъ вексель, прибавилъ онъ чрезъ минуту, разрывая письмо и принимаясь писать другое.

Прасковья Андреевна стояла, молчала и ждала. Братецъ кончилъ писать и отдалъ ей.

«Милостивый государь, Александръ Васильевичъ.

«Между нами вышли недоразумѣнія, очень непріятныя для всего нашего семейства, еще болѣе непріятныя для моей меньшой сестры, что вы очень понимаете. Прошу васъ пожаловать къ намъ скорѣе, чтобъ разомъ прекратить эти непріятности и объясниться, какъ слѣдуетъ добрымъ родственникамъ...»

Ивановъ прибѣжалъ тотчасъ.

Все засіяло радостно... то есть, было какъ-то натянуто, принужденно, тяжело-весело. Сергѣй Андреевичъ шутилъ важно, съ покровительствомъ; онъ никакъ не объяснялся съ Ивановымъ, а просто сказалъ, что если его не приняли, то потому, что перепутали лакеи.

Вѣра не вставала съ постели и оставалась въ свѣтелкѣ одна.

Любовь Сергѣевна разсказывала Серженькѣ, каковъ онъ былъ, когда былъ маленькій. Сергѣй Андреевичъ разспрашивалъ объ этихъ подробностяхъ съ любопытствомъ и большимъ снисхожденіемъ.

Катя не плакала больше, но вся дрожала.

Прасковья Андреевна не говорила ни слова и только посматривала на братца. Одинъ разъ взгляды ихъ встрѣтились... Братецъ

улыбнулся этой встрѣчѣ, задумался, посмотрѣлъ еще разъ на старшую сестру и вдругъ обратился къ Иванову:

— Александръ Васильичъ, сказалъ онъ:— что бы вамъ служить въ Петербургѣ?

Сергѣй Андреевичъ заговорилъ на эту тему и говорилъ такъ заманчиво, что Ивановъ увлекся и слушалъ только его. Сергѣй Андреевичъ понималъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло: онъ описывалъ молодому человѣку трудовую жизнь среди людей небогатыхъ, но равнаго съ нимъ образованія, изящныя удовольствія столицы, доступныя тѣмъ, кто умѣетъ сводить экономію, а въ провинціи ни для кого невозможныя, возможность чтенія и прочее. Ивановъ растаялъ.

— Похлопотать, перевести васъ? спросилъ Сергѣй Андреевичъ.

Онъ спросилъ необыкновенно любезно и родственно. Ивановъ колебался; Сергѣй Андреевичъ настаивалъ.

— Выключить васъ здѣсь недолго, сказалъ онъ:—и поѣдемте вмѣстѣ.

— А вы когда ѣдете?

— Дня черезъ три.

И въ полчаса, послѣ совѣтовъ, уговоровъ, шутокъ, настаиваній, было рѣшено, что Ивановъ уѣдетъ служить въ Петербургъ, а чрезъ два мѣсяца, въ январѣ, и—ужъ самый долгій срокъ — въ апрѣлѣ, пріѣдетъ, женится на Катѣ и увезетъ ее съ собою, приготовивъ, какъ и гдѣ помѣстить ее въ Петербургѣ. Это такъ весело, такъ занимательно! Братецъ рѣшилъ такъ скоро, что некогда было минуты подумать. Если Ивановъ задумывался, если Прасковья Андреевна что нибудь возражала, Сергѣй Андреевичъ говорилъ, что съ такой нерѣшительностью нельзя жить на свѣтѣ, что такъ никогда ничего нельзя устроить...

— Я не понимаю, что же ты имѣешь, какое предубѣжденіе противъ этого? спрашивала Любовь Сергѣевна Прасковью Андреевну, взглядывая на нее и какъ будто сомнѣваясь въ цѣлости ея разсудка.

Катя возражала то же; она была въ горѣ... Сергѣй Андреевичъ удостоилъ улыбнуться и сказать, что влюбленныя дѣвочки ничего не понимаютъ.

— Да, кажется, и понимать не хотятъ! подтвердила съ негодованіемъ и тихой горестью Любовь Сергѣевна.

Все шло такъ, что должно было рѣшиться и было рѣшено и условлено, какъ желалъ братецъ.

Когда расходились спать, Любовь Сергѣевна осталась на минуту одна съ сыномъ и обняла его.

— Другъ мой, благородное мое существо... мученикъ!..

Она почему-то глубоко о немъ сожалѣла.

Сергѣй Андреевичъ съѣздилъ въ N* взять деньги изъ приказа и помогъ Иванову поскорѣе получить отставку. Чрезъ пять дней они выѣхали вмѣстѣ, вмѣстѣ ѣхали до Москвы, гдѣ Сергѣй Андреевичъ сѣлъ въ первоклассный вагонъ, не спросивъ Иванова, гдѣ онъ садится. Все-таки, по крайней мѣрѣ, одна машина везла ихъ въ Петербургъ; но въ Петербургѣ Сергѣй Андреевичъ не спросилъ Иванова, гдѣ онъ остановится, и не сказалъ ему своего адреса... Впрочемъ, они даже и не видѣли другъ друга на дебаркадерѣ.

Ивановъ, узнавъ въ адресномъ столѣ, гдѣ живетъ Сергѣй Андреевичъ, сталъ посѣщать его съ просьбой о мѣстѣ... Кто побывалъ въ Петербургѣ для дѣлъ, тотъ знаетъ, скоро ли и какъ они дѣлаются, знаетъ, что такое покровители, доброжелатели и рекомендаціи. Ивановъ пріобрѣлъ эту опытность и чрезъ восемь мѣсяцевъ получилъ мѣсто писаря въ департаментѣ.

Оглядѣвшись, онъ увидѣлъ, что жениться еще нельзя: жить нечѣмъ. Средствъ не прибавилось ни чрезъ годъ, ни чрезъ два... средствъ и теперь нѣтъ! чрезъ четыре года трудъ и тоска, служба и уроки русской грамоты маленькимъ дѣтямъ заставили побѣлѣть кудрявые волосы когда-то хорошенькаго Иванова; работа днемъ, забота ночью, трудъ выше физическихъ и нравственныхъ силъ для того, чтобъ жить, и жизнь для этого труда выше силъ, сдѣлали изъ молодого человѣка какую-то машину уже мало-понимающую, мало-чувствующую... Гдѣ тутъ жениться!..

Сергѣй Андреевичъ, конечно, нашелъ себѣ мѣсто. Въ Акулевѣ всё живутъ попрежнему...

НЕДОПИСАННАЯ ТЕТРАДЬ.

ОТРЫВОКЪ.

1859 г.

Іюнь 185...

Скучно ничего не дѣлать. Эту великую истину я испытываю на себѣ; но что же дѣлать, если дѣлать нечего? Можетъ быть, и скучно, и досадно именно отъ того, что я ужъ слишкомъ ясно вижу, что въ прошедшемъ у меня все кончено, а задумывать что нибудь впередъ—некогда.

Скучно мнѣ потому, что чѣмъ больше я разбираю себя, тѣмъ больше нахожу, что я человѣкъ неустановившійся, безъ настоящаго мужества и опредѣленнаго убѣжденія. Глупо прожить почти до тридцати лѣтъ, испытать довольно, наглядѣться на другихъ и не выработать себѣ характера. Во мнѣ еще много ребяческихъ сожалѣній — не о себѣ, не о томъ, что все для меня прошло, а о томъ, что вся жизнь шла какъ-то не такъ, съ неудачами, съ ошибками. Я еще какъ будто раскаяваюсь, что тогда и тогда поступалъ не такъ, бывалъ виноватъ—а, между тѣмъ, размышляю, что не могъ поступать иначе. Вижу теперь, оглядываясь на другихъ, что все на свѣтѣ покоряется неизбѣжному закону необходимости; слѣдовательно, и я самъ покорялся тому же закону: за что же я обвиняю себя и волнуюсь? Такъ, изъ привычки волноваться, изъ какой-то обязанности волноваться, которую мы принимаемъ на себя въ молодости, вообразивъ почему-то, что эти волненія даютъ намъ право на названіе человѣка, сочувствующаго всему человѣческому. Пересчитать, сколько разъ мы пресмѣшнымъ образомъ прилагаемъ наше сочувствіе не къ мѣсту и не къ дѣлу,—чаще всего обращаясь къ тому, что поэфектнѣе, и, конечно, не замѣчая ничего, что поближе и пониже; пересчитать, сколько мы наговариваемъ громкихъ словъ... Насмѣшки надъ чувствительными читательницами романовъ и, вмѣстѣ, мучительницами своихъ семействъ, уже надоѣли до пошлости; но мнѣ не разъ приходило въ голову, что мы, «сочувствующіе всему человѣческому», ничѣмъ не лучше этихъ дамъ. Мы кончаемъ даже хуже, нежели онѣ. Онѣ до конца жизни остаются вѣрны своимъ романамъ, а мы, наволновавшись до усталости, принимаемся отдыхать, то есть лѣнимся приложить руки къ какому бы то ни было полезному дѣлу; предложивъ разъ-другой сочувствіе, гдѣ его не спрашивали, или, еще лучше, не стоили, вдругъ начинаемъ цѣнить его такъ высоко, что никому больше не даемъ его, вдругъ принимаемся такъ стыдиться нашего «ребячества», что заключаемся въ самихъ себѣ и своемъ величіи, и къ намъ никто не приступай больше: мы, видите ли, обманулись въ человѣчествѣ. Смѣшная комедія, а посмотришь—вся бѣда отъ фразъ. Да зачѣмъ же намъ говорили ихъ, когда мы ходили еще въ дѣтскихъ воротничкахъ? зачѣмъ, вмѣсто разныхъ книжекъ о добродѣтельныхъ Маврикіяхъ и благочестивыхъ Клотильдахъ, не давали намъ въ руки серпа или лопаты, не водили насъ на жнитво, на пашню, въ больницы, въ тюрьмы? зачѣмъ такъ боялись за насъ? къ чему такъ берегли наше глупое дѣтство? Неужели наши воспитатели и хранители не понимали, что и съ нами, вслѣдствіе этой нѣжности, случится та же исторія разоча-

рованія, недовольства собою, разлада съ жизнью, какая, вѣроятно, случилась и съ ними?.. Что выходитъ изъ насъ? Мы горды понятіями, которыхъ не умѣемъ... вѣрнѣе, по совѣсти, не хотимъ приложить къ дѣлу: чего люди хотятъ, то, не смотря ни на что, всегда съумѣютъ сдѣлать. Мы измучены жаждой чего-то лучшаго и примиряемся со всѣмъ, что есть дурного; намъ показали на картинкѣ, какъ трудъ, долгъ и самоотверженіе идутъ своимъ скорбнымъ путемъ, и мы готовы кричать, писать, печатать о долгѣ, выбивать медали въ честь труда, ставить памятники самоотверженію. Но кто изъ насъ, по совѣсти, рѣшится пойти этимъ прославленнымъ, завиднымъ (на словахъ) скорбнымъ путемъ? Все и кончается словами...

А между тѣмъ человѣкъ возмущенъ, несчастенъ; твердой воли нѣтъ у него ни на что—ни на прощеніе, вслѣдствіе пышныхъ фразъ объ идеалѣ добра, ни на осужденіе, вслѣдствіе страшнаго закона необходимости, который онъ, наконецъ, понялъ и призналъ къ тридцати годамъ, какъ я, напримѣръ. Мы не «пресмыкаемся между небомъ и землею», а такъ, бѣжимъ, очертя голову, за призрачнымъ знаменемъ идеала, и рады бы остановиться, да не можемъ, и сами знаемъ, что не стоитъ труда гнаться за нимъ, что идеалъ этотъ ложный, созданный фразой, непримѣняемый ни къ чему живому; знаемъ, что и въ насъ самихъ, въ нашей добротѣ нѣтъ прощенія, въ нашемъ желаніи блага нѣтъ самоотверженія, въ нашемъ благоразуміи нѣтъ настоящаго понятія о жизни; а все бѣжимъ, не умѣя побѣдить какого-то ложнаго стыда и сказать себѣ: не остановиться ли? не пристать ли къ этой темной массѣ, которая живетъ, принимая жизнь, какъ она есть, безъ идеаловъ, дѣлая свое дѣло по необходимости и честному, здравому смыслу, не восторгаясь предположеніями того, что должно бы исполнить, а исполняя то, что можно, что въ ея средствахъ?.. Поденщики, которые въ тинѣ и сырости копаютъ прудъ въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ павильона, гдѣ я размышляю о человѣчествѣ, достигаютъ лучше всякихъ идеалистовъ до идеала самоотверженія: они исполняютъ свой долгъ, трудятся, чтобъ кормить свою семью. Если возразятъ на это, что ихъ заставляетъ необходимость, крайность и, слѣдовательно, ихъ дѣло—не заслуга, а крайность можетъ только отуплять, — то почему идеалисты высшаго разряда плачутся надъ этой крайностью, а до сихъ поръ не придумали, какъ отвратить, или хотя облегчить ее, или, наконецъ, почему не рѣшаются они хотя раздѣлить трудъ, чтобъ не пользоваться имъ даромъ?.. «Ces malheureux! je ne puis les voir!» говорила вчера очень чувствительно сестра моя. Я, какъ человѣкъ, не чуждый ничего человѣческаго и врагъ нервическихъ состраданій, подошелъ ближе, посмотрѣлъ, прочелъ лекцію о предохранительныхъ средствахъ отъ лихорадки. Я чувствовалъ, какъ меня пронизывала сырость, зналъ, что сегодня пролежу отъ этого весь день, и радовался этому: какъ же! я совершалъ подвигъ, наставлялъ человѣчество... О, глупая комедія!.. Когда же, наконецъ, человѣкъ рѣшительно и здраво скажетъ себѣ, что будетъ чѣмъ нибудь однимъ — существомъ, готовымъ отдать другимъ послѣднюю рубашку, или существомъ, спокойно разсуждающимъ, что, напримѣръ, въ этотъ прудъ, отъ котораго уже шесть человѣкъ слегли въ лихорадку, посадятъ deux cent sterlets, и не знаю, сколько carassins, и какъ это будетъ magnifique!.. Вѣдь быть чѣмъ нибудь однимъ покойнѣе, неоспоримо логичнѣе и, по-моему, даже благороднѣе...

Вотъ почему мнѣ и скучно, и досадно, и вѣкъ бывало такъ. Я никогда не могъ ни на что рѣшиться и поступалъ дурно, не умѣя ни жарко раскаяваться, ни убѣдить себя, что я правъ, потому что мои дѣйствія—натуральное проявленіе наклонностей, врожденныхъ во мнѣ, которыхъ, слѣдовательно, перемѣнить я не могу. Признать бы, что мои недостатки, проступки, пороки—слѣдствіе дурно устроеннаго организма, и дѣло съ концомъ: я былъ бы покоенъ; признать бы то же и въ другихъ — и я былъ бы еще покойнѣе: ни негодованія, отъ котораго портится кровь, ни примиреній и прощеній скрѣпя сердце, ни презрѣнія, убивающаго вѣру и въ другихъ и въ самого себя—ничего бы этого не было больше. Я покорился бы этому фатализму несовершенства; и хотя бы въ моей жизни не было больше тѣхъ болѣзненно-восторженныхъ наслажденій, какія бывали въ ней, за то не было бы и тѣхъ мучительныхъ, отчаянныхъ минутъ, до которыхъ доводили меня и другіе и я самъ. Еслибъ случилось какъ нибудь, что во мнѣ начинало бы шевелиться что нибудь похожее на недовольство или сожалѣніе, я говорилъ бы себѣ, что придетъ время, и жизнь пойдетъ лучше, когда всѣ поумнѣютъ, то есть, окончательно откажутся отъ разныхъ стремленій и идеальничанья — и эта мысль утѣшала бы меня и успокоивала... Отъ всего

сердца хотѣлось бы мнѣ довести себя до этого убѣжденія: не могу и никогда не могъ. Понимаю силу, которую даетъ оно, жалѣю, что неспособенъ имѣть его, и, между тѣмъ, оно меня отталкиваетъ: оно холодно. Что холодно, то мертво...

Но жизнь ли въ этихъ извращенныхъ чувствахъ, въ претензіи на чувство, въ подбиваніи самихъ себя на чувство, съ недостойнымъ отступничествомъ при первомъ движеніи эгоизма? жизнь ли это самооправданіе, когда вины разобраны и ясны? жизнь ли въ этихъ смѣшныхъ радостяхъ, самодовольствѣ и самовосхваленіи при малѣйшей, мельчайшей попыткѣ сдѣлать что нибудь порядочное?.. Цѣлый вѣкъ вертимся на словахъ, что всякій изъ насъ, какъ ни поставленъ судьбою, но все-таки звено въ цѣпи существъ и исполняетъ свое назначеніе. Мы натвердились этихъ словъ до самой уморительной гордости; путаемъ ихъ во все, помѣшались на нихъ. Господинъ какой нибудь купилъ не одну, а двѣ половыя щетки у носящаго и говоритъ, что далъ ему хлѣбъ, признаетъ себя благодѣтелемъ; другой перестроилъ мостишко на проселочной дорогѣ и воображаетъ, не шутя, что содѣйствовалъ развитію силъ государства; третій настрочилъ статейку съ темными намеками и носится съ нею — и увѣрьте его, что онъ не обличитель, не проповѣдникъ истины... А отчего все это? Оттого, что были мечтатели, и еще есть они, которые сказали и говорятъ: «чувствуйте, стремитесь, достигайте»...

Съ одной стороны холодъ, съ другой — недостойная, несносная возня, и я, вотъ, до конца жизни не зналъ, куда пристроиться...

Все равно. И съ чего это мнѣ вдругъ показалось такъ необходимо куда нибудь пристроиться? Вотъ она, наклонность къ идеальничанью! Мнѣ скучно, я боленъ; на дворѣ дождь; мои ближніе мнѣ надоѣли, и я счелъ нужнымъ разобрать свои чувствованія и убѣжденія. Не лучше ли было бы на досугѣ подумать, нельзя ли сдѣлать какое нибудь, хотя маленькое, но практически-порядочное дѣло?..

Лучше, конечно, и я это очень хорошо чувствую, но... не думаю объ этомъ: у меня разстроены нервы, на дворѣ дождь, и такъ далѣе...

А не лучше ли сознаться, что я хорошенько не знаю, какъ дѣлаются практически-порядочныя дѣла?..

Деревня, гдѣ живу я, говорятъ, настоящій рай. «Говорятъ», потому что о раѣ я составляю себѣ нисколько непохожее на это понятіе: въ раю, я думаю, должно быть всѣмъ хорошо... Но эту идею я развивалъ сегодня, сколько могъ замѣтить, даже слишкомъ пространно для удовольствія моихъ слушателей, что я и замѣтилъ, хотя доставлялъ себѣ удовольствіе продолжать. Я люблю иногда задѣвать нѣкоторыя убѣжденія и смотрѣть, какъ они злятся, щетинятся и не могутъ возражать, не смѣютъ высказаться, потому что совѣстно. Это доставляетъ мнѣ наслажденіе — какого рода — не умѣю опредѣлить, потому что я самъ въ эти минуты бѣшусь и ненавижу, не уважаю себя за то, что только колю понемногу и насмѣшничаю, а не высказываюсь прямо и ясно; не уважаю себя, потому что обязанъ этимъ людямъ, пользуюсь деликатностью моего положенія и понимаю это.

А положеніе скверное! и еслибъ была какая нибудь возможность не попасть въ него, конечно, я бы ею воспользовался. Сестра моя схватила меня, больного, въ Петербургѣ, увезла къ себѣ, хлопотала, заботилась; ея мужъ тоже; меня окружили попеченія, внимательность людей, которые до этихъ поръ были холодны со мною, съ которыми я самъ не хотѣлъ имѣть дѣла. Я, конечно, не завишу отъ ихъ милостей, но все-таки мое собственное состояніе не могло бы доставить мнѣ тѣхъ удобствъ, которыми я пользуюсь теперь и отъ которыхъ отказаться не могу, не обидя смертельно. Передъ смертью, говорятъ, немного поздно дѣлать другимъ смертельныя обиды... Прекрасная фраза для прикрытія своей собственной мелочности, которую, какъ ни льсти себѣ, не оправдаешь: благороднаго въ ней немного. Я пользуюсь добромъ людей, которыхъ терпѣть не могу. Правда, для очищенія совѣсти, я капризничалъ, чтобъ меня оставили на свободѣ, говорилъ, что привыкъ жить одинъ. Мнѣ предложили павильонъ въ рощѣ... что за комедія! я принялъ. Будировалъ нѣсколько дней; все было не по-мнѣ, неудобно... Ну что бы стоило говорить прямо? Въ павильонѣ устроили каминъ, обили стѣны коврами. Я зналъ, что такъ будетъ, что я самъ, мѣшкая, уничтожаю всѣ предлоги отказаться деликатно. А не деликатно какъ было отказаться? Сестра пришла сама водворять меня на новосельи; была маленькая чувствительная сцена, послѣ которой можно было только остаться жить въ павильонѣ, если я не окончательно грубъ и нечувствителенъ...

Что же, я вознаграждаю себя, что ли, за свое нравственное униженіе, почти всякій

день нравственно унижая моихъ внимательныхъ родственниковъ? Или я въ самомъ дѣлѣ уступаю чувству справедливости, вѣчно-живому въ человѣкѣ, если онъ однажды понялъ, что такое справедливость? Мнѣ угождаютъ, ко мнѣ внимательны—еще не благодѣяніе мнѣ дѣлаютъ! Да еслибъ и благодѣяніе, для чего судить узко, ограниченно, потому только, что я самъ, что моя личность замѣшана въ дѣло? Помогли человѣку—развѣ это не общая обязанность? развѣ она такъ дорого стоитъ? развѣ чего нибудь лишили себя для этого? развѣ въ глазахъ другихъ, постороннихъ, это не великая заслуга, и милое маленькое тщеславіе не находитъ, за что себя погладить по головкѣ—а это развѣ не наслажденіе?..

Я хорошо знаю этихъ людей и знаю, какъ туга ихъ чувствительность тамъ, гдѣ тщеславію нечѣмъ позабавиться; я знаю, какъ они глухи, слѣпы, равнодушны ко всему, что не касается ихъ собственныхъ интересовъ. Они очень покойны. Эти люди не преслѣдуютъ и даже не придумываютъ идеаловъ. Они очень хладнокровно убѣждены, что идеалы существуютъ только въ книгахъ, писанныхъ для наставленія дѣтства и провожденія времени возраста болѣе зрѣлаго, если этотъ возрастъ не находитъ какъ нибудь умнѣе занять свое время. Пожалуй, изрѣдка и они, прочтя что нибудь подобное, умиляются и находятъ, что умиленіе очень пріятно, что оно какъ-то освѣжаетъ отъ застоя и дремоты, какъ чай на балконѣ отъ послѣобѣденнаго сна, но никакъ не болѣе. Идеалы сами по-себѣ, а они сами по-себѣ. И эти люди многочисленны и долголѣтни на земли.

Но зачѣмъ же, за что же имъ такъ хорошо? Какъ признать за собою законность права не думать, не размышлять, не разбирать средствъ, считать остальной родъ человѣческій за ничто, пользоваться благами жизни безъ раздѣла — и все это съ полнѣйшей увѣренностью, съ спокойствіемъ олимпійскимъ? Какъ не возмущаться ни противъ какого стѣсненія, если оно до нихъ не касается, оправдывать всякую мерзость, если она выгодна, поклоняться успѣху, даже когда нѣтъ и нужды ему поклоняться, а такъ, изъ «любви къ искусству», отъ внутренней низости, которая заставляетъ гнуться для поклона?.. Вчера прочли въ газетахъ, что пожалованъ какимъ-то украшеніемъ какой-то господинъ, о которомъ, за полчаса предъ тѣмъ, сестра моя и зять, оба говорили мнѣ, что онъ мошенникъ. Зять мой умилился. «Слава Богу, наконецъ вспомнили человѣка!» — «Да вы что мнѣ сейчасъ говорили?» — «Да, конечно; но все же...» А за этимъ — такъ, въ забывчивости и потому что, даже и поклоняясь успѣху, все-таки пріятно обругать его—зять разсказалъ мнѣ про этого господина нѣсколько исторій, случившихся, «когда онъ бѣденъ былъ и малъ, когда молва его не знала», а потомъ и другихъ, поближе къ настоящей эпохѣ. Я ужасно смѣялся. Пріѣхали кое-кто изъ сосѣдей. Михайло Ильичъ уже отмѣтилъ карандашомъ газету и сообщалъ гостямъ, вмѣстѣ и поодиночкѣ, что вотъ какъ наградили заслугу. Онъ былъ уже искренно умиленъ и не думалъ вспоминать ни старинныхъ, ни новѣйшихъ исторій. Вѣроятно, высказавшись предъ родственникомъ, онъ не считалъ возможнымъ дѣлать это предъ посторонними; но кто же заставлялъ его умиляться, восхвалять «заслугу»? И совершенно безкорыстно; по всей вѣроятности, до конца жизни нимой зять не будетъ имѣть нужды въ этомъ господинѣ. Другіе пристали тоже, и тоже радовались.

Наблюдать эти вещи очень забавно, пока не озлишься. Чтобъ наслаждаться ими, надо, какъ эти господа, не думать ни о чемъ, что изъ этого выходитъ...

У нихъ, впрочемъ, бываютъ и печали, но это еще забавнѣе. Замѣчательно, что, въ минуты своихъ печалей, эти люди тотчасъ впадаютъ въ сантиментальность, или приходятъ въ благородное негодованіе непризнанныхъ геніевъ. Они почти всегда кругомъ виноваты; а если и невиноваты въ настоящихъ случаяхъ, безпристрастный наблюдатель можетъ и тутъ порадоваться, что они расплачиваются за что нибудь прежнее. Они всегда кричатъ очень громко и всегда берутъ предметъ своей горести съ отвлеченной точки зрѣнія. Я не знаю ни одного выгнаннаго чиновника, хотя бы онъ былъ подпомощникъ писаря, который бы не охуждалъ безпорядковъ администраціи и не соболѣзновалъ объ отечествѣ, лишившемся его услугъ. Господинъ, ссылающій семью, въ которой почти все одни грудные младенцы, непремѣнно проповѣдуетъ, съ слезами на глазахъ, что развращеніе дошло до крайнихъ предѣловъ и вопіетъ къ небу; другой господинъ, которому отъ роду никакая здравая идея не только не влетала въ голову, но у котораго она и вокругъ головы не летала, если ему неудается пристроить себя какъ нибудь выгодно или на виду и если объ этомъ провѣдаютъ, считаетъ своимъ долгомъ увѣрять, что «неуда-

его не удивила, что онъ ожидалъ ее, что общество парализовано и деморализовано что мыслящіе люди обществу ненужны, что въ настоящее время иронія отвѣтъ на все, а апатія — благоразумнѣйшее состояніе, что лучшій совѣтъ людямъ мыслящимъ: кто обезпеченъ, тотъ ни во что не вступайся, а кому нуженъ хлѣбъ, тотъ верти шарманку— все, что осталось, все, что возможно дѣлать!..» Слушаешь и думаешь: стало быть, фраза въ крови у человѣка; иначе, откуда берется она даже у тѣхъ, кого воспитаніе не настроило на нее? Или, не грѣшны ли въ этомъ мы «развитые, сочувствующіе», пускающіе фразу въ ходъ такъ часто и такъ легко, что её наслушался, ловитъ и приберегаетъ всякій до случая?.. Чаще всего именно насъ и одолѣваютъ эти господа своими фразами: «вы такъ хорошо понимаете эти вещи» или: «вамъ это всѣхъ ближе къ сердцу», или «вотъ, вы, батюшка, на этомъ зубы съѣли». На чемъ мы «зубы съѣли»—неизвѣстно, но хорошо, по крайней мѣрѣ справедливо, подѣломъ намъ достаются конфиденціи этихъ господъ, когда, понимая и принимая вещи къ сердцу, мы умѣемъ только красно говорить о нихъ, не прилагая ни понятія, ни чувства къ дѣлу...

Раздумаешься обо всемъ этомъ—станетъ скучно до смерти. Ушелъ бы отъ нихъ куда нибудь, въ степь, въ лѣсъ, въ избу, но чувствуешь, что и тамъ не годишься; тамъ нужны руки; чувствуешь, что не проживешь, потому что не съумѣешь сложить себѣ жизни внѣ общества, какъ не съумѣлъ сложить ее себѣ въ обществѣ. Здѣсь—все слишкомъ криво, тамъ—слишкомъ прямо. Одно самъ помогалъ портить, для другого самъ слишкомъ испорченъ...

Любопытно было бы посмотрѣть, какъ все это свяжется, когда люди поумнѣютъ.

—Я счастливымъ не буду никогда,
И нѣтъ въ моей душѣ задатковъ счастья...

Да и поздно быть счастливымъ. Еслибъ и не нашелся добросовѣстный человѣкъ, котораго ужимки и фигуры умолчанія доказали, что мнѣ не дожить до конца года, это доказали бы мнѣ грустныя ужимки и вдругъ возгорѣвшаяся ко мнѣ нѣжность и предупредительность моей сестры...

Студентомъ, я нанималъ квартиру въ домѣ отца одного изъ моихъ товарищей; тамъ была большая семья, много дѣвушекъ, дочерей. Я былъ почти своимъ; другіе молодые люди, приходившіе къ нимъ, были большею частью тоже студенты, наши товарищи. Вечера мы проводили, танцуя подъ фортепіано, или играя въ фанты, charades en action. Въ залу иногда приходилъ и садился старикъ, какой-то двоюродный дядя моего товарища, доживавшій свой вѣкъ въ ихъ домѣ. Это былъ дряхлый человѣкъ, разбитый болѣзнью, отчего казался еще старѣе, и довольно грязный отъ бѣдности. Говорили, что у него было состояніе, и онъ его прожилъ, можетъ быть, безъ толку; теперь ему дали уголъ и хлѣбъ. То и другое было, правда, очень незатѣйливо; но его родственники считали это достаточнымъ, а мы, молодые люди, конечно, и вовсе объ этомъ не заботились. Съ нимъ не разговаривали; развѣ иногда, случалось, которая нибудь изъ его веселыхъ племянницъ, среди нашего шума, оглянется въ темный уголъ, гдѣ скрывалась его сгорбленная фигура, и скажетъ: «А дяденька заснулъ!» на что рѣдко отзывался онъ: «Нѣтъ, матушка», хотя, кажется, не засыпалъ никогда. Намъ не было дѣла до него, хотя, конечно, немного нужно было догадливости, чтобъ видѣть, что всего, и житейскихъ потребностей, и внимательности, доставалось на его долю очень мало. Мы не были безжалостны; напротивъ, мы были очень сострадательны и нѣжны, но ни у кого изъ насъ не было умѣнья, или охоты, или времени приложить нашу сострадательность къ практикѣ. Молодыя племянницы огорчались, когда ихъ мать, особа довольно непріятная, косилась на измятую манишку старика и, наконецъ, выговаривала ему, что лучше бы ему въ такомъ видѣ не показываться; но ни одна изъ племянницъ не брала на себя заботы о его манишкахъ. Когда онъ кашлялъ и охалъ въ своемъ углу, мы говорили: «Бѣдный, какъ онъ мучится!»—«Ему бы надо лечиться», глубокомысленно замѣчали мы, молодые люди. «Вы бы, дяденька, прилегли», прибавляли племянницы. — «Пойду, матушка», отвѣчалъ онъ, тяжело поднимаясь, и если которая нибудь поддерживала его, прибавлялъ печально, но всегда съ искренней любовью: «Не безпокойся, другъ мой; Богъ съ тобой; не надо, душа моя». У дѣвушекъ навертывались слезы; мы были смущены. Предъ нами стояла обязанность, которую мы чувствовали и которой никто не хотѣлъ взять на себя... почему? Всякій изъ насъ упрекалъ другихъ въ холодности, обвинялъ старшихъ главъ этого семейства, обвинялъ судьбу; всякій почему-то находилъ для самого себя невозможнымъ сдѣлать что нибудь для ста-

рика, хотя ясно видѣлъ, что именно можетъ сдѣлать. Мы всѣ были отвратительные эгоисты, хотя этотъ эгоизмъ оправдывали и оправдываютъ стремленіемъ молодости жить, оставляя отжившее тлѣть на дорогѣ... Отецъ моего товарища былъ человѣкъ недальняго ума и недальняго образованія; онъ доставлялъ себѣ иногда удовольствіе заводить съ старикомъ разсужденія и споры для того, чтобъ посмѣяться надъ нимъ, хотя старикъ бывалъ правъ гораздо чаще, нежели его противникъ. Мы, молодые люди, слышали эти споры, призывались на рѣшеніе и—надо признаться къ стыду нашему—принимали сторону старика очень рѣдко и защищали слабо; находились даже охотники нарочно спорить противъ него, чтобъ сердить его и смѣяться. Впрочемъ, мы видѣли также, что поддерживать его слишкомъ усердно не служило ему въ большую пользу: его родственникъ-благодѣтель выходилъ изъ себя и говорилъ ему дерзости. Какъ ни были мы мало внимательны къ положенію старика, но видѣли и знали, что для него быть забытымъ было еще меньшее изъ униженій.

Я сблизился съ старикомъ нѣсколько болѣе, нежели другіе—не изъ состраданія, но также не отъ желанія щегольнуть небывалымъ состраданіемъ. Въ нашемъ кружкѣ авторство было въ большой модѣ. Я замышлялъ громадный романъ изъ послѣднихъ годовъ прошлаго столѣтія и вздумалъ разспрашивать старика о разныхъ подробностяхъ того времени, о складѣ общества, по крайней мѣрѣ того, которое ему было знакомо: мнѣ это казалось необыкновенно важно, ему было очень пріятно. Слушая его, я воображалъ, что исполняю свой долгъ, собираю матеріалы для труда, имѣющаго перейти въ потомство, и хотя съ большимъ сожалѣніемъ, но и съ нѣкоторою гордостью, жертвовалъ для этого «долга» удовольствіями нашего молодого общества. Старикъ, разсказывая (я убѣдился въ этомъ впослѣдствіи), вообразилъ, что я, добрая душа, дѣлаю это для доставленія ему удовольствія. Онъ искренно сталъ считать меня не такимъ чужимъ ему, какъ были другіе. Это продолжалось съ мѣсяцъ. Онъ занемогъ сильнѣе и пересталъ выходить изъ своей каморки. Придя вечеромъ, я спросилъ о немъ однажды и не спрашивалъ больше. Потомъ я слышалъ, какъ слова «дядя очень плохъ» стали повторяться чаще и чаще; въ семействѣ явилось какое-то безпокойство, заботливость; мать стала спрашивать о кушаньяхъ, которыя готовились для старика, стала выходить изъ-за обѣда, чтобъ узнавать, по вкусу ли ему эти кушанья; племянницы сами дѣлали и носили ему питье, чередовались сидѣть у него, перестали играть на фортепіано, чтобъ его не тревожить; отецъ тоже ходилъ сидѣть съ нимъ по получасу въ сумерки и, возвращаясь, произносилъ: «плохъ старикъ!» и озабоченность еще съ полчаса не сходила съ лица его. Одинъ разъ мнѣ сказали, что старикъ вспомнилъ обо мнѣ и спрашивалъ меня. Я пошелъ къ нему. Это былъ уже совсѣмъ умирающій, но умирающій въ полной памяти. Онъ обрадовался мнѣ и, противъ своего обыкновенія, ничѣмъ никого не стѣснять, просилъ меня посидѣть съ нимъ подольше. «Вы одни всегда были со мной хороши», выговорилъ онъ. Я очень зналъ и помнилъ, что былъ «хорошъ съ нимъ» только для матеріаловъ моего романа, но въ эту минуту нервически вообразилъ, что всегда былъ лучше другихъ. Онъ не жаловался, хотя всякое его слово было напоминаніемъ всего, что вынесъ онъ отъ своихъ благодѣтелей. Люди часто воображаютъ, что, накормивъ (и еще какъ накормивъ!), все сдѣлали, или что ихъ ближніе, проживъ до извѣстныхъ лѣтъ, теряютъ способность понимать, чувствовать и мучиться... Подавъ намъ чай, къ намъ входили десять разъ съ вопросами: какого варенья желаетъ дяденька, и не желаетъ ли онъ еще чего, то того, то другого. Старикъ потерялъ терпѣніе. «Ничего не хочу, матушка», возразилъ онъ довольно твердо. «Скучно!» выговорилъ онъ, когда, наконецъ, мы остались одни: «вотъ, пристаютъ теперь... прежде бы сжалились!..» «Нѣтъ», продолжалъ онъ потомъ: «Господи, прости мой грѣхъ и пошли имъ все лучшее! Хоть предъ смертью они покоятъ меня, какъ истинные родные, какъ дѣти. Пошли имъ за это, Господи, и въ здѣшнемъ вѣкѣ, и въ будущемъ...» Они похоронили его бѣдно, не говорили о немъ никогда, и я знаю, что забыли. Помнить, слѣдовательно, размышлять, слѣдовательно, вызывать тяготящее чувство—память дурного дѣла, совершавшагося такъ продолжительно, что совершать его привыкли и перестали понимать, что оно дурно...

Теперь, черезъ десять лѣтъ, почти то же случается и въ моей жизни... Но что за странное чувство, это позднее покаяніе эгоизма, холодности, вражды, и откуда оно берется? Какъ оно мелочно, и внутренно, какъ оно должно быть трусливо! Кого думаютъ обмануть, или закупить этими букетами свѣжихъ цвѣтовъ всякій день, этими кипсеками на всѣхъ

столахъ, этими осторожными разговорами съ поблажками всякому дикому парадоксу, какой вздумается «милому страдальцу» выразить иногда такъ, для пробы, что изъ этого будетъ? Разсчитываютъ ли, что «милый страдалецъ» лишенъ здраваго смысла и пониманія вещей, или еще кто нибудь не поймеrâ этой комедіи и тронется ею?..

Мнѣ бы хотѣлось знать хоть одного человѣка, для котораго бы слово воспоминаніе означало что нибудь вполнѣ пріятное, кто бы могъ охотно и легко вспоминать все—не отрывками, не выбирая, не имѣя надобности закрывать глаза на что нибудь, на вины другихъ, или свои собственныя, отворачиваться отъ чего нибудь, отъ горя, пришедшаго неизвѣстно за что, отъ радостей, неудавшихся неизвѣстно почему... Давно какъ-то читалъ я разсказъ Диккенса, гдѣ память восхвалялась и даже выставлялась первымъ благомъ, укрѣпляющимъ, поддерживающимъ и даже вовстановляющимъ человѣка; въ поддержку этой идеи были подобраны разные чувствительные случаи, примѣры, гдѣ нервическое раздраженіе играло сильную роль, а за раздраженіемъ, извѣстно, является потребность успокоиться, что всего удобнѣе сдѣлать, скорѣе примирясь со всѣмъ... Даже въ молодости мнѣ показалось это натянутымъ, неестественнымъ.

Теперь у меня великій досугъ вспоминать; но воспоминаніе доставляетъ мнѣ такое удовольствіе, что я не только не вызываю этого «благодѣтельнаго» чувства, а былъ бы очень радъ, чтобъ оно само ко мнѣ не навязывалось. И чѣмъ больше издали, чѣмъ бы, казалось, трогательнѣе приходитъ эта память, тѣмъ хуже... Многіе, проповѣдующіе благо памяти, должны бы, напротивъ, желать, чтобъ ее вовсе не оставалось у дѣтей, или чтобъ дѣти выростали безъ понятія...

Въ дѣтствѣ я не понималъ, но знаю теперь, что моя семья жила сверхъ состоянія и что этихъ издержекъ было положено очень много на бархатныя поддевки и тому подобныя безобразія, въ которыя меня наряжали, но очень мало, чтобъ выучить меня чему нибудь. Я понималъ и тогда, что мою сестру любили больше меня, за что я ее терпѣть не могъ, и она дѣлала то же; но я, какъ слабѣйшій, довольствовался тѣмъ, что глубоко таилъ мои чувства и только изрѣдка вертѣлъ головы ея кукламъ; а она, пользуясь правомъ сильной и старшей, рѣдкій день не доводила меня до наказанія. Попеченія обо мнѣ ограничивались этими наказаніями и длинной моралью, которую цѣлый часъ читали мнѣ послѣ нихъ и которую я долженъ былъ слушать стоя, расплаканный и голодный, выпущенный изъ темнаго чулана и лишенный своей бархатной поддевки: въ этихъ торжественныхъ случаяхъ она замѣнялась затрапезной рубашкой сына нашей кухарки. Онъ былъ мнѣ большой пріятель; меня вообще любила наша дворня, какъ «умнаго барченка, который никогда не жаловался и не ябедничалъ». Я не могъ ни жаловаться, ни ябедничать, потому что меня не стали бы слушать, тѣмъ не менѣе ставилъ себѣ въ заслугу благородство своего характера. Первыя нравственныя понятія получилъ я отъ дворни. Отцу было некогда мной заниматься: онъ служилъ, ѣздилъ въ гости, игралъ... да отцы, вообще, никогда этимъ не занимаются. Мать тоже выѣзжала, наряжалась, иногда, если случалось ей провести вечеръ дома и безъ гостей, она приказывала и мнѣ придти въ гостиную (гдѣ сестра бывала всегда, и при гостяхъ), и говорила о звѣздахъ и ангелахъ, но обращаясь не ко мнѣ, а къ Ольгѣ. Мнѣ въ эти вечера всегда доставались упреки, что я дурной, пропащій мальчикъ, и Богъ непремѣнно меня накажетъ. Когда наступало время спать, я уходилъ всегда въ слезахъ и лишенный вечерняго поцѣлуя; утромъ я просыпался съ болѣзненнымъ чувствомъ тоски и страха, что на меня сердятся — за что, я не понималъ. Если во снѣ я забывалъ свое вечернее горе и то, что заслужилъ немилость — мнѣ напоминали. У Ольги была гувернантка, гадкая нѣмка, которая тиранила меня въ угоду другимъ... О, прелесть воспоминаній дѣтства!

Я, однако, былъ прилеженъ и все сидѣлъ за книжками, поневолѣ; играть было не съ кѣмъ и рѣдко не доставалось мнѣ за мои игры; поэтому я зналъ много для своихъ лѣтъ; я читалъ книжки нянѣ, буфетчику, сыну кухарки и философствовалъ съ ними. Я слышалъ, что меня не хотятъ много учить, будто бы по моему лицу видно, что мнѣ это не нужно, что такъ какъ я стройный и пустой мальчикъ, то долженъ служить въ кавалеріи. Это придумали, вѣроятно, потому, что я ничего такъ не боялся какъ лошадей; кажется, рѣшили ни къ чему не пріучать меня понемногу, резонно, а во всемъ переламывать насильно. Мнѣ и теперь тошно, когда вспоминаю, какъ меня заставляли ѣсть вещи, бывшія мнѣ не по вкусу, которыя отъ этого, однако, не сдѣлались мнѣ по

вкусу; меня, конечно, выучили ничего не бояться, но не помню, сколько разъ я бывалъ боленъ отъ страха, и очень вѣроятно, что эти принужденія, насильныя потрясенія нервовъ оставили слѣды на всю жизнь. Однажды, надѣвъ затрапезную рубашку, я не выдержалъ и сказалъ сестрѣ, — которая, вся въ бантикахъ, вертѣлась кругомъ и дразнила меня,—что не стыжусь этого наряда, потому что это платье честнаго человѣка, а счелъ бы за униженіе надѣть что нибудь изъ ея вещей, потому что она лгунья. Гроза разразилась... Мнѣ это памятно, какъ вчера. Вчера мнѣ даже приходило въ голову научить этому отвѣту одного изъ моихъ племянниковъ, къ которымъ примѣняется та же система воспитанія и наказаній.

Рѣшили, что я такой злодѣй, что ожидать больше нечего, и отвезли меня въ корпусъ. Но конфекты, бархатныя поддевки и нервныя раздраженія не готовятъ къ корпусной жизни; четырнадцатилѣтняго меня предложили взять домой моимъ родителямъ: у меня начиналось что-то въ родѣ чахотки. Воротясь домой, я нашелъ перемѣны: безъ меня сестру отдали въ институтъ—не потому, чтобъ, подобно мнѣ, пороками и злодѣйствами заслужила она удаленіе изъ родительскаго дома, а потому, что ее слишкомъ рано начали показывать гостямъ, наряжать; расходы должны были бы увеличиваться съ каждымъ годомъ, до настоящаго ея вступленія въ свѣтъ, и былъ необходимъ маленькій антрактъ издержекъ. Мать много выѣзжала сама и еще танцовала. Меня записали въ гимназію нашего губернскаго города. Тогда, конечно, яснѣе, нежели въ дѣтствѣ, я началъ понимать, какъ живутъ люди, и всматриваться въ средства жизни. Наше имѣніе было разорено; отецъ служилъ, и мы жили роскошно... Ольга вышла изъ института восьмнадцати лѣтъ; мнѣ было пятнадцать; ей тотчасъ же убавили годъ и приказали мнѣ объ этомъ не помнить. Она была недурна собою, довольно ловка, одѣвалась со вкусомъ; молодые люди за ней ухаживали. Я былъ смиренный, вѣчно безмолвный и забытый гимназистъ, къ которому блестящая сестрица обращалась только съ приказаніями подать или спросить что нибудь. Мы не сближались ни въ чемъ, жили какъ совсѣмъ чужіе. Впрочемъ, не съ одной Ольгой жилъ я такъ: меня будто не замѣчали ни отецъ, ни мать; я приходилъ, уходилъ, могъ не показываться по цѣлымъ днямъ, не возбудивъ безпокойства, такъ же, какъ не возбуждалъ заботы о моихъ успѣхахъ: въ нихъ давно всѣ отчаялись. Мнѣ оставалось наблюдать, какъ жили другіе, а самому жить какъ случится. Другіе жили отвратительно. Сестра была удивительный образецъ ранней разсчетливости, разсчетливости чисто-женской, то есть самой мелочной, хитрой и злой. Съ перваго дня своего возвращенія домой, она стала выказывать, что любитъ отца болѣе, нежели мать; пошли въ ходъ ласки, шалости, нѣжно-институтскія названія. Отецъ былъ въ восторгѣ и платилъ за это баловствомъ, удовольствіями, нарядами. Я еще не понималъ, что въ этомъ особенно дурно, когда, одинъ разъ, надѣлавъ матери непріятностей за то, что она отказывалась везти Ольгу на какой-то балъ, отецъ сказалъ ей при мнѣ (онъ не женировался): «Ты рада засадить дѣвочку въ четырехъ стѣнахъ, потому что еще сама хочешь прыгать». Съ этого дня мнѣ стали понятны взгляды Ольги на всякій чепчикъ матери и фраза: «Oh, je ne suis qu'une enfant et maman est si belle!» которую она умѣла выговаривать съ особеннымъ разнообразіемъ выраженія.

Я былъ тогда очень молодъ и разсудилъ, что мать несчастнѣе меня, но что я остаюсь ей, что моя обязанность ее утѣшать. Но кадетъ, превращенный въ гимназиста, не имѣетъ въ своемъ распоряженіи тѣхъ очарованій, которыми одарена хорошенькая, нѣжно-воспитанная дѣвушка: я не умѣлъ взяться утѣшать. Ласкаться и говорить нѣжности я не привыкъ; разговоръ о моемъ ученьи, о книгахъ, которыхъ я на досугѣ прочитывалъ неимовѣрно много, не занималъ моей матери; говорить о моихъ планахъ на будущее... Я началъ было одинъ разъ—она удивилась, что я думаю о чемъ нибудь. Надо было бы рѣшиться поднять со дна все старое, высказать все... этой рѣшимости у меня не нашлось.

Впрочемъ, это продолжалось недолго. Въ три года я кончилъ гимназическій курсъ; и когда отецъ, ожидавшій, что я попрошу записать меня юнкеромъ въ кавалерійскій полкъ, или на службу въ канцелярію губернатора, спросилъ, что я намѣренъ съ собой дѣлать, то былъ очень удивленъ отвѣтомъ, что я иду въ университетъ. Я не просилъ позволенія: я сказалъ, что хочу идти—и иду. Мать печально замѣтила, что не надѣется на мои способности; Ольга удостоила улыбнуться и вышла: это до нея не касалось; отецъ разсердился и кричалъ, что не въ состояніи еще нѣсколько лѣтъ содержать меня, что пора мнѣ самому о себѣ заботить-

ся... Кончилось, однако, тѣмъ, что я уѣхалъ въ Москву, въ университетъ, и съ этого дня началась моя свобода.

Вспоминаю свой отъѣздъ. Это было въ августѣ, вечеромъ. Отецъ съ Ольгой уѣхали на загородный праздникъ. Мать и я оставались вдвоемъ, въ залѣ, освѣщенной одной свѣчкой, забытые прислугою, которая хлопотала, прибирая въ домѣ послѣ отъѣзда «господъ»: мать ужъ не была госпожею дома. Она сидѣла, облокотясь у стола; я ходилъ взадъ и впередъ, дожидаясь своей телѣги и почтовыхъ лошадей. Она смотрѣла на мою мелькавшую тѣнь и говорила о томъ, какъ мелькаютъ и колеблятся тѣни, напримѣръ въ лѣсу, сквозь листву. Я отвѣчалъ тоже: «Да, мелькаютъ...» Она оглянула всю комнату и выговорила:—«Ахъ, какъ я сейчасъ одна останусь, когда ты уѣдешь!» Я бросился къ ней и обнялъ такъ, что не знаю, какъ не сломалъ ея исхудалыхъ плечъ. «Мама», спросилъ я: «для чего ты никогда мнѣ прежде этого не сказала?» Она стала плакать, рыдать, цѣловать меня; она была больна и раздражена. Я тоже цѣловалъ ее и плакалъ, но ужъ знаю, что не нервически; поднимать со дна старое, говорить о томъ, чтобъ могло быть, увѣрять ее, что она была для меня, было бы такъ же безполезно, какъ безполезно теперь вспоминать это! Съ этого вечера я больше не видалъ моей матери. Не прошло и полугода, какъ я былъ въ университетѣ, когда мнѣ написали, что она умерла. Домъ показался мнѣ ужъ слишкомъ пустъ; я не поѣхалъ на вакацію, а провелъ ее около Москвы, давая уроки. Отецъ писалъ мнѣ рѣдко, нѣсколько незначащихъ словъ; но сестра взяла на себя роль моей руководительницы, чего я ужъ никакъ не ожидалъ отъ ея постояннаго равнодушія ко мнѣ. Она писала мнѣ наставленія, хотя не часто, но со всѣми риторическими украшеніями, какъ особа, изучившая литературу нѣсколькихъ языковъ. Письма были всегда по-французски; отецъ назывался въ нихъ «notre excellent Papa» или «notre bon Père» (всегда съ прописною буквой), и описывался всегда огорченнымъ моимъ поведеніемъ. Я зналъ, что я ничего не дѣлалъ дурного. Нашлись какіе-то знакомые, пріятели отца, которые наговорили ему обо мнѣ разныхъ сплетень. Не знаю, какое удовольствіе, или какую выгоду они находили въ этомъ, но оправдаться я никогда не могъ; къ тому же, обвиненія были тонки и сложны, а я умѣлъ оправдываться только рѣзко, повторяя, что это вздоръ и что тѣ, которые говорятъ это, лжецы. Принужденный повторить это, не помню въ который разъ, письменно, я не выдержалъ и на нравоученія сестры написалъ, что удивляюсь отцу, который вѣритъ такимъ низостямъ. Въ отвѣтъ на это я получилъ— все чрезъ сестру приказаніе не пріѣзжать и на слѣдующую вакацію. Меня совсѣмъ забыли; ко мнѣ не писали больше. Уроки, которые въ прошедшее лѣто я взялъ отъ тоски, чтобъ чѣмъ нибудь заняться, сдѣлались для меня средствомъ къ жизни. Хорошо, что ихъ было довольно; но утомленіе, постоянная работа, постоянная тяжесть на душѣ сламывали меня и физически, и нравственно. Я писалъ отцу, сестрѣ, и не получалъ отвѣта. Это совершенное отчужденіе отъ семьи продолжалось полтора года. Я сбирался ужъ довольно далеко уѣхать на свою третью вакацію, когда, наконецъ, получилъ письмо отъ сестры. Она извѣщала, что выходитъ замужъ за превосходнаго и всѣми уважаемаго человѣка, описывала его достоинства; впрочемъ, сколько тамъ ни было фразъ, а среди нихъ можно было разобрать, что всѣ достоинства этого «прекраснаго» человѣка состоятъ въ большомъ имѣніи и въ домахъ, которыми онъ владѣетъ въ обѣихъ столицахъ. Сестра писала, что ея свадьба назначена въ іюлѣ... Это письмо передо мной; оно надняхъ попалось мнѣ между моими бумагами. Помню, какъ у меня встрепенулось сердце отъ ожиданія, не позовутъ ли, наконецъ, и меня, не вспомнятъ ли, наконецъ, что и я не чужой? У меня мелькнула мысль, что послѣ свадьбы сестры отецъ останется одинъ; мнѣ захотѣлось обнять его; припомнилось прощанье съ матерью... Сестра продолжала акуратно сначала строки:—«Quant à vous, mon frère...» что, въ настоящую минуту, она не смѣетъ и не желаетъ безпокоить отца, или даже докучать ему, напоминая обо мнѣ; его гнѣвъ, попрежнему, столько же силенъ, сколько справедливъ (пріятели, налгавъ на меня однажды, очень натурально, не хотѣли признаться, что налгали), но что она, Ольга, хотя и раздѣляетъ негодованіе нашего достойнаго отца, не желала бы, однако, чтобъ я считалъ ее безчувственной эгоисткой, а потому предлагаетъ помочь мнѣ въ моихъ денежныхъ обстоятельствахъ, удѣливъ мнѣ изъ суммъ, которыя даны ей собственно на мелкія покупки для приданаго. «Предупреждаю только, mon frère, что могу располагать весьма немногимъ, и прошу воспользоваться моимъ предложеніемъ только въ случаѣ истинной необходимости. Не употре-

бите во зло моей снисходительности; я сочту себя виновной, если она послужитъ вамъ на новыя глупости, въ родѣ тѣхъ, которыхъ съ вашей стороны было слишкомъ довольно и которыя сокращаютъ жизнь нашего отца...»

Поднимается же рука писать такія вещи! Я не отвѣчалъ ей ни слова, не писалъ и отцу. Не знаю, какъ тамъ и когда была эта свадьба. Я уѣхалъ на свою «кондицію». Пришла осень, начинался послѣдній курсъ, послѣ котораго надо было думать, какъ жить. Заботы и занятія вмѣстѣ и убивали меня, и поддерживали, оставляя меньше времени думать. На бѣду, я занемогъ. Въ это время я ужъ не нанималъ квартиры въ домѣ товарища: это было ужъ не по моимъ средствамъ. Мнѣ пришлось вынести болѣзнь со всѣми лишеніями, со всѣмъ одиночествомъ, какъ выносятъ ее настоящіе бѣдняки; пришлось не нѣжиться, а спѣшить встать, чтобъ наверстать потерянный мѣсяцъ и лекцій, и уроковъ. Этотъ мѣсяцъ меня состарилъ. Помню, что, вставъ съ постели въ первый разъ, я спросилъ, которое число, чтобъ вѣрнѣе узнать, много ли потерялъ времени; мнѣ сказали. Это былъ день моего рожденія: мнѣ исполнилось двадцать одинъ годъ. Когда ушелъ лекарь, добрый малый, тоже изъ студентовъ, которому время было дорого такъ же, какъ и мнѣ, когда ушла хозяйка и заперла дверь снаружи на замокъ, чтобъ, если я засну, ко мнѣ не забрался кто нибудь — я остался одинъ и горько наплакался, празднуя свое совершеннолѣтіе. Какъ ни дорога жизнь во время выздоровленія, но мнѣ очень хотѣлось умереть; я говорилъ себѣ, что нечего желать продолженія этой жизни, когда она такъ тяжела, такъ рано отравлена, когда впереди можно разсчитывать только или на чудеса, который что-то рѣдко случаются, или на свои собственныя силы, которыхъ скоро не станетъ. Трудъ для жизни, жизнь для труда—высокое, но уже нисколько не отрадное понятіе... теперь, въ тридцать лѣтъ, я еще яснѣе вижу, сколько въ немъ ужаснаго. Въ молодости, въ восторженныя минуты, мы бываемъ тверды и смѣлы; но въ этотъ первый день выздоровленія, когда тѣло брало верхъ надъ душой и не допускало ее восторгаться и наивно притворяться предъ самой собой, я повторялъ себѣ, что нѣтъ силъ, нѣтъ охоты жить, и плакалъ столько, что этотъ нервическій припадокъ произвелъ переломъ и вылечилъ меня окончательно.

Мнѣ хотѣлось написать отцу, узнать, что съ нимъ, но я чувствовалъ, что именно въ моемъ настоящемъ положеніи не долженъ писать. Если ужъ онъ былъ предубѣжденъ, сердитъ, за что принялъ бы онъ мое письмо? за просьбу, конечно, хотя я никогда не просилъ. Пришла зима. Въ январѣ я получилъ отъ него письмо и едва узналъ почеркъ — такъ онъ измѣнился, но узналъ и полчаса не могъ распечатать: руки дрожали... Онѣ и теперь у меня холодѣютъ при воспоминаніи. Беру это письмо: всего три строки...

«Дмитрій, пріѣзжай, мнѣ надо съ тобой повидаться. Какъ получишь это письмо, брось все и пріѣзжай. Если нѣтъ денегъ, возьми у моего повѣреннаго».

Я досталъ ихъ у одного изъ товарищей. Все порядочное въ моей душѣ съ малолѣтства было такъ смято и изломано, меня такъ выучили, что можно не вѣрить, подозрѣвать — что, послѣ первой минуты полуобморока, которымъ выразилась моя радость, мнѣ пришелъ страхъ: какъ бы не подумалъ онъ, что я радъ случаю воспользоваться?.. Гадко, но виноватъ ли я?

Я засталъ отца въ ужасномъ положеніи, былъ смущенъ, не приготовленъ, не зналъ дѣла и потому потерялся еще болѣе, нежели потерялся бы другой на моемъ мѣстѣ... Имѣніе было давно разстроено, разорено отъ роскошной жизни, къ которой привыкли у насъ въ домѣ; отецъ служилъ... Я разомъ узналъ все, и не знаю, какъ выжилъ эту минуту. Еслибъ мнѣ разсказывалъ все это посторонній, а не онъ, не мой отецъ, самъ, на своей смертной постели... Выбѣжавъ отъ него, я съ отчаянной радостью сказалъ себѣ, что я счастливъ, что не для меня это дѣлалось, что если съ дѣтства меня забывали и отвергали, за то я могу смотрѣть на себя безъ стыда. Отецъ встрѣтилъ меня безъ особенной нѣжности; онъ лежалъ, разбитый параличомъ. Свадьба сестры стоила дорого: зять требовалъ обѣщаннаго; надо было отдать; отецъ отдалъ... Черезъ два мѣсяца изъ Петербурга прислали чиновника сдѣлать слѣдствіе: имѣніе, что оставалось, было продано; дѣло рѣшили... «Вотъ я и слегъ», сказалъ онъ мнѣ: «за тѣмъ тебя и вызвалъ, чтобъ объясниться съ тобою. Ты не пеняй на меня, что ничего тебѣ не оставлю — не могъ. Что оставила тебѣ покойница (онъ иначе не называлъ матери), то и есть; возьми билетъ». Онъ подалъ мнѣ ломбардный билетъ въ пять тысячъ—все мое состояніе; я былъ какъ помѣшанный, смотрѣлъ и не понималъ. «Когда ты уѣхалъ», продолжалъ онъ: «покойница просила меня переписать

на твое имя ея деньги; это еще ея приданое. Живи какъ знаешь; отецъ для тебя ничего пріобрѣсть не могъ... Да, еще! будешь служить—здѣсь не служи: здѣсь тебѣ неловко. Отца твоего стерли съ лица земли—и съ тобой то же сдѣлаютъ... Злодѣи! съ ними смерти обрадуешься: хуже смерти участь приготовили!..» Я не понималъ его: онъ говорилъ о приговорѣ, которымъ кончилось его дѣло; я думалъ, что нельзя желать жить послѣ такого дѣла... И съ нимъ, какъ съ матерью, мы не вспомнили прошедшаго. Съ матерью мы хотя одну минуту поняли другъ друга; теперь все прошедшее было отброшено, какъ ненужное, нестоющее вниманія. Отецъ не спросилъ меня и о будущемъ. Въ свои послѣднія минуты онъ не заботился обо мнѣ, или не надѣялся на меня; онъ хладнокровно предоставилъ мнѣ, если мнѣ угодно, быть хоть пустымъ, хоть дурнымъ человѣкомъ. «Какъ знаешь», повторялъ онъ... И я знаю, что это было нисколько не признаваніе за мной разумной, свободной воли.

Едва ли кто нибудь былъ несчастнѣе меня въ эти дни. Злѣйшему врагу не пожелаю испытать мученія, когда чувство человѣка пересиливаетъ чувствительность ребенка, сознаніе становится выше инстинкта, когда правила, натверженныя съ дѣтства, освященныя обычаемъ и до этой минуты въ самомъ дѣлѣ казавшіяся будто священными, сами собой напрашиваются на разборъ, на повѣрку, на судъ другой, непреложной, неумолимой истины. Все, что выноситъ человѣкъ во время этой нравственной ломки, гдѣ за однимъ сброшеннымъ убѣжденіемъ падаетъ затронутое другое, колеблется третье, гдѣ хотѣлось бы поддержать что нибудь, чтобъ сохранить себѣ прежнія, младенческія, отрадныя вѣрованія, семейныя привязанности и уваженія, и поддержать невозможно, и какой-то внутренній голосъ, строгій, неслыханный прежде, говоритъ, что поддерживать не надо, что то, чему не слѣдуетъ падать, что въ самомъ дѣлѣ свято и необходимо, то устоитъ само собою, а что падаетъ, то стоитъ паденія; все, что пугаетъ восторженно-настроенное воображеніе, возбуждаетъ нервы, волнуетъ кровь; все, что проходитъ въ безпрестанно-замирающемъ сердцѣ, въ болѣзненно-раздраженной головѣ — всего этого пересказать нельзя. Переживъ такіе дни, конечно, становишься умнѣе, но этотъ умъ дорого достался: жизнь потеряла свою цѣну...

Ольга была въ деревнѣ своего мужа. По приказанію отца, я написалъ, чтобъ они пріѣхали; она пріѣхала одна, безъ мужа, промедливъ долго, чрезъ два дня послѣ похоронъ. Престранное свиданіе! О прошломъ опять ни слова, точно мы никогда не жили вмѣстѣ, или жили, но какъ нибудь иначе, а не такъ, какъ было. Она была довольно холодно огорчена; въ другой это было бы понятно—въ Ольгѣ это была неблагодарность. Сначала она сказала, что не пріѣхала на сцены смерти, потому что беременна — не пустилъ мужъ, потомъ прибавила: «и притомъ, для чего-жъ я была нужна?» — «Но отчего же не пріѣхалъ мужъ ни тогда, ни теперь?» — «Ты очень молодъ, Дмитрій, однако можешь понять: послѣднія обстоятельства...дѣло отца было такого рода, что моему мужу, человѣку такихъ достоинствъ, быть распорядителемъ на похоронахъ, conduire le deuil, такое близкое родство... это, значитъ, по собственной охотѣ компрометироваться». Меня взорвало... Какъ смотритъ мнѣ въ глаза моя сестрица, если помнитъ— а по-моему нельзя забыть—все, что я тогда сказалъ ей?

Она пріѣхала въ городъ передъ вечеромъ и уѣхала на другой же день поутру, побывавъ на кладбищѣ въ раннюю обѣдню, такъ, чтобъ ее не могъ видѣть никто изъ знакомыхъ. У меня знакомыхъ не было. Сестра повторяла, что моя обязанность оставаться тутъ, распорядиться. Она великодушно не вспоминала утромъ того, что слышала отъ меня съ вечера, приписывая все, вѣроятно, разстроенному расположенію духа. «Ты понимаешь», сказала она: «что я отказываюсь отъ принадлежащей мнѣ части въ этомъ домѣ и въ вещахъ, въ движимости; je suis au dessus de ces misères. Это все твое». Я предчувствовалъ, что у отца были еще частные долги и потому не отказывался. Дома и «движимости» недостало, чтобъ уплатить ихъ; въ остальномъ долгѣ я далъ вексель на свое имя, пока возвращусь въ Москву и размѣняю свой билетъ. Это задержало меня еще недѣлю. Странный видъ представлялъ этотъ домъ, уже чужой, въ которомъ, чтобъ распорядиться остальнымъ, я еще оставался съ своимъ тоненькимъ чемоданомъ и дорожной подушкой. Прислуга была уже вся отпущена. Въ числѣ ея не было никого изъ старыхъ, знакомыхъ мнѣ лицъ—ни моей няни, ни буфетчика: они отошли, когда продалась деревня. Оставался какимъ-то образомъ забытый, никуда неприписанный крѣпостной, сынъ кухарки, товарищъ моего дѣтства, теперь бойкій, сильно избаловавшійся малый. Я поспѣшилъ его афраншировать, но удер-

жалъ еще на нѣсколько дней въ домѣ, пока неизвѣстные мнѣ люди всегда почему-то очень непріязненно приходили, выбирали и уносили за долгъ пожитки, посуду, серебро, мебель, даже бѣлье и тюфяки. Степанъ зналъ всѣхъ и распоряжался, какъ хозяинъ; это даже доставляло ему видимое удовольствіе. Онъ не стѣснялся ни моимъ присутствіемъ, ни моей печалью, и очень явно не довѣрялъ моимъ умственнымъ способностямъ. Изъ комнаты, гдѣ умеръ отецъ и гдѣ я сидѣлъ цѣлый день, я слышалъ, какъ онъ похаживалъ, напѣвая сквозь зубы, какъ скрипѣли дверцы шкаповъ, въ которыхъ онъ разбирался, отворялись двери для посѣтителей и покупателей, и его пѣсни, скрипъ, стукъ шаговъ, звонъ и шорохъ разбираемыхъ вещей, разговоры, торгъ и шутки раздавались въ пустотѣ дома, становившемся звонче съ каждымъ днемъ. Я не зналъ, какъ скорѣе кончить: меня, вѣроятно, обманывали, но я хотѣлъ только развязаться. Въ этихъ печальныхъ хлопотахъ было слишкомъ много унизительнаго.

Ольга приглашала меня, когда я все кончу, пріѣхать къ ней въ деревню, чтобъ познакомиться съ ея мужемъ. Я не поѣхалъ: не хотѣлъ и было некогда. Былъ уже конецъ февраля — надо было готовиться къ послѣднему экзамену. Я спѣшилъ уѣхать изъ дома, изъ города. Я чувствовалъ все какъ-то смутно; отъ заботы было некогда раздумываться. Но не лучше ли, что такъ было? О чемъ мнѣ было думать? Я выходилъ на жизнь, на свою дорогу, безъ средствъ, безъ поддержки, безъ семьи, безъ имени, потому что мнѣ было стыдно носить мое имя...

Не лучше ли не оглядываться, не лучше ли оставить себѣ хоть нѣсколько дней забвенія, потому что прощенія, примиренія быть не можетъ?..

Не можетъ, потому что никакимъ закономъ необходимости невозможно оправдать этого положительнаго, сознательнаго зла... всего, что сломило мою жизнь, что въ глазахъ моихъ ломаетъ жизнь другихъ, если вглядываться пристальнѣе, и даже не вглядываться, а только смотрѣть, смотрѣть кругомъ — и глаза растеряешь... Со мной кончено, но другимъ дурно—а я еще не установился, еще не умѣю сказать, что мнѣ до этого нѣтъ дѣла. Ужъ не идеалъ совершенства зову я, а желалъ бы въ людяхъ хотя немного здраваго смысла, или, еще проще, животнаго пониманія, что если бываетъ больно имъ, то и другимъ можетъ быть больно...

Но я, измученный мечтатель, лучше ли я другихъ? Знаю, что не изъ одной только охоты говорить говорилъ я; но точно ли слово есть д ѣ л о? точно ли люди, измученные своей непрошенной любовью и лишенные средствъ доказать ее иначе, какъ словами— не ничтожные люди? Заслуга ли наше недовольство, наше негодованіе? Свѣтъ идетъ себѣ съ своей неправдой, и тѣ рѣдкіе счастливцы, которымъ удается толкнуть его идти лучше, они—люди, дѣйствовавшіе не одними словами...

Я понимаю. Но тѣмъ хуже, что я понимаю! Вслѣдствіе моего пониманія, я бы долженъ былъ, напримѣръ, хотя бѣжать отсюда; а я живу здѣсь...

Не разъ въ жизни я испытывалъ, въ отношеніи къ тѣмъ, кого издали считалъ за лучшихъ людей, досаду, негодованіе, непріятное чувство человѣка обманутаго. Это были, въ самомъ дѣлѣ, лучшіе люди, занятые, мыслящіе, говорящіе смѣло, образованные. Я негодовалъ, подмѣчая изнанку ихъ убѣжденій, мелочи среди ихъ благородства. Если эти люди стояли одни, среди непонимающихъ и несочувствующихъ имъ личностей, они заслуживали еще извиненія: ихъ уступки и мелочи были слѣдствіемъ необходимости; но они не разъ возмущали меня въ своихъ кружкахъ. Сколько взаимнаго восхваленія! сколько громкихъ словъ, тѣхъ словъ, которыя для порядочныхъ людей должны бы имѣть все значеніе присяги! а затѣмъ, сколько потворства другъ другу и сколько мелкихъ измѣнъ тому, что признавалось священнымъ. Смѣлость на словахъ, рѣзкость въ словѣ, котораго, они увѣрены, никто лишній не услышитъ, и сколько осторожности въ поступкахъ! сколько поклоновъ изъ самосохраненія! Эгоизмъ самый утонченный, а съ вида самый чувствительный. Ужъ лучше бы не говорили о своихъ объятіяхъ, открытыхъ всему міру!.. Я уходилъ отъ нихъ иногда воспламененный, чаще отуманенный великими истинами; но никогда не уходилъ утѣшенный. Еще пустѣе казался мнѣ мой бѣдный уголъ послѣ роскошнаго жилья этихъ благодѣтелей и свѣтилъ человѣчества; еще безотраднѣе казалось мнѣ мое одиночество послѣ выспренныхъ фразъ о сочувствіи, которыя произносили эти господа, и между собою не бывшіе особенными друзьями... Имъ можно было бы крикнуть по-старинному: слово и дѣло! и потребовать въ томъ и другомъ отчета...

Но они въ самомъ дѣлѣ еще лучшіе люди: они хоть не грубо гонятъ со свѣта. Я зналъ всякихъ. Эти, хотя въ самомъ дѣлѣ иногда сочувствуютъ и прощаютъ, снисходя къ слабости человѣка, такъ логически ими разобранной. Правда, чаще они прощаютъ, чтобъ не безпокоиться такъ же, какъ бываютъ строги, потому что не безпокоятся обращать вниманія на причину вины, когда эта вина, или причина ея, оскорбляетъ ихъ эстетическое чувство. Они хотятъ, чтобъ во всѣхъ было эстетическое чувство, забывая, что у большей части людей судьба будто нарочно заботится какъ бы задушить его съ пеленокъ... Ригоризмъ ихъ безпощаденъ до жестокости, а между тѣмъ такъ величавъ, что противъ него робѣешь, не находя оправданій!..

А другіе, тѣ, кого эти передовые люди называютъ отсталыми! Отъ нихъ нелегче намъ, бѣднякамъ, стоящимъ на полдорогѣ. Съ ними мнѣ еще чаще случалось встрѣчаться. Помню первый случай. Вскорѣ послѣ окончанія курса, ожидая обѣщаннаго мѣста, я поѣхалъ повидаться съ одними родственниками въ деревню. Вотъ еще одно «освѣжающее, успокоительное» воспоминаніе. Родные приняли меня радушно и радостно; трогательно говорили мнѣ о моемъ дѣтствѣ; напоминали разные случаи, разныя подробности; водили меня по всѣмъ угламъ дома и сада; показывали мнѣ мѣсто, гдѣ я свалился съ вѣковой березы, на которой вздумалъ устроить себѣ качели; прудъ, гдѣ я чуть не утонулъ, отчего тетушка, въ испугѣ, схватила лихорадку. Я вспомнилъ, что дядя, послѣ моего паденія, тотчасъ же велѣлъ срубить березу, а тетушка, прежде своей лихорадки, велѣла высѣчь маленькаго садовника за то, что онъ не бросился тащить меня, хотя онъ не умѣлъ плавать. Эти подробности какъ-то расхолодили умиленіе воспоминаній дѣтства; онѣ навели на странную охоту отыскивать еще чего нибудь подобнаго. Мое желаніе, нельзя сказать, чтобъ было очень нѣжно, но это было желаніе знать ясно и чувствовать сознательно. Для меня, какъ ни молодъ былъ я, ужъ прошла пора безсознательныхъ привязанностей. Я сталъ искать, смотрѣть кругомъ, наблюдать, кончилъ тѣмъ, что не могъ любить этихъ людей, даже изъ благодарности за ихъ любовь ко мнѣ, ребенку. И они сами перемѣнились въ отношеніи ко мнѣ. Я убѣдился, что имъ былъ какъ-то животненно милъ образъ ребенка, котораго они няньчили когда-то и кормили, но что этотъ ребенокъ сдѣлался имъ ненавистенъ, когда сталъ человѣкомъ и понялъ ихъ. Молодость вовсе не такъ добра, какъ принято это думать; если она честна и ненавидитъ зло, то такъ горда своей ненавистью, что находитъ наслажденіе поражать и мучить. Потомъ зрѣлому человѣку станетъ больно отъ ранъ, которыя онъ нанесъ другимъ; но молодость такъ не думаетъ... Насмотрѣвшись на житье-бытье моего дяди, я разбранился съ нимъ, доставивъ себѣ наслажденіе доказать ему фактами и цифрами, что онъ дурной человѣкъ. Мнѣ было тяжело и совѣстно браниться, но, можетъ быть, именно отъ этого и былъ я рѣзокъ и безпощаденъ: вообразить себѣ долгъ и мучить себя ради его—тоже одно изъ наслажденій молодости. Я считалъ своимъ долгомъ выказать на дѣлѣ мои убѣжденія, а случай былъ самый удобный: я каралъ родного, который могъ бы даже помогать мнѣ въ нуждѣ. Мы разстались съ тѣмъ, чтобъ вѣкъ не встрѣчаться.

Съ годъ назадъ, мы встрѣтились, какъ ни въ чемъ не бывало. Дядя пріѣзжалъ въ Петербургъ, останавливался у меня и жилъ на мой счетъ, конечно. О прошломъ не было и помину. А мое мнѣніе о немъ основательнѣе, нежели когда нибудь; и еслибъ была прежняя охота, прежній пылъ, я имѣлъ бы полнѣйшее право наговорить ему еще хуже. Я, однако, ничего не сказалъ—конечно, не потому, чтобъ въ чемъ нибудь, въ самой малости измѣнился въ тѣхъ убѣжденіяхъ, которыя были и остаются для меня святы, чтобъ въ чемъ нибудь извинялъ я моего дядюшку и тысячи ему подобныхъ, чтобъ, для оправданія ихъ, я отыскивалъ причины и побужденія, въ родѣ ложнаго воспитанія, духа времени и тому подобнаго; не отъ того, чтобъ лѣниво я сказалъ себѣ: «не онъ первый, не онъ послѣдній». Эти ужасныя слова всегда имѣли и имѣютъ способность взрывать меня. Я молчалъ, потому что давно, и болѣе нежели годъ назадъ, сдѣлался тѣмъ, что я теперь: человѣкомъ, измученнымъ до конца, и понялъ, что измучился безплодно. Можно, пожалуй, вотъ такъ набрасывать на бумагу свои воспоминанія и негодованія, но выражать ихъ громко ни къ чему не служитъ...

Дядя помнилъ мой первый подвигъ, мою побранку съ нимъ. Я видѣлъ это по той кроткой и прощающей насмѣшкѣ, съ которою онъ смотрѣлъ на меня. Мои неудачи по службѣ, непріятности и размолвки съ сослуживцами и другими лицами, замѣчанія, что я человѣкъ безпокойный, были довольно извѣстны всѣмъ, кто зналъ меня. Жилъ я почти бѣдно, и то благодаря честности и оборотливости торговца, которому ввѣрилъ свои три тысячи; благодаря ему, и теперь то, что есть у

меня—мое, а не милостыня. Тогда я поддерживалъ себя единственнымъ, сколько нибудь приносящимъ трудомъ, погрязнувъ въ корректурахъ, переводахъ и компиляціяхъ. Дядя посматривалъ на эти горы бумаги и помалчивалъ. Мнѣ было не стыдно моего труда и моей бѣдности, но меня брала злость: зачѣмъ, хотя бы этимъ временемъ, когда за мною наблюдаетъ этотъ отупѣвшій человѣкъ, мой трудъ не приноситъ мнѣ милліоновъ, чтобъ я могъ бросить ихъ ему въ глаза, потому что для подобныхъ людей нужны только деньги, деньги и деньги, какъ доказательство дѣльности, какъ доказательство истины! И знать, что число подобныхъ людей безконечно, что я еще счастливецъ между многими, потому что гордъ и все-таки сколько нибудь обезпеченъ, что я могу и умѣю принудить молчать насмѣшку, что я еще не потерялъ права на общественное уваженіе, между тѣмъ какъ сотни другихъ, и лучше меня, теряютъ это право, потерявшись сами отъ грубости, отъ дерзкаго презрѣнія поклонниковъ капитала и успѣха...

Я много зналъ такихъ людей; судьба сводила съ ними и сходство положенія. Бывало, горько и больно видѣть, безъ возможности помочь, какъ погибали даромъ таланты, какъ тупѣли способности, какъ совѣсть пріучалась къ уступкамъ и, наконецъ, къ стыду. Что должно было дѣлать, чтобъ спасти ихъ? Говорить, внушать, повторять безпощадно, что ихъ паденіе недостойно, что они виноваты, то въ глубинѣ души должно вѣчно жить чувство долга, понятіе благородства, что они обязаны, по этому чувству и понятію, быть выше мелочей и стѣсненій жизни... Но довольно ли однихъ словъ? Что въ этомъ случаѣ слова? — раздражающая, мучительная насмѣшка надъ дѣйствительностью—ничего болѣе. Человѣкъ унижается изъ куска хлѣба. Сказать ему: не унижайся и умри?... А когда кругомъ него столько людей спокойно унижаются и живутъ счастливо!..

Вотъ что мнѣ было всего тяжеле. Изъ людей, изъ друзей, съ которыми сначала пошли мы рядомъ по одной дорогѣ, всякій день отставалъ кто нибудь, уклонялся, пропадалъ, погрязалъ. Не знаю, кто изъ нихъ возбуждалъ во мнѣ болѣе негодованія: тотъ ли, кто рѣшительно дѣлался безсовѣстнымъ и смѣялся надъ остальными, или тотъ, кто, унижаясь по мелочи, плакался надъ своимъ униженіемъ, не чувствуя болѣе силы возстать, не имѣя духу признаться, что прилѣплялся къ низостямъ, и самъ не сознавая, что даже не желаетъ возбудить себя, чтобъ отъ нихъ оторваться. Не знаю, кто изъ нихъ сильнѣе губитъ во мнѣ вѣру въ людей... Я былъ не лучше ихъ, хуже; я выучивался ненавидѣть; я оставался честенъ изъ гордости предъ самимъ собою. Это было въ лучшіе годы моей молодости. Не знаю, что-бъ сталось со мною, до какой отвратительной злобы дошла бы моя непогрѣшимость, еслибъ судьба не послала мнѣ урока. Страшно вспомнить!.. Мальчику было всего семнадцать лѣтъ: сирота, брошенъ на произволъ судьбы добрыми людьми. Хорошъ былъ я,—другъ, старшій, наставникъ, человѣкъ опытный и въ горѣ, и въ несчастьи! Я допустилъ его сдѣлаться воромъ. Среди шума грязной исторіи, въ отчаяніи, я спросилъ его, зачѣмъ же не сказалъ онъ мнѣ, не обратился ко мнѣ.

«Какъ же бы сказалъ я вамъ?» возразилъ онъ: «мнѣ было нужно на шалости; развѣ бы вы меня извинили? Вы не такой человѣкъ...»

У непогрѣшающихъ людей много такихъ грѣховъ на совѣсти...

Мои двѣ маленькія племянницы пришли играть на лужайкѣ, противъ крыльца моего павильона. Этой лужайки не косятъ, потому что я люблю густую траву и полевые цвѣты; а такъ какъ мнѣ объ этомъ повторяли не разъ, то я уже не разъ благодарилъ за внимательность. Дѣвочки бѣгали; когда я отворилъ окно, гувернантка подвела ихъ пожелать мнѣ bonjour; я пригласилъ войти, забавлялъ дѣтей картинками; онѣ читали заглавія моихъ книгъ.—Mon oncle, что это такое, héritage? спросила старшая, найдя это слово.—«Наслѣдство».—«Пресмѣшныя эти малютки» замѣтила гувернантка: «ничего не понимаютъ, а все спрашиваютъ».—«Нѣтъ, я понимаю!» вскричала дѣвочка: «это послѣ того, какъ кто умретъ... вотъ mon oncle умретъ скоро—все его намъ останется».—«Марья Михайловна!» вскричала гувернантка въ ужасѣ. По мнѣ пробѣжали мурашки; но ея ужасъ все-таки меня разсмѣшилъ.—«Можно ли это говорить? вы должны просить извиненія»...—«Но въ чемъ же?» перебилъ я.—«Почему не говорить?» вступились дѣти: «вчера это и papa, и maman говорили; они сами говорили, еще говорили, что мало...» Меня взяла злость; я смотрѣлъ на гувернантку, переконфуженную сколько возможно. Это дѣвица лѣтъ за тридцать, очень некрасивая, очень ограниченная, изъ русскихъ—дешевая гувернантка. Покуда я смотрѣлъ на нее, мнѣ взбрела мысль предложить этой дѣвицѣ мою руку и сердце, чтобъ разрушить

надежды наслѣдниковъ,—и злость прошла: такъ эта мысль меня разсмѣшила. Я глупо сдѣлалъ, что не исполнилъ ея: некрасивая дѣвица все-таки не была бы принуждена подъ старость бродить изъ дома въ домъ, отъ моей сестры къ другой, подобной ей, дамѣ...

Я открылъ, что, стало быть, моимъ существованіемъ уже не озабочиваются, что уже разсчитываютъ, ждутъ... Но что же это за открытіе? развѣ это не въ порядкѣ вещей и я не могъ догадаться прежде?... Только неловко высказываться при дѣтяхъ. Это какъ-то не та мораль, что писана у нихъ въ книжкахъ...

Эта ли мораль меня волнуетъ, или ужъ слишкомъ ясная увѣренность?... А люди еще хвалятся твердостью духа!...

Все равно, я зналъ или предчувствовалъ это прежде. Я зналъ, что у меня это расположеніе съ дѣтства, что, рано или поздно, если вести такую жизнь, какую я велъ, не разгибаясь за работой, не думая беречься, волнуясь нравственно, много огорчаясь, много сердясь — должно этимъ кончиться и меня надолго не станетъ. Два мѣсяца назадъ, мнѣ дали это понять осторожно, деликатно, но все-таки я понялъ. Но тогда меня это не смутило, или смутило, но легко. Я говорилъ себѣ, что мнѣ плохо, но какъ будто еще самъ не вѣрилъ; я зналъ, что рѣшительная минута должна придти скоро, но все какъ-то казалось мнѣ, что это скоро еще не такъ близко. Случалось даже, что, воображая развязку, я думалъ о себѣ, какъ о постороннемъ, и даже самъ себѣ казался интереснымъ... какъ чувство-то искажено въ человѣкѣ: самъ о себѣ безъ фразы пожалѣть не можешь!... Отчего же теперь, когда ужъ и дѣти говорятъ о близкой перспективѣ наслѣдства, это кажется мнѣ достовѣрно и въ самомъ дѣлѣ близко?

Но что же это?...—Надо сознаться, у меня не достаетъ мужества назвать вещь по имени, написать это слово... И вотъ все, что принесли мнѣ наставленія, выслушанныя въ дѣтствѣ, восторженныя мечты молодости, размышленія зрѣлаго возраста, примѣры живые и письменные, философія, анализъ жизни... Приходитъ развязка — человѣкъ тоскуетъ и труситъ!

Чего я трушу? не знаю. Такъ, скверно. Мнѣ казалось сначала, что скучны долгіе сборы, но сейчасъ я спросилъ себя: такъ какъ дѣло уже неизбѣжное, не рѣшусь ли я лучше сократить ихъ? средства всегда есть... Это показалось мнѣ еще непріятнѣе. Пришла мысль: «къ чему? и безъ того недолго!» Стало быть, непріятна дурная минута — только, возня этой дурной минуты, моя собственная глупая мина потомъ... Но какое мнѣ дѣло, что будетъ потомъ?... Мнѣ бы хотѣлось добраться какъ нибудь, чтобъ уяснить себѣ, чѣмъ особенно все это кажется мнѣ такъ скверно.

Разсуждая здраво, я ни о чемъ не тоскую. Предложи мнѣ кто нибудь прожить опять столько же и такъ же, я откажусь, конечно; это была бы слишкомъ длинная скука, опять такая жизнь... Не попробовать ли утѣшить себя мыслью, что ни для кого она не идетъ веселѣе и складнѣе? Отъ такого утѣшенія и вовсе жить не захочется. Я не завистливъ, но скучливъ: зѣвающее общество наводитъ на меня зѣвоту; печальныя лица кругомъ меня мучатъ, отравляютъ для меня даже радость, если бываетъ радость; мнѣ становится безплодно жаль, безплодно совѣстно...

А все-таки до осени недалеко. Теперь іюль. Августъ, можетъ быть, сентябрь... но это ужъ что-жъ такое?..

...Подавлены издревле въ насъ судьбой
Духовныя сокровища и силы;
Мы брошены, какъ богатырь живой,
Въ глубокій склепъ удушливой могилы...
—«Для лучшаго намъ время не пришло;
А то, что есть, толпѣ необходимо»,
Твердитъ нашъ умъ; но сердцу тяжело:
Законность зла ему невыносима.
Нѣтъ! счастливъ я не буду никогда...

Эти строки преслѣдуютъ меня неотвязно. Да, поздно, поздно мнѣ тосковать, звать счастье! Ребячество! Не умѣть заставить себя покориться тому, что неизбѣжно, жалѣть жизнь, не цѣня жизни...

Я выносилъ ее не за одного себя. Чувства, страданія, проступки другихъ — все было мнѣ близко. Мнѣ было нелегко; но еслибъ и было легко за себя, я не эгоистъ: горе другихъ и тогда не оставило бы мнѣ ни счастья, ни покоя. Ничто не шло мимо меня въ жизни моихъ друзей, враговъ, чужихъ и близкихъ, въ жизни цѣлаго міра. Сознавая свое право, какъ человѣкъ, я жилъ всѣми его восторгами, всѣми волненіями, всѣми ожиданіями; я мѣшался съ страдающей и ожидающей толпой и понималъ ея печали мелкія, прозаическія; я жилъ полно, потому что понялъ, какъ должно любить. Для меня не могло быть счастья.

Теперь, когда пришло къ развязкѣ, зная свои вины, зная, что меня собственно, гордеца, человѣка ненужнаго или страдальца,

жизнь въ тридцать лѣтъ ничѣмъ не порадовала, прощаясь съ нею, я тоскую объ одномъ, что она пойдетъ для другихъ такъ же, какъ шла, такъ же никого не порадуетъ, въ высокомъ измѣнитъ, въ мелочахъ измучитъ, что въ глубокой темнотѣ, которая окружаетъ насъ, въ темнотѣ эгоизма, равнодушія, предубѣжденій, непонятливости, лѣни, предразсудковъ, разлада, лжи — нѣтъ просвѣта, и будетъ ли онъ когда нибудь? Добро, вѣчно лишенное средствъ, станетъ зломъ отъ стѣсненія, отъ необходимости, отъ уступокъ, отъ козней зла; зло, вѣчно сильное, будетъ считаться добромъ, освѣщенное обычаями, выгодой, удобствомъ; торжество правды будетъ, какъ было, въ сознаніи, что правда есть правда, что она неизмѣнна, что она существуетъ, какъ бы ни искажали, какъ бы ни гнали ее; но торжество ея будетъ вѣчно выражаться только слезами и призывами тѣхъ, кто ея жаждетъ...

Мнѣ хотѣлось бы влюбиться до безумія, завершить мое существованіе чѣмъ нибудь яркимъ.

Жаль, что не въ кого влюбиться, развѣ въ мамзель; но она ужъ слишкомъ некрасива. Есть недурныя сосѣдки, но лѣнь. Видно, чувства насильно не вызовешь, сколько ни бейся; видно, то, что вызывается насильно, не чувство.

Сегодня я вздумалъ было поговорить объ этомъ предметѣ съ мамзелью, когда она зашла ко мнѣ съ дѣвочками. Она съ такимъ ужасомъ обвела глазами комнату, гдѣ мы были одни, и такъ звонко кликнула дѣтей съ крылечка, что я понялъ, какъ безполезно заводить подобные разговоры. Кто это такъ перевертываетъ головы и понятія у женщинъ? У молодыхъ, хорошенькихъ, еще такъ и быть, нелогичность выкупается чѣмъ нибудь другимъ; но для старыхъ и безобразныхъ здравый смыслъ былъ бы добродѣтелью. А вѣдь ни одна старая и безобразная не думаетъ искоренить въ себѣ порока тщеславія. Начнешь говорить имъ, что жить скучно, а умирать не хочется—онѣ тотчасъ примутъ это за декларацію, и тотчасъ испугаются и позовутъ Машеньку и Катеньку, а сами рады до смерти, или тотчасъ сдѣлаютъ гримасу достоинства и потупятъ глазки, и никогда ни одна не пойметъ, о чемъ ей говорили, не приметъ къ сердцу положенія того, кто говорилъ, и не скажетъ ему добраго слова. Умѣнье говорить добрыя слова — великое умѣнье; должно бы, кажется, оно по праву принадлежать женщинамъ, но у нихъ-то оно особенно и рѣдко. Онѣ такъ извертѣлись, что у нихъ и правда бываетъ не похожа на правду, и даже, говоря иногда правду, онѣ сами не знаютъ, не лгутъ ли онѣ по привычкѣ.

Я зналъ только одну женщину...

Но отчего опять, чрезъ нѣсколько недѣль, взялся я за эту тетрадь съ желаніемъ высказаться хоть предъ самимъ собою? Отчего мнѣ хочется вспоминать, призывать прошлое, и въ этомъ прошломъ мнѣ припомнилось счастье и я назвалъ себя неблагодарнымъ?

Покуда я помогалъ мамзели оправиться отъ смущенія, предложивъ ей посмотрѣть коллекцію каррикатуръ, Катя взобралась на столъ, открыла мою шкатулку, стала рыться въ ней. Я увидѣлъ у нея въ рукахъ коробочку, испугался, что она ее откроетъ, и схватилъ ее. Мамзель стала читать мораль, дѣти пищать, чтобъ я показалъ. Мнѣ стало скучно. Вѣрнѣе, мнѣ самому захотѣлось взглянуть на то, что дорого, о чемъ я неблагодарно забывалъ такъ долго. Я боялся только, чтобъ онѣ не тронули; точно, я боялся: эта запонка не была ни въ чьихъ рукахъ, кромѣ моихъ, съ тѣхъ поръ, какъ **она** дала мнѣ ее... «Ахъ, только-то!» кричали эти глупыя дѣвчонки, отъ пеленокъ избалованныя всѣмъ на свѣтѣ. «Un charmant objet», изрекла мамзель, сверкнувъ своими крошечными глазками. Безъ этого сверканья глазками женщины не могутъ видѣть наряда, не имъ принадлежащаго.—«Дяденька, подарите мнѣ», принялась просить Маша. Она цѣлый часъ приставала ко мнѣ, цѣловала меня, ломалась, побранилась съ Катей, которая тоже начала просить; расплакались обѣ; мамзель стала унимать ихъ, и, наконецъ, ушли всѣ, когда ѣсть захотѣли.

Передо мной все какъ-то освѣтилось. Я просидѣлъ цѣлый вечеръ, глядя на запонку. Я измучился тоской по жизни, тоской по этой женщинѣ — по всему, что не сбылось, что и не могло сбыться...

Когда кругомъ все чуждо и немило, когда остальной свѣтъ, далекій отъ насъ, но въ которомъ мы привыкли все принимать къ сердцу, идетъ не такъ, какъ бы намъ хотѣлось, бываетъ желаніе забыться въ самомъ себѣ. Добрые люди назовутъ это эгоизмомъ. Достанетъ ли у нихъ духу осудить за нѣсколько минутъ, нѣсколько бѣдныхъ минутъ забвенія? Пусть успокоятся эти судьи:

ненадолго. Дѣйствительность не даетъ на долго забываться, какъ бы ни дорого, какъ бы ни свѣтло было воспоминаніе...

У меня оно одно; я въ правѣ въ немъ забыться. Во всей прошлой, напрасно загубленной молодости, были хорошіе полгода... Воротилъ бы ихъ, пережилъ бы ихъ, мучился бы, блаженствовалъ бы попрежнему... И только полгода!

Зачѣмъ же я не удержалъ моего счастья на всю жизнь? зачѣмъ допустилъ судьбу разлучить меня съ женщиной, лучше которой я не зналъ, которую любилъ, какъ лучше любить не умѣю, которая меня любила и доказала это? Зачѣмъ я послушался ее, этого нѣжнаго, благоразумнаго разсчета? Ну, мы были бы бѣдны, нищіе... но у насъ было бы четыре года любви, четыре года!...

Гдѣ она? что съ нею? Мнѣ приходитъ безумная мысль написать къ ней... Зачѣмъ? Она, можетъ быть, покойна, можетъ быть, счастлива... Но, надѣюсь, она не замужемъ...

Мнѣ стало легче жить эти дни. Прошлое свѣтитъ на нихъ; я доставляю себѣ мучительное наслажденіе, припоминая его день за днемъ. Сижу одинъ и думаю. Когда жизни остается немного, не все ли равно: переживать старое, или жить новымъ? Да новаго ничего и не придумаешь, и нѣтъ охоты придумать. Пусть жизнь дотягиваетъ свои дни, часы, минуты: какъ бы ни шла она въ настоящемъ, для меня ужъ все равно...

Отчего бываетъ, что думаешь о чемъ нибудь далекомъ и вдругъ являются обстоятельства, которыя сильнѣе напоминаютъ это далекое, люди, которые были ему свидѣтелями? Это случается будто нарочно. У меня былъ вчера братъ Лизы.

Она не замужемъ; она непокойна, несчастлива, и будетъ еще менѣе покойна и счастлива, когда этотъ братецъ устроитъ ей то, что называетъ «комфортабельнымъ положеніемъ». Три года, пока онъ подвизался на полѣ брани, она прожила съ старухой-теткой въ N. Отецъ ея умеръ. Тетка почти ослѣпла, дряхлая, больная: ясно, что Лиза трудится, чтобъ было чѣмъ жить. Братецъ объясняетъ небрежно, что «у нея была фантазія (она такъ любитъ дѣтей!) окружить себя дѣтьми, заниматься ими, чтобъ разсѣяться отъ скуки этимъ временемъ безъ него. Знакомые такъ добры, что доставляли ей это удовольствіе, присылали къ ней своихъ дѣтей...» Это значитъ, что она набрала къ себѣ учениць. Мнѣ бы хотѣлось взглянуть на нее съ ними. Я не зналъ, какъ заставить его разсказать что нибудь еще, но ничего больше не узналъ о ней. Впрочемъ, что же еще онъ могъ разсказать! Развѣ онъ ее понимаетъ?... Господинъ. Арашинъ все тотъ же, что былъ, только въ статскомъ сюртукѣ съ ленточкой въ петличкѣ, на немъ все новенькое, только что экипировался, и все чуть не скрипитъ — такъ ловко прилажено—отъ «перваго» портнаго въ Москвѣ. Утѣшался, я думаю, этотъ «первый» портной! Тонко надушонъ, длинные ногти, французскій языкъ; говоритъ, ужъ если была война, то хорошо, что съ образованными народами; можно было практиковаться въ языкѣ. Дѣйствительно, энергически клянется. Претензіи на изящество еще утонченнѣе и прежнія претензіи на богатство. Онъ, просто, боится, чтобъ кто нибудь какъ нибудь не провѣдалъ или не заподозрилъ, что у него пусто въ карманѣ, и даже нисколько не тонко лжетъ для этого. Онъ и мой зять забавляли меня вчера. Михайло Ильичъ родился и состарѣлся богатъ, что, однако, не заставило его привыкнуть къ богатству, которое онъ считаетъ чѣмъ-то въ родѣ добродѣтели и цѣнитъ весьма высоко. Аристократы иногда оттого смотрятъ на людей бѣдныхъ свысока, что не понимаютъ ни ихъ, ни нужды; но Михайло Ильичъ не аристократъ: онъ богачъ низшаго разряда, хозяинъ; онъ знаетъ до тонкости, какъ и чѣмъ могутъ жить люди, и презираетъ бѣдность оттого, что она почему-то кажется ему смѣшна. Почему — не понимаю, но это въ самомъ дѣлѣ такъ. Щегольство богатства для него дѣло второстепенное; онъ выросъ на правилѣ: «не красна изба углами»; его комфортъ — чтобъ все было прочно, сытно; и если онъ живетъ нарядно, то благодаря своей женѣ и потому, что «что же! ему можно такъ жить». Но, по его понятію, человѣкъ безъ состоянія не имѣетъ права имѣть изящныя привычки, какъ бы дешево онѣ ни стоили; на подобныхъ людей Михайло Ильичъ смотритъ какъ на съумасшедшихъ. Этого мнѣнія и разныхъ мудрыхъ совѣтовъ онъ сначала удостоивалъ и меня, пока я не попросилъ его оставить меня въ покоѣ. Но къ претензіямъ и хвастовству онъ безпощаденъ и потѣшается ими, даже не скрывая, что потѣшается. Онъ видѣлъ Арашина вчера въ первый разъ и разгадалъ его сразу. Вмѣстѣ они были превосходны. Одинъ шелъ прямо всей своей грубой нецеремонностью, сначала предла-

галъ щекотливые вопросы, потомъ началъ просто подсмѣиваться, выказывалъ явно, что не вѣритъ половинѣ того, что говоритъ другой, и не считаетъ его самого за что нибудь важное; другой извертывался, понимая, что обидѣться, понять, что его обижаютъ— значило бы совсѣмъ уронить себя. Я занимался тѣмъ, что смотрѣлъ на нихъ, и былъ радъ, что могу не участвовать въ разговорѣ; я нарочно затѣмъ и познакомилъ Арашина съ Ольгой и ея мужемъ, чтобъ не проводить съ нимъ цѣлаго дня съ глаза-на-глазъ въ павильонѣ.

Онъ возвращается изъ Москвы въ N и заѣхалъ повидаться со мной, узнавъ, что это по дорогѣ; вѣрнѣе, онъ любитъ кататься; а видѣть меня, такъ же, какъ я его, онъ не чувствовалъ ни малѣйшей потребности. Я знаю его давно: это одинъ изъ моихъ корпусныхъ товарищей; но пріятелями мы не были. Арашинъ и тамъ навязывался только на дружбу богатымъ. Я вышелъ изъ корпуса — онъ оставался и доучился тамъ. Съ тѣхъ поръ я видѣлся съ нимъ только четыре года назадъ, когда меня присылали изъ Петербурга на слѣдствіе въ N*, а онъ пріѣзжалъ въ это время въ отпускъ, къ своему отцу; тогда я и узналъ Лизу.

Мнѣ хотѣлось спросить его по крайней мѣрѣ, такъ ли она хороша, какъ прежде, но не стоило труда. Эта краса военныхъ поселеній, перлъ уѣздныхъ мазурокъ, находилъ всегда, что его сестра недовольно «ком-ильфотна». Онъ получилъ понятіе о «ком-ильфотности», гуляя на чужой счетъ... Я, однако, его ненавижу.

Теперь онъ намѣренъ «выгодно и прилично жениться и, **наконецъ**, поставить свой домъ на такую ногу, что...»

Для чего этотъ человѣкъ явился измучить меня въ мои послѣдніе дни? Крупныхъ злодѣевъ нѣтъ, или бываютъ, но рѣдко; а вотъ такая тля истачиваетъ существованія!.. Онъ намѣренъ жениться! Воображаю, кто пойдетъ за него... Что будетъ съ Лизой между этимъ братцемъ и его супругой?..

Я познакомился съ Лизой еще до пріѣзда ея брата въ N*. Она жила съ старымъ отцомъ и старой теткой въ старомъ маленькомъ домѣ, въ которомъ цѣлый день не было солнца. Старымъ людямъ оно не было нужно: слишкомъ ярко для глазъ; а тепла было довольно и отъ печей, всегда страшно натопленныхъ и топившихся почти до конца мая. Я прожилъ около года въ N* и зналъ, какъ встрѣчались всѣ времена года въ этомъ домѣ. При немъ не было и сада. Лиза развела себѣ цвѣты на окнахъ; цвѣты привыкли къ темнотѣ, хотя вырастали блѣдные. Лиза была похожа на нихъ: та же крѣпкая внутренняя жизнь, пересиливающая скуку, заботу, отчужденіе и недостатокъ воздуха; та же наружная блѣдность и ровная, спокойная кротость. Не обманывая себя и не мечтая, она поняла въ двадцать лѣтъ, что въ ней одной утѣшеніе и помощь для двухъ отживающихъ существъ, и никогда ни одной жалобой, и ни однимъ намекомъ не дала имъ понять, что ея молодость умерла, не начавъ жить. Откуда брала она милыя слова, улыбки, шутки почти ребяческія, чтобъ развеселить капризную и болѣзненную старость— знаетъ развѣ Богъ, которому она много молилась. Я привязался къ ней съ перваго дня; это случилось какъ-то съ перваго взгляда. Я сталъ бывать всякій день: она не скрывала, что рада этому. Мы проводили вмѣстѣ цѣлые дни, цѣлые вечера, часто вдвоемъ: тетка запиралась у себя съ какой нибудь старой гостьей; отецъ лежалъ, спалъ, читалъ газеты или жаловался и охалъ; никому не было дѣла, что молодая дѣвушка остается одна съ молодымъ человѣкомъ: они не считали Лизу молодой дѣвушкой; они такъ привыкли ко всему старому, что было предъ ихъ глазами, къ своимъ болѣзнямъ, къ своему равнодушію, что все на свѣтѣ, казалось имъ, должно было быть дряхло, болѣзненно и равнодушно. Всегда спокойная, терпѣливая дѣвушка убѣждала ихъ въ своей безжизненности; они думали, что, такъ же какъ они, никто не найдетъ ее живою... Они не церемонились со мной: я былъ товарищъ ихъ Валерьяна, а они «старые люди». Вслѣдствіе этого, я видѣлъ много домашнихъ сценъ, которыя прячутся отъ посторонних, зналъ, когда приходила нужда, когда старики ссорились за какія нибудь дрязги, разохавшись расходились по своимъ комнатамъ, и Лиза переходила отъ одного къ другой, уговаривая, ублажая, «склеивая», какъ выразилась она однажды, улыбнувшись. Я влюбился въ нее въ минуту этой улыбки. Я бывалъ свидѣтелемъ, какъ огорчали и ее, капризничая; капризы, въ отношеніи къ ней, были неблагодарность, а огорченія—просто оскорбленія; я удивлялся ея мужеству, терпѣнію до конца, силѣ ея любви, потому что она любила тѣхъ, кто ее мучилъ. У меня недоставало духу сказать ей, что она должна подумать о себѣ и не губить всей своей жизни на неоцѣненныя жертвы... Мы никогда не

говорили объ этомъ. Она отклоняла разговоръ, едва онъ касался чего нибудь близкаго ея положенію. Вытерпѣвъ что нибудь при мнѣ, едва кончалась сцена, она заговаривала о постороннемъ, давала мнѣ книгу, садилась къ пяльцамъ. Я понималъ и зналъ, что она была взволнована и измучена; ея блѣдность доказывала это довольно, но никогда ни одного слова, ни одной откровенности, точно будто для нея все было кончено и говорить не стоило, точно будто не видя выхода изъ этой среды, изъ этой жизни, она отчаянно покорилась ей, сказавъ себѣ, что ей не знать радостей, которыя знакомы другимъ женщинамъ, что ей суждено изныть такъ, и пусть будетъ такъ, если суждено. Это была не апатія; я видѣлъ, что она страдала. Она не жаловалась, считая, что жаловаться грѣшно...

Я любилъ ее до безумія. Смотрѣть на нее, когда она сидѣла за работой, забыть книгу, которую она приказывала мнѣ читать, молчать и, среди гробовой тишины дома, глядя на этотъ блѣдный лобъ, длинныя, опущенныя рѣсницы, тонкіе пальцы, придумывать несбыточное, невозможное, говорить себѣ, что мы одни... Но это мученіе было недолго. Потомъ мы тоже оставались одни... то были уже минуты полнаго, высшаго блаженства; я былъ счастливъ; она хорошѣла и расцвѣтала; весна была во всей красотѣ... Время стало какъ-то коротко; тишина не была для насъ довольно глубока, домъ довольно пустъ...

На Свѣтлое Воскресенье я пришелъ къ Арашинымъ. Отецъ и тетка устали отъ моленья, рано поѣли, соскучились длиннымъ днемъ и залегли спать. Въ домѣ всѣ спали. Въ комнатахъ было особенно сумрачно и душно; все было прибрано по-праздничному и оттого казалось непривѣтливѣе и пустѣе. Солнце свѣтило на противоположный заборъ и обнаженныя, но уже зазеленѣвшія деревья чьего-то сада; колокола звонили; небо смотрѣло чисто-голубое въ двойныя окна. Лиза, въ бѣломъ праздничномъ платьѣ, уже успѣвшемъ измяться среди ея хозяйственныхъ хлопотъ, усталая отъ безсонной ночи, сѣла на окно и смотрѣла на пустой переулокъ. Я смотрѣлъ на нее. Усталость, или скука, или тоска по воздуху и свѣту, или чувство одиночества, въ такой день, когда, говорятъ, для всѣхъ праздникъ и должно быть весело, или все вмѣстѣ, сдѣлали ее печальнѣе, задумчивѣе, нежели когда нибудь я видалъ ее; она смотрѣла упорно, шире открывая черные глаза и сдвигая брови... Будто вижу ея лицо въ эту минуту!

— Пойдемте, погуляемъ немного, сказалъ я ей, самъ не зная, какъ рѣшился и какъ мнѣ вздумалось, потому что она никуда не выходила, кромѣ церкви, и, конечно, не пошла бы гулять одна со мною.

— Пойдемте, сказала она, вдругъ соскочивъ съ окна, вышла на минуту и возвратилась въ шляпкѣ. Мы сбирались скоро и не говоря ни слова; только, выходя со двора и затворяя калитку, она сказала:

— Куда же идти? Я не хочу на большія улицы.

Я повелъ ее къ старинной церкви, на берегъ надъ рѣкою, бывшею тогда въ разливѣ; возмущенныя волны катились красно-сизыя отъ солнца; кое-гдѣ мелькали по нимъ бѣлыя искры; вдали песчаная отмель и на ней сосновая роща виднѣлись желтой и черной полосой, за ними вода голубѣла и сливалась съ небомъ. Мы были одни. Лиза сѣла на бревна, сложенныя на горѣ; я сѣлъ подлѣ нея. Насъ охватилъ рѣзкій, влажный вѣтеръ; солнце играло на водѣ, грѣло жарко и весело. Лиза смотрѣла въ даль; я обнялъ ея талію и прижалъ къ себѣ; она оглянулась, бросила обѣ руки мнѣ на плечи, упала лицомъ на мою грудь и горько заплакала...

Такъ встрѣтила она свою единственную любовь, а я мое единственное счастье.

И прежде, и послѣ, и всегда я спрашивалъ себя: для чего возможность счастья дается людямъ, которые его не цѣнятъ, принимаютъ вяло и какъ-то не умѣютъ за него взяться?.. Четыре мѣсяца мы были вполнѣ счастливы, не думая о будущемъ, потому что нельзя было и думать о немъ. Лиза первая рѣшила это, первая заговорила объ этомъ, угадывая мои мученія. Обвѣнчаться намъ было невозможно: намъ не было гдѣ приклонить голову. Я служилъ, занималъ видное мѣсто, но моя должность состояла въ безпрестанныхъ разъѣздахъ, куда пошлютъ; дѣло, по которому я былъ посланъ въ N*, уже кончалось; я самъ торопилъ его; оно было возмутительно. Чтобъ отдохнуть отъ всего негодованія, которое оно во мнѣ поднимало, отъ всей грязи, которую я былъ обязанъ судить, отъ тяжелыхъ сценъ, въ которыхъ я былъ осужденъ быть зрителемъ и участникомъ — мнѣ была необходима любовь Лизы. Я жилъ между этими двумя крайностями... Мы рѣшились ждать, что дастъ мнѣ судьба. Я думалъ, кончивъ здѣсь и возвратясь въ Петербургъ, поискать какого ни-

будь осѣдлаго мѣста. Тутъ начались планы, мечтанія; ихъ было много и ничто не осуществилось.

Въ августѣ, въ началѣ осени, пріѣхалъ братецъ Валерьянъ. Онъ былъ въ годовомъ отпуску, и этотъ отпускъ приходилъ ужъ совсѣмъ къ концу, когда онъ, наконецъ, пріѣхалъ въ N*, къ своей семьѣ. Первые десять мѣсяцевъ онъ прожилъ вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ, юнымъ корнетомъ, взявшимъ тоже годовой отпускъ. Корнету недавно исполнилось совершеннолѣтіе; родныхъ у него не было, а состояніе было большое. Арашинъ взялся выучить его жить, и десять мѣсяцевъ они провели очень разнообразно; они сдѣлались искренними друзьями. Арашинъ былъ такой пріятный учитель и товарищъ, что могъ сколько угодно жуировать на счетъ своего воспитанника и пользовался этимъ безъ зазрѣнія совѣсти. Наконецъ, видя близкое окончаніе отпуска и, слѣдовательно, своихъ веселій, Арашинъ схватился за великолѣпную идею: женить корнета на своей сестрѣ. Онъ набилъ ему голову прелестью жизни въ провинціи, на свободѣ, въ деревнѣ, толковалъ, какъ будетъ пріятно не разлучаться, составлять одну семью. Не мѣшкая, въ первый же вечеръ своего пріѣзда, онъ объявилъ объ этомъ отцу.

Я пришелъ къ Лизѣ этимъ вечеромъ и засталъ весь безпорядокъ радостной встрѣчи. Арашинъ привезъ съ собою корнета и втиснулъ его въ свой родительскій домъ, вѣроятно, опасаясь, чтобъ корнетъ какъ нибудь не ускользнулъ, если помѣстится розно: городъ ему незнакомый—чего добраго, юноша могъ бы выдумать искать развлеченій, пока наставникъ сидѣлъ бы въ объятіяхъ своего семейства! Чемоданы громоздили всю маленькую залу, рослые деньщики—всю переднюю. Лиза была въ хлопотахъ и въ затрудненіи. Я услышалъ—и это были первыя слова, которыя я услышалъ отъ Арашина—какъ онъ гнѣвался на нее, вполголоса, зачѣмъ темно, что это неприлично при постороннемъ—и весь домъ освѣтили, отъ погребовъ, стеариновыми свѣчами. Эти вздоры памятны; ихъ было довольно въ этотъ вечеръ, и все въ этомъ же родѣ. За чаемъ Арашинъ спросилъ Лизу: «Et où est donc le plateau en argent?» хотя даже я, посторонній, зналъ, что этого plateau никогда въ домѣ не бывало. Лиза смотрѣла на брата изумленная; но братъ же и поправилъ дѣло, разсмѣявшись, крутя усы и прибавивъ, все на своемъ нѣсколько затрудненномъ французскомъ діалектѣ: «Ah, je comprends! l'avarice est le défaut des gens, qui sont vieux». Онъ часто обнималъ сестру за талію, цѣловалъ ея пальцы, каждый порознь, клалъ ей руку на плечо, приговаривая: «она у меня добрая дѣвочка; знаешь, Крепановъ, она добрая, тихая дѣвочка?» Корнетъ улыбался, дымя папиросой и поглядывая умильно. Оба эти господа показались мнѣ не въ полномъ умѣ. На послѣдней станціи передъ N*, они, какъ сами говорили, пріятно пообѣдали. Подъ предлогомъ холода, Арашинъ подливалъ рому въ чай себѣ и пріятелю, убѣждая его, какъ маленькаго ребенка, что это необходимо для здоровья; пріятель заставлялъ себя просить и соглашался. Отецъ смотрѣлъ на это съ какимъ-то подобострастіемъ, какъ на должное, любовался военными молодыми людьми. Пріятель первый попросилъ позволенія отдохнуть съ дороги; вслѣдъ за нимъ поднялся и отецъ. Валерьянъ, которому, напротивъ, не спалось послѣ чая и рома, пошелъ за отцомъ, говоря, что надо потолковать о дѣлѣ. Мы остались одни съ Лизой; она была утомлена и печальна. «Скоро ли уѣдутъ?» сказалъ я. Намъ обоимъ было такъ невыносимо тяжело, что недоставало даже силъ забыться въ насъ самихъ; мы не могли ни о чемъ говорить. Валерьянъ воротился; онъ былъ въ припадкѣ чувствительности и нѣжности, доходящей до нервнаго разстройства—онъ былъ отвратителенъ. Я сказалъ себѣ, что не уйду, пока онъ не уляжется спать и Лиза не избавится отъ него. Онъ принялся ласкать ее, хвалить; со мной онъ обращался какъ съ старымъ товарищемъ и не церемонился. «Я въ своей семьѣ», повторялъ онъ: «vous comprenez que je suis dans ma famille. Я вижу, здѣсь все въ безпорядкѣ; твой entourage, Лиза, никуда негодится; я, какъ глава семейства, долженъ въ это вступиться. Тетка—старая дура, злая, отъ которой я хочу избавиться, и ей это завтра же объявлю: я для нея трудиться не намѣренъ...» Лиза смотрѣла на него съ недоумѣніемъ; ей было стыдно меня и горько: это было первое свиданіе съ братомъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ разлуки.—«Ты слишкомъ торопишься распоряжаться», возразила она тихо, съ дрожью въ голосѣ, признакомъ гнѣва, котораго прежде я никогда не замѣчалъ у нея: «ты этого не долженъ, не можешь и не смѣешь сдѣлать. Ты долженъ помнить, что она наша единственная родная; я у нея на рукахъ родилась и не допущу ее выгнать—помни это».—«Я, душенька, не хочу тебя огорчать», заговорилъ онъ: «ты знаешь, какъ много я тебя люблю; я всю мою жизнь посвятилъ тебѣ, и если я теперь пріѣхалъ—ты понимаешь, безъ цѣ-

ли я бы не пріѣхалъ, мнѣ здѣсь незачѣмъ быть—но если я пріѣхалъ, значитъ, твоя участь устроена; я только и забочусь, чтобъ тебя устроить. Voilà un homme comme il faut, Крепановъ; онъ пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобъ просить твоей руки. Я ужъ говорилъ отцу, и отецъ этого хочетъ»...—«Но кто же вамъ сказалъ, что я хочу?» вскричала Лиза, поблѣднѣвъ. «Allons, ma chère, vous êtes folle! это отличный, благороднѣйшій малый, съ которымъ ты не будешь знать нужды. И онъ, и я, оба мы выйдемъ въ отставку; я буду жить съ вами—это будетъ, какъ слѣдуетъ, порядочно. Твой братъ заслуженный офицеръ, мужъ чудеснѣйшій малый...» Онъ разсыпался въ похвалахъ своему пріятелю, пробовалъ нѣжничать, умолять, увѣряя, что это его единственное желаніе, что счастье сестры для него священно, наконецъ сталъ на колѣни. Лиза была внѣ себя. Я хотѣлъ говорить, вступиться—она остановила меня, не давъ мнѣ сказать ни слова. «Mais tu m'offenses, tu m'offenses!» кричалъ Арашинъ, ударяя себя въ грудь и заливаясь слезами. «Пойми же, какимъ человѣкомъ ты меня дѣлаешь въ глазахъ Крепанова; я ему далъ слово; онъ завтра объяснится съ тобой»...—«Скажи ему, чтобъ и не смѣлъ, и не думалъ!» возразила Лиза: «мой отвѣтъ одинъ: нѣтъ и никогда. Я пустыхъ людей терпѣть не могу; я собой торговать не позволю. Ступай спать... Ступайте домой... ни слова!» сказала она мнѣ и ушла сама.

Рано утромъ на другой день она пришла ко мнѣ. Въ провинціальномъ городѣ, гдѣ можно встрѣтить знакомыхъ во всякій часъ, на всякомъ перекресткѣ, чѣмъ рисковала она для этихъ свиданій! Это было не первое. Она застала меня за письмомъ къ ея отцу: я просилъ его согласія на нашу свадьбу. Она изорвала это письмо.—«Что за ребячество!» сказала она: «развѣ я допущу, чтобъ ты связалъ себя? Посватайся—я откажу»...—«Но черезъ двѣ-три недѣли я долженъ уѣхать; мы разстанемся; тогда что?» — «Если когда нибудь намъ будетъ чѣмъ существовать вмѣстѣ, чтобъ ты могъ не трудиться свыше силъ, и ты еще будешь любишь меня, пріѣзжай за мной, напиши мнѣ; а если нѣтъ, ты свободенъ; для меня довольно, что ты хотя полгода меня любилъ. Обо мнѣ не думай... И молчи, никому ни слова. Что тратить слова съ людьми, которые насъ не поймутъ?..»

Я уступилъ ей. Черезъ двѣ недѣли я уѣхалъ, насмотрѣвшись довольно на все, что выносила она, и не вступившись ни разу, не объявивъ моихъ правъ. Она не дала мнѣ вступиться, умоляла; она внушила мнѣ надежды на будущее. Я сказалъ себѣ, что придетъ время—она будетъ моей женою, что счастье будетъ моимъ; я ждалъ...

И дождался, чего слѣдовало. За мое отлично веденное слѣдствіе, въ которомъ я не пощадилъ тѣхъ, кого другіе желали бы пощадить, меня лишили мѣста, какъ человѣка «неспособнаго», и не дали другого, какъ человѣку «безпокойному». Такому человѣку нечего думать заводиться семьей, приковывать къ своему горькому, трудовому существованію еще другое существо, способное охотно заморить себя трудомъ. Такой человѣкъ живи одинъ... и умирай одинъ!

Зачѣмъ она мнѣ вспомнилась?.. Жива, существуетъ, терпитъ, и еще находитъ въ себѣ силы ухаживать за старухой, учить дѣтей! Что за безконечная жизненность!..

Я напишу къ ней. Мое письмо не возмутитъ счастья: она не можетъ быть счастлива. Оно встревожитъ ее... но такъ и быть. Въ минуту, когда я обнималъ ее, когда у меня осталась эта запонка... она клялась, что все раздѣлитъ со мной. Жизнь раздѣлить не удалось — пусть узнаетъ хоть послѣднюю предсмертную тоску. Я напишу ей.

Она не скажетъ, какъ другія женщины, что я эгоистъ, что я не щажу ея. Лиза, не поблѣднѣвъ, выслушаетъ извѣстіе о моей смерти, задумается, устремитъ глаза неподвижно въ окно; въ ея взглядѣ будетъ бродить какая-то тѣнь, какая-то странная тревога, которую я знаю. Она вынесетъ спокойно первую вѣсть, потомъ она будетъ еще спокойнѣе. Она скажетъ, что «тѣмъ лучше», что «пора»... Хорошо умѣть самоотверженно проводить съ миромъ...

Она разочтетъ — для чего мнѣ жить? Еслибъ счастье... въ какомъ видѣ пожелать его? Ну, во всѣхъ видахъ, какъ желаютъ его люди!.. еслибъ счастье пришло ко мнѣ полное; она знаетъ, что во мнѣ самомъ до конца дожиты всѣ силы, всѣ желанія имъ пользоваться, что мнѣ его не надо, что мнѣ скучно, что мнѣ все немило, что я не гожусь никуда, что чужія слезы будутъ мѣшать мнѣ смѣяться, что чужія глупости опошлятъ для меня все хорошее, что для любви у меня сердце слишкомъ наболѣло, для дружбы стало слишкомъ недовѣрчиво; для восторговъ я старъ, для холода благоразумія — вѣчно ребенокъ; что я сочувствую до слезъ и плачу о себѣ, какъ эгоистъ... Для чего мнѣ жить, когда я не умѣю порядочно настроить себя на мысль хладнокровно, прилично простить-

ся съ жизнью, и мнѣ все чего-то жаль, что-то неловко, и все еще чѣмъ-то хочется полакомить себя на прощанье?.. Такимъ людямъ незачѣмъ жить: ихъ не нужно на свѣтѣ... Она пойметъ все это...

Какъ бы безумно я обнялъ ее теперь! Умереть было бы легче...

Осень, холодные дожди, желтые листья... пора! Такъ скучно, такъ тяжело, что пора въ самомъ дѣлѣ. Человѣкъ рисуется до конца жизни: я все хотѣлъ найти въ себѣ мужество... какой вздоръ! нужно только равнодушіе, или, еще лучше, свести повѣрнѣе свои счеты — и увидишь прямо, увидишь ясно, что жалѣть ничего не стоитъ... пора!

ПАНСІОНЕРКА.

ПОВѢСТЬ.

1860 г.

I.

Часу въ шестомъ вечера, въ началѣ мая, двое молодыхъ людей бродили по саду, окружавшему одинъ изъ домовъ города N*. Вечеръ былъ очень хорошъ. Садъ, хотя невеликъ, былъ запущенъ. Пріятели долго шагали все по одной дорожкѣ, часто цѣпляясь головами за нависшія вѣтки сирени. Одинъ изъ нихъ былъ гость; его костюмъ, изысканный, изящный, носилъ отпечатокъ Петербурга и казался даже страннымъ среди неубраннаго пустыря, какимъ можно было назвать этотъ провинціальный садъ. Молодой человѣкъ былъ недуренъ собою, держался чинно, прямо; прекрасныя черныя баки придавали ему еще болѣе серьезный видъ. Онъ былъ въ шляпѣ и не снималъ перчатокъ. Хозяинъ былъ меньше ростомъ, бѣлокуръ, въ старенькомъ сѣромъ пальто, безъ фуражки. Онъ хотя былъ моложе, но казался одниъ лѣтъ съ гостемъ; его черты были очень красивы, но какъ-то смяты, лицо не блѣдно; но болѣзненно-неровная, нетерпѣливая походка довершала его несходство съ гостемъ. Гостя звали Ибраевъ; онъ только недавно пріѣхалъ въ N* на очень видное мѣсто. Хозяинъ назывался Веретицынъ, и уже болѣе года тоже занималъ въ N* мѣсто, но очень невидное. Воспитывались они не вмѣстѣ, познакомились давно, и въ этотъ вечеръ видѣлись въ первый разъ послѣ трехъ лѣтъ.

Ибраевъ разсказывалъ, какъ получилъ свое мѣсто, разсказывалъ съ подробностями и, казалось, умножалъ ихъ, чтобъ продолжить разговоръ, для котораго, кромѣ этого, не находилъ предмета. Веретицынъ слушалъ, казалось, внимательно, но безъ участія. Оба точно исполняли обязанность, празднуя вопросами и разсказами встрѣчу послѣ долгой разлуки.

— Ты не усталъ ходить? спросилъ Веретицынъ, когда тотъ замолчалъ.

Ибраевъ усталъ давно, но не говорилъ этого изъ учтивости, или потому, что не надѣялся найти на чемъ сѣсть въ этомъ саду.

— Нѣтъ... да... Но въ домѣ жарко, сказалъ онъ, думая о тѣсной комнатѣ, въ которой, придя за полчаса назадъ предъ этимъ, нашелъ своего пріятеля.

Веретицынъ отгадалъ его думу.

— Садись здѣсь, сказалъ онъ, выводя его изъ-подъ сиреней на маленькую площадку, гдѣ стояла простая деревянная скамейка. Вокругъ нея былъ насаженъ хмѣль, поднявшійся ужъ высоко по жердямъ; по землѣ стлалось множество лебеды и павители.

— Садись ближе къ срединѣ, прибавилъ Веретицынъ:—ножки вывертываются.

— Хочешь? спросилъ Ибраевъ, доставая сигары.

— Я не курю.

— Давно ли? Ты былъ охотникъ.

— Отсталъ.

Ибраевъ закурилъ; Веретицынъ стегалъ по травѣ тоненькой вѣткой, которую сломалъ съ сирени; оба молчали. Это была одна изъ такихъ минутъ, когда припоминается и передумывается живѣе все, что сейчасъ слышалось или было передъ глазами, при-

поминается и сравнивается съ настоящимъ далекое прошлое, проходитъ натянутость, холодность первой встрѣчи, узнается прошлый человѣкъ въ постороннемъ, съ которымъ сейчасъ, казалось, говорить было не о чемъ, котораго разспрашивать было неловко... Ибраевъ смотрѣлъ на наклоненную голову пріятеля; ему припомнился голубой околышъ фуражки на этихъ волосахъ; послѣднія, пустыя, односложныя слова шевельнули въ душѣ что-то далекое; показалось какъ-то совѣстно вести посторонній разговоръ...

— Ну, а ты что же, Саша? спросилъ Ибраевъ уже не тѣмъ ровнымъ, мягкимъ голосомъ, какимъ разсказывалъ свои успѣхи въ свѣтѣ и по службѣ.

— Я что? Да ничего, отвѣчалъ Веретицынъ, оглядываясь и подъ вліяніемъ того же раздумья. — Вотъ, живу здѣсь другой годъ. Тебѣ повезло... Ну, и мнѣ было недурно сначала. Конечно, не то, что тебѣ; вы — счастливчики: что вылетѣли — устроены, какъ намъ, грѣшнымъ, и не снится.

— Ты чѣмъ вышелъ? кандидатомъ?

— Съ медалью, мой милый. Два года былъ учителемъ въ Москвѣ, потомъ прислали сюда.

— Учителемъ тоже?

— Писаремъ въ губернское правленіе, отвѣчалъ Веретицынъ. — Я «подъначаломъ», договорилъ онъ, замѣтя небольшое смущеніе пріятеля и засмѣявшись.

— Я не зналъ... сказалъ Ибраевъ.

— Напрасно не навелъ справокъ. Мое знакомство не очень лестно, особенно для такой важной особы, какъ ты. Не обижайся. Я знаю, ты малый хорошій, но моя репутація потеряна, и тебѣ нечего со мной связываться. Ты здѣсь ужъ цѣлый мѣсяцъ — я это зналъ и не шелъ къ тебѣ; не встрѣться мы нечаянно, не приди ты самъ...

— И тебѣ не совѣстно?

— Ничего не совѣстно, возразилъ серьезно Веретицынъ: — на что я тебѣ нуженъ? Ты человѣкъ свѣтскій, за тобой уже ухаживаютъ маменьки, по тебѣ вздыхаютъ дѣвицы; ты человѣкъ солидный, «власти» наши предъ тобой съ уваженіемъ — какое тебѣ дѣло до мелкой мошки, которая пригодилась міру на переписыванье бумагъ и ни на что больше? Ты пишешь протесты, а я не смѣю вычеркнуть запятой; ты — царское око, а я аттестованъ «вреднымъ направленіемъ»! Гдѣ же была бы у меня совѣсть, еслибъ я сталъ тебѣ навязываться? Мы пошли такъ розно, что намъ во вѣки не встрѣчаться... Ну, и прощай!

— Ты ожесточенъ, сказалъ Ибраевъ и замолчалъ.

Нѣсколько минутъ они молчали оба. Веретицынъ опять принялся сбивать лебеду, улыбаясь насмѣшливо и какъ будто съ ожиданіемъ.

— Что же ты не спросишь, за что со мной это приключилось? спросилъ онъ наконецъ.

— Ахъ, да! въ самомъ дѣлѣ, за что? сказалъ Ибраевъ.

Веретицынъ засмѣялся громко.

— Да я и самъ не знаю, отвѣчалъ онъ, бросивъ вѣтку, которою игралъ. — Ты на годъ нанялъ себѣ квартиру? напрасно: тотъ домъ холоденъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Это досадно... А ты живешь у своей сестры? спросилъ Ибраевъ.

— Да, у зятя.

— Хорошіе люди?

— Да... Дурныхъ людей нѣтъ. Зло есть только отвлеченное понятіе; въ дѣйствительности его нѣтъ. О немъ говорятъ такъ только, чтобы о чемъ нибудь говорить. На свѣтѣ все прекрасно, люди всѣ добры... Они шалятъ иногда... ну, тогда на нихъ есть управа. Вотъ важные господа, какъ ты, напримѣръ...

— Послушай, Саша, прервалъ Ибраевъ, которому стало совѣстно: — я еще не такой важный господинъ, чтобъ ужъ со мной было говорить нельзя. Будь откровененъ, сдѣлай милость.

— Да что же откровененъ... Скучно, сказалъ вдругъ Веретицынъ, не удержавшись больше, потому ли, что былъ не въ силахъ, или потому, что голосъ стараго знакомаго вызывалъ высказаться. Зять — чиновникъ; былъ бѣденъ, теперь нажился. Сестра — была бѣдная дѣвушка, только потому не стряпала обѣда, что считалась «барышней»: теперь барыня, въ бархатѣ, въ перьяхъ; куча дѣтей... вотъ, они во дворѣ змѣя пускаютъ.

Ибраевъ давно слышалъ во дворѣ крики и даже драку; онъ поморщился.

— Я бы могъ, конечно, вступиться, унять, продолжалъ Веретицынъ: — но вѣдь я не авторитетъ. Мой зять, ихъ батюшка, упражнялся въ этомъ до семнадцатаго года житія своего и нынѣ губернскій казначей; я на семнадцатомъ году выдержалъ университетскій экзаменъ — а что же я?..

— Что же ты дѣлаешь? занимаешься чѣмъ нибудь, читаешь?

— Некогда, негдѣ, нечего; я обязанъ быть въ должности всякій день; мой уголъ ты видѣлъ: книгъ у меня нѣтъ.

— Но, вѣдь, день великъ; послѣ должности?

— Сплю. Вотъ здѣсь шатаюсь...

— Но какъ же такъ.

— Охъ, вы, дѣятели! прервалъ Веретицынъ. — Ну, найди мнѣ дѣло; скажи мнѣ, что можно дѣлать, но разумно, чтобъ это не было, что называется, воду толочь? Писать замѣтки, скажешь ты, благо я преподавалъ исторію и статистику? На это еще и свободное время нужно, и средства нужны... Ну, да такъ и быть, положимъ, нашелъ бы я это какъ нибудь; изволь. Что разбирать, чѣмъ заняться? Здѣсь ни памятниковъ, ни достопамятностей, ни источниковъ днемъ со свѣчкой не отыщешь. Былъ въ одномъ монастырѣ костыль Пересвѣта, палка въ сажень вышины—и ту монахи перехватили пополамъ топоромъ: не помѣстилась въ нишѣ, въ новой церкви... Вотъ тебѣ и все такъ. Статистика... О ней офиціально десять тысячъ разъ писано; а тронуть что нибудь неофиціальное, какую нибудь живую и больную сторону... Покорно благодарю! еще пошлютъ подальше, а мнѣ и здѣсь скверно!

— Это отговорки; послушай, это недостатокъ силы воли...

— Еще скажи: недостатокъ самоотверженія! Еще что? Право, вы мнѣ нравитесь, счастливчики! Вы понятія не имѣете о настоящемъ трудѣ, а кричите другимъ, чтобъ трудились. Не безпокойтесь, мы и безъ вашего приказа трудимся, сколько есть нашихъ силъ, трудимся больше вашего, хотя, съ вида, мы только спимъ, да гуляемъ въ бурьянѣ: мы думаемъ, мы бережемъ печаль и горечь мысли, то, изъ чего выработывается благо — а у васъ только дѣло, какое оно ни будь, съ плеча, лишь бы дѣло! Васъ если что затруднитъ, если что мало не по васъ, вы тутъ кричите и о благородномъ честолюбіи, и о людской неправдѣ, громите, разите — и правы. А изъ насъ, мелкаго народа, если кто не умѣлъ пробить стѣны головою, тотъ, по вашему, и лѣнивецъ, и безъ силы воли, и несамоотверженъ... Все, говорите вы, возможно. Что же возможно-то? Дѣла ты мнѣ не найдешь, а какое нашлось бы, того дѣлать нельзя, съ тѣмъ пріютиться здѣсь не къ кому. Вы привыкли судить о затрудненіяхъ съ высоты вашего величія: сдѣлайте милость, загляните пониже!.. Для тебя, напримѣръ, здѣсь общество — для меня нѣтъ его. Я не пойду къ моимъ товарищамъ-писарямъ, а твой кругъ меня не приметъ.

Ибраевъ не возразилъ на это. Онъ спросилъ, помолчавъ:

— Но все же ты знакомъ съ кѣмъ нибудь?

— Да, встрѣчаюсь—кланяюсь.

— Почему же не бываешь ни у кого? Я здѣсь мѣсяцъ и нигдѣ тебя не встрѣчалъ.

— Я не пойду въ домъ, когда не могу принять у себя дома, возразилъ Веретицынъ.—Впрочемъ, я знаю всѣхъ здѣшнихъ и стариковъ, и молодыхъ, даже дамъ. Прошлую осень и зиму скука меня одолѣла: я записался въ собраніе, ходилъ туда читать журналы, иногда поглядѣть на танцы.

— Танцовалъ?

— Съ кѣмъ? Къ знакомымъ моей сестры я не подхожу, другимъ я не представленъ. Мною заинтересовалась царица ваша, madame la princesse. Вѣдь у нея на умѣ все балы съ переодѣваньями да благотворительные спектакли. Увидѣла меня—новое лицо—приказала моему непосредственному начальнику представить меня ей и освѣдомилась, нѣтъ ли за мною какихъ талантовъ: не пою ли я, не играю ли хоть на гудкѣ, нѣтъ ли способностей къ декламаціи. Ничего этого нѣтъ; но будь я даже безграмотный, все бы годился на роли безъ рѣчей, да меня, къ счастью, «принимать неловко». Я и остался на однихъ поклонахъ, потому что все-таки меня подводили къ этой дамѣ. Потомъ, мнѣ разсказывали, говорить ей больше нечего, вся переговорилась. Она произноситъ монологи обо мнѣ передъ своимъ кружкомъ, нарекла меня «le jeune malheureux». Меня взорвало. Глупо это до-нельзя. Я пересталъ ходить на танцовальные вечера. Оно, впрочемъ, было и не по средствамъ: перчатки дороги.

— Послушай, сказалъ Ибраевъ нерѣшительно:—а твои средства какъ же?

— Конечно, безъ гроша. Что оставалось отъ экономіи учительскаго жалованья, что далъ, при выпускѣ, покойникъ дядя, я все отдалъ «въ домъ»: не жить же Христа ради! Ну, я и здѣсь получаю жалованье, до шести рублей въ мѣсяцъ; это, говорятъ, очень хорошо... Да что мнѣ нужно! Я счелъ бы себя не знаю какимъ счастливцемъ, еслибъ была возможность нанять какой нибудь чердакъ и дожить одному. Больше, право, кажется, мнѣ и не надо. Я ужъ пріучился себя ограничивать, ни къ чему не привыкать, отъ всего отвыкать, все выносить... Знаешь, для того, чтобы прошлой зимой записаться и бывать въ собраніи, я давалъ уроки?

— Что же, сказалъ Ибраевъ:—прекрасно! Это занятіе и небезвыгодное, я думаю.

— Да. Я училъ читать, писать по-французски за десять копѣекъ въ часъ, десять часовъ въ недѣлю—это очень занимательно и очень выгодно. Я продолжалъ бы эти уроки,

да захворалъ съ начала весны, пролежалъ недѣль шесть и до сихъ поръ не поправлюсь... словомъ сказать, очень весело! заключилъ Веретицынъ, зажавъ руки въ колѣни, покачиваясь и не глядя на пріятеля.

— Но неужели же ничего, такъ-таки ничего отраднаго въ жизни? спросилъ Ибраевъ.

— То есть чего же отраднаго? влюбиться? У меня, мой милый, барскія замашки: я если что люблю, то люблю хорошее. Хорошее очень рѣдко. Да хоть бы и встрѣтилось, оно не про насъ. Впрочемъ, я не отказываю себѣ въ удовольствіи... пожалуй, дурачиться.

— Ахъ, Саша, нехорошо!.. сказалъ Ибраевъ, посматривая на него и не находя сказать ничего болѣе задушевнаго.

— Хорошо-то что? возразилъ Веретицынъ.

— Хорошаго на свѣтѣ много; но или оно не дается, или люди его не видятъ, или сами его портятъ...

— Къ какому же разряду я долженъ быть причисленъ: къ несчастнымъ, къ дуракамъ или къ негодяямъ? спросилъ спокойно Веретицынъ, выслушавъ очень прилежно.

— Ты слишкомъ рѣзокъ, ты ожесточенъ, продолжалъ Ибраевъ, не отвѣчая: — собственныя неудачи мѣшаютъ тебѣ смотрѣть на вещи безпристрастно. Согласись... не обижайся! согласись, въ твоемъ чувствѣ много эгоизма, а людямъ, которые не знаютъ тебя коротко, этотъ эгоизмъ можетъ показаться даже, просто... мелкой завистью...

Ибраевъ осторожно остановился.

— Продолжай, продолжай! сказалъ спокойно Веретицынъ:—я, вѣдь, не обижаюсь.

— Какъ, не обижаешься? да этотъ одинъ отвѣтъ...

— Ничего. Что же мой отвѣтъ? Развѣ ты первый мнѣ это проповѣдуешь? Ты говоришь учтиво, другіе говорили неучтиво; ты стараешься вразумлять, другіе напросто меня выгнали; ты соболѣзнуешь, другіе презираютъ. Я ко всему привыкъ и могу все слушать, даже не удивляясь. Знаю, я смѣшонъ: падшій духъ на хлѣбахъ у своего зятюшки, губернскаго казначея; но я не вижу нигдѣ, ни у кого, ни въ чемъ благополучія, которому могъ бы завидовать... Мнѣ прескверно — я, кажется, разсказалъ объ этомъ даже слишкомъ подробно—но тоже ни за какія благополучія не желалъ бы я умѣть читать вотъ такую мораль, будто люди эгоисты, когда оскорблены, будто они слѣпы и не видятъ своихъ радостей, когда имъ становится жить не подъ силу... Если чего я никогда терпѣть не могъ, такъ это разныхъ сладенькихъ или премудрыхъ готовыхъ сентенцій, на которыхъ люди очень легко устроиваютъ свою жизнь...

— Да, вѣдь, легко, да вѣдь устроиваютъ... возразилъ Ибраевъ.

— Ты нисколько не эгоистъ! прервалъ Веретицынъ, засмѣявшись. Да, легко, да, устроиваютъ; но сладенькая или премудрая сентенція одного устроитъ, а другого гдѣ нибудь непремѣнно бьетъ или гнетъ... А знаешь ли, что, если раздуматься объ этомъ, такъ не очень крѣпко заснется? Спокойствіе, конечно, первое благо... да ну его!

Ибраевъ докурилъ, бросилъ сигару, и, пользуясь тѣмъ, что пріятель отвернулся, взглянулъ на часы. Веретицынъ это видѣлъ.

— Сколько? спросилъ онъ равнодушно.

— Семь.

— Ты спѣшишь куда нибудь?

— Нѣтъ, еще рано, отвѣчалъ Ибраевъ, сконфуженный. — Вечеръ славный! прибавилъ онъ, оглядываясь по сторонамъ.

Веретицынъ смотрѣлъ тоже, но выше, въ просвѣтъ молодого клена, за которымъ пряталось солнце. Широкіе листья падали тяжело и темнѣли, а кисти желто-зеленыхъ цвѣтовъ блестѣли будто подъ лакомъ. Веретицынъ покачивалъ головою и тихонько стучалъ пальцами одной руки о другую, будто въ тактъ пѣсни, которую напѣвалъ мысленно. Вдругъ онъ хлопнулъ руками громко, поднявъ этимъ неожиданнымъ звукомъ тучу воробьевъ, которые засѣли-было и въ кленѣ, и въ хмѣлѣ, а теперь закружились по саду, не находя мѣста.

— Что тебѣ вздумалось? спросилъ, смѣясь, Ибраевъ.

— Да такъ? что они! спать имъ еще рано.

— Кто у васъ сосѣди? продолжалъ Ибраевъ, слѣдя за воробьями, которые понеслись черезъ плетень въ сосѣдній садъ.

— Не знаю. Тутъ много дѣтей: я часто слышу, какъ они жужжатъ, уроки учатъ.

— Тамъ и теперь кто-то учится; слышишь? жужжитъ.

Веретицынъ оглянулся; хмѣль закрывалъ его, и черезъ плетень онъ могъ видѣть всю дорожку сосѣдняго сада, такого же запущеннаго. Тамъ прохаживалась молоденькая дѣвушка съ книгой въ рукахъ; посмотрѣвъ въ книгу, она закрывала ее и вполголоса твердила прочитанное наизусть. До слушавшихъ долетали собственныя историческія имена, числа годовъ, въ которыхъ дѣвушка постоянно сбивалась, и книжные періоды о доблестяхъ, о побѣдахъ, о добро-

дѣтеляхъ, которые она прочитывала бойко; у нея была хорошая память. На дѣвушкѣ было темное шерстяное платье, очевидно, пансіонское форменное; но, вмѣсто форменной бѣлой пелеринки, она накинула себѣ на шею что-то черное, прозрачное, и изъ-подъ тюля бѣлѣли ея плечики. Ей казалось лѣтъ пятнадцать. Она была невысока ростомъ, не очень стройна, полненькая. Возвращаясь по дорожкѣ, она обратилась лицомъ къ наблюдавшимъ за нею молодымъ людямъ. Она была свѣжа, хотя немного блѣдна, но прелестной перламутровой блѣдностью; цвѣтъ глазъ, которые она подняла, шепча свой урокъ, былъ великолѣпенъ: темнокаріе, съ голубоватыми бѣлками, прекрасно очерченные, они глядѣли особенно ясно и прямо.

— Хорошенькая... сказалъ Ибраевъ.

— И какъ счастлива! прибавилъ Веретицынъ, глядя на нее: — твердитъ чепуху: «Лудовикъ-Великій» да «Лудовикъ-Вселюбезнѣйшій», и воображаетъ, что дѣло дѣлаетъ!

— Тебѣ-то что? сказалъ Ибраевъ, смѣясь.

— Досадно, глупо! Довольна собою, довольна всѣмъ, вѣритъ вздору...

— Педантъ! что-жъ ей дѣлать, когда у нихъ преподаютъ еще по старымъ учебникамъ? Ей, можетъ быть, объяснить некому...

— Что мнѣ за дѣло, хоть она ничего не знай; еще бы лучше было! А вотъ, довольство это, гляди, на лицѣ написано: подвизается, трудится, извращаетъ себя. Вечеръ такой, что только дыши, бѣгай, въ куклы играй, а она носъ въ книгу—и рада!

— Почему ты знаешь? можетъ быть, вовсе не рада.

— А не рада, насильно заставили, такъ что за глупая покорность? гдѣ же въ ней жизнь?

— Она, можетъ быть, и понятія не имѣетъ, что такое жизнь.

— Такъ я ей растолкую сейчасъ, сказалъ Веретицынъ, вставая:—чтобъ она не воображала, будто это великое, полезное дѣло твердить Лудовика-Вселюбезнѣйшаго. Весело ей съ нимъ, такъ пусть скучно будетъ.

— Полно! что за шалость! сказалъ Ибраевъ, удерживая его.

— Найди мнѣ, пожалуйста, что нибудь вмѣсто этой шалости, возразилъ Веретицынъ: — мнѣ ровно дѣлать нечего. Впрочемъ, успокойся, человѣкъ моральный: я не стану волновать ея воображеніе, «развивать» ее... Это такъ же старо, какъ ея Лудовики.

— Но что же ты хочешь? спросилъ Ибраевъ, идя за нимъ.

— Я не хочу, чтобъ ей было весело! сказалъ рѣзко Веретицынъ: — тутъ сидишь рядомъ, умираешь съ тоски, а эта дѣвчонка...

Они были ужъ у плетня. Ибраевъ отошелъ нѣсколько въ сторону, какъ человѣкъ серьезный, протестующій, но любопытный. Веретицынъ облокотился на плетень, положилъ бороду на руки и ждалъ. Дѣвушка подходила, читая и не видя его.

— Что, скучно учиться? спросилъ онъ, когда она была рядомъ.

Дѣвушка подняла глаза, чуть-чуть вздрогнула и чуть-чуть покраснѣла; она не бѣжала однако, а, напротивъ, остановилась, прижала къ себѣ раскрытую книгу и посмотрѣла прямо на Веретицына.

— Напротивъ, очень весело, отвѣчала она.

Ея голосъ былъ такъ же увѣренъ, какъ ея взглядъ, какъ ея движенія; она не только не потерялась, не смутилась — она даже не удивилась, и послѣ легкой краски, пробѣжавшей по ея лицу, отъ нечаянности, когда вдругъ раздался подлѣ нея чужой голосъ, дѣвушка не краснѣла больше, но стояла и ждала, что еще ей скажутъ. Это было не кокетство: ея спокойный взглядъ не вызывалъ, не заискивалъ разговора; она не закрывала своей книги.

— Вы очень прилежны, любите занятіе, продолжалъ Веретицынъ, въ наблюденіяхъ за нею забывая цѣль своего разговора.

— Очень.

— Это очень похвально. Вы даже въ воскресный день, въ такой прекрасный вечеръ за книгой.

— Мнѣ надо твердить уроки.

— Вы воспитываетесь въ пансіонѣ?

— Да, у Шабичевой.

— Тамъ строго?

— Нѣтъ, отвѣчала она, опять спокойно взглянувъ на него:—но скоро экзамены.

— Вы желаете отличиться?

— Непремѣнно.

— И надѣетесь успѣть?

— Конечно, успѣю.

Веретицыну показалась глупа эта игра въ вопросы и свое положеніе. Онъ поклонился и, проговоривъ «извините», отошелъ отъ плетня. Дѣвушка взглянула ему вслѣдъ и пошла по дорожкѣ, опять взявшись за книгу. Ибраевъ смѣялся.

— Ну, что? сказалъ онъ: — ты сбирался внести тоску въ юную душу и не удалось? «И прочь бѣгутъ враги, не совершивъ ло-

витвы»... Пансіонерка какъ пансіонерка, «да, нѣтъ»... она и тосковать не умѣетъ!

— Выучится, отвѣчалъ Веретицынъ, которому стало досадно... неизвѣстно на что.

Одна изъ племянницъ, дѣвочка лѣтъ десяти, очевидно сейчасъ только умытая и наряженная въ очень накрахмаленное и очень коротенькое платьице, явилась съ порученіемъ маменьки звать гостя кушать чай. Ибраевъ испугался: посѣтивъ стараго знакомаго, онъ, совершенно неожиданно, нашелъ его въ бѣдѣ и тѣмъ менѣе намѣревался, вслѣдствіе такого компрометирующаго знакомства, входить въ интимность съ семействомъ господина казначея. Онъ искалъ предлога отказаться. Веретицынъ видѣлъ это и самъ помогъ ему.

— Теперь ужъ восемь часовъ, сказалъ онъ: — а ты куда-то сбирался; не опоздай. Мое правило: не задерживать.

— О, въ самомъ дѣлѣ, восемь! Спасибо, что напомнилъ, сказалъ Ибраевъ. — Благодарите вашу маменьку, миленькая... Когда же мы увидимся, Саша?

— Когда тебѣ вздумается быть у меня. Я къ тебѣ не приду.

— Ты неисправимъ! сказалъ Ибраевъ, пожавъ ему руку, съ чувствомъ, потому что на прощанье.

Веретицынъ, смѣясь, отворилъ ему калитку, кивнулъ головой и воротился въ садъ.

II.

Случилось сряду нѣсколько праздничныхъ дней. Веретицынъ не ходилъ въ должность и не очень скучалъ, потому что на другой день свиданія съ нимъ Ибраевъ прислалъ ему много книгъ. Но чтеніе еще рѣзче заставляло чувствовать, что кругомъ некому сказать слова, и даже не приносило своего полнаго наслажденія. Слишкомъ въ годъ такой затерянной жизни Веретицынъ, конечно, не лишился ни привязанности къ наукѣ, ни способности цѣнить прекрасное, но какъ-то разучился принимать сразу впечатлѣнія науки и прекраснаго и забываться въ нихъ. Они были ужъ слишкомъ несходны съ впечатлѣніями его собственной жизни, о которой онъ слишкомъ много надумался. Не то, чтобъ онъ погрязъ въ своихъ мелкихъ работахъ: напротивъ, онъ старался и успѣвалъ выносить эти работы какъ тяжелый сонъ, не размышляя о нихъ, но онѣ примѣшивали ко всѣмъ его ощущеніямъ тупую тоску, болѣзненную тяжесть, отчаяніе. Чтеніе было для него то же, что свиданіе съ дорогимъ человѣкомъ, съ которымъ мы должны сейчасъ разстаться, и помнимъ это... Веретицынъ скучалъ. Дѣльные люди, зная его за человѣка способнаго, не предложили бы на его скуку другого лекарства, какъ занятіе и мужество. Они были бы правы, конечно; но часто и самые дѣльные люди опредѣляютъ занятіе только словомъ «что нибудь» и почти обижаются, если ихъ просятъ вникнуть и придать какой нибудь образъ этому невещественному «что нибудь». Веретицынъ еще разъ въ жизни услышалъ это отъ Ибраева. Что же касается мужества, то точно такъ же, какъ истинные храбрецы, бывавшіе на войнѣ, откровенно признаются, что бывали минуты, когда у нихъ шевелилась фуражка, потому что волосы поднимались дыбомъ, точно такъ же люди, перенесшіе въ самомъ дѣлѣ много, откровенно говорятъ, что сами не знаютъ, какъ перенесли—должно быть, забывшись. Мужества нѣтъ; оно — черствость сердца или безпечность, безпечность благородная, высокая, добродѣтель, но добродѣтель, сложившаяся изъ дѣтской забывчивости и молодой отваги... А у кого горькая дѣйствительность и размышленіе давно прогнали дѣтство, кому всякую минуту памятно, что его молодость тратится и убивается даромъ, тому мудрено безъ злости и желчи слушать проповѣди о мужествѣ отъ людей, которые не нуждались въ этой добродѣтели...

Съ вида, конечно, самая законная тоска и скука выражаются вялой тратой ума и времени на бездѣйствіе, лихорадочной тратой сердца часто на невозможное, еще чаще на пустяки. Нехорошо, но и осудить это жестоко.

Ибраевъ скучалъ тоже, и тоже очень законно: городъ N* не удовлетворялъ человѣка, привычнаго къ удовольствіямъ столицы. Однажды, чтобы разсѣяться, Ибраевъ рѣшился на эксцентричность, на длинную прогулку за городъ пѣшкомъ, и уставъ, довольно поздно вечеромъ зашелъ по дорогѣ отдохнуть къ Веретицыну.

Въ прихожей Ибраевъ встрѣтилъ двухъ дамъ, которыя уже уходили; въ сумеркахъ онъ успѣлъ замѣтить только, что одна — старуха, другая молодая. Веретицынъ провожалъ ихъ, такъ же, какъ его сестра, очень обрадовавшаяся посѣщенію Ибраева; она встрѣтила его очень громкимъ привѣтствіемъ и назвала по имени, чтобъ обратить вниманіе своихъ посѣтительницъ. Но посѣтительницы не обратили вниманія, какой важный человѣкъ вошелъ въ домъ госпожи казна-

чейши, и ушли, а Веретицынъ увелъ Ибраева въ свою комнату.

— Спасибо, что зашелъ, сказалъ онъ, зажигая свѣчу и растворяя окно, выходившее въ садъ:—спасибо, что вспомнилъ.

Онъ былъ замѣтно взволнованъ, блѣднѣе обыкновеннаго; когда съ какой-то особенной пріязнью онъ подалъ обѣ руки Ибраеву, Ибраевъ замѣтилъ, что эти руки холодны.

— Кто это былъ у васъ? спросилъ онъ.

— Хмѣлевская съ дочерью.

— Ты влюбленъ въ неё? продолжалъ Ибраевъ, самъ не зная, шутя или догадываясь.

— Отъ кого ты слышалъ? спросилъ Веретицынъ поспѣшно, не смутясь, но пораженный.

— Ни отъ кого ничего не слыхалъ; мнѣ сейчасъ показалось.—Что же?

— Да, отвѣчалъ Веретицынъ, сѣлъ напротивъ пріятеля, положилъ руки и локти на столъ, а на нихъ голову. Онъ былъ чѣмъ-то сильно измученъ. Ибраевъ никогда не бралъ и не любилъ брать на себя утѣшать; но исповѣдь влюбленнаго показалась ему развлеченіемъ.

— Что же? повторилъ онъ:—разсказывай.

Веретицынъ оглянулся, выдернулъ сигару изъ открытой сигарочницы пріятеля, зажегъ ее и, одуряясь дымомъ, отъ котораго отвыкъ, сказалъ, засмѣявшись:

— Славная вещь сигара!

— Нѣтъ, твоя-то исторія?

— Моя исторія... Да ты самъ бывалъ влюбленъ?

— Никогда.

— Ну, это пусть послужитъ тебѣ урокомъ... Впрочемъ, вамъ этихъ уроковъ не надо! Сдѣлай милость, познакомься съ Хмѣлевскими: это тебѣ можно, прилично: онѣ—порядочное общество. Старуха-аристократка — обветшалая, правда, но аристократка; живетъ скромно, принимаетъ рѣдко, но въ большой чести...

— Я знаю, слышалъ.

— Ну, вотъ, познакомься. У нея двѣ дочери: одна старшая, а вотъ эта, Софья Александровна... ты увидишь. Онѣ знакомы съ моей сестрой — это онѣ снисхожденіе дѣлаютъ. Сестра крестикомъ на стѣнкѣ отмѣтитъ такой торжественный день, что онѣ пожаловали, да еще ты вслѣдъ за ними. Познакомься. Вы пара, вы ровня. Передъ тобой, можетъ быть, растаетъ этотъ ледъ приличія и добродѣтели... Я два года не могу добиться.

— Такъ ты ужъ давно знакомъ?

— Съ Софьей Александровной? Съ Москвы. Тамъ, когда еще не были для меня заперты двери порядочныхъ домовъ, когда на меня еще пальцемъ не указывали, не сторонились отъ меня, я хаживалъ къ ея роднымъ. Она у нихъ цѣлый годъ гостила; онѣ не отпускали ее къ матери. Да съ ней разстаться скоро нельзя. Такія существа, какъ она, посылаются на свѣтъ въ рѣдкія, особенно щедрыя минуты. Красавица, мила какъ ребенокъ, думаетъ, чувствуетъ за всѣхъ, кроткая, съ отвѣтомъ на всякую мысль, съ слезами на всякое страданіе... Я, бывало, изъ себя выхожу: какъ смѣютъ говорить съ ней, смотрѣть на нее другіе? Понимаютъ ли они, что дѣлаютъ? Какъ въ голову можетъ приходить, что къ ней можно обратиться, какъ къ другой дѣвушкѣ, съ комплиментами, съ любезностями: развѣ она то, что другія? Любить ее... Надо сперва понять, какъ должно ее любить! Совершенству надо давать совершенное! Мы привыкли къ тому, что намъ по плечу; мы погрязли въ посредственности; мы не понимаемъ, сколько высокое выше насъ; мы идемъ къ нему не задумываясь... вотъ, какъ старухи, по привычкѣ, въ церковь ходятъ!.. Она не оттолкнетъ, конечно, но вѣдь надо понять, какъ она добра, какъ боится оскорбить...

— Такъ у нея было много...

Ибраевъ хотѣлъ сказать «вздыхателей», но удержался и поправился.

— Такъ она никого не выбрала, не любила?

— Вообрази мое счастье—никого! отвѣчалъ Веретицынъ. Я ревновалъ, подмѣчалъ, наконецъ, какъ сумасшедшій, рѣшился самъ спросить ее. Я былъ короткій знакомый, почти на правахъ друга; договорился и спросилъ. Она всегда искренна: «никого»...

— Ну, чего же ты ждалъ? Тутъ бы и признаться.

— Тутъ и признаться? Но пойми: «никого», стало быть, и не меня? Я сказалъ себѣ: «подожду; она полюбитъ меня». Мнѣ показалось даже хорошо дожидаться, видѣть ее часто. Этотъ откровенный разговоръ еще сблизилъ насъ. Я самъ сталъ во всемъ откровеннѣе; я давалъ ей лучше узнавать себя; я съ ума сходилъ и холодно разсчитывалъ... Ты не можешь понять, какъ это дѣлается!

— Не могу, не могу. Вотъ, я и учусь.

— Учись!.. Ты не знаешь, что такое роковая любовь. Не первая она, никогда не первая—такъ случилось со мной—а вотъ, та-

кая, какъ эта, когда говоришь себѣ, что все найдено въ этой женщинѣ, все, чего душа просила, когда видишь, что жизнь освѣтилась...

Веретицынъ бросилъ сигару, которую десять разъ гасилъ и зажигалъ.

— Ну, что же? сказалъ Ибраевъ.

— Ну, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ меня выслали изъ Москвы сюда—вотъ и все. Я даже съ ней не успѣлъ проститься.

— И вы встрѣтились здѣсь?

— Я рѣшился... Ты это поймешь. Я, какъ пріѣхалъ сюда, умиралъ съ тоски; некуда дѣваться; дома... ну, ты видишь! Узналъ я, что Хмѣлевская мать бываетъ у сестры, и когда она однажды пріѣхала, рѣшился ей показаться. Она позвала меня къ себѣ. «Вы мою Сонечку знаете». Видите, это дало мнѣ право! Мать Богу молится на свою Сонечку. Ея еще тогда здѣсь не было: все гостила въ Москвѣ; но и безъ нея мнѣ было у нихъ по душѣ. Хорошая старуха; другая дочь—добрая дѣвушка, говорить можно съ ними. Я сталъ ходить къ нимъ часто. Но—ты меня знаешь, или не знаешь — все равно, мнѣ скоро стало тяжело тамъ быть. Кто, какъ я, въ ложномъ положеніи, тому нигдѣ не можетъ быть легко. Онѣ, Хмѣлевскія, знали мою исторію, знали, что я правъ, понимали это ясно, но—женщины! робко, какъ будто и предъ собой боялись выговорить громко, что я правъ... Да что я на женщинъ! и мужчины то же дѣлаютъ. Ну, мнѣ это было тяжело: эти оглядки, особенно, когда посторонніе бывали у нихъ, заставали меня, посматривали на меня, какъ будто удивляясь, зачѣмъ я тутъ. Мое знакомство компрометировало; особенно я изъ всего города только и бывалъ, что у однихъ Хмѣлевскихъ... Я подумалъ, что мнѣ не слѣдуетъ ихъ стѣснять собою, сталъ ходить рѣже, въ такіе часы, когда зналъ, что постороннихъ не застану. Онѣ этого будто не замѣтили, но сдѣлались какъ-то еще привѣтливѣе, то есть онѣ поняли и косвенно благодарили. Это, какъ ты, надѣюсь, понимаешь, можетъ взорвать. Меня и взорвало, но я не отсталъ. Это было прошлой осенью; онѣ ждали Софью: она должна была пріѣхать наконецъ. Почтовыя кареты приходятъ сюда изъ Москвы вечеромъ поздно. Мать не могла идти въ почтамтъ встрѣчать Софью; сестрѣ было неудобно идти почти ночью одной. На встрѣчу Софьѣ въ назначенный ею день рѣшили послать одного лакея, чтобы помочь ей взять вещи. Я слышалъ эти распоряженія. Я ждалъ больше, чѣмъ мать и сестра. Въ полгода знакомства въ ея домѣ, въ ея семьѣ, гдѣ ее любили, гдѣ говорили о ней безпрестанно, я полюбилъ ее, кажется, еще больше, чѣмъ любилъ прежде. Я ждалъ ея... не знаю какъ, съ замираніемъ сердца. До ея пріѣзда оставался еще цѣлый мѣсяцъ. Мнѣ вообразилось, что она пріѣдетъ раньше назначеннаго срока, и нѣсколько почтовыхъ дней я торчалъ одинъ въ залѣ почтамта, пока приходила карета, пока пріѣзжіе выбирались, разбирались, пока расходились всѣ, даже сторожа. Меня признали тамъ; почтальоны начали посматривать на меня и смѣяться. Мнѣ стало совѣстно; я началъ ходить на встрѣчу каретѣ за заставу...

— Въ октябрскіе вечера? прервалъ Ибраевъ.

— Въ октябрскіе вечера, два раза въ недѣлю, то въ слякоть, то въ заморозки, отвѣчалъ Веретицынъ съ какой-то настойчивой насмѣшкой.—Прибавь, что я кашлялъ, не отводя голоса, что я прибѣгалъ иногда съ края свѣта, съ урока; что когда я ни съ чѣмъ возвращался домой часовъ въ десять, здѣсь уже всѣ полегли спать, и у меня не было стакана горячей воды, чтобъ согрѣться. Ну, это все вздоръ, ничего! Я все ждалъ. Я довелъ себя до того, что зябнуть мнѣ было наслажденіе, при одной мысли только, что я выну ее, Софью, сонную, тепленькую изъ кареты, что ея бѣленькое личико блеснетъ мнѣ при фонаряхъ, подъ дождемъ, подъ вѣтромъ, въ темнотѣ, въ толкотнѣ этой глупой, что тамъ всегда. Такъ и случилось. Въ тотъ день карета еще запоздала; я продежурилъ то у заставы, то на подъѣздѣ почтамта, то въ залѣ, до полуночи. Лакей Хмѣлевскихъ приходилъ, ушелъ не дождавшись, вѣрно, заснулъ дома и не пришелъ вовсе. Когда я заслышалъ вдали, на площади, трубу кондуктора... ты не знаешь, что чувствуется въ такія минуты!

— Не знаю; разскажи.

— Разсказать нельзя. Я кинулся какъ угорѣлый. Лошади еще не остановились, какъ я ужъ отворилъ дверцу. Мнѣ прямо на руки свалилась толстая барыня и, съ просонка, кричитъ: «подержи, любезный, сундучокъ» и суетъ мнѣ узлы, подушки какія-то. Я все это, и съ барыней, толкнулъ на тротуаръ: я заслышалъ въ каретѣ голосъ Софьи; она съ другой стороны тоже отдавала что-то кондуктору; я толкнулъ кондуктора...

— Ну, и высадилъ ее? Вѣдь главное состояло въ томъ, чтобъ ее высадить? прервалъ Ибраевъ.

Веретицынъ посмотрѣлъ на него.

— Да, сказалъ онъ, послѣ секунды молчанія, взявъ брошенную сигару и опять стараясь зажечь ее:—взялъ ея вещи, кликнулъ ей крытыя дрожки, присѣлъ самъ съ извозчикомъ и проводилъ ее къ маменькѣ. Онѣ цѣловались цѣлые полчаса въ прихожей, а я стоялъ въ своемъ мокромъ пальто и любовался. Софья очнулась, наконецъ. «Вотъ кто меня проводилъ». Стали благодарить, приглашали отдохнуть, напиться чаю.—Что за чай въ полночь! а онѣ годъ цѣлый не видались. Я не осмѣлился безпокоить и ушелъ, а между тѣмъ вспомнилъ, что столоначальникъ задалъ мнѣ гору переписки къ утру. Она пришлась кстати, потому что не спалось.

— Отчего же не спалось?

— Съ холоду, должно быть, отвѣчалъ Веретицынъ.

Онъ откинулся на стѣнку стула и курилъ еще равнодушнѣе своего пріятеля, который, чутко понявъ, что разговоръ упадаетъ, почувствовалъ себя неловко.

— Ну, потомъ ты бывалъ опять у нихъ, видѣлъ ее? спросилъ онъ, стараясь выказать даже нѣкоторое волненіе.

— Бывалъ, видалъ, бываю и вижу, отвѣчалъ Веретицынъ.

— И она?

— Что?

— Нѣтъ, но... какъ же... Какія же ваши отношенія съ ней?

— Я принятъ какъ прежде; стараюсь не наскучать. Ко мнѣ въ высшей степени внимательны. Вотъ, я недавно, весной, былъ боленъ: ея мать и она меня навѣстили.

— А, прекрасно! Это много значитъ...

— Ровно ничего не значитъ: онѣ навѣщаютъ и на чердакахъ.

— Да, но не молодыхъ людей изъ общества.

— Я не молодой человѣкъ, я не принадлежу къ обществу, возразилъ Веретицынъ болѣе рѣзко, чѣмъ хотѣлъ, и потому засмѣялся.

— Но... Но, надѣюсь, если она хорошо воспитана, то не дастъ этого замѣтить? сказалъ Ибраевъ, придавъ себѣ видъ озабоченнаго участія.

Веретицынъ расхохотался громко.

— Она прекрасно воспитана, отвѣчалъ онъ.

— Ну, что же? какъ же вы встрѣтились? продолжалъ Ибраевъ, стѣсняясь и ища словъ:—она не перемѣнилась?

— Похорошѣла, сказалъ Веретицынъ, вдругъ прервавъ свой смѣхъ.—Да сдѣлай милость, познакомься—увѣряю тебя, не раскаешься. Красавица, образована, умна... Я, хотя и маленькій человѣкъ, потерялъ право имѣть свое мнѣніе, но вкусъ у меня былъ когда-то. И такъ какъ ты удостоиваешь меня своего расположенія, то я не смѣю оболгать ваше высокородіе. Пріятный домъ-съ, имѣю честь рекомендовать.

— Ты шутишь, прервалъ серьезно Ибраевъ.—Пожалуй, чтобъ доставить тебѣ удовольствіе, взглянуть, я сдѣлаю визитъ, буду разъ, два; а больше мнѣ, право, некогда. И согласись, въ домѣ у Хмѣлевскихъ мое положеніе будетъ неловко, непріятнѣе твоего. Я жениться, по крайней мѣрѣ на m-lle Sophie, не намѣренъ, будь она тысячу разъ красавица. Ты меня не упрекнешь и не заподозришь въ разсчетѣ, но ты самъ знаешь, что у Хмѣлевскихъ состоянія нѣтъ, а мнѣ оно нужно. Какъ ни вертись, какъ ни проповѣдуй, безъ денегъ жить нельзя. А покажись я только въ ихъ домъ, да бывай почаще... не то, что толки—я къ провинціальнымъ глупостямъ заранѣе себя приготовилъ—но сами онѣ, старуха, дочери, просто, станутъ ловить какъ жениха. Mademoiselle Sophie и умна, и на чердакахъ навѣщаетъ, но отъ выгодной партіи, конечно, не прочь. Какъ ты думаешь?

— Всеконечно-съ... отвѣчалъ протяжно Веретицынъ.— А я вотъ еще что думаю: одиннадцать часовъ ночи и вездѣ собакъ спускаютъ; если ваше высокородіе еще замѣшкаетесь, такъ онѣ вамъ полы оборвутъ, а, можетъ, и ногамъ достанется. Въ вашемъ званіи это приключеніе еще непріятнѣе, чѣмъ въ нашемъ, въ писарскомъ.

— Ты проказникъ! сказалъ Ибраевъ, смѣясь, вставая и взявъ свое пальто.

Оно свѣсилось рукавами книзу, но Веретицынъ не вставалъ и не помогалъ другу.

— Ну, прощай, сказалъ Ибраевъ, справившись одинъ:—хочешь еще сигару?

— Спасибо; я и ту не кончилъ.

— Вотъ что значитъ отвыкнуть!

— Да.

— И не привыкай больше; что! вздоръ!.. Какая ночь чудесная! Ты, вѣрно, пойдешь мечтать въ свой...

— Огородъ. Нѣтъ, спать хочу.

— Да, кстати, что твоя садовая знакомка?

— Не знаю, я не видалъ ея больше.

— До свиданья.

Ибраевъ ушелъ.

III.

Вечера этого лѣта проводились очень пріятно N-скими жителями. Командиръ стоявшаго въ N* полка давалъ своихъ музыкан-

товъ и они два раза въ недѣлю, съ шести до десяти часовъ, играли въ городскомъ саду. Городской садъ оживился; онъ наполнился такъ, что ходить въ немъ не было возможности. Модные магазины продали невѣроятное множество шляпокъ, бурнусовъ и прочихъ нарядовъ, и благословляли полкъ и пріязнь его начальника къ старшинамъ благороднаго собранія, которые перевели на лѣто помѣщеніе клуба въ маленькій домъ, выходившій балкономъ въ садъ. Предъ самымъ этимъ балкономъ, на лужайкѣ, располагался оркестръ. Дамы-аристократки, уставая бродить въ тѣснотѣ, располагались на скамейкахъ вокругъ балкона, и къ нимъ выходили бесѣдовать господа, кончавшіе или еще неначавшіе своихъ партій въ клубѣ. Остальное народонаселеніе пестрѣло по дорожкамъ; поговаривали даже, что въ единственной большой бесѣдкѣ поправятъ полъ и устроятъ танцы. Хотя лѣтнія увеселенія начались довольно рано, съ половины мая, но публика не охладѣвала къ нимъ, и можно было надѣяться, что не охладѣетъ до осени, если простоитъ хорошая погода и дружелюбіе статскаго и военнаго начальства.

Едва ли не одинъ изъ всѣхъ N-скихъ молодыхъ людей въ садъ не заглядывалъ Веретицынъ. Онъ слышалъ издали, изъ своего огорода, трубы и литавры оркестра; сначала эти отрывочные звуки тревожили его досадно, какъ что-то лишнее, что-то напоминавшее, приходившее напрасно возмущать тишину, къ которой молодой человѣкъ старался пріучить себя и почти привыкъ. Ничего нѣтъ досаднѣе, какъ шумъ при безлюдьи. Людей, пожалуй, было довольно кругомъ, но для Веретицына ихъ не было; когда темнѣлъ вечеръ, Веретицынъ на своей шаткой скамейкѣ, подъ хмѣлемъ, начиналъ находить наслажденіе въ замираніи всякаго движенія и шопота, въ холодноватомъ примерканіи свѣта. Чувство тоже становилось тихо, безъ порывовъ; прошедшее уходило какъ-то еще дальше; печаль дѣлалась не тупа, не покорна, но глубока и спокойна до торжественности. Въ ней была своя нѣга, свое наслажденіе. И вдругъ это наслажденіе нарушено нелѣпымъ стукомъ и громомъ издали, стукомъ и громомъ на потѣху людямъ, которые, ничего не дѣлая цѣлый вѣкъ, вздумали разнообразить свою праздность.

Веретицынъ разсердился на музыку, когда она, раздавшись въ первый разъ, выгнала его изъ сада. Въ другой разъ онъ повернулъ было, чтобъ опять уйти, но раздумалъ: стало жаль потерять вечеръ. Въ третій разъ онъ сталъ прислушиваться. Оркестръ игралъ финалъ изъ «Лучіи»; Веретицынъ узналъ его изъ нѣсколькихъ нотъ, принесенныхъ по вѣтру. Онъ самъ не могъ опредѣлить чувства, которое заставило его приподняться на скамейкѣ и, почти съ біеніемъ сердца, ждать другого отрывка. Онъ ни за что бы не захотѣлъ быть тамъ, въ саду, у оркестра, но ни за что не промѣнялъ бы ощущенія, которое охватило въ эти минуты его душу. Черныя деревья, роса, отъ которой темнѣла дорожка, стрекотанье кузнечиковъ въ промежуткахъ мелодіи, блѣдныя, чуть видныя звѣзды въ глубокихъ голубыхъ впадинахъ между бѣлѣвшими облаками, огни въ окнахъ сосѣдей, маленькіе, но яркіе, съ дрожащими розовыми лучами, пустота кругомъ и больное чувство въ груди—все это было хорошо вмѣстѣ, шло одно къ другому. Дворняшка вбѣжала въ плохо затворенную калитку. Веретицынъ спросилъ кусокъ хлѣба подъ окномъ кухни, воротился на скамейку, кормилъ собаку и слушалъ «Лучію».

Его расположеніе духа, конечно, не повторилось больше. Въ слѣдующій вечеръ, онъ еще приподнялъ голову, услыша трубы, но онѣ гремѣли какой-то вальсъ и продолжали вальсы и польки во весь вечеръ: это было больше по вкусу публики. Веретицынъ нашелъ, что прислушиваться глупо, что это ребячество, тѣмъ болѣе, что въ сосѣднемъ саду дѣти слушали тоже. Онъ подошелъ къ плетню и машинально заглянулъ черезъ него

Дѣти, игравшія въ кустахъ, не замѣтили Веретицына; но молоденькая дѣвушка, съ которой, недѣлю назадъ, онъ вздумалъ свести знакомство, увидѣла его. Ихъ взгляды встрѣтились. Веретицынъ поклонился. Дѣвушка, какъ будто съ недоумѣніемъ, но спокойно отвѣчала тѣмъ же.

Впрочемъ, на этотъ разъ спокойствіе было больше наружное: правда, она не убѣжала, не отвернулась, не потупилась, но ей стало неловко отъ пристальнаго взгляда, который былъ обращенъ на нее; ей стало неловко перебрасывать мячикъ съ мальчикомъ моложе ея — занятіе, которое до этой минуты ей очень нравилось; она закинула мячикъ въ траву и сказала:

— Довольно, Коля, я устала; не хочу больше.

Коля разсердился, что забросили его мячикъ, и принялся отыскивать. Дѣвушка взглянула въ сторону Веретицына и, видя, что онъ все на нее смотритъ, смутилась уже замѣтно. Она отошла отъ дѣтей; ей видимо

казалось неловко оставаться на мѣстѣ; но, отходя, она не могла не пройти мимо плетня, подлѣ Веретицына. Замѣтя это, она торопилась пройти скорѣе.

Ему хотѣлось смѣяться.

— Что-жъ вы не гуляете въ городскомъ саду? спросилъ онъ, когда она поровнялась съ нимъ.

Она покраснѣла и остановилась. Веретицынъ повторилъ вопросъ.

— Такъ, не хочу, отвѣчала она.

— Будто не хотите? Вѣдь вы не отъ себя зависите, конечно? Васъ, вѣрно, не отпустили, или не взяли?

— Кто это? спросила она, немного обидясь.

— Не знаю, кто нибудь; ваша маменька, вашъ папенька. Они, вѣрно, ушли, а васъ оставили дома.

Она хотѣла отойти, не отошла, и отвѣчала:

— Надо съ дѣтьми остаться.

— Какая скука!

— Тамъ скучнѣе, возразила она.

— Кто это сказалъ?

— Никто не говорилъ! я сама знаю, продолжала она твердо, поднявъ голову и глядя на него.—Тамъ тѣснота, надо быть нарядной, ходить шагъ за шагомъ, молча—вотъ и все удовольствіе.

— Точно такъ, отвѣчалъ Веретицынъ.—Удивительно только, зачѣмъ же всѣ туда идутъ?

— Я еще успѣю быть на гуляньяхъ, возразила она помолчавъ, и уже не такъ рѣшительно.

— Успѣете? Кто вамъ сказалъ?

Она взглянула на него, удивленная.

— Кто вамъ сказалъ, что успѣете? продолжалъ Веретицынъ:—кто за одинъ день, за одинъ часъ поручится?

— Я умирать не собираюсь, отвѣчала она, улыбнувшись.

— Я и не пророчу вамъ смерть, не безпокойтесь. Но кто поручится, что когда васъ поведутъ на гулянье, вы ужъ сами не захотите?

— О, всегда захочу! сказала она.

— Это еще не навѣрное. Вотъ вы уже и теперь говорите, что тамъ скучно, а чрезъ годъ, чрезъ два... воды много утечетъ. У васъ до тѣхъ поръ могутъ случиться и огорченія, которыя перемѣнятъ вашъ характеръ, и пройдетъ желаніе видѣть что нибудь, или придетъ желаніе чего нибудь получше того, что вамъ предложатъ. Лучше бы давали теперь право, покуда всѣ эти пустяки еще имѣютъ для васъ какую нибудь цѣну.

— Вотъ, вы сами говорите, что это пустяки.

— Да я-то говорю, мнѣ можно говорить, возразилъ Веретицынъ:—я видѣлъ, потому и говорю. Я знаю, какими кажутся вещи, когда разглядишь ихъ: потому и надо брать ихъ, покуда не разглядѣлъ. Закрыть глаза, веселиться, пользоваться—вотъ молодость! А то что? Вы сами ребенокъ, а за дѣтьми вамъ велѣно присматривать, покуда тамъ папенька съ маменькой Ланнера слушаютъ... Вотъ, это Ланнера вальсъ играютъ, Hoffnung Strahlen, прислушайтесь: славный вальсъ! Вы музыкѣ учитесь?

— Да... Какъ вы назвали этотъ вальсъ?

— Hoffnung Strahlen. Вамъ нравится названіе?

— Да... Какое странное! Почему онъ такъ названъ?

— Не знаю. Можетъ быть, и есть какая нибудь исторія этого вальса. У всего есть своя исторія. Была какая нибудь хорошая минута у человѣка—онъ въ память ей и назвалъ свое произведеніе. Могла быть и дурная минута.

— Ну, ужъ въ память дурныхъ минутъ не сочиняютъ вальсовъ!

— Почему же нѣтъ? Добрые люди все равно будутъ прыгать.

— Да, если не знать, что значитъ эта музыка; но если знать...

— Все равно! Развѣ только музыка можетъ напоминать печальное? развѣ каждый изъ насъ не знаетъ чьего нибудь горя, да не одно чье нибудь горе, а горе многихъ—что-жъ? это насъ не безпокоитъ. Мы не подъ вальсъ вертимся, а все равно, вертимся на свѣтѣ—веселы; другимъ хоть въ петлю, а намъ нѣтъ дѣла.

Дѣвушка задумалась и взглянула на него. Веретицынъ улыбнулся.

— Вы попрежнему много занимаетесь? спросилъ онъ, помолчавъ.

— Да, много.

— Все къ экзамену?

— Почему вы знаете?

— Вы сами сказали, тогда.

Она вспыхнула.

— Право, я вамъ позавидовалъ: такъ прилежны! Воскресный день, вечеръ чудесный, а вы, не поднимая головы, твердите, твердите. Неужели всегда такъ?

— Да... Нѣтъ... Нѣтъ, знаете, это къ экзамену. Насъ сорокъ двѣ воспитанницы въ пансіонѣ...

— Вы — которая по классамъ?

— Я?.. я шестая. Но я въ младшемъ клас-

сѣ... Такъ видите (она еще покраснѣла), папенькѣ и маменькѣ очень хочется, чтобъ меня перевели въ старшій классъ, наградили и повысили. Я изъ всѣхъ силъ стараюсь. Я знаю, имъ будетъ такое удовольствіе, если я всѣхъ перегоню...

— И тогда папенька и маменька купятъ вамъ соломенную шляпку съ розаномъ, бѣленькій бурнусъ и поведутъ васъ на гулянье?

Ея прекрасные глаза загорѣлись отъ негодованія.

— Съ чего вы взяли, что я изъ этого хлопочу? прервала она.—Какъ вы смѣете надо мной насмѣхаться?

— Помилуйте, ни мало! возразилъ равнодушно Веретицынъ: — я сказалъ это потому, что, предполагаю, вашему папенькѣ и маменькѣ будетъ очень пріятно показать всѣмъ свою милую дочь, которая доставила имъ такое удовольствіе, они сдѣлаютъ это для самихъ себя, а не для васъ.

Она смотрѣла на него.

— Для самихъ себя, повторилъ Веретицынъ: — какъ же иначе? Вотъ теперь вы замѣняете ихъ для меньшихъ дѣтей; вы для нихъ учитель; вы для нихъ будете хороши, для нихъ будете веселы: все это для удовольствія вашего папеньки и маменьки. Я это такъ понимаю, что не дѣлаю вамъ даже комплимента, что вы прекрасная, покорная, нѣжная дочь: вы только исполняете вашъ долгъ. Поступайте всегда такъ. Живите всегда такъ. Живите всегда вполнѣ для вашихъ папеньки и маменьки. Скучайте, когда это имъ угодно; морите себя надъ книгой, надъ работой, надъ чѣмъ случится; выставляйтесь на показъ, когда они васъ выставятъ— это ихъ воля, это имъ пріятно: вы — ихъ собственность. Вы не просили у нихъ родиться, вы не въ правѣ просить жить такъ, какъ вамъ самимъ вздумается. Когда я говорилъ о новой шляпкѣ, я думалъ только, какъ ваша маменька будетъ по своему вкусу выбирать ее для васъ, и хотѣлъ замѣтить вамъ, чтобъ вы не спорили при выборѣ: это радость маменьки — не мѣшайте ей. А что васъ поведутъ въ публику, то, конечно, для того, чтобъ папеньки и маменьки тѣхъ подругъ вашихъ, которыхъ вы перегоните, смотрѣли и казнились, зачѣмъ Господь не послалъ и имъ такихъ же дочерей. Если вамъ тогда встрѣтятся эти подруги, вы не давайте имъ замѣтить, что вы огорчены за нихъ вашимъ торжествомъ... Что я! и въ самомъ дѣлѣ не огорчайтесь: вы исполнили вашъ долгъ, доставили удовольствіе...

Дѣвушка была блѣдна и не сводила глазъ съ Веретицына, обламывая сухія вѣтки плетня. Веретицынъ засмѣялся.

— Я шучу, сказалъ онъ.— Учитесь, старайтесь, если вамъ это пріятно. Право, я шучу. Извините... Вы любите занятіе?

— Да, люблю, отвѣчала она.

— Что для васъ въ немъ особенно пріятно?

— То, что какъ-то совсѣмъ забываешь, что вокругъ дѣлается.

— Для чего-жъ вамъ это? спросилъ Веретицынъ:—развѣ вокругъ васъ нехорошо?

— Нѣтъ, хорошо; но такъ лучше. Я возьму книгу и часто, просто, не чувствую, гдѣ я. Такъ, уходишь будто въ другой міръ совсѣмъ...

— И это, напримѣръ, твердя о Лудовикѣ...

— Леленька, гдѣ ты? послышались голоса дѣтей.—Папенька съ маменькой воротились.

Веретицынъ замѣчалъ, но дѣвушка не замѣтила, что стемнѣло. Она оглянулась, какъ будто испугалась, и побѣжала.

— Прощайте, Леленька! сказалъ ей вслѣдъ Веретицынъ.

Она обратилась бы на его прощанье, но оно показалось ей неучтиво...

IV.

Веретицыну понравилась эта забава. Когда въ жизни нѣтъ цѣли, къ ней идутъ забавы, у которыхъ тоже нѣтъ цѣли: между ними есть что-то общее. Жизнь проходитъ точно въ забытьѣ; ея забавы и огорченія должны быть неуловимы, какъ сны, а между тѣмъ, у нихъ есть своя занимательность. На другой день утромъ Веретицынъ, чувствуя себя нездоровымъ, рѣшился не идти въ должность, взялъ книгу и пошелъ въ садъ. Отворяя калитку, онъ подумалъ о Леленькѣ.

Ей еще больше хотѣлось видѣть «сосѣда». Леленька была дочь очень небогатаго господина, изъ N-скихъ чиновниковъ. Семья была огромная, воспитывалась въ страхѣ; для дѣвочки, знавшей только дорогу въ свой пансіонъ, и то подъ надзоромъ работницы, которая посылалась провожать — для примѣрной ученицы пансіона, не смѣвшей взглянуть иначе, какъ съ почтеніемъ, на лица учителей, и потому незнавшей, молоды они или стары; для барышни строго-держанной, которая и въ церковь не ходила иначе, какъ съ матерью или пожилой родственницей, было великимъ событіемъ — разговоръ черезъ плетень съ молодымъ и «хорошенькимъ» со-

сѣдомъ. Леленька замѣтила, что Веретицынъ хорошенькій.

Но ее заняло еще другое: Веретицынъ говорилъ какъ-то странно. Дома, въ семьѣ, она, конечно, не слышала не только ничего подобнаго, но тамъ не только не бывали, тамъ и по имени не назывались никакіе молодые люди. Въ пансіонѣ о молодыхъ людяхъ говорили подруги; но то, что онѣ разсказывали подъ большимъ секретомъ, было опять не похоже на разговоръ Веретицына: секреты состояли въ пожатіи ручки, въ комплиментахъ. Леленькѣ это какъ-то не нравилось, можетъ быть, потому, что было чрезвычайно однообразно. Она даже не любила слушать эти секреты, и потому рѣдко попадала въ повѣренныя. Она была скучная повѣренная, не умѣла ни сочинить, ни передать записочки, ни скрыть ничего, ни вывернуться изъ бѣды: по ея лицу можно было сейчасъ обо всемъ догадаться. Ей все казалось то неловко, то невозможно; ей было жаль обманутыхъ, стыдно старшихъ. И тѣмъ досаднѣе бывали ея отговорки, что Леленька была вовсе не робка.

Она это доказывала этимъ утромъ, уйдя въ садъ твердить свои уроки и выбравъ себѣ мѣсто недалеко отъ плетня. Она была увѣрена, что не увидитъ сосѣда: онъ служитъ и съ утра въ должности; но ей казалось какъ-то лучше сидѣть тутъ, поближе, въ тѣни большой липы, и, заглядывая въ риторику Кошанскаго, заглядывать издали, какъ между щелями плетня блеститъ на солнцѣ дорожка сосѣдняго сада; она не усыпана пескомъ, не убита щебнемъ, но, должно быть, сосѣдъ утопталъ ее, ходя взадъ и впередъ. Сосѣдъ очень странный человѣкъ. Папенька какъ-то говорилъ, что его за что-то сюда прислали. Сестра его, казначейша, какая смѣшная! Зачѣмъ онъ какъ-то нехорошо смѣется?

Леленька опускала глаза въ книгу и старалась взять въ толкъ объясненіе метафоры, метониміи, синекдохи и ироніи, но это ей никакъ не удавалось. Она подумала, между прочимъ, что на чернобыльникѣ всегда водятся прехорошенькія зеленыя букашки, блестящія, и посмотрѣла въ ту сторону, гдѣ разрослись огромные кусты чернобыльника, около плетня.

«На что ему нужно, что я учу, чѣмъ занимаюсь?» спросила себя Леленька. «Онъ надо мной смѣется: я этого ему не позволю. И какъ-то странно смѣется, не такъ, какъ другіе; отъ его смѣха скучно на душѣ. Ему, должно быть, скучно здѣсь; ни съ кѣмъ, говорятъ, незнакомъ... А я съ нимъ знакома!»

Леленька засмѣялась, бросила Кошанскаго, прилегла на траву, щипала ее полныя горсти и бросала кругомъ себя. Наконецъ, она сказала почти громко:

«Надо, однако, выучить», и принялась твердить наизусть, въ особенной тетрадкѣ, въ числѣ примѣровъ:

Речешь—и двигнется полсвѣта,
Различный образъ и языкъ...

Просвѣтъ въ плетнѣ потемнѣлъ, по дорожкѣ мелькала тѣнь; Леленька услышала неровные шаги, легкое покашливанье и мурчанье подъ носъ, которое издававшій его считалъ, конечно, за пѣніе.

«Однако, онъ не очень прилежно читаетъ», успѣла подумать Леленька, пока еще у нея не совсѣмъ упало сердце.

Но оно упало совсѣмъ, и перепуганная дѣвочка поспѣшила поднять Кошанскаго, чтобъ потихоньку пробраться домой, пока еще не увидѣлъ ее сосѣдъ. Онъ еще что нибудь выдумаетъ...

«Но что онъ выдумаетъ? Что-жъ такое?.. я въ своемъ саду урокъ учу».

И она продолжала:

Различный образъ и языкъ,
Тавридецъ, чтитель Магомета,
Поклонникъ идоловъ, калмыкъ...

Послѣдній стихъ ни за что не шелъ ей на память. Веретицынъ ходилъ по своей дорожкѣ, читалъ свою книгу, мурчалъ свою пѣсню и не оглядывался. Леленькѣ стало почему-то скучно; солнце показалось ей какое-то досадно-свѣтлое, трава какая-то досадно-густая, липа какая-то досадно-черная — все не такъ! Въ Леленьку, какъ ребенка, влетѣлъ капризъ, и она почему-то дала себѣ клятву никогда не приходить сюда учить уроки.

Веретицынъ подошелъ къ плетню и поклонился.

— Чѣмъ вы занимаетесь? спросилъ онъ.

Леленька хотя положительно не имѣла этого намѣренія, но встала и показала ему книгу. Правда, ей было бы немного неловко говорить; не смотря на то, что солнце было слишкомъ жарко, у дѣвочки даже слегка побѣлѣли и похолодѣли губы.

Веретицынъ взглянулъ въ книгу и отдалъ ее назадъ.

— Прекрасно! сказалъ онъ.

— Вы это знаете? выговорила Леленька.

— Нѣтъ-съ, не знаю. Но все равно, прекрасно.

— А я ничего не понимаю.

— То и хорошо. Вы такъ и выучите — крѣпче будете помнить.

— Какъ же это?

— Такъ. А то, если поймете, станете думать, у васъ умъ за разумъ зайдетъ — вы ничего и не вытвердите.

— Вы все смѣетесь! сказала Леленька и бросила книгу.

Веретицынъ засмѣялся.

— Зачѣмъ же вы ее бросаете? спросилъ онъ.

— Надоѣла.

— Какъ же вы говорили, что любите забываться въ чтеніи, что жизнь для васъ идетъ лучше, и еще не знаю что? продолжалъ онъ, смѣясь.—Вчера только говорили.

— Зачѣмъ вы все смѣетесь? повторила Леленька.

— Для чего-жъ скучать? возразилъ Веретицынъ, все смѣясь. — Ну, поговоримте серьезно. Какъ подвигаются ваши приготовленія къ экзамену?

— Такъ... Я, вотъ, твержу и ничего не понимаю.

— Это со всякимъ можетъ случиться.

— И съ вами случалось?

— Когда я былъ маленькій? конечно.

— Я не маленькая, сказала Леленька тихо, обидясь.

Ей показалось еще обиднѣе, что Веретицынъ не улыбнулся на это.

— Вы бы лучше растолковали мнѣ, чѣмъ все насмѣшничать, продолжала она, конфузясь по мѣрѣ того, какъ говорила: — вы все знаете.

— Во-первыхъ, я не насмѣшничаю, во-вторыхъ, я ничего не знаю, возразилъ Веретицынъ.

— Но вѣдь васъ учили?

— Маленькаго. Съ тѣхъ поръ я все перезабылъ.

— А потомъ какъ же?

— Выучился кое-чему съизнова.

Она посмотрѣла на него въ раздумьи, поднявъ свои большіе глаза.

— Должно быть, вамъ было очень трудно, замѣтила она.

— Легче, чѣмъ вамъ твердить Кошанскаго, отвѣчалъ онъ:—или, вотъ еще о тѣхъ великихъ людяхъ, съ которыми вы тогда... прошлый разъ прохаживались.

Леленька вспыхнула.

— Я потому и удивился, продолжалъ Веретицынъ: — когда вы сказали, что занятія васъ переносятъ въ другой, лучшій міръ. Какой міръ, думаю, съ разными вселюбезнѣйшими, да, вотъ, съ этакой поэзіей: «Въ горохѣ воробей, гони и вора бей...» Вотъ, тутъ, позвольте, это есть...

— Вы сказали, что перезабыли, не знаете, возразила Леленька съ досадой, не давая ему книгу.

— Такія диковинки поневолѣ помнятся, отвѣчалъ Веретицынъ, засмѣявшись. — Извините, впрочемъ, вы не любите смѣха, вы, сколько я замѣтилъ, особа серьезная, хлопочете научиться. Можетъ быть, и это отъ чего нибудь полезно.

Онъ указалъ на несчастную риторику.

— Я, точно, самъ когда-то твердилъ это, видѣлъ, какъ твердили другіе, не случалось еще замѣтить, чтобъ это на что нибудь пригодилось; но вѣдь я могу и ошибиться. Скука сама по себѣ вещь полезная: человѣкъ тупѣетъ и дѣлается тихъ—это хорошо. Въ прописяхъ написано: «Будь кротовъ, тихъ, скроменъ и меньше говори...» дальше не помню, но мораль отличная, покойная: все тишь да гладь—Божья благодать... Вы учите наизусть чепуху; не брезгайте, такъ надо. Въ другой книжкѣ у васъ написано, что такой-то и такой-то былъ великій человѣкъ— и вѣрьте; не смѣйте соображать ничего, а то неравно поймете, что одинъ великій былъ самодуръ, другой негодяй, третій потому безгрѣшенъ, что согрѣшить не подвернулось случая. Васъ учатъ, что всѣ на свѣтѣ были ангелы—ну, и тѣмъ лучше для васъ. Въ головѣ у васъ, вмѣсто настоящаго дѣла, носится легкій чадъ, но не безпокойтесь, и онъ скоро пройдетъ: вѣдь вы обогащаете себя познаніями въ угоду вашимъ родителямъ; а какъ только исполните этотъ долгъ, угодите имъ, то будете свободны забыть все, что выучили. Что-бъ тамъ ни выучили, изъ чего хлопотать, все годится: вѣдь ненадолго?

Леленька обрывала углы своей книги и молчала. Веретицынъ замолчалъ тоже и, положивъ голову на плетень, смотрѣлъ на дѣвочку. Она вдругъ оглянулась.

— Стало быть, я учусь вздору? спросила она довольно рѣзко, отчего дрогнулъ ея голосъ.

Веретицынъ засмѣялся.

— Я не говорю этого, отвѣчалъ онъ: — то, что для меня вздоръ, можетъ другимъ казаться не вздоромъ. Ваши книжки люди писали; эти люди о чемъ нибудь думали.

— А умно они думали, или нѣтъ? продолжала она.

— Почему-жъ я знаю? возразилъ, смѣясь, Веретицынъ. — Вы говорили, что съ этими книжками вы весь міръ забывали.

Леленька отвернулась и смотрѣла подъ тѣнь липы, гдѣ, за полчаса предъ тѣмъ, учила свой урокъ. Ей было неловко и какъ-то жаль чего-то, что было за полчаса. Тѣнь была ужъ короче; Леленькѣ казалось, какъ будто ушло что-то. Трава, которую она нарвала и разбросала, завядала на солнцѣ. Длинная, голубая стрекоза сверкнула и скрылась; Леленька еще встрепенулась, посмотрѣть, куда она полетѣла, но вдругъ одумалась и обратилась къ Веретицыну:

— Какую книжку вы читали?

Веретицынъ подалъ ей свою книгу и взялъ, взамѣнъ ея, Кошанскаго; она уступила, не обращая вниманія, но, заглянувъ въ его книгу, возвратила ее тотчасъ.

— Не понимаю, сказала она.

— Это по-англійски; Шекспиръ.

Леленька была сконфужена, какъ конфузятся иногда люди, даже невиноватые въ своемъ невѣжествѣ, и сказала, чтобъ поправиться:

— Вѣдь это писатель конца шестнадцатаго столѣтія?

— Такъ точно, отвѣчалъ Веретицынъ.

— Какая старина! Къ тому-жъ, онъ писалъ для народа... Конечно, королева удостоивала его своей благосклонности, но въ его пьесахъ языкъ самый грубый...

— Вы читали его что нибудь? прервалъ Веретицынъ, которому стало жаль, какъ она конфузилась.

— Нѣтъ.

— Хотите прочесть?

— Я не знаю по-англійски.

— У меня, кажется, есть нѣкоторыя его вещи во французскомъ переводѣ, я поищу и дамъ вамъ. Переводъ, конечно; но все-таки вы познакомитесь.

Леленька покраснѣла отъ страха, отъ радости, сама не зная отъ чего. У нея мелькнуло въ головѣ: какъ же это она возьметъ книгу отъ сосѣда, и что за книга? и если узнаютъ? Надо будетъ прятать, а прятать она ничего не умѣетъ... Она хотѣла отказаться и между тѣмъ спросила:

— А хорошо это?

— Увидите.

— Нѣтъ... но можно читать?

— Я, вотъ, читаю въ двадцатый разъ.

— Нѣтъ... но, можетъ быть, это дурная книга, продолжала дѣвочка, почти задыхаясь и краснѣя отъ смущенія.

Веретицыну хотѣлось засмѣяться; но она взглянула на него такъ прямо и довѣрчиво, что онъ удержался. Дѣвочка не имѣла понятія о дурныхъ книгахъ, развращающихъ воображеніе, слѣдовательно, не подозрѣвала, чтобъ молодому человѣку могла придти дерзкая мысль пошутить и дать ей подобную книгу; но она слышала, что есть зло, и въ ея чистомъ взглядѣ выразился страхъ узнать его.

Веретицынъ помедлилъ отвѣтомъ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ наконецъ:—книга не дурная, но въ ней люди какъ люди — не ангелы, даже не великіе люди; и дурныхъ довольно.

Ея прекрасные глазки отуманились.

— Тамъ жизнь, продолжалъ Веретицынъ: — не розовая, потому что розовой нѣтъ. Слезы такъ слезы, вражда такъ вражда, и ненависть, и измѣна, дружба ложная, любовь глупая...

— На что-жъ это писать? прервала она.

— На что? возразилъ онъ съ злостью, потому что послѣднія собственныя слова повернули ему сердце: — на то, чтобъ люди читали да пораньше умнѣли.

— Умнѣли, повторила она:—на что?

— Будьте покойны, сказалъ онъ: — кто не захочетъ, тотъ насильно не поумнѣетъ. Живите себѣ счастливо; люди будутъ кричать — вы не слушайте, будутъ умирать— не смотрите. Все ангелы, все идеалы. Хорошо вамъ—ну, и Богъ съ вами!

Онъ замолчалъ и смотрѣлъ въ садъ. Леленька не отходила.

— Принесите же мнѣ Шекспира, выговорила она чрезъ минуту.

— Хорошо, поищу, отвѣчалъ онъ равнодушно.—Что это, все вашъ садъ?

— Нашъ.

— Вишенъ много у васъ?

— Нынѣшнюю весну цвѣли хорошо.

— Вы до нихъ охотница?

— Да, люблю, отвѣчала Леленька, съ неопредѣленнымъ желаніемъ заплакать.

— Ваши братья ходятъ куда нибудь учиться?

— Нѣтъ еще; никуда.

Веретицынъ посматривалъ по сторонамъ. Было близко полдня и солнце жарко свѣтило ему въ глаза, когда онъ поднялъ голову.

— Пора домой, сказалъ онъ, жмурясь и отирая лобъ.—Славный день какой! Вы что будете дѣлать?

Леленька взглянула на свою книгу, которая оставалась у него въ рукахъ, но не осмѣлилась попросить ее.

— Пойду шить въ пяльцахъ, отвѣчала она.

— Ну, прощайте. А весело шить?

— Весело... ничего, отвѣчала она съ ка-

кимъ-то отвращеніемъ, вспомнивъ въ эту минуту свои пяльцы.

— Ничего? повторилъ Веретицынъ и разсмѣялся. — Вѣрно, шьете манишку для маменьки?

— Да.

— Прекрасно! Прощайте.

Придя домой Веретицынъ отыскалъ въ своихъ связкахъ нѣсколько тетрадокъ французскаго изданія Шекспира въ двѣ колонны, съ маленькимъ, плохимъ политипажемъ вверху каждой пьесы. Тетрадки были довольно ветхи — память далекихъ годовъ, какъ-то уцѣлѣвшая въ позднѣйшее, болѣе занятое, болѣе смутное время. Эти тетрадки—-пріобрѣтеніе на экономіи студента, начало библіотеки, первое осуществленіе любимой мечты—болѣе нежели что нибудь напоминали всѣ неудачи, всю напрасную растрату жизни, всю несбывчивость веселыхъ надеждъ; онѣ какъ-то яснѣе всего говорили, что все умерло. Желтоватыя, отмѣченныя на поляхъ ногтемъ и карандашомъ, съ листками замѣтокъ и попытокъ перевода, вложенными между страницъ, онѣ казались какимъ-то наслѣдствомъ отъ покойника, между тѣмъ какъ владѣлецъ ихъ, живой, смотрѣлъ, не узнавая своего измѣнившагося почерка, не узнавая своей души въ этихъ замѣткахъ.

Веретицынъ собралъ ихъ опять и сунулъ въ ящикъ. Онъ отбросилъ въ сторону только одну: «Ромео и Джульетта».

«Вотъ ей! пусть просвѣщается!» сказалъ онъ самъ себѣ, улыбаясь и возвращаясь насильной шуткой къ дѣйствительности, изъ которой былъ вызванъ на минуту.

V.

Леленька сама не знала, какъ проводила свой день. Она пришла изъ сада смутная и въ самомъ дѣлѣ сѣла за пяльцы. Мать напомнила ей, что завтра начинается экзаменъ, и что лучше бы она твердила.

— Я все вытвердила, отвѣчала Леленька.

Ей было на кого-то досадно, можетъ быть, и на мать, которая напоминаетъ объ ученьи, объ этомъ вздорѣ... А кстати, книжка Кошанскаго такъ и осталась у сосѣда. Да она ненужна завтра, а покуда понадобится, можно успѣть ее взять у него.

Леленькѣ стало какъ-то страшно при этой мысли; ей хотѣлось заплакать. Она успокоила себя, сказавъ мысленно, что она не маленькая.

Она шила, отодвигая пяльцы отъ окна, по мѣрѣ того, какъ входило и мѣшало ей солнце: занавѣсокъ не было. Эти хлопоты мѣшали ей задумываться за работой; но скучнѣе отъ нихъ становилось вдвое. Наконецъ, дѣвочка рѣшилась укрѣпить на окнѣ булавками большой ковровый платокъ и усѣлась покойно.

— Темь какая! сказала мать, входя изъ кухни: — что это ты за новости выдумала?

— Въ глазахъ рябитъ, возразила Леленька.

— Видишь, какія нѣжности! Завѣсила окно, на улицу ничего не видно; сейчасъ Марина съ улицы Колю съ Васей привела, они тамъ бунтъ подняли за свинчатки. Тебѣ все ничего, и не заглянешь, хоть братья носы себѣ перекусай—не вступишься. А большая считается, старшая, говорятъ! Вотъ французскому языку васъ учатъ, а чего дѣльнаго вы и знать не хотите. Сидитъ, шьетъ, важничаетъ...

Леленька молчала; ее продолжали бранить. Мать сдернула платокъ, при чемъ оторвала лоскутъ обоевъ.

— Позвольте, сказала Леленька.

— Чего еще?

— Какъ же, обои...

— Еще тебѣ вздора жалко, дряни жалко, продолжала мать, волнуясь, и испортивъ одно, желая испортить еще что нибудь. — Сама надѣлала бѣдъ да и плачется! Много ты впотьмахъ хорошаго нашьешь! Вотъ, гляди, куда у тебя узоръ пошелъ: криво, косо...

Въ эту минуту папенька воротился изъ должности. Онъ былъ распеченъ, и потому сердитъ, и кричалъ на работницу еще съ крыльца.

Собрали дѣтей изъ сада, со двора, съ улицы, подали обѣдъ. Леленькѣ почему-то казалось, когда она садилась за столъ среди бѣготни и шума, что все это происходитъ съ нею въ первый разъ въ жизни; но, странно, это не столько огорчало ее, сколько удивляло. Ей казалось все это будто во снѣ. Вѣроятно, это было написано на ея лицѣ, потому что папенька замѣтилъ:

— Кто тебя побилъ?

Коля и Вася, вспомня свою ссору за свинчатки, поссорились за куриную ногу въ лапшѣ и были тутъ же побиты. Работница, испугавшись погрома, придавила хвостъ вертѣвшемуся кругомъ котенку, котораго вслѣдъ затѣмъ папенька отправилъ въ окно. Маленькая Маша, которой принадлежалъ котенокъ, заплакала тихонько. Леленька посмотрѣла на нее и сказала себѣ, что ни за что не заплачетъ. Петя и Вася стали поддразнивать Машу. Леленька почувствовала,

что ее что-то схватило за горло, и сказала имъ, чтобъ они замолчали.

— Что ты распоряжаешься? крикнулъ на нее папенька:—дѣтямъ слова сказать нельзя!

Она оробѣла. Мать въ эту минуту положила ей на тарелку кусокъ свинины съ какой-то вонючей и ѣдкой приправой. Леленька ненавидѣла это кушанье.

— Покорно благодарю, я не хочу, выговорила она.

— Ѣшь! закричалъ отецъ.

Онъ былъ такъ страшенъ съ щетинистымъ хохломъ своихъ сѣдоватыхъ волосъ, въ растегнутомъ вицмундирѣ, безъ галстука, въ крахмаленной манишкѣ, которая торчала вверхъ воротничками; на столѣ такъ запрыгали горшки и кувшинъ съ квасомъ, что Леленька опустила глаза и ѣла не чувствуя, что̀ глотаетъ.

— Что, не умерла, модница? проговорилъ папенька.

Онъ всталъ изъ-за обѣда прежде всѣхъ и пошелъ почивать. Дѣти вырвались во дворъ, мать съ работницей отправилась въ кухню. Леленька пошла къ своимъ пяльцамъ. Мать надѣлала на нихъ довольно безпорядка, осматривая утромъ работу. На дворѣ было жарко, и всего три часа. Леленька сѣла, вдѣла иголку, сложила руки на колѣняхъ и смотрѣла передъ собой. Она была одна; ей хотѣлось сообразить что-то, и какъ-то ничего не думалось! Она только спросила себя, почему ей сегодня все это такъ въ диковинку? отчего прежде бывало и скучнѣе, но никогда не хотѣлось уйти куда нибудь?

Мать воротилась, взяла чулокъ и сѣла вязать къ другому окну, напротивъ Леленьки. Надо было работать.

— Шей, шей, либо книжку возьми, сказала мать:—не зѣвай по сторонамъ, да не дремли.

Однако, сама она слегка дремала, а потомъ, открывъ окно, стала смотрѣть на улицу... точнѣе, на переулокъ, перерѣзанный двумя оврагами съ двумя дрожавшими мостами, кончавшійся крутымъ спускомъ подъ гору, къ рѣкѣ, на которой стоитъ городъ N*. Строенія переулка состояли изъ заборовъ, изъ-за которыхъ выглядывали садики; мостовой не было; на высохшей грязи, между колеями, росло много травы, бѣгало много собакъ и возилось много дѣтей.

— Вотъ, папенька скоро мѣста лишится, сказала вдругъ мать, не прерывая своихъ наблюденій и не обращаясь къ дочери:—куда васъ всѣхъ дѣвать тогда?

Леленька подняла голову.

— Совѣтникъ совсѣмъ взъѣлся, продолжала мать:—съ тѣхъ поръ, какъ новаго посадили, папенька говоритъ: «хоть не живи на свѣтѣ». Такъ я тебѣ и говорю, Алена, если ты только—Боже тебя сохрани!—на высшій классъ не перейдешь, и матерью меня не зови. Нечего эти пустяки тогда дѣлать: еще тебя учить. Я тебя изъ пансіона возьму. Перейдешь ты—такъ и быть, можно будетъ тебя еще годикъ содержать тамъ, а нѣтъ—не прогнѣвайся, сиди дома. Такъ дурой и оставайся.

«Чему я учусь въ пансіонѣ?» вдругъ подумала Леленька.

Ей припомнились какъ-то разомъ и скамейки классовъ, и учителя, и книжки съ мудреными словами, и хронологическія цифры, которыхъ никогда нельзя запомнить, и великіе люди, которые, говорятъ, вовсе не великіе люди... передъ ея глазами, казалось, былъ уже не пустой переулокъ, а заглохшій садъ съ большими липами и вязами, плетень, къ которому переплетались бѣлые цвѣточки павилики... Леленька уже не слушала матери, но и мать не занималась больше своимъ семейнымъ положеніемъ.

— Никакъ это Пелагея Семеновна идетъ? сказала она, высунувшись въ окно и глядя въ переулокъ.

Леленька думала, что завтра экзаменъ, и видѣла передъ собой лицо Веретицына.

— Посмотри, она, что ли? продолжала мать.

«Онъ обѣщалъ книжку: должно быть, принесетъ вечеромъ», сказала себѣ Леленька.

— Посмотри, сюда она, или мимо? говорила мать:—да что ты ничего не слушаешь? Не хочешь слушать, что ли? Тебѣ говорятъ!

Леленька оглянулась.

— Поди, отопри калитку, да проводи отъ собаки. Пелагея Семеновна пришла, работницы нѣтъ, на рѣчкѣ.

Но Пелагея Семеновна, вдова, чиновница и мать двухъ юныхъ чиновниковъ уже входила на крыльцо, благополучно избѣжавъ собаки, прикованной недалеко отъ воротъ. Чрезъ минуту она была въ комнатѣ и цѣловалась съ хозяйкой.

Леленька терпѣть не могла эту гостью: гостья была сплетница и, уже не разъ случалось, ссорила маменьку Леленьки съ ея знакомыми. Все это, конечно, обходилось потомъ, всѣ мирились и оставались попрежнему; но слушать ее бывало ужасно скучно. И теперь она, что вошла, то начала разсказывать пренепріятную исторію.

«Охота маменькѣ говорить съ нею!» подумала Леленька.

Гостья обратилась и къ ней, похвалила ея работу, назвала ангеломъ и рукодѣльницей. Леленька такъ лѣнилась весь этотъ день, что разсердилась за похвалы.

«Хорошъ я ангелъ!» подумала она, вся вспыхнувъ отъ досады.

— Умница у меня дѣвка, сказала маменька:—какъ учится, когда бы вы знали, и по-французски, и разнымъ наукамъ!

— А вѣдь, подите, какъ я думаю трудно! замѣтила гостья.

— И трудно, Пелагея Семеновна, и дорого очень, не по состоянію нашему, да ужъ нельзя. Одно у меня утѣшеніе—дочка моя.

Мать погладила Леленьку по головѣ,вздохнувъ печально.

— Супругъ-то вашъ почиваетъ? спросила гостья.

— Да, отвѣчала еще печальнѣе маменька:—оно, ужъ знаете, лучше какъ спитъ.

Маменька стала жаловаться на свою горестную участь, разсказывать разныя обстоятельства. Леленькѣ показалось, что можно было бы и не разсказывать ихъ. Это случилось не въ первый разъ: но никогда такъ не кололо ей глазъ присутствіе Пелагеи Семеновны, никогда не казались ей такъ рѣзки эти разсказы, какъ теперь. Къ чему толковать, что все дорого, что не на что учить дочь, а между тѣмъ намекать на какое-то небывалое богатство и какъ-то важничать? Леленькѣ было неловко. Маменька, говоря о домашнихъ дѣлахъ, о непріятностяхъ по мелочи, встати помянула не добромъ покойную свекровь и двухъ живыхъ сестеръ мужа, которыя, хотя никогда не жили съ маменькой, но все чѣмъ-то мѣшали. Леленька не знала бабушки, но помнила, что обѣ тетки предобрыя.

— Замужемъ онѣ? спросила гостья.

— Одна замужемъ, куча дѣтей, отвѣчала мать. — Другая съ годъ овдовѣла; дѣтей нѣтъ; въ Петербургѣ живетъ. Это Алена Гавриловна, вотъ Аленина крестная мать.

— Зачѣмъ же она въ Петербургѣ живетъ?

— Да она здѣсь за чиновника тоже была отдана: чиновникъ этотъ бывшему губернатору понравился... какъ его, губернатора-то, звали? Вотъ передъ прошлымъ былъ... все равно! Десять лѣтъ ужъ тому, какъ губернатора этого въ Петербургъ перевели: мѣсто онъ тамъ важное получилъ, — ну, и мужа Алены Гавриловны съ собою взялъ. А какъ мужъ умеръ, она тамъ и осталась жить, привыкла, говоритъ, къ Петербургу. Все проситъ, чтобъ я Алену мою къ ней отпустила, хоть погостить.

— И, матушка, на что? развѣ состояніе какое предоставитъ?

— Какъ же, какъ бы только захотѣла! Капиталъ она отъ мужа получила, невеликъ, да и то хорошо; небось, не очень съ нимъ разступится. Какъ бы надежда какая, я бы, пожалуй, отпустила къ ней Алену.

— Пусть къ тетенькѣ хорошенько приласкается, къ крестной мамашенькѣ, договорила гостья, съ какой-то нѣжностью посмотрѣвъ на Леленьку.

Леленька краснѣла и шила.

— А то что? барышня такая красавица— и ненарядная, все кое въ чемъ. Вы бы ихъ, матушка, на гулянье когда...

— Вотъ экзаменъ свой выдержитъ, такъ салопъ сошью, отвѣчала мать:—я ужъ такъ и Василью Гаврилычу сказала.

— А онъ на то согласенъ? спросила гостья таинственно.

— Согласенъ, ничего.

У Леленьки задрожали руки и потемнѣло въ глазахъ.

— Не надо, маменька, покорно благодарю, выговорила она: — я ни за что не хочу ни нарядовъ, ни гулянья.

— Да какъ же ты смѣешь не хотѣть, когда отецъ твой съ матерью хотятъ? вскричала маменька: — гдѣ ты это отвѣчать выучилась? Пошла; работница воротилась, вели намъ самоваръ согрѣть.

Леленька вышла, приказала, что ей было приказано, и, воротясь, стала убирать свои пяльцы.

— Что ты? или перестаешь работать? спросила мать.

— Да, я въ садъ пойду, отвѣчала Леленька.

— Устала очень, много дѣла надѣлала! продолжала съ насмѣшкой мать. — Что на тебя сегодня? Изъ всѣхъ дней день—ни на мѣстѣ не посидитъ, ни толкомъ слово скажетъ...

— Вы ихъ не конфузьте, вступилась гостья, между тѣмъ какъ Леленька уже не знала, что ей и дѣлать. — Пусть барышня себѣ разгуляется, мы съ вами кое-о-чемъ переголвимъ.

— Развѣ что секретное есть? спросила маменька.

Гостья сдѣлала ей таинственный знакъ. Леленька взяла книжку съ крошечнаго стола въ углу, гдѣ лежали ея тетради и классныя принадлежности, и ушла.

Она шла тихо, будто не рѣшаясь; ее брало какое-то раздумье. Она знала, что не урокъ учить идетъ она въ садъ: ей было не до уро-

ка. Ей казалось, что она дѣлаетъ что-то дурное, но все-таки ничего другого дѣлать невозможно. Въ домѣ оставаться нельзя. Да и жить нельзя...

Тѣни были уже длинныя; въ воздухѣ тепло, какъ-то мягко. На деревьяхъ, на травѣ еще много солнца, точно золотое; небо такое нѣжное, голубое; за черной крышей сарая, по которой въ эту минуту лазилъ Коля, разоряя галочьи гнѣзда, виднѣлось большое сизое облако съ розовымъ рыжеватымъ краемъ; это облако отсвѣчивало розовымъ на дорожку сада. Въ сосѣднемъ саду изъ-за плетня, подымалась высокая красивая мальфа; она, должно быть, расцвѣла этимъ днемъ, прежде ея не было видно. И какъ она рано зацвѣла нынѣшній годъ! Кто ее посадилъ? Казначейша до цвѣтовъ неохотница, да и никто у нихъ не охотникъ, кажется...

Леленька ходила все по одной, прямой дорожкѣ, воображая, что хорошо было бы посадить цвѣтовъ и ходить за ними. У нея какъ-то кружилась голова; книжка, которую она держала, утомляла ей руки.

«Зачѣмъ я убрала пяльцы?» подумала она: «лучше бы, въ самомъ дѣлѣ, сидѣла да шила».

Она начала ходить скоро; ей хотѣлось бѣгать, хотѣлось пѣть; минутами ей хотѣлось плакать. Она не доходила до плетня и все сокращала свой переходъ; наконецъ, оставила себѣ всего шаговъ двадцать, закружилась на нихъ, устала и вздумала сѣсть отдохнуть.

«Нѣтъ. Еще скажетъ, я дожидаюсь...»

Дѣти прибѣжали въ садъ и подняли шумъ. Леленька вспомнила, что ее назвали ангеломъ, и разбранила ихъ.

«Теперь нельзя будетъ и слова сказать», подумала она, оглянувшись въ сосѣдній садъ.

— А тамъ цвѣты цвѣтутъ! вскричали дѣти, замѣтя ея движеніе.

Въ одинъ мигъ Ваня былъ на плетнѣ, перевѣсился и смотрѣлъ, держась за колья. Вася стащилъ его за ноги, оспаривая мѣсто, а Коля, укрѣпясь ловчѣе ихъ, схватилъ мальфу; вѣтка была крѣпкая; чтобъ сломить ее, мальчикъ употребилъ свои зубы.

— Ахъ, какія вы негодныя дѣти! закричала Леленька.

Коля отхлесталъ мальфой своихъ братьевъ, потомъ сѣлъ на нее верхомъ и, погоняя, подмелъ ею весь садъ. Леленька ушла отъ дѣтей въ чащу, въ глушь, подъ вишни и яблони, и проплакала весь вечеръ.

Веретицынъ не приходилъ.

VI.

Экзаменъ начинался съ закона Божія. Леленька рано проснулась и стала сбираться. Она удивилась, что мать особенно хлопотала нарядить ее, хотя во все то же форменное платье, и особенно тщательно выгладила ея бѣлые рукава и пелеринку. Мать повторила нѣсколько разъ:

— Ты у меня, красавица, смотри, учись какъ должно; я папенькѣ говорила: онъ фортепьяны купитъ, играть будешь.

Леленька не замѣтила, что эта особенная милость къ ней началась еще съ вечера накануне. Но вечеръ накануне она совсѣмъ не помнила, и даже старалась не вспоминать его. Она точно будто устала. Она положила три земные поклона передъ образомъ, прочитала молитву предъ началомъ ученія и пошла въ пансіонъ, сопровождаемая работницей.

Дорогой ей пришло въ голову, что недѣли двѣ-три назадъ она бы веселѣе шла на экзаменъ.

«Я, кажется, все помню», думала она: «ничего не боюся, а скучно...» Да что помнить-то?..

Подруги смотрѣли на нее съ досаднымъ любопытствомъ: Леленька была ужъ слишкомъ серьезна, слишкомъ крѣпко молчала. До прихода законоучителя и начальницы, въ залѣ слышался шопотъ и смѣхъ; Леленька не обращала вниманія, хотя не занималась и книгой, которую открыла у себя на пюпитрѣ. Она только однажды оглянулась и подумала, что хорошо было бы или твердить, или бояться, или смѣяться, какъ другія... Классная дама постучала линейкой и велѣла молчать, Леленька услышала свое имя.

— Возьмите примѣръ съ m-ll Hélène Гостевой, какъ она держится.

— Ужъ m-lle Hélène всегда примѣрная! сказали недалеко отъ нея.

— Посмотри, какъ она сегодня распомажена!

— Во всемъ отличается.

— Какъ же, непремѣнно!

Сосѣдка Леленьки наклонилась къ своему пюпитру и твердила усердно; ея полное личико почти прижалось къ книгѣ, и подруги могли видѣть только бѣленькій затылокъ съ густой русой косой. Леленька замѣтила, какъ подъ пюпитромъ безпрестанно крестились ея розовыя толстенькія ручки.

— Вы еще не выучили? спросила ее Леленька.

— Нѣтъ... вотъ этого никакъ не могу... все сбиваюсь, отвѣчала подруга.

— Если вамъ достанется говорить, я подскажу: я это знаю.

Подруга была врагъ, соперница. Она, до прихода Леленьки, смѣялась надъ нею и давно дала обѣщаніе не допустить Леленьку получить награду и «пересѣсть» выше. Тѣ, которыя слышали, что сказала Леленька, переглянулись въ удивленіи. Но всѣмъ этимъ маленькимъ волненіямъ насталъ конецъ: пришелъ законоучитель, пришла начальница—начался экзаменъ.

Очередь долго не доходила до Леленьки. Она разсѣянно слушала, что происходило кругомъ, и, сама не зная отчего, стала думать совсѣмъ постороннія вещи. Ей показалось, что въ эту минуту, въ этой залѣ, никто не любитъ другъ друга: учитель будто нарочно затрудняетъ вопросами, сбиваетъ съ толку, будто съ радостью ждетъ, чтобъ соврали, и вовсе не радуется, когда отвѣтятъ хорошо. Начальница тоже: она глядитъ въ глаза съ какимъ-то злобнымъ ожиданіемъ, бранитъ, когда недоволенъ учитель, а когда онъ доволенъ—не хвалитъ, но только отворачивается, успокоиваясь, будто съ презрѣніемъ. Дѣвицы—тѣ и вовсе точно всѣ перессорились; у всѣхъ на лицѣ страхъ только за себя. Сейчасъ двѣ маленькія Богъ знаетъ что путали: старшія только смѣялись. И старшія! Сейчасъ Вареньку Ольхину до слезъ сконфузили, а Машенька Полосова—кажется, ей лучшій другъ, всегда вмѣстѣ, всѣ секреты вмѣстѣ—Машенька хоть бы покраснѣла... Что же это такое? Кто хорошо отвѣтитъ—другія смотрятъ точно съ досадой? Чѣмъ кто другого обидѣлъ, если выучилъ лучше? Зависть это, или онѣ боятся?

— Госпожа Бѣляева! произнесъ учитель.

Сосѣдка Леленьки встала на своемъ мѣстѣ и, вставая, дернула Леленьку за рукавъ. Леленька приняла это за просьбу подсказать, но подруга обманула ее: она отлично знала и вопросъ, и текстъ, и, отвѣчая, стала путать нарочно.

— Что вы такое говорите? замѣтилъ учитель, кроткій съ одной изъ старшихъ ученицъ.

— Да я не могу, отвѣчала m-lle Бѣляева:— меня Гостева сбиваетъ.

Она показала на Леленьку.

Леленька не ждала такого предательства и вся вспыхнула, какъ виноватая. Поднялась гроза.

—Какъ вы смѣете? извольте выйти! закричала на нее начальница.

— Извольте сами отвѣчать, сказалъ законоучитель.

— Сейчасъ съ лавки, выйдите къ столу! продолжала начальница.

Леленька встала и подошла къ учительскому столу; она была отуманена, обижена, испугана, но хорошо помнила весь мудреный текстъ и могла бы сказать и объяснить его не хуже m-lle Бѣляевой. Ей бы ничего не стоило и превзойти соперницу и обнаружить ея обманъ, но на Леленьку всѣ смотрѣли; она подумала, что сейчасъ будутъ всѣ такъ же смотрѣть и кричать на m-lle Бѣляеву, что это будетъ Богъ знаетъ что, что весь этотъ экзаменъ какая-то комедія, что ей будетъ не веселѣе, не легче, если она останется правой... Ее схватило за сердце. Она, наконецъ, сама не знала, что думала, и отвѣчая, начала путать хуже самой лѣнивой изъ маленькихъ. Учитель качалъ головою; начальница бранилась. Учитель началъ читать мораль. Подруги смѣялись; Леленька стояла среди залы. Кончивъ мораль, учитель, незлобивый сердцемъ, прибавилъ:

— Вы поправьтесь; скажите о чемъ нибудь другомъ.

— Не спрашивайте, я ничего не знаю, отвѣчала Леленька, твердо и громко, на скандалъ всего пансіона.

Она сама не знала, почему и для чего сказала это. Учитель поставилъ ей нуль, а она пошла на свое мѣсто, подъ возгласами начальницы. Подруги заглядывали ей въ лицо, не плачетъ ли она. Леленька была блѣдна, но не плакала. Она никакъ не могла разобрать, что̀ дѣлалось съ нею; ей было холодно; что-то стучало у нея въ груди. Она тосковала, или капризничала; но вдругъ ей показалось забавно, еслибъ въ спискѣ балловъ во весь экзаменъ у нея были все нули, да нули. Вѣдь Бѣляева и Полосова будутъ рады, и другія. А если бы у Бѣляевой былъ нуль, ея отецъ прибилъ бы ее. Ея отецъ тоже дерется. Это должно быть невесело, когда прибьютъ. Если Оленька Бѣляева изъ третьей по классу да пересядетъ въ пятыя, ея отецъ не знаю, что съ ней сдѣлаетъ, со двора сгонитъ. А вѣдь въ высшій классъ переведутъ только старшихъ четверыхъ. Такъ, пожалуй, не переведутъ и Оленьку. Ей бѣда... На что отцамъ, учены дочери или нѣтъ? Вѣдь отцы только попрекаютъ ученьемъ?

«А что скажутъ папенька съ маменькой, когда узнаютъ, что сейчасъ было?...» Леленька рѣшила, что уйдетъ въ садъ на весь день... ну, а тамъ что?...

Вокругъ нея зашумѣли, вставая, читая

молитву: экзаменъ кончался. Начальница позвала ее, продержала передъ собой полчаса и все читала нотаціи. Работница давно пришла за Леленькой и слушала это, дожидаясь въ передней, съ зонтикомъ: шелъ дождь. Леленька подумала только, что въ садъ нельзя будетъ уйти...

— Безчувственная дѣвчонка! сказала начальница, въ видѣ послѣдняго слова.

Оленька Бѣляева прошла мимо, потупившись. Когда Леленька уже была въ передней и надѣвала съ работницей старенькій бурнусикъ, Оленька выбѣжала туда же.

— Прощай, Леля! сказала она и обняла ее крѣпко.

— Прощай, сказала ей Леленька безъ досады, безъ всякаго сильнаго чувства; ей только стало жаль чего-то немножко.

Дорогой она разсудила, что поступила прекрасно, что Оленька милая дѣвочка, что смѣшно и стыдно выставляться съ своею ученостью, что она, Леленька, все стерпитъ, а Оленькѣ лучше и на свѣтѣ не жить, если неблагополучно сойдетъ экзаменъ. Досаднò только, что дождь идетъ...

Этотъ славный дождикъ, съ солнцемъ и громомъ, съ синими громадными тучами, которыя обрушивались за рѣку, захватилъ и Веретицына, когда онъ шелъ домой изъ должности. Дорога была недальняя, и, переждавъ ливень въ сѣняхъ присутствія, Веретицынъ нашелъ, что на дворѣ такъ хорошо, что нечего торопиться подъ крышу. Домъ N-скихъ присутственныхъ мѣстъ стоитъ на пустой площади, которая оканчивается крутымъ обрывомъ къ рѣкѣ. Тамъ казалось особенно хорошо: луга зеленѣли, даль вся свѣтилась. Веретицынъ пошелъ погулять къ берегу. Въ воздухѣ было тепло, влажно, душисто отъ луговъ; дышалось какъ-то легко и мягко.

Веретицынъ былъ спокоенъ, почти веселъ, что съ нимъ рѣдко случалось. Это не было, конечно, удовольствіе чиновника, справившаго часы службы. Веретицынъ ничего не думалъ; ощущеніе тепла и физическаго довольства погружало въ забытье. Онъ совсѣмъ забылъ, что это за городъ вокругъ, что это за домъ, изъ котораго онъ вышелъ; онъ какъ-то и себя не помнилъ, не вспоминалъ ничего, не задумывалъ впередъ ничего.

Вспоминаетъ и задумываетъ молодость— для Веретицына она прошла. Ея остатки сказывались тѣмъ, что самозабвеніе было еще не тупое, но съ какой-то нѣгой...

Наканунѣ вечеромъ Веретицынъ видѣлъ Софью Хмѣлевскую: онъ былъ у нихъ. Эти посѣщенія всегда стоили ему дорого; онъ бывалъ и счастливъ, и измученъ, и, разбирая свои чувства, никогда не могъ опредѣлить, чего въ немъ было больше, счастья или мученія. И безъ того влюбленный, Веретицынъ влюблялся еще упрямѣе, давая себѣ полную волю. Только въ промежуткахъ разговора, когда онъ глядѣлъ на Софью, занятую съ другими, ему случалось задумываться, сказать себѣ, что ея привѣтливость все-таки не ведетъ ни къ чему, что ея красота только напрасно волнуетъ, что такія отношенія не перейдутъ въ любовь... Да любовь никогда и не подступаетъ такъ, потихоньку, постепенными переходами! Еслибъ даже и двигалась она потихоньку, то пора бы ей придти, право, пора... Веретицынъ дѣлался нетерпѣливъ; его брала злость на окружавшихъ его постороннихъ, злость на это чинное семейство, что-то похожее на ненависть къ самой Софьѣ. Онъ говорилъ себѣ, довершая несправедливой мелочностью свою досаду, что будь на его мѣстѣ кто нибудь другой, а не онъ, не бѣдный малый, котораго принимаютъ изъ снисхожденія— его спросили бы, почему онъ молчитъ, почему онъ скученъ, или хоть, просто, о чемъ онъ задумался. Съ нимъ нецеремонны, откровенны; что-жъ! вѣдь онъ не женихъ; онъ даже меньше чѣмъ другъ дома; его можно употреблять для порученій. Какъ это еще до сихъ поръ старая барыня этого не выдумала? Но Веретицынъ встрѣчалъ взглядъ Софьи, и вдругъ ему становилось совѣстно, и нить размышленій запутывалась такъ, что ужъ нельзя было найти ей конца, и хотѣлось или бѣжать домой, какъ виноватому, или броситься передъ ней на колѣни и наговорить Богъ знаетъ чего... Хорошо, что подобныя намѣренія никогда не исполняются: одно исполнить какъ-то жалко, другое какъ-то неловко при свидѣтеляхъ...

Веретицынъ оставался, дѣлался разговорчивъ, веселъ отъ всего сердца, былъ счастливъ, убаюкивался до забытья, до полнѣйшаго забытья всего, кромѣ настоящей минуты. У этого настоящаго не было даже вчерашняго дня. Веретицынъ положительно не зналъ, гдѣ былъ онъ, и даже жилъ ли онъ вчера; когда наставало время уходить, онъ бралъ фуражку, чувствуя, что уходитъ, но что дальше, за порогомъ этого дома, куда уйдетъ онъ, онъ не понималъ, не зналъ, какъ съумасшедшій... Сознаніе приходило къ нему дома, вмѣстѣ съ безсонной ночью.

Онъ былъ счастливъ наканунѣ; заставъ

Софью одну, онъ просидѣлъ у нея вечеръ, и его какъ-то приласкала мысль, что Софья приняла его одна не изъ нецеремонности, а потому, что ей это пріятно. На ея лицѣ всегда было замѣтно, что она чувствовала; но Веретицынъ отгадалъ бы все, еслибъ даже она притворилась; онъ такъ помнилъ ея черты и ихъ малѣйшее измѣненіе, ея движеніе, походку, привычки, что ему не было надобности смотрѣть на Софью, чтобы оживлять ея образъ въ своей памяти: онъ смотрѣлъ, чтобъ наслаждаться... Въ этотъ вечеръ она была печальна, вышивала что-то и спѣшила, и пожаловалась Веретицыну, что устала отъ длиннаго дня, проведеннаго за работой.

— А я усталъ отъ бездѣлья, сказалъ онъ.

— Развѣ я дѣлаю больше вашего? возразила она. — Часто даже совѣстно; собрать нѣсколько дней да оглянуться: только и найдешь въ нихъ что пяльцы, да визиты. Читать—это, говорятъ, не занятіе...

— Скучно на свѣтѣ! сказалъ Веретицынъ.

— Что дѣлать! Подождемъ, будетъ веселѣе.

— Когда?

— Скоро. Если что нибудь доходитъ ужъ до крайности, значитъ, скоро кончится. Всѣ такъ заскучали, что непремѣнно скоро должны перестать. Это передъ концомъ.

— Передъ концомъ свѣта?

— Чего нибудь. Только если вы къ концу общей скуки доведете себя до того, что ужъ не будете умѣть и радоваться, это нехорошо будетъ.

— А какъ прикажете уберечься? возразилъ съ досадой Веретицынъ:—въ ожиданіи будущихъ благъ нужны если не утѣшенія, то хоть развлеченія.

Она кротко вынесла его неучтивую вспышку за свою мораль, которою искренно хотѣла его утѣшить. Веретицынъ, какъ скучающій эгоистъ, не обратилъ вниманія, что ей самой было скучно, а онъ еще огорчилъ ее, не подумалъ о томъ, что она, по добротѣ сердца, въ самомъ дѣлѣ старалась развлечь его, а онъ принималъ это какъ должное, бралъ, не давая взамѣнъ ничего. Онъ только хмурился. Софья перемѣнила разговоръ, завела споръ, интересный для Веретицына, и, совершенно согласная съ нимъ внутренно, спорила нарочно, чтобы дать ему удовольствіе высказываться и убѣждать. Довольная тѣмъ, что онъ, торжествуя, оживился, она дополнила его наслажденіе: открыла рояль и играла классическія пьесы, слушая которыя живешь какой-то другой, лучшей жизнью. Она играла ихъ въ совершенствѣ. Веретицынъ слушалъ, обмирая, любя до безумія, и еслибъ Софья понимала, что говорятъ ей въ тѣ минуты, когда она играла Моцарта, она оглянулась бы сама, что ея доброта заводитъ слишкомъ далеко. Но къ концу пьесы воротились мать и сестра, и Веретицынъ, проклявъ ихъ возвращеніе, нашелъ, что лучше уйти скорѣе и не кончать этого вечера обыкновенно, пошло. Онъ самъ не годился вести связный разговоръ и, уйдя, поступилъ благоразумно.

Утромъ онъ пошелъ въ должность, самъ не зная зачѣмъ. Онъ уже привыкъ просиживать эти пять часовъ, не обращая вниманія, что дѣлалось кругомъ, испытавъ, что обращать вниманіе значитъ мучить себя еще на новый ладъ. Онъ молчалъ и писалъ, что бы ни давали, испытавъ тоже, что вникать въ смыслъ написаннаго — еще новая мука. На кого-то рядомъ съ нимъ гнѣвался совѣтникъ; Веретицынъ не зналъ, за что, и не слушалъ. Его хладнокровіе не понравилось совѣтнику, который желалъ навести трепетъ въ большихъ размѣрахъ и сдѣлалъ не совсѣмъ пріятное замѣчаніе о «господахъ ученыхъ выскочкахъ». Веретицынъ не поднялъ головы. Выйдя на крыльцо, онъ обрадовался сырому и теплому воздуху и пошелъ бродить безъ цѣли...

«А что, когда нибудь буду я жить по-человѣчески?» вдругъ пришло ему на мысль, безъ всякаго особеннаго повода, покуда, присѣвъ на лавку у церкви, стоявшей на берегу, онъ смотрѣлъ внизъ, на луга и на воду.

Ему захотѣлось курить—привычка, оставленная изъ экономіи, и по случаю сигары вспомнился Ибраевъ. Они не видались давно. Отъ своихъ товарищей, писарей губернскаго правленія, Веретицынъ слышалъ, что Ибраевъ очень строгій начальникъ. Эти воспоминанія вызвали у Веретицына какое-то горькое желаніе смѣяться. Онъ вчера видѣлъ у Хмѣлевскихъ визитную карточку Ибраева, французскую, съ двумя игреками. Софья ничего о немъ не говорила...

«Ну, два года... ну, хоть годъ одинъ пожить», думалъ Веретицынъ: «какъ нибудь выпустили бы хоть въ отставку. Чтобъ только опять быть самимъ собой, не зависѣть, быть съ людьми... Много людей не наберешь... да все равно! Хоть имѣть право гнать отъ себя тѣхъ, кто противенъ, и то хорошо»...

Туча, которыхъ много прошло въ этотъ

день, поднялась опять; снова полилъ дождь и прогналъ Веретицына съ его прогулки. Одну минуту Веретицынъ подумалъ съ досады, что лучше мокнуть подъ дождемъ, чѣмъ возвращаться домой, но тутъ же засмѣялся этой ребяческой выходкѣ, разгибая усталую спину, которой стало и больно, и холодно, и пошелъ, прибавляя шагу. На углу площади и улицы была страшнѣйшая лужа; Веретицынъ обходилъ ее, никакъ не усвоивъ ловкости своихъ товарищей, которые умѣли перепрыгивать по камешкамъ. Его обогнали отличныя закрытыя дрожки, запряженныя отличнымъ рысакомъ: Ибраевъ ѣхалъ изъ присутствія, но, обыкновенно, позже всѣхъ другихъ начальниковъ; онъ выглянулъ, конечно, узналъ пріятеля, потому что между ними не было и двухъ шаговъ разстоянія, и не поклонился. Почти подходя къ своему дому, Веретицынъ встрѣтилъ Леленьку, которая бѣжала подъ большимъ, но прорваннымъ зонтикомъ, держась за руку работницы; старенькій сѣрый бурнусикъ былъ весь въ черныхъ пятнахъ отъ дождя; мокрыя ленты шляпки изъ розовыхъ полиловѣли и хлестали дѣвочку по лицу; платьице было подобрано. Леленька, конечно, не могла быть довольна встрѣчей.

— А! мое почтеніе! сказалъ, пріостановясь, Веретицынъ: — путь науки труденъ, но пріятенъ.

— Ну, проходи, что ли, закричала на него сердито работница:—что пристаешь къ барышнѣ! Озорники эти приказные! ворчала она, идя дальше:—вотъ барину надо сказать. Это казначейшинъ братъ. Такъ на улицѣ и норовитъ поймать; нашелъ мѣсто...

— Нѣтъ, ужъ не говори папенькѣ, Богъ съ нимъ, сказала Леленька.

— И то правда, Богъ съ нимъ. Крику у насъ и безъ того не мало.

Самые сильные характеры покоряются вліянію обстановки. Природа имѣетъ ужъ несомнѣнное вліяніе на расположеніе духа. Дождь на улицѣ, возня дома до того отуманили Леленьку, что она почти забыла, что произошло на экзаменѣ, и на вопросъ маменьки: «Ну что, какъ тамъ съ тобой?» отвѣчала:—«Ничего-съ».

Маменька удовольствовалась отвѣтомъ, а Леленька собралась съ мыслями только къ вечеру и, уйдя въ садъ, обдумывала свое положеніе. Было холодновато, сумрачно; сосѣдъ не приходилъ. Трое изъ четырехъ братьевъ Леленьки были привязаны въ комнатѣ къ ножкамъ стола, съ букварями; четвертый былъ посаженъ подлѣ нихъ, для компаніи и наученія примѣромъ, и потому Леленькѣ ничто не мѣшало размышлять и прогуливаться. Одна, она рѣшилась сдѣлать то же, что дѣлалъ сосѣдъ: поглядѣть чрезъ плетень; но для этого, при ея ростѣ, ей надо было влѣзть на нижній рядъ плетня. Леленька исполнила это успѣшно и цѣлый часъ наблюдала не только надъ пустой дорожкой сада, но надъ тѣмъ, что дѣлалось дальше, во дворѣ сосѣдей. Въ домѣ ихъ зажглись огни и замелькали, переходя изъ одного окна въ другое. Леленька чуть не вскрикнула: единственное окно, примыкавшее къ саду, освѣтилось, отворилось; ей показалось, что его отворилъ Веретицынъ. Но ему, должно быть, показалось холодно: окно заперлось почти въ ту же минуту; Леленька услышала только стукъ рамы. Свѣча стояла такъ близко къ стекламъ, что ничего нельзя было разсмотрѣть въ глубину комнаты.

«Я глупости дѣлаю», сказала себѣ Леленька, соскочивъ съ плетня, о который исцарапала руки.

Ее звали домой, гдѣ ждалъ ее ужинъ и брань, что она «баклуши бьетъ», бѣгаетъ...

VII.

На другой день Леленька воротилась съ экзамена математики и географіи съ такимъ же успѣхомъ, какъ наканунѣ. На этотъ разъ она сама не знала, какъ это случилось: она не могла ничего сообразить, а выученное наизусть позабыла. Подруги глядѣли на нее почти со страхомъ, спрашивали, не сглазилъ ли ее кто нибудь, совѣтовали хорошенько помолиться, обѣщать свѣчку. Леленькѣ казалось, что она больна; въ головѣ у нея было мутно. Дома, какъ нарочно, случились непріятность за непріятностью: одинъ братъ больно убился, упалъ съ чердака, другой перебилъ посуду; маменька не досчиталась бѣлья и разочла работницу; папенька получилъ выговоръ, и оттого все пошло еще хуже. Между прочимъ, онъ сказалъ и Леленькѣ:

— Ты смотри, модница, я сегодня отца Евсевія встрѣтилъ; ты, говорятъ, ничему не учишься — сохрани тебя Богъ! Ты у меня своихъ не узнаешь... И не смѣй мнѣ ничего отвѣчать! А еще замужъ сбирается...

Послѣднія слова были загадкой для Леленьки. Замужъ? за кого же? И ей всего пятнадцать лѣтъ... Папенька, вѣрно, шутитъ.

Леленькѣ вспомнились какъ-то всѣ подобныя шутки; на разстроенное сердце онѣ легли тяжеле; разгоряченная голова приня-

ла ихъ иначе, чѣмъ прежде. Дѣвочка спросила себя: «за что все это?»

«Чѣмъ я модница? Я не прошу нарядовъ. Я одѣваюсь во все, что сошьютъ. Подруги не разъ говорили, что я одѣта дурно. Мнѣ никогда и на мысль не приходило пожелать чего нибудь новенькаго, красиваго. Я знаю, что все дорого, что папенькѣ надо всѣхъ насъ содержать; я бережлива... За что же меня попрекаютъ? Я не должна смѣть отвѣчать... Да вѣдь другія отвѣчаютъ! А со мной потому такъ говорятъ, что знаютъ меня, знаютъ, что я не то, что другія — не отвѣчу»...

Маменька, узнавъ объ отзывѣ отца Евсевія, замѣтила тоже:

— Кто тебя, дуру, за себя замужъ возьметъ? Попробуй у меня только, не получи листа, или бо книги, не пересядь въ старшія, я тебя, какъ Богъ святъ, замѣсто работницы хлѣбы мѣсить заставлю!

Леленька взяла книгу и хотѣла твердить; но между строками у нея замелькало размышленіе:

«Зачѣмъ мнѣ твердить? я все знаю, и то знаю, что напутала тамъ и вчера, и сегодня. Мнѣ-то самой все равно, какъ бы я ни отвѣчала, хорошо или дурно: мое при мнѣ останется. Я учусь для себя, не для учителя, не для начальницы, не для листа, не для книги—для себя, для того, чтобъ знать... И еще — вздоръ какой! развѣ это ученье? это чепуха какая-то: «Помпадуръ, сія піявица Франціи...» Потѣха, право! Кто такая эта Помпадуръ? ничего не сказано—а тверди»...

Леленька вся вспыхнула, сложила книгу и встала; изъ окна тянуло свѣжимъ вѣтромъ, запахомъ липы.

— Куда ты? спросила мать.

— Въ садъ пойду, жарко, отвѣчала дѣвочка.

— Въ садъ пойду! Книжку возьми, безсовѣстная! Я тебѣ дамъ садъ! Вотъ я завтра сама въ пансіонъ схожу, узнаю, что ты тамъ дѣлаешь. Барышней ее посадили, ничего на ней не спрашивается, а она еще вонъ что, лѣниться выдумала... Ужъ помни мое слово, Алена, будешь у корыта стирать...

Леленька ушла поскорѣе: она услышала, что папенька проснулся отъ послѣобѣденнаго сна, а онъ просыпался всегда сердитый. Ей стало страшно.

«И въ самомъ дѣлѣ», подумала она, съ трудомъ отворяя калитку, потому что дрожали руки: — «со мной могутъ, что хотятъ, сдѣлать...»

Вся взволнованная, она прошлась нѣсколько разъ по дорожкѣ; воздухъ казался ей тяжелъ надъ головою; грудь стѣснило; слезы нѣсколько разъ выступали на глазахъ и прятались. Она бросила книгу въ траву и выговорила громко:

«Что за несчастье!»

Она сама не знала, что называла несчастьемъ—все. Экзаменъ, пустота ученья, гнѣвъ папеньки и маменьки и, главное, что-то въ ней самой начинало казаться ей несчастьемъ, что-то въ ней самой мѣшало ей быть спокойной, какъ прежде... Вдругъ, рѣшившись, она подошла къ плетню, привставъ, оперлась на него и заглянула. Веретицынъ былъ у себя въ саду, но далеко. Леленька ждала нѣсколько минутъ, и когда онъ обратился въ ея сторону, закричала ему:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! отвѣчалъ издали Веретицынъ и прошелъ мимо.

Леленька совсѣмъ безсознательно осталась на своемъ мѣстѣ. Веретицынъ обошелъ весь кругъ своего сада, поровнявшись съ нею, оглянулся и засмѣялся.

— Какой вы птицей сидите на жердочкѣ! сказалъ онъ:—смотрите, не упадите!

Онъ опять опустилъ глаза въ книгу, которую читалъ. Леленька боялась, что онъ уйдетъ, и поспѣшила спросить:

— А что же, вы обѣщали мнѣ книжку?

— Какую?

— Шекспира.

— Охъ, Леленька! виноватъ, забылъ, сказалъ онъ, подходя.—Какъ вы вспомнили? Вамъ, я думаю, не до Шекспира?

— Почему же? спросила она, поблѣднѣвъ, когда онъ назвалъ ее по имени.

— Заучились, затрудились, заэкзаменовались. Ну, что, какъ баллы? четыре, пять?

— Меньше единицы, отвѣчала она и захохотала.

— Скромность есть украшеніе женщины, сказалъ серьезно Веретицынъ: — тѣмъ болѣе дѣвицы, тѣмъ еще болѣе примѣрной дочери, трудящейся для утѣшенія родителей. Извините, что я спросилъ: я изъ участія.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, продолжала Леленька, блѣдная и смѣясь, между тѣмъ какъ голосъ прерывался отъ дрожи—я, вотъ, два экзамена все сбиваюсь, ни на одинъ вопросъ не отвѣчаю... Я не шучу, право, не скромничаю...

— Что-жъ это съ вами?

— Такъ, не знаю. Отвѣчать не хочется, скучно.

— Капризъ нашелъ?

— Капризъ! отвѣчала она, потупя голо-

ву. — Я для себя учусь. Пусть мнѣ ставятъ какіе хотятъ баллы: я знаю, что знаю — вотъ и все.

— Да-съ; но, вѣдь, учителя-то этого не знаютъ, если вы все путаете.

— Ну, что-жъ?

— Ну, васъ и оставятъ въ послѣднихъ.

— Пожалуй... выговорила она, сдержавъ слезы.

— А какъ же маменька съ папенькой?

— Я имъ скажу, что знаю — это мое дѣло... Чему вы смѣетесь?

— Такъ. Хорошо, если папенька съ маменькой вамъ повѣрятъ.

— Я отъ роду не лгала. Они должны мнѣ повѣрить.

— Охъ, должны! повторилъ Веретицынъ.—Еще отъ роду папеньки съ маменьками не считали, что «должны» что нибудь предъ дѣтьми...

— Что вы сказали? Я не вслушалась.

— Ничего. Конечно, если вы такъ увѣрены въ вашихъ родныхъ, то можете не безпокоиться—это большое счастье. Только, будь я папенькой, я бы не потерпѣлъ такихъ вещей.

Леленька смотрѣла ему въ глаза.

— Не потерпѣлъ бы, повторилъ Веретицынъ. — Сегодня вы не расположены экзаменоваться, завтра вы не расположены идти замужъ, за кого отцу угодно, что вы за дочь? Что это за отецъ, котораго въ грошъ не ставятъ? — «Ахъ, папенька, вы должны мнѣ вѣрить!» Отецъ хлопоталъ, трудился, выносилъ, можетъ быть, не знаю что, можетъ быть, до униженій, можетъ быть, душой кривилъ и согрѣшилъ не разъ, чтобъ имѣть возможность дать дочери воспитаніе, а она даже не хочетъ его ничѣмъ потѣшить— капризъ нашелъ! — «Учусь для себя!»—Да дочь-то сама чья, не отцовская?.. Стало быть, она разсчитываетъ, что придетъ время, вотъ она заживетъ для себя, не будетъ папенькина и маменькина...

— Вы смѣетесь, или не шутя говорите? прервала Леленька.

— Какая шутка, когда цѣлый свѣтъ такъ думаетъ! возразилъ Веретицынъ:—развѣ вы никогда этого не слыхали, ну, не отъ вашего папеньки съ маменькой, такъ отъ другихъ; ихъ, славу Богу, вволю! Развѣ это самое никогда при васъ не говорилось?

Леленька не отвѣчала.

— А что всѣ говорятъ, то, стало быть, правда, продолжалъ Веретицынъ: — нечего капризничать, нечего раздумывать. Кто выдумалъ, что такъ надо жить, тотъ былъ умнѣе насъ: всѣмъ покойно. Вы по себѣ можете судить: вы благополучно кончите вашъ экзаменъ, на актѣ... Актъ будетъ у васъ?

— Будетъ.

— На актѣ губернаторъ дастъ вамъ похвальный листъ, архіерей васъ благословитъ, вы его поцѣлуете въ ручку; такъ хорошо. Придете домой. Бѣленькое платьице на васъ, алыя ленты, за обѣдомъ пирогъ. Папенька съ маменькой веселы. Дѣтямъ и въ руки не дадутъ вашего листа, чтобъ не запачкали, издали позволятъ посмотрѣть: съ золотомъ. И на цѣлую недѣлю разсказы, какъ Леленька отличилась.

— Вы говорите со мной, какъ съ маленькой дѣвочкой, прервала она:—я не хочу ничего этого, ни награды, ни ласки... ничего!

Она была блѣдна и отвернулась, испугавшись слова, которое сорвалось у нея. Веретицынъ улыбнулся, смотрѣлъ на нее и ждалъ.

— Я не хочу, чтобъ меня за вздоръ награждали, продолжала она:—я не хочу учиться вздору. Вы же сами сказали, что все это вздоръ; я не хочу его знать... Вонъ я въ крапиву закинула...

— Какъ, ужъ и закинули! вскричалъ, хохоча, Веретицынъ.

— Кому кажутся умны эти Помпадуры, тотъ пусть ихъ и учитъ, говорила Леленька, волнуясь и забываясь:—я изъ такихъ глупостей не стану обижать моихъ подругъ, перебивать у нихъ награды. Мнѣ ихъ дружба дороже всѣхъ наградъ... Кто труслив, кто боится, тотъ пусть старается, а я не боюсь: пусть меня сдѣлаютъ въ домѣ кухаркой, работницей... я не раба!...

Она вдругъ заплакала и убѣжала. Веретицынъ стоялъ на своемъ мѣстѣ и смотрѣлъ ей вслѣдъ, догадываясь, что она не пойдетъ домой. Въ самомъ дѣлѣ, ея пелеринка бѣлѣла вдали, въ кустахъ. Веретицынъ пошелъ къ себѣ въ комнату, взялъ «Ромео и Джульетту» вмѣстѣ съ риторикой Кошанскаго, отложенныхъ рядомъ, и воротился къ плетню. Въ сосѣднемъ саду уже бѣгали дѣти; Леленька бродила, будто прячась и не оглядываясь.

— Подите сюда, сказалъ вполголоса Веретицынъ, выждавъ, когда дѣти ушли подальше:—вотъ вамъ Шекспиръ.

Она подошла, взглянула ему въ глаза, застыдилась его взгляда полунасмѣшливаго, полуласковаго, и взяла тонкую тетрадку.

— Спрячьте въ карманъ, согните вчетверо, продолжалъ Веретицынъ:—а это—ваше.

Она протянула руку за Кошанскимъ, покраснѣла и улыбнулась.

— Не прогнѣвайтесь, Леленька, сказалъ Веретицынъ:—вы еще совсѣмъ маленькая дѣвочка, только хорошая дѣвочка.

Она была сконфужена, чему-то рада, наклонила голову, чтобъ спрятаться отъ Веретицына, а когда самой захотѣлось взглянуть на него, его уже не было ни за плетнемъ, ни въ саду.

VIII.

Слѣдующій день былъ праздникъ въ приходѣ, и маменька Леленьки, къ большому ея удивленію, сказала ей еще съ вечера, чтобъ она на экзаменъ не ходила, а встала бы пораньше и собралась къ обѣднѣ. Утромъ маменька выгладила ленты и выправила шляпку Леленьки, прибавила подъ поля четыре розовые бутончика, хранившіеся издавна въ комодѣ. Нельзя сказать, чтобъ шляпка стала отъ того красивѣе; она какъ-то вздернулась кверху, но маменькѣ это очень нравилось. Изъ комода же, тоже давно хранившуюся и потому получившую нѣсколько неотгладимыхъ складокъ, маменька достала мантилью свѣтло-голубую пу-де-суа и палевый галстучекъ, который долженъ былъ идти къ Леленькѣ, потому что Леленька брюнетка. Все это было надѣто на Леленьку вмѣстѣ съ бѣлымъ кисейнымъ платьемъ, приготовленнымъ было для акта. Маменька была встревожена и приказывала все надѣвать съ крестомъ и молитвою. Сбирались такъ долго, что къ часамъ ужъ отзвонили; папенька торопилъ; онъ былъ въ вицмундирѣ и тоже шелъ къ обѣднѣ. Торопила и Пелагея Семеновна, которая пришла, чтобъ идти молиться вмѣстѣ, и подавала свои совѣты въ туалетѣ Леленькѣ. Леленьку такъ затормошили, что она успѣла только запрятать подъ свой тюфякъ тетрадку сосѣда. Грѣшница—она думала почти всю обѣдню, какъ бы дѣти не вытащили безъ нея этой тетрадки. Она думала еще, что теперь идетъ нѣмецкій экзаменъ, что вчера начальница говорила, надо кончить ихъ скорѣе, сегодня, и потому въ это утро назначено три предмета. Потомъ у нея вертѣлись въ головѣ имена собственныя—не примѣры грамматики, не историческія имена, а тѣ, которыя вчера, почти въ потемкахъ, прочла она, заглянувъ въ ту тетрадку. Тамъ что-то занимательно: дуэли, маски...

— Истуканъ-истуканомъ, замѣтила ей мать, уже на паперти. Папенька разговаривалъ съ какими-то господами—кажется, съ сыновьями Пелагеи Семеновны. Леленькѣ вздумалось посмотрѣть на нихъ, но она не удивилась, хотя бы и могла удивиться, что папенька говоритъ съ молодыми людьми, что трое этихъ молодыхъ людей идутъ съ ними до перекрестка. Какіе они что-то странные! говорятъ, какъ-то взвизгиваютъ; одинъ тросточкой играетъ, старуху прохожую задѣлъ; другой все часы вынимаетъ, смотритъ—тотъ, съ которымъ разговариваетъ папенька; всѣ такъ мелко завиты...

— Зѣвай еще по сторонамъ! опять шепнула маменька, которая шла рядомъ съ Пелагеей Семеновной и въ молчаніи.

Перекрестокъ былъ близокъ. Старшій сынъ Пелагеи Семеновны, тотъ, что съ тросточкой, давалъ это замѣтить молодому человѣку съ часами, толкая его подъ бокъ.

— Отвяжись, братецъ ты мой, возразилъ тотъ, занимаясь разговоромъ съ папенькой:—я тебя самого въ лужу столкну.

Онъ игриво разсмѣялся. Папенькѣ это, казалось, нравилось: онъ смѣялся тоже. Леленька чего-то сконфузилась; ей стало скучно и, ужъ конечно, безъ всякой причины, вдругъ вспомнился смѣхъ Веретицына, его тихій, какой-то полный голосъ, его худыя руки на плетнѣ, волосы, которые онъ всегда такъ мнетъ фуражкой, темносѣрые глаза, которые взглядываютъ пристально.—Какъ онъ сказалъ вчера: «хорошая дѣвочка». Какъ же онъ смѣетъ говорить «Леленька»?

Леленька и не замѣтила, какъ простились молодые люди и Пелагея Семеновна, и какъ папенька, маменька и она сама дошли домой. Маменька приказала ей переодѣться и идти кончить свои экзамены. Было всего одиннадцать часовъ. Леленька была разсѣяна и своимъ туалетомъ, и разнообразіемъ впечатлѣній съ утра, и множествомъ народа, который видѣла. Ей было пріятно быть на открытомъ воздухѣ, пройтись еще, хотя до пансіона; что будетъ въ пансіонѣ—представлялось ей смутно. Она два раза забывала, какія книги взять съ собой, и возвратилась за ними съ крыльца, но не забыла «Ромео» и унесла его въ карманѣ, какъ научилъ Веретицынъ; затѣмъ вдругъ вообразила, что ей надо зачѣмъ-то забѣжать къ себѣ въ садъ, примчалась туда бѣгомъ, къ плетню и заглянула: на дорожкѣ никого не было, но окно въ садъ, то, которое она примѣтила, было отворено; подъ окномъ сидѣлъ Веретицынъ и писалъ что-то. Новая работница кликала барышню, провожать ее; маменька услышала, и когда Леленька проходила черезъ дворъ, спросила, гдѣ была она. Леленька какъ-то нечаянно, невольно отвѣча-

ла, что ходила за карандашомъ, который оставила вчера въ саду. Ей стало такъ горько, такъ стыдно послѣ своихъ словъ, что она чуть не заплакала дорогой. Раскаяваясь, она, конечно, не могла ничего припомнить изъ того, что было нужно для экзаменовъ; она застала еще нѣмецкій; ей пришлось сказать какіе-то стихи, которыхъ она никогда не понимала, а затвердила въ-долбяшку; едва придя, едва сѣвъ на мѣсто, не опомнясь, она перепутала рифмы—единственное, чѣмъ руководилась, а затѣмъ и все перепутала. Учитель-нѣмецъ пошутилъ очень остроумно, но эта новая неудача еще болѣе сбила Леленьку. Нѣмца смѣнилъ французъ, француза — учитель исторіи, ужасно скоро одинъ за другимъ; французъ продиктовалъ на доскѣ такой примѣръ изъ какографіи о participe passé, который и самъ затруднялся рѣшить, и потому только вышелъ изъ себя. Учитель исторіи сталъ спрашивать о какихъ-то войнахъ. За минуту передъ этимъ, пока перемѣнялись экзаменаторы, Леленька посмотрѣла въ «Ромео», будто справляясь съ учебной книжкой, и нашла тамъ, почти на первой страницѣ о нелѣпости и грѣхѣ кровопролитія. Рядомъ, подруга, Оленька Бѣляева, отвѣчала на вопросъ и называла великихъ людей.

«Какіе это великіе люди?—злодѣи», рѣшила Леленька, вѣря тетрадкѣ Веретицына, думая о Веретицынѣ, о его смѣхѣ. Вдругъ помянули Лудовика-Вселюбезнѣйшаго, Леленька не выдержала больше и засмѣялась громко. На нее «нашелъ стихъ» смѣяться: этотъ «стихъ», вслѣдъ за нимъ выговоръ, вопросъ ей самой, а затѣмъ упрямое, жаркое, вдругъ проснувшееся убѣжденіе, что это все вздоръ, что это ни на что не нужно—все перевернуло ей и мысли, и сердце; она начала отвѣчать, сбиваясь; на замѣчаніе учителя возразила, что сбиться немудрено, когда въ книгѣ такъ неясно; а когда ей сказали, чтобъ она не разсуждала, а говорила, что выучила — сказала, увлекаясь, очень смѣло, что этого и учить не стоитъ, развѣ для того, чтобъ перезабыть да выучить вновь въ какихъ нибудь другихъ книгахъ... Учитель былъ пораженъ: онъ преподавалъ двадцать-пять лѣтъ и дослуживался до пенсіона, а ничего такого съ нимъ еще не случалось.

Этотъ скандалъ заключилъ экзаменъ въ пансіонѣ. Нечего и говорить, что мадмуазель Бѣляева перешла въ старшій классъ съ наградой, а Леленька была оставлена въ меньшихъ и изъ пятой попала въ пятнадцатыя.

— За дерзость васъ бы исключить слѣдовало, сказала ей начальница.

Она не исключила ее, однако, потому что лишняя ученица все-таки разсчетъ. Леленька смотрѣла въ глаза подругамъ, думая найти участіе; но подруги сторонились, не столько занятыя своимъ дѣломъ, сколько—Богъ ихъ знаетъ изъ какого чувства. Противъ Леленьки было все начальство—какъ же идти противъ начальства? Неудача Леленьки была неожиданна: невозможно, чтобъ она въ самомъ дѣлѣ перезабыла, не знала; но кто ее знаетъ? Она сказала что-то будто похожее на дѣло; но что—кому за надобность до этого дѣла? Для чего же еще отдаютъ въ пансіонъ и учатъ, какъ не для того, чтобъ кончить курсъ и получить награду?

Леленька ушла домой. Чрезъ два дня былъ актъ, и ея родители узнали, какую штуку она имъ приготовила. Ей пришлось и поплакать: маменька прибила ее, и не одинъ разъ.

Эти катастрофы, шумъ въ домѣ и потомъ молчаніе по цѣлымъ днямъ, среди тѣсноты, множества дѣтей, неприбора сдѣлали съ Леленькой то, что она точно отупѣла. Наплакавшись, она вдругъ перестала—не то отъ равнодушія, не то отъ отчаянности: она замѣтила, что съ ней обращались хуже, когда она плакала; но ея слезы прошли вдругъ, безъ всякаго разсчета; напротивъ, она подумала, что хоть бы и легче ей было отъ этого, но она слезы не выронитъ. Мать собрала цѣлый узелъ старыхъ дѣтскихъ чулокъ и рубашекъ, и бросила ихъ Леленькѣ, заставила ее чинить; кромѣ того, ей задавали уроки въ пяльцахъ. Леленька работала отъ заутрени до темноты, вставая только для обѣда, но это доставалось ей такъ тяжело, что она охотно не пошла бы обѣдать, тѣмъ болѣе, что ничего не ѣла. Минутами, предъ вечеромъ особенно, когда вѣтеръ залеталъ въ окно и шелестилъ по пяльцамъ, она приподнимала голову, оглядываясь; что-то будто жгло ей глаза, и мелькала мысль уйти куда нибудь. Она была цѣлый день на глазахъ у отца, у матери, у дѣтей: спала въ одной комнатѣ съ дѣтьми! не было свободной минуты посидѣть спокойно и подумать, даже ночью, но ночью и некогда: она засыпала скоро и крѣпко. Разъ, съ вечера, она вздумала было поплакать въ постели—дѣти не дали, пристали, дразнили. Имъ сначала приказано было дразнить ее и не слушаться; потомъ это продолжалось безъ приказаній. Леленькѣ одинъ разъ, такъ, внезапно, вошло въ голову:

«Если я вдругъ съ ума сойду?»

Она не придумывала дальше ни подробно-

стей, ни приключеній — выдумки, какими успокоивается печаль и почти пріятно раздражаются нервы. Въ ней было что-то посильнѣе всѣхъ этихъ выдумокъ. Мать сказала ей одинъ разъ:

— Что ты никому въ глаза прямо не смотришь?

Леленька взглянула на нее и отвернулась: ей стало какъ-то страшно. Она сказала себѣ, что это грѣхъ ее мучитъ. Ей хотѣлось умереть...

Это продолжалось съ недѣлю. Пелагея Семеновна зашла напиться чаю и застала, какъ всегда, маменьку у одного окна, Леленьку у другого.

— Рукодѣльница, барышня! замѣтила она ласково.—Да что же это вы, матушка, все ее за работой держите? День сегодня воскресный; хоть бы на музыку, такъ-то...

— Не въ чемъ ей разгуливать идти, возразила маменька:—нарядовъ не нашили.

— Что же такъ?

— Не заслужила. Это, вотъ, ее сами спросите, безстыдницу, какъ мнѣ при всѣхъ ея мадама хвалила, что нѣтъ ея хуже, безграмотная...

— Вы ихъ очень не конфузьте, прервала гостья, погладивъ Леленьку по головкѣ:— дочка у васъ милая, хорошая. Ну, что, грѣхъ да бѣда на кого не живетъ? На что онѣ, науки-то, мать моя? Хуже ли мы безъ нихъ съ вами? А, право, былъ бы достатокъ! Вотъ вы ихъ помаленьку къ хозяйству пріучайте, вы на то мастерица, да тамъ, что надо музыки... Вы, красавица, умѣете что музыки сыграть? Вальсъ тамъ, или польку какую?

Леленька молчала; ей все еще казалось, что Пелагея Семеновна водитъ рукой по ея волосамъ.

— Или кадриль, что ли?

— Языкъ-то есть у тебя отвѣчать? вскричала маменька:—умѣешь, что ли?

— Умѣю, отвѣчала Леленька.

— Соври еще, какъ тогда! продолжала маменька.—Вотъ какъ до дѣла дойдетъ, ты опять ни тиль-тиль, все равно какъ на экзаменѣ.

— Нѣтъ, это вы ужъ, красавица, поучите, вступилась ласково гостья: — безъ этого ужъ никакъ нельзя... Да что вы зарукодѣльничались? Право, маменька, милая, вы отпустите ихъ, хоть въ свой садъ разгуляться, а мы тутъ съ вами... у меня къ вамъ дѣльцо...

— Ну, пошла! сказала маменька.

Леленька встала, убрала пяльцы и вышла; у нея какъ-то подгибались колѣни; она нѣсколько дней не дѣлала и двадцати шаговъ по комнатамъ.

— Какое же дѣльце? спросила маменька.

— Да все о женихѣ, родная моя, отвѣчала гостья...

Къ Леленькѣ чрезъ Пелагею Семеновну сватался женихъ, чиновникъ Фарфоровъ, тотъ самый франтъ при часахъ, пріятель сыновей Пелагеи Семеновны, который приходилъ смотрѣть Леленьку за обѣдней и потомъ былъ такъ «вѣжливъ» съ папенькой. Франтъ долженъ былъ получить этимъ годомъ чинъ: стало быть, пора было думать и о женѣ. Леленькѣ этимъ годомъ исполнится шестнадцать: стало быть, пора ее пристроить. Франтъ одинъ сынъ у матери; мать — старуха злющая, да за то хворая, и деньги есть; Аленѣ Васильевнѣ, можетъ, что пожалуетъ крестная маменька, тетушка Алена Гавриловна, такъ вотъ, и славу Богу! А онъ ея красотой прельстился: «только мнѣ, говоритъ, съ музыкой надобно; безъ этого ужъ никакъ нельзя». Какъ чинъ получитъ, такъ и благословитъ.

— Ей, молоденькой, лестно будетъ за такого красавца выйти, заключила гостья:—а вы только къ сестрицѣ Аленѣ Гавриловнѣ въ Петербургъ отпишите, насчетъ награжденія, да приданаго...

Маменька стала считать, вмѣстѣ съ гостьей, сколько и чего именно нужно для приданаго. Женихъ, кромѣ музыки, просилъ шесть шелковыхъ платьевъ; маменька почти соглашалась на четыре...

IX.

Дѣти, по случаю воскреснаго дня, были всѣ отпущены въ луга съ другими сосѣдними дѣтьми; Леленька была одна въ своемъ саду. Она какъ-то ужъ не радовалась и свободѣ: очень ли она засидѣлась и устала, или ея сердце, какъ все крѣпкое и сильно измятое, не могло разомъ расправиться. Леленька шла тихо и только старалась вздохнуть посильнѣе. Ей не пришло на мысль, по обыкновенію, что «Пелагея Семеновна несносная и охота маменькѣ съ нею!» напротивъ, ей показалось, что «пусть онѣ себѣ, имъ хорошо вмѣстѣ». Одну минуту, ей самой захотѣлось, чтобъ съ ней была которая нибудь изъ подругъ... но которая же? Къ ней не ходила ни одна подруга. Имъ весело теперь, можетъ быть; можетъ быть, идутъ гулять; вотъ, въ городскомъ саду начинается музыка... И что-жъ, это всякій день такъ будетъ?..

Ей захотѣлось броситься на траву и на-

плакаться; она удержалась, какъ-то невольно взглянувъ на сосѣднiй садъ. Веретицынъ стоялъ, облокотясь на плетень.

Онъ давно стоялъ тамъ, еще до прихода Леленьки, подойдя и облокотясь машинально, по привычкѣ. У него на душѣ было тяжеле обыкновеннаго, какъ случается, когда человѣкъ дастъ себѣ раздуматься и распустить нервы на волю. Въ далекой музыкѣ было что-то томящее, раздражающее; но музыка успокоиваетъ только или эгоиста, или ребенка, хотя бы этотъ ребенокъ былъ давно взрослый...

Веретицынъ не слышалъ даже шороха платья Леленьки и замѣтилъ ее, когда она его замѣтила.

— Что васъ давно не видно? спросилъ онъ и протянулъ ей руку.

Леленька дала свою, безъ удивленiя, безъ всякаго чувства; ей только стало холодно.

— Некогда было, отвѣчала она.

— Да!.. Ну, что, какъ дѣла?

— Кончены.

— Поздравляю.

— Не съ чѣмъ: я осталась въ маленькихъ и послѣдняя.

Веретицынъ покачалъ головой.

— Вы это нарочно сдѣлали?

— Нѣтъ, сама не знаю... Да, почти нарочно.

— Для чего-жъ?

— Вы знаете... Что объ этомъ толковать! скучно. Вы лучше всѣхъ, лучше меня знаете.

— Я-то, Леленька?

— Ну, да. Вѣдь вы же говорили... Что вы тутъ говорили — вспомните.

— Помилуйте! Но что-бъ я ни говорилъ, я могъ и ошибиться, могъ и шутить...

— Вы не шутили; я всегда васъ спрашивала, шутите ли вы? вы говорили: нѣтъ. А что вы говорили правду... это ужъ я знаю. Все правду, обо всемъ, обо всѣхъ правду!..

— Напримѣръ?

Она смутилась. Мысль объ отцѣ и матери заставила ее сжать губы, удерживать и слова, и слезы. Веретицынъ посмотрѣлъ ей въ лицо и повторилъ, улыбаясь:

— Напримѣръ, какую-жъ правду я говорилъ?

— Хоть ту, что гордиться, выставляться напоказъ дурно.

— Я, Леленька, не говорилъ этого.

— Я такъ поняла, отвѣчала она очень твердо:—я такъ и сдѣлала.

— Вамъ за это благодаренъ кто нибудь? спросилъ онъ: — похвалили васъ? Подруги, для которыхъ вы принесли такую жертву, бросились вамъ на шею?.. Что? никто?

— Конечно, никто, отвѣчала она, чѣмъ-то обидясь:—но я хорошо сдѣлала.

— Вы романическая голова, Леленька. Подайте мнѣ Шекспира назадъ. Вы начитаетесь — еще хуже будетъ.

— Что-жъ будетъ хуже? спросила она, стараясь разобрать, шутитъ ли онъ:—о, да вы смѣетесь!

— Смѣюсь, надъ вами. Сами разсудите: ваши папенька съ маменькой должны быть сердиты, не приведи Богъ какъ; подруги надъ вами смѣются; вы не знаете, что дѣлать; скучно вамъ до смерти, а вы твердите: «я хорошо сдѣлала». Упрямица вы—вотъ что!

— Побраните еще! сказала она, взглянувъ ему въ глаза.

Веретицынъ улыбнулся на ея взглядъ и опять подалъ ей руку; она захватила ее въ обѣ. Веретицынъ взялъ свою руку назадъ.

— Какъ же вы проживете на свѣтѣ? спросилъ онъ.

— Какъ нибудь.

— Какъ нибудь нельзя. Сантиментальничать, вольничать — послѣдствiя невеселыя, да и неприличныя.

— Какъ это? что это неприличныя?

— Вотъ что. Вы понимаете, что людямъ надо какъ нибудь уживаться другъ съ другомъ; они всѣ на разный ладъ сотворены, и потому придуманы законы, правила, приличiя, чтобъ склеиться между собою. Какъ въ такомъ и такомъ случаѣ поступаетъ одинъ, такъ непремѣнно должны поступать другiе: иначе, всякiй потянетъ въ свою сторону. Что-жъ это выйдетъ? Не понравилась наука — давай другую! Не понравилось у папеньки съ маменькой—давай бѣжать! Хорошо, слава Богу, что такихъ охотниковъ еще немного, а которые выскакиваютъ, на тѣхъ есть управа. Это вольничанье—безпорядокъ. Будьте довольны тѣмъ, что вамъ даютъ. А сантиментальность? Зачѣмъ себѣ набивать голову, что должно любить подругъ какихъ нибудь, не выставляться передъ ними и прочее? Вѣдь подруги для васъ этого не сдѣлаютъ?

— Ну, такъ что-жъ? прервала она.

— Опять! возразилъ онъ:—да не годится, милая моя Леленька! Послѣ этого, вы свое добро кому случится уступите, любимаго человѣка уступите—и вамъ никто спасибо не скажетъ!..

Онъ засмѣялся, потому что она засмѣялась весело, но не глядя на него и краснѣя.

— Что-жъ вы будете дѣлать? продолжалъ Веретицынъ.

— Когда?

— Ну, вотъ, хоть скоро, этими днями. Въ пансіонъ больше не пойдете?

— Не пойду; меня совсѣмъ возьмутъ.

— Видите! Что-жъ сидѣть за пяльцами... Гости у васъ бываютъ?

— Бываютъ... дрянь какая-то.

— Леленька! это что за гордость? Какъ вы смѣете называть ихъ дрянью? Вашъ папенька съ маменькой ихъ любятъ: вы старшая дочь, вы должны ихъ принимать, занимать.

Леленька опустила голову.

— Я не шучу, продолжалъ Веретицынъ:— гости не по васъ: можетъ быть, и занятія въ домѣ не по васъ? Чего-жъ вы хотите?

— Ничего не хочу, проговорила она тихо. — Сдѣлайте милость, не смѣйтесь надо мной.

— Тутъ не до смѣха, отвѣчалъ, хохоча, Веретицынъ:—дѣвица должна быть скромна, трудолюбива, почтительна къ родителямъ, всѣмъ довольна, къ хозяйству рачительна, съ посторонними любезна—а вы что?

— Не знаю... я, должно быть, пропащая! отвѣчала она.

— Ну, не пропадете! сказалъ онъ, еще смѣясь, но ласково.—Да вы не плачьте, Леленька.

— Я никогда этой глупости не дѣлаю.

— Слѣдовало бы иногда, о вашихъ другихъ глупостяхъ.

— Васъ не разберешь! возразила она, опять взглянувъ на него, и замолчала.

Веретицынъ тоже замолчалъ, поднявъ голову и прислушиваясь къ музыкѣ.

— Вы всегда будете здѣсь жить? спросила Леленька.

Онъ оглянулся.

— Что?

— Нѣтъ... я спросила... Вы что дѣлаете весь день?

— Служу отечеству.

— Вамъ не скучно?

— Какъ можно!

— У васъ есть знакомые?

— Вотъ, я знакомъ съ вами.

Она вздохнула. Веретицынъ былъ разсѣянъ и слушалъ.

— Я еще не прочла вашу книжку. Когда прочту, дадите другую?

— Что?.. Да, пожалуй.

— Я буду переучиваться, сказала она робко.

Веретицынъ смотрѣлъ въ даль; онъ слышалъ и не слышалъ, что говорила Леленька, ея послѣдніе вопросы, звуки издали, вѣтеръ влажный, ласкающій, какой онъ бываетъ по вечерамъ, перевернулъ ему душу. Въ свѣтлые вечера бываютъ особенныя минуты, въ которыя сильнѣе вспоминается напрасный день, а за нимъ дальше, другіе напрасные дни, напрасныя желанія, все, чему измученное сердце, какъ догорающая заря неконченной работѣ говоритъ — поздно!

— Я все переучу съизнова, какъ вы, говорила Леленька.

— Похвальное намѣреніе! отвѣчалъ Веретицынъ, не обращаясь къ ней:—вашъ папенька съ маменькой будутъ за что нибудь вздорить, а вы, покуда, сидите, размышляйте о новыхъ открытіяхъ въ астрономіи — очень полезное развлеченіе и очень спокойно: никто вамъ не помѣшаетъ. Гости придутъ; они вамъ начнутъ: «Слышали вы, дьяконъ на дьячка просьбу подалъ?» или «Ахъ, сударыня, у васъ глаза прелестные!» а вы имъ самый свѣженькій вопросецъ: «Какого вы мнѣнія о coup d'état президента Бонапарте?..» Это такъ пріятно, такъ кстати. Я вамъ совѣтую.

— Вы ничего не говорите толкомъ.

— Какъ же еще? И вамъ самимъ будетъ такъ легко съ людьми, которые такъ хорошо будутъ понимать васъ: сердцу отрадно. Вы, по вашему обычаю, весь міръ забудете съ книжкой — обернетесь, а этотъ міръ передъ вами—нечесанное чудище, и вы видите, что можно забыть его, съ книжкой, да спрятаться-то отъ него въ книжку нельзя... Совѣтую вамъ: учитесь. Еще съумасшедшей васъ не называли?

— Да что-жъ мнѣ дѣлать? спросила Леленька.

— Право, не знаю, Леленька, отвѣчалъ онъ тихо.

— Вамъ, вѣрно, самому очень скучно? скажите правду.

— Что мнѣ дѣлается? Съ меня экзаменовъ не спрашиваютъ.

— Полноте все шутить. Вы какъ живете?

— Какъ видите.

— Это все не то! возразила она нетерпѣливо.

— Ну, не знаю, что вамъ еще надо, отвѣчалъ онъ.

Они оба замолчали. Веретицынъ задумался. Леленька не отходила.

— Что-жъ, вы просили прощенія у папеньки съ маменькой? спросилъ онъ, оглянувшись и потому вспомнивъ о ней.

— Зачѣмъ?

— Такъ, попробуйте. Вотъ, васъ простятъ, повеселятъ, гулять поведутъ.

— Здѣсь лучше, отвѣчала она.

Веретицынъ не сказалъ ни слова; онъ не думалъ о ней. Въ его саду стукнула калитка, и по дорожкѣ раздался шумъ походки особенно-изящной, производимой только изящной обувью. Веретицынъ оглянулся.

— Ибраевъ, здравствуй! сказалъ онъ и пошелъ къ нему на встрѣчу.

Ибраевъ казался взволнованъ.

— Я на минуту, ѣду въ клубъ, началъ онъ, едва они сошлись и поздоровались.

— Не смѣю и задерживать, отвѣчалъ Веретицынъ.

— Веретицынъ, такія вещи не дѣлаются!

— Какія вещи?

— Вы просились въ отпускъ?

— Просился.

— Почему?

— Надоѣло губернское правленіе и грудь болитъ.

— То есть, Хмѣлевскіе уѣхали въ деревню.

— И я хочу къ нимъ съѣздить. Это до васъ не касается.

— Но вы моимъ именемъ проситесь у вашего начальника?

— Съ чего вы взяли? И не воображалъ.

— Вы ссылаетесь на мое покровительство; я знаю васъ, но я вамъ не протежирую...

— Посмотрѣлъ бы я, какъ бы вы вздумали мнѣ протежировать, отвѣчалъ очень тихо Веретицынъ: — я на васъ не ссылался.

— Вашъ старшій совѣтникъ говоритъ мнѣ: «я отпускаю Веретицына на свой страхъ, потому только, что вы съ нимъ пріятельски знакомы...»

— Успокойтесь; я не хвалился вашимъ знакомствомъ.

— Изъ того, что я бывалъ у васъ, рискуя компрометироваться.

— Вотъ то-то, прервалъ Веретицынъ: — я васъ предупреждалъ, что это вамъ нездорово. Такъ потрудитесь больше не компрометироваться.

Онъ показалъ на калитку.

— Что-жъ это?.. началъ Ибраевъ

— Да ничего; я писарь подъ присмотромъ полиціи: со мной ссориться не стоитъ. Вы можете доказать, что вы мнѣ не протежируете. Позаботьтесь, чтобъ не пустили меня въ отпускъ, чтобъ послали куда нибудь попрохладнѣе... Уходи, я тебѣ сказалъ.

Ибраевъ ушелъ, чтобъ не дать ему разговориться громче. Веретицынъ воротился къ скамейкѣ подъ хмѣлемъ и просидѣлъ тамъ до темноты.

X.

Вліяніе Пелагеи Семеновны на маменьку оказалось благодѣтельно для Леленьки. Леленькѣ давали отдыхъ; ее не сажали за починку рубашекъ; ей не задавали больше урока въ пяльцахъ.

— А то она у васъ совсѣмъ заморится, замѣтила Пелагея Семеновна маменькѣ.

Потомъ, разсудивъ, что еще не Богъ знаетъ какая бѣда не знать разныхъ наукъ и что и безъ нихъ барышня — все-таки барышня, рѣшили сдѣлать Леленькѣ шляпку и повести ее въ люди. Случились именины какого-то чиновника; маменька была тамъ съ Леленькой, чай пили; кромѣ нихъ, старой четы хозяевъ и другой старой четы гостей, никого больше не было.

Женихъ непремѣнно требовалъ музыки. Леленькѣ ничего не говорили о женихѣ, ни о его требованіяхъ. Изъ шептаній маменьки съ пріятельницей, изъ таинственныхъ переговоровъ маменьки съ папенькой, Леленька ничего не могла отгадать, нелюбопытная и ненаблюдательная отъ природы. Маменька не напрасно часто называла ее истуканомъ. Вслѣдствіе требованій жениха, маменька постаралась достать у одной дамы, переселявшейся на покой въ монастырь, фортепіано въ четыре съ половиной октавы, съ сурдинкой. Фортепіано было взято «на подержаніе», покуда, можетъ, кому понравится и продастся. Леленькѣ было приказано играть всякій день и какъ можно шибче. Собака всякій разъ начинала выть подъ окномъ, какъ начинала играть Леленька.

Леленька была рада тому, что выдавались свободные часы, въ которые можно было уходить въ садъ и читать. Маменька зашумѣла-было противъ этихъ книжекъ, но Пелагея Семеновна успокоила ее:

— Что-жъ, что барышня наклонность имѣетъ? пусть себѣ и по-французскому...

Леленька и читала только французское, единственное, что имѣла — «Ромео и Джульетту». Ей пришла догадка, и стало стыдно этой догадки: можно не прятать книгу, когда никто не понимаетъ, что въ ней, и никто не спрашиваетъ, откуда она.

«Но что-жь тутъ хорошаго?» спрашивала она сама себя, читая въ первый разъ.

Слова мудреныя, все такія запутанныя. Леленька всему училась прилежно, по-французски особенно, потому что, на счастье, былъ порядочный учитель. Учитель заставлялъ много читать и переводить въ классѣ труднаго, изъ хрестоматіи, изъ Шатобріана;

но все-таки Леленька была недовольно сильна, чтобъ понимать все безъ диксіонера. Но ей хотѣлось понимать — она догадывалась; чѣмъ дальше, тѣмъ шло легче... Содержаніе прелестное, что говорить! Однако, оно только заинтересовало ее, а не поразило, когда она прочла въ первый разъ: этотъ первый разъ стоилъ слишкомъ большого труда. Она не плакала ни надъ сценами любви, ни надъ послѣдними. Кончивъ, она не раздумывала, но изъ ея памяти вставали неожиданно, отрывочно, подробности, слова. Подробности тревожили, заставляли улыбаться... царица Мабъ — что за прелесть! Нѣтъ ли ея гдѣ нибудь тутъ, въ травѣ, на колесницѣ изъ скорлупы и стрекозиныхъ крыльевъ!.. Ночь, темный склепъ, разсвѣтъ, жаворонокъ — одно за другимъ точно мелькало предъ глазами...

«Роза все роза, какъ ни называй ее», повторила Леленька, хотя и не учила наизусть: «брось свое имя, и за него возьми всю меня... Моя единственная ненависть стала моей единственной любовью...»

И такъ же невольно почти схватила она тетрадку и стала отыскивать эти слова, перечитала, вертѣла страницы, опять перечитывала.

«Въ воздухѣ судьбы виситъ надо мной несчастье...»

Она уронила тетрадку на траву, легла на нее лицомъ и горько заплакала — не о Джульеттѣ, не о Ромео, не о себѣ, хоть передъ этимъ было тяжело на сердцѣ; это какъ-то совсѣмъ забылось; плакалось отъ того, что, вотъ, Богъ знаетъ, что дѣлается на свѣтѣ, и это такъ хорошо, и Богъ знаетъ чѣмъ хорошо...

— Тебя, матушка, заря вгонитъ, заря выгонитъ, сказала маменька, поймавъ на другой день Леленьку, когда она, еще до заутрень, вскочила и бѣжала въ садъ.

Леленька не старалась видѣть и сосѣда: ей было не до него въ этотъ день. Но сосѣдъ не приходилъ ни въ этотъ день, ни въ слѣдующіе два дня. Леленьку это смутило и очень странно обезпокоило, какъ будто этого не случалось прежде. Но ей казалось непремѣнно нужно узнать, что съ нимъ. Какъ узнать? отъ кого? Ни души знакомой въ домѣ у сосѣдей, да и нигдѣ. До этой поры Леленькѣ не было нужно ничье знакомство; его, пожалуй, не нужно и теперь, лишь бы только узнать... Ей было нужно его видѣть не для того, чтобъ сказать ему что нибудь, а такъ, спросить его, что ей дѣлать, потому что такъ жить нельзя; какая-то неладица кругомъ. Прежде то же было, правда, но теперь, Богъ знаетъ почему, какъ-то все ближе къ сердцу. Люди живутъ иначе, то есть, люди, не то, что, вотъ, Пелагея Семеновна съ сыновьями, дочери протопопицы, Оленька Бѣляева. Мужики какъ-то лучше живутъ. Леленька разспрашивала свою новую работницу; та пришла къ нимъ прямо изъ деревни и разсказывала: тамъ лучше, тамъ свое дѣло дѣлаютъ... Ну, зачѣмъ этотъ воротникъ вышивать? Маменькѣ его надѣть некуда, дома она въ недѣлю разъ причешется—онъ сгніетъ у нея въ комодѣ. Продать его—никто не купитъ. Купятъ если— на что эти деньги? все ѣда, все дрова, свѣчки... Трудиться для этого, конечно, надо, да зачѣмъ же все говорить объ этомъ одномъ? Будто не о чемъ больше?

— Въ самомъ дѣлѣ имъ не о чемъ больше, заключила Леленька, и сердце у нея повернулось.

Она была одна; было тихо; часы стучали — хоть заснуть. Вдругъ на дворѣ поднялся крикъ: маменька гнѣвалась на дѣтей; раздался плачъ: дѣтей били...

«Господи! и всякій день все то же!» выговорила Леленька громко.

Она вскочила изъ-за пялецъ, побѣжала къ матери и, вся въ слезахъ, вступилась за братьевъ. Маменька была слишкомъ разстроена и прогнала Леленьку въ комнату.

— Видишь, какая умная родилась! вскричала маменька:—своихъ заведи, тогда и умничай! Выйди-ка замужъ, попробуй, каково!

«Неужели у меня будутъ когда нибудь дѣти? неужели и я буду жить такъ же?» спрашивала себя Леленька, глядя туманными глазами въ узоръ, послѣ того, какъ сильная рука маменьки нагнула ее къ пяльцамъ.

Папенька воротился спокойнѣе обыкновеннаго.

— Фарфорова къ чину представили, сказалъ онъ маменькѣ, садясь за столъ.

— Слава тебѣ, Господи! воскликнула съ восхищеніемъ маменька:—теперь, что Пелагея Семеновна скажетъ...

— Что бы ни сказала, нечего при этой козѣ болтать (папенька указалъ на Леленьку).—А вотъ, писать мнѣ надо къ сестрицѣ. Куда къ ней писать? Гдѣ ея письмо?

— Ахъ, батюшки! куда, въ самомъ дѣлѣ, къ ней писать-то? вскричала маменька:— Алена, гдѣ тетеньки Алены Гавриловны письмо? Батюшки! куда оно дѣвалось? Вѣдь за зеркаломъ было заложено, съ самой святой лежало. Пострѣлы, должно быть, ута-

щили да изорвали, вотъ тебѣ — теперь и здраствуй! Куда теперь напишешь?

Дѣти божились, что не уносили и не рвали никакого письма. Начались поиски. Маменька была въ отчаяніи, металась, кляла жизнь свою, подозрѣвала, что письмо кѣмъ нибудь украдено для какихъ нибудь цѣлей. Отъ голоса папеньки дрожали переводины на чердакѣ. Папенька покушалъ и пошелъ почивать, объявивъ, чтобъ письмо было. Шумѣть было можно, не смотря на сонъ папеньки: его никакой шумъ не могъ потревожить. Маменька и не стѣснялась.

— Да вѣдь все изъ-за тебя толкъ, дура безчувственная! сказала она Леленькѣ.

Леленька была совсѣмъ какъ потерянная, до слезъ, и не понимала, почему это все изъза нея толкъ—развѣ потому, что тетушка Алена Гавриловна ей крестная мать...

Маменька помчалась искать письмо по чуланамъ; сундукъ работницы былъ уже обысканъ. Оставшись одна, Леленька нашла письмо: оно, просто, завалилось изъ-за зеркала, куда было заткнуто, за комодъ, стоявшій подъ зеркаломъ. Леленька была рада минутной тишинѣ и не торопилась звать маменьку и объявить о находкѣ. Она открыла письмо, чтобъ убѣдиться, точно ли это, и кстати узнать, что важнаго въ немъ, кромѣ петербургскаго адреса тетки. Ничего; поздравленіе съ Свѣтлымъ праздникомъ, увѣдомленіе о здоровьѣ, два слова о томъ, что писать больше нечего, и адресъ. Леленька прочла два раза... «Какой хорошенькій почеркъ у тетушки, и всѣ точки на мѣстѣ!» подумала она, между тѣмъ какъ въ ушахъ у нея шумѣло и голова кружилась.

Папенька принялъ письмо безъ особенной радости и опять заткнулъ за зеркало; хотя завтра былъ почтовый день, но папенька раздумалъ, отложилъ отвѣтъ, когда будетъ свободнѣе, сказалъ маменькѣ, чтобъ не приставали, и ушелъ въ гости, пить чай. Маменька нѣсколько времени гнѣвалась на папеньку, что онъ ни о чемъ не заботится, и побѣжала къ Пелагеѣ Семеновнѣ. Леленька ушла въ садъ.

На нее нашелъ припадокъ веселости; вдругъ какъ-то забылись всѣ непріятности; ей хотѣлось бѣгать, кружиться; еслибъ было съ кѣмъ, она бы смѣялась всякому вздору. Она подбѣжала къ плетню и цѣлый часъ ждала сосѣда; онъ не приходилъ; его окно было заперто.

«Что-жъ съ нимъ сдѣлалось?» подумала Леленька: «въ гости ушелъ? уѣхалъ? Къ нему приходилъ тогда господинъ какой-то... къ нему, можетъ быть. Легко сказать, шесть дней не видала!...»

Калитка скрипнула; маменька воротилась.

«Да онъ, можетъ быть, приходилъ, какъ меня не было», заключила Леленька, убѣгая домой.

Ее звали. Маменька принесла отъ Пелагеи Семеновны свертокъ холста и стала кроить мужскія рубашки. Одну изъ нихъ съ вечера она выдала Леленькѣ, приказавъ ей встать пораньше и шить, чтобъ не видалъ папенька. Леленька подумала, что это работа заказная, и маменька желаетъ скрыть отъ папеньки, что работаетъ для денегъ.

«Но почему же бы и не работать для денегъ?» спросила себя Леленька: «другіе живутъ этимъ. Что-жъ, что папенька чиновникъ?»

Но вмѣсто этихъ соображеній, ей пришло другое: можно встать чѣмъ-свѣтъ и унести шитье съ собой въ садъ. Она такъ и сдѣлала. Маменька это видѣла и сказала ей, что она умница. Леленька не подозрѣвала, что шьетъ приданое своему жениху, и маменька прячется съ нимъ, боясь гнѣва папеньки за то, что холстъ взятъ въ долгъ, за то, что принялась, еще не совсѣмъ порѣшивъ, за то, что папеньку не спросилась—за многія причины. Но работа шла плохо. Леленька все прислушивалась, конечно, не къ шагамъ папеньки, который никогда не навѣщалъ своего сада, а къ малѣйшему шороху по дорожкѣ у сосѣда. Утро было славное, іюньское; въ монастырѣ отзвонили къ средней обѣднѣ—значитъ, ужъ восемь часовъ. Еще немножко, и будетъ поздно: въ половинѣ девятаго служащіе идутъ въ должность; сосѣдъ уйдетъ тоже...

За плетнемъ послышались его шаги. Леленька вскочила; полотно полетѣло въ траву, наперстокъ, ножницы очутились Богъ знаетъ гдѣ; руки дѣвочки уцѣпились за колья, одна изъ нихъ была расцарапана въ кровь, но дѣвочка этого не чувствовала.

— А! Леленька! сказалъ Веретицынъ, когда ея покраснѣвшее личико выглянуло изъза плетня.

— Я думала, вы уѣхали, сказала она.

— Куда? Я никуда не ѣду.

— Что же вы не приходили? Вѣдь шесть дней... Вы все дома были?

— Все дома; нездоровится.

— Вы больны?

Она съ первой секунды замѣтила, что онъ блѣденъ, и въ ту же секунду подумала, что это такъ только; въ эту секунду она ужъ ничего не думала.

— Что-жъ это вы?.. Чѣмъ вы больны?

— Такъ. А вы какъ поживаете?

— Ничего... Но вы, совсѣмъ такъ и не выходите? Вѣдь это нехорошо (ей хотѣлось заплакать)... Погода, смотрите, какая чудесная.

— Что-жъ дѣлать! Прощайте, Леленька!

— Куда же вы?

— Домой; пойду, лягу.

Она смотрѣла ему вслѣдъ, въ саду, во дворѣ, увидѣла его еще одну минуту, когда онъ отворилъ окно своей комнаты. Онъ не показался больше.

«Должно быть, легъ», сказала себѣ Леленька.

Она сѣла подъ липу и рыдала, заливаясь горькими слезами. Приди въ эту минуту маменька, папенька—ей было все равно; сдѣлай они съ нею, что только имъ вздумается — ей было все равно. Она подумала: не дать ли Богу какое нибудь обѣщаніе и, не думая, надавала ихъ множество самыхъ неисполнимыхъ. Что-то, казалось ей, кончилось, и вся жизнь съ этимъ кончилась, потому что до этихъ поръ можно было все сносить: и скуку, и обиды, и никого не было нужно; что-то другое было, не одинъ вздоръ, сплетни, ученье безъ толку... А вотъ теперь, онъ умретъ—и все кончено.

Леленька такъ долго плакала, что забыла и время. Ее пришли звать обѣдать. Маменька ухаживала за папенькой, чтобъ поддержать его въ мирномъ расположеніи духа, а потому не обратила вниманія на заплаканные глаза Леленьки. Едва улегся папенька, Леленька опять ушла въ садъ. Она вспомнила о своемъ дѣлѣ, отыскала ножницы и наперстокъ и стала шить. Ей пришло въ голову, что, можетъ быть, сосѣдъ придетъ опять, вечеромъ.

Вечеръ пришелъ и прошелъ — Веретицынъ не былъ. Леленька давно бросила работать и смотрѣла на огонь въ его окнѣ.

— Что ты тутъ, галокъ, что ли, считаешь? закричала маменька, вдругъ появившись сзади нея.

Наработано было мало, «барышню» застали у чужого плетня... Леленькѣ досталось за все. Въ заключеніе, такъ какъ секретъ все еще сохранялся отъ папеньки, ей было приказано уходить шить не въ садъ, а въ людскую, къ работницѣ.

XI.

Прошло еще дня три. Въ воскресенье Леленьку повели къ обѣднѣ, въ приходъ. Общее вниманіе всѣхъ, бывшихъ въ церкви, обратила на себя дама въ прекраснѣйшемъ гранатномъ бархатномъ бурнусѣ и соломенной шляпкѣ съ блондой и голубыми перьями: такіе роскошные туалеты были рѣдкостью для дальняго прихода. Дама пришла поздно и держалась модно, подвинула за плечи весьма удивленную этимъ поступкомъ дѣвочку, закутанную въ ковровый платокъ, незнавшую потомъ, какъ посторониться отъ обезпокоенныхъ юбокъ дамы. Дама прислонилась къ рѣшеткѣ клироса, уставала, становясь на колѣни. Ей принесли двѣ просвиры, а въ концѣ обѣдни церковный староста съ большимъ поклономъ подалъ третью.

— Это — казначейша, сказала маменька Пелагеѣ Семеновнѣ: — какъ это она не въ соборѣ?

Маменька была такъ заинтересована появленіемъ такой важной особы, что едва обратилась на поклонъ юнаго чиновника Фарфорова; чиновникъ отвѣсилъ поклонъ еще глубже госпожѣ казначейшѣ; но этотъ остался ужъ вовсе безъ отвѣта — подошелъ къ Леленькѣ, но Леленька тоже смотрѣла на казначейшу.

Казначейша въ это время удостоивала отвѣта знакомую даму, тоже въ бархатѣ, которая тоже спрашивала, какъ это она сюда вздумала и почему она не въ соборѣ.

— Опоздала, говорила она, стараясь сохранить аристократическую неподвижность, отчего едва отворяла ротъ и только слегка покачивала головой сверху внизъ, чтобъ придать величавое колебаніе своимъ перьямъ:—встала поздно. Вчера очень поздно легла; обезпокоилась съ вечера.

— Чѣмъ же? спрашивала знакомая.

— Братъ у меня боленъ, отвѣчала казначейша неохотно:—и безъ того, такое неудовольствіе, что онъ тутъ, а тутъ ему еще хуже сдѣлалось...

— Это крестъ на васъ, замѣтила съ участіемъ другая дама, которая хотя и не была знакома съ казначейшей, но не могла удержаться отъ искушенія подойти къ ея кружку.

Казначейша едва взглянула на нее и прошла.

Леленька была блѣдна какъ смерть; чиновникъ Фарфоровъ приписывалъ ея молчаніе удовольствію, доставленному его присутствіемъ, и объяснилъ маменькѣ:

— Это, дѣйствительно, что это на нихъ крестъ. Я въ одномъ столѣ сижу съ ихъ братцемъ. Они здѣсь, знаете, на самомъ дурномъ замѣчаніи... за стихи сюда присланъ... самый вредный человѣкъ.

— Въ домѣ у нихъ, однако, не слышно, замѣтила маменька:—тихъ, должно быть.

— Матушка, еще бы не тихому быть! вступилась Пелагея Семеновна: — на всемъ сестриномъ да зятниномъ живетъ.

— Мы полагали, продолжалъ Фарфоровъ: — они въ должность не ходятъ оттого, что разсердились, въ отпускѣ имъ отказали, а видно, въ самомъ дѣлѣ, хвораетъ.

— Э, ужъ лучше прибралъ бы его Богъ! прибавила Пелагея Семеновна.

— Развязалъ бы ихъ! заключила маменька.

Леленька посмотрѣла на нихъ. Дома маменька поговорила еще объ этомъ съ работницей, потомъ съ папенькой. Леленька ничего не ѣла весь день, не говорила ни слова. Папенька замѣтилъ ей:

— Что ты, волчонокъ, по угламъ прячешься?

Цѣлую недѣлю, которая прошла за этими днями, Леленька не помнила ничего, что дѣлалось кругомъ, что ей говорили, что съ ней дѣлали. Она не знала, что и сама она дѣлала; по какой-то привычкѣ, едва представлялась свободная минута, она бѣжала въ садъ, къ плетню, возвращалась, чуть дыша, за свою работу и шила молча, опять до свободной минуты. Вечера, когда папенька съ маменькой уходили со двора, или приходила Пелагея Семеновна, Леленька проводила всѣ у плетня. Окно было едва освѣщено; должно быть, горѣлъ ночникъ.

Въ воскресенье маменька не сбиралась къ обѣднѣ; Леленьку послали съ Пелагеей Семеновной. Ее мучило такое нетерпѣніе, что она не могла больше вынести, убѣжала изъ-подъ глазъ маменьки, прилетѣла въ садъ, взглянула — Веретицынъ сидѣлъ у своего открытаго окна...

— Ну, ужъ, милая, говорила этимъ вечеромъ Пелагея Семеновна маменькѣ: — сегодня за обѣдней его мать была, дивилась на вашу дочку: «Вотъ, говоритъ, богомольница; ниже куда взглянетъ, оборотится. Въ придѣлъ пошла, къ чудотворному образу, ужъ она поклоны клала, клала, смотрѣть хорошо». Я и говорю старухѣ: вотъ, говорю, какое сокровище сыну вашему Богъ посылаетъ. На что злющая, и та удивилась.

На другой день папенька былъ особенно гнѣвенъ за то, что еще не написали сестрицѣ Аленѣ Гавриловнѣ, хотя писать сбирался онъ одинъ, что, наконецъ, и исполнилъ. Что было въ письмѣ его — никто не зналъ; онъ погналъ и маменьку, когда она вошла въ его «покой», гдѣ онъ занимался этимъ дѣломъ. Кончивъ, онъ позвалъ Леленьку.

— Ты, небось, француженка, не умѣешь двухъ строкъ сложить. Ты когда нибудь писала къ крестной матери—а? не писала? Садись, пиши вотъ здѣсь. Перо-то какъ слѣдуетъ возьми, руками. Пиши!

Папенька диктовалъ и все предлинными словами, было и «благоговѣніе», и «благоусмотрѣніе». Леленькѣ казалось, что она списываетъ изъ Кошанскаго; почему-то ей было весело, хотя и подумалось одну секунду, что тетушка приметъ ее за полоумную. Когда она подписалась покорной воспріемной дочерью и племянницей, папенька собственноручно вывелъ на этихъ словахъ два кудрявыя яти.

— Батюшка мой, да это все не то! воскликнула маменька, слышавшая диктовку:— вѣдь тутъ о награжденіи ничего нѣтъ.

— Я писалъ! писалъ, слышишь? Я, отецъ, самъ писалъ! вскричалъ папенька:—не твое дѣло!

Онъ былъ такъ разгнѣванъ и разстроенъ, что испортилъ надпись на двухъ конвертахъ, приказалъ Леленькѣ надписать третій, наблюдая, чтобъ это было сдѣлано четко, безъ ошибокъ. Леленька постаралась; ей пять разъ крикнули въ уши и Васильевскій островъ, и проспектъ, и линію. Папенька самъ унесъ письмо на почту.

Леленька все это скоро забыла; она не слышала слезъ маменьки, что тамъ, въ письмѣ, можетъ быть Богъ вѣсть чего напутано, а толкомъ не сказано; что Алена ни съ чѣмъ останется; что тетушка «съѣдетъ», можетъ быть, на образѣ да на шляпкѣ какой нибудь, которую шляпку, можетъ быть, сама тетушка прежде таскала, а теперь только поновить дастъ. Леленька шила прилежно и думала, улыбаясь... Наконецъ, когда солнышко подошло къ полдню, самый тепленькій, здоровый часъ, она встала и сказала:

— Я, маменька, въ садъ пойду работать.

Пелагея Семеновна всходила на крыльцо и не одна, а съ торговкой и съ большимъ узломъ. Она и маменька ужъ нѣсколько дней присматривались и приторговывались къ шубѣ, крытой сатенъ-дублемъ. Маменька только махнула рукой на Леленьку.

Нѣсколько дней прошли для Леленьки за работой въ саду; она нашла мѣстечко, съ котораго не сгоняло ее даже солнце, входившее въ полдень. Съ этого мѣстечка ей стоило поднять голову, чтобъ видѣть прямо окно Веретицына. Она стала примѣчать, въ какое время оно отворялось и затворялось; разъ она видѣла, какъ Веретицынъ обѣдалъ. Почему ей захотѣлось плакать, глядя на это, почему, потомъ, вдругъ стало на себя досад-

но за такую глупость, и смѣшно, и стыдно, опять до слезъ—Богъ знаетъ. Ей, наконецъ, стало страшно, и приди сейчасъ Веретицынъ къ плетню, она бы убѣжала.

Въ одно утро, на окнѣ явились горшки съ цвѣтами. Леленька разсмотрѣла: волькамелія и геліотропъ.

«Должно быть, его любимые», подумала она: «еслибъ я знала... У Оленьки Бѣляевой давно цвѣтутъ геліотропы; когда онъ приходилъ сюда, я могла бы достать хоть вѣточку...»

Но цвѣты закрыли все окно, только изрѣдка просовывалась худая рука съ кружкой воды и поливала ихъ осторожно, подъ корень. Леленька выдернула бы ихъ съ корнемъ.

Въ одно послѣ обѣда, когда все почивало въ ея домѣ, когда, сколько она могла замѣтить, обыкновенно спалъ и сосѣдъ, Леленька вспомнила его книжку, «Ромео», и сбѣгала за нею. Ей не хотѣлось читать съ начала, и въ срединѣ были сцены, которыя какъ-то не интересовали ее; но ей вдругъ вспомнились вещи, которыя показалось необходимо перечитать. Она отыскивала ихъ нетерпѣливо, стала читать будто спѣша, и ей самой казалось странно, что языкъ и слогъ, которые прежде такъ затрудняли, теперь были понятны безъ всякаго труда; какъ-то переводились въ умѣ, въ сердцѣ, не словами, но какимъ-то ощущеніемъ яснѣе и полнѣе словъ. Когда Леленька подняла голову отъ книги, ее испугали вѣтки липы, которыя темнѣли надъ нею; на окно она не осмѣлилась оглянуться и вдругъ убѣжала изъ сада.

Она не возвращалась туда до слѣдующаго вечера и то пошла съ дѣтьми, и то подальше, и не подошла къ плетню.

Маменька уже нѣсколько дней твердила, что надо насушить липоваго цвѣта на зиму, и наконецъ рѣшилась пойти за нимъ.

— Возьми платокъ, во что собрать, да стулъ, влѣзешь, наломаешь, сказала она Леленькѣ.

Маменька теребила нижнія вѣтки, между тѣмъ какъ Леленька, стоя на стулѣ, старалась не испортить хотя верхнихъ. Сзади ея, въ сосѣднемъ саду, стукнула калитка.

— Видишь ты, казначейшинъ братъ-то не умеръ... сказала маменька.—Умница, ты не свались мнѣ на голову!

Леленька удержалась за вѣтки; оглянувшись, она увидѣла только, что Веретицынъ уходилъ изъ сада: стало быть, онъ былъ тамъ давно, и онъ уже гуляетъ; стало быть, онъ можетъ придти завтра, только не рано утромъ и не поздно вечеромъ.

Она дождалась этого завтра. Веретицынъ два раза обошелъ свой садъ; она была въ двухъ шагахъ отъ него, хотѣла позвать, заговорить, и оба раза, какъ онъ проходилъ близко, пряталась за плетень. Ей было страшно... Это повторилось и въ слѣдующіе дни: Веретицынъ приходилъ, ложился въ тѣни въ то самое время, какъ Леленька сидѣла у себя въ тѣни и шила. Такъ проходилъ часъ, два. Леленька видѣла его сѣрое пальто, слышала шелестъ его книги, хотѣла кликнуть, и все не могла. Ей было страшно... Она перестала спать, стала плакать по ночамъ.

Папенька, по случаю двухъ праздниковъ сряду, уѣхалъ за городъ. Маменька собралась пѣшкомъ на богомолье въ недалекій монастырь; ея спутница была Пелагея Семеновна; воротиться должны были вечеромъ, Леленька просилась съ ними: у нея на душѣ лежало много обѣщаній, но, главное, она сама не знала, почему ей хотѣлось уйти куда нибудь; ей было такъ тяжело, что не порадовала даже перспектива цѣлаго свободнаго дня; все было не то, чтобъ немило, было бы даже горько до слезъ уйти на цѣлый день, безпокоиться, какъ тутъ все будетъ безъ нея, но хотѣлось попробовать, не лучше ли будетъ отъ этихъ слезъ и безпокойства... Маменька отказала подъ очень дѣльнымъ предлогомъ: кто-жъ присмотритъ за дѣтьми? и ушла въ заутреню.

Леленька дала себѣ слово не смотрѣть за дѣтьми, но дѣти сами, и не спрашивая ее, убѣжали къ сосѣдямъ, а трехъ меньшихъ, тоже не спрашивая ее, работница увела въ луга. Обѣдать не готовили: дѣтямъ довольно было холоднаго, вчерашняго. Леленька заперла всѣ окна, сѣни, калитку, взяла шитье и ушла въ садъ.

«Если кто стукнетъ въ ворота, я услышу», сказала она себѣ и слушала.

Въ ворота ея дома не стукнулъ никто. Шаги сосѣда раздавались по дорожкѣ, но недолго: онъ ушелъ въ тѣнь, легъ и читалъ. Леленька сосчитала, что около трехъ недѣль не говорила съ нимъ.

«И лучше: отвыкну», подумала она. «Что привыкать къ глупостямъ? Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, нельзя жить такъ, что только и думать, какъ бы повиснуть на плетнѣ да говорить Богъ знаетъ что. Я ни къ чему толкомъ не пріучаюсь—ни къ хозяйству, ни къ дѣлу, а мнѣ шестнадцатый годъ. Люди добрые ходятъ, встрѣчаются, я не умѣю слова сказать. Училась—все перезабывать стала. Передъ папенькой и маменькой... это надо на духу сказать. Все во мнѣ какъ-то перевер-

нулось. Развѣ такъ живутъ въ мои годы? Вотъ, другія барышни...»

И вдругъ она сбросила съ колѣнъ работу, смяла ее въ комокъ, бросила о-земь и заплакала горько, почти съ крикомъ.

— Что-жъ это за жизнь? Что-жъ это хозяйство — брань, пустяки, возня цѣлый день! Какіе это люди—Пелагея Семеновна, Фарфоровъ этотъ, дуракъ? Ученье-долбленье безъ толку? Папенька, маменька... Господи, да кто же бы слово сказалъ, еслибъ не онъ, еслибъ не онъ...

Леленька побѣжала къ плетню; она не успѣла выглянуть изъ-за него, какъ въ саду у сосѣда раздалось восклицаніе:

— Александръ Иванычъ, гдѣ вы?

Веретицынъ выскочилъ изъ-за кустовъ, очень проворно для человѣка недавно умиравшаго, и бросился на встрѣчу той, которая входила. Это была молодая особа въ бѣломъ платьѣ съ голубыми и розовыми цвѣточками; Леленька разсмотрѣла какъ-то все разомъ. Платье и просто, и пышно, волновалось особенно красиво; соломенная шляпка, тоже очень простая, но круглая и широкая, какихъ тогда и не видали въ N*. Гостья будто освѣтила садъ; отъ нея все кругомъ стало будто лучше.

— Софья Александровна, какъ это вы здѣсь однѣ? спросилъ Веретицынъ.

— Изъ деревни, одна, отвѣчала она.

Леленька въ жизнь свою не слышала ничего милѣе этого голоса: что-то звонкое, нѣжное, ласковое, не то пѣніе птицы, не то голосъ ребенка.

— Пріѣхала въ городъ покупать разныя разности для работы, а къ знакомымъ--только къ вамъ, узнать, что вы. Вашей сестры, говорятъ, дома нѣтъ, вы—въ саду, я просила проводить меня въ садъ. Ну, что же? что съ вами?

— Ничего, теперь здоровъ.

— Вы такъ напугали... мы ждали васъ... Постойте, вотъ вамъ деревенскій гостинецъ.

Она осторожно развернула большой свертокъ бумаги, который держала, и вынула изъ него двѣ большія свѣжія розы.

— Первыя. Я такъ берегла, когда везла, боялась смять.

Веретицынъ смялъ ихъ, цѣлуя ея руки. Изъ-подъ полей шляпы были видны ея ротъ и щеки, свѣжѣе и восхитительнѣе цвѣтовъ.

— Жарко! сказала она, снимая шляпку:— сядемте гдѣ нибудь.

На солнцѣ волосы ея отливали розовымъ золотомъ, такой же золотой отливъ былъ въ ея карихъ, почти черныхъ глазахъ, когда она подняла ихъ, оглядываясь кругомъ.

Веретицынъ тоже оглянулся, но съ досадой на свою скамейку.

— Солнце, сказалъ онъ:—гдѣ сѣсть?

— А вотъ гдѣ, сказала она, садясь на траву недалеко отъ плетня: — достанетъ здѣсь тѣни на полчаса?

— И больше. Немного удобствъ я предлагаю вамъ въ моихъ... и даже не въ моихъ владѣніяхъ.

— Послушайте, когда же вы къ намъ? Маменька велѣла звать васъ непремѣнно.

— Никогда, я думаю.

— Почему?

— Не пускаютъ! отвѣчалъ Веретицынъ.

— Какъ же это? На прошлой недѣлѣ... На прошлой недѣлѣ были именины маменьки; у насъ былъ кое-кто изъ города, въ томъ числѣ Ибраевъ. Я не знала, что вы съ нимъ знакомы. Вы дружны?

— Богъ миловалъ, отвѣчалъ Веретицынъ.

— Онъ спросилъ о васъ и жалѣлъ, что васъ нѣтъ. Я сказала, что вы больны. Онъ этого не зналъ. Онъ былъ увѣренъ, что вамъ дали отпускъ, самъ о немъ просилъ.

— То есть, онъ вамъ солгалъ, чтобъ заодно выказать и чувствительность своего сердца, и свободу своихъ мнѣній. Вотъ, гдѣ неудобно этимъ кокетничать, такъ онъ поетъ другое. Этотъ другъ и либералъ наговорилъ на меня моему начальству такіе страхи, что начальство, полагаясь на слово такого человѣка, вообразило, что позволить мнѣ на двѣ недѣли выѣхать изъ города — все равно, что спустить съ цѣпи бѣшеную собаку... Я его не пускаю къ себѣ на порогъ, этого друга. Онъ, вѣроятно, безъ свидѣтелей говорилъ обо мнѣ?

Софья не отвѣчала.

— Вы меня извините, продолжалъ чрезъ минуту Веретицынъ: — я такъ глупо привыкъ говорить вамъ все, что думаю, что и теперь выговорился, можетъ быть, некстати.

— Что такое?

— Да вотъ, о Ибраевѣ. Можетъ быть, слѣдовало и помолчать.

— Почему?

— Такъ... Вы, можетъ быть, понимаете его иначе; человѣкъ онъ порядочный, изъ общества... А я ужъ до того одичалъ, одурѣлъ, сужу о людяхъ по ихъ отношеніямъ лично ко мнѣ: это такъ ограничено, такъ жалко, мелко... Пожалуйста, извините. Я беру назадъ, если что сказалъ.

— Возьмите назадъ, вотъ то, послѣднее, что вы сейчасъ сказали, тихо возразила Софья:— вамъ прощается потому только, что вы недавно были больны и всегда раздражены.

— То-то я и думаю; раздраженъ! прервалъ Веретицынъ:— изъ чего раздраженъ? Право-то гдѣ раздражаться? Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, я не непризнанный великій человѣкъ. Въ 1852 году по Р. Х. нѣтъ такого урожая на великихъ людей, чтобъ и на мою долю выпало величіе. Положеніе мое, конечно, не совсѣмъ пріятное, но я не заслужилъ такихъ почестей несчастія; я страдаю много за немногое—такъ ли? Вы вѣдь знаете мою исторію, Софья Александровна?

— Положимъ такъ, сказала она:—но...

— Но, позвольте! стало быть, если я не непризнанное величіе, то ничего больше, какъ нашумѣвшая посредственность. Слѣдовательно, такіе люди, какъ господинъ Ибраевъ и компанія, совершенно правы, не знаясь со мною, отказываясь отъ меня: я даже не интересенъ, я глупъ для нихъ; я попался въ пустякахъ, какъ мелкій воришка. Они избрали себѣ путь и идутъ по немъ доблестно, съ ихъ точки зрѣнія. Я поступилъ, какъ мнѣ показалось, доблестно съ моей точки зрѣнія, прогналъ отъ себя Ибраева; но правъ ли я былъ въ самомъ дѣлѣ...

— Вы виноваты предъ самимъ собой, прервала Софья.

— Это новость. Сдѣлайте милость, объясните.

— Я вамъ почти сказала... Вы раздражаетесь за мелочи.

— Я вѣдь то же сказалъ, возразилъ Веретицынъ, вспыхнувъ и засмѣявшись: — я человѣкъ мелкій, такъ, заодно, срываю сердце, раздражаюсь мелочами.

— Не сердитесь, ради Бога, прервала она кротко: — скажите правду, признайтесь: вы горды, вы ваше достоинство понимаете; какъ же позволять себѣ — извините! унижаться до злости на какого нибудь Ибраева, на человѣка, котораго вы презираете? За что себя портить? стоитъ ли волноваться? Полноте! На васъ смотрѣть тяжело: всякую мелочь къ сердцу! Возьмитесь за жизнь полегче.

— Дайте жизнь полегче! прервалъ Веретицынъ:—въ мелочахъ измельчаешь поневолѣ. Развѣ одинъ Ибраевъ—извините, Софья Александровна... разсказывать, что я выношу по мелочи... это вслухъ не говорится, пощадите меня! Вотъ, вы въ гостяхъ у меня, а на землѣ сидите; еслибъ не ваши книги, я разучился бы грамотѣ... Еслибъ я былъ изъ такихъ, что пишутъ уложенія... такіе, вотъ, не мельчаютъ ни на понтонахъ, ни на каторгѣ, а я—съ меня довольно и этого! Если это когда нибудь кончится, я знаю, что выйду не человѣкомъ, идіотомъ, животнымъ.

— Перестаньте! возразила Софья:—вѣдь это отчаяніе...

— А отчаяніе—смертный грѣхъ, продолжалъ онъ, засмѣявшись. — Ну, вы такъ добры, какъ нибудь отмолите за меня. «Помяни грѣхи мои въ молитвахъ»... Я знаю, что я смѣшонъ — это ужъ моя такая судьба: и несчастье глупое, и жалобы мелочныя, и выходъ изъ всего — ничтожество. Я себя такъ и готовлю. Вотъ, подождите, оперюсь: за благонадежное поведеніе и способности сдѣлаютъ меня помощникомъ столоначальника, и такъ далѣе, далѣе, по этой карьерѣ; я, человѣкъ напуганный, съумѣю кланяться пониже; узналъ цѣну мѣднаго гроша — выучусь воровать, и все пойдетъ отлично! Книжки сгубили, ну, ихъ въ сторону! преферансъ съ сподвижниками по службѣ, по праздникамъ рекреаціи въ трактирѣ...

— Александръ Иванычъ, опомнитесь, прервала Софья:—вы ли это?

— Это я въ будущемъ, отвѣчалъ онъ, смѣясь, и отвернулся, разглядывая высокій кустъ травы, подлѣ котораго сидѣлъ.

— Помилуйте! сказала она чрезъ минуту, ласково и вмѣстѣ съ смущеніемъ, такъ что задрожалъ ея голосъ:—нехорошо! за что вы себя напрасно мучите? ко всему горю еще это!

Веретицынъ не оглядывался.

— Послушайте, продолжала Софья, слегка дотрогиваясь до его рукава своими тоненькими пальчиками: — вѣдь вы на себя Богъ знаетъ что говорите? Вѣдь это неправда, и вы знаете, что неправда, такъ зачѣмъ же? Развѣ вамъ легче? вѣдь вамъ самому хуже отъ такихъ словъ.

— Все равно, тихо выговорилъ Веретицынъ.

— Нѣтъ, не все равно, возразила она.

Онъ обернулся, сильно взялъ ея руку и сталъ цѣловать ее. Софья поцѣловала его въ голову; у нея навернулись слезы.

— Право, вѣдь я не мораль вамъ читаю, сказала она тихо:—но что-жъ хорошаго? Вы какъ нибудь потерпите, подождите.

— Чего ждать? прервалъ онъ, еще не поднимая лица отъ ея руки: — чтобъ вы меня полюбили?

Она не ахнула, не шевельнулась, только взглянула на него съ испугомъ. Ихъ взгляды встрѣтились.

— Я васъ люблю, я васъ два года люблю, сказалъ твердо Веретицынъ: — вѣдь вы меня не полюбите? никогда?

Софья молчала. Онъ смотрѣлъ ей въ глаза.

— Вотъ, тогда было бы для чего терпѣть, было бы для чего ждать... но вѣдь вы меня не полюбите?

Она все молчала. Онъ былъ блѣденъ какъ смерть, задыхался, но продолжалъ твердо и все глядя на нее:

— Я постарался бы остаться порядочнымъ человѣкомъ, не загрубѣть, не оглупѣть; я бы сберегалъ силы, чтобъ быть въ состояніи заработывать честный кусокъ хлѣба: вамъ, я знаю, такого куска довольно... я бы не морилъ себя физически, потому что и до этого доходитъ.

— Я буду любить васъ, выговорила она, поблѣднѣвъ тоже.

— Изъ состраданія-то? изъ самоотверженія? вскричалъ онъ съ своимъ страннымъ смѣхомъ:—покорно васъ благодарю, не надо!

— Почему же вы думаете... начала она.

— Да вѣдь вы лгать не умѣете, прервалъ Веретицынъ: — я вѣдь цѣлый часъ смотрю вамъ въ глаза! Полноте, не принуждайте себя, не надо: я самоотверженія боюсь; я человѣкъ дурной — я за него заплатить не съумѣю, я за него благодарить не умѣю! Пожалуйста, не воображайте, что ваша доброта обязываетъ васъ на жертву: я ужъ понялъ, что это жертва — я ея не прошу, я знаю, что вы совершенство... отъ совершенства намъ, грѣшнымъ, очень тяжело!

Она встала.

— Послушайте...

— Что слушать! вскричалъ Веретицынъ:—вѣдь я васъ знаю! За что же я васъ люблю, какъ не за эту доброту, за это совершенство, за эту правду? Ну, скажите правду, прямо: вы меня не любите?

— Нѣтъ, отвѣчала она, наклоняя голову и со слезами.

— Вотъ такъ, прекрасно! И я не буду больше напрасно добиваться: насильно милъ не будешь. Чего нѣтъ, того нѣтъ... Простите все, что я наговорилъ и прощайте: вы, кажется, ужъ хотите уйти?

Софья обернулась вдругъ и протянула ему руки.

— Еслибъ вы знали, сказала она въ слезахъ:—я не могу... мнѣ такъ больно.

— Не принуждайте себя: вѣдь вы не виноваты! отвѣчалъ Веретицынъ и засмѣялся.

— А вы жестоки! сказала она, рыдая.

— Такъ тѣмъ простительнѣе оставить меня на произволъ судьбы, возразилъ онъ.

— Послушайте, приходите къ намъ, пріѣзжайте къ намъ! Все, что въ моихъ силахъ, все, что можетъ васъ утѣшить попрежнему...

— Что же мнѣ дразнить себя, Софья Александровна: меня можетъ утѣшить только то, что не въ вашихъ силахъ. Не безпокойтесь обо мнѣ.

— Но что же это будетъ?

— А вы понимаете, что будетъ невесело? Ничего. Будетъ вотъ этотъ огородъ, вотъ этотъ домъ, губернское правленіе... Авось, ненадолго!

— Я васъ люблю! вскричала она.

— Не лгите, возразилъ онъ.

Она зажала руками лицо и побѣжала къ калиткѣ. Веретицынъ не трогался съ мѣста.

— Еслибъ вы говорили правду, сказалъ онъ ей вслѣдъ, смѣясь и громко:—вы бы не ушли отсюда!

XII.

Леленька встала, держась за плетень, у котораго сидѣла на землѣ: у нея подгибались колѣни, стучало сердце, голова была сжата; ей было холодно.

«Я точно угорѣла», сказала она себѣ.

Ея губы, которыя шевельнулись, чтобъ выговорить это, сжались вдругъ судорожно; она вскрикнула и побѣжала въ домъ.

Два часа металась она на своей постелькѣ и рыдала, не умолкая. Работница воротилась, не достучалась и была принуждена перелѣзть черезъ заборъ, чтобъ отворить калитку и впустить дѣтей, которыхъ собрала и привела обѣдать. Увидя слезы барышни, работница предположила, что барышня, оставшись одна, чего нибудь испугалась, и потому наказала дѣтямъ, когда воротится папенька съ маменькой, не говорить имъ, что сестрица плакала: достанется, зачѣмъ всѣ уходили и домъ стоялъ пустой. Резонъ былъ дѣльный, и дѣтямъ, кромѣ того, было мало дѣла до слезъ старшей сестры. Леленька встала, слабая, какъ больная, къ вечеру убрала, что было нужно, чтобъ маменька, воротясь, не сердилась; сходила въ садъ, отыскала свою работу и сѣла съ нею въ комнатѣ у окна. Маменька воротилась съ Пелагеей Семеновной; нанесли множество просвиръ; по случаю того, что папеньки не было дома, Пелагея Семеновна осталась ночевать; очень долго пили чай, ужинали, разговаривали, не смотря на усталость; эта усталость дала знать о себѣ часовъ въ десять вечера храпѣніемъ, которое раздалось по всему дому.

Леленька легла и опять встала; все спало, конечно, только въ ихъ домѣ и переулкѣ. Вдали слышался еще шумъ: гулявшіе расходились по домамъ, городъ еще не затихъ. Нѣжный лунный свѣтъ сквозилъ въ щели ставень. Леленька одѣлась въ полутемнотѣ, пробралась мимо сонныхъ дѣтей, отворила

дверь на крыльцо и вышла. Собака заворчала и, узнавъ ее, улеглась опять.

«Уйду куда нибудь...» сказала Леленька.

Она оглядывалась на пустой, узенькій дворъ, на запертую калитку. Мѣсяцъ свѣтилъ блѣдно, какъ всегда въ лѣтнія ночи; въ воздухѣ ничто не шелохнулось; понемногу затихалъ шумъ вдали; Леленькѣ становилось страшно: никогда въ жизнь свою не была она такъ одна, безъ спроса, ночью.

«Уйду куда нибудь...», повторила она, вздрагивая и будто спрашивая себя, достанетъ ли у нея на это смѣлости. «Только куда уйти?»

Она зажала себѣ руками лицо, и вдругъ ей вспомнилось точно такое движеніе красавицы, которую она видѣланоутру, которая ушла точно въ такихъ же слезахъ... «Есть о чемъ ей плакать! Вотъ попробовала бы, вынесла...»

Леленька хотѣла метаться, рыдать, кричать, не понимая, что дѣлаетъ; она побѣжала въ садъ—дорога знакомая. Въ головѣ ея закружились, одна за другой, самыя странныя мысли: ей хотѣлось умереть; ей хотѣлось, чтобъ умеръ кто нибудь, чтобъ, вотъ, сейчасъ, все кончилось, потому что такъ жить нельзя... Она бѣжала. Богъ знаетъ почему, вдругъ вспомнились ей — а эти слова еще такъ ей нравились:

«Любовь летитъ къ предмету любви, какъ школьникъ бѣжитъ отъ книги...»

Проклятая книга, въ которой это написано! Эта книга, смятая, сложенная вчетверо (такъ научили!) была тутъ, въ карманѣ, привыкла лежать въ немъ... Леленька выхватила ее и, разбѣжавшись, бросила черезъ плетень въ сосѣдній садъ. Она точно оторвала свое сердце и бросила. Листы тетрадки едва зашелестили, легко падая на траву. Леленька еще одну минуту взглянула, куда она упала, и схватилась за плетень, чтобъ не упасть самой; Веретицынъ ходилъ по своей дорожкѣ, потупя голову, не оглянувшись на шорохъ.

— Все по ней тоскуетъ! сказала Леленька, глядя ему вслѣдъ, между тѣмъ какъ его фигура, удаляясь, сглаживалась въ полутьмѣ: — все по ней... А спросилъ бы, тутъ легко ли?... Кто это все надѣлалъ? Еслибъ не онъ, еслибъ онъ не говорилъ, не мутилъ... Вотъ же ему! Хорошо, что Богъ его наказалъ...

Ея слезы такъ и скатывались, одна за другою.

— Пусть на себѣ испытаетъ, каково, когда все отнимутъ! Все немило, вся жизнь немила — пусть и ему то же! Онъ всему смѣется — вотъ, пусть эта красавица надъ нимъ посмѣется! Бывало... бывало, такъ всю душу перевернетъ, какъ что скажетъ... Зачѣмъ онъ говорилъ? на что ему было доводить бѣдную такую, заброшенную дѣвочку до горя? Ну, разговаривалъ бы съ своими красавицами! Какое ему дѣло, знаю я Кошанскаго или нѣтъ? развѣ... Господи, Боже мой! развѣ веселѣе ему стало, какъ онъ доказалъ, что я ничего не знаю? Характеръ мой испортилъ... вѣдь онъ долженъ былъ понимать, что всякое его слово все равно, что ножъ по-сердцу, что послѣ него я ужъ ни на кого смотрѣть не могу... кажется, умный человѣкъ, долженъ былъ понять. Нужно, вотъ, было... И пусть его Богъ наказываетъ, пусть ему еще хуже...

Она рыдала и вдругъ, замѣтивъ, что сосѣдъ остановился и какъ будто прислушивался, стремглавъ убѣжала изъ сада домой и осторожно добралась до своей постели. Тамъ, въ темнотѣ, въ жаркой комнатѣ, ей не спалось и пришла другая забота: что-жъ надѣлала она, бросивъ книжку? Ну, если онъ ее не найдетъ, собаки изорвутъ, а онъ пришлетъ за ней какъ нибудь, или самъ спроситъ... Самъ-то не спроситъ, онъ въ садъ глазъ не покажетъ, ну, пришлетъ; папенька спроситъ, отъ кого...

Забота начинала принимать характеръ несбыточнаго; усталость и поздній часъ сдѣлали свое. Леленька заснула.

Слѣдующій день былъ тотъ другой праздникъ, которому семейство было обязано отсутствіемъ папеньки. Отсутствіе папеньки дѣйствовало тоже какъ-то празднично, успокоительно. Пелагея Семеновна осталась на весь день. Былъ Петровъ постъ, но, по случаю отсутствія папеньки и праздника, маменька рано утромъ сходила на базаръ за рыбой. Пока маменька занималась на кухнѣ, Пелагея Семеновна изъявила желаніе побесѣдовать съ дочкой, экзаменовала ее въ хозяйствѣ.

— А вы, мой ангелъ, умѣете, какъ маменька, что приготовить?

Леленька могла что умѣла и то больше по теоріи; на практикѣ мать никогда не допускала ее ни къ чему притронуться, и теперь, маменька, услышавъ вопросъ, откликнулась:

— И, матушка! пустить эту модницу, да она того настряпаетъ, что собака ѣсть не станетъ.

— Какъ есть, барышня! возразила, пріятно улыбаясь, Пелагея Семеновна.—Ну, а на музыкѣ вы, мой ангелъ, занимаетесь? Вы сыграйте полечку, я послушаю. Обѣдни-то ужъ, никакъ, отошли: можно.

Леленька стала играть, собака завыла.

— Что это она, песъ! сказала Пелагея Семеновна и открыла окошко во дворъ, утѣшаясь бѣшенствомъ собаки:—вправду песъ какой у васъ блажной!

Она любовалась на него и слушала его во все время польки.

— А по-французскому, вы, мой ангелъ, читаете? Ну-ка, почитайте, я послушаю; я хоть и не пойму, а все лестно.

— Зачѣмъ же, если не понимаете, Пелагея Семеновна?...

— Ну, разсуждай у меня! отозвалась маменька.

— Да у меня и книги нѣтъ...

— Какъ нѣтъ! врешь! какую же ты все читала. Сейчасъ читай!

У Леленьки сдавило горло, уши горѣли отъ злости, отъ тоски; она сейчасъ бы, сейчасъ бы убѣжала куда нибудь, силъ нѣтъ! хотѣлось не плакать, а кричать, рвать на себѣ волосы...

— Вы маменьку не безпокойте, сказала ей шопотомъ Пелагея Семеновна:—эхъ, характеръ-то у васъ какой! отвыкайте вы, мой ангелъ, отвыкайте, сократите себя! Какъ въ семьѣ, да съ мужемъ жить придется... Вѣдь мужу подъ-руку не попадайся—ничто возьмешь. Отъ папеньки съ маменькой принять легко, а отъ мужа... охъ, куда тяжело! Сама знаю... Вы почитайте, такъ строчки три, красавица.

Леленька стала читать вслухъ французскую грамматику; слезы крупнымъ градомъ сыпались на книжку. Пелагея Семеновна покачивала головой по направленію къ кухнѣ и забавлялась иностранными словами.

— Видишь, какъ катаетъ, умница! сказала она:—ну, вотъ и будетъ, раскрасавица моя; потѣшились. Только покоряться, покоряться надо, прибавила она шопотомъ.— А теперь мы съ вами въ садикъ, во зеленый садъ пойдемъ, грусть-тоску разгуляемъ.

— Я не пойду въ садъ, возразила Леленька.

Пелагея Семеновна увела ее за руку.

— Вишенья-то, вишенья что у васъ нынѣшній годъ будетъ! говорила она, таща за собой дѣвочку. — Запирать садъ надо, родная моя; вы тогда хоть на рыскало пса вашего тутъ привяжите, какъ поспѣвать станутъ. Заборъ-то у васъ какой; вотъ, тутъ какъ разъ казначейскіе перелѣзутъ, оборвутъ. И, головорѣзы, стоютъ вашихъ ребятъ!.. Посмотрѣть къ нимъ. Вотъ, какой у васъ сосѣдъ-кавалеръ прогуливается. Ужъ нечего сказать, распрекрасный! Вы, я думаю, ангелъ мой, никогда его и не видали, брата-то казначейшина! Вонъ онъ, изъ-подъ дальки, никакъ, выглядываетъ. И смотрѣть на него нечего. Вамъ такого ли, душа моя, надобно? Вамъ надо, чтобъ былъ кровь съ молокомъ, хорошій, а это... и, прости Господи! посмотришь-то, согрѣшишь, вчера только Богу молиться ходила, на «дѣяніяхъ» такихъ-то пишутъ... У васъ тамъ, никакъ, красавица, горохъ сахарный посаженъ, гряды я видѣла? Да, никакъ, и поспѣвать сталъ? Хорошо, когда, позабавиться...

Пелагея Семеновна пробиралась къ грядамъ; маменька позвала ее кушать пирогъ и приказала Аленѣ оборвать и принести что поспѣло этого гороху.

Леленька осталась одна и стояла, опустя голову. Вокругъ нея было тихо, только пѣла какая-то птичка, но и она замолчала, и все явственнѣе стали слышаться шаги по сосѣдней дорожкѣ...

«Да что-жъ я?» вдругъ сказала себѣ Леленька: «мнѣ скучно, да вѣдь и ему скучно. Почему же мнѣ и не взглянуть на него?»

Она пошла къ плетню все тише и робче, по мѣрѣ того, какъ подходила, но подошла, однако. Веретицынъ подходилъ тоже. Леленька испугалась: у него въ рукахъ былъ «Ромео», и убѣжать было уже невозможно.

— Здравствуйте, сказалъ Веретицынъ, своимъ обыкновеннымъ шутливымъ тономъ. — Что, вы забросили это, по ошибкѣ, вмѣсто Кошанскаго?

— Упала... выговорила Леленька и какъ-то невольно протянула руку за книгой.

— За десять шаговъ и въ сторону?

Веретицынъ тихо улыбался и качалъ головою.

«Пусть скажетъ не лгите, какъ вчера, той...» подумала Леленька въ эту секунду...

Веретицынъ, вѣроятно, вспомнилъ тоже.

— Нужна она вамъ? спросилъ онъ серьезно и рѣзко.

— Нѣтъ, отвѣчала тоже рѣзко Леленька.

— Не понравилось? Принесть вамъ Бову-королевича?

— Вы все надо мной смѣетесь, все смѣетесь, съ перваго дня... Я ужъ не знаю за что... сказала она, вдругъ огорчаясь до слезъ, такъ что прошла вся досада.

— Виноватъ, отвѣчалъ Веретицынъ и повернулся, чтобъ идти.

— Нѣтъ, послушайте, послушайте, повторила она, протянувъ даже руку, чтобъ остановить его. — Что вы со мной сдѣлали, со мной... до чего вы меня довели?..

— Васъ поймали съ этой книгой и въ уголъ поставили? спросилъ онъ.

— Господи Боже мой! да выслушайте толкомъ хоть одну минуту!.. Я, по вашей милости, стала думать, стала понимать такія ужасныя вещи... мнѣ и домъ, и отецъ, и мать... Вѣдь я несчастная! Еслибъ вы, вы, по крайней мѣрѣ... еслибъ отъ васъ я видѣла... а вы...

— Леленька, мнѣ и безъ васъ скучно, полноте блажить, прервалъ Веретицынъ.

— А, слава Богу, что вамъ скучно, вскричала она, зарыдавъ.

— Ну, вотъ и прекрасно, отвѣчалъ онъ:— такъ проживете. До свиданія.

Онъ ушелъ изъ сада, стукнувъ калиткой. Леленька вспомнила стукъ молотка, который она слышала одинъ разъ въ жизни, бывъ на похоронахъ. Почему ей это вспомнилось, что дѣлалось съ ней—она не знала; она хотѣла уйти—не могла, сѣла на землю, ничего не помня. Мать пришла за ней и, заставъ эти слезы, сама испугалась, сама повела ее въ комнаты.

— Ты чего? да что съ тобой, Алена — а? Аленушка?

Пелагея Семеновна замѣтила шопотомъ маменькѣ, что, должно быть, барышня узнала о женихѣ, услышала какъ нибудь, и оттого—дѣло дѣвичье—убивается.

— И правда, сказала маменька. — Дурочка ты моя, ты поди сюда... ну, поди.

Леленька вышла изъ-за перегородки, гдѣ лежала.

— Ты о Викторѣ Мартынычѣ слышала, что ли?

— Нечего, голубчикъ, плакать; какъ есть красавецъ-мужчина, примолвила гостья.

— И человѣкъ прекраснѣйшій, съ достаткомъ; поди, барыней жить будешь. Это надо Господа Бога благодарить, что такого сожителя посылаетъ. Сама-то ты что такое? Вѣдь въ люди показать тебя совѣстно: это надъ тобой милосердіе Божіе. Чего ревѣть? Рано еще начала; дай вотъ Успеньевъ день пройдетъ, чинъ господинъ Фарфоровъ получитъ, а тебѣ шестнадцать сравняется, вотъ, тогда хоть цѣлый день кричи. А ты хоть кричи-некричи, а я все-таки отдамъ. Я, вотъ, отцу скажу, дай еще! коли ты сейчасъ у меня, духомъ, не замолчишь. Отецъ не пошутитъ; ты его еще не знаешь.

— А вотъ, къ тому сроку, крестная маменька изъ Санктпетербурга бурдесуа пришлетъ: мы тогда платье подвѣнечное сдѣлаемъ—ффа! съ оборками, вступилась гостья.

— Вы, маменька, можете меня убить на мѣстѣ, но я не пойду за Фарфорова! выговорила Леленька очень твердо...

XIII.

Этому прошло восемь лѣтъ.

Въ половинѣ послѣдняго августа, въ одинъ свѣтлый, теплый день, какіе случаются въ Петербургѣ предъ началомъ осени, въ залахъ Эрмитажа было особенно много посѣтителей. Нарядныя дамы, удивляющія шириной своихъ кринолинъ, спеленутыя въ круглыя мантильи, ничему неудивляющіяся дѣвицы, стянутыя до неподвижности въ модныхъ казакахъ и подающія признакъ жизни только довольно негармоничнымъ стукомъ каблуковъ по мрамору и паркету; блестящіе и довольно шумные юноши, спутники этихъ дамъ и дѣвицъ; дамы, менѣе нарядныя, но съ замѣтнымъ требованіемъ правъ на знаніе и пониманіе, съ громкимъ восторгомъ предъ именами; при нихъ дѣвицы, нѣсколько грустныя, и дѣти, нѣсколько запуганныя, и почти всегда ихъ спутникъ, объясняющій предметы искусства съ видомъ знатока, съ увѣренностью авторитета, очень пространно и не всегда понятно; провинціалы и провинціалки съ непритворнымъ умиленіемъ и запоздалыми туалетами; простые люди—мѣщане, лакеи, мастеровые, переходящіе отъ картины къ картинѣ и отъ статуи къ статуѣ, непремѣнно всей своей компаніей въ пять человѣкъ, нераздѣльно, довольные объясненіемъ камеръ-лакея; господа очень порядочные и очень серьезные, вдвоемъ, рѣдко втроемъ, не торопливые, смотрящіе долго на что нибудь одно, возвращающіеся изъ дальнихъ залъ къ тому, что обратило на себя ихъ вниманіе и говорящіе между собою такъ тихо, такъ оживленно и съ вида такъ дѣльно, что невольно заставляютъ оглядываться художниковъ, которые съ своими мольберами, табуретами и хозяйствами кистей и красокъ помѣстились около стѣнъ и прилежно трудятся, копируя великія произведенія. Художникамъ нерѣдко бѣда отъ посѣтителей: мольберъ предъ картиной вызываетъ любопытство даже самыхъ равнодушныхъ, въ особенности дамъ; всѣ непремѣнно хотятъ видѣть то, на что, не будь мольбера, можетъ быть и не взглянули бы. Учтивость требуетъ посторониться; если можно обойтись безъ этого, приходится выслушивать надъ своей головой замѣчанія, толки, подчасъ и забавные, всегда надоѣвшіе... Но вмѣстѣ—и бродящіе, и толкующіе посѣтители, и трудящіеся художники—въ свѣтлый день оживляютъ эти прелестныя залы; чудеса искусства снисходительно смотрятъ съ темнокрасныхъ стѣнъ на посвященныхъ и непосвященныхъ;

красота равно сіяетъ для всѣхъ своими вѣчными образами, какъ нѣчто высшее, прощая и слово профана, и замѣтку умника, и отвагу ученика-копировщика.

Въ испанской залѣ бродилъ молодой человѣкъ; онъ былъ совсѣмъ одинъ и, казалось, не встрѣчалъ знакомыхъ, потому что не заговорилъ ни съ кѣмъ, обойдя весь Эрмитажъ... Становилось уже поздно; посѣтителей было все меньше; они уходили или въ галереи драгоцѣнностей, или внизъ, къ статуямъ. Скоро въ испанской залѣ остались только камеръ-лакеи у двери, два-три художника за работой, да молодой человѣкъ; въ тишинѣ слышались шаги тѣхъ, кто проходилъ рядомъ по корридору, легкій шорохъ упавшей кисти, шуршанье костяного ножа о палитру; солнце особенно мягко свѣтило сквозь парусину въ стеклянный потолокъ и разсыпало искры на золотыя рамы, выдавало блѣдныя лица на темныхъ полотнахъ. Молодой человѣкъ прислонился къ вазѣ изъ lapis lazuli въ срединѣ залы, выбравъ мѣсто, съ котораго можно было лучше видѣть маленькаго «Іоанна съ агнцемъ» Мурильо, картину, вѣчно закрытую станками копирующихъ. И теперь противъ нея стоялъ станокъ, но, къ удовольствію зрителя, художника не было. Молодой человѣкъ переносилъ свой взглядъ съ этой картины на другую, почти рядомъ, тоже Мурильо: «Маленькій Христосъ и маленькій Іоаннъ», протягивающіе другъ другу ручки, чтобъ обняться. Видно было, что онъ сравниваетъ и изъ двухъ любимыхъ картинъ выбираетъ болѣе любимую. Онъ, казалось, рѣшился и перешелъ нѣсколько шаговъ налѣво, чтобъ видѣть ближе послѣднюю; противъ нея стоялъ тоже станокъ, но, къ счастью, не закрывалъ ея. Божественныя лица дѣтей съ ихъ добротой, нѣжностью, лаской, кругленькія, веселыя головки ангеловъ въ облакѣ, рѣзвый ягненокъ въ углу картины вызывали уже не восторгъ, но болѣе—чувство какой-то примиряющей радости на лицо молодого человѣка. Онъ смотрѣлъ, не замѣчая, что на него тоже смотрятъ и почти такъ же внимательно. За мольберомъ, предъ картиной, сидѣла художница; она уже нѣсколько разъ оглядывалась на молодого человѣка, пока онъ проходилъ, стоялъ у вазы; но тутъ, когда, ставъ почти за ея плечами, онъ забылся, созерцая Мурильо, она обернулась совсѣмъ и смотрѣла ему въ лицо.

— Monsieur Веретицынъ, если не ошибаюсь? сказала она.

Онъ отвелъ глаза отъ картины.

— Madame... mademoiselle...

— Леленька, досказала она и протянула руку.

— Вы!.. почти вскричалъ онъ.

— Не забыли?

— Помню, хорошо помню! но... не можетъ быть... Какъ же это вы здѣсь?....

— Какъ видите. Сядьте, пока я приберу палитру.

Она показывала на бархатный диванъ, подъ картиной.

— Это вы!.. повторилъ изумленный Веретицынъ.—Но какъ же это случилось?... Но вы почти не перемѣнились... Сколько лѣтъ...

— Восемь лѣтъ. Я восемь лѣтъ живу у тетки, здѣсь.

— Въ Петербургѣ? Я самъ уже два года здѣсь.

— Что дѣлаете?

— Служу, учу юношество.

— Прекрасно. А я учусь.

— И вотъ какіе успѣхи.

— Да, этого, конечно, я не могла отъ себя ожидать тамъ, въ N*. Какъ вы оттуда избавились?

— Наконецъ, выпустили, съ годъ добивался мѣста — наконецъ, нашелъ. Но вамъ какъ вздумалось переселиться?

— Я думаю, возразила она улыбнувшись: — что N-скій воздухъ всякому нездоровъ, и всякій для себя долженъ стараться изъ него вырваться. Я, по крайней мѣрѣ, дала себѣ слово никогда больше туда не заглядывать.

Ея глаза засвѣтились и напомнили Веретицыну прежнюю Леленьку, ея дѣтскій гнѣвъ, ихъ свиданія черезъ плетень. Леленька, въ самомъ дѣлѣ, мало выросла, мало перемѣнилась лицомъ; ее скорѣе измѣнили нарядъ и граціозная прическа; но Веретицыну показалось неловко сказать прямо, что онъ подумалъ на ея послѣднія слова, и онъ спросилъ только:

— А вашъ отецъ и мать?

— Живы, тамъ. Вы женаты, Александръ Иванычъ?

— Нѣтъ. Вы, замужемъ, Елена...

— Васильевна. Нѣтъ. Какъ вы располагаете вашимъ днемъ сегодня? свободны вы?

— До вечера. Вечеромъ у меня публичная лекція.

— О, въ какой вы чести! Какъ же я не знала? Гдѣ это?

— Въ одномъ училищѣ, на Васильевскомъ Острову.

— А я живу на Васильевскомъ Острову; какъ же я не знала? Стало быть, недавно?

— Я начинаю сегодня.

— Теперь мнѣ пора домой. Пойдемте вмѣстѣ; обѣдайте у насъ и вечеромъ идите на вашу лекцію. Хотите?

— Очень радъ.

Леленька заперла свой ящикъ съ красками, взглянула на Веретицына и улыбнулась.

— Я много перемѣнился, Елена Васильевна?

— Постарѣли. Пойдемте... Охъ, вотъ это скучно нести!

Она подозвала камеръ-лакея и поручила ему спрятать до завтра стклянки съ масломъ.

— Вы здѣсь привыкли, будто дома, замѣтилъ Веретицынъ.

— Я цѣлый годъ всякій день здѣсь.

— Изучаете?

— Да, и копирую на заказъ. Я работаю, договорила она, пока Веретицынъ, на прощанье, заглянулъ на доменикиновскаго «Амура» въ дверяхъ итальянской залы у выхода въ корридоръ.

— Подержите, я пойду за шляпкой, сказала ему Леленька, отдавъ ему ящикъ, когда они спустились съ лѣстницы, и ушла въ боковую комнату.

Веретицынъ, стоя въ сѣняхъ, смотрѣлъ на великолѣпную бѣлую мраморную лѣстницу, съ колоннадой вверху: въ отворенную верхнюю дверь виднѣлась красная стѣна итальянской залы и «Мадонна» Андреа-дель-Сарто. Печальная, она смотритъ прямо, между тѣмъ какъ Младенецъ отвернулся, привсталъ на ея колѣняхъ; ея взглядъ провожаетъ тѣхъ, кто уходитъ...

— Вы любите искусство? сказала, воротясь, Леленька:—почему же вы не бываете здѣсь чаще?

— Некогда.

— Весело, когда много дѣла! продолжала она, сбѣгая съ подъѣзда.—Какое прелестное время! Выйдемъ скорѣе на набережную, направо.

Веретицынъ шелъ молча. Чѣмъ больше онъ смотрѣлъ на Леленьку, тѣмъ больше его удивляла — не неожиданность встрѣчи, не рѣзкая противоположность съ прошедшимъ, которое въ эти минуты такъ ясно вспомнилось ему, много простившему въ прошедшемъ: его удивляла перемѣна этой дѣвушки, ловкой, смѣлой, увѣренной въ себѣ.

«Вотъ какъ выростаютъ!» подумалъ онъ, невольно наклоняя голову.

Леленька облокотилась на гранитъ и смотрѣла въ воду; Веретицынъ сдѣлалъ то же.

— Такъ-то, бывало, уплетня, сказалъ онъ.

— Да; но только мы никогда не стояли рядомъ! возразила она и засмѣялась.—Какъ давно, это ужасъ! что за дикое время! Помните, вы часто бывали не въ духѣ. Этого теперь не бываетъ?

— Почему-жъ не быть?

— Теперь, когда у васъ занятія, работа, когда вы никому не обязаны, когда вы полезны, самостоятельны — я этого не понимаю!

— Что-жъ дѣлать! а такъ есть.

— Это почему же?

— Мнѣ тридцать четыре, а не двадцать четыре года, Елена Васильевна.

— Не резонъ, возразила она, покачавъ головой.

— Нѣтъ, резонъ. Въ молодости свернуло неожиданное, незаслуженное несчастье, и томило семь лѣтъ. Легко сказать: отнять у человѣка семь лѣтъ! Лучшіе годы жизни безъ дѣла, безъ книгъ, Богъ знаетъ въ какомъ обществѣ, безъ права думать, не только говорить! Надо испытать, каково это, чтобъ судить, легко ли, можно ли оправиться отъ этого... Вы сами сказали: дикое время! Я, должно быть, еще изъ крѣпкихъ, потому что вынесъ изъ него только желчь да хандру.

Она все качала головой и улыбалась.

— И въ правильно прожитой жизни, продолжалъ Веретицынъ:—если съ половины оглянуться на молодость, наберется великій недочетъ въ осуществленіи разныхъ надеждъ, идеаловъ, а ужъ въ такой-то жизни...

Онъ остановился.

— Вы смѣетесь, Елена Васильевна?

— Я этого окончательно не понимаю, возразила она, поднявъ снова на руки свой тяжелый ящикъ:—не безпокойтесь, я донесу: я не люблю одолжаться другими, когда могу сдѣлать сама...

— Старое правило говоритъ: «не дѣлай самъ того, что можешь заставить сдѣлать другихъ,» возразилъ, смѣясь, Веретицынъ;—отдайте мнѣ ящикъ.

— О, ваши старыя правила! прервала она уже безъ шутки и съ особеннымъ увлеченіемъ:—отъ нихъ все наше зло, все несчастье нашего поколѣнія! Вы ихъ поддерживали, вы имъ покорялись, вы довели до того, что мы принуждены биться, страдать, чтобъ вырваться изъ-подъ этого гнета и выработать себѣ какую нибудь возможность жить полегче!... Вы говорите, что вамъ было тяжело, и теперь тяжело, что вы люди сломанные. А зачѣмъ вы допустили сломать себя? зачѣмъ вы не отказались отъ вашихъ предразсудковъ, не побѣдили вашей слабости, не трудились энергичнѣе? вамъ скучно, у васъ желчь, хандра, потому что вамъ все жаль чего-то, вспоминается что-то, хотѣлось бы

сберечь что нибудь старое, къ чему вы привыкли! Вы все тосковали да мечтали и облѣнились до невозможности трудиться...

— «Ты все пѣла, это дѣло!» прервалъ Веретицынъ:—и молодое поколѣніе посовѣтуетъ намъ плясать?

— Молодое поколѣніе не эгоисты, отвѣчала она, смутясь и обидясь, какъ прежняя Леленька.

— Да вѣдь и старое не все только тосковало да мечтало, возразилъ Веретицынъ:— хорошо вамъ, свѣжимъ деревьямъ; но не браните надломленныхъ, которымъ больно во всякую погоду... Мы философствуемъ, Елена Васильевна.

— И даже пустились въ поэзію, прибавила она.

— О, время! у плетня этого не бывало: вы наслаждались, кажется, Херасковымъ...

— А, что за пустяки! Не можетъ быть!.. Нѣтъ, знаете, я очень рада, что встрѣтила васъ; я васъ помню, но того времени я не хочу вспоминать. Передъ моими глазами представляется столько нелѣпости... Прошло—и кончено! я живу настоящимъ.

— Между прочимъ, въ настоящемъ, скажите мнѣ о вашей тетушкѣ; вы ведете меня знакомить.

— Моя тетушка добрая и умная женщина, была замужемъ за умнымъ, хорошо образованнымъ человѣкомъ, пріѣхала съ нимъ сюда и для него постаралась образоваться. Я ставлю ей это въ огромную заслугу. Она пріѣхала за мной въ N* и взяла меня къ себѣ въ то же лѣто, въ которое мы съ вами видались. Въ домѣ, гдѣ она живетъ, есть хорошій пансіонъ; она посылала меня учиться; у меня замѣтили способность къ живописи; я стала ходить въ рисовальную школу—и вотъ, видите, пишу въ Эрмитажѣ. Я знаю три иностранные языка, перевожу и дѣлаю компиляціи. Этимъ я зарабатываю столько, что, могу сказать, я нелишняя тягость въ домѣ: моя тетка небогата. Наше общество— профессора пансіона, гдѣ я училась, ихъ семейства, художники, все люди занятые, и потому всякому дороги свободные часы и всѣ стараются провести ихъ пріятно. Разъ въ недѣлю собираются у меня. Приходите.

Веретицынъ поблагодарилъ поклономъ.

— Такъ вамъ живется легко? спросилъ онъ.

— Еще бы! Я свободна! отвѣчала Леленька. — Я никому ничѣмъ не обязана. Тетка, правда, дала мнѣ воспитаніе, но, имѣя средства, она должна была это сдѣлать, и я имѣла право принять. Но съ тѣхъ поръ, какъ я могу трудиться, я тружусь для себя: я ей ничего не стою. Я зарабатываю даже свои удовольствія: напримѣръ, я два года абонировалась на одно мѣсто въ галереѣ, въ оперу; на нынѣшній годъ тетка вздумала сдѣлать мнѣ сюрпризъ и заплатила за меня. Я ничего ей не сказала, но продала свою копію съ Греза и взяла на другой абонементъ для нея и для себя, два мѣста въ ложѣ у знакомыхъ, подъ предлогомъ, что хочу слушать оперу два раза. Она, однако, поняла, что не должна стѣснять меня, даже думая сдѣлать мнѣ пріятное... Вы ходите въ оперу?

— Рѣдко. Некогда.

— Если хорошенько разсчесть время, то его достанетъ, продолжала Леленька.—Вотъ и наша квартира. Вы запомнили дорогу?

Она вошла и начала подниматься очень высоко по лѣстницѣ одного изъ высочайшихъ домовъ Средняго проспекта. Веретицынъ шелъ за нею. Этого восхожденія нельзя было не запомнить, и Веретицыну пришло на мысль, что Леленькѣ лучше бы слѣдовало сказать:—«милости просимъ», и тѣмъ попросить хотя терпѣнія у гостя.

Леленька позвонила. Горничная отворила имъ и взяла пальто Веретицына.

— Елены Гавриловны дома нѣтъ, сказала она.

— Давно?

— Давно. Она сказала, что обѣдаетъ въ гостяхъ, а вечеромъ въ театрѣ, и чтобъ вы пріѣхали въ театръ, если угодно; тамъ она оставила записку.

— Мнѣ не угодно, отвѣчала Леленька.— Давайте обѣдать.

Она пригласила Веретицына войти. Пріемная комната была мило убрана, со множествомъ зелени въ углахъ и на окнахъ; Леленьку ждалъ накрытый столъ; горничная поставила приборъ для Веретицына.

— Садитесь; я очень голодна, сказала ему Леленька.

Обѣдая, она потянула съ ближняго стола листъ газеты и читала вслухъ, отрывками; завязался очень живой разговоръ объ итальянской войнѣ и итальянской свободѣ. Леленька знала и постоянно читала очень много. Обѣдъ прошелъ незамѣтно въ этихъ толкахъ. Свѣтлый день къ вечеру выказался осеннимъ: кусочекъ неба надъ трубами сосѣдняго дома поблѣднѣлъ и примеркнулъ, окна затуманились.

— Пойдемте ко мнѣ, сказала Леленька, вставая изъ-за стола:—я велю затопить каминъ; мы наговорились объ Италіи, а тамъ и зимой не холоднѣе этого.

Рядомъ съ пріемной была ея комната, го-

стиная, мастерская, кабинетъ—все вмѣстѣ. По стѣнамъ было нѣсколько картинъ въ рамахъ, на полу неконченные этюды и полотна, обернутые изнанкой; на мольберѣ начатый портретъ, вѣроятно, тетки; палитра кокетливо висѣла на рѣзьбѣ зеркала; гипсовые бюсты, статуэтки, слѣпки съ античныхъ головъ были разставлены на полочкахъ и тумбахъ. Большой письменный столъ и двѣ этажерки въ углахъ были полны книгъ; къ камину уютно сдвинута кушетка и нѣсколько мягкихъ креселъ. Только одинъ этотъ уголокъ напоминалъ объ отдыхѣ; все остальное твердило объ усиленной, безпрерывной, по часамъ разсчитанной работѣ. Леленька въ самомъ дѣлѣ взглянула на часы.

— Я вамъ дамъ чаю, сказала она Веретицыну на порогѣ и ушла, предоставивъ ему войти, если хочетъ.

Воротясь, она застала его среди комнаты: онъ осматривался кругомъ.

— Не правда ли, у меня недурно? спросила она:—хозяинъ дома былъ такъ любезенъ, что, по моему желанію, наклеилъ здѣсь красные обои—слабое подражаніе заламъ Эрмитажа! За то, по вторникамъ, когда у меня вечера и я освѣщаю a giorno — выходитъ великолѣпно... Вы задумались, какъ это выходитъ великолѣпно?

— Скажите, вы ли это? прервалъ Веретицынъ: — право, минутами, я не вѣрю глазамъ! Это перерожденіе!

— Что же тутъ особеннаго? возразила она съ удивленіемъ.

— Но вспомните только...

— Я ничего не вспоминаю, отвѣчала она:— я вамъ ужъ сказала, кажется? Если ужъ есть людямъ охота вспоминать, то пусть вспоминаютъ свой характеръ съ дѣтства, и тогда всѣмъ станетъ ясно, что иначе и быть не можетъ, какъ то, что случается съ ними... Если бы вы меня знали, вы бы не удивлялись, что я сбросила съ себя свое иго и не хочу о немъ помнить.

— Да, вамъ тяжело, трудно...

— Вы думаете о моей семьѣ? прервала она: — ничего не тяжело и не трудно! Я не помню, чтобъ не обременять моей памяти, такъ же, какъ не помню вздоровъ, которые слышала, читала... Вамъ это странно?

— Не странно, но нѣсколько рѣшительно.

— Нисколько! Это великодушно.

Веретицынъ глядѣлъ на нее, пока она поправляла уголь въ каминѣ; сумерки и огонь придавали странный свѣтъ красной комнатѣ; этотъ свѣтъ и рѣзкія тѣни шли къ оживленному лицу дѣвушки. Она сѣла, покойно сжавшись, въ кресло; въ ея движеніяхъ и взглядѣ было желаніе отдыхать, наслажденіе отдыха, но не раздумье.

— Ну, давайте вспоминать старое, сказала она, помолчавъ и улыбнувшись. — Что mademoiselle Sophie?

— Sophie? повторилъ Веретицынъ.

— Да, Sophie, Софья... Александровна... а фамилія...

— Хмѣлевская, сказалъ Веретицынъ.— Почему вы ее знаете?

— Я ее видѣла, отвѣчала, смѣясь, Леленька. — Но что же особеннаго, что, живя въ N*, я знала о Хмѣлевской?.. Я ее видѣла у васъ въ саду.

— А!.. сказалъ Веретицынъ, глядя на огонь.

— Это, кажется, была замѣчательная дѣвушка, совершенство?

— Да.

— Образована, талантлива, умна? продолжала Леленька.— Скажите, гдѣ она теперь? Въ наше время, когда...

— И прочее, подсказалъ Веретицынъ.

— Да, подтвердила, не улыбнувшись, Леленька: — въ наше время такая женщина много бы могла сдѣлать, дѣйствовать; женщина развитая, съ свѣтлымъ взглядомъ, съ этой правдой, которой надо было въ ней удивляться, съ не женской прямотой — не только ея примѣръ, одно ея слово... Она не здѣсь, не въ Петербургѣ?

— Нѣтъ, въ деревнѣ. Она замужемъ.

— Замужемъ! вскричала Леленька.

— Замужемъ, повторилъ Веретицынъ.

— Кто-жъ этотъ счастливецъ, который удостоился владѣть этимъ совершенствомъ?

— Добрый малый, N-скій помѣщикъ.

Леленька привстала съ мѣста.

— M-r Веретицынъ!.. и это совершенство?..

— Болѣе нежели когда нибудь, отвѣчалъ онъ тихо, не сводя глазъ съ огня.

— Совершенство — женщина, которая продала свою волю, бросилась въ пустоту...

— Не продала, а только отдала: ее умоляла мать, а уступить она могла: она никого не любила. Ея мужъ, человѣкъ честный, неглупый... ну, конечно, не передовой, не дѣятель... Да вѣдь что-жъ все отдавать сокровища богачамъ: бѣднымъ они нужнѣе.

— Что-жъ она сдѣлала для этихъ бѣдныхъ?

— Она дала матери спокойный уголъ передъ смертью, помирила мужа съ его отцомъ, заставила старика жить болѣе человѣческимъ образомъ, научила мужа заниматься, сколько въ его средствахъ, дала вздохнуть тѣмъ, кто отъ нихъ зависѣлъ...

— О, подвиги! прервала Леленька: — и тратиться на это? На уборку спальни для

маменьки, на семейныя примиренія, на укрощеніе побоевъ! учить мужа азбукѣ! И это, существу высшему...

— Кому-жъ, какъ не высшему? возразилъ Веретицынъ:—низшія или не умѣютъ, или брезгаютъ! Высшее то и есть, которое жертвуетъ собой до конца, и только жертвы совершенствъ ведутъ къ чему нибудь...

— Нѣсколько тысячъ лѣтъ продолжаются эти жертвы совершенствъ! сказала Леленька.

— Оттого и стало полегче теперь, нежели за тысячу лѣтъ, отвѣчалъ Веретицынъ:— понемногу, понемногу, но остается вліяніе, память...

— Утѣшительное «понемногу»! возразила Леленька. — Это, просто, отговорки, подвиги эгоистовъ, лѣнивыхъ, которымъ не хочется взять дѣло поважнѣе! Вотъ, увидите, когда въ нѣсколько лѣтъ Sophie, ваше совершенство, примирится, отупѣетъ...

— Скорѣе умретъ! вскричалъ Веретицынъ.

— А смерть къ чему нибудь служитъ? Супругъ на другой женится, батюшка опять примется драться, оба вмѣстѣ будутъ смѣяться надъ нею.

— Умерла на работѣ, сказалъ Веретицынъ.

— А свободная, была бы жива, была бы счастлива!

— Какъ это?

— Вотъ, такъ! отвѣчала Леленька, показавъ вокругъ себя рукою: — трудилась бы для всѣхъ — кругъ широкъ!

— Вы замѣчали, что на водѣ широкіе круги слабѣе маленькихъ?

— О, безъ поэтическихъ сравненій!

— Но развѣ это (онъ также показалъ вокругъ себя рукою), развѣ это трудъ для всѣхъ?

— Конечно, это не міровые труды, возразила Леленька:—но, смѣю думать, это тоже часть тѣхъ трудовъ; я все-таки приношу свой вкладъ, служу мысли...

— Софья учитъ своихъ дѣтей.

— Вы поэтизируете, потому что все еще влюблены въ нее, прервала Леленька, засмѣявшись. — «Ея бѣлокурая головка, ихъ кудрявыя головки...» А взглянуть съ настоящей точки зрѣнія, что это такое? Рабство, семья!.. Женщина высшая подчинена какому-то доброму малому, пожертвовала собой для прихоти матери-эгоистки, примирила, то есть свела опять двухъ дурныхъ людей, чтобъ они вдвоемъ больше зла надѣлали! Какъ нибудь, среди стѣсненій, изъподъ насмѣшекъ передаетъ что нибудь человѣческое дѣтямъ... Но человѣческое ли, здравое ли? Она передаетъ имъ тѣ же несчастныя заповѣди самоотверженія, отъ которыхъ погибаетъ сама! Заповѣди покорности произволу!.. Она виновата, ваша Софья! Она служитъ злу, учитъ злу, она готовитъ страдалицъ! Она должна бы понимать это...

— Она и понимаетъ, что лучшая мать та, которая умѣетъ воспитать мучениковъ.

— Но вы ли это? я спрошу въ свою очередь, вскричала Леленька.—Вы забыли, но я помню, вы первый сказали мнѣ первое слово свободы—вы ли это теперь?

— Я, отвѣчалъ Веретицынъ: — помню, точно, я говорилъ вамъ; но слово свободы, а не разъединенія...

— Разъединеній?

— Да. Вы однѣ. Вы это понимаете?

— Знаю. Я одна. Разумное существо должно умѣть быть одно.

— Когда приведется остаться одному, возразилъ Веретицынъ: — но когда есть еще люди...

— Для меня ихъ нѣтъ, прервала она, вспыхнувъ.—Вы не знали тогда, но догадываться могли, что была моя жизнь, какіе люди были со мною. Вы заставили меня въ первый разъ понять ихъ. Я вамъ вѣрила... Вы не знаете, что я васъ любила? Да, какъ никогда потомъ! Я поняла, какое иго любовь, какъ она заставляетъ смотрѣть глазами другого, исчезать предъ волей другого. Я никогда не полюблю—некогда, глупо. Тогда хоть было еще кстати: у меня явилась сила освободиться. Несправедливости, гоненія надо мной дошли до крайности. Мнѣ предлагали даже мужа!.. Я рѣшилась бѣжать. Теперь я убѣжала бы на улицу—тогда я еще искала пріюта. Я написала къ теткѣ; у меня не было гривенника отдать на почту! никогда не забуду униженія, что я выпросила его, со слезами, чуть не съ земными поклонами, у работницы... Не въ правѣ ли я была желать вырваться, возненавидѣть память прошедшаго?

— Никто не въ правѣ осудить, что вы бѣжали. Вырваться вы въ правѣ, ненавидѣть — никогда. Если вы поняли больше этихъ людей, вы должны умѣть простить...

— Вы не то говорили! прервала Леленька: — вы проповѣдывали разъединеніе полнѣйшее! Это перерожденіе тоже! Вы ли это? я буду спрашивать тысячу разъ...

— Я, повторилъ Веретицынъ: — но съ тѣхъ поръ времени прошло довольно...

— И васъ года укротили?.. старость?

— Да, съ годами люди дѣлаются тише...

— Терпѣливѣе?

— Умнѣе.

— О! еслибъ только кто нибудь, кто-бъ

нибудь сейчасъ повторилъ вамъ то, что вы говорили тогда! вскричала Леленька.

— Крайности? спросилъ онъ: — можетъ быть. Но когда отпускается нѣсколько лѣтъ на размышленіе, можно разсмотрѣть, годятся ли крайности. Отъ нихъ человѣкъ отказывается невольно...

— И мирится?

— Прощаетъ.

— То есть, шагъ назадъ, опять къ старому? вскричала Леленька.

— Зачѣмъ? Простить, не упрекать, не помнить...

— Да, можетъ быть, это и очень возвышенно, прервала она холодно:—но кто былъ оскорбленъ, кто понялъ, что самому себѣ, только своему мужеству обязанъ тѣмъ, что не далъ погубить себя, тотъ не такъ легко забываетъ, не такъ легко прощаетъ... Но это личности: довольно обо мнѣ. Я поклялась, что не дамъ больше никому власти надъ собою, что не буду служить этому варварскому старому закону ни примѣромъ, ни словомъ... Напротивъ, я говорю всѣмъ: дѣлайте какъ я, освобождайтесь всѣ, у кого есть руки и твердая воля! Живите одни — вотъ жизнь—работа, знаніе и свобода...

— А на долю сердца что останется? спросилъ тихо Веретицынъ.

— Вы счастливы съ вашимъ сердцемъ? спросила она насмѣшливо.

— Да и вы неблагополучны, возразилъ онъ: —у насъ оно хоть и болитъ, но есть, а у васъ нѣтъ его.

— «У насъ?» повторила Леленька: — у васъ и Sophie?

— Вы ее не понимаете, тихо возразилъ Веретицынъ: — не смѣйтесь. Вы зовете всѣхъ на свободу, и по вашимъ убѣжденіямъ, которыя, точно, достались вамъ не легко, съ вашей точки зрѣнія, во многомъ тоже вѣрной—вы правы. Но до совершенства Софьи вамъ далеко! Вы заработываете себѣ легко, безъ страданія, покойное житье-бытье, удовольствіе, пріязнь вашего кружка; между этимъ дѣломъ вы служите и обществу очень пріятной службой. Вашъ трудъ — еще въ половину трудъ — и меньше... Софья взяла весь свой. Она пошла учить добру и правдѣ безъ увѣренности въ успѣхѣ, только съ вѣрой въ свое дѣло. Она пошла на грубость, эгоизмъ, полуобразованіе, оскорбленіе, жестокость, пошла, какъ шли мученицы на исповѣданіе и смерть! Это конечное исполненіе обязанности, которую налагаетъ сознаніе истины и жажда добра! Въ нашъ вѣкъ нѣтъ подвига выше. Онъ даже не образецъ: за него можетъ взяться только та женщина, которая захочетъ высшаго совершенства, которая почувствуетъ въ себѣ силу служить правдѣ, своему вѣрованію, служить во всей полнотѣ, охотно, радостно, забывая себя... Вы удивляетесь сестрамъ милосердія? Вы кричите въ восторгѣ предъ тѣми женщинами, которыя подаютъ мужьямъ и любезнымъ патроны во время сраженій? Это не легче, мужества надо не меньше; это не менѣе возмутительно; тутъ нѣтъ увлеченія, нѣтъ одобренія кругомъ, дѣло не блестящее съ вида, и долгое-долгое, на всю жизнь.

— Вы ее очень любите, сказала Леленька.

Веретицынъ не отвѣчалъ и всталъ. Часы били семь.

— Видите, сказалъ онъ, наконецъ:—вотъ она, хваленая свободная жизнь, потому что теперь, въ настоящее время, она одинакова для васъ и для меня: пришло время — расходись, не кончивъ слова; чувствовать некогда, вспоминать некогда. Мы свободные— рабы дѣла, которое взяли себѣ на плечи... многіе, пожалуй, любя, но большая часть только увѣряя себя, что любятъ, и только избранные (къ нимъ причисляю себя) говорятъ откровенно, что дѣло—тотъ же пріемъ опіума и средство тянуть жизнь все для дѣла же... Радостей для насъ нѣтъ, любви ужъ и вовсе быть не можетъ: некогда... Вмѣсто ихъ берется такъ, что нибудь, на лету, неимѣющее ни цѣли, ни значенія... Это называется—состарѣться.

— Неправда! возразила Леленька:—работа, знаніе не старѣютъ, потому что они вѣчны.

— Пожалуй, если не замѣчать, что часть души — чувство — уже умерла или лежитъ въ апоплексическомъ ударѣ. Обманывать себя можно.

— Я не хочу себя обманывать. Что-жъ! пусть хоть такъ.

— Будьте счастливы!

— А вы счастливы?..

— Мнѣ пора идти, Елена Васильевна...

Она торопливо оглянулась на часы.

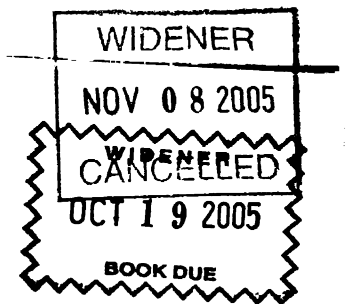
— Такъ до свиданія. Приходите во вторникъ; я познакомлю васъ съ теткой, еще съ хорошими людьми. Придете?

— Некогда... Если успѣю.

Леленька проводила его со свѣчой до лѣстницы, воротилась къ себѣ и, не останавливаясь ни минуты, придвинула кресло къ столу, достала тетради и диксіонеръ, и скоро въ комнатѣ слышалось только стукъ часовъ, паданіе догоравшаго угля въ каминѣ и шорохъ пера по бумагѣ...

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОГО ТОМА


WIDENER
NOV 0 8 2005
CANCELLED
OCT 1 9 2005
BOOK DUE